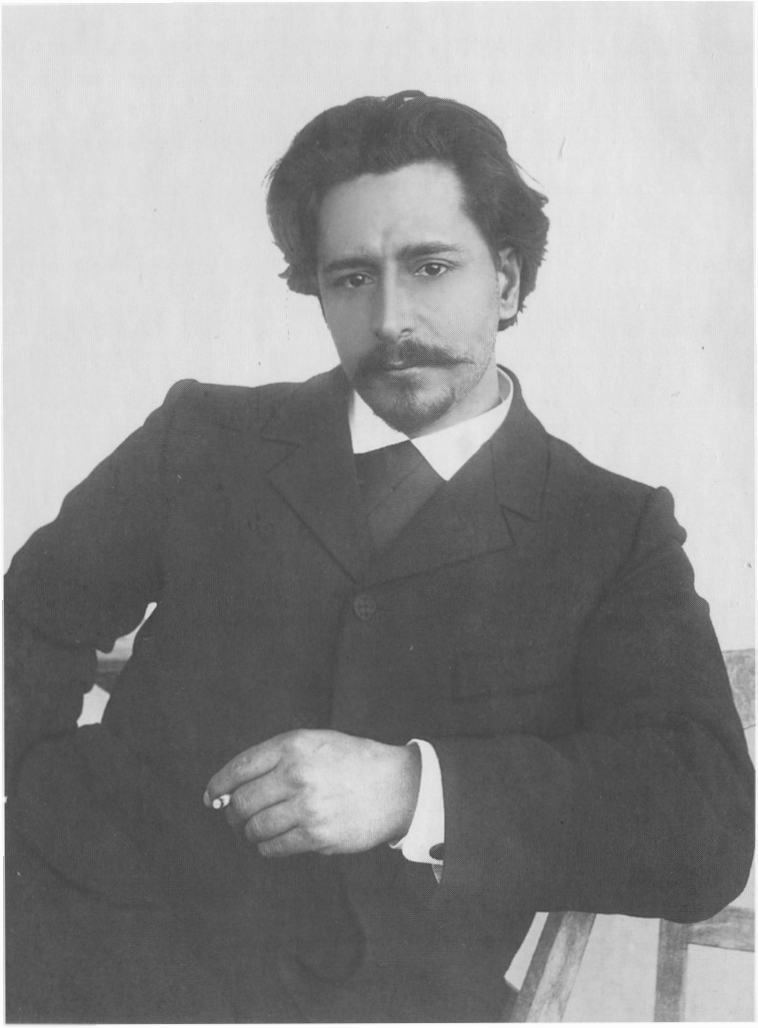
Л.Н. АНДРЕЕВ

Л.Н. АНДРЕЕВ

1

НАУКА



ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ
АНДРЕЕВ

Фотография А.В. Средина. Олеиз, 1902 г.

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ им. А.М ГОРЬКОГО

ИНСТИТУТ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ (ПУШКИНСКИЙ ДОМ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

ЛИДССКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (Великобритания)

Л.Н. АНДРЕЕВ

Полное собрание сочинений и писем

В двадцати трех томах

МОСКВА НАУКА 2007

Л.Н. АНДРЕЕВ

Полное собрание сочинений и писем

Том первый

МОСКВА НАУКА 2007

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6
А65

ISBN 978-5-02-036248-2
ISBN 978-5-02-034385-6 (т. 1)

© Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН, Лидсский университет (Великобритания), составление, подготовка текстов, статьи, комментарии, 2007
© Российская академия наук и издательство "Наука", Полное (академическое) собрание сочинений и писем Л.Н. Андреева в 23 томах, разработка, оформление, 2007 (год начала выпуска), 2007
© Редакционно-издательское оформление. Издательство "Наука", 2007

ОТ РЕДАКЦИИ*

Институтом мировой литературы Российской академии наук совместно с Институтом русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук и Русским архивом в Лидсе (Лидсский университет, Великобритания) предпринимается издание первого академического Полного собрания сочинений и писем выдающегося русского писателя Леонида Николаевича Андреева (1871–1919) в 23 томах. Это итог большой подготовительной работы отечественных и зарубежных литературоведов – исследователей биографии и творчества Л.Н. Андреева. Здесь с максимально возможной в настоящее время полнотой представлено творческое наследие писателя, включающее как произведения, вошедшие в прижизненные издания его сочинений, так и не переиздававшиеся после первых публикаций либо оставшиеся в рукописях. Базой для подготовки собрания сочинений является личный архив писателя, основные части которого ныне находятся в фондах Андреева в Российском государственном архиве литературы и искусства (Москва), в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский Дом, С.-Петербург) и в зарубежных архивохранилищах – в Русском архиве Лидса и в архиве Гуверовского института в Стэнфордском университете (США) (коллекция Б.И. Николаевского). Обследованы и другие хранилища, в которых находятся рукописи Андреева: Отдел рукописей Российской государственной библиотеки, Архив А.М. Горького и Отдел рукописных и книжных фондов Института мировой

* Первоначальный вариант текста "От редакции" был написан Вадимом Никитичем Чуваковым (1932–2004), литературоведом, текстологом, библиографом и архивистом, во многом благодаря энергии и таланту которого состоялось настоящее издание. В.Н. Чуваков был инициатором и основным участником этапных изданий Л.Н. Андреева последнего 50-летия (это и сборник пьес 1959 г., и фундаментальный, насыщенный архивными материалами 72-й том "Литературного наследства", и юбилейный двухтомник 1971 г., и шеститомное собрание сочинений, изданное "Художественной литературой").

литературы, Центральный Театральный музей им. А.А. Бахрушина и др. Все это позволило наряду с основными текстами опубликовать ранние редакции и варианты, черновые наброски и другие материалы творческого архива Андреева. Эпистолярное наследие писателя, также включаемое в настоящее издание в максимально полном объеме, вводит в научный оборот ряд малоизвестных, а то и вовсе не известных фактов из жизни писателя и подготавливает основу для создания научной биографии Андреева.

Первое собрание сочинений Андреева стало выходить в петербургском издательстве "Знание" в 1902 г. Первый том представлял собой перепечатку (с прибавлением шести новых рассказов) первой книги "Рассказов" Андреева, выпущенной "Знанием" в сентябре 1901 г. Деньги на это издание дал М. Горький, руководивший "Знанием". В него вошли десять рассказов Андреева, помещенных в 1899–1901 гг. в московской газете "Курьер" и в петербургских "Журнале для всех" и "Жизни". Признательный автор посвятил свою первую книгу "Алексею Максимовичу Пешкову". Это посвящение осталось и в первом томе "знаниевского" собрания сочинений, сохранившего название "Рассказы". До 1906 г. первый том без каких-либо изменений переиздавался 11 раз. В 1906 г. с посвящением жене писателя А.М. Андреевой (урожд. Велигорской) "Знание" выпустило т. 2 его сочинений ("Рассказы"). За ним последовали в 1906 г. т. 3 ("Мелкие рассказы"), в 1907 г. – т. 4 ("Рассказы и пьесы"). Если т. 1 строился по принципу "избранного", а т. 3 – как дополнение к "избранному", то содержание томов 2 и 4 было перепечаткой новых художественных произведений Андреева, опубликованных в периодических изданиях. (Подробнее о содержании томов этого и последующих собраний сочинений см.: *БиблА1*. С. 16–22.)

Отход писателя от "Знания" и начало его сотрудничества с петербургским издательством "Шиповник" в 1907–1908 гг. повлекли за собой и перенос туда издания сочинений Андреева. В 1909 г. под маркой "Шиповника" вышло три тома (5, 6 и 7) под заглавием "Собрание сочинений"; они продолжали нумерацию томов издания "Знания". Изменились, правда, формат и оформление книг.

30 декабря 1909 г. Андреев заключил договор с владельцем петербургского издательства "Просвещение" Н.С.Цейтлиным. По этому договору он передавал Цейтлину за 100000 рублей право на переиздание всех своих опубликованных сочинений и перепечатку последующих публикаций за тысячу рублей с лис-

та. Новое (второе) собрание сочинений Андреева стало выходить в "Просвещении" в 1911 г. и завершилось, точнее, оборвалось в 1913 г. на 13-м томе, поскольку договор с Цейтлиным Андреев признал для себя невыгодным. "Просвещение" предложило автору практиковавшийся им "классический" план издания собрания сочинений, включавший в себя (чего не было ранее, в первом собрании сочинений Андреева) не только художественные произведения, но и публицистику. Ей был отдан весь первый том, а в последующих томах (отличавшихся небольшим форматом и печатью на хорошей, плотной бумаге) художественные произведения располагались преимущественно в хронологическом порядке. В первом томе помещалась статья профессора М.А. Рейснера, содержавшая обзор творческого пути писателя.

Особое внимание Андреев уделил редактированию своих фельетонов. Раньше они переиздавались отдельно, вне собрания сочинений. Восемь его театральных фельетонов вошли в книгу: *Джемс Линч и Сергей Глаголь* (*Сергеевич*)*. Под впечатлением Художественного театра. М., 1902. В выпущенном в качестве приложения к журналу "Сатирикон" (СПб., 1909) двухтомнике Л.Н. Андреева и А.И. Куприна "Юмористические рассказы" фельетоны Андреева, отредактированные автором, занимали весь первый и часть второго тома. Отбирая к переизданию свои ранние фельетоны из газеты "Курьер", Андреев давал им новые заглавия, сокращал, объединял фрагменты разных фельетонов, убирал потерявшую значение "злободневность". Редакционное предисловие к "Юмористическим рассказам" связывало фельетонистику Андреева с его художественным творчеством: "Предлагаемые нами рассказы хотя и носят веселый, юмористический характер, но в некоторых из них уже мелькает бледно-скорбный образ будущего Леонида Андреева – нотки страдания и брезгливости перед пошлостью житейской скуки и обыденности слышатся в них".

В первом томе второго (издаваемого "Просвещением") собрания сочинений круг выбранных Андреевым ранних фельетонов был расширен, изменены заглавия отдельных фельетонов (не только сравнительно с первыми публикациями, но и с переизданием их в двухтомнике "Юмористических рассказов"), материал распределен автором по восьми разделам, не имею-

* Джемс Линч – псевдоним Л.Н. Андреева, Сергей Глаголь – С.С. Голоушева.

щим самостоятельных заголовков. Что же касается содержания других томов, то в них не наблюдается серьезного вторжения автора в тексты первых публикаций. В последнем томе помещен алфавитный указатель произведений для всех 13 томов. Это собрание сочинений не было полным даже в пределах своих хронологических рамок. Сюда не вошли самые ранние литературные опыты (рассказы 1892, 1895–1896 гг.), которые автор, впрочем, никогда не перепечатывал. Не включил Андреев в его состав и ряд рассказов 1899–1912 гг.

В 1913 г. Андреев начал переговоры с "Товариществом А.Ф. Маркс", выпускавшим полные собрания сочинений русских и зарубежных авторов в качестве приложения к иллюстрированному еженедельнику "Нива". Согласно заключенному договору, "Товарищество А.Ф. Маркс" получало право в течение одного 1913 г. выпустить "Полное собрание сочинений", которое охватывало бы все его произведения, написанные и опубликованные по 1913 г. включительно. Это третье собрание сочинений в восьми томах (которое фактически не было полным) вместило в себя все, что вошло в 13 томов второго (изданного "Просвещением") собрания, с добавлением романа "Сашка Жегулев" (впервые: альманах изд-ва "Шиповник". Кн. 16. 1911) и рассказа "Правила добра" (1912). И это прижизненное "Полное собрание сочинений" Андреева было лишено каких-либо примечаний (вступительной статьи в нем тоже не было). Оно отличалось от предыдущего тем, что участвовавший в его подготовке К.И. Чуковский отказался (и автор с этим согласился) от привычного хронологического принципа распределения материала по томам. Произведения в нем сгруппированы по томам не по хронологическому или жанровому признаку, а по "темам", которые, однако, никак не формулировались. Так, в т. 2 после "Тьмы" помещен поздний "Рассказ змеи о том, как у нее появились ядовитые зубы", а в т. 4 даны написанные и опубликованные раньше "Тьмы" – "Красный смех" и "Марсельеза". По настоянию Андреева публицистика, дополненная разделом "Судебная хроника" (некоторые выборочные судебные отчеты Андреева), была, вопреки первоначальному плану Чуковского, собрана в одном, шестом, томе. Не были включены в это собрание сочинений и многие образцы андреевской ранней фельетонистики из "Курьера", его имеющие общественное значение "Письма в редакции" газет и журналов. Не попала в издание и

статья Андреева против смертных казней "Из письма", написанная в день 80-летия Л.Н. Толстого, 28 августа 1908 г., и опубликованная в газете "Эпоха" (СПб., 1908. 15 сент. № 1). Надо полагать, этому помешала цензура. Отказался Андреев от замысла проиллюстрировать собрание сочинений своими рисунками, когда с разочарованием узнал, что издательство по техническим причинам не может исполнить репродукции в цвете.

Дальнейшее издание сочинений Андреева было перенесено из Петербурга в Москву. В 1913 г. в товариществе "Книгоиздательство писателей в Москве" вышел т. 14, продолжавший нумерацию томов прервавшегося второго собрания сочинений, выпускавшегося "Просвещением". В этом томе мы находим роман "Сашка Жегулев", отсутствующий в издании "Просвещения", но уже вошедший в издание Маркса. Вслед за т. 14 вышел т. 15 (1913), а затем тома 16 и 17 (1916 и 1917 гг.), целиком составленные из произведений, опубликованных Андреевым после 1913 г. и потому не попавших в издание Маркса. На этом "второе–четвертое" ("Просвещение" – "Книгоиздательство писателей в Москве") собрание сочинений Андреева приостановилось. В бумагах писателя сохранились черновые наброски плана неосуществленных 18 и 19-го томов. В этих томах, как можно заключить, он хотел объединить художественные произведения и позднюю публицистику. Так, т. 18, согласно плану, составленному в начале 1917 г., должен был иметь заголовок "Иго войны", и в его состав должны были войти одноименная повесть, сборник военной публицистики "В сей грозный час" (1915) и ряд статей 1915–1917 гг. ("В защиту критики", "Пусть не молчат поэты", "Делай, что делаешь", "Первая ступень", "Раненый", «О "двух душах" М. Горького», "Англия").

В 1921 г. в Гельсингфорсе, в издательстве "Библион", отдельными изданиями вышли незавершенный роман "Дневник Сатаны" и написанный в 1915 г. рассказ "Ночной разговор", представленные "Библионом" как тома 1 и 2 "посмертных произведений" Леонида Андреева. В том же 1921 г. в ряде эмигрантских изданий было анонсировано задуманное вдовой писателя А.И. Андреевой на базе "Библиона" издание "Полного собрания сочинений, вышедших после 1911 года" в восьми томах. План этот реализован не был. Не опубликованные при жизни пьесы "Собачий вальс" и "Самсон в оковах" появились на страницах советской и русской зарубежной периодики в 1923–1925 гг.

После смерти Андреева в Советском Союзе и за рубежом (в переводах) неоднократно издавались однотомники его произведений, печатались по рукописям из архива писателя его неизвестные художественные произведения (подробнее см.: *БиблА1*. С. 70–74). В 1971 г. к столетию со дня рождения Андреева издательство "Художественная литература" выпустило "Повести и рассказы" писателя в двух томах. Репертуар традиционного для советских изданий "избранного" в нем расширен за счет некоторых поздних рассказов ("Герман и Марта", "Рогоносцы", "Чемоданов", "Два письма") и романа "Дневник Сатаны". Однотомник драматургии Андреева в 1959 г. выпущен в серии "Библиотека драматурга" (*Андреев Л.* Пьесы / Сост., подг. текста и примеч. В. Чувакова. М.: Искусство, 1959). Следующее, тщательно откомментированное издание его драматических произведений, которое включало 13 наиболее значительных пьес, было осуществлено через 30 лет (*Андреев Л.Н.* Драматические произведения: В 2 т. / Сост., автор вступ. статьи и примеч. Ю.Н. Чирва. Л.: Искусство, 1989–1990).

Особо необходимо остановиться на Собрании сочинений Леонида Андреева в шести томах (М.: Худ. лит., 1990–1996; редакторы И.Г. Андреева, Ю.Н. Верченко, В.Н. Чуваков). В это издание вошли все художественные произведения, включавшиеся автором в прижизненные собрания сочинений, а также его художественные произведения, оставшиеся хронологически за пределами 17-го тома ("Книгоиздательство писателей в Москве"). В качестве дополнения в шестом томе представлена избранная публицистика по 1919 г. включительно. Отобраны главным образом его статьи, очерки и фельетоны на темы литературы и искусства. Впервые переиздан запрещенный цензурой очерк-некролог "Памяти Владимира Мазурина" (1906). Значительное внимание в шеститомнике уделено подготовке текстов. Сверка опубликованных при жизни Л.Н. Андреева текстов в собраниях его сочинений с первыми публикациями и там, где это было возможно, с рукописями в ряде случаев позволила устранить корректорские погрешности прижизненных изданий. В комментариях прослеживается творческая история произведений, приводятся отзывы современной Андрееву критики о его сочинениях. Собрание сочинений Леонида Андреева в шести томах как по полноте, так и по подготовке текстов (в нем отсутствуют варианты, черновые наброски, фрагменты незавершенных произведений) не является академическим, но, без сомнения, это

самое полное и достаточно тщательно подготовленное издание сочинений Андреева, предшествующее академическому.

Что касается издания нехудожественных текстов, то здесь особенно нужно отметить выход 72-го тома серии "Литературное наследство" – "Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка" (М.: Наука, 1965). Политическая публицистика Андреева времен Февральской и Октябрьской революций вошла в сборник: *Андреев Л.Н.* Перед задачами времени: Политические статьи 1917–1919 годов / Сост. и подг. текста Р. Дэвиса. Benson (Vermont): Chalidze Publications, 1985. Ричардом Дэвисом совместно с Беном Хеллманом также был подготовлен фундаментально откомментированный том документальных материалов, касающихся последних лет жизни писателя (*Андреев Л.* S.O.S.: Дневник (1914–1919); Письма (1917–1919); Статьи и интервью (1919); Воспоминания современников (1918–1919) М.; СПб., 1994). Публицистика 1916–1919 гг. вошла в книгу: *Андреев Л.* "Верните Россию!" / Сост. И.Г. Андреева; коммент. В.Н. Чуваков. М., 1994. Из других существенных публикаций нужно отметить издание двух тетрадей студенческих дневников Андреева, подготовленное Н.П. Генераловой (*Андреев Л.* Дневник 1891–1892 гг. // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 г. СПб., 1994. С. 81–141; "Дневник" Леонида Андреева // Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. СПб., 1994. С. 247–294).

* * *

Материалы в настоящем издании располагаются следующим образом:

– художественные произведения;
– публицистика и критика;
– дневники;
– письма.

Распределение произведений внутри серий хронологическое. Законченные произведения размещаются по дате их написания. Такой датой признается время завершения основной работы над произведением. Произведения с предположительными охватными датами (в пределах нескольких лет, месяцев или дней) помещаются по конечной дате, а дневниковые записи и письма, занявшие несколько дней, – по начальной. Произведе-

ния, датированные приблизительно, помещаются после произведений, имеющих точные даты.

Как исключение в самостоятельный раздел вынесены произведения Андреева, имеющие шуточный характер и не предназначенные автором для печати; это всевозможные юмористические сценки, стихотворные и прозаические послания и т.п., которые писатель сочинял для своих близких и друзей. Все подобные тексты, независимо от времени написания, публикуются в последнем томе художественных произведений.

* * *

Работа над информационно-текстологической базой Полного собрания сочинений и писем Л.Н. Андреева, а также подготовка первых версий томов 1 и 2 были осуществлены благодаря финансовой поддержке ИНТАС (Европейский Союз), грант INTAS-97-20309.

Рассказы

1892–1899

В ХОЛОДЕ И ЗОЛОТЕ

Несмотря на ранний час, в маленькой квартирке Лавровых, состоящей из одной комнаты и маленькой кухни, движение.

Лаврова, старушка лет пятидесяти пяти, бедно, но чисто одетая, тихо убирает комнату. Щетка нечаянно выпала из рук старушки, она вздрогнула и кинула испуганный взгляд на небольшой диван, на котором, съежившись, спал молодой человек, ее сын.

– Чуть-чуть не разбудила, – произнесла старушка, покачивая головой, и, подойдя к сыну, заботливо поправила сбившееся одеяло.

– Как ежится-то, бедненький, и коротко-то, и холодно-то... надо поскорее затопить...

И старушка быстро принялась за печку.

Когда в комнате было совершенно прибрано и самовар стоял уже на столе, старушка подошла к сыну и, осторожно дотронувшись до плеча, тихо произнесла:

– Саша, Сашенька.

– А-а, что? – встрепенулся молодой человек. – Разве поздно?

– Девятый час, мне и то жалко было тебя будить, да ты велел.

– А-а-а, – потянулся молодой человек. – А что сегодня у нас?

– Воскресенье, и зачем вставать-то так рано, ведь в университет не идти.

– Нужно мне, матушка, – произнес Лавров и снова потянулся. – Матушка, да что это вы делаете? – быстро вскочил он с дивана, видя, что старушка взялась чистить его сапоги. – Оставьте, я сам.

– Сашенька, голубчик, голыми-то ногами по полу, – встрепенулась старушка. – Оставлю, оставлю, только, ради Христа, сядь, простудишься.

– Ничего, матушка, не простудимся, – беззаботно произнес Лавров, – что с нами сделается.

Окончив свой несложный туалет, Лавров сел к столу, пододвинул к себе стакан чаю с сильным запахом веника, затем

взялся за газету. Между публикациями он перечитал одно место несколько раз, пожал плечами, выдвинул ноги и внимательно осмотрел свои сапоги, начинавшие сильно протираться, потом пиджак, который также не дал ему ничего утешительного. Лавров машинально заболтал ложкой в стакане и задумался.

– Сашенька, – произнесла через несколько минут старушка.

Лавров поднял голову.

– Ты когда от Симонова жалованье получишь?

– Пятого, а что?

– Да денег у меня совсем мало, а завтра за квартиру платить надо... Сашенька, – после небольшой паузы робко начала старушка, – а ты не мог бы у Симонова вперед попросить?

– Ах, матушка, – раздраженно произнес Лавров, – сколько раз я вам говорил, чтобы вы меня об этом не просили, даже...

– Да нет, нет, Сашечка, не сердись, голубчик, я ведь так только.

– Просить, одолжаться этому разжившемуся купчине, – и Лавров раздраженно зашагал. – Прошлый раз просил, так и то, вперед я, говорит, не люблю платить.

– А какое сегодня число? – обратился он к матери.

– Двадцать пятое.

– У-у, еще десять дней. А что, у вас мало осталось?

– Совсем мало. Отдам за квартиру, только четыре рубля останется.

– Четыре рубля, – в раздумье произнес Лавров, – далеко не уедешь. Ну уж, матушка, как-нибудь обернитесь.

– Да понятно, я ведь только так, а ты, голубчик, не беспокойся, хватит.

Сын и мать задумались.

– А ты, кажется, Сашечка, куда-то по публикации хотел идти?

– Хотел-то хотел, да... – и Лавров прищелкнул языком.

– А что же?

– Да видите ли: "нужен репетитор, – прочел Лавров публикацию, – Литейная, Вольский, собственный дом".

– Ну, что ж такое? Значит, люди богатые.

– Вот то-то и есть, что богатые. Так как я в таких-то? – и Лавров выставил свои ноги.

– Да, да, – сокрушенно закачала старушка головой, – как прорвались-то. И как тебе холодно должно быть?

– Да это-то пустяки, – произнес Лавров, – а вот как я в таком пиджаке да сапогах в квартиру "домовладельца" войду.

– Хоть бы ты, Сашечка, у кого-нибудь занял.

– Занял! Легко сказать, занял, а к кому я пойду; мои товарищи такие же нищие, как и я, а не идти же к богатеньким, милости просить, "дайте, мол, на сапоги".

– О-о-ох, Сашечка, Сашечка, и когда-то ты университет-то кончишь, просто жду не дождусь, – со вздохом произнесла старушка.

– Что ждать-то; еще неизвестно, лучше ли будет.

– Ой, голубчик, что ты, Господь с тобой, – замахала старушка руками, – и не говори, меня не разочаровывай, я только и думаю, сплю и вижу это время.

– А что, матушка, уж очень разве туго живется? – произнес Лавров, крепко обняв мать и любовно заглядывая в ее доброе лицо.

– Сашечка, дорогой мой, да разве я ропщу, разве я для себя, болит, глядя на тебя, душа, как ты самые лучшие годы в труде да в нужде проводишь; вон другие...

– Полно, матушка, чего меня жалеть; работать надо, пока силы есть; вот того жалеть надо, кто и рад бы работать, да не может. А вы обо мне, родная, поменьше думайте.

– Золото ты мое, – произнесла старушка со слезами на глазах и, прижав к груди сыновнюю голову, крепко ее поцеловала.

Лавров редко говорил так с матерью. Теперь в горле у него что-то защекотало, он заморгал глазами и, чтобы не дать себе воли, быстро поднял голову и зашагал по комнате.

– Ну, однако, идти пора. Будь что будет, попытаюсь.

– Иди, иди, родной мой, – произнесла старушка.

Лавров опять внимательно осмотрел себя, еще раз обчистил свой пиджак, подмазал сапоги, стараясь замаскировать протершиеся места.

– Ну, прощайте, матушка, – подошел он к матери.

Та крепко его поцеловала и перекрестила широким крестом.

– Меня, матушка, обедать не ждите, я у товарища отобедаю.

– Хорошо, родной мой, хорошо. Только к ужину купи чего-нибудь.

– Кому, вам? – обернулся Лавров.

– Что ты! Когда я ужинаю? Себе.

– Хорошо, – произнес Лавров, скрываясь за дверью.

– Сокровище ты мое, – послала ему вслед старушка.

А Лавров, выйдя на улицу, размышлял:

"Ужинать нельзя, и без ужина обойдемся. Уж меньше, чем на пятнадцать копеек, ничего не купишь. Ну, вчера не ужинал – пятнадцать копеек, сегодня не буду – тридцать, да еще в чем-нибудь сэкономлю, и можно будет купить книгу". А книга ему

обязательно нужна. Недавно еще он делился этой книгой с товарищем, а теперь товарищ переехал далеко, надо купить свою собственную.

"Да, жизнь-то, правда, каторжная, – продолжал размышлять Лавров. – Да мне-то ничего, а вот старуху-мать жалко, хотелось бы ее на старости лет успокоить. Ведь и родится же на свет такое несчастное созданье; то с отцом-пьяницей сколько лет возилась, сколько горя и оскорблений приходилось переносить, теперь бедность этакая, шубенки у старухи путной нет, придет всегда вся закоченевшая. Сама все стирает, порет да чинит".

В этих размышлениях Лавров дошел до Литейной.

"Ну, где-то этот дом моего будущего патрона?" – оглянулся он вокруг.

"Ишь ведь какие все палаты понастроены. Все богачи, богачи, – произнес Лавров, заглядывая в окна бельэтажей. – А там вон, в пятом этажике, и наш брат", – размышлял Лавров, добродушно улыбаясь.

"А эти? живут себе припеваючи, ни о чем не заботятся, не беспокоятся, сыты, обуты, одеты... А почем знать? – остановил сам себя Лавров, – и в этих хоромах, может быть, живут несчастные, истинно несчастные душой... Почем знать?"

«"Дом Николая Михайловича Вольского", – прочел Лавров. – Ух, домина-то какой, видно, у хозяина-то денежки водятся в изобилии».

– Николай Михайлович Вольский здесь живет? – обратился Лавров к швейцару.

– Здесь, а вам что? – без особой почтительности спросил тот.

– Они ищут учителя. Дома они?

– До-о-ма, – протянул швейцар, внимательно осмотрев Лаврова с ног до головы. – Вот в первом этаже, первая дверь налево.

Лавров зашагал по устланной ковром лестнице, провожаемый насмешливым взглядом швейцара. «Ну уж, батенька, – послал он вслед Лаврову, – вряд ли поладишь, тут не "этакого" надо».

"Ух, какая роскошь, – рассуждал сам с собой Лавров, идя по лестнице, – ковры, цветы, зеркала... Однако мой костюм не совсем гармонирует со всей этой роскошью", – подумал он, взглянув мимоходом в зеркало.

– Тут ищут учителя? – объявил он лакею, отворившему дверь.

Лакей ввел его в гостиную и пошел доложить. Лавров оглянулся вокруг.

"Господи, роскошь-то, роскошь какая! Куда ни взглянешь,

везде деньги, – и невольно опять он кинул на себя беглый взгляд в зеркало. – Вот так залетела ворона... даже совестно на себя смотреть, – уж с досадой думал Лавров. – И дернуло же меня идти, надо было вернуться".

– Барыня сейчас выйдут, – объявил лакей.

"Вот еще сюрприз – объяснение с барыней. Выпорхнет какая-нибудь затянутая кукла, изволь объясняться... И эти сапоги, пиджак, я думаю, такой костюм первый раз видит этот салон. И дернуло же меня..."

Эти размышления были прерваны. Легкой, плавной походкой в комнату входила молодая женщина с бледным, утомленным лицом.

Увидав Лаврова, она как будто смутилась. Лавров заметил это, и густая краска залила его щеки. "Мой костюм, кажется, производит должное впечатление", – промелькнуло у него в голове.

– Вы по публикации? – любезно обратилась Вольская, усаживаясь на диван и указывая Лаврову место около себя.

– Да, – отрывисто произнес Лавров.

– Вам уже приходилось иметь дело с учениками? – снова тихим, мягким голосом начала Вольская.

– Как же, и не один раз, – все так же отрывисто, почти грубо отвечал Лавров.

– Видите ли, моему сыну только девять лет, он мальчик способный, но очень болезненный, впечатлительный, с ним надо быть как можно осторожнее, не утруждать его очень учением. У него в первый раз учитель. Собственно, я за женское воспитание, мне кажется, ему еще слишком рано мужское, но этого хочет мой муж. А потому, если мы поладим, то я попрошу вас быть с ним как можно осторожнее, не прибегать ни к каким резким мерам, ни к наказаниям.

Вольская говорила тихо, спокойно, в ее голосе слышалась какая-то добрая, чувствительная нотка; она совсем не подходила к тому портрету, который нарисовал себе Лавров перед ее появлением.

"Кажется, барыня-то ничего себе", – думал Лавров, и с лица его понемногу начало сходить угрюмое выражение.

– Зачем же прибегать к каким-нибудь мерам, – начал он. – Ведь они годны к известному роду детей. Да я вообще против всяких сильных мер, они большею частью озлобляют или убивают детское самолюбие, а это главное, что надо щадить и оберегать.

Вольская все время с большим вниманием слушала Лаврова, ловя его каждое слово.

– Да, да, – произнесла она, – именно так, вы правы, совершенно правы. Я очень рада, что вы одинакового со мной мнения.

Вольская положительно начала нравиться Лаврову, она говорила с какой-то ласкающей мягкостью, в манерах и в разговоре ее виднелась какая-то непринужденная простота, что Лавров забыл и свои сапоги, и пиджак, и то, что он сидит в роскошной гостиной.

– Я бы очень хотела, – продолжала Вольская, – чтобы мой мальчик вас полюбил, это главное; когда дети любят своих учителей и наставников, учение всегда идет хорошо и не бывает им в тягость.

– Не знаю, поладим ли мы с вашим сыном, но в этом отношении я был всегда счастлив, все мои ученики меня любили...

– Да? – с довольной улыбкой произнесла Вольская. – Очень рада это от вас слышать. А моего мальчика не трудно привязать, с ним надо быть только ласковее. Не знаю почему, но мне кажется, вы сумеете.

– Благодарю вас за доверие, постараюсь вполне оправдать его, – произнес Лавров, привставая с места, и хотел протянуть руку, но сейчас же отдернул. «Может быть, и не желают "учителю" руки подавать», – вмиг пронеслось в его голове.

Вольская, заметив это движение, с ласковой улыбкой протянула ему руку, которую, сконфуженный своим поступком, Лавров неловко пожал.

– Теперь поговорим об условиях, – снова начала Вольская. – Сколько вы желаете за ваш труд?

– Право не знаю, – потирая свой лоб, произнес Лавров, который всегда смущался, когда разговор касался денежного вопроса. – Я разно беру... ведь с вашим сыном придется каждый день заниматься.

– Да.

– Мне, значит, надо будет отказаться от одного места, где я репетирую два раза в неделю.

– Да, я вас попрошу... Ну так сколько же?

– Да право не знаю. Вы сколько другим платили?

– Мне еще не приходилось иметь дело с учителями, – улыбаясь отвечала Вольская. – И притом, как же я могу ценить чужой труд, вы сами должны назначить.

Лавров молчал.

– Ну, сколько вы получаете на том месте?

– Пятнадцать рублей.

– Ну вот, вы потеряете из-за меня урок в пятнадцать рублей, – помогала ему Вольская. – Да за ваш труд у меня... Ну сколько же?

Ну... шестьдесят рублей будет достаточно? – точно сама с легкой запинкой докончила Вольская.

Лавров покраснел.

– Более нежели достаточно.

– Ну и прекрасно, прохóдите к нам с неделю, а там, если условия наши вам покажутся неудобными, вы перемените.

– Нет, зачем же менять, – бормотал все еще смущенный Лавров.

– Значит, мы покончили. Теперь я попрошу немного подождать, я хочу познакомить вас с моим сыном, он сейчас должен кончить урок музыки, и завтра же можно будет начать уроки.

Вольская перевела разговор, расспросила Лаврова, как он живет, много расспрашивала его о матери. Лавров совершенно забыл, что он говорит с "богачихой" и с "светской барыней", и незаметно для самого себя коснулся самого больного места своей жизненной обстановки. Вольская с участием слушала его. Выбрав удобную минуту, она обратилась к нему:

– Я вас и не спросила, как желаете вы получать жалованье, вперед или по истечении месяца?

– То есть, как это, понятно было бы... Нет, нет, по истечении, – поспешил окончить Лавров.

– Вы, пожалуйста, не стесняйтесь, мне решительно все равно, – произнесла Вольская, приподнимаясь с места.

– Но ведь это будет не совсем удобно, – бормотал сконфуженный Лавров.

– Чего же тут неудобного? – совершенно просто заметила Вольская и, не дав времени себе возразить, быстро встала и, выйдя из комнаты, через несколько минут возвратилась.

– Будьте так любезны, получите, – произнесла она, подавая вконец растерявшемуся Лаврову деньги.

– Нет, это совсем неудобно, нет, нет, я не возьму, – решительно произнес Лавров, кладя деньги на стол.

– Полноте, да не все ли равно, я вас прошу взять, – совершенно серьезно настояла Вольская.

Лавров краснея принял деньги и неловко запихал их в боковой карман.

– Мне, право, так неудобно... Я ни за что бы не согласился, если бы не мой костюм... Он меня так стесняет... – совершенно путаясь, говорил Лавров.

Вольская перебила его и опять перевела разговор на другую тему.

В передней раздался звонок.

– Кто это может быть? – нетерпеливо пожала плечами Вольская.

Послышались шаги, и через минуту, с надменным, презрительным лицом, появился на пороге высокий брюнет. Он в недоумении остановился на пороге и с каким-то брезгливым выражением остановил свой взгляд на Лаврове, тот почувствовал на себе этот взгляд и, вмиг оценив его значение, опустил глаза. Бедного студента точно кинуло в жар, так сильно покраснел он. Вольский перевел вопросительный взгляд на жену. Та совершенно растерялась. Несколько секунд продолжалась эта тяжелая немая сцена.

– Я тебя никак не ждала, так рано, – каким-то сконфуженным голосом произнесла Вольская.

– Да заседание отложено, – не спеша произнес Вольский, продолжая смотреть то на жену, то на Лаврова.

– Вот господин Лавров, – как-то несмело, почти виноватым голосом снова начала Вольская, – согласился принять на себя труд репетировать нашего сына.

– Очень жаль, ma chère*, – с расстановкой произнес Вольский, – что ты поторопилась окончить с господином Лавровым без меня.

Тон Вольского не предвещал ничего хорошего. Вольская подняла растерянный, почти умоляющий взгляд на мужа. Тот как будто не заметил этого взгляда и продолжал:

– Я сейчас условился с одним репетитором.

– Как же это... но ведь я совсем окончила с господином Лавровым... можно тому отказать.

– Не могу, – пожал плечами Вольский, – я дал слово.

– Значит, мои услуги не нужны? – угрюмо, не поднимая головы, произнес Лавров.

– Нет, – четко проговорил Вольский и позвонил.

– Мне остается только раскланяться, – произнес Лавров и поклонился.

– Проводи, – приказал Вольский появившемуся лакею.

Лавров сделал несколько шагов, но тут вспомнил, что у него вперед взяты деньги, остановился и неловко положил их около Вольской, которая, совершенно растерявшись, стояла опустив глаза. Вольский с холодным презрением следил за всей этой сценой.

– Кто это такой, ma chère, – невозмутимым тоном начал он, лишь только Лавров скрылся за дверью.

---

* моя дорогая (*франц.*)

Вольская не отвечала и только с горьким упреком глядела на мужа.

– Кто это такой?! Репе-ти-тор, – насмешливо произнес Вольский. – Нет, ma chère, вы больны; вы совершенно больны, это какой-то parvenu*, лакей! Ma chère, да скажите вы мне на милость, что с вами такое?

– Как тебе не стыдно! – только и могла выговорить Вольская.

– Это уж мне у вас следует спросить, кого это вы наняли.

– Учителя, – твердо произнесла Вольская.

– Учи-те-ля... Неужели вы, Nadine, серьезно решились выбрать к вашему сыну подобного "учителя".

– Совершенно серьезно, и не понимаю, как ты решился оскорбить подобным образом бедного человека.

– Я еще виноват! Нашла какого-то прощелыгу, да я же должен с ним церемониться!

– Этот прощелыга нисколько не хуже меня и тебя, – тихо произнесла Вольская, у которой на щеках выступила скрытая краска гнева.

– Нет уж, mon ange**, можете с собой кого угодно сравнивать, а меня уж избавьте, – с ироническим презрением произнес Вольский.

– Что же, – пожала та с горькой улыбкой плечами, – не думаю, чтобы от этого сравнения я пострадала.

– Да, не знаю, пострадали ли вы, но думаю, что сильно пострадал ваш голубой атлас от прикосновения "изящного" костюма вашего репетитора.

Вольская ничего не ответила, она опустила глаза, желая не видеть мужа и хотя немного изгладить то неприятное впечатление, которое произвел он на нее своим поступком.

Вольский также сидел задумавшись. Он шел, чтобы поговорить с женой о важном и приятном деле, и вдруг этот "учитель" и вся эта неприятная сцена. Но надо же как-нибудь поправить. Вольский встал и, пройдясь несколько раз по комнате, подошел к жене, взял ее за руку и грациозно поцеловал.

В движениях и манерах Вольского виделась какая-то изящность, вообще он сразу имел вид, что называется, джентльмена, но, вглядевшись, видно было, что все эти манеры не его, будто он кого-то копировал, и поэтому думал над каждым движением. Все в нем казалось неестественно, натянуто.

---

* выскочка (*франц.*)

** мой ангел (*франц.*)

– А я с тобой хотел серьезно поговорить, Nadine.

– О чем? – перебила его Вольская.

– Да вот видишь ли, – и Вольский ближе подсел к жене, – на днях предполагается бал у барона.

– Опять! – с тоской произнесла Вольская.

– Ну да, опять. Так вот в чем ты будешь?

– В чем? Да в черном или голубом.

– Это, в котором ты была в благородном собрании, да еще к барону на бал, и в одном и том же платье. Нет, ты закажи себе другое. И знаешь, что-нибудь такое поизящнее, поэлегантнее, ну такое, понимаешь, bon ton*.

– Здравствуй, папа, – вошел в гостиную мальчик с бледным, болезненным личиком.

– Здравствуй, мой милый, – произнес Вольский, подставляя свою щеку для поцелуя.

– Мама, я гулять иду, – обратился мальчик к матери.

Вольская крепко поцеловала сына.

– Какой ты сегодня бледный, – заботливо заговорила она, заглядывая в лицо мальчика. – Я слышала, ты всю ночь кашлял, уж идти ли тебе сегодня гулять?

– Нет, нет, мамочка, я здоров, пусти.

– Ну хорошо, мой милый, только оденься потеплее.

– Очень холодно на дворе? – обратилась она к мужу, который шагал по комнате, с нетерпением ожидая, когда можно будет опять начать прерванный разговор.

– Холодно, да... нет, не очень, – не думая произнес он. – Так, Nadine...

– Сейчас, сейчас, – произнесла Вольская, – ну, иди, Коля, да скажи, чтобы тебя потеплее одели; ах, нет... – и Вольская быстро поднялась с места, – я сама тебя одену.

– Nadine, нельзя ли без этого? – строго остановил ее муж. – Вы мне нужны.

– Сейчас, сейчас... Miss, miss! – крикнула она, – оденьте Колю потеплее, cache-nez** непременно, в уши вату...

– Надя, – снова окликнул Вольскую муж.

– Ах, Боже мой, да сейчас, – с тоской произнесла та.

– Неужели нельзя устроить, чтобы всюду не самой соваться. Кажется, на каждого ребенка по две мамки и няньки, и ты все-таки всюду сама и сама, – с брюзгливым раздражением заговорил Вольский.

---

* хороший тон (*франц.*)

** шарф, кашне (*франц.*)

– Но, Nicolas, разве можно надеяться, не то что сама...

– Итак, видишь ли, – перебил жену Вольский, продолжая прерванный разговор, – барон должен быть у меня по делу, я его попрошу остаться на чашку чая. Ты, пожалуйста, оденься хорошенько, и чтобы было все сервировано хорошо, но только чтобы все это не носило вида, будто его ждали. Пожалуйста, будь с ним полюбезнее, он человек мне очень нужный. Будет он у меня завтра, часов в одиннадцать.

– Завтра! Но я завтра не буду дома.

Вольский в удивлении остановился перед женой.

– Кажется, можно дело отложить для такого случая.

– Не могу, завтра именины моего покойного отца, я всегда бываю в этот день в церкви, служу панихиду.

– Можно один раз не делать этого.

– Нет, я не могу, – решительно произнесла Вольская.

– Ну, если я говорю, что мне нужно, очень нужно, чтобы вы остались. Понимаете ли, что для моих служебных целей мне нужно, чтобы барон был у меня запросто... Тут надо ловить, пользоваться случаем, а вы... из-за каких-то глупых предрассудков... Вы должны помогать мне в подобных случаях... а вы просто мешаете, мешаете... – раскрасневшись от гнева и сильно возвышая голос, говорил Вольский.

– Хорошо, – тихо произнесла Вольская, – я остаюсь.

Вольский сразу смягчился.

– Ну да, Nadine, ты, право, бываешь возмутительна с твоим упрямым характером. Ведь невозможно же жить постоянно так, как там, в твоей излюбленной Тамбовской губернии. Надо помнить, что мы не в имении, что мы в столице, что имеем дело с людьми, с настоящими людьми, что уже прошло то время...

– И как я жалею его, то время, ту жизнь, – с грустной улыбкой произнесла Вольская.

– Ну да... да... ты привыкла, втянулась в ту мещанскую жизнь, в мещанскую обстановку, распустилась в ней, привыкла исполнять роль "хозяйки", чуть ли не няньки. Вот тебе после твоих "Липок" все и кажется натянутым, трудным. Но надо подтянуться, сжиться с этими людьми, с их жизнью... привычками... Надо знакомиться, развлекаться, составить себе общество... А тебя на каждый вечер, бал, чуть ли не на аркане тащить надо. Вот уж три месяца, как мы тут, и ты не можешь выбрать себе никого по душе, от всех ты сторонишься...

– Как не могу, я многих себе выбрала, но кто мне нравится, тебе не симпатичны. Вот мне нравится, страшно нравится жена

твоего помощника, я с ней так сошлась, ты нашел это знакомство неудобным, неприлично заводить близкое знакомство с женой подчиненного, потребовал, чтобы я его прекратила.

– Понятно, смешно... Ты все каких-то там выискиваешь. Отчего же, например, не выбрать...

– Ну, кого же, по-твоему? – мягко произнесла Вольская.

– Ну хоть бы Салину, баронессу.

– Этих-то раздушенных пустышек! Да о чем я с ними говорить-то буду, о балах, костюмах, восхищаться их красотой?.. Все это хорошо раз, два, но постоянно...

– Вот, вот, опустилась, тебе и скучно с порядочными людьми, ты и сидишь, повеся нос, все чем-то недовольна, чего-то хочешь, хочешь...

– Чего я хочу? Разве я могу чего-нибудь желать? – с тоскливой улыбкой произнесла Вольская. – Разве я могу хоть что-нибудь сделать без того, чтобы не быть тобой проверена, остановлена? Я все должна делать, что ты хочешь.

– Однако, каким тираном вы меня выставляете, – полушутливо-полусерьезно произнес Вольский. – Неужели я так вас во всем стесняю? В чем же это?

– В чем? Ну вот хоть бы теперь; мы не больше часу сидим в этой комнате, и сколько раз ты меня остановил: не делай того-то, не делай этого...

– Что же это такое, например? – уже раздраженно покусывая губы, произнес Вольский.

– Как что? Я наняла учителя, ты его прогнал, безжалостно прогнал, я не хотела остав... да во всем, положительно во всем ты меня стесняешь, заставляешь, наконец, идти против самых моих заветных привычек, желаний. С детьми заниматься тогда-то, при том-то можно их звать, при другом нельзя...

– Ну, продолжайте, продолжайте, бедная, забитая жена!

– Nicolas, оставь этот тон; ты отлично знаешь, что никогда я забитой не представлялась...

– Как же! Несчастное, забитое создание! Не достает еще упреков, как ваша матушка, что мы не умеем жить, что я проматываю "женино" состояние; ну, продолжайте, продолжайте...

– Я тебе никогда ничего подобного не говорила.

– Не говорила, так будешь говорить! – багровея от гнева и сильно возвышая голос, произнес Вольский.

– Что я сказала тебе такого, чтобы заставить тебя так кричать? – тихо остановила Вольская мужа.

– Как же, помилуйте, упреки, сцены!

– Кто же их делает? Вольно же тебе так волноваться. Что я сказала? Попросила, чтобы мне хоть немного дали свободы, не стесняли бы меня в моих привычках, моих поступках...

– Значит, твои поступки так непозволительны, что должны кидаться всем в глаза, и надо тебя остановить!

– Мало ли что должно кидаться всем в глаза и что мне не нравится в твоих действиях, да я же молчу, – с тихим вздохом, пожимая плечами, произнесла Вольская.

– Что же это такое, скажите, пожалуйста, – вызывающим тоном произнес Вольский.

– Да ведь ты опять рассердишься, что же говорить.

– Ах, нет, пожалуйста, пожалуйста, я вас прошу, – иронически произнес Вольский.

– Да много, очень много; ну хоть бы это подражание во всем кому-то и чему-то, разве это не заметно? Мы должны казаться просто смешны... Барон купил себе серых лошадей, мы завели сейчас таких же; Салиной привезли какое-то необыкновенное платье, я должна делать себе такое же. Мы положительно перестали жить для себя, живем для "света", из своего дома делаем какую-то модную гостиную, чтобы не отстать от других, зазываем к себе каких-то графов и баронов, чуть не пляшем перед ними...

– Нет, нет, это невозможно! – закричал Вольский. – Ты не жена, ты Бог знает что! Тебе все равно, мужнина карьера... положение... Ты не друг мужу, ты враг, нет, хуже врага, хуже!..

И сильно хлопнув дверью, Вольский вышел из комнаты.

Молодая женщина глубоко, прерывисто вздохнула.

"И это жизнь, сегодня, вчера, завтра..."

Она подошла к окну и растерянно начала глядеть на улицу. В глазах ее стояли слезы.

А на улице суетня и шум: едут, идут, спешат куда-то. Вот пролетели сани с тысячными рысаками, и сейчас же скорой походкой, ежась от стужи, прошел старик: пальто все изорвано, сапоги худые.

"Как ему должно быть холодно в таких сапогах... И у того такие же были..."

Перед Вольской предстал Лавров, с честным, симпатичным лицом и в своем ветхом костюме.

"Бедные! И сколько таких несчастных, холодных, голодных... А она, в своем золоте? Разве она счастлива?" И на ее высокий корсаж упала светлая капелька.

ОН, ОНА И ВОДКА

Друг, друг желанный ты мой!
Кто беспокойному сердцу ответит?
Море любви ему в вечности светит,
Светит желанный покой!..

Он любил ее, но она его не любила... А может, и любила, но странно как-то вышло все это.

Говорили, что его и не стоило любить, но едва ли это правда. Он не был ни слишком умным, ни слишком глупым человеком, т.е. был как раз создан для любви. И действительно, всю почти жизнь он служил ей, как иные служили мамоне, а иные Богу. Только и служил он так же несуразно, как и жил.

У него не хватало винта. В голове ли, или в ином месте, но не хватало. Это было крайне неудобно. Все у него шаталось, скрипело, падало и одно мешало другому. Были у него таланты, но лишь станет он их разрабатывать, ум говорит:

– А ни к чему все это.

К черту таланты. Начну развивать ум, ан таланты наружу лезут и такой производят в уме кавардак, что не то он ученый, не то художник чистого искусства, не то просто черт знает что. Знакомые, родственники и друзья сперва возлагали на него надежды, потом стали удивляться, а под конец махнули рукой. А был ли он виноват, что мать-природа приготовила его, как молодая кухарка кушанье готовит: и мяса вдосталь, и корешков – совсем бы хорошо, да посолить позабыла!

Долго жил он таким образом и все больше развинчивался, пока совсем невмоготу стало. Ничему он не верит, ни на что не надеется, а себя ненавидит. Ненавидит также и презирает людей – как это вообще свойственно натурам талантливым, но плохо выпеченным. Встретит в сухую погоду добродушного человека в калошах и с зонтиком: – "Наверно пошляк!" – думает он и дня два чувствует тоску. И одолела его хандра, такая свирепая хандра, что, будь он англичанином, он зарезался бы. Но он был чисто русским и потому купил бутылку водки. Стал ею резаться; резался, резался – скучно стало. Да и друзья, родственники и знакомые, а больше всего незнакомые начали возмущаться: сидит человек и пьет!

Попробовал он служить мамоне – бросил. Затем поочередно бросал науку, литературу и искусство, пока нечего стало бросать.

Дядя сказал ему, что остается еще служение человечеству, но он меланхолически ответил:

– Давно заброшено, и так далеко, что и я дальше не заброшу.

Пил он, пил водку – надоело. Яблони цвели; воздух благоухал; луна светила, природа требовала жизни и любви, и в каждом темном уголку сидела парочка.

– На то я и царь природы, чтобы стоять выше ее слабостей, – сказал он и решил зарезаться. Вынул бритву и...

– А впрочем, постой! Иногда полезно следовать своим слабостям. В общем женщина – зло природы, но в частности любовь двигает горы. Должна же быть хоть одна женщина, которую стоит любить. Эта женщина спасет меня.

Начал он искать женщину. Она сейчас же нашлась. С великим изумлением и радостью он воскликнул:

– Сударыня, да я вас искал!

Она ответила:

– Очень приятно.

Любовь началась, продолжалась и благополучно кончилась. Жития ее было 3 месяца.

Он купил новую бутылку, уселся на своих развалинах и стал пить, сказавши:

– Нет, не та...

Сидел он и пил, пока не стало скучно.

– Пойти разве еще поискать? – подумал он. Отправился и опять тотчас же нашел. Это была удивительная женщина. Она могла любить трех сразу. Когда он узнал об этой способности, он сказал:

– Сударыня, прощайте.

Она ответила:

– Сударь, до свидания.

Водка, потом третья женщина. Эта была еще удивительнее. Она не могла любить ни одного, но так как в ее года принято любить, то она с успехом подражала. Но в одном случае у нее не хватило образца, и он догадался, что то была не любовь, а подражание. Он вежливо раскланялся, а она, не понимая, в чем дело, обиделась.

Общественное мнение также обиделось, не понимая, в чем дело, и назвало его человеком вредным и опасным.

– Нет, к черту женщин! – сказал он себе, сидя в трактире за полбутылкой водки и слушая, как машина нажаривала попурри из "Жизни за Царя". Ему хотелось поговорить, но не с кем было. Как и у всякого, у него были задушевные друзья, но однажды он заметил, что, когда он говорит о себе, друзья засыпают, а когда они о себе – он засыпает.

– К черту женщин! К черту Платона с его сказкой о двух половинках! Как и вера, любовь – отрицание разума. Да здравствует Шопенгауэр!..

Рюмку водки и бутерброд!

Но к черту женщин он не послал. Они подобны подсолнухам; раз станешь лущить (грызть), потом трудно отстать. Да и к тому, чем хуже встречались ему женщины, тем более росла в нем вера, что есть та, которая нужна ему.

И вот начал он менять их, одна за другой, чередуя с рюмкой водки и бутербродом. Довольно долго это продолжалось.

Общественное мнение возмутилось окончательно. Несколько знакомых перестали кланяться; проснулись двое друзей и потребовали назад свою дружбу.

Но и он также возмутился. Его жертвы утешались весьма скоро, а у него после каждой любви душа бывала в таких лохмотьях, как будто ее собаки изорвали. Под конец уж и зарастать перестала. Поэтому он вздохнул и даже, кажется, плюнул, вынул бритву, тщательно поправил ее на ремне и... Но тут... удивительные шутки шутит иногда судьба.

...То было в лесу, в зеленом веселом лесу. Ярко светило солнце, ласково шелестели вершинами деревья; одуряющие испарения подымались от нагретой земли. И в ореоле солнечных лучей, в блеске и свете яркого дня явилась пред ним она – та, которую он искал, та, для которой безумною силой забилось его больное, измученное сердце. Лились, трепетали звуки чарующей песни, и заслушались их и голубое спокойное небо, и веселый зеленый лес...

Странное то было существо. Поэт старых времен затруднился бы охарактеризовать ее. Ни ангелом, ни демоном нельзя было ее назвать – но было в ней и черта немножко, и немножко ангела, и нельзя было разобрать, где кончался один и начинался другой. Наивна она была как ребенок, жестока, как могут только быть жестоки дети, и ласкова, как только может быть ласкова женщина. У нее было доброе сердце, но если бы перед ней умирал человек и, умирая, корчил смешные рожи, она захлебнулась бы от смеха. Плакала и смеялась бы.

Почему она была та, которую он искал, он сам не знал. Он даже другой представлял себе искомую женщину, и все-таки был уверен, что это она. Все в ней нравилось ему, не было ни одного темного пятнышка. Раньше другая напишет в письме “крѣпко” через “е”, он не знает, куда деваться от досады. А если б она написала “крѣпко” через “ѳ”, он и это нашел бы восхитительным. Ему нравилось даже, как она сморкалась.

Неважно, как они познакомились и что, познакомившись, говорили. Важно, что через три дня он заявил ей, что он ее искал, нашел и любит.

Она спросила:

– Правда?

Так как ночь была темная, он не имел возможности поклясться луной и звездами и ответил:

– Правда.

Затем она сказала, что любит, а он удивился и спросил: правда? и услышал ответ: правда. Значит, не было сомнений в том, что они любят друг друга.

На один короткий миг ее ручка обожгла своим прикосновением его руку и выскользнула из нее, как мечта, как сон. И не знал он, было ли то правдой, или лес и ночь своим чарующим дыханием усыпили его. Они были полны призраками, эта ночь и лес. Кругом слышался легкий неуловимый шелест; лицо задевали чьи-то легкие и ласковые крылья; чье-то горячее дыхание колебало листья. Все жило и любило и радовалось; действительность была сном, и сон действительностью.

И много дней провел он в этом сне, ибо не было никого, кто ущипнул бы его за нос и разбудил. Но не нужно думать, что он только смеялся во сне. Ему случалось плакать и очень горько. Однажды он омочил таким образом три платка. Дело в том, что чертенок в ней нет-нет да и выскочит.

Раз как-то она три дня скрывалась от него, и когда встретились, сделала вид, что почти незнакома с ним, и назвала его другим именем. В другой раз была очень ласкова; воспользовавшись этим, он стал рассказывать ей про свое горе. И только что он дошел до самого интересного места, она рассмеялась, и смеялась так долго и весело, что он чуть не заплакал. Как в том, так и в другом случае причины объяснить отказалась. Бывал он и на седьмом небе и даже выше. Он поцеловал ее, и она ему ответила. И была такая тихая, кроткая, совсем неузнаваемая. Загадочно смотрели ее глазки, и не мог прочесть он в них своей гибели.

Наоборот, он думал, что спасен. Он видел впереди другую жизнь, полную счастья, света и любви. Он почувствовал, что у него явились неведомые силы, и решил, что винтик нашелся.

Не тут-то было. Он забыл про общественное мнение, но оно про него не забыло. “Он такой, и она такая! Нет! нет!”

У нее были родители и, как свойственно родителям, слушались голоса общественного мнения. Она же была покорная дочь. Поэтому она сказала:

– Прощайте и простите.

Он растерялся и ответил:

– Прощайте.

Орган нажаривал попурри из "Жизни за Царя". Он сидел, пил водку и соображал: она ли не та, или он не тот. И долго соображал он это и не мог сообразить. Шли дни, недели, а он сидел и соображал. Кончилось дело тем, что он увидел чертика, такого зелененького и маленького: сидит и язык ему показывает.

Когда кончилась возня с чертями, у него несколько просветлело в голове.

– Она знала, что́ она для меня, – и простилась со мной. Значит, она не та. Забудем ее. Глупо стрелять из пушки по воробьям.

Но он не забыл ее. Он тысячи раз вспоминал дни своего счастья и мало-помалу отделил ее прежнюю от ее настоящей. О настоящей он не думал. То была другая женщина, чуждая, непонятная ему. А прежняя стала для него полубогом. В мечтах о ней находил счастье. И он знал, что это мечта. Он понимал, что, подойди он к ней поближе, разлетится мечта как дым, увидит он грубо намалеванную картину и краски и полотно.

Но мечта ли то была? Он видел ее, живую ее. Вон сидит она, облокотившись на стол, поднимает глаза от книги и задумчивым, невидящим взором смотрит вдаль. "Быть может, наши взоры встретились", – думал он и удивился своей глупости.

"Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман", – сказал Пушкин и взлез на памятник.

Так он жил и мечтал о ней, и когда его слишком тянуло к ней, он говорил себе:

– Разве ты не знаешь, что ее нет?

Он был молод, и жизнь взяла свое. Он встретил красивую девушку, увлекся ею и женился, думая: "авось проживу как-нибудь, дотяну до конца. Может, жена заставит забыть мечту, может, помимо любви найдется винтик".

Расчет не оправдался. По-прежнему чего-то не хватало у него и он коптил небо и хандрил. По-прежнему мечта владела им и заставляла временами ненавидеть жену. А та была женщина кроткая, простая, любила его бесхитростно и больше занималась его носками, чем его душевным состоянием. Прошел год. Он жил в другом городе и ничего не слыхал о своей мечте.

В один вечер приехал из того города его друг, тот самый, который засыпал всегда при его рассказах. Между прочим, в невинности сердца говорит:

– А она, знаешь ли, сильно убивалась о тебе.

– Пустое!..

– Нет, не пустое. Я и сам говорил о ней, и другие передавали; страх что такое было. Заболела даже.

– Это когда же было? – спросил он, улыбаясь, но бледный.

– А когда ты чертей ловил и потом из города уехал.

Потом друг попросил водки, и они напились. Жена плакала.

Через день друг уехал.

Вот тут-то и началось самое скверное. Она любит! Значит... Нет, это невозможно, это слишком ужасно! Значит, не мечта она, значит, мог быть он счастлив, и жить, и любить, а он... Пропало, пропало все!

Любовь проснулась в нем с небывалой силой. Он ходил дни и ночи и думал о ней. Это походило на сумасшествие. Она теряла формы, реальность. Она сливалась с воздухом, она проникала в тело, она была во всякой вещи, которую он видел. Он уже не представлял себе ее лица, улыбки. Представление о ней, что представление чего-то бесформенного, ужасного, что надвигалось на него, опутывало, присасывалось, как осьминог, давило, как кошмар.

И вот он написал ей. Рассказал о своих мучениях и спрашивал, вправду ли мучилась и она. Ответ получился скоро:

"Да, я любила вас сильно, как никого не полюблю никогда. Мне запретили видеться с вами; я не хотела, я не могла ослушаться, дорожа спокойствием и здоровьем близких. Не дешево досталось мне это. Вы уехали, женились потом – я успокоилась и – простите – стала забывать о вас. Напрасно расшевелили вы это прошлое, оно не может вернуться. Вы женаты, я люблю другого. Забудьте о моем существовании".

Он даже смеялся, прочтя письмо.

"Так вот как, забудьте! Когда заживо погребенный, придя в себя, борется со смертью, напрягает легкие, чтобы захватить хоть каплю воздуха, разрывает ногтями грудь, грызет пальцы, не понимая, не сознавая ничего, весь обратившись в одно смертное желание, в одну мысль: воздуху, воздуху! – ты советуешь ему забыть о воздухе. Пойми, что ты необходима, необходима мне... я гибну без тебя..."

И он заплакал и стал вправду царапать грудь и рвать волосы. Когда образовалась порядочная плешь, он успокоился и стал хладнокровно соображать. Курьезные то были соображения.

"Я не могу без нее жить и должен убить себя. Но я убью себя, а она будет жить и любить другого. Другого!.."

(Вырвано несколько волос.)

"Нет... Пока ты не полюбишь, не полюбила другого, я могу спокойно сравнительно жить вдали от тебя, но если другой..."

(Еще несколько вырвано.)

“Я убью и тебя. Ты отдана мне судьбой, и в могилу унесу я тебя. Забыть... она любит другого... Нет, нет. А жена? Тьфу, жена!”

И вот, обдумавши хладнокровно, он решил убить ее и себя. Обыкновенно у него решение не переживало и одного дня, но на этот раз устояло. Любовь двигает и горы.

Откуда-то у него взялась хитрость и изворотливость. Он успешно обманул ничего не подозревавшую жену и уехал в город, где жила “она”. Там он пил водку и искал случая. Видел между прочим и “его”, другого. Волос на голове почти не осталось.

Наконец...

...Он поднялся на цыпочки и заглянул в окно, в ее окно. Оно было завешено изнутри, и он ничего не увидел; но вот под пальцами подалась рама.

“Не заперто!”

Вот он на подоконнике. Брехнула собака. Он разом отдернул занавеску и увидел ее. Она спала, тихо и безмятежно, как ребенок. Алели ее чистые щеки и полуоткрытые уста, под глубокою тенью ресниц, казалось, блистали задумчивые, не лгущие глазки. Спутавшиеся кольцами волосы рассыпались по девственно вздымавшейся груди.

Он осторожно прыгнул в комнату и подошел к ней. Наклонясь над изголовьем, он устремил тяжелый, неподвижный взор на ее лицо. Под влиянием взгляда она зашевелилась, вздохнула и открыла глаза.

– Ты!.. – тихо прошептала она и снова заснула, тихо и безмятежно, как ребенок.

А он выпрямился, провел рукой по лбу, недоумевающим взором обвел комнату, взглянул на револьвер, на нее... и тихо пошел к открытому окну. Там он еще раз взглянул на нее и выпрыгнул.

Пролетели года. Он пил водку, однажды пьяный подрался с мастеровыми, был сильно избит и через два дня умер. Жена раньше куда-то ушла от него. А она жила еще дома, была счастлива и имела многочисленное потомство. Старший сын ее учился в гимназии – хороший, говорят, малый.

ЗАГАДКА

Болотин гордился прямолинейностью и твердостью своих убеждений.

– Уж я что знаю, то знаю, во что верю, в то верю – не то, что вы, господа, "вскую шаташася", – говаривал он товарищам-студентам.

И это была правда.

Большинству студентов он внушал уважение и даже некоторую боязнь, хотя был человеком далеко не суровым. Скорее он отличался чисто болезненной добротой и отзывчивостью. Видя несправедливость, страдал иногда больше, чем сам обиженный. Рослый, здоровый, добродушный, – одним своим видом он прогонял беспредметную скуку, томившую молодость, принося с собой чувство нравственной чистоты и здоровья. Был, однако же, предел, за которым кончались отзывчивость и понимание Болотина. Все, что было вне его символа веры, оставалось ему чуждо и непонятно. Некоторые считали его ограниченным человеком, хотя порой и сами сомневались в этом.

В университете стряслась беда. Было выслано много студентов, среди них и Болотин. Целые три года предстояло ему выжить в глухой провинции, от которой он давно отвык.

– И черта я там делать буду? – размышлял он, стоя на площадке вагона. Поезд грохотал, неслись, кружились и падали искры.

Представилась ему картина провинциальной жизни с картами, водкой и амурничающей молодежью.

– Э, да что тосковать: не звери ведь живут. А коли и звери, буду укрощать их, как Орфей, игрой на арфе. Много там дичи, много – авось хоть искорку света внесу и я в темное царство...

Всю ночь простоял он на площадке, размечтавшись об этой "искорке". Посветлело у него на душе, и три года изгнания казались тремя днями.

Вот и родной город. Он едет на извозчике по знакомым улицам и с радостным чувством смотрит на все. Поспешно прошел мимо сутуловатый гимназист с книжками, за ним другой.

– Эх, ребятки!.. – произнес Болотин, любовно следя глазами за серой фигурой.

Дома встретили его с радостью. Отец, гордившийся им и крайне уважавший всякую "умственность", не осмелился выговаривать Сереже, а мать была рада сыну, как и всякая мать. Он был у них один.

– Ты, брат, не робей. Отдохнешь, а там и работки достанем, – сказал отец.

– Ладно, ладно, старичок мой милый! – засмеялся Сергей, целуя щетинистую щеку отца.

Жизнь скоро вошла в колею. Вначале Сергей только и делал, что отсыпался да отъедался, а в промежутках воевал с отцом. Старик был характерный. В спорах соглашался, а поступал по-своему.

– Мы люди старые, Сережа, – говорил он с тихой улыбкой, когда тот укоризненно, без слов качал головой.

Завязались мало-помалу знакомства. Люди были как все люди в провинции. Старики толковали о службе и играли в винт; жены сплетничали и ругали детей и кухарок, а дети занимались кто чем. Дочки наряжались, читали романы и влюблялись; были, впрочем, и такие, что о курсах мечтали. Сыновья или играли в лошадки, или, постарше, читали Майн-Рида, Писарева и ухаживали за гимназистками. Были среди них, как признак времени, пессимисты, всегда мрачные и торжественные и свысока относившиеся к остальным.

Старики сперва косо посматривали на Болотина, ибо некоторые принимали его за Базарова, еще не устаревшего в провинции. Потом, видя, что он грубостей не говорит и одевается чисто, успокоились. Он стариков и не трогал, а пристроился к молодежи.

Гулял он как-то в общественном саду с двумя гимназистами. Один был пессимист, но лишь недавно посвященный и потому часто срывавшийся, другой – совсем зеленый юнец, жадно внимавший каждому слову Болотина.

– Люди – скорпионы, заключенные в банку, – сказал пессимист.

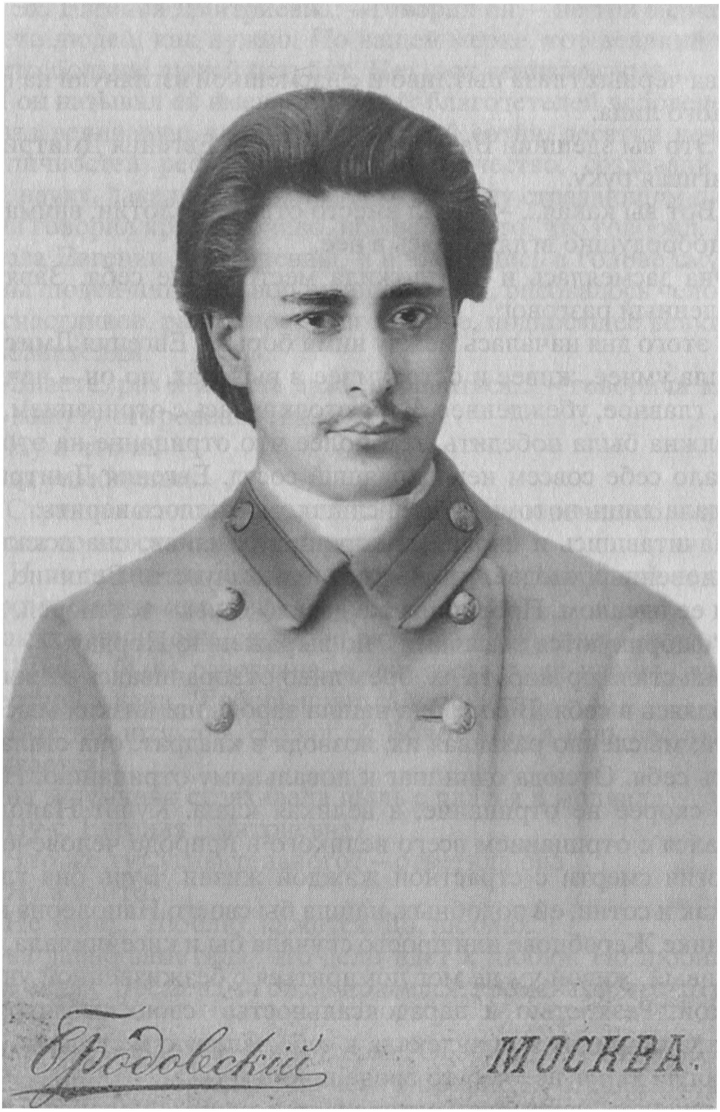
– Вас ужалил кто-нибудь?

– Никто меня не ужалил, а только жизнь – нелепость.

– Все это, голубчик, от безделья.

– От безделья? – вспыхнул гимназист. – Сказали бы вы это Евгении Дмитриевне, она бы вам ответила.

– Батюшки мои, пессимистка! Первый раз слышу. Значит, скверно дело, коли и женщины, с их великим запасом веры и



Л.Н. Андреев – студент Московского университета. Фотография Р.Ф. Бродовского. Москва, 1894 г.

любви, ударились в хандру. Вы не знаете этого чуда? – спросил Болотин у юнца.

– Знаю. Барышня ничего, только слишком важничает. И отчаянная какая-то.

– Познакомьте-ка.

* * *

Два черных глаза пытливо и с насмешкой взглянули на него с бледного лица.

– Это вы здешний Базаров? – спросила Евгения Дмитриевна, протягивая руку.

– Вот вы какая... – сказал вместо ответа Болотин, внимательно и добродушно вглядываясь в нее.

Она засмеялась и предложила место возле себя. Завязался оживленный разговор.

С этого дня началась между ними борьба. Евгения Дмитриевна была умнее, живее и остроумнее в выводах, но он – начитаннее и, главное, убежденнее. Вера столкнулась с отрицанием, и вера должна была победить, тем более что отрицание на этот раз выбрало себе совсем неподходящий сосуд. Евгения Дмитриевна отрицала лишь потому, что ей слишком хотелось верить.

Начитавшись и плохих, и хороших романов, она искала необыкновенных людей, необыкновенных чувств. Величие, сила стали ее идеалом. Провинция же давала только тех людей, которые "фабрикуются тысячами", по выражению Нордау.

Она стала презирать их, брезгливо отворачиваясь от жизни и углубляясь в себя. В себе она нашла зародыши низких мыслей и чувств; мысленно развивая их, возводя в квадрат, она стала презирать себя. Отсюда один шаг к повальному отрицанию. Но это было скорее не отрицание, а великая каша. Культ Наполеона уживался с отрицанием всего великого в природе человеческой; апология смерти с страстной жаждой жизни. Будь она глупее, она, как и сотни, ей подобных, нашла бы своего Наполеона в подпоручике Жеребцове или просто скучала бы и кисейничала, но ее пытливый, живой ум не мог помириться с безжизненной унылой спячкой. Резкостью и парадоксальностью своих взглядов она ужасала стариков и привлекала к себе зеленую молодежь, образовавшую вкруг нее что-то вроде школы.

Учеников своих она третировала и часто с непонятным для них раздражением разгоняла их.

– Ничего, ничего вы не понимаете! – кричала она, и непонятные слезы блестели на ее глазах.

– Шальная, совсем шальная! – говорила особа, жившая у них в доме и заменявшая умершую мать, а отец молча поднимал брови и уезжал в клуб.

Сопротивлялась она Болотину со страстью, с ожесточением, но не долго.

– Эх, Евгения Дмитриевна, – говорил он, – не той меркой вы меряете людей, как нужно. По вашей мерке, тот великий человек, кто больше людей погубит. Нет, вот великие люди...

И он называл ей имена истинных благодетелей человечества, рисовал величавую картину, в которой сотни, десятки незаметных личностей реформировали человечество, создавали прогресс, науку, давали жизнь, и свет, и свободу страдающим людям.

Он говорил красноречиво, ибо верил в то, что говорил. Горели глаза Евгении Дмитриевны, и проносились в голове смутные образы людей-пигмеев, ворочающих горы, рисовалось человечество счастливое, радостное, благодарное, подносящее венки своим избавителям.

– Знаете, раз я хотела даже отравиться... – говорила как-то она в минуту откровенности.

– Ну и что ж?

Она улыбнулась.

– Страшно стало... Нет, дрянь я, дрянь человечишко, – прибавила она со злостью и отвернулась.

– И не дрянь вы человечишко, а просто здоровый человек, которому смерть противна.

Так говорили они, спорили, раза два поругались – и сговорились. Школа была разогнана, а они составляли планы будущей совместной жизни. Любовь пришла незаметно.

– Вот так штука! – сказал ей Болотин, – я ведь вас люблю, оказывается!..

Она задумчиво стряхивала пыль с платья и молчала.

– Ну-с, Евгения Дмитриевна?

– Что же тут удивительного? – ответила она.

– Ну а вы-то?

– Не знаю... Люблю, кажется. Да, люблю.

Она давно заметила, что дело идет к любви. Но любила ли его, не знала. Временами он ей нравился, временами что-то в нем злило ее.

Болотин бывал уже у них в доме. Особа, привыкнув к своеволью Евгении, не обращала на него внимания, а отец бывал или в банке, коего был директором, или в клубе. У Евгении Дмитриевны был брат, офицер, также редко сидевший дома. На Болотина и сестру он смотрел как на юродивых и при встрече обыкновенно спрашивал:

– Ну, как ваш Дарвин?

А у сестры:

– Ну а твой, как... как его там... Шопенгауэр? – не подозревая, что Дарвин давно уже подружился с сумрачным философом. Когда же ему хотели отвечать, он отмахивался руками и уходил.

Бывал еще в доме Занегиных товарищ брата, офицер Торобьев, длинный и мрачный. Было очевидно для всякого, что он до потери рассудка влюблен в Евгению Дмитриевну. Ей он нравился.

– Он для меня настоящее memento mori*, – говорила она Болотину.

Последнего Торобьев презирал, хотя слушал всегда внимательно и, приходя домой, вынимал из стола папироску и что-то записывал. Тетрадка носила заглавие: "Руководство к жизни, составленное по моим личным наблюдениям".

С самого объяснения Болотин почувствовал себя неладно. Было хорошо... но слишком, пожалуй, хорошо. Прежняя страстная ненависть к притеснению и несправедливости как-то сгладилась. Любовь к человечеству как будто увеличилась, но в человечестве он видел почти одну Евгению.

– Эка размягчает как эта дьяволова любовь!.. – думал он, ероша волосы. – Ну да это напредки, а там обойдется...

Незаметно для себя он подпал под влияние Евгении Дмитриевны. Во взглядах своих он не замечал никакой перемены, но относительно "чувствований" находился в полной от нее зависимости.

– К тебе, ей-богу, не приноровишься, – говорил он сокрушенно. – Вчера смеялась и о деле говорила, а нынче опять свою мизерикордию затянула... Ну, вот и слезы. Эх!..

– Ну, не буду.

Она улыбнулась, но тотчас же глаза снова наполнились слезами.

– Какой ты... жалкий.

– Фу ты, Господи, и чего не придумает! – развел он руками, улыбнулся – и огорчился.

Сидели они в саду над рекою. Была ночь, июльская ночь. Над головой темное, бездонное небо, яркие звезды, манящий к себе серп месяца. Воздух и нежит, и ласкает; весь бы, кажется, вдохнул в себя... Хочется сжать в своих объятиях весь этот бесконечный мир: и луну, и звезды, и землю.

Природа – женщина в такие дни и ночи. Безумно любишь ее, таинственную красавицу, весь горишь восторгом любви, и вместе с тем глубокая скорбь, жгучая тоска закрадываются в сердце. Она не принадлежит тебе, эта загадочная красавица; она скрывает лицо свое, она неуловима, как мечта, как лунное сияние; она вокруг тебя, она в тебе, – но она тебе не принадлежит. Ты не знаешь, кто эта красавица, не знаешь, где она. Она везде и нигде; она

---

* помни о смерти (*лат.*)

никто – и весь мир. Но всеми силами души любишь ты ее, страстно хочешь и знать ее, и видеть, и ласкать.

– Ну, совсем размяк... – произнес Болотин и тяжко вздохнул. – А хорошо, Женя, жить на свете!

Евгения Дмитриевна, перебиравшая рукой его волосы, приподняла слегка голову с его плеча и устремила на него глаза, темные и бездонные, как небо.

– ...Нет, я тебя люблю. Ты милый, хороший.

– Серьезно?

– Серьезно.

– Не понимаю.

– И не надо.

И они оба рассмеялись.

На несколько дней Болотин засадил себя дома. Много накопилось нужных писем, да и так, хотелось с мыслями собраться.

В это время в городе случилось неожиданное событие. Застрелился тот самый гимназист, который когда-то утверждал, что все люди – скорпионы. Это была одна из тех преждевременных и непонятных смертей, которые как громом поражают спокойно дремавший муравейник.

– Как, за что, почему? – восклицают в тяжелом недоумении люди. – Так молод...

Да и чудно как-то застрелился он. Завел со знакомым доктором разговор о том, где находится сердце, попросил даже очертить его, – а вечером пустил пулю в это сердце.

Тело должны были проносить мимо квартиры Болотиных. Сергей сидел и писал, когда послышался медленный, тяжелый трезвон колоколов и еле слышно донеслось заунывное пение. Он подошел к окну. День был жаркий, безоблачный; откуда-то пахло вареньем. Из окон выглядывали любопытные лица.

Прошло духовенство, певчие. Показался, медленно колыхаясь, гроб. Плавно колыхался мертвенно-бледный, почти детский профиль; прозрачные руки сложены на груди, и не верилось, что одна из них совершила это великое и таинственное дело. Гроб несли товарищи-гимназисты. Одни были угрюмы, другие несколько горделиво посматривали на толпу, как бы говоря:

– Наш товарищ, а какую штуку выкинул!

Двое сзади о чем-то перешептывались. За гробом шла мать, совершенно убитая, и отец, ежеминутно поправлявший крест на груди. В толпе провожатых слышался тихий, настойчивый плач ребенка. Шла и Евгения Дмитриевна, рассеянно теребя конец траурного вуаля.

Скрылся гроб, провожатые. Еще раз донеслось "Вечная память", причем необыкновенно выделялась какая-то здоровенная октава:

– ...па-а-мять...

Поспешно проковыляла старушка нищая, боявшаяся опоздать к раздаче милостыни. Улица опустела и затихла.

– Ни за грош пропал малый! – подумал Сергей, отходя от окна. – Ну разве можно убивать себя при этом? – взглянул он на открытое в сад окно, за которым колыхались и шелестели зеленые листья и раздавалось неумолчное жужжание.

– Можно, – выскочил откуда-то ответ, и неизвестно отчего сжалось сердце.

– Фу, дьявольщина, как нервы развинтились, – плюнул Сергей и уселся писать. Вечером он пошел к Занегиным.

– Ну что, что, видели? – заговорила Евгения Дмитриевна, едва только увидав его. – А вы изволили утверждать, что "такие" пессимисты не убивают себя!

– Что ж! глупее, чем я думал.

– Глупее! – вспыхнула Евгения Дмитриевна. – Не диво, когда вас другие на веревке вздернули, а вот вы сами, сами попробуйте убить себя. Пороху не хватит, милейший.

Болотин ответил ей, что для веревки, пожалуй, нужно больше пороху, чем для револьвера, что он собственно не понимает, из-за чего она поднимает содом.

– Скажите, Сергей Иванович, почему это я понимаю вас, а вы меня нет? – спросила Евгения Дмитриевна, разом успокаиваясь и задумчиво смотря на него.

– Нет, я понимаю вас.

– Нет, нет. Все это не то, не то...

Весь остальной вечер она была рассеянна и почти не слушала лавровских "Писем", которые читал Болотин. На его вопрос, что с ней, ответила, что это так, голова болит, и она сама не знает что.

– Не беспокойся, милый, не сердись, это пройдет.

– Уж не о гимназисте ли ты сокрушаешься?

– Нет. А впрочем, да.

– Не стоит. Такого самоубийцу я считаю дезертиром из великой армии людей-рабочих или слабовольной, бесхарактерной дрянью.

– Безвольной? А ты читал, как один убил себя? Подставил под железные прутья кровати зажженную свечку и лег на кровать так, что пламя приходилось как раз под спинным хребтом... Как ты думаешь, легко было умирать ему? А он еще вставал и записывал, что чувствует.

– Сумасшедший.

– Значит, или дезертир, или дурак, или сумасшедший?

Прощаясь, Евгения Дмитриевна по обыкновению поцеловала его, но это был холодный, безжизненный поцелуй.

В полном раздумье вышел от нее Болотин и первый раз, придя домой, не поужинал, а улегшись, долго не мог заснуть. Промелькнул бледный профиль, и опять неведомо отчего сжалось сердце. "Психопатиться начинаю", – подумал Сергей. Перевернул на другой бок горячую подушку и наконец заснул.

И "это" не прошло, но с каждым днем становилось все хуже и хуже. Болотин не понимал, да не понимала, кажется, и сама Евгения Дмитриевна, что это такое. Ничего не произошло, а вместе с тем между ними появилась стена. По-прежнему рассуждал Болотин, по-прежнему слушала его Евгения Дмитриевна и спорила с ним, так же строились планы будущей жизни, но все это было не то. Чувствовалась какая-то фальшь, что-то недосказанное. Как будто самоубийца-гимназист унес с собой их счастье.

– И при чем он здесь? – со злостью спрашивал себя Болотин, представляя и гроб, и колыхающийся бледный профиль.

Пробовал он несколько раз возвратиться к разговору о самоубийстве, думая этим путем разъяснить дело, но Евгения Дмитриевна разговора не поддерживала и равнодушно соглашалась.

Из постоянного ровного человека он сделался раздражительным, нервным; побледнел, похудел. Не давал покоя вопрос: что "это" такое?

Спрашивал у Евгении Дмитриевны, но та отвечала:

– Не понимаю, о чем ты говоришь?

И он думал: "Действительно, о чем?" – и казалось, что ничего не было, а через минуту он снова возвращался к той же мысли.

"Уж не думает ли она, что я боюсь смерти?" – пришла ему однажды мысль. Оказалось, что она этого не думает.

"Ну что же, что же такое, наконец?! Ведь не психопат же я в самом деле. Да и она очевидно мучается, значит, есть что-то. Но что?"

И он не мог понять и мучился, следя за каждым словом и движением Евгении Дмитриевны.

Прошло лето. Наступала скверная, дождливая осень. С неведомой красавицы текли румяна и белила. По улицам изредка прошлепают калоши да прогромыхает и проскрипит мокрый извозчик. Однообразно и уныло тянулись дни – тянулись, как касторка, по выражению местного аптекаря.

В один день отец Сергея, придя со службы, принес радостную весть. По ходатайству его старого знакомца, лица влиятельного, Сергею было разрешено вернуться в университет. Сергей поругал слегка отца за "унижение", но в душе был страшно обрадован и весь день был весел, оживлен и шутлив по-прежнему.

– Мы люди старые, Сережа, действуем по-старому, – говорил отец, лукаво подмигивая жене. Их давно тревожил мрачный вид Сергея и, приписывая его тоске по университету и товарищам, они по целым ночам составляли различные планы.

Обрадовалась и Евгения Дмитриевна и была так ласкова, искренна и задушевна, что Сергей не мог понять своих мучений. Обоим рисовался шумный, оживленный город и кипучая жизнь, полная труда и молодого веселья. Ему, кроме того, мелькала минутами мысль, что там "это" пройдет совсем, а ей – люди-пигмеи и венки.

– Какая ты нынче хорошая, милая, – говорил он, целуя Евгению Дмитриевну, – и как сильно, как безумно люблю я тебя. Ты не поверишь, как я измучился...

– Оставь, оставь, – прервала она, ласковым движением приложив руку к его губам.

– Итак, завтра, значит, обращаемся к твоему родителю, обвенчаемся поскорей и айда!.. Эх, как буду любить и нежить я тебя, коза ты моя непокорная!..

Они не подозревали, что разговор их слышал Торобьев. Он сидел в соседней комнате, когда через полуоткрытую дверь донеслись звуки поцелуев и отрывочные фразы. Ему и раньше случалось быть свидетелем этих звуков, и он деликатно уходил даже из комнаты, но на этот раз одна фраза остановила его внимание.

– Когда же мы, значит, уедем? Недели через две, что ли? – говорил голос Болотина.

– Нет, едва ли успеем все устроить, позже... – отвечала Евгения Дмитриевна. Из дальнейших полуфраз Торобьев понял, что Болотин имел намерение увезти Евгению Дмитриевну и обмануть. Осторожно, на цыпочках вышел он из комнаты и поспешно зашагал к военному собранию. Там вызвал Занегина и, таинственно отведя в угол, сказал:

– Юрий Дмитриевич! Вам грозит беда.

– Мне? – удивился Занегин, вытирая платком выпачканные в мелу пальцы. – Беда?

– То есть сестрице вашей. Господин Болотин намерен ее обесчестить.

Торобьев передал слышанное. Выходило что-то ужасное. Занегин, слушавший сперва недоверчиво, под конец поверил. Осо-

бенно убедили его звуки поцелуев и вытянутая до крайности физиономия Торобьева.

– Мне и раньше случалось их слышать, – говорил Торобьев.

Юрий Дмитриевич, не отличавшийся, как и сестра, кротким характером, вспылил:

– Так чего же вы, черт вас возьми, не сказали об этом!

– Не имел права-с. Теперь другое дело, Юрий Дмитриевич! Ваш папаша человек слабый. На вас священный, так сказать, долг защитить... предохранить... ну и так далее.

Занегин с некоторым даже чувством удовольствия при мысли, что он единственный защитник сестры, и вспоминая "Фауста", решил тотчас же ехать домой и засуетился, отыскивая пальто и шашку, но Торобьев благоразумно посоветовал отложить расправу до следующего дня.

– Скандал ночью подымете, нехорошо, – говорил он, – а завтра господин Болотин будет днем у вас, я слышал.

"Ну, я ему покажу... Дарвина, – думал Юрий Дмитриевич, с ожесточением загоняя в угол красного. – Я ему покажу!.."

– Карамболь по желтому!

Утро следующего дня Болотин провел в некотором волнении. "А вдруг отец заартачится? – размышлял он. – Хоть его, положим, не касается... Главное, приданое, кажется, есть..."

Часам к трем он отправился к Занегиным и очень решительно вошел в гостиную. Евгения Дмитриевна была одна.

– Слушай, что это с братом такое? Весь день мрачен, крутит усы, со мной ни слова...

Болотин усмехнулся.

– В карты продулся, вероятно.

– Нет-с, милостивый государь, не в карты-с... и попрошу вас, милсдарь, удалиться из дома, – раздался голос Юрия Дмитриевича, быстрыми, энергичными шагами вошедшего в комнату. – А вы, сударыня, постеснялись бы говорить "ты" всякому... всякому...

– Позвольте, что это значит? – растерялся Болотин.

– А то значит, что я не позволю вам заводить здесь... Сестра, уйди! – возвысил он голос, но Евгения Дмитриевна осталась неподвижна.

– Да объясните же...

– А, вам объяснить, – захлебнулся Занегин, – объяснить! Вы... подлец, милостивый государь, негодяй. Вон!

– Вы с ума сошли, – сказал Болотин, бледнея.

– А, с ума, с ума... Так вот же вам! – быстрым движением Юрий Дмитриевич подскочил к нему и, широко размахнувшись, с силой ударил по щеке.

– Что... что это... – бормотал растерянно Болотин, отступая назад и то поднимая руку к лицу, то опуская ее. – Вы...

Недоумевающе он обвел глазами комнату и встретился со взглядом Евгении Дмитриевны. Взгляд был тяжелый, упорный. Следя за ним, Болотин перевел глаза на фуражку, которую еще держал в руке, зачем-то ее надел и, быстро повернувшись, вышел из комнаты.

– Послушайте, послушайте, – услыхал он вслед голос Юрия Дмитриевича, – Болотин! Милостивый государь! Секундантов, вы можете прислать секундантов.

Не обертываясь, Болотин спустился с лестницы и вышел на улицу.

* * *

Пройдя переулка два, Болотин как будто успокоился. Обменялся несколькими веселыми фразами с встретившимся знакомым и даже улыбнулся, когда тот спросил:

– Что это у вас щеку? Укусило?

– Да, укусило... Больно укусило.

– Я думаю. Ишь как покраснела.

Домой, однако, не пошел, а отправился в поле. О случившемся он не думал и с необыкновенным вниманием приглядывался к окружающему. До горизонта тянулись темно-бурые бесконечные поля, сливаясь со свинцовым, низко нависшим небом. Местами чернели купы деревьев; виднелся вдалеке белый фасад мельницы. Над оврагом с назойливым, неприятным криком кружилась стая ворон; вероятно, завидели дохлую собаку. Проехал по дороге мужик, далеко разбрасывая грязь, оглянулся на барина, потом вытащил калач и наполовину засунул в рот.

– Ишь, напасти! – сказал вслух Болотин и удивился своему голосу.

"Нет, это не то. Он меня ударил. Нужно об этом думать. Ну за что?" Но вместо ответа перед ним встал загадочный тяжелый взгляд Евгении Дмитриевны. Проплыл, медленно колыхаясь, мертвенно бледный профиль. Вспомнилось открытое окно, шелест деревьев, жужжание.

"А тогда жарко было, – подумал он. – Но почему же она так смотрела на меня и молчала?.. А он, должно быть, сильный". Он потрогал рукой щеку: "Кажется, опухла. Неприятно, дома заметят. Скажу, что зубы болят".

Он долго шатался по полю. Бросил камнем в ворону и долго следил за тем, как она неровно, боком сделала несколько скач-

ков, тяжело поднялась на воздух и, перепрыгивая лужу, попала в середину ее. Он рассмеялся. В голове носились обрывки каких-то мыслей, выскакивали картины далекого прошлого. Припомнился вечер, когда он ехал домой и стоял на площадке. "А то был не я", – подумал он и сразу почувствовал что-то ужасное, какую-то неизмеримую тяжесть на сердце. Но через миг это чувство прошло и опять стало легко.

– Однако, кавардак порядочный! – сказал он себе.

Дома ничего не заметили, только удивлялись его фантазии гулять в такую погоду по полю. А он говорил и прислушивался к своему голосу, и этот голос казался ему совершенно чужим, говорившим что-то непонятное.

Ночь он проспал как убитый и проснулся с совершенно свежей головой. Быстро вскочил, оделся и, вспомнив вчерашнее, изумился:

"И чего было с ума сходить? Очевидно, недоразумение какое-нибудь, которое скоро уладится. Ну, ударил он меня – не на дуэль же, в самом деле, его вызывать? или не в драку же было вступать с ним?" Весело напился чаю и опять отправился в поле, в ожидании трех часов, когда, как он рассчитывал, принесут ему письмо от Евгении Дмитриевны. В поле та же картина, только вместо мужика проехала баба, да подсохла обветренная за ночь земля. Мало-помалу радостное настроение исчезло. Пришла мысль, что все это не так просто. При воспоминании о "пощечине" являлось гнетущее чувство не то обиды, не то злости. Все с большими подробностями вспоминалась сцена: как Занегин поднял руку, как он с недоумением смотрел на нее, не понимая, зачем она поднята, затем мгновенное ощущение ожога – и пристальный, тяжелый взгляд Евгении Дмитриевны.

– Фу, гадость какая! – передернул он плечами. Потом сжал свой большой крепкий кулак и с злой улыбкой посмотрел на него: "Вот бы... Нет, это уж черт знает что. В зверя начинаю обращаться. Это значит, во мне самец проснулся. Как же при женщине, при самке его ударили!.."

Однако гнетущее чувство оставалось. Явилась почему-то уверенность, что письма от Евгении Дмитриевны не будет.

Письма не оказалось. Весь день Болотин проходил как потерянный, а к вечеру почувствовал в голове вчерашний хаос, но только более мучительный.

Следующий день прошел так же, с той разницей, что Болотин уже не мог спать ночи и ничего не ел. Письма не было. "Что это значит?" – думал он. Приходили в голову догадки одна нелепей другой.

На третий день, после бессонной ночи, он встал совершенно разбитый и слабый. Поразмыслил и решил сам писать к Евгении Дмитриевне, но как раз принесли письмо от нее.

– Что, барышня здорова? – спросил Болотин у посланной.

– Здоровы-с, – с изумлением ответила горничная. – Они вчера до двух часов в офицерском собрании танцевали. А ответа-с не приказали спрашивать.

"До чего барчука довела, бесстыжая! – размышляла горничная, идя домой. – Лица нету. А какой был мужчина – прелесть".

Болотин прочел письмо, еще раз прочел...

"...Не доискивайтесь причин моего решения. Вы ни в чем не виноваты, но не виновата и я. Я думала, что люблю вас, но я ошиблась. Мне тяжело было ваше присутствие, минутами я не могла видеть вас. Не сердитесь, забудьте и простите недостойную вас Е.З.

P.S. Может быть, я раскаюсь, что написала это письмо".

К вечеру получилось другое письмо, от Юрия Дмитриевича.

В отменно вежливых, но искренних выражениях он просил извинения у Сергея, говоря, что был введен в заблуждение. "Если тем не менее вам угодно получить удовлетворение, то я всегда к вашим услугам".

Но на это письмо Болотин не обратил никакого внимания.

Начались ужасные дни. Болотин перестал понимать, что творится с ним. Какие-то неопределенные мысли, чувства волновали его. Он бегал по городу, по целым часам смотрел в пламя камина – и эти чувства были с ним. Он спал тревожным, неспокойным сном, видел во сне ее – и сон был так реален, действительность так призрачна, что он терял границу между ними. Поздним вечером возвращался он домой после бесплодных поисков... кого и чего, он не знал и сам. Пока он шел по освещенным улицам, было еще ничего, мысль как-то терялась в уличном шуме и жизни. Но когда он вышел на свою темную и пустую улицу и потом, как в черную яму, опустился к реке, на мост, взглянул на мрачную воду, черную даль – им овладели призраки. Бывают страшные мысли и чувства, которых нельзя передать словами и от которых волосы становились дыбом. Это мысли-трупы, мысли-привидения. Они стали реальны. Они носились вкруг него, кружились, и он не знал, сон это или действительность. Он стоял на мосту и чувствовал, что он не один; вокруг него, в нем эти неизвестные и страшные враги. Он идет, они идут за ним, толкают его. Ему страшно. Он приходит домой; вместе с ним переступают они порог; вот они наполняют его комнату... Ему страшно. Наступало минутное затишье – и так разительна была тишина

после того ада в душе, где каждое чувство как бы приобрело голос, и кричало, и плакало, и смеялось, и безумствовало, как зверь, сорвавшийся с цепи.

Вот промелькнул бледный детский профиль, запахло вареньем. Дикий, нечеловеческий ужас охватил его.

– Скажи, скажи, чего хочешь ты! – простонал он, хватаясь руками за горячую голову...

Вот упорный, тяжелый взгляд Евгении Дмитриевны. Она... Что она? Он не понимает, что она. Любит он ее? Нет...

Вот удар, этот проклятый ужасный удар. Он жжет его, разбивает всю голову. Как больно, как нестерпимо больно. Душа болит, болит так мучительно, так резко, что невольные слезы навертываются на глаза.

Он не чувствует злобы к Юрию Дмитриевичу, он забыл его, но этот удар – он жжет его, терзает. Какая-то великая, страшная мысль стоит в голове, и тень от этой мысли заполняет голову, и нет в ней светлого места.

Это было дня через три-четыре после письма – а впрочем, он потерял счет дням и часам. Была глубокая ночь. Весь дом спал. Не спал он да мать, тревожно прислушивавшаяся к неровным шагам сына.

Болотин остановился у стола и тупым, без выражения, взглядом уставился в темное окно. Как чьи-то черные руки, тянулись к нему голые ветви и тихо стучали и терлись по стеклу.

– Да... Нужно заснуть, забыться... Забыться, – деловым тоном проговорил он. Он уселся и отворил ящик стола, где у него была своя аптечка.

– Опиум... Опиум – да где же он? – говорил он все так же серьезно и деловито. – А, вот.

В глубине ящика тускло блестел револьвер. С какой-то затаенной, несознаваемой мыслью Болотин вынул его и положил на стол. Не меряя, вылил в стакан опиуму, разбавил водой и выпил.

"Теперь засну", – подумал он и с облегчением улегся на кровать. Но сон не приходил. Пришли мысли ясные, даже слишком ясные. Он не мыслил, он видел. Увидел опять себя едущим домой, увидел университет, беспорядки, потом вечеринку какую-то, где он спорил и горячился, – и вскочил с кровати.

– Нет, то не я, то другой... – не то думал, не то говорил он, ходя крупными и твердыми шагами по комнате. В глазах у него появился страшный блеск; руки дрожали. "Да, это странно. Ну а кто я?" Но мысли путались, приходили совсем ненужные. Выскочил откуда-то мужик с калачом, громадным, неизмеримо громадным калачом. Потом опять бледный профиль и взгляд Евгении

Дмитриевны. Гроб колышется, колышется... и взгляд тяжелый, упорный.

Он проходил мимо зеркала и остановился. Зеркало отразило бледное лицо с кривой, жалкой усмешкой.

"Это мой нос, губы... Мои... странно".

Он опять зашагал, но остановился на минуту посреди комнаты, медленно подошел к столу и сел, опустивши голову.

Потом поднял ее и с слабой, нерешительной усмешкой протянул руки к револьверу. С той же нерешительной усмешкой приложил его к виску и поднял курок.

...Зеленые ветви за окном, запах варенья... Остановись!..

Раздался выстрел и гулко прокатился по спящему дому.

– Господи, что это? Господи! – закричала вбежавшая мать и бессильно опустилась на труп, пачкая в крови рукава белой кофты.

За нею в дверях стоял отец, растерянный, с трясущейся нижней губой.

* * *

Смерть Болотина возбудила много толков. Обыватели поумнее толковали об умственных эпидемиях и нашем нервном веке; поглупее – разводили руками и молчали. Впрочем, кто был умнее, трудно сказать.

Евгения Дмитриевна была на похоронах, много плакала, а через полтора месяца уехала в Петербург. Юрий Дмитриевич сильно огорчился, услыхав о смерти Болотина. "Какая неприятная вещь! – подумал он. – Все объяснилось, сестра его любит, а он... дуэли, что ль струсил? так ведь никто его и не заставлял. Э, да сам черт не разберет этих юродивых!"

Торобьев не поверил чистоте намерений Болотина, но на похоронах все-таки присутствовал. Придя оттуда домой, долго писал что-то в тетрадке и, окончивши, имел чрезвычайно довольный вид.

ЧУДАК

Хотя это и невероятно, но и в наш век существуют чудаки. По крайней мере, я одного знаю. Это такой комик, что в любом цирке мог бы составить полный сбор. Недавно он получил приглашение к Саломонскому, но чудак оскорбился.

– Я не шут гороховый, а идеалист, – заплакал он.

– Так что ж из этого? – изумился я. – Все шуты идеалисты. Возьми у Шекспира – или теперь Дурова.

Но так и не убедил его. Он был дубоват: совершенно не понимал шутки и всякое лыко ставил в строку. Раз я взял у него денег взаймы – конечно, шутя, ибо какие же счеты между друзьями, но он чуть драться не полез, требуя расплаты. Только тогда успокоился, когда я ему сказал, что мои деньги на почте пропали.

Но что за потеха была, когда мой друг влюбился. Северное сияние, солнечное сияние, электрические фонари – все это пустяки в сравнении с сиянием его лица. Два таких чудака – и Орлу не надо электричества.

– Она ангел! – заявил мой друг, собираясь, по-видимому, выжать из меня масло своими объятиями.

– Кто тебе сказал?

– У нее на лице написано.

– А ты сотри надпись.

– ?

– Милый друг! – стал поучать я, – есть две надписи, которым не следует доверять...

– Знаю, ты говорил, – перебил друг, – на векселе!

– И на женском лице. Ну а как же... стереть-то?

Я объяснил чудаку, как добиться истины. Наблюдать и испытывать.

Прошло времени ни много, ни мало, является друг.

– Ангел! я говорил тебе!

– Как узнал?

– Она сама сказала. Она сказала, что любит папашу, мамашу, дядей и тетей. Она любит котят и людей и боится тараканов.

Она хочет приносить пользу и просит поучить ее. Она ненавидит кокетство, танцы, корсеты и хочет на курсы. Она не знает слово "любовь". Она...

– Мой друг, – начал поучать я, – есть два рода речей, которым нельзя доверять...

– Знаю. Юбилейные!

– И женские.

Через неделю чудак явился в нестерпимом сиянии и блеске.

– Испытал! – еще с порога закричал он и бросился целовать меня. – Ангел! Любит меня! Сама сказала...

– Опять!

– Клялась! – при этих словах мой друг поднял палец кверху с весьма торжественным видом, и затем, опустив его, прибавил торжественным шепотом, – любить вечно.

– Мой друг, нельзя...

– Знаю. Клятвам пьяниц...

– И женщин. Еще испытай.

Через неделю снова отворились мои двери, и вошел... нет, не вошел, а вступил чудак, медленный, серьезный и величественный. Молча, с достоинством неописанным, сел на стул и, устремивши на меня огненный взор, с расстановкой произнес:

– Она меня – поцеловала.

– Мой друг...

– Нет, врешь. Не нужно верить друзьям – она сама сказала. – И – ты коварный друг. Ты ее не любишь потому, что она отвергла твои ухаживания. Прощай, коварный друг!

И вышел.

Я, признаться, рассердился. Хотел перехватить деньжонок, а тут извольте. И нужно мне было поучать его! Вообще-то, правда вредна, а с друзьями, да еще влюбленными, это прямой путь к неприятностям. Пусть бы его тешился, – чем бы дитя ни тешилось, абы не плакало.

Времени прошло достаточно – друга все нет. Я уже и надежду потерял увидеть его. Только иду раз вечерком по Болховской – славный такой вечер был – глядь, навстречу чудак с своим "ангелом". Ангел (между нами, очень миленький, не чудаку чета) позевывает и рассеянно смотрит по сторонам; чудак что-то повествует и видимо блаженствует. Поравнялись. Чудак отвернулся, но она вскинула на меня любопытные глазки и что-то ему шепнула. Мой друг все еще с хмурым видом подошел ко мне.

– Она тебя простила. Ангел?! – сказал чудак тоном вопросительным, но в то же время и угрожающим.

– Ангел! – ответил я с энергией.

Лицо чудака просветлело; он пожал мои руки и шепнул на ухо:

– Как я скучал без тебя!..

После этого он подвел меня к ангелу, познакомил, и мы отправились дальше, оживленно беседуя. Вскоре чудак – для которого, как заметно, мы с ангелом составляли предмет гордости, – был под каким-то предлогом отослан, и мы остались вдвоем.

– А какой милый ваш друг, – сказала она дипломатически.

– О да, – ответил я так же дипломатически.

– Не правда ли? – обрадовалась она. – Он такой... добрый.

– Ужасно добрый!

– И... умный.

– О!

– Только немножко... странный. Вы не замечали?

– Как вам сказать?..

– И немножко... скучный?.. Всему верит.

– Неужели?

– Да, да. И все делает, что... попросишь... И никогда не... сердится. И всем доволен, что... ни скажешь.

– Это неприятно.

– Вы смеетесь? Нет, правда, – это иногда скучно. Я раз сказала, что он... глуп. И он – согласился! Представьте!

– Как же быть с этим?

– Уж и не знаю.

Но тут разговор зашел о другом... о чем – это для читателя едва ли будет интересно. А правда, какие у нее выразительные глазки; и голосок – прямо... ангельский.

На другой день, ранним утром, друг ворвался ко мне веселый, как зяблик. Ровно два часа я выслушивал хвалу "ей". Достоинств оказалось столько, что чудак, сперва считавший их по пальцам, перешел уже к коробке с папиросами. Больше всего нравилась ему ее откровенность.

– Представь – она сказала, что я глуп! – сиял он.

– Неужели?

– Да. А вчера сказала, что я скучен!

– Ну?

– То-то "ну". А ты не верил, что ангел. Эх ты, чудак! – и он покровительственно похлопал меня по плечу.

Но дня, кажется, через два прихожу домой и вижу чудака, бегающего с мрачным видом по комнате. Волосы всклокочены. Глаза дикие.

– Что с тобой? – воскликнул я.

– Эразм! (так зовут меня) – дай ножик.

– И вилку?

– Нет, вилки не надо. Я должен убить себя. Она сказала, что я надоел ей.

– Только-то? – стал утешать я (у меня доброе сердце, и я не помню зла). – Чудак – ведь это тоже откровенность.

– Но...

– Никакого "но". Ты не знаешь женщин. Это крайне странные существа... Впрочем, позволишь прочесть тебе лекцию?

– О да, пожалуйста... только ты не будешь шутить?

– Помилуй!.. так, мм. гг., что есть женщина?

– Знаю, знаю – сосуд скудельный!

– Не перебивай! – сказал я величественно. – Чтобы ответить на этот вопрос и не впасть в крайность, коими прославились как защитники, так и хулители женщин, мы, мм. гг., прибегнем к естественноисторическому методу. Все существующее произошло путем эволюции – одна женщина произошла путем фокуса.

– Это как же?

– А так: природа передернула карты, как это делает нижегородский шулер, вместо двойки подсовывая туза. Существо, именуемое теперь женщиной, было двойкой, т.е. чем-то слабеньким и пискливым. Мужчина, этакий молодец в сажень ростом, весьма презрительно посматривал на двойку, убирая за обе щеки кусок сырого мяса и беззаботно насвистывая, когда природа спросила у него:

– Что, брат, как?

– Да ничего, живу помаленьку.

– И не скучно?

– А отчего бы мне скучать?

– Значит, весело?

– А с чего я буду веселиться?

– Значит – блаженствуешь?

– Так точно.

Природа задумалась. Ни одно существо в мире не знает блаженства, а человек как будто исключение в этом правиле. Неладно дело. Случайно природа бросила взгляд на двойку – и обрадовалась: "попался, голубчик!" И вот...

Раз! два! три! – фокус совершился. Мужчина в ошалении смотрит на двойку, ставшую дамой, – и бросив кусок недоеденного мяса, стремглав летит к Мюр-Мерилизу за парой готового платья и дорогой ищет другого мужчину, чтобы на всякий случай заехать ему в зубы.

А дама созерцает своими невинными глазками эту катавасию и, смутно понимая, в чем ее сила, отправляется туда же – в отдел ватных и хлопчатобумажных материй.

БАРГАМОТ И ГАРАСЬКА

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося "городовой бляха № 20", а в неофициальной попросту "Баргамот". Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем "пушкари – проломленные головы", давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности "Баргамот" скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной, для пушкарей же – наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц – он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и безусловно господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что

людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное – Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их "за клин". Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка.

Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с не меньшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, – могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой – вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра Светлое Христово Воскресение, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов; хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем

3 рубля въ годъ.

НАРОДНОЕ БЛАГО

7 коп. отдѣльн. №

ПОДПИСКА.
съ доставкой и пересылкой
На годъ . . . . . 3 р. — к.
На полгода . . . . 1 . 60 .
На 3 мѣс. . . . . — . 75 .
На 1 мѣс. . . . . — . 25 .

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ

РЕДАКЦІЯ и КОНТОРА:
Москва, Арбатъ, № 9.

ОБЪЯВЛЕНІЯ
въ 1 строкѣ, за одинъ разъ
Цѣлая страница . 30 р. — к.
Полстраницы . . 15 . — .
Четверть . . . . 7 . 50 .
Восьмая . . . . 3 . 75 .

№ 15—16. Воскресенье, 28 апрѣля, 1902 г. 5-й годъ изданія.

Баргамотъ и Гараська.

Леонида Андреева.

Было бы несправедливымъ сказать, что природа обидѣла Ивана Акиндиныча Баргамотова, въ своей официальной части именовавшагося „городовой бляха № 20“, а въ неофиціальной, —по просту «Баргамотомъ». Обитатели одной изъ окраинъ губернскаго городка О., въ свою очередь, по отношенію къ мѣсту жительства называвшіеся пушкарями (отъ названія Пушкарной улицы), а съ духовной стороны характеризовавшіеся прозвищемъ «пушкари-продолговатая голова», давая Ивану Акиндиновичу это имя, безъ сомнѣнія, не имѣли въ виду свойствъ, присущихъ столь нѣжному и деликатному плоду, какъ бергамотъ. По своей внѣшности «Баргамотъ» скорѣе напоминалъ мастодонта, или вообще одно изъ тѣхъ мидихъ, по погибшихъ созданій, которыя, за недостаткомъ помѣщенія, давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-подпасками. Высокій, толстый, сильный, громогласный, Баргамотъ составлялъ на полицейскомъ горизонтѣ видную фигуру, и дано конечно, достигъ бы извѣстныхъ степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стѣнами, не была погружена въ богатырскій сонъ. Внѣшнія впечатлѣнія, проходя въ душу Баргамота черезъ его маленькіе заплывшіе глазки, по дорогѣ теряли всю свою остроту и силу, и доходили до мѣста назначенія лишь въ видѣ слабыхъ отзвуковъ и отблесковъ. Человѣкъ съ возвышенными требованіями назвалъ бы его кускомъ мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной, для пушкарей же,—наиболѣе заинтересованныхъ въ этомъ вопросѣ лицъ, — онъ былъ степеннымъ, серьезнымъ и солиднымъ человѣкомъ, достойнымъ всякаго почета и уваженія. То, что зналъ Баргамотъ, онъ зналъ твердо. Пусть это была одна



ВЪ ФРУКТОВОМЪ САДУ. Съ картины Влааса.

“Баргамот и Гараська”.
Публикация в журнале “Народное благо”, 1902 г.

недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно требовал пищи, а разговляться-то когда еще!

– Тьфу! – плюнул Баргамот, сделав цигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до "разговленья".

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством сборок, сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих "крестников", смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободны и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут как неприкаянный.

"Стой тут из-за вас, пьяниц!" – резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул – сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он не торопясь со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник!

"Потешный мальчик!" – ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотанье: "Кого это несет нелегкая?" – подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой, – его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался,

было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой, Гараська со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до средины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

– Фонарь. Тпру! – кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

– Стой, дурашка, куда ты?! – бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. – Вот, вот!.. – Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь, – в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке – и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют, – толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически-реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым

его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, – от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, т.е. ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал, с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, – было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться с столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

– Наше вам! Баргамоту Баргамотычу!.. Как ваше драгоценное здоровье? – Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

– Куда идешь? – мрачно прогудел Баргамот.

– Наша дорога прямая...

– Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

– Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок.

– А вот в участке поговоришь! Марш! – Мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шкуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того,

что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

– А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?

– Уж молчал бы! – презрительно ответил Баргамот. – До свету нализался.

– А у Михаила Архангела звонили?

– Звонили. Тебе-то что?

– Христос, значит, воскрес?

– Ну, воскрес.

– Так позвольте... – Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз – потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике.

Гараська воет! Баргамот изумился. "Новую шутку, должно быть, выдумал", – решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

– Что ты, очумел, что ли? – ткнул его ногой Баргамот.

Воет. Баргамот в раздумье.

– Да чего тебя расхватывает?

– Яи-ч-ко...

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

– Я... по-благородному... похристосоваться... яичко, а ты... – бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль.

– Экая оказия, – мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

– Похристосоваться хотел... Тоже душа живая, – бормотал городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. – А я, тово... в участок! Ишь ты!

Тяжело крякнув и стукнув своей "селедкой" по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

– Ну... – смущенно гудел он. – Может, оно не разбилось?

– Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

– А ты чего же?

– Чего? – передразнил Гараська. – К нему по-благородному, а он в... в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.

– Да разве вас можно не бить? – спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

– Да ты, чучело огородное, пойми...

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько прояснившем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

– Пойдем ко мне разговляться.

– Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

– Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел – и куда же? – не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще... разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль – навострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

– Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить, – поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

– Да нет, не то я говорю... – мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный язык...

Пришли наконец домой, – и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, – но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

– Иван Акиндиныч, а что же ты Ванятке-то... сюрпризец? – спрашивает Марья.

– Не надо, потом... – отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, – но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

– Кушайте, кушайте, – потчует Марья. – Герасим... как звать вас по батюшке?

– Андреич.

– Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянною и жалкою миной смотрит на жену.

– Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, – успокаивает та беспокойного гостя.

– По отчеству... Как родился, никто по отчеству... не называл...

1898

ЛЮБОВЬ, ВЕРА И НАДЕЖДА

Этюд

Он любил.

По паспорту он назывался Максом Z. Но так как в этом же паспорте категорически заявлялось, что он никаких примет не имеет, – я предпочитаю называть его господином Эн-плюс-единичным (N+1). Он кончал собой и в то же время открывал неопределенно длинный ряд юношей, обладающих вьющимися, беспорядочно разметанными кудрями, прямым, смелым и открытым взглядом, стройным и сильным станом, очень большим и сильным сердцем.

Все эти юноши любили и увековечили свою любовь. Одним удалось записать ее на скрижалях истории, как Генриху IV; другие, как Петрарка, сделали из нее литературный консерв; некоторые для этой цели воспользовались газетным отделом, который известен под именем "городских происшествий" и в котором они фигурировали в качестве удавившихся, застрелившихся и застреленных; четвертые, самые счастливые и скромные, увековечили свою любовь внесением ее в метрические книги и созданием потомства.

Любовь Эн-плюс-единичного была сильна, – как смерть, по словам одного писателя; как жизнь, – думал он.

Макс был глубоко убежден, что он первый открыл способ любить так горячо, беззаветно, страстно, и относился с презрением не только к 40000 братьям, которые, по установившемуся убеждению, далеко не могут исчерпать всей силы любви, но и ко всем своим предшественникам. Мало того: он был уверен, что и после него никто так любить не будет, и огорчался, что с его смертью секрет истинной любви будет утрачен для человечества. Однако, будучи юношей скромным, часть заслуги он приписывал ей, своей возлюбленной. Не то чтобы она была полным совершенством, но очень близко подходила к нему, насколько вообще идеал может быть близок к действительности. Были женщины красивее ее, были умнее, – но была ли женщина лучше? Существовала ли хоть одна женщина, у которой на лице так ясно и четко

было бы написано, что только одна она достойна любви, беззаветной, чистой и преданной? Макс знал, что таких женщин не бывало и не будет. В этом отношении он не имел особенных примет, как не имел их и Адам, как не имеете их и вы, читатель. Начиная с праматери Евы, кончая той женщиной, на которую были обращены ваши глаза, прежде чем увидеть эти строки, – на лице каждой из них в известный момент читается эта самая ясная и четкая надпись. Вся разница только в крепости чернил.

Наступил очень скверный день, понедельник, не то вторник, когда Макс с сильным испугом заметил, что надпись на милом личике бледнеет. Макс протирал глаза, смотрел издали, сбоку, снизу и даже в кулак, – но факт был вне сомнения: бледнеет надпись. Вот исчезает и последняя буква – лицо бело и чисто, как только что выбеленная стена нового дома. При этом он убедился, что надпись исчезла не сама собой, а кто-то ее стер. Кто?

Макс отправился к своему другому Жану Энному. Он знал и испытал, что таких друзей, истинных, бескорыстных и честных, еще не было и не будет. И в этом отношении, как видите, Макс особых примет не имел. Шел он к другу с целью посоветоваться по поводу загадочного исчезновения надписи и застал его как раз в тот момент, когда Жан Энный усиленно эту надпись стирал поцелуями. Далее хроника городских происшествий обогатилась еще одним несчастным случаем, озаглавленным: “покушение на самоубийство”.

* * *

Говорят, что смерть всегда приходит вовремя. Очевидно, для Макса это время еще не настало, ибо он остался жив, т.е. он ел, пил, ходил, брал взаймы и не отдавал, и вообще рядом других психофизиологических актов показывал, что он существо живое, обладающее желудком, волею и умом, – но душа его была мертва, а точнее сказать, она была погружена в летаргический сон. В уши его входил звук человеческих речей, глаза его видели слезы и смех, но ни отзвука, ни движения не будили они в его душе. Не знаю, сколько времени так прошло. Может быть, год, а весьма возможно, что и десять лет, ибо продолжительность подобных жизненных антрактов зависит от того, насколько быстро успевает актер переменить свой костюм.

В один прекрасный день, среду или четверг, Макс окончательно проснулся. Тщательная и осмотрительная ликвидация душевного имущества выяснила, что порядочный кусок души Макса, тот, в котором заключается любовь к женщине и друзь-

ям, омертвел, как отбитая параличом рука или нога. Но оставшегося было вполне достаточно для жизни. То была любовь к людям и вера в них. И вот Макс, отрешившись от личного счастья, начинает работать для счастья других.

Это была новая фаза – он верил.

Все зло, терзающее мир, для него сосредоточивалось в "красном цветке", одном красном цветке. Стоит сорвать его, и стихнет тот немолчный, сердце надрывающий плач и стон, который со всех точек земли, как ее естественное дыхание, поднимается к равнодушному небу. Зло мира – в злой воле и безумии людей. Они сами виноваты в том, что несчастны, и станут счастливы, когда захотят этого. Это было так просто и ясно, что Макс чуть ли до столбняка поражался, недоумевал перед непониманием людским. Человечество напоминало ему толпу, скученную в свободном храме и охваченную паникой при крике "пожар!". Вместо того чтобы спокойно пройти в широкие двери и спастись всем, безумная толпа с яростным криком и ревом, с жестокостью бешеного зверя душит сама себя и гибнет – не от огня, которого нет, а от своего безумия. Достаточно иногда бывает, чтобы над этой жалкой толпой пронеслось разумное, твердое слово, – толпа утихает и избегает неминуемой гибели. Пусть и над человечеством раздастся сотня спокойных, разумных голосов, которые укажут, где выход и в чем опасность, – рай на земле наступит если не тотчас же, то в весьма непродолжительном времени.

Макс начал говорить свое разумное слово. Как он его говорил, смотри ниже и ниже. Имя Макса читалось в газетах, выкрикивалось на площадях, благословлялось и проклиналось; целые книжки трактовали о том, что сделал, что делает и что намерен делать Макс Эн-плюс-единичный. Он появлялся то там, то здесь. Видели его стоящим над толпой и повелевающим ею; видели в цепях и под ножом гильотины. И в этом отношении Макс особых примет не имеет. Проповедник кротости и мира, грозный носитель огня и железа, он был все тот же Макс – Макс, который верит. Пока, однако, он это проделывал, время все шло да шло, и потихоньку, кусок за кусочком, отщипывало от Макса то одно, то другое. Нервы развинтились; вьющиеся кудри поредели, и голова стала напоминать пророка Елисея; то там, то здесь покалывало и схватывало; при одной оказии нильский крокодил откусил Максу ногу.

Земля продолжала легкомысленно вертеться вокруг солнца, то приближаясь к нему, то кокетливо отбегая и делая вид, что все свое внимание она устремила на друга дома, на луну; дни сменялись днями и темные ночи ночами с такой педантичной, немец-

кой правильностью и аккуратностью, что все художественные натуры принуждены были понемногу перебраться на Дальний Север, где сам черт ногу сломает, стараясь отличить день от ночи, – когда с Максом стряслось нечто.

Как-то так случилось, что Макса не поняли. Сколько раз случалось, что он своим разумным словом успокаивал толпу и спасал ее от взаимоуничтожения, а тут не поняли. Думали, что это он именно крикнул "пожар!". Макс со всем красноречием, к какому он только был способен, если принять при этом во внимание два или три выбитые зуба, уверял, что он старался единственно для них; что самому ему решительно ничего не надо, ибо он холост и бездетен, что он готов забыть печальное недоразумение и впредь служить им верой и правдой, – все было напрасно – ему не верили. И в этом отношении Макс особых примет не имел, как указывает на то история его предков. Этот печальный инцидент закончился для Макса новым жизненным антрактом.

* * *

Макс был жив, как то твердо было установлено врачебной экспертизой, произведшей ряд несложных опытов. Так, когда ему втыкали в ногу иголку, он дрыгал ногой и старался иголку выдернуть. Когда ставили есть, он ел, но ходить не ходил и взаймы не просил, что ясно свидетельствовало о полном упадке жизненной энергии. Душа его была мертва, насколько может быть мертва душа, пока живо тело. Для Макса погибло все, что он любил и во что он верил. Непроглядный мрак окутал его душу. Не было в ней ни чувства, ни желания, ни мысли. И не было на свете более несчастного человека, чем он, – если только он был человеком.

Оказалось, однако, что он им был. По календарю была пятница, не то суббота, когда Макс очнулся как будто от долгого сна. С приятным чувством собственника, которому возвратили неправильно отнятое имущество, Макс сознался, что он владеет всеми своими пятью чувствами.

Зрение ему доложило: он совершенно один и находится в помещении, которое с одинаковой справедливостью можно назвать и комнатой, и трубой. Каждая из сторон комнаты имеет в ширину около полутора метров и в вышину около десяти. Стены прямые, белые, гладкие, не имеют отверстий, за исключением одного, через которое Максу подается пища. На белом потолке ярко горит электрическая лампочка. Она не тухнет никогда, и Макс не знает, что такое темнота. В комнате нет мебели, и Макс лежит на

жестком каменном полу. Лежит он согнувшись, так как узость помещения выпрямиться не позволяет.

Слух доложил: до самой смерти Макс не выйдет из этой комнаты... Доложив это, слух погрузился в бездействие, ибо ниоткуда не доходит ни малейшего звука, за исключением тех, которые производит сам Макс, ворочаясь или крича до хрипоты, до потери голоса.

Заглянул Макс внутрь себя. В противоположность наружному немеркнувшему свету, внутри себя он видит беспросветный мрак, тяжелый, неподвижный. В этом мраке похоронены его любовь и вера.

Время идет или стоит – Макс не знает этого. Все тот же ровный белый свет льется на него, все та же тишина, безмолвие. Лишь по биению своего сердца Макс может судить о том, что Хронос не остановил своей колесницы. Все сильнее болит тело от неестественного положения и мучительнее становится постоянный свет и тишина. Как счастливы те, для кого есть ночь, вокруг кого кричат, шумят, играют на барабане; кто может сидеть на стуле, свесив ноги, или лежать, выпрямив их, забравшись головой в угол и закрыв ее руками, чтобы создать себе иллюзию темного уголка. Макс напряженно старается вспомнить и представить то, что бывает в жизни: человеческие лица, голоса, звезды. Он знает, что никогда в жизни его глаза не увидят этого. Он знает это – и живет. Он мог бы умертвить себя, ибо нет такого положения, в котором человек не мог бы сделать этого, а вместо того Макс беспокоится о своем здоровье, старается есть, хотя у него нет аппетита, решает математические задачи, чтобы занять мозг и не сойти с ума. Он борется со смертью так, как будто она не освободительница, а враг; а жизнь – не мука, горшая мук адских, а любовь, вера и счастье. Мрак в прошлом, могила в будущем и ад в настоящем – и он живет. Скажи же, Жан Энный, откуда он берет сил на это?

Он надеется.

АЛЕША-ДУРАЧОК

Очерк

Посвящается Э. В. Готье

Впервые увидел я Алешу при таких обстоятельствах.

Был холодный ноябрьский день. Сильный северный ветер быстро гнал по небу низкие тучи, гудел в голых вершинах обнаженных деревьев, срывая оттуда последние желтые скрюченные листья, своим печальным видом напоминавшие дачников, которые никак не могут расстаться с летом и только под влиянием крайней необходимости покидают насиженное место. Тот же суровый и настойчивый ветер подгонял и меня, настолько увеличив мою нормальную способность к передвижению, что путь от гимназии до дому, проходимый мною обыкновенно минут в тридцать, на этот раз сократился по меньшей мере минут на пять. Полагаю, впрочем, что один ветер едва ли достиг бы таких блестящих результатов, если бы не оказали ему содействие мои родители, наградившие меня тем, что в данную минуту свободно можно было назвать парусом, но что при рождении было наименовано гимназическим теплым пальто, сшитым "на рост". По толкованию изобретателей этой адской машины выходило так, что когда года через четыре мне станет пятнадцать лет, то эта вещь будет как раз мне впору. Нельзя сказать, чтобы это было большим утешением, особенно если принять во внимание необыкновенную тяжесть этой вещи и длину ее пол, которые мне приходилось каждый раз с усилием разбрасывать ногами. Если добавить к этому величайшую, с широчайшими полями, ватную гимназическую фуражку, имевшую очевидную и злобную тенденцию навек сокрыть от меня свет Божий и похоронить мою бедную голову в своих теплых и мягких недрах, чему единственно препятствовали мои уши, да обширнейший ранец, вплотную набитый толстейшими книжками – и все в переплетах, – то, без всякого риска солгать, меня можно было уподобить путешественнику в Альпийских горах, придавленному обвалом и, кроме того, поставленному в грустную необходимость весь этот обвал тащить на себе. При этих условиях требовать от меня жизнерадостного настроения было бы нелепостью.

Дом наш находился на окраине города О. по Пушкарной улице. Энергично борясь с судьбою, я успел приблизиться к нему и уже взялся за ручку калитки, чтобы через двор пройти к себе, когда из-под козырька фуражки заметил чьи-то грязные ноги, попиравшие чистые каменные ступени парадного крыльца. Сдвинув, насколько было то возможно, фуражку на затылок, я критическим взглядом окинул обладателя грязных ног. При первом поверхностном обзоре я успел заметить, что он одет более чем по-летнему. Коротенький и узкий нанковый пиджак туго обтягивал тело, выше кисти оставляя открытыми большие грязные руки, синевато-багровые от холода. Тот же оттенок носили и другие части тела незнакомца, выглядывавшие из прорванных нанковых брюк, далеко не достигавших нижних конечностей, обутых в опорки. Единственное, что в костюме незнакомца пробудило во мне некоторое чувство зависти, была маленькая-премаленькая засаленная фуражка, еле прикрывавшая стриженую голову.

– Послушай, чего тебе надо? – спросил я с деловитой суровостью барчонка, выполняющего ответственные функции хозяина и домовладельца.

Незнакомец молчал и смотрел на меня. Я тоже молчал и смотрел на него. Поразило меня при этом что-то особенное в выражении его глаз и рта. Лицо у него было совсем моложавое, болезненно-полное и на щеках еле покрытое негустым желтоватым пушком. Носик маленький, красный от холода. Небольшие серые тусклые глаза смотрели на меня в упор, не мигая. В них совсем не было мысли, но откуда-то из глубины поднималась тихая, молчаливая мольба, полная несказанной тоски и муки; жалкая, просящая улыбка как бы застыла на его лице.

– Послушай же! Чего тебе надо? – вторично спросил я, но уже с значительно меньшей суровостью. Но незнакомец и на этот раз не удостоил меня ответа. Слегка сгорбившийся, беспомощно, как плети, опустивший руки по бокам, он смотрел на меня тем же взглядом, и лишь губы его стали шевелиться, как будто то, что нужно было ему сказать, находилось на самом кончике языка, но никак не могло соскочить оттуда.

– Ну? – подсобил я ему.

– Копеечку... – послышался тихий, точно откуда-то издали долетевший ответ.

– А ты звонил?

– Не-т.

– Какой же ты глупый! Кто ж тебе даст, если ты не звонил.

Незнакомец молчал.

– А как тебя зовут?

– А-леша... Дурачок.

Эта необычная рекомендация не показалась мне странной, ибо я давно уже решил, что у незнакомца не все дома, и мне было жаль его. Особенно смущало меня проглядывавшее сквозь прорехи голое, синеватое тело.

– Тебе холодно?

– Хо-лодно.

С быстротой нерассуждающего детства я составил чудный план помощи Алеше, имевший целью не только спасти его от холода, но обеспечить его будущность по меньшей мере на несколько десятков лет. Схватив Алешу за рукав, я энергично потащил его окольным путем в сад, более чем когда-либо негодуя на излишнюю предусмотрительность родителей, воплотившуюся в этом проклятом пальто "на рост". В саду я усадил Алешу на скамейку, с возможной поспешностью отправился домой и, не раздеваясь, потребовал от матери "как можно больше денег". Та изумилась, но ввиду того что я имел честь состоять первенцем и баловнем дома, а также и потому, что у ней не было мелочи, дала мне рубль, строго приказав принести мне сдачи. Как же, дожидайся!

– На́, Алеша. Тут много денег. Смотри, не потеряй.

Для верности я сам зажал в его руку драгоценную бумажку. Но все-таки меня грызло сомнение, хотелось самому проводить до его дома, но, боясь отца, я удовлетворился тем, что долго из калитки наблюдал за уходящим дурачком. И походка-то у него была странная. Поднимет одну ногу и, качнувшись всем телом вперед, тихо-тихо поставит ее наземь носком внутрь. Потом другую. Меня так и тянуло побежать и толкнуть его сзади. От нетерпения я даже начал топать.

Говорят, что павлины горды, но это могут говорить лишь те, кто не видал меня в этот достопамятный день. Но радость от сознания сделанного добра была, пожалуй, еще выше гордости и страдала лишь одним недостатком: не была разделена. Впрочем, этот недостаток легко было исправить: у меня был поверенный. В этой почетной должности состоял наш дворник Василий, молодой, веселый и плутоватый парень, бывший, как я впоследствии убедился, далеко не бескорыстным другом, так как всякий прилив дружеской откровенности с моей стороны окупался обыкновенно десятком папирос из отцовского ящика. На этот раз, однако, я был обманут. Мой трогательный рассказ о бедном Алеше и рубле вызвал в Василье неистощимое и обидное для моего самолюбия веселье. Даже тезка Василия – мерин Васька (приютом на-

шей дружбы служила конюшня) – оглянулся и фыркнул, до того выразительно и громко грохотал Василий! Выждав окончания этой неприличной веселости, я в вежливых выражениях попросил разъяснить мне причину смеха. Боже, какое разочарование! Оказалось, что Алеша живет у известной всей Пушкарной Акулины, которая посылает его собирать копеечки, и, если копеечек набирается достаточно, совершается на них пьянство и дебош. И следовательно, мой рубль...

– Поди-кась, сейчас посмотри! Вот небось задувают... И вас похваливают!..

Представление о весьма вероятных, но мало лестных похвалах, которыми должна была осыпать меня Акулина, погрузило Василия в целый океан смеха, вынырнув из которого, он выразил прямое намерение идти к кухарке, у которой он тоже состоял поверенным, и посвятить ее в мою тайну.

Однако я воспротивился этому и путем красноречия, а главным образом обещания поставлять папиросы в таком количестве, что осуществление этого обещания грозило отцу неминуемым банкротством, убедил Василия предпринять вместе со мной небольшую рекогносцировку во владения Акулины.

Жилище Акулины носило название "кадетского корпуса". Что хотели сказать этим пушкари, давшие это прозвище, для меня положительная тайна. Быть может, покосившаяся набок крыша, весьма отдаленно напоминавшая надетую набекрень фуражку, что, как известно, составляет отличие военного звания, дала повод к этому названию, – но кто разберется в тайниках народного духа? Под этой крышей, несколько схожей со швейцарским шале, благодаря обилию набросанных камней и кирпичей, долженствовавших удерживать на месте дрянную настилку, находились четыре стены. Четыре – это очень важная подробность, так как половину лета изба имела всего три стены. Дело в том, что господин Треплов, супруг Акулины, по профессии более алкоголик, чем штукатур, вознамерился основательно ремонтировать свой замок, с каковой целью поочередно вынимал каждую стенку и вставлял хворостиновую. Но так как различные сложные обязанности, связанные с его профессиями, не позволяли ему отдавать много времени этому занятию, то домишко по целым неделям стоял без одной какой-нибудь стены. Особенно интересный вид представлял собой "кадетский корпус", когда была вынута стенка на улицу, и прохожие имели полную возможность наблюдать за течением семейной жизни гг. Трепловых, причем, несомненно, наибольшее количество избранной публики привлекал тот драматический момент, когда Акулина била и укладыва-

ла спать своего мужа. В то время я был глубоко убежден, что нет на свете более носатой, более высокой, более сильной, более страшной и громогласной женщины, чем Акулина. Когда по каким-либо обстоятельствам мне нужно было представить себе ведьму, я совершенно удовлетворялся представлением Акулины, останавливаясь перед одним лишь вопросом: каково же должно быть помело, на котором она летает? Поэтому, подходя к корпусу, я сильно трусил и крепко держал Василия за руку.

Отложив и снова заложив дверь, ибо она относилась к категории тех дверей, которые Митрофанушка называл "прилагательными", и петель не имела, – куда-то опустившись, поднявшись и снова опустившись, мы очутились внутри лачуги. Свет слабо проникал в запыленные и заклеенные бумагой оконца, и мне в первую минуту показалось, что в избе масса народу. Присмотревшись, я убедился, однако, что там было всего трое. Спиной к нам сидела Акулина, а на лавке вокруг стола восседали опухшая девица и молодой человек неопределенных занятий и звания. Возле молодого человека лежала гармоника, но, думается мне, единственно для контенансу, так как между верхней и нижней половиной этого инструмента произошел видимый и едва ли поправимый разрыв. На грязном столе стояла бутылка водки, валялся раскрошенный хлеб и виднелись остатки селедки, обычно именуемой пушкарями "кобылой". Алеши не было видно.

– А, Мелит Николаевич! – дружелюбно приветствовала меня Акулина, получавшая от моей матери кое-какое тряпье. – Садитесь, гостьми будете. От маменьки будете?

– Нет, я так... от себя... Василий, – шепнул я ментору, – спроси, где Алеша.

– Вам Лешку нужно? – услыхала Акулина. – А на что это он вам?

– Барчук дал ему целковый, – сурово вмешался Василий, – и хочет спросить, куда он его потребил.

– Вот он, Леша. Спрашивайте сами, – грубо отрезала Акулина.

Молодой человек неопределенного звания усмехнулся и подморгнул мне на вино.

В темном углу за печкой на каком-то обрубке сидел Алеша. Обрубок был низок, и колена Алеши подходили к его подбородку. Длинные руки бессильно лежали на коленях. Я наклонился к Алеше и снова встретил молящий, полный тоски взгляд и увидел ту же жалкую, просящую улыбку.

– Алеша, где же деньги? Деньги, которые я тебе дал? Ну, бумажку...

Алеша пошевелил губами и бесстрастно произнес:

– Она взяла.

– Акулина?

– Да-а.

– А это что у тебя? – заметил я, что одна щека Алеши багрово-красная и под глазами царапина.

– Побила.

Бросив руку Василия, я стал против Акулины и, задыхаясь от охватившего меня гнева, спросил:

– Это он... правду говорит?

– Ну и взяла.

– Как же вы смели?!

– А так и смела. Что же я его даром буду кормить? Тоже небось жрет как прорва.

– И вы били его?

Молодой человек, с видимо возраставшим интересом наблюдавший за этой сценой, не выдержал и, размахивая руками, смеясь и захлебываясь в словах, начал с непонятным восторгом представлять, как била Алешу Акулина.

– У тебя, грит, что это в кулаке зажато? А Лешка стоит как пень и кулака не разжимает. Акулина-то как хватит...

Но я перебил его и, обращаясь к Акулине, прокричал высоким, у меня самого в ушах отдавшимся голосом:

– Вы, Акулина, подлая женщина! Вы... мерзкая женщина! Я папе скажу, он к губернатору поедет!.. Он... – Но дальше слов у меня не хватило.

– Тише, Мелит Николаевич, не петушись, не побоялись...

Я топнул ногой, хотел кричать что-то, но Василий схватил меня за руку и быстро потащил к дверям. Последнее, что донеслось до меня из хаты, был возглас молодого человека:

– На чаек бы с вас! – Но потом: – Эх, барин чай пьет, а пузо холодное!..

– Но ведь она била его, Василий, била! – кричал я, жмуря изо всех сил глаза и обеими руками дергая Василия за поддевку. – Ведь била!

– Ну, нечего, нечего, не плачь. Ему дело привычное...

– Да как привычное! Ведь она сильная, ты не знаешь. Ему больно было...

Василий отвел меня в наш приют дружбы и долго успокаивал, рассказывая разные небылицы про ум мерина Васьки, обещаясь наказать Акулину и прося не забыть принести папирос. Понемногу я пришел в себя и решился отправиться в дом, но, уходя, спросил:

– А что это значит: барин чай пьет, а пузо холодное?

– Да так – дурак говорит, плюньте.

Но я не удовлетворился этим и долго размышлял, ощупывая живот: "это и правда, чай я пью горячий, а живот у меня холодный?"

Но эти не лишенные глубокомыслия размышления были нарушены жесточайшим нагоняем, которым наградил меня отец, узнавший всю эту историю с рублем.

Дня через два я снова увидел Алешу стоявшим у нашего крыльца в той же позе тоскливой безропотности и глубокой, животной покорности судьбе. Длинные большие руки бессильно висели вдоль хилого, понурившегося тела, та же жалкая, просящая улыбка застыла на его губах. Смущенный, потому что мне строго-настрого приказано было бросить эту "затею" с Алешей, я быстро сбегал в кухню, принес большой кусок хлеба и, торопливо сунув в руку Алеши, ласково попросил его уходить.

– Ступай, Алеша, голубчик, ступай. Папа не велел ничего тебе давать.

Вероятно, слово "ступай" было знакомо Алеше лучше всяких других, потому что он тотчас же сошел с крыльца и снова тихой, странной походкой отправился домой. И опять я долго смотрел ему вслед, но на этот раз мне уже не хотелось торопить его, и смутное сознание царящей в мире несправедливости закрадывалось в душу.

С того дня я влюбился в Алешу. Нельзя дать другого названия тому чувству страстной нежности, какая охватывала меня при представлении его лица, улыбки. В классе на уроках, дома на постели я все думал о нем, и мое детское сердце, еще не уставшее любить и страдать, сжималось от горячей жалости. Приходилось мне еще несколько раз видеть Алешу стоящим и безмолвно, терпеливо дожидающим у чьих-нибудь дверей. Скованный строгим приказом, я только издали провожал Алешу любовным взглядом. С Василием я о нем уже не говорил, так как вместо прежних шуток Василий резко заметил мне, что таких Алеш много и про всех не наплачешься.

Недели через две-три начались морозы, и река стала. С толпой ребятишек, составлявших мою обычную свиту, я отправился на лед кататься. День был воскресный, погожий, и на берегу толкалось порядочно пьяного, гулящего люда. Кое-где поскрипывала гармоника, невдалеке начиналась драка – уже вторая по счету. Но мы, ребята, ничего этого не слышали и не видели, до

самозабвения увлеченные своим занятием. Лед, чистый и гладкий, как зеркало, был еще совсем тонок, так что брошенный на него камень прыгал с звонким, постепенно стихающим гулом. Местами лед даже гнулся под ногами, и, когда кто-нибудь из нас, задрав ноги кверху, с размаху стукался затылком, на льду образовывалась звезда, в значительной степени утешавшая автора ее в понесенной неприятности. Иной малорослый любитель сильных ощущений, а может быть, пытливый ум, желавший исследовать явления в их сущности, пробивал лед каблуком и глубокомысленно смотрел, как из образовавшегося отверстия била ключом вода и потихоньку подтекала ему под ноги. Благодаря предусмотрительности родителей, сшивших мне пальто "на рост", я был автором наибольшего количества звезд, рассеянных по льду, и тем более было лестно для моего самолюбия, что после каждого акта творчества я надолго впадал в изнеможение, пытаясь выпутаться из пальто. Находясь в одном из этих состояний, я увидел на берегу Алешу и бросился со всех ног к нему, в радостном возбуждении забыв о приказе. Но пока, падая и подымаясь, я добирался до него, произошло нечто неожиданное. Алеша стоял на берегу у самого льда, как раз над тем местом, которое именовалось у нас омутом, когда один из ребят, зачем-то выскочивший на берег и вздумавший подшутить, разогнался и изо всех сил *бушкнул* Алешу в спину. Наклонясь и вытянув руки вперед, Алеша вылетел на лед, проехал сажени две на раскоряченных ногах и упал навзничь. Были ли в этом месте ключи, или лед был тоньше, чем в других местах, или он просто не мог сдержать тяжести взрослого человека, только Алеша провалился. Дальнейшее свершилось с такой быстротой, что я не успел еще закрыть широко разинутого рта, когда молодой человек, тот, что был у Акулины, поспешно сбросил с себя самого поддевку и пиджак и со словами: "берегись, душа, ожгу!" – бросился в воду. Через несколько минут, окруженный народом, Алеша стоял уже на берегу – все тот же, с теми же бессильно опущенными руками и жалкой улыбкой. Только струившаяся с него вода да дрожание всего тела показывали, что он только сейчас принял холодную ванну и, быть может, избежал смерти, так как провалился он на глубоком месте. Молодого человека его товарищи увели в кабак, причем, уходя, он не преминул попросить у меня на чаек, а Алеша стоял, окруженный соболезнующей и дающей различные советы толпой, – откуда-то уже поспели появиться и бабы, – дрожал и синел все больше и больше. Взволнованный, решительный, я протеснился сквозь толпу, взял Алешу за руку, заявил голосом, не терпящим возражений:

– Пойдем, Алеша, к нам, там тебе и чистое платье дадут и обсушиться.

Крики в толпе: "Ай да барчук, молодец!" – ничуть не увеличили моей решимости. Твердо, поскольку позволяли то полы пальто, шагал я, ведя Алешу, а за нами следовала толпа, составляя, в общем, весьма торжественное и внушительное шествие. Некоторые бабы пытались проникнуть к нам и во двор, но, встретив сильную оппозицию со стороны Василия, в порядке отступили.

Кухарка Дарья, молодая, красивая баба-солдатка, встретила нас целым скандалом, но, тронутая моими усиленными просьбами, к которым присоединил свой авторитетный голос и Василий, смягчилась, только сочла необходимым доложить о казусе моей матери. Та разрешила на несколько часов приютить Алешу и дала даже кое-каких харбаров ему переодеться. Боже, до чего ликовал я! Я решительно терялся, не зная, чем бы выразить свою любовь бедному Алеше, бесстрастно сидевшему на лавке. Я то гладил ему руки, неподвижно лежавшие на коленях, то просил Дарью дать ему еще поесть, хотел даже почитать ему сказку вслух, но, сообразив, что едва ли он что-нибудь поймет, остановился на другой, более практической мысли. Отозвав Василия в сторону, я таинственно спросил:

– Василий, а если дать ему папиросу, он будет курить?

– Ну вот еще! Куда ему с тупым носом да рябину клевать – рябина ягода не-жная!..

При последних словах Василий почему-то подмигнул Дарье, а та засмеялась и назвала его "лешим".

Я продолжал вертеться около Алеши и только что хотел предложить ему еще что-то, когда в кухню вошел отец, только что вернувшийся домой. Василий, собиравшийся зачем-то обнять Дарью, отскочил от нее и вытянулся. Дарья бросилась к печке, а я обмер. Только Алеша остался неподвижен и бесстрастен.

– Что это еще?! Убрать его, – сурово произнес отец.

– Папочка!..

– Я говорил, чтобы этого не было. Василий, отведи его.

Василий шагнул к неподвижному Алеше, но я остановил его, бросился к отцу, схватил за руку и заговорил, захлебываясь в слезах, целуя эту суровую, но родную руку:

– Папочка, родной, милый... позволь ему остаться... он бедный, он дурачок... Его Акулина бьет. Папочка, дорогой мой, не гони его – а то я умру. Папочка, не гони. Папочка, не гони!

Мои слезы уже начали переходить в истерику. Расчувствовавшаяся Дарья, утирая фартуком глаза, осмелилась присоединиться к моей просьбе.

– Ничего, барин, пускай останется, он нам не помешает...

Отец, не отвечая, хмуро смотрел на Алешу. Как бы под влиянием этого мрачного взгляда Алеша устремил на отца свои полные молчаливой мольбы глаза, и губы его зашевелились:

– Я дурачок... Алеша...

– Папочка!..

– Пускай останется. Но это в последний раз! – сказал отец, тихо-тихо погладив меня по поднятому к нему лицу, и вышел.

На другой день Алеша исчез, и с тех пор я его не видал и не знаю, где он. Может, замерз под забором, а может быть, и сейчас стоит где-нибудь у парадных дверей и ждет.

ЗАЩИТА

История одного дня

По коридору суда прохаживался высокий, худощавый блондин, одетый во фраке. Звали его Андреем Павловичем Колосовым, и он третий уже год состоял в звании помощника присяжного поверенного. Перед каждым крупным делом Андрей Павлович сильно волновался, но на этот раз его дурное состояние переходило границы обычного. Причин на то было много. Главнейшей из них были больные нервы. Последний год они прямо-таки отказывались служить, и водяные души, принимаемые Колосовым, помогали очень мало. Нужно было бросить курить, но он не мог решиться на это, так сильна была привычка. И теперь ему захотелось покурить, хотя во рту у него уже образовался тот неприятный осадок, который так знаком всем курящим запоем. Колосов отправился в докторскую комнату, оказавшуюся свободной, лег на клеенчатый диван и закурил. Ох, как он устал! Целую неделю не вылезает он из фрака. Да какое неделю! То у мировых судей, то в съезде, вчера целый день до девяти часов вечера промаялся в окружном суде по пустейшему гражданскому делу. Товарищи завидуют, что он так много зарабатывает, ставят примером неутомимости, а куда все это идет? Три тысячи рублей в год, которые он с таким трудом выколачивает, плывут между пальцами. Жизнь все дорожает, дети требуют на себя все больше и больше. Долги растут. Послезавтра срок за квартиру, нужно платить пятьдесят рублей, а у него в наличности всего десять. Опять выворачиваться, значит. Жена...

При воспоминании о долгах и жене Колосов поморщился и вздохнул.

– Послушай, куда ты запропастился? Я тебя искал-искал! – влетел в комнату товарищ Колосова по сегодняшней защите, Померанцев, тоже помощник присяжного поверенного, успевший приобрести репутацию талантливого криминалиста.

Красивый брюнет, подвижной, говорливый и жизнерадостный, но несколько шумный и надоедливый, Померанцев был редким баловнем судьбы. Дома, в богатой семье, его боготвори-

ли, счастье сопутствовало ему во всех делах, – как по рельсам катился он к славе и деньгам.

– Нам нужно условиться относительно защиты, – быстро говорил Померанцев.

– Отвяжись, бога ради, потом, – ответил вздрогнувший Колосов.

– Да как же потом?

Колосов устало махнул рукой, и Померанцев, передернув плечами, торопливо вышел.

Дело, по которому выступали Колосов и Померанцев, было по фабуле несложно. На одной из окраин Москвы, там, где кабак сменяет закусочную, чайную и снова сменяется кабаком и где ютятся подонки столичного населения, произошло убийство. Какой-то заезжий молодец, по видимости приказчик или прасол, кутил ночь в сопровождении двух оборванцев и гулящей девки "Таньки-Белоручки", показывал кошель с деньгами, а на другое утро был найден на огородах задушенным и ограбленным. Через неделю Танька и оборванцы были задержаны и сознались в убийстве. Колосов должен был защищать Таньку-Белоручку. В тюрьме, куда он отправился на свидание с обвиняемой, его встретило нечто неожиданное. Танька, или Таня, как он начал называть ее, была молоденькая, хорошенькая девушка с гладко зачесанными русыми волосами, скромная и пугливая. Одиночное ли заключение смыло с ее лица грязь позорного ремесла, или жестокие душевные страдания одухотворили его, но ни в чем не было видно того презренного и жалкого создания, о каких привык слышать Андрей Павлович. Только голос, несколько охрипший и грубый, говорил о ночах разврата и пьянства.

После первого же свидания Колосов понял, что Танька ни душой, ни телом не повинна в убийстве. Страх погубил ее. Страх существа, находящегося внизу общественной лестницы и придавленного всеми, кто находится выше. Всякий был сильнее Тани и всякий обижал ее, был ли то ее любовник, драчливый и жестокий, или городовой, сияющий всеми своими значками и бляхами и одним своим юпитеровским видом приводивший в панический ужас обладательницу желтого билета. Из страстной и порывистой речи Тани, когда ее глаза горели и худенькое тело вздрагивало от накопившейся ненависти к гонителям, Колосов увидел, что Таня способна и на самозащиту. Так защищается загнанный зверек, запрокинувшийся на спину и яростно скалящий зубы на поднятую руку, но в самой этой напускной ярости более ужаса и смертельной тоски, чем в самом отчаянном вопле. Со слезами и

сомнением в том, что кто-нибудь может поверить ее словам, Таня рассказывала, как произошло убийство. Когда все они вышли из последнего кабака и проходили пустырем, Иван Горошкин, ее любовник, и Василий Хоботьев накинулись на незнакомца и стали душить его.

– Испугалась я, барин, до смерти. Закричала на них: "что вы, душегубы, делаете?" Ванька на меня только цыкнул, а тот уж хрипеть начинает. Бросилась к ним, а Ванька, злодей, как ударит меня ногой по животу. "Молчи, говорит, а то тебе то же будет!" Пустилась я от них бежать по огородам, сама не знаю, как у Марфушки до постели довалилась... Платок, как бежала, потеряла...

На другой день Таня упрекнула Ивана в содеянном, но тот двумя ударами кулака убедил ее в непреложности совершившегося факта, а через полтора часа Таня пела песни, плакала и пила водку, купленную на награбленные деньги.

Колосов еще раза два был у Тани, и после каждого посещения предстоящая защита казалась ему все труднее. Ну что он скажет на суде? Ведь надо рассказать все, что есть горького и несправедливого на свете, рассказать о вечной, неумолкающей борьбе за жизнь, о стонах побежденных и победителей, одной грудой валяющихся на кровавом поле... Но разве об этих стонах можно рассказать тому, кто сам их не слышал и не слышит?

Вчера ночью (днем он был занят) Андрей Павлович готовился к защите. Сперва работа не клеилась, но после нескольких стаканов крепкого чаю и десятка папирос разбросанные мысли стали складываться в систему. Все более возбуждаясь, взвинчивая себя удачными выражениями, красивыми фразами, Колосов наконец составил горячую, убедительную речь, прежде всего убедившую его самого. На минуту в нем исчез страх, который как бы передался ему от Тани, и он лег спать, уверенный в себе и победе. Но бессонница сделала свое дело. Сегодня у него голова тяжела и пуста. Отдельные фразы из речи, которые он набросал на бумаге, кажутся искусственными и слишком громкими. Вся надежда на то, что нервы приподнимутся и в нужную минуту он овладеет собой.

Он сегодня уже виделся с Таней и был неприятно поражен той одеревенелостью, которая сквозила в ее голосе.

– Смотрите же, Таня, вы передавайте все так, как и мне говорили. Хорошо?

– Хорошо, – ответила покорно Таня, но в этой покорности звучал тот одному ему понятный страх, которым было проникнуто все ее существо.

Дело началось.

Когда отворилась дверь, ведущая из коридора за решетку, за которой помещаются подсудимые, и они начали входить один за другим, публика, наскучившая ожиданием, всколыхнулась. Звякнули шпоры жандармов, блеснули их обнаженные тесаки, и зрители поняли, что драма начинается. Пронесшийся по залу шорох и шепот показали, что происходит обмен впечатлений. Ординарная наружность Ивана Горошкина и Хоботьева вызвала нелестные замечания, зато Таня понравилась – настоящая героиня драмы.

После обычного допроса подсудимых об их имени и звании Таня, на вопрос председателя об ее занятии, ответила:

– Проститутка!

И это слово, брошенное в середину расфранченных, чистых женщин, сытых и довольных мужчин, прозвучало как похоронный колокол, как грозный упрек умершего всем живым. Но ничья не опустилась голова, ничьи не потупились глаза. Еще более жадным любопытством засветились они – подсудимая так хорошо ведет свою роль!

Первым начал объяснения Горошкин, представлявший собою смуглого, довольно красивого мужчину с самодовольными манерами признанного сутенера. Говорил он не торопясь, выбирая выражения и имея такой вид, как будто он хорошо сознает свое превосходство над окружающими и стесняется особенно ярко обнаруживать его. По его словам выходило, что все трое имели одинаковую долю в совершении убийства. Он держал неизвестного за руки, Танька набросила ему петлю на шею, а Хоботьев душил. Хоботьев, во всех отношениях безличный субъект, повторил ту же историю, расходясь с Горошкиным лишь в неважных подробностях относительно дележа денег. Спокойный перед ожидающей его каторгой, он не мог примириться с тем, что Ивану досталась львиная доля награбленного. Наступила очередь Тани.

Колосов со страхом ожидал ее слов, – и после первых звуков ломающегося голоса понял, что дело плохо. Куда-то исчезли та искренность и простота, которые так подкупали его и были, в сущности, единственным оружием Тани. Путаясь в ненужных подробностях и отступлениях, оскорбляя слух вульгарностью и резкостью выражений, Таня слишком заметно старалась оправдаться и сваливать вину на других, и чем больше старалась, тем худшее производила впечатление. “Лучше совсем бы уж молчала!” – со злобой на Таню подумал Колосов, мучительно улавливая каждую неверную нотку. Он не глядел на присяжных и

публику, но всем телом чувствовал, что растут неприязнь и недоверие.

– Если вы не виновны в убийстве, то почему же вы сознались в нем в полиции и у следователя? – спросил председатель.

Таня замялась и потом ответила, что в полиции ее били. В этом ответе чувствовалась прямая и "наглая" ложь. Да и действительно Таня ничего не говорила об этом своему защитнику. Но чем иным, кроме битья, могла она объяснить всем этим важным господам свой страх перед приставом, который на нее только глазом повел, а ей бог знает что почудилось! Разве этот барин с золотыми пуговицами поймет, что можно бояться даже одних только светлых пуговиц? На этот раз не только барин, но и Колосов не понял Тани. Сжав со злостью зубы, он уткнулся в пюпитр, чтобы не видеть недоверчивых улыбок.

– А следователь вас тоже бил? – с легкой иронией продолжал председатель.

В задних рядах публики пронесся подленький смешок.

Таня молчала.

– А не судились ли вы за кражу портмоне у пьяного? Мировой судья приговорил вас к двум месяцам тюремного заключения?

Таня молчала. К чему она будет говорить? Жаль только, что она рассердила Андрея Павловича, не сумевши как следует рассказать.

Начался бесконечный допрос свидетелей. Перед все более туманившимися глазами Колосова проходили вежливые, многоречивые и благообразные содержатели кабаков, заспанные и как будто чем-нибудь оглушенные прислуживающие. Одни загромождали свою речь тысячью мелких подробностей, и их нельзя было заставить замолчать; из других приходилось вытягивать каждое слово. Появился свидетель – симпатичный, чисто одетый мальчик, худенький и застенчивый. После нескольких ободрительных слов председатель спросил, что делали Белоручка и другие, когда заходили к его бабушке в хату.

– Калтошку чистили, – ответил мальчик и, взглянув исподлобья на председателя, улыбнулся.

Улыбнулся суд, улыбнулись присяжные, улыбнулась и тихо плакавшая Таня, и слезинки блеснули на ее глазах. Колосов заметил эту любовную улыбку матери, похоронившей своего ребенка, и подумал: "Ради одной этой улыбки нужно оправдать ее". Часы шли за часами, и Андрей Павлович чувствовал себя все хуже и хуже. Перед утомленными глазами его протягивались блестящие нити; слух с трудом воспринимал звуки; смысл речей

терялся для него, и раз он вызвал уже замечание председателя по поводу вторично предложенного одного и того же вопроса. Апатия и скука затягивали его. Он пытался расшевелить себя, в перерывах курил до головокружения, выпил рюмку коньяку, но минутное возбуждение сменялось полным упадком энергии. "Боже, что со мной?" – приходила минутами мысль, и где-то ощущался страх, а по спине поднимался холодок. Померанцев, смелый, бойкий, настойчивый, вел следствие прекрасно: выматывал душу из свидетелей, вступал в ожесточенные схватки с председателем и прокурором и вызывал в публике одобрительные отзывы.

Речи начались только в одиннадцатом часу вечера. Прокурор, пожилой сутуловатый человек, с умным, но маловыразительным лицом, с тихой, спокойной и красивой речью, был грозен и неумолим, как сама логика, – эта логика, лживее которой нет ничего на свете, когда ею меряют человеческую душу. Оставаясь на почве фактов, и только фактов, без трескучих фраз и деланных эффектов, прокурор петлю за петлей нанизывал на сеть, опутавшую Таню. Бесстрастно, эпически начертав картину среды, в которой жили преступники, он приступил к описанию самого злодеяния.

Колосову, нервно перебиравшему холодными руками свои заметки, казалось, что с каждым словом обвинителя в зале тухнет лампочка и становится темнее. Он чувствовал сзади себя притихшую Таню; ее глаза расширяются при каждом слове, которое, как тяжелый молот, гвоздит ее голову. Впервые со всей ужасающей ясностью и подавляющей силой Колосов понял, какая безмерно тяжелая лежит на нем ответственность. Сердце замирало у него, руки тряслись, а грозный голос твердил: "ты убийца! ты убийца!.." Колосов боялся оглянуться назад: вдруг он встретит глаза Тани и прочтет в них мольбу о спасении и слепую веру в него? Зачем он в тюрьме успокаивал ее и говорил о возможности оправдания?..

...Все более чернеет грозная туча обвинения, нависшая над головой Тани. С тем же жестоким спокойствием прокурор говорит о позорном прошлом "Таньки-Белоручки", запятнавшей свои белые ручки в неповинной крови. Вспоминает о краже, добавляя, что, быть может, она была уже не первой...

В притихшей зале не хватает воздуха. Колосов задыхается. Он закрывает глаза и, как преступник перед казнью, видит в глубокой дали солнце, зеленые луга, голубое чистое небо. Как тихо и спокойно сейчас у него дома! Дети спят в своих кроватках. Хорошо бы пойти к ним. Стать на колена и припасть головой,

ища защиты, к их чистенькому тельцу. Бежать от этого ужаса! Бежать!.. Бежать? Но ведь у нее тоже был ребенок? Только в одном крике, продолжительном, отчаянном, диком, мог выразить Колосов свое чувство. О, если бы у него был язык богов! Какая громовая, безумная речь пронеслась бы над этой толпой! Растворились бы жестокие сердца, рыдания огласили бы залу, свечи потухли бы от ужаса, и сами стены содрогнулись бы от жалости и горя! Как тяжело быть человеком, только человеком!..

Прокурор кончил свою речь. После минутного перерыва, наполненного кашлем, сморканием и шумом передвигаемых ног, начал говорить Померанцев. Его плавная, красивая речь льется, как ручеек. Здоровый, мягко вибрирующий голос как бы рассеивает тьму. Вот послышался легкий смех – Померанцев вскользь бросил остроту по адресу прокурора. Колосов смотрит на полное, красивое лицо товарища, следит за его округленными жестами и вздыхает: "Хорошо тебе, не знаешь ты горя и не понимаешь его!.." Когда наконец Колосов начал говорить, он не узнал своего голоса: глухой, надтреснутый, неприятный ему самому. Присяжные, сперва насторожившиеся, после первых фраз начали двигаться, смотреть на часы, позевывать. Фразы деланные, неестественные идут одна за другой, наводя скуку на утомленных судей. Шаблонное, опротивевшее повторение сотен речей, слышанных ими. Председатель перестает следить за речью и о чем-то перешептывается с членом суда. "Хотя бы кончить поскорее!" – думает Колосов.

Присяжные заседатели отправились в совещательную комнату. Как мучительно тянутся эти полчаса! Колосов старается избегать товарищей и разговоров, но один, молодой, веселый, толстый и не понимающий, что можно говорить и чего нельзя, настигает его:

– Что это вы, батенька, так плохо нынче? А мы нарочно пришли вас послушать.

Колосов любезно улыбается, бормочет что-то, но тот, увидев Померанцева, устремляется к нему, издалека крича:

– Здорово, Сергей Васильевич! Здорово!

Вот и звонок. Болтавшая, гулявшая и курившая публика толпой валит в залу, толкаясь в дверях. Из совещательной комнаты выходят гуськом присяжные заседатели, и зала замирает в ожидании. Рты полураскрыты, глаза с жадным любопытством устремлены на бумагу, которую спокойно берет председатель от старшины присяжных, равнодушно прочитывает и подписывает. Колосов стоит в дверях и смотрит, не отрываясь, на бледный профиль Тани.

Старшина читает, с трудом разбирая нечеткий почерк:

– Виновна ли крестьянка Московской губернии, Бронницкого уезда, Татьяна Никанорова Палашова, двадцати одного года, в том, что в ночь с 8-го на 9-е декабря... с целью воспользоваться имуществом... в сообществе с другими лицами... удушила...

– Да, виновна.

Показалось ли это Колосову, или Таня действительно покачнулась? Или покачнулся он сам?

Нужно ждать еще полчаса, пока суд вынесет приговор. Андрей Павлович не в состоянии оставаться среди этой оживленной толпы и уходит в дальние, пустынные и слабо освещенные коридоры. Медленно ходит он взад и вперед, и шаги его гулко раздаются под сводами. Вот со стороны залы слышится топот ног, шум, голоса – все кончилось. Колосов поспешно идет вразрез толпе, слышит громкие, как бы ликующие возгласы: "десять лет каторги!"... и останавливается у дверей, из которых выходят преступники. Когда Таня проходит мимо него, он берет ее безжизненно опущенную руку, наклоняется и говорит:

– Таня! Прости меня!

Таня поднимает на него тусклые без выражения глаза и молча проходит дальше.

Колосов и Померанцев живут по соседству и поэтому ехали домой на одном извозчике. Дорóгой Померанцев очень много говорил о сегодняшнем деле, жалел Таню и радовался снисхождению, которое дано Хоботьеву. Колосов отвечал односложно и неохотно. Дома Колосов не торопясь разделся, спросил, спит ли жена, и, проходя мимо детской, машинально взялся за ручку двери, чтобы, по обыкновению, зайти поцеловать детей, но раздумал и прошел прямо к себе в спальню.

1898

ИЗ ЖИЗНИ ШТ.-КАПИТ. КАБЛУКОВА

Через запушенные инеем и покрытые алмазными елками стекла окон проникали утренние лучи зимнего солнца и наполняли холодным, но радостным светом две большие, высокие и голые комнаты, составлявшие вместе с кухней жилище штабс-капитана Николая Ивановича Каблукова и его денщика Кукушкина. Видимо, за ночь мороз окрепчал, потому что на подоконниках у углов рам образовались ледяные наросты и при дыхании поднимался пар в холодном воздухе, за ночь очистившемся от запаха табака.

– Кукушкин, – хриплым баритоном крикнул Николай Иванович, прихлебывая из стакана горячий крепкий чай. Стакан был вставлен в серебряный, почерневший в узорах подстаканник, вместе с серебряной ложечкой составлявший весь ассортимент имевшихся у капитана драгоценных вещей. – Кукушкин!

Слегка зацепившись в дверях, вошел денщик, за несообразность, по выражению фельдфебеля, уволенный от строевой службы. Маленькая голова его с большими лопастыми ушами уныло торчала на длинном и худом туловище, охотно принимавшем всякое положение, кроме требуемого.

– Экий ты, братец, михрютка, – кротко упрекнул капитан. – Нужно идти сразу, когда зовут.

– Так точно, – угрюмо пробурчал Кукушкин и скосил глаза.

– Экий ты дурак, братец. И чего ты морду-то воротишь? Пьян был?

– Нам не на что пить.

Не желая портить настроения, Николай Иванович молча пожал плечами и велел подать водки и закуски и затопить печку.

– Это что? – показал капитан на чайную чашку с пестрым рисунком, очевидно, собственность Кукушкина, которую он подал вместе с графином водки и сардинами. – Рюмка? – капитан повел глазами на землю.

– Так точно.

– Ну и дурак. Возьми у хозяйки.

Пока денщик, сидя на корточках, возился у печки и, обжигаясь, подтапливал березовой корой сырые, на концах покрытые снегом дрова, Николай Иванович всесторонне обдумал свои планы на завтрашний вечер. Наступающий праздник требовал от него чего-нибудь праздничного, и завтра, в сочельник, капитан решил устроить у себя пирушку, по количеству напитков, очевидно, не предназначенную для женского пола. Да женский пол давно уже не входил в расчеты капитана, так как полковых дам, с которыми ему приходилось резаться в стуколку, он за женщин не считал, а с другими сталкиваться не приходилось. Капитан составил реестрик вин и закусок и с некоторым чувством удовольствия передал его денщику, который вместо ожидаемого одобрения отвечал, как попугай, "так точно" и "слушаю", но чем больше он "слушал", тем рассеяннее и мрачнее становилось выражение его глаз; капитан сказал бы, что в них просвечивает даже ирония, если бы не знал доподлинно, что Кукушкин глуп и к иронии не способен. Покупок было рублей на десять, но у капитана имелась только двадцатипятирублевая бумажка, которую он и передал денщику. Не теряя все еще надежды оживить Кукушкина и вызвать в нем более активное отношение к действительности, Николай Иванович поднес ему чашку водки, мотивируя свое предложение ссылкой на мороз. Кукушкин, перекрестившись, выпил водку, но не крякнул, и не сплюнул, и не поблагодарил, как то следовало по его установившимся привычкам, но лишь обтер губы с таким ожесточением, как будто ему хотелось уничтожить и след своей позорной уступчивости. Через несколько минут с силой хлопнула кухонная дверь.

"Что за муха его укусила? – подумал капитан. – Был малый как малый, а теперь прямо ошалелый какой-то. Третьего дня сгрубил. Хозяйка жалуется. Ну да черт с ним. Буду лучше думать о том, как хорошо и весело пройдет завтра вечер".

Выпив еще две рюмки водки, погуляв по комнате, заглянув в замерзшее окно, с подоконников которого уже начала стекать вода, Николай Иванович взял маленький ящичек и присел на нем у бурчавшей и шипевшей печки. В открытую дверку на него пахнуло жаром. Шипение стихло, и желтые языки пламени, лениво нагибаясь, облизывали обуглившиеся поленья.

Прошло двадцать лет с тех пор, как Николай Иванович таким же образом, на ящике, сидел у печки. Тогда он только еще попал в этот мерзкий городишко и в эту несчастливую дивизию, где офицеры так живучи и движение вперед так медленно. Тогда у него не было лысины и этого красного, обрюзглого лица. Другим языком говорил тогда этот огонь, таким приятным жаром

обдающий лицо. Тот язык был менее понятен, чем настоящий; глупый и смешной то был язык. Он говорил об академии, куда поедет учиться Николай Иванович; он тихо и загадочно шептал о какой-то красивой и хорошей девушке, которая его полюбит; он рисовал живые картины веселого, шумного бала, на котором стройный офицер с затянутой талией ловко отбивает такт мазурки и ведет остроумную и интересную беседу. Танцы... Какая смешная вещь танцы!

Николай Иванович оглядел свой округлившийся живот и, вообразив себя танцующим и беседующим с барышней, улыбнулся.

– А разве теперь не хорошо? Ей-богу, хорошо! – возразил кому-то капитан и в доказательство, что ему хорошо, выпил еще рюмку водки, но к печке присаживаться не стал. Ходить по комнате оказалось разумнее. Мысли пришли обычные, спокойные, ленивые – о том, что жид Абрамка поручику Ильину лакированные сапоги испортил; о том, сколько он будет получать денег, когда будет ротным командиром, и что казначей хороший человек, даром что поляк.

Последние годы Николаю Ивановичу усиленно приходилось доказывать, что ему живется хорошо, так, как нужно жить. Но доказательства принимались туго, пока капитан не обзавелся могучим союзником – графином. Когда с утра он выпивал две-три рюмки водки, все становилось ясным, понятным и простым. Не поражала своим убожеством грязная, пустая комната; не замечалось и того, что сам он стал нечистоплотен и ленив: по неделям не меняет белья, ленится чистить ногти, а когда и замечалось, то тут же опровергалось резонным соображением: "Ведь мне за барышнями не ухаживать!" Легче было и дело делать спустя рукава; не так обидно казалось и то, что он в пятьдесят лет штабс-капитан, тогда как иные товарищи его по выпуску уже полковники, а то и генералы. Переставало грызть бесплодное сожаление о том, что он четверть века убил на бессмысленную шагистику, в мелкой погоне за завтрашним днем растерял по дороге по частям свою душу. Легкий, приятный туман волновался перед Николаем Ивановичем, застилая от глаз все, что не есть четвертая рота Хоронского резервного батальона с ее жидом Абрамкой, преферансом по маленькой, приказами по полку и другими злободневными интересами.

Но было раза два в году, что союзник капитана обращался в его злейшего врага. С мучительной яркостью и болью перед ним вставало сознание ужасной бессмысленности его жизни, – и тогда Николай Иванович пил запоем по две недели, в одном белье просиживая дома с одувшейся багровой физиономией.

С пьяными слезами он жаловался товарищам, что его загубили, а когда товарищи покидали одичавшего, полубезумного от алкогольного яда человека, он ставил к притолоке денщика и, с последними попытками сохранить свое достоинство, суровым голосом рассказывал ему, что он, капитан, человек хороший, только не понятый. Когда и денщик уходил от сумасшедшего "его благородия", его благородие, положив голову на стол, плакал один, не зная, о чем он плачет, но тем горше, тем искреннее и больнее. По миновании запоя, капитан, совестившийся вспомнить и говорить о нем, не мог все же отделаться от ряда смутных, тяжелых воспоминаний. Одним из них, наименее тяжелым, было воспоминание о том, что Кукушкин в чем-то помогал и сочувствовал капитану. Был ли он крепче на ногах других денщиков и долее в состоянии был впитывать в себя капитанские излияния (летевшие на него иногда со стаканом или другою вещью, подвернувшейся Николаю Ивановичу под руку) или в чем-нибудь ином проявлял свое заботливое к нему отношение, капитан в точности уяснить себе не мог, но чувствовал к Кукушкину благодарность. Ради нее он до сих пор не прогонял Кукушкина и мирился с его официально признанной глупостью и совершенно отрицательным значением в капитанском хозяйстве: чего Кукушкин не мог разбить, то он портил другим, более или менее остроумным способом. Капитанские прика-зания он толковал так превратно, что даже другие денщики смеялись.

Выпив еще рюмочку, Николай Иванович отправился пройтись по знакомым, передав ключ и заботы о квартире хозяйке, жившей через сени. Вернулся капитан поздно вечером, но Кукушкина еще не было. Прошла ночь, а за нею следующий день, – Кукушкина все не было.

Заложив капитанский реестрик за обшлаг рукава, Кукушкин вышел и, охваченный крепким морозным воздухом, невольно ускорил свой гусиный шаг, за который удалили его из роты. На морозе особенно почувствовалась теплота выпитой водки, но это не улучшило его настроения. Послав значительное количество чертей толкнувшей его бабе, в свою очередь с некоторым уважением сообщившей ему, что она такого длинного дьявола еще не видала, Кукушкин демонстративно прошел перед самым носом разогнавшейся извозчичьей клячи, на укоризненное замечание возницы бросив ему вслед:

– Эка носят тут вас черти, гужеедов!

Все дальнейшее, встречавшееся Кукушкину на пути, вызывало в нем протест и едкие замечания. Чем благообразнее,

сытнее и по-праздничному радостно-озабоченнее была встречавшаяся физиономия, тем с большею ненавистью смотрел он на нее. "Разлопался, жирный пес", – приветствовал он мысленно купца, сидевшего в широких санях и принимавшего от мальчика кульки и кулечки. "Мало еще: ишь чрево-то разъел". Соображение о том, что капитан послал его на другой край города, как будто тут не было хороших магазинов, повергло Кукушкина в состояние полного человеконенавистничества. "С жиру-то бесится, – у Мотыкина селедок купи, слышишь?" – передразнил он капитана и с отвращением плюнул.

– А вот ежели я в кабак зайду? – спросил Кукушкин кого-то, не дававшего ему покоя, и, презрительно ткнув ногой захватанную дверь трактирного заведения, скрылся за нею.

– Вот и зашел, и выпил! – торжествующе подтвердил он, выходя из трактира и выпустив струю вонючего воздуха. Как бы вызывая на бой весь мир, Кукушкин гордо огляделся и, увидев офицера, моментально вытянулся и отдал ему честь.

С крутой горы Кукушкину надо было спуститься на мост. По ту сторону реки, за рядом дымовых труб города, выпускавших густые, белые и прямые столбы дыма, виднелось далекое белое поле, сверкавшее на солнце. Несмотря на даль, видна была дорога и на ней длинный, неподвижный обоз. Направо синеватой дымкой поднимался лес. При виде чистого снежного поля бурный и горький протест с новой силой прилил к беспокойной голове Кукушкина. "А ты тут сиди!" – со злобой, не то с отчаянием подумал он.

Недели три тому назад Кукушкин встретился на базаре с одним земляком, который, рассказав все новости деревни Собакиной, погрузил его в заколдованный мир деревенских интересов – заколдованный, потому что и родился, и жил Кукушкин, и взят был из деревни – все по щучьему веленью. Интересы эти были денщиком слегка призабыты, но даже легкое напоминание о них заставило ходуном ходить мужицкую кровь, звавшую Кукушкина к тяжелому мускульному труду – к земле и сохе. Рассказал ему земляк и о том, что у него, Кукушкина, родилась дочка, но что молодайка больна и ребенка кормят соской. Далее оказалось, что отец Кукушкина без работника, с одним братом Иваном, не может сладить с хозяйством и совсем ослабел; хлеба недохват, и к Рождеству придется занимать у Ильи Иваныча, ежели Илья Иваныч даст. "И слезно просят любезного сына Петрушу прислать денег, потому смерть приходит". Кукушкин послал с земляком целковый, но впал в отчаяние. Перед возбужденным воображением его носилась яркая карти-

на горькой домашней нужды, и чем ближе к празднику, тем ярче и нуднее становилась она. Непривычный к рассуждениям мозг денщика тяжело шевелился, сосредоточивая все свои силы на уразумении факта, заключавшегося в простом сопоставлении: "Дома без рук и без хлеба сидят, а я у Мотыкина селедок голландских покупаю".

И теперь Кукушкин созерцал во всей наготе этот факт и, не умея рассуждать, отплевывался и всем своим существом бесплодно протестовал – к собственному удивлению и даже к некоторому огорчению, потому что это состояние казалось ему неприятным и напущенным на него извне, со стороны. В первое время он помышлял о бегстве, но бегство было так глупо, что Кукушкин целых два дня после своих помыслов с особенной иронией относился к капитану и до срока потребовал у своего коллеги, денщика Тютькина, уплаты занятого двугривенного, а когда тот, по соображениям формального свойства, не отдал, обругал его деревенщиной и подлецом.

Кукушкин подходил к магазину, когда вместе с воспоминанием о деньгах что-то изнутри с силой толкнуло его, и сам собою, как дергач из травы, выскочил вопрос:

– А ежели я украду?

"С нами крестная сила! – испугался Кукушкин и перекрестился. – Во всем роду воров не было, а я украду. Да расказнить меня мало за это. И что человек придумает!" – неискренно улыбнулся Кукушкин и ускорил шаги. Но четвертная бумажка шевелилась в кармане, а изнутри что-то толкало – и вытолкнуло ответ:

– Скажу, что потерял.

"С нами крестная сила!" – еще раз воскликнул Кукушкин и с испугом бросился в первые попавшиеся двери. То были двери трактирного заведения.

Разгневанный и обеспокоенный, Николай Иванович оповестил собиравшихся к нему офицеров, что денщик его с деньгами пропал, и, вернувшись домой, нашел пропавшего денщика в кухне. Кукушкин сидел на лавке и, покачиваясь и клюя носом, усердно ваксил капитанский сапог.

– Ты где это, мерзавец, пропадал? Пьян?

– Ни-к-как нет, вашбродь.

– Как стелька... Да как же это ты смел напиться? а?

– На свои пил, не на ваши.

– Что? Грубиянить? А покупка где, а деньги где?

– Потерял. Вот как перед Истинным...

Капитан всплеснул руками и безмолвно устремил на денщика свои заплывшие глазки. Если капитан в этот момент напоминал собою Наполеона, то Кукушкин был океаном, бестрепетно сносившим взгляд владыки мира. Осоловелые глаза денщика, с кротким спокойствием безвинно обиженного человека, были устремлены на Николая Ивановича.

– Украл? Говори!

– Что ж, судите. Может, и украл. Человека всегда обидеть можно. – Кукушкин заплакал.

Капитан, чувствуя, что гнев душит его, сквозь зубы прошипел:

– Спать ложись, скотина. З-завтра в полк.

– Воля ваша, но только я занапрасно гибну.

– М-молчать! Молчать, я говорю!

Топнув ногою, капитан вышел из кухни, а Кукушкин попытался снова приняться за сапог, но, не приняв в расчет силы инерции, последовал за движением щетки и повалился на лавку.

Гнев капитана достиг высшего напряжения и, вылившись в бессвязных восклицаниях, вскоре утонул в нескольких рюмках водки и сменился чувством жестокой обиды. "Праздника – и того не дадут как следует встретить", – сокрушался капитан, пробегая взглядом по светлой картине несостоявшегося веселья, и она как будто потускнела. "Но я докажу, что было бы хорошо!" – воскликнул капитан и начал доказывать. Но странное дело: чем усиленнее капитан доказывал, чем чаще вливал он в себя аргумент из графина, тем сомнительнее становилась истина.

"Запой!" – с ужасом подумал Николай Иванович, но сейчас же ужас этот сменился радостью, – радостью человека, который бросается в пропасть, чтобы избавиться от головокружения. Как бы порвав сковывавшие их цепи, перед капитаном понеслись образы, мрачные, тяжелые и томительно-грустные. Образ милой девушки, долженствовавшей составить счастье капитана, всплыл перед ним чистый, пленительный. "Голубушка!" – с нежностью сложил толстые губы Николай Иванович. А за ним поплыли, поплыли другие. Капитан сидел на берегу этой реки, уносившей в бездну его надежды и мечты о человеческом счастье, и все грустнее и жальче становилось ему себя. Водка убывала в графине, претворяясь в чувства, которые ей редко суждено будить в душе человеческой: чувства жалости, любви и раскаяния. Никому он, капитан, не нужен; ничья не просветлеет душа при виде его расплывшейся, пьяной и грязной физиономии. Не обовьются вокруг его толстой, апоплексической шеи мягкие детские ручки, не прижмется нежная щека к его колючему под-

бородку. У других хоть собака есть, которую они любят и которая любит их. По странному сцеплению мыслей капитану вспомнился Кукушкин. За что Кукушкин будет любить его? Кукушкин... а что такое, собственно, этот Кукушкин?

Грузно поднявшись со стула, капитан взял лампу и отправился в кухню. Денщик спал, запрокинув голову. В левой руке он еще держал сапог, правая, тяжелая, свесилась с лавки. Лицо было бледно и болезненно. Капитан первый раз видел, как спит Кукушкин, и он показался ему другим человеком. Впервые он заметил на этом молодом, безусом лице морщинки, и это лицо с морщинками, с одной несколько приподнятой бровью, казалось капитану незнакомым, но более близким, чем то, которое он видел ежедневно, потому что было лицом человека. Впечатление было настолько ново и странно, что Николай Иванович на цыпочках вышел из кухни и с недоумевающим видом оглядел вокруг: ему показалось, что и комната не та.

Прошло полчаса. По комнатам пронесся зычный зов:

– Кукушкин!

Но в сиплом голосе звучали новые, незнакомые ноты.

Кукушкин зашевелился и после нового крика, осторожно стукая каблуками, вошел в комнату. Потупив голову, он стал у порога и замер. И на этого жалкого человека капитан мог сердиться!

– Кукушкин!

Пальцы денщика слегка зашевелились и снова оцепенели.

– Украл деньги?

– Украл... не... не...

Голос Кукушкина дрогнул, и пальцы зашевелились быстрее. Капитан молчал.

– Значит, теперь судить тебя будем?

– Ваше благородие... Не дайте погибнуть...

Капитан быстро вскочил и, подойдя к Кукушкину, взял его за плечи.

– Дурак ты, дурак. Да разве же я и вправду? Эх ты! – Капитан дернул Кукушкина и, повернувшись, подошел к окошку, точно в эту темную рождественскую ночь можно было хоть что-нибудь увидеть на улице. Но капитан увидел и, поднеся руку к лицу, смахнул что-то, что мешало видеть яснее.

– Ваше благородие...

В голосе денщика слышалось то самое, что так удачно смахнул капитан. Жирная спина капитана была неподвижна.

– Ну что? – глухо донеслось от окна.

– Ваше благородие... Накажите меня.

– Будет, будет глупости говорить.

Николай Иванович обернулся, и Кукушкин, с размаха бросившись на колени, хотел обнять его ноги. С выражением растерянности, страдания и умиления на оплывшем красном лице капитан приподнял его, неловко поцеловал в стоявшие дыбом волосы и, отрывая руку от его губ, шутливо и сконфуженно отпихнул от себя.

– Пошел, пошел!.. Что я, поп, что ли? Налей-ка водки в графинчик! Живо! Одна нога там, а другая здесь.

О ужас! Толстопузый графин, десять лет служивший капитану верой и правдой, подхваченный ловкой рукой денщика, взлетел в воздух, показал свое пустое дно, некоторое время повертелся около руки и, окончательно решившись, упал и разлетелся на куски.

– Ничего, брат. Тащи четверть!

...Длинна и темна рождественская ночь. Давно уже спит крещеный мир. Только в окнах капитанского домика еще светится огонек, бросая желтоватый отблеск на снег...

– Так ты говоришь, деньги домой отослал?

– Так точно, вашебродь. Я вам, вашебродь, зараб...

– Но, но! Что за глупости?

Капитан пыхнул папироской и, глубже усевшись в разодранное кресло, блаженно закрыл глаза. Кукушкин сидел на кончике стула и, полуоткрыв рот, ловил каждое движение капитана.

– Так ты думаешь, они рады?

– Помилуйте, вашебродь, да это я, уж это...

– Да, да.

...Длинна и темна зимняя ночь, но и она уступает перед силою всепобеждающего света... Белеет восток...

В капитанском домике укладываются спать. Кукушкин стягивает с капитана сапоги и, увлекаемый усердием, тащит с кровати и капитана. Капитан упирается и побеждает усердие денщика. Нежно прижимая к себе сапоги, конфузливо смотрящие на свет продырявленной подошвой, Кукушкин на цыпочках выходит.

– Постой... Так ты говоришь, дочь?

– Так точно, вашбродь. Авдотья.

– Ну, иди, иди.

Удивительно, что горькие мысли, предзнаменовавшие начало запоя, на этот раз солгали; ни на следующий, ни на другие дни запой не являлся.

1898

ЧТО ВИДЕЛА ГАЛКА

Из рождественских мотивов

Над бесконечной снежною равниною, тяжело взмывая усталыми крыльями, летела галка.

Над нею уходило вверх зеленовато-бледное небо, с одной стороны сливавшееся в дымчатой мгле с землею. С другой стороны, той, где только что зашло солнце, замирали последние отблески заката, галке был еще виден багряно-красный, матовый шар опускавшегося солнца, но внизу уже густел мрак зимней, долгой ночи. Куда только хватал глаз, – серело поле, окованное крепким, жгучим морозом. Неподвижная тишина резкого воздуха слабо нарушалась, гоня холодные волны взмахами усталых крыльев, несших галку к одному, только ей видимому лесу, где она решила сегодня переночевать. Зажглись уже звезды, и ночной мрак окутал холодным саваном замерзшую землю, когда галка достигла уже густого леса, смутно черневшего на белой поляне. Слышно было вверху, как от мороза потрескивали деревья, распластавшие свои ветви, отягченные сыпучим, мелким снегом. Захрустели сучки под осторожною ногою какого-то лесного зверя, выходившего на добычу. Из темной дали донеслись до галки унылые, жуткие звуки волчьего воя, протяжного, дикого. Крутым поворотом галка изменила направление полета, напрягая последние силы, понеслась туда, где, она чувствовала, находится проезжая дорога.

Она любила человеческое общество, и лесная глушь была ей неприятна.

Вот и дорога. Ее можно узнать по темным, душистым кучкам лошадиного помета, которыми галка не преминула бы воспользоваться, если бы ей не хотелось так сильно спать. Невдалеке чернелись перила моста над глубоким, но теперь невидимым оврагом. Галке овраг этот был знаком по тому горькому разочарованию, которое он ей доставил. Не более как год тому назад, в эту же самую пору, ей удалось выклевать глаза, поразительно вкусные глаза, у какого-то молодого черноусого молодца. Несмотря на холод, он, догола раздетый, спокойно лежал на крепком, подмерзшем снегу. Из разбитой головы еще сочилась густая красная кровь.

Только слегка шевельнувшийся мизинец показал галке, что она несвоевременно принялась за работу и клюет зрячие глаза, – но подобные пустяки не могли смутить птицу, привыкшую к человеческому обществу. На другой день она, пригласив несколько знакомых галок, вернулась, чтобы поосновательнее перекусить, и каково же было негодование ее и ее подруг, когда, вместо подмерзшего трупа, они нашли только темное пятно крови да массу волчьих следов. Эти господа не постеснялись разорвать на части галкину собственность, а какой-то запоздавший неудачник пытался, повидимому, есть даже снег, пропитанный кровью. Только в бурной и крикливой манифестации могла галка выразить свою обиду и дать некоторое духовное удовлетворение пустому желудку.

Выбрав дерево поудобнее, галка комфортабельно уселась на тонкой ветке, согнувшейся под ее тяжестью и осыпавшей мелкий, сухой снег. Каркнув, чтобы прочистить застуженное горло, и сжавшись в комок, так, что галкин приятель, мороз, только руками развел, не видя возможности хоть где-нибудь найти незащищенное место, она сладко закрыла сперва один, а потом другой черный глаз и тотчас же заснула.

Много ли, мало ли прошло времени, галка, по отсутствию часов, установить не могла, но факт тот, что она проснулась, совсем еще не выспавшись, и потому недовольная. Разбудило ее ощущение человеческой близости. Около моста серели две закутанные фигуры. Любопытная, как все женщины, галка перелетела на ближайшее дерево и услыхала разговор.

– Ну кого в эту ночь понесет нелегкая? – сказал сквозь зубы один, тот, что повыше, выпуская тучу пара сквозь заиндевевшие усы и бороду. – Ну и морозище!

– Погодим полчасика, – ответил другой, похлопывая руками.

Сгорбившись, обе закутанные фигуры скрылись под мостом. Галке так же легко заснуть, как и проснуться. Разочарованная, она заснула, когда какой-то звук снова разбудил ее. За поворотом дороги слышался скрип полозьев по твердому снегу накатанной дороги. Показались небольшие сани. Пузатая малорослая лошаденка бойко перебирала озябшими ногами. На козлах, понурившись, сидел человек; в санях виднелось что-то темное, тоже вроде человека...

– Стой!

На дорогу быстро выскочили те две фигуры, что сидели, спрятавшись, под мостом. Заинтересованная галка, тихонько каркнув про себя от удовольствия, обратилась в слух. Лошаденка остановилась. Кучер что-то сказал человеку, сидевшему в санях, и тот привстал. Воротник шубы скрывал его лицо и голову. Один из первых знакомых галки взял лошадь под уздцы, а другой, тот,

что был повыше ростом, крикнул: “Стой!” И подошел к саням. В опущенной руке он держал что-то тяжелое.

– Здоровье вашей милости! – грубо сказал он. – Нуте-ка, вылезайте из саночек – приехали!

– Душегуб, разбойник, – глухо донеслось из-за воротника шубы. – Что хочешь ты делать?

– А там увидишь.

– Слышь, милый человек, не тронь, – сказал сидевший на облучке. – Пра, не стоит.

– Молчи, пока жив! – прикрикнул высокий, сурово метнув черными глазами. – Вон из саней!

– Слышь, милый человек...

Высокий взмахнул чем-то бывшим в руке и блеснувшим при слабом мерцании звезд. Тот кубарем слетел с облучка и, видя, что поднятый топор не опускается, прошептал про себя: “Ишь какой сердитый, тетка твоя малина!” Сидевший в санях тоже вылез и, нагнувшись, развертывал что-то стоявшее на сиденье. Взяв затем развернутый предмет в руку и держа его перед собою, он медленно направился к высокому, с нетерпением ожидавшему окончания сборов.

Никогда галке ни прежде, ни после не приходилось так удивляться! Как будто перед каким-то призраком, высокий начал отступать перед шедшим на него длинноволосым человеком. Допятился он до товарища, который, увидев то, что держал перед собою длинноволосый человек и что блестело от невидимо откуда исходившего света, отпустил лошадь и также начал отступать. Так двигались они: длинноволосый и перед ним два разбойника. Вот один из них нерешительно поднял руку, снял шапку; другой быстрым движением скинул свою. Длинноволосый остановился, остановились и они.

Сидевший раньше на облучке поднял топор и сказал:

– Говорил тебе, не тронь. Видишь, попа везу. Эх ты, ворона!

Галка оскорбленно каркнула, но ни ее, ни говорившего не слыхали те, что стояли друг перед другом.

– Ныне Христос родился, а что вы делаете, душегубы, разбойники! – произнес тихий старческий голос.

Молчание.

– Я, недостойный служитель Бога, святые дары везу к умирающему. И вы будете умирать, к кому вы на суд пойдете?

Молчание, только хрустнула ветка под шевельнувшейся галкой.

– Любить друг друга заповедал Христос, а что вы делаете? Христианскую кровь проливаете, души свои губите. Убиенные войдут в царствие небесное, а вы?

Колена высокого подогнулись, и он упал ниц. Быстро последовал за ним и товарищ. Так лежали они в снегу, не чувствуя, как коченеют их пальцы, а над ними звучал тихий старческий голос:

– Не мне поклонитесь, а Ему, милосердному, который меня послал к вам навстречу. Он, человеколюбец, простил душегубца и татя.

– Батя, прости, – прошептал высокий.

– Прости, батя, не будем, ей-богу, больше не будем, – присоединился второй, поднимая голову.

Священник молча повернулся и пошел к саням.

Галка не хотела признаваться самой себе, что она лично заинтересована в исходе дела. Неодобрительно каркая, она думала, что стоит лишь на страже интересов сословия. Действительно, хорошо будет житься галкам, если люди будут деликатничать друг с другом! Иронически встопорщив перья, галка сделала вид, что не смотрит на дорогу, но тотчас же обошла закон и скосила глаза на нарушителей междуживотного права.

– Говорил, милый человек, не тронь. Эх! Скидывай-ка пояс!

Высокий послушно развязал пояс и подал работнику, который медленно и толково прикрутил ему руки к лопаткам.

– Ну-ка ты! Чего слюни-то распустил? Давай пояс, – обратился он к другому.

– Ну, ну! – слабо запротестовал тот, косясь на священника, но развязал пояс и подал.

– Отпусти их, Степан, – сказал священник.

– Как это можно, отец Иван. Меня попадья заругает.

– Отпусти. Не людям дадут ответ, а Богу.

Степан неохотно развязал высокого, дал слегка по шее его товарищу и сел на облучок.

– А с топором-то, милый человек, простись, – проговорил он, трогая лошадь.

Вскоре и сани, и седоки скрылись в ночной мгле, откуда донеслось:

– Говорил, не тронь. Эх...

Изумленная до последней степени и возмущенная галка, перегнув голову набок, с любопытством смотрела на оставшихся, в неясной надежде, что дело еще может поправиться. Высокий стоял молча и потупив глаза. Товарищ тронул его руку.

– Пойдем!

Высокий молча двинулся вперед, а за ним поспешно зашагал товарищ. Вскоре и эти скрылись в темноте, и галка, столь любящая человеческое общество, осталась одна. Впрочем, на этот раз человеческое общество ей совсем не понравилось.

СЛУЧАЙ ⟨1899⟩

– Ванечка...
– Ну, чего вам?
– Ничего, ничего, я так.

Положительно Иван Семенович решил не замечать, какой жаждой душевного разговора томится его мать. Самые прозрачные намеки, самые выразительные вздохи не могли пробить оболочки непроницаемой суровости и холодного равнодушия, с каким Иван Семенович весь ушел в процесс чаепития и пережевывания пятикопеечной булки. Ввалившиеся, темные глаза были устремлены на дно стакана и хоть бы раз обратились на несчастную мать. Обильно смоченные водой, черные редкие волосы выглядывали хвостиками из-за прозрачных, бледных ушей и двигались вместе с равномерным движением скул так возмутительно равнодушно, как будто обладатель их совершенно не понимал всей важности того, что он делает: ест булку в пять копеек, тогда как у матери его, Анны Ивановны, всего-навсего остался гривенник. Молчит как убитый – точно не знает, что его матери нужно только одно сочувствие: чтобы хоть немного вошел он в ее положение и понял. Не будучи в состоянии долее выдерживать эту пытку, Анна Ивановна вскочила с табуретки и отправилась в кухню, не заметив, что вслед ей равнодушный сын устремил далеко не равнодушный взгляд, светившийся выражением беспокойства и тонкой проницательности.

Еще бы Ивану Семеновичу не знать, чего хочется его матери! Каждый месяц, начиная с 16 числа и кончая двадцатым, днем получки Иваном Семеновичем жалованья, происходит одна и та же история. И ведь если бы что-нибудь выходило из этих жалоб, а то только Ивана Семеновича рассердит и сама расстроится.

Увеличив свою мрачность до последней степени, доступной человеку, и придав лицу посильное сходство с Каином, Иван Семенович благополучно оделся и выскользнул за дверь, напутствуемый последним выразительным вздохом Анны Ивановны,

убедившейся, что все дети в заговоре против нее. Никто и знать не хочет, что денег у нее ни гроша, а есть все просить будут. Катя и Петька, уходившие из дому на час раньше Ивана Семеновича, – первая в магазин на работу, а второй в приходское училище, – несмотря на прямые речи Анны Ивановны, не сочли нужным ни слова возразить ей; и даже отсутствие хлеба к чаю не могло на них подействовать в смысле пробуждения сочувствия. Ивану Семеновичу еще простительно: он всю семью содержит, он больной; вчера еще до поздней ночи сидел, переписывал бумаги и кашлял; ну, а эти паршаки – какое имеют право не уважать своей матери?

Анна Ивановна принялась за уборку квартирки, состоявшей из трех маленьких комнат и такой же миниатюрной кухни. Погромыхав ухватами, которые как бы сознавали предстоящие им трехдневные каникулы и с беззаботным видом валились в разные стороны, пошуршав по грязному полу веником и убрав постели, Анна Ивановна несколько рассеялась и с виноватым видом переложила на стол Вани бумаги, до которых ей строго было запрещено касаться. И хотя голос ее звучал суровостью, когда она прокричала своему "старику", как именовался ее муж, что валяться долее могут одни дармоеды и лежебоки, но эта суровость не столько обусловливалась действительною потребностью, сколько сознанием исключительного положения людей, переживающих 16 число.

Кряхтя и охая, слез старик с печки, выпил стакан холодного чаю и, усевшись у окна, принялся барабанить пальцами, выражая тем явный и несомненный протест.

– Чего разбарабанился! И без тебя тошно, – прикрикнула Анна Ивановна, с негодованием взглянув на мужа, которому внушительная фигура, большая серебристая борода и такие же волосы придавали вид патриарха не у дел.

– Табачку бы... – начал было патриарх, но, встретив презрительный взгляд супруги, осанисто крякнул и принялся вертеть один большой палец вокруг другого. Семену Матвеевичу минул уже седьмой десяток лет, и с тех пор как года три-четыре тому назад он за старостью принужден был отказаться от всякой целесообразной деятельности, единственными его занятиями было верчение пальцами между 16 и 20 числами, нюханье табаку и упражнения в красноречии в остальное время. Последнее, т.е. упражнения в красноречии, не преследовало какой-либо определенной цели и носило характер платонический. Обыкновенно проскрипев раза два с паузами: "мать... а мать", как тяжелый воз, который не может сразу сдвинуться с места, патриарх

приступал к основательному изложению своих мыслей, отличавшихся, помимо глубины, чрезвычайной и безнадежной запутанностью. Можно было догадаться, что симпатии его находятся в прошлом, а в настоящем он что-то упорно отрицает, но что – не знали даже самые близкие друзья его.

Лишенный обычной понюшки, большой сине-багровый нос старика начал представлять своему собственнику такие неопровержимые аргументы в пользу табаку вообще, а нюхательного (за 8 коп. осьмушка) в частности, что тот снова незаметно применил пальцы к выбиванию дроби, но уличенный на месте преступления был Анной Ивановной отправлен гулять на бульвар. Старик любил посидеть на солнышке и охотно подчинился административной высылке, пробормотав лишь что-то нелестное по поводу "этих баб", которые думают, что мужчина сам себе и шарфа завязать не сумеет.

Следом за ним отправилась и Анна Ивановна, накинув на голову дырявый прожженный платок. Через полчаса она вернулась домой с решительно и мрачно сжатыми губами и пасмурным лицом, на котором застыло выражение вечной торопливости и суеты. "Жизнь каторжная", – прошептала Анна Ивановна, сбрасывая платок и одевая теплую кофту для дальнего пути. Мерзавец-лавочник не дал в долг ничего, как будто ему двадцатого не отдадут, и теперь приходится обращаться к последнему ресурсу и бежать на край Москвы, к знакомой и другу Елизавете Петровне Синицыной, у которой всегда можно раздобыться целковым.

"Ну, да уже погоди, скотина, – мыслила Анна Ивановна, вспоминая толстопузого лавочника, – я тебе покажу". Хотя определенного предмета для демонстрирования в виду собственно не имелось. Уличный шум и суета, где все бежали по своему делу и никому не было заботы об Анне Ивановне, охладили ее, а крики извозчиков "берегись" и предостерегающие звонки конки, постоянно пугая ее, направили мысли в другую сторону – сторону бесформенных, туманных мечтаний, которым любила отдаваться Анна Ивановна. Но в эти мечты назойливо вторгалась действительность, предлагая Анне Ивановне, как строгий учитель математики, разрешить следующую задачу: в рубле сто копеек; от 16-го до 20-го четыре дня; в доме ртов пять, – как нужно разделить сто копеек, чтобы все пятеро во все четыре дня сыты были?

Решение этой задачи с головой погрузило Анну Ивановну в бездонное море размышлений о сравнительных преимуществах картофеля с постным маслом перед говядиной. Как малень-

кий островок, возвышался на этом море целковый, а вокруг него кишели, как чудовища, и картофель, и постное масло, и хлеб и грозили бесследно поглотить его.

"А старику табачку я все-таки куплю!" – с гневным отчаянием воскликнула Анна Ивановна, видя, что от островка ничего не остается. Утешенная несколько энергией этих слов, как будто прибавивших к рублю несколько новых копеек, Анна Ивановна незаметно вернулась к своим мечтам, не имевшим выражения и языка человеческого.

Что-то светлое и радостное пронеслось перед ее полузакрытыми глазами. Передернув от внутренней дрожи плечами, Анна Ивановна вздохнула и оглянулась, чтобы определить место, где она идет... Стой, что это за сверток?

Анна Ивановна переходила через пустынную Спиридоньевскую улицу, когда ее глаза упали на этот сверток, обернутый бумагой и крест-накрест перевязанный бечевкой. Оглянувшись кругом, Анна Ивановна подняла его и, томимая любопытством и ожиданием чего-то важного, начала сбоку проковыривать газетную бумагу, тревожно озираясь по сторонам. Вот прорвался один лист, другой – и Анна Ивановна ошалела, увидев закрасневшуюся десятирублевую бумажку. Дрожащими руками она отвернула ее – за ней другая, третья, а там радужная, целая пачка их.

"Миллион!" – сообразила Анна Ивановна.

Засунув сверток под кофту и судорожно прижимая его руками, она ринулась домой, едва удерживаясь от быстрой, но неуместной и подозрительной рыси. Где-то вокруг нее шумела улица, но ничего этого не видела и не чувствовала Анна Ивановна.

"Рехнусь, ей-богу, рехнусь, – думала она, вплотную налетая на извозчика, приветствовавшего ее свойственным этим господам образом. – Господи, для детей пощади меня". Анна Ивановна пролетела бы и мимо дома, если бы не увидела ожидавшего ее возвращения старика, кислого и угрюмого: "что и за солнышко, когда табаку нет".

Схватив мужа за рукав, Анна Ивановна столь стремительно потащила его в квартиру, что тот, проглотив почти готовый возглас "табачку бы", занялся обсуждением вопроса о возможных последствиях неминуемого столкновения со стоящей во дворе лестницей. Только впихнув старика в дверь, заперши ее на крючок и опустив у окон занавески, Анна Ивановна молча плюхнулась на стул и позволила себе перевести дыхание, уставившись полоумными глазами на старика. Семен Матвеевич смотрел на

нее с тем же выражением, но, чувствуя, что опасность миновала, осмелился высказать по этому поводу свое суждение:

– Вот эти бабы, таракан им за пазуху. Когда я еще у Трифона Андреича воспитывался...

– Молчи, отец, молчи. Сиди и не ходи за мной.

Анна Ивановна отправилась в кухню и после нескольких неудачных попыток спрятать деньги под горшками и в печке, сунула их в самый зад столового ящика, заложив ножами и ложками, но предварительно еще раз удостоверившись, что в свертке деньги, а не простая бумага. Верхняя десятирублевка несколько сдвинулась с места, и Анна Ивановна осторожно ее вытащила и спрятала на самое дно кармана.

"Батюшки, а вдруг гонятся!" – мелькнула у нее мысль.

– Старик, сиди тут, я сейчас сбегаю на минутку. Никуда не ходи, слышишь.

Семен Матвеевич, совершенно отказавшийся понять поведение жены, только угрюмо застучал пальцами.

– Табачку бы...

– Куплю, куплю, сиди.

Для верности заперши старика на замок, Анна Ивановна из-за ворот выглянула осторожно на улицу: никого, никого, слава богу. Потом, чувствуя неодолимую потребность в движении и желание убедиться, что деньги совсем настоящие, Анна Ивановна еще раз сбегала домой, оделась и пошла в какую-то лавку, где чего-то купила: колбасы, сыру и коробку сардин; в другой: две пары теплых носок, гребешок, яркий голубой галстук, книжку с картинками. О табаке вспомнила только около дома, вернулась и купила табаку. Дома, убедившись, что деньги целы, отдала осьмушку – "и чего я не фунт купила" – Семену Матвеевичу и в приливе внезапной нежности поцеловала его.

– Нюхай, отец, на здоровье.

Старик принял молодцеватый вид, как бы показывая, что он далеко еще не безопасен для женского сердца, но на самом деле совершенно озадаченный супругой.

Никогда Анне Ивановне не было так обидно, что с мужем нельзя поговорить толком. Тут мужчину надо, а он... Эх. Но радостные мысли, роями появившиеся в голове, требовали выражения.

– Матвеич, слушай. Да ты погоди чхать-то! Слушай: а хорошо бы тебе опять в деревню, помнишь, как у Ермоловых жили. Грибы искать...

– Вот когда я еще жил у воспитателя...

– Да не то, не то. Ты слушай!

И старик слушал, смутно понимая, в чем дело, но невольно расцветая при радостно возбужденном голосе жены – удивительной жены, таракан ей за пазуху! В действительности не только Семен Матвеевич, но и всякий другой, менее удаленный в прошлое, едва ли сумел бы понять полностью речи Анны Ивановны, которая, став вне законов времени и пространства, в какой-нибудь час поспела перебывать в тысяче мест и перевидать тысячу людей, давно умерших. Благодетельствуя одним, заставляя завидовать других и в лицах изображая их невероятное изумление, когда они увидят ее в ротонде на лисьем меху и с собольим воротником, Анна Ивановна внезапно перескакивала к вопросу о ценах на мех и бархат и спрашивала старика, как человека, достаточно повидавшего свет и компетентного в делах моды. Но так как предлагаемые им сведения относились к тому отдаленному периоду, когда он проживал еще у воспитателя, Анна Ивановна призывала его к молчанию и ставила на обсуждение другой вопрос: о местности, где следует приобрести именьице, небольшое, десятин так в сто, но обязательно с лесом, а в лесу чтобы грибы были. В этом случае Семен Матвеевич обнаружил такую мудрость, в коротких словах начертав блестящую программу рационального хозяйства, что Анна Ивановна впала в умиленное состояние и еще раз поцеловала его в седые волосы, с раскаяньем подумав: "А я считала, что он тронулся. Дай Бог всякому столько ума-то".

И хотя старик испортил несколько впечатление, вспомнив некстати чалого жеребца, на котором ездил воспитатель и который потом перешел к графу Мухину, у которого жена имела крупное состояние в Волынской губернии, а один знакомый человек, очень вспыльчивый и неумеренный в потреблении алкоголя, умер за границей в то как раз время, когда дотла выгорел город Кромы, но Анна Ивановна все же с некоторой гордостью посматривала на "отца", воображая, каким он будет красивым и представительным, когда его нарядят как следует и он будет пускать пыль в глаза золотой табакеркой и сморкаться не в красный коленкоровый платок, а в настоящий шелковый.

А Ваничка-то, Ваничка-то! Анна Ивановна даже охнула, когда представила себе, что она может сделать для больного Ивана Семеновича. Мозг ее, привыкший к узкому кругу обыденных мелочей, не мог вместить представлявшейся ей картины невероятного, сказочного счастья, и она снова заметалась по квартире к некоторому негодованию только что разговорившегося старика.

"Рехнусь, ну ей-богу же, рехнусь", – взывала Анна Ивановна, созерцая мысленно бесконечный ряд могущественных радуж-

ных бумажек. А вдруг отнимут? Не отдам, ни за что не отдам. Лягу на них и скажу: берите мою жизнь, вот она; бейте меня, старую. Не возьмут! А если кто-нибудь видел в окно, как я поднимала, и следил за мной, и теперь уже идут?.. Анна Ивановна, убежденная, что на нее смотрит весь мир, плотнее задернула грязные, пожелтевшие от старости занавески, нырнула в кухню и, достав деньги, снова попыталась спрятать их в горшок, к которому ее притягивала какая-то невидимая сила. Но и на этот раз опыт дал нежелательные результаты: горшок, когда в него сунули деньги, приобрел такой заносчивый и странный вид, что всякий, только взглянув на него, должен был догадаться о его необычном содержании. Бросив в изнеможении деньги на стол, Анна Ивановна упала на колени прямо на грязный и залитый помоями пол.

– Господи, ну пускай воровка я и мерзкая женщина – ну, и накажи меня. Но Ты видишь, видишь ведь Ваню. Он хороший сын. Что из того, что он кричит на меня. Я старая, я глупая, а у него чахотка, и ему жить хочется. Ты слышал, как вчера кашлял он? Если не веришь мне, так хоть слезам моим поверь. Богородица, Дева Мария, хоть Ты заступись за меня, я всегда – помнишь, всегда свечки Тебе ставила, последние две копейки тратила.

И Анна Ивановна, стиснув руки и устремив полные слез глаза в угол, где, занесенный паутиной, чернел старый образ, клала земной поклон, до боли прижав лоб к холодному, сырому и скользкому полу.

Шел уже пятый час вечера, скоро должны были вернуться дети. Успокоившаяся, умиленная и торжественно радостная, Анна Ивановна обратилась к старику:

– Матвеич, я часа на два уйду, а ты, когда придут дети, дай им колбасы и сыру. И сам ешь. А если кто придет и меня будет спрашивать, скажи, по делу, мол, ушла, по делу. Давно, мол, собиралась, да времени не было. Понимаешь?

– Вот! – обиделся старик. – Уж как баба что скажет...

– Ну, не сердись, отец, не сердись. Ты у меня герой.

Вытащив из пачки еще десятирублевку и спрятав ее в комод, Анна Ивановна остальные завернула в новую бумагу, еще раз перевязала и засунула за пазуху, оделась и, окинув последним взглядом квартиру, вышла. Дело в том, что результатом ее размышлений явилось сознание, что хранить деньги дома не безопасно: придут, и что так ни говори, а отнимут. Да и не сумеет она не начать сразу же тратить их – подозревать начнут... А вот лучше она снесет их к Елизавете Петровне; та женщина благородная, сохранит их до поры до времени. А они пусть приходят. "Десять рублей?"

“Извольте-с, от жалованья остались”.

Съели?

Анна Ивановна усмехнулась, представляя себе глупые физиономии тех, которые “придут”. Понемногу мысли ее снова вернулись к Ване, о котором наболело ее сердце. Перестанет теперь убиваться за работой, вздохнет посвободнее. Суровый он на вид, сердитый, а разве она не знает, что, в сущности, жалеет он ее, ах как жалеет. Последние денежки несет, а самому и в театр хотелось бы, и приодеться. Думаешь, мать не видит? Мать все видит. А вот что скажешь, как эта старая мать вынет тысячу рублей и скажет так с улыбочкой, как будто ничего важного нет: Ваничка, не хочешь ли в теплые места прокатиться? Вот тебе пока тысяча рублей, а когда еще понадобится, скажи. А Катя? Славная она девочка, всем взяла: и хозяйственная, и покорная, и лицом недурна, только вот работа-то ее: не доведут подруги до хорошего. Вот теперь поздно иногда возвращаться стала – танцевали, говорит, где-то. А долго ли девчонку загубить? Может, и ничего такого нет, а материнскому сердцу больно.

Далее выяснилось, что материнскому сердцу больно и за Петьку, который плохо учится и которого нужно будет отдать в гимназию – пусть хоть один до полного разума дойдет. Потом материнскому сердцу стало тепло при виде сына, студента и умницы. Потом рой за роем понеслись мечты, одна другой краше, одна другой фантастичнее. Невероятная роскошь братски сочеталась с новым горшком, в котором Анна Ивановна будет щи теперь варить, вместо старого, надтреснутого. Мысль о дьявольски толстом кучере и гладких лошадях сменялась гордым сознанием, что она, если захочет, может хоть две, хоть три станции проехать на конке: денег хватит!

Так шла Анна Ивановна, не видя дороги и не сознавая окружающего.

Иван Семенович, Катя и даже Петька понимали, что дома творится что-то чудное, но хорошее. Их не столько убедило в этом необычайное отсутствие матери и дорогая колбаса вместо плохого обеда (16 числа!), сколько торжественный и глубокомысленный вид Семена Матвеевича. Строго посматривая на детей, Семен Матвеевич выпускал целый ряд сентенций, в которых намеки на имение в сто десятин с образцовым хозяйством в самый интересный для слушателей момент сменялись непременным возвратом к прошлому, когда он еще жил у воспитателя и имел синие казинетовые брюки, сшитые у тогдашнего знаменитого портного, Афоньки, который, как явствовало из дальнейшего подробного повествования, кончил, к сожалению, жизнь

очень дурно: опившись на свадьбе другого не менее знаменитого портного, того самого, который пока шьет все ничего, и брюки, и камзол, – а как только дошел до жилета, сейчас всю эту амуницию в кабак и пошел чертить...

Иван Семенович пытался направить речь в русло, но что могли сделать его слабые усилия, когда самый опытный следователь мог десять раз с ума сойти, прежде чем добился бы от старика ответа. Но и редкие прорывавшиеся намеки показывали, что случилось что-то важное, и дети с возрастающим нетерпением стали ожидать Анну Ивановну. Иван Семенович, собиравшийся прилечь на часок отдохнуть, отложил свое намерение.

Но нетерпеливее всех был, кажется, Петька. С некоторых пор его задушевной мечтой стало бросить ученье и сделаться – "фалетором", т.е. форейтором на конке. Образ маленького мальчика, бесстрашно восседающего на большой лошади и со звоном и криком втаскивающего конку на гору, – носился перед его глазами. Теперь Петьке думалось, что отсутствие его матери находится в какой-то зависимости с осуществлением его блестящих планов. Часы протекали, и беспокойнее становились дети, ожидая появления матери.

И вот она появилась.

Раздались нетвердые шаги, чьи-то руки заерзали по поверхности двери, видимо не находя ручки – и из темного пространства коридора выступила на свет какая-то жалкая фигура. За всю жизнь старик не видел жены в таком виде; волосы выбились из-под платка и мокрыми прядями висели вдоль бледного лица; платок сбился на сторону; ватная кофта была распахнута, и одна пуговица, вырванная, очевидно, с мясом, болталась на тоненьком остатке сукна. Покачиваясь и шурша мокрым подолом платья, Анна Ивановна добралась до стула и упала на него, бессильно свесив голову на бок, как будто шейные мускулы отказывались служить ей. Вид матери был так необычайно ужасен, что старшие остолбенели, а отличавшийся быстрым соображением Петька, не ожидая специального приглашения, заревел во всю силу своих легких.

Его голос привел Анну Ивановну в чувство. Она вскочила и, дергая себя за висящие пряди волос, видимо уже не впервые подвергавшиеся этой операции, заголосила:

– Деточки, голубчики, убейте меня, мерзавку. Потеряла! Разорила вас! Снимите же вы мою голову! Ой, ой...

Анна Ивановна выразила намерение удариться головой о стенку, но Иван Семенович удержал ее.

– Мать... мамочка, что с тобой?

Бессвязные крики неслись, все более переходя в истерический вой. Бледная и дрожащая Катя принесла, расплескивая, воду. Старик, совсем потерявшийся, выхватил кружку и, пробормотав бессознательно что-то о таракане, вылил на голову жены, заставив ее раскашляться от попавшей в раскрытый рот воды. Затем старик отправился в кухню, постоял несколько времени на середине ее, с глубокомысленным видом обшарил все карманы, нашел в одном пуговицу и в другом обгрызенный кусок сахару и, убедившись, что это и есть именно те самые вещи, которые ему нужны, возвратился в комнаты. Анна Ивановна уже немного успокоилась и только судорожно всхлипывала. Но много прошло времени, прежде чем она, перебивая себя просьбами убить ее и не жалеть, подробно рассказала, как она пошла к Елизавете Петровне, как она нашла деньги...

– Больше тысячи! – скривила душой Анна Ивановна. Как кто-то ее толкнул, не то она кого-то. Она упала, и ее выругали. Потом...

– Нет, лучше убейте меня, деточки милые. Я, подлячка, разорила вас, по миру пустила...

Что-то смутное потом. Она бегала и что-то кричала. Кто-то светил ей спичками, и она шарила руками по мокрому снегу, искала потерянные деньги...

Во внезапном порыве недоверия к своим чувствам Анна Ивановна оттолкнула Катю, бросилась в кухню и рванула ящик, где еще, кажется, пахло лежавшими там деньгами. Пусто. Так же быстро Анна Ивановна побежала к комоду, вынула десятирублевку и, присоединив к ней остальную мелочь, бросила на стол перед детьми:

– Вот. Все тут.

Иван Семенович, до этой минуты сомневавшийся в действительности рассказанного матерью, молча взял бумажку, поднес к близоруким глазам и осмотрел. Также молча и осторожно он положил ее на стол и начал медленно ходить по комнате. Он заметно старался не глядеть на разом притихшую мать, следившую за ним испуганным взором. Катя продолжала ухаживать за Анной Ивановной, но в медленных и ненужных движениях сквозила та же дума, что и у брата. Подогнанный стариком Петька отправился спать, но долго еще лежал в постели, всматриваясь широко открытыми глазами в темноту и прислушиваясь к тому, что делают старшие. Но у них было тихо. Равномерно похлопывали туфли Ивана Семеновича; шмурыгал носом и что-то бормотал старик. Глубокие вздохи, очевидно, принадлежали матери, так как Катя никогда не вздыхает.

Во всяком случае, Петька сделается фалетором и учиться не будет. Довольно уж, поучился!

Иван Семенович круто остановился перед матерью и вполоборота спросил:

– А ты не помнишь... где уронила деньги?

– Не помню, не знаю. Кажется, в Газетном... Ох, горе мое.

– Молчи, достаточно.

Иван Семенович отправился в переднюю, медленно снял с вешалки пальто, одел его, отыскал калоши, отбросил их ногой в сторону и так же медленно разделся.

– Ваничка!

– Ну, нечего, нечего, теперь не вернешь. Идите-ка спать, – спокойно сказал сын, но не стерпел и порвавшимся голосом добавил: – эх!

– То-то и я говорю: бабы, таракан им за пазуху, – авторитетно подтвердил старик и в унисон протянул: – эх...

Было, вероятно, больше часу пополуночи. В маленькой квартирке царила беспокойная тишина ночи. Где-то скреблась и шуршала бумагой мышь; вверху по лестнице простучали тяжелые шаги; слышно было, как дергают звонок, голоса, потом хлопнула дверь. Иван Семенович надрывисто кашлял; по тону кашля и по тому, как скрипит кровать, видно было, что он еще не спит. Катя тоже не спала, слушала, как ворочается мать, и ей стало жалко ее.

Осторожно опустив на холодный пол босые ноги, Катя перешла к кровати матери, прилегла возле нее и поцеловала мокрую от слез щеку. Обе женщины, крепко обняв друг друга, слились в тихом плаче, потому что Иван Семенович не должен был слышать его.

Вскоре им стало легче, и Катя, бессознательно гладя рукой по морщинистому лицу, начала думать о том, как завтра ей в семь часов вставать и идти на работу. Анна Ивановна тихо прошептала:

– Катечка...

– Что, голубочка?

– А знаешь, я думаю... Нужно Ване из этих десяти рублей фуфайку купить. А?

– Да, мамочка.

– Слава богу, хоть до двадцатого теперь проживем.

– Да, мамочка.

– А галстук, голубой... Ты утром к нему на стол положи.

– Хорошо, мамочка.

МОЛОДЕЖЬ

Ученик восьмого класса Шарыгин дал пощечину своему товарищу Аврамову и чувствовал себя правым и оттого радостным и гордым. Аврамов получил пощечину и был в отчаянии, смягчавшемся лишь сознанием, что он, как и многие другие в жизни, пострадал за правду.

Дело было так. На классной стене с начала учебного года висело в черной рамке расписание уроков. Его не замечали до тех пор, пока Селедка, как звали надзирателя, подойдя однажды к стене, не обратил внимания класса на то, что лист с расписанием исчез и рамка пуста. Очевидно, это была ребяческая шалость, на которую солидная часть класса, обладавшая растительностью на лицах и убеждениями, отвечала добродушно-снисходительной улыбкой – той улыбкой, которая появлялась у них, когда Окуньков ни с того ни с сего становился на руки, поднимал ноги и в таком виде обходил комнату. Хотя все считали себя взрослыми, но никто не был уверен, что в следующую минуту и ему не вздумается прогуляться на руках. Селедка, кипятившийся из-за таких пустяков, как исчезнувшее расписание, вызывал к себе юмористическое отношение. Был вставлен новый лист – но на другой день рамка была опять пуста. Это становилось уже глупым, и потому, когда Селедка в безмолвном гневе растопырил длинные руки перед стенкой, к нему обратились с серьезным предположением, что расписание стащили, вероятно, первоклассники. На третий день в раме вместо расписания был вставлен лист, на котором выделялся тщательно оттушеванный кукиш. На предложение сознаться класс, не менее начальства удивленный появлением рисунка, ответил недоумевающим молчанием. Было произведено следствие, но оно не привело ни к чему: хотя в классе художников было мало, но кукиш умели рисовать все. Последним созерцал рисунок сторож Семен, вынимавший его из рамки; и тому показалось что-то оскорбительное в кукише, относившемся как будто прямо к нему, к Семену. Будучи по природе толст, добр и глуп, Семен впервые стал на сторону на-

чальства и посоветовал классу сознаться, но был послан к черту. Наступил четвертый день – и еще более изящный, крупный и насмешливый кукиш снова пятнал стену.

Речь инспектора у класса успеха не имела. Горячий и вспыльчивый чех, говорить он начинал спокойно, но после двух фраз наливался кровью и как ошпаренный принимался выкрикивать фальцетом бранные слова:

– Мальчишки!.. Молёкососы!..

Директор произнес суховатую, но убедительную речь. Он разъяснил притихшим ученикам бесцельность подобной детской шалости, которая, однако, перешла уже границы. Шарыгин, в критические минуты говоривший от имени класса с начальством, встал и ответил директору:

– Мы все вполне согласны с вами, Михаил Иванович, и уже толковали об этом. Но только никто среди нас этого не делал, и все удивлены.

Директор недоверчиво пожал плечами и сказал, что если виновные сознаются, они наказанию подвергнуты не будут. В противном случае он, директор, поставит за эту четверть "тройку" из поведения всему классу и, что важнее всего, не освободит от платы за право учения всех тех, кто в первое полугодие был освобожден. Ученики должны знать, что он свое слово держать умеет.

– Но если же никто не хочет сознаться!

Михаил Иванович заметил, что в этом случае класс должен найти виновного. Это не будет нарушением товарищеских отношений, так как, не желая сознаться из упорства или ложного самолюбия, виновный подводит других под очень строгое наказание и eo ipso* сам исторгает себя из товарищеской среды.

Директор ушел, и класс занялся бурным обсуждением вопроса, в котором начальством была открыта новая сторона. Из-за того что какой-то осел, устроивший всю эту дурацкую шутку, не хочет сказать двух слов, несколько бедняков должны вылететь из гимназии! На большой перемене директор был вызван из кабинета Шарыгиным и двумя другими воспитанниками. Директор вышел в коридор с папиросой в зубах; у него был важный посетитель, и он торопился. Шарыгин от имени класса заявил, что виновных они точно указать не могут, но подозревают троих: Аврамова, Валича и Основского. Класс полагает, что этим заявлением он снимает наказание с остальных.

---

* тем самым, вследствие этого (*лат.*)

Быстро, но внимательно взглянув на Шарыгина, Михаил Иванович похвалил его и сказал, что о заявлении класса он подумает. Похвала директора была приятна Шарыгину, хотя раньше он гордился тем, что начальство считает его вредным для класса элементом.

Когда Шарыгин подходил к классу, навстречу ему выбежал Рождественский. Во время дебатов он суетился и кричал больше всех и всем надоедал.

– А Аврамов тебя подлецом назвал! – с поспешностью сообщил он, радуясь продолжению суматохи и беспорядков.

Аврамов стоял, прислонившись к печке, бледный, как сама печь, и презрительно, поверх голов, смотрел в сторону.

– Аврамов! Ты назвал меня подлецом?

– Назвал.

– Прошу тебя извиниться.

Аврамов молчал. Класс с напряженным вниманием следил за происходящим.

– Ну?

Тут вошел батюшка (был его урок), и все неохотно разошлись по местам. Минуты тянулись страшно медленно. Как будто время не хотело двигаться с места, предвидя то нехорошее, что должно сейчас произойти. Шарыгин, сидевший на последней парте, раскрыл перед собою какой-то роман и делал вид, что читает, но изредка смотрел вперед, с новым для него чувством любопытства рассматривая согнутую спину и опущенную над книгой голову Аврамова. Волосы у Аврамова были черные, прямые, и пальцы руки, на которую он опирался, резко белели. Думает ли он сейчас, что через несколько минут на его щеку обрушится удар, от которого щеке будет больно и она покраснеет? Какая это боль: резкая, жгучая или тупая? Сердце у Шарыгина начинает тяжело и медленно колотиться, и ему смертельно хочется, чтобы ничего этого не было: ни класса, ни Аврамова, ни необходимости ударить его. Но он должен ударить. Он чувствует себя правым. Товарищи перестанут уважать его, если он оставит незаслуженное оскорбление безнаказанным. Шарыгин перебирает все речи, свои и чужие, которые сегодня говорились в классе, и ему все яснее становится, как незаслуженно, несправедливо Аврамов оскорбил его. Чувство злобы к этой черной голове и белым пальцам поднимается и растет. Шарыгину немного страшно, потому что Аврамов – сильный и, конечно, ответит ударом, но он должен ударить, и ударит. Резкий, продолжительный звонок по коридорам. Батюшка медленно идет к двери. За ним, разминая усталые члены, идут ученики, когда

нервный, до странности громкий голос Шарыгина останавливает их:

– Господа! Одну минуту!

Некоторые из господ, забывшие, что было на перемене, оборачиваются и с удивлением смотрят на Шарыгина. Что это у него такая дикая физиономия? Шарыгин подходит к Аврамову.

– Так ты не хочешь извиниться?

Ах, да!.. Неприятная дрожь пробегает по спинам, и лица бледнеют. Всем хочется отвернуться, но никто не имеет сил сделать этого, и все, моргая учащенно глазами, смотрят на безмолвную группу, думая лишь о том, чтобы это поскорее кончилось. "Философу" Мартову хочется толкнуть Аврамова, чтобы он извинился. Наклоняясь вперед, Мартов глазами старается выжать необходимый ответ.

– Нет, – отвечает Аврамов. – Ты...

Шарыгин не сознает, как он поднимает руку и бьет, и не чувствует силы удара. Он видит только, как пошатнулся Аврамов. Подняв левую руку для защиты лица, Шарыгин бросает взгляд в сторону и замечает курносое и обыкновенно смешное, а теперь побелевшее и страдальческое лицо философа Мартова. "А онто чего?" – думает Шарыгин. Его возвращает к сознанию действительности прерывающийся голос, в котором слышится и кроткий упрек, и жгучее страдание. Белые пальцы поднятых рук скрывают лицо и не дают понять, что говорит Аврамов.

– Бог... тебя Бог...

Шарыгин презрительно передергивает плечами и отходит, засунув руки в карманы.

Солнце ослепительно сияло, когда Шарыгин возвращался домой. На плохо очищенных тротуарах провинциального городка стояли лужи растопленного снега, отражая в себе фонарные столбы и под ними голубую бездну безоблачного неба. Весна быстро приближалась, и острый, свежий воздух, пахнущий талым снегом и далеким полем, очищал легкие от классной пыли. Каким темным и душным казался этот класс! Душным и тяжелым сном казалось и то, что час тому назад произошло в классе и что не могло бы и произойти здесь, где так радостно сияет солнце и задорно-весело чирикают воробьи, ополоумевшие от весеннего воздуха. Но мысль невольно возвращалась назад, и чувство брезгливой жалости к Аврамову омрачало светлое настроение Шарыгина. Можно ли быть таким трусом, как этот несчастный Аврамов! Не он один, а и весь класс увлекался грандиозно величавым учением о непротивлении злу, но применять это учение в жизни может лишь дряблая натура, неспособ-

ная к протесту. Всеми силами отстаивай каждую свою мысль, свое правое дело. Зубами, ногтями борись за него. Быть же битым и молчать сумеет и мерзавец.

Шарыгин чувствует, что у него, как у нового Ильи Муромца, сила переливается по всему телу. Так и бросился бы врукопашную с этим, пока еще смутно сознаваемым злом, и бился бы с ним, стиснув зубы и сжав кулаки, бился бы до последнего издыхания. Ах, поскорее бы кончить эту гимназию! А пока... пока только особенно твердая поступь да более обыкновенного выдвинутая вперед грудь показывали, что это идет человек, победоносно отстоявший свое право на звание честного человека.

Солнце, так много видевшее на своем веку, с любовной лаской согревало молодую голову, над которой, неведомо для нее, уже висело первое серьезное горе.

Оно началось в тот же вечер.

Первый, кому Шарыгин рассказал о происшедшем случае, была Александра Николаевна, гимназистка восьмого класса, которую он любил и считал умной и "развитой". Впрочем, умной она казалась ему, пока соглашалась и не спорила. Споря, она так легко расставалась с логикой, становилась так пристрастна и нелепо упряма, что Шарыгин начинал удивляться, та ли это женщина, при поддержке которой он намеревался "бороться с рутиной жизни". Другим она нравилась именно во время спора, но Шарыгин не понимал их вкуса. Кроме того, она обладала неприятной способностью подмечать то, что желательно было бы не обнаруживать.

– Напрасно ты гордишься, – ответила Александра Николаевна. – Ты поступил подло.

Он гордится! Что за нелепость! Он просто исполнил свой долг честного, именно честного человека. Думая, что Александра Николаевна не поняла, он вновь подробно остановился на тех фактах, которые неопровержимо устанавливали его правоту в этой "неприятной" истории. Весь класс уговаривал Аврамова и других сознаться, выставляя на вид, что иначе из-за глупой шутки понесут наказание неповинные. "Тройка" поведения – ерунда, но в классе есть двое учащихся на казенный счет, которые должны будут уйти из гимназии. Отсюда Шурочка должна видеть, что он лично, человек состоятельный, в деле не заинтересован.

– Пустяки. Директор просто врал, как иезуит, а вы ему поверили, как дураки. И шутка вовсе не так глупа. Этот кукиш мне очень нравится, – решила безапелляционно Шурочка, не подозревая, какой она делает скачок в сторону с строго логического пути, по которому шествовал Шарыгин.

Выразив нетерпение и едва за кончик хвоста успев схватить ускользавшую мысль, он начал развивать дальнейшие положения.

– Весь класс решил сообщить...

– То есть донести, – поправила Шурочка.

...Сообщить, что подозревает таких-то. Понимает ли Шурочка, что решил именно класс, а он был уполномоченным, передававшим решение класса?

Оказалось, что Шурочка этого не понимает. Шурочка полагает, что уполномоченный должен передавать только хорошие решения, а не дурные.

Это уже был такой скачок в сторону, что Шарыгин не успел схватить ускользнувшую мысль и казался вовлеченным в дебри ненужного спора о правах и обязанностях уполномоченных. Спор был бы бесконечным, если бы Шарыгин не воспользовался приемом почтенного противника и, махнув рукой, не перескочил на ту мысль, которая была нужна ему. Раз он был простым выполнителем воли класса, почему именно он подлец, а не Потанин и не весь класс?

– Да и все подлецы, – решила не задумываясь Александра Николаевна.

Шарыгин сердито рассмеялся.

– Ну, а почему же он именно меня назвал подлецом?

– Вероятно, ты больше всех настаивал, чтобы идти к директору. Во всяком случае это фискальство, гадость!

Логика полетела к черту. Шарыгин потерял под собою почву и беспорядочно начал выдвигать те и другие орудия, повторяясь, путаясь, злясь на себя, на Шурочку, на мир, создающий Шурочек. И он объяснял и доказывал до тех пор, пока сам не перестал понимать, кто он, что он и чего ему нужно.

– Да это не спор, а какой-то танец диких! – с отчаянием воскликнул он.

Шурочка рассмеялась и спросила:

– А каков он собой – этот Аврамов?

– Прикажете познакомить?

– Это глупо – сердиться из-за пустяков.

– Пустяки! Назвать человека подлецом и говорить: "Пустяки!"

Шарыгин сердито отдернул свою руку и с ненавистью взглянул на раскрасневшееся на морозе хорошенькое личико. Как приличествует гимназисту и гимназистке, они виделись на улице тайно от родителей, хотя никто не мешал им видеться явно.

– Ну, будет, будет! Вашу руку, маркиз Поза! – Шурочка взяла руку Шарыгина, согнула ее кренделем и, вложив свою ручку,

тронулась в путь. Шарыгин подергал руку, но ее держали крепко. Пришлось подчиниться. Так вот всегда бывает с этими женщинами!

Вернувшись домой, Шарыгин пошел к отцу в кабинет и, закурив папироску, рассказал ему, подробно останавливаясь на мотивах, всю историю. К его удивлению, и отец заметил, что здесь припахивает фискальством. Страдая от непонимания, Петр повторил свои доводы, стараясь обосновать их теоретически. Он говорил, что когда один предает всех, это дурно, но когда все предают одного, это означает торжество принципа большинства.

– Так-то оно так, а все-таки как-то... Да ты не волнуйся. Все это пустяки, а вы завтра же помиритесь с этим, как его...

И этот говорит: пустяки!

Как они все не могут понять, что это не пустяки, что он страдает, что он готов убить себя, так ему больно. Но он не поддастся им! Он еще докажет им, как глубоко все они ошибаются. За ним стоит еще весь класс! Шарыгин ложится спать, останавливаясь на тех мыслях, которые он еще не успел сказать и скажет завтра. Что-то мучительное, однако, сосет его сердце. "Но разве поступать честно всегда приятно! – успокаивает он себя. – Есть честность ума и честность инстинкта, вот как у папы и у... этой женщины. Конечно, неприятно, когда идешь против инстинкта, но разве инстинкт не лжет?" Придумано было красиво, и Петр на минуту успокоился, но, вспомнив, как его похвалил сего дня директор, почувствовал, что лицо его и шею охватило жаром. Краска стыда залила его щеки. Бессознательным движением Шарыгин натянул на голову одеяло, как будто в этой пустой и темной комнате кто-нибудь мог видеть его.

Прошло три дня. Начальство не сочло почему-то нужным придавать значение коллективному заявлению класса, и "заподозренные" беззаботно разгуливали по коридору. По безмолвному соглашению класс ни словом не вспоминал о происшедшей истории и с особенной предупредительностью относился к Аврамову. Посторонний наблюдатель едва ли бы заметил, что в классе что-то случилось. Но Шарыгин чувствовал это. Двое заподозренных, охотно говорившие со всеми своими обвинителями, не замечали Шарыгина и не отвечали на его попытки вступить в примирительную беседу. Остальные с виду держались по-прежнему, но одна мелочь глубоко кольнула Шарыгина. Прежде, каждую почти перемену, на камчатке, где сидел Шарыгин, собиралась кучка товарищей и вступала в споры самого разно-

образного содержания, начиная Писаревым и кончая теориями мироздания. Теперь же никто не приходил, и Шарыгин, любивший говорить и слушать себя и видеть, как внимательно слушают его другие, остался один. Философ Мартов с выражением какой-то глупой боязни сторонился от него, точно драка составляла постоянное свойство шарыгинского характера. Однажды Шарыгин поймал на себе взгляд преданного ему Преображенского, и в этом взгляде сквозило не восхищение, к которому он привык, а, противно сказать... сожаление.

"Мерзавцы!" – думал Шарыгин, включая в это понятие весь класс и всех, кто находился за ним. Ему было нестерпимо больно и обидно, что в предательстве виноваты все, а наказание несет он один.

– За что, мерзавцы? – со злостью спрашивал Шарыгин, чувствуя, что даже Преображенский, который больше всего суетился и кричал в пользу доноса, теперь презирает его, Шарыгин вызывающе смотрел на товарищей, говорил резкости, толкал заподозренных, не вызывая отпора и лишь возбуждая недоумение, так как большинство и сами не замечали, как они переменились к нему. Однажды он громко заговорил о том, что странно, почему директор до сих пор не принимает никаких мер, но все разошлись, притворяясь, что не слышат, а Преображенский, которого он прижал к стенке, согласился с ним, но имел такой жалкий вид, что Шарыгин отпустил его.

– Экие все дряни! – крикнул он, но ответа не получил. Шарыгину хотелось, чтобы кто-нибудь поговорил с ним, убедил его, что он не прав, даже побил его, но только не молчал.

Учителя, казалось Шарыгину, тоже косились на него. Бочкин, преподаватель истории, резкий и независимый господин, потешавший класс своими шуточками, а директора в совете доводивший до чертиков, сказал:

– Доносиками заниматься вздумали? О будущие граждане российские!

Он обращался ко всему классу, но Шарыгин подумал, что это относится к нему одному. Обычный "кол", третий по счету, украсивший в этот день клетку журнала против фамилии Шарыгина, не сопровождался шутливыми замечаниями, показывавшими, что, хотя Бочкин и ставит единицу за незнание урока, все же считает его развитым и знающим.

– До сажени много еще осталось? – спросил Шарыгин, но Бочкин не ответил.

"Скотина!" – подумал Шарыгин, и ему захотелось заплакать. Дома тоже было не лучше. На свидания к Шурочке он не ходил,

и та прислала уже записочку (с двумя орфографическими ошибками), справляясь об его здоровье и настроении. "Милый!" – хорош "милый", – подумал Шарыгин и, выбрав на диване местечко поудобнее, поплакал, удивляясь, как это он, умный малый, – а до сих пор не знал, что плакать составляет такое удовольствие. Это было в субботу. В воскресенье Шарыгин, против обыкновения, никуда не пошел и весь день посвятил странным занятиям, которые окончательно могли бы дискредитировать его в глазах класса и всех серьезных людей. Он шалил. Первый раз в жизни сестренка его испытала завидное наслаждение кататься верхом на мужчине, и, надо полагать, впоследствии, когда она вышла замуж, муж ее не раз проклинал легкомысленного братца. Почтенному старому коту, необыкновенно жирному и важному, Петр привязал на хвост бумажку. Он хотел доставить удовольствие все той же сестренке, но смеялся сам гораздо больше нее.

В понедельник на второй перемене Шарыгин после звонка попросил всех остаться в классе и взошел на кафедру.

– Господа! – начал он дрогнувшим голосом и смотря на Аврамова. – Товарищи, черт вас возьми, а не господа. Слушайте. Аврамов оскорбил меня названием подлеца...

Аврамов, покраснев, смотрел вниз.

– ... И он был не прав. Да, не прав. Он должен был сказать: "все вы подлецы!" А так как он этого не сказал, то я говорю: все мы были подлецами! Предателями, негодяями...

Глаза Шарыгина попали в восторженно раскрытый рот.

– ...И скотами. Один за всех, все за одного! Вот как нужно жить, братцы. А что я... я... ударил Аврамова, то я такой... такой...

Красноречивый оратор всхлипнул и, сбежав с кафедры, устремился к дверям, но чьи-то руки, бесчисленное множество рук, схватили его и закружили.

– Задушили! Пустите, черти! Опять к директору пойду.

На большой перемене многие искали Шарыгина, но он куда-то пропал. Когда класс был отперт и восьмиклассники гурьбой, выжимая друг из друга масло, ворвались в него, их пораженным глазам представилось чудное произведение искусства. На классной доске было нарисовано расписание с заключенным в него кукишом, а перед ним в недоумевающих позах инспектор и директор, а за ними сторож Семен. Нос директора художник не мог вместить на доске и окончил мелом на стене. Внизу была подпись: "И. И. (услужливо): не огорчайтесь, И. М., этот кукиш мне. – Директор (благосклонно): благодарю вас, И. И.! –

Сторож Семен (глубокомысленно): а я так полагаю, что вам обоим".

– Сотри, сотри! – раздались голоса, но Шарыгин не подпускал никого к доске. Да и поздно было. Селедка уже видела рисунок. Никогда она так быстро не бегала, даже когда приезжал попечитель и она метала икру. Вошел директор, а за ним на цыпочках Иван Иванович.

– Кто? – лаконически спросил директор, оценив художественность исполнения и широту замысла артиста.

– Я, – отвечал Шарыгин.

– Ты? Хорошо. Ты будешь исключен.

Но директора смягчили. Наказание было ограничено четырехдневным арестом. Когда в следующее воскресенье замок щелкнул в двери и Шарыгин остался в классе один, он впервые почувствовал, что "грязь прошлого" совершенно смыта с него. Часа через два, когда он уже начал скучать, у стеклянной двери показалось чье-то дружески мигавшее лицо. То был философ Мартов. За ним последовал Преображенский. И целый день одна дружеская физиономия сменяла другую, и все они мигали, кричали в замочную скважину и дружески скалились. Под дверь была просунута записка, кратко возвещавшая: "Не робей!" Ночью, когда Шарыгин собирался укладываться спать на принесенной постели, внезапно дзинькнул замок. Аврамов, Мартов и еще пара друзей осторожно вошли в класс, издали показывая хлеб, длинную колбасу, такую длинную, как нарисованный нос у директора, и horribile dictu*... полбутылки водки.

Друзья разошлись поздно ночью. Наибольшее удовольствие от импровизированного банкета получил сторож Семен. Он любил выпить, – большая часть полбутылки пришлась на его долю. Он не прочь был посмеяться, если кто-нибудь с положительным юмористическим талантом изображал Ивана Ивановича, который неоднократно грозился его выгнать за потачки гимназистам, – Мартов же за изображение инспектора давно стяжал заслуженные лавры. Наконец, распространенное мнение о том, будто бы Семен глуп, было по меньшей мере опрометчиво. Десять лет прислуживая при опытах в физическом кабинете, Семен обогатил свой ум изрядным количеством непонятных слов, дававших ему возможность с честью поддерживать всякий умственный разговор. И так как в горячем разговоре гимназистов постоянно попадались непонятные слова, напоминавшие Семену дорогую физику, как-то: прогресс, человечность, идеа-

---

* страшно сказать (*лат.*)

лы, он всей душой устремлялся за своими приятелями туда, где, по их уверению, эти слова постоянно раздаются с высоты кафедры, живут и дышат – в далекий, желанный и загадочный университет.

Проводив посетителей, Семен возвращался по темному коридору. Колеблющийся огонь свечи трепетным светом озарял красное усатое лицо, вырисовывая на стенке чудовищную движущуюся тень. Смутная грусть и сожаление наполняли глупую голову Семена.

– Ах, кабы и сторожам можно было оканчивать гимназию и переходить в университет!

1898

ПАМЯТНИК

Эскиз

По Тверскому бульвару, по направлению к Страстному монастырю, шла женщина. Выражение "шла" не совсем верно, впрочем, определяло характер тех движений, которые проделывали ее ноги, стараясь удержаться на осклизлом покате аллеи и в то же время продвинуться вперед, к тому более светлому в окружающем сумраке месту, каким была Страстная площадь. Было еще не поздно, но бульвар и его проезды представляли собою пустошь. Вот уже третьи сутки моросил мелкий, осенний дождь, не переставая ни на минуту. Воздух настолько был пропитан холодной, все проникающей сыростью, что, казалось, еще одна капля – и весь он обратится в сплошную холодную воду, вплоть до низких иссера-темных облаков, непроницаемой пеленой отделивших скучную землю от высокого, спокойного неба с его мириадами равнодушных светил, о которых в этот момент забывала самая пылкая фантазия. Но продвигавшаяся женщина не обладала фантазией. Равнодушно предоставив грязному и мокрому, как гуща, подолу платья облипать мокрые ноги, она заботилась лишь о том, чтобы эти наиболее усталые части ее усталого тела не расползались далее пределов, полагаемых законами равновесия, и подвигали ее к светлому месту, в которое уставились ее глаза. Нельзя сказать, чтобы к этому месту ее влекла необходимость или какая-нибудь ясно осознанная цель. Тот же дождь моросил и там на площади, у этих ярких фонарей; никто не ожидал ее и там, как никто не ожидал ее здесь. Цель же, которая выгнала ее сегодня наружу и бросила в середину сырости, холода и дождя, была равно достижима и там и здесь. Она вышла на работу и находилась в центре рынка того труда, одной из представительниц которого, официально признанной, она была. Но метеорологические условия невыгодно отразились на спросе. Второй уже раз проделывала она нелегкий путь по бульвару, не встречая ни души, даже сторожа, который, согнав ее с бульвара, мог бы внести хотя некоторое разнообразие в однообразную прогулку. Все, кому мог понадобиться ее труд,

сидели по портерным и кофейням, куда ей, мокрой, грязной и не имеющей гроша за душой, доступ был закрыт.

Ноги почти переставали слушаться, когда обладательница их добралась до памятника Пушкина и тяжело села на одну из окружающих его скамеек. Дальше идти было некуда. Глубоко передохнув и почувствовав минутное удовлетворение отдыха, женщина обвела вокруг глазами. Прямо перед ней тяжелой и угрюмой массой возвышался памятник. Дождевая вода каплями текла по черному, хмурому лицу, собиралась озерцами в глубоких выемках рукавов и ручейками стекала по складкам плаща. Наискось от женщины сидел какой-то человек. Собственно говоря, только путем наведения можно было догадаться, что это – человек. С внешней стороны это представляло собой огромный полотняный зонтик, из-под которого виднелось нечто напоминающее собой ноги. В присутствии последних убеждало то обстоятельство, что большие галоши, какие рисуют обыкновенно в увеличенном размере на вывесках, не могли находиться тут одни, без содержимого. Все это – и галоши, и зонтик находились в полнейшей неподвижности. Затихла и женщина. В течение нескольких минут женщина, памятник и зонтик, и голые мокрые ветви деревьев, сиротливо тянувшиеся к неприютному небу, оставались в этой мертвой тишине и неподвижности.

Первой подала признак жизни женщина. То, что называется мыслями, не входило в круг отправлений ее организма, и ее обеспокоило неприятное ощущение. Ей захотелось покурить, – взять папироску и раза три покрепче затянуться. Потребность в этом "затянуться" становилась все настоятельнее, пока наконец не подняла женщину с места и, без участия воли и размышления, не перенесла ее в соседство зонтика, недовольным движением откачнувшегося в сторону. На секунду из-под зонтика мелькнули острые, черные глаза, большой крючковатый нос и черные с проседью усы, с выражением негодования и обиды топорщившиеся кверху, – и вновь скрылись под серой полотняной поверхностью.

– Покурить нету? – прозвучал сиплый голос, странно нарушивший тишину и принятый женщиной за чужой. Но на самом деле он принадлежал ей.

– Нету, – после некоторого молчания глухо донеслось из-под зонтика.

Молчание.

– Пойдем со мной, – продолжал тот же сиплый голос, произнесший эту формулу с видом такого безучастия, что ответа, очевидно, и не требовалось. Ответа и не последовало. Молчание.

– А деньги у тебя есть?

Моментально зонтик отдернулся в сторону, и показались глаза, нос и усы, и все вместе со свирепым видом уставившиеся на женщину, а из-под усов послышался резкий, высокий голос, некоторыми звуками обнаруживающий недостаток зубов во рту незнакомца.

– И чего ты ко мне пристала? Что лезешь. Убирайся, пожалуйста. Привязываются ко всякому, – негодующей, плачущей скороговоркой высыпал незнакомец и вновь юркнул под зонтик, демонстративно дернув его. Но ни речь эта, ни жесты не произвели видимого впечатления на соседку, совершенно безучастно отвернувшуюся в сторону и через несколько минут возобновившую допрос в том же вялом и бесстрастном тоне.

– А чего ты тут сидишь?

Через минуту из-под зонтика последовал ответ в форме двух самостоятельных фраз:

– Привязалась. Смотрю.

– Что же тут смотреть?

Пауза.

– Отвяжись. На памятник смотрю.

Женщина повела глазами на памятник, скользнула взглядом по его неподвижной и черной массе и равнодушно отвернулась.

– Да чего же на него смотреть?

С тем же энергичным движением зонтик отдернут в сторону.

– Господи Боже! Ну, скажу тебе зачем – ну разве поймешь ты? Ну что тебе надобно, скажи на милость, – быстро сыпал словами обладатель зонтика, но сквозь негодующий и плачущий тон его голоса просвечивало желание поговорить. – Ну, знаешь ты, чей хоть это памятник-то?

– Знаю – Пушкина.

– Пушкина! – передразнил незнакомец. – А кто такой "Пушкин"? Околодочный надзиратель?.. Эх!.. – он сделал движение, имевшее целью вновь скрыться под зонтиком, но раздумал и продолжал: – Пушкин был великий человек. А я вот сижу и думаю, почему один великий человек стоит на пьедестале, а другой вот тут под дождем мокнет и с тобой, умницей, разговаривает. Поняла?

– А как вас зовут?

– Поняла, называется! Алексеем Георгиевичем меня зовут. Алексеем Георгиевичем. Ну, это ты поняла?

– А меня зовут Пашей.

Алексей Георгиевич с видом страдания, точно его внезапно схватила зубная боль, передернул усами и носом и отвернулся. Но молчать было скучно.

– Ну, а ты чего сидишь? Чего домой не идешь?

– Домой? Хозяйка не пущает. Не платила.

– А обделать никого не пришлось? – с язвительной иронией скосил глаза Алексей Георгиевич на Пашу. То, что он увидел, было охарактеризовано им одним словом: "экая лахудра!" В это понятие входило лицо Паши, безнадежно, до унылости плоское и широкое, с большими бесцветными и тупо-вопросительными глазами. Небольшой, задиравшийся вверх нос, имевший достаточно сил, чтобы подтянуть за собой верхнюю губу широкого рта, видимо, стеснялся своего возвышенного положения. Входил в это понятие и костюм Паши, в весьма отдаленной степени напоминавший о женском кокетстве, но не дававший возможности предположить, что хотя когда-нибудь он был нов, чист и сух.

– Куда же ты теперь пойдешь? – продолжал вопросы Алексей Георгиевич. – Куда пойдешь, говорят? Видишь, какая погода?

Внешность Паши не оставляла сомнений, что она видела погоду, и этот вопрос предложен лишь потому, что скотское равнодушие становилось Алексею Георгиевичу нестерпимым.

Молчание.

Алексей Георгиевич, сделав энергичный поворот, сел лицом к соседке и, переложив зонтик из правой руки в левую, распростер первую в воздухе с видом, долженствующим выражать полное недоумение.

– Скажи на милость, – ну за каким чертом живете вы на свете? Тьфу, гадость какая! Да что ты, одеревенела, что ли? – крикнул он, нагибаясь к широкому и безучастному лицу. Не дождавшись ответа, Алексей Георгиевич махнул рукой и отвернулся. Потом засунул руку в карман, достал большие серебряные часы и посмотрел, который час. Потом стал топать ногой и выражать другие знаки нетерпения. Несколько раз заглянув на Пашу, погрузился в размышления, состоявшие, впрочем, из одной, но чрезвычайно важной мысли: "люди меня не слушают, и черт с ними. С ней хоть поговорю". Перспектива поговорить хотя бы "с ней" была так соблазнительна, что Алексей Георгиевич заерзал на месте и, стараясь придать своему голосу оттенок покровительства и солидности, не допускающей чего-либо фамильярного, сказал:

– Слушай ты, как тебя... Паша! Пожалуй, зайдем ко мне на минутку. Только ты не вздумай чего! – строго добавил он. – Просто мне жалко тебя.

Паша, как бы ожидавшая этого предложения, молча поднялась и направилась по бульвару. Вскочил и Алексей Георгиевич, оказавшийся ростом ей по плечо. Длинное, черное пальто

мешком облекало его маленькую фигурку и сзади слегка похлопывало по большим галошам, когда он, семеня ногами, пустился догонять свою спутницу. Расползаясь ногами по мокрому песку, стукаясь друг о друга, шли по бульвару две эти фигуры – одна тяжелая, грузная, равнодушная, другая – маленькая, живая и нетерпеливая. Разговора не было. Раз или два Паша, чувствовавшая себя обязанной к любезности, заговаривала, но, не слыша ответа, умолкала. По дороге Алексей Георгиевич зашел в лавку, купил водки, закуски и папирос.

Маленькая, но уютная и теплая комнатка, которую занимал Алексей Георгиевич в полуподвальном этаже большого дома на Грузинах, разом наполнилась запахом сырости и какой-то гнили, когда туда ввалилась Паша, не раздеваясь остановившаяся посредине комнаты, пока хозяин зажигал лампочку.

– Ну, ты, того, разденься, а то от тебя пар, как от лошади! – приказал Алексей Георгиевич, старавшийся совместить обязанности гостеприимства с заботой не загрязнить чистенькую комнатку. Паша послушно разделась, оставшись в одной нижней юбке, а на голые плечи накинув платок, сурово поданный ей хозяином, во время раздевания усиленно возившийся над закуской и не смотревший на гостью.

Выпили водки. Алексей Георгиевич употреблял ее очень редко, и в голове у него зашумело. Паша не то чтобы оживилась, но по деревянному лицу ее стало пробегать что-то. Не то улыбка, не то намек на какую-то мысль или чувство. Алексей Георгиевич, как хозяин и кавалер, начал занимать Пашу, но дальше вопросов о том, сколько ей лет и давно ли она занимается своим делом, – уйти не мог – не знал, о чем спрашивать. И с обыкновенными девицами Алексей Георгиевич затруднялся разговаривать так, чтобы им было приятно, а с этой халдой какой может быть разговор! Достаточно с нее того, что колбасу перед ней поставили. "Вишь, как жрет-то!" – думал хозяин, следя за кусками, исчезавшими в широкой пасти. Ему была противна эта жадность, но в то же время с каждым проглоченным Пашей куском увеличивалось расположение к ней и сознание прав на её внимание.

– Ну, ешь, ешь, колбасы много, – поощрял Алексей Георгиевич, наливая большие граненые рюмки. Сам он пил без закуски.

Выпили еще, и еще.

Паша, с слегка осовевшими глазами, сидела, откинувшись на спинку стула, и с наслаждением затягивалась дымом дешевой папироски. Алексей Георгиевич, благосклонно сверкая колючими глазками, улыбался слегка презрительно и самодовольно:

– Ну, что, как тебя... Паша! Рада? Не то что под дождем-то. А?

Паша, вместо ответа, сладко потянулась. Усмотрев в этом движении некоторое неуважение к его особе, Алексей Георгиевич нахмурился и поторопился перейти к серьезному разговору, сухо предупредив гостью о своем намерении. Выдвинув ящик стола, он осторожно вынул оттуда различные бумаги и тетради, большие и маленькие, разъясняя значение каждой из них.

– Видишь, вот это – роман "Отринутое сердце". Я его писал... сколько я его писал? Два года. Многие очень хвалили, люди знающие, – а вот не пошел, лежит... Вот тут стихи. Я тебе потом прочту. Нет, лучше я сейчас одно прочту.

С недоверием взглянув на Пашу, но встретив внимательное, как казалось ему, лицо, Алексей Георгиевич приступил к чтению. Стихотворение, написанное рубленой прозой, изображало злоключения какой-то девицы, жившей на берегу Рейна в гордом и неприступном замке. Все дело, как поняла Паша, вышло из-за какого-то графа и цыганки, но при чем тут был верный слуга и по какой причине утопилась девица, осталось для нее не совсем ясным. Ей больше понравилось другое стихотворение, в котором автор на что-то очень чувствительно жаловался и говорил о могилке. Потом хозяин прочел что-то о красивом молодом человеке, который в лунную ночь поджидал какую-то девицу в лесу. Декламация Алексея Георгиевича не оставляла желать лучшего в смысле возвышенности и выразительности. Размахивая руками, вскакивая со стула, то тараща, то томно закрывая свои глазки, он поднимал колючие усы до того, что они грозили перелезть к нему на лоб, а подбородок напряженно опускал вниз – пока наконец все это, медленно разглаживаясь, не принимало своего естественного положения.

– ...В сладкой тишине ночи, – читал Алексей Георгиевич, – напоенной ароматами весны, вдруг полилась трепетная, серебристая песнь соловья: тиу, тиу, тиу; дзон, дзон, дзон; фюить, фюить, фюить; ро-ро-ро...

Паша несколько изумилась, а Алексей Георгиевич снисходительно пояснил, что песня соловья целиком взята им из ученой книжки. Понемногу Паше становилось очень весело и один раз она даже издала какой-то звук, весьма схожий с одобрительным хихиканьем, но Алексей Георгиевич так свирепо покосился на нее, что она умолкла, и только всем телом подавалась назад, когда жестикулирующие руки поэта слишком близко придвигались к ее лицу. Много было прочитано и других стихотворных и прозаических вещей, в которых автор с поразительной широтой взгляда затрагивал все темы, начиная с оды по поводу иллюми-

нации и описания Куликовской битвы, кончая громовым обращением к каким-то родственникам, вопреки законам божеским и человеческим не уплатившим поэту тысячи рублей приходившегося на его долю наследства. Последним было прочитано стихотворное рассуждение под заглавием "Что такое дворянин", доказывающее, что умерших дворян необходимо хоронить на государственный счет.

– Ну что? – торжествующе спросил автор, дрожащей от пережитого волнения рукой наливая рюмки. – А ты говоришь, чего я смотрю на памятник.

– Вы, значит, тоже в книжках печатаете?

– Печатаете! Нужно говорить: пишете. Ну да, я писатель. Может быть, слыхала: Орлов?

– И деньги получаете?

– Деньги! Не в деньгах сила. Другой и деньги получает, а все у него чепуха. А тут слава. А вот за это я и деньги получил.

Алексей Георгиевич вынул небольшую тетрадку, в которой аккуратно были наклеены печатные вырезки. Там были небольшие театральные рецензии, повествовавшие о полном сборе и о том, что ансамбль никем не был испорчен; были заметки по поводу дурно вымощенных улиц; сведения о вновь разбиваемых скверах и приездах высокопоставленных особ; был один рассказ и стихотворение, поздравлявшие читателей с Новым годом. Но на этих печатных образчиках своего гения Алексей Георгиевич остановился ненадолго. Видимо, его сердце более тяготело к толстым тетрадям, каллиграфически исписанные (с одной стороны) страницы которых едва ли когда-нибудь видели свет, если не считать таковым полутемную каморку автора.

– Видишь, сколько написал! – с гордостью похлопал он рукой по тетрадям. – Вот где... слава-то!

Алексей Георгиевич опустил захмелевшую голову и задумался. Потом медленно приподнял ее и, устремив на Пашу продолжительный взгляд, от которого она отшатнулась, так был он упорен и странен, глухо, разделяя слова, произнес:

– А они говорят: "графоман"! Смеются! Старый, говорят, ты дурак, хоть и дворянин. А знаете вы, рабы презренные, какие тут вложены мысли? Ребятишек научили пальцами показывать: вот он идет, Орлов, – а кто знает, что сталось бы со всеми вами, если бы... Да, если бы вы узнали это! М-мерзавцы!

Алексей Георгиевич ударил кулаком по столу и зашагал по комнатке, вернее, завертелся по ней, так как одна нога его описывала окружность, центром которой была другая.

– Ну, выпьем, что ли, ты, несчастная!

Паша, которую удар по столу укрепил в зародившейся в ней мысли, что "он" пьян, – факт, с которым она встречалась ежедневно, с готовностью выполнила желание хозяина. "Скоро он кончит?" – проскользнула у нее мысль, свидетельствовавшая о том, что происходившее она считала лишь прелюдией к тому неизбежному, ради которого ее, Пашу, и поят, и обогревают. Из чувства профессионального долга Паша нерешительно произнесла:

– Пойди сюда, цыпленочек...

Но убедясь, что цыпленочек бегает и не слушает ее, равнодушно погрузилась в прежнее состояние приятного отдыха и спокойствия.

Сделав еще несколько кругов, Алексей Георгиевич присел на стул и, дотронувшись рукой до колена Паши, с дружелюбной и в то же время жалко просительной улыбкой заговорил, стараясь смягчить свой резкий, каркающий голос:

– Пойми меня, Паш... Пашечка. Ты женщина, ты можешь меня понять. Ведь есть же и у тебя сердце. Измучили они меня, голубушка, душу мою вынули...

– Кто же это? – осмелилась спросить Паша, думая, что он намекает на злых родственников.

– Люди, вот кто! – закричал Алексей Георгиевич. – Ты думаешь, они люди! Звери они. Загрызли!.. А за что? За то, что горд я! За то, что я чин имею, что не склонился я на их льстивые речи, не поклонился их кумиру. "Говори то да то". А ежели я свое говорить хочу? И буду говорить, хоть разопните вы меня. Видно, не сладка правда-то? Боятся они меня. Сперва хвалили. Талант, говорят, у вас, Алексей Георгиевич, далеко вы пойдете. А вот этого не хотите ли? Нет, этого мы не можем напечатать, тут мысли нет. Мысли нет! Ну, не мерзавцы ли?

Алексей Георгиевич скрипнул остатками своих зубов, и, схватив Пашу за руки, наклонился к ней.

– Пашечка, милая, знаешь ли ты, что значит быть непонятым? – Алексей Георгиевич трагически отдернул голову назад и, снова приблизив к самым глазам Паши, зловещим шепотом окончил: – быть непонятым до самой могилы! Понимаешь, – продолжал он все тем же шепотом, все крепче сжимая красные и потные руки Паши, – они смеялись надо мной. Они ехидно вышучивали меня. "Наш знаменитый Орлов!" А я все верил, все ждал... и вот теперь, когда зубы эти повывалились, когда смерть стоит у меня за плечами, – я знаю, что я не понят! Глуп я – так чего же вы прямо не сказали, сразу? Зачем, зачем влили вы этот яд в мою душу... Не понят... Да, не понят.

Алексей Георгиевич поспешил смахнуть с одного глаза слезу и торопливо ухватился за руку Паши.

– А вот куда я это дену? – продолжал он тем же шепотом, указывая на разбросанные по столу тетради. – Ведь там всё. Всё! Понимаешь ты! – крикнул он и вскочил с очевидною целью сделать несколько туров по комнате.

– Э, да черта ты поймешь! – грубо бросил он Паше, остановившись перед нею в позе натуралиста, созерцающего червя. – На кого, главное, рассчитывал: она – девка, и я. Да, вот до чего довели. Что же, торжествуйте: "знаменитый Орлов" и особа с Тверского бульвара. Ха-ха-ха! – хрипло рассмеялся Алексей Георгиевич и размашисто сел. – Ну, наливай, выпьем. Водка всех равняет.

Паша, расплескивая, торопливо налила. Она начала бояться хозяина. Пусть бы он ее побил, а то говорит, говорит – и все страшное.

– Ну чего глаза-то вытаращила? Пей, пока дают. Эх! – голова Алексея Георгиевича, несколько раз мотнувшись в воздухе, поникла ему на грудь. Вся его маленькая фигурка, в аккуратных сапожках, в коротеньком, засаленном и потертом пиджачке, как бы сохранившем на себе следы всех приемных и редакций, где по целым часам терся и терпеливо ожидал его обладатель, – все было так детски жалко и беспомощно вопреки энергичному тону слов, что Паша осмелилась проговорить:

– Алексей Егорыч! Пойдемте, я вас в постельку уложу...

– Думаешь, пьян, заснул? Дура! Я еще и тебя перепью, – бодро взмотнул головой Орлов, но удержать на высоте ее не мог. – Я тебе, дуре, еще о памятнике расскажу. Каждый вечер сижу я против него и зимою, и летом. Один он у меня, во всем свете один, больше и поговорить не с кем. Спросишь: "Холодно тебе, Пушкин?" – "Холодно, – ответит, – Орлов". Заиндевел весь, черный... "Убили тебя люди, Пушкин?" – "Убили, Орлов". – "А памятник воздвигли?" – "Воздвигли". – "И мне тоже будет!" Ну, покойник, смеется, а другой раз пожалеет. А мне разве его не жалко? Душу его жалко. Заковали ее в железо, шевельнуться нельзя. И моя душа закована. Давит железо... Ох, давит!..

Алексей Георгиевич, понижавший голос по мере накопления чувства, остановился и, подняв на Пашу помутневшие глаза, внезапно вскочил и, разрывая на груди рубашку, закричал голосом, настолько громким и диким, что за перегородкой пошевелились.

– Водки давай, водки! Скорее... задыхаюсь!..

Трясущимися руками, шепча: "Господи Иисусе Христе!" – Паша налила рюмку и поднесла ее Алексею Георгиевичу, кото-

рый, стукнув зубами о стекло, проглотил содержимое, а содержащее бросил в угол, где оно, жалобно звякнув, разлетелось на куски.

– Паша, Пашечка, пожалей меня, ведь я один. Всю жизнь не понят, умру... Будьте вы прокляты! Паша, одной тебе говорил. Женщин не знал. Паша, видишь, я плачу... Они смеялись! Голубушка, как тяжело жить на свете...

С глухим, не выходящим из горла рыданием Алексей Георгиевич упал головой на колено Паши, которая, одной рукой поддерживая тело напившегося гения, другой гладила его по плешивой седой голове и говорила, не обращая внимания на крупные слезы, катившиеся вокруг ее возвышенного носика и, как в пропасть, скатывавшиеся в широкий рот:

– Ну, милый, ну, не надо плакать. Меня тоже били. И мать била, и другие били. Меня тоже жалеть надо...

Из-за перегородки послышался стук и донесся заспанный голос:

– Вы долго там, черти, не угомонитесь? Нужно людям и покой дать! Полунощники, нет на вас пропасти!

Паша бережно довела, почти донесла до кровати совсем обессилевшего и раскисшего Алексея Георгиевича. Бормоча что-то невнятное, он лежал навзничь и смотрел полузакрытыми глазами в потолок, слабо отталкивая Пашу, снимавшую с него сапожки, но вскоре замолк и уснул. Паша, побросав в угол кое-какого тряпья, свернулась клубком и, засыпая, долго еще шептала: "Господи, Господи..." Ушла она, когда Алексей Георгиевич еще спал.

Несколько дней провалявшись в постели, Орлов отправился на обычное место к памятнику с сильной боязнью встретить там Пашу. Но ее не оказалось ни в этот, ни в следующие дни. Через две недели у одной из вечерних посетительниц бульвара Алексей Георгиевич спросил, не знает ли она, где живет Паша.

– Пашка Лопастая? А ее в Екатерининскую увезли. Меня возьмите, старичок почтенный.

– Но, но! – надменно закинул голову Орлов. – Не извольте забываться.

И гордо засеменил к памятнику.

.....

"А все-таки жаль, брат Пушкин. Я еще многого не досказал".

В САБУРОВЕ

Село Сабурово стоит на высоком нагорном берегу Десны, господствуя над бесконечной гладью лугов, лишь на далеком горизонте оттеняемых узкой полоской синеватого леса.

Лет 12 тому назад пришел в Сабурово мужик Пармен Еремеев Костылин. Никто на селе не знал, откуда он явился, да и не интересовался этим вопросом. Пармен был не из тех людей, с которыми приятно повести душевный разговор о жизни, сидя где-нибудь у залитой сивухой и засиженной мухами кабацкой стойки или валяясь на сене. Причиной тому была частью отвратительная внешность Пармена, частью его замкнутый, необщительный характер. Мужик он был рослый, здоровый, и, глядя на него сзади, всякий чувствовал расположение к этой крепко сколоченной фигуре, с слегка неуверенными движениями и нерешительной походкой. Но другое являлось чувство, когда человек вглядывался в его лицо. Страшная болезнь, известная в народе под именем волчанки, изъела это лицо, как заправский жестокий зверь. Она уничтожила нос, оставив на его месте дыру, скрываемую Парменом под чистой белой тряпочкой; припухшие красноватые веки были совсем почти лишены ресниц и тяжело повисли над серыми глазами, придавая лицу выражение странной сонливости; щеки и подбородок были изборождены шрамами и рубцами, красными и блестящими, как будто произведшие их раны только что зажили. Ни бороды, ни усов не росло на этом убогом лице; на их месте сиротливо торчали тонкие, бесцветные волосики: так после лесного пожара, уничтожившего молодой березняк и осинник, на бугроватой земле одиноко возвышаются обуглившиеся деревца. Много есть на свете безносых людей, которые и поют, и пляшут, и компанию водят, настолько примирившись с отсутствием носа, что и другим начинает казаться: да этому лицу носа совсем и не нужно. Не таков был Пармен. Точно чувствуя себя виноватым в своем безобразии, этот дюжий мужик боялся людей и хоронился от них, а когда обстоятельства принуждали его к беседе, то говорил угрюмо и кратко. И хотя он мухи от роду не обидел, его не то что-

бы побаивались, а считали способным на всякие поступки, на которые не решится другой, по пословице: "Бог шельму метит".

Появился Пармен впервые в качестве работника у Федота Гнедых, мужика хворого и слабосильного. Работал Пармен много и не покладая рук, но как-то беззвучно и невидно, точно его и нет. Через три года Федот умер. Пелагея, жена его, поголосила, сколько полагается, над покойником, выветрила избу от мертвого духа и продолжала жить, как и раньше, то есть разрываясь на три части, по количеству детей. Старшему, Гришке, было всего 11 лет, а Санька, весьма требовательная и воинственная девица, еще не была отнята от груди. Подождав немного, Пармен попросил вдову отпустить его.

– Платить тебе нечем, какой я тебе работник, – заявил он коротко и резко.

Пелагея знала, что за золотые руки у Пармена, и в эту минуту он показался ей чуть ли не красавцем.

– Что я одна-то с ребятами поделаю, – заплакала она. – Не оставь ты меня, Еремеич, с малыми сиротами, будь им вместо отца... А я тебя по гроб твоей жизни не оставлю.

Пармен остался. Если раньше он работал за двоих, то теперь стал работать за десятерых, все так же тихо и безмолвно: одному ему был известен способ, посредством которого он ухитрялся делать невидимою свою рослую фигуру. Даже с Пелагеей, с которой он спал на месте покойного Федота, он был неразговорчив, и только Санька умела вызывать его на разговор и даже на шутку. Эта юная особа, только что усвоившая первые начала пешего хождения и лишь в важных случаях, когда требовалась особенная быстрота, передвигавшаяся на четвереньках, была совершенно чужда чувству красоты. Отсутствие носа у дяди Пармена не только ее не шокировало, как взрослых, но, впадая в крайность, она находила нос излишним придатком. Не говоря уже о том, что он являлся обыкновенно первой жертвой при ее многочисленных падениях, – у матери ее, Пелагеи, существовала очень дурная привычка: завернув подол платья, хватать им Саньку за нос и немилосердно дергать. Хорошо еще, что нос был маленький, а с большим Саньке совсем бы и не управиться. Сидя у Пармена на коленях, Санька гладила пальцами блестящие края раны и, придерживая другой рукой для вящей ясности свою замазанную сопатку, наводила справки о том, какого приблизительно размера был дядин нос и куда он девался.

– Собака откусила, – шутил Пармен.

– Жучка? – спрашивала Санька, тараща глаза.

– Она самая.

Всесторонне обсудив это сообщение, Санька находила в нем несомненные признаки клеветы: Жучка не такая собака, чтобы откусить нос, Барбос – тот мог, но Жучка никогда. И Санька с ужасом смотрела на соседнего лохматого Барбоса, воображая, как хрустит у него на зубах дядин нос, и с визгом ковыляла к матери, когда Барбоска, пес в действительности вежливый и обходительный, выражал намерение лизнуть ее в лицо.

Постепенно Пармен привык к своему положению и значительно изменился нравом. Смеяться стал; раз, проезжая лесом, хотел запеть, но, видно, и горло было у него испорчено: звук получился такой, как будто ворона закаркала, а не мужик запел. Начал Пармен пользоваться и привилегией счастливых людей: вызывать к себе хорошее отношение. Его меньше чурались, и если продолжали звать Безносым, то не ради насмешки или из злобы, а просто в отметку действительного факта. Была бы довольна и Пелагея, если бы ее взгляд давно не заметил на этом чистом небе облачка, грозившего превратиться в тучу. Дело было в Гришке. Смуглый, как цыганенок, красивый мальчуган чувствовал непобедимое нерасположение к Пармену. Говорливый со всеми, с Парменом он держался дичком и проницательным взглядом не по годам развитого ребенка провожал Пармена, когда тот укладывался на печи спать бок о бок с Пелагеей. В этом взгляде была и ревность, и пренебрежение к Безносому, занимающему место отца. Но еще больше, чем к матери, ревновал его Гришка к хозяйству, к дому, безотчетно возмущаясь тем, что какой-то чужак, пришелец, распоряжается, как своим, всем этим добром, идущим от деда, а то и от прадеда.

– Воистину Господь послал нам Пармена Еремеича, – издалека заводила разговор Пелагея, искоса поглядывая на Гришку.

Обыкновенно тот молча уходил, но когда и он, и брат Митька подросли настолько, что сами могли управиться с хозяйством, он начал возражать матери.

– Прожили бы и одни, – бурчал он. – Эка невидаль. Думает – безносый, так всякое ему и уважение. Держи карман шире.

– Чистый ты, Гришка, змееныш, – говорила Пелагея.

Пармен, в противоположность былой мнительности, ставший доверчивым даже до легкомысленности, ничего этого не замечал. Раз Григорий, уже семнадцатилетний здоровый малый, пришел домой особенно злой.

– Послушала бы, что люди-то говорят, – сказал он матери. – "У тебя, говорят, заместо отца Безносый". Ребята засмеяли, проходу не дают. Пожил, пора и честь знать.

Чуть ли не каждый день Григорий стал возвращаться к разговору на тему "пора и честь знать". Пелагея возражала, но с каждым

разом все слабее. Ей самой начинало казаться странным хозяйничанье Пармена. "И чего он тут всамделе? – думала она, глядя на чужую, отвратительную физиономию Пармена, который, ничего не подозревая, с топориком охаживал кругом плетня. – Ишь колотит, кабудь и вправду мужик". Митька, парень болезненный и ко всему равнодушный, делал вид, что не замечает озлобления брата.

Было это осенним вечером, в воскресенье. Пармен, благодушествуя, сидел в избе за чаепитием. Тряпочку, которой обвязывался его нос, дома из экономии он снимал, и теперь лицо его, покрытое красными рубцами, лоснилось от пота и было неприятнее обыкновенного. Потягивая из блюдечка жиденький чай, отдающий запахом распаренного веника, Пармен думал о Саньке, где-то гулявшей с девчонками, удивлялся этому невероятному мужику, Пармену, который пьет сейчас такой вкусный чай и так незаслуженно счастлив, размышлял о том, с чего он начнет завтрашний рабочий день... Вошел Григорий, хмельной и решительный. "Эк подгулял парнюга, – усмехнулся Пармен. – Пущай: это он силу в себе чувствует". Не снимая шапки, Григорий остановился перед Парменом. На губах его блуждала пьяная усмешка.

– Проклаждаетесь? Чаи, значит, распиваете. Так. А на какие-такие капиталы?

Пармен, продолжая улыбаться, хотел что-то сказать, но Григорий прервал его:

– А ежели скажем так: вот Бог, а вот и порог. Пожалте, как ваше здоровье?

В глазах Пармена мелькнул испуг, хотя губы все еще продолжали кривиться в улыбку. Григорий, пошатываясь, подошел к Пармену вплотную, вырвал блюдце и выплеснул чай.

– Довольно-таки покуражились. Достаточно. Прямо так скажем: пора и честь знать. А нам безносых не надоть. Пож-жалте! Пофорсили – и будет. А вот, ежели угодно... раз! – Григорий сорвал с крюка армяк Пармена и бросил его на пол. – Два! – За шапкой последовал пояс, потом сапоги, которые Григорий с трудом достал из-под лавки. – Три! Четыре! – Пармен, раскрыв рот, смотрел на парня. Пальцы, в которых он держал блюдце, так и остались растопыренными и дрожали. Вдруг он смутился, из бледноты ударился в краску и засуетился, собирая разбросанные вещи.

– Ты что же это, пьяница, делаешь? – заголосила Пелагея, которой стало жаль Пармена.

– А вы, маинька, не суйтесь. Ваше дело бабье, а ежели желаете, то вот... Семь! – Григорий выказал намерение сбросить еще что-то, но пошатнулся и плюхнулся на лавку.

– Что ж это, ничего, – бормотал Пармен, – это правильно. Волчанка съела. Я уйду.

– Да плюнь ты на него, непутевого, – причитала Пелагея. – Ишь буркалы-то налил. Головушка моя горькая, доля ты моя бесталанная!

– Восемь! – считал Григорий, опуская голову на грудь и засыпая. – Двенадцать!..

Через несколько дней Пармен ушел. Григорий во все эти дни избегал всякого с ним разговора; Пелагея тоже не удерживала и только твердила: "Голова моя горькая"; Митька делал вид, что ничего не замечает. Только Санька заревела белугой, узнав, что дядя Безносый уходит.

– А с кем я у поле поеду! – вопияла она, энергично вцепившись в Парменов полушубок.

В эту ночь, первую, проведенную без Пармена, она долго хныкала, вспоминая свою горькую участь. Побитая матерью, она наконец заснула, но часто вскрикивала спросонья и стонала.

Пармену удалось пристроиться сторожем в Шаблыкинском лесу, начинавшемся почти у самого села. Долгую зиму Пармен слушал по ночам волчий протяженный вой, пока не подошла весна, принесшая с собой жизнь для всей природы. Пробудилась жизнь и в окаменелом Пармене. Проваливаясь по колена в мягкий снег, под которым стояла чистая, прозрачная вода, Пармен пошел в гости к Пелагее, но был встречен недружелюбно. Так и ушел он смущенный и потерянный. Но с тех пор по ночам часто бродил он вокруг темной хаты.

Страстная неделя кончалась. Вечером в субботу Пармен отправился в церковь, захватив с собой кулич, спеченный ему одной бабой с села. От сторожки до Сабурова было версты две, сперва лесом, потом полем, покрытым оврагами и водомоинами. Когда Пармен вышел из дому, темень была такая, что хоть глаз выколи. Звезд и тех не видать было, хотя небо было безоблачно. Воздух стоял теплый, слегка сыроватый от испарений, поднимавшихся с оттаявшей, но не просохшей еще земли. Отовсюду окрест доносился тихий и ровный звук журчащей по межам воды. Разом на Пармена пахнуло свежестью и легким холодком: то потянуло ветром из глубокого оврага, еще наполовину полного снегом. На дне его, между отвесных стен, чуть слышно бурлила вешняя вода. Из беспросветно-черной дали доносился неясный гул и треск, то усиливаясь, то затихая, – это сталкивались, налезали друг на друга и ломались льдины на широко разлившейся Десне. Гул становился все яснее и громче, по мере того как Пармен приближался к высокому нагорному берегу, по которому пролегала проезжая дорога.

Вот уже ухо различает отдельные звуки: слышно, как бегут одна за другой веселые, бойкие струйки и вертятся, образуя водовороты; слышится, как разогнавшаяся большая льдина врезывается с треском в землю, выплескивая с собой волну. Берег круто заворачивает и открывает вид на церковь. Верх ее теряется в темном небе, но внизу ярко горят освещенные окна и дрожащими, колеблющимися пятнами отражаются на темной, движущейся поверхности многоводной реки, на много верст затопившей луговую сторону.

Церковь была полна. Тоненькие восковые свечи горели тусклым желтоватым огоньком в душном, спертом воздухе, полном запаха овчины. Сквозь неопределенный шуршащий звук, издаваемый толпой, прорывался страстный молитвенный шепот. Пармен стал в притворе, куда чуть слышно доходил протяжный голос священника. Звучало радостное пение:

"Христос воскресе из мертвых..."

Сгрудившаяся в притворе толпа всколыхнулась и сжалась еще более, давая дорогу причту. Прошел в светлых ризах священник; за ним, толкаясь и торопясь, беспорядочно двигались хоругвеносцы и молящиеся. Выбравшись из церкви, они быстро, почти бегом троекратно обошли ее. Радостно возбужденное, но нестройное пение то затихало, когда они скрывались за церковью, то снова вырывалось на простор. Надтреснутый колокол звонил с отчаянным весельем, и его медные, дрожащие звуки неслись, трепеща, в темную даль, через широкую, разлившуюся реку. Внезапно звон затих, и густое, дрожащее гуденье, замирая, позволяло слышать, как шумит река. Утомленное ухо ловило звук далекого благовеста.

– Это в Измалкове звонют, – сказал один из мужиков, прислушиваясь. – Ишь как по воде-то доносит. По всей-то теперь земле звон идет...

И устремленным в темную даль глазам мужика представились бесконечные поля, широкие разлившиеся реки, и опять поля, и одинокие светящиеся церкви... И над всем этим, сотрясая теплый воздух, стоит радостный звон.

– Эх, – вздохнул мужик полной грудью. – Простору-то, простору-то и-и...

Пармен пошел домой еще до окончания церковной службы. В сторожке было холодно и пусто. Пармен разложил на столе кулич, яйца и хотел разговляться, но кусок не шел в горло. Поколебавшись, он снова оделся и пошел в село.

В Сабурове улицы были пустынны и темны, но во всех окнах светился огонь, придавая селу вид необычного скрытого оживления. Хлопнула калитка. Пармен не успел перейти на другую сто-

рону и был остановлен толстым мужиком. Это был Митрофан, поповский работник. Растопырив руки и покачиваясь, он запел:

А-ах, прости-прощай ты, кра-са-вица,
Красота ль твоя мне не нра-а-витца...

Пармен молчал, а подгулявший Митрофан перешел в серьезный тон:

– Христос воскресе, Пармен Еремеевич.

– Воистину воскресе, Митрофан Панкратьич.

Мужики сняли шапки и троекратно поцеловались. Митрофан надвинул шапку на затылок, вытер рукавом толстые губы и дружески заметил:

– Вишь ты, и рот-то у тебя какой липкий! А я, брат, того – выпил. Поп поднес. На, говорит, Митрофан, выпей от трудов праведных. Я и выпил. Отчего не выпить? Пойду к Титу и у Тита выпью, а поутру у Макарки выпью...

Митрофан наморщил брови, вычисляя, где еще и сколько ему придется выпить за эту неделю. Видимо, результат был утешительный: чело его разгладилось, и шапка как-то сама собой съехала на затылок. Простившись, Митрофан тронулся дальше.

Жучка заметалась и залаяла, когда Пармен подошел к хате Гнедых, но, увидав своего, завертелась волчком и в знак покорности и извинения легла на спину. Пармен погладил ее и осторожно вошел в калитку; он не хотел, чтобы с улицы заметили его.

Сквозь вымытые к празднику стекла оконца отчетливо видна была часть избы. Прямо против Пармена сидела за столом Санька и с надувшимися, как барабан, щеками с трудом что-то пережевывала. Глаза ее слипались, но зубы неутомимо работали. Рядом сидела Пелагея. Ее худощавый и острый профиль с слегка втянутыми губами был полон праздничной торжественности. Других Пармену видно не было. Вероятно, было сказано что-нибудь очень веселое, потому что Пелагея засмеялась, а Санька подавилась, и мать несколько раз стукнула ее по горбу. Пармен пристально смотрел в одну точку, не замечая, как была покончена еда и Пелагея начала убирать стол. Привел его в себя звук открывающейся двери. Захваченный врасплох, Пармен отскочил в угол сарая и притаился, стараясь не дышать. На крыльцо вышел Григорий, посмотрел на посветлевшее небо, по которому зажглись запоздавшие звезды, почесался и продолжительно зевнул, оттолкнув от себя Жучку, заявившую о своем желании приласкаться. Оскорбленная собака направилась к Пармену и начала тереться около него.

– Цыц! Назад! – крикнул Григорий, но Жучка не шла. – Аль там кто есть? Мить, ты?

Пармен молчал, прижимаясь к стене. Григорий подошел и увидел сгорбившуюся фигуру.

– Кто это? Чего тебе тут надо? Тебе говорят!

Пармен обернулся. Григорий узнал его и, насупившись, хотел поворотить от него в избу, но вдруг у него в голове мелькнула мысль о поджоге, тотчас же перешедшая в уверенность.

– Ты чего же здесь прячешься ночью? а?

Пармен молчал.

– А, так ты вот как! – схватил его Григорий за ворот и закричал: – Митька! Митька! Не, брат, не уйдешь.

Но Пармен и не думал уходить. Оцепенев, он бессмысленно смотрел на побледневшее от злости лицо Григория, потом на Митьку, который по настойчивому требованию брата стал шарить в его карманах, вытащив оттуда какую-то веревочку и коробок фосфорных спичек.

– А, поджигатель! – заорал Григорий. – Вот он твой благодетель-то, гляди! – крикнул он матери, с испугом смотревшей на эту сцену, и, рванув, стукнул Пармена головой о стену.

Санька, глаза которой хотели, казалось, выскочить из своих впадин, легонько охнула.

– Да что ты! – заговорил наконец Пармен. – Нешто я могу. Опамятовайся, Бог с тобой.

– Еще поговори, гунявый!

– Так, значит, пришел, вот тебе крест. Не чужие ведь. Заместо отца был. Грех тебе, Гриша.

Гнев Григория начал было отходить, но последние слова снова разбудили его. Тряся Пармена за ворот, он грозил сейчас же отправить его в волостное правление и требовал, чтобы ему подали шапку и одежду.

Митрий лениво вступился:

– Пусти его, Григорий! Пущай идет.

– Головушка моя горькая! – запричитала Пелагея, скрываясь в избу и таща за собой Саньку, но та снова выскочила: у нее были свои мысли по поводу происходящего.

– Ну, так и быть, в последний раз, – отпустил Григорий ворот Парменова полушубка. – Только попомни мое слово: ежели еще раз увижу, безо всякого разговора колом огрею! Ну, чего стал! Иди, коли говорят!

Пармен поднял упавшую шапку и хотел что-то сказать, но трясущиеся губы не повиновались. Раза два открывался его рот, обнаруживая черные сгнившие зубы, но только одно слово вылетело оттуда:

– Про... щайте.

Сгорбившись, как будто на его вороте все еще лежала тяжелая рука Григория, шагал Пармен по улицам. Огоньки всюду погасли, и на селе царила тишина, – только один какой-то неудовлетворенный пес меланхолически завывал, восходя до самых высоких, чистых нот и спускаясь оттуда до легкого повизгивания. До солнца было еще далеко, но ночной мрак начал уже рассеиваться и сменился сероватым полусветом. Внезапно сзади Пармена послышался частый, дробный топот босых ног. Детский задыхающийся голос кричал, вытягивая последние слова:

– Дядя Без-но-сай! Дядя Безно-сай!..

Пармен обернулся. С развевающейся вокруг ног юбчонкой бежала к нему Санька; кричать она была уже не в силах и только раскрывала рот.

Рядом с Санькой бежала вприпрыжку куцая Жучка. Подлетев к Пармену, Санька с разгону протянула к нему руку и из последнего запаса воздуха отрывисто шепнула:

– На.

– Что ты, Сашута? – наклонился к ней удивленный Пармен, не видя, что Жучка, перевернувшись на спину, также старается привлечь на себя его внимание. Санька широко раскрыла рот и набрала воздуха для целой речи, но с первым же словом выпустила его:

– Тебе.

– Куда ты бежишь-то, стрекоза? – недоумевал все более Пармен.

– Дядя Безносый, пирог, – разрешилась наконец Санька, из благоразумной предосторожности не останавливаясь на знаках препинания.

Ее ручонка с трудом охватывала большой кусок пирога, порядком уже замусоленный. Присутствуя при объяснении Григория с Парменом, Санька без труда сообразила, что дядя Безносый приходил не поджигать, а разговляться, потому что живет он один и есть ему нечего. Раньше ему есть мамка давала, а теперь кто даст?

– Ешь, – протягивала Санька пирог. Как все особы ее возраста, она любила видеть немедленное осуществление своих планов. – Чего же ты не ешь?

Пармен, сжимая руками худенькие плечи, смотрел, не отрываясь, на ее пухлые щеки и вздернутый носик, не изменивший своим привычкам и где-то запачканный.

"Вот чудак-то; есть не хочет, – думала с недоверием Жучка, косясь на пирог и легонько подрягивая задней ногой: – а я бы съела".

– Ну, ешь, – просила Санька.

Вместо ожидаемого ответа Пармен подхватил ее на руки и прижал лохматую головенку к своей рубцеватой, шершавой щеке. Саньке было тепло и хорошо, пока что-то мокрое не поползло по ее шее. Отдернув голову, она увидела, что дядя Безносый, этот страшно высокий и сильный дядя Безносый, – плачет.

– Чего ты? Не плачь, – прошептала Санька. – Не плачь, – сурово продолжала она, не получая ответа. – А то и я зареву.

Пармен знал, что значит, когда Санька ревет, – значило это разбудить всю деревню, – и прошептал, целуя большие влажные глаза:

– Ничего, Сашута, ничего, девочка. Так это я, пройдет. Не забыла, вспомнила. – И снова слезы быстро закапали из глаз Пармена. – Обидели меня, Сашута. Да что ты, голубка?

Закрыв один глаз рукой, в которой находился пирог, Санька выразительно скривила рот и загудела:

– У-у... Гришка... Злю-ка-а!

– Ну, что ты, Сашута, – упрашивал ее Пармен.

– Разбо-й-ник, – продолжала непримиримая девица.

Со двора Гнедых послышался зов: "Саньк-а-а-а!"

– Не пойду-у, – гудела Санька, несколько понизив тон.

Услышав голос Пелагеи, Пармен поспешно спустил Саньку наземь и, суетливо крестя ее, шептал:

– Иди с Богом, девочка моя милая, иди, а то матка осерчает.

– Пуща-ай, не бою-у-сь.

– Иди, милая, иди.

Нагнув голову, как бычок, готовый бодаться, Санька нерешительно тронулась с места, но, спохватившись, что миссия ее еще не окончена, вернулась, отдала пирог – и легче пуха полетела к дому. Бросив прощальный взгляд на пирог, неохотно заковыляла за ней Жучка. В следующую минуту со двора Гнедых послышался сердитый крик Пелагеи.

Было почти светло, когда Пармен вышел на берег и сел на бугре, покрытом желтой прошлогодней травой, среди которой там и здесь проглядывали зеленые иглы новой. Внизу плескалась река. Воды за ночь прибыло, и вся река как будто приблизилась. С верховьев шел густой белый лед. Он двигался плавно, неслышно, как по маслу. Точно не он шел, а вся река.

Небо из серого стало белым, потом поголубело, а Пармен все сидел. И тосковал глубоко.

У ОКНА

Андрей Николаевич снял с подоконника горшок с засохшей геранью и стал смотреть на улицу. Всю ночь и утро сеял частый осенний дождь, и деревянные домики, насквозь промокшие, стояли серыми и печальными. Одинокие деревья гнулись от ветра, и их почерневшие листья то льнули друг к другу, шепча и жалуясь, то, разметавшись в разные стороны, тоскливо трепетали и бились на тонких ветвях. Наискось, в потемневшем кривом домике, отвязалась ставня и с тупым упорством захлопывала половинку окна, таща за собой мокрую веревку, и снова со стуком ударялась о гнилые бревна. И остававшаяся открытой другая половинка, со стоявшей на ней бутылкой желтого масла и сапожной колодкой, смотрела на улицу хмуро и недовольно, как человек с больным и подвязанным глазом.

За дощатой перегородкой, отделявшей комнатку Андрея Николаевича от хозяйского помещения, послышался голос, глухо и неторопливо бурчавший:

– Дело вот в чем – две копейки потерял.

– Да брось ты их, Федор Иванович, – умолял женский голос.

– Не могу.

Под тяжелыми шагами заскрипели половицы, и стукнула упавшая табуретка. Хозяин Андрея Николаевича, пекарь, когда бывал пьян, постоянно терял что-нибудь и не успокаивался, пока не находил. Чаще всего он терял какие-то две копейки, и Андрей Николаевич сомневался, были ли они когда-нибудь в действительности. Жена давала ему свои две копейки, говоря, что это потерянные, но Федор Иванович не верил, и приходилось перерывать всю комнату.

Вздохнув при мысли о глупости человеческой, Андрей Николаевич снова обратился к улице. Прямо против окна, на противоположной стороне, высился красивый барский дом. Деревянная вычурная резьба покрывала будто кружевом весь фасад, начинаясь от высокого темно-красного фундамента и доходя до конька железной крыши, с стоящим на ней таким же вычурным шпилем.

Даже в эту погоду, когда кругом все стояло безжизненным и грустным, зеркальные стекла дома сияли, и тропические растения, отчетливо видные, казались молодыми, свежими и радостными, точно для них никогда не умирала весна и сами они обладали тайной вечнозеленой жизни. Андрей Николаевич любил смотреть на этот дом и воображал, как живут там. Смеющиеся красивые люди неслышно скользят по паркетным полам, тонут ногой в пушистых коврах и свободно раскидываются на мягкой мебели, принимающей форму тела. За зелеными цветами не видно улицы с ее грязью, и все там так красиво, уютно и чисто.

В пять или шесть часов приезжает обыкновенно со службы сам владелец богатого дома, красивый, высокий брюнет, с энергичным выражением лица и белыми зубами, делающими его улыбку яркой и самоуверенно-веселой. С ним часто приезжает какой-нибудь гость. Быстрыми и твердыми шагами всходят они на каменные ступени крыльца и, смеясь, скрываются за дубовой дверью, а толстый и сердитый кучер делает крутой поворот и въезжает на мощеный двор, в отдаленном конце которого видны капитальные службы и за ними высокие деревья старого сада. И Андрей Николаевич представляет себе, как теперь встречает их молодая хозяйка, как они садятся за стол, украшенный зеленеющим хрусталем и всем, чего Андрей Николаевич никогда не видал, едят и смеются. Однажды он встретил обладателя белых зубов, когда тот ехал по улице, разбрасывая резиновыми шинами мелкий щебень. Андрей Николаевич поклонился, и он весело и любезно ответил, но лицо его не выразило ни малейшего удивления по поводу того, что ему кланяется какой-то желтоватый и худой господин в фуражке с бархатным околышем и кокардой, и он не задумался о причине этого. Но причины не знал и сам Андрей Николаевич.

– Вот в чем дело, – говорил за перегородкой хозяин, раздумчиво и вразумительно, – это не те две копейки. Те две копейки щербатые.

– Господи, да когда же Ты приберешь меня?

Андрей Николаевич сидел у окна, смотрел и слушал. Он хотел бы, чтобы вечно был праздник и он мог смотреть, как живут другие, и не испытывать того страха, который идет вместе с жизнью. Время застывало для него в эти минуты, и его зияющая, прозрачная бездна оставалась недвижимой. Так могли пронестись года, и ни одного чувства, ни одной мысли не прибавилось бы в омертвевшей душе.

Вот распахнулись ворота богатого дома, выехал кучер и остановился у крыльца, расправляя на руках вожжи. “Это барыня

сейчас поедет", – подумал Андрей Николаевич. В дверях показалась молодая, нарядно одетая женщина и с нею сын, семилетний пузырь, с лицом таким же смуглым, как у отца, и с выражением сурового спокойствия и достоинства. Заложив руки в карманы длинного драпового пальто, маленький человечек благосклонно смотрел на вороного жеребца, горячо и нетерпеливо перебиравшего тонкими ногами, и с тем же видом величавого покоя и всеобъемлющей снисходительности, не вынимая рук из карманов, позволил горничной поднять себя и посадить в пролетку. Этого мальчика Андрей Николаевич назвал про себя "вашим превосходительством" и искренно недоумевал, неужели такие дети, как он, с врожденными погонами на плечах, родятся тем же простым способом, как и другие дети? И когда обе женщины рассмеялись на маленького генерала, с задумчивым удивлением посмотревшего на их непонятную веселость, худенький чиновник, притаившийся у своего окна, невольно и с почтением улыбнулся. Лошадь рванула с места и ровной, крупной рысью понесла подпрыгивающий экипаж. Спрятав под передник красные руки, горничная повертелась на крыльце, сделала гримасу и скрылась за дверью. Снова опустела и затихла мокрая улица, и только отвязавшаяся ставня хлопала с таким безнадежным видом, точно просила, чтобы кто-нибудь вышел и привязал ее. Но покривившийся домик точно вымер. Раз только за его окном мелькнуло бледное женское лицо, но и оно не было похоже на лицо живого человека.

Андрей Николаевич никогда не завидовал этим людям и не хотел бы иметь столько денег, как они. Давно уже, целых шесть лет, он следил за красивым домом и так сжился с ним, что сгори дом – он не знал бы, что ему делать. Он изучил все привычки его обитателей, и когда в прошлом году, весной, пришли плотники и маляры и стали работать, Андрей Николаевич все свое свободное время проводил у окна и сильно тревожился. Ему казалось, что неуклюжие маляры, тонкими голосками поющие какие-то глупые песенки, обязательно испортят дом. И хотя он вовсе не был испорчен и еще ярче засиял, обмытый и помолодевший, Андрею Николаевичу было жаль старого дома, в котором он знал всякую трещину. Там, где откос крыши сходился со стенами, в треугольничке, находилось место, которое он особенно любил за его уютность, и ему сделалось особенно тяжело, когда плотники оторвали старую резьбу, и уютный уголок, обнаженный, сверкающий белым тесом от свежих ран, выступил на свет, и вся улица могла смотреть на него. И только раз или два Андрею Николаевичу приходила мысль о том, что и он мог бы

быть человеком, который умеет зарабатывать много денег, и у него тогда был бы дом с сияющими стеклами и красивая жена. И от этого предположения ему становилось страшно. Теперь он тихо сидел в своей комнатке, и стены и потолок, до которого легко достать рукой, обнимали его и защищали от жизни и людей. Никто не придет к нему, и не заговорит с ним, и не будет требовать от него ответа. Никто не знает и не думает о нем, и он так спокоен, как будто он лежит на илистом дне глубокого моря, и тяжелая, темно-зеленая масса воды отделяет его от поверхности с ее бурями. И вдруг бы у него богатство и власть, и он точно стоит на широкой равнине, на виду у всех. Все смотрят на него, говорят о нем и трогают его. Он должен говорить с людьми, которые непрестанно приходят к нему, и сам он ходит в дома с высокими потолками и множеством окон, несущих яркий, белый свет. И, ничем не защищенный, стоит он посредине, словно на площади, по которой он так не любит ходить. Он обязан думать о деньгах, о том, чтобы они не пропали и их было больше, о жене, о фабрике и о множестве странных вещей. У него есть подчиненные, и необходимо давать приказания, а если они не послушаются и станут спорить, то кричать и топать ногами. Надо быть страшным для других и сильным, очень сильным, – и при этой мысли Андрей Николаевич чувствует, что все тело его, руки, ноги становятся мягкими, точно из них вынуты все мускулы и кости. Это чувство является у него всякий раз, когда ему приходится делать что-нибудь свое, непривычное и неприказанное.

В своей канцелярии он чувствует себя хорошо. Стол его, все один и тот же за пятнадцать лет, – крытый клеенкой стол притиснут в самый угол, и, когда проходит советник, он не видит Андрея Николаевича за другими чиновниками. Все же в эти минуты ему жутко, и лишь после того, как советник пройдет и согнутые спины распрямятся, словно колосья ржи после промчавшегося ветра, Андрей Николаевич сознает себя в полной безопасности. И только помощник секретаря, который берет у него переписанные бумаги и дает новые, знает, что существует на свете очень исполнительный и скромный чиновник, пишущий "д" с большим росчерком и "р", похожее на скрипичный знак, и что зовут его Андреем Николаевичем, товарищи дразнят его "Сусли-Мысли", а фамилия известна одному казначею. В свою очередь, чиновник этот знает, что́ он будет делать завтра и всю жизнь, и ничто новое и страшное не встретится на пути. Пять лет тому назад его назначили старшим чиновником – и что это за страшные были дни!

Надвинулась туча, и в комнатке Андрея Николаевича потемнело. Он смотрел в окно, как ветер пригибает к крыше ракиту, бессильную в своем трепетном сопротивлении, и старался думать о том, переломится ли дерево, или нет, и чувствуются ли ветер этот и туча в богатом доме. Но размышления шли вяло, и картина жизни в богатом доме оставалась тусклой. В созданной Андреем Николаевичем крепости, где он отсиживался от жизни, есть слабое место, и только он один знает ту потаенную калиточку, откуда неожиданно появляются неприятели. Он безопасен от вторжения людей, но до сих пор он ничего не мог поделать с мыслями. И они приходят, раздвигают стены, снимают потолок и бросают Андрея Николаевича под хмурое небо, на середину той бесконечной, открытой отовсюду площади, где он является как бы центром мироздания и где ему так нехорошо и жутко. Вот сейчас, когда он только что обрадовался неслышному движению времени, незаметно подкрались враги, и он уже не в силах бороться с ними. Стен уже нет, и нет его комнаты. Он опять стоит перед советником, чувствует, как обмякли его ноги и руки, и, словно привороженный, смотрит на сияющий блик его лысины. Так медленно проползает секунда, две. Подошвы совсем прилипли к полу, и сдвинуть Андрея Николаевича не могла бы дюжина лошадей.

– Ну, что еще? – замечает его советник, уже отдавший все необходимые приказания.

Голос его гремит, как труба на Страшном суде, и ноги Андрея Николаевича сейчас же сдвигаются, но не идут к двери, где спасение, а танцуют на одном месте. Язык, однако, еще не отклеился, и оторвать его можно только щипцами.

– Н-ну? – протянула труба.

– А... если Агапов к двум часам не перепишет?

– Да... – задумался начальник. – Ну, дайте тогда на дом. Что еще? Ясно?

– Ясно, – отвечает Андрей Николаевич в тон вопросу, резко и отрывисто. Он плохо понимает, что ему говорят, потому что новый и страшный вопрос возникает в его мозгу.

– Так... чего же вам еще? – рычит труба.

– А... если у него есть другая спешная работа?

Это была правда. У Агапова могла быть другая спешная работа, и советник об этом не подумал. Снова, с неудовольствием оторвавшись от бумаги, он обратил на Андрея Николаевича нетерпеливый взгляд и ничего не мог придумать.

– Ну, дайте кому-нибудь еще.

– А если...

– Что-с? – рванул советник. Глаза его стали огромные и круглые, как кегельные шары.

Андрей Николаевич обомлел от страха.

– Нет, нет, не то, – скороговоркой проговорил он и из невольного подражания закричал на начальника так же громко, как и тот на него, – похоже было на разговор людей, разделенных широким оврагом: – Я вам говорю, если мы на сегодняшнюю почту опоздаем, тогда что?

Остальное представляется Андрею Николаевичу в виде одного звука: ф-фа! Через неделю советник говорил секретарю:

– Откуда вы достали этого господина, который по горло заряжен всякими "если"? Все, что он предполагает, может случиться, хотя мне это и в голову не приходило. Но ведь и дом этот может провалиться! – вдруг рассердился он. – Ведь может?

– Казенной постройки, – пошутил секретарь и серьезно добавил: – Никак не полагал: он такой исполнительный...

– Дерзкий еще такой, кричит. Уберите его на старое место.

И Андрея Николаевича убрали, а у него целую еще неделю руки и ноги были мягкими, как у дешевой куклы, набитой отрубями.

На улице послышались гнусавые и резкие звуки гармоники. По противоположной стороне шли четверо пьяных, одетых в длиннополые сюртуки, высокие узкие сапоги и картузы, у которых поля были острые как ножи. Все четверо были молоды и шли с совершенно серьезными и даже печальными лицами. Один, высоко держа гармонику, наигрывал однообразный трескучий мотив, от которого в глазах желтело. Когда уличные ребятишки, подражая взрослым, играли в пьяных и, вместо гармоник, держали в руках чурки, они изображали этот мотив так:

– Ган-на-нидар, ган-на-нидар – ган-на-нидар, най-на.

Против красивого дома на мостовой было единственное сравнительно сухое место на всей улице, и один из пьяных выделился вперед и стал плясать, пристукивая каблуками и изгибаясь всем телом. Лицо его, молодое, дерзкое, с небольшими светлыми усиками, осталось таким же серьезным и даже печальным, как будто давным-давно ему наскучило быть пьяным и плясать на грязной мостовой под этот трескучий, невеселый мотив. Остальные смотрели на него так же равнодушно и вяло, не выражая ни одобрения, ни порицания, и чем-то беспросветно-тоскливым веяло от этого странного веселья под хмурым осенним небом среди серых покосившихся домишек.

"Ванька Гусаренок! – подумал Андрей Николаевич. – Пляшет – значит, будет сегодня жену бить".

Когда пьяные прошли, уныло-задорные звуки гармоники стихли, из покосившегося домика с хлопающей ставней вышла женщина, жена Гусаренка, и остановилась на крылечке, глядя вслед за прошедшими. На ней была красная ситцевая блуза, запачканная сажей и лоснившаяся на том месте, где округло выступала молодая, почти девическая грудь. Ветер трепал грязное платье и обвивал его вокруг ног, обрисовывая их контуры, и вся она, с босых маленьких ножек до гордо повернутой головки, походила на античную статую, жестокой волей судьбы брошенную в грязь провинциального захолустья. Правильное, красивое лицо с крутым подбородком было бледно, и синие круги увеличивали и без того большие черные глаза. В них странно сочетались гнев и боязнь, тоска и презрение. Долго еще стояла на крылечке Наташа и так пристально смотрела вслед мужу, идущему из одного кабака в другой, точно всей своей силой воли хотела вернуть его обратно. Рука, которой она держалась за косяк двери, замерла; волосы от ветра шевелились на голове, а давно отвязавшаяся ставня упорно продолжала хлопать, с каждым разом повторяя: нет, нет, нет.

"Вот баба-то! – ужаснулся Андрей Николаевич, когда Наташа ушла, не бросив взгляда на окно, за которым он прятался. – И слава богу, что я на ней не женился".

Андрей Николаевич даже рассмеялся от удовольствия, но оно было непродолжительно. Еще не разгладились морщинки, образовавшиеся от смеха, как в потаенную калиточку ворвались враги. Образ Наташи, еще не сошедший с сетчатки его глаза, вырос перед ним яркий и живой, а рядом выступила другая картинка, без всякого предупреждения, внезапно. Стены раздвинулись и исчезли, на него пахнуло полем и запахом скошенного сена. Над черным краем земли неподвижно висел багрово-красный диск луны, и все кругом было так загадочно, тихо и странно.

– Господи, – сказал Андрей Николаевич с мольбой, – разве мало того, что это было когда-то, нужно еще, чтобы оно постоянно являлось. Мне совсем этого не нужно, я не хочу этого.

Желтыми от табаку пальцами он оторвал кусок толстой папиросной бумаги, похожей на оберточную, достал из жестянки щепотку мелкого табаку и свернул папироску, склеивая концы бумаги языком. За перегородкой, задыхаясь и сопя, храпел Федор Иванович. Обессиленный водкой и поисками двух копеек,

он заснул и проснется только вечером, когда стемнеет. Воздух изнутри с силой поднимался к горлу спящего, бурлил, ища себе выхода, и с легким шипением выходил наружу, отравляя комнату запахом перегорелой водки. Проснувшись, Федор Иванович будет долго и мучительно кашлять выворачивающим все внутренности кашлем, выпьет квасу и потом водки, и снова начнутся мучения его жены. Так бывало каждый праздник. Андрею Николаевичу стало досадно на этого толстого, рыхлого человека, который всю неделю томится от жара у раскаленной печи, а в праздник задыхается от водки.

Он обратился к улице. Из-за разорванных туч выглянуло на миг солнце и скупым, желтым светом озарило мокрую и печальную улицу. Только противоположный дом стоял все таким же гордым и веселым, и окна его сияли. Но Андрей Николаевич не видел его. Он видел то, что было когда-то и что так упорно продолжало являться назло всем стенам и запорам.

Наташа никогда не была веселой, даже и в то время, когда она была еще девушкой, красивой и свободной, и любви ее добивались многие. При первой встрече с ней Андрей Николаевич испытал неприятное чувство стеснения и робости. Он с тревогой следил за ее резкими и неожиданными движениями, и ему казалось, что сейчас Наташа скажет или сделает что-нибудь такое, от чего всем присутствующим на вечеринке станет совестно. Вместе с другими девушками она пела песни, но не старалась кричать вместе с ними как можно выше и громче, а шла в одиночку с своим низким и несколько грубоватым контральто и как будто пела для одной себя. Когда Гусаренок, также бывший на этой вечеринке и, по обыкновению, несколько пьяный, игриво обнял ее за талию, она грубо оттолкнула его и, покраснев, сказала что-то, от чего его светлые усики запрыгали и глаза стали жесткими и вызывающими. С дерзким смехом, не оборачиваясь, он показал пальцем на Андрея Николаевича, – Наташа молча повернула голову, и ее черные глаза устремились на него, не то спрашивая, не то приказывая сделать что-то сейчас, немедленно. И он хотел отвести от них свои глаза и не мог и испытывал то же состояние безволия, порабощения, как и в ту минуту, когда он глядел, не отрываясь, на блестящую лысину начальника. Лица Наташи видно не было, и только ее глаза, страшно большие и страшно черные, сверкали перед ним, как черные алмазы. И, все продолжая смотреть на него, Наташа поднялась с места, быстрой, уверенной походкой прошла комнату и села с ним рядом так просто и свободно, точно он звал ее, и заговорила, как старая знакомая.

– Мы вам попомним это, Наталья Антоновна, – сказал, проходя, Гусаренок.

На Андрея Николаевича он не взглянул, но в его вздрагивающих усиках чувствовалась угроза.

– Счастливо оставаться, век не расставаться, – проговорил Гусаренок, не получая от Наташи ответа, и вышел, залихватски заломив картуз.

Через секунду под окнами послышалась гармоника и высокий приятный тенор:

Она, моя милая,
Сердце мое вынула,
Сердце мое вынула,
В окно с сором кинула...

– Он вас побьет, вы берегитесь, – сказала Наташа.

– Не смеет, я чиновник, – возразил Андрей Николаевич и действительно нисколько не боялся. На него точно просветление какое нашло. Он не только отвечал на вопросы Наташи, но говорил и сам, и даже спрашивал ее и не удивлялся, что говорит так складно и хорошо, как будто всю жизнь только этим делом и занимается. И, думая и говоря, он в то же время с особенной отчетливостью видел все окружающее: и грязный пол, усыпанный шелухой от подсолнухов, и хихикающих девушек, и небольшую прихотливую морщинку на низком лбу Наташи.

Но как только Наташа отошла от него, им овладело чувство величайшего страха, что она снова подойдет и снова заговорит. И Гусаренка он стал бояться и долго находился в нерешимости, что ему делать: идти ли домой, чтобы спастись от Наташи, или оставаться здесь, пока Гусаренка не заберут в участок, о чем известно будет по свисткам.

Весь следующий день Андрей Николаевич томился страхом, что придет Наташа, и ноги его несколько раз обмякали при воспоминании о том, как он, Андрей Николаевич, был отчаянно смел вчера. Но, когда за перегородкой, у хозяйки, он услыхал низкий голос Наташи, он, подхваченный неведомой силой, сорвался с места и развязно вошел в комнату. Так во время сражения впереди батальона бежит молоденький солдатик, размахивает руками и кричит “ура!”... Подумаешь, что это самый храбрый из всех, а у него холодный пот льет по бледному лицу и сердце разрывается от ужаса. Но, едва Андрею Николаевичу метнулись в глаза два черных алмаза, страх тотчас пропал и стало легко и спокойно.

Промчалось невидных два месяца, и вышло так, что Наташа и Андрей Николаевич любят друг друга. Это видно было из

того, что он целовал Наташу и в щеки, и в эти черные страшные глаза, щекотавшие губы своими ресницами. При этом Наташа подтверждала существование любви, говоря:

– Не нужно целовать в глаза – примета нехорошая.

– Какая же такая примета? – смеялся Андрей Николаевич и чувствовал, насколько он, человек образованный, прошедший два класса реального училища, выше этой темной девушки, верящей во всякие приметы.

– Такая. Разлюбите меня, вот что.

Раз есть возможность разлюбить – значит, любовь существует. Но откуда же она взялась? И куда она девалась на то время, когда Андрей Николаевич не видел Наташи? Тогда девушка эта казалась ему совершенно чуждой и далекой от него, и в поцелуи ее так же трудно верилось, как если бы он стал думать о поцелуях той богатой барыни, что живет напротив. В самом слове "Наташа" звучало для него что-то странное, чужое, точно он до сих пор не слыхал этого имени и не встречал подобного сочетания звуков. Наташа... Он ничего не знал о Наташе и о ее прошлой жизни, о которой она не любила говорить.

– Жила как и люди живут, – говорила она. – Вы лучше о себе расскажите.

Эта просьба всегда затрудняла Андрея Николаевича, потому что рассказывать было не о чем. Ему тридцать четыре года, а в памяти от этих лет нет ничего, так, серенький туман какой-то да та особенная жуть, которая охватывает человека в тумане, когда перед самыми глазами стоит серая, непроницаемая стена. Был у него отец, маленький, рыженький чиновник в больших калошах и с огромным свертком бумаг под мышкой; была мать, худая, длинная и рано умершая вместе со вторым ребенком. Потом, с 16 лет, Андрей Николаевич стал также чиновником и ходил вместе с отцом на службу, и под мышкой у него был также большой сверток бумаг, а на ногах старые отцовские калоши. Отец умер от холеры, и он стал ходить на службу один. В молодости он очень любил играть на бильярде, играл на гитаре и ухаживал за барышнями. Пытался он тогда переменить свою участь, бросить казенную службу, но как-то все не удавалось. Раз уже ему обещали хорошее место, да пришел кто-то другой и сел на это место, так он ни при чем и остался. Да, может быть, это и к лучшему было, потому что тот, похититель, и года не просидел на своем месте, а он вот до сих пор – ничего, служит.

– И только? – спрашивала с недоверием Наташа.

– И только. Чего же еще?

– А я не так думала. Я думала, у вас другая жизнь, не так, как у нас. Книжки читаете и все говорите так тихо, благородно, и все о хорошем, чувствительном.

– Читал я и книжки, да что в них толку? Все выдумка одна.

– А божественное?

– Кто же теперь читает божественное? Купцы одни, как нахапают побольше, так божественное читают. А у нас и без того грехов мало.

– И не скучно вам так-то, все одному да одному?

– Чего же скучать? Сыт, одет, обут, у начальства на хорошем счету. Секретарь прямо говорит: примерный вы, говорит, чиновник, Андрей Николаевич. Кто губернатору доклады переписывает – я небось!

– Да вам же скучно без людей?

– Да что в них, в людях? Свара одна да неприятности. Не так скажешь, не так сядешь. Один-то я сам себе господин, а с ними надо... А то пьянство, картеж да еще начальству донесут, а я люблю, чтобы все было тихо, скромно. Тоже ведь не кто-нибудь я, а коллежский регистратор – вон какая птица, тебе и не выговорить. Другие вон и благодарность принимают, а я не могу. Еще попадешься грешным делом.

Но Наташа не удовлетворялась. Она хотела знать, как живут у них, у чиновников, жены, дочери и дети. Пьют ли мужья водку, а если пьют, то что делают пьяные и не бьют ли жен, и что делают последние, когда мужья бывают на службе. И по мере того как Андрей Николаевич рассказывал, лицо Наташи застывало, и только прихотливая морщинка на низком лбу двигалась с выражением упорной мысли и тяжелого недоумения.

– Прощайте, – тихо говорила Наташа и уходила. А он, поцеловав ее холодную, неподвижную щеку, думал: "Чего ей надо? Только тоску на людей нагоняет".

Раз летом они долго сидели в хозяйском саду и потом вышли на берег. Солнце зашло в облаках, и только узкая багрово-красная полоска горела на горизонте, обещая назавтра ветер. Вода была неподвижна, и им сверху казалось, что они смотрят не в реку, а в небо. На том берегу на много верст тянулись бакши, и соломенный шалаш сторожа чуть белел на земле, казавшейся черной от контраста с светлым небом. Недалеко от шалаша горел костер, и пламя его поднималось вверх прямым и тонким лезвием, как от восковой свечи. Со стороны садов пахло лежалыми яблоками и свежескошенным сеном. На улице ударил в колотушку сторож, вышедший на ночное дежурство, и галки, облепившие высокие ракиты, зашумели

листьями и подняли долгий, несмолкающий крик. И снова настала тишина.

– В каком ухе звенит? – спросила Наташа и наклонила голову, боясь потерять этот тоненький, звенящий голосок.

– В левом, – невнимательно ответил Андрей Николаевич и не угадал. Но он и не старался об этом, – тихий вечер расположил его к такой же тихой грусти и размышлениям о жизни. Следя прищуренными глазами за костром, он ощупью достал портсигар и закурил, и дым легкими колечками поднимался и таял в воздухе, полном прозрачной мглы. Не торопясь, прерывая себя долгими минутами молчания, Андрей Николаевич стал говорить о том, какая это и странная, и ужасная вещь жизнь, в которой так много всего неожиданного и непонятного. Живут люди и умирают, и не знают нынче о том, что завтра умрут. Шел чиновник в погребок за пивом, а на него сзади каре́та наехала и задавила, и вместо пива к ожидавшим приятелям принесли еще не остывший труп. Получил чиновник награду, пошла его жена Бога благодарить, а в церкви деньги у нее и вытащили. И куда ни сунься, все люди грубые, шумные, смелые, так и прут вперед и все побольше захватить хотят. Жестокосердные, неумолимые, они идут напролом со свистом и гоготом и топчут других, слабых людей. Писк один несется от растоптанных, да никто и слышать его не желает. Туда им и дорога!

В голосе Андрея Николаевича звучал ужас, и весь он казался таким маленьким и придавленным. Спина согнулась, выставив острые лопатки, тонкие, худые пальцы, не знающие грубого труда, бессильно лежали на коленях. Точно все груды бумаг, переписанных на своем веку и им, и его отцом, легли на него и давили своей многопудовой тяжестью.

– Так вот всю жизнь и проживешь, – сказал он после долгой паузы, продолжая какую-то свою мысль.

– Вы бы... ушли куда-нибудь.

– Куда идти-то?

Наташа помолчала и вдруг обхватила рукой шею Андрея Николаевича и прижала его голову к своей груди.

– Голубчик ты мой!

Первый раз говорила она Андрею Николаевичу “ты”. При порывистом движении Наташи фуражка с бархатным околышем свалилась с головы и теперь катилась вниз, подскакивая на неровностях обрыва. Твердая рука Наташи крепко прижимала голову Андрея Николаевича к упругой груди, и ему было тепло и ничего не страшно, только до боли жаль себя. Он хотел сказать что-нибудь сильное, хорошее и такое жалост-

ливое, чтобы Наташа заплакала, но таких слов не находилось на его языке, и он молчал. Согнутой шее становилось больно от неудобного положения, и Андрей Николаевич попытался высвободить свою голову, но твердая рука только сильнее прижала ее к горячей груди. Вдыхая запах молодого, здорового тела, он скосил глаза и из-под руки Наташи увидел очистившееся и потемневшее небо со слабо мерцавшими звездами. Немного ниже, там, где черный край земли сливался с смутно-черным небом, неподвижно висел красный диск луны, казавшийся близким и страшным. Безмолвный, угрюмый, он не издавал лучей и висел над землей, как исполинская угроза каким-то близким, но неведомым бедствием. В немом ужасе застыли река, и болтливый тростник, и черная даль. Костер на том берегу давно уже потух, и ни один звук не нарушал грозной тишины.

Наташа вздрогнула и выпустила голову Андрея Николаевича.

– Ну, пойдемте.

Охваченный свежим воздухом, он поднялся и, сделав шаг к Наташе, приготовился сказать ей то важное и значительное, для чего у него не находилось слов.

– Наташа...– начал он нерешительно, приподняв брови и выпятив губы.

Гладко прилизанная голова его была на этот раз всклочена, и редкие желтые волосики стояли, как у дикобраза.

– Ну?

– Наташа...– повторил он, забыв, что хотел сказать. – Наташа, дело вот в чем...

– Две копейки потеряли? Какой вы смешной! – И Наташа рассмеялась. Смеялась она неприятно, каким-то чужим и неестественным голосом.

Андрей Николаевич обиделся и молча достал фуражку, а дорогой домой выговаривал Наташе за ее смех и упрекал за неумение держаться в приличном обществе.

Андрей Николаевич сидел у окна и настойчиво смотрел на улицу, но она была все так же безлюдна и хмура, и в покосившемся домике продолжала ударять о стену отвязавшаяся ставня, точно загоняя гвозди в чей-то свежий гроб. "Привязать не может!" – подумал Андрей Николаевич с гневом на Наташу и, взглянув на часы, убедился, что ему время обедать и даже прошло уже лишних пять минут. После обеда он лег отдохнуть, но сон долго не приходил, и вообще праздник был испорчен. А за перегородкой, точно назло, храпел Федор

Иванович, и воздух бурлил в его горле и с шипением выходил наружу.

После вечера на берегу, на другой же день, начался разлад и был так же мало понятен, как и начало любви. У Андрея Николаевича давно уже явилась неприятная догадка и к этому времени перешла в уверенность: Наташа хочет выйти замуж, и именно за чиновника. Она женщина неграмотная, говорит: "теперича", "поемши"; она по ремеслу папиросница, и часто, когда она делает папиросы на дому, ей приходится терпеть наглые любезности и заигрывания. И вот она ищет мужа с положением, образованного, который мог бы быть ей покровителем и защитником, а таких на всей улице только один и есть – он, Андрей Николаевич Николаев. Как женщина умная и хитрая, она скрывает свои планы и делает вид, что любит бескорыстно. А так как до сих пор эта тактика ни к чему не привела и Андрей Николаевич оставался тверд, как гранит, Наташа начала прибегать к другому средству, которым опытного человека, в молодости ухаживавшего за барышнями, никак не проведешь: делает вид, что ни на грош не любит Андрея Николаевича, и нарочно расхваливает Гусаренка за его силу и молодечество. А этого Гусаренка на днях вели в участок; рубашка его была разорвана сверху донизу, и по белому, как мел, лицу текла красная струйка крови. Сзади бежали и улюлюкали мальчишки, а один из городовых, такой же бледный, как и Гусаренок, методически ударял его кулаком, и белая голова откачивалась. И такого-то она может полюбить!

Для Андрея Николаевича начались страшные терзания, и появились вопросы, от которых он обмякал по нескольку раз в день. Когда он смотрел на Наташу и прикасался к ней, ему хотелось жениться, и эта женитьба казалась легкой, но в остальное время мысль о браке нагоняла страх. Он был человеком, который заболевает от перемены квартиры, а тут являлось столько нового, что он мог умереть. Идти к священнику, искать шаферов, которые могут не явиться, и тогда за ними надо ехать, а с извозчиком торговаться; потом идти или ехать в церковь, которая может быть заперта, а сторож потерял ключ, и народ смеется. А там нужно искать новую квартиру и переходить в нее, и все пойдет по-новому. И обо всем необходимо думать, заботиться, говорить. А если дети пойдут? И притом, не дай Бог, двоешки, и все девочки, которым нужно приданое. А если новая квартира будет сырая и угарная? И Андрей Николаевич отчаянным жестом ворошил волосы и готов был завтра же сказать Наташе все, если бы не боязнь, что она убьет себя или пожалуется дика-

рю Гусаренку, и тот изувечит Андрея Николаевича или просто посмотрит на него так, что хуже всякого увечья. Люди, которые женятся, начали казаться Андрею Николаевичу героями, и он с уважением смотрел на Федора Ивановича и хозяйку, которые сумели жениться и остались живы. Раз даже он написал Наташе:

"Милостивая государыня,
Наталья Антониевна!

Сим письмом от 22 августа текущего года имею честь поставить вас, милостивая государыня, в известность о том, что по слабости здоровья, изможденного трудами и бдением на пользу престола и отечества, будучи чиновником тринадцатого класса и похоронив родителей, папеньку Николая Андреевича и маменьку Дарью Прохоровну, во блаженном успении вечный покой..."

Но так как Наташа была неграмотна, то он письма не послал, но несколько раз перебелял его для себя и прибавлял новые пункты. По счастью, никаких объяснений не понадобилось: Наташа перехитрила самое себя. Сперва не позволила себя целовать – Андрей Николаевич ни гугу. Потом раза два не пришла на свидание. Андрею Николаевичу было обидно, но он даже и виду не показал, а держался развязно, с достоинством, и только слегка дал ей понять о неприличии ее поведения. Потом совсем перестала ходить, и однажды хозяйка принесла радостную весть, что Наташа выходит замуж за Гусаренка.

– Этакого гуся выбрала! – негодовала хозяйка и сочувственно смотрела на Андрея Николаевича, думая: "Вишь, гордец какой: нарочно веселость из себя изображает". А чиновники, глупые люди, смотрели на него в этот день с изумлением; думали, что он женится, поздравляли его и говорили:

– Ай да "Сусли-Мысли", какую штуку выкинул!

А он именно не женился!

На Красной горке была Наташина свадьба. Это был второй радостный день, когда Андрей Николаевич сидел, по обыкновению, у окна и видел, как трясется от топота пляшущих покосившийся домик, и слушал доносившийся оттуда веселый гомон и визг гармоники. Подумать только, что он мог быть центром этого буйного сборища! И с особенной радостью он услыхал, уже поздно ночью, как в покосившемся домике зазвенели разбиваемые стекла, понеслись дикие крики и визгливые женские вопли. Мимо его окна, громко топоча ногами, пробежал кто-то, и вслед за этим послышались звуки борьбы, тяжелое дыхание и падение тела.

– Стой, не уйдешь! – хрипел с натугой голос, чередуясь со шлепкими ударами по чему-то мягкому и мокрому. И чуть ли голос этот не принадлежал герою торжества – Гусаренку.

– Караул!

Точно проснувшись, испуганно затрещала колотушка сторожа, и ей завторил журчащий свисток городового Баргамота. Словно эхом ответили ему вдали другие свистки.

"Вот так первая ночь новобрачного – в участке", – с злорадством усмехнулся Андрей Николаевич, не торопясь, с ленивым комфортом повернулся в своей одинокой и свободной кровати на другой бок и заключил так:

"Вы там себе деритесь, а я – засну!"

И это "засну", ехидное, шипящее, вырвалось из его груди, как крик победного торжества, и было последним гвоздем, который вбил он в крышку своего гроба. Улица продолжала шуметь, и Андрей Николаевич накрыл голову подушкой. Стало тихо, как в могиле.

На следующий день Андрей Николаевич узнал причину ссоры на свадьбе Наташи: Сергей Козюля, когда напился пьян, сказал, что Наташа имела любовника – Андрея Николаевича, который получил с нее что нужно и потом бросил ее. За эти слова Гусаренок побил Козюлю и других вступившихся за него, потом был побит сам и действительно ночевал в участке. Узнав все это, Андрей Николаевич обрадовался, что его, в какой бы то ни было форме, но вспомнили и что Наташа будет теперь знать, как отказываться от любящего человека ради одного женского вероломства; к этому времени совсем как-то забылось, что не Наташа, а он главным образом хотел разрыва.

Андрей Николаевич ворочался на кровати и думал:

«Как нехорошо это устроено, что не может человек думать о том, о чем он хочет, а приходят к нему мысли ненужные, глупые и весьма досадные. Прошло четыре года с того вечера, как я сидел с Наташей на берегу, а я об этом вечере думаю, и мне неприятно, и особенно неприятно оттого, что я вполне явственно вижу красную луну. При чем здесь эта луна? А если бы я стал думать о том, сколько "барин" получает денег в год, потом в час и минуту, мне стало бы хорошо, и я бы заснул, но я не могу».

Но вскоре веки начали тяжелеть, и красная луна внезапно превратилась в красную рожу швейцара Егора. "В каком ухе звенит?" – спрашивает он, наклоняясь и нагло тараща выпуклые глаза. Андрей Николаевич хотел дать ему гривенник, но деньги не находились, и это доставляло особенное удовольствие Гусаренку, который сидел тут же, заложив ногу за ногу, и играл на

гармонике. "Ты, Егор, подожди, мы лучше зарежем его, как поросенка", – сказал он и вытащил из кармана большой, блестящий и острый, как бритва, нож. Андрей Николаевич бросился бежать. Ему нужно было пробежать все комнаты правления, и этих комнат было ужасно много, и все они были пусты, так как чиновники ушли и все столы вынесли. Хотя Андрею Николаевичу бежать было легко и ноги его скользили по полу, но он задыхался. А сзади, за несколько комнат, гнался, не отставая, Гусаренок, и шаги его, ровные, тяжелые, гулко отдавались под сводами. Внезапно пол под Андреем Николаевичем провалился, и он летел, все приближаясь к своей постели, и наконец проснулся на ней. Сердце билось сильно и неровно.

В комнатке было темно, и только неясно желтел четвероугольник окна, в которое падал свет от фонаря, стоявшего у богатого дома. На хозяйской половине также горел огонь, так как от узенькой щели в перегородке на пол ложилась светлая полоса, опоясывая кончик стоптанной туфли. Успокоившись от страшного сна, Андрей Николаевич услыхал за стеной тихий шепот и узнал голос хозяйки. В нем сквозило сострадание и боязнь, что ее услышит тот, о ком она говорила, хотя он был отделен от нее расстоянием улицы и толстыми стенами.

– Ах, кровопивец, ах, аспид! – шептала хозяйка. – Ушла бы ты от него совсем, ну его к ляду!

Наташа ответила, и ее низкий голос звучал громко и размеренно, и слабое трепетание в нем не было замечено ни хозяйкой, ни притихшим за перегородкой жильцом.

– Куда уйти-то?

"Ага, нашла коса на камень! – подумал Андрей Николаевич, вспоминая свой сон. – Он тебе спуску не даст, не то что я".

– И вправду, куда идти? – с готовностью согласилась хозяйка. – Вот и мой тоже. Пропасти нет на эту водку.

Хозяйка оборвала речь, и в жутко молчащую комнату с двумя бледными женщинами как будто вползло что-то бесформенное, чудовищное и страшное, и повеяло безумием и смертью. И это страшное была водка, господствующая над бедными людьми, и не видно было границ ее ужасной власти.

– Отравлю его, – сказала Наташа так же громко и размеренно.

– Что ты, что ты! – забормотала хозяйка. – Не для себя терпишь, а для ребенка, – его-то куда денешь? Ты оставайся ночевать у нас, я тебе в кухне постелю, а то мой опять будет колобродить. А к глазу, на вот, ты пятак приложи – ишь ведь как изуродовал, разбойник... Постой, кажись, жилец проснулся...

– Это кикимора-то? – спросила Наташа громко, точно желая, чтоб ее слышали за перегородкой.

– И впрямь кикимора, – шепотом согласилась хозяйка. – Пойду самовар ставить, и тебе в чайнике заварю. Ах, разбойник, что наделал-то!

"То Сусли-Мысли, то кикимора – вот дурачье-то, – рассердился Андрей Николаевич. – Вот как пожалуюсь Федору Ивановичу, он тебе покажет кикимору. Дура полосатая!"

Он подошел к окну и открыл половинку. В комнату ворвался теплый ветер, пахнущий сыростью и гниющими листьями, и зашелестел бумагой на столе. Слышно стало, как скрипит дерево о железную крышу и шуршит мокрая зелень. К богатому дому подъезжали один за другим экипажи, и из них выходили мужчины в цилиндрах и дамы в широких ротондах и с белыми платками на головах. Подбирая шумящее платье, они входили на крыльцо. Массивная дверь широко распахивалась и выпускала на улицу столб белого света, зажигавшего блестки на металлических частях экипажа и упряжи. Дом стоял безмолвный и темный, но чудилось, как сквозь тяжелые ставни, закрывающие высокие окна, сияют зеркальные стекла и вечно живые цветы радуются свету, движению и жизни. Несколько экипажей остались ждать господ, и кучера, раскормленные, важные, с презрением смотрели с высоты своих козел на темные покосившиеся домишки.

Напившись чаю и четким, красивым почерком переписав казенную бумагу, Андрей Николаевич начал готовиться к новому сну, для чего перестлал постель и взбил подушки. За перегородкой Федор Иванович бурчал сокрушенно и раздумчиво:

– Дело вот в чем: двух копеек я так-таки и не разыскал.

– О Господи!..

Нужно было закрыть ставню, и Андрей Николаевич прошел на улицу. Экипажи еще стояли, и кучера грузными и сонными массами темнели на козлах. В большом доме глухо рокотали ритмические звуки рояля и минутами стихали, относимые порывом ветра. И этот же ветер приносил на крыльях своих новые звуки, явственно слышные, когда переставало скрипеть дерево. То были печальные и странные мелодические звуки, и не руками живых людей вызывались они в эту черную ночь. Легкие, как само дуновение ветра, они то нежно молили, и плакали, и умолкали с жалобным стоном, то, гневно ропчущие, поднимались к небу с угрозой и гневом. Словно чья-то страдающая душа молила о спасении и жизни и гневно роптала.

"Противная штука!" – рассердился Андрей Николаевич. В одном этом отношении он не разделял вкусов владельца боль-

шого дома, и, когда тот поставил на крышу арфу и ветер начал играть свои печальные песни, он никак не мог понять, – зачем нужны эти песни человеку с белыми зубами и яркой улыбкой?

"Ужасно противная штука! – повторил Андрей Николаевич и, понизив голос, добавил: – чего только полиция смотрит".

С чувством человека, спасающегося от погони, он с силой захлопнул за собой дверь кухни и увидел Наташу, неподвижно сидевшую на широкой лавке, в ногах у своего сынишки, который по самое горло был укутан рваной шубкой, и только его большие и черные, как и у матери, глаза с беспокойством таращились на нее. Голова ее была опущена, и сквозь расположенную красную кофту белела высокая грудь, но Наташа точно не чувствовала стыда и не закрывала ее, хотя глаза ее были обращены прямо на вошедшего.

– Сколько лет, сколько зим! – проговорил Андрей Николаевич, бегая глазами по комнате и совершенно размякнув, точно из него вынули все мускулы и кости. – Как поживаете?

Наташа молчала и смотрела на него.

– Я ничего, слава богу.

Наташа молчала.

Андрей Николаевич хотел передать поклон супругу, к чему его обязывало чувство вежливости, но сейчас это было неудобно. Наташа, очевидно, нуждалась в утешении, и потому он сказал:

– Какой у вас хорошенький мальчик. Ваня, кажется? Иван Иванович, значит. У нас тоже есть чиновник, которого зовут Иван Иванович. И вообще, знаете ли, милые ссорятся, только тешатся, а перемелется, все мука будет.

Наташа молчала, а мальчик, смотря с недоверием на неловкую фигуру чиновника, затянул ноющим голосом:

– Мамка-а, боюсь.

– Убирайтесь вон! – сказала Андрею Николаевичу Наташа и, когда он быстро прошмыгнул, подбирая полы халата, добавила вслед: – тоже лезет, кикимора!

"Почему именно кикимора? – размышлял Андрей Николаевич, располагаясь спать и опуская огонь в лампе. – Этакое глупое слово, – ничего не обозначает. И как непостоянны женщины: то милый, неоцененный, а то – кикимора! Да, с норовом баба, недаром учит ее Гусаренок. Спокойной ночи, маркиза Прю-Фрю".

Так развеселял он себя и иронически кривил бескровные губы. Но лишь только мигнула в последний раз лампа и комната окунулась в густой мрак, невидимой силой раздвинуло стены,

сорвало потолок и бросило Андрея Николаевича в чистое поле. Огненные, искрящиеся круги прорезывали темноту; светлые, веселые огоньки вспыхивали и плясали, и всюду, то далеко, то совсем надвигаясь на него, показывались и бледное лицо Гусаренка с красной полоской крови, и страшный диск месяца, и лицо Наташи, прежнее милое лицо. Жалость к себе и обида охватили Андрея Николаевича.

"Как нехорошо все это устроено, – стонал он. – Не нужно мне Наташи, ну ее к черту, эту Наташу! Так и знайте – к черту!"

Энергичным жестом Андрей Николаевич надвинул на голову толстую подушку и почти сразу успокоился. И образы и звуки исчезли, и стало тихо, как в могиле.

С улицы проникал слабый свет фонаря. Экипажи еще стояли, и сонные кучера с презрением смотрели с высоты своих козел на низкие покосившиеся домишки и лениво зевали, двигая бородами. Непривязанная ставня продолжала хлопать, и в минуты, когда переставало скрипеть дерево, неслись жалобные звуки и роптали, и плакали, и молили о жизни.

8 июня 1899

ПЕТЬКА НА ДАЧЕ

Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул ее пальцами за ворот и крикнул отрывисто и резко:

– Мальчик, воды!

Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с тою обостренною внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, замечал, что у него на подбородке прибавился еще один угорь, и с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую, маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Когда он поднимал глаза выше, то видел отражение парикмахера, странное и как будто косое, и подмечал быстрый и грозный взгляд, который тот бросал вниз на чью-то голову, и безмолвное движение его губ от неслышного, но выразительного шепота. Если его брил не сам хозяин Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Михайла, то шепот становился громким и принимал форму неопределенной угрозы:

– Вот погоди!

Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал воду и его ждет наказание. "Так их и следует", – думал посетитель, кривя голову набок и созерцая у самого своего носа большую потную руку, у которой три пальца были оттопырены, а два другие, липкие и пахучие, нежно прикасались к щеке и подбородку, пока туповатая бритва с неприятным скрипом снимала мыльную пену и жесткую щетину бороды.

В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом дешевых духов, полной надоедливых мух и грязи, посетитель был нетребовательный: швейцары, приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые, но подозрительные молодцы, с румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми маслянистыми глазками. Невдалеке находился квартал, заполненный домами дешевого разврата. Они господствова-

ли над этою местностью и придавали ей особый характер чего-то грязного, беспорядочного и тревожного.

Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал от роду тремя годами больше и скоро должен был перейти в подмастерья. Уже и теперь, когда в парикмахерскую заглядывал посетитель попроще, а подмастерья, в отсутствие хозяина, ленились работать, они посылали Николку стричь и смеялись, что ему приходится подниматься на цыпочки, чтобы видеть волосатый затылок дюжего дворника. Иногда посетитель обижался за испорченные волосы и поднимал крик, тогда и подмастерья кричали на Николку, но не всерьез, а только для удовольствия окорначенного простака. Но такие случаи бывали редко, и Николка важничал и держался как большой: курил папиросы, сплевывал через зубы, ругался скверными словами и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно, врал. Вместе с подмастерьями он бегал на соседнюю улицу посмотреть на крупную драку, и когда возвращался оттуда, счастливый и смеющийся, Осип Абрамович давал ему две пощечины: по одной на каждую щеку.

Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не ругался, хотя знал очень много скверных слов и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посетителей и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и днем спотыкавшийся от желания спать, приваливался в темном углу за перегородкой, а Михайла читал "Московский листок" и среди описания краж и грабежей искал знакомого имени кого-нибудь из обычных посетителей, – Петька и Николка беседовали. Последний всегда становился добрее, оставаясь вдвоем, и объяснял "мальчику", что значит стричь под польку, бобриком или с пробором.

Иногда они садились на окно, рядом с восковым бюстом женщины, у которой были розовые щеки, стеклянные удивленные глаза и редкие прямые ресницы, – и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья бульвара, серые от пыли, неподвижно млели под горячим, безжалостным солнцем и давали такую же серую, неохлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязно и странно одетые, без платков и шапок, как будто они тут и жили и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распущенные, но на всех на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему. Часто чья-нибудь лохматая голова бессильно клонилась на плечо, и тело невольно искало

простора для сна, как у третьеклассного пассажира, проехавшего тысячи верст без отдыха, но лечь было негде. По дорожкам расхаживал с палкой ярко-синий сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейке или не бросился на траву, порыжевшую от солнца, но такую мягкую, такую прохладную. Женщины, всегда одетые более чисто, даже с намеком на моду, были все как будто на одно лицо и одного возраста, хотя иногда попадались совсем старые или молоденькие, почти дети. Все они говорили хриплыми, резкими голосами, бранились, обнимали мужчин так просто, как будто были на бульваре совсем одни, иногда тут же пили водку и закусывали. Случалось, пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину; она падала, поднималась и снова падала; но никто не вступался за нее. Зубы весело скалились, лица становились осмысленнее и живее, около дерущихся собиралась толпа; но когда приближался ярко-синий сторож, все лениво разбредались по своим местам. И только побитая женщина плакала и бессмысленно ругалась; ее растрепанные волосы волочились по песку, а полуобнаженное тело, грязное и желтое при дневном свете, цинично и жалко выставлялось наружу. Ее усаживали на дно извозчичьей пролетки и везли, и свесившаяся голова ее болталась, как у мертвой.

Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бесстрашный, и думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место... Очень хотелось бы.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родные брата. И зимою и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух голых женщин на берегу моря, и только их розовые тела становились все пестрее от мушиных следов, да увеличивалась черная копоть над тем местом, где зимою чуть ли не весь день горела керосиновая лампа-молния. И утром, и вечером, и весь божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: “Мальчик, воды”, – и он все подавал ее, все подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся в углу на своем стуле и погруженную не то в думы, не то в тяжелую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать, и часто казалось, что все вокруг него не правда,

а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слыхал резкого крика: "Мальчик, воды", – и все худел, а на стриженой голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с брезгливостью смотрели на этого худенького, веснушчатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведенные острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика.

Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно и какое оно. Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел принесенные сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придет опять. А Надежда с горем думала, что у нее один сын – и тот дурачок.

Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед приехала мать, поговорила с Осипом Абрамовичем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу, в Царицыно, где живут ее господа. Сперва Петька не понял, потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было, ради пристойности, поговорить с Осипом Абрамовичем о здоровье его жены, а Петька тихонько толкал ее к двери и дергал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично позабыл о Николке, который, заложив руки в карманы, стоял тут же и старался с обычною дерзостью смотреть на Надежду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тоска: у него совсем не было матери, и он в этот момент был бы не прочь даже от такой, как эта толстая Надежда. Дело в том, что и он никогда не был на даче.

Вокзал с его разноголосою сутолокою, грохотом приходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тоненькими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им и конца нету, – впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его чувством возбужденности и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса; а когда они сели в вагон и поехали, Петька прилип к окну, и только стриженая голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне.

Он родился и вырос в городе, в поле был первый раз в своей жизни, и все здесь для него было поразительно ново и странно: и то, что можно видеть так далеко, что лес кажется травкой, и небо, бывшее в этом новом мире удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петька видел его с своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нем плыли, как ангелочки, беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебегал на другую сторону вагона, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. Но какой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться:

– Впервой по чугунке едет – интересуется...

– Угу!.. – пробурчал господин и уткнулся в газету.

Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже три года живет у парикмахера и тот обещал поставить его на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина она одинокая и слабая и другой поддержки, на случай болезни или старости, у нее нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала все это про себя.

Направо от пути раскинулась кочковатая равнина, темно-зеленая от постоянной сырости, и на краю ее были брошены серенькие домики, похожие на игрушечные, а на высокой зеленой горе, внизу которой блистала серебристая полоска, стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальною гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности и отшатнулся от окна, но сейчас же вернулся к нему, боясь потерять малейшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали. Как будто по этому лицу кто-нибудь провел горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим.

В первые два дня Петькина пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху, и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно

шумел над его головой и был темный, задумчивый и такой страшный в своей бесконечности; полянки, светлые, зеленые, веселые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестер, а темно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней; только его маленький веснушчатый носик поднимался над зеленой поверхностью. В первые дни он часто возвращался к матери, терся возле нее, и, когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче, – конфузливо улыбался и отвечал:

– Хорошо!..

И потом снова шел к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чем-то.

Но прошло еще два дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. У гимназиста Мити лицо было смугло-желтым, как вагон второго класса, волосы на макушке стояли торчком и были совсем белые – так выжгло их солнце. Он ловил в пруде рыбу, когда Петька увидал его, бесцеремонно вступил с ним в беседу и удивительно скоро сошелся. Он дал Петьке подержать одну удочку и потом повел его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, то не хотел вылезать из нее и делал вид, что плавает: поднимал нос и брови кверху, захлебывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мертвец, и, разговаривая, лязкал зубами. По предложению того же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали развалины дворца; лазали на заросшую деревьями крышу и бродили среди разрушенных стен громадного здания. Там было очень хорошо: всюду навалены груды камней, на которые с трудом можно взобраться, и промеж них растет молодая рябина и березки, тишина стоит мертвая, и чудится, что вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла или в растрескавшейся амбразуре окна покажется страшная-престрашная рожа. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская.

– Смотри-ка, растолстел как! Чистый купец! – радовалась Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало, не потому, чтобы ему не хотелось есть,

а некогда было возиться: если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутки болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно, обгладывает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дела было по горло: нужно пять раз выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей, – на все это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в тысячу раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами: шершавая земля так ласково то жжет, то холодит ногу. Свою подержанную гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он ее только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках господа: нарядные, веселые, они со смехом садятся в качающуюся лодку, и та медленно рассекает зеркальную воду, а отраженные деревья колеблются, точно по ним пробежал ветерок.

В исходе недели барин привез из города письмо, адресованное "куфарке Надежде", и когда прочел его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идет о Петьке. Это было уже ввечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собою в "классики" и надувал щеки, потому что так прыгать было значительно легче. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и, положив руку на плечо, сказал:

– Что, брат, ехать надо!

Петька конфузливо улыбался и молчал.

"Вот чудак-то!" – подумал барин.

– Ехать, братец, надо.

Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила:

– Надобно ехать, сынок!

– Куда? – удивился Петька.

Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти, – уже найдено.

– К хозяину Осипу Абрамовичу.

Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно как божий день. Но во рту у него пересохло, и язык двигался с трудом, когда он спросил:

– А как же завтра рыбу ловить? Удочка – вот она...

– Что же поделаешь!.. Требует. Прокопий, говорит, заболел, в больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты не плачь: гляди, опять отпустит, – он добрый, Осип Абрамович.

Но Петька и не думал плакать и все не понимал. С одной стороны был факт – удочка, с другой призрак – Осип Абрамович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и произошло странное перемещение: фактом стал Осип Абрамович, а удочка, еще не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барыню и барина и удивился бы сам, если бы был способен к самоанализу: он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощенные, – он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, по чем попало, чувствуя боль от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь еще усилить ее.

Своевременно Петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу:

– Вот видишь, перестал, – детское горе непродолжительно.

– Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика.

– Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живется и хуже. Ты готова?

И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы и уже играла военная музыка.

На другой день, с семичасовым утренним поездом, Петька уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Подержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота ее выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький и скромный, и ручонки его были благонравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны, тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился.

Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву.

– Ты удочку спрячь! – сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской.

– Спрячу, сынок, спрячу! Может, еще приедешь.

И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое: “Мальчик, воды”, и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределенно угрожающий шепот: “Вот погоди!” Это значило, что

сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам, в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок, и рассказывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал. В наступавшем молчании слышалось неровное дыхание детских грудей, и другой голос, не по-детски грубый и энергичный, произносил:

– Вот черти! Чтоб им повылазило!

– Кто черти?

– Да так... Все.

Мимо проезжал обоз и своим мощным громыханием заглушал голоса мальчиков и тот отдаленный жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара: там пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину.

Сентябрь 1899

ДРУГ

Когда поздней ночью он звонил у своих дверей, первым звуком после колокольчика был звонкий собачий лай, в котором слышались и боязнь чужого, и радость, что это идет свой. Потом доносилось шлепанье калош и скрип снимаемого крючка.

Он входил и раздевался в темноте, чувствуя недалеко от себя молчаливую женскую фигуру. А колена его ласково царапали когти собаки, и горячий язык лизал застывшую руку.

– Ну что? – спрашивал заспанный голос тоном официального участия.

– Ничего. Устал, – коротко отвечал Владимир Михайлович и шел в свою комнату.

За ним, стуча когтями по вощеному полу, шла собака и вспрыгивала на кровать. Когда свет зажженной лампы наполнял комнату, взор Владимира Михайловича встречал упорный взгляд черных глаз собаки. Они говорили: приди же, приласкай меня. И, чтобы сделать это желание более понятным, собака вытягивала передние лапы, клала на них боком голову, а зад ее потешно поднимался, и хвост вертелся, как ручка у шарманки.

– Друг ты мой единственный! – говорил Владимир Михайлович и гладил черную блестящую шерсть. Точно от полноты чувства, собака опрокидывалась на спину, скалила белые зубы и легонько ворчала, радостная и возбужденная. А он вздыхал, ласкал ее и думал, что нет больше на свете никого, кто любил бы его.

Если Владимир Михайлович возвращался рано и не уставал от работы, он садился писать, и тогда собака укладывалась комочком где-нибудь на стуле возле него, изредка открывала один черный глаз и спросонья виляла хвостом. И когда, взволнованный процессом творчества, измученный муками своих героев, задыхающийся от наплыва мыслей и образов, он ходил по комнате и курил папиросу за папиросой, она следила за ним беспокойным взглядом и сильнее виляла хвостом.

– Будем мы с тобой знамениты, Васюк? – спрашивал он собаку, и та утвердительно махала хвостом.

– Будем тогда печенку есть, ладно?

"Ладно", – отвечала собака и сладко потягивалась: она любила печенку.

У Владимира Михайловича часто собирались гости. Тогда его тетка, с которой он жил, добывала у соседей посуду, поила чаем, ставя самовар за самоваром, ходила покупать водку и колбасу и тяжело вздыхала, доставая со дна кармана засаленный рубль. В накуренной комнате звучали громкие голоса. Спорили, смеялись, говорили смешные и острые вещи, жаловались на свою судьбу и завидовали друг другу; советовали Владимиру Михайловичу бросить литературу и заняться другим, более выгодным делом. Одни говорили, что ему нужно лечиться, другие чокались с ним рюмками и говорили о вреде водки для его здоровья. Он такой больной, постоянно нервничающий. Оттого у него припадки тоски, оттого он ищет в жизни невозможного. Все говорили с ним на "ты", и в голосе их звучало участье, и они дружески звали его с собой ехать за город продолжать попойку. И когда он, веселый, кричащий больше всех и беспричинно смеющийся, уезжал, его провожали две пары глаз: серые глаза тетки, сердитые и упрекающие, и черные, беспокойно ласковые глаза собаки.

Он не помнил, что он делал, когда пил и когда к утру возвращался домой, выпачканный в грязи и мелу и потерявший шляпу. Передавали ему, что во время попойки он оскорблял друзей, а дома обижал тетку, которая плакала и говорила, что не выдержит такой жизни и удавится, и мучил собаку за то, что она не идет к нему ласкаться. Когда же она, испуганная и дрожащая, скалила зубы, то бил ее ремнем. Наступал следующий день; все уже кончали свою дневную работу, а он просыпался больной и страдающий. Сердце неровно колотилось в груди и замирало, наполняя его страхом близкой смерти, руки дрожали. За стеной, в кухне, стучала тетка, и звук ее шагов разносился по пустой и холодной квартире. Она не заговаривала с Владимиром Михайловичем и молча подавала ему воду, суровая, непрощающая. И он молчал, смотрел на потолок в одно давно им замеченное пятнышко и думал, что он сжигает свою жизнь и никогда у него не будет ни славы, ни счастья. Он сознавал себя ничтожным, и слабым, и одиноким до ужаса. Бесконечный мир кишел движущимися людьми, и не было ни одного человека, который пришел бы к нему и разделил его муки, – безумно-горделивые помыслы о славе и убийственное сознание ничтожества. Дрожа-

щей, ошибающейся рукой он хватался за холодный лоб и сжимал веки, но, как ни крепко он их сжимал, слеза просачивалась и скользила по щеке, еще сохранившей запах продажных поцелуев. А когда он опускал руку, она падала на другой лоб, шерстистый и гладкий, и затуманенный слезой взгляд встречал черные, ласковые глаза собаки, и ухо ловило ее тихие вздохи. И он шептал, тронутый, утешенный:

– Друг, друг мой единственный!..

Когда он выздоравливал, к нему приходили друзья и мягко упрекали его, давали советы и говорили о вреде водки. А те из друзей, кого он оскорбил пьяный, переставали кланяться ему. Они понимали, что он не хотел им зла, но они не желали натыкаться на неприятность. Так, в борьбе с самим собой, неизвестностью и одиночеством, протекали угарные, чадные ночи и строго карающие светлые дни. И часто в пустой квартире гулко отдавались шаги тетки, и на кровати слышался шепот, похожий на вздох:

– Друг, друг мой единственный!..

И наконец она пришла, эта неуловимая слава, пришла, нежданная-негаданная, и наполнила светом и жизнью пустую квартиру. Шаги тетки тонули в топоте дружеских ног, призрак одиночества исчез, и замолк тихий шепот. Исчезла и водка, этот зловещий спутник одиноких, и Владимир Михайлович более не оскорблял ни тетки, ни друзей. Радовалась и собака. Еще звончее стал ее лай при поздних встречах, когда он, ее единственный друг, приходил добрый, веселый, смеющийся, и она сама научилась смеяться; верхняя губа ее приподнималась, обнажая белые зубы, и потешными складками морщился нос. Веселая, шаловливая, она начинала играть, хватала его вещи и делала вид, что хочет унести их, а когда он протягивал руки, чтобы поймать ее, подпускала его на шаг и снова убегала, и черные глаза ее искрились лукавством. Иногда он показывал собаке на тетку и кричал: "куси", и собака с притворным гневом набрасывалась на нее, тормошила ее юбку и, задыхаясь, косилась черным лукавым глазом на друга. Тонкие губы тетки кривились в суровую улыбку, она гладила заигравшуюся собаку по блестящей голове и говорила:

– Умная собака, только вот супу не любит.

А по ночам, когда Владимир Михайлович работал и только дребезжание стекол от уличной езды нарушало тишину, собака чутко дремала возле него и пробуждалась при малейшем его движении.

– Что, брат, печенки хочешь? – спрашивал он.

– Хочу, – утвердительно вилял хвостом Васюк.

– Ну, погоди, куплю. Что, хочешь, чтобы приласкал? Некогда, брат, некогда. Спи.

Каждую ночь спрашивал он собаку о печенке, но постоянно забывал купить ее, так как голова его была полна планами новых творений и мыслями о женщине, которую он полюбил. Раз только вспомнил он о печенке; это было вечером, и он проходил мимо мясной лавки, а под руку с ним шла красивая женщина и плотно прижимала свой локоть к его локтю. Он шутливо рассказал ей о своей собаке, хвалил ее ум и понятливость. Немного рисуясь, он передал о том, что были ужасные, тяжелые минуты, когда он считал собаку единственным своим другом, и шутя рассказал о своем обещании купить другу печенки, когда будет счастлив... Он плотнее прижал к себе руку девушки.

– Художник! – смеясь, воскликнула она. – Вы даже камни заставите говорить; а я очень не люблю собак: от них так легко заразиться.

Владимир Михайлович согласился, что от собаки легко можно заразиться, и промолчал о том, что он иногда целовал блестящую черную морду.

Однажды днем Васюк играл больше обыкновенного, а вечером, когда Владимир Михайлович пришел домой, не явился встречать его, и тетка сказала, что собака больна. Владимир Михайлович встревожился и пошел в кухню, где на тоненькой подстилке лежала собака. Нос ее был сухой и горячий, и глаза помутнели. Она пошевелила хвостом и печально посмотрела на друга.

– Что, мальчик, болен? Бедный ты мой!

Хвост слабо шевельнулся, и черные глаза стали влажными.

– Ну лежи, лежи.

"Надо бы к ветеринару отвезти, а мне завтра некогда. Ну, да так пройдет", – думал Владимир Михайлович и забыл о собаке, мечтая о том счастье, какое может дать ему красивая девушка. Весь следующий день его не было дома, а когда он вернулся, рука его долго шарила, ища звонка, а найдя, долго недоумевала, что делать с этой деревяшкой.

– Ах да, нужно же позвонить, – засмеялся он и запел: – отворите!

Одиноко звякнул колокольчик, зашлепали калоши, и скрипнул снимаемый крючок. Напевая, Владимир Михайлович прошел в комнату, долго ходил, прежде чем догадался, что ему нужно зажечь лампу, потом разделся, но еще долго держал в руках снятый сапог и смотрел на него так, как будто это была красивая девушка, которая сегодня сказала так просто и сердечно:

да, я люблю вас. И, улегшись, он все продолжал видеть ее живое лицо, пока рядом с ним не встала черная, блестящая морда собаки, и острой болью кольнул в сердце вопрос: а где же Васюк? Стало совестно, что он забыл больную собаку, но не особенно: ведь не раз Васюк бывал болен, и ничего же. А завтра можно пригласить ветеринара. Но, во всяком случае, не нужно думать о собаке и о своей неблагодарности – это ничему не помогает и уменьшает счастье.

С утра собаке стало худо. Ее мучила рвота, и, воспитанная в правилах строгого приличия, она тяжело поднималась с подстилки и шла на двор, шатаясь как пьяная. Ее маленькое черное тело лоснилось, как всегда, но голова была бессильно опущена и посеревшие глаза смотрели печально и удивленно. Сперва Владимир Михайлович сам вместе с теткой раскрывал собаке рот с пожелтевшими деснами и вливал лекарство, но она так мучилась, так страдала, что ему стало тяжело смотреть на нее, и он оставил ее на попечение тетки. Когда же из-за стены доходил до него слабый, беспомощный стон, он закрывал уши руками и удивлялся, до чего он любил эту бедную собаку.

Вечером он ушел. Когда перед тем он заглянул в кухню, тетка стояла на коленях и гладила сухой рукой шелковистую горячую голову. Вытянув ноги, как палки, собака лежала тяжелой и неподвижной, и, только наклонившись к самой ее морде, можно было услышать тихие и частые стоны. Глаза ее, совсем посеревшие, устремились на вошедшего, и, когда он осторожно провел по лбу, стоны сделались явственнее и жалобнее.

– Что, брат, плохо дело? Ну, погоди, выздоровеешь, печенки куплю.

– Суп есть заставлю, – шутливо пригрозила тетка.

Собака закрыла глаза, и Владимир Михайлович, ободренный шуткой, торопливо ушел и на улице нанял извозчика, так как боялся опоздать на свидание с Натальей Лаврентьевной.

В эту осеннюю ночь так свеж и чист был воздух, так много звезд сверкало на темном небе. Они падали, оставляя огнистый след, и вспыхивали, и голубым светом озаряли красивое женское лицо, и отражались в темных глазах – точно светляк появлялся на дне черного глубокого колодца. И жадные губы беззвучно целовали и глаза эти, и свежие, как воздух ночи, уста, и холодную щеку. Ликующие, дрожащие любовью голоса, сплетаясь, шептали о радости и жизни.

Подъезжая к дому, Владимир Михайлович вспомнил о собаке, и грудь его заныла от темного предчувствия. Когда тетка отворила дверь, он спросил:

– Ну, что Васюк?

– Околел. Через час после твоего ухода.

Околевшую собаку уже вынесли и выбросили куда-то, и подстилка была убрана. Но Владимир Михайлович и не хотел видеть трупа: это было бы слишком тяжелое зрелище. Когда он улегся спать и в пустой квартире замолкли все звуки, он заплакал, сдерживая себя. Безмолвно кривились его губы, и слезы набухали под закрытыми веками и быстро скатывались на грудь. Ему было стыдно, что он целовал женщину в тот миг, когда здесь, на полу, одиноко умирал тот, кто был его другом. И он боялся, что́ подумает тетка о нем, серьезном человеке, услышав, что он плачет о собаке.

С тех пор прошло много времени. Слава ушла от Владимира Михайловича так же, как и пришла, – загадочная и жестокая. Он обманул надежды, которые возлагали на него, и все были злы на этот обман и выместили его негодующими речами и холодными насмешками. А потом, точно крышка гроба, опустилось на него мертвое, тяжелое забвение.

Женщина покинула его: она также считала себя обманутой.

Проходили угарные, чадные ночи и беспощадно карающие белые дни, и часто, чаще, чем прежде, гулко раздавались в пустой квартире шаги тетки, а он лежал на своей кровати, смотрел в знакомое пятнышко на потолке и шептал:

– Друг, друг мой единственный...

И бессильно падала на пустое место дрожащая рука.

1899

ВАЛЯ

Валя сидел и читал. Книга была очень большая, только наполовину меньше самого Вали, с очень черными и крупными строками и картинками во всю страницу. Чтобы видеть верхнюю строку, Валя должен был протягивать свою голову чуть ли не через весь стол, подниматься на стуле на колени и пухлым коротеньким пальцем придерживать буквы, которые очень легко терялись среди других похожих букв, и найти их потом стоило большого труда. Благодаря этим побочным обстоятельствам, не предусмотренным издателями, чтение подвигалось с солидною медленностью, несмотря на захватывающий интерес книги. В ней рассказывалось, как один очень сильный мальчик, которого звали Бовою, схватывал других мальчиков за ноги и за руки, и они от этого отрывались. Это было и страшно, и смешно, и потому в пыхтении Вали, которым сопровождалось его путешествие по книге, слышалась нотка приятного страха и ожидания, что дальше будет еще интереснее. Но Вале неожиданно помешали читать: вошла мама с какою-то другою женщиной.

– Вот он! – сказала мама, глаза у которой краснели от слез, видимо, недавних, так как в руках она мяла белый кружевной платок.

– Валечка, милый! – вскрикнула женщина и, обняв его голову, стала целовать лицо и глаза, крепко прижимая к ним свои худые, твердые губы. Она не так ласкала, как мама: у той поцелуи были мягкие, тающие, а эта точно присасывалась. Валя, хмурясь, молча принимал колючие ласки. Он был недоволен, что прервали его интересное чтение, и ему совсем не нравилась эта незнакомая женщина, высокая, с костлявыми пальцами, на которых не было ни одного кольца. И пахло от нее очень дурно: какою-то сыростью и гнилью, тогда как от мамы всегда шел свежий запах духов. Наконец женщина оставила Валю в покое и, пока он вытирал губы, осмотрела его тем быстрым взглядом, который словно фотографирует человека. Его коротенький нос,

но уже с признаками будущей горбинки, густые, недетские брови над черными глазами и общий вид строгой серьезности что-то напомнили ей, и она заплакала. И плакала она не так, как мама: лицо оставалось неподвижным, и только слезы быстро-быстро капали одна за другою – не успевала скатиться одна, как уже догоняла другая. Так же внезапно перестав плакать, как и начала, она спросила:

– Валечка, ты не знаешь меня?

– Нет.

– Я приходила к тебе. Два раза приходила. Помнишь?

Может быть, она и приходила, может быть, и два раза приходила, – но откуда Валя будет знать это? Да и не все ли равно, приходила эта незнакомая женщина или нет? Она только мешает читать со своими вопросами.

– Я твоя мама, Валя! – сказала женщина.

Валя с удивлением оглянулся на свою маму, но ее в комнате уже не было.

– Разве две мамы бывает? – спросил он. – Какие ты глупости говоришь!

Женщина засмеялась, но этот смех не понравился Вале: видно было, что женщина совсем не хочет смеяться и делает это так, нарочно, чтобы обмануть. Некоторое время оба молчали.

– Ты уже умеешь читать? Вот умница!

Валя молчал.

– А какую ты книгу читаешь?

– Про Бову-королевича, – сообщил Валя с серьезным достоинством и с очевидным чувством уважения к большой книге.

– Ах, это, должно быть, очень интересно! Расскажи мне, пожалуйста! – заискивающе улыбнулась женщина.

И снова что-то неестественное, фальшивое прозвучало в этом голосе, который старался быть мягким и круглым, как голос мамы, но оставался колючим и острым. Та же фальшь сквозила и в движениях женщины; она передвинулась на стуле и даже протянула вперед шею, точно приготовилась к долгому и внимательному слушанию: а когда Валя неохотно приступил к рассказу, она тотчас же ушла в себя и потемнела, как потайной фонарь, в котором внезапно задвинули крышку. Валя чувствовал обиду за себя и за Бову, но, желая быть вежливым, наскоро проговорил конец сказки и добавил:

– Все.

– Ну, прощай, мой голубчик, мой дорогой! – сказала странная женщина и снова стала прижимать губы к Валиному лицу. – Скоро я опять приду. Ты будешь рад?

– Да, приходи, пожалуйста, – вежливо попросил Валя и, чтобы она скорее ушла, прибавил: – Я буду очень рад.

Посетительница ушла, но только что Валя успел разыскать в книге слово, на котором он остановился, как появилась мама, посмотрела на него и тоже стала плакать. О чем плакала женщина, было еще понятно: она, вероятно, жалела, что она такая неприятная и скучная, – но чего ради плакать маме?

– Послушай, – задумчиво сказал Валя, – как надоела мне эта женщина! Она говорит, что она моя мама. Разве бывает две мамы у одного мальчика?

– Нет, деточка, не бывает. Но она говорит правду: она твоя мама.

– А кто же ты?

– Я твоя тетя.

Это явилось неожиданным открытием, но Валя отнесся к нему с непоколебимым равнодушием: тетя так тетя – не все ли равно? Для него слово не имело такого значения, как для взрослых. Но бывшая мама не понимала этого и начала объяснять, почему так вышло, что она была мамой, а стала тетей. Давно, давно, когда Валя был совсем маленький...

– Какой маленький? Такой? – Валя поднял руку на четверть аршина от стола.

– Нет, меньше.

– Как киска? – радостно изумился Валя. Рот его полуоткрылся, брови поднялись кверху. Он намекал на беленького котенка, которого ему недавно подарили и который был так мал, что всеми четырьмя лапами помещался на блюдце.

– Да.

Валя счастливо рассмеялся, но тотчас же принял свой обычный суровый вид и со снисходительностью взрослого человека, вспоминающего ошибки молодости, заметил:

– Какой я был смешной!

Так вот, когда он был маленький и смешной, как киска, его принесла эта женщина и отдала, как киску, навсегда. А теперь, когда он стал такой большой и умный, она хочет взять его к себе.

– Ты хочешь к ней? – спросила бывшая мама и покраснела от радости, когда Валя решительно и строго произнес:

– Нет, она мне не нравится! – и снова принялся за книгу.

Валя считал инцидент исчерпанным, но ошибся. Эта странная женщина с лицом, таким безжизненным, словно из него выпили всю кровь, неизвестно откуда появившаяся и так же бесследно пропавшая, всколыхнула тихий дом и наполнила его глухой тревогою. Тетя-мама часто плакала и все спрашивала Валю,

хочет ли он уйти от нее; дядя-папа ворчал, гладил свою лысину, отчего белые волоски на ней поднимались торчком, и когда мамы не было в комнате, также расспрашивал Валю, не хочет ли он к той женщине. Однажды вечером, когда Валя уже лежал в кроватке, но еще не спал, дядя и тетя говорили о нем и о женщине. Дядя говорил сердитым басом, от которого незаметно дрожали хрустальные подвески в люстре и сверкали то синими, то красными огоньками.

– Ты, Настасья Филипповна, говоришь глупости. Мы не имеем права отдавать ребенка, для него самого не имеем права. Неизвестно еще, на какие средства живет эта особа с тех пор, как ее бросил этот... ну, да, черт его возьми, ты понимаешь, о ком я говорю? Даю голову на отсечение, что ребенок погибнет у нее.

– Она любит его, Гриша.

– А мы его не любим? Странно ты рассуждаешь, Настасья Филипповна, – похоже, что сама ты хочешь отделаться от ребенка...

– Как тебе не грешно!

– Ну, ну, уже обиделась. Ты обсуди этот вопрос хладнокровно, не горячась. Какая-нибудь кукушка, вертихвостка, наплодит ребят и с легким сердцем подбрасывает к вам. А потом пожалуйте: давайте мне моего ребенка, так как меня любовник бросил и я скучаю. На концерты да на театры у меня денег нету, так мне игрушку давайте! Нет-с, сударыня, мы еще поспорим!

– Ты не справедлив к ней, Гриша. Ведь ты знаешь, какая она больная, одинокая...

– Ты, Настасья Филипповна, и святого из терпения выведешь, ей-богу! Ребенка-то ты забываешь? Тебе все равно, сделают ли из него честного человека или прохвоста? А я голову свою даю на отсечение, что из него сделают прохвоста, ракалью, вора и... прохвоста!

– Гриша!

– Христом Богом прошу: не раздражай ты меня! И откуда у тебя эта дьявольская способность перечить? "Она такая одино-о-кая", – а мы не одиноки? Бессердечная ты женщина, Настасья Филипповна, и черт дернул меня на тебе жениться! Тебе палача в мужья надо!

Бессердечная женщина заплакала, и муж попросил у нее прощения, объяснив, что только набитый дурак может обращать внимание на слова такого неисправимого осла, как он. Понемногу она успокоилась и спросила:

– А что говорит Талонский?

Григорий Аристархович снова вспылил.

– И откуда ты взяла, что он умный человек? Говорит, все будет зависеть от того, как суд посмотрит... Экая новость, подумаешь, без него и не знаем, что все зависит от того, как суд посмотрит. Конечно, ему что – потявкал-потявкал, да и к сторонке. Нет, если бы на то моя воля, я бы всех этих пустобрехов...

Тут Настасья Филипповна закрыла дверь из столовой, и конца разговора Валя не слыхал. Но долго еще он лежал с открытыми глазами и все старался понять, что это за женщина, которая хочет взять его и погубить.

На следующий день он с утра ожидал, когда тетя спросит его, не хочет ли он к маме; но тетя не спросила. Не спросил и дядя. Вместо того оба они смотрели на Валю так, точно он очень сильно болен и скоро должен умереть, ласкали его и привозили большие книги с раскрашенными картинками. Женщина более не приходила; но Вале стало казаться, что она караулит его около дверей, и как только он станет переходить порог, она схватит его и унесет в какую-то черную, страшную даль, где извиваются и дышат огнем злые чудовища. По вечерам, когда Григорий Аристархович занимался в кабинете, а Настасья Филипповна что-нибудь вязала или раскладывала пасьянс, Валя читал свои книги, в которых строки стали чаще и меньше. В комнате было тихо-тихо, только шелестели переворачиваемые листы да изредка доносился из кабинета басистый кашель дяди и сухое щелканье на счетах. Лампа с синим колпаком бросала яркий свет на пеструю бархатную скатерть стола, но углы высокой комнаты были полны тихого, таинственного мрака. Там стояли большие цветы с причудливыми листьями и корнями, вылезающими наружу и похожими на дерущихся змей, и чудилось, что между ними шевелится что-то большое, темное. Валя читал. Перед его расширенными глазами проходили страшные, красивые и печальные образы, вызывавшие жалость и любовь, но чаще всего страх. Валя жалел бедную русалочку, которая так любила красивого принца, что пожертвовала для него и сестрами, и глубоким, спокойным океаном; а принц не знал про эту любовь, потому что русалка была немая, и женился на веселой принцессе; и был праздник, на корабле играла музыка, и окна его были освещены, когда русалочка бросилась в темные волны, чтобы умереть. Бедная, милая русалочка, такая тихая, печальная и кроткая! Но чаще являлись перед Валей злые, ужасные люди-чудовища. В темную ночь они летели куда-то на своих колючих крыльях, и воздух свистел над их головой, и глаза их горели, как красные угли. А там их окружали другие

такие же чудовища, и тут творилось что-то таинственное, страшное. Острый, как нож, смех; продолжительные, жалобные вопли; кривые полеты, как у летучей мыши; странная, дикая пляска при багровом свете факелов, кутающих свои кривые огненные языки в красных облаках дыма; человеческая кровь и мертвые белые головы с черными бородами... Все это были проявления одной загадочной и безумно злой силы, желающей погубить человека, гневные и таинственные призраки. Они наполняли воздух, прятались между цветами, шептали о чем-то и указывали костлявыми пальцами на Валю; они выглядывали на него из дверей темной комнаты, хихикали и ждали, когда он ляжет спать, чтобы безмолвно реять над его головою; они засматривали из сада в черные окна и жалобно плакали вместе с ветром.

И все это злое, страшное принимало образ той женщины, которая приходила за Валей. Много людей являлось в дом Григория Аристарховича и уходило, и Валя не помнил их лиц, но это лицо жило в его памяти. Оно было такое длинное, худое, желтое, как у мертвой головы, и улыбалось хитрою, притворною улыбкою, от которой прорезывались две глубокие морщины по сторонам рта. Когда эта женщина возьмет Валю, он умрет.

– Слушай, – сказал раз Валя своей тете, отрываясь от книги. – Слушай, – повторил он с своей обычной серьезной основательностью и взглядом, смотревшим прямо в глаза тому, с кем он говорил, – я тебя буду называть мамой, а не тетей. Ты говоришь глупости, что та женщина – мама. Ты мама, а она нет.

– Почему? – вспыхнула Настасья Филипповна, как девочка, которую похвалили.

Но вместе с радостью в ее голосе слышался страх за Валю. Он стал такой странный, боязливый; боялся спать один, как прежде; по ночам бредил и плакал.

– Так. Я не могу этого рассказать. Ты лучше спроси у папы. Он тоже папа, а не дядя, – решительно ответил мальчик.

– Нет, Валечка, это правда: она твоя мама.

Валя подумал и ответил тоном Григория Аристарховича:

– Удивляюсь, откуда у тебя эта способность перечить!

Настасья Филипповна рассмеялась, но, ложась спать, долго говорила с мужем, который бунчал, как турецкий барабан, ругал пустобрехов и кукушек и потом вместе с женою ходил смотреть, как спит Валя. Они долго и молча всматривались в лицо спящего мальчика. Пламя свечи колыхалось в трясущейся руке Григория Аристарховича и придавало фантастическую, мертвую игру

лицу ребенка, такому же белому, как те подушки, на которых оно покоилось. Казалось, что из темных впадин под бровями на них глядят черные глаза, прямые и строгие, требуют ответа и грозят бедою и неведомым горем, а губы кривятся в странную, ироническую усмешку. Точно на эту детскую голову легло смутное отражение тех злых и таинственных призраков-чудовищ, которые безмолвно реяли над нею.

– Валя! – испуганно шепнула Настасья Филипповна.

Мальчик глубоко вздохнул, но не пошевелился, словно окованный сном смерти.

– Валя! Валя! – к голосу Настасьи Филипповны присоединился густой и дрожащий голос мужа.

Валя открыл глаза, отененные густыми ресницами, моргнул от света и вскочил на колени, бледный и испуганный. Его обнаженные худые ручонки жемчужным ожерельем легли вокруг красной и полной шеи Настасьи Филипповны; пряча голову на ее груди, крепко жмуря глаза, точно боясь, что они откроются сами, помимо его воли, он шептал:

– Боюсь, мама, боюсь! Не уходи!

Это была плохая ночь. Когда Валя заснул, с Григорием Аристарховичем сделался припадок астмы. Он задыхался, и толстая белая грудь судорожно поднималась и опускалась под ледяными компрессами. Только к утру он успокоился, и измученная Настасья Филипповна заснула с мыслью, что муж ее не переживет потери ребенка.

После семейного совета, на котором решено было, что Вале следует меньше читать и чаще видеться с другими детьми, к нему начали привозить мальчиков и девочек. Но Валя сразу не полюбил этих глупых детей, шумных, крикливых, неприличных. Они ломали цветы, рвали книги, прыгали по стульям и дрались, точно выпущенные из клетки маленькие обезьянки; а он, серьезный и задумчивый, смотрел на них с неприятным изумлением, шел к Настасье Филипповне и говорил:

– Как они мне надоели! Я лучше посижу около тебя.

А по вечерам он снова читал, и когда Григорий Аристархович, бурча об этой чертовщине, от которой не дают опомниться ребятам, пытался ласково взять у него книгу, Валя молча, но решительно прижимал ее к себе. Импровизированный педагог смущенно отступал и сердито упрекал жену:

– Это называется воспитание! Нет, Настасья Филипповна, я вижу, тебе впору с котятами возиться, а не ребят воспитывать. До чего распустила, не можешь даже книги от мальчика взять. Нечего говорить, хороша наставница!

Однажды утром, когда Валя сидел с Настасьей Филипповной за завтраком, в столовую ворвался Григорий Аристархович. Шляпа его съехала на затылок, лицо было потно; еще из дверей он радостно закричал:

– Отказал! Суд отказал!

Брильянты в ушах Настасьи Филипповны засверкали, и ножик звякнул о тарелку.

– Ты правду говоришь? – спросила она задыхаясь.

Григорий Аристархович сделал серьезное лицо, чтобы видно было, что он говорит правду, но сейчас же забыл о своем намерении, и лицо его покрылось целой сетью веселых морщинок. Потом снова спохватился, что ему недостает солидности, с которою сообщают такие крупные новости, нахмурился, подвинул к столу стул, положил на него шляпу и, видя, что место кем-то уже занято, взял другой стул. Усевшись, он строго посмотрел на Настасью Филипповну, потом на Валю, подмигнул Вале на жену и только после этого торжественного введения заявил:

– Я всегда говорил, что Талонский умница, которого на козе не объедешь. Нет, Настасья Филипповна, не объедешь, лучше и не пробуй.

– Следовательно, правда?

– Вечно ты с сомнениями. Сказано: в иске Акимовой отказать. Ловко, брат, – обратился он к Вале и добавил строго официальным тоном, ударяя на букву "о": – И возложить на нее судебные и за ведение дела издержки.

– Эта женщина не возьмет меня?

– Дудки, брат! Ах, забыл: я тебе книг привез!

Григорий Аристархович бросился в переднюю, но его остановил крик Настасьи Филипповны: Валя в обмороке откинул побледневшую голову на спинку стула.

Наступило счастливое время. Словно выздоровел тяжелый больной, находившийся где-то в этом доме, и всем стало дышаться легко и свободно. Валя покончил свои сношения с чертовщиной, и когда к нему наезжали маленькие обезьянки, он был среди них самый изобретательный. Но и в фантастические игры он вносил свою обычную серьезность и основательность, и когда шла игра в индейцы, он считал необходимым раздеться почти донага и с ног до головы измазаться краскою. Ввиду делового характера, приданного игре, Григорий Аристархович счел для себя возможным принять в ней посильное участие. В качестве медведя он проявил лишь посредственные способности, но зато пользовался большим и вполне заслуженным успехом в роли

индийского слона. И когда Валя, молчаливый и строгий, как истый сын богини Кали, сидел у отца на плечах и постукивал молоточком по его розовой лысине, он действительно напоминал собою маленького восточного князька, деспотически царящего над людьми и животными.

Талонский пробовал намекать Григорию Аристарховичу о судебной палате, которая может не согласиться с решением суда, но тот не мог понять, как трое судей могут не согласиться с тем, что решили трое таких же судей, когда законы одни и там и здесь. Когда же адвокат настаивал, Григорий Аристархович начинал сердиться и в качестве неопровержимого довода выдвигал самого же Талонского:

– Ведь вы же будете и в палате? Так о чем толковать – не понимаю. Настасья Филипповна, хотя бы ты усовестила его.

Талонский улыбался, а Настасья Филипповна мягко выговаривала ему за его напрасные сомнения. Говорили иногда и о той женщине, на которую возложили судебные издержки, и всякий раз прилагали к ней эпитет "бедная". С тех пор как эта женщина лишилась власти взять Валю к себе, она потеряла в его глазах ореол таинственного страха, который, словно мгла, окутывал ее и искажал черты худого лица, и Валя стал думать о ней, как и о других людях. Он слыхал частое повторение того, что она несчастна, и не мог понять почему; но это бледное лицо, из которого выпили всю кровь, становилось проще, естественнее и ближе. "Бедная женщина", как ее называли, стала интересовать его, и, вспоминая других бедных женщин, о которых ему приводилось читать, он испытывал чувство жалости и робкой нежности. Ему представлялось, что она должна сидеть одна в какой-нибудь темной комнате, бояться и все плакать, все плакать, как плакала она тогда. Напрасно он тогда так плохо рассказал ей про Бову-королевича.

...Оказалось, что трое судей могут не согласиться с тем, что решили трое таких же судей: палата отменила решение окружного суда, и ребенок был присужден его матери по крови. Сенат оставил кассационную жалобу без последствий.

Когда эта женщина пришла, чтобы взять Валю, Григория Аристарховича не было дома; он находился у Талонского и лежал в его спальне, и только его розовая лысина выделялась из белого моря подушек. Настасья Филипповна не вышла из своей комнаты, и горничная вывела оттуда Валю уже одетым для пути. На нем было меховое пальтецо и высокие калоши, в которых он с трудом передвигал ноги. Из-под барашковой шапочки выглядывало бледное лицо с прямым и серьезным взглядом.

Под мышкою Валя держал книгу, в которой рассказывалось о бедной русалочке.

Высокая костлявая женщина прижала его лицо к драповому подержанному пальто и всхлипнула.

– Как ты вырос, Валечка! Тебя не узнаешь, – пробовала она шутить; но Валя молча поправил сбившуюся шапочку и, вопреки своему обычаю, смотрел не в глаза той, которая отныне становилась его матерью, а на ее рот. Он был большой, но с красивыми мелкими зубами; две морщинки по сторонам оставались на своем месте, где их видел Валя и раньше, только стали глубже.

– Ты не сердишься на меня? – спросила мама, но Валя, не отвечая на вопрос, сказал:

– Ну, пойдем.

– Валечка! – донесся жалобный крик из комнаты Настасьи Филипповны. Она показалась на пороге с глазами, опухшими от слез, и, всплеснув руками, бросилась к мальчику, встала на колени и замерла, положив голову на его плечо, – только дрожали и переливались брильянты в ее ушах.

– Пойдем, Валя, – сурово сказала высокая женщина, беря его за руку. – Нам не место среди людей, которые подвергли твою мать такой пытке... такой пытке!

В ее сухом голосе звучала ненависть, и ей хотелось ударить ногою стоявшую на коленях женщину.

– У, бессердечные! Рады отнять последнего ребенка!.. – произнесла она злым шепотом и рванула Валю за руку: – Идем! Не будь как твой отец, который бросил меня.

– Бе-ре-гите его! – сказала Настасья Филипповна.

Извозчичьи сани мягко стукали по ухабам и бесшумно уносили Валю от тихого дома с его чудными цветами, таинственным миром сказок, безбрежным и глубоким, как море, и темным окном, в стекла которого ласково царапались ветви деревьев. Скоро дом потерялся в массе других домов, похожих друг на друга, как буквы, и навсегда исчез для Вали. Ему казалось, что они плывут по реке, берега которой составляют светящиеся линии фонарей, таких близких друг к другу, словно бусы на одной нитке, но когда они подъезжали ближе, бусы рассыпались, образуя большие темные промежутки, сзади сливаясь в такую же светящуюся линию. И тогда Валя думал, что они неподвижно стоят на одном месте; и все начинало становиться для него сказкою: и сам он, и высокая женщина, прижимавшая его к себе костлявою рукою, и все кругом.

У него замерзла рука, в которой он держал книгу, но он не хотел просить мать, чтобы она взяла ее.

В маленькой комнате, куда привезли Валю, было грязно и жарко. В углу, против большой кровати, стояла под пологом маленькая кроватка, такая, в каких Валя давно уже не спал.

– Замерз! Ну погоди, сейчас будем чай пить. Ишь руки-то какие красные! Вот ты и с мамой. Ты рад? – спрашивала мать все с тою же насильственною, нехорошею улыбкою человека, которого всю жизнь принуждали смеяться под палочными ударами.

Валя, пугаясь своей прямоты, нерешительно ответил:

– Нет.

– Нет? А я тебе игрушек купила. Вот, посмотри, на окне.

Валя подошел к окну и начал рассматривать игрушки. Это были жалкие картонные лошадки на прямых толстых ногах, петрушка в красном колпаке с носатой, глупо ухмыляющейся физиономией и тонкие оловянные солдатики, поднявшие одну ногу и навеки замершие в этой позе. Валя давно уже не играл в игрушки и не любил их, но из вежливости он не показал этого матери.

– Да, хорошие игрушки.

Но она заметила взгляд, который бросил Валя на окно, и сказала с тою же неприятною, заискивающей улыбкой:

– Я не знала, голубчик, что ты любишь. И я уже давно купила эти игрушки.

Валя молчал, не зная, что ответить.

– Ведь я одна, Валечка, одна во всем мире, мне не с кем посоветоваться. Я думала, что они тебе понравятся.

Валя молчал. Внезапно лицо женщины растянулось, слезы быстро-быстро закапали одна за другой, и, точно потеряв под собою землю, она рухнула на кровать, жалобно скрипнувшую под ее телом. Из-под платья выставилась нога в большом башмаке с порыжевшей резиной и длинными ушками. Прижимая руку к груди, другой сжимая виски, женщина смотрела куда-то сквозь стену своими бледными, выцветшими глазами и шептала:

– Не понравились!.. Не понравились!..

Валя решительно подошел к кровати, положил свою красную ручку на большую костлявую голову матери и сказал с тою серьезною основательностью, которая отличала все речи этого человека:

– Не плачь, мама! Я буду очень любить тебя. В игрушки играть мне не хочется, но я буду очень любить тебя. Хочешь, я прочту тебе о бедной русалочке?..

14 сентября 1899

БОЛЬШОЙ ШЛЕМ

Они играли в винт три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам; воскресенье было очень удобно для игры, но его пришлось оставить на долю всяким случайностям: приходу посторонних, театру, и поэтому оно считалось самым скучным днем в неделе. Впрочем, летом, на даче, они играли и в воскресенье. Размещались они так: толстый и горячий Масленников играл с Яковом Ивановичем, а Евпраксия Васильевна со своим мрачным братом, Прокопием Васильевичем. Такое распределение установилось давно, лет шесть тому назад, и настояла на нем Евпраксия Васильевна. Дело в том, что для нее и ее брата не представляло никакого интереса играть отдельно, друг против друга, так как в этом случае выигрыш одного был проигрыш для другой, и в окончательном результате они не выигрывали и не проигрывали. И хотя в денежном отношении игра была ничтожная и Евпраксия Васильевна и ее брат в деньгах не нуждались, но она не могла понять удовольствия игры для игры и радовалась, когда выигрывала. Выигранные деньги она откладывала отдельно, в копилку, и они казались ей гораздо важнее и дороже, чем те крупные кредитки, которые приходилось ей платить за дорогую квартиру и выдавать на хозяйство. Для игры собирались у Прокопия Васильевича, так как во всей обширной квартире жили только они вдвоем с сестрой, – существовал еще большой белый кот, но он всегда спал на кресле, – и в комнатах царила необходимая для занятий тишина. Брат Евпраксии Васильевны был вдов: он потерял жену на второй год после свадьбы и целых два месяца после того провел в лечебнице для душевнобольных; сама она была незамужняя, хотя когда-то имела роман со студентом. Никто не знал, да и она, кажется, позабыла, почему ей не пришлось выйти замуж за своего студента, но каждый год, когда появлялось обычное воззвание о помощи нуждающимся студентам, она посылала в комитет аккуратно сложенную сторублевую бумажку “от неизвестной”. По возрасту она была самой молодой из игроков: ей было сорок три года.

Вначале, когда создалось распределение на пары, им особенно был недоволен старший из игроков, Масленников. Он возмущался, что ему постоянно придется иметь дело с Яковом Ивановичем, т.е., другими словами, бросить мечту о большом бескозырном шлеме. И вообще, они с партнером совершенно не подходили друг к другу. Яков Иванович был маленький, сухонький старичок, зиму и лето ходивший в наваченном сюртуке и брюках, молчаливый и строгий. Являлся он всегда ровно в восемь часов, ни минутой раньше или позже, и сейчас же брал мелок сухими пальцами, на одном из которых свободно ходил большой брильянтовый перстень. Но самым ужасным для Масленникова в его партнере было то, что он никогда не играл больше четырех, даже тогда, когда на руках у него имелась большая и верная игра. Однажды случилось, что, как начал Яков Иванович ходить с двойки, так и отходил до самого туза, взяв все тринадцать взяток. Масленников с гневом бросил свои карты на стол, а седенький старичок спокойно собрал их и записал за игру, сколько следует при четырех.

– Но почему же вы не играли большого шлема? – вскрикнул Николай Дмитриевич (так звали Масленникова).

– Я никогда не играю больше четырех, – сухо ответил старичок и наставительно заметил: – никогда нельзя знать, что может случиться.

Так и не мог убедить его Николай Дмитриевич. Сам он всегда рисковал и, так как карта ему не шла, постоянно проигрывал, но не отчаивался и думал, что ему удастся отыграться в следующий раз. Постепенно они свыклись со своим положением и не мешали друг другу: Николай Дмитриевич рисковал, а старик спокойно записывал проигрыш и назначал игру в четырех.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Дряхлый мир покорно нес тяжелое ярмо бесконечного существования и то краснел от крови, то обливался слезами, оглашая свой путь в пространстве стонами больных, голодных и обиженных. Слабые отголоски этой тревожной и чуждой жизни приносил с собой Николай Дмитриевич. Он иногда запаздывал и входил в то время, когда все уже сидели за разложенным столом и карты розовым веером выделялись на его зеленой поверхности.

Николай Дмитриевич, краснощекий, пахнущий свежим воздухом, поспешно занимал свое место против Якова Ивановича, извинялся и говорил:

– Как много гуляющих на бульваре. Так и идут, так и идут...

Евпраксия Васильевна считала себя обязанной, как хозяйка, не замечать странностей своих гостей. Поэтому она отвечала

одна, в то время как старичок молча и строго приготовлял мелок, а брат ее распоряжался насчет чаю.

– Да, вероятно, – погода хорошая. Но не начать ли нам?

И они начинали. Высокая комната, уничтожавшая звук своей мягкой мебелью и портьерами, становилась совсем глухой. Горничная неслышно двигалась по пушистому ковру, разнося стаканы с крепким чаем, и только шуршали ее накрахмаленные юбки, скрипел мелок и вздыхал Николай Дмитриевич, поставивший большой ремиз. Для него наливался жиденький чай и ставился особый столик, так как он любил пить с блюдца и непременно с тянучками.

Зимой Николай Дмитриевич сообщал, что днем морозу было десять градусов, а теперь уже дошло до двадцати, а летом говорил:

– Сейчас целая компания в лес пошла. С корзинками.

Евпраксия Васильевна вежливо смотрела на небо – летом они играли на террасе – и хотя небо было чистое и верхушки сосен золотели, замечала:

– Не было бы дождя.

А старичок Яков Иванович строго раскладывал карты и, вынимая червонную двойку, думал, что Николай Дмитриевич легкомысленный и неисправимый человек. Одно время Масленников сильно обеспокоил своих партнеров. Каждый раз, приходя, он начинал говорить одну или две фразы о Дрейфусе. Делая печальную физиономию, он сообщал:

– А плохи дела нашего Дрейфуса.

Или, наоборот, смеялся и радостно говорил, что несправедливый приговор, вероятно, будет отменен. Потом он стал приносить газеты и прочитывал из них некоторые места все о том же Дрейфусе.

– Читали уже, – сухо говорил Яков Иванович, но партнер не слушал его и прочитывал, что́ казалось ему интересным и важным. Однажды он таким образом довел остальных до спора и чуть ли не до ссоры, так как Евпраксия Васильевна не хотела признавать законного порядка судопроизводства и требовала, чтобы Дрейфуса освободили немедленно, а Яков Иванович и ее брат настаивали на том, что сперва необходимо соблюсти некоторые формальности и потом уже освободить. Первым опомнился Яков Иванович и сказал, указывая на стол:

– Но не пора ли?

И они сели играть, и потом, сколько ни говорил Николай Дмитриевич о Дрейфусе, ему отвечали молчанием.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Иногда случались события, но больше смешного характера. На брата Евпраксии Васильевны временами как будто что-то находило, он не помнил, что говорили о своих картах партнеры, и при верных пяти оставался без одной. Тогда Николай Дмитриевич громко смеялся и преувеличивал значение проигрыша, а старичок улыбался и говорил:

– Играли бы четыре – и были бы при своих.

Особенное волнение проявлялось у всех игроков, когда назначала большую игру Евпраксия Васильевна. Она краснела, терялась, не зная, какую класть ей карту, и с мольбою смотрела на молчаливого брата, а другие двое партнеров с рыцарским сочувствием к ее женственности и беспомощности ободряли ее снисходительными улыбками и терпеливо ожидали. В общем, однако, к игре относились серьезно и вдумчиво. Карты давно уже потеряли в их глазах значение бездушной материи, и каждая масть, а в масти каждая карта в отдельности, была строго индивидуальна и жила своей обособленной жизнью. Масти были любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые. Карты комбинировались бесконечно разнообразно, и разнообразие это не поддавалось ни анализу, ни правилам, но было в то же время закономерно. И в закономерности этой заключалась жизнь карт, особая от жизни игравших в них людей. Люди хотели и добивались от них своего, а карты делали свое, как будто они имели свою волю, свои вкусы, симпатии и капризы. Черви особенно часто приходили к Якову Ивановичу, а у Евпраксии Васильевны руки постоянно полны бывали пик, хотя она их очень не любила. Случалось, что карты капризничали, и Яков Иванович не знал, куда деваться от пик, а Евпраксия Васильевна радовалась червям, назначала большие игры и ремизилась. И тогда карты как будто смеялись. К Николаю Дмитриевичу ходили одинаково все масти, и ни одна не оставалась надолго, и все карты имели такой вид, как постояльцы в гостинице, которые приезжают и уезжают, равнодушные к тому месту, где им пришлось провести несколько дней. Иногда несколько вечеров подряд к нему ходили одни двойки и тройки и имели при этом дерзкий и насмешливый вид. Николай Дмитриевич был уверен, что он оттого не может сыграть большого шлема, что карты знают о его желании и нарочно не идут к нему, чтобы позлить. И он притворялся, что ему совершенно безразлично, какая игра у него будет, и старался подольше не раскрывать прикупа. Очень редко удавалось ему таким образом обмануть карты; обыкновенно они догадывались, и когда он раскрывал прикуп, оттуда смеялись три шестер-

ки и хмуро улыбался пиковый король, которого они затащили для компании.

Меньше всех проникала в таинственную суть карт Евпраксия Васильевна; старичок Яков Иванович давно выработал строго философский взгляд и не удивлялся и не огорчался, имея верное оружие против судьбы в своих четырех. Один Николай Дмитриевич никак не мог примириться с прихотливым нравом карт, их насмешливостью и непостоянством. Ложась спать, он думал о том, как он сыграет большой шлем в бескозырях, и это представлялось таким простым и возможным: вот приходит один туз, за ним король, потом опять туз. Но когда, полный надежды, он садился играть, проклятые шестерки опять скалили свои широкие белые зубы. В этом чувствовалось что-то роковое и злобное. И постепенно большой шлем в бескозырях стал самым сильным желанием и даже мечтой Николая Дмитриевича.

Произошли и другие события вне карточной игры. У Евпраксии Васильевны умер от старости большой белый кот и, с разрешения домовладельца, был похоронен в саду под липой. Затем Николай Дмитриевич исчез однажды на целых две недели, и его партнеры не знали, что думать и что делать, так как винт втроем ломал все установившиеся привычки и казался скучным. Сами карты точно сознавали это и сочетались в непривычных формах. Когда Николай Дмитриевич явился, розовые щеки, которые так резко отделялись от седых пушистых волос, посерели, и весь он стал меньше и ниже ростом. Он сообщил, что его старший сын за что-то арестован и отправлен в Петербург. Все удивились, так как не знали, что у Масленникова есть сын; может быть, он когда-нибудь и говорил, но все позабыли об этом. Вскоре после этого он еще один раз не явился, и, как нарочно, в субботу, когда игра продолжалась дольше обыкновенного, и все опять с удивлением узнали, что он давно страдает грудной жабой и что в субботу у него был сильный припадок болезни. Но потом все опять установилось, и игра стала даже серьезнее и интереснее, так как Николай Дмитриевич меньше развлекался посторонними разговорами. Только шуршали крахмальные юбки горничной да неслышно скользили из рук игроков атласные карты и жили своей таинственной и молчаливой жизнью, особой от жизни игравших в них людей. К Николаю Дмитриевичу они были по-прежнему равнодушны и иногда зло-насмешливы, и в этом чувствовалось что-то роковое, фатальное.

Но в четверг, 26 ноября, в картах произошла странная перемена. Как только началась игра, к Николаю Дмитриевичу пришла большая коронка, и он сыграл, и даже не пять, как назна-

чил, а маленький шлем, так как у Якова Ивановича оказался лишний туз, которого он не хотел показать. Потом опять на некоторое время появились шестерки, но скоро исчезли, и стали приходить полные масти, и приходили они с соблюдением строгой очереди, точно всем им хотелось посмотреть, как будет радоваться Николай Дмитриевич. Он назначал игру за игрой, и все удивлялись, даже спокойный Яков Иванович. Волнение Николая Дмитриевича, у которого пухлые пальцы с ямочками на сгибах потели и роняли карты, передалось и другим игрокам.

– Ну и везет вам сегодня, – мрачно сказал брат Евпраксии Васильевны, сильнее всего боявшийся слишком большого счастья, за которым идет такое же большое горе. Евпраксии Васильевне было приятно, что наконец-то к Николаю Дмитриевичу пришли хорошие карты, и она на слова брата три раза сплюнула в сторону, чтобы предупредить несчастье.

– Тьфу, тьфу, тьфу! Ничего особенного нет. Идут карты и идут, и дай бог, чтобы побольше шли.

Карты на минуту словно задумались в нерешимости, мелькнуло несколько двоек с смущенным видом – и снова с усиленной быстротой стали являться тузы, короли и дамы. Николай Дмитриевич не поспевал собирать карты и назначать игру и два раза уже засдался, так что пришлось пересдать. И все игры удавались, хотя Яков Иванович упорно умалчивал о своих тузах: удивление его сменилось недоверием ко внезапной перемене счастья, и он еще раз повторил неизменное решение – не играть больше четырех. Николай Дмитриевич сердился на него, краснел и задыхался. Он уже не обдумывал своих ходов и смело назначал высокую игру, уверенный, что в прикупе он найдет что нужно.

Когда, после сдачи карт мрачным Прокопием Васильевичем, Масленников раскрыл свои карты, сердце его заколотилось и сразу упало, а в глазах стало так темно, что он покачнулся – у него было на руках двенадцать взяток: трефы и черви от туза до десятки и бубновый туз с королем. Если он купит пикового туза, у него будет большой бескозырный шлем.

– Два без козыря, – начал он, с трудом справляясь с голосом.

– Три пики, – ответила Евпраксия Васильевна, которая была также сильно взволнована: у нее находились почти все пики начиная от короля.

– Четыре черви, – сухо отозвался Яков Иванович.

Николай Дмитриевич сразу повысил игру на малый шлем, но разгоряченная Евпраксия Васильевна не хотела уступать и, хотя видела, что не сыграет, назначила большой в пиках. Николай

Дмитриевич задумался на секунду и с некоторой торжественностью, за которой скрывался страх, медленно произнес:

– Большой шлем в бескозырях!

Николай Дмитриевич играет большой шлем в бескозырях! Все были поражены, и брат хозяйки даже крякнул:

– Ого!

Николай Дмитриевич протянул руку за прикупом, но покачнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхватила ее, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно и прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил столик, на котором стояло блюдечко с налитым чаем, и придавил своим телом его хрустнувшую ножку.

Когда приехал доктор, он нашел, что Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, и в утешение живым сказал несколько слов о безболезненности такой смерти. Покойника положили на турецкий диван в той же комнате, где играли, и он, покрытый простыней, казался громадным и страшным. Одна нога, обращенная носком внутрь, осталась непокрытой и казалась чужой, взятой от другого человека; на подошве сапога, черной и совершенно новой на выемке, прилипла бумажка от тянучки. Картонный стол еще не был убран, и на нем валялись беспорядочно разбросанные, рубашкой вниз, карты партнеров и в порядке лежали карты Николая Дмитриевича, тоненькой колодкой, как он их положил.

Яков Иванович мелкими и неуверенными шагами ходил по комнате, стараясь не глядеть на покойника и не сходить с ковра на натертый паркет, где высокие каблуки его издавали дробный и резкий стук. Пройдя несколько раз мимо стола, он остановился и осторожно взял карты Николая Дмитриевича, рассмотрел их и, сложив такой же кучкой, тихо положил на место. Потом он посмотрел прикуп: там был пиковый туз, тот самый, которого не хватало Николаю Дмитриевичу для большого шлема. Пройдясь еще несколько раз, Яков Иванович вышел в соседнюю комнату, плотнее застегнул наваченный сюртук и заплакал, потому что ему было жаль покойного. Закрыв глаза, он старался представить себе лицо Николая Дмитриевича, каким оно было при его жизни, когда он выигрывал и смеялся. Особенно жаль было вспомнить легкомыслие Николая Дмитриевича и то, как ему хотелось выиграть большой бескозырный шлем. Проходил в памяти весь сегодняшний вечер, начиная с пяти бубен, которые сыграл покойный, и кончая этим беспрерывным наплывом хороших карт, в котором чувствовалось что-то страшное. И вот

Николай Дмитриевич умер – умер, когда мог наконец сыграть большой шлем.

Но одно соображение, ужасное в своей простоте, потрясло худенькое тело Якова Ивановича и заставило его вскочить с кресла. Оглядываясь по сторонам, как будто мысль не сама пришла к нему, а кто-то шепнул ее на ухо, Яков Иванович громко сказал:

– Но ведь никогда он не узнает, что в прикупе был туз и что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он ясно увидел, было до такой степени бессмысленно, ужасно и непоправимо. Никогда не узнает! Если Яков Иванович станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича. Еще одно бы только движение, одна секунда чего-то, что есть жизнь, – и Николай Дмитриевич увидел бы туза и узнал, что у него есть большой шлем, а теперь все кончилось, и он не знает и никогда не узнает.

– Ни-ко-гда, – медленно, по слогам, произнес Яков Иванович, чтобы убедиться, что такое слово существует и имеет смысл.

Такое слово существовало и имело смысл, но он был до того чудовищен и горек, что Яков Иванович снова упал в кресло и беспомощно заплакал от жалости к тому, кто никогда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же страшно- и бессмысленно-жестокое будет и с ним и со всеми. Он плакал – и играл за Николая Дмитриевича его картами, и брал взятки одна за другой, пока не собралось их тринадцать, и думал, как много пришлось бы записать и что никогда Николай Дмитриевич этого не узнает. Это был первый и последний раз, когда Яков Иванович отступил от своих четырех и сыграл во имя дружбы большой бескозырный шлем.

– Вы здесь, Яков Иванович? – сказала вошедшая Евпраксия Васильевна, опустилась на рядом стоящий стул и заплакала. – Как ужасно, как ужасно!

Оба они не смотрели друг на друга и молча плакали, чувствуя, что в соседней комнате, на диване, лежит мертвец, холодный, тяжелый и немой.

– Вы послали сказать? – спросил Яков Иванович, громко и истово сморкаясь.

– Да, брат поехал с Аннушкой. Но как они разыщут его квартиру – ведь мы адреса не знаем.

– А, разве он не на той же квартире, что в прошлом году? – рассеянно спросил Яков Иванович.

– Нет, переменил. Аннушка говорит, что он нанимал извозчика куда-то на Новинский бульвар.

– Найдут через полицию, – успокоил старичок. – У него ведь, кажется, есть жена?

Евпраксия Васильевна задумчиво смотрела на Якова Ивановича и не отвечала. Ему показалось, что в ее глазах видна та же мысль, что пришла и ему в голову. Он еще раз высморкался, спрятал платок в карман наваченного сюртука и сказал, вопросительно поднимая брови над покрасневшими глазами:

– А где же мы возьмем теперь четвертого?

Но Евпраксия Васильевна не слыхала его, занятая соображениями хозяйственного характера. Помолчав, она спросила:

– А вы, Яков Иванович, все на той же квартире?

1899

АНГЕЛОЧЕК

I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему казалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдет год, и еще год, и еще год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его еще больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав, сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орет, на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина била скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: “проси прощенья, щенок”, – и ответ: “не попрошу, хоть тресни”. Перед Рождеством Сашку выгнали из гимназии, и когда мать стала бить его, он укусил ее за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами и бил их и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне Рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый немигающий огонек. Мороз усилился, и когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажженного фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

– Где полуночничаешь, щенок? – крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у нее были засучены, обнажая белые толстые руки, и на безбровом плоском лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо нее, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

– Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыханье отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскаленной лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

– Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, – прошептал он.

– Врешь? – спросил с недоверием Сашка.

– Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

– Врешь? – все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели, после его исключения, показываться к ним. Отец еще раз побожился, и Сашка задумался.

– Ну-ка подвинься, расселся! – сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: – А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я к ним пойду. "Испорченный мальчик", – протянул Сашка в нос. – Сами хороши, антипы толсторожие.

– Ах, Сашка, Сашка! – поежился от холода отец: – не сносить тебе головы.

– А ты-то сносил? – грубо возразил Сашка. – Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ежился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила

до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними веселые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съежившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у нее на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

– А я тебе говорю, что ты пойдешь! – И при каждом слове Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

– А я тебе говорю, что не пойду, – хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подергивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

– Изобью я тебя, ох, как изобью! – кричала мать.

– Что же, избей!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замерзнет, чем пойдет к Свечниковым; поэтому она прибегла к авторитету мужа.

– А еще отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

– Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? – отозвался тот с лежанки. – Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашкина еще рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он еще служил в земской статистике и ничего не пил. Разошелся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его, пьяного, поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненави-

дела их, как книги и все, что связывалось с прошлым ее мужа, дорожила знакомством и хвалилась им.

– Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, – продолжал отец.

Он хитрил – Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

– Ну, ладно! – буркнул он. – Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей еще не пускали в залу, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошел к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста еще не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивленные глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

– Ты неблагодалный мальчик? – спросил он Сашку. – Мне мисс сказала. А я холосой.

– Уж на что же лучше! – ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

– Хочешь лузье? На! – протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дернул собачку. Пробка ударилась по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись еще шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

– Злой... Злой мальчик.

В детскую вошла молодая красивая женщина с гладко зачесанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

– Вот этот, – сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину. – Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил ее, а она вышла за другого, и хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

– Дурная кровь, – вздохнула Софья Дмитриевна. – Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

– Не хочу, – коротко ответил Сашка, слышавший слово "муж".

– Что же, братец, в пастухи хочешь? – спросил господин.

– Нет, не в пастухи, – обиделся Сашка.

– Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

– Мне все равно, – ответил он, подумав, – хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное ей раздражительное состояние.

– Я хочу и в ремесленное, – скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

– Но едва ли вакансия найдется, – сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая поднявшиеся на затылке волосики. – Впрочем, мы еще посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери, и чей-то голос сказал:

– Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазенки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещенную залу и тихо обходили сверкающую елку. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глу-

бокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим ее восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетенной голубой ленточкой хлопала по ее плечам. Сашка был угрюм и печален – что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвленном сердце. Елка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной желтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая была освещена слабее других и составляла ее изнанку, он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще темных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, и больше, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

– Милый... милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далек и

не похож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей елке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света и нарочно скрылся в темной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жестокостью прикоснуться к его нежным крылышкам.

– Милый... милый! – шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка – важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачесанных волос. Дети окружили ее с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомленно повисла у нее на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

– Тетя, а тетя, – сказал он, стараясь говорить ласково, но выходило еще более грубо, чем всегда. – Те... Тетечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дернул ее за платье.

– Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? – удивилась седая дама. – Это невежливо.

– Те... тетечка. Дай мне одну штуку с елки – ангелочка.

– Нельзя, – равнодушно ответила хозяйка. – Елку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

– Я раскаиваюсь. Я буду учиться, – отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

– И хорошо сделаешь, мой друг, – ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

– Дай ангелочка.

– Да нельзя же! – говорила хозяйка. – Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на ее черное шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и запла-

кал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

– Да ты с ума сошел! – воскликнула седая дама и оглянулась: по счастью, в кабинете никого не было. – Что с тобой?

Стоя на коленях со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на нее и грубо потребовал:

– Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на ее губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

– Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, – поучительно добавила седая дама, – не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом.

"Толкуй там", – думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в нее глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

– Красивая вещь, – сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. – Кто это повесил ее сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с нею делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, – солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

– Ну, на́ уж, на́, – с неудовольствием сказала она. – Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряженными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

– А-ах! – вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и

улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

– А-ах! – пронесся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, – и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

– Я домой пойду, – глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. – К отцу.

III

Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет ее с трудом проникал через закопченное стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

– Хорош? – спрашивал шепотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрогиваться.

– Да, в нем есть что-то особенное, – шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

– Ты погляди, – продолжал отец, – он сейчас полетит.

– Видел уже, – торжествующе ответил Сашка. – Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:

– Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа. Глаза не мигая смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее – бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка – все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе ее, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку ее дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнет его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была ее душа, и внес луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в черную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них исчезло настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и черный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым. Отец несознаваемым движением положил руку на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

– Это она дала тебе? – прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

– А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

– Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? – задумчиво спросил отец.

– Нет, – сознался Сашка. – А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

– А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву...

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дергалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжелую, дрожащую руку, сковырнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

– Ах, Саша, Саша! – всхлипывал отец. – Зачем все это?

– Ну, что еще? – сурово прошептал Сашка. – Совсем, ну совсем как маленький.

– Не буду... не буду, – с жалкой улыбкой извинился отец. – Что уж... зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно настойчиво: "Дерюжку держи... держи, держи, держи". Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикрепленной к отдушине печки, и отчетливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба – и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лег на спину, чтобы поскорее начать смотреть на ангелочка.

– Что же ты не раздеваешься? – спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло и поправляя наброшенное на ноги пальто.

– Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, точно пошел ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой

и безмятежность легли на истомленное лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который еще только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопченное стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжелый запах топленого воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полета, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дернув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.

11–16 ноября 1899

Неопубликованное

⟨*л. 1*⟩

НА ИЗБИТУЮ ТЕМУ

Был уже одиннадцатый час, и я собирался ложиться спать, когда пришел мой товарищ, Николай Николаевич Немоляев, студент 4-го курса. Вошел он торопливо и, не скидая пальто, обратился ко мне:

– Послушай, ты извини...

– Что за глупости. Я очень рад и спать совсем не хочу, – перебил я его. Мне и на самом деле спать не хотелось.

– Да нет, не то. А вот что я принес с собой...

И Немоляев вынул из кармана полбутылки водки и какой-то бумажный сверток. Поставивши водку на стол, ⟨*л. 2*⟩ он сдернул с себя пальто, бросил его на кровать, а[1] галоши с места загнал в угол. Затем достал папиросу и, закуривая ее у лампы, произнес сквозь зубы нетерпеливое:

– Ну?

– Значит, того, опять?

– Да нет же! Разве не видишь, полбутылки. С этого пьян не будешь. А только мне нужно тебе много рассказать... ну и легче рассказывать, когда выпьешь. А ты вели-ка лучше дать посуду, – да нельзя ли, голубчик, самоварчик. Бегал сейчас часа два, промерз и устал, как собака.

А вечер действительно был пакостный. Из окна моей комнатки, выходившего в сад, видно было, как трепались освещенные лампой мокрые листья, и слышно было, как где-то повизгивал ⟨*л. 3*⟩ ветер. Распорядившись чем следует, я вернулся к Николаю. Он стоял у этажерки и перелистывал книжку.

– Ну?

– Сейчас дадут. Да ты что, Николаша, в растрепанных чувствах?

– Да так, пустяки. Ну что сочинение? взялся?

Мы поговорили о зачетном сочинении, которого ни тот ни другой еще не начинали. Перешли к лету и урокам. Я имел хоро-

---

[1] а *вписано.*

ший урок в деревне, а ему пришлось проторчать лето в Москве с 15-рублевым урочишкой и бегать чуть ли не в Сокольники.

– Тоска, – жаловался Николай. – Товарищей никого. Днем еще в читальне, а вечером ложись да умирай. Таскался вечером по бульварам, а где музыка – тоже ⟨*л. 4*⟩ удовольствие. Размалеванные девицы, пошлость, – а увидать миленькое личико еще хуже. Грызет одиночество.

Мы уже выпили по рюмке и принялись за чай. Николай видимо успокоился, и я попросил его перейти к рассказу.

– Выпьем сперва. Ну вот, друже, какой казус со мной приключился: взвесь, обсуди и разреши. Все дело началось с этого шатанья. Гулял я и[2] этот вечер по Пречистенскому, и было мне особенно скверно. Пречистенский бульвар чище остальных, публика порядочная, много хорошеньких. Т.е. не то, чтобы хорошеньких – а[3] так, чистеньких, девичьих лиц. Везде смеются, радуются, везде любовь, жизнь – и вечер такой хороший был – а я один, как пес. Тоска. Да и не тоска, а грусть, когда хочется любить, хочется ⟨*л. 5*⟩ куда-то лететь, хочется плакать, и плакать у кого-нибудь на груди, чтобы тебя ласкала мягкая женская рука. Мне даже нравится такая грусть, но на этот раз было немного слишком. Стемнело уже, началось на бульваре безобразие. Я порешил отправиться домой. Ты знаешь, я живу тут же.

– Знаю. Дом Толбыкина.

– Да. Лезу я по вонючей лестнице к себе наверх, вошел в переднюю, – слышу чей-то женский голос. А темно, ничего не видно. Зажег спичку – осветилось премиленькое улыбающееся личико, а рядом хозяйка.

– А, Николай Николаевич. – Вот проводите-ка барышню. Им надо мамашу встретить. Это новые жильцы у нас. Нынче без вас переехали.

⟨*л. 6*⟩ – Я боюсь обеспокоить, – сказала барышня, но таким тоном, что боязни особенной заметно не было. Ты знаешь, я не развязен, особенно при первом знакомстве, но тут...

– Ты-то не развязен?

– Я-то. Представился, честь честью. Пошли. И знаешь, когда вернулись? Часов в 12, а вышли в десятом.

– Недурно для начала.

– Милый друг, ты вообрази себе человека, ошалевшего от латинских упражнений, почти потерявшего от тоски и одиночества и[4] подобие Божия, и вдруг как с неба свалилось: идет с ним

---

[2] и *вписано.*

[3] а *вписано.*

[4] и *вписано.*

рядом хорошенькая девушка и ласково слушает его. Со мной творилось невообразимое. С одной стороны, я сознавал, что нужно... бросить, а с другой, все усилия употреблял[5], чтобы влюбить ее в себя. Ты знаешь, как я всегда ⟨*л. 7*⟩ двоюсь. Говорят: в нем два человека. Во мне их сидят десятки – и всем им я дал свободу, и все они хотели и добивались одного: ее любви. Я был заразительно весел, печален, насмешлив, поэтичен, пошл, благороден – так разнообразен и интересен – как всякий павлин человеческой породы, когда он перед самкой свой хвост распустит. Во мне говорила[6] так долго неудовлетворяемая жажда любви; в сердце еще бродили мечты, и жалобы, и невыплаканные слезы, и затаенный смех. И все это, как фейерверк, вырвалось наружу и ослепило и Татьяну Николаевну, и меня самого, не ожидавшего такой прыти от заезженной клячи. Вот до чего я был ослеплен: хоть убей, ни слова не помню, что я тогда говорил и что она. Помню только, как менялись интонации ее голоса, то печальные, ⟨*л. 8*⟩ то беззаботно веселые. Помню ее смех. Черт знает что такое! Выпьем?

– Ну а мамаша-то как же?

– Забыли про мамашу! Ей-богу, – я сейчас только сам вспомнил.

– Мило.

– Ну да там увидишь. Пришли домой. Я пожал ручку и отправился в свою комнату. Батюшки, ее голос! Оказывается, она живет в соседней комнате[7], от меня отделяется только перегородкой, да и не перегородкой, а просто запертой дверью. Лег. Слышу, как завозилась она около самой двери, потом скрипнула пружина. Даже вздох слышен[8]. Через минуту доносится шепот:

– Николай Николаевич!

– Что вы?

⟨*л. 9*⟩ – Спите?

– Нет, а вы?

– Нет. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи. До завтра.

Послышался тихий смех. Я тоже улыбнулся – и так, вероятно, с ухмыляющейся рожей и заснул.

Пока Николай говорил то быстро, то как бы приискивая выражения и останавливаясь в такие минуты в своем непре-

---

[5] *Было:* употребил
[6] *Было:* говорит
[7] комнате *вписано.*
[8] *Было:* слышал

станном[9] бегании по комнате, я внимательно приглядывался к нему. Мои наблюдения носили чисто дружеский характер, но все же я предпочел не делиться ими – дружба вещь щекотливая! Так прежде всего я заметил, что Николай подурнел. Его красивое цыганского типа лицо как-то еще более почернело, не посмуглев. Глаза тревожно бегали, с видимой неохотой останавливаясь на моих. Хотя это было обычным их свойством, но на этот раз более резким. ⟨*л. 10*⟩ Обратил я внимание и на другую обычную черту в характере моего друга, на этот раз также более рельефную. Это рисовка. Вернее – крайне заметное желание не рисоваться. Черт его знает, может, он и действительно не рисовался, но напряженное внимание, с которым он следил за собой, и старание резко подчеркнуть свою искренность внушали[10] мне некоторое сомнение[11]. Говоря красивую фразу, он при этом как будто извинялся в ней, – получалось впечатление чего-то деланного. А вместе с тем я видел, что он действительно взволнован, и в голосе его слышались самые искренние нотки. И всегда таков. В своих отношениях к жизни он являлся каким-то странным не то поэтом, не то художником. Из всякого действительного случая он делал сочинение. И он не жил, ⟨*л. 11*⟩ а как будто роман писал. И сейчас, – я знал, что все передаваемое им правда, а вместе с тем выходил *рассказ.* Очевидно, он сам сознавал это и сдерживался, но не всегда с успехом.

– Дальше я догадываюсь, – сказал я. – Но любопытно, что это за особа?

– А вот погоди. На другой день я имел счастье познакомиться с ее маменькой. Такой отвратительной старушонки я не видал. Маленькая, вертлявая, как обезьяна, грязная и неряшливая до крайности. Засаленная кофта ежеминутно распахивается на груди и открывает грязную сорочку и такое же тело. Глаза большие, выпуклые, бесцветные, нахальные и бессмысленные в то же время. Веки и большой отвислый нос красны. На ее лице этот нос изображал собою первого комика, а губы, тонкие и манерно сжатые, ⟨*л. 12*⟩ – благородную мать. Нос у нее менял цвет по настроению, переходя от невинно-розового колера к самому прозаически-багровому, пьяному цвету. А губы изрекали такие сладости и нежности, все время хранили такое приторно-льстивое, слащавое выражение, что через полчаса я почувствовал

---

[9] непрестанном *вписано в оставленное ранее пустое место.*
[10] *Было:* внушала
[11] *Было:* сожаление

себя как бы обмазанным медом и затем старательно облизанным. Фу, мерзкая старушонка!

В комнате тоже грязь и беспорядок. Валяются кофточки, юбки, подметать,[12] очевидно, не рассчитывают. На столе застывший жареный картофель и грязная тарелка. Но и мать, и дочь этим очевидно не смущались. Да и я грязь и прочее заметил только впоследствии, а тут было не до того. Затмение, понимаешь? С дочкой была она, т.е. Вера Дмитриевна, ⟨*л. 13*⟩ так же ласкова, как и со мной, но дочь фыркала. Это я тоже заметил только впоследствии. А в первый визит – "визит" – я только и делал, что млел и почтительно, хотя и бессознательно, ухаживал за маменькой. Это показывает, насколько нравилась мне дочка.

– Ну а хорошенькая она?

– Очень. Без преувеличения. Такое, как бы тебе[13] сказать, чистенькое личико. Детски шаловливый носик, как и водится, слегка приподнятый вверх, глаза карие, быстрые, то шаловливые, как и носик, то глубоко наивные и простодушно изумленные. До того наивные, что даже подозрительно. Губки пухлые и розовые, особенно верхняя, выглядывали тоже по-детски, – но в них замечалось кое-что уже другое. Какая-то незаметная складочка, какое-то особенное капризное вздергивание показывали не ребенка, а уже пожившую и немного поплакавшую ⟨*л. 14*⟩ женщину. Особенно когда Татьяна Николаевна разговаривала с матерью, – губы ее приобретали жесткое, отталкивающее выражение. Хотя мне сообщили, что "Танечке" всего 17 лет, я все же почему-то сразу решил, что она не девушка. Но странно – меня мало интересовал вопрос, кто они такие. От Татьяны Николаевны накануне я мельком слыхал, что она училась в институте, но этим и ограничивались мои сведения.

К вечеру, однако, кое-что объяснилось.

Сбегал я в комитетскую столовую, пообедал, а потом по своей милой привычке улегся отдохнуть. Сквозь сон слышу.

– Да тише ты, говорят тебе, – голос Татьяны Николаевны.

– Танька, садись работать, – пьяный голос маменьки.

– Вот мученица-то я, Господи! Да когда же ⟨*л. 15*⟩ меня с тобой развяжут? – в голосе звучат[14] слезы. Минутное молчание, затем что-то падает, стул, кажется.

– Подыми! Слышишь, подыми! – возвышает голос старуха.

– Сама подымешь.

---

[12] *Далее было:* тоже

[13] *Вместо:* тебе – *было:* это небо

[14] *Было:* звучали

Я поспешно вскочил с кровати, ожидая бури, но после недолгого затишья за стеной послышалось пьяно-слезливое бурчанье, монотонное и затихающее. Через час в дверь стукнула Татьяна Николаевна и совсем веселым голосом спросила:

– Что же? Гулять пойдем?

Первые минуты прогулки я чувствовал себя неловко и искоса поглядывал на лицо Татьяны Николаевны, стараясь уловить на нем следы бури. Но таковых не оказалось. Носик был также беззаботно шаловлив, а глазки наивны. И я успокоился и забыл грязную сцену. ⟨*л. 16*⟩ А потом... потом началось вчерашнее. Не могу вспомнить, что мы говорили. Только начали, кажется, проскальзывать намеки на прошлое и будущее. Опять она смеялась, и я был счастлив. Татьяна Николаевна кое-что читала – и об этом потолковали. Ей-богу, не знаю, умно или глупо было то, что она говорила. Дело в том, что она так мило говорила сама, так ангельски наивно смотрела на меня, когда чего-нибудь не понимала в моих речах, что я почел бы за особое в ней достоинство, если бы она совсем ничего как есть не понимала. Дома я еще крепче пожал ее ручку, но спать улегся менее счастливым, чем вчера. В душе проснулся червячок и начал сосать: "а ладно ли[15] ты поступаешь, Николай Николаевич?" Но я – этого червячка – раздавил.

Опять в дверь тихонечко: стук, стук.

– Спите?

⟨*л. 17*⟩ – Нет, а вы?

– Нет. Спокойной ночи.

– До завтра?

Но завтра то же. Старушонки целый день не было видно, куда-то запропастилась. Вечером пошли гулять и гуляли до поздней ночи. Но веселье мое стало проходить, и я мало-помалу начал впадать в минорный тон. Пустился в рассказы о своей прежней многострадальной жизни, и[16] хотя в свои рассказы вплетал, по обычаю, иронию и насмешечку, но...

Ах, голубчик ты мой! Ну и скотина, ну и скотина же я!

Не помню, в этот вечер было это или в следующий, только сидели мы с Татьяной Николаевной в сквере, около храма. Хотя был уже август в половине, но ночь стояла теплая и полная той особенной тишиной, когда ⟨*л. 18*⟩ слышишь биение своего сердца; слышишь как будто, как падает звезда. Даже пролетки извозчиков грохотали мягко и таинственно, как отголосок какой-то

---

[15] *Было:* же

[16] и *вписано.*

другой, но тоже хорошей жизни. Это была такая ночь, когда любить, быть любимым является необходимостью. Электрические фонари около храма бросали такие красивые тени на дорожки, что только луне впору. Ну...

Николай продолжительно вздохнул, выпил рюмку водки и совсем без толку ткнул вилкой рядом с куском колбасы. После долгих и старательных усилий поймал его, положил обратно и закурил папиросу.

– Да... Ну вот пустился я в рассказы. Нечего говорить, излагал предмет соответствующим языком, как говорил наш преподаватель словесности. Т.е. жалобно и не без красноречия. Так жалобно, что самому ⟨*л. 19*⟩ смешно стало, и я к концу ввернул какую-то буффонаду. Смеюсь и ожидаю от нее того же – молчит. Что за странность. Заглянул я к ней поближе в лицо – она сидела спиной к свету – и я не понял. Вижу я у ней в глазах две крупных блестящих слезинки. Вот показалась по щечке одна, за ней другая. А лицо строгое, и смотрит она мне прямо в глаза, не моргая. Вероятно, моя физиономия была очень чудна – только она внезапно улыбнулась, расцвела. Да слезы как будто сразу высохли. Смеется. Я тоже довольно глупо улыбнулся, но опомнился, беру ее за руку, спрашиваю:

– Голубушка, чего вы? Что с вами?

Молчит.

– Нет, скажите, отчего вы?..

– Вот еще чудак-то! – рассмеялась она. – Рассказывает такие вещи – и потом удивляется!

⟨*л. 20*⟩ А потом мы начали говорить что-то смешное. И я говорил смешное, и она. И так мы смеялись, что идти не могли. Помню, остановились около столба. Взглянем друг на друга – и снова хохотать. И так было весело, так необычно хорошо, без малейшей горечи в душе, – что потом уже никогда так хорошо не было. Дома, прощаясь, я поцеловал ей руку. Затем[17] еще раз простились, через дверь, по обыкновению. Я долго не мог заснуть. Сперва было очень весело и вспоминались все смешные вещи, так что я улыбался во весь рот и жалел, что она спит и я не могу ей рассказать. А потом настроение начало падать. Вспомнил я ее слезинки. Вспомнил и то, чем они были вызваны, т.е. не рассказ самый, а вот то, пережитое. И – хочешь веришь, а хочешь нет – у меня самого показались такие же слезинки. Но мне не было больно, нет. Я был как будто другой, и ⟨*л. 21*⟩ мне по-особенному, по-хорошему было жаль себя... нет, не себя,

---

[17] *Было:* Потом

а того глупого, несчастного Николая, про которого я рассказывал. Было жаль без обычной горечи, без гнева, без ненависти, а так спокойно, хорошо жаль. "Глупый, глупый", – подумал я с тихой улыбкой, повернулся на бок и заснул.

– Ты не смеешься, Леонид? – спросил меня Николай, после минутной паузы, во время которой он подкрепил себя рюмкой водки, рассеянно выпитой и рассеянно закушенной. Водка на него, видимо, не действовала – и я без упреков совести возобновил запас ее. Меня интересовал – не рассказ самый, а рассказчик. "Какова была правда?" – думал я.

– Нет, зачем же смеяться? – ответил я. – А только мне кажется, что ты немного... живописуешь.

– Вот эти люди! – сердито воскликнул Николай. ⟨*л. 22*⟩ – До того они привыкли к рутине слов, до того привыкли, если не чувствовать, то выражаться по шаблону, что когда вот так заговоришь от души, от сердца, без обязательных умалчиваний – они уже думают: сочи-не-ние! Ведь вот небось, когда читаешь, веришь, что правда...

– Оно так-то так. Когда читаешь, оно действительно на правду смахивает, а вот когда слушаешь – немного как будто живописно. Да ты не сердись. Выпьем-ка. И я выпью.

– Нет, ей-богу, возмутительно! – продолжал, выпивши, Николай. – Почему вот мне и дороги эти слезинки. Только у простых сердцем можно найти их – не у вас, скотов, мудрствующих лукаво. Ах, эти слезинки... Сколько видел я женских слез. Проливали надо мной и слезы гнева, и жалости, и гражданской скорби; плакали ⟨*л. 23*⟩ обиженные мною, плакали обидевшие меня, и противны мне эти слезы. Ненависть в них была, злость, дьявол в них сидел. Ах, сколько чертей сидит в каждой женской слезе, если бы ты знал! А в этих – любовь в них была, Бог в них был.

– Бог? – протянул я.

– Ну да, Бог, – ты понимаешь меня. Вот только еще слезы матери были, пожалуй, такие – да я не понимал их тогда. Помню...

– Ну продолжай, продолжай, – перебил я. – Оставим слезы в стороне.

– Хорошо, – засмеялся Николай. – Правды ищет, а слезы в стороне хочет оставить! Ну да ладно. Впрочем, на минутку вернусь к ним. Видишь ли, на другой день, поутру, я со свойственной мне проницательностью догадался, что эти слезы были рассчитанным кокетством. Но потом мне стало совестно. И жалко мне ⟨*л. 24*⟩ стало Татьяну Николаевну, и хотел я бросить всю эту историю – потому, что же я, кроме слез, могу дать человеку? – но было поздно.

– Как всегда, – заметил я.

– Именно. Да нет, пожалуй, я и бросил бы, но Татьяна Николаевна стала кокетничать самым отчаянным образом. Я обозлился, забыл слезы, – ну и поехало. Через несколько дней, вечером, – в том же сквере я сделал ей форменную декларацию.

– Как я к вам отношусь? – спросила Татьяна Николаевна самым невинным тоном. – Да никак.

– Т. е. это как, никак?

– Да так. Думаю, что вы хороший человек. Ну еще что ж?

– Ничего-с, – ответил я. Нужно тебе заметить, что во время объяснений я бываю круглее самого круглого дурака. С торжественной глупостью ⟨*л. 25*⟩ проводил я ее домой, бесконечно сухо простился – пришел в свою комнату свирепей молодого прокурора. Только что хотел закрыть дверь на крючок, слышу легкие шаги – Татьяны Николаевны. Красная почему-то, как кумач, и глаза блестят.

Я стою в сухо-выжидательной позе.

– Николай Николаевич, дайте, пожалуйста, спичек, мне нечем лампу зажечь.

– Извольте.

– Спокойной ночи, – протягивает мне руку. Я джентльмен-джентльменом пожимаю горячие пальчики – и поспешно выдергиваю свою руку.

– Спокойной ночи, – еще раз повторяет она.

– Спокойной ночи.

Она поворачивается уходить, но на секунду останавливается, смотрит на меня – и смеется, дьявольски обидно смеется. Уходит.

Я скриплю зубами, моментально составляю ⟨*л. 26*⟩ тысячу мрачных планов, до самоубийства включительно, – но останавливаюсь на одном: буду ходить по комнате, буду топать ногами, пусть не спит, всю ночь буду ходить.

Хожу, топаю. Заглядываю в зеркало и вижу до ужаса мрачную физиономию, так что заинтересовываюсь и останавливаюсь. И можешь поверить, не только не засмеялся, но даже в лицо себе скрипнул зубами, сверкнул очами – и отправился снова в бесконечную прогулку.

Стук, стук.

"Стучи себе, не откликнусь".

Стук...

– Николай Николаевич, – шепот.

– Что прикажете? – отвечаю свирепым шипеньем[18].

---

[18] *Было:* шепотом

– Возьмите записку, под дверью.

Беру записку, читаю: “Как вы глупы, Николай Николаевич. Отвечайте запиской, а то мама ⟨*л. 27*⟩ услышит”.

О богиня, если бы ты могла воспеть мой гнев. Да куда там! – Хожу, топаю. Под дверью шуршит бумага и слышится шепот... “Возьмите”. Презрительно смотрю на бумагу, но все же беру и читаю: “Милый мой, как ты не понял, что я люблю тебя и приходила поцеловать тебя”.

Богиня, милая! Дурак! идиот! Дверь, да смотрел ли кто-нибудь на тебя таким глупым, таким любящим, таким смешным взглядом, как я. Прикладываю губы к замочной скважине и шепчу:

– Милая, голубочка, Танечка...

Но слышу ответное:

– Тс... Пишите.

От роду я не писал с такой быстротой. Даже задачи в гимназии не так быстро списывал. Часов до 4-х мы переписывались, пока маменька что-то не забурчала. Закончили переписку ⟨*л. 28*⟩ единогласным решением поцеловаться через дверь, для чего она стуком обозначала то место, к которому приложатся ее губки. И я, двадцатичетырехлетний балбес, самым серьезным образом приложился губами к грязной двери и насилу от нее оторвался. Ей-богу, эта дверь самая счастливая из всех дверей, поскольку я их знаю. Как ты думаешь? Да, была еще одна записочка, очень характерная. Постой, я тебе сейчас ее прочту...

Николай, порывшись, вытащил из кармана целую кипу каких-то клочков и, заметив мое тревожное движение, засмеялся.

– Не бойсь, не бойсь – всех читать не стану. Хотя следовало бы. Вот она.

Я прочел: “Милый, ведь ты знаешь, какая я гадкая, и я тебе не могу сейчас рассказать, мне очень тяжело это. Мы будем очень несчастны, потому что я недостойна тебя”.

– И ты ответил?

⟨*л. 29*⟩ – Ответил, конечно, что мне дела нет, какая она, что я люблю ее и что я недостоин ее, а не она.

– Одним словом, вполне оказался на высоте “молодого дурака, лишенного всех пяти чувств”, – заметил я не без иронии. Любовь составляла постоянный предмет наших споров. Меня возмущал тот культ ее, которому с неистовством предавался мой друг. Если б он любил еще женщину как таковую, это я мог бы объяснить темпераментом, что ли, – но он[19] всякую недурнень-

[19] *Было:* и

кую мордочку окружал сверхъестественным ореолом и потом то бухался перед ней, как самоед перед своим фетишем, то, как тот же самоед, сек ее. Да и во всех смыслах он был самоедом.

– Ну что же дальше? – спросил я.

– По наклонной плоскости. Дня три пробавлялись сантиментами. Разговоры вели соответствующие ⟨*л. 30*⟩ случаю – т.е. совсем бессмысленные. Свое счастье я держал, как воду на блюдце, ежеминутно опасаясь расплескать его. Объяснений поэтому слов "я гадкая" – я не требовал и удовольствовался ее смутными намеками. Все-таки узнал довольно много. Узнал, что мать ее пьяница, еще институткой продала ее какому-то господину и что сейчас Татьяна Николаевна находится на содержании у "Алексея Егорыча", который на лето уехал не то на Кавказ, не то в Крым. Но от подробностей я уклонялся, прямо-таки боясь вопроса о будущем. Иногда он всплывал, помимо воли, но я торопился чем-нибудь замять его, и это мне удавалось. Татьяна Николаевна была так мила, небо над нами так безоблачно, и все в мире так хорошо и красиво, что всякая грустная мысль казалась святотатством на этом празднике жизни. ⟨*л. 31*⟩ И странно сказать – праздник этот кончился в тот момент, когда наконец Татьяна Николаевна отдалась мне. Не было счастья в этом сближении. Татьяна Николаевна плакала, отдаваясь, и целовала меня так, как будто прощается со мной навеки. Она притягивала руками мою голову к себе и полными слез глазами всматривалась в лицо, как будто старалась запомнить, врезать в свою память его черты. А я чувствовал в душе холод и, рассеянно отвечая на ее поцелуи, думал: "А Алексей Егорыч?" Уж не попрежнему робко копошился этот вопрос – а во весь свой рост вытягивался предо мною, грозный, как... капрал перед прусским солдатом. И простились мы с ней поспешно – она была в моей комнате – и без привычных нежностей. Крепко целуя ее руку, я сознавал, что ⟨*л. 32*⟩ целую крепче, чем мне хочется, – появился первый признак неизбежной и ненавистной мне фальши. И даже через дверь на этот раз, кажется, не простились.

На другой день все это было забыто, – и целую неделю мы были счастливы, счастливы, как молодые животные, не думающие – и не анализирующие. Мы резвились как дети, смеялись, дразнили друг друга, даже слегка ссорились – и с полным успехом изображали двух маленьких бебе... конца века! Досадные мысли, как и прежде, добирались в моем сознании только до порога[20], откуда я их турял в шею. В голове у меня само по себе без

[20] только до порога *вписано.*

приглашения устроился своего рода цензурный комитет, весьма бдительно охранявший мое душевное спокойствие.

Так, не были допущены к печати:

Гнев маменьки. Для него было два повода. Primo* отсутствовали деньги, а следовательно, и водка. ⟨*л. 33*⟩ Нос отвис еще ниже, хотя цвет стал благообразнее. Губки сжались еще манернее. Впрочем, губки относятся ко второму поводу, т.е. ко мне. Очевидно, Вера Дмитриевна, как всякий порядочный купец, решительно не могла помириться с мыслью, чтобы даром отдавалось то, что стоит денег. Самой сладенькой улыбочкой приветствуя меня, она одолевала меня рассказами о том, как вот баловали ее Танечку, какие чудные дарили ей вещи, очень жалела студентов, потому что все они[21] такие бедные, и если имеют две пары брюк, то вторую обязательно стараются спустить татарину.

– Я очень люблю студентов, – говорила она, ласково уставясь на меня своими буркалами и кокетливо оправляя на груди распахнувшуюся кофту, – они такие умные и благородные. Хотя, говорят, бывают промеж них и совсем нестоящие. Драчуны, пьяницы ⟨*л. 34*⟩ – пропьют свои денежки, за чужие хватаются. – Далее она пускала такие инсинуации[22], свойства общего и частного, что Татьяна Николаевна не выдерживала и прикрикивала на нее.

– Да я что же, Танечка. Они сами знают, сами студенты. А ты бы вот, Танечка, чем день и ночь по бульварам шлындать и ихним занятиям мешать, лучше бы кофту себе дошила. Месяц уж шьешь. И комната не подметена. Хоть бы вы ее, Николай Николаевич, постыдили...

Но дочка огрызалась, и старуха, в трезвом виде как будто побаивавшаяся ее, умолкла. А Николай Николаевич хоть и видел, что в комнате действительно грязно и кофточка давно уж шьется, – в рассуждения по этому поводу не вдавался, ибо перед самым носом моим[23] были чистенькие глазки и розовые щечки. ⟨*л. 35*⟩ Один день и Татьяна Николаевна, и маменька были чем-то заметно взволнованы и шептались между собой с небывалым дружелюбием. Потом Татьяна Николаевна попросила меня проводить ее "по делу". Я проводил ее до большого дома на Никитской, куда она вошла, попросив меня обождать. Вышла она еще более взволнованной и всю дорогу рассеянно отвечала

---

* Во-первых (*лат.*)

[21] они *вписано.*

[22] *В рукописи:* носиниации *(видимо, ошибка переписчика)*

[23] моим *вписано.*

на мои нежности. А когда я упрекнул ее, она скорчила наивно-кокетливую рожицу, быстро оглянулась кругом и, не видя на бульваре никого, кроме старика, заснувшего над газетой, – схватила меня за уши, притянула к себе и поцеловала. Все это было сделано так быстро, что, когда я неуклюже растопырил руки, чтобы обнять ее, – она уже чинно шла рядом и строго-вопросительно смотрела на меня.

– Милостивый государь! На бульваре? ⟨*л. 36*⟩ – но потом опять задумалась. Вечером она была уже, как всегда, веселой и говорливой, так что я совсем забыл об утрешнем, когда она сказала:

– А знаешь, Коля, Алексей Егорыч остается на Кавказе.

– Ну? что же?

– Мы... он разошелся со мной.

И тут я, остолоп, не мог отнестись серьезно. Сперва обрадовался, потом – вот уже начало подлости! – огорчился: значит, нужно думать, что-то делать...

Но и радость, и огорчение промелькнули, не оставив следа. Что такое Алексей Егорыч? Для меня он был абстракцией, даже не неприятной. Никогда я его не знал, никогда не видел – и интересовался им лишь потому, что Татьяна Николаевна говорила о нем. Ребячество проникло меня насквозь, и я вполне серьезно ⟨*л. 37*⟩ думал, что все будет идти по-старому. Не пронялся я и на следующее утро, когда маменька повезла закладывать швейную машинку.[24] Вернулась маменька пьянои, но я ушел в читальню – оберегать свое спокойствие. Потом как будто и вправду все пошло по-старому. Гуляли, целовались, каждый вечер пили у меня в комнате чай. Татьяна Николаевна забралась в мой дневник, читала его, а раз, на особо чувствительном месте всплакнула. Хоть и на этот раз я умилился, но в степени значительно слабейшей. Даже мелькнула, кажется, мысль: "Институтка!" Ибо на жизнь надо смотреть трезво, не млеть или ныть, а отыскивать причины.

– Если бы ты всегда так делал, – заметил ⟨я⟩. – Но пока в твоем рассказе я не вижу ничего особенного. История самая обыкновенная.

⟨*л. 38*⟩ – Да кто ж тебе говорит, что необыкновенная? Обыкновенная, заурядная – в этом-то вся соль. Ты слушай дальше. Както мимоходом Татьяна Николаевна заметила, что у них нет денег и мать злится. Я обошел этот пункт молчанием. Если почти

---

[24] *Текст:* На избитую тему ~ швейную машинку. (*л. 1–37*) – *написан рукой неуст. лица.*

всегда в столкновениях с жизнью я, на манер страуса, прячу голову под крыло, то при вопросе о деньгах это мое священное правило. Все можно сделать: можно "Гражданин" уличить в радикализме, можно открыть Северный полюс, можно гору, наконец, сдвинуть, но достать целковый, когда его нет и он нужен до зарезу, – нельзя. Это предел, положенный современному голяку.

– Ну что толковать, сам знаю, – нетерпеливо отозвался я.

– Что же было мне делать? Естественно: замять дело. На другой день, а не то через ⟨*л. 39*⟩ день пошли мы с Татьяной Николаевной на Тверской бульвар послушать музыку. Я был болтлив, но Татьяна Николаевна реплики подавала вяло. На[25] средине одного весьма занимательного рассказа она перебивает меня:

– Ах, Колечка, как есть хочется!

– Да почему же?..

– Мы нынче ничего не ели, и вчера тоже очень мало.

Ах, комитетский обед! Трижды благословенный комитетский обед, как я проклинал тебя на этот раз! Нет, если кормить бесплатно, так уж всех кормить. А то идти с набитым брюхом рядом с голодным человеком, человеком, которого ты еще вдобавок любишь... И как мне совестно было: я смеюсь, болтаю, а она... Присмотрелся к ней: личико побледнело, вытянулось, глаза округлились. А ⟨*л. 40*⟩ тут музыка жарит "Цыганского барона" и кругом сытые, лоснящиеся физиономии. И у них в кармане небось деньги, а у меня... Ей- богу, если бы можно было, украл бы!

– [26]Украсть всегда можно, а только ты не украдешь, – возразил я. – Пороху у тебя не хватит.

– Может, и хватило бы. Ведь достать больше[27] неоткуда. Будь еще дело осенью, у товарищей раздобылся бы, а тут... Ни[28] заложить, ни продать. "Убеждений" – и тех нет; да и не в цене товар этот с тех пор, как изготовляется на фабриках и продается оптом. Ну да чепуха все это, а дело в том, что иду я рядом с Татьяной Николаевной – и чуть не плачу от злости и от жалости. Уже она сама успокаивать меня начала: "Завтра достанем, не огорчайся". И, о подлость человеческая! – мне легче от этих уверений, и ⟨*л. 41*⟩ я хочу, чтобы она продолжала их, хотя знаю, что гроша ломаного они не стоят. А мысль все сверлит: ты мужчина, у тебя руки, у тебя голова... Эх!

---

[25] *Было:* в се⟨редине?⟩

[26] *Далее было начато:* В⟨сегда?⟩

[27] больше *вписано.*

[28] *Далее было начато:* пр⟨одать?⟩

На бульваре встретили мы старушонку, мать т.е. Она сидела, закутавшись в какой-то невозможный платок, и проводила меня пристальным взглядом, полным самой жгучей ненависти. И я потупил глаза. Что ни говори, а я[29] должен[30], должен был достать денег, хоть из земли выкопать, а достать!

Когда мы следующий раз подходили к месту, где сидела старушонка, я заметил подле[31] нее офицера, за которым она видимо ухаживала.

– Колечка, пойдем назад, я не хочу проходить мимо нее, – сказала Таня. Но не успели мы повернуться, налетела маменька, рванула Татьяну Николаевну за рукав и прошипела:

⟨*л. 42*⟩ – Иди сюда.

А мне без всякой сладости, против обыкновения:

– Можете, Николай Николаевич, нас не ожидать.

Потом, через час, я видел Татьяну Николаевну, гулявшую с офицером. Он шептал что-то, наклонясь к самому ее лицу и держа ее под руку; она улыбалась. Я отправился домой.

Не могу сказать, чтобы я очень мучился. Я одеревенел как-то. Дома спокойно напился чаю и уселся что-то рисовать. Катька, девчонка, прислуживавшая мне и привыкшая видеть меня с Татьяной Николаевной, спросила про нее. Я спокойно соврал что-то. Только забилось немного сердце, когда раздался звонок, и в соседней комнате послышались нетвердые шаги...

Одна!

Стараюсь углубиться в рисунок, но не могу сообразить, в чем дело. Хорош, должно ⟨*л. 43*⟩ быть, вышел – я так его потом и не видал. За стеной голоса. Старуха пьяным языком сообщает хозяйке:

– А Таня на два дня на дачу уехала. Пусть подышит чистым воздухом. И то она уж заскучала.

Хозяйка равнодушно поддакивает, хорошо, очевидно, понимая, что это за дача.

Через полчаса[32] старуха обращается ко мне:

– Николай Николаич!

Молчу.

– Николай Николаич!

– Ну что вам?

---

[29] *я вписано.*

[30] *Далее было:* был

[31] *Было:* возле

[32] *Далее было начато:* Ве⟨ра Дмитриевна⟩

– Не хотите ли рюмочку водки выпить?

Потемнело в глазах, но сдержался. А что, не выпить ли нам? За твое здоровье! Нет, напрасно говорят против водки. Раз все равно хлеба[33] не хватает, самое лучшее делать из него вино. Всем хватит... Ну, и заснул я совсем спокойно, ⟨*л. 44*⟩ только засыпая, мельком вспомнил: а сейчас они... Проснулся поздно: Татьяны Николаевны еще нет. Пошел шататься[34], хотя погода была дрянь. Шатался долго, до устали. Не то, чтобы обдумывал, но перебирал вчерашнее. И опять-таки не было острой боли, а как будто камень навалился, давит. Вопрос о том, как быть дальше, решался сам собой. Продолжать отношения невозможно – это ясно. Значит, конец.

Зашел домой на минутку. Внизу, у лестницы, встречает меня Татьяна Николаевна. Одета во все черное, лицо измученное, и не то робкое, не то до странности строгое. Как будто из Марфиньки она в одну ночь обратилась в Веру. И когда я ее увидел, я забыл и спокойствие свое, и жалость, которую минутами к ней чувствовал, – такая охватила меня злость, такое жгучее желание оскорбить ее, унизить, что, не ручаясь за себя, я хотел ⟨*л. 45*⟩ пробежать мимо. Но она схватила меня за руку.

– Николай Николаевич, мне нужно поговорить с вами.

– Не о чем нам говорить. Пустите. Пустите, говорят вам.

Отшвырнул ее руку и, не оглядываясь, взбежал наверх. Мерзавец же я какой, Господи!

– Послушай, Николай,[35] – сказал я, – неужели ты не понял, что это черное платье было кокетством, рисовкой?

– Что же отсюда следует? Если она хотела подчеркнуть свое горе, так это вполне разумно. Печатай свое горе курсивом, иначе его не заметят. Дальше. Сбегал я в комитетскую, пообедал, потом посидел в читальне – домой вернулся поздно. Не поспел раздеться, входит Татьяна Николаевна.

– Мне нужно с вами поговорить.

⟨*л. 46*⟩ – О чем говорить, Татьяна Николаевна? Все ясно.

– Мне нужно с вами поговорить. Пойдемте ко мне.

– Пойдемте, но только...

Пришли. Я сел в углу, за столом. Татьяна Николаевна – против. Облокотилась на стол и в упор смотрит на меня. Бледная, но особенного волнения не заметно.

– Ну-с, Николай Николаевич?..

---

[33] *Далее было:* всем

[34] *Было:* гулять

[35] *Далее было начато:* неуже⟨ли⟩

– Ведь ясно, Татьяна Николаевна. Не будем раздражаться, не будем ссориться. Вы понимаете, что *после этого* наши отношения продолжаться не могут. Ведь если бы я к вам относился легко, как... но вы знаете, я привык вас уважать...

Но тут, друже, произошло нечто неописуемое. Я не успел опомниться, как Татьяна Николаевна сорвалась с места, упала на колена передо мной, целуя руки, захлебываясь слезами; говорила что-то, но я только и мог разобрать: "простите, простите". Я старался поднять ее, ⟨*л. 47*⟩ успокаивал, но она ничего не слушала и плакала, плакала жалобно, как ребенок, всхлипы⟨ва⟩я, давясь слезами, бормоча: "прости, прости". Потом, стиснув зубы, с помутившимся взглядом, начинает биться головой о стол, царапает себе лицо, руки – и, обессилев, вновь припадает к коленам, и только плечи вздрагивают от рыданий, которые душат ее.

Наконец – я ее поднял, усадил; дал стакан воды, которую она выпила неровными, порывистыми глотками, стуча зубами о стекло. Несколько успокоилась.

– Ну к чему это, Татьяна Николаевна? – успокаивал я. – Ведь ничего этим не переменишь...

– А, так вот вы какой! – вскочила она и, схватив со стола нож, такой длинный и острый, которым хлеб режут, с самым сумасшедшим видом замахнулась на меня. И думаю, если бы я шевельнулся, сказал что-нибудь, – она воткнула ⟨*л. 48*⟩ бы его в мою грудь. С самого начала я заметил, что к ее искреннему отчаянию примешивается значительная доля комедиантства. Ars amandi* недаром так долго проходилась ей; она невольно, рабски подчинялась укоренившимся привычкам ко лжи, к преувеличению. Могло быть меньше слез, меньше крику – и больше царапин, и более глубоких. И ее угроза или попытка убить меня – наполовину была притворна. Но на другую половину Татьяна Николаевна все-таки была сумасшедшей, – и нужно было очень немногого, чтобы комедию довести до драмы.

В свою очередь я, совсем уже было порабощенный и смягченный[36] слезами, попыткой[37] напугать меня, был возмущен в своем мужском самолюбии. Как это ни странным кажется мне теперь, но в тот миг во мне исчезло всякое к ней сострадание, – и когда она, бросив со звоном нож, снова начала в слезах биться

---

* Наука любви (*лат.*)

[36] *Далее было:* ее

[37] *Было.* угрозой

⟨*л. 49*⟩ у моих ног, я мог ответить ей только сухим, самому себе противным: "успокойтесь, выпейте воды".

– Колечка, дорогой, клянусь, я больше не буду. Я стану работать, поступлю в магазин, прости меня, прости же, наконец! – твердила она, ловя мои руки. Но это мелодраматическое "клянусь", хотя, быть может, вполне искреннее, резало мое ухо, привыкшее к словесной аккуратности и умеренности. Я думал: "как она не догадалась[38] распустить волосы – картина была бы полная". А когда она снова начала грозить, но теперь уже обещанием убить[39] не меня, а себя, – я почувствовал себя совершенно спокойным и даже правым. Отравиться! Я видел одну такую женщину, отравившуюся нашатырем: пока мой приятель бегал по комнате, вцепившись в волосы и не зная, за что ухватиться, она одним глазом, искоса, наблюдала ⟨*л. 50*⟩ за ним...

Ах, милый мой, как все мы извращены, как привыкли гоняться за формой, в какой выражается чувство, – и какими подчас подлецами эта привычка делает нас!

Видя, что Татьяна Николаевна не успокаивается, я предложил ей пойти гулять[40], рассчитывая, что воздух освежит ее, да и сдержаннее она будет на улице. Расчет оправдался, но не совсем. Хотя Татьяна Николаевна внимательно слушала мои слова и даже отвечала, но иногда срывалась и принималась за прежнее. Но, как надоевшее повторение, слезы перестали действовать на меня, а угрозы раздражали; вырвав у нее из рук пузырек с безвредными каплями, которыми она хотела травиться, я прибег наконец к праву сильного и пригрозил уйти от нее. Она сразу ⟨*л. 51*⟩ притихла и только минутами слегка всхлипывала, как не вполне успокоившийся ребенок. И, вероятно, дело кончилось бы разрывом, если бы не одна сценка, сильно всколыхнувшая мое художественное чувство и ударившая по нервам. Тебе странным кажется это, но я, пропитанный нашими психологически-реальными романами, временами совсем перестаю понимать жизнь, если не могу вдвинуть ее в излюбленные рамки.

Проходили, видишь ли, мы по набережной и дошли уже до Александровского сада. Погода была совсем осенняя. Мокро, грязно, плиты панели блестят. С каждым вдыханием в грудь вместе с сырым, осклизлым воздухом входит тоска, тупая, гнетущая, осенняя. Поравнялись мы со спуском к воде: на ступенях сидят две мокрых, пьяных, грязных[41] женщины и голосами, осип-

---

[38] *Далее было:* волосы

[39] *Далее было:* себя, а

[40] *Было:* погулять

[41] *Вместо:* мокрых, пьяных, грязных – *было:* мокрые, пьяные, грязные

шими ⟨*л. 52*⟩ от простуды, водки и сифилиса, поют, скорее голосят излюбленную московскую песенку:

– Для тебя одного, мой любезнай,
Я, как твет ароматный, твела.

Злая ирония!

– .....мой любезн-а-й,
Я, как твет ароматный, твела...

Я улыбнулся, но Татьяна Николаевна порывисто выхватывает свою руку, падает головой на перила и заливается глухими, но такими отчаянными рыданиями, что я в первую минуту растерялся.

– Что с вами?

– Не знаю... Тяжело... Оставьте меня.

Но я понял. И еще раз мне стало совестно, так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Я возненавидел себя таким, каким был минуту назад: самодовольным, надутым, чуть ли не гордым своей непорочностью ⟨*л. 53*⟩ и непреклонностью. Бывают в жизни минуты просветления, когда встанет перед твоими глазами все необъятное горе человеческое, и ты всем сердцем, всею душой поймешь свое братство с этими грязными грешниками и блудницами – и[42] совестно тебе станет перед ними за ту крупицу чистого и хорошего, которая в тебе есть. Как будто ты украл ее у них. Да нет, даже не совестно, – одинаково жаль и их, обокраденных, и себя, вора. Все мы несчастные, все мы мученики жизни, всех нас давит она своей кровожадной и злонасмешливой бессмысленностью. И ведь пусть бы давил кто-нибудь, а то ведь сами, сами оба несчастные, оба измученные, давим друг друга[43], мясо[44] клочьями вырываем... Эх!..

Николай умолк, уставясь печальными ⟨*л. 54*⟩ и невидящими глазами в стену и с сокрушением покачивая головой.[45]

– Тема, Николай, избитая, – прервал я молчание.

– Нет, Леонид, это слова избитые, а не тема. Да и подлость выражение-то это: тема избитая. Тут перед тобой мучительный, страшный вопрос, тут перед тобой смысл жизни открывается – а тебе говорят: "тема избитая". Ей-богу, иной раз мучаешься вот одним из этих "проклятых вопросов", а людям сказать стыдно.

---

[42] *Далее было:* тебя

[43] *Далее было начато:* мит⟨?⟩

[44] *Далее было:* с

[45] *Текст:* Вернулась маменька ~ покачивая головой. *(л. 37–54) – написан рукой Андреева.*

Избито – ответят, и сейчас тебя или в Гамлетики, или в декаденты, или в другую рубрику – по прейскуранту года. Черт бы побрал этого Шекспира! Своим талантом он стольким[46] умным людям рот заткнул – и стольким дуракам их дурацкую пасть открыл. Ну что скажешь?

– Что скажу? Выпей-ка рюмочку. Это для Гамлетиков полезно. Мысли развивает.

– Быть по-твоему. ⟨*л. 55*⟩ Но вот что, братику, любопытно. Просветление-то просветлением – но откуда оно явилось? Картинка, миленький, эстетикой от вонючей жизни запахло – вот в чем сила. На красоте воспитаны, что поделаешь.

Ну, пока я размышлениями занимался, Татьяна Николаевна плакала. И нужно отдать мне справедливость, я ее не утешал и не успокаивал. Дальше пошло как по накатанному. Я сказал, что прощать мне ее нечего, что пусть будет все забыто, – и мы примирились. Я старался обосновать свое примирение этими самыми размышлениями, но Татьяна Николаевна была очень невнимательна.

– Да, да, конечно, все мы несчастные. Знаешь, Колечка, я прямо завтра утром пойду к Мошкину, мне там место обещали. Потом ⟨*л. 56*⟩ вот еще что: нужно мне с матерью развязаться. Поедом она меня ест. Я думаю хлопотать, чтобы опекуна назначили. Ты, Коля, как думаешь?

Я несколько огорчился ее непониманием, но она была так довольна, что я бросил рассуждения и вскоре погрузился в сладкую бессознательность – в коей до следующего утра и пребывал.

Но когда я проснулся – со мной вместе проснулись тысячи чертей. Я этой недели без ужаса вспомнить не могу. Я тебе говорил, что во мне сидит десяток людей! Ну вот, все они начали поочередно влезать на кафедру и говорить речи, которых я был совершенно пассивным и несчастным слушателем,[47] потому что не мог никуда уйти. О голубчик, что это за мука!

Ораторами были:

⟨*л. 57*⟩ 1) Подлец. Мысли приводил самые подлые:

"И чего ты, Николай Николаевич, – говорил он, – огорчаешься и на стену лезешь? Молоденькая, хорошенькая женщина любит тебя без памяти. Ну и пользуйся, и благодари судьбу. Что она на содержании или должна быть на содержании – тебе что до этого? Ты даже радоваться должен: с тебя, по крайней мере, всякая ответственность снята. Ты говоришь: боюсь обще-

[46] *В рукописи:* столько
[47] *Далее было:* почти

ственного мнения? Пустое. Оглянись вокруг себя – и ты увидишь, что сотни молодых людей пользуются чужими содержанками, что значит иногда: женами, – и это не ставится им[48] в порицание, но вменяется в похвалу. Смотри на жизнь проще и не требуй от нее невозможного. Жизнь не переделаешь, а себя искалечишь. Ну чем ты виноват, что у тебя денег нет? Помнишь, ты любил одну ⟨*л. 58*⟩ барышню и чуть не сдох оттого, что у тебя десяти тысяч не было, чтобы для законного брака купить ее, а дешевле родители не уступали? Что ж тут-то мучиться? Ведь если б у тебя были деньги, ты бы содержал ее? А на нет и суда нет. Воровство, говоришь? Нет. Воровство точно в законе обозначено – это раз; а затем, какое ж это воровство, если честнейшие люди будут тебе за него руки пожимать? Наконец, ты человек образованный, знаешь, что *людей* не покупают. Следовательно, тело Татьяны Николаевны принадлежит ей, а следовательно, и тебе по праву любви, как другому оно принадлежит по праву денег. Ясно. И вспомни, как она любит тебя, как она целовала твои[49] руки. Какой ты, значит, и умный, и хороший, если тебя так любит. И как тебе завидовать будут!"

⟨*л. 59*⟩ И я не замечал сам, как под влиянием этих речей я задирал голову и с победоносным видом озирался[50] на прохожих: любуйтесь, мол[51], какая цаца идет!

Но на кафедру взбирался честный человек – и через минуту я плелся около стеночки, поджимая хвост, как побитая собака. "Да, не преступник ты, Николай Николаевич, – громил он, – а жалкий и мелкий человечишка. Преступник – тот, кто идет сознательно, смело против всех заповедей, и Божеских, и человеческих. Он знает, куда идет и чего хочет; он борется; он принимает на себя ответственность за свою мерзость; он годами каторги, годами мучений платится за хищнически полученное. Он платит за то, что берет. Пусть он вреден, но он человек! А что ты? Мелкий воришка, трусливо подбирающий крохи со стола подлеца, жалкое и бессильное ⟨*л. 60*⟩ создание, паразит, одинаково готовый сесть и на чистую, и на грязную голову. Да, ты готов мошенничать, но только с гарантией от правительства. А не осудят меня? а будут мне руку подавать? Будут? – тогда вылезай из своей щели и вали вовсю. Ты герой среди паразитов! Выше, выше голову! – смотри, как завидуют тебе!"

"Ох, братику, скверно", – говорит честный человек!

---

[48] им *вписано.*
[49] *Было:* твою
[50] *Было:* см⟨отрел?⟩
[51] *Было:* люди

Наконец появилось благоразумное и спокойное третье лицо[52].

"Не паразит ты, Николай Николаевич, а такой же человек, как и все. Слабый, безвольный – это верно, но не сам ты себя таким сделал, и не в твоей власти изменить это. Нет у тебя сил подлецом стать, нет сил и честным сделаться. Сидишь ты[53] между двумя стульями – на том и успокойся. Значит, заботься только о том, чтобы ⟨*л. 61*⟩ меньше страданий и ей, и себе причинить. Спасти ее не можешь, значит, рви, но только пощади, насколько можешь, чужую душу".

Совет хорош – да как порвать-то?

Явился наконец свет-батюшка Мефистофель.

«Ты думаешь спасти ее? И это возможно, по-твоему? Вглядись в нее. Заметь, как глубоко въелся грех в эту душу. Ведь грязь не обволакивает сверху этот "алмаз" – нет, насквозь пропитаны ею и чувства все ее, и желания. И не вытравишь эту грязь ничем. Ты думаешь, она хочет иной жизни, что у нее зашевелилась совесть или сознание падения? Нет – она только любит тебя и хочет угодить тебе, а чем угодить – ей безразлично. Только бы ты не сердился, только[54] бы был весел, не ругал ее и... целовал побольше. До сих пор ты был ослеплен любовью – хоть теперь ⟨*л. 62*⟩ вглядись в нее, вглядись. Да, она всюду пойдет за тобой, даже к хорошей жизни, – но только пока любит. А любовь – вещь непрочная!»

И измучили ж меня все эти мерзавцы. У меня буквально ум за разум заходить начал. И ведь не день, не два, а целую неделю долбили они меня. А тут она, тревожится, отчего я такой мрачный, требует ласк, поцелуев, смотрит мне как собака в глаза. А тут маменька, злющая и каждый день пьяная. Таня худеет, бледнеет – и я худею[55], бледнею[56]. Знаю, что нужно действовать сейчас же, что-то делать – а что и как, не знаю[57]. И вот опять предел: целковый... Не вспомню, где есть у Гейне недурненькая острота. Он разбирает чью-то книжку с таким, кажется, заглавием: "История одного бедного молодого человека". Гейне с чисто эллинской сытостью ⟨*л. 63*⟩ и тонкою иудейскою язвительностью замечает, что книжку лучше следовало бы озаглавить так: "История трехсот талеров, которых не хватало у одного молодого человека". Он мог сострить еще лучше, если бы понял как

---

[52] *Далее было:* в процессе
[53] *Далее было начато:* Си⟨дишь?⟩
[54] *Далее было:* не
[55] *Было:* худел
[56] *Было:* бледнел
[57] *Было:* умею

следует, что "История трехсот талеров" есть история жизни не одного, а бездны молодых людей. В каких неожиданных комбинациях, в каких разнообразных сплетениях[58] проходят эти 300 талеров через всю жизнь, создавая массу неожиданных положений, и комических, и трагических. Что ведь, кажется, общего между розами, соловьями и слезами, с одной стороны, – и 300 талерами[59], с другой? Ничего. А всмотрись[60]: на 10 талеров роз, на два талера соловьев и на один талер слез. Они дешевле всего на рынке, и на один талер можно купить столько разнообразных слез: благодарности, радости, умиления, горя – и ⟨*л. 63а*⟩ даже слез любви. Триста[61] талеров!

Уважать нужно триста[62] талеров!

– Да ведь известно все это, – остановил я дружеский фонтан.

– А черта мне от того, что все это известно!

– Да ведь не с неба ж валятся эти талеры: не ерепенься, а добывай.

– А ежели я не умею? Не умею, да и баста. Я знаю, что другой устроился бы с Татьяной Николаевной и без талера: бегал бы там где-то, хлопотал, что-то говорил – и что-нибудь выхлопотал бы. А я не умею. Достают же люди работу, а я не умею. Камни готов бы колоть – да как я пойду предложу это? А студенческий сюртук? A plusquamperfectum conjunctivi*? А... да черт знает, что там за "а" – а не могу, не могу тронуться с места. Бессилие[63]! – нет хуже муки, когда каждое движение, каждый ⟨*л. 64*⟩ шаг в этой жизни требует силы, силы и силы.

Я начал благородно ретироваться. Т.е. попросту прятаться. Уходил из дому, болтался, как маятник, по улицам, оправдывая себя тем, что таким образом я мало-помалу приготовлю ее к разлуке.

– Послушай, – перебил я Николая, – вот из всех этих господ, которые говорили в тебе, никто не спросил, зачем ты заварил эту кашу?

– Нет. Ибо это вопрос глупый, а говорили мне люди умные. Ты бы лучше спросил: зачем ты, Николай, попал под дождь, когда у тебя нет зонта?

– А по-моему, это называется распущенностью.

---

* давнопрошедшее сослагательное время (*лат.*)

[58] сплетениях *вписано.*
[59] *Было:* талеров
[60] *Было:* всмотришься
[61] *Было:* 300
[62] *Было:* 300
[63] *Было*: Безделие

– Так и запишем. Но дальше, дальше, поскорей кончить. Стал я приглядываться к Тане. Заметил я тут и грязь в комнате, да и общую неряшливость. Кофточка верхняя с кружевцами ⟨*л. 65*⟩ чистенькая, а белье грязноватое. Хорошенькая шейка тоже чиста только до ворота. Поразило меня в ней и полное отвращение к труду. Когда она не бывала со мной, она или валялась на кровати, или сидела на бульваре. Книги, которые я ей давал, читала неохотно и предпочитала слушать меня, когда я читаю. Скучала без меня страшно, и поэтому первое время провожала меня даже в Комитетскую столовую и ожидала меня на улице, к соблазну студентов. Видимо помимо меня у нее не было никаких интересов. Рассуждения на несколько отвлеченные темы слушала рассеянно, зато очень любила слушать страшные рассказы. Обыкновенно поздно вечером на бульваре я пересказывал ей Эдгара По; она смотрела на меня расширенными глазами, по временам вскрикивала, пугалась пробежавшей собаки и прижималась ко мне. Теперь до меня частенько доносилась из-за двери ее ⟨*л. 66*⟩ ругань с матерью, причем меня поражала какая-то закостенелость, какое-то тупое равнодушие. Она произносила самые бранные, самые скверные слова, не меняя интонации, равнодушно. Меня они обе[64] уже не стеснялись[65]. Диалоги были примерно такого характера:

– Опять пьяна? – голос Татьяны. – А сдача где?

– Какая тебе еще сдача? – голос маменьки, от которого так и разит сивухой.

Минутное молчание.

– Какая ты мне мать? Ты черт, а не мать. Разве мать продает своих детей?

– А дети рожают разве в институте? – ехидно возражает мать.

– Ты же виновата.

– Врешь, врешь, подлая девчонка. Без меня пропала бы ты пропадом. Не я тебя устроила с Алексеем Егорычем? Не я, говори? Шкодить только умеете. – Сладеньким голоском: – А вот работать ⟨*л. 67*⟩ не угодно ли? – Грозно: – Танька, садись работать!

– А где работа? Ох, хоть бы Бог развязал меня с тобой. Вот пойду к адвокату и попрошу, чтобы мне дали опекуна.

– А я пойду в участок, чтобы тебе там желтый билет дали.

– Черт старый.

– Шлюха.

И так, с непродолжительными паузами, у них тянулось целый день. Старуха горячится, но тон Тани самый безотрадно деревян-

---

[64] *Вместо:* они обе – *было:* она

[65] *Было:* стеснялась

ный. Иногда старуха полезет драться, но Татьяна Николаевна прикрикнет на нее, и та успокоится.

Я не раз упрекал Татьяну Николаевну, зачем она унижает себя до ругани. "Ведь это ж самой должно быть омерзительно".

– А что ж ей, старому черту, так и спускать?

– Таня, Таня...

⟨*л. 68*⟩ Кокетливая улыбка, поцелуй – а через час опять та же история.

Вообще редкие попытки с моей стороны принять тон проповедника оканчивались полнейшей неудачей. Вслед за рассеянным взглядом появлялись наивные глазки, а потом поцелуи. Татьяна Николаевна вскакивала ко мне на колени, щекотала под подбородком и рядом других самых неожиданных выходок быстро сбивала бедного проповедника с его непрочной позиции. Пробовал я вызвать ее на разговор о ее заветных желаниях и симпатиях, для чего сам принимал тон легкомысленный и даже бесшабашный. Результаты оказались не из приятных. Так, я узнал, что пламеннейшим желанием Татьяны Николаевны было попасть куда-нибудь в хористки. И хотя слуха у нее было столько же,[66] как и у тюленя, но она от своей "мечты" не ⟨*л. 69*⟩ отказывалась. Когда она рассказывала о своей прежней жизни, я не мог подметить ни одного звука раскаяния или сожаления. Все эти "Алексеи Егорычи" и "Иваны Петровичи" теряли свою индивидуальность и обращались в безличного "его", о котором и говорить не стоит. Зато с необычайной пластичностью и яркостью выступали отдельные картинки пьяного разгула, где-нибудь у Яра, и ⟨с⟩ цыганками,[67] шампанским, а то и просто с коньяком. И как я ни добивался, а эти минуты бесшабашного прожигания жизни были, по-видимому, лучшими минутами в жизни Татьяны Николаевны, – по крайней мере, лучше их она указать не могла. Любила ли она?

Любила какого-то Сережу, у которого усики были стрелочкой и очень красивый кавалерийский мундир. Больше узнать о нем я ничего не мог, разве только то, что кроме Татьяны ⟨*л. 70*⟩ Николаевны он любил вообще всех женщин[68] без различия возраста и национальности и "подло" изменял ей. Но все эти сведения, обрисовывавшие Татьяну Николаевну с[69] малосимпатичной стороны и как будто подтверждавшие рассуждения моего друга Мефистоши, вместе с тем ни на йоту не изменяли моего положения человека, разрываемого лошадьми. Лишь труднее станови-

---

[66] *Далее было начато:* сколь⟨ко⟩

[67] *Далее было:* с

[68] *Далее было:* и "подло" изменял ей

[69] *Далее было:* этой

лась задача – и ярче выступало мое бессилие, моя полная неспособность спасти гибнущего человека. Это не было просто случаем, курьезным или печальным, – это было для меня житейским экзаменом, на котором я блистательно проваливался.[70] Как и на экзамене – вспоминались все зря потраченные часы, все ошибки и грехи, вольные и невольные. Меня гоняли по всему пройденному курсу – и ни на один вопрос я не мог ответить, и с скрежетом зубовным клял я ⟨*л. 71*⟩ всех педагогов, создавших из меня такую жалкую тряпку...

– Ну, много от себя зависит... – заметил я. – Неча[71] на зеркало пенять, коли рожа крива.

– Справедливо, мой друг. Но как бы то ни было, а я всю неделю жарился на медленном огне – и естественно производил при этом далеко не грациозные движения. Скверно то, что я мучил Татьяну Николаевну – это всего хуже. То я горько иронизировал, то донимал ее своею холодностью, странными взглядами, насмешливой улыбкой или молчанием, полным сокровенного смысла. И когда мне удавалось задеть ее за живое, уколоть как можно больнее, – я чувствовал облегчение. Меня радовала и успокаивала та жалость, которую в эти минуты я начинал испытывать[72] к ней. После холодных, мучительных, бесплодных размышлений живая жалость была так легка, так приятна. ⟨*л. 72*⟩ Жалея, я переставал понимать свои мучения, во мне смолкали все незваные ораторы, не о чем было думать, нечего разрешать, – все просто и ясно. Но жалость проходила скоро. И чем дальше, тем реже стала она являться, хотя чем дальше, тем крупнее и чаще были слезы на глазах Татьяны Николаевны.

Но, видимо, дело близилось к развязке. В один прекрасный вечер Татьяна Николаевна дала сильный толчок уже начавшему складываться во мне решению: порвать во что бы то ни стало.

– А что, Колечка, если у нас будут... последствия?

– Какие последствия?

Наконец я понял, что речь шла о детях, которые могут у нас быть. Я и забыл о них, вернее, не допускал их возможности, думая, что Татьяна Николаевна, как и многие ей подобные, обречена на бесплодие.

⟨*л. 73*⟩ – Если будут у нас дети, я тогда тебя ни за что уж не отпущу! – заявила Татьяна Николаевна.

Как поразмыслил я на эту тему – света Божьего невзвидел. До сих пор вопрос шел только о Татьяне Николаевне, но тут

---

[70] *Далее было:* И

[71] *Было:* Нечего

[72] *Было:* чувствовать

он прямо коснулся моей шкуры: без всяких колебаний и сомнений, с твердостью порядочного человека я решил: рвать. Последствие[73]!.. Хорошо, ежели еще мое, а то, глядишь, офицерово!

Следующий день я весь пропадал где-то. Домой вернулся поздно вечером усталый. Катька подала мне письмо от Татьяны Николаевны, которое я прочел наскоро, перескакивая через строчки. Все это ни к чему – на другой день я решил последний раз объясниться с ней. Не хочешь ли полюбопытствовать? Вот письмо. Читай вслух.[74] Устал я.

Николай достал из кармана тужурки довольно помятое письмо, набросанное карандашом, но ⟨*л. 74*⟩ почерком крупным и старательным, как пишут взрослые дети.

"Коля, Коля, – читал я, – зачем ты меня мучаешь, что ты хочешь сделать хорошего своим поведением? Коля, милый мой, после этой истории с офицером ты, мне кажется, тяготишься нашими отношениями и моей любовью и стараешься, чтобы я разлюбила тебя. Но уверяю тебя, что все твои попытки к этому останутся напрасными. Чем ты больше удаляешься от меня, тем больше начинаю любить тебя. Сначала, Коля, я не мог⟨ла⟩ назвать любовью то чувство, которое я к тебе питала, но после этой истории совсем не то. Я вчера говорила тебе, дорогой мой, что я могу любить двойной любовью, т.е. первая любовь та, что можно любить взаимно, – а[75] другая, это скорее страстное обожание, чем любовь. Такому человеку я готова поклоняться, как божеству, слушаться малейшего его приказания, ⟨*л. 75*⟩ ловить с восторгом каждое слово, и что всего хуже, ревновать ко всем, страшно ревновать. Напр⟨имер⟩, давеча ты что-то смеялся с Катькой весело очень и дразнил собаку. Я возненавидела Катьку, завидовала ей, прислушивалась к каждому твоему слову, хотела быть на месте[76] Катьки, чтобы быть близ тебя и говорить с тобой..."

– Фу, черт возьми, – не вытерпел я, – читать противно! Как ты мог поставить себя в положение какого-то деревянного болвана, перед которым бухается лбом ополоумевшая от пустоты девчонка! И ведь, небось, приятность чувствуешь... в одном из душевных отделений.

– Никакой приятности не чувствую, – резко ответил Николай.

---

[73] *Было:* Последствия

[74] *Текст:* – Тема, Николай ~ Читай вслух. (*л. 54–73*) – *написан рукой неуст. лица.*

[75] *Было:* но

[76] *Далее было:* опять

– Говори, знаю. А она-то!.. Это действительно одна из тех "русских", по понятиям Запада, женщин, которых чем больше бьешь, тем крепче[77] они тебя любят. Тьфу!

⟨*л. 75 об.*⟩ – Ну, читай, читай.[78]

«Прежде бывало, когда тебя нет дома и ты приходишь, я бывала спокойна, а теперь, когда я слышу твои шаги, у меня холодеют руки, сердце как-то тревожно бьется, и я[79] хочу, страстно хочу видеть тебя поскорей. Коля, может, в тебе и есть что дурное... (откуда ж? ангел во плоти!), то оно заглушается твоими прошлыми страданиями... ("За горе она меня полюбила, а я ее за жалость полюбил" – или как там из "Отелло"). Коля, я начинаю находить утешение в водке и пью пиво...» (Логика!)

– Брось ты это глумление! – с раздражением вскрикнул Николай. – Нашел повод для смеха: она[80], может быть, впервые встретила человеческое к себе отношение...

⟨*л. 76*⟩ – Это у тебя-то?

Николай молча махнул рукой.

"...пиво. Зачем, сама не знаю. Когда пью, голова немного кружится, на душе становится в тысячу раз хуже, чем когда я не пью. Плохо, Коля; и без тебя много неприятностей, а тут еще ты. Ты хоть теперь мое утешение, мое счастье – а потом? лучше не заглядывать в будущее и жить счастливой минутой. Ты писал в дневнике про какую-то барышню, которая говорила красноречиво. Но, Коля, я выросла совершенно одна с матерью, никогда не была откровенна, и высказывать то, что есть на душе, как-то неловко, совестно с непривычки. Ужасно мрачное настроение. Хочется плакать, жаловаться на свое несчастье, – но кому? Тебе? Но тебя нет, я одна. Думаю, когда увижу тебя. Сейчас я ненавижу всех, даже тебя, за то, что никому нет дела до моих страданий, не могут сказать слова утешения. ⟨*л. 77*⟩ Пусть я кажусь веселой, беспечной, что на душе, знает один Бог. Вглядись в меня хорошенько: за это время я похудела, глаза окружились синевой, я мучаюсь за себя и за тебя. С ужасом ожидаю дня, когда увижу тебя пьяным. Коля, ты только один можешь[81] не дать очерстветь моему сердцу, не дать заглохнуть добрым порывам, так сделай же это. Я вижу иногда твое настроение, страдаю вместе с тобой, но ты мужчина, у тебя больше силы воли, ты можешь воспользо-

---

[77] *Было начато:* бо⟨льше⟩

[78] *Далее было (с абзаца):* "Коля, может, в тебе и есть что дурное... (откуда ж, ангел во плоти!), то...

[79] я *вписано*.

[80] *Было:* человек

[81] *Далее было:* спасти меня

ваться моей любовью, чтобы оказать влияние на меня. Что хуже всего, я перестала верить в Бога, прежде хоть в этом находила утешение, а теперь ничего. Все ложь, притворство, напускное веселье. Страшно тяжело, хоть бы хватило сил перенести. Все это было стыдно сказать тебе, и я пишу и отдаю письмо Кате, когда ты встанешь, она отдаст. Считай ⟨*л. 78*⟩ меня, если хочешь, глупой, но я высказала; да еще не все, что было на душе. Прощай, до завтра, мое божество, мой хороший Колечка".

– Ну? – спросил Николай. – Хороша оплеуха?

– Да, ничего себе.

– Верно. Дальше-то[82] рассказывать? Надоело мне все это.

– Да уж кончай.[83]

– Ну... забыл: когда я читал письмо, Татьяна Николаевна стукнула в дверь. Нехотя подошел я.

– Милый, ответь мне сейчас.

– Устал, Таня, завтра поговорим.

– Милый, пожалуйста. Я не сплю, жду.

– Завтра, завтра.

Послышались как будто слезы, но я к ним привык. Одно дело, когда женщины плачут о[84] нас, другое, когда о[85] себе. Скука. Утром я отправился по делам, – справки насчет работы наводил. ⟨*л. 79*⟩ Ни черта не оказалось. Вернулся злой как черт. Татьяны Николаевны и матери не оказалось дома.

– Катька, где[86] Татьяна Николаевна?

Замазанная Катька вступила в комнату и, притворив дверь, конфиденциально сообщила:

– С офицером уехала.

– С каким офицером?

– А такой маленький с черной бородой. И денег много. Меня Вера Дмитриевна за водкой посылала. Три рубля дала.

– Давно уехала?

– Нет. И вам ничего сказывать не велела, я спрашивала. И красивая-то какая, страсть. Вера Дмитриевна их, как невесту, обряжала.

"Наконец-то!" – было первою моей мыслью. А чувством было... радость. Как же! Ведь я теперь имею законное, так сказать[87], основание прекратить ⟨*л. 80*⟩ наши отношения! Вторым

---

[82] *Далее было:* ска⟨зывать⟩

[83] *Текст:* Устал я. ~ уж кончай. *(л. 73–78) – написан рукой Андреева.*

[84] *Было:* в

[85] *Было:* в

[86] *Далее было:* Алексей Егорыч?

[87] *Вместо:* так сказать – *было:* то есть

чувством была злость: "клялась!" – но и злость держалась недолго и сменилась сожалением – но сожалением строго официальным, заказным. "Бедная, бедная!" – повторял я нарочно вслух, чтобы действительнее выходило. "Скотина я, скотина!" – добавил я с сокрушением, но в зеркале видна была чуть ли не улыбающаяся физиономия. Так ведь и на экзамене бывает: когда ставят пару, первую минуту испытываешь даже удовольствие.

– Не знаю; я только в эту минуту и испытывал настоящее огорчение, – отозвался я.

– К ночи, однако, моя жизнерадостность исчезла. Стало щемить при мысли, где теперь Татьяна Николаевна. Странным казалось, что в соседней комнате, около двери, никто не лежит и не думает обо мне. Начали вспоминаться ее жалкая улыбка, когда я сердился на нее, ⟨*л. 81*⟩ взгляд прибитой и загнанной собачонки. "Опять эта чертовщина", – рассердился я, решительно повернулся на бок и заснул.

Меня разбудили чьи-то легкие шаги около кровати. Шурша юбками, к моему лицу наклонилась Татьяна Николаевна и крепко поцеловала меня, обдав запахом духов и коньяку. И так же моментально исчезла. Через минуту – за дверью зазвучал ее веселый и возбужденный голос, которым она рассказывала что-то матери. Потом смех. Я был возмущен страшно. Этот "нахальный", как я его тогда окрестил, поцелуй всю внутренность перевернул во мне. Я даже слов отыскать не мог, чтобы выразиться с надлежащей энергией. "Хорошо же! – решил я, стиснув зубы, – до завтра!"[88]

А завтра второе издание раз уже бывшей сцены. Разница была только во времени ⟨*л. 82*⟩ и месте. Именно: утро и вместо набережной – сквер около храма. Была еще некоторая разница в приемах Татьяны Николаевны.[89] Она сразу заговорила со мной так, как будто вчера ничего не случилось. А если и случилось, так самые пустяки. Смеялась над тем, что я говорю ей "Вы". Сама же меня величала "Колечкой" и "милым". Строила наивные глазки, шаловливо ударяла перчаткой по руке – одним словом, все приемы самого грошового и глупого кокетства были налицо. Верх пошлости, – заговорила о своей любви к "Сереже", к которому я будто бы ревновал ее, как она любила думать и говорить. Но резкость моя наконец подействовала: Татьяна Николаевна изменила тон и стала оправдываться. Оправдания были еще глупее и шаблоннее, чем кокетство, и приводились единственно

[88] *Текст:* – Ну... забыл ~ до завтра!" *(л. 78–81) – написан рукой неуст. лица.*

[89] *Далее было:* Так

потому, что мне очень хотелось их услышать, по ее ⟨*л. 83*⟩ мнению. Следующий нумер: угрозы.

– Для вас, Николай Николаевич, это плохо кончится. – И ряд таинственно грозных намеков. Наконец появились и долгожданные слезы. Женские слезы – вода, так говорят мудрецы, но на меня они действуют, как водка, и в предполагаемом репертуаре Татьяны Николаевны я их больше всего боялся. Но она плакала молча, и это было очень хорошо, потому что, отвернувшись, я мог сохранить полное спокойствие. И я был тверд, так тверд, что если бы Катон мог на минуту воскреснуть, он, наверное, рассмеялся бы от радости и сказал: "Вот что значит настоящий мужской характер!" Все шло прекрасно, и я был очень доволен собой, и Татьяной Николаевной, но она с чисто женским неразумением испортила все дело. Средь бела дня, в сквере, где масса гуляющих, она вдруг вздумала стать предо ⟨*л. 84*⟩ мной на колена! Не говоря уже о том, что этот прием был не нов, она не могла понять, в какое дурацки смешное, нелепое положение ставила она меня. Я вскочил как ошпаренный и голосом резким и внушительным заявил:

– Татьяна Николаевна, прошу вас прекратить эту глупую комедию[90]. Вы, кажется, видели, насколько неизменно мое решение порвать с вами. Если же вы не хотите понять этого, то я прибавлю, что – я не люблю вас.

Полным достоинства жестом я предложил ей руку, и мы отправились домой. Она плакала, но молча и совершенно спокойно, что и требовалось доказать. И даже когда я попросил ее не плакать, ибо мы обращаем на себя внимание проходящих, она[91] и плакать перестала и только слегка вздрагивала.

Вот что значит настоящий мужской характер!

Но женщины не могут понять его. Я думал, что ⟨*л. 85*⟩ все уже кончено, и после обеда улегся спать. Вдруг врывается в комнату Татьяна Николаевна и, как бешеная, начинает целовать меня, буквально не давая сказать слова. Наконец я вырвался из ее объятий и грозно крикнул:

– Татьяна Николаевна! – и, вероятно, прибавил бы какую-нибудь приличную резкость, если бы она сама, внимательно вглядевшись в мое лицо, не догадалась и не вышла из комнаты. Я же вместо сна отправился гулять, так она меня возмутила.

Придя домой, я узнал от сочувствующей мне Катьки новость: офицер вытребовал Татьяну Николаевну запиской, и она только что сейчас уехала.

---

[90] *Было начато:* сц⟨ену⟩

[91] *Далее было:* перестала

Я презрительно улыбнулся. Стоит ли большего такая женщина!..

– Конец? – спросил я, незаметно зевнув. – Три часа уже, брат. ⟨*л. 86*⟩ – А что, спать хочешь? Погоди минутку, сейчас доскажу. Допьем? – тут по рюмке есть. – [92]спросил Николай, смотря на свет бутылку. Голос его несколько охрип, но признаков усталости не замечалось. – Эх, дружба!

– Пей, а мне не хочется. Да не[93] лучше ли до завтра рассказ отложить? Оставайся у меня ночевать.

– А ты думаешь, завтра я так расскажу? Нет, уж терпи. Тем более что веселенькое на закуску осталось.

Я молча вздохнул и покорился.

– Эту ночь Татьяна Николаевна не ночевала дома. И день целый потом ее не было. Не знаю, нервы, что ли, у меня расходились[94], но такая обуяла меня тоска, что хоть в петлю полезай.

Пробовал читать, писать, ни черта не выходит. Прибег я к последнему средству – бросился бегать под дождем по улицам. Размышлял на ⟨*л. 87*⟩ любимую свою тему – о самоубийстве, но без всякого отношения к Татьяне Николаевне. А так просто: рисовал себе жалкие картинки, револьвер, гроб, общие ахи и охи. Как будто полегчало...

– Перебью тебя: ты любишь жизнь?

– Люблю.

– А постоянно толкуешь о самоубийстве? Для красного словца, что ли?

– Нет. Ведь нужно еще пользоваться взаимностью. А жизнь – женщина, любит тех, кто к ней равнодушен. Кто больше всех любит жизнь? – калеки. Кто к ней равнодушен? Сытые и здоровые.

– Парадокс.

– Как и сама жизнь... Вернулся я домой и уселся рисовать. Катька, уже без всяких прелюдий, докладывает: Татьяна Николаевна ушла от офицера, он приехал сюда разыскивать ее и теперь сидит, пьет водку с Верой Дмитриевной. ⟨*л. 88*⟩ Действительно, слышно,[95] разговаривают. Рисую, но руки дрожат и глаза заволакивает, не то от злости, не то от чего-то такого, чего я сам не понимаю.[96]

– Николай Николаевич, пойдите сюда на минутку! – голос Веры Дмитриевны. Фу, черт.

---

[92] *Далее было начато:* за

[93] *Было начато:* мо⟨жет?⟩

[94] *Было:* расстроились

[95] *Далее было:* как

[96] *Текст:* А завтра второе ~ не понимаю. *(л. 81–88) – написан рукой Андреева.*

– Извините, Вера Дмитриевна, я занят.

– На одну минуточку!

Как отказаться? Неловко. Иду.

– Позвольте вас познакомить...

Навстречу мне встает офицер и любезно потрясает мою руку.

– Очень, очень приятно познакомиться! Мне Татьяна Николаевна так много говорила о вас. Садитесь, пожалуйста. Не выпьете ли рюмочку водочки? Вера Дмитриевна, пошлите, пожалуйста, еще водки. Вот деньги. А пока не угодно ли?

⟨*л. 89*⟩ Смущенный потоком офицерских речей и крайней их любезностью, я бессвязно отказываюсь, но он берет меня за руки, усаживает.

– Ну, одну, ну, пожалуйста! Мне так приятно поговорить с вами.

Я глупо улыбаюсь и беру насильно всунутую рюмку. "А, черт, ты хочешь этого, хорошо ж", – думаю я, выпивая "за его здоровье" рюмку. За ней другую.

Офицер оказался приезжим откуда-то: кажется, из Одессы, не то Киева. Расспрашивал меня о Московском университете, в свою очередь рассказывал много о тамошних студентах, хвалил их и, как я смутно теперь помню, оказался[97] не бурбоном, но, сверх ожидания, очень милейшим и добродушнейшим человеком. Вера Дмитриевна пробовала встрять в разговор, но офицер – имени его до сих пор не знаю – очень мило осаживал ее, и она молча пила водку, ⟨*л. 90*⟩ бессмысленно покачивая пьяной головой. Принесли водку, потом еще принесли – много что-то приносили. Последнее, что я помню, – это какой-то багровый туман и в нем испуганное лицо Татьяны Николаевны.

А на другой день мой друг Катька, незримо присутствовавшая при всей этой истории, рассказала следующее. Я стал говорить офицеру нехорошие слова, ругал его, а он меня успокаивал. Но я его ударил, он меня тоже, и я свалился. Потом он дал мне воды, потом сели водку пить. Но я опять стал ругать его и полез драться, а он вынул шашку и хотел заколоть меня. Но я сказал: "коли!" – и он бросил шашку и стал целовать меня. И опять мы пили водку. Потом я схватил шашку, а он сказал: "коли!" – и я стал целовать его. И мы оба ругали Веру Дмитриевну и выгнали, наконец, ее вон, а ⟨*л. 91*⟩ она ругалась и звала дворника. Пришла Татьяна Николаевна, заглянула только в комнату и сейчас же ушла опять и до сих пор еще не приходила. А мы с офицером снова пили и снова дрались, пока наконец он не отвел меня в мою

---

[97] оказался *вписано.*

комнату и не уложил спать, строго-настрого приказавши не беспокоить меня. А сам оделся и ушел и, уходя, велел сказать Татьяне Николаевне, что он больше не придет.

Вот и конец. Недурно?

Николай подошел ко мне и, нагнув голову, приложил к ней мою руку. Сквозь его густые и жесткие волосы и я пощупал большую шишку.

– А вот и вещественные знаки... невещественных отношений! Ну что скажешь? – спросил он, выпрямляясь.

– А Татьяна Николаевна-то вернулась?

⟨*л. 92*⟩ – Вернулась. Ну?

– Да что ж я скажу? Спать давай.

– Нет... хорош я?

– Что ж, ты психопат известный. А вот Татьяну Николаевну мне жалко. С одного вола две шкуры драли – ты и офицер.

– Как это так?

– Да так. Офицер от глупости, а ты от большого ума. А Татьяна Николаевна за вас обоих отдувалась.

– А что я должен был делать? Скажи!

– Убирайся ты[98] от меня к черту. Спать – вот что делать, – и я решительно отказался отвечать на дальнейшие вопросы Николая. – Завтра поговорим. Вот тебе подушка, укладывайся.

Но Николай, несмотря на мои уговоры[99], ночевать не остался и отправился домой.

⟨*л. 93*⟩ Недели через две собрался я, наконец, навестить Немоляева. Николай не слыхал, как я вошел. Он рисовал что-то и весело насвистывал. В соседней комнате, за той дверью, кто-то напевал недурненьким[100] голоском ту же песню, которую[101] насвистывал Николай.

– Коля, это что значит?

– А, отче Константине! Раздевайся, раздевайся!

– Что это значит? – указал я глазами на дверь. – Помирились?

– Тише говори, там слышно. Нет, я завтра на новую квартиру переезжаю. Приходи на новоселье.

– Что же это значит? – и я просвистал начало арийки.

– Это? – Николай рассмеялся. – Это, брат, парадокс![102]

---

[98] *Было:* к

[99] *Было:* разговоры

[100] *Было:* недурненькую

[101] которую *вписано. Далее было начато:* и

[102] *Текст:* – Николай Николаевич ~ брат, парадокс! *(л. 88–93) – написан рукой неуст. лица.*

⟨*л. 1*⟩[1]

ОРО[2]

Сказка

Их было два друга. Один весь сиял горним блеском и был бел, как только что выпавший снег; его божественно красиво⟨е⟩[3] лицо было полно неземной прелести[4]. Большие глаза, кроткие, ясные и глубокие, заволакивались дымкой печали.[5] Звали его Лейо.[6]

Другой был черный, как сама древняя ночь, угрюмый, худой, чудовищно безобразный. На месте одного глаза была красная, непрестанно сочащаяся рана; другой, глубоко запавший в орбиту,[7] сверкал из-под хмурых бровей ненасытимою злостью, пламенной, не знающей покоя, ненавистью. Тонкий рот, с редкими острыми зубами, кривился в насмешливую ⟨*л. 1 об.*⟩ гримасу или искажался нечеловеческой злобой, покрываясь смрадной пеной, дрожа и извиваясь волнистой линией, как ползущая змея. Движения гибкого, сухого тела были быстрые, кошачьи, царапающие. На волосатой груди и жилистых[8] узловатых руках острые когти провели глубокие, незаживающие борозды.

Имя его было Оро.

Оба они носились в надзвездном пространстве с тех пор, как[9] грозный Иегова изгнал их из рая. С[10] легионами других злобных

---

[1] *На л. 1 ЧАа (РГАЛИ) вписан набросок-план рассказа:* Одетый горним блеском; затмевающий светлые мириады. Вечная ненависть. Небесные врата. Небесная бездна. Обширная безбрежная глубь. Налегая на тусклый воздух, почувствовавший необычайную тяжесть. Гремящий. Проклятая рука. Мрачный блеск радости. Древняя ночь.

[2] *Было:* Два друга.

[3] божественно красиво⟨е⟩ *вписано.*

[4] *Далее было начато:* и б⟨ольшие⟩

[5] *Вместо текста:* Один весь сиял горним блеском ~ дымкой печали. – *было:* Один [был] белый, как снег, сияющий горним блеском, затмевающим светлые мириады, полный неземной прелестью и божественной красотою, со взглядом любящим, кротким и печальным. Большие голубые глаза, ясные [гл⟨убокие⟩] и глубокие, заволакиваются дымкой ангельской грусти.

[6] *Текст:* Их было два друга. ~ Звали его Лейо. – *вписан на л. 1 об. (ЧАа)*

[7] *Вместо текста:* , глубоко запавший в орбиту, – *было:* глаз

[8] *Далее было:* руках

[9] *Далее было начато:* И⟨егова⟩

[10] *Далее было:* тысячами дру⟨гих⟩

и мрачных демонов Оро восстал против власти. Огненными мечами архангелов мятежные духи ⟨*л. 2*⟩ были рассеяны по бесконечному пространству. С диким ревом и визгом уносились они, как бешеный поток, в непроглядный мрак бесконечности, где холодным светом мерцали отдаленные светила. И долго, смолкая, доносился до врат рая этот нечеловеческий, страшный визг.

– Куда ты? Останься, – обратился Иегова к Лейо. Кроткий, милый, он был любим всеми. Теперь он печально глядел во мрак за умчавшимися вихрем демонами. Белоснежные крылья трепетали от жалости и расправлялись к полету.

– Там мой друг. Я пойду к нему.

Иегова грозно нахмурил седые брови. Возмутилось Его еще не остывшее сердце.

⟨*л. 2 об.*⟩ – Иди и не возвращайся.

Плавно взмыли белые могучие крылья – и как клочок бумаги, уносимый бурею, как чайка, гонимая ураганом, мелькнули и исчезли в черной бездне.

Насмешками и глумлением встретили демоны кроткого Лейо. Воя и визжа от страшных ран, черные, обожженные небесным огнем, они с яростью рвали белые одежды Лейо. Ослепшие, они терзали друг друга, впиваясь острыми зубами в смрадное тело. Гонимые страхом, они со свистом рассекали колючими крыльями от века неподвижное пространство, теперь затрепетавшее вокруг них гневом и отвращением. Оро, с опаленным ⟨*л. 3*⟩ телом, безобразно скрюченным от нестерпимой боли, с лопнувшим и выплывшим[11] глазом, с лицом, искаженным ненавистью, пожирающей самое себя, и диким страхом, от которого дрожали все его члены и дыбом становились обгоревшие, смрадные волосы, – подлетел к Лейо и железными когтями вцепился в его руку, слабым трепетанием ответившую на железное объятие.

– Зачем ты здесь? – шипел он, царапая руку. – Иди к своему Иегове!

– Я буду с тобой.

– Я тебя ненавижу.

Движением, полным любви и трогательной ласки, Лейо положил свою нежную руку на косматое плечо дьявола. Взвыл Оро и метнулся в сторону от безумной толпы, увлекая ⟨*л. 3 об.*⟩ Лейо и летя с такой бешеной быстротой, что падающие звезды, мелькая, оставались позади них.

Прошли тысячелетия, а они все еще носились, не зная покоя, не зная отдыха. Окреп Оро, зажили его раны, – и еще злее, еще

---

[11] *Было:* одним выплывшим, лопнувшим

сумрачнее и[12] насмешливее стал он. Беспощадные издевательства лились на кроткого Лейо. С дьявольской хитростью клал голову Оро на плечо друга; когда Лейо, радостный и любящий, прижимал[13] к отвратительному чудовищу свою теплую, нежную щеку и смешивал свои золотистые[14] кудри с его жесткими путаными волосами, ⟨*л. 4*⟩ Оро свирепо вонзал зубы в розовое тело. А когда Лейо вскрикивал от боли – он хохотал так неистово и громко, как будто далекий гром рокотал и переливался.

– Иди к своему Иегове!

Молчал Лейо, закрыв руками лицо, – и сквозь белые тонкие пальцы струились капли слез с каплями алой крови. А Оро начинал, как безумный, падать, кружиться и метаться[15] в воздухе, изрыгая хулу, визжа и царапая свою волосатую впалую грудь.

– Я ненавижу тебя! – рычал[16] он, и белая пена клочьями летела с его воспаленных губ. – Уйди! я растерзаю тебя! – [17]вопил он, и не то угроза, не то жалоба была в этом вопле. И единственный ⟨*л. 4 об.*⟩ глаз Оро сверкал во мраке, как раскаленное докрасна железо.

Но молча плакал Лейо – и они уносились дальше, все дальше в беспредельное, безбрежное, молчаливое пространство. И как гром грохотал отдаленный сатанинский смех, и как голос черной бури разносился дикий нечеловеческий визг.

Проходили[18] тысячелетия. Злее и безумнее становился Оро. Истощив всю свою злобу, он, никогда не просивший, просил, умолял Лейо оставить его. И странной, зловещей[19] насмешкой звучала жалоба в устах, раскрывавшихся только для хулы и проклятий.

⟨*л. 5*⟩ – Хочешь, я поцелую тебе руку, как ты целуешь своему Иегове. Но уйди. Уйди!

– Ты несчастен, и я не оставлю тебя.

– Я тебя ненавижу.

– Я люблю тебя.

Мучительный, болезненный рев вырывался из груди Оро, и он бросался на Лейо. В глубоком беспросветном мраке завязыва-

---

[12] *Было начато:* с⟨?⟩
[13] *Далее было:* свою нежную, теплую
[14] *Далее было начато:* во⟨лосы⟩
[15] *Было:* кувыркаться
[16] *Было:* вопил
[17] *Далее было:* рычал он
[18] *Далее было:* в вечность еще
[19] зловещей *вписано.*

лась ужасная, молчаливая борьба. Гибкий, сильный, коварный Оро, как[20] темная, незримая[21] молния, налетал на Лейо, как черный змей, обвивался вокруг него – но могучая грудь не дрожала под жестокими ударами, свирепые железные объятия бессильно распадались от легкого движения прекрасных рук.

⟨*л. 5 об.*⟩ И снова пространство оглашалось проклятиями, сатанинским хохотом и зловещими мольбами о пощаде.

Прошли еще тысячелетия, и Иегова вспомнил о Лейо. И жалость шевельнулась в суровом сердце. Скучно стало Ему без кроткого, милого лица, на котором Он никогда не видел ни зависти, ни гнева. Но он сам захотел уйти – и нет ему возврата.

Пролетели века.

Благоухали райские сады; лился ослепительный свет, слышались ликующие гимны ангелов. Дрогнул седой ус у Иеговы. Властным мановением созвал Он сонмы могучих воинов и сказал.

– Найдите Лейо и приведите ⟨*л. 6*⟩ сюда.

Как стая белых голубей ринулись посланцы и рассыпались по вселенной.

Пролетели века.

Слышались проклятия и мольбы о пощаде, когда Лейо и Оро окружила толпа посланных. Покорно последовал за ними Лейо, но, как бешеный, бросался на них, и кусал и визжал злобный Оро. Отогнанный прочь жгучими мечами, он до самых небесных врат летел за ними. И когда Лейо скрылся за вратами, пространство[22] огласилось таким диким, таким продолжительным и возмутительно жалобным воем, что дрогнули сердца у суровых и гордых воинов, и молча закрыл руками свое лицо кроткий Лейо.

⟨*л. 6 об.*⟩ – Я возвращаю тебя, – сказал Всемогущий, ласково глядя на печального Лейо. – Иди к своим.

– Позволь мне уйти. Оро несчастен.

– Ты останешься здесь.

Лейо грустно покачал прекрасной головой.

– Я не останусь, Ты сам изгонишь меня. Прости Оро.

– Я не прощаю.

– Но теперь Ты простишь.

В страхе затрепетали небожители. Грозно сдвинулись брови Иеговы, и глаза метали молнии на непокорного. Но вдруг ласко-

---

[20] *Далее было: а.* невидимая *б.* черная

[21] незримая *вписано.*

[22] *Далее было*: дрогнуло от

вая и добрая улыбка раздвинула Его усы – и ярче засиял небесный свет, и сильнее заблагоухали сады.

– Прощаю, – сказал Он. – Приведите его ⟨*л. 7*⟩ сюда.

Сияющий, счастливый Лейо, впереди толпы смущенных ангелов, подлетел к Оро. Последний, ничего не видя, не слыша, выл так жалобно, так мучительно, что сами, кажется, звезды потускнели в свете своем.

– Иди. Он прощает тебя.

Оро радостно встрепенулся, но потом недоверчивым, подозрительным взглядом окинул светлую[23] толпу своих недавних врагов. Потом с упреком взглянул на Лейо – и губы его начали кривиться обычной усмешкой.

– Иди. Он прощает тебя. Оро, иди со мной.

Нерешительно тронулся с места Оро, бросая исподлобья косые взгляды, останавливаясь, упираясь и снова робко двигаясь ⟨*л. 7 об.*⟩ вперед.

Вот эти памятные врата. Вот он за ними – и смущенный, он, никогда не смущавший⟨ся⟩, стыдливый, он, не знавший стыда, стоит он, потупив голову, перед престолом Всевышнего.

– Я прощаю тебя, – зазвучал над ним знакомый голос, звук которого никогда не мог изгладиться из его памяти. И не было гнева в этом голосе.

Помраченным от яркого света[24] оком взглянул Оро на ряды сияющих, чистых, спокойных небожителей, окружавших престол. Отовсюду на него были устремлены ласковые, всепрощающие взоры[25]. Взглянул он на свое черное ⟨*л. 8*⟩ безобразное тело, гнусным пятном выступавшее на ярком фоне, – и подогнулись его колена, и он упал ниц, прильнув к ступеням престола[26] косматой, скверной головой, оставлявшей на них[27] грязные следы[28].

Долго лежал он так.

– Иди к ним, – мягко прозвучал над ним тот же милостивый голос. – Ты теперь сын мой, как и они.

Порывисто воспрянул Оро. Диким взглядом впился он в лицо Иеговы.

---

[23] светлую *вписано.*
[24] *Было:* взгляда
[25] *Было:* взгляды
[26] к ступеням престола *вписано.*
[27] на них *вписано.*
[28] *Далее было:* на ступенях престола

– Нет, – прохрипел ⟨он⟩, вонзая в грудь острые когти. – Нет. Я не сын Твой. Они белые, я[29] черный. Они любят, я ненавижу. Я Тебя ненавижу. Я ненавижу его, – указал он на Лейо. – Я всех ненавижу.

⟨*л. 8 об.*⟩ В тяжелой думе опустил он голову.

– Я ненавижу!.. – с смертельной тоской, с невыразимой, бесконечной жалобой прозвенел его дрожащий, плачущий голос. Не то с рыданием, не то с отчаянным хохотом рванулся Оро – и настежь распахнулись райские врата перед черным отвратительным чудовищем, быстрым и ужасным, как вихрь.

Напрасно Лейо разыскивал его. Черная бездна поглотила Оро, и никто никогда уже не видел его. Никто никогда не видел веселой улыбки на устах Лейо.

---

[29] *Далее было:* гр⟨язный?⟩

⟨*л. 10*⟩ ИСПОВЕДЬ УМИРАЮЩЕГО

Я служил ординатором в одной из московских больниц. Както на днях один умирающий старик, уже два месяца лежавший в палате № 6 и всех пленявший своей кротостью, призвал меня к себе и, испуская последнее дыхание, поведал следующую грустную повесть.

"Однажды я поехал на конке. Однажды – п⟨отому⟩ ч⟨то ⟩ дважды сделать этого нельзя. Я был молод, весел, полон жизни и веры в будущее. У меня была молодая жена и двое ребятишек. Судьба мне улыбалась – но я поехал на конке. О, не думайте, что я был сумасшедшим – нет, это была просто ошибка, один из тех грехов юности, к которым нужно быть снисходительным.

Жил я тогда на Новинском б⟨ульваре⟩ и ехать мне нужно было к Сухаревой башне. Хотел, видите ли, жене каких-то подарков купить. Несчастный! Тронулись мы с места, насколько помню, в 1861 году. Не могу вот точно сказать, сколько ⟨*л. 10 об.*⟩ времени мы сдвигались с места. Не больше полгода, думаю, иначе[1] я, даже при тогдашнем моем легкомыслии, наверное не поехал бы. Но судьба свершилась. Конка тронулась.

Беззаботно съежившись на скамейке, придавленный с одной стороны пухлой купчихой, с другой истязуемый костлявым, колючим, как иголка, господином, я размечтался о тех сладких временах, когда все люди станут братьями и сильный не будет давить слабого. Не стану лгать перед лицом смерти: купчиха была не особенно тяжела, и не будь она[2] горяча, как утюг, мою участь[3] можно было бы назвать сносною. К уколам со стороны господина я довольно скоро привык, тем более что, воткнув свой[4] локоть ⟨*л. 11*⟩ мне в бок, он по-видимому успокоился. Во всяком случае в голове у меня было не совсем ясно, так что, напиши я тогда завещание – мысль о чем мне приходила, – оно едва ли могло

---

[1] *Далее было:* бы
[2] *Далее было:* так
[3] *Было:* судьбу
[4] свой *вписано.*

бы иметь законную силу. Вероятно, поэтому я не мог дать себе ясного отчета, стоим ли мы на месте или движемся. Я предполагал, что движемся. В моем наивном и юном мозгу конка[5] представлялась предметом, предназначенным к движению – роковая ошибка! Нужны были годы тяжких испытаний, чтобы убедиться, что нет ничего в мире неподвижнее конки, что самые полюсы, о которых принято думать как о неподвижных точках, сравнительно с конкой являются вертлявыми и бешеными ребятами.

Время шло. Заходило и восходило солнце, день сменялся ночью, и, если не ошибаюсь, наоборот – мы все двигались... не то не двигались, этого я[6] ⟨*л. 11 об.*⟩ решить не могу. Тучное тело купчихи стало уменьшаться, худеть – вероятно, от недостатка питания, я вздохнул свободнее. Но... о ужас! тощий и костлявый мой сосед благодаря сидячей, вероятно, жизни стал полнеть – и я был снова подавлен.

Никогда не забуду того чудного дня, когда, не верящий сам своему счастью, я почувствовал себя свободным от соседей. Не знаю, куда они девались.[7] Но я был один, один во всем вагоне. О сладкий миг!

Не могу наверное сообщить, двигались мы в этот момент или не двигались. Но я был тверд в своих убеждениях. Конка должна двигаться – и что бы мне ни говорили – я останусь при своем. Что одежда моя истлела, ⟨*л. 12*⟩ что борода моя закрывала колена, а нос упирался в противуположную стенку, я не придавал значения. Да здравствуют убеждения и черт побери пошлый опыт!

Менялись времена года. То грозная вьюга завывала[8] за окнами[9], то невыносимый жар палил мое отощавшее тело, я был непоколебим и продолжал... вот не могу только сказать наверное, двигаться или стоять на одном месте.

Летели года. По изредка покупаемым мною газетам я узнавал, что в мире совершаются крупные перевороты. Взятие Парижа, коммуна, Гамбетта, Бисмарк и кн. Мещерский. Сменялись поколения. За отчаянными семидесятниками появились кроткие восьмидесятники – когда впервые грусть и тоска закрались в мое сердце.

Дорогая жена! Милые дети! Где вы, что ⟨*л. 12 об.*⟩ с вами? Небось ругаете покинувшего вас отца – но может ли ваш отец

---

[5] *Далее было:* была пр⟨едметом⟩
[6] *Далее было:* сказать
[7] *Далее было:* Купчиха, вероятно
[8] *Было:* завыла
[9] *Было:* у окон

изменить своим убеждениям? Нет, никогда! Конка должна двигаться – и я доеду до Сухаревой башни!

Затрудняюсь определить, двигались мы или стояли на одном месте, когда после долгих лет я услыхал первое сочувственное слово. В вагон входили иногда пассажиры – но все это были люди шаткие, непостоянные, нетерпеливые, вскоре исчезавшие из вагона. И не было ни одной родств⟨енной⟩ души, которая поняла бы меня. Но вот я вижу, что в стену рядом со мной упирается чей-то нос и щетинистая щека прижимается к мо⟨е⟩й. То был кондуктор. Без слов, без звука поняли мы ⟨*л. 13*⟩ друг друга – и вагон огласился жалобным плачем двух старческих дрожащих голосов. Так стояли мы, упираясь носами в противуположные стенки, и горючие слезы капали на грязный пол, и от[10] вздохов трещали лохмотья на нашей[11] груди, и от стенаний..[12] но, кажется, конка тронулась, не то, впрочем, остановилась, боюсь ошибиться.

– Моя жена! – стонал я.

– Мои дети! – хлюпал кондуктор.

– Но мы доедем?! – энергично воскликнул я[13].

– Я исполню свой долг! – твердо ответил кондуктор, и стенка затрещала от дружного натиска наших носов.

Изредка в окнах вагонов стали появляться ухмыляющиеся физиономии и, показав нам язык, скрывались. Некоторые ругались самым площадным ⟨*л. 13 об.*⟩ литературным образом, третьи безмолвно указывали рукой на извозчиков – но мыслимо ли, г⟨осподи⟩н доктор, скажите по совести – мыслимо ли, полвек⟨а⟩ проехавши[14] на конке, сесть на извозчика!

Дальше память несколько изменяет мне...”

Бедный старик беспокойно заметался по постели. Я дал ему эфирно-валер⟨ьяновых⟩ капель, и он, успокоившись, продолжал:

«...Помнится мне, но смутно⟨?⟩, что в вагоне стало что-то очень нехорошо... Ка⟨к⟩ будто запахло чем-то нехорошим, прямо сказать, скверным. Мы долго искали причину. Оказалось – да, это так, именно так, – что друг мой кондуктор начал разлагаться. Т.е. собственно у него разложилась только одна нога, но тем не менее запах был нестерпимый.

Прокричав для ободрения друг друга троекратное “ура!”, мы, кажется, тронулись дальше. Не буду передавать дальнейшей повести нашего разложения, но скажу, что, немощные плотью, мы

---

[10] *Далее было:* стенаний

[11] *Было:* наших

[12] *Далее было:* боюсь ошибиться

[13] *Далее было:* и стенка затрещала

[14] *Было:* ехавши

были ⟨*л. 16 об.*⟩ бодры духом, и если бы не эти противные рожи, дразнящие нас из окна, мы могли бы почесть себя даже счастливыми, как люди, исполнившие свой долг перед родиной и своей совестью.

Наконец!

О, могу ли я передать вам тот могучий восторг и сознание торжества света над мраком, когда мы увидели Сухареву башню и через несколько лет подъехали к ней! Но... о горе! то была не наша Сухарева башня![15] Наша была серая, эта красная; вокруг нашей теснились постройки и была грязь – эта, высокая, стройная, поднималась на свободной, чистой площади. Но что было горше всего: мы с кондуктором мечтали, что дети наши ожидают нас у башни, что им передадим мы наш завет конки[16] и они успокоят нас, великих старцев, и превознесут за мужество и постоянство...[17] Кондуктор даже боялся слишком восторженных оваций, так как у него уже разложилась и голова и он легко мог ⟨*л. 17*⟩ погибнуть в дружеских, но слишком несдержанных и крепких объятиях... Роковая ошибка! На площади было пусто, а туда, по направлению к Красным Воротам, удирали на велосипедах наши дети. На наш горестный вопль один из них обернулся и, очевидно не узнавши[18], сделал нам иронически ручкой – и скрылся за углом...

И вот я здесь».

– А кондуктор? – перебил я.

Старик махнул рукой и меланхолически ответил:

– Разложился. Но вот что страшнее. Вы знаете, доктор, – старик попросил меня наклонить ухо к его рту и продолжал испуганным[19] шепотом, – вы знаете, я[20] начал сомневаться, что конка движется. А? Что вы на это скажете?

– Да, конечно, она движется... но медленно.

Старик, не обратив внимания на последние слова, радостно встрепенулся.

– Да, движется![21] Благодарю вас, молодой человек, благодарю. Теперь я умру спокойно...

Старик вытянулся и начал так выразительно хрипеть, ⟨*л. 17 об.*⟩ что я счел свои обязанности конченными, как вдруг

---

[15] *Далее было:* Вокруг нашей
[16] конки *вписано.*
[17] *Далее было:* Роковая ошиб⟨ка⟩
[18] и, очевидно не узнавши *вписано.*
[19] испуганным *вписано.*
[20] *Далее было:* ст⟨ал⟩
[21] *Далее было:* Движется!

сильная дрожь пробежала по его худому телу. Резким движением приподнявшись на постели, он вытянул руки вперед и, сияя глазами и улыбкой, обнажившей белые десны, воскликнул:

– Движется! Движется! – и, упав на подушки, испустил дух.

Я старался отыскать причины этого странного сумасшествия, но, ⟨по⟩ отсутствии каких-либо данных, отказался от разрешения[22] интересной задачи. Единственным[23] наследством после старика остался билет от конки. Если кто-нибудь узнает по описанию умершего, я покорнейше просил бы доставить сведения и о его наследниках, для передачи им билета, а также просил бы другие газеты перепечатать у себя это заявление.

---

[22] *Далее было:* этой

[23] *Далее было:* нитью к разгадке был билет от конки

⟨*л. 1*⟩

ДВЕ ВСТРЕЧИ

Стихотворение в прозе

То было в зеленом, веселом лесу.

Для наших свиданий мы[1] нашли далекий, укромный уголок.[2] По пологому скату[3] глубокого оврага, покрытому[4] высокой густою травой и пестревшему[5] яркими красками цветов, были разбросаны небольшими группами[6] старые, но стройные березы, шершавые и серые снизу, но к верху белевшие снежной девственной чистотой. По другую сторону оврага, через ручей, на высокой, почти отвесной горе поднимался густой, темный лес, казавшийся нашим молодым глазам непроходимым и бесконечным. "Что там за этим лесом?" – нередко думали мы и в нашем воображении проносились картины полей с волнующейся рожью, лесов, блестящих как серебро[7] рек и далеких шумных городов.

Никто не должен был знать о наших встречах. Как алмаз драгоценный, таили мы нашу любовь, первую, чистую любовь. Не знали мы, что[8] против воли сияющие глаза, внезапный горячий румянец, беспричинный смех и странная задумчивость давно уже выдали нас людям, с улыбкой смотревшим на нас и со вздохом сожаления согревавшим свое старое сердце у молодого огня. Вечером я[9] холодно прощался с ней, любуясь про себя ее суровым личиком и потупленными глазами, над которыми, как две черные змейки, легли красивые[10] брови, – а утром, как стрела, пущенная из лука могучей рукой, я летел на место свидания. Далеко, дальше чем нужно обходя дачи, скрываясь за деревьями,

---

[1] *Далее было начато:* вы⟨брали?⟩
[2] *Далее было:* Полого спускался глубокий овраг
[3] *Вместо:* пологому скату *было:* пологим скатам
[4] *Было:* покрытым
[5] *Было:* пестревшим
[6] *Далее было начато:* высок⟨ие⟩
[7] блестящих как серебро *вписано.*
[8] *Далее было:* давно уже выдали наш⟨у?⟩
[9] *Далее было начато:* про⟨щался⟩
[10] *Было:* тонкие

невольно вспоминая то не особенно давнее[11] прошлое, когда я был великим вождем краснокожих, по прозвищу Кожаный Чулок, я то припадал на землю, еле сдерживая в груди трепетно бьющееся сердце, то, закрыв глаза, грудью продирался сквозь осинник, частый, как гребешок, спугивая птиц, пугаясь сам от шума своих шагов и с подозрительным видом оглядываясь вокруг[12].

⟨*л. 2*⟩ Вот и конец проклятому осиннику. Тихонечко, сдерживая дыхание, подполз[13] к опушке и, скрытый частой зеленью, смотрю на знакомое место под тремя сестрами-березами. Она уже пришла и сидит, положив на колена книгу. Я готов поручиться всем для меня святым, что книга лежит вверх ногами. Вот медленно поворачивает⟨ся⟩ наклоненная головка, как бы склонившаяся под тяжестью густых и пышных волос, – и яркие, лучистые, глубокие и загадочные как море глаза обращаются в мою сторону. В них видно ожидание, в них таится вопрос...

– О радость, о жизнь моя! Здесь я, здесь!

Еще минута – и в безмолвном, продолжительном поцелуе сливаются наши уста, и только радостный шепот листвы нарушает благоговейную тишину, царящую в храме природы.

Однажды мы встретились после нескольких дней невольной разлуки. Никогда не видал я такого зеленого, веселого леса. Все смеялось и радовалось вокруг[14] нас. Глубокое[15], бездонное голубое небо как бы прижимало к себе томную красавицу-землю. От нагретой травы поднимались одуряющие испарения и кружили голову.

– Я думала, ты не придешь, – говорила она, смотря мне в глаза своим влажным взором и как будто чего-то ища в них. – Ты так сухо простился со мной...

– Но ведь нам нужно же...

– Знаю, милый[16]. Но только ты... не притворяйся так похоже на правду, а то я думаю, что ты меня не любишь. Ведь ты любишь?

Люблю ли я? Разве ты не видишь моих глаз? Я вырву их, если в них нет того огня, который сжигает меня. Положи руку на мое сердце, послушай, как трепетно оно[17] бьется любовью[18]. Я растопчу его, если оно перестанет любить тебя.

---

[11] *Было:* далекое
[12] *Было:* кругом
[13] *Было:* подползая
[14] *Было:* кругом
[15] *Было:* Г⟨о⟩лубое⟨?⟩
[16] , милый *вписано.*
[17] оно *вписано.*
[18] *Далее было:* оно

И лились наши речи, бессвязные, торопливые. Напрасно какая-то пичужка, сидя на ветке над нами[19] и склонив на бок головку, с горькой иронией посматривала на нас, как бы говоря, что она до сих пор была лучшего мнения о людях, – что нам до иронии, что нам до людей! Охваченный страстным порывом, я прижал к себе ⟨*л. 3*⟩ ее горячее, стройное тело. Перед самыми[20] моими глазами была ее розовая, пылающая щечка – а за нею[21] расстилался и красовался[22] на солнце[23] зеленый, веселый лес.

Три раза уже наступала пора идти домой, и при четвертом разе мы пошли. Хотя было опасно провожать ее, но сразу мы расстаться не могли и прощальным долгим поцелуем менялись обыкновенно уже почти в виду дач. Я шел, обнимая ее за талию и ничего не видя вокруг себя, когда она вдруг остановилась и, вырвавшись из моих объятий, прошептала испуганно:

– Там кто-то стоит.

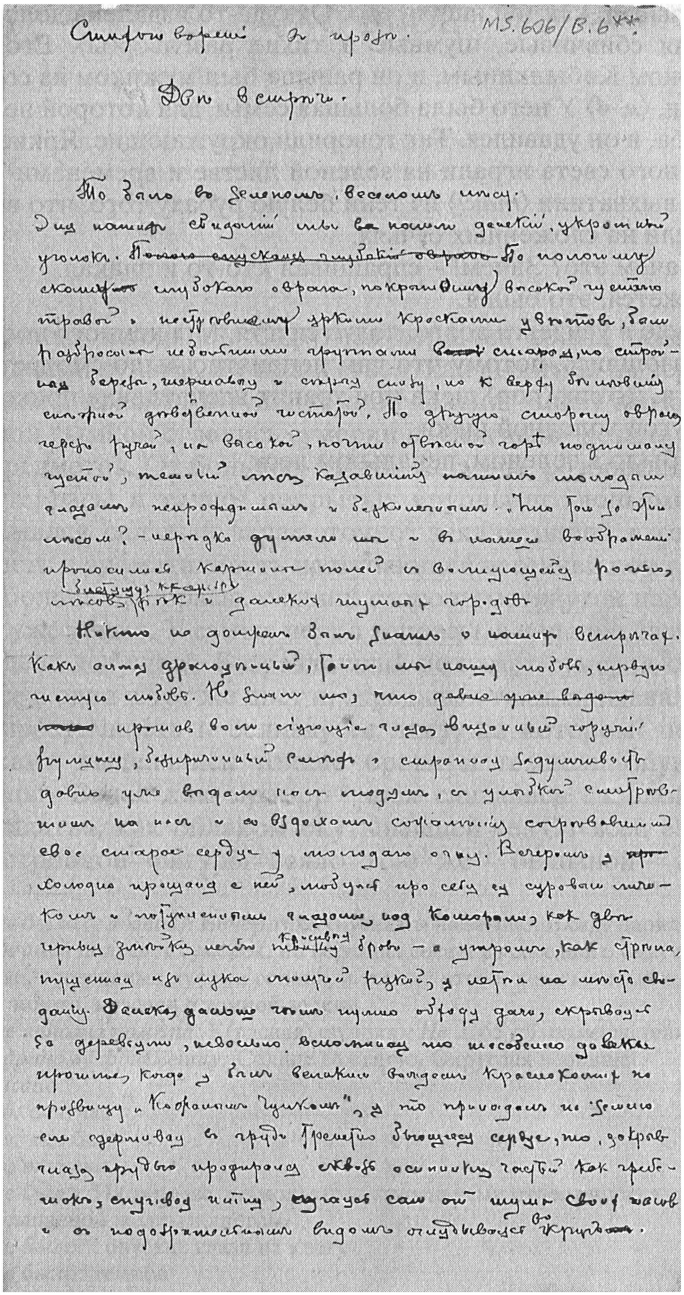
Впереди в нескольких десятках шагов виднелась смутно фигура неподвижно[24] стоящего человека. Он не трогался с места и мы, весело переглянувшись и приняв усиленно скромный вид, пошли по направлению к нему. Ближе... Да, это мужик...

Но что это? Боже мой, что это?!

С пронзительным криком моя подруга бросилась бежать, я же[25], как окаменелый, стоял и чувствовал, как волосы шевелятся на моей голове и холодная дрожь пробегает по телу. В трех шагах против меня неподвижно висел удавленник, почти касаясь босыми ногами травы. Неестественно вытянувшееся худое[26] тело; полуоткрытые стеклянные глаза, со странной суровостью не то насмешкой устремленные на меня. Почти потерявший сознание того, что я делаю, я бросился к трупу и начал дергать веревку, на которой он висел. Но веревка была крепка и не подавалась моим усилиям. Тело кружилось и било меня. Подпрыгнув, я схватил за веревку выше *его* головы – на секунду моя щека прикоснулась к обледенелой щеке – и оба мы грохнули на землю. Не знаю, сколько времени стоял я над трупом, не отрывая глаз от его обезображенного лица; не слыхал я, как пришли люди, унесли его и увели меня. Я шел, куда шли все, спотыкался и, кажется,

---

[19] *Далее было: а.* с горькой иронией *б.* и склонив на бок *(вписано и зачеркнуто)*
[20] самыми *вписано.*
[21] *Было:* ней
[22] и красовался *вписано.*
[23] *Далее было:* красовался
[24] неподвижно *вписано.*
[25] же *вписано.*
[26] худое *вписано.*


Стихи времен и прозы. MS.606/B.64

Две встречи.

Мы знали в зеленом, весеннем лесу.
Под натиск свидетий мы в нашей деревне, укромном уголке. Только случайно [illegible] сквозь полог листвы глубокого оврага, покрытого высокой густой травой и неуправляемыми дикими кустами цветов, вам разбросанные небольшими группами сосны спускались, по строгой линии берега, нарисованную в серых тонах, по к вершине отличавшейся сильной древесной растительностью. По другую сторону оврага через ручей, на высокой, почти обрывистой горе подымалась густой, темной массой подавляющая нашего молодого воображения непроходимая и дремучая чаща. Что там за этим лесом? – нередко думали мы – и в нашем воображении проносились картины полей и волнующейся ржи, [illegible] и далеких шумных городов.

Никто не доносил вам знать о нашей встрече. Как сама дружелюбная, была она нашей любви, первую нежную любовь. Не знаю кто, кто давно уже видел [illegible] кроткий взор всей сдержанной тогда видевшей горячей, бушующей, девственной силой и страстной задушевностью давно уже видал наши следы, с улыбкой смотрел на нас и во время случайных сталкивавшихся свое сильное сердце у молодого отца. Вечером я холодно прощался с ней, забывая про себя за суровым молчанием и подчиненным видом, под которым как два черных зимних [illegible] брови – в утренней, как струна, тишине или ясно ночью души, и часто на много дней. Иногда даже тогда тихо обходя дачу, скрывался за деревьями, недолго вспоминая по несбывшемся довольно прошлое, когда у вас великий выходил красноватый по прозвищу „Кавказский Чужак", и по приходил не зная ему одержимый в груди трепетно бьющееся сердце, то, закрывая грубую пропорцию сквозь осиновую чащу как требовало, спугнувой читать, сдергая сам от шума своих шагов и подозрительным видом отличавшегося в кружке.

"Две встречи".
Автограф. Русский архив в Лидсе (Великобритания)

рассказывал, как мы нашли его. Откуда-то издалека доносились до меня сбивчивые, шумные и тихие разговор⟨ы⟩. Его звали Софроном Кобылкиным, и он раньше был мужиком из соседней деревни. ⟨*л. 4*⟩ У него была большая семья, для которой не хватало хлеба, и он удавился. Так говорили окружающие. Яркие пятна солнечного света играли на зеленой листве и временами[27] попадали и выхватили ⟨*так!*⟩ из тени белую рубаху того, что впереди нас несли на сложенных сучьях.

– Зачем это? Зачем! – спрашивал кто-то и плакал.

Кажется, это был я.

С нею я увиделся долго, долго спустя. Мы немного поговорили и разошлись, потому что нам неприятно было смотреть друг на друга. До сих ⟨пор⟩ щека моя хранит впечатление прикосновения другой холодной щеки.

То было в зеленом, печальном лесу.

---

[27] *Было начато:* ми⟨нутами?⟩

⟨*л. 66*⟩

НАС ДВОЕ[1]

Солнце заходило[2]. Округлая вершина сосны освещалась последними лучами, и тонкий ствол, как вылитый из червонного золота, краснел в гуще темной зелени. Внизу мягкой прозрачной дымкой стлались сумерки и[3] смягчали[4] резкие очертания предметов. От больших кустов жасмина, разбросанных вокруг террасы и точно[5] покрытых крупными хлопьями снега, поднимался сильный запах, точно[6] заключавший в себе всю свежесть и ароматичность наступающей весенней ночи.[7] В глубине большой террасы, с одной стороны затянутой парусиной, было уже темно. У самых перил террасы, в качалке, неподвижно сидела девушка[8]. Безразличный полусвет сумерек окрашивал все в один и тот же цвет и, скрадывая тени, придавал странную прозрачность и белизну ее лицу, на котором[9] черными змейками выделялись тонкие брови и темнели опущенные ресницы. Белая как мрамор[10] шея сливалась с белой материей платья, как облаком окутывавшей ее. От всей ее молодой, стройной фигуры веяло тою же[11] белизной[12] и[13] све-

---

[1] *Далее было (с абзаца):* Вечер тихо спускался на землю. В саду царил уже безразличный полусвет сумерек, но вершина сосны из соседнего сада еще освещалась последними лучами солнца, и тонкий ствол, как вылитый из червонного золота, краснел в темной зелени.

[2] *Далее вписана помета:* К⟨расная⟩ ст⟨рока⟩. *На л. 65 об. помета, относящаяся к данному фрагменту:* Солнце заходило. Округлая вершина

[3] и *вписано.*

[4] *Было:* смягчая

[5] *Было:* как бы

[6] точно *вписано.*

[7] *Далее было:* На террасе, несколькими ступеньками отделявшейся от дорожки, усыпанной желтым листом

[8] *Далее было:* , опустив глаза на книгу

[9] *Далее было:* темной

[10] мрамор *подчеркнуто.*

[11] тою же *вписано.*

[12] *Было:* чистотой (*незач. вар.*)

[13] *Далее было начато:* не

жестью, как от[14] только что распустившегося жасмина. Грохот поездов.[15]

Твердые[16] шаги нарушили тишину[17]. Почтальон[18] в белой полотняной блузе не сразу заметил девушку.

– Вам письмо, Наталья Михайловна[19]. Издалече.

⟨*л. 67*⟩[20] – Благодарю.

Откуда это? Наталья Михайловна взглянула безразлично на почерк – быстро вскочила с качалки, бросила от себя на стол[21]. Лицо ее побледнело еще более и приняло выражение растерянности, смущения и суровости. Опять опустившись в качалку, она медленно и нерешительно стала повертывать письмо в руках. Тяжелое, две марки. Штемпеля неясны, Н⟨аталья⟩ М⟨ихайловна⟩ с трудом разобрала название города[22]. "Опять он начинает мучить меня!" – с тоской подумала девушка, неохотно разрывая конверт.

"Не удивляйтесь, Н⟨аталья⟩ М⟨ихайловна⟩, этому письму. Не торопитесь говорить[23] с презрительной жалостью: бедный, он не выдержал. Нет, я не забыл того, что говорилось между нами при прощаньи. И я не отказываюсь от своих слов и не хочу возобновлять наших отношений...

Нет, не могу и не хочу[24] говорить я в этом тоне, напоминающем нам наши последние письма и разговоры. К чему ненужное самолюбие, упреки, попытки оградить свое достоинство, когда смерть стоит за плечами? Не смейтесь, не смейте смеяться – над мертвым! Это письмо – голос с того света. Вы получите его 16-го – так знайте, что третьего дня[25], 14-го ночью,[26] Константин[27] Семенов Савицкий покончил с собой и в настоящую минуту, взрезанный по всем правилам медицинско-полицейского искусства, лежит на грязном анатомическом столе..."

---

[14] как от *вписано.*

[15] Грохот поездов. *вписано на л. 65 об.*

[16] *Было:* Торопливые

[17] *Было: а.* нарушили тишину *б.* приближались к террасе

[18] *Далее было вписано и зачеркнуто:* Молодой,

[19] *Вместо:* Наталья Михайловна – *было:* Людмила Степ⟨ановна⟩

[20] *Далее было (с абзаца):* Он часто носил ей письма и любил видеть выражение удовольствия, которое появлялось на ее лице, когда тонкие пальцы поспешно разрывали конверт.

[21] бросила от себя на стол *вписано на л. 66 об.*

[22] *Вместо:* название города – *было:* "Рига"⟨?⟩

[23] говорить *вписано.*

[24] не хочу *вписано.*

[25] третьего дня *вписано.*

[26] *Далее было:* лекарь

[27] *Далее было начато:* Ив⟨анов?⟩

Ночная тьма густела. Дрожащей рукой Н⟨аталья⟩ М⟨ихайловна⟩ едва удерживала письмо, белевшее, как лицо мертвого.[28]

«Дорогая моя,[29] не думай, что я с радостью наношу этот удар в твое сердце. Нет сейчас во мне ни злобы, ни[30] злобно[31] бушующей любви, заставляющей говорить резкие и обидные слова. Смерть передо мною, и я[32] близок к ней,[33] уже перешагнул за порог вечности. Я сам, а ты и все минувшее – далеко-далеко от меня. Я мог бы даже не ⟨*л. 68*⟩ писать этого письма, если бы не желание в последний раз поговорить с тобою кротко, мирно, спокойно, как подобает живому мертвецу. Мне хочется объяснить, сказать тебе, отчего, любя друг друга, мы были несчастны.

Знай, что никого, кроме себя, единственно себя, я не виню ни в несчастьи своем, ни в смерти. Не знаю, поймешь ли ты меня. Твой братец говорит – распущенность, Н.Н. – психопатство.[34]

Беда моя в том, что *нас два*![35]

Когда я надеваю одну шляпу, одно пальто, беру на конке один билет,[36] плачу за один обед[37], занимаю одно место – все думают, что я один. Нет, нас двое. Я и еще кто-то другой во мне. И для меня составляет загадку – и до сих пор, кто из нас действительно[38] я, а кто – он. Во мне живут[39] два существа[40]. И[41] мое несчастье в том, что эти два существа, два я страшно ненавидят друг друга. Всю жизнь, с того момента, как я помню себя, они[42] грызут⟨?⟩ и рвут друг друга. Оба, покрытые ранами, оба, теряющие силы в жестокой борьбе, ежеминутной, упорной, каннибальской; они редко подают руки друг другу. Было два момента в моей жизни, когда они слились в одно я. Первый раз – 3 января, помнишь, когда ты сказала мне, что любишь меня. Второй раз – ныне, даже не сейчас, а вот когда дуло револьвера будет приложено к виску.

---

[28] *К тексту:* Ночная тьма ~ лицо мертвого. – *на л. 66 об. помета-вставка:* отбросила, как будто оно было в крови. Рвала волосы. "Так он убил себя. Он не мог. А я? Я?"

[29] *Далее было:* мне жаль

[30] *Далее было:* яростно

[31] злобно *вписано.*

[32] *Далее было:* так

[33] *Далее было:* и как будто

[34] *Текст:* Твой братец ~ психопатство. – *вписан на л. 67 об.*

[35] Беда моя в том, что нас два! – *вписано.*

[36] *Далее было начато:* зани⟨маю⟩

[37] *Было:* билет

[38] действительно *вписано.*

[39] живут *вписано.*

[40] *Вместо:* два существа – *было:* две воли

[41] И *вписано.*

[42] *Далее было:* грызутся

Через две минуты после того, как я услышал "люблю", мои я уже сцепились:[43] одно я продолжало еще[44] радоваться, другое уже показывало ему язык. Интересно, не повторится ли это теперь, после выстрела!

Говоря, что для меня составляет загадку[45], кто из двух этих личностей составляет собственно мое настоящее я, – я отдаю лишь дань объективизму. В сущности для меня в каждую данную минуту ясно, что одно из них я – а другое есть[46] тот несимпатичный мне, ненавистный господин, которого я, ей-богу, с великим удовольствием отправлю на тот свет. Вот теперь я попробую охарактеризовать и это мое я, и этого господина, которого ты так часто принимала за[47] меня. "Я" – нечто достойное, возвышенное; я – человек в чистом виде, без органических примесей. "Он" – тоже человек, но возмутительный, грязный, подлый, скверный; он – органическая примесь к чистому человеку. Любил тебя я; заставлял[48] страдать он. Когда я любил твою душу, когда я наслаждался твоим словом, взглядом в твои черные глаза, из которых на меня глядело такое же чистое, родное я, как у ⟨*л. 69*⟩ меня, – это был я. Когда же поцелуи падали на твое раскрасневшееся личико, когда во мне поднималась волна желаний, когда я роптал на то, что судьба, люди, ты – все вместе вы лишаете меня "счастья", т.е. не даете исполниться всем этим желаниям,[49] то был не я. То был этот самый господин. Когда я, сознавая, как ты несчастна со мной, искренне, от души хотел тебе счастья с другим – хотя бы с тем же Н.Н., – это был я. Когда же я дико ревновал тебя к нему, отправлялся бродить, таскаться[50] по полям, ломал себе[51] руки и ныл, – это был не[52] я. Разве потом, когда мое я не побеждало этого мерзавца, я не говорил тебе о том, как ненавижу я себя? Это были не одни слова. Разве не получал я странного наслаждения в тот момент, когда в глухом лесу, катаясь по[53] сырой земле, я царапал себе грудь, рвал волосы. А, этому господину больно? Так рви еще, грызи руки, – пусть будет еще больнее!

---

[43] мои я уже сцепились: *вписано.*
[44] еще *вписано.*
[45] загадку *вписано.*
[46] есть *вписано.*
[47] за *вписано.*
[48] *Далее было:* ⟨*нрзб.*⟩
[49] *Далее было:* не
[50] *Вместо:* отправлялся бродить, таскаться – *было:* уходил таскаться
[51] *В рукописи:* тебе
[52] не *вписано.*
[53] *Было:* на⟨?⟩

Чем еще тебя мучил я? Да, – своими непонятными речами и жалобами на жизнь, на людей, на себя. Но мог ли я не жаловаться? Я – я[54] хотел[55] быть великим, сильным, славным, бесконечно умным и добрым; я хотел обладать всем, чем обладают цари и боги. В то же время[56] я глядел на себя, т.е. на этого господина, которого все называют моим именем и он откликается, – и видел[57] жалкую фигурку, слабосильную,[58] склонную к получениям насморка, мелко самолюбивую и тщеславную. Разве, ты думаешь, мне не тошно, не противно было смотреть на этого господина, когда он, встретив другого господина, еще ниже ростом, выслушивал от него похвалы, своему уму, красноречию, учености, удаче с женщинами, и топорщился, лицемерно косил глаза в сторону, а сам, всем своим телом, вопил: "еще, еще!" А ты помнишь – ⟨не⟩ ты ли удивлялась и негодовала: "его все хвалят, а он от того в тоску впал!" И когда твой братец, в виде комментария, произносил роковое "распущенность", а Н.Н. намекал на "психопатство", ты с готовностью с ним соглашалась. ⟨*л. 70*⟩ А когда этот господин уходил от[59] тебя после ссоры, или кто-нибудь его обижал, или у него не хватало денег, или он встречал господина выше себя ростом и тот невзначай сталкивал его с своей дороги – какое чувство должен был я испытывать к этой обиженной, огорченной, завидующей, плачущей и жалующейся фигурке? Тебе тогда[60] казалось непонятным, почему я, говоря о своих[61] страданиях как будто и серьезно[62], в то же время как будто и смеюсь над ними.[63] Но если б ты знала, как в то время ненавидел я себя за то[64], что я страдаю, что я могу так мелочно, жалко страдать!

И жить, сознавая,[65] что на[66] всю жизнь ты скован с этим опротивевшим тебе мизернейшим господином! Что мудреного, если и я начинал огорчаться и толковать о прелестях самоубийства, доводя тебя до неистовства. Помнишь, ты сказала мне: "за чем же дело стало!" О, милый друг, что за кавардак устроила

---

[54] я *вписано.*
[55] *Было:* хочу
[56] В то же время *вписано.*
[57] *Далее было:* довольно
[58] *Далее было:* с многими приз⟨наками⟩
[59] от *вписано.*
[60] тогда *вписано.*
[61] своих *вписано.*
[62] *В рукописи:* серьезных
[63] *Далее было:* Но как же мне было не смеяться
[64] за то *вписано.*
[65] *Далее было начато:* в⟨сю?⟩
[66] на *вписано.*

ты во мне! Что за прелестный дуэт из двух я огласил мою душу! Одно я, забираясь ввысь, тянуло: "Она права!", другое рычало басом: "И вот любовь!" Помнится, что мерзавец одолел, и я устроил тебе легонькую сцену, за то что ты согласилась со мной.

Прости, дорогая, за откровенность, которая, быть может, обидит тебя. Ты знаешь, что я любил многих и многие любили меня. Но тебя любил я так называемою настоящею любовью. Теперь я скажу тебе, какие вещи проделывал со мной мой милейший сожитель. Вчера, напр⟨имер⟩, и сегодня я бывал одинаково убежден, что ты – тот человек, который мне нужен, симпатичен теми и другими сторонами души. Вчера я с нежностью смотрел на твое я, выглядывавшее из глаз, и мой сожитель с жаром целовал тебя. Но потому ли, что он злоупотреблял этим удовольствием или он плохо спал, вообще черт его знает почему, – но сегодня он настроен скептически. Он смотрит на тебя и докладывает мне[67]: "а заметил, брат, что у нее нос красный?" Я посылаю его к черту, но невольно гляжу на нос: ⟨*л. 71*⟩ действительно, красный. А зачем она, целуя, так громко и некрасиво чмокнула. А этот взгляд – кокетство.[68] И знаю я, что врет он, этот господин, и знаю я, что нос не имеет ни малейшего отношения к твоей душе, которую я люблю, – но в то же время чувствую, что меньше люблю эту[69] неповинную душу».

Н⟨аталья⟩ М⟨ихайловна⟩ вспоминает, когда у нее был красный нос, но не вспомнив, читает дальше.[70]

---

[67] мне *вписано.*

[68] *Текст:* А зачем она ~ кокетство. – *вписан на л. 70 об.*

[69] *Далее было:* душу

[70] *Далее было:* "И в результате опять я себе противен. И так всегда, со всеми и везде. Не стоит, да и не годится тебе, как девушке, рассказывать, что только не проделывал этот господин. Понимаешь ли ты теперь, кто виноват в том, что ты была несчастна? Понимаешь, кто писал к тебе эти дикие письма? ⟨*Далее помета:* Андреев⟩

Ты задаешь себе наверно этот вопрос, который не раз задавала: почему я же не боролся с этим господином? Я боролся с ним – это то же, что бороться воздушному шару с ветром, который его несет. Я всю жизнь боролся с ним – и никогда, мне думается, ни разу не заставил этого господина сделать по-своему. Я убедился, что это я, кажущееся [таки⟨м?⟩] самостоятельным, независимым, властным и вольным, свободным – [существует как всё⟨?⟩ моего тела] живет на хлебах у этого господина и имеет власти меньше, чем любой приживальщик. Естественный результат борьбы – это тот, что я порчу своему принципалу всякое удовольствие и отнимаю радость у его страдания ⟨*так в рукописи*⟩. Если говорить правду, так и этот господин достаточно, и имеет на то право, ненавидит меня. (Разница в том, что я ненавижу его.) И надо уже под конец отдать справедливость этому господину: самоубийство приводит в исполнение он, хотя вот в чем дело... У меня бывает дикая мысль,

⟨*л. 72*⟩[71] «И в результате опять какая-нибудь неприятность. А эти разговоры, бесконечные, однообразные, о том, люблю ли я тебя, любил ли я тебя вчера, буду ли любить завтра. Сколько остроумия, сколько огня, и слез, и сил[72] тратилось на[73] эту ничтожную, бессмысленную, жалко-нелепую работу. Ты не понимала, ты мучилась, не видя цели в этих разговорах, но чувствуя, как бесконечный винт, мое я, затягивает тебя, заставляет и тебя думать о том, что не нужно, что лишь отражение жизни узко эгоистичной. Все[74] я, я – под тем или другим соусом, но все я. Помнишь, как в один вечер, незадолго до конца, со мною что-то стряслось и я, забыв о себе, заговорил о том, что так интересует тебя: о роли интеллигенции в современном русском обществе. Тот разговор, который в начале знакомства трогал тебя.[75] Для меня этот вопрос казался избитым, и скучным, и ненужным, но, видя твои сияющие, внимательные глаза, я говорил много и, кажется, увлекательно. И ты просила меня посидеть еще – чего давно не было; и ты[76] проводила меня до калитки, и ты так горячо поцеловала меня – как давно не целовала. И когда я темною улицею шел к себе на дачу, минутная радость и удовлетворение сменились сугубою тоскою. Мой сожитель

что когда будет [эт⟨от⟩] убит этот господин, то мое я освободится и останется жить... Но целовать его ты никогда не будешь.

Но мне опять тошно! Это я, я под тем или другим соусом, но все я, я – как опротивело мне это. Что создало меня таким убогим? Опять! Нет, поскорее, поскорее, убить это я, убить оба я, мне жаль ⟨*л. 72*⟩ расстаться с тобой. Я все сказал, что нужно, а впрочем, и не все – ну и не надо. Страшно умирать, когда одно отвращение наполняет душу. Я лучше расскажу тебе, как я тебя люблю. Вчера я поехал на взморье. Хотелось быть одному и не думать. Лег я на песке и смотрел, как идут к берегу волны. Идет издалека, горбится, поднимает белую верхушку и рассыпается. За ней другая, третья. И так было тысячи лет тому назад и будет. Это сознание успокаивает – и приближает к смерти, к бесконечному. Вспомнилось мне прошлое лето. Почему так живо оно в памяти? Я помню каждое твое слово, движение. Помнишь, как были мы счастливы в иные часы? Тогда Н.Н. еще не появлялся. Вот человек, которого ты можешь любить. У него одно я, и на мой взгляд не важное, но это пустое. Он умный, деятельный, веселый, думает о других, живет. Он всегда занят, никогда не жалуется.

[71] *На л. 71 об. вписано позднее (без указания места вставки):* С другими я был гораздо лучше. Их я [н⟨е⟩] удостаивал своей откровенности. И когда в начале я мало любил тебя, я был лучше для тебя, потому что не все говорил. Беда была в том, что я слишком полюбил тебя. Обыкновенно женщины ⟨*нрзб.*⟩ тон, мотивов подчеркивают негодность ⟨*фраза обрывается*⟩

[72] сил *вписано.*

[73] *Далее было начато:* ⟨*нрзб.*⟩

[74] *В рукописи:* Вся

[75] Тот разговор ~ тебя. *вписано на л. 71 об.*

[76] *Далее было:* так

думал: “а вот небойсь она так внимательно не слушает, когда я говорю о себе”, а мое несчастное ⟨*л. 73*⟩ я смотрело на этого дряблого сожителя и размышляло: как плохо он говорил; и как жаль, что он не может всегда так говорить. На другой день, помнится, я терзал тебя упреками за то, что ты меня не любишь, и советовал любить такого, как Н.Н., который всегда будет говорить тебе о роли интеллигенции и высоком призвании женщины.

Радость моя! Поймешь ли ты когда-нибудь, что за безумная непрерывная мука – носить в себе вечно двух людей, из которых один, инквизитор строгий, непреклонный, жестокий, ненавидящими глазами следит за другим, казня его и пытая за каждое[77] уклонение[78] от идеала. Идеал... Можно ли назвать идеалом то грандиозно-величавое представление о человеке, которое отравляет мою жизнь. Я знаю людей, которые стремятся и работают для идеала, но которые бывают спокойны и удовлетворены, приблизившись хоть на пядь к нему. Почему же я не мог, не могу удовлетвориться меньшим, чем полным осуществлением идеала? Почему – в то далекое время, когда я, не измерив еще всего безумия своих желаний: боролся и работал над собой – почему уже тогда каждый успех был для меня мукой? Каждый успех заставлял меня оглянуться назад и ужаснуться, видя, что пройденный мною с таким трудом путь к идеалу – является невидимой точкой на бесконечном расстоянии. Каждый успех яснее подчеркивал все безумие моих желаний. Отчего я не мог, как другие, радоваться, что прошел хоть немного, что обогнал тех и других, – а думал о том, сколько людей впереди меня и я не могу и никогда не перегоню их[79]? Зачем я не был ослеплен собой? Зачем мое инквизиторское я до последней степени точности взвесило и измерило[80] ум, силы и способности того, что составляет К.С. Савицкого, и не решило, что он ничтожество, и с каждым днем не убеждалось, что это непреложная истина.[81] Сколько есть Петровых, которые, раз заняв место выше Ивановых и ниже Карповых, никогда не задумываются о том, что они ниже Карповых, а поют небу непрестанно хвалу, непрестанно радуются, что выше Ивановых. И я никогда не мог быть Петровым. А ты этому удивлялась, братец твой говорил “распу-

---

[77] *Было:* каждую

[78] *Было:* попытку

[79] *Было начато:* д⟨ругих?⟩

[80] *Далее было:* то что

[81] *Текст:* Отчего я не мог ~ истина. – *пересекает вертикальная черта (возможно, знак вычерка).*

щенность", а Н.Н. намекал на психопатство. Может быть, все вы и правы[82]...»[83]

⟨*л. 74*⟩ Н⟨аталья⟩ М⟨ихайловна⟩ уже не раз слыхала из уст автора письма об этих бесформенных[84] желаниях, напоминавших манию величия, и знала, что вслед за сожалением о том, почему он не такой Петров, последуют яростные нападки на последних. Поэтому, бегло просмотрев две страницы, она перешла к следующим. Солнце уже зашло. Ствол сосны слабо темнел, и ночные тени густели.[85] Бледное лицо низко нагибалось над белой бумагой, по которой шли крупные разгонистые строки.

«И в этом вопросе о самоубийстве лучше всего сказалась прелесть⟨?⟩ моего сожителя. Ты достаточно наслушалась моих мечтаний о самоубийстве и последнее время внимала им решительно без всякого страха. Но ты не совсем была права. Это не были одни жалкие[86] слова[87] – это было отражением постоянных дум о смерти, дум, не оставлявших меня ни днем, ни ночью. Уже много лет я мечтаю о прелести самоубийства. Я думал: когда мне станет тяжело, я убью себя. И я[88] рисовал в своем воображении с художественной отчетливостью и силой все перипетии самоубийства. Я наконец забирался в гроб, следил за разложением моего тела, сладострастно ужасался – и засыпал. Наступил наконец день – ты этот день знаешь – когда я почувствовал, что предел достигнут и время заряжать револьвер. О, радость моя! Ты не[89] слыхала, да и не услышишь того дьявольски веселого смеха, каким разразилось мое я, когда этот господин, этот ненавистный мне сожитель заявил: "я боюсь и стреляться не стану". Из дальнейших объяснений следовало, что когда-то он[90] не боялся

---

[82] *Далее было начато:* Н.Н.⟨?⟩

[83] *На л. 72 об. вписано позднее:* Я не знал, что это: самолюбие ли дикое и больное, но я не могу выносить, чтобы кто-нибудь в мире был выше меня. Часто я соглашался даже на то, чтобы быть немного выше. Все или ничего. И вот один из нас вечно стремился к невозможному, другой же, как и все, радовался похвалам, хлопотал о местечке, вступал к отношения.
Горькое наслаждение при чтении биографий великих людей
Думать о бессмертии и страдать насм⟨орком⟩
– могуществе – кланяться перед начальством
– о гениальности – и не решить задачу с 3 неизв⟨естными⟩
– красоте – только что не пугать лошадь

[84] *Далее было начато:* пус⟨тых?⟩

[85] *Далее было:* Нужно было нагиб⟨аться⟩

[86] жалкие *вписано.*

[87] *Далее было начато:* Прод⟨?⟩

[88] *Далее было:* с

[89] *Далее было:* можешь

[90] *Далее было:* не ду⟨мал⟩

смерти – именно когда он не думал о ней, но когда он рассмотрел смерть во всех подробностях и красоте, он умирать не желает. Не хочу разлагаться, да и только... Бороться с ним, но ведь это то же, что воздушному шару бороться с уносящим его ветром.[91] Я не боюсь смерти, но что я поделаю с ним. И одно только осталось на мою долю: мольбы к судьбе. О, ты, великая, обрушивающая кирпич на голову прохожих! – устрой, молю тебя, такое⟨?⟩, чтобы легкомысленный[92] извозчик заехал мне оглоблей в голову и убил меня. Но устрой ⟨*л. 75*⟩ это так, чтобы извозчик заехал сзади, и я не видал его, а то я отскочу! Таким образом усердно несколько раз помолившись, я достиг того, что, переходя улицу, чуть не свертывал себе ⟨шею⟩, стараясь заметить, не[93] наезжает ли на меня легкомысленный извозчик... дабы своевременно отскочить.

Ты удивишься, какая чудесная сила заставила теперь меня решиться на самоубийство. Эта сила – любовь к тебе. Я благословляю ее, освободительницу. Она сделала то, что этот трусливый господин и сам восчувствовал жажду[94] смерти и разложения. Ему так хочется целовать тебя; он так безумно хочет сжать тебя в своих объятиях, почувствовать прикосновение твоего тела, увидеть твои глаза... Он дышать без тебя не может, есть не может, спать не может и полагает, что лучше уж раз отзвониться и с колокольни долой![95] Он так любит тебя, что в эту минуту я забываю, кажется, свою ненависть к нему и сливаюсь с ним в одно существо, говорящее: люблю тебя. Передо мною чернеет пасть могилы, вечного мрака и небытия – последние свои слова, последние мысли отдаю тебе, ненаглядная. Забудь все дурное, несправедливое; сохрани память лишь о том, что я любил тебя. Знай, что если бы осуществились мои безумные желания, все поверг бы я к твоим ногам: славу, могущество, бессмертие. Перенесись мыслью ко мне, в этот грязный номер грязной гостиницы, взгляни на меня, сидящего за грязным столом и взглядывающего

---

[91] *Было:* ?

[92] легкомысленный *вписано.*

[93] *Далее было:* едет ли легкомысленны⟨й⟩

[94] *Далее было:* любви

[95] *Напротив текста:* это так, чтобы ~ с колокольни долой! – *на л. 74 об. вписано:* Когда я шел с тобой по улице – муки было встречать людей выше меня ростом, красивее.

С одной стороны, я, подчеркивая свои недостатки, говорил: полюби нас черненькими... С другой – сознавал – что я никогда, а не поверю этой любви.

Ты упрекала меня, что я не работаю – так⟨ие?⟩ способности
Испытания...

то на часы, то на револьвер. Прикоснись твоей милой рукой к этой горячей голове, положи руку на это бьющее последним биением сердце, полное такой несказанной муки, такой нечеловеческой любви к тебе. Пожалей меня. Я не знаю, за что обрекли меня на[96] страдания, на смерть. Не могу больше. Прощай! Про...»

Листки письма свалились с колен Н⟨атальи⟩ М⟨ихайловны⟩ и рассыпались по полу. Откинувшись на спинку качалки, она закрыла глаза и замерла. Ночные ⟨*л. 76*⟩ тени сгущались.[97] Легкий порыв ветра колыхнул вершины деревьев и донес слабые звуки далекого оркестра. Темнота росла. Только белые цветы жасмина да с ног до головы белая, снежная фигура девушки[98] выделялись из мрака.

Торопливые, нетвердые шаги приближались к террасе. Кто-то[99], не всходя на террасу, остановился против Н⟨атальи⟩ М⟨ихайловны⟩.

– Н.Н., это вы? – спросила она, не открывая глаз.

– Нет, это я, – ответил голос.

С криком испуга Наталья Михайловна встала и, опершись руками на перила, широко открытыми глазами уставилась на пришедшего.

– Вы? Вы?

– Не бойтесь. Это не призрак. Я жив. Я помчался вслед за письмом, чтобы перегнать его, не дать вам прочесть.

– Вы живы?

– Я не мог убить себя. Я должен был еще раз видеть вас, спросить.

– Вы живы?

– Я не могу поверить, чтобы вы не любили меня. Одним вашим словом вы можете спасти меня. Я так люблю вас, что сделаю все. Я переменюсь. Я буду работать над собой... Вы не отвечаете?

– Я слушаю. Продолжайте.

– Я так люблю вас. Вы можете дать мне жизнь... Ответьте же мне.

Новый порыв ветра донес звуки оркестра и шевельнул волосы К⟨онстантина⟩ С⟨еменовича⟩. Он, как снял шляпу, так и держал ее в руке.

– Вы верите тому, что говорите?

---

[96] *Далее было:* гибель

[97] *Далее было:* [Издалека с порывом легкого ветра] донесло звуки оркестра, [игравшего] этот же [ветер] порыв слегка колыхнул парусину. (*Исправленное взято в круглые скобки.*)

[98] девушки *вписано.*

[99] *Далее было:* остановился

– Я не знаю. Я верю. Я не мог убить себя...

Серебристый смех Н⟨аталии⟩ М⟨ихайловны⟩ прозвучал дико и страшно в тишине ночи. Лица К⟨онстантина⟩ С⟨еменовича⟩ не было видно.

– Вы смеетесь? Да, я не мог. Вы знаете: у меня есть ум, способности, я ⟨*л. 77*⟩ могу, я должен жить. Дайте мне жизнь, Наташа!

– Какой великий артист погибает.

К⟨онстантин⟩ С⟨еменович⟩, сделав шаг назад и несколько театрально поклонившись, повернулся к выходу. Н⟨аталья⟩ М⟨ихайловна⟩ поспешно собирала листки письма.

– Постойте...

– Что? – в[100] охрипшем голосе прозвучала надежда.

– Возьмите... это. Зачем вы писали это? Зачем на минуту вы заставили меня пожалеть себя... полюбить... вновь. Зачем вы лгали?

– Поверьте...

– О, не говорите мне этих[101] фраз. Они измучили меня. Уходите. Я не могу вас видеть. – Н⟨аталья⟩ М⟨ихайловна⟩ зарыдала. К⟨онстантин⟩ С⟨еменович⟩ бросился к ней, но повелительный резкий голос остановил его:

– Не подходите!

Н⟨аталья⟩ М⟨ихайловна⟩ не видела и не смотрела[102], как он[103] ушел. Часы на колокольне пробили 11. Скоро должны были вернуться домашние, ездившие в город[104]. Железная дорога проходила недалеко от дачи, и Н⟨аталья⟩ М⟨ихайловна⟩ слышала, как приближался, грохоча, поезд. Пронзительный свисток огласил заснувший лес. Еще свисток, еще. Прерывистый, тревожный, он звучал тревогою, ужасом. Еще один пронзительный, протяжный вой – и все смолкло.

Через полчаса вернулись домашние. Мать, нагруженная покупками, тяжело дышала, крича отставшему мужу:

– Да иди же, М⟨ихаил⟩ П⟨етрович⟩. Это ты, Тася? Ах, какой ужас: сейчас поездом задавило какого-то человека. И представь: как раз из-под нашего вагона его вытаскивали. Я так перепугалась. Сейчас руки трясутся... Тася! Тасечка! Что с тобой? Воды, ах, батюшки, воды!.. Да иди же ты, Михаил Петрович!

28[105] *января ⟨18⟩ 99 г.*

---

[100] *Далее было:* голосе
[101] *Было:* этого
[102] и не смотрела *вписано.*
[103] он *вписано.*
[104] *Было:* Москву
[105] *Было:* 29

⟨*л. 2*⟩ ГИБЕЛЬ САМОЗВАНЦА

Когда Василий Васильевич Завитаев был юн и звался Васькой, его бил отец, когда бывал пьян, а в остальное время злая-презлая бабка. Матери у него не было. В гимназии товарищи[1] выжимали из него масло; надзиратель тюкал его по голове острым перстнем, учителя ставили единицы. Из этого времени в памяти его остался один случай. Учитель математики, толстый[2] Чемодан Чемоданыч поставил ему единицу, последнюю, так как после нее Василий Васильевич должен был расстаться с уютным вторым классом, с которым он успел сжиться за два года. Пораженный страхом, Василий Васильевич, тогда еще малорослый[3] белобрысый мальчуган, вечно испачканный мелом и чернилами, совершил гнусное отступление от правил благопристойности, рекомендуемых каждому сознанием[4] достоинства: посередине класса, у кафедры, на которой возвышался котлообразный Чемодан Чемоданович, он стал на колена, сложил руки, ладонь к ладони, как это делают на молитве,[5] склонил голову набок и начал выпрашивать тройку. Результатов он добился противуположных: Чемодан Чемоданыч вписал в журнале единицу и притом толстую, хотя обыкновенно ставил тонкие, как хворостинки; товарищи побили за низкопоклонство. Единственным существом, которое, в своем[6] счастливом детстве, мог бить сам Василий Васильевич, был кот, старый,[7] облезлый и кривой на один глаз. Он до того боялся Василия Васильевича, что, завидев[8] его, не мог даже бежать.

Расставшись с гимназией, Василий Васильевич своевременно похоронил бабку, которая и в гробу лежала с таким злорадным

---

[1] *Далее было начато:* жа⟨ли?⟩
[2] толстый *вписано.*
[3] *Далее было:* мальчуган,
[4] *Далее было:* своего
[5] сложил руки ~ на молитве, *вписано.*
[6] своем *вписано.*
[7] *Далее было начато:* ощипа⟨нный?⟩
[8] *Было:* увидев

выражением сухого лица, как будто она надеялась изредка возвращаться из царства теней и пороть Ваську. Вскоре за нею умер и отец. Вернулся домой пьяный, побил Василия Васильевича, а на другой день уже лежал, вытянувшись, на обеденном столе, чистый, молчаливый и бледный. При жизни он только раз был таким красавцем: когда венчался. У Василия Васильевича еще болело ухо, которое надорвал накануне этот бледный и такой теперь тихий господин, и ему хотелось, чтобы боль эта подолее не проходила – она связывала его с отцом, которого он любил. Со смертью отца Василия Васильевича никто уже более не бил, но зато теперь стали на него кричать. Кричала на него богатая замужняя сестра; кричал ее муж; в губернском правлении на него кричал экзекутор и сослуживцы. Раз кричал даже сам советник за то, что чиновники крадут бумагу и перья. Завитаев крал меньше всех, но у него был такой вид, точно он обокрал целое казначейство, тогда как у других вид был благородный. Было одно лишь существо, на которое Василий Васильевич мог кричать и которому мог приказывать. ⟨*л. 3*⟩ Это была глухая хозяйка, у которой он снимал комнату, но она и половины не слышала того, что ей кричали. И этот крик не удовлетворял Василия Васильевича. Ему хотелось крикнуть на такого же, как он сам, видеть, как тот скосит глаза, и побледнеет, и руки у него затрясутся, и весь он станет такой длинный и тонкий. После губернского правления Завитаева выгоняли еще из нескольких мест и каждый раз кричали. Постепенно у него зародилось такое желание крикнуть самому, какое бывает только при кошмаре, когда оцепенелый язык лежит во рту, как колода, и горло издает только глухой хрип.

Наконец и Василию Васильевичу привалило счастье, неслыханное и небывалое. Он снова возвращался к административной деятельности: осуществлялась его мечта быть зачисленным в ряды московской полиции в звании околоточного надзирателя. Правда, что из тех сфер, где надлежал быть окончательно решен вопрос о его зачислении, определенных сведений не получалось, – но место ему было[9] обещано, и обещание звучало такой правдивостью, что обмануть не было возможности. А главное – и это было важнее всего – полная форма околоточного надзирателя была уже готова: сестра, вдоволь наругавшись, прислала-таки деньги и под конец письма даже несколько ласковых слов приписала и пожелала успеха.

Это было в июне месяце, накануне Петрова дня. Утро было жаркое, безоблачное. Проснувшись, Василий Васильевич пере-

---

[9] было *вписано.*

глядел обновки[10], как он это делал последнее время, расправил белый китель и удивился ясности и блеску пуговиц, отразивших в себе комнату и его лицо – до смешного длинным и чудным. Лакированные сапоги на рантовой подошве показались Василию Васильевичу уж слишком изящными и маленькими. Не будут ли жать ногу? Да и синие[11] шаровары что-то сомнительны: не узки ли? Через четверть часа Василий Васильевич был уже в полной форме и так красив, что даже в маленьком зеркальце было заметно. А главное – солиден. Василий Васильевич подошел к раскрытому[12] окну и выглянул на ярко освещенный двор. Там была только одна баба с высоко подоткнутым подолом, накачивавшая из колодца воду. Завитаев подождал, не посмотрит ли баба на него, и даже засвистел, но баба на него не посмотрела. А если он пройдется по улице? От волнения у Василия Васильевича захватило дух и руки покрылись потом. Но отчего же и не пройтись? В Петровском парке живет одна девица, по имени Олимпиада Власьевна; до сих пор она фыркала на Василия Васильевича, но это объясняется тем, что она не видела его в мундире. И вообще околоточных надзирателей в Москве много: одним больше, одним меньше – кто заметит? И разве, наконец, не мог он приехать из провинции? Именно из Тамбова? Мог – и дико было бы в этом сомневаться.

⟨*л. 4*⟩ В полной полицейской форме, снисходительно отвечая козырявшим городовым и возбуждая несомненный восторг в встречавшихся женщинах, шел Василий Васильевич по улице, когда его голову осенила мысль, блестящая, но чреватая самыми неожиданными последствиями: отчего бы по дороге в парк не[13] завернуть на минутку к приятелю, Алеше Попкову, и не посмеяться над его изумленной физиономией? Задумано – сделано. Приятель не только изумился, но, по присущему ему легкомыслию, пошел и дальше в этом направлении, заявив о необходимости ознаменовать радостное событие небольшим возлиянием в честь Вакха. Было немного выпито. Потом еще выпито. Потом... но здесь история делает скачок.

Факт тот, что вместо Петровского парка Василий Васильевич очутился на Толкучем рынке и мало того, что очутился, но начал проявлять там некоторую деятельность, имевшую целью водворение на рынке порядка и благочиния. Прежде всего его строгому начальническому взгляду представился ряд городовых,

---

[10] *В рукописи:* обвновки

[11] *Далее было начато:* с ка⟨нтом?⟩

[12] раскрытому *вписано.*

[13] *Далее было:* зайти

из коих одни были в кителях, другие в суконных мундирах, что нарушало элементарные правила симметрии, лежащей, как известно, в основе всякой[14] эстетики вообще и строго-полицейской в частности. Сделав городовым несколько внушительных замечаний, Василий Васильевич обратил внимание на торговцев и пришел к выводу, что и этим господам совершенно чуждо понятие об основных началах планомерности и нравственности. Без толку снуя в толпе или же расположив палатки совсем не там, где ожидал их встретить Василий Васильевич, торговцы вели себя настолько предосудительно, что он вынужден был в отеческом тоне сделать соответствующие указания и разъяснения. Убедительная роль Василия Васильевича была, однако, принята с такою непочтительностью, что единственным средством водворить на рынке порядок оставалось одно – отправить всех до единого[15] торговцев в участок. Это было грустно, но необходимо. Приступив к приведению указанной меры в немедленное исполнение, Василий Васильевич наткнулся на крайне враждебное к себе отношение толпы,[16] в более или менее дерзких выражениях начавшей глумиться над чисто физической неустойчивостью Василия Васильевича. С глубоким прискорбием[17] он убедился, что всю толкучку, включая сюда и покупателей, необходимо отправить в участок, иначе порядка нечего и ожидать. Однако дальнейшие в этом отношении мероприятия не только не достигли означенной цели, но поставили Василия Васильевича в положение города, осажденного неприятелем[18], вооруженным всеми новейшими техническими усовершенствованиями в военной области. Не прошло нескольких минут, как весь "город" был засыпан метательными разрывными[19] снарядами в виде гнилых апельсинов и не совсем свежих яиц, каковые, лопаясь при ударе, придали Василию Васильевичу ⟨*л. 5*⟩ чрезвычайно пестрый и оригинальный вид. Яйца при этом производили при разрыве тот самый удушающий запах, секрет которого считался до сих пор совершенно утраченным вместе с известным в истории "греческим огнем". С веселыми криками "ура" толпа яростно бомба⟨р⟩дировала Василия Васильевича, решившего лучше умереть, но не сдаваться. Мужественные попытки пробиться сквозь густые ряды осаждающих были с уроном отбиты. Василий

---

[14] *Далее было начато:* гр⟨?⟩
[15] до единого *вписано.*
[16] *Далее было начато:* на⟨чавшей?⟩
[17] *Далее было начато:* Ва⟨силий Васильевич⟩
[18] *Было:* неприятелями
[19] разрывными *вписано.*

Васильевич упал. Гибель становилась неизбежною, когда на выручку подоспел отряд городовых, рассеявших толпу, а Василия Васильевича... Василия Васильевича отправивших в участок, который был им уготован для торговцев.

Так его Олимпиада Власьевна и не видала!

...Был уже поздний час утра, когда Василий Васильевич проснулся на своей постели и, перевернувшись на другой бок, хотел заснуть снова. Но вдруг, при радостной мысли, что у него есть форма и он скоро будет околоточным надзирателем, что-то страшное промелькнуло в его сознании. Быстро привстав, он огляделся кругом широко раскрытыми глазами и увидел, что он лежит на непостланной кровати в синих шароварах и лакированных сапогах, а рядом на стуле, одной фалдой касаясь пола,[20] валяется грязный китель. Разом вспомнил он все, что было вчера, с самого утра. И воспоминание это было так страшно, что Василий Васильевич уткнулся в подушку, стиснул зубы и на целую минуту остановил свою мысль. Целую минуту он, как мертвый, ничего не думал. Потом открыл глаза и взглянул перед собою. В окно светило то же радостное солнце, что и вчера. Те же мухи ползали по столу, по тому месту, где он вчера утром разлил сладкий чай, надевая форму. За окном женский голос звал дворника. Точно вчера ничего и не произошло. Все было то же, но он...

Словно мельничные колеса, завертелись мысли в голове Василия Васильевича. Но он не чувствовал боли. Того, о чем он вспоминал, не могло быть. Он собирался пройтись. Он пошел. Далее, они пили. Далее... Далее[21] в воспоминаниях наступало что-то[22] такое страшное, что Василий Васильевич снова на секунду остановил свою мысль, но она вырвалась на свободу, ясная, жестокая. Каждая подробность вчерашнего дня встает перед ним ясная, живая, и это было ужасно. Василий Васильевич видит, как он лежит на мостовой, лицом вниз, перед самыми его глазами круглые камни, такие странные в этой близости. А над ним глухо, как будто вдалеке, слышатся голоса, смех. Кто-то трогает за плечо и велит вставать. Василий Васильевич притворяется, что не слышит.

– А ты ему ухи, ухи-то натри. Ишь нализался, ваше благородие.

Слышится грубое ругательство, и он чувствует[23] в ушах жестокую боль...

---

[20] *Далее было:* лежит

[21] *Далее было:* было

[22] в воспоминаниях наступало что-то *вписано.*

[23] *Далее было начато:* же⟨стокую?⟩

Со слабым стоном Василий Васильевич повернулся на кровати и уперся глазами ⟨*л. 6*⟩ в грязный китель и вспомнил, как он был счастлив вчера утром, когда надевал его, и не мог поверить, что случившееся правда. И он мог бы пойти в Петровский парк, и его увидела бы Олимпиада Власьевна, и сестра была бы довольна, а теперь ничего, ничего этого нет. Все пропало. Из глубины далекого прошлого на него взглянуло злое лицо бабки, обрюзгшая, красная физиономия отца. – Василий Васильевич лежал спокойно, не шевелясь; глаза его были закрыты. Вот у наружного края глаза, из-под ресницы что-то блеснуло[24] и медленно, тяжело выкатилась налившаяся, крупная слеза, пробежала щеку и застряла в рыжеватых усах. Вторая слеза обогнула их и капнула на подушку.

Через неделю Василий Васильевич получил[25] повестку: судебный следователь приглашал его к себе для разъяснения вопроса о ношении не присвоенной званию формы.

---

[24] *Было:* блестнуло

[25] *Было начато:* пове⟨стку?⟩

⟨*л. 118*⟩

МАТЬ

Рассказ

Под серым пологом северного неба раскинулся город, и такой большой, что люди могли прожить в нем всю свою жизнь и ни разу не встретиться друг с другом. Среди миллиона живых существ, затерянных в его каменных домах, невидно трепетали две маленькие, серые жизни: одна, долгая и мучительная, принадлежала старой седой женщине, другая, короткая, но такая же серая и безрадостная, – ее дочери.

Зимою, когда день кончался рано и уже с четырех часов город бросал на небо изжелта-красное зарево своих бесчисленных огней, Зинаида Марковна начинала бояться за дочь, которая возвращается из магазина очень поздно, в десятом часу. Ей нужно пройти часть Тверской улицы среди проституток, ловящих мужчин, и мужчин, грубо преследующих женщин, всех без разбору, лишь были бы они молоды; надо потом затеряться в полумраке узеньких переулков, где совсем не видно городовых и редки прохожие, и провалиться, точно в пропасть, в черный сырой подвал со скользкой каменной лестницей, на которой легко сломать ногу. И чем ближе подходило время к десяти часам, тем тревожнее становилась седая женщина, заглядывала в темное окно, подбрасывала угольев в самовар и непроизводительно жгла керосинку. Если дочь запаздывала, в седой голове матери возникали страшные картины, от которых усиленно билось старое сердце и хотелось бежать на улицу. То Маня представлялась ей смятой под скрипучими колесами конки, и синяя ее кофточка, которую она только что вчера выгладила, разорвана и покрыта кровью; то Маню обижал какой-нибудь наглый и сильный мужчина и целовал ее бледную щеку. В эти минуты Маня вспоминалась не такой, какой она была в действительности, а маленькой, чистенькой и кроткой девочкой, с голубым[1] бантиком в густых белокурых[2] волосах и наивной улыбкой.

---

[1] *Было:* розовым
[2] *Было:* черных

Приходила, наконец, дочь, утомленная, раздражительная, и, не снимая синей кофточки и белого крахмального воротничка, валилась на постель и смотрела то на грязный, низкий потолок, то на мать, неуверенно хлопотавшую около самовара.

– Нельзя разве без стуку, – говорила она.

Зинаида Марковна, вздрогнув, роняла с самовара трубу и, бледнея от испуга, угрожающе шептала про себя: тсс... Когда она подавала самовар[3] на стол, голова ее слегка тряслась.

– Ты бы, Манечка, разделась, – нерешительно говорила она, думая о кофточке, которую опять придется гладить. Ей жаль было не труда, но угольев.

– Ах, не приставай, пожалуйста. Не маленькая, сама знаю, что нужно делать.

Когда чай поспевал, Маня лениво раздевалась, злясь на туго затянутый корсет и разрывая снурки, набрасывала на голые плечи платок, пахнущий кухнею, и шла к столу. Мать искоса смотрела, как она, морщась и вдыхая, пила слабенький чай, и не узнавала девочки с голубым бантиком и наивной улыбкой. Лицо сидевшей перед нею девушки было темное, старое и[4], несмотря на пудру, нос и веки краснели. Мать знала, что увеличивающаяся краснота носа составляет постоянную заботу Мани, но старалась показать, что не замечает этого, и избегала смотреть на нее[5]. И так долго сидели друг перед другом две эти женщины и молчали. Одной хотелось говорить, жалеть, но она не смела; другая могла говорить, но ⟨*л. 119*⟩ усталость, бессильная злоба на судьбу и людей сковывали ее язык. Маня кончала ужинать, и если на ее тарелке что-нибудь оставалось, мать осторожно придвигала тарелку[6] к себе и ела, делая вид, что она ест от нечего делать, и когда Маня угрюмо взглядывала на нее, неловко шутила по поводу своего непомерного[7] аппетита: Маня в этой еде остатков видела намек на то, что мать целый день обходится без пищи, и не любила этого.

Иногда разыгрывалась дикая, мерзкая сцена. Ничего не видя перед собою, дрожа от злости и горя, Маня дребезжащим голосом выкрикивала упреки матери за погубленную молодость, за грудь, которая болит у нее от тяжелой работы. Она хватала себя за редкие волосы, колечками подвитые на лбу, и, стиснув зубы, чтобы удержать рыдание, бросалась на постель, а крупные слезы текли из покрасневших глаз и смывали пудру.

---

[3] самовар *вписано.*

[4] *Далее было:* нос

[5] *Было:* нос

[6] *Было:* ее

[7] непомерного *вписано.*

– Успокойся, деточка, – говорила бледная мать, и седая голова ее тряслась. – Я знаю, как ты мучаешься за работой.

Раза три в зиму Маня бывала в опере и возвращалась живая и веселая. Напевая, она задумчиво смотрела в зеркало на свое изображение, и это лицо, смутно белевшее, с большими горящими глазами, казалось ей молодым и красивым. Она шутила с матерью, рассказывала, как хорошо пел Хохлов, и вздыхала, а маленький самовар бурлил и посвистывал, точно не одобряя ни пения Хохлова, ни этого[8] поверхностного веселья. Теперь, в свою очередь, Маня разглядывала мать и ужасалась тому, как она постарела и какие у нее жилистые черные от угольев руки. Словно вернувшись из далекого путешествия, она с изумлением и интересом[9] открывала, что эта измученная женщина – ее мать, и проникалась жалостью к заскорузлым трясущимся рукам и негодовала на себя за свою жестокость и несправедливость.

Давно уже думала мать, что она заедает чужой век, что дочь лучше жила бы на свои двадцать рублей, если бы была одна, и это сознание раскаленным железом жгло ее сердце. Чуждая всему, что малое и великое совершается в обширном мире, она все выдумывала, где бы достать денег, и иногда по целым дням странствовала по Москве, навещая благотворителей. Однажды швейцар, которому она надоела, толкнул ее с лестницы так, что она упала и долго лежала на скользкой панели; другой швейцар, именинник, заставил ее выпить водки и вместе с своими гостями смеялся, когда она стала петь песни, жаловаться на судьбу и плакать[10]. Деньгами она получала редко, чаще ей давали какое-нибудь ненужное тряпье, которое она продавала на Смоленском рынке, причем покупатели[11] хлопали ее по плечам и острили над ней и ее вещами, за которые она назначала непомерно высокую цену. Как-то по рассеянности господ или прислуги[12] среди других вещей ей дали два сапога, но оба они были на одну ногу, и Зинаида Марковна долго придумывала, как бы продать их. На ее счастье, ей попался на Смоленском рынке пьяненький сапожник, веселый и шутливый.

– Ну-ка, чиновница[13], покажь, – протянул он руку.

---

[8] *Было:* этой

[9] *Далее было:* думала

[10] *Вместо текста:* вместе с своими гостями ~ и плакать – *было*: также выгнал ее, так как она не соглашалась петь песни вместе с другими его гостями (*незач. вар.*)

[11] *Было:* покупали

[12] *Далее было:* ей

[13] чиновница *вписано.*

Зинаида Марковна подала один сапог, а другой спрятала за спину.

– Да нешто муж-то об одном сапоге ходит?

Она молча взяла у него сапог и, спрятав за спину, протянула другой.

– Да что ты думаешь, украду, что ли, – изумился сапожник. – Эка невидаль, твои сапоги.

Оставшись один и детально осмотрев покупку, сапожник впал в мрачное настроение.

– Ну и мошенник же народ стал, – говорил он другому мрачному сапожнику. – Старушка чистая, а поди ты, два сапога на одну ногу продала, да еще кому – сапожнику!

⟨*л. 120*⟩ – А мы их пропьем, – нашелся другой. А Зинаида Марковна, зажав в руке полтинник, летела к дому, и ей казалось, что сзади кричат: "держи, держи".

Это был случай смешной, и потому она рассказала о нем дочери. Та сперва нахмурилась, но потом стала смеяться и даже передала случай с разными преувеличениями майору Самоквасову, единственному человеку, навещавшему их в этом чужом городе. Зинаида Марковна добродушно и конфузливо хохотала, стесняясь постороннего человека, а майор хмурил седые брови, пускал табачный дым сквозь нависшие усы и, оставшись наедине с Зинаидой Марковной, сказал:

– А вы того... когда будете что продавать, так мне покажите. Я больше дам.

У майора уже давно составился капиталец, и он продолжал увеличивать его. К Зинаиде Марковне он ходил[14] толковать о политике и хвалиться своим умением приобретать деньгу, причем делал вид, что не замечает окружающей бедности и считает их людьми также очень состоятельными. Зинаида Марковна забывала имена, путала события, тотализатор называла пульверизатором, но слушала внимательно и видимо завидовала, а это было все, что нужно майору. Другие совсем не слушали его и называли выжигой.

В один из дней, особенно тяжелых для Зинаиды Марковны, пришел майор и, между прочим, по поводу железнодорожной катастрофы, завел речь о костоломках и в доказательство того, до чего опасна езда по ним, рассказал[15], что на каждом вокзале есть будка, в которой предлагается едущим застраховывать свою[16] жизнь.

---

[14] *Далее было:* чтобы

[15] *Вместо:* рассказал – *было:* указал на то (*незач. вар.*)

[16] *Было:* им⟨?⟩

– Хоть какое-нибудь для родственников облегчение: не даром погиб человек.

– А много дают денег? – спросила Зинаида Марковна.

– Как застрахуешься: пять, а то десять тысяч.

На просьбу Зинаиды Марковны майор самодовольно сообщил о порядке застрахования и о том, сколько стоит это. Оказалось, что стоит дешево.

– А нет ли у вас, майор, рубля?.. До завтра, – поспешно добавила Зинаида Марковна.

– Нету, – сухо ответил он и ушел обиженный.

Со времени этого разговора прошло шесть месяцев, уже кончилось душное лето и наступила погожая, солнечная осень. У майора была открыта полицией тайная ссудная касса, и он был предан суду. Зинаида Марковна и ее дочь жили все так же и даже хуже, потому что с каждым днем погасала[17] надежда на выход из[18] обесчеловечивающей бедности. У Мани нос стал еще краснее, и пудра совсем не помогала, и каждый почти вечер болела грудь или голова. Она реже стала браниться с матерью, но зато упорно молчала и плакала редкими злыми слезами. Руки ее сделались[19] тонкие, как у балетной танцовщицы, и грудь плоская, как у девочки. Когда Маня раздевалась, ложась спать, мать избегала смотреть на нее, но не могла скрыться от ее упорного и злого взгляда.

– Что, довольна? Вот я и... старой девой стала.

– Да чем же я виновата, Манечка?

– А зачем тогда отговорила меня? Теперь если и продать себя захочешь, так никто не возьмет. Кому нужна такая... таранка... красноносая...[20]

Мать поняла, на что она намекает. Три года тому назад один коммерсант[21] предложил Мане пойти к нему на содержание, но мать и дочь наговорили ему таких резкостей, что он заговорил по-французски, чтобы хоть этим облагородить ⟨*л. 121*⟩ свое поведение; а майор, приведший его, целый год сердился на Зинаиду Марковну. Но упрек в том, что мать отговаривала Маню, был несправедлив: она сама тогда возмущалась и негодовала больше матери.

– Погоди, Маня, скоро все устроится. Будут деньги, будешь и счастлива, – сказала мать, и ее бледная, седая голова тряслась от той мысли, что давно уже носила в себе.

---

[17] *Было:* пропадала

[18] *Далее было начато:* б⟨едности?⟩

[19] *Было:* стали

[20] *Далее было (с абзаца):* – Погоди, Маня, все устроится, будут и деньги, будешь и счастлива, – сказала мать, и ее бледная морщинистая голова

[21] *Было:* купец (*незач. вар.*)

– Деньги? Сапоги, что ли, продавать пойдешь. Молчала бы уже лучше, если... Да что там говорить!

Уткнувшись в подушки, Маня стиснула зубы, чтобы не закричать от мучительной тоски. Перед ее закрытыми глазами проходил бесконечный ряд тоскливых, смутных дней, без света, без жизни, без радости.

Занятая своим горем, Маня не видела, что в матери ее произошла перемена. Она точно пригнулась под какой-то тяжестью, но в то же время стала спокойнее, тверже и упреки дочери встречала равнодушно, как доктор, знающий, что боль, от которой кричит пациент, через полчаса прекратится. Ложась спать, она подолгу молилась Богу и шептала что-то бескровными губами, а когда поднималась с колен, голова ее тряслась сильнее, но лицо становилось спокойнее и как-то мертвее. По-прежнему она бегала по благодетелям и продавала вещи, но выручаемые деньги не тратила на хозяйство, а прятала в сундук. Раз она принесла хорошее черное платье и, в отсутствие дочери, примеривала его перед зеркальцем и видимо была довольна, что в этом платье она походит на богатую старую барыню, хотя несколько[22] и больную[23]. В свободное время она читала старые газеты, которые давал ей лавочник. За⟨с⟩корузлые руки, пачкавшие[24] бумагу, далеко отодвигали лист от глаз, вооруженных очками, и губы и подбородок шевелились, выговаривая про себя буквы. Чаще всего она просматривала рубрику происшествий, и, когда наталкивалась на заголовки: "задавленный поездом" или "страшная смерть", голова ее тряслась сильнее и газетный лист прыгал в руках[25].

В[26] конце октября Зинаида Марковна сказала дочери, что едет в монастырь на богомолье. Маня подумала, что на нужное денег нет, а на какое-то шатанье по монастырям находится, но не решилась высказать вслух свою мысль и только выразительно поджала губы. Скоро, впрочем, и этот молчаливый знак неодобрения исчез, так как, по совету матери, Маня на время ее непродолжительного отсутствия должна была поселиться у своей подруги, и эта перемена была ей приятна. В тот день, когда мать уезжала, Маня по обыкновению уходила[27] утром[28] в магазин, и прощание было сухое и торопливое.

---

[22] несколько *вписано.*
[23] *Далее было:* несколько
[24] *Далее было:* газету
[25] *Было:* руке
[26] *Далее было:* нача⟨ле⟩
[27] *Было:* ушла
[28] утром *вписано.*

– Смотри же, не загащивайся, – говорила Маня, поправляя перед зеркалом шляпу и не глядя[29] на мать.

– Нет, я скоро вернусь. В пятницу.

– Да под поезд не попади. Ты у меня ведь лотоха.[30]

Ответа Маня не получила и, еще раз проведя по лицу пуховкой[31], обернулась к матери:

– Ну прощай.

– Прощай, Манечка, Христос с тобою.

Взяв голову матери обеими руками, одетыми в перчатки, Маня осторожно, чтобы не стереть пудру[32], поцеловала ее в щеку и с нетерпеливою кротостью нагнула в свою очередь голову, пока мать крестила ее и шептала благословения своими бескровными губами.

Оставшись одна, Зинаида Марковна одела черное платье и стала похожа на богатую старую барыню. Потом она подошла к Маниной постели, поцеловала маленькую подушку ⟨*л. 122*⟩ и, словно от сильной усталости, села на постель и долго сидела.

Денег у Зинаиды Марковны было ровно настолько, чтобы купить билет и застраховаться в 10.000 рублей, поэтому на вокзал она пошла[33] пешком. Выйдя на улицу, она сразу затерялась в толпе суетливых и озабоченных прохожих, неугомонно снующих по улицам. Будничная жизнь большого города кипела. Переполненный народом вагон конки стоял на[34] разъезде, ожидая встречного вагона, и физиономии[35] пассажиров были полны терпеливой скуки. На перекрестке, где сходились[36] две улицы, стоял городовой и, медленно поворачиваясь, неторопливыми жестами управлял движением ломовиков и легковых извозчиков, дерзко совавшихся[37] в узкие промежутки между телегами и экипажами. Иногда городовой выходил из своего величественного покоя, внушительно грозил пальцем и кричал, широко раскрывая рот, но голоса его не было слышно за грохотом колес по неровной мостовой.

Вопреки расчетам Зинаиды Марковны, у нее осталось тридцать копеек, на которые она купила десяток яблок и,[38] сидя

---

[29] *Было:* смотря

[30] *Далее было (с абзаца):* Зинаида

[31] *Вместо:* по лицу пуховкой – *было:* пальцем по бровям, чтобы стереть пудру

[32] чтобы не стереть пудру *вписано.*

[33] *Было:* шла

[34] *Далее было начато:* пере⟨крестке⟩

[35] *Далее было начато:* ожид⟨ающих?⟩

[36] *Далее было:* четыр⟨е⟩

[37] *Было:* пробиравшихся

[38] *Далее было:* заняв в ва⟨гоне⟩

в вагоне, ела их, доставая из кармана[39]. Поезд несся, оставляя за собою обнаженные[40] леса и желто-серые поля, унылые и скучные, несмотря на солнце, обливавшее их своими лучами. Москва оставалась уже далеко, и пассажиры, пережив первые минуты суматохи, с рассеянным видом смотрели в окна или разговаривали друг с другом. Вещи, мало интересующие людей, когда они дома, теперь приобретали особенный интерес, и пассажиры оживленно толковали о ценах на квартиры и мясо, расспрашивали о цели поездки и с внезапною откровенностью рассказывали о себе. Некоторые, едущие далеко, вынимали из корзинок чайники и расспрашивали проходившего кондуктора о том, скоро ли будет станция с буфетом, где можно достать кипятку.

Когда поезд, после пятиминутной остановки, отошел от большой станции, Зинаида Марковна вышла на площадку вагона. Оставшиеся в вагоне продолжали тот же разговор, пили чай и закусывали, когда внезапно сильный толчок сотряс вагон и в одно время с ним воздух разрезал продолжительный и отчаянный свисток паровоза. Пассажиры, одни, качнувшиеся вперед, другие, ударившиеся затылками, вскочили бледные и испуганные. Мысль о крушении, никогда не покидающая людей на железных дорогах, выразилась в беспорядочных криках и растерянных движениях. Толчки становились чаще, но слабее, и тем резче тянул[41] паровоз свою однообразную высокую ноту. Чувствовалось, как тяжелый вагон подскакивает на рельсах. Последний толчок – и поезд остановился и замер в тишине, полной страха и ожидания.

Народ высыпал на площадки, спрыгивал и бежал куда-то, куда бежали все. Сразу стало известно, что кто-то попал под поезд, и многие радостно крестились и передавали друг другу свои впечатления, возникшие у них при мысли о крушении.

Около чего-то, лежавшего саженях в пятидесяти сзади поезда, собралась толпа. Те, кто прибежал позже, тянули свои головы[42] через плеча стоящих впереди и, внезапно бледнея, отшатывались назад с тихим возгласом: “О Господи!”. Какой-то мещанин, в картузе, поднял с земли яблоко, на котором было кровяное пятно, с любопытством осмотрел его и порывистым движением отбросил в сторону. Высокий и полный студент, в сюртуке с темным воротником и с закрученными усиками, плакал истерическими слезами, вытирал их руками и кричал, плохо сознавая

---

[39] , доставая из кармана *вписано.*
[40] *Далее было:* поля
[41] *Было:* гудел
[42] *Далее было:* вперед,

окружающее. Бледные губы его прыгали, и из них вырывались отрывочные слова:

– Сам видел, как бросилась... Только что вышел я на площадку и вижу... Наклонилась над площадкой и... Господи!

⟨*л. 123*⟩ – Нечаянно, может быть? – сделал кто-то предположение. Студент обернулся к нему и крикнул:

– Перекрестилась! Сам видел: перекрестилась.

Поезд тронулся дальше. Студент, уже успокоившийся, стоял на площадке последнего вагона, думал о том, как он будет рассказывать этот случай своим знакомым, и глядел, как от него уходил, становясь все меньше, маленький бугорок, покрытый белым полотном, и красные на нем пятна[43] бледнели и скоро исчезли совсем. А скоро за поворотом скрылось и белое пятнышко, и поезд быстро несся вперед, наверстывая потерянное время. В вагонах шумно разговаривали о случившемся, передавали друг другу известные им случаи крушений и смертей под[44] железными колесами, пили чай и закусывали.

Маня была в отчаянии, узнав о смерти матери, и не хотела слышать о деньгах, но потом, по совету майора, обратилась к адвокату, так как страховое общество не хотело платить денег. В суде дело затянулось вследствие того, что долго не находился полный студент, бывший свидетелем самоубийства.

В суде, в день рассмотрения этого дела, народу было очень много, но не постороннего, который редко заглядывает в залы гражданского суда, а так или иначе причастного, в качестве сторон или свидетелей, к тем сорока делам, которые должны были рассматриваться[45]. Озабоченные своими делами и томимые скукой ожидания, присутствующие зевали, поглядывали на часы и нервно потягивались. После допроса свидетелей, поездной прислуги и студента поверенный[46] страхового общества, пожилой уже человек,[47] толстый и равнодушный, произнес речь, в которой указывал на то, что общество ответственно лишь за случайность, а здесь ее, как видно из показаний студента Возминского, не было. Если же суд, признавая факт самоубийства, вместе с тем присудит искомую сумму, то этим он создаст весьма опасный прецедент для будущего, и общество ничем не будет гарантировано от людей, пожелавших обогатиться на его счет.

---

[43] *Далее было:* исчезали
[44] *Далее было:* колесами
[45] *Было:* слушаться (*незач. вар.*)
[46] *Далее было:* общества
[47] *Далее было:* равнодушный

Поверенный Мани, молодой и самоуверенный адвокат, доказывал, основываясь на положении трупа[48], что здесь суд имеет дело с случайностью, и[49] показания студента подверг[50] жестокой критике[51]. В крайнем случае, допуская даже возможность умышленного падения под поезд, суд, по его мнению, должен[52] признать иск подлежащим удовлетворению. Красиво горячась, адвокат трогательно и красноречиво говорил о высоком чувстве материнской любви, не останавливающейся даже перед смертью, чтобы дать материальное обеспечение[53] своей дочери – при этом он свободным жестом указал на Маню,[54] одетую в траур и сидевшую в местах для публики. Маня плакала, закрывая платком краснеющий нос и глаза. Молодой, но уже опытный адвокат знал, что воззвание к чувству судей ничего не может дать для исхода дела, так как гражданский суд не имеет права слушаться чувства, но он рассчитывал произвести впечатление на публику и дать материал репортерам.

После недолгого совещания суд отказал в иске.

Майор, с тех пор как его судили за ростовщичество и оправдали, ежедневно бывавший в суде, подошел к Мане и, желая утешить ее, сказал:

– Напрасно покойница[55] со мною не посоветовалась: я бы ей так дело устроил, что комар носу не подточит.

А перед судьями проходило уже новое дело, и присутствующие зевали, томились скукою ожидания и поглядывали на часы.

---

[48] основываясь на положении трупа *вписано.*
[49] *Далее было:* подверг
[50] подверг *вписано.*
[51] *Далее было:* , основываясь на положении трупа
[52] *Далее было:* присуди⟨ть⟩
[53] *Вместо:* материальное обеспечение – *было:* обеспечение материальное
[54] *Далее было:* сидевшую в
[55] *Было:* Зинаида Марковна (*незач. вар.*)

⟨*л. 1*⟩ ДЕЛО ПРОШЛОЕ

Они шли и весело болтали о пустяках, когда внезапно почувствовали, что они одни – совсем одни в этом густом и задумчивом лесу. Остальные, участвовавшие в прогулке, все время перекликались где-то вблизи, а теперь точно растаяли в сыром воздухе, пахнущем грибами и распаренным листом березы.

– Ау-у! – крикнула Зинаида Александровна, и полный звук ее голоса поднялся к молчаливым вершинам берез, словно запутался в их густых ветвях и, беспомощный, вернулся обратно в виде тихого отзвука: а-у-у.

– Ми-ха-ил, – отчеканил по слогам Разумовский, стараясь кричать басом, и прислушался. Не было ни отзвука, ни ответа. В глубоком и важном молчании стояли высокие деревья, и только слышно было, как тревожно бьются два сердца. Разумовский взглянул на Зинаиду Александровну: она пристально смотрела вдаль, и сквозь пряди вьющихся волос нежно краснели ее маленькие уши.

– Как же теперь быть? – спросила она, не оборачиваясь, и слова ее дышали непонятным страхом.

– Пойдемте искать их. Не пропадут.

Зинаида Александровна обернулась и встретилась взглядом с глазами Разумовского. Что-то страшно понятное и близкое было в их глазах, встретившихся друг с другом, как сверкающие лезвия шпаг, и словно обвившихся, переплетшихся между собою. Этот взгляд уничтожал разделяющее их пространство, пронизывал голову и казался таким громким, что весь лес должен был наполниться его отголосками. Вздрогнув, они с усилием отвели глаза, и в ту же минуту лица обоих приняли выражение холодной вражды. Губы Зинаиды Александровны решительно сжались, и пушок над ними потемнел. Разумовский с видом равнодушия посмотрел на небо, на свои высокие сапоги и засвистал какую-то песенку.

– Пойдемте же, – так же равнодушно сказала Зинаида Александровна, и они тронулись вперед, плечом к плечу, так как ни-

кто из них не решался хоть на полшага опередить другого и показать этим, что он боится. И они шли всё медленнее и степеннее, и лица становились равнодушнее; Разумовский срывал листья, жевал их и бросал, – и искоса посматривал на Зинаиду Александровну: она со скучающим видом сбивала зонтиком цветы и изредка прижимала руку к груди, на которой, словно от ветра, колыхалось белое кружево.

– Итак, Зинаида Александровна, вы решили ехать обязательно?

– Да, в пятницу. Я и то уже опоздала, тетя удивляется.

– А знаете что, – начал Разумовский разговорным тоном, обычным между хорошими знакомыми, – это, пожалуй, и хорошо, что мы потеряли наших, ⟨*л. 2*⟩ – мне кое о чем хотелось поговорить с вами.

– Мы, кажется, говорим немало.

– Да, на людях. А то, что я хочу сказать...

– Между нами не может быть тайн, – сухо и жестко перебила его Зинаида Александровна.

– Изволите немного ошибаться, – голос Разумовского зазвучал так же жестко и вызывающе. – Между нами есть тайна, и зовут ее Евгенией Николаевной.

– Ах, вы о ней хотите говорить? Что такое – я слушаю.

– Нет, я хочу говорить о вас, но в связи с ней. Прежде всего позвольте мне принести вам благодарность за ту помощь, которую оказываете вы нашей любви. Бесспорно, если бы не ваше великодушное содействие, наше вчерашнее свидание с нею не могло бы состояться. И, повторяю, я благодарен вам, но на будущее время попрошу вас... предоставить нас самим себе.

– Я никому не навязываюсь и, конечно, исполню вашу просьбу.

– Ваше самолюбие уже заговорило – вы не хотите даже узнать, почему я прошу вас об этом?

– Признаюсь, меня мало интересует это. Однако наших что-то не видно.

– К черту этих наших!

– Но ведь среди них и Женя.

– Вы смеетесь? Зинаида Александровна...

– Как торжественно!

– Я хочу серьезно поговорить с вами, и шуткам здесь не место. Скажите, почему вы считали нужным помогать нам?

– Странный вы, ей-богу, человек. Ведь вы любите ее? Да притом я помогала не вам, а ей; и она просила меня об этом. И я, конечно, рада была сделать для нее все, что возможно: мы с нею такие друзья.

– Это меня и удивляет. Вы настолько различные люди...

– Разве это мешает мне любить ее? И я именно люблю ее за то, что она так непохожа на меня. Это удивительно цельный и честный человек; ни в любви, ни в ненависти для нее нет сомнений и вопросов. А верить кто-нибудь из нас так умеет? Когда вы говорите хорошие слова, вы только оглянитесь на нее: ведь она глотает каждое ваше слово и верит в вас, как в Бога.

– Пусть будет так. Но мы уклоняемся в сторону от того, что я хотел вам сказать. Вы позволите, конечно, говорить мне со всею откровенностью? Как вы, быть может, догадываетесь, я хочу вернуться к прошлому – нашему с вами, Зинаида Александровна, прошлому. Мы никогда о нем не говорим, и вы, думается мне, и не думаете о нем. Это понятно: кажется, вы уже успели полюбить другого...

– Да, успела.

– И я могу вас поздравить с удачным выбором: это очень славный юноша. Но вернемся к тому, что было. Оно прошло и никогда ⟨*л. 3*⟩ не вернется, и говорить о нем можно свободно, как об умершем. Итак, не знаю, как вы, но я любил вас глубоко и сильно, может быть, даже слишком сильно для того, чтобы сохранить вашу любовь. Вы что-то хотели сказать? Ничего? Я продолжаю. Мы разошлись. Не знаю, право, кто виноват был в этом, вы или я. Думаю, что оба. А может быть, и один я. Теперь, на расстоянии, я начинаю понимать то, что тогда только мучило меня, как наваждение. Это была ревность...

– Ревность? К кому?

– Ко всему в мире, к вам самой. Я хотел, чтобы тело и душа ваши принадлежали мне безраздельно. Когда я видел, что у вас есть мысль, которой я не знаю, я ревновал к этой мысли. Когда вы смотрели на меня этим вашим проклятым – извините – взглядом, словно перед вами находится стена или дерево, мне хотелось разбить вашу головку, чтобы увидеть ваше я. Увидеть, а не слышать о нем. А то вы смеялись, или плакали, и на все вопросы отвечали "так", и я сидел перед вами и хлопал ушами. Это было черт знает что такое!

– Однако пока виноватою выхожу я. Впрочем, это безразлично: вы хотели о чем-то говорить?

– Вот сейчас вы несколько напоминаете мне ту, какой вы бывали по временам. Продолжаю. Помните вы ваше письмо, последнее ваше письмо, вернее, записочку карандашом? Там было немного слов...

– И слова были кривые: я писала в вагоне.

– Вы писали: пусть настоящее исчезнет, а останется одно прошлое, чистое, светлое и радостное. Вы писали: никогда я не забу-

ду, что вы, т.е. я, были моею первою любовью, и хочу беречь память о ней. Помните?

– Но что отсюда следует?

– Вы не понимаете? Но ведь вы допускаете, что и мне хотелось бы того же, что и я хочу иметь ваш образ в душе чистым и светлым? В моей душе, душе мужчины, узнавшего женщин с семнадцати лет, столько грязи и пошлости, что нужен хоть какой-нибудь светлый уголок для отдыха, для покоя. Вы долго были им, а теперь вы грязните его.

– Николай Константинович!

– Не гневайтесь, Зинаида Александровна! я не хочу оскорбить вас. Я думаю, что вы виновны только в одном: в том, что вы забыли, – всё забыли. А я помню, и оттого так тяжело было мне вчера, оттого и сегодня всю ночь думал я о вас. Слушайте: вам ведь кажется очень просто, что вы под ручку с Евгенией Николаевной приходите к мостику... к мостику, вы понимаете? Что я подхожу к вам, галантно здороваюсь, и вы говорите с милою благосклонностью: дети мои...

⟨*л. 4*⟩ – Вы преувеличиваете.

– Дети мои, два часа я буду ждать вас на этом месте, а пока до свидания. Интересно знать, что вы делали эти два часа?

– Читала.

– Вы, значит, забыли, что такое для нас был этот мостик? Простите за напоминание: ведь мы, кажется, всякий раз встречались у мостика? Помните, как прошлым летом вы прощались со мною у калитки и шептали: завтра, у мостика? И вы не забыли, как встречались мы? Заляжешь, бывало, с книгою за кустами и ждешь... Я только сейчас сообразил: за каким чертом таскал я с собою книгу – я ведь никогда не читал ее!

– Вы приносили с собой какую-то очень толстую.

– Шпильгагена. Все руки, бывало, потом оттянет. И вот ждешь. Кто-то говорил, что ожидать скучно. Пустое – я нарочно приходил пораньше. Лес такой веселый, земля такая теплая, трава такая пахучая. Вот сейчас лес много хуже. И смотришь, бывало, в одно место между деревьями, там, где должно показаться ваше белое платье. В нынешнем году я что-то не вижу его?

– Я не ношу его.

– И никогда все-таки мне не удавалось уловить момента, когда вы показывались, все равно как звезда: пока смотришь, стоит, отвернулся на минуту – она уже упала. И каждый раз вы казались мне новой и неожиданной: я никак не мог привыкнуть к тому, что под этими большими деревьями вы были такой маленькой, худенькой и стройной, совсем как девочка. И лицо у вас

казалось мне совсем детским, испуганным, тревожным и милым совсем по-новому. И вот выскочишь, бывало, обнимешь...

– Да, да, я знаю. Но к чему вы говорите все это? Оно прошло и не вернется никогда. Но где же наконец наши?

– Вы понимаете теперь, что лучше вам было привести Евгению Николаевну куда-нибудь в другое место?

– Да и я, пожалуй, предпочла бы другое место, но это так близко и удобно.

– Удобно?

– Конечно. Я не понимаю одного: зачем вы придаете такое значение пустякам: в сущности, не все ли равно, где бы вы ни встречались? А потом вы не так нападали бы на меня, если бы знали, как мучалась Женя, так долго не видя вас. По ночам она плакала. Когда все эти дни она видела ваше мрачное лицо и замечала, что вы точно избегаете смотреть на нее, она стала думать, что вы уже разлюбили. Ведь вы посмотрите, до чего она чиста и не способна ко лжи. Она и в других не понимает ее. Сама же условилась с вами держать себя так, чтобы не возникло ни малейшего подозрения относительно ваших отношений, – и как только вы начали приводить это в исполнение, она сейчас же поверила тому, что видит. Зато как радовалась она вчера – я не могла без улыбки смотреть на нее. Милая! Вы знаете, она ведь поет, и голосок у нее тоже такой чистенький. Чего же вы молчите? Разве вы не рады тому, что вас так любят? Какой мрачный взгляд!

– Зинаида Александровна!

⟨*л. 5*⟩ – Вы меня, честное слово, удивляете. Разве вы забыли, чего вы хотели всегда? Вот вы и нашли человека, который всюду пойдет за вами. В тюрьму, в сумасшедший дом, и куда еще вы там говорили? Ах да: в театр. Вы забыли одну нашу ссору, когда вы звали меня с собой в театр, а я не пошла? Опять мрачный взгляд!

– А не скажете вы мне, Зинаида Александровна, отчего плакали ночью вы? Мне вчера сказала об этом Евгения Николаевна!

– Это неправда. Я не плакала.

– Неделю тому назад Евгения Николаевна проснулась, – это было уже к утру, и слышала, как вы плачете, но не решилась пойти к вам: она боится вас. У вас есть горе?

– Повторяю, она ошиблась. Однако где же наши?

– Но я еще не кончил. Когда я увидел вас вчера у мостика в качестве наперсницы, мне стало так горько! Точно тень какая опустилась на тот светлый образ, что живет во мне. И вы остались одна. Уходя, я чувствовал ваш взгляд. Вы читали? Я не заметил у вас книги.

– Читала. Какая прелесть этот Горький!

– Вы знаете, что дорога от мостика одна, к тому оврагу – вы помните. Есть у природы одно страшное свойство: она не меняется вместе с нами. Умирает у вас близкий, дорогой человек – а в окно вы видите те же тучи, то же небо, на которое он смотрел вчера вместе с вами. Когда я сидел вчера у оврага, я потерял представление о времени. Я органически не мог допустить мысли о том, что прошел уже целый год. Лес точно застыл на это время. Трава точь-в-точь та же, реденькая, иглами. Сучки лежат в том же положении. Внизу водомоина и земля в ней такая же темная и те же корни выходят наружу. Напротив два шершавых дерева. Мои глаза столько раз видели эту картину, я столько раз представлял себе ее зимою, но когда я шел туда, то думал, что увижу что-нибудь другое. Эта картина слилась с представлением о вас, и так как вас для меня уже не было, то мне казалось вполне естественным и простым, что и остального ничего нет. И вдруг все то же. Это возмутительно! Вот вы теперь уедете. Когда вы будете далеко отсюда, неужели вам легко будет вообразить, что там, в овраге, все так же стоят те два дерева, так же иглами пробивается трава?

– Право, я никогда об этом не думаю...

– Мне начинает казаться, что вы только притворяетесь непонимающей. Напрасно вы пожимаете плечами – вы не можете не понимать меня, это так просто. Ведь в чем вся сила: умерла-то наша любовь не своею смертью. Она была сорвана, как цветок, только что распустившийся. Он оторван от жизни, но хранит еще и краски, и цветы. Для него не наступала мертвая осень...

– Вы не начали ли писать стихов? Я думала, что нет более естественной смерти, чем равнодушие.

– Ах, вы намекаете на мое письмо? Дело прошлое, и теперь можно говорить свободно: неужели вы не догадывались, что я лгал, говоря в этом письме, что я не люблю вас, что я глубоко равнодушен к вам и что, одним словом, все к лучшему в этом лучшем из миров? Чем же иным мог я ответить ⟨*л. б*⟩ на ваше письмо, предпоследнее? В нем вы говорили, что не чувствуете себя способной дать мне столько любви и счастья, сколько я заслуживаю. В то же время вы подвергали мою особу откровеннейшей и жесточайшей критике. Признаться, это единственное из ваших писем, которое я прочел один только раз – во второй раз духу не хватило. Но я его и так помню. Особенно остроумно вы иронизировали по поводу моих хороших слов. Вы спрашивали, на какую это борьбу с жизнью и людьми зову я вас, когда с самим собою сладить не могу. Вы смеялись над моим маленьким

делом, таким маленьким, что вы с утрированным удивлением разводили руками и спрашивали: где же оно?

– Вы несколько изменились в этот год.

– Да, пожалуй, вы правы. А знаете, в чем разница: ведь тогда все мои душевные силы уходили не на дело – правда, я тогда только говорил о нем, – не на борьбу с жизнью, а на борьбу с вами. Вы были экраном, закрывшим от меня весь мир. Мог ли я думать о чем бы то ни было в мире, когда дни, ночи я перебирал и толковал ваши слова, жесты. Ведь я дошел до мании: в движении вашего пальца я видел больше смысла, чем в движении народов. Я понимаю и вас: какими громкими и фальшивыми должны были казаться мои речи о борьбе, когда на самом интересном месте они прерывались нытьем по поводу косого взгляда, который два дня тому назад вы бросили на меня, и начинался мелочный и беспощадный сыск!

– Но теперь зато вы должны быть счастливы – у вас есть человек, который всюду пойдет за вами.

– Вы думаете то, что говорите? Тем лучше. Но вернемся к письму. Неужели вы поверили ему?

– Отчасти. Потом поверила совсем: оно было так хорошо написано.

– И думали, что я уже не люблю вас, равнодушен, как селедка?

– Да.

– Плохо же вы знаете меня. Никогда я вас так не любил, как нанизывая строчки о равнодушии. А что потом было – вспомнить страшно. От подметок до самой шляпы я обратился в одну мысль о вас...

– Очень длинную.

– Да, такую длинную, Зинаида Александровна, что тень от этой мысли падала на весь мир и погасила для меня солнце. Это была какая-то продолжительная, бесконечно черная, северная ночь. Вспыхивало иногда и северное сияние – то начала лгать никогда не угасающая надежда. Но были часы или дни – я не знаю – полного мрака, в котором терялось мое я. Каждое утро я думал, что к вечеру сойду с ума. Каждый вечер я надеялся, что утром меня свезут в клиники. Не тут-то было. Мозг работал, как сотня раскаленных паровиков, но благодетельного взрыва не происходило. Я падал вниз с головокружительною быстротою, словно ядро, свалившееся с облаков, но не мог достигнуть земли – она удалялась от меня. Однажды... Все это прошло и, как вы сказали, никогда не вернется, значит, можно говорить свободно. Однажды в сентябре я приехал сюда из города и пошел... вы

знаете, конечно, куда – к мостику. План у меня был простой: посмотреть... на все и того, к праотцам. Для сей цели ⟨*л. 7*⟩ мною был припасен револьвер... Что вы так смотрите на меня? Упрек или жалость?

– Нет... удивление.

– Посмотрите на меня еще. Не хотите – ну Бог с вами. Итак, явился я к мостику и первым делом забрался в кусты – хотел, видите ли, предварительно проделать всю процедуру ожидания. Но я никак не думал, что получится такой эффект. Я почувствовал ваше присутствие. Вот вы – здесь; вот сейчас покажется из-за тех деревьев ваше платье. Начиналась галлюцинация слуха: я слышал ваши шаги. Я вскакивал, бросался навстречу, возвращался назад, я, кажется, говорил что-то и... дело прошлое... плакал. Наконец, я вспомнил о револьвере, но тут... вы спасли меня.

– Я?!

– Да, вы. Это очень странный случай: я увидел вашу перчатку. От нее пахло вашими духами, и она, казалось, сохраняла еще форму вашей руки.

– Постойте, это когда было?

– Двадцатого сентября.

– Девятнадцатого я была у мостика. Мы случайно попали туда. Нас несколько человек приехало на прогулку. А я потом искала эту перчатку!

– Она у меня цела. Хотите я вам возвращу ее? Но тогда она показалась мне откровением свыше. Я поверил чуду: я подумал, что судьба умышленно бросила сюда эту перчатку, чтобы напомнить о том, что вы не умерли, что вы существуете, живете. А раз вы живете – разве можно приходить в отчаяние, убивать себя? Нужно еще испытать все средства, чтобы возвратить вашу любовь, а не вернешь – ну тогда можно и застрелиться. И в состоянии ли вы себе представить, что я, за минуту перед этим плакавший, шел обратно на станцию с таким радостным видом, точно все уже сделано и вы любите меня. С вокзала я отправился прямо к вам – оказалось, что вы уехали, надолго, быть может, навсегда. Но дело было сделано: я остался жить. А дальше история известная.

– Да, известная. Но где же наши?

– Теперь поймете ли, чего стоило мне увидеть на этом мостике вас рука об руку с Евгенией Николаевной. Ведь вы с нею топтали ногами ту траву, на которой должна была пролиться моя кровь. И вы, из-за которой она должна была пролиться, устраивали это свидание! Ведь это пошло, пошло! Делайте все что хотите, казните меня вашим равнодушием, ходите сами на свидания к этому...

– Я не хожу на свидания.

– Но ведь вы же любите его?

– Нет, не люблю.

– Значит...

– Постойте, кажется, наши? Нет, это мне послышалось, но куда они запропастились? Бедная Женя, как она, вероятно, беспокоится о вас. Вы знаете, как она вас любит. Она говорила, что, если вы разлюбите ее, она умрет.

– Да, она говорила мне это.

– Что значит этот тон? Вы не верите? Если это так, то это дурно, дурно. Она говорит правду. Я не могу ошибиться, я сама слишком хорошо знаю, ⟨*л. 8*⟩ что значит потерять любовь.

– Вы знаете это? Откуда?

– Вы несправедливы и жестоки. Вы берете себе привилегию на право страдать, а других лишаете этого права. Дело прошлое: вы думаете, мне легко достался наш разрыв? Как хорошо вы думали обо мне! Вы думаете, что я и вправду приезжала сюда на прогулку и что я случайно забыла перчатку...

– Но вы же сами сказали...

– И вы, быть может, думаете, что со мною приезжал "он", этот "славный юноша", которого ваше воображение навязывает мне в возлюбленные? Разве у нас есть сердце, разве мы умеем любить и страдать. Вы хотите знать каждую нашу мысль и высокомерно не замечаете того, что у вас перед глазами! И вы еще смеете говорить о пошлости! Вы вчера возмущались мною, вы прекрасно представили, как там, у оврага, вы увидели все таким же, что и год тому назад, – а скажите, отняло ли все это хоть один ваш поцелуй у Евгении? Да разве...

Зинаида Александровна стояла против Разумовского и, говоря, смотрела ему прямо в глаза. Но вдруг все ее лицо вспыхнуло, она замолкла и беспомощно, как утопающий, который ищет спасения, оглянулась по сторонам.

– Зина, ты еще любишь меня?

– Пойдемте, Бога ради, пойдемте, – в тоске повторяла Зинаида Александровна и, как от сильной боли, поводила головой.

– Ты любишь меня? Но что значит вчерашнее?

– Боже, как вы жестоки! – Зинаида Александровна закрыла руками лицо. Она стала как будто меньше ростом, и была такая худенькая и стройная, как девочка. Разумовский шагнул к ней, обнял ее плечи, и, точно только ожидая этого прикосновения, Зинаида Александровна уронила голову к нему на грудь и заплакала.

– Радость моя, жизнь моя, – говорил Разумовский, бледный и серьезный, бережно обнимая девушку. – Я никогда не переставал

любить тебя. Я пытался забыть тебя, отдать сердце другой женщине, но для меня нет женщин, кроме тебя.

– Оставь меня, уйди, – просила Зинаида Александровна, отнимая руки от лица. Разумовский все так же бережно целовал ее мокрые глаза, похолодевшее лицо, и продолжал:

– Скажи же мне, моя радость, что ты любишь меня, что то ужасное письмо было такою же неправдою, как и холодные взгляды твои и смех. Зачем ты написала его?

– Я была так несчастна! Меня мучили сомнения. Я тогда ненавидела тебя, я хотела причинить тебе такую сильную, сильную боль. Я ненавидела тебя за то, что так любишь меня. Нет, неправда, я хотела сильной любви, но не такой. Твоя любовь пугала меня и заставляла презирать тебя. Когда ты жаловался, упрекал, ты был таким маленьким и жалким – и я еще более мучила тебя. Меня злило, что ты говорил в эти минуты о своем деле. Это неправду я писала, что я считала его маленьким, но мне казалось, что ты сам не веришь в него. И когда ты говорил о нем, это было точно удочкою, на которую ты хочешь поймать меня. Только однажды я поверила тебе. Помнишь, это было у нас, когда с тобою спорил тот отвратительный господин. Он страшно умный, но что делает ⟨*л. 9*⟩ он с этим умом!

– Разве ты была при том споре?

– А! Ты не видел меня, милый, вот за это-то я тогда почувствовала такую любовь! Я сидела в своем углу, нарочно молчала – и ты ни разу не взглянул на меня! Потом я сказала что-то – очень глупое, – и ты, который так боялся меня, льстил, вдруг закричал на меня, как на девчонку. Я думала, что ты ударишь меня! А у калитки, прощаясь, я поцеловала тебя, а ты и не заметил! Не заметил! И наконец уж поцеловал ты меня, как старуху какую-нибудь – так: "чмок!" и прощайте, Зинаида Александровна! Я так смеялась потом, вспоминая, какой ты был смешной и милый... А потом опять ты стал такой противный: хандрил, вздыхал, говорил жалкие слова. Я и написала.

– Как поразило меня это письмо!

– Я была так довольна, что послала его... пока не получила твоего ответа. Я думала, что ты мне напишешь: люблю, страдаю, о Зинаида! А оказалось-то совсем другое: не люблю и не страдаю – убирайтесь к черту, Зинаида Александровна! Я знала, что ты лжешь, отчаянно лжешь – но эта ложь была так хороша! Ну, думаю, подождем, надолго ли хватит моего Николая Константиновича. Но ты точно исчез, а потом я уехала. А когда вернулась, слышу: Разумовский работает, Разумовский что-то сде-

лал – все говорят о Разумовском. Вот так, думаю, история – какая же я дура-то была!

Зинаида Александровна держала Разумовского за руки и смеялась, а в глазах ее еще блестела запоздалая слезинка. Разумовский хотел вырвать руки, чтобы обнять ее, но она держала их крепко и говорила:

– Смирно стоять! Я хочу насмотреться на тебя. Ого, да у вас уже морщинки, сударь!

– Но как же ты и Евгения Ник...

– Женя, о Господи! – вскрикнула Зинаида Александровна. – Господи, что же это такое!

– Как могла ты быть с нею такою дружною, провожать ее на свидание. Не ошибаешься ли ты, что любишь меня? Она все рассказывала тебе?

– Все.

– И радовалась?

– И радовалась.

– А ты?

– О, разве я способна к страданиям. Разве вы, Николай Константинович, не замечали, как я смеялась? Когда вы изволили уходить с нею, я спокойно читала книгу. Да, читала. Я ведь забыла, чем был для меня когда-то этот ваш мостик. Я ведь не приезжала туда стреляться...

– Но как могла ты притворяться с таким искусством? Ведь я все это время неотступно следил за тобою – и лучшего воплощения равнодушия я не встречал: равнодушно-ласковые взгляды, спокойный безразличный дружеский разговор.

– Если я искусно притворялась, то что же сказать о вас? Женя передавала мне о каждом вашем движении, говорящем о любви. Третьего дня, когда вы шли сзади меня, вы ей пожали руку – повыше локтя. Вы, конечно, в это время думали обо мне? И вы так же называли ее своею радостью?

⟨*л. 10*⟩ – Но зачем вы так близко сошлись с нею, узнавали все это?

– Зачем? Разве я знаю зачем? Может быть, я хотела узнать ее.

– Ты любишь ее?

– Я ее ненавижу. Часто ночью мне хотелось вскочить и задушить ее. И эта слабенькая, ничтожная девочка владеет вашею любовью!

– Я люблю тебя!

– О, этот вчерашний день! Она пела, она была так счастлива, она не хотела ничего видеть. Она спрашивала: Зина, отчего ты так бледна? – и снова говорила о вас. А когда она плакала от вашего равнодушия, говорила, что убьет себя, я жалела ее, любила,

а все сердце мое разрывалось от счастья, мне хотелось стать перед нею на колени и просить ее: говори, говори, как ты несчастна!

– Забудем все это.

– Хорошо, забудем. Но куда мы денем ее? Ведь мы, кажется, люди честные?

– Я знал, что ты скажешь это. Но что же делать? Поверь, что мне тяжело, бесконечно тяжело – но нельзя же во имя ошибки разбить всю нашу жизнь. Зина, я не пустые слова говорил, когда сказал, что люблю тебя больше жизни.

– А чем виновата она в том, что мы ошиблись?

– Вдвоем для нас откроется широкий путь честного труда и счастья...

– Купленного кровью?

– Пустое. Но раздельно погибнем мы оба, ты и я. Ты думаешь, что это время, когда я горел в работе, я думал о деле? Я думал о тебе. Одни заглушают свое горе водкою, я заглушал его трудом. Он был лишь средством забыть тебя.

– Только?!

– Я вижу, что ты не любишь меня.

– Вы уже начали сомневаться? Ну-с, но вы мне не ответили, куда мы денем Женю? Или это сделается так: я стану на ее место, а она на мое, и будет провожать меня на свидание. Вы смотрели когда-нибудь ей в глаза, прямо в глаза? Вам случалось когда-нибудь лгать ребенку?

– Ты не любишь меня.

– Я!

Разумовский, угрюмо исподлобья смотревший на Зинаиду Александровну, решительно, грубо обнял ее, несмотря на ее сопротивление.

– Пойми же, что жизнь немыслима без тебя, – заговорил он сурово, но с слезами в глазах. – Пощади меня или лучше убей.

– Оставьте меня, пустите.

– Не оставлю, пока не скажешь, что любишь меня. Зина! Ты не уедешь?

Из глубины леса донесся крик: а-у! Зинаида Александровна вырвалась из рук Разумовского и, тяжело дыша, проговорила:

– Я... не люблю вас. Это было так... маленький опыт.

– Что?! Берегись шутить так. Иначе...

– Осторожнее. Нас могут услышать.

Точно собираясь броситься на Зинаиду Александровну, Разумовский наклонился ⟨*л. 11*⟩ вперед, когда послышались шаги и показалась Евгения Николаевна.

– Вот вы где? А уж мы искали, искали вас.

– Извините, Евгения Николаевна, я ухожу. Страшно болит голова. Прощайте.

– Николай Конст... Коля, что с тобою? Сильно болит?

– Да.

Зинаида Александровна отвернулась, и Евгения Николаевна, искоса бросив на нее взгляд, улыбнулась и шепнула:

– Она не смотрит. Поцелуй меня и уходи.

Разумовский поцеловал ее и скрылся в лесу. Слышно было, как хрустят сучки под его ногами.

– Зиночка, что такое с Колей? Он такой мрачный.

– Да не знаю, хандрит что-то.

– Но вчера он был такой веселый. А я так, так счастлива. И мне хотелось бы, чтобы все были счастливы. Ты счастлива? Поцелуй меня. Мне так жаль, что ты уезжаешь. Я не знаю, как буду здесь без тебя.

Зинаида Александровна задумчиво погладила ее волосы и проговорила:

– Может быть, я еще и останусь.

– Как я рада! А вот и наши: а-у! Сюда! Зина остается!

⟨*л. 18*⟩[1]

ДЕРЖИТЕ ВОРА!

Рассказ

I

Это было осенью, в Москве.

На одной из низеньких, старинных церквей, грубо сжатой между двумя громадными каменными домами, раздался тихий и робкий благовест, возвещавший об окончании вечерни. Колокол словно охрип от старости и одиночества и, как человек, переживший самого себя и тяготящийся ненужною и безрадостною старостью, глухо и равнодушно выстукивал однообразное: дон-дон-дон. В тусклом и пустом звуке его медного языка слышалось старческое бессилие и полная безнадежность перекричать улицу, которая посылала к вечернему небу тысячу своих живых[2], властных и дерзких голосов. Звонко чекали о камни железные подковы лошадей; дребезжали в отчаянной разноголосице расхлябанные экипажи и, точно хор дьяволов, железными голосами кричали тонкие полосы, наваленные на телегу и стукавшиеся друг о друга своими гибкими концами. Железо и камень бесконечно вариировали все одну и ту же песнь, и в этой песне, заглушавшей все остальные, живые и мертвые звуки, трепетало гордое сознание победы. В минуты[3] затишья мягко и ровно журчала человеческая речь. Не видно было ртов, которые говорят, нельзя было разобрать и слов, но речь лилась ровною и постоянною струею.

⟨*л. 19*⟩ Побежденный улицею, умолк одинокий звук колокола, но никто не обратил внимания на его печальную смерть. Потирая загоревшиеся от веревки руки, сошел вниз звонарь и запер колокольню. Скоро наступит осенняя долгая ночь, и холодный ветер будет пробираться между стропилами, пробегать по черному ряду спящих колоколов и вызывать из их старой[4] груди печальные,[5] никем не слышимые, жалобы.

---

[1] *В верхнем правом углу л. 18 помета:* 15 окт⟨ября⟩ ⟨18⟩99 г.
[2] *Далее было:* и
[3] *Далее было:* , когда [эти] затихали эти
[4] *Далее было:* , бессильной
[5] *Далее было:* и

А внизу дерзко и весело продолжала шуметь[6] беспокойная⟨?⟩ улица. По узенькой панели двигался[7] в толпе доктор Полозов[8]. Он был высок, плотен и тяжел, и толчки прохожих, которые с разбегу набегали на него, мало беспокоили его и не меняли его ровной и[9] грузной походки. Шел он с обычною неторопливостью, которую вносил во все свои большие и малые дела, с наслаждением вдыхал[10] свежий, крепкий воздух и посматривал на светлое небо и витрины магазинов. На улицу и прохожих доктор не смотрел – он не любил улицы и прохожих, а думал о том, что бы такое купить ему для своего маленького сына[11]. Под мышкою он уже нес небольшую фарфоровую вазочку, купленную для жены, и такое же удовольствие хотелось ему доставить и сынишке[12]. Вообще доставлять удовольствие людям было одною из слабостей доктора Полозова[13], и за эту слабость не раз упрекала его жена, которая не любила слабостей, в чем бы они ни[14] выражались. Но доктор не соглашался с нею: ничего в сущности не стоит истратить какой-нибудь целковый на подарок или сказать ласковое слово – а как человек бывает рад[15] этому, как мило моргают его глаза и какое доброе и славное становится у него лицо! Да и пациентов он приобрел разве знаниями – какие там у него особенные знания! – а именно ласковостью и внимательностью. Доктор не был ни фарисеем, ни глупым человеком, но подумав, сколько раз доставлял он маленькое удовольствие жене, сыну и знакомым, ⟨*л. 20*⟩ он невольно улыбнулся в широкую бороду, снисходительно взглянул на неприятную ему улицу и подумал, много ли найдется[16] на ней таких людей, как он. И хотя он страдал чувствительностью и к сыну[17] относился с приветливою холодностью, ему особенно захотелось что-нибудь купить[18] такое, чего у того еще нет и что будет для него неожиданностью. Но ничего подходящего не придумывалось, и доктор с[19] сожалением

---

[6] *Далее было начато:* не⟨спокойная?⟩
[7] *Было:* шел (*незач. вар.*)
[8] *Было:* Танбурзин.
[9] *Далее было начато.* тя⟨желой⟩
[10] *Далее было начато:* кр⟨епкий⟩
[11] *Вместо:* своего маленького сына – *было:* сынишки
[12] *Было:* сыну
[13] *В рукописи:* Танбурзина (*незаверш. правка*)
[14] *В рукописи:* не
[15] *Далее было:* от
[16] найдется *вписано.*
[17] *Было:* сынишке
[18] *Далее было:* ему
[19] *Было начато:* х⟨отел⟩

хотел уже завернуть в переулок, ведущий к его квартире, когда человеческая речь, мягко журчавшая мимо его уха и проходившая для него такою же незаметною, как и грохот экипажей, внезапно усилилась и потеряла характер мягкости. Вот она перешла в глухой крик, смутный и неопределенный, но полный угрозы, гнева и страха. Ухо доктора, далекое от его мыслей, испытывало неясное беспокойство, и он машинально остановился, когда из гневного крика, в котором стали различаться отдельные[20] голоса, вырвалась[21] громкая[22] и отчетливая фраза:

– Держите вора!

Полозов[23] обернулся. На противоположной стороне, недалеко от церкви происходила какая-то сумятица. Темневшая[24] прохожими панель в этом месте[25] почернела[26] от[27] беспорядочно двигавшейся толпы[28]. Именно из этой толпы несся громкий крик и из него все громче и настойчивее выделялась фраза:

– Держите вора!

Испытывая неприятную тревогу, доктор внезапно загоревшимся взглядом вглядывался в лица бегущих, отыскивая вора, и наконец увидел его. Высокий и худой человек отделился[29] от[30] черной массы и начал перебегать улицу, проскакивая перед самими мордами лошадей и лавируя между экипажами. Полозов[31] успел рассмотреть[32], что вор без шапки и что длинные путаные волосы его шевелятся не то от ветра, не то от быстрого ⟨*л. 21*⟩ бега. Преследователи, остановленные экипажами, видели, что вор ускользнет сейчас в переулок, и широко раскрывая рты, кричали настойчиво и требовательно, заглушая остальные звуки:

– Держите вора!

Высокий и худой человек без шапки[33] уже подбегал к Полозову[34]. Хотя это была всего одна секунда, доктор успел с поразви-

---

[20] отдельные *вписано.*
[21] *Было:* выделилась
[22] *Было:* ясная
[23] *Было:* Танбурзин
[24] *Было:* Черневшая
[25] *Далее было:* особенно
[26] *Было:* чернела
[27] от *вписано.*
[28] *Было:* толпой
[29] *Было:* выделился
[30] *Было:* из
[31] *Было:* Танбурзин
[32] *Далее было:* с поразитель⟨ной⟩
[33] без шапки *вписано.*
[34] *Было: а.* Орлову *б.* Танбурзину

тельною ясностью рассмотреть его лицо. Оно принадлежало не старику, как[35] сперва ему показалось, а совсем еще молодому человеку и было поразительно бледно[36], но не растерянно. Сквозь страх, поднявший кверху брови беглеца и[37] как-то растянувший все его[38] лицо, пробивалась одна мысль, сосредотачиваясь во взгляде темных, расширенных глаз. Они скользнули по доктору и вновь устремились туда, в переулок, где ждала его надежда на спасение. Полозов[39] стоял неподвижно, но что-то в бегущем – не то этот странный маниакальный взгляд, не то поразительная бледность и свистящее дыхание загнанного зверя – толкнуло его на середину панели и заставило растопырить руки, в одной из которых оставалась завернутая в бумагу вазочка. Вор с разбегу ударился о грудь Полозова[40], охнул, вышиб вазочку и, отбросив в сторону самого доктора, побежал дальше.[41] Полозов[42] наклонился над вазочкой, понял, что она разлетелась в куски – и бросился за вором, гневно и тяжело сопя носом. В несколько прыжков он нагнал обессиленного беглеца, протянул руку и уцепился ею за шиворот.

– Стой, не уйдешь! – проговорил он сквозь стиснутые зубы, и в хриплом звуке его голоса была и злоба, и гнев, и торжество. Вор попро⟨бо⟩вал рвануться, отчего его ворот затрещал, но тотчас же понял бесполезность попытки и сразу удивительно както[43] успокоился. Дыхание его еще со[44] свистом продолжало проходить[45] между запекшимися губами[46], и грудь высоко поднималась, но лицо ⟨*л. 22*⟩ покрылось серым налетом[47] ординарности и скуки. Он посмотрел на стену, на руку доктора, бывшую почти у самого его лица, и встретился с гневным взглядом Полозова[48]. Оба молчали и в этой тишине слышно было, как у ног вора что-то звякнуло об[49] асфальт. Лицо вора краснело, ему видимо резал

---

[35] *Далее было:* ему
[36] *Далее было:* и растеряно
[37] *Далее было начато:* сд⟨елавший?⟩
[38] его *вписано.*
[39] *Было:* Танбурзин
[40] *В рукописи:* Танбурзина (*незаверш. правка*)
[41] *Текст:* рассмотреть его лицо. ~ побежал дальше. – *отчеркнут красным карандашом на полях.*
[42] *В рукописи:* Танбурзин (*незаверш. правка*)
[43] как-то *подчеркнуто красным карандашом.*
[44] *Было начато:* св⟨истело?⟩ (*незач. вар.*)
[45] *Было:* выходить
[46] между запекшимися губами *вписано.*
[47] *Вместо:* покрылось серым налетом – *было:* приняло выражение (*незач. вар.*)
[48] *Было:* Танбурзина
[49] *Далее было:* панель

шею ворот, стянутый рукою Полозова[50], и он качнул головой. Доктор крепче стиснул кулак и спокойно[51] проговорил:

– Шалишь, брат, не уйдешь.

Он уже как будто ощущал потребность сказать вору что-нибудь ласковое и утешительное, когда лицо последнего дрогнуло и осветилось слабой улыбкой. Словно поднявшись на цыпочки или на ступеньку, вор[52] сверху вниз[53] посмотрел на Полозова[54], хотя тот был еще выше ростом, чем он, и равнодушно произнес:

– Мерзавец!

Полозов[55] испуганно и удивленно взглянул на вора, рассчитывая прочесть на его лице обычное нахальство. Но никакого там нахальства не было, а виднелась одна скука; даже[56] не заметно было желания оскорбить врага. Доктор разжал кулак и спросил:

– Что ты говоришь?

Вор ответил равнодушно, точно констатируя самый простой факт, давно известный и ему, и доктору:[57]

– Говорю, что ты мерзавец.[58]

Подбежали остальные преследователи, оттиснули Полозова[59] и со всех сторон схватили вора, хотя он не сопротивлялся. Подняли брошенную вором вещь – то был замасленный кошелек, распухший от набитой в него меди. Явилась женщина с острым носом, который один только и виднелся из-под большого закутывавшего ее платка, и стала считать, сбиваясь и жалким голосом приговаривая:

⟨*л. 23*⟩ – Ах, кошельник, креста на тебе нету[60]. Последние-то, последние. Ах, бесстыжие твои бельмы.

Настроение толпы, когда вор был пойман и не мог уйти, резко изменилось. Откуда-то подвернувшийся мальчишка, газетчик, подмигнул остроносой женщине и сказал:

– А у деда за печкой сколько еще спрятано?

---

[50] *В рукописи:* Танбурзина (*незаверш. правка*)
[51] спокойно *вписано.*
[52] *Далее было:* как-то
[53] *Вместо:* сверху вниз – *было:* снизу вверх
[54] *Было:* Танбурзина
[55] *Было: а.* О⟨рлов⟩ *б.* Танбурзин
[56] *Было:* да еще
[57] *Текст:* давно известный и ему, и доктору: – *подчеркнут красным карандашом.*
[58] *Текст:* Вор ответил ~ ты мерзавец. – *отчеркнут красным карандашом на полях.*
[59] *В рукописи:* Танбурзина (*незаверш. правка*)
[60] *Было:* нети

Женщина начала ругаться, пока не подошел городовой и не повел всех[61] участвующих в участок. По дороге присоединялись и отпадали любопытные. Полозов[62] слышал, что в толпе говорят о нем, но делал вид, что не замечает этого[63]. Какой-то купчик с вороватыми черными глазами расспрашивал:

– Да кто он, сыщик, что ли?

– Нет, так, барин. По своему делу шел.

– Шел толстопузый. Чемоданище-то вот как набил, а гляди какой прыткий. Надо полагать, из немцев.

– Ври больше. Из англичан еще[64] скажи!

– А может, и англичанин. Они все рыжие да гладкие. Гляди, как зеньки-то пялит. Умора!

Полозова[65] борода была не рыжая, а белокурая, и он вовсе не был похож ни на немца, ни на англичанина, но в толпе уже начали называть его немцем. На вора никто не обращал внимания, за исключением обокраденной женщины, продолжавшей пилить его, да мальчишка-газетчик. Последний ткнул вора кулаком в спину и сказал:

– [66]Заснул, что ли? Эх, карахтерный!

– Не смейте драться! – вспылил Полозов[67] и весь затрясся от гнева, неожиданного для него самого. Мальчишка испугался:

– Да я так, в нарошку. Чего его бить![68]

– Вы не смеете драться! Я вас в полицию отправлю! – кричал[69] ⟨*л. 24*⟩ доктор. Мальчишка юркнул в толпу и крикнул из последних рядов:

– Сам туда не попади. Разгулялся, Карл Иваныч.

Городовой обернулся к доктору и добродушно сказал:

– А чего их, мазуриков, жалеть, ваше благородие. Кабы они по чести поступали, а то вон у бабы последний рупь сбондил. При ихнем положении[70], может, ей, скажем, лопать нечего...

– Нечего, голубчик, нечего.

– Не вой, баба, отдадут, – остановил ее полицейский.

---

[61] *Далее было:* в

[62] *Было:* Танбурзин

[63] но делал вид, что не замечает этого *вписано.*

[64] еще *вписано.*

[65] *В рукописи:* Танбурзина (*незаверш. правка*)

[66] *Далее было:* Эх

[67] *В рукописи:* Танбу⟨р⟩зин (*незаверш. правка*)

[68] *Текст:* участвующих в участок ~ Чего его бить! – *отчеркнут красным карандашом на полях.*

[69] *На л. 22 об. напротив слов:* – Да я так ~ кричал – *помета:* Черт карманный.

[70] При ихнем положении *вписано.*

Вор шел молча и не оглядываясь и как-то особенно подбирая ноги, точно он ступал[71] по чему-нибудь очень горячему. Доктору видна была его грязная шея и путаные волосы, сухие и жесткие. Хотя уже начинались холода, он был одет в одном узеньком пиджачке и каких-то тоненьких брюках, облипавших его тело, как мокрое полотно.[72] Повыше коленного сгиба была большая дыра, в которую выступало тело, белое и чистое. Вероятно, вор знал про дыру, и ему должно быть неловко, но он как будто не признавал этого, шел и щелкал пальцами одной руки[73].[74] Доктор смотрел не отрываясь на это тело и думал, отчего оно такое белое и неужели он на самом деле мерзавец за то, что задержал вора.

– Так последние, вы говорите? – обратился он к женщине.

– Последние, батюшка немец, последние. Рупь семь гривен.

II[75]

Вернувшись домой[76], Полозов[77] поцеловал вышедшую к нему жену. Всегда утром или днем, когда он[78] уходил, и вечером, когда он возвращался, они обменивались поцелуем, и это настолько вошло в привычку, что даже присутствие посторонних не[79] стесняло их. Антонина Павловна, жена доктора, была высокая стройная женщина, ⟨*л. 25*⟩ несколько даже суховатая. Пепельные волосы обрамляли ее продолговатое лицо с темными густыми бровями и[80] серыми глазами,[81] зрачки которых, очень большие и бархатисто темные, придавали глазам выражение задумчивой мечтательности[82] и глубины. Двигалась она неслышно, мягко и уверенно и ботинки носила какие-то особенные, без каблуков. Когда доктор обнимал ее своими дюжими руками, ему иногда казалось, что вот сейчас она растает, как облачко дыма, и когда он

---

[71] *Было:* шел

[72] *Текст:* точно он ступал ~ как мокрое полотно. – *отчеркнут на полях ручкой с пометой "NB".*

[73] *Текст:* шел и щелкал пальцами одной руки – *подчеркнут красным карандашом.*

[74] *Текст:* Вероятно, вор знал ~ щелкал пальцами одной руки. – *вписан на л. 23 об.*

[75] *Далее было (с абзаца):* Когда знакомые говорили доктору, что он счастливый человек

[76] *Далее было:* без покупок

[77] *В рукописи:* Танбурзин (*незаверш. правка*)

[78] он *вписано.*

[79] *Далее было:* мешало (*незач. вар.*)

[80] *Далее было:* наивными

[81] *Далее было:* с

[82] *Вместо:* задумчивой мечтательности – *было:* мечтательной задумчивости

разведет руки, там ничего не окажется. Бывали минуты – очень редкие минуты, когда ему казалось другое – казалось, что он обнимает какое-то маленькое хищное животное, которое[83], мурлыча и ласкаясь, сейчас оцарапает его. Эта мысль стала являться у доктора с тех пор, как на плече его появился шрам от ряда мелких острых зубов, среди горячей[84] ласки незаметно впившихся в тело.[85]

За обедом Полозов[86] рассказал жене[87] о случившемся, но умолчал о том, что вор назвал его мерзавцем. Антонина Павловна испугалась и вскрикнула:

– Но ведь он мог убить тебя! Ах, какой ты сумасшедший.

– Ну что за нелепость, – с неудовольствием сказал доктор и посмотрел на Володю. У того глаза горели от восторга и кулак энергично сжимался.

– Что ты? – спросил хмуро доктор.

– Ах, папа...

– Ну что?

– Я бы его... я бы.

[88]Полозов[89] нахмурился и строго спросил:

– А ты знаешь, за что бы ты его?

– А зачем он крадет? Разве красть можно? Мама, красть ⟨*л. 26*⟩ можно?

Мать была авторитетом, к которому всегда обращался Володя. Михаил Петрович[90] счел нужным сделать поучение и рассказал ему, что очень часто люди крадут потому, что им нечего есть, что у них есть дети, которые хотят кушать. Может быть, и у этого есть дети или больная мать, которой нужны лекарства...

– Зачем же ты тогда схватил его? – удивился Володя. – Мама, зачем?

Антонина Павловна следила за прислугой, которая подавала обед, и рассеянно слушала разговор.

– Ах, все это глупости, – сказала она. – Просто это лентяй, дармоед, который не хочет работать. Их тут много в Москве шатается, почему их только не сажают в тюрьму. А только ты, –

---

[83] *В рукописи:* которая
[84] *Было:* горячих
[85] *Текст:* Эта мысль ~ впившихся в тело. – *отчеркнут на полях.*
[86] *В рукописи:* Танбурзин (*незаверш. правка*)
[87] *Далее было:* , что
[88] *Далее было начато:* О⟨н?⟩
[89] *В рукописи:* Танбурзин (*незаверш. правка*)
[90] *Вместо:* Михаил Петрович – *было:* Аполлон Григорьевич

обратилась она к мужу, – не изволь этого делать, мало ли что может случиться. Ударит ножом, вот и геройствуй. И без тебя схватили бы.

Положительная и резкая манера говорить противоречила внешности Антонины Павловны и производила неприятное впечатление на людей, которые встречались с нею первый раз. Но она ни для кого не хотела ломать себя и ненавидела кривлянья. Потом, когда к А⟨нтонине⟩ П⟨авловне⟩ присматривались, эта манера начинала нравиться.

После обеда доктор прилег на диван. Приходили мысли о воре, но после сытной еды думалось как-то плохо, и доктор просто смотрел на кабинет, обставленный с деловитою серьезностью, на портрет жены в большой дубовой рамке и прислушивался к ее голосу. Она что-то выговаривала кухарке, сухо и холодно.

– Охота тебе, кисочка, волноваться, – лениво сказал доктор, когда жена села возле него.

– Ты ничего не понимаешь. Это необходимо... Ну сколько сегодня принес, ⟨*л. 27*⟩ мой котик?

Михаил Петрович[91] начал вынимать из кармана скомканные[92] бумажки. Обыкновенно он делал это с усиленной медленностью, чтобы шутя посердить[93] жену, которая нетерпеливо хватала деньги своими тонкими пальцами и разглаживала их на коленьях. Но теперь он делал это молча и быстро, и когда достал все деньги, Антонина Павловна поцеловала его.

– Милый ты мой! Тридцать рублей.

Доктор смотрел на ее тонкие и белые пальцы, ласково шелестевшие бумажками, и думал, что Тоня раньше так не любила денег, как теперь, и что в тридцати рублях рубль семь гривен[94] содержится очень много раз. Вот был-то бы[95] доволен вор, если бы ему удалось украсть эти деньги! Но это ерунда, что Тоня плохая женщина. Она не виновата, что[96] мужа ее назвали мерзавцем.

– О чем задумался?

– Так, Тонечка. Осень уже на дворе.

– Да, пора шить себе кофточку. Ну, голубчик, иди писать.

– Не хочется что-то, Тоня.

– Нечего, нечего. Иди, – жена ласково обняла его и шутя начала приподнимать с дивана.

---

[91] *Вместо:* Михаил Петрович – *было:* Аполлон Григорьевич
[92] скомканные *вписано.*
[93] *Было:* позлить
[94] *Далее было:* помещает⟨ся⟩
[95] *В рукописи:* был
[96] *Далее было:* доктор⟨а⟩

– Какая ты славная, Тонечка!

– Да неужели? – рассмеялась та и начала разглаживать бороду доктора. – Ну правда, отдохни. Ведь тебе немного осталось? – речь шла о диссертации, которую писал[97] Полозов.

– Немного.

– Значит, скоро... профессор?

⟨*л. 28*⟩ Володя, поймавший где-то таракана и отрывавший ему ножки, бросил насекомое и побежал в кабинет.

– Чего вы смеетесь? Мне можно с вами? Мама, можно?

III

На другое утро после чаю Антонина П⟨авловна⟩ оделась для выхода и сказала мужу:

– Ну, что же ты не собираешься? Двенадцать часов.

– Не хочется, кисонька, –[98] виноватым голосом сказал доктор.

Речь шла о передвижнической выставке картин, куда они собирались давно уже пойти. А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ рассердилась:

– Но как же это? Ведь ты же[99] обещал Посконскому идти вместе? Он будет ждать.

– Ведь ты знаешь, кисонька, я ничего не понимаю в этой мазне. Бог с ней, с этой выставкой.

– Если не хочешь идти, не нужно было обещать. Это называется свинством. – А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ всмотрелась в лицо мужа. Тот старался смотреть в сторону, но А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ подняла пальцем, одетым в перчатку, его лицо, и с неудовольствием спросила:

– Что это? Опять хандра? Ну-ка, посмотри в глаза. Не так, прямо, прямо. Так и есть!..

Полозов[100] поцеловал ее руку повыше перчатки и тоном извинения произнес:

– Это пустяки, Тонечка. Просто нездоровится слегка. Ты иди с Посконским, а я поработаю, и все пройдет. Да скажи Посконскому, что вечером я к нему зайду поболтать.

⟨*л. 29*⟩ Ан⟨тонина⟩ П⟨авловна⟩ строго и прямо глядела в глаза мужу, но тот перебирал на столе бумаги.

– [101] Михаил Петрович!

---

[97] *Далее было:* Танбурзин

[98] *Далее было:* извиняю⟨щимся?⟩

[99] же *вписано.*

[100] *Было:* Танбурзин

[101] *Далее было:* Аполлон Григорьевич!

Полозов[102] кинул быстрый взгляд на жену, обжегся о[103] строгий взгляд ее серых глаз[104] с темными зрачками и, улыбаясь, проговорил:

– Ну ей-богу же ничего. Какая ты смешная!

А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ покачала головой и вышла, шелестя шелковою юбкою.

Оставшись один, Полозов[105] бросил бумаги, лег на диван на спину, так что его широкая борода уставилась кверху, и рассердился на жену.

– Что за безобразие! – подумал он, с укором смотря на портрет жены. – Точно это от меня зависит иметь дурное или хорошее настроение. Хандрю и хандрю. Ведь я хандрю, а не ты – тебя я не заставляю хандрить?

Доктор, казалось ему[106], понимал те основания, которые принуждали жену сердиться на него, когда он бывал печален и тосковал: она думала, что если он хандрит, то это значит, она не сумела сделать его вполне счастливым. На этот раз основания эти показались доктору смешными и вздорными. Однако чувство вины перед женою не проходило, и доктор еще раз повторил доводы, почему он имел право не пойти на выставку. Во-первых, он не понимает этой мазни, что называется живописью, и не любит. Жена его и Посконский любят и понимают – так пусть они и идут.

– А мне еще работать нужно, – спокойно солгал он. Глаза его рассеянно обежали комнату, скользнули по разбросанным листкам диссертации и уставились в окно, откуда глядел на него серый осенний день. Смягченный двойными рамами глухо доходил неумолчный грохот ⟨*л. 30*⟩ улицы.

– Мерзавец! – подумал доктор. – Какое право имел этот дурак назвать меня[107] мерзавцем?

IV

Когда знакомые говорили доктору, что он счастливый человек, он[108] отрицательно качал головой, когда же, возмущенные его требовательностью,[109] те по пальцам высчитывали, почему

---

[102] *Было:* Танбурзин
[103] *Далее было:* ее
[104] *Было:* глазах
[105] *Было:* Танбурзин
[106] казалось ему *вписано.*
[107] меня *вписано.*
[108] *Далее было начато:* лас⟨ково⟩
[109] *Далее было:* ему

он счастлив и не может быть иным, он ласково улыбался, похлопывал по плечу и говорил:

– Да я не спорю, голубчик[110]. Ну, а как ваши дела? Как здоровье жены? Я слыхал, к вам тетушка приехала?

И он спрашивал о том, что наиболее в этот момент интересовало его собеседника и что он находил каким-то чутьем. Тот говорил о себе и, тронутый внимательностью доктора, хотел его отблагодарить и снова повторял, что доктор очень счастливый человек.

– Не спорю, голубчик, не спорю. Мне, правда, очень везет.

Счастливым[111] Полозова[112] стали называть с тех пор, как он, студентом еще пятого курса, женился на А⟨нтонине⟩ П⟨авловне⟩. А раньше его[113] считали очень несчастным и даже говорили, что лучше ему умереть, чем так пьянствовать, дебоширить и, в конце концов, обратиться в оборванца, который останавливает на улице прохожих и просит у них три копейки на ночлег. И хотя, возвращаясь иногда с кем-нибудь к воспоминаниям прошлого, доктор утверждал, что никогда не мог дойти до Хитровки, потому что туда попадают люди только с слабым желудком, который не может переносить алкоголя, а у него ⟨*л. 31*⟩ желудок хороший, – он все же соглашался, что жизнь его до женитьбы представляла собою несчастье, а после женитьбы стала счастьем. И если он отрицательно покачивал головой, когда ему говорили о его счастье, то вовсе не потому, чтобы отрицал его: факт всегда остается фактом. Просто он думал, что переносить[114] счастье[115], точно так же как и иметь большие деньги, вовсе нелегко и требует некоторых особых приспособлений в организме, которых у него, у доктора, нет.

Долголетняя ли привычка к страданиям, или действительно у Полозова[116] не было в организме соответствующих приспособлений, но счастье не могло слиться с его существом и существовало как-то рядом с ним, как нечто вполне независимое и самостоятельное. Так иногда придет хороший человек, и с ним весело и легко, но вот он уходит в соседнюю комнату, и становится как будто темнее; вот он взял шапку и ушел совсем – опять темные мысли завладели головою. Иногда доктору казалось, что он идет

---

110 , голубчик *вписано.*
111 *Далее было:* докто⟨ра⟩
112 *Было:* Танбурзина
113 *Далее было:* называ⟨ли⟩
114 *Было:* быть
115 *Было:* счастливым
116 *В рукописи:* Танбурзина (*незаверш. правка*)

по шумной улице и[117] осторожно несет блюдце с полною водою и он страшно боится расплескать ее, так как эта вода – его счастье. Нужно так осторожно переминать ногами, смотреть и на блюдце, и под ноги, и по сторонам – и все же стоит кому-нибудь громко крикнуть над ухом, он сейчас же расплескает воду, и все будет сильнее плескать, и наконец возьмет и прямо выльет всю ее.[118]

Это было утомительное занятие[119] – нести блюдце, полное воды, и вот почему он не любил, когда говорят[120] о его счастье, и качал головою. Достаточно того, что каждое утро, просыпаясь, доктор должен был спрашивать себя: а так же ли я счастлив, как вчера, точно во время сна могло что-нибудь случиться такое, от чего счастье уйдет. Доктор знал, что эти опасения глупы, но ничего не в состоянии ⟨*л. 32*⟩ поделать с ними и иногда жалел[121] счастливых людей, так как думал, что все они разделяют его участь. Утомительное это было занятие, до того утомительное, что когда[122] наступали те черные промежутки в жизни доктора[123], которые жена называла хандрой и распущенностью, он отдыхал, тоскуя. Хороший и веселый знакомый выходил в соседнюю комнату, и становилось скучно без него и думалось: пусть он побудет там еще, а я пока отдохну от смеха.

Вероятно потому, что доктор считал свое счастье непрочным, ему казалось, что он теперь все время лжет. Это было нелепое представление, но оно преследовало доктора по пятам. Когда он целовал жену, ласкал ребенка, принимал больных, смеялся с знакомыми – он чувствовал во всем этом какую-то глубоко скрытую, непонятную, но вместе с тем отчаянную ложь. Была ли она в нем самом, или в тех, кого целовал, или с кем смеялся, он понять не мог и думал, что ложь в нем, совестился этого, и чем более совестился, тем становился ласковее и уступчивее. Одно время он так щедро рассыпал вокруг себя "голубчик, дорогой, хороший", что Посконский стал звать его самого "голубчиком", а А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩, обижаясь за мужа, стала еще резче и определительнее в своих выражениях, граничивших иногда с цинизмом, но никогда не бывших глупы-

---

[117] *Далее было:* несе⟨т⟩

[118] *Текст:* Иногда доктору казалось ~ выльет всю ее. – *отчеркнут красным карандашом на полях.*

[119] *Далее было:* , когда если

[120] *Было:* говорили

[121] *Далее было:* богат⟨ых⟩

[122] когда *вписано.*

[123] в жизни доктора *вписано.*

ми или пошлыми. Полозов[124] не пытался найти[125] ложь, потому что ее – он был уверен – в действительности не существует, и[126] она была как те черти, которых ловят алкоголики и уходят[127] по мере того, как к ним[128] приближаются[129].[130] В конце концов, он думал, что вовсе это не ложь, а что-нибудь другое,[131] сродни этим нелепым опасениям[132] потерять счастье. Ведь никакой же не находил он и не видел лжи в то время, когда он был несчастен и когда, как он думает теперь, он действительно много лгал и ⟨*л. 33*⟩ себе, и другим.

И в это утро доктору показалось, что рука его дрогнула и вода из блюдца немного выплеснулась. И, как всегда, он почти обрадовался этому и даже старался выплеснуть сам[133] еще немного. По крайней мере, сам он думал, что старается и был уверен, что если бы он захотел, то мог бы сесть за работу и плюнуть на все эти неприятные и ненужные мысли. А главное, мог бы не задавать себе этого ненужного вопроса, назойливо вторгавшегося в голову:

– Мерзавец! Какое[134] право имел этот дурак назвать меня мерзавцем?

V

Полозов[135] сел в кресло, которое обыкновенно занимали клиенты Посконского, закурил папиросу и тогда только обратил внимание на хозяина. Тот давно уже смотрел на приятеля тем рассеянно внимательным взглядом, который бывает у людей, оторванных от работы.

– Чего тебе надо? – спросил он. – Если так, без дела, то[136] сиди и жди. Две жалобы и иск.

– Я так, Ленечка. Но ты работай. Я не буду мешать.

---

[124] *Было:* Танбурзин
[125] *Было:* поймать (*незач. вар.*)
[126] и *вписано.*
[127] *Было:* уходили
[128] *Было:* ней
[129] *Было:* приближались
[130] *Текст:* существует, и она ~ приближаются. – *подчеркнут красным карандашом.*
[131] *Далее было:* потому что
[132] *Было начато:* ⟨*нрзб.*⟩
[133] *Было:* еще
[134] *Далее было начато:* эт⟨от?⟩
[135] *В рукописи:* Танбурзин (*незаверш. правка*)
[136] *Далее было:* лучше уй⟨ди⟩

Посконский театральным ⟨жестом⟩ сложил руки на груди и[137] устремил укоризненный взгляд на Михаила Петровича[138].

– Ну что ты? – удивился М⟨ихаил⟩ П⟨етрович⟩.

– Нет, скажи, до каких пор ты будешь называть меня этим дурацким и вульгарным "Ленечка"? Аполлон – и вдруг "Ленечка"!

– Ну, Аполоша.[139]

– Черт тебя возьми с твоим "Аполошей". Ведь есть же у меня ⟨*л. 34*⟩ имя Аполлон? Не понимаю этой нелепой манеры коверкать имена и из красивого имени создавать пошлость. Что если я тебя буду звать Мишунчиком[140]?

– Да зови.

– Убирайся. Ты ничего не понимаешь.

Посконский схватил перо, и когда доктор открыл рот, чтобы возразить, он уже писал что-то. Полозов[141] с улыбкой посмотрел на друга, слабость которого к красоте была хотя не совсем понятна ему, но мила, и подумал, какие у них собственно странные с виду отношения. Посконский[142] был на восемь лет старше доктора и был когда-то его репетитором, и хотя[143] с тех пор прошло добрых двадцать лет, доктор продолжал быть почтительным и даже несколько боялся его, а тот не в шутку [иногда распекал его]. Антонина П⟨авловна⟩ долго не понимала этого и кончила тем, что стала сама распекать Посконского[144].[145]

Доктор уже внимательно поспел рассмотреть[146] наклоненную голову друга и заметил, что в его черных и вьющихся волосах заметно прибавилось седины. Потом он[147] с такою же внимательностью осмотрел кабинет и в[148] сотый раз подивовался, как красиво сумел Посконский обставить комнату. Она носила несколько мрачный[149] характер благодаря темным обоям[150], мебели чер-

---

[137] *Далее было:* укоризненно

[138] *Было: а.* Аполлона Г⟨ригорьевича⟩ *б.* Алексея Григорьевича *в.* Ста⟨нкова?⟩

[139] *Было:* !

[140] *Было:* Толей

[141] *Было:* Танбурзин

[142] *Далее было начато:* когд⟨а-то⟩

[143] хотя *вписано.*

[144] *Текст:* Антонина П⟨авловна⟩ долго ~ сама распекать Посконского – *в скобках и, по-видимому, был отвергнут автором, но не заменен другим текстом.*

[145] *Далее было (с абзаца): а.* Однако сидеть и ждать становилось скучно. *б.* Доктор забрался с ногами на кожаный диван и приостановился, однако это

[146] *Далее было начато:* голо⟨ву⟩

[147] *Далее было начато:* вним⟨ательно⟩

[148] *Было начато:* с⟨отый⟩

[149] *Было:* строгий

[150] *Далее было:* и

ного дерева[151] и строгой прямизне линий, и эту мрачность только немного искупали развешанные по стенам портреты русских писателей, главное место среди которых занимали[152] Белинский, Добролюбов и Писарев. Лично Полозову[153] больше нравилась приемная, светлая и веселая, благодаря массе цветов, оригинальным[154] картинам масляными красками, но Посконский говорил, что[155] он ничего не понимает и что так надо: переходя из веселой приемной в мрачный кабинет, клиент проникается важностью совершаемого дела и доверием ⟨*л. 35*⟩ к деловитости адвоката. Но доктор знал, что Посконский шутит[156] и что он искренне любит все красивое и сам даже играет на пианино, и играет так хорошо, что иногда хочется плакать, хотя сам черт никогда не поймет, о чем жалуются и тоскуют звуки. И это бывали смешные[157] минуты, когда Посконский начинал экзаменовать растроганного ученика и тот врал напропалую, смеясь и извиняясь:

– Ведь ты же знаешь, голубчик, что я не по этой части. Поговори с женой – она вот понимает.

Антонина П⟨авловна⟩ действительно понимала и живопись, и музыку, и хотя растрагивалась с большим трудом, всегда умела,[158] объяснить, что какой звук значит. Посконский все писал, и доктор не вытерпел.

– А воры сидели у тебя на этом кресле?

– А? Не понимаю, что ты говоришь.

– Воры, говорю я, сидели на этом кресле, на котором я сижу.

– Сидели. А теперь сидит осел, который мешает.

Полозов[159] помолчал.

– А я ни разу не видал воров.

Посконский писал, и доктор, не получив ответа, продолжал:

– Вчера, впрочем, встретил одного. А до тех пор ни разу. И у меня ничего украдено не было. Сам я воровал, но только когда был маленький. Сахар воровал. А ты когда-нибудь воровал?

– Воровал.

– Вот как! Расскажи, пожалуйста, это очень интересно.

– Убирайся.

---

[151] *Далее было:* , но эт⟨у⟩
[152] *Далее было:* разрушители созда⟨?⟩
[153] *Было:* Танбурзину
[154] оригинальным *вписано.*
[155] *Далее было:* это
[156] *Было начато:* л⟨юбит⟩
[157] *Далее было начато:* пр⟨?⟩
[158] *Далее было:* что знач⟨ит⟩
[159] *Было:* Танбурзин

– Меня очень интересует вопрос, что такое кража?

– Если ты не отвяжешься, я выброшу тебя за дверь. Вот шкаф, а в шкафу книги. Возьми "Уложение" или Фойницкого. И успокойся. ⟨*л. 36*⟩ Полозов[160] улыбнулся угрозе выбросить его за дверь, так как в полтора раза был больше Посконского, и пошел к шкафу, где с трудом разыскал указанные книги. Усевшись с ногами на диван, он перелистал книги, отбросил "Уложение", но Фойницкого читал долго. Однако, когда книга была закрыта, лицо Полозова[161] выражало неудовлетворенность.

– А больше у тебя ничего нет о краже?

– О краже, нет. Есть о мошенничестве по русскому праву.

– А разве это не то, что кража?

Посконский свирепо посмотрел на доктора и, не отвечая, углубился в работу.

У доктора бывала зубная боль, и он испытывал тогда такое ощущение, что будто бы болят все зубы во рту. Но стоило прикоснуться к зубам и сразу становилось ясно, что болит именно он один, а остальные только так отражают эту боль. То же произошло с ним и сегодня утром, когда он предложил себе вопрос о праве, на основании которого[162] вор назвал его мерзавцем. Именно в этом месте болело, и болело так сильно, что боль отражалась на всем, даже на аппетите: доктор ел сегодня очень мало, но есть ему не хотелось.[163] Нужно было пойти к дантисту, каким для него часто являлся Посконский, вырвать зуб, но дантист пишет и дает инструменты: рви сам. Может быть, в этих книгах и находился ответ на то, что тревожило доктора, но он сам не мог найти его.

– Но чего же мне собственно надо? – подумал доктор, растягиваясь на диване в своей обычной позе, бородой кверху. И ответ был такой: надо уничтожить боль, которая является при мысли, что он схватил ⟨*л. 37*⟩ вора и тот назвал его мерзавцем. Но откуда эта боль, да есть ли еще она? Может быть, что-нибудь такое же несу⟨ще⟩ствующее, как постоянные опасения за счастье и[164] чувство лжи? Доктор старается на минуту ничего не думать и прислушивается к тому, что происходит где-то у него в груди. Болевое ощущение реально и несомненно. И не в груди только, а и в голове. И даже физически гадко как-то: слегка как будто тошнит, во рту кисло.

---

[160] *Было:* Танбурзин

[161] *Было:* Танбурзина

[162] *Далее было начато:* эт⟨от?⟩

[163] *Текст:* У доктора ~ ему не хотелось. – *отчеркнут красным карандашом на полях.*

[164] *Далее было:* мысл⟨ь?⟩

– Может быть, желудок не в порядке? – думает доктор. Но нет, желудок в порядке; язык он смотрел еще днем – никаких признаков недомогания. Но как эта боль удивительно похожа на физическую: так бы и поднялся сейчас и принял чего-нибудь: хоть касторки, или компресс бы положил. И когда он вспомнит вора, боль из ноющей переходит в острую, и тогда особенно хочется сделать что-нибудь такое, что облегчило бы.

В книгах ничего нет. Тут говорится о том,[165] какими признаками определяется кража, и что, помимо простой, бывает кража со взломом, грабеж и еще что-то. Все это Полозов[166] уже знает, хотя не так точно, и ему хочется узнать совсем другое.

Но что?

Боль становится сильнее, но ничего не говорит о том, что нужно доктору. Не то хочется знать, хорошо или дурно красть, не то узнать, откуда берутся воры и правы ли те, кто их хватает, хотя бы сами воры называли их за это мерзавцами. Вор украл у женщины два рубля и за то он и вор и негодяй. А доктор украл у него свободу – и он... Но почему же "украл" свободу. Разве он не имел право на это. А все-таки виноват во всем случай. Если бы Полозов[167] не пожалел четвертака и поехал бы домой на извозчике, или если бы погода ⟨*л. 38*⟩ была дурная, он не встретил бы вора и не схватил ⟨бы⟩ его. И этот бледный человек без шапки с таким белым телом гулял бы на свободе, быть может, ел бы что-нибудь вкусное, купленное на украденные деньги, или пил бы водку и был ⟨бы⟩ весел. А теперь он в тюрьме, а доктор тут на диване хандрит – думает о воре.

– Удивительная вещь – случай, – сказал вслух Полозов[168], но Посконский не ответил.

И почему именно он, доктор, такой добрый и хороший человек, который старается быть со всеми ласковым и в эту минуту носит как раз вазочку для жены, должен был схватить вора, а не кто-нибудь другой. Удивительно распоряжается людьми судьба! А ведь как ни совестно сознаться, а ему было жаль разбитой вазочки, и не разбей ее вор, доктор, может быть... Какая гадость!

Доктор морщится,[169] п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ ощущение кислоты во рту усиливается. Он смотрит на кресло и думает, что это очень странно[170],

---

[165] *Далее было:* что
[166] *В рукописи.* Танбурзин *(незаверш. правка)*
[167] *В рукописи·* Танбурзин *(незаверш. правка)*
[168] *В рукописи:* Танбурзин *(незаверш. правка)*
[169] *Далее было начато:* и вк⟨ус?⟩
[170] что это очень странно *вписано.*

что вот и на нем так близко от доктора[171] сидели[172] воры, такие же, быть может, как тот оборванный, или другие – толстые, наглые, с крючковатыми носами, укравшие тысячи или даже десятки тысяч... Однако, как эти представления о наглости[173] отдают прописью. Почему же прописью? Конечно, воры наглы, иначе разве осмелился бы он, тот, назвать порядочного человека мерзавцем? А почему он, Полозов[174], непременно порядочный человек, а не этот... ну, мерзавец. Нет, нужно было ехать домой на извозчике и вообще нужно избегать ходить[175] по улице. Улица всегда что-нибудь преподнесет. А на извозчике сел и доехал – можно совсем не смотреть по сторонам. Хорошо и[176] в конке, с газетой.

– Ты когда-нибудь на конке ездишь? – спросил доктор Посконского, но тот и на этот раз не дал ответа.

⟨*л. 39*⟩ И почему непременно он, доктор, должен был схватить вора, он, который никогда не видал воров и не слыхал о них. Ну слыхать, положим, слыхал, и читал, и даже ругал воров – крупных воров – но это совсем другое. У него есть своя специальность – больные – и какое ему дело до воров? Крадут – ну и крадут. Всегда так было и будет. Они крадут, прокуроры обвиняют, защитники оправдывают, а суд сажает в тюрьму. При чем же он-то здесь?

Доктор[177] вздыхает. Да недавно, совсем еще недавно, вчера утром[178], было счастливое время, когда он был ни при чем, а теперь... Но почему же именно мерзавец? Мерзавец – значит человек, который поступает нечестно...

– Слушай, "голубчик", а жена твоя где нынче вечером? – спросил Посконский.

– В попечительстве, на заседании. Я тоже собирался...

– Погоди минутку, сейчас кончу.

Вот он, напр⟨имер⟩, нехорошо поступил, что не поехал с женой на собрание, а он тоже член попечительства о бедных. Правда, что А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ лучше его в этом отношении, не пропускает ни одного собрания. И потом так делает много добра. Она расчетлива, но денег, когда нужно, не жалеет. Есть

---

171 так близко от доктора *вписано.*
172 *Далее было:* такие
173 о наглости *вписано.*
174 *В рукописи:* Танбурзин *(незаверш. правка)*
175 ходить *вписано.*
176 и *вписано.*
177 *Было:* Да ведь⟨?⟩
178 *Далее было:* он

родственники бедные, она их содержит. А он разве бедных не лечит? Чего еще требовать от человека? Да, наконец, какое ему дело до всех этих тонкостей – никогда он не простит себе, что не поехал на извозчике!

– Кончил, – сказал Посконский и потянулся так, что у него захрустели суставы. – Здорово вышл-о-о, – добавил он с зевотою: ну, сказывай, девица, сказывай, красная, что тебе надобно?

– Да вот, голубчик, неприятная история у меня вышла, – ответил ⟨*л. 40*⟩ доктор и рассказал про то, как он схватил вора, и про теперешнее свое[179] неприятное чувство.

– Ты – вора схватил? – засмеялся Посконский.

– Схватил, голубчик.

– Да какой черт тебя дернул?

– И сам не знаю, как вышло. Кричали "держи вора", я и схватил. Гипноз какой-то[180].

– Врешь, это[181] не гипноз[182]. Это у тебя инстинкт собственника заговорил.

– Да какой же я собственник?

– Все равно, назови хоть инстинктом честного человека. Ряд[183] честных предков, традиционное уважение к собственности, прочно организовавшееся; импульс,[184] весьма вероятно, дан был этим криком, нашедшим готовую почву в сфере бессознательного. Вот и все. Конечно, все это не особенно красиво, – брезгливо поморщился Посконский, – но повода для беспокойства я не вижу.

– Значит, я не мерзавец?

– Ну вот еще выдумал! – рассмеялся Посконский[185]. – Судя по тому, что мне сообщила сегодня утром твоя жена, ты находишься, кажется, в[186] состоянии ипохондрии, самой глупой из всех, какие мне приходилось наблюдать, если принять во внимание характер твоей жены и вообще все условия твоего существования. Если бы не твой почтенный возраст, тебя следовало бы драть немилосердно. Нахал, имеющий от жизни все, что дается другим только частями: здоровье, талант...

– Талант?

---

179 *Далее было:* состояние
180 Гипноз какой-то *вписано.*
181 это *вписано.*
182 *Было:* поэтому *(незач. вар.)*
183 *Было:* Ряды
184 *Далее было начато:* во⟨зможно?⟩
185 *Было начато:* С⟨танков?⟩
186 *Далее было начато:* ип⟨охондрии⟩

– Да, талант – и я положитель⟨но⟩ утверждаю[187], что со временем, когда ты пообтешешься, из тебя выйдет недюжинный ученый... Превосходная[188] жена, средства, хотя умеренные, но вполне обеспечивающие существование, тем более что ты в потребностях своих преследуешь умеренность – одним словом, ты[189] скотина, которой ⟨*л. 41*⟩ все завидуют, и он еще недоволен!

– А знаешь, голубчик, меня все-таки беспокоит это, ну вот случившееся.

– Ах, ну брось ты этот вздор. Ты не маленький и превосходно понимаешь, что никто из нас не избавлен от случайностей. И со мной, и с Петром, и с Сидором могла случиться такая история.

– Значит, и ты схватил бы?

– Если бы я и не схватил, это еще ничего не доказывает. Нужно взять в расчет весь комплекс ощущений, вызванных в тебе окружающим[190], обстановку... да мало ли еще что. Расскажи мне лучше, что это такое твоя хандра, на которую жалуется А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩.

– Да вот это, что я тебе говорил.

– Ах, пустое. Не всякий же ты раз воров хватаешь.

– Да как тебе сказать, – ответил раздумчиво доктор и вопросительно добавил: – к счастью, я не привык, что ли? Все идет так гладко, хорошо, что иной раз поневоле и...

– Взгрустнется? – рассмеялся[191] Посконский.

– Нет,[192] невольно подумается[193]: уж нет ли тут чего такого? Все жалуются на несчастье, а мне счастья девать некуда?

Посконский еще смеялся, когда вошла А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩, заехавшая за мужем из заседания. Она все еще сердилась на него и не хотела раздеваться, но Посконский уговорил ее остаться напиться чаю.

– Сыграю вам что-нибудь, – привел П⟨осконский⟩ последний довод, помогая А⟨нтонине⟩ П⟨авловне⟩ раздеться.

– Да, пожалуйста. Такое всегда тяжелое впечатление выносишь оттуда. Целое море нужды, а денег[194] гроши одни. Дамы наши только охают да стонут, а мужчины, – она покосилась на

---

187 *Вместо:* положитель⟨но⟩ утверждаю – *было:* тебе говорю *(незач. вар.)*
188 Превосходная *вписано.*
189 ты *вписано.*
190 *Было:* окружающей
191 *Далее было:* диким
192 *Далее было начато:* под⟨умаешь?⟩
193 *Было:* подумаешь *(незач. вар.)*
194 *Далее было начато:* не хва⟨тает?⟩

мужа, – дома сидят и хандрят. Я решила концерт устроить, и вас тогда на помощь притяну.

⟨*л. 42*⟩ – Ну уж эти дамские концерты: на[195] грош луку, на пяток стуку.

– Плохо вы меня, видно, знаете. Нет,[196] со мной шутки плохи. У меня ни одной копейки не пропадет.

– Не сердитесь. Знаю я вас! Что ж, я с удовольствием помогу, чем сумею.

Когда после чаю Посконский играл, доктор[197] внимательно смотрел на его пальцы, и ему казалось странно[198], что вот когда ударишь пальцем по деревяшке, оттуда получается какой-то звук. И он подумал: "нет, не то говорил Леня, совсем не то. Он не по той деревяшке ударил".

VI

Мерзавец!

Какое гнусное и отвратительное название: мер-за-вец. Даже подлец – и то лучше, там, по крайней мере, можно хоть силу предположить, а тут что-то такое дрябленькое, бессильное, как цыпленок, высиженный осенью, но цыпле⟨но⟩к, делающий⟨ся⟩ мерзавцем. И за что негодяй этот назвал его так? Очевидно, за то, что Полозов схватил его за ворот и задержал. Но в таком случае вор глуп, так как должен понимать, что он[199] совершает преступное и во всех честных людях должен встретить врагов[200]. И даже странно было бы: нарушать такой основной закон морали, как "не укради", и думать, что его по головке погладят. А вот[201] нашелся доктор, сильный, умный и честный, который взял да схватил. И впредь будет схватывать, если вор будет воровать.

– Ты живи честно, –[202] убеждает доктор кого-то, кто незримо присутствует в его кабинете: ты живи честно, и я буду первым твоим другом и всегда подам тебе руку. А теперь ты вор и плачься ⟨*л. 43*⟩ на самого себя... Ох!

Доктор лежит на диване, и борода его неподвижно уставлена кверху. Иногда борода резко вздрагивает: то доктор стискивает

---

195 *Далее было начато:* пят⟨ок⟩
196 *Далее было: а.* батюшка, *б.* сударь,
197 *Было:* доктору
198 странно *вписано.*
199 *Далее было:* делал
200 врагов *вписано.*
201 *Далее было начато:* до⟨ктор⟩
202 *Далее было:* резонирует

зубы от ноющей боли, которая теперь из груди и головы разошлась как будто по всему телу. Свет режет глаза и раздражает, и лампа вынесена в соседнюю комнату, откуда в кабинет проникает только слабый синеватый отсвет. Лица на портрете жены не видно, и это очень приятно Полозову.

– Вор глуп, это очевидно, но я еще глупее, я поразительно, феноменально глуп, и в этом отношении Леня совершенно прав (Посконский никогда не считал Полозова глупым человеком). Мне и больно сейчас, потому что я глуп. Умный человек рассудил бы и бросил, а я не могу рассудить. Как это в логике-то? Позабыл совсем, сколько лет прошло. Да, так: вор вреден; вредных людей надо уничтожать. Поэтому Полозов должен был схватить вора. Как ясно и хорошо.

Доктор повторяет силлогизм, заменяя слово "вредный" словом "честный" – выходит так же хорошо.

– А то, что мне скверно, – продолжает думать доктор, – это пустяки, на это не нужно обращать внимания. Просто оттого больно, что я очень хороший и добрый человек, который мухи не обидит. Конечно, мне жаль вора. Такой молодой и уже испорченный, и лицо у него интеллигентное, а на панталонах дыра, и в дыру видно белое тело. Шея у него грязная, а[203] тело чистое, вероятно он все-таки бывает в бане. Конечно, жаль. Из него мог бы выйти человек. Мерзавец! Будь я мерзавец, разве я стал бы жалеть его. Сказал бы[204]: сиди себе, голубчик, в тюрьме, а я тут буду смеяться. А мне совсем ⟨*л. 44*⟩ не до смеха. Какой уже тут смех! Тьфу![205]

Во рту доктора так скверно, что он сплевывает и снова принимает неподвижную позу и продолжает.

– А ведь это я соврал, что мне жаль вора. Мне нисколько его не жаль, пусть сидит в тюрьме. Там ему в такую погоду даже лучше, чем на улице: сыт, обут, одет. А мне жалко себя, за то, что он назвал меня мерзавцем. Ведь выдумали же такое отвратительное слово: мерзавец. Понятно, что я глубоко оскорблен, да и всякий на моем месте оскорбился бы. Живет человек на свете тридцать лет, слышит всегда: хороший, хороший, и сам знает, что хороший, и вдруг выскакивает[206] из⟨-за⟩ угла какой-нибудь негодяй и называет мерзавцем.[207] Леня очень умно заметил[208], что никто не

---

[203] *Далее было начато:* на па⟨нталонах?⟩
[204] бы *вписано.*
[205] *Далее было (с абзаца):* Докто⟨р⟩
[206] *Далее было:* откуда-то
[207] *Далее было начато:* По⟨сконский⟩
[208] *Вместо:* очень умно заметил – *было:* правду говорил

гарантирован от оскорблений. И я просто испытываю естественное чувство обиды. Вора нужно было бы как следует наказать, чтобы не смел вперед...

При мысли, что вора, которого он схватил, нужно еще наказать за оскорбление, перед Полозовым раскрывается какая-то пропасть, в которой беспорядочно мечутся обрывки мыслей о жалости, честности, обиде. Он вскакивает с дивана и подходит к окну. По темному фону стекла[209] сбегают светящиеся от лампы капли. На улице тихо и безлюдно. Только раз проехал какой-то извозчик с поднятым верхом. Окруженные светящим кругом фонари бросают тусклый отблеск на[210] мокрые плиты тротуара.

– Но если виноват вор, а не я, то почему же я чувствую себя виноватым? – думает доктор, укладываясь на диван. – Неужели я сомневаюсь, что я честный человек? Конечно, нет, в этом не может быть сомнений. Кто же тогда честен, если я... мерзавец. Никто, все мерзавцы, и только один вор честен? Глупый человек! Не мог понять, ⟨*л. 45*⟩ что я именно, как честный человек, должен был схватить его. Пусть он не ворует, и я первый стану его другом. А теперь мне просто жаль его, потому что у него бледное лицо и дыра на панталонах... Но я сейчас сказал, что мне не жаль его? Ах, какая чепуха!

Доктор повернулся на диване и решил:

– Будем думать основательно. Как это хорошо, то, что выходит по логике. Ах да: вор вредный человек. Вора нужно ловить. Ну я и поймал. Ах, какая чепуха!..

VII

– Ну что? Хандрит наш "голубчик"?[211]

– Хандрит, – с негодованием развела руками А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩. – Это становится просто смешно. Не велит, чтобы в кабинет лампу ставили. Положим, это уж всегда у него.

– Да вы воздействуйте на него. Ведь говоря между нами, А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩, он ведь у вас того, под башмаком, – улыбнулся Посконский.

– Как вы легко рассуждаете, точно вы не знаете этих тряпок. Нет характера, зато упрямство, как у осла, – точно вы его не знаете. Вот попробуйте-ка[212] вы его уговорить пойти куда-нибудь – ни за что! Голубчик, голубчик, а сам ни с места. Вот когда я Воло-

---

[209] стекла *вписано.*

[210] *Далее было:* плиты

[211] *В середине л. 44 об. вписано:* Ну что, хандрит наш голубчик.

[212] *Было:* попробуйте вы

дю родила – заявил, что мне вредно кормить самой, ну и делайте с ним, что хотите. Пришлось взять кормилицу. А уж когда хандра на него нападет, так... – А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ махнула рукой.

– Да что это, наконец, за хандра?

– Ведь вы знаете, как он пьянствовал? Конечно, нервы разбил[213], и теперь они не могут сразу прийти в порядок. Постепенно, конечно, все это пройдет, но жаль, что сам он не хочет взять себя[214] в ⟨*л. 46*⟩ руки. А из него мог бы выйти человек.

Посконский с нежным состраданием посмотрел на А⟨нтонину⟩ П⟨авловну⟩ и взял ее руки.

– Бедная вы моя! – тихо проговорил он.

– Ах, оставьте эти телячьи нежности. Главное, мне это обидно: ну будь он тупица, неспособный человек, как этот хотя бы доктор Иванов, а то ведь[215] способный и[216] умный человек – но не хочет, не хочет! Вы думаете, он, правда, не может понять музыки – прямо не хочет.

– Ну в этом отношении я вас[217] удостоверю, что он прямотаки бревно.

– Мне не нужно, чтобы он там работал через меру или кланялся. Не захотел взять места в И⟨нституту⟩те, и[218] не нужно. Хотя хорошо, конечно, бы числиться на госуд⟨арственной⟩ службе.[219] Но не хочешь, стесняешься – дело твое, и я вовсе не намерена стеснять чью-либо свободу – я слишком для этого дорожу своей. Мне хотелось бы, чтобы он приобрел имя в науке, и он может это сделать, но не хочет!

– Но ведь он пишет же диссертацию, готовится.

– Кто говорит! Да все это с ленцой, спрохвала – а вот теперь совсем забросил. Месяц, как уже не берется. Эх, кабы я-то[220] могла! Не так бы я писала!

– За чем же дело стало? Возьмитесь, готовьтесь.

– Эх, голубчик, годы мои ушли. Раньше глупа была, по балам шаталась, да[221] романы читала, а теперь уже поздно. Дилетантствовать, хвосты трепать по разным лекциям да курсам я не способна, а для серьезного дела годы ушли. Ведь мне, А⟨поллон⟩

---

213 *Далее было:* теперь
214 себя *вписано.*
215 *Далее было:* вы же че⟨ловек⟩
216 *Было начато:* у⟨мный⟩
217 *Было:* вам
218 *Было:* не
219 *Далее было вписано:* И работа ведь такая
220 *Было:* я
221 *Далее было:* книжки

Г⟨ригорьевич⟩, уже 25[222] лет. Не шутка сказать! Скажу вам по секрету, благо уже разоткровенничалась: так иной раз скверно станет! Ну если и добьешься своего, ⟨*л. 47*⟩ сделаешь из Миши человека, – так ведь что за радость быть до скончания века мужнею женою, и только мужнею женою.

– Но я совсем и не подозревал...

– А скажи, чего я ради буду с своею тоскою по людям шататься? Кому нужна эта моя неудовлетворенность? Довольно нытиков и без нас.

– Так как же?

– А так же. Штопаю чулки да в кухне готовлю. Да вот по этим еще попечительствам мечусь. Ох, уж вот где нытиков-то! Слушайте, так я на вас рассчитываю по поводу концерта. Не обманите.

– Но ведь это возмутительно, А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩, – горячо сказал Посконский, – разве можно так складывать руки. Правда, что сфера применения женского осмысленного труда крайне сужена нелепыми условиями нашего существования, но при той энергии, которой вы обладаете, при том уме, в котором нельзя вам отказать, вы легко могли бы сбросить[223] связывающие вас путы и выйти на широкий путь свободного и смелого развития. Оставьте в покое эти ваши годы – для людей, обладающих мощною волей, – годов не существует, и смело в бой!

Посконский протянул одну руку вперед, а другую подал А⟨нтонине⟩ П⟨авловне⟩. Но та улыбнулась.

– Все это, милый, одни французские разговоры. А вот я забыла спросить, не хотите поступить в общество улучшения участи женщин. Недавно возникло.

– Читал. Знаю. Сколько?

– Сколько хотите.

– Вот двадцать пять рублей. Довольно?

⟨*л. 48*⟩ VIII

Мерзавец!

Широкая борода доктора неподвижно торчит кверху. В кабинете темно и тихо. Из соседней комнаты проникает слабый луч зеленоватого света и неясно обрисовывает контуры большого тела, раскинувшегося на диване. Доктор думает:

– Вор назвал меня мерзавцем, потому что ему показалось странным, что его задерживает человек счастливый и сытый,

---

[222] *Было:* 24

[223] *Было начато:* св⟨язывающие⟩

в кармане которого есть тридцать рублей, а у вора ничего нет. И это[224] действительно новая сторона вопроса, разрешающая все. Он думал, что я счастлив. Глупо, феноменально глупо со стороны вора. Это я-то счастливый человек! Сытый – это правда. Придется вот новый сюртук шить, старый уже не застегивается, неловко. Э, да ничего, хорош будет и старый. А не нравится, так и черт с вами. Главное, счастливый человек. И ведь что всего возмутительнее:[225] и[226] жена, и Посконский, и все знакомые считают меня счастливым. Интересно, каким я им представляюсь? Я кажусь им очень, очень высоким, сильным и умным, и таким, которому все удается. У меня высокий лоб, и они думают, что там много мыслей. Я очень серьезен, хотя и приветлив, говорю мало, и они все думают, что я очень умный, и ум у меня такой солидный, ученый. А жена им еще говорит: "Коля так занят[227] своей диссертацией". Вот, думают, умница-то! Некоторые, вероятно, догадываются, что я не умный, и, быть может, за спиной и говорят. Хотя нет, едва ли. Потом все они видят, что у меня хорошая квартира...

Доктор мысленно прогулялся по квартире и нашел, что квартира недурна, хотя и[228] не то, что у Посконского.

– ...что у меня хорошая жена...

Доктор представляет себе фигуру жены и ее тонкие пальцы, считающие ⟨*л. 49*⟩ и разглаживающие деньги.

– ...Почему все они думают, что она хорошая? А ведь ее считают лучше меня? Потому, вероятно, что она красива и все-таки любит мужа. Удерживает его от пьянства. Заставляет работать. Ну там комитеты разные, концерты. Правда, она энергичная, смелая, живая. Пожалуй, даже она умнее меня. Я знаю, что ей хочется. О, ей много хочется: хочется, чтобы я приобрел деньги и известность. Много денег и много известности, что-нибудь такое захарьинское. Но она никогда не понимала меня. Это очень узкий, сухой, практический человек, без всяких идеалов. Она совершенно довольна тем, что есть, и вот она-то действительно счастлива. Я ей ни за что не расскажу про вора, потому что она не поймет меня и скажет то же, что и Посконский. Я не понимаю, как она может удовлетворяться нашею жизнью. Ведь эта жизнь, в сущности, удивительно пуста. Ну театры, ну комитеты, ну разговоры – а дальше что, опять театры? Опять разговоры? Придет

---

[224] *Было:* моя⟨?⟩

[225] *Было:* ,

[226] *Далее было:* Тоня

[227] *Далее было:* это⟨й?⟩

[228] *Вместо:* квартира недурна, хотя и – *было:* в ней нет ничего особенного. Во всяком случае

Посконский, станет в позу и скажет: “в исторические моменты, подобные настоящему, когда придавленная мысль тщетно ищет выхода и накопившиеся силы рвут связывающие их оковы...” или что-нибудь в этом роде. Умно, что и говорить. Но и сегодня он говорил то же, и вчера, и всегда. Потом станет обсуждать, что такое Лермонтов, или Чехов, или Глеб Успенский. Будет восторгаться. Но и вчера, и всегда мы обсуждали и восторгались. Потом станет острить. Я буду спрашивать у Лени, кто та прелестная незнакомка[229], которая держит ныне в плену его сердце. Они будут хлопать меня по животу и изображать, как я стал профессором и читаю глупейшие лекции с идиотской рожей. И вчера, и всегда мы говорили об увлечениях Лени, хлопали меня по животу. Потом станем говорить, кто прав, марксисты или народники. Решим, что и те немножко не правы, и эти немножко не правы и что не годится во всяком случае так зазорно ⟨*л. 50*⟩ ругаться. Потом возмутимся по поводу Дрейфуса и пойдем ужинать. А потом спать. А потом опять Дрейфус, марксисты, народники. И все то же, все то же. Пока одурь возьмет. А она ничего, довольна всем этим. Идиотство. Когда я вот так п⟨р⟩оговорю вечер, мне кажется, что я весь вечер лгал, как мерзавец. Ну какое мне дело до Дрейфуса, до всех этих господ, марксисты они, или народники, или еще какие там черти. Оправдают Д⟨рейфуса⟩ – я пойду ужинать, осудят – тоже пойду ужинать. Иной раз сам перестаешь понимать, что говоришь. У меня теперь кнопки такие: подави одну – Дрейфус выскочит; другую – марксисты. Они выскакивают, а я любуюсь: гляди, как язык чешет-то![230] Толкни[231] меня теперь ночью и спроси: а вы какого, доктор, мнения, насчет того, вступила Россия на путь[232] капиталистического развития или же ей можно обойтись и так? И я не проснусь, а язык сам начнет барабанить[233]: фабрики, артели. А она рада этим разговорам: по ее мнению, говорить о Дрейфусе – это совсем не то, что говорить об оперетке[234], а по-моему, этот черт один. Ведь если бы хоть во сне потом Дрейфуса увидеть или что-нибудь такое, а то ведь и во сне всю ту же дребедень видеть будешь: Посконский стоит посередине гостиной, а я перед ним, и о Дрейфусе[235] спорим. Я рад

---

229 прелестная незнакомка *вписано.*

230 *Далее было:* Разбуди

231 Толкни *вписано.*

232 *Далее было начато:* эк⟨ономического?⟩

233 *Вместо:* И я не проснусь, а язык сам начнет барабанить – *было:* И глаза еще не открыты, а начну бормотать

234 *Вместо:* об оперетке – *было:* о тряпках

235 *Было: а.* марксистах *б.* Ма⟨ркссе?⟩

бываю, когда во сне откуда-нибудь с башни вверх тормашками полетишь. Глупо, но такое приятное, захватывающее ощущение, и при этом знаешь, конечно, что это во сне и что ты нисколько не ушибешься. И, по-моему, об оперетке[236] говорить не в пример лучше. Оперетка[237] так оперет⟨ка⟩[238] и есть, знаешь, что никого ими обмануть нельзя. Вот, мол, смотрите: сидит скотина и об оперетке[239] разговаривает или в винт играет. А марксисты материя подлая, которая[240] прямо к тому и создана, чтобы людям честным очки втирать. Говоришь и думаешь: любуйтесь мною, граждане российские, другие вот в винт играют или об оперетке разговаривают,[241] и ⟨*л. 51*⟩ ⟨я⟩ мог бы об оперетке рассуждать, а я вот вместо того В.В. по косточкам разбираю и разницу между ценностью и стоимостью установить хочу. И не я буду, если не установлю. Чем не умница, чем не красавчик[242]? Ох, тошно. И вот так весь вечер пролжешь, до того пролжешь, пока в краску от стыда ударит. Ну, а сам-то я, если говорить по совести, не бывал доволен, что вот у других в винт играют, а у нас[243] разговоры о Марксе ведут? Бывал, ей-богу, бывал. Это теперь вот мне ясно,[244] что я лгал, лгал, как каналья, а тогда тоже ходишь себе, да ответ налаживаешь, да думаешь: как славно мы вечер провели. А почему славно, где славно? Ох, тошно. Провалиться бы тому, кто этих марксистов выдумал!

Хотя доктор думает, что ему тошно, но думает это для того, чтобы не спугнуть тот призрак облегчения, которое он начинает как будто испытывать. И чем более он ругает себя и все эти разговоры, тем легче ему становится. Лег он на диван форменным мерзавцем, а хотя и теперь думает, что он мерзавец, но в этом мерзавце слышатся уже такие легкие, ласкающие нотки. Доктору кажется, что он ребенок и над ним стоит мать и бранит его и делает суровый вид, но стоит ему только улыбнуться – счастливой улыбкой озарится и суровое лицо матери и снова польются и смех, и веселье, и шалости. Ведь, в сущности говоря, ничего еще не потеряно. Стоит ему сейчас подняться, зажечь лампу, и когда Тоня вернется домой, сказать ей: “Тоня, голубчик, прости меня

---

236 *Вместо:* об оперетке – *было:* о тряпках
237 *Было:* Тряпки
238 *Вместо:* так оперет⟨ка⟩ – *было:* так тряпки *(незач. вар.)*
239 *В рукописи:* о тряпках *(незаверш. правка)*
240 *Далее было:* у нас
241 *Далее было:* а
242 *Было:* красавец
243 *Далее было:* такие
244 *Далее было:* а

за эту глупую хандру"... и начнется старое, хорошее.[245] Вот он сейчас спустит с дивана одну ногу...

Доктор спускает ногу и хочет встать, но внезапно откачивается назад и падает, закрыв глаза, как от сильного света, и сдерживая стон, на этот раз не притворный. Про вора-то он и забыл!

– Проклятый! – шепчут побелевшие губы Полоз⟨ов⟩а. – Проклятый! Зачем ты здесь?

⟨*л. 52*⟩ И с внезапным взрывом отчаяния, тоски и злобы на себя доктор говорит:

– Ах, зачем, зачем, пошел я пешком!

Мысли доктора, начавшие приходить в порядок и систему, внезапно разбиваются и путаются, как шашки, смешанные на доске рукой нетерпеливого и дерзкого противника. И поверх всего стоит[246] слово "мерзавец!", такое ясное, громкое и требовательное, как будто оно составлено из огненных букв. Оно жжет, оно проникает в голову сквозь закрытые веки и требует ответа. В нем нет уже той милой материнской ласки, которая слышалась в упреках доктора, обращаемых им к себе, оно звучит жестко и грозно.

– Да, не мерзавец же я, не мерзавец! –[247] возражает доктор, судорожно ворочаясь на диване.

В кабинете темно и тихо. Внезапно наверху, над потолком, раздаются уверенные и громкие звуки pas-de-quatr⟨e⟩'a*. Мелодии не слышно, и только резко и громко отбивается такт.

– Та-та-ти...

К нему вскоре присоединяется глухой топот танцующих ног. Доктор часто встречается на[248] лестнице с гимназисткою из верхнего этажа и заметил, что у нее длинная коса и[249] ярко-розовые щеки. Вероятно, к ней пришли теперь подруги и танцуют со стульями или друг с другом. Доктору кажется странным и обидным это веселье над его головой. Ему становится жаль себя и думается, что[250] он уже[251] будет лежать[252] в могиле, а над ним[253] ликует[254] все та же молодая, не знающая смерти жизнь. И чувст-

---

* падекатр (букв. танец четырех исполнителей, *франц.*)

[245] и начнется старое, хорошее. *вписано.*
[246] *Далее было:* , как вырезанное огненными буквами,
[247] *Далее было:* думает до⟨ктор⟩
[248] *Далее было начато:* парад⟨ной?⟩
[249] *Далее было: а.* роз⟨овые⟩ *б.* ярко-красные ще⟨ки⟩
[250] *Далее было:* вот так
[251] уже *вписано.*
[252] *Далее было:* и
[253] *Далее было:* будет
[254] *Было:* ликовать

во одиночества сильнее охватывает его и темнее кажется кабинет. Почему он не может веселиться так, как они, эти верхние? Почему он должен думать о каком-то воре,[255] оборванном, жалком – и таком неумолимом? Полозов нерешительно поднимается с дивана, сидит некоторое время ⟨*л. 53*⟩ в задумчивости и решает: пойду гулять. Ему неловко перед женой, которая, вернувшись домой и не застав его, может бог знает что подумать: в самые сильные припадки хандры он не покидал дивана. Но он долее не в силах оставаться, слушать это веселое та-та-ти, и ощущать возле себя присутствие вора.

IX

Высокие и прямые дома угрюмо молчат. Низ их[256] слабо озаряется фонарями, пламя которых прыгает от ветра, а верх утопает в сером полумраке осенней ночи. Видимо, час поздний, потому что на улице совсем не видно прохожих, и[257] только немногие окна в домах освещены. Невыс⟨ых⟩ающая осенн⟨я⟩ грязь липким пластом покрывает мостовую; пятна ее сереют на фундаментах домов, заброшенные туда резиновыми шинами.[258] Узкие, кривые переулки сменяют друг друга. Изредка доктор пересекает улицы, ярко освещенные голубоватым светом электрических фонарей, дающих черные тени[259], и полные движения и народа, но он поспешно сворачивает с них в первый попавшийся темный переулок.[260] Там ему дышится легче и свободнее. Сыроватый воздух, в первую минуту освеживший его голову, теперь начинает тяготить его и душить. Доктор распахивает пальто и[261] сдвигает на затылок шапку и шагает, грузный, медленный. Походка его не утратила характера неторопливости и твердости, но когда Полозов проходит мимо фонаря, свет последнего[262] выхватывает из мрака[263] хмурое и детски[264] растерянное лицо, к которому широкая и солидная борода словно[265] нарочно прицеплена каким-то шутником-парикмахером. Доктор думает, что он напрасно по-

---

[255] *Было:* ?
[256] *Далее было начато:* слаб⟨о?⟩
[257] *Далее было:* окна
[258] *Далее было:* Город точно⟨?⟩
[259] дающих черные тени *вписано.*
[260] *Далее было:* Ему
[261] *Было:* ,
[262] *Далее было вписано:* озаряет
[263] выхватывает из мрака *вписано.*
[264] детски *вписано.*
[265] *Было:* точно в *(незач. вар.)*

шел гулять. Правда, здесь нет одиночества кабинета, но какое-то другое странное беспокойство начинает волновать его. Как будто сейчас должно случиться что-то очень тяжелое ⟨и⟩ мучительное, и случится это непременно на улице, и не дальше вон того угла, за который он сейчас повернет. Но за этим[266] углом ничего нет. Однако беспокойство не ⟨*л. 54*⟩ проходит. Похоже на то, что Полозов хочет вспомнить что-то очень нехорошее, что он сделал, и сделал недавно. Вор? Нет, это не то. Полозов поворачивает за новый[267] угол. Улица несколько пошире других, но так же скудно освещенная. Только в одном месте, как раз за самым углом, камни мостовой блестят от света, вырывающегося из ряда освещенных окон. Окна завешаны чем-то очень грязным, но в одно, распахнутое настежь, вырываются деревянные, но назойливые звуки дешевого органа. Отчаянно весело, несмотря на одолевающее его хрипение, орган выкрикивает какой-то бесшабашный мотив, в котором тонут громкие разговоры и звон посуды. Перед трактиром и[268] каменным⟨?⟩ ⟨*нрзб.*⟩[269] пустынно, тихо, но в нем, видимо, кипит своеобразная жизнь. Полозов, замедляя шаги, минует трактир и останавливается: он нашел причину неясного беспокойства. Этот мотив напомнил ему другой такой же скверный день, как сегодня, и скверную ночь.

Года два или три тому назад – доктор[270] точно не может определить времени – жил он на даче с женой и двумя ее сестрами, девушками. Взгляд его пригляделся тогда к праздничной картине этой жизни. Благодаря своеобразному подбору, сгоняющему на дачу людей все более или менее состоятельных, все окружающие[271] люди[272] казались доктору[273] непохожими на обычных людей действительности, которые страдают, болеют и умирают. Эти люди были сплошь счастливы. Все они одеты были в белое, красное или голубое, но яркое, веселое и говорящее о празднике, и лица у всех у них были такие же белые и радостные. Радость начиналась с утра, когда над головой развертывалось голубое небо, и кончалась позднею ночью, когда над парком всплывала луна, играла с веселыми струйками темного озера и вырезывала из черной листвы светлые, фантастически красивые кружева. Тогда

---

266 этим *вписано.*
267 новый *вписано.*
268 *Далее было начато:* д⟨?⟩
269 *Далее было:* его
270 *Далее было:* ясно
271 окружающие *вписано.*
272 *Далее было:* вокруг доктора
273 доктору *вписано.*

весь парк наполнялся тихим шорохом, подавленным смехом и тихою речью. Слышались чьи-то шаги, и песок хрустел под ⟨*л. 55*⟩ ними, и разом на свет выходили две белые неясные[274] фигуры, а рядом с ними двигалась густая, черная тень. И Полозов гулял в эти ночи с женою и целовался с нею, прислушиваясь к звукам далекого пения. Кто пел, что пел – они не знали и не хотели знать; довольно было того, что грудь их и певца разрывалась от полноты жизни, и еще жаждала этой жизни, и еще – без конца жизни, любви и счастья! Это был какой-то пир во время чумы.

И вот совершенно неожиданно доктору пришлось поехать в город. День был серенький, тусклый. Когда доктор вышел из подъез⟨д⟩а вокзала, он сразу почувствовал себя перенесенным в совершенно иной, чуждый мир,[275] захлебывающийся в грязи, стонущий от боли, корчащийся в судорогах[276] безотрадно пошлого веселья. Все было просто, поразительно просто и обыденно, но эта простота показалась доктору ужаснее всего, что могло бы создать самое разнузданное воображение. Он[277] шел по панели, и его толкали, обгоняли, кричали над его ухом, ругались и плакали сотни, тысячи темных, грязных фигур[278]. Все лица у этих[279] беспокойных фигур были серые, озабоченные, тусклые, морщинистые, плохо выбритые; никто не думал друг о друге, и все бежали куда-то, бежали, как черные тени, гонимые призраком нужды, голода и смерти. Скрипят и хлопают двери винных лавок; вонючий пар поднимается из окон съестной, и видно, как за липким столом, в туче мух, жадные рты поглощают какую-то мерзость. Через улицу бежит девчонка с бутылкой постного масла и просаленной бумагой, откуда торчит хвост селедки, и доктор представляет себе место, куда она бежит и где ее нетерпеливо ждут – там не[280] знают о лунных ночах. Заплывший жиром, красный, как сургуч, плывет по панели купец, как большая сонная акула в стае мелкой рыбешки, и доктор видит большие амбары, набитые хлебом, мощеный двор с высокими стенами и ⟨*л. 56*⟩ рвущуюся с цепи злую собаку. Вот шатается пьяный, лицо его замазано кровью и серою пылью; один глаз совсем заплыл, другой смотрит жалобно и дико. Он ругает кого-то отвратительными словами,

---

274 неясные *вписано.*
275 *Далее было:* полный нищеты, грязи и горя
276 *Далее было:* пошлого
277 *Далее было начато:* плак⟨ал?⟩
278 *Далее было:* , в которых
279 *Далее было:* фигур
280 *Далее было:* светит луна

грозит грязным кулаком, потом облокачивается на частокол садика и плачет, вызывая смех и грубые шутки. Городовой, утомленный, потный, заворачивает лошадь ломовика и, обернув руку обшлагом рукава, бьет ее по морде. В этом море кричащей грязи скользят, приподнимая белые платья и брезгливо сторонясь от прохожих, нарядные, свежие женщины; с такою же осторожностью пробираются хорошо одетые мужчины с сытыми, самодовольными физиономиями. В[281] сетчатой оболочке их глаз отражается улица с всею ее ужасающею простотою, но она не в силах погасить в них довольного[282], светлого, радостного[283] огонька. Доктору начало казаться, что люди внезапно ослепли и не видят друг друга. Разве мыслимо было бы то, что есть сейчас, если бы они видели? И он, этот внезапно прозревший слепец, чувствует, что ему становится страшно. Он затрудняется перевести увиденное им на язык слов, он[284] слепнет опять и не понимает, что он такое страшное и[285] омерзительно гадкое увидел[286] за минуту перед этим, – но как будто камень какой опустился ему на душу и давит, давит ее. Не торгуясь, доктор нанял извозчика и бежал и дорогой старался не смотреть[287] на выцветшую спину возницы, в которой он замечал каждую потертую нитку, и эта нитка рассказывала ему длинную повесть серой задавленной жизни. Весь день доктор чувствовал тогда то же как будто физическое недомогание и тошноту, которые мучат его теперь, и с нетерпением ожидал ночи, когда он вернется домой. И вот была ночь, когда он возвращался на вокзал по тем же улицам, такая же ночь, как теперь, серая, теплая и сырая. И так же безлюдны и молчаливы были улицы, ⟨*л. 57*⟩ как и теперь, и угрюмо прямы и строги высокие дома. Доктор радовался безлюдию и шел, успокоенный, когда ничтожное, самое ничтожное обстоятельство обратило его внимание, снова как будто сняло с его глаз пелену и наполнило тем же[288] хаосом тягостных чувств. Он увидел высокую прямую стену дома, выходившую на соседний двор. Стена была белая, глухая и только в одном месте была сильно закопчена дымом. И вот по какой-то странной игре мысли эта копоть, на которую, быть может, он первый обратил внимание из миллиона едущих и

---

281 *Было:* На
282 довольного *вписано.*
283 радостного *вписано.*
284 *Далее было:* минутами
285 *Далее было начато:* га⟨дкое⟩
286 *Далее на полях слева вписано:* он
287 *Далее было:* по сторонам
288 же *вписано*

идущих мимо, эта копоть сказала ему все. С клоунской[289] быстротой его мысль вызвала жалкие фигуры дня, провела их[290] перед изумленными глазами доктора, и распихала по высоким и угрюмым домам. И доктор видел их в их беспокойном сне, слышал[291] хрипение их грудей, и вся эта бесконечная площадь безмолвных[292] домов, составляющих город, и сверху донизу набитых[293] этими хрипящими фигурками, показалась ему чем-то еще более ужасным, чем сама кричащая и жалующая⟨ся⟩ улица.

– Как их много! – думал доктор, садясь в вагон. – Как их много, – думал он, подходя к своей даче.

Тогда впервые, после двух лет безоблачного счастья, он снова испытал хандру и сперва испугал ею, а потом рассердил жену. Она не[294] хотела или не могла понять того, что он увидел, и говорила, что видит то же каждый раз, когда ездит в город, и что здесь нет ничего ни странного, ни ужасного, ни нового. Постепенно[295] у доктора исчезла ясность того представления, а потом он и совсем забыл о нем, но с тех ⟨пор⟩ он возненавидел улицу и боялся ее. И с тех ⟨пор⟩ в его сознании счастья явилась брешь, через которую входила тревога и странное ощущение постоянной лжи.

И вот теперь через три года эта ночь, этот пустынный переулок и ⟨*л. 58*⟩ отчаянно веселый крик органа напомнили ему ту ночь и те печальные картины. В нем еще с самого выхода из дома начался процесс возникновения этих полузабытых образов и тревожил его и вот теперь сразу дал им[296] плоть и кровь и жизнь. Полозов[297] поднял глаза кверху и увидел мрачный ряд домов, безмолвных, прямых, строго хранящих тайну заключенных в них жизней, подобных смерти, и смерти, полагающей начало жизни. Опять встали перед его глазами серые, жалкие фигурки, храпящие в беспокойном сне, и имя им было легион.

– Как их много! – думал доктор, поворачивая обратно к дому и торопливо проходя[298] мимо освещенного трактира. – Как их много! – думал он, садясь на извозчика.

---

[289] *Было начато:* кажд⟨?⟩
[290] *Далее было:* по до⟨мам⟩
[291] *Далее было начато:* уду⟨шливое?⟩
[292] безмолвных *вписано.*
[293] *Было:* набитым
[294] не *вписано.*
[295] *Далее было:* доктор
[296] *Далее было начато:* ж⟨изнь⟩
[297] *Было:* Доктор
[298] *Далее было:* мимо

К мучительному чувству тоски и страха, которые испытывал доктор, примешивается[299] доза радости. Ему думается[300], что он нашел теперь, кто его враг, кто скрывался за этими неопределенными порывами тоски и неудовлетворенности, и, как крот, подкапывал его счастье[301], счастье, которое теперь[302] рухнуло ему на голову и придавило его к земле. Вот кто его враг – эти серые, жалкие фигурки. И как много этих врагов, и как разнообразны они! Художница-нищета[303] с неистощимостью злобной фантазии украсила их всем, что есть ужасного и отвратительного в мире, вооружила их полчища из своего богатого арсенала и выпустила на свет, и они идут на доктора, неумолимые, жестокие, непобедимые в своей слабости. Доктору начинает казаться, что и раньше, до этого случая на даче, он боялся улицы и не любил ее, хотя не видел в ней[304] того, что дается видеть нечасто и что каменит, как голова Медузы. Но нет, это неправда, он не боялся улицы, он только не любил ее, как не любят[305] люди все грязное и некрасивое. Доктор помнит то глубокое и спокойное безразличие, с которым его взгляд скользил по серым ⟨*л. 59*⟩ фигуркам, во всем их подавляющем разнообразии. И, думается ему, причина этого безразличия лежала в сфере его бессознательного, сфере, на которую так любит ссылаться Посконский во всех трудно разрешимых загадках жизни.[306] Долгим путем у доктора установилось строго натуралистическое миросозерцание, в котором все живущее и дышащее падало ниц перед всемогущим законом: так есть, так должно быть. Закон эволюции существовал где-то в прошлом, а в настоящем все казалось неподвижным, отлитым в определенные формы. Быть может, они когда-нибудь и изменятся, но сейчас они таковы, и спорить с этим нелепо. И осел, и лошадь происходят от одного корня, но это не мешает ослу оставаться ослом, а лошади – лошадью. И доктору кажется, что этот взгляд он бессознательно переносил с мира животных[307] на разнообразный мир людей. Ведь и у них это разнообразие повелось откуда-то издавна, а теперь приходится только констатировать различия в надежде, что все тот же могучий закон эволюции внесет жела-

---

[299] *Было:* примешивалась
[300] *Было:* думалось
[301] *Далее было:* . Теперь оно, это
[302] которое теперь *вписано.*
[303] *Далее было начато:* разукра⟨сила⟩
[304] в ней *вписано.*
[305] *Было:* любит
[306] *Далее было начато:* Пут⟨ем⟩
[307] с мира животных *вписано.*

тельные перемены. А пока доктор совершенно спокойно смотрел на двух людей, идущих по улице,[308] на одном из которых понадеты меха, а другой идет почти голый, смотрел так же спокойно, как на двух обезьян, из которых одна лохмата, а другая полугола. Он видел бесконечное разнообразие шкурок –[309] и думал, или чувствовал, что шкурки эти пришиты к телу, – а уж это не его вина, что у одного шкурка теплая, а другого не греет и в летние дни. Но, вероятно, уже тогда им чувствовалась ложность этого взгляда, потому что жизнь на каждом шагу противоречила ему, и, не в силах добиться разгадки, он предпочел уйти от улицы.

Доктору кажется – и уже не в первый раз, – что он напал на мысль, разрешающую все. Улица с ее серыми фигурками – вот кто враг его благополучия. И эта мысль бросает яркий свет на прошлую жизнь ⟨*л. 60*⟩ доктора и делает ее понятною. Она вся заключалась в борьбе с людьми[310], у которых пришиты плохо греющие шкурки. Они со всех сторон нападали на доктора и говорили: дай нам другие шкурки, нам холодно, – а он прятался от них. Как епископ Гаттон, спасающий⟨ся⟩ от мышей в башне, он также взобрался на высокую башню и думал, что он там в безопасности. Чувство самосохранения заставляло доктора уйти от этих фигурок, не думать о них – и[311] доктор долгое время думал, что это удалось ему сделать, хотя не покидавшее его беспокойство уже тогда говорило ему, что это невозможно. Путем бессознательного приспособления и переработки окружающей среды доктор и его жена окружили себя плотным кольцом таких же счастливых и хороших людей, как и они. Кто их знакомые? Посконский, никогда не унывающий и свободно и легко плавающий в море красноречия; профессор Станков с супругою; три доктора с семействами; учитель, несколько студентов, артист И⟨мператорских⟩ Т⟨еатров⟩ Волынский с супругою. Все это люди[312] умные, хорошие, не совершающие ни преступлений, ни проступков, охотно заменяющие[313] винт[314] разговорами о марксистах. Доктор даже гордился, что вот ему удалось подобрать такой хороший кружок знакомых. И отличительным свойством всех этих людей было то, что все они более или менее счастливы.

---

[308] *Далее было:* из
[309] *Далее было:* а больше ничего
[310] *Было:* фигурками
[311] *Далее было:* Полозов
[312] *Далее было начато:* хоро⟨шие⟩
[313] *В рукописи:* заменяющих
[314] *Далее было начато:* глуп⟨ыми?⟩

Доктор не понимает сейчас, как это могло так случиться, что вокруг них собрались только счастливые люди;[315] и он, и[316] жена очень добры и никогда не отвертывались от несчастных. А правда ли это? Доктору вспоминается фигура одного длинноволосого, сухого и тощего психопата, у которого галстук всегда был на боку, волосы и борода в пуху и брюки обязательно подвернуты. Он забывал их отвернуть, входя с улицы, так как тотчас же начинал говорить о Ницше, о сильных и жестоких. Он[317] проповедовал презрение к слабости и был[318] сам так слаб, ⟨*л. 61*⟩ жалок и несчастен. Он краснел, как девушка, и извинялся, когда ему, смеясь, указывали на его брюки, и бормотал что-то непонятное, а через полчаса уже снова лилась его[319] скучная, нескладная речь. Сперва он забавлял, потом начал тяготить своей жалкостью, тем более, что он не сумел или не захотел скрыть ее и иногда прорывался жалобами на себя, и потом исчез, спугнутый, вероятно, холодным молчанием. И все они облегченно вздохнули, когда от них убрался этот нескладный юноша с вечно подвернутыми брюками и презрением к слабости. Потом он, кажется, застрелился или утопился, что-то в этом роде. Доктор продолжает искать тех, кого они удалили от себя – и перед ним всплывает лицо девушки с массой вьющихся волос и широко открытыми, испуганными глазами, точно она испугалась, впервые взглянув на мир, и так и осталась в этом положении... Выперли они и девушку эту: не подходила она к их стаду.

– Ах, какие же мы скоты! – думает доктор, щуря глаза, и нагоняет извозчика. – Поживее[320], голубчик, скорее!

Ему кажется теперь, что дома, в своих стенах, где он так долго и так удачно боролся с осаждающею его жизнью, он найдет успокоение. Ах, как отчаянно боролись они! Они знали, что на карте стоит их благополучие, самая возможность жизни. И старательно, настойчиво, с жестокостью бессознательно действующих они удаляли от себя все, что слишком громко говорило о горе, о преступлении. На их глазах погибал возле, запутавшись во лжи и правде, человек, совершил проступок – и они не боролись с ним или за него, они бежали от него, точно боясь, что вот через него войдет к ним жизнь со всеми ее страданиями, бежали от него, как от зачумленного, и забивали досками всякую память

---

315 *Далее было:* но это
316 и *вписано.*
317 *Далее было:* был
318 *Далее было начато:* та⟨к⟩
319 *Далее было начато:* над⟨?⟩
320 *Было:* Скорее *(незач. вар.)*

о нем. Всякий, заходящий в своих стремлениях дальше, чем конка, им ненавистен; утонувшие во лжи, они побивали шутками и, ⟨*л. 62*⟩ наконец, закрытыми дверями всех ищущих правды. Ах, эта девушка с испуганными глазами![321] Где она, что с нею, первою осмелившеюся сказать доктору слово "мерзавец!"? Оно было только в глазах ее, доктор не понял тогда его – теперь он понимает.

Да, отчаянно боролись они! Все было пущено в ход, чтобы не пустить за порог улицу с ее жалкими, пошлыми и требовательными фигурками. Они выписывали умеренно либеральную газету, и она с эпическим спокойствием искусившего⟨ся⟩ в битвах мудреца, сменившего меч на туфли и ночной колпак, сонным голосом рассказывала "Слово о полку Игоря, Игоря Святославича"[322]. Рой мелких газеток с их отражением жизни толпы, с их грабежами, убийствами, кражами шумел где-то вдали от них: они не хотели знать, что думает и чувствует настоящая улица. Им так хорошо чувствовалось в обществе этой старой газеты, этого старого друга, увеличивавшего лишь около них число счастливцев, умеренно вздыхающих и умеренно радующихся, и, подобно ⟨им⟩[323], открещивающегося от жизни. Доктор вспоминает свою нежную привязанность к этому старому другу, милому и во дряхлости своей, и то, как он дал однажды аннибалову клятву никогда[324] не менять его на другого. А книги? Ведь их читалось много, и не все они звали ко сну и желали покойной ночи. Доктор[325] становился в тупик перед этим вопросом. Книги? Щедрин, напр⟨имер⟩, или Г. Успенский? Щедрина они даже компанией перечитывали: он с женою, профессор с супругою и два доктора. Ну так как же? Но мысль, бросившая свет на прошлое, помогает доктору и здесь. Он понимает, что без улицы совсем обойтись им было нельзя: она их кормит и одевает, она же – претворенная в художественные образы – дает им и развлечение. Но неужели это чтение ⟨*л. 63*⟩ было только развлечением? Ведь они и волновались, и негодовали, и плакали – да плакали – созерцая[326] чудные творения могучей и страдающей мысли. Хотя бы тот же Иудушка – какое чувство омерзения, какую невольную дрожь вызывал он в них. И разве не плакали они над Соней, этим типичным порождением улицы? Плакали, негодовали, да. А потом ло-

---

321 *Далее было:* Ах

322 *Далее было:* , изредка

323 *Вместо:* подобно ⟨им⟩ – *было:* как и они *(незач. вар.)*

324 никогда *вписано.*

325 *Было:* Доктору

326 *Далее было начато:* мо⟨гучие?⟩

жились спать или ужинали и ели с бóльшим аппетитом, чем всегда. Доктору вспоминается, как однажды Щедрин допек их своим Иудушкою, и им стало невмоготу. И тогда они – закрыли книгу. И Иудушка исчез. Вот чем и удобна книга, что ее всегда можно закрыть. С одной стороны, она как будто и вводит в жизнь и ведет на улицу, а с другой – ведет она дотуда, докуда доктор хочет, как раз до того предела, когда организм воспримет необходимую дозу[327] волнения, содействующего правильному обмену[328] материй. А свяжись с живым Иудушкою или Сонею – как потом от них отвяжешься. Иудушку еще поколотить можно, а Соню – Соню ведь спасать нужно? А за книгами музыка, живопись, театры...

Доктор мысленно созерцает высокую стену, которою они оградили себя от улицы. Как хорошо и спокойно было за нею![329] Ни звука не доходит, ни крика, ни плача, не переложенного на музыку или художественные образы. Хорошо, спокойно. Только почему он и тогда[330] как будто боялся улицы? Что это было за минуту душевного прозрения, тогда на даче? И почему он теперь чувствует, что улица как будто вошла в него, завладела им, как чаном? Скорее домой, за привычные милые стены! Ведь еще не поздно возвратиться к хорошему прошлому.

– Куда ты едешь, братец! – сердито крикнул доктор на возницу, повернувшего на улицу, памятную доктору по студенческим воспоминаниям. ⟨*л. 64*⟩ Не раз он ночью ездил по ней, веселый, пьяный и шумный, но уже несколько лет не видал ее.

– А[331] тут поближе[332] будет, – ответил извозчик.

– Ну поезжай.

Да, вот она, эта улица. Вон и[333] студенты едут. Двое сидят, третий стоит перед ними, дико поет и[334] пьяно размахивает руками. На панели толчется какой-то темный народ. Горят огни трактиров и закусочных. Женские крики, пьяная ругань и смех. Вот и лавочка, где доктор покупал всегда папиросы, а против нее поднимается на гору переулок. Туда заворачивают студенты и останавливаются у подъезда с ярким фонарем.

– Пошел по бульвару, – кричит доктор.

---

327 *Далее было начато:* нерв⟨ов?⟩
328 *Далее было начато:* кр⟨ови?⟩
329 *Далее было:* Но почему
330 *Далее было:* боялся улицы,
331 А *вписано.*
332 *Было:* ближе
333 *Далее было:* три
334 *Далее было начато:* ма⟨шет?⟩

Извозчик, обогнув городового, наблюдающего за порядком и правильным течением разврата[335], покорно сворачивает в другой переулок. Здесь всюду фонари и гостеприимно, настежь распахнутые двери с прихожими, которые, с намеком на искусство, грубо размалеваны фресками. В открытое окно несется[336] визг скрипки и слышатся крики танцоров и топот их ног. Нагло и смело кричит разврат, не боящийся света.

Наконец, кончался этот переулок. Ряд других, темных и светлых, улиц – и доктор дома. Жены еще нет. Полозов раздевается, идет в кабинет и ложится на диван. Да, здесь спокойнее. Но вот доктор приподнимается на диване и снова со стоном валится назад.

– А про него-то я и забыл! – шепчет он, чувствуя возле себя невидимое присутствие[337] вора. – Ах, зачем я пошел тогда пешком!

Да, зачем он пошел пешком, услыхал этот крик "держите вора!", схватил его. Зачем он сделал это? Он понимает теперь, почему ему теперь так гадко, как никогда раньше, что он так ⟨*л. 65*⟩[338] не может успокоиться. В этот тихий и мирный приют, который доктор с таким трудом создал для себя, откуда он гнал все темное и горькое – в этот приют ворвался человек с улицы. Даже не ворвался, а доктор сам, сам – и это ужасно – привел его сюда, и он теперь не хочет уходить, и не уйдет. Он уже не отвлеченное что-то, не образ художественный, не создание беспокойной страдающей мысли – он одет плотью и кровью, одет самим доктором. Он вошел в самое святая святых приюта, он стоит здесь, в кабинете доктора, стоит, как судья, которому недоступна милость, смотрит своими равнодушными глазами и упорно повторяет все одно и то же дикое, ужасное слово:

– Мерзавец!

X

А.П. Полозова к А.Г. Посконскому:

"Прежде всего извиняюсь за свое письмо, которое, вероятно, будет очень плохо, так как я не люблю и не умею писать. Благодарю вас за то, что вы не оставляете Мишу. Вы пишете, что он[339], на ваш взгляд, чувствует себя лучше и был даже с вами в театре. Я очень рада этому, потому что он сильно меня беспокоит. Мне

---

335 *Текст:* обогнув городового ~ течением разврата – *вписан.*

336 *Было:* несутся

337 *Далее было:* мира

338 *В верхнем правом углу л. 65 помета: 20 окт⟨ября⟩.*

339 *Далее было:* работае⟨т⟩

жаль теперь, что я резко обошлась с ним, когда уезжала, но я не хочу писать ему об этом и прошу вас, чтобы и вы не говорили ему, что я с вами переписываюсь о нем. Я думаю, что у него это прямо блажь, оттого, что у него много свободного времени и он ничем не хочет его заполнить. Мне кажется, что ему следует читать более систематично, чем делает это он теперь, а то чтение является только ⟨*л. 66*⟩ забавой. Мне самой[340] в Москве наскучили все эти чтения, а тут я читаю с удовольствием, хотя здесь[341] книг совсем[342] нет. Мать и сестры кланяются вам и благодарят вас за память. Сестрам очень хочется в Москву, и это я вполне понимаю, так как здесь очень скучно. Я веду усиленную агитацию в пользу[343] Кати, мне хочется, чтобы мать отпустила ее на курсы. Папа уже согласен, но скоро обломаю и маму. Вы думаете, что для Миши лучше было бы, если бы я осталась с ним, но скажу вам правду, что мне самой было тяжело оставаться возле него. Смотреть равнодушно, как он мучится, я не могла, а вмешиваться в его жизнь я, конечно, не имею права. И если бы я вмешалась, то думаю, у нас кончилось бы очень плохо, потому что раз я начну что-нибудь, я уже довожу до конца. А Миша, мне кажется, всегда останется таким, очень добрым и очень бесхарактерным человеком. У него бывают хорошие мысли, но он совсем не умеет работать и оттого он так мучается. В последний раз когда[344] мы говорили с ним, он жаловался, что жизнь в большом городе[345], где так много собрано не⟨с⟩частных, очень нехорошо действует на него, и хоть я сама хотела бы остаться в Москве, и ему необходимо для кафедры, и несчастных везде много[346], но я предложила ему ехать в провинцию. Но он испугался этого предложения и сказал, что там будет еще хуже. Вообще я не понимаю, чего он хочет. Он очень нападает на нашу жизнь и говорит, что она слишком буржуазна,[347] но тогда почему он не ищет другой? Я ему ни в чем не мешаю, и если бы даже он сказал, что хочет бросить медицину, я ничего бы ему не сказала, пот⟨ому⟩ ч⟨то⟩ у нас, слава Богу, есть средства прожить и так. Но он говорит, что так жить нехорошо, и сам иначе ничего делать не хочет, и это меня возмущает. Мне раньше казалось, ⟨*л. 67*⟩ что у Миши

---

340 *Было:* снова
341 здесь *вписано.*
342 совсем *вписано.*
343 *Далее было начато:* С⟨?⟩
344 *Далее было:* он
345 *Далее было:* очень
346 и несчастных везде много *вписано.*
347 *Далее было:* но что же делать, если нельзя иначе. Я сама вижу это

это временное, но[348] теперь я думаю, что я ошибаюсь. И я уехала еще потому, что мое присутствие раздражало Мишу, который думает, что я виновата в том, что наша жизнь пошла так, как ему не нравится. Это оскорбляет меня, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ я ему всегда хотела добра и теперь готова исполнить, что он захочет, но он ничего не хочет и только хандрит и ругается. В последний раз он наговорил мне много всякой чепухи о том, что женщины неспособны к справедливости и не понимают ее, а он понимает и оттого так скучает, что видит, что все устроено несправедливо. Я ему сказала, что я хорошо сама вижу всякую несправедливость, а он спросил, справедливо ли, что он доктор и получает за визит пять рублей, а не вор или не нищий. Я ему ответила, что если по его мнению справедливее, чтоб он был вором или нищим, то пусть идет в воры, а он рассердился и закричал, что если бы я понимала справедливость, то не стала бы жить на награбленные деньги, потому что все деньги награблены. Я ему сказала, что его пиджак[349] сшит на те же деньги, что и мое платье, только свое платье я еще сама шила, а он платил еще портному. Зачем говорил о том, чего нельзя изменить – это меня возмущает. Я больше уважала бы его, если бы он[350] снял пиджак и пошел в нищие. Разве мне самой не тяжело думать, что у меня много всего, а у других ничего нет, но я не называю своего куска ворованным,[351] раз все равно потом проглочу его.[352] Вы пишете, что вы тоже скучаете и жалеете, что у вас нет такой жены, как я. Честное слово, вы ошибаетесь. Я хороша только издали, и если бы я была вашею женою, то вы так же ругались бы со мною, как и Миша, и скоро сбежали бы от меня, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ вам-то я уж не дала бы хандрить, а засадила бы за работу. Вы любите искусство, а я женщина очень сухая ⟨*л. 68*⟩[353] и прозаическая и ненавижу, когда люди сидят сложивши руки и ноют. До свидания. Не знаю еще, когда приеду, ⟨это⟩ будет зависеть от того, что вы напишете мне о Мише. Извините за то, что у меня не везде есть запятые, я их не умею ставить. Пишите же, не ленитесь.

А. Полозова.[354]

P.S. Здесь очень много говорят о голоде, у вас там ничего не слышно?"

---

[348] *Далее было:* боюсь

[349] *Далее было:* тоже

[350] *Далее было начато:* пи⟨джак⟩

[351] *Далее было:* потому что знаю, что все равно мне придется проглотить его.

[352] *Было:* ?

[353] *В верхнем правом углу л. 68 указана дата:* 22 окт⟨ября⟩.

[354] *Далее было (с абзаца):* Прочтя письмо, Посконский улыбнулся, и подум⟨ал⟩

Прочтя письмо, Посконский улыбнулся и подумал, что А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ права и с такою женою он едва ли бы прожил долго.

От Посконского к Полозовой:

«...Разве могут быть счастливы такие люди, как я? Дорогой друг мой, если верить вам и я далек от истинного понимания вашего характера, то тем[355] с большею основательностью упрек этот может быть обращен к вам. Или вы не верите моим словам? Они искренни, поверьте мне, ибо нет смысла лгать человеку, перед которым уже мелькает в отдалении разверстая пасть могилы. Я понимаю, что обмануло вас во мне: внешность счастливого человека, та внешность, которую я надеваю по утрам вместе с фраком и которую снимаю, ложась в постель. Я враг чувствительных излияний, но не могу оставить вас, именно вас, в заблуждении. Как-то раз, давно, вы упрекнули меня в слабости к громким и жалким словам, но неужели вы не видите моей искренности! "Томит меня, томит, как цепи, как тюрьма[356], бессмысленная жизнь без цели и призвания!" – помните вы этот чудный стих безвременно угасшего Надсона? Он ответит вам полнее, чем мог бы то сделать я, на вопрос, почему я несчастлив при тех данных, которые вы делаете мне честь усмотреть у меня. Но мимо, мимо! Зачем будить дьявола![357] К чему мне ум, когда его приходится тратить на то, чтобы переложить одну-другую тысячу из кармана одного богача в[358] карман другого? ⟨*л. 69*⟩ Последние дни я не видал Миши – занят был по горло. Как-то забегал к вам, вечерком, но мне ваша глупая Лукерья, до сих пор называющая меня Лопоном Григ⟨орьичем?⟩, сказала, что он ушел с утра и не сообщил, когда вернется. Вчера, впрочем, я встретился с Волынским, и тот сообщил, что М⟨иша⟩ был вечер⟨ом⟩ у него и играл в винт. Отсюда я заключаю, что он на дороге к выздоровлению. А я, признаюсь, был уже несколько напуган вашим письмом, именно тою его частью, которая говорит о размышлениях М⟨иши⟩ по вопросу о справедливости. Вы помните морщины, которые бороздят чело вашего покорного друга и вернейшего слуги? Вы помните те серебряные нити, которые сверкают в его шевелюре? То не морщины – то проклятый вопрос "к чему?", над которым в бессонные ночи томилась эта бедная, горячая голова; то не седина – то проклятый вопрос о справедливости. "Вот она, роко-

---

355 *Далее было:* менее

356 как цепи, как тюрьма *вписано.*

357 *Текст:* Но мимо, мимо! Зачем будить дьявола! – *вписан.*

358 *Далее было:* другой

вая задача![359] Кто над ней не томился, тоскуя и плача, чья от дум не ломилась над ней голова!" Ломилась и моя – и как ломилась, А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩. Череп трещал и грозил разлететься по швам от хаоса ужасных мыслей. Но зачем будить дьявола? И из двух этих вопросов, которых не может обойти никто из мыслящих людей нашего времени, которых они[360] встречают[361] при рождении, как Сфинкс, и с роковою улыбкою говорят: ответь, иначе ты умрешь! – вопрос "к чему" является менее страшным. Призыв жизни слишком властен, борьба за жизнь слишком ожесточенна, чтобы можно было[362] пытаться объять необъятное. Этот вопрос похож на крикливого и надоедливого ребенка, который так утомляет мать своим бесцельным криком, что она в один прекрасный момент совершенно незаметно и приспит его. Не то вопрос о справедливости.[363] Стоит только появиться одной мысли – и как микроб, попавший в питающую среду, ⟨*л. 70*⟩[364] через день она обратится в сотни мыслей, через месяц[365] в миллионы. Сама жизнь питает эту мысль своими соками. Всегда существовала несправедливость, но теперь она дошла до неистовства. И роковая загадка жизни. Как скорпион, доведенный до бешенства, несправедливость жалит самоё себя. Да, "были хуже времена, но не было подлее!" Но тсс!.. не нужно будить дьявола. Ах, зачем вы расстроили меня! Вы знаете, я теперь закручусь на неделю. Бейте литавры, гремите кимвалы![366] (в переводе на современный язык это значит: "пой, Стеша, про черные очи, звени цыганская гитара!)

Ваш А. Посконский.

P.S. О голоде здесь ничего не слышно».

– Рисуешься, голубчик! – подумала А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩, прочтя письмо. – Но что за удивительная потребность рисоваться своею дряхлостью.

От Полозовой к Посконскому:

«Как же вы поступили с "справедливостью"?»

Ответ:

"Приспал и ее?"

---

[359] *Было:* ,

[360] они *вписано на полях.*

[361] *Далее было:* его

[362] *Далее было:* гадать

[363] *Далее было:* Как микроб

[364] *В начале л. 69 об. вписано:* Мы, как гладиаторы, должны стремиться лишь к\тому, чтобы умереть, как можно красивее.

[365] месяц *вписано.*

[366] *Далее было:* Пой, Стеша

От Ивана Петровича Полозова к брату М.П. Полозову:

"С.-Петербург. Миша. Обращаюсь к тебе с большою просьбою. Нас несколько человек студентов[367] сговорилось ехать[368] в Берлин. Ты понимаешь, что родитель и руками, и ногами запротестует и не даст денег. Обломай[369] его, брат, тебя он слушается. Ты, конечно, понимаешь, что у меня есть достаточные основания, чтобы уходить отсюда. Это твоя знакомая: А[370].С. Линская? Славная девица. Она тоже едет. Похлопочи, голубчик, напиши старику. На днях, вероятно, буду у вас, тогда поговорим поподробнее. Линская кланяется".

⟨л. 71⟩ XI[371]

Полозов вернулся домой злой и сердитый. Он отправился вечером к доктору Иванову, чтобы играть в винт, но там, оказалось, была произведена крупная реформа: винт по настоянию жены доктор⟨а⟩[372] был изгнан. Полозов выпил стакан чаю и, когда заговорили о[373] марксистах, удрал. Все, привыкшие с представлением о Полозове сочетать представление о голубчике и других ласкательных именах, были бы удивлены, услыхав его теперь. Заложив руки за спину, он ходил по[374] кабинету, хмурил брови и энергично произносил:

– Черти тупорылые!

Плюнув в угол, Полозов лег на диван, и как только его борода приняла обычное положение под углом 45°[375], успокоился.

– Ведь нельзя же на самом деле пичкать все марксистами да Дрейфусом. Утром Дрейфус, вечером марксисты – да убирайтесь все вы к черту на рога!

Письмо брата снова взволновало его. Ему было безразлично, что брат хочет ехать в Берлин – у них никогда не было особенно хороших отношений с этим черноволосым юношей, утрированно резким в обращении и как будто слегка презрительно и свысока своих двадцати лет смотревшим на него – его взбудоражили слова брата о Линской. Линская была та самая девушка с испуган-

---

[367] студентов *вписано*.
[368] *Далее было:* учиться
[369] *Далее было:* ,
[370] *Было начато:* Ра⟨?⟩
[371] *Далее было с абзаца:* Полозов отправился вечером к доктору Иванову, чтобы сыграть
[372] по настоянию жены доктор⟨а⟩ *вписано*.
[373] *Далее было начато:* Д⟨рейфусе?⟩
[374] *Далее было:* гостиной
[375] *Было:* %

ными глазами, которую он считал жертвою своего бессердечия и которая впервые назвала его мерзавцем. Доктору было как будто немного жаль, что ⟨она⟩ не погибла, как он думал, и обидно, что она теперь знакома с его братом и, вероятно, очень дружит с ним. Кланяется ему она нарочно, чтобы подчеркнуть ⟨*л. 72*⟩ свое великодушие и его свинство. А почему непременно он свинья, а не Посконский, не А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩, не все? И почему у доктора такая подлая память, что хранит именно самое скверное?

Глупый, и смешной, и ужасно неприятный был то случай. Ант⟨онину⟩ Павловну стала навещать одна из прежних гимназических ее подруг, Анна Станиславовна Линская. Когда и как она пришла впервые, доктор не помнит. В то время у них много бывало пришлого народа, таких, что посидит один вечер, поговорит или помолчит, а потом исчезнет и даже фамилии своей на памяти не оставит; этот белокурый или этот долговязый. Из этого пришлого элемента незаметно организовался тот самый кружок счастливцев, который составляют доктор и его знакомые. Последние в то время еще не были связаны с ним и его женой такими тесными узами соединства и содовольства[376], только присматривались друг к другу. Быть может, благодаря этому с внешней стороны царило согласие, с которым они разделывали народников и марксистов, и так как Дрейфуса в то время еще не было, то значительную долю разговоров посвящали внутренней политике, вопросам о мужике и школах, фабрике и роли интеллигенции в ее желательном развитии и видоизменении. Мужик мелькал больше вскользь, и все заботы обращались главным образом на фабрику. Особенную прелесть и значительность этим разговорам придавало то обстоятельство, что все они, как помнит[377] доктор, считали себя людьми очень опасными и вообще такими, над существованием которых в самом сердце России стоит призадуматься. Насколько опять-таки помнит доктор, они были несколько даже односторонни и видимо склонялись в пользу марксистов, а над народниками смеялись. Особенно огорчал их Михайловский, которому они не могли отказать ⟨*л. 73*⟩ в уме и таланте и который вместе с тем отказывался понять самые простые вещи. Тогда они раза два или три ходили целой компанией в заседания одного ученого общества и слушали там одного очень молодого, но очень талантливого марксиста, причем во второй раз у доктора кто-то переменил совсем новые калоши.

---

[376] содовольства *вписано.*
[377] *Далее было:* иногда

В тот вечер, помнит, все отправились к ним чай пить, веселые и возбужденные, откуда-то прихватив какого-то студента, и очень смеялись, узнав про несчастье Полозова. Особенно удивлялись тому, где еще могли найтись ноги, подобные ногам доктора, ибо эти его принадлежности находились в полном соответствии с его тучным телом. Линская[378] бывала тогда часто, и на нее начали смотреть уже, как на родную, и так как общепринятой манерой было легкое подшучивание друг над другом,[379] имевшее целью подчеркнуть серьезность того, что происходило на самом деле, то и над нею слегка подшучивали. У нее были не то удивленные, не то как будто испуганные глаза и масса вьющихся черных волос, над которыми она не занималась, и они прядями спускались ей на глаза и иногда попадали даже в рот. Чтобы избавиться от надоедавших[380] волос, она часто взмахивала головой, и тогда на один миг ее голову окружал черный ореол, в котором лицо ее казалось очень бледным и очень красивым. Она больше молчала, но когда кто-нибудь говорил, она[381] не сводила с него глаз, и он часто невольно оборачивался в ее сторону. И если то, что он говорил, нравилось ей,[382] в ее глазах, терявших выражение удивленности, являлось что-то такое хорошее, милое, славное, благодарное, что не жаль было лишней пары слов, чтобы получить на свою долю такой взгляд и перебить его у другого. Доктор, вообще говоривший меньше всех, часто любовался этим взглядом и подталкивал Посконского, который тихо восклицал: "чудная девушка!"

⟨*л. 74*⟩ И он начинал говорить сам, и так он умел говорить, что постепенно оттирал всех других, увлекался сам и увлекал всю аудиторию. Так как он чаще выступал в гражданских делах, чем уголовных, то в его речи часто встречались выражения "удостоверяю", и другие, несколько казенного характера, придававшие речи некоторую сухость, но минутами он возвышался до истинного пафоса. Тогда взгляд Линской[383] иногда обращался к доктору и говорил ему: "ведь и ты думаешь то же?", а он отвечал своим взглядом: "каков мой Леня-то, а!" И, довольные друг другом, они отвертывались, пока новый оратор и новая речь не соединяли на минуту их взоров. И хотя они совсем почти не говорили друг с другом, но эти взгляды так сблизили их, что Л⟨инская⟩,

---

[378] *В рукописи:* Глинская
[379] *Далее было:* на что⟨?⟩
[380] *Было:* надоевши⟨х⟩
[381] *Далее было:* смотре⟨ла⟩
[382] *Далее было:* она
[383] Линской *вписано.*

приходя, всегда спрашивала, дома ли М⟨ихаил⟩ П⟨етрович⟩, и если его не было дома, сидела недолго и не так хорошо смотрела на говорящих. А он смотрел иногда вокруг себя и думал, кто из всех достоин того[384], чтобы навсегда соединить свою жизнь с жизнью этой девушки. И все казались ему тогда пустыми говорунами, и ему становилось грустно, что нет никого достойного девушки и что он сам недостоин ее. Жене он говорил, что прямо влюблен в ее подругу, и усиленно расхваливал ее, думая[385] доставить жене[386] удовольствие, но та молчала и только изредка пожимала плечами с[387] видом, говорившим: не знаю, посмотрим еще.

И вот помнит доктор, как в воздухе пахнуло чем-то беспокойным и возбуждающим. Проносился один из российских сирокко, неведомо откуда появляющихся и исчезающих так же бесследно. На этот раз[388] причина была, кажется, в у⟨ниверсите⟩те, где что⟨-то⟩ творилось. Связанный с обществом тысячами нитей, университет передавал ему свое тревожное состояние. Тучи над головою темнели, и чувствовалось приближение грозы. У Полозов⟨ых⟩ ⟨*л. 75*⟩ волновались особенно сильно, и не то чтобы боялись, но считали[389] возможным все, так как считали себя на виду. Поэтому особенно много шутили и чаще старались[390] держаться[391] вместе. В один из таких вечеров сидели все вместе, не хватало одной Линской. Посконский рассказывал один комический эпизод из последнего времени, остальные смеялись и всё спрашивали, чем это кончится. Сильный звонок заставил всех встрепенуться, и все тронулись к передней, где послышался голос Линской. Не здороваясь, она прошла в гостиную, и все заметили, что она сильно взволнована, щеки ее горели, а волосы из-под шапочки лезли на глаза, и она нетерпеливо отмахивала их рукой. Она не раздевалась, и ее нескладное ватное пальто, обезображивающее ее фигуру, было внизу забрызгано грязью.

– Ну что? Что? Что случилось?

– Завтра готовится большая сходка, – торопливо и радостно заговорила девушка. – Приглашают на нее всех, не только сту-

---

384 *Далее было:* взять
385 *Было:* стараясь *(незач. вар.)*
386 *Было:* ей
387 *Далее было:* выразительным
388 *Далее было:* дело
389 *Далее было:* все
390 старались *вписано.*
391 *Было:* держались

дентов. Всех сочувствующих. Я пришла сообщить вам. Нужно еще кое-куда забежать. Завтра в 8 ч⟨асов⟩ утра. Я зайду опять к вам. Спать, по-моему, не стоит ложиться. Ох, как я[392] запыхалась! – она улыбнулась всем и опустилась на стул. Увидев доктора, она протянула ему руку и с той же улыбкой сказала: – Здравствуйте, Михаил Петрович!

Все молчали. Это была ужасно тяжелая, мучительная минута. Предложение Линской было нелепо, ребячески наивно и смешно; до него могла дойти только[393], имея семнадцатилетнюю голову, согретую в обществе таких же голов, только пробежав пешком десяток улиц. Не спать всю ночь! И утром идти на сходку, горланить и быть загнанным вместе с безусыми ребятами в манеж[394] – ему, доктору Полозову, ему, прис⟨яжному⟩ пов⟨еренному⟩ Посконскому, и, наконец, ему, проф⟨ессору⟩ Уточкину! И главное, не спать всю ночь! Хороши были бы физиономии этих заговорщиков, этих революционеров!

⟨*л. 76*⟩ – Ну, что же в⟨ы⟩ замолкли все? Михаил Петрович?

Все молчали. Полозов отвернулся в сторону и смотрел на жену, прося у нее помощи. В голосе девушки звучала такая уверенность, что придуманный ею план будет встречен с восторгом, что все сейчас закричат, заговорят, будут, быть может, целовать ее и расспрашивать, как и что. А[395] как ночью они будут сидеть и говорить, быть может шептать, и пить чай с колбасою.

– Ну что же вы?

Посконский закуривал папиросу. Профессор машинально достал часы, но, поняв, что смотреть сейчас на них неудобно, приставил их к уху и довольно покачал головою: идут[396]! Антонина Павловна взяла девушку за руку и ласково приказала:

– Раздевайтесь-ка, голубчик. Попьем чаю и поговорим.

Но Линская поняла и сразу оробела и растерялась до жалости. Волосы продолжали лезть ей на глаза и в рот, но она не решалась отмахнуть их и только улыбалась сконфуженной улыбкой: ничего не поделаешь с этими волосами! Она позволила раздеть себя и усадить и усердно пила стакан за стаканом чай, обжигаясь и конфузясь и не решаясь налить на блюдце, как делала раньше. Наконец А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ сама налила ей в блюдце, и она засмеялась, и тогда стали смеяться все, всё громче и веселее, и шутить. Посконский стал было серьезно упрекать ее за

---

[392] *Далее было:* устала!
[393] *Далее было:* семнадцатилетняя голова
[394] вместе с безусыми ребятами в манеж *вписано*.
[395] *Было начато:* К⟨ак⟩
[396] *Было:* Идут

ее легкомыслие, но не выдержал серьезного тона и стал изображать в лицах, как сидят у печишки заговорщики, точат кинжалы и бросают свирепые взгляды. Полозов будет у них предводителем: если надеть на него красную рубашку, он очень похож на Стеньку Разина. Профессор мал ростом – он будет Маратом. А сам Посконский, конечно, Мирабо. И все смеялись так громко и ⟨*л. 77*⟩ весело, что прибежала даже глупая Лукерья, сбегала назад и привела за собою горничную. Профессор смеялся тоненьким баском и кудахтал, как курица; психопат с подвернутыми брюками и презрением к слабости[397] – он тоже был здесь, ржал как лошадь и взвизгивал: ему, видимо, процесс смеха причинял боль. Михаил Петрович смеялся неслышно; глаза его сузились и наполнились слезами. Один Посконский старался, для усиления эффекта, сохранить серьезность, но глаза его горели, и все новые и[398] новые картины, одна смешнее другой, рисовались его воображению.

– Ну будет, господа.[399]

И тогда все перестали смеяться и увидели, что[400] Линская плачет.

– Это ничего, это так, – говорила она и брала блюдце[401], но руки дрожали, и расплескивали чай, и слезы капали в него. Посконский искренно огорчился и стал извиняться за себя и за других, и вскоре Линская улыбнулась, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ он был очень[402] комичен. Ант⟨онина⟩ П⟨авловна⟩ оставляла ее у себя ночевать и даже заарестовала ее шубку, но Линская настояла на своем и ушла, дав слово, что она не пойдет на сходку. Ее пошел провожать психопат, впавший в подавленное настроение и все время вздыхавший. Он подавал ей шубку и извинялся, что это чужая, и пока он искал настоящую, Л⟨инская⟩ была уже совсем одета. Когда они сходили по лестнице, он поддерживал ее под руку, хотя она не нуждалась в поддержке, заглядывал ей в глаза и чуть не упал, наступив на подол ее платья. Полозов пошел проводить вниз, до швейцара, и очень жалел, что с ними увязался психопат: ему хотелось сказать Л⟨инской⟩ что-нибудь хорошее, но чтобы это было наедине. Когда заспанный швейцар отворил дверь, он вышел на минуту на улицу и, прощаясь, удержал руку Линской.

⟨*л. 78*⟩ – Какая вы славная, – сказал он.

---

[397] и презрением к слабости *вписано.*
[398] *Было начато:* к⟨артины⟩
[399] *Далее было:* Как не стыдно: челове⟨к⟩
[400] *Далее было:* А.П. (*вместо правильного* А.С.)
[401] *Далее было:* с чаем
[402] *Далее было:* смешон

Линская[403] выдернула руку, и доктору показалось, что она ударит его взглядом, который сверкнул на него из-под черных волос. И не он один, но и психопат заметил этот взгляд, заторопился и долго жал обеими потными[404] руками руку доктора и обещал прийти завтра, непременно завтра, пока нескладное ватное пальто не остановилось и не крикнуло:

– Ну что же вы?

Еще раз нежно⟨?⟩[405] пожав руку доктора[406], извинившись перед ним[407] и заяв⟨ив⟩ши, что им о многом, очень о многом нужно поговорить, психопат бросился догонять А⟨нну⟩ С⟨таниславовну⟩, и вскоре оттуда, где утонуло во мраке ватное пальто, послышался его резкий,[408] крикливый голос.

Но на завтра не пришел ни он, ни Линская[409], и вскоре совсем потерялись из виду, а доктор две недели хандрил.

Теперь письмо брата напомнило ему Линскую[410], и она встала перед ним, как живая, со своими надоедливыми волосами и взглядом, который бьет. Она, значит, жива, здорова и едет учиться в Берлин[411], а теперь кланяется доктору. Конечно, она рассказала брату этот случай, и оба они смеялись над доктором, точно он один[412] виноват, что все так случилось. И неприятнее всего, что этот мальчишка знает и с своей обычною грубостью будет трунить над доктором. Но он этого не позволит. Хотя разве он не прав?

Борода Полозова вздрагивает и стиснутые пальцы хрустят. Что если бы Линской рассказать, как он схватил вора? Но что же делать? Что делать? Ну пусть он мерзавец – но дайте же ему возможность стать честным человеком, научите его, что делать. Ведь не идти же на самом деле на сходку! Он не хочет, он не будет бороться с этими жалкими фигурками, что в беспокойном сне ⟨*л. 79*⟩ храпят в этих больших домах. Пусть они берут его и делают с ним, что хотят; он на все готов, на все согласен. Разве ему жалко своей жизни – да берите ее, на что она ему[413], эта постылая жизнь! Все берите. Возьмите его мозг, его сильное тело,

---

[403] *Далее было:* выдерга⟨ла?⟩
[404] потными *вписано.*
[405] нежно⟨?⟩ *вписано.*
[406] *Далее было:* и
[407] ним *вписано.*
[408] *Далее было:* несклад⟨ный⟩
[409] *В рукописи:* Глинская
[410] *В рукописи:* Глинскую
[411] *Было начато:* П⟨ариж?⟩
[412] один *вписано.*
[413] ему *вписано.*

возьмите его руки – они не боятся труда. Но дайте ему покой. Не смотри на меня так, ты, бледный вор с равнодушно-усталыми глазами. Не смотри. Возьми мое сердце и раскрой его. Ты увидишь в нем любовь к тебе, одну только любовь. И возьми это сердце себе: оно твое. Топчи его ногами, если хочешь; раздави его – оно твое. Но не смотри на меня так. Пожалей меня. Ты голоден, да? Ты убил горем свою мать, которая роняла слезы на твою голову? Ты отнял счастье у женщины, которая тебя любила? Ты в тюрьме, да? А я? Я душу свою убиваю! Ду-шу!..

И доктор заплакал. Ему не было стыдно своих слез, и он плакал тихо и легко. Что-то замирало в нем сладкое,[414] радостное и шло к глазам и выталкивало одну слезу за другой. Он не вытирал их, и они щекотали ему щеку и медленно пробирались в усы[415]. Ему не хотелось открывать глаза, но открыв их, он видел сквозь призму слез колеблющиеся пятна света. И ему казалось, что вор ушел, а совсем близко от него стоит Линская, не та, что смотрела на него такими ужасными глазами, а другая, всепрощающая,[416] любящая, и говорит:

– Пойдем за мною!

– Куда хочешь, хоть на смерть!

⟨*л. 80*⟩ XII

– Послушай, ты говоришь азбучные истины! – возмутился Посконский. – Оставь часть отрицательную и переходи к положительной. Чего ты хочешь? Коротко и ясно: чего ты хочешь?

– Хочу быть честным человеком, – угрюмо ответил Полозов. Он смотрел[417] исподлобья на Посконского, как тот метался по кабинету, и мял в кулаке свою широкую бороду.

– Не выношу этих общих, ничего не говорящих выражений! Хочу быть честен! Мы все честные люди.

– Ты, Аполлон, просишь краткости, я кратко и отвечаю. А хочу я сказать, что так мне жить надоело, и я хочу делать что-нибудь, чтобы быть полезным.

– Ну и делай. Намерение похвальное.

– Но что?

– Если ты будешь прикидываться младенцем, только что отнятым от соски, я не стану с тобой говорить. Ты превосходно понимаешь, что у нас можно делать и чего нельзя, и я не наме-

---

[414] *Далее было начато:* при⟨ятное?⟩

[415] *В рукописи:* усах

[416] *Далее было:* ласковая

[417] *Далее было начато:* на Пос⟨конского⟩

рен вместе с тобою заниматься азбукой и маниловщиной... наизнанку.

– Не сердись, – кротко сказал Полозов. – Вообрази, что ты имеешь дело с человеком, который, ну, просто запутался, потерял меру вещей, что ли, и которому нужна азбука. Именно азбука. Не горячись и помоги мне.

Посконский пожал плечами и сел на стул.

– Спрашивай, – коротко кинул он.

– Ты умнее меня и гораздо старше, ты много видел и терся на людях, и ты скорее, чем кто-нибудь, можешь ответить...

– Спрашивай.

– Как, по-твоему, полезно лечить бедняков, ну нищих, что ли?

⟨*л. 81*⟩ – Нет.

– Нет? – удивился доктор. – Но как[418] скоро ты решил этот вопрос.

– Подумай, и ты придешь к такому же выводу, как и я. Дальше.

– Я думал и согласен с тобою. Но ведь это ужасно – люди болеют, страдают, и[419] лечить их нет смысла, – доктор сделал большие глаза и посмотрел на Посконского.

– Если это кажется тебе ужасно, то лечи. Если говорить о смысле в значении конечной цели, то его нет. Но есть ближайшие цели. Облегчить страдание кому бы то ни было и как бы то ни было есть уже задача, вполне достойная честного[420] человека.

– Но ведь это лить воду в бездонную бочку. И хуже даже того. Леча[421] бедняков, я этим становлюсь на стороне тех, кто богат. Я им облегчаю их задачу. Они видят, что и ему, голяку, оказывают помощь, и спят спокойно...

– Если он будет умирать, они будут спать так же спокойно.

– Этого не может быть: совесть зазрит. И кроме того, они будут тогда бояться. А теперь они наносят раны, а я лечу их, чтобы не было так больно и чтобы раненый не полез от боли на стену. Ты понимаешь?

– При существующих условиях такая дилемма действительно представляет⟨ся⟩[422] пытливому уму. По счастью, она никого не устрашает и не мешает являться на свет докторам Гаазам и другим, кого люди называют благодетелями человечества, и совершенно ⟨по⟩ справедливости. Самое лучшее, ты пойди к бедняку и спроси: хочешь помирать или хочешь, чтобы я тебя вылечил?

---

[418] *Вместо:* . – Но как – *было:* , как

[419] *Далее было:* не⟨т⟩

[420] честного *вписано.*

[421] *Далее было начато:* боль⟨ных⟩

[422] *Далее было:* опытному

Если он скажет: хочу помирать, – предоставь этого оригинала его участи. И когда обойдешь всех, забрось скальпель и разорви диссертацию. И умирай сам.

⟨*л. 82*⟩ – Пусть так. Я согласен лечить. Но меня всегда будет[423] мучить мысль, что я делаю бессмысленное дело, и меня будет подавлять масса горя, которое я вижу, тогда как я уничтожаю его только ничтожную крупицу.

– Мы все делаем бессмысленное дело, – сказал Посконский.

– И ты?

– И я. Ты думаешь, есть смысл в том, что я помогаю Иванову[424] переложить в свой карман сотни рублей из кармана Ипатова, когда у них обоих черево чуть не лопнет.

– Но ты можешь помогать беднякам.

– У них, брат, совсем нет карманов. Конечно, и мы можем, до известной степени, помогать им, но в мере еще меньшей, нежели ты. Оправдать, напр⟨имер⟩, невинного. Но таких очень немного попадает на скамью подсудимых, да их, почти всегда, оправдывают и без нас. Обыкновенно туда попадают отъявленные воры и мошенники.

– Но ты же говорил, – заметил доктор, – что, в сущности, преступников нет.

– И сейчас скажу это. Но при существующих условиях суд и наказания неизбежны. Ты первый обратишься к полиции, если у тебя сейчас при выходе снимут шубу.

– Но ведь тогда опять ложь. Преступников нет – а наказывать их нужно? Всюду ложь, что же это такое? – ужаснулся доктор.

– И всегда была и исчезнет только тогда, когда совершенно изменятся условия нашего существования. И всегда были люди, которые не могли выносить этой лжи.

– И?

– И разбивали голову об стену, отделяющую от будущего. Сколько ⟨*л. 83*⟩ разбрызгано по ней благороднейших мозгов![425] она давно уже стала красною от крови, но стоит, стоит! Быть может, она рухнет завтра, а быть может, будет стоять вечно. Быть может, за нею ничего и нет, а люди все бьются и бьются головами и красят ее своею кровью, честнейшею и лучшею кровью! – Посконский задумался. – Да, велика загадка жизни. Горе тому, кто пытается разгадать ее!

Доктор сидел подавленный и хмурый. Внезапно он вскочил и, протянув большие руки к Посконскому, крикнул:

---

[423] будет *вписано.*
[424] *Далее было:* взять у
[425] *Было:* ,

– Но я не могу, понимаешь, не могу! Меня душит эта ложь! Я готов разбить свою голову – на кой она мне черт иначе. Понимаешь, я задыхаюсь! – и в подтверждение того, что он задыхается, Полозов с силою схватил себя за грудь, так что платье затрещало.

– Голубчик, все мы задыхаемся! – мягко сказал Посконский. – И будем задыхаться, и умрем от задушения. Нужно мириться. Только два есть пути: или идти рука об руку с существующим, или бороться с ним. Середины нет. Середина ложь.

– Но неужели же нет исхода?[426]

Посконский покачал головой. Оба долго молчали. Наступило долгое молчание.

– Аполлон, ты помнишь Линскую?

– Помню, а что?

Полозов пристально посмотрел на него. Посконский махнул рукой и улыбнулся.

– Не годишься, друг, не годишься. То жизнь тревожная, мятежная, полная опасностей, страха и требующая соответственно приспособленного организма. Ты же[427], мой голубчик, толст и непо⟨во⟩ротлив и труслив. Тебя всякая баба обойдет, ты всякого столба будешь пугаться. Куда нашему теляти да вовка съесть! Ты привык все по-хорошему, с крестом да молитвою, ⟨*л. 84*⟩ да подумавши, да измеривши, да десять раз взвесивши. Ты боишься шуму, крику, боли. Щекотки ты боишься? Ну, конечно. Ты любишь мягкую постельку. Ты согласен работать, но только в хорошем кабинете, да чтобы лампа стояла обязательно на этом месте, а не на том, да чтобы на ней обязательно синий колпак был. Тебе нужно после обеда и на сон грядущий книжку почитать. Ах, голубчик, ну куда тебе лезть ломать, когда ты треску боишься, и если в другом месте трещит, так ты думаешь, не над головою ли? Львиный дух у тебя, это верно, но тело-то, брат, овечье.

– Ты хочешь сказать, что у меня буржуазные наклонности?

– Нашли словечко и радуются! Почему именно только буржуа должен дорожить мягкою постелью, любить жизнь, ненавидеть шум и предпочитать работать в кабинете, а не в подполье? Ты меня прости, я вовсе не хотел обидеть тебя. Я хочу только сказать, что не всякий может быть героем, и, конечно, это вовсе и не обязательно. Т.е. должно бы быть необязательно. Можно быть трусом и совершать великие вещи. Можно, сидя в кабине-

---

[426] *Далее было начато:* Ну, я⟨?⟩ хо⟨чу?⟩

[427] же *вписано.*

те, устроить революцию. В сущности, можно ведь и не биться непременно лбом о стену будущего, а потихоньку ковырять ее. Но там, где[428] позволяют подойти к ней. А тут ты сиди и – ковыряй в носу – прости за несколько вульгарное сравнение.

– А ты пробовал подойти к стене? – спросил Полозов, нервно теребя бороду.

– Не пробовал и пробовать не стану. Что за радость разбивать голову и притом так, что никакого толку от это⟨го⟩ ни для кого не будет.

– Ты не пробовал? – настойчиво повторял Полозов. – А какое же ты имеешь право говорить о ней? Врешь ты, брат, что у нас только дух ⟨*л. 85*⟩ львиный. Дух у нас овечий, вот что. Правда, что ты любишь постельку, но ты ничего другого и не любишь, кроме нее. А любишь, так попробовал бы. "И пробовать не стану"! Все вы фарисеи, лицемеры! Создадут себе обстановочку и утешаются:[429] тут нельзя, там нельзя, там нельзя. А кабы можно, мы бы! Вот о Марксе давай, сделай милость, поговорим. Итак, вы какого мнения о народниках? – передразнил доктор кого-то и, весь красный, не находя слов, начал наступать на Посконского:

– Развратители вы, вот кто! Вы хотите отнять всякую надежду, чтобы потом вам не говорили: вы сидите, а мы дело делаем! Свиньи!

Посконский сперва рассердился и приготовился к резкому возражению, но, взглянув на доктора, мягко сказал:

– Да не волнуйся ты так, шут гороховый. Ну ладно, ну пусть мы фарисеи, чего же ты на стену-то лезешь? Вот так тихоня!

– Свиньи! – бормотал Полозов, утирая лоб.

– Меня интересует только одно, –[430] задумчиво сказал Посконский, – почему так быстро идет процесс[431] разложения.

– Какое еще там разложение? – сердито спросил Полозов.

– Да так, это я свое. А Антонина Павловна скоро приедет?

XIII

От Посконского к Полозовой:

"...Меня трогают ваши заботы о муже. Простите за мысль, которую я вам выскажу, так как она не одному мне приходила в голову: мне казалось иногда, что вы не любите Мишу, и я вполне понимаю вас в этом отношении. Я никогда не поверю вам в том, что вы го⟨во⟩рите ⟨*л. 86*⟩ о себе. Эти постоянные подчер-

---

[428] *Далее было:* можно

[429] *Далее было:* нельзя

[430] *Далее было:* почему т⟨ак⟩

[431] процесс *вписано.*

кивания вашей мнимой сухости, вашего эгоизма доказывают мне[432] наличность совершенно противоположных свойств. Когда я смотрю в ваши глаза – красивейшие в мире глаза – я точно смотрю в море, бездонное, страшное, на дне которого кипят невиданные чудовища. Когда вы хмурите ваши брови, мне становится страшно: горе тому, на которого обрушится ваш гнев или ненависть. Мне кажется, вы умеете так же сильно ненавидеть, как сильно могли бы любить. Могли бы! – обратите[433] внимание на это слово. Пусть вы любите вашего супруга – он достойнейший человек, но[434] вы расходуете лишь каплю из того океана любви, который мог бы вылиться на голову счастливца... и утопить его. Да, утопить, ибо[435] не[436] всякий в силах вынести вашу любовь. Простите меня – но вам нужен не такой человек, как Миша. Кстати: ваши глаза вдохновили меня на романс, который я изображу[437] вам по приезде. Вообще мне думается, вам можно приехать без риска наткнуться на неприятность с мужем. У таких слабохарактерных людей, как Миша,[438] все дело в настроениях, и настроения эти держатся недолго[439], и хотя[440] он упорствует в своей хандре, но[441] уже, видимо, начинает[442] спадать с повышенного тона. Из furioso* он перешел в moderato** и пре⟨и⟩справно спит, пьет и ест. Ваше представление, которое так трогает вас, представление о⟨б⟩ исхудалом пожелтевшем человеке, подобно вечному жиду, бродящему по улицам, далеко от действительности: он так же то⟨л⟩ст и непо⟨во⟩ротлив и рад был бы ездить на извозчике из кабинета в столовую. Под конец вся эта история с его хандрой начинает производить на меня впечатление ⟨чего-то⟩ комичного, он точно щедринский баран, который увидел во сне вольного барана, но настоящим манером сообразить не мог и ноет. Все это производит впечатление чего-то несерьезного, ⟨*л. 87*⟩ ребяческого, и происходит, как вы говорите, от безделья. Попробовал бы Миша на минуту окунуться в котел, в котором кипим мы, рабы действительности, и всю эту дурь с него как рукой сняло бы. Все эти охи,

---

* исступленно, бешено (*ит., муз.*)

** умеренно, сдержанно (*ит., муз.*)

[432] *Далее было:* су⟨ществование?⟩

[433] *Далее было:* на это

[434] но *вписано.*

[435] ибо *вписано.*

[436] *Вместо:* , ибо не – *было:* . Не

[437] *Было:* сыграю *(незач. вар.)*

[438] *Далее было начато:* настро⟨ения⟩

[439] *Далее было:* . Но этот

[440] хотя *вписано.*

[441] *Далее было:* скоро

[442] *В рукописи:* начинается

ахи, тоскливые порывания куда-то вдаль, поиски конечных целей кажутся смешными, когда перед носом дело. Недавно у нас вышел по этому поводу крупный разговор, окончившийся, впрочем, благополучно: я вернулся из суда, дьявольски утомленный, и не успел еще снять фрак, когда явился Миша, плотно уселся в кресло и, уставив на меня очи, вопросил: ну скажи, щука, а что такое добродетель. Признаться, я вспылил и сказал ему, что он лучше мог бы ознакомиться с добродетелью, если бы вот проторчал день в⟨о⟩ фраке. И это уже не первый такой разговор. Но что лучше всего, он ходил ко мне лишь для того, чтобы ругать меня. Сидит, молчит час или два, а потом начинает отчитывать: и такой-то ты, и сякой-то ты. Если бы он не был так толст, из него мог бы выработаться недурной[443] резонер или[444] английская девица для армии спасения. Во всяком случае ничего серьезного нет и относительно главного вы можете быть спокойны: он не пьет и, кажется, не собирается пить. Приезжайте, дорогая моя, мне так хочется поболтать с вами, вы единственный человек, который понимает меня[445]. – Посконский".

От М.П. Полозова к Ивану Полозову:

"Отцу я еще не писал, но ты можешь быть спокоен насчет исхода дела; конечно, лучше было бы, если бы ты-то сам к нему поехал с моим письмом. Но ты не беспокойся, на днях я напишу. Сообщи мне, пожалуйста, адрес Линской".

От М.П. Полозова к Линской:

"Многоуважаемая А⟨нна⟩ С⟨таниславовна⟩! Мы[446] расстались последний раз при таких исключительно неприятных условиях, что вам может показаться странным мое письмо, но вы сами дали мне смелость написать его, ⟨*л. 88*⟩ послав через брата поклон. Я знаю, что вы не станете смеяться над тем, что я вам напишу. Дело в том, что во мне произошла большая перемена, и я теперь очень несчастен, и вы единственный человек, который может понять меня. Мне опротивела та пошлая[447] буржуазная жизнь, которую я вел, и мне очень хотелось бы примкнуть к какому-нибудь ⟨з⟩дравому, хорошему делу. Я не боюсь опасностей и готов пожертвовать всем, но у меня нет здесь никого из знакомых, через которого я мог бы сделать это. Вы чистая, светлая личность и, вероятно, стоите в центре таких же людей, которых вы умеете притягивать. Вы знаете, что я человек немолодой, мне уже трид-

---

[443] недурной *вписано.*

[444] *Далее было начато:* д⟨евица⟩

[445] *Текст:* вы единственный человек, который понимает меня – *вписан.*

[446] *Далее было:* виделись

[447] *В рукописи вместо:* опротивела та пошлая – опротивело то пошлое

цать лет, и что я вовсе не донжуан, а потому вы не рассердитесь на меня, если я скажу вам, что я вас мог полюбить и чуть-чуть не полюбил тогда, помните? Я только теперь догадался об этом, а тогда мне и в голову это не приходило, я думал, что я просто хорошо отношусь к вам. Состояние мое теперь ужасное, но я не могу рассказать всего в письме, но если вы позволите, я приеду в Петербург. Мне там, кстати, нужно быть по одному делу. Пожалуйста, не говорите об этом письме брату. Поверьте, что мне стоило большого труда написать вам".

Три недели Полозов ждал ответа на это письмо. 22 декабря приехала его жена, а 23 он получил по городской почте письмо от Линской:

"Я еду к родным в Орел и на один день остановилась[448] в Москве[449]. Вечером я буду у одних знакомых на Петровке ([450]адрес), зайдите за мною туда вечером, в 10 часов".

⟨*л. 89*⟩ XIV

– Она все та же, – подумал Полозов, при первом взгляде на Анну Даниловну[451]. Так же выбивались массою черные вьющиеся волосы и падали на глаза, и Ан⟨на⟩ Д⟨аниловна⟩ отмахивала их рукою. Такая же она была маленькая ростом и снизу вверх смотрела на доктора. Но потом он стал замечать перемены и чем больше смотрел, тем более чужой казалась она ему. Теперь ему показалось, что она выросла, и он понял, что это обманывало его ее пальто, очень длинное и не такое нескладное, как прежде – оно делало ее фигуру стройнее[452] и[453] выше[454]. На дворе стояло серенькое зимнее утро, когда в воздухе тепло, так что невольно хочется распахнуть шубу, и что еще немного теплее – и снег станет таять, и отовсюду с крыш[455] польются ручьи. Выпавший снег тяжелыми глыбами висел на карнизах и мягкими пушистыми полосами окаймлял черные линии окон и заборов. Дышалось легко и, как и летом, хотелось куда-нибудь на простор, в поле. Рассеянный, желтоватый свет падал на лицо А⟨нны⟩ Д⟨аниловны⟩, и от этого ли света, смывавшего резкие тени, но оно казалось проще,

---

448 *Было:* остановлюсь
449 *Далее было:* , где буду
450 *Было:* в
451 *Так в рукописи. Далее везде употребляется измененное отчество героини.*
452 *Было:* складнее (*незач. вар.*)
453 *Далее было:* тоньше
454 и [тоньше] выше *вписано.*
455 с крыш *вписано.*

обыденнее[456], чем представлял его себе доктор, и как будто желтее. Она так же мало говорила и слушала внимательно, но[457] иногда резко оборачивалась и осматривалась по сторонам. Но что сделало доктору ее чужою, так это ее взгляд. В нем совсем не было прежнего милого, понимающего выражения и виднелось равнодушие и отсутствие интереса к высокому толстому человеку, идущему рядом с ней, и к тому, что он будет говорить. Он не был для нее особенным, а таким, как и все другие, и доктору казалось, что он видит все те десятки, а может, и сотни лиц, которые прошли за это время перед нею и тоже говорили с нею, и она так же равнодушно смотрела на них. И когда доктор начал ⟨*л. 90*⟩ ⟨оправдываться?⟩ в том, как вел он себя в тот вечер, думая начать с этого важный разговор, она сперва не поняла и удивилась, потом рассмеялась и спросила, неужели она была такая потешная. Полозов почувствовал, что ему не хочется говорить, и пугался при мысли, что они долго будут вместе и говорить нужно. Он заговорил, и слова его выходили плоскими и скучными. Комкая, невольно сгущая краски и употре⟨б⟩ля⟨я⟩ громкие выражения, от которых обоим становилось неловко, он передал свои сомнения.

– Чего же вы хотите, голубчик? – так же равнодушно и скучно сказала она, и когда он ответил, слова его показались какими-то пустыми, незначительными[458] при простом⟨?⟩ свете зимнего дня и среди домов, окай⟨м⟩ленных пушистым снегом. Он ответил:

– Хочу взяться за какую-нибудь полезную работу.

– За чем же дело стало? – несколько удивилась она.

Доктор вместо ответа опять стал говорить о скуке своей жизни и чувствовал, что он ничего не разъясняет. Он нарочно повышал голос в драматических местах, но это было еще хуже.

– Тише, тише! – испуганно сказала А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩ в одно из этих повышений. В глазах ее исчезло выражение равнодушия, и она искоса смотрела на городового, стоявшего на углу улицы.

– А? Что такое? – не[459] понял Полозов с презрением истого москвича к полиции и шпионам.

– Тише, нас могут услышать.

– Кому там нас слушать, – махнул доктор рукой, но видя, что А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩ начинает сердиться, понизил голос и добавил: – пойдемте на реку, там хорошо теперь.

– Пойдемте. Вы не сердитесь на меня, – сказала А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩ и улыбнулась, – у меня нервы порядком развинти-

---

[456] обыденнее *вписано.*
[457] *Далее было:* когда
[458] *Далее было:* среди
[459] *Далее было:* расслышал

лись. Пришлось год ходить к одному ⟨*л. 91*⟩[460] в качестве невесты. Он на моих глазах сходил с ума, и это несколько повлияло на меня. Теперь все кажется, что кто-то идет за мною.

Доктор хотел расспросить, кто был тот, к кому ходила А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩, но она отделалась короткими замечаниями, и доктор нарочно перешел к брату и спросил, как он ей нравится. А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩ оживилась и стала расспрашивать, удастся ли ему поехать в Берлин. Но доктор ответил сухо, и они замолчали. Так молча они сошли к Дорогомиловскому мосту, прошли направо, где спуск к реке, и тут на минуту остановились. Посередине реки был расчищен каток, и на нем летали, сшибались и падали черные фигурки ребят. Одни из них были на двух коньках, другие на одном и быстро и часто отталкивались другою ногою, без конька. Ребята дрались и гонялись друг за другом. Видимо, их было две партии, и побеждала из них та, в которой находился высокий тонкий мальчик, длинными[461] прямыми шагами, с приседаниями, перебегавший от одной кучки противников к другой. При его приближении они падали и лежали, пока он проносился дальше, а тех, кто не успел лечь, он сбивал с ног. Наконец эта партия побеж⟨д⟩ала окончательно, и противники бросились с катка, утопая в снегу и падая. На снегу и высокий мальчик утратил свое преимущество в виде коньков, и его самого сбил кто-то с ног.

– Миска! – закричал с берега, позади Полозова, детский, запыхавший⟨ся⟩ голос. – Миска! – повторил он тише. –[462] Челт! – последнее было сказано совсем тихо. Они обернулись и увидели мальчика лет шести или семи, торопливо тащившего ноги к реке. На нем было легонькое рваное пальтецо, распахнувшееся крыльями по обеим сторонам, а снизу была видна грязная, неподпоясанная красная ⟨*л. 92*⟩ рубашонка. На ногах его были тяжелые большие валенки, доходившие ему почти до живота, и он усилием передвигал каждую из них. На голове была такая же большая шапка, опускавшаяся на глаза. С трудом поднимая руки, мальчуган на минуту поднимал ее, взглядывал на каток и снова погружался в мрак. Пыхтя и отчаянно шмурыгая носом, он кричал:

– Миска! Погоди, челт!

Наткнувшись на бугор, мальчик упал и долго поднимался. Поднявшись, он запрокинул голову назад, смахнул несколько шапку и, увидев, что одна партия уже[463] бежит, отчаянно крикнул:

– Миск-а! Погоди, я помогу!

---

[460] *Далее было начато:* на Ли⟨говский?⟩

[461] *Далее было начато:* ша⟨гами⟩

[462] *Далее было: а.* ах *б.* Чер⟨т⟩

[463] уже *вписано.*

А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩ рассмеялась, показывая Полозову глазами на мальчика. Полозов сам смеялся, особенно потому, что в глазах А⟨нны⟩ Д⟨аниловны⟩ увидел то[464] милое[465] выражение понимания и близости, что бывало у нее когда-то. Он помог ей сойти на реку и весело сказал, показывая по направлению[466] на[467] Дорогомиловский мост, где сквозь решетку виделись движущие силуэты[468] саней, прохожих и конки:

– Пойдем в ту сторону.

– Пойдем! – так же весело ответила А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩. – Какая прелесть этот[469] мальчуган! "Миска, я тебе помогу!" – передразнила она и снова засмеялась.

Они прошли под мостом, таким странным, когда на него смотреть снизу[470]. Далеко впереди белым горбом поднимались Воробьевы горы. Налево стоял крутой, гористый берег, весь усыпанный постройками, лепившимися по косогору. Далее, по линии берега, дымился ряд высоких фабричных труб. Река здесь была широкая, и на ней было так же тихо, как в поле.

– Как хорошо здесь, – вздохнул Полозов.

⟨*л. 93*⟩ – Да, хорошо, – отозвалась[471] А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩ и спросила: – ну так что же думаете вы делать?

Точно ничего еще не было сказано, Полозов повторил с начала историю своих сомнений и говорил теперь хорошо и сильно, так что ему нравилось самому. Он сказал, что его душит та жизнь, которую он ведет и которую ведут другие около него, душит так, что он долее не в силах оставаться в этом положении. Минутами он как будто засыпает, и тогда все вокруг кажется естественным и простым, таким, как должно быть, и он тогда не понимает самого себя. Но бывают моменты, когда он с ужасною ясностью видит бессмысленность и фальшь такой жизни, и тогда ему хочется бежать куда-нибудь, даже убить себя.

– И я убил бы себя, – прибавил он, – если бы не надеялся на какой-нибудь другой[472] исход.

– Но чего же вы хотите?

Этот вопрос, который поочередно предлагали ему жена, Посконский, рассердил его. Чего он хочет? Это понятно всякому,

---

[464] *Далее было начато:* ласков⟨ое⟩

[465] *Далее было: а.* , ласковое в⟨ыражение⟩ *б.* пони⟨мание⟩

[466] по направлению *вписано.*

[467] *Далее было начато:* А⟨?⟩

[468] *Далее было начато:* эки⟨пажей⟩

[469] этот *вписано.*

[470] *Далее было:* , и медленно шли вперед

[471] *Было:* ответила

[472] какой-нибудь другой *вписано.*

кто хоть раз видел улицу такою, какою он видел ее. Его подавляет, отнимает возможность жить и работать та неизмеримая несправедливость, которая на все наложила свою печать, начиная с характеров и лиц, кончая платьем. Ему противно читать книжку, когда он знает, что миллионы не читают ее и не могут так же наслаждаться ею[473], как он. Ему иногда хочется снять с себя богатую шубу, стать пьяным, гря⟨з⟩ным, скверным, идиотом, только б сравняться с теми, кто обездолен. Он долее не в силах жить так.

– Да, это ужасно! – сказала А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩. – Такая несправедливость!

И она стала[474] с массой подробностей, которые казались Полозову ненужными, рассказывать о курсистке, которая умерла с голоду, ⟨*л. 94*⟩ и никто не пришел ей на помощь. Полозов перебил ее и продолжал:

– Я не знаю, что это. Я не неженка, не сентиментален, но меня душит моя жизнь. Я не знаю, совесть ли это говорит во мне, потому что странная была бы совесть, которая молчит столько лет и вдруг начинает говорить. Сказать, что я люблю всех этих обездоленных, я тоже не могу. Скорее, они возбуждают во мне ненависть или отвращение, среди них есть такие пошляки! Но неужели же отвлеченная идея справедливости может так мучить? Нет, не думаю. Все, что я передумал по этому поводу, сводится к одному: я не могу этого выносить!

– Но вы доктор, вы можете сделать так много добра, – сказала А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩.

– Ах, не[475] напоминайте мне, что я доктор, – с отчаянием жестоко сказал Полозов и повторил то, что он передавал Посконскому о бессмыслии лечения бедных. Но А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩ не понимала его. Она спросила:

– Неужели, если тот мальчик заболел бы, не стали бы лечить его?

– Стал бы! Но к чему это? Вы видите, что он выбежал из Проточного пер⟨еулка⟩, этого приюта нищеты и мерзости. Ну если б я вылечил его, что выйдет из него? Несчастный, жалкий человек, может быть, пьяница или вор, которого нужно хватать за шиворот! И вот вылечивши его маленьким, я должен его, взрослого, хватать за шиворот и сажать в тюрьму. Ложь! Мучительная ложь!

– Но что же тогда делать? – задумчиво сказала А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩.

---

[473] ею *вписано.*

[474] *Далее было начато:* подр⟨обно?⟩

[475] *Далее было начато:* говор⟨ите⟩

– Вот и я спрашиваю: что же делать? А так я сидеть не могу. Мне хоть бы краешек, краешек подломить этой треклятой стены, – доктор показал пальцами, сколько ему хотелось бы отломить.

⟨*л. 95*⟩ А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩ спросила, что это за стена, и Полозов передал ей слова Посконского.

– Ах, как это верно! – вздохнула девушка. – Сколько голов!

– А лечи я бедняков 24 ч⟨аса⟩ в сутки, я и краешка этого не отломлю, – с отчаянием сказал[476] доктор. – Что делать, что делать!

– Ей-богу, ничего не могу вам присоветовать, – с сожалением сказала девушка.

– А вы?..

– Я-то? Это дело другое.

И Полозов услышал то, что мало обрадовало его. Отчаянная изворотливость, храбрость, геройство, подвижничество, вечный страх, доводящий до потери рассудка,[477] – все это давало такие крохи.

– Пусть крохи, но ведь вы-то, вы-то довольны? Вы спокойны? Вам не хочется умереть?

А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩ улыбнулась жалкою улыбкою, напоминавшею тот момент, когда она предложила[478] не спать всю ночь и над ней все[479] стали смеяться.

– Ну? – нетерпеливо сказал доктор.

А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩ отвернулась. Доктор заглянул в ее лицо и увидел, что[480] на глазах ее слезы. Волосы вились, и одна прядь их коснулась лица доктора, когда он наклонился.

– Что с вами? Дорогая моя?

– Не бойтесь, это нервы, – прошептала А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩. – Погодите, не говорите со мною. Идите сзади.

Доктор послушно исполнил приказание. Ему самому хотелось плакать. Он моргал, пыхтел и свирепо смотрел по сторонам, раздавливая своими ногами маленькие следы ног девушки.

– Ну вот, я успокоилась, – сказала А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩, взглянув на доктора тем понимающим взглядом, который он так любил. – О чем задумались?

Доктор молчал и сердито сопел, избегая взгляда А⟨нны⟩ Д⟨аниловны⟩. Потом ⟨*л. 96*⟩ взял ее руку и поцеловал.

---

[476] *Далее было начато:* По⟨лозов⟩

[477] *Текст:* вечный страх, доводящий до потери рассудка, – *вписан.*

[478] *Далее было начато:* ночев⟨ать?⟩

[479] все *вписано.*

[480] *Далее было начато:* она пла⟨чет⟩

– Что вы это? – удивилась А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩.

– Так. Вы едете за границу?

– Да.

– Ну а я поеду к черту на рога!

А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩ остановилась и схватила[481] М⟨ихаила⟩ П⟨етровича⟩ за руку.

– Голубчик, вы, ⟨за⟩чем это?

– Так.

– Слушайте, – строго сказала А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩, – дайте мне слово, что ничего с собою не сделаете. Ну? Ну же, говорю!

– Даю, – коротко и сердито ответил доктор.

– Но что же вы хотите делать?

– А я почем знаю. Вот взойду сейчас на Дор⟨огомиловский⟩ мост и закричу: – караул, душат!

Они повернули и шли к мосту. Короткий день уже кончался, и все посерело и помутнело. На мосту уже зажглись фонари.[482]

⟨*л. 97*⟩ Все более сгущался мрак. Похолоднело. Небо очистилось и начали зажигаться звезды.

26[483] *окт⟨ября⟩*

---

[481] *Далее было начато:* з⟨а руку⟩

[482] *Далее было (с абзаца):* – Вы ничего не сказали мне об А⟨нтонине⟩ П⟨авловне⟩, – сказала А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩ после долгого молчания. – Как она?

– Ничего, живет.

– Я сегодня зайду к вам. Мне хочется повидаться с нею.

– С женою? – удивился доктор.

– Ну да. Что так удивляет вас?

[Доктор молчал, потом его лицо приняло выражение наивной хитрости, и он рассмеялся. Глядя на него, улыбнулась и А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩.

– Знаете, о чем я думал сегодня? – спросил он. – Ей-богу, в голову вам не придет. Думал с вами в любви изъясниться!

– М⟨ихаил⟩ П⟨етрович⟩!

⟨*л. 97*⟩ Доктор снова нахмурился.

– Ну что, "Михаил Петрович"? Вас это оскорбляет?

– Нет, конечно, – пожала плечами А⟨нна⟩ Д⟨аниловна⟩, – но это так неожиданно...

– Вы думаете? – иронически спросил доктор. – Так уж неожиданно?

– Оставим же этот разговор. Это придает всему такой пошлый оттенок.

– Почему пошлый? – рассердился доктор. – Почему я не могу любить вас? Что я вас за личико, что ли, люблю. И я только потому не говорю вам прямо, что я вас люблю, что не вижу, [куда] к чему это может повести. И потом знаю, что вы меня все равно любить не можете.]

– Так. Ничего. Заходите, только я едва ли буду дома. Дело есть.

Когда М⟨ихаил⟩ П⟨етрович⟩ простился с [жен⟨щиной?⟩] А⟨нной⟩ Д⟨аниловной⟩ ⟨*в рукописи:* А.П.⟩ и шел домой, он [думал] вспомнил, что хотел объясниться с А⟨нной⟩ Д⟨аниловной⟩ ⟨*в рукописи.* А.П.⟩ в любви. И ему почему-то стало совестно этой мысли.

[483] *Было:* 25

⟨*л. 1*⟩ ТОРЖЕСТВО ФИТЮЛЬКИ

⟨I⟩

Всякому, кто пожелал бы изучать добродетель во всех ее проявлениях, следует избрать другой, более подходящий образец, нежели Фитюлька. Эта суровая и чопорная дама едва ли могла иметь что-нибудь общее с человеком, в[1] жизненную программу которого алкоголь входил в таком неумеренном количестве, что даже сами стойкие законы физики чувствовали себя несколько смущенными: пусть природа не терпит пустоты, но нельзя же этот принцип доводить до крайности! В число тех добродетелей, которые всю жизнь враждовали с Фитюлькой, входили, в частности, добродетели семейные. Он носил высокое звание отца и супруга, но не сгибал под ним спину, как другие, а держался непринужденно и прямо, и если сваливался иногда, то отнюдь не потому, чтобы его сшибла с ног масса тяжелых обязанностей. С первых дней супружества он великодушно уступил жене эту сторону своих владений, и с бескорыстным и искренним восторгом созерцал, как жена рожала детей, мыла их и била, как она крикливо металась по всему дому, потом на минуту исчезала – и в результате крика и тишины[2] на трехногом столе появлялся обед, в котором принимал посильное участие и Фитюлька. Те, кто считал его аспидом, глубоко, однако, ошибались: у него было доброе сердце, и когда крик жены его доходил до неистовства и единственный его наследник по мере слабых сил своих содействовал общему гвалту, он от души советовал ей успокоиться и предоставить все судьбе, которая, несомненно, устраивает все к лучшему. Несправедлив был также упрек в неблагодарности: Фитюлька понимал и высоко ценил заслуги жены в области внутреннего управления – но что мог он поделать с собою, если заботы о будущем были совершенно чужды его глубокому уму и если благожелательное созерцание он предпочитал какой бы то ни было деятельности. Отсюда не следует, од-

---

[1] *Далее было начато:* програ⟨мму⟩
[2] *Далее было начато:* появл⟨ялся⟩

нако, чтобы он злонамеренно уклонялся от труда. Нет – когда его запирали снаружи большим и надежным замком, отбирали у него шапку и сапоги и вывертывали ему все карманы, он был не прочь и потрудиться. Он охотно брал тогда подсунутую ему кисть, тихонько курлыкал песенку и разделывал дверь под дуб или под орех с таким поразительным совершенством, которое приводило в умиление его товарищей по малярному искусству. Он рисовал даже и купидонов, и они, с своими багровыми щечками и пухлыми ножками, смотрели со стены, как живые; и в их глазах светилось то же кроткое спокойствие и неиссякаемая благожелательность, как и в глазах любовавшегося ими человека, хотя он был не толст, а тощ, имел красный нос, а не щеки, и глазками обладал маленькими и веселыми, а не большими и задумчивыми. Жена не без основания утверждала, что если бы он не был таким пьяницею, он мог бы[3] составить благосостояние семьи, поднявшись до создания шедевров по вывесочной части – по крайней мере, едва ли другой художник мог бы изобразить бутылку с таким проникновением в ее сущность и в таком гармоническом сочетании с жареным поросенком, как он. Фитюлька не отрицал этого – но был ли он виноват, если его забывали запереть? или оставляли в кармане двугривенный? или, наконец, погода благоприятствовала[4] хождению босиком и уничтожала условную необходимость в сапогах? ⟨*л. 2*⟩ Одной из этих причин было достаточно для того, чтобы проститься с прекраснейшим из купидонов; если же они во всей своей подавляющей совокупности налегали на слабого человека, слабый человек благоразумно уклонялся[5] от бесполезного протеста. Воля судьбы свершалась, и недоконченный купидон одним лишь глазом уныло созерцал пустую квартиру и ведерко с краскою, пока Фитюлька нарушал закон естества и пытался объять необъятное. И был ли он виноват перед людьми и собственною совестью, если, поднимаясь на крыльях алкоголя в беспредельную высь, он бросал оттуда на землю, где стоял за стойкою кабатчик, сперва жилетку, потом шапку, потом сапоги, если они[6] находились при нем? Может быть, и был, но Фитюлька мало интересовался этим вопросом, и, во всяком случае, не пробовал малодушно уклониться от заслуженного возмездия. Бросив на землю последнее, что она соглашалась принять, Фитюлька расправлял крылья и парил, то[7]

---

[3] мог *вписано.*
[4] *Далее было:* пешему
[5] уклонялся *вписано.*
[6] *Далее было:* были
[7] то *вписано.*

подобно орлу,[8] делая плавные круги, то стремительно прорезая пространство и незаметно долетая до дому.

Там ждала его жена, Елена Семеновна. Она слышала, как супруг ее спускался на землю и с размаху стукался о дверь. Она ждала. Дверь приоткрывалась и некоторое время стояла открытою, но никто не показывался в ее темном пространстве. Но она знала и ждала. В намерения Фитюльки вовсе не входило вылетать на середину комнаты, и он пламенно мечтал о том, чтобы пробраться вдоль стенки, но высокий порог разбивал все его планы и он[9] оказывался именно на середине.

– Ты? – с злою иронией спрашивала Елена Семеновна, засучивая рукава на коротеньких и толстых руках.

Фитюлька утвердительно кивал головою.

– Пойди сюда!

Фитюлька качал головой отрицательно, но в этом не было злой воли. Если бы он вообще мог идти, он уже давно пошел бы к кровати.

– Не хочешь?[10] Так я к тебе пойду! – говорил Магомет и двигался к горе. Теперь ждал Фитюлька, и ждал недолго. Цепкие пальцы поднимались к его лицу и волосам, но потому ли, что Фитюлька, как и многие другие грешные люди, на практике расходился с теорией пользы и необходимости возмездия, он отдергивал голову назад и делал слабые жесты отрицания.

– Не хочешь? – с возрастающею иронией спрашивала Елена Семеновна: она была низка ростом и потому нуждалась в согласии мужа на предстоящую операцию. Фитюлька[11] мотал отрицательно головою и еще дальше забрасывал ее на спину, пока законы равновесия не нарушались и он не начинал пятиться назад. Совокупные усилия природы и жены предоставляли наконец добродетели заслуженную победу. Ухватив мужа за волосы, Елена Семеновна вела его к кровати, так как любила порядок во всем. Там она сажала мужа, забирала его голову под мышку и начинала методическую и основательную трепку. Дальнейший протест не имел смысла, и Фитюлька раскрывал уста, но не для критики, а для скромного поощрения:

– Трепи – трепи – трепи, – припевал он в такт движению головы и с последней вспышкою энергии добавлял: – так ему и нужно, курицыну сыну!

---

[8] *Далее было:* то *(вписано и зачеркнуто)*

[9] *Далее было начато:* им⟨енно⟩

[10] *Далее было:* – с возрастающею иронией спрашивала Елена Семеновна. –

[11] *Далее было начато:* отрицат⟨ельно⟩

По правде, ему совсем не было больно, так как Елена Семеновна была женщина добрая и проделывала все это лишь во имя порядка управления, и если он ⟨*л. 3*⟩ иногда издавал легкие стоны, то только из желания доставить жене посильное удовольствие. Но если экзекуция затягивалась, он засыпал и тем полагал естественный конец торжеству добродетели.

Больше всего удивляло Фитюльку то загадочное обстоятельство, каким образом и когда вырос у него такой большой и такой поразительно хороший сын. С чувством молчаливого восхищения он рассматривал Алешу, который, подобно своей матери, был более склонен к точным наукам, нежели к свободному искусству, и сделался[12] слесарем. Детально осмотрев сына, обратив благосклонное внимание на его высокий рост и пухлые, как подушка, губы, Фитюлька брал из тисков замок и подвергал его такому же внимательному осмотру, переводя глаза с сына на замок и обратно, и все более поражаясь.

– Ты сделал? – спрашивал он с видом недоверия.

– А то кто же? Конечно я, – отвечал польщенный Алеша.

Фитюлька качал головою и после нового осмотра замка, сопровождавшегося теми же красноречивыми знаками одобрения, говорил вскользь:

– Может быть, у тебя и двугривенный есть? – и он смотрел так, точно это было бы уже таким верхом добродетели, до которого не может подняться ни один смертный.

– Конечно есть, –[13] подтверждал Алеша, с конфузливо-радостной улыбкой поджимая пухлые губы.

– Фу-ты! – задыхался от удивления Фитюлька. – И может быть, ты мне его дашь?

С двугривенным в кармане Фитюлька шел в кабак и, храня на лице праздничное выражение, усаживался за столик. Кабатчик подавал водку и спрашивал:

– Именинник, что ли?

Незнакомство с настоящим именем Фитюльки в связи с обычным выражением сияния на его лице, часто заставляло думать, что он празднует день своего ангела.

Фитюлька выпивал, клал в рот щепотку сала и говорил:

– Нет. Гуськов, ты мне скажи, в кого у меня такой сын уродился? Ах ты Боже мой, – энергично мотал он головой, не в силах выразить одолевавших его чувств.

---

[12] *Далее было начато:* поэто⟨му?⟩

[13] *Далее было:* говорил

Кабатчик полагал, что сын уродился в проезжего молодца.

– Врешь, Гуськов. В мать он уродился – вот в кого! – торжествующе восклицал Фитюлька. – И она же его до толку довела. Ну и женщина, ах ты Боже мой!.. Будь у него еще отец, такой бы вот, как ты, Ионыч, с понятием, а то одна мать, а, поди, какие дела делает. Чудеса!

Гуськов был действительно человеком с понятием, что в достаточной мере удостоверялось его брюшком, ложившимся на грудь подбородком и пятью тысячами в банке, и любил, когда его достоинства оцениваются по справедливости другими. В этом отношении[14] неиссякаемым источником самоудовле⟨тво⟩р⟨ен⟩ия служил для него Фитюлька, который, словно задавшись целью продать кому-то все человечество с наибольшим для него барышом, умел[15] даже в под⟨о⟩превшей и подгнившей вещи найти такие совершенства и с таким умением выставить их, что и окружающие, и сами вещи начинали сомневаться в правильности своей, довольно низкой, оценки. Эти обязанности аукциониста Фитюлька нес совершенно безвозмездно, и если Гуськов внезапно открывал ему доселе невиданный ⟨*л. 4*⟩ кредит, Фитюлька радовался такому блестящему подтверждению теории о возвышенности духовной природы кабатчика. Воспарив гораздо выше, чем это можно было сделать на двугривенный, Фитюлька в соответствующей степени удлинял экзекуцию, но выносил ее стоически.

Возраставшее удивление к достоинствам сына вскоре приняло такие размеры, превосходство замка́ над краснорожим купидоном было столь очевидно, что дальнейшее производство последних становилось несовместимым с понятием о достоинстве искусства. Елена Семеновна и Алеша не понимали этой теории, проводимой Фитюлькой, но им пришлось помириться с фактами. С этой поры Фитюлька стал проводить дни в мирном созерцании окружающего, равномерно распределяя свою благожелательность на жену, сына, кур, разгуливающих по двору, и голубое небо, стоящее над головою. Жена хлопотала, сын стучал молотком, куры рылись в навозной куче, небо сияло таким спокойным и любящим светом – как хорошо на этом свете, Боже ты мой! Всякая тварь состоит при своем деле, и так все это идет мирно, тихо и ладно. Вот сапог, например, на ноге разорвался – Фитюлька благосклонно созерцает дыру – и разорвался не тогда, когда был новый, а только теперь, и разорвался так удобно,

---

[14] *Далее было:* Фитюлька служил для него

[15] *Далее было:* в

что пальцы, как малые ребята, могут поиграть и с камушками и с хворостинкой. А то вот гвоздь в стену вбит – Фитюлька благосклонно созерцает ржавую шляпку гвоздя – поди, добудь железа, да сделай этот гвоздь, да вбей его. И как ладно[16] ему сидеть тут, в своей ямочке: пойдет дождичек, а там снег повалит, мороз хватит, а он сидит себе в своем гнездышке, как у Христа за пазухой, и горя ему мало. Ночь настанет морозная,[17] долгая; прижмется он к теплому дереву, которое со всех сторон обнимает его, и только одним глазком[18] посматривает, как искрятся голубые звезды на небе и перемигиваются с маленькими звездочками на снегу. Удивительно славный гвоздь! А как премудро греет солнце: накалило спину, можно теперь живот подставить. Рубаха тонкая, тепло сквозь нее так и идет, доходит до самого сердца и согревает его. Надоело на дворе, никто не мешает и в сад пойти, а там премудрости конца-краю нет. Хорошо лечь у забора, там, где широкие[19] кусты смородины, крыжовника и высокие стебли малины образовали густую и прохладную заросль, смотреть снизу на листья и удивляться тому, как все они разнятся друг от друга, но так ровно наделены красотою и кроткою жизнью. И тепло и сыро в траве и как будто кто ласкает тебя, добрый да мягкий.

– А может быть, у тебя и двугривенный найдется? – спрашивает сына Фитюлька и не доверяет самому себе: уж больно[20] мудрено было бы устроено, если бы еще и двугривенный нашелся.

– Нету у меня двугривенного, – сердито шлепает губами Алеша, если он не в духе. В душу Фитюльки закрадывается тень сомнения в премудрости созданного, но всякие тени недолго удерживаются в его душе. Если нет двугривенного теперь, то он может явиться к вечеру. Наконец, Гуськов человек с понятием, и если он вчера выгнал Фитюльку, то отсюда следует, что сегодня он примет его дружески. Хорошо устроено все на этом свете! ⟨*л. 5*⟩ Всякая тварь при своем деле... Вон петух как расхаживает: охоч до кур, разбойник! Ловеласовские подвиги петуха приводят Фитюльку к окончательной уверенности в премудрости созданного, и он лежит, греет то живот, то спину и слушает, как упорно визжит напилок по мягкому железу и каляной стали.

---

[16] *Далее было начато:* си⟨деть⟩
[17] *Далее было:* длинная
[18] *Было:* глазом
[19] *Было:* густые
[20] *Далее было начато:* б⟨ыло⟩

Мирное течение жизни Фитюльки было нарушено событием чрезвычайной важности: в один прекрасный день Елена Семеновна сообщила, что Алеша женится. Подобный случай был само по себе удивителен, но когда из дальнейшего повествования Фитюлька узнал, что Алеша сочетается законным браком с Хвостовской барышней, он нашел, что границы чудесного перейдены. На Хвостовской барышне? Его сын Алеша? И законным браком! Если бы Елена Семеновна и Алеша представляли собою самые чудные творения гениальной кисти, достойные помещения в лучшую из галерей Европы, Фитюлька не мог бы созерцать их с бóльшим удивлением и восторгом. Он осмотрел Алешу от самых его сапог и, поднимаясь все выше, добрался до светлого волоска, торчавшего вверх над взлохмаченною поверхностью головы, и всякая подробность его длинной фигуры была само по себе изумительна. Но когда он таким же взглядом произвел параллельный осмотр супруги, сравнил ее с сыном и обоих сравнил с собою, – глаза Фитюльки стали совсем маленькие, а рот большой и круглый. Елена Семеновна, проникнутая уважением к себе, сыну и Фитюльке – он был отцом и супругом, благосклонно принимала эту дань безмолвного восхищения. Похлопав по плечу жену и сына, Фитюлька с видом, выразившим некоторое недоверие к возможности того, о чем думает, спросил:

– А может быть, и двугривенный у тебя найдется?

Елена Семеновна холодно встретила этот порыв любознательно⟨сти⟩ и ответила, что с двугривенными можно и подождать.

– Да к-как же можно теперь без двугривенного? – развел руками Фитюлька. – Ах, Боже ты мой!..

Справедливость этого замечания была достойно оценена, и в руке Фитюльки оказался целый четвертак. Осмотрев еще раз супругу и сына, Фитюлька, дабы долее насладиться их красотою и могуществом, стал задом отступать к двери, закрывая поочередно то один, то другой глаз и энергично поматывая головою.

– Шапку-то надень. Нельзя без шапки, – сказала Елена Семеновна, протягивая мужу картуз. Ранее, когда муж отправлялся в кабак, она считала простою мерою осторожности не давать шапки, которую все равно придется потом выкупать из-за стойки, но теперь обстоятельства изменились: отец человека, который женится на Хвостовской барышне, не мог идти по улице с непокрытой головою. – Да под лошадь не попади, – предостерегла Елена Семеновна, когда Фитюлька в последний раз при-

отворил дверь и убедился[21] в реальности существования супруги и сына.

– Под лошадь, – пожал плечами Фитюлька.

⟨*л. 6*⟩ Лошади ходят по земле, а он уже и теперь летит по воздуху. Под лошадь!..

II

Жил в том небольшом городке большой барин, стоявший у всех на виду. Фамилия его была Хвостов. Когда по тротуарам городка грузно подвигалась его мощная фигура, в красной канаусовой рубашке с косым воротом, в поддевке и высоких сапогах, или ярким метеором проносилась на рысаке – шляпы, шапки и картузы слетали с голов с различною степенью быстроты, отставлялись в сторону и долго потрясались в воздухе или далеко выставлялись вперед все с тою же целью выразить приязнь и уважение. Высоко держа красивую голову, с чисто русской курчавившейся бородкой и орлиными глазами, Хвостов направо и налево сверкал белыми зубами, кланялся и улыбался, приветливый и ласковый, и гнал рысака в банк, или в управление товарищества, или, наконец, в загородный сад "Стрельну", где уже с утра поджидали его лакеи. Город чтил своих именитых сограждан и не желал смущать покоя души своей[22] ненужными вопросами о том, за какие добродетели он чтит. Он с одинаковым восторгом встречал слухи о новом десятке тысяч, которые хапнул где-то "наш Иван Яковлевич", и хотя никто не мог указать человека, с которым Хвостов поделился бы, но все чувствовали себя так, точно у них общая касса; и рассказы о грандиозных скандалах, которые он устраивал, причем вопрос о правоте заранее предрешался в его пользу, количество побежденных врагов преувеличивалось, как в официальных телеграммах, а врагам его приписывались самые низкие свойства и побуждения. Купцы, знакомые с отечественною литературою, называли его Василием Чуркиным – фамилией, украшавшей известного разбойника, но называли так не в суд или осуждение, а из преклонения перед его молодечеством; господа приезжали смотреть его[23] дом с башнями, кружевною резьбою и такими надворными[24] постройками, которым более пристало находиться в благоустроенном имении, где-нибудь на широком просторе черноземной полосы, нежели в

---

[21] *Далее было:* , что

[22] *Далее было начато:* во⟨просами?⟩

[23] его *вписано.*

[24] *Далее было начато:* хозя⟨йствами?⟩

городе, где дома и люди жмутся друг к другу, как бараны в непогоду. Охотников исследовать этот характер во всей его широте не находилось, и бесхитростные умы совершенно удовлетворялись тем, что если с Иваном Яковлевичем дело делать – он золотой человек и если в Стрельне барак с буфетом и певицами разрушать – он также золотой человек и ничуть не низшей пробы. Фитюлька издали наблюдал течение этого великолепного светила и бескорыстно преклонялся перед ним, как перед недосягаемым идеалом силы и великодушия, тем более что коренной недостаток Хвостова – наклонность его к употреблению спиртного – при некоторой субъективности Фитюльки лишь содействовал увеличению блеска. По крайней мере, после проезда Хвостова, Фитюлька, не всегда обладавший счастливою способностью снять картуз, долго еще жмурился, точно ослепленный, и покачивал непокрытою головою, с трудом удерживая тело от повторения качательных движений при содействии ближайшего забора.

Большой дом Хвостова был переполнен народом. Помимо жены и детей там ютились разные близкие и далекие родственники, воспитанники и воспитанницы ⟨*л. 7*⟩ и просто знакомые, которые не то пришли в гости, не то живут здесь. Последнее обстоятельство более всего смущало жену Хвостова, никогда не знавшую, сколько у нее в доме постелей занято и сколько свободно. Какой-нибудь Свириденко утром здоровался с нею, точно он невесть откуда вернулся, а справиться о его здоровье и о том, как он поживает, нельзя было, потому что он, может быть, тут и ночевал, что иногда по справкам и подтверждалось. Эти сомнения придавали несколько тревожный характер отношениям Варвары Игнатьевны к гостям, чего не понимал Иван Яковлевич.

– Да ты реши раз навсегда, что все они здесь ночуют, – посоветовал он жене.

– Неловко, Иван Яковлевич. Всякому нужно ласковое слово сказать, а как его сказать, когда вместо ласки, смотришь, и обидела человека.

За исключением этого обстоятельства ничто иное не тревожило Варвары Игнатьевны. Она даже была довольно шумным потоком людей, который бурлил возле, редко обязывая к чему-нибудь ее. Только какие-нибудь исключительные гости требовали ее внимания, а в остальные дни она играла в преферанс, ездила в театры и читала романы Понсон-дю-Террайля, ложась в постель в то время, когда дом продолжал еще шуметь и гореть огнями. Она знала, что муж изменяет ей с разными цыганками

Стешами, и когда-то эти измены заставляли ее плакать, но с течением времени привыкла не придавать им значения, верила в любовь мужа и слегка боялась его. По утрам, когда Иван Яковлевич еще спал, она осторожно обыскивала его карманы. Записочки, бумажонки[25] и мелкие деньги она клала обратно, а часть скомканных крупных ассигнаций откладывала и прятала в свою шкатулочку, так, на всякий случай. В глубине души она не верила в то, что все называли счастьем, и в банке у нее хранился небольшой капиталец на черные дни. И в последнее время ей начало казаться, что недалек день, когда придется тронуть ее капитал: она ничего не знала о положении дел ее мужа, но видела морщинки на его лбу и внезапную мрачность, сменявшуюся весельем, отчаянным даже для Хвостова. В одну из минут такой мрачности он спросил ее:

– А если, Варя, я под суд попаду?

– Что ж! Все под Богом ходим. Умели с тобою погулять, сумеем и в тюрьме посидеть. Эка важность.

Сказал она это голосом веселым и бодрым, и Иван Яковлевич не знал, что руки у нее затряслись и ноги похолодели. Он поцеловал ее руку – первый раз в жизни он целовал руку жены, посмеялся над нею, а ночью Стрельна гудела от дикого цыганского пенья, пьяного крика и веселья.

Жила в доме воспитанница Верочка, невысокая девушка с льняными волосами, серыми глазами и красными, точно накрашенными губами. Что у нее произошло с сыном Хвостова, гимназистом восьмого класса, высоким и задумчивым юношею, в доме в точности не знал никто, хотя говорилось и шепталось много. Дошел ли шепот до ушей Ивана Яковлевича, или другим путем он узнал о романе, но в один вечер двери его кабинета захлопнулись за сыном. Ожидали услышать[26] крик, но крика не было; ожидали увидеть один из тех припадков гнева, которые приводили весь дом в состояние[27] немого страха, но гнева не было. Когда Хвостов ⟨*л. 8*⟩ вышел из кабинета с сыном, глаза последнего были красны, а Иван Яковлевич сверкал своими белыми зубами, хлопал сына по плечу и говорил:

– Нечего, брат, нюни распускать. Согрешил, покаялся – ну и баста!

– Папа, но ведь я... но ведь мы...

– Тсс! – погрозил пальцем Хвостов. – Мне не нужно знать, что там ты, что там она – уж конечно, не Богу молились. Но я не

---

[25] *Было:* бумажки

[26] услышать *вписано.*

[27] *Далее было начато:* ме⟨?⟩

позволю тебе ломать жизни из-за глупости, ведь у этой, у твоей-то, ничего, кроме розовых губок, и нету. Вырастешь, голубчик, и сам поблагодаришь. А Верочка не пропадет, я никому не дам пропасть.

Хвостов перестал смеяться, положил руку на плечо сына и серьезно добавил:

– Не туда мечу я тебя, Саша. Твой отец был дурак, прожег жизнь – ну а ты исправляй то, что он напортил.

Над Сашею и Верочкою был учинен строгий надзор, и им пришлось плакать отдельно по своим комнатам. Верочке казалось, что она хоронит свою жизнь; Саша чувствовал, как что-то мутное и грязное заползало в его душу, и он думал, что едва ли он так исправит то, что напортил его отец. А большой дом шумел своею многоголовою жизнью, наполняясь веселым и громким голосом Хвостова. Его занимал придуманный им план выдать Верочку замуж, и он деятельно принялся за его осуществление, пустив в ход целую пару свах. Одним из первых претендентов на руку Верочки явился[28] длинный, чахоточный телеграфист, точно вымытый в щелоке, который уничтожил все яркие цвета на его особе. Хвостов посмотрел на него и сказал:

– Куда ты, дохлятина, годишься. Проваливай подобру-поздорову.

– Вы, может быть, насчет приданого? Так я могу и без приданого. Они мне очень нравятся, потому что я тут по соседству живу, у Гончарихи. Кроме того, я обучен искусствам, на гитаре, например, или танцы.

– Нет, не годен, – решил Хвостов. – Танцуй в одиночку.

Много было перебрано и других женихов, пока строгий выбор Ивана Яковлевича не остановился на Алеше.

III

Первый визит, который нанес Хвостову с семейством Фитюлька с семейством, был полон невыразимой торжественности. Они шли в таком порядке: впереди рука об руку выступали Фитюлька с супругою, сзади на приличном расстоянии шел Алеша. Гуськов, мимо которого двигалось это шествие, принужден был сознаться, что если Фитюльку нельзя назвать полным красавцем, то все же в нем есть что-то такое, что не дается первому встречному. Воротник жестоко накрахмаленной рубашки

---

[28] *Далее было начато:* те⟨леграфист⟩

держал голову Фитюльки в положении прямизны и неуклонности, лишенном, однако, непринужденности и напоминавшем те печальные минуты, когда цепкие пальцы тянулись к волосам, а голова усиленно откачивалась[29] назад. Но сходство на этом[30] кончалось: взгляд, брошенный[31] Фитюлькою через[32] плечо на знакомое строение и толстого кабатчика, выражал полное душевное равновесие, несовместимое, конечно, с мыслью о возмездии. Длинная и тонкая фигура Фитюльки увенчивалась картузом, способным пробудить игривые мысли во всяком кабатчике и обладавшим такими ⟨*л. 9*⟩ широкими полями, что незначительная часть их могла облагодетельствовать прогоревшего помещика. Неугасаемый жар Фитюлькиной души концентрировался на кончике его носа, круглого и маленького в сравнении с остальным лицом. Тесны ли были новые Фитюлькины сапоги и жали ему ногу, или это была новая походка, усвоенная им в соответствии с величием переживаемой минуты, но после каждого длинного и размеренного шага он на миг приостанавливался с видом глубокого удивления, чем особенно ярко оттенялась плавная, хотя и дробная, поступь его жены. Несмотря на жаркий августовский день, Елена Семеновна набросила на плечи толстый платок, покрытый изображениями чудеснейших цветов, шуршала тяжелым шелковым платьем и поджимала губы с величайшею многозначительностью, полной таинственных и недоступных простому смертному глубин. В противоположность своим великолепным родителям, вызывавшим почтительное восхищение соседей, Алеша внушал некоторое чувство тревоги. Длинный черный сюртук в значительной степени затруднял его движения, предостерегающе потрескивая на спине всякий раз, как Алеша пытался поднести руку к голове, так что при всем своем желании он не мог разрешить проклятого вопроса: продолжают у него виться волосы, или же, вопреки уверению парикмахера, находившего в них твердость железа и гибкость стали, они уже пришли в свое нормальное состояние унылой прямизны. Эта неразрешимая загадка придавала лицу Алеши выражение растерянности, и[33] стекла магазинов, куда он искоса заглядывал, нимало не содействовали успокоению, то отражая волосы прямыми, как палки, то всю голову обращая в один курчавый свиток.

---

[29] *Вместо:* усиленно откачивалась – *было:* откачивалась усиленно
[30] этом *вписано.*
[31] *Далее было:* через
[32] *Было:* на
[33] *Далее было:* окна

Они пришли.

С присущей ему тактичностью, Фитюлька дал тон новым отношениям, потрепав Хвостова по спине и конфиденциально заметив ему, с подмаргиванием на жену:

– Превосходная, сват, женщина.

– Ну? Хороша?

Фитюлька закрыл глаза и почмокал губами, точно ел что-нибудь очень сладкое. Затем таким же порядком качнул головою в сторону Алеши и удостоверил его права на уважение всякого порядочного человека следующим оригинальным замечанием:

– Превосходный, сват, малый.

– Хорош?

Фитюлька улыбнулся с[34] видом легкого презрения к подобному вопросу и кротко рекомендовал Алеше:

– Ну-ка, сын, повернись.

Алеша повернулся. Продержав его в этом положении столько, сколько требовалось для всестороннего уяснения его достоинств, Фитюлька повернул его боком и, не имея, к сожалению, возможности показать его с птичьего полета, остановил на этом свои исследования. И хотя лицо Хвостова выражало видимое удовольствие, но оно едва ли относилось к Алеше, пухлые губы которого развисли, нисколько не увеличив тем глубокомыслия его физиономии.

Чай, предложенный Варварою Игнатьевною, не содействовал общему оживлению, хотя Алеша и перевернул стакан на скатерть и обжег вертевшуюся ⟨*л. 10*⟩ под столом собачонку. Фитюлька молча и с достоинством рассматривал террасу, где происходило чаепитие, бросил поощрительный взгляд в глубину сада и взвесил на руки серебрённые⟨?⟩ щипчики, после чего лицо его выразило положительное удовлетворение. Тут вышла невеста. Глаза ее были потуплены, и одни губы краснели на бледном лице. В голове Алеши сверкнула отчаянная догадка, что волосы его развились, а Фитюлька сделал шаг навстречу Верочке, бросил по сторонам взгляд, приглашавший к вниманию, и торжественно воскликнул:

– Дочь наша! – после чего заключил ее в свои объятия. Потом так же торжественно он проследовал к Алеше, с некоторым усилием вытащил его из-за стола и поставил рядом с невестою, соединив их руки. Отступив на два шага, Фитюлька прищуренными глазами оглядел пару, словно это были одни из созданных

---

[34] *Далее было:* легким

им купидонов, подморгнул на ни⟨х⟩ поочередно Хвостову, его супруге и своей супруге и шепнул в сторону, как это делается на сцене:

– Боятся!

Затем он наклонился к Хвостову, смотревшему на него с возраставшим удовольствием, и густым шепотом спросил:

– Беседка есть?

– Есть! – тем же шепотом ответил Хвостов.

– Ты, сват, подталкивай невесту, а я жениха, – шептал Фитюлька.

– Да, может, они так пойдут? – шептал Хвостов.

– Нет, не спорь уже, я знаю.

Фитюлька уперся плечом в Алешу в очевидном и небезосновательном предположении, что тот врос в землю, и жестами приглашал к тому же Хвостова по отношению к невесте. Хвостов сказал Верочке, чтобы она шла в беседку, и Алеша последовал за нею, с трудом отдирая подошвы. Находчивость Фитюльки при таких затруднительных обстоятельствах поразила всех благодарным изумлением, а в голову Елены Семеновны заронила некоторые вопросы относительно добрачной жизни ее супруга.

– Ну а теперь можем и выпить. Так, Фитюлич? – спросил Хвостов.

– А разве уже время? – деликатно[35] возразил тот, пораженный в свою очередь удивлением к деликатности и остроумию Хвостова. Фитюлич! – как тонко одним лишь словом[36] подчеркнута разница между тем, чем он был когда-то, и настоящим положением дел. Фитюлич!.. Какой превосходный человек, этот Хвостов!

С этого дня началось торжество того, кто волею судеб был превращен в Фитюлича. Хвостов, словно в предчувствии недалекой беды, вверх дном поставил весь свой дом. Водка лилась неиссякаемою струею; с утра начиналась толчея и заканчивалась позднею ночью. В первый же визит Фитюлич выразил решительное отвращение к собственному дому, и Елена Семеновна ушла вдвоем с Алешею, оставив супруга уже на значительной высоте от земли. Каждодневно с раннего утра Фитюлич отправлялся на исследования, причем его восторг и удивление переходили границы, за которыми теряется возможность выражать свои чувства путем соответственных телодвижений. Он безус-

---

[35] *Далее было:* спросил

[36] одним лишь словом *вписано.*

ловно одобрял конюшни, в которых били копытами рысаки, поражался основательностью и глубиною суждений кучера Василия и в безмолвном очаровании созерцал обстановку ⟨*л. 11*⟩ барских комнат: до сих пор в своих малярных экскурсах он видел их пустыми и холодными. Одному ему[37] известным путем придя к выводу, что отныне все вокруг составляет его полную и неотъемлемую собственность, Фитюлич с благосклонностью останавливался на подробностях. Ощупав пальцами штоф, которым была обита мебель, он закрывал глаза, мотал головою и переходил к обозрению трюмо. Оно отражало высокую фигуру на длинных ногах и маленькую головку, на лице которой, точно[38] сквозь щелочки в заборе, высматривали веселые черные глазки, имевшие такой вид, как будто обладатель их знает что-то очень хорошее, чего не знают другие. Критическое сопоставление этой фигуры с окружающим окончательно убеждало Фитюлича в премудрости созданного, и он отправлялся разыскивать невесту, несомненно составлявшую перл творения. Найдя Верочку в саду или в ее комнате, куда он проникал с величайшим презрением к толкам о неприличии подобного поведения, Фитюлич устанавливал с порога надлежащую точку зрения, достигаемую созерцанием совокупностей, и торжественно произносил:

– Дочь наша!

После этого прелиминарного возгласа он заключал Верочку в объятия. Верочка брезгливо отирала рот и щеки и отвертывалась в сторону, а в глазах ее бегал недобрый огонек. Но Фитюлич стоял выше действительности. Он усаживался на стул и, придав лицу выражение отчаянного лукавства, спрашивал:

– Ну, как насчет Алеши-то? Скоро, а?

Верочка молчала. Лукавство Фитюлича становилось поистине достойным удивления. Он трогал девушку за плечо, и подмаргивал, совершенно не заботясь о строгой морали, не допускающей девушек знать и понимать многое.

– Скоро, а?

Девушка краснела, а Фитюлич так же торжественно удалялся, на минуту останавливался за дверьми, бросал по сторонам взгляды, свидетельствовавшие о его намерении произвести удивительную[39] шутку, и снова приотворив дверь, шептал страшным голосом:

– А Алеша-то у-у-драл!

---

[37] *Далее было начато:* поня⟨тным⟩

[38] *Было начато:* сло⟨вно⟩

[39] *Далее было:* штуку

И крайне довольный Верочкою, шел на кухню, где любовался быстрыми руками кухарки Матрены, валявшей пироги, и размышлял по поводу того не лишенного интереса открытия, что всякая тварь при своем деле состоит. А Верочка посылала ему вдогонку: у, противный старикашка! – валилась на постель и грызла зубами кружевную наволочку подушки, той подушки[40], на которую только что подмигивал Фитюлич.

Иногда Фитюлич наталкивался на гимназиста Сашу, и почему-то это случалось поблизости от дверей Верочкиной комнаты. Саша краснел и смотрел исподлобья, а Фитюлич, умевший различать людей, вступал в занимательную беседу.

– Все наука? А? – говорил, качая головой. – И много науки? – он шире открывал глаза, словно при обычном размере его глаз вся наука сразу поместиться в них не могла.

⟨*л. 12*⟩ – Да, наука, – хмуро отвечал Саша, с презрением смотря на длинного и грязноватого человека, от которого пахло перегоревшей водкой.

– Ничего, не робей, умный будешь. Алешу видел?

– Видел.

– Ну? Как следует видел? – в голосе Фитюлича звучало сомнение, чтобы кто-нибудь мог достаточно оценить Алешу без его содействия. – Хорош?

– Прелесть! – язвительно[41] отвечал гимназист и тоном крайней вежливости добавлял:

– Извините, мне некогда.

Фитюлич сентенциозно замечал:

– Всякая тварь при своем деле состоит. Валяй, брат, ее науку-то – такой же, как отец, будешь.

Но настоящее ликование наступало вечером, когда весь дом наполнялся говором[42] разношерстных гостей. Фитюлич утопал в океане блаженства, выныривая оттуда лишь для того, чтобы обратить внимание общества на совершенство мирового порядка. Решив обходиться без чинов, Фитюлич с равною благожелательностью приветствовал гостей Хвостова, приглашая их полюбоваться как великолепием комнат, так достоинствами его сына и невесты, сопоставить одно с другим и дать соответствующее заключение. Гости выражали восхищение, после чего Фитюлич отыскивал супругу и, не желая вводить людей в заблуждение по поводу талантов воспитания, которых у него не было, выдвигал ее вперед.

---

[40] *Вместо:* подушки, той подушки – *было:* подушек, тех подушек

[41] *Далее было начато:* за⟨?⟩

[42] *Далее было:* гостей

– Все она! Превосходная женщина.

– Ах, что вы говорите! – жеманничала Елена Семеновна.

Фитюлич, предложив супруге не покидать позиции[43] до его возвращения, разыскивал Хвостова, приводил его и ставил рядом с Еленой Семеновной.

– Превосходный человек! – пояснял он гостям и удалялся в задние ряды, где, приподнявшись на цыпочки, блаженно созерцал пару превосходных людей, усиленным подмаргиванием давая понять, что в жене его говорит присущая ей скромность. Невозмутимая благожелательность Фитюлича в связи с полным отсутствием тщеславия, навела одного из гостей, надзирателя местной гимназии, на прекрасную мысль. Видя, с каким неподдельным удовольствием встречаются гостями проявления Фитюлькиного характера, он пожелал усилить[44] удовольствие, доведя эти проявления до крайних их пределов. С этою целью остроумный молодой человек набил папиросу наполовину табаком и наполовину селитрою, и когда Фитюлич при посредстве алкоголя воспарил над землею, поднес[45] ее. Фитюлич поблагодарил, но не успел как следует затянуться, как последовал взрыв, обжегший ему усы и ресницы. Все смеялись и особенно автор остроумной выдумки, изображавший мимикою ужас и растерянность человека, у которого под носом происходит взрыв.

– Это кто его угостил? – спросил Иван Яковлевич, которому рассказали про смешную шутку.

– Я, Иван Яковлевич, – поспешно отозвался остроумный молодой человек.

Хвостов посмотрел на него и, сверкнув зубами, крикнул:

– Вон!

– То есть, как же это? – обиделся тот.

Хвостов, не допуская себя упрашивать, показал как. В сущности операция[46] оказалась ⟨*л. 13*⟩ очень несложною: нужно[47] взять человека за шиворот, открыть им дверь и выслать ему пальто и шапку. Вот и все.

– А калоши? – спросил молодой человек, высовывая голову.

Были высланы и калоши. Если Фитюлич до сих пор признавал за Хвостовым массу достоинств, то теперь вера его в этого превосходного человека приняла твердость камня.

---

[43] *Было:* места,

[44] *Далее было:* это

[45] *Далее было:* ему

[46] *Было:* это

[47] нужно *вписано*.

Саша сидел в своей комнате и хмуро слушал доносившийся до него веселый гомон голосов, среди которого он не различал одного, который был так нужен ему, – голоса Верочки. Гомон становился все громче и веселее и все бледнее становилось лицо юноши. Складка над переносьем, такая же, как у отца, прорезывалась яснее. Он нервно вздрагивал, когда кто-нибудь проходил мимо двери, протягивал вперед бледную голову и пронизывал дерево горящим взглядом. Но вот чьи-то легкие шаги остановились у двери, и легкий стук дошел до уха Саши. В два шага он[48] очутился у двери и прислушивался, расширив глаза:

– Это я, Вера, – донесся[49] тихий шепот.

Дверь открылась и снова закрылась. Мягкие руки обвили шею Саши и замерли. Потом две головы, одна белолицая со светлыми волосами, другая черная со сверкающими глазами, прижимались боком одна к другой и всматривались в пространство, допрашивая⟨?⟩ пьяный гомон, в котором им чудилась опасность.

– Потуши лампу, – говорила Верочка, а то страшно.

Лампа гасла[50] и в комнате слышался шепот, прерываемый поцелуями и вздохами.

– Я не могу терпеть дольше. Я или уйду, или руки на себя наложу. Саша, милый!

– Я опять говорил с отцом. Чуть не убил меня.

– Господи, Господи...

Слышались подавленные рыдания.

– Тсс! Кто-то идет.

Казалось, что два сердца стуком своим наполняют всю темную комнату. Пьяные колеблющиеся шаги затихали в отдалении. Из зала внезапно вырывалась громкая песня и заглушала тихий шепот.

А в зале царило веселье. Смеялись, говорили, не слушая друг друга, красные, возбужденные. Играл на гитаре и пел чахоточный телеграфист, тот самый, которому было отказано в руке и который не мог отказать себе в грустном удовольствии проводить милую до венца. Подняв к потолку бесцветные глаза и вытянув тонкую шею с острым кадыком посередине, он пел сладким тенором:

Что мне царская корона?
Была бы милая здорова.
Господи помилуй,
Ее и меня.

---

[48] *Далее было:* остановился

[49] *Было начато:* доноси⟨лся⟩

[50] *Было:* тухла

С Фитюличем и Алешею он был убийственно вежлив, свысока презирая их за невежество. Фитюлич, сочувствовавший его горю, подсаживался и с нежным участием говорил:

– Что, брат, тянешь? Ай тошно? Прямо как собака на морозе.

– Я не собака-с, а вы неуч, – сухо отвечал певец. – Сделайте одолжение ⟨*л. 14*⟩ отойти в сторону, так как я не кончил романса.

Фитюлич с[51] сожалением[52] мотал головою, показывал Ивану Яковлевичу на телеграфиста, делая при этом такое лицо, какое бывает при зубной боли, и на цыпочках отходил:

– Пускай повоет – легче будет, – говорил он шепотом Ивану Яковлевичу. – Хороший человек, только до Алеши куда!.. А где же дочь наша?

Алеша сидел один в углу, около печки. Он давно был ошеломлен этим пьяным гвалтом, из которого ни на минуту не выходил большой дом, и чувствовал что-то неладное. Он не мог понять, каким это образом происходило, но невесты никогда не было возле него. Он послушно вертелся, когда Фитюлич демонстрировал его перед гостями, развешивал губы, целовал по приказанию отца Верочку и Ивана Яковлевича, выпивал, когда ему наливали, и от всей души ненавидел телеграфиста с его гитарой на голубой перевязи, белыми[53] длинными пальцами, кадыком и убийственною вежливостью. Когда телеграфист пел, Алеша воображал его в виде гибкой раскаленной полосы, которую он кует, кует, кует, пока она не обращается в тоненькую кочергу.

– Верочка! – проносится по комнатам грозный окрик Ивана Яковлевича.

Невеста показывается из двери, противоположной той, где находится комната Саши, с лицом, белеющим от пудры.

– К жениху, – резко приказывает Хвостов, сверкая глазами, наводившими страх на людей и похрабрее Верочки.

Лица гостей все более краснеют. Лампы[54] и свечи горят красным огнем в душных комнатах[55], полных табачного дыма и испарений. Бутылки с вином, пивом и водкою стоят на подзеркальниках, окнах и столах. Красная рубашка Ивана Яковлевича горит ярким пятном среди черных пиджаков и сюртуков. Глаза его, покрасневшие и воспаленные, дико смотрят на присутствующих.

– Вниз по матушке по Волге, – кричит он. – Начинай, кабардинец.

---

[51] *Далее было начато:* наслажде⟨нием⟩

[52] *Далее было:* отходил

[53] *Далее было:* руками

[54] *Далее было начато:* гор⟨ят?⟩

[55] *Было:* душной комнате

Кабардинец,[56] смуглый мужчина с черною окладистою бородою, начинает песню. Все садятся на пол и размахивают руками, делая вид, что гребут по воде. Фитюлич лежит посередине того, что составляет лодку, и блаженно созерцает живописные берега, плывущие перед его осоловевшими глазами. С восторгом, выразить который он уже не в силах ввиду полного паралича языка и конечностей, он любуется мощною фигурою свата, в своей красной рубашке с засученными рукавами и сверкающими дикими глазами действительно похожего на одного из легендарных разбойников. Дикая и нестройная гремит песня, а в ее перерывы доносится слабый и сладкий вздох:

Господи помилуй,
Ее и меня,
Ее и меня!..

То одиноко взывает телеграфист. Гитара его валяется на полу, тощее тело, пораженное хмелем, согнулось, и голова болтается, как у утопленника.

А на пороге, прислонясь к притолоке, стоит бледный гимназист и с выражением страха, презрения и боли смотрит на отвратительную картину пьяного веселья.

⟨*л. 15*⟩ IV

Ночь после свадьбы. Большой дом погружен в мрак и тишину. Не спят только двое, и только двое бродят, не зная устали.

Одним из них был гимназист Саша. Он бродил по густому саду, на память делая завороты на дорожках, потому что сентябрьская ночь была беспроєветно черна. Посвистывал ветер, заставляя шептаться деревья, но шепот этот казался старчески жидким и унылым. Иногда что-то холодное и легкое на миг прикасалось к лицу Саши – то пролетал лист, сорвавшийся с высокой ветви. Саша проходил дорожку до конца, проходил другую, снова возвращался к первой и так ходил и ходил, пока холодный ветер не вызвал слезы на его глаза. Временами он присаживался, безошибочно определяя скамейки под черною тенью деревьев, но то были знакомые скамейки: на них сиживал Саша весною и рядом с ним сидела Верочка. Первый раз, когда они сидели, их разделял большой кусок скамьи, а краев почти не было. Постепенно края увеличивались, а промежуток становился все меньше, пока в один вечер он не исчез совсем. Вот на этой скамейке они тоже сидели; если поискать внимательнее, то, вероятно, в

[56] *Далее было начато:* че⟨?⟩

траве найдется окурок папиросы, которую он начал курить тогда и бросил, потому что она мешала. Нет, не найдешь. Ночь так темна, да, вероятно, и дождь размочил неплотную бумагу; с тех пор прошло так много дождей. Вот на этом месте песок два дня сохранял следы Верочкиной ноги,[57] и он старательно обходил их, чтобы не испортить, а когда пришел на третье утро, следов уже не было. Блестели обмытые тополя, малина стояла темно-зеленая и веселая, – а следов ног не было. Их унесла с собою вода. Она все уносит с собою: следы дорогих ног, человека, который упадет в темную реку. Темную и холодную, какою она бывает осенью, когда один только тростник нарушает своим шепотом окрестную тишину. Жутко теперь на реке!..

Второй, на кого ни сон, ни хмель не оказывают видимого влияния – неугомонный Фитюлич. Того и гляди, он треснет по всем швам от переполняющей его радости. Нетвердыми шагами он и очерчивает комнаты и принимает величайшие предосторожности относительно соблюдения тишины, но они не всегда достигают цели: откуда-то налетает на Фитюлича стул[58], падает и ворочается на полу, уклоняясь от его рук. Наконец Фитюлич поднимает его и долго держит в воздухе, равномерно покачиваясь, пока не выясняется окончательно, что стул, взятый само по себе, безусловно тих и приличен. Светящаяся полоска двери привлекает внимание Фитюлича, и он осторожно заглядывает в комнату: на полу лежит вповалку многолюдное общество превосходных людей, заснувших очевидно по недоразумению. Упустив из виду свою неспособность к рискованным позам, Фитюлич пытается сесть на корточки, но вместо того опускается ниже с такою стремительностью, точно земля провалилась и он во что бы то ни стало обязан нагнать ее. К удивлению, земля уже возвратилась и встречается с ним на полдороге. Приведя в порядок чувства, взволнованные неожиданной встречей, Фитюлич благожелательно ⟨осматривает⟩ ряды спящих и толкает близлежащего.

⟨*л. 16*⟩ – Сеня! А, Сеня!

Сеня обнаруживает зачерствелость трупа, два месяца пробывшего в спирту.

– Сеня! – Фитюлич щекочет ему в носу. К Сене[59] возвращаются признаки жизни. Он чхает, приподнимается и выпуча глаза смотрит на Фитюлича.

---

[57] *Далее было:* а когда
[58] *Далее было:* и
[59] *Было:* себе⟨?⟩

– Ты спишь? – спрашивает тот.

– Нет, – нерешительно отвечает воскресший.

– Чего ж ты не спишь? – удивляется Фитюлич, имевший основания думать, что он будит именно спящего. – А я хотел поговорить насчет свата: какой превосходный человек!

Оказывается, что Сеня действительно спит. Некоторое время Фитюлич мыкается еще по комнатам и наконец засыпает рядом с Сеней. Еще нет и семи часов, когда он встает и, освежившись несколькими рюмками водки, едет в другой конец городка, на молочный базар. Там сжатым, но выразительным повествованием о браке Алеши на воспитаннице превосходного человека, Хвостова, он привлекает на свою сторону живые и шумные симпатии женской половины торгующих, приобретает на тридцать копеек дюжину малых и больших горшков и отдает последние два рубля извозчику, сумевшему без указаний найти дом Хвостова.

Весь дом, до прислуги включительно, еще находится в объятиях сна, когда внезапный треск, грохот и глухой звук ударов проносится по неубранным комнатам. Спящие вскакивают с быстротою людей, застигнутых пожаром; Сеня поднимает лохматую голову и[60] убеждается, что светопреставление, наступления которого он ожидал все эти дни, наконец совершилось. Не видя поэтому необходимости торопиться, он снова засыпает, а остальные бегут по тому направлению, где[61] продолжает грохотать целая стая демонов, толкают друг друга и, изумленные, тесною толпою спираются в дверях: в изящной позе атлета, мечущего диск, Фитюлич размахивается горшком и пускает его в дверь молодых. Осколки разлетаются, а невинная причина тревоги упирает руки в бок⟨а⟩ и с гордым торжеством смотрит на полуодетых зрителей. Усиленное подмаргивание и ряд выразительных жестов удачно иллюстрируют символическое значение этого стародавнего обычая. Когда[62] над толпою показывается голова Ивана Яковлевича, Фитюлич устремляется к нему и протягивает два горшка:

– Ты уж, сват, прости меня, – говорит он смущенно. – Я тебе три горшка берег, да не утерпел, один сам разбил.

Хвостов, смеясь, бросает горшки, а Фитюлич, отступив на задний план, созерцает его с видом безусловного одобрения и шепчет зрителям:

---

[60] и *вписано.*

[61] *Было:* откуда н⟨?⟩

[62] *Далее было начато:* в⟨?⟩

– Превосходный человек!

Так весело начался этот день, и водка полилась, сшибая с ног правого и виноватого. Особый интерес гостей вызывали молодые. Их снова и снова поздравляли, кричали "горько" и двусмысленно шутили. Молодая краснела до слез, улыбалась смущенною улыбкой и из-под густых ресниц бросала пугливые взгляды, не находившие, по счастью, того, кого им не хотелось бы встретить теперь. Успокоенная, она снова принимала поздравления и шутки и улыбалась, ⟨*л. 17*⟩ пока улыбка не перешла в неудержимый смех. Глядя на нее, смеялись и пьяные гости, но тут подошел к ней суровый Иван Яковлевич, взял ее под руку и повел куда-то. Она прошла два шага, потом стала биться и рвать на себе платье и наконец бессильно повисла на поддерживавшей ее руке, а бледная головка ее, роняя цветы, откинулась назад. Ее увели, и прерванное веселье возобновилось, так как истерика, хотя и не входила в порядок дня, весьма естественно объяснялась нежностью[63] организации молодой[64]. Так было сообщено Алеше, которого не пустили в комнату жены. Тогда он сел в углу, около печки, и[65] заплакал от горькой обиды, настоянной на спирту. Возле него был Сеня, который узнал, что светопреставления еще не было, и потому счел за благоразумное восстать из мертвых, и Алеша говорил ему, что он[66] не потерпит[67] и что если бы женился не он, а проклятый телеграфист, то его пустили бы в комнату, потому что он умеет бренчать на[68] гитаре. Сеня возразил на это, что нужно выпить, и они выпили, причем Алеша разбил рюмку и сказал, что так поступит он и с гитарой.

Часа через полтора Фитюличу удалось проникнуть в комнату Верочки. Она лежала на широкой двухспальной кровати и смотрела не моргая куда-то вперед. На вошедшего она не обратила внимания, хотя Фитюлич, балансируя, точно он шел по канату, громко шипел "тсс!", чтобы выразить ясное понимание ее болезненного состояния и свою полную готовность соблюдать необходимую тишину. Усевшись в кресло, Фитюлич хотел погладить свесившуюся руку Верочки, но рука была нетерпеливо отдернута.

– Дочь наша! – торжественно и умиленно провозгласил Фитюлич.

---

[63] *Далее было:* ее

[64] молодой *вписано.*

[65] *Далее было:* обнял

[66] *Далее было:* еще

[67] *Далее было:* этого,

[68] *Далее было начато:* прок⟨лятой⟩

– Ах, отстаньте, – раздраженно сказала Верочка, от которой пахло эфирно-валерьяновыми каплями и шампанским. – Сашу не видали?

– Науку? Нет, не видал.

– Его с утра нет, –[69] произнесла Верочка, говоря словно для себя.

– Прекрасный человек. А?

– У вас все прекрасные[70]. Вот и Иван Яковлевич тоже прекрасный.

Фитюлич закрыл глаза и почмокал, точно ел что-нибудь очень сладкое.

– Ох, уж хуть бы дурака не ломали,– сердито крикнула Верочка, переводя заплаканные глаза на Фитюлича. – Стыдно. Старый вы человек, а на какие дела пустились. Получили свое, спрятали денежки в карман – чего вам еще? А то "превосходный человек"! Смотрите, дыры-то в карманах зашейте. Опротивели мне все, уйду куда глаза глядят. Где Саша? Где, я вас спрашиваю, Саша?

Ошеломленный потоком слов, исходивших от обычно молчаливой и скромной нашей дочери, Фитюлич вопросительно посмотрел на потолок, обвел глазами комнату и наконец уставился на Верочку. К чему она приплела науку и деньги? И дыры в карманах?

– Больна? – кратко резюмировал он свои размышления.

– Две тысячки слямзили? – продолжала Верочка, все более раздражаясь[71]. – Ах, как хорошо сына за две тысячи на несчастье продавать. А еще старый человек!

⟨*л. 18*⟩ Фитюлич чувствовал возрастающее беспокойство и моргал глазами. Ему хотелось уйти, но он не совсем надеялся на свои ноги.

– Нянчится с своим Алешей. Как же, красавец писаный, губошлеп противный! Всю слюнями измазал. Тьфу! – плюнула Верочка с отвращением. – Вырастили дурака, нечего сказать: такой же пьяница будет, как и отец. Тьфу!

– Губошлеп?

– Где Саша? Где мой Саша? – стонала Верочка, начиная метаться по кровати и искоса поглядывая на Фитюлича, подвижная физиономия которого застыла в выражении неописанного изумления. – На две тысячи польстились! Да он бы вам, как вырос,

---

[69] *Далее было:* сказал⟨а⟩

[70] *Далее было:* люди

[71] *Было:* раздражав⟨?⟩

десять тысяч бросил[72]: – нате, мол, рвите, а Верочку мою мне оставьте! Милый ты мой, желанный!..

– Наука?

– Не вам, хамам, чета. Прошли, весь дом протушили водкою да сапожищами. Фитюлька поганая! Подавай сюда[73] Сашу, слышишь? – перешла Верочка на ты. – А то закричу! Саша, слышишь ли ты меня?..

Истина не хотела укладываться в голове Фитюлича, хотя хмель выходил, открывая место. Он был испуган Верочкою, ему хотелось бежать от злого женского лица, близко наклонявшегося к нему и смотревшего такими ядовитыми глазами, как у разбуженной змеи. Но он не мог тронуться с места и, жалобно моргая, слушал, как[74] Верочка разрушала чудный мир,[75] который создали его глаза, не видящие зла, и доброжелательное сердце. Ядом речей своих она отравила превосходного человека Ивана Яковлевича, и он стал противен и неузнаваем, как раздувшийся труп. Фитюлич видел в нем настоящего барина – если бы Фитюлич имел в распоряжении более обширный лексикон, он назвал бы его рыцарем – Верочка зло смеялась над ним. Разве настоящие господа такие бывают? Разве они пьют водку с разными слесарями да телеграфистами, а хороших гостей выгоняют. Кто из хороших гостей ездит теперь к ним? Да никто. Все махнули рукою на этого сумасшедшего человека. Фитюлич видел среди гостей мало таких, которых он считал за настоящих господ, – но и эти ненастоящие. Пропившиеся помещики, подначальные банковские чиновники, которые пьют, а сами по дням высчитывают, когда приедет ревизия из Петербурга и Хвостова под суд упечет. А те важные и серьезные господа, которые увиваются вокруг Хвостова, такие же воры, как и он, и теперь лебезят перед своим атаманом, думая, что он спасет их своим умом. Во всем доме один только Саша не знает, что ⟨не⟩ нынче – завтра – и все полетит по ветру и развалится, как карточный домик. Превосходный человек Иван Яковлевич! А что он сделал с своею женою? Когда видит[76] ее Фитюлич? когда слышит ее голос? Заживо схоронили ее. А как поступил он с Сашею да Верочкою? Как любились они, как думали вместе век свековать, а он своею грубою рукою уничтожил этот союз и насильно выдал ее за немилого, за[77] Алешу, дурака да губошлепа.

---

[72] *Было:* просил
[73] *Было начато:* С⟨ашу⟩
[74] *Далее было начато:* разру⟨шала⟩
[75] *Далее было:* созданный
[76] *Было:* видел
[77] *Далее было:* губошлепа

– За две тысячи целую семейку купил: отца пьянчужку, мать дуру да сына губошлепа, – говорила Верочка, наслаждаясь действием своих слов. – Саша видел, как вчера Елене Семеновне[78] деньги из рук в руки передал. Чего жалеть – все равно ворованные! Ты думаешь, почему он меня с Сашей разлучил? Думаешь, ⟨*л. 19*⟩ сына жалко? Как бы не так! Он сам, старый черт, зубы на меня точил, да ничего не вышло вот. Обжегся!

Последнее сообщение Верочка выдумала, но тотчас же сама поверила ему и с гадливостью плюнула:

– У, развратник! А у тебя все "превосходный чело-век"! Обделали дурака... Ну чего глаза-то таращишь?

Верочка начала тормошить Фитюлича. Он покачивался, но молчал.

– Да что ты, очумел, что ли?

Фитюлич утвердительно мотнул головою и, собравшись с силами, произнес:

– А горшки-то как же?

– Какие еще там горшки?

– На, говорю, сват, два горшка, – показал Фитюлич, как он подавал Ивану Яковлевичу горшки. – Нет, это ты, дочь, пустое говоришь.

– Дурак и есть, – махнула рукою Верочка.

Фитюлич молчал, – долго молчал, пока Верочка снова не принялась тормошить его.

– Обманул, – медленно проговорил он и быстро задвигал носом, бровями и ртом, борясь с тем, что изнутри с силою подступало к глазам.

– Чего ты? – спросила Верочка.

– Св-а-та жалко, – произнес Фитюлич, проделывая ту же гимнастику лица. – За-а-чем он гор-ршки бил? Пойду, скажу: св-а-т, что же это?

– Сиди уж, сиди, – испугалась Верочка. – Нечего, дела не поправишь, что даром скандал заводить. Сиди, говорю. Видишь, я совсем успокоилась – обойдется как-нибудь. Ах ты Господи!..

С некоторыми затруднениями Фитюлич встал и пролавировал к выходу[79]. Выбравшись в открытое море, он остановился и посмотрел на[80] белую поверхность двери: она хранила все выбоины и царапины от разбитых об нее горшков и местами в ней сидели маленькие, острые осколки. Давно ли это было!

---

[78] *Далее было начато:* дв⟨е тысячи⟩

[79] *Было:* двери

[80] *Далее было начато:* д⟨верь⟩

В зале пьяный гармонист энергично выводил плясовую. Плясали двое: Елена Семеновна и сам Хвостов. Елена Семеновна грациозно склонила голову и, помахивая платочком, плавно проносилась мимо Хвостова, изображая, как девица[81] шла за водою.

– За холодною ключевой,
За холодной ключевой...

– подпевала она визгливым голоском.

– Ай, жги, говори! – поддерживал ее Иван Яковлевич, сверкая белыми зубами и красной рубашкой.

Стукнувшись о притолоку, вошел Фитюлич. Он с трудом протолкался сквозь тесное кольцо, образованное зрителями, и направился к Хвостову. Но Елена Семеновна заметила мужа и повернулась к нему. Потрясая платочком, она шумливо загораживала ему дорогу и пела:

– Кричит: девица, постой,
Красавица, погоди!

– Сват! – глухо кричал Фитюлич. – Сват![82]

Иван Яковлевич подмигнул ему и топнул ногою, приглашая к пляске.

– С-ва-ат! – жалобно вопил Фитюлич. – Как же горшки-то? Ах, сват, сват.

⟨*л. 20*⟩ Хвостов прекратил пляску и, тяжело отдуваясь, спросил:

– Ну что там с горшками, Фитюлич? Еще, что ли, бить будем?

– Не Фитюлич я тебе. Нет, брат, зови Фитюлькой. Не хочу Фитюлича.

Вид плачущего Фитюльки был до того необычен, что все покатились с хохоту, но Иван Яковлевич, догадываясь, взял его за руку и повел в кабинет.

– Чего разрюмился? Верка насплетничала?

– Нехорошо, – мотал головою Фитюлька. – Обманул ты меня.

Хвостов прошелся по кабинету и остановился перед гостем, с снисходительною улыбкою глядя на него.

– Дурак, дурак ты, братец. Никто тебя не обманывал, и обманывать не в чем. Экая важность, что мальчишка с нею поиграл.

– И горшки бил... Жа-а-лко мне тебя, сват.

– Что? – нахмурил брови Хвостов. – Что ты сказал?

---

[81] *Было начато:* под⟨?⟩

[82] *Далее было:* Как же горшки-то. Ах ты Боже мой

– Жалко, – мотал головою Фитюлька, недоступный страху. – Такой ты был человек... ах, какой человек!

– Какой был, такой и остался, – сказал Хвостов[83] после продолжительного молчания[84]. – Ах, Фитюлич, Фитюлич. Все, брат, мы мерзавцы, негодяи и давно душу свою черту продали. Видел, сколько народу около меня трется? Все такие же мерзавцы, как и я. Сейчас их много, пройти негде, а погоди, час наступит, беда придет – разлетятся, как воробьи от трещотки. Ах, как тошно, как тошно, – скрипнул он[85] зубами[86]. – И душу отвести не с кем. Пойдем, голубчик, выпьем! А то я велю сюда подать. Ну их всех к черту!

– Не пойду, – заплакал Фитюлька, так как ему очень хотелось выпить. – Не пойду выпить. И Фитюличем меня не называй, не обижай.

– А, черт! – рассердился Иван Яковлевич.

– Прощай, сват, – говорил Фитюлька, не подымаясь с кресла. – А выпить не пойду. Домой пойду.

– Да какой у тебя дом? Дубина стоеросовая! Ведь жена тут и ключ у нее.

Но Фитюлич, недоступный страху, был недоступен и уговорам. Шатаясь, он побрел в прихожую и там, никем не замеченный, стал одеваться. Операция эта, по существу несложная, заняла, однако, у него много времени, хотя он довел ее до степени возможной простоты, надев чужое пальто и шапку. Бросив боязливый взгляд на стол, видневшийся через анфиладу комнат, Фитюлич принял осанку человека, принадлежащего к обществу трезвости, и шагнул за дверь. Когда он был уже на улице, дверь снова открылась и голос Хвостова крикнул вдогонку:

– А то вернись! Фитюли-и-ч! Слышишь, вернись!

Хотя никто не мог этого видеть в темноте, Фитюлич отрицательно покачал головой. Воздух был влажный, и теплый, и приятный после чада, которым пропитались все комнаты Хвостовского дома. Земля и небо сливались в одну черную массу, и только стукаясь о тумбы и заборы, можно было догадаться об их присутствии. Фонарей на этой окраине не существовало, и только вдали, на горе, откуда начинался мощеный город, горел одинокий огонек. Он горел спокойно и ровно, как свалившаяся на землю звездочка, и говорил о темной, долгой ночи, ⟨*л. 21*⟩ о бес-

---

[83] Хвостов *вписано.*
[84] *Далее было:* Хвостов. – Все
[85] он *вписано.*
[86] *Далее было:* Хвос⟨тов⟩

конечности, об одиночестве. Фитюлька[87] шел к нему, долго шел, но под ноги попался большой камень и он упал. Рукою он нащупал траву и забор и подполз к последнему. Здесь он сжался в комок, подогнув[88] колена к самому подбородку, надвинул шапку на глаза и сразу почувствовал, как согревают его ночь и тишина.

Глубокий вздох послышался[89] из черного комка, и безмолвие раскрыло над ним свои мягкие крылья: заснул тот, кто волею судеб был превращен на миг в великолепного Фитюлича,[90] кто снова обратился в Фитюльку и кто при всякой[91] перемене имен оставался все одним и тем же человеком.

Тихо. Тихо.

---

[87] *Далее было начато:* до⟨лго⟩
[88] *Было:* подогнул
[89] *Далее было: а.* из *б.* отку⟨да-то⟩
[90] *Далее было:* и
[91] всякой *вписано.*

Незаконченное. Наброски

⟨ДИАЛОГИ, ТЕМЫ, ФРАГМЕНТЫ. ОСЕНЬ 1891 г.⟩

1. Не извольте, мам⟨аша?⟩; ругаться...
2. Безобразить, господин, нельзя...
3. Два языка
4. Лучше б сразу укол.
5. Сифилис.
6. Сетования юриста.
7. Даже убеждений нет...
8. Пьянст⟨во⟩ студентов.
9. Юридическая шпага.
10. Катар⟨?⟩ го⟨ро⟩довым⟨?⟩

11.

– Ах уж нет, батюшка, сделайте одолжение, уберите вашу книжку.

– Да ведь это Дарвин, Анисья Федоровна.

– Да уж знаем мы этого Дарвина. У нас и то Володя в прошлом году в Америку с товарищами бегал, а тут еще дочь на четвереньках пойдет... Уж уберите[1], сделайте милость.

12.

Вот тут и разбери их: Конт и Кант – одной буквой различаются.

13.

– Вы читали Критику Канта?

– Читал.

– Скажите, лучше она критики Добролюбова?

14.

– Колька, поздравь, я бросил водку пить.

– Да ты пьян, как 30 сапожников.

– С радости, брат, с радости.

---

[1] *Вместо:* Уж уберите – *было:* Уберите.

15.

Што, вот и вырвался.

16.

– Обидно, Миша[2], ей-богу, обидно.

– Да чего тебе обидно?

– Нет, как же: Алек⟨сандр⟩ Вел⟨икий⟩[3] в мои годы мир покорил, а я по одной доске пройти не могу.

17.

– Нет, брат, прав Гартман: жизнь подлая штука.

– Чем это?

– Как чем? Есть, наприм⟨ер⟩, у тебя деньги?

– Есть.

– Ах, есть? Дай, пожалуйста, целковый до завтра.

18.

– Смерть, небытие, Нирвана. Великий Шоп⟨енгауэр⟩, как ты правильно говоришь. О Боже, что бы оставалось делать, если б смерти не было!

– Голубч⟨ик⟩, что[4] с тобой?

– Теща умерла, честное слово умерла.

19.

– Что это так?

– Да вот все эти сожители: купил утром бут⟨ылку⟩ спирту для лампы[5], а они всё и вылопали.

20.

– Хорошо должно быть иметь процентные бумаги.

– Да⟨?⟩ нет, не особенно.

– А[6] у вас[7] есть?

– Много. Квитанций из ломбарда.

21.

– Чтой-то у меня, Антипыч, как будто в животе что шевелится...

– Не мыши ли завелись?

---

[2] Миша *вписано.*

[3] *Было:* Мак⟨едонский⟩

[4] *Вместо:* Голуб⟨чик⟩, что – *было:* Что

[5] *Далее было:* сейчас

[6] *Было:* У

[7] *Было:* тебя

22.

– Нужно, чтоб карикатура поражала неожиданностью, чтоб нельзя было с первого взгляда сказать, где соль...
– Тогда рисуйте одно, а подписывайте другое.

23.

– Голубчик, сострι.
– Что такое?
– Два дня не пил...

24.

Насилу доволок.

25.

– Князь, вот те исторические шта⟨ны⟩.
– Оны, барын, одна дыра.
– Дурак, не воду же тебе в них носить?

26.

Протекция.

27.

Конец века. Демон и Мефистофель.

⟨ОН ДОЛГО СМОТРЕЛ НА НАС...⟩

Он долго смотрел на нас, потом подошел и стал говорить. Спросил, зачем я лежу и не работаю. Я сказал: работы нет. Он начал расспрашивать меня и удивлялся тому, какую я веду жизнь.

– Вот погодите, – сказал он: – я сейчас ничем не могу помочь: у меня у самого ничего нет, но[1] я скоро напишу большую книгу обо всех бедных и обездоленных, и эта книга вам поможет.

Я засмеялся. Книга поможет! Но он рассердился и сказал, что я ничего не понимаю. Но хотя он долго объяснял, я все-таки не понял. Ведь и так все знают, что я[2] голоден, сами видят это, и сам я просил на хлеб – но не помогают. А когда прочтут в книге, то помогут... Ах да! я понял. Я вспомнил, как я раз был болен и пришел в больницу, но меня не хотели принять. Они говорили, что не знают, кто я. Я сказал кто. Но они потребовали, чтоб это было написано, – и тогда только приняли, когда я показал паспорт. Так, должно быть, и здесь.

Он обрадовался, когда я сказал, что понял. Позвал меня к себе, поил чаем и просил чаще приходить. Однажды я нашел его очень веселым. Книга была кончена, и ее скоро напечатают. Я тоже обрадовался.

– Я хочу отпраздновать это, – сказал он, – и именно с вами. Вы вдохновили меня.

Он послал за хлебом, колбасой. Я попросил еще купить водки – и водку купили. А когда я уходил, он дал мне целковый.

– Откуда у вас деньги? – спросил я.

Он засмеялся.

– О, теперь у меня денег много будет. Смотрите, как заживем.

Я ушел, – а когда я пришел следующий раз, его на этой квартире уже не было и никто не знал, куда он девался. Так книга мне и не помогла.

---

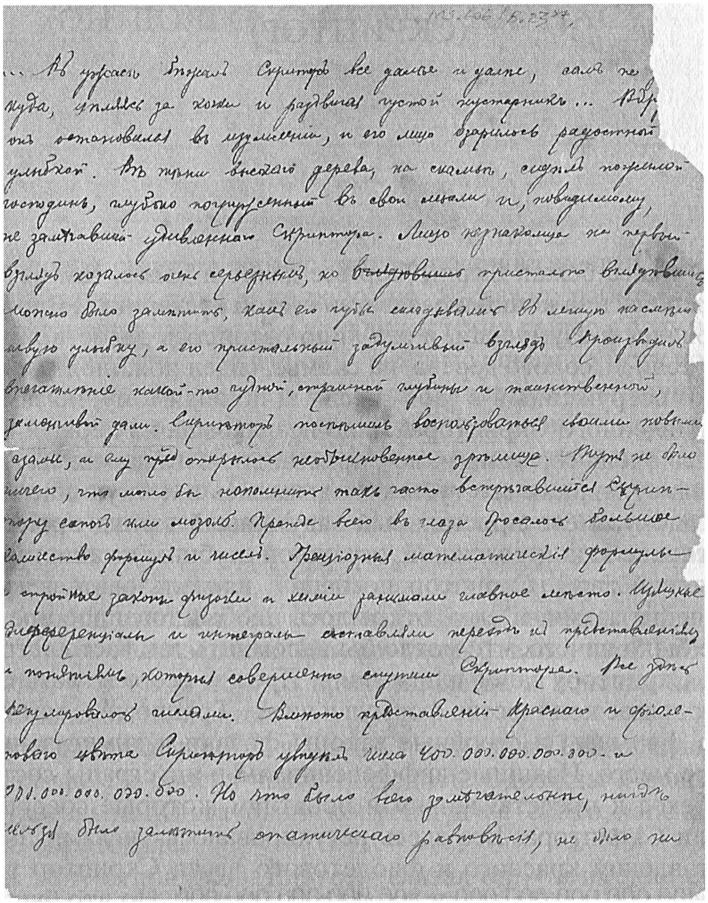
[1] *Текст:* я сейчас ~ ничего нет, но – *вписан.*

[2] я *вписано.*

⟨СКРИПТОР⟩

...В ужасе бежал Скри⟨п⟩тор все далее и далее, сам не ⟨зная⟩ куда, цепляясь за кочки и раздвигая густой кустарник... Вдр⟨уг⟩ он остановился в изумлении, и его лицо озарилось радостной улыбкой. В тени высокого дерева, на скамье, сидел пожилой господин, глубоко погруженный в свои мысли и, по-видимому, не замечавший удивленного Скриптора. Лицо незнакомца на первый взгляд казалось очень серьезным, но[1], пристально взглядевшись, можно было заметить, как его губы складывались в легкую насмешливую улыбку, а его пристальный задумчивый взгляд производил впечатление какой-то чудной, страшной глубины и таинственной, заманчивой дали. Скриптор поспешил воспользоваться своими новыми ⟨гл⟩азами, и ему[2] открылось необыкновенное зрелище. Тут не было ничего, что могло бы напомнить так часто встречавшийся Скриптору сапог или мозоль. Прежде всего в глаза бросалось большое количество формул и чисел. Грациозные математические формулы и стройные законы физики и химии занимали главное место. Изящные дифференциалы и интегралы составляли переход к представлениям и понятиям, которые совершенно смутили Скриптора. Все здесь регулировалось числами. Вместо представлений красного и фиолетового цвета Скриптор увидел числа 400.000.000.000.000 и 800.000.000.000.000. Но что было всего замечательнее, нигде нельзя было заметить статического равновесия, не было ни ⟨одн⟩ого предмета, который бы твердо и неизменно стоял, заслоняя ⟨ост⟩альные; все быстро двигалось, получались новые комбинации, ⟨пере⟩рабатывались старые... Скриптору почудилось, что он присутствует при творении мира... Здесь была и его собственная жизнь, в самом удаленном[3] уголке, в виде какого-то маленького предмета с неопределенными очертаниями; этот предмет также двигался и, очевидно, производил влияние на окружающее, но он был как будто ⟨л⟩ишен точки опоры, не вполне сформирован, двигался беспорядочно и, главное, был очень удален от чисел и формул. Скриптор старался отыскать Мефистофеля, но не мог... Странное чувство восторга и ужаса

[1] *Далее было:* вглядевшись
[2] *Далее было начато:* пред⟨ставилось?⟩
[3] *Было:* маленьком



"Скриптор".
Автограф. Русский архив в Лидсе (Великобритания)

охватило Скриптора, и он бросился на колени пред незнакомцем, схватил его за руки и воскликнул:

– Где Мефистофель, покажи мне могучего, всезнающего Мефистофеля!..

Сожаление, насмешливость и ласка засветились в глазах незнакомца, и недалеко от своей жизни Скриптор заметил какую-то неопределенную, мрачную, бестолково колеблющуюся массу, в которую входил и кошмар Скриптора...

– Так вот оно, знание истины и знание Мефистофеля! – вскричал Скриптор, целуя руки незнакомца... и проснулся от боли в желудке...[4]

---

[4] *Текст обрывается.*

⟨ФРАГМЕНТЫ 1898 г.⟩

⟨1⟩

Нет, я должен покончить с этой проклятой жизнью! Ну не бессмыслица ли это: дать человеку сильнейшее чувство красоты, наградить его впечатлительностью, заставить бояться всяческой грязи, наконец, дать ему денег вполне достаточно для того, чтобы быть тепло одетым и обутым и сытым, – и по всем улицам, где ему приходится ходить, во все закоулки, куда ему приходится заглядывать, набросать тьму-тьмущую безобразий, грязи, холода, голода и прочей бьющей по нервам неурядицы.

⟨2⟩

Последнее время у меня сильно испортился характер. Ну вас всех к черту! – вот пессимистически-мизантропическая формула, в которой выражалось мое отношение к жизни и людям. Вчера я лежал на кровати и плевал в потолок, когда в комнату влетел Кай, субъект толстенький, с розовым, вечно улыбающимся, блаженным личиком. С этим субъектом случилась довольно странная история, но по нынешним временам и не[1] того ожидать можно. Кай жил в 60 г. после Рождества Христова и был чистокровнейшим римлянином. Служил он в комитете народного продовольствия, брал взятки, однажды объелся дареным[2] и умер, т.е. будто умер, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ лет пять тому назад его раскопал какой-то досужий[3] немец, оживил и, принимая во внимание некоторые особенности в характере почтенного Кая, отправил его в Россию. Здесь он устроился директором одной частной гимназии и начал процветать. Всякий свой разговор он начинал с фразы: “ах, какие дураки были мы, Римляне!”.

И на этот ⟨раз⟩ он начал с того же.

– Это почему же? – спросил я мрачно. – Ты это насчет взяток, что ли? – Разговор мы вели на чистом латинском языке.

– Ах, мой друг, ах! До чего мы были глупы – поверить трудно.

---

[1] не *вписано.*

[2] *Далее в рукописи оставлен пробел.*

[3] *Далее было:* англичанин

⟨*л. 1*⟩

РОЗОЧКА

Из времен моего студенчества[1]

В понедельник на страстной неделе я получил из дому шестьдесят рублей и целый день чувствовал настоятельную потребность посоветоваться с Ротшильдом, как человеком, более или менее привыкшим обращаться с крупными денежными суммами, о том, каким образом могу я с наибольшей целесообразностью распределить неожиданное богатство. Самым, конечно, лучшим было бы вложить деньги в какое-нибудь крупное предприятие и жить затем в полном довольстве и покое, получая своевременно дивиденды. Но, к несчастью для крупного предприятия, я имел прошлое – мрачное прошлое. У меня были долги. Чухонцу-часовщику, у которого я нанимал комнату, я должен был десять рублей. Не менее того должен я был товарищам-студентам, у которых разновременно совершал под благовидными предлогами займы – от гривенника до полтинника включительно[2]. На этом оканчивалась моя кредитоспособность, и остальные сорок рублей были свободны от долгов[3], радуя мои взоры, как радует взоры путешественника открывшееся перед ним свободное ото льдов[4] море.

Собственно говоря, мне было с кем посоветоваться и кроме Ротшильда, и даже я обязан был сделать это, ибо половина денег падала на долю этого лица. Но я не доверял этому лицу. Я любил это лицо, свеженькое, розовое, с лукавыми черными глазами, вызывавшими мысль, что чертей вовсе не так мало на свете и что, по меньшей[5] мере, пара представителей этого почтенного сословия сидит в этих глазах и готовит какую-нибудь пакость для человека;[6] когда это лицо[7] звонко смеялось, сверкая белыми мышиными зубками,[8] моя серьезность, которой я так дорожил, тая-

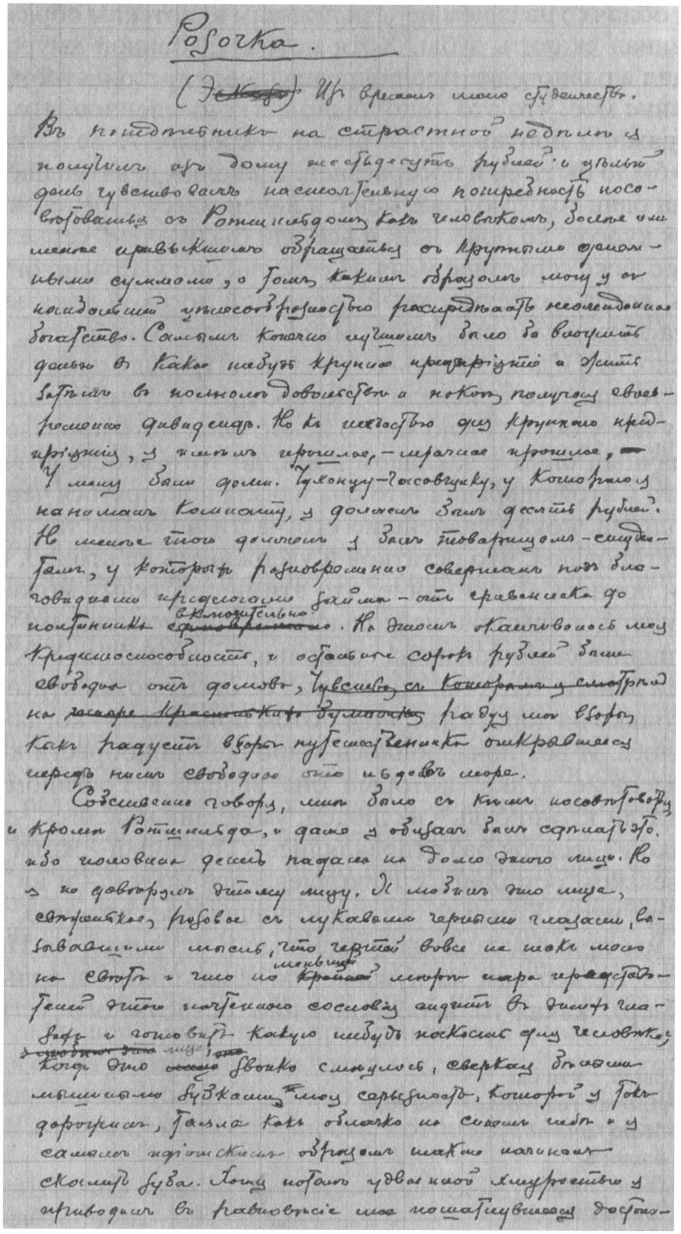
---

[1] *Вместо:* Из времен моего студенчества – *было:* (Эскиз)
[2] *Было:* единовременно
[3] *Далее было: .* Чувство, с которым я смотрел на четыре красненьких бумажки,
[4] *Было:* льда
[5] *Было:* крайней
[6] *Далее вписано и зачеркнуто:* я любил это лицо
[7] *Было: а.* лицо *б.* оно
[8] *Далее вписано и зачеркнуто:* и

ла, как облачко на синем небе, и я самым идиотским образом также начинал скалить зубы. Хотя потом удвоенной хмуростью я приводил в равновесие мое пошатнувшееся достоинство, ⟨*л. 2*⟩ но убеждение мое, что это лицо[9] было легкомысленное, что бы оно ни возражало против этого, росло и крепло. А ведь, кажется, можно было быть ей и посерьезней. Ей целых девятнадцать лет – всего на один год[10] моложе меня; я видел массу курсисток тех же высших курсов, ее ровесниц, и все они были очень серьезны, некоторые даже серьезнее меня. И совершенно напрасно она[11] обижалась, когда я с неумолимой, железной логикой доказывал ей, что она легкомысленна, легкомысленна до безобразия. Это до того ясно, что и доказывать-то не стоит. Приведу один факт. Когда мы только что приехали в Петербург,[12] восемь месяцев тому назад, у нас у обоих было много денег. Моя мать произвела первый удачный опыт с закладом дома, до того впоследствии привыкшего к этой операции, что она начала повторяться через каждые полгода, пока главнейшие его части не были так аккуратно ампутированы, что остатков и удерживать не стоило, особенно если принять во внимание, что этими остатками можно было доставить удовольствие нескольким вполне почтенным[13] людям, посвятившим свою жизнь на собирание автографов. У ХХ[14] также были деньги. Что ⟨бы⟩ ни говорил ее отец против курсов, однако не только на дорогу дал, но и потом присылал, – когда от карт оставалось. И вот понадобилось Марочке[15] приобрести какие-то великолепные чулки, которые она видела в Гостином дворе. Поверит ли кто-нибудь[16] из людей, умеющих мыслить, что мы с Марочкой[17] десяток раз отправлялись в Гостиный – жили мы[18] на Васильевском острове[19], у Николаевского моста, – и ни разу не дошли до него. Каждый раз – по инициативе, конечно, Марочки[20], – мы приобретали выставленные в витринах, на Невском, вещи, не только нам не нужные, но даже прямо вредные, как, напр⟨имер⟩, какая-то необыкновенно остроумного устройства

---

[9] *Далее было:* , что бы
[10] *Вместо:* один год – *было:* два года
[11] *Далее было начато:* уб⟨?⟩
[12] *Далее было:* 8
[13] *Далее было:* лицам
[14] *Было:* Зинаиды
[15] *Было:* Зинаиде
[16] *Далее было:* , что
[17] *Было:* Зинаидой
[18] *Далее было:* у
[19] *Было:* острову
[20] *Было:* Зинаиды



Розочка.

(Эпизод) Из времен моего студенчества.

В помощники на страстной неделе я получил от дому пособие рублей 15 и, зная, что здесь мне представится прекрасный случай расширить мои познания богатства. Самым лучшим было бы внедриться в какой-нибудь крупный [illegible] и стать [illegible] в полное довольство и покой, получая еженедельно дивиденды. Но к несчастью для крупных предприятий, у меня не было прошлого, — зато настоящее. У меня был долг. Должен — московскому, у которого я занимал комнату, и должен был десять рублей. Но между этим долгом и моим товарищем-студентом, у которого разговор мой совершался под звуки [illegible] предлагаемого займа — стал гривенник до полтинника [illegible]. На этом основании мой кредитоспособности, и обладание сорок рублей были свободны от долгов, [illegible] с конфетами смотрел на [illegible] радуя мои взоры, как радуется взорам путешественника открывающаяся перед ним свободная от льдов гавань.

Собственно говоря, мне было с кем посоветоваться и кроме Ротшильда, и даже я обязан был спросить его, ибо половина дела падала на долю этого лица. Но я не доверял этому лицу. Я знал это лицо, [illegible] с [illegible] чертами лица, [illegible] мне, что [illegible] вовсе не таков, как его [illegible] [illegible] [illegible]

чернильница, которая методически[21] кувыркалась[22], как только к ней самым осторожным образом прикасались пером. Последний раз мы только на несколько шагов не дошли до Гостиного двора, истративши последние три целковых на приобретение будильника,[23] от которого сама она сумела потом отделаться, ⟨*л. 3*⟩ подаривши его мне, а я чуть с ума не сошел, потому что этот господин изволил[24] трещать, когда ему вздумается, без всякого[25] решительно повода с моей стороны; и трещал до тех пор, пока я, выскочив из-под одеяла и стоя босыми ногами на холодном полу, не схватывал его за проклятый колокольчик, продолжавший глухо барабанить[26] и останавливавшийся лишь при первых у меня[27] признаках насморка. А[28] чулков так-таки и[29] не купила!

Не могу удержаться, чтобы не привести еще одного факта. Уж очень мне обидно, что Марочка и даже многие из ее знакомых не соглашаются со мной и твердят, что она серьезная. Вот судите сами. Шел однажды сильнейший дождь, когда мы с Марочкой отправились на одну вечеринку, куда-то за Николаевский вокзал. Настроение у нас было самое веселое и именно по поводу того, над чем, собственно говоря, следовало не смеяться, а грустить – по поводу ее калош, которые протерлись, были велики и так анафемски шлепали, что[30] прохожие с противоположной стороны оглядывались на нас. Решили мы зайти купить новые. В магазине Марочка торгуется,[31] как старая гаваньская чиновница на вербах, тогда как никогда раньше этого не делала и платила ровно столько, сколько с нее просили. А тут-то и просят по совести. Мне даже неловко стало.

– Если уступите за 1 р. 25 к., я возьму, иначе ухожу, – решительно говорит Марочка.

– Помилуйте, как это возможно! – снисходительно улыбается приказчик.

Уходим. На улице я напускаюсь на Марочку, иронизируя над ее внезапной бережливостью и благоразумием – совсем неуместным.

---

[21] методически *вписано.*
[22] *Далее было:* аккуратно, всякий
[23] *Далее было:* который Зинаида преподнесла мне в подарок
[24] *Было:* изволит
[25] *Далее было:* отношения
[26] *Далее было:* до тех пор, пока не награждал меня насморком.
[27] у меня *вписано.*
[28] *Было:* И
[29] и *вписано.*
[30] *Далее было:* с
[31] *Далее было:* так

– Нет, я не потому не купила калош. Они везде стоят полтора рубля, – серьезно говорит Марочка.

– Так почему ж?

– Очень уж буржуазное лицо у хозяина.

Я и руками развел. А Марочка, хотя ей эта демократическая тенденция стоила сильнейшего насморка, и до сих пор[32] находит свой поступок верхом благоразумия.

А то вот еще факт... впрочем, достаточно.[33]

⟨*л. 4*⟩ Но[34] без Марочки[35] обойтись на этот раз[36] нельзя было – ничего не поделаешь. Я прямо-таки поражен был той быстротой, легкостью и решительностью, с какой она[37] в каких-нибудь[38] четверть часа распределила сорок рублей.[39] Мы сидели в ее[40] комнатке[41], ели колбасу,[42] пили крепкий чай с дорогими шоколадными конфектами[43] (а перед этим мы пили чай по-китайски – без сахару) и рассуждали. Т.е. рассуждала (?) собственно она, а я только удивлялся. Оказалось прежде всего, что сорок рублей – вовсе уже не такие большие деньги. Было решено (??) так: пять рублей мы кладем в фонд (следующая вероятная получка предстояла месяца через два), десять рублей употребляем на встречу праздника; на остальные двадцать (пять рублей уже куда-то[44] исчезло) я покупаю[45] летнюю шинель (подержанную, за 10 целковых), а она себе шляпку. Против покупки шинели я ничего не имел, но...

– А как же, Зиночка, за обеды-то?

– Да ведь у тебя[46] до 20-го заплачено? (Пасха была 10-го[47] апреля.) Чего же еще?

– А конспекта к политической экономии так, значит, и не придется купить?

---

[32] *Далее было:* уверена

[33] *Текст:* Не могу удержаться ~ впрочем, достаточно. – *вписан на листе, позже подклеенном к листу с предыдущим текстом.*

[34] *Далее было:* все-таки

[35] *Было:* Зинаиды

[36] на этот раз *вписано.*

[37] *Было:* Зинаида

[38] -нибудь *вписано.*

[39] *Далее было:* Оказалось, что сорок рублей – деньги совсем уж не такие большие.

[40] ее *вписано.*

[41] *Далее было:* Зинаиды

[42] ели колбасу, *вписано.*

[43] *Далее было:* и рассужда⟨ли⟩

[44] -то *вписано.*

[45] *Далее было начато:* ши⟨нель⟩

[46] *Далее было начато:* за⟨плачено⟩

[47] *Было:* 15-го

– А ты[48] подчеркивай, когда учишь. Еще лучше, чем конспект.

В окно ярко светило солнце, личико Марочки[49] разгорелось и было краше обыкновенного; в перспективе виднелась роскошная шинель, – я чувствовал, что на свете жить можно. И если бы еще[50] не эти экзамены!..

Мы с Марочкой[51] жили отдельно, хотя и в одном доме. Я, как уже говорил, снимал комнатку у часовщика-чухонца, а она жила при пансионе "на правах[52] ⟨*л. 5*⟩ женской гимназии", где она давала уроки по математике и русскому языку, получая за это квартиру со столом. Пансион содержала ее подруга, особа года на три[53] старше Марочки[54], но такая же, в сущности, легкомысленная. Лучше всего свидетельствовал об этом именно пансион, на который она ухлопала две тысячи, рассчитывая в короткое время не только возвратить затраченные деньги, но и приобрести приличное состояние[55]. Однако до сих пор деньги не возвращались, и, судя по некоторым несомненным признакам,[56] и не думали возвращаться. Г-же начальнице пансиона приходилось время от времени бегать высунув язык по Питеру, стараясь добыть 20–30 р., но когда эти деньги добывались, Любовь Николаевна становилась такой же беззаботной, как и Зинаида. Отношения между подругами были несколько обостренные. Дело в том, что Любовь Николаевна слишком уж важничала, а Марочка[57] выносить не могла важничанья. Главное, было бы отчего важничать, – двадцать каких-нибудь дохленьких учениц! И если к Любови Николаевне ходили[58] два-три бородатых господина и вели с ней серьезные беседы ⟨на⟩ тему[59] различных[60] социальных вопросов, то ведь еще вопрос: были ли искренни эти "либералы"? Марочка[61] была убеждена, что они просто подыгрывались к духу времени и ⟨ни⟩ на что серьезное способны не были. Хоть я не совсем разделял взгляды Марочки[62] и упрекал ее в

---

[48] *Далее было:* когда
[49] *Было:* Зинаиды
[50] еще *вписано.*
[51] *Было:* Зинаидой
[52] *Далее было начато:* гим⟨назии⟩
[53] *Было:* два
[54] *Было:* Зинаиды
[55] *Было:* содержание
[56] *Далее было:* прибытия их можно было ожидать
[57] *Было:* Зинаида
[58] ходили *вписано.*
[59] *Вместо:* ⟨на⟩ тему – *было:* по поводу
[60] различных *вписано.*
[61] *Было:* Зинаида
[62] *Было:* Зинаиды

слишком субъективном отношении к[63] окружающим явлениям, когда она[64] обращалась ко мне, как к третейскому судье, за разрешением своих споров с Любовью Николаевной, однако волей-неволей принужден был держаться от последней на приличной дистанции. Помещалась Марочка[65] в мезонинчике, составлявшем нашлепку на громадном трехэтажном доме, с окнами, выходившими на двор, где частенько начали появляться шарманщики и певицы, которых мы с ней[66] слушали в приоткрытую[67] фортку.

– Любила я, штрадала я,
– А он, подлец, – забыл меня!.. –

доносился снизу женский горловой голос, а я, обняв за талию Марочку[68] и смотря на ее искрящиеся глаза и наивно-насмешливо приподнятые губки, думал: ⟨*л. б*⟩ "какая же ты и милая, хорошая, и славная... хотя и легкомысленная".

Хотя экзамены были на носу, всю субботу я решил не заниматься и все утро сидел у[69] Марочки, следя за тем, как она приводила в порядок комнату. Нужно отдать справедливость: дело в ее руках кипело, и не только мебель, но и я с поразительной быстротой перелетали из угла в угол, занимая самые неудобные позиции. По моему мнению, расставлена у нее мебель была прекрасно, и зачем понадобилось кровать перетащить к[70] противоположной стенке, а стол поставить так, что[71] в узенький промежуток между ним и стенкой нельзя было просунуть и пальца, а не только что влезть[72] человеку, – понять я не мог.

– Я знаю, что так лучше! – категорически разрешила мое недоумение Марочка. – А ты тонкий и как раз поместишься в этом[73] углу. А[74] Горошкина посередине посадим, он толстый.

Пускай. Только посмотрим, как Горошкин[75] пролезет в эту дыру, с злорадством подумал я. Горошкин был студент-естест-

---

[63] *Далее было:* явлениям
[64] *Далее было:* призывала
[65] *Было:* Зинаида
[66] *Было: а.* Зинаидой *б.* Марочкой
[67] *Вместо:* в приоткрытую – *было:* приоткрыв
[68] *Было:* Зинаиду
[69] *Далее было:* Зинаиды
[70] *Было:* в
[71] *Далее было: а.* поср⟨едине?⟩ *б.* проме⟨жуток⟩
[72] *Было:* сесть
[73] *Далее было:* "ущелье" – передраз⟨нила⟩⟨?⟩
[74] *Далее было начато:* И⟨?⟩
[75] Горошкин *подчеркнуто.*

венник, бездомовый и бесхозяйственный и поэтому приглашенный нами вместе встречать Светлое Христово Воскресенье.

Тут как раз появился и он – забежал "на минутку". Однако минутка эта затянулась на добрых три часа. Оказалось необходимым[76] окончательно решить вопрос о наследственности. Я отстаивал Дарвина, Горошкин лез на стену, доказывая, что прав Лесгафт. Я совершенно не мог[77] понять, как можно так рабски следовать за авторитетами, вопреки здравому рассудку и логике. А Марочка, со своим обычным пристрастием, изволила упрекать в этом меня. Мы с Марочкой сидели: она – посредине комнаты на чемодане, а я – застигнутый кроватью в углу около печки, Горошкин же бегал как сорвавшийся с цепи по комнатке[78], [79] лавируя между расставленными вещами. Все мы трое кричали так громко, что Любовь Николаевна присылала снизу справиться о том, что такое у нас происходит. Глупое ехидство!

⟨*л. 7*⟩ Наконец Горошкин ушел, и мы принялись за уборку. Славный он малый, только ужасно горяч и совсем, как и большинство русских людей,[80] спорить не умеет.

Часам к шести уборка окончилась. Комнатка была очень красива, особенно когда входишь в дверь и в глаза бросается накрытый стол. Это открытие сделала Марочка, я проверил его: оказалось, правда: от двери гораздо красивее,[81] потому что не видно железной круглой печки, которой[82] мы никак не могли придать мало-мальски праздничного вида. Мы сидели с Марочкой рядом на постели и с чувством радостной удовлетворенности смотрели на стол, покрытый камчатской скатертью,[83] обмениваясь дружески воспоминаниями о том, как раньше здесь было грязно и неуютно. В углу мягким светом вспыхивала лампадка; в начавшихся сумерках белели занавески на окне; в комнатке было тихо-тихо – даже грохот колес с улицы не был так слышен, как всегда. Светло и радостно было на душе. Я наклонился к[84] розовому уху Марочки и сказал ей... но что я сказал, к делу не относится. В полумраке на меня мягко блеснули ее глазки, ставшие

---

[76] *Далее было:* решить
[77] *Было:* могу
[78] *Было:* комнате
[79] *Далее было:* и
[80] , как и большинство русских людей, *вписано.*
[81] *Далее было:* тем более
[82] *Было:* которую
[83] *Далее было начато:* и др⟨ужески⟩
[84] *Далее было:* уху

задумчивыми и глубокими и немного[85] грустными. Долго так сидели мы, не трогаясь и молча, – и где-то в глубине наших сердец звучала[86] радостная песнь, песня молодой, здоровой жизни, счастья и обновления.

Горничная Даша принесла лампу. Наше умиленное[87] настроение соскочило с нас[88], и возник разговор[89] по поводу того, что покупать. Я пробовал возражать, но разве с Марией Александровной что-нибудь поделаешь, когда они затеют[90] глупость? Вино в полтора целковых – это при наших-то средствах! Две бутылки пива – и баста. Омары, сардины, – Горошкину бы фунта три колбасы самое настоящее дело при его аппетите! Но ничего не поделаешь. Мне был вручен списочек – на память мою не полагались, – и я, накинув новую шинель, отправился за покупками.

Часа через полтора, нагруженный, как Эзоповский осел, путаясь с непривычки[91] в длинных полах шинели, я взобрался ⟨*л. 8*⟩ на лестницу и торжественно предстал перед Марочкой, ожидая ее похвалы за расторопность. Что за чудо! Марочка лежит на постели, лицом к стенке, и мнет ту самую подушку в кружевной наволочке, от которой меня отгоняла на три сажени.

– Марочка, я принес.

Молчание. Что за черт!

– Что с тобой? Марочка?

Молчание. Затем ответ сухим и холодным тоном, в стену:

– Сходите вниз к Любови Николаевне и посмотрите.

"Сходите! К Любови Николаевне!"

– Интересно бы знать, зачем это я туда пойду, – с раздражением ответил я, предчувствуя какую-нибудь новую глупость.

– А затем, Сергей Михайлович, что вы там убедились бы, что есть люди, которые действительно умеют любить.

Так и есть. О Боже мой! Я потребовал объяснений. Тем же сухим и холодным тоном Мария Александровна изложила, что те бородатые[92] господа, которые ходят к Любови Николаевне, подарили ей живых цветов и что если я, помимо желания убедиться в моей непорядочности, желаю видеть действительно красиво

---

[85] *Было:* даже как будто слегка
[86] *Далее было:* какая-то
[87] *Далее было:* состояние
[88] *Вместо:* соскочило с нас – *было:* прошло
[89] *Было:* спор
[90] *Далее было:* какую-нибудь
[91] с непривычки *вписано.*
[92] бородатые *вписано.*

убранный стол, то должен обязательно[93] спуститься вниз. Я вспылил, но, сдерживая себя, таким же вежливым тоном доложил, что[94] Марии Александровне, без сомнения, известна ограниченность наших средств и[95] что если те бородатые господа могут позволить себе глупость бросать шальные деньги на цветы, то я, к сожалению (с иронией), не могу сделать этого.

– А пять рублей?

– Какие пять рублей?

– Те, что в фонд положены.

Но здесь я удержаться не мог. Это уже действительно черт знает что такое! Последние пять рублей, когда до получки нужно ждать[96] три месяца (один я прибавил для круглого счета), – и вдруг бросить на какие-то идиотские цветы! Да ведь это...

⟨*л. 9*⟩ Слезы. Господи Ты Боже мой! Плакала Марочка редко, и плакала как ребенок, всхлипывая и задыхаясь.

– Хожу на курсы, в пансионе целый день занимаюсь, работаю как собака, – и никогда никакой радости, одни упреки. И это называется... люб-о-вью!..

– Марочка, да пойми же, голубчик, что ведь пять рублей последние! И тратить их, чтобы купить каких-то цветов, которые через два часа завянут!..

– Можно купить... роз-о-чку.

– Какую еще розочку?

– Внизу в магазине... я видела кустик розовый, он может... навсегда остаться.

Вот тут и толкуй. Я снова начал доказывать нецелесообразность и даже глупость покупки, но чем[97] очевиднее доказывал, тем холоднее и суше становилась Марочка. Плакать она перестала.

– Я от вас ничего и не требую, Сергей Михайлович. Можете успокоиться. Обойдемся и без цветов. Не в первый раз.

– Тем лучше, Мария Александровна. Я вам более не нужен?

– Нет, не нужны.

– Я пойду домой. Когда за вами заходить? (Мы собирались идти к заутрене, к Исакию.)

– Можете не трудиться. Я не пойду.

– Значит, до завтра?

– Как хотите. Прощайте.

---

[93] обязательно *вписано*.
[94] *Далее было:* если
[95] *Далее было:* если
[96] *Было:* три⟨?⟩
[97] *Далее было:* больше до⟨казывал⟩

Чуть-чуть носом я не пересчитал ступеней, все из-за этой проклятой шинели. И угораздило меня ее купить. Мало того что товарищи начали искоса глядеть и подшучивать, из-за нее еще шею себе сломаешь. И эта несносная Эмма – не могла даже комнаты прибрать: как утром остались разбросанные лекции на столе, так и валяются. Хоть бы пыль стерла! Не успела, изволите ли видеть! Эх, всех бы я вас, женщин, да[98] на одну осину!..

Скучища была смертная. Я лежал на постели, заложив руки за голову, смотрел в закоптелый потолок и[99] приходил к убеждению, что самый несчастный человек, если не на всем свете, то по крайней мере в Европе, – это я. Лежать и смотреть в потолок, в полном одиночестве, когда ⟨*л. 10*⟩ люди радостно встречают праздник, – прямо ужасно. И все из-за Марочки. Как было хорошо, – я вспомнил наше умиленное состояние и чуть не заплакал от обиды, – а теперь я тут лежу, злюсь, и она, небось, тоже лежит плачет. На этих ясных глазках теперь слезы, ей больно – и из-за чего?

Удивительно, как скверно действует на людей одиночество. Честное слово, я размышлял вполне логично, но каким же образом я через час пришел к выводу, что я действительно не прав, что[100] Марочка обижена, что обидчик я[101] и что розу следовало обязательно купить? И каким образом мне раньше не пришло в голову, что у меня есть еще теплое пальто, которое можно заложить, и денег будет сколько угодно? А потом – какая, в сущности, глупая вещь самолюбие. Что из того, что я решил не покупать розы и заявил об этом Марочке. Я доказал неосновательность ее желания и теперь могу исполнить его.

.....

– Марочка, я принес розу.

Молчание.

– Марочка!

– Ты, может, не ту купил? Я говорила про чайную розу.

– Я ее и купил. И недорого, собственно. Три с полтиной. Я еще за полтинник ландыш купил.

Марочка оборачивается и[102] с видом недоверия к моей способности отличать чайную розу от всякой иной смотрит на цветок. Слава богу, оказывается, та самая.

---

[98] да *вписано*.

[99] *Далее было:* сознавал, что

[100] *Далее было начато:* Зин⟨аида⟩

[101] , что обидчик я *вписано*.

[102] *Далее было:* недоверчиво

– А ты ее нюхал?

– Нет, совсем упустил из вида.

Но Марочка великодушна и прощает мою вину[103]. Она встает, подходит к столу, и мы вместе начинаем рассматривать покупку. Марочка говорит, что роза пахнет великолепно, я соглашаюсь, хотя, между нами, совсем ничем она не пахла, а если и пахла,[104] так очень скверно. Хотя возможная вещь, что я потому не разобрал запаха, что Марочка держа⟨ла⟩[105]

---

[103] *Вместо:* мою вину – *бы́ло:* мне это

[104] *Вместо* и пахла, – *было*: нет⟨?⟩

[105] *Текст обрывается.*

⟨СЛУЧИЛОСЬ ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО⟩

⟨*л. 19*⟩ Случилось все это очень просто. Я стал разузнавать, где находятся Оскольские, и узнал, что Наталья Николаевна год тому назад вышла замуж и у нее уже есть ребенок. Что произошло со мною вслед за тем – и совестно, и страшно, и[1] хорошо вспомнить, как хорошо бывает через десятки лет вспоминать великое и пережитое[2] горе. Помню, что я рассмеялся при этом известии и в течение получаса вел речь о пустяках. Помню, как поспешно я шел домой, бережно[3] неся свое горе, как наполненное водою блюдце, смутно соображая, что там, в тех четырех стенах, где я поборол свою совесть, нужно бороться и с этим горем. А там, дома, упал я ниц в свою постель, впился зубами в подушку – и лежал так долго, весь сосредоточившись в одном напряженном усилии, омертвевший, пришибленный. Отупение сменялось припадками острого безумного отчаяния... И вот что странно ⟨*л. 20*⟩ мне до сих пор: среди тех упреков, какими я забрасывал Н⟨ atалью⟩ Н⟨иколаевну⟩, самым энергичным и сильным, доводившим меня до исступления, был упрек в том, что для нее я сделался подлецом. Я забыл всю ту радость и гордость, какая только за[4] день перед этим наполняла меня при мысли, что я свободен от пут морали – чуть ли я не говорил даже и того, что, быть может, для нее я "исправился бы". Я чувствовал, что с потерей Н⟨атальи⟩ Н⟨иколаевны⟩ сломан, уничтожен последний мостик, соединявший еще меня с людьми, – и страшно и горько было мне остаться одному, совсем одному.

Но недаром[5] прошли четыре года борьбы с собой.[6] Окрепла моя воля; только на миг можно было согнуть ее – и выпрямилась она, более сильная, более могучая, чем раньше. Как раньше не

---

[1] *Далее было начато:* при⟨ятно⟩
[2] *Было:* неизмеримое (*незач. вар.*)
[3] бережно *вписано.*
[4] *Было:* до
[5] *Далее было:* были
[6] *Далее было:* Как раньше

побоялся я с острым ножом анализа забраться в самые тайники души своей и вонзить этот нож в святые чувства, так теперь я стал ⟨*л. 20 об.*⟩ думать над своей последней и величайшей слабостью – любовью к Н⟨аталье⟩ Н⟨иколаевне⟩. О великий мозг! Если бы люди никогда не забывали, сколько мощи, сколько божественной силы в этой кучке серого вещества!

День за днем обнажал я свою любовь от мистических покровов, остатков прошлого. Сложны, красивы и обманчивы[7] были эти покровы, облекавшие голый[8] инстинкт; но режь, мой скальпель! Смело вонзайся в эту голубиную чистоту, отделяй пласт за пластом эти нежные, тонкие чувства – и посмотри, что останется от того чудного, загадочного, заманчивого видения, которое века, сотни веков одуряет человечество! Как я смеялся, воображая Н⟨аталью⟩ Н⟨иколаевну⟩ в объятиях мужа, рисуя самые грязные, пошлые картины и думая: "это она, моя *чистая,* она!" И когда все же сжималось непокорное сердце, я понимал, отчего сжимается оно: ревность, самолюбие отвергнутого самца – и только.

Не буду утомлять вашего внимания этими ⟨*л. 21*⟩[9] истинами, которые наши⟨?⟩ мудрецы, стреляющиеся из-за любви, называют избитыми. Факт тот, что не прошло и года, как я взглянул на Н⟨аталью⟩ Н⟨иколаевну⟩ сверху и назад⟨?⟩, так же как и на свою совесть. И не могу вам сказать, в чем было больше радости: любить ли ее так, как я любил, или презирать, как научился презирать. Знаю только, что я почувствовал себя теперь совершенно свободным. Раньше, празднуя свои Вальпургиевы ночи, я подумывал: а вдруг Н⟨аталья⟩ Н⟨иколаевна⟩ увидит мою подлость, – и становилось немного жутко... А теперь... Свобода!

В те четыре года, как я поджидал Н⟨аталью⟩ Н⟨иколаевну⟩, я вел почти аскетическую жизнь, но тут пустился в разврат. Впрочем, зачем называть это развратом: разврат, когда ходят в дома терпимости, а я это делал только в редких случаях. Зачем подвергать себя[10] риску, когда можно вокруг найти десятки и сотни чистых и красивых ⟨*л. 21 об.*⟩ женщин? Вы уже столько знаете и читали об адюльтере, что не я стану вам о нем рассказывать. Скажу, что занимался я и адюльтером, и с большим успехом. Обольщение девушек тоже не новость – занимался и я им. Все это мелкие житейские делишки – а вы, я чувствую, ожидаете от меня каких-нибудь особенных подлостей и думаете: "скоро же

---

[7] *Было:* загадочны (*незач. вар.*)
[8] *Было:* чистый
[9] *Далее было:* избитыми
[10] себя *вписано.*

начнутся преступления?" Простите, что я вас разочарую: только два преступления совершил: одно, когда украл 15 рублей, – и вот теперь убийство[11]. Даже деньги, к которым я стремился, как[12] должен стремиться всякий умный человек, я нажил без преступления. Я много работал, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ любил работу, а в частности, в нашей профессии мне иногда представлялась возможность подставить ножку истине и одурачить умных людей. Вероятно, и вам, коллеги, приходилось испытывать наслаждение при виде растерянной физиономии вашего ⟨*л. 22*⟩ противника, сознающего, что у него из-под носа украли истину, жалкого, беспомощного и необыкновенно комичного в своей ненависти к вам. Я продолжал культивировать свою силу – и она приносила мне наибольшее количество наслаждений. Деньги я получал вполне заслуженно, хотя, быть может, больше, чем следует; но да это с кем не[13] случается. Все же денег мне не хватало – я женился на деньгах. Здесь впервые мне пришлось возмутить общественное мнение. Дело[14] в том, что[15] года за два до женитьбы я сошелся с одной очень миленькой барышней, дочерью благородных, но бедных родителей. О связи нашей и о том, что у нас есть ребенок, знали очень многие, и когда я, женясь, принужден был бросить ее, на меня напустились, хотя я, просто чтобы не возиться, гарантировал ей ⟨*л. 22 об.*⟩ вполне приличное содержание. Она пробовала сперва травиться, отказывалась от денег, потом взяла их "для ребенка" – а теперь, вероятно, давно утешилась и прекрасно с своим супругом или возлюбленным проживает мои денежки. Но мои сотоварищи возмутились, а, ей-богу, многие из них бросали, да еще денег не давали. С женой я пожил недолго. Она умерла, оставив мне деньги. Не думайте, что я отравил ее, – нет, мне и самому было жаль ее: женщина она была умная, практичная, понимали мы с ней друг друга прекрасно.

Прошло уже много лет,[16] когда я почувствовал, что мне становится скучно. Начал как-то пропадать аппетит к жизни. Работа перестала удовлетворять меня, известность, "слава" надоедала,[17] деньги были, а тратить их не на что. Одно еще оставалось – женщины, продолжавшие притягивать к себе, но я ⟨*л. 23*⟩ боялся,

---

[11] *Далее было:* , другое
[12] *Далее было:* к реализации
[13] *Далее было начато:* быв⟨ает⟩
[14] *Далее было:* не
[15] *Далее было: а.* моя супруга представляла собой какого-нибудь монстра и это бросалось всем в глаза *б.* назад⟨?⟩
[16] *Далее было:* как я расстался с Н⟨атальей⟩ Н⟨иколаевной⟩
[17] *Далее было:* женщины и

что скоро и это кончится. Видите ли, в чем дело: с Н⟨атальей⟩ Н⟨иколаевной⟩-то я простился не совсем. Я и не думал о ней, и не желал ее – она противна мне стала с тех пор, как к ней прикоснулась[18] чужая рука, но она давала себя чувствовать другим, еще более прискорбным образом. Я не мог забыть, *как я ее любил*. Сходясь со всякой другой женщиной, я с трепетом ожидал найти в себе прежнее захватывающее и властное чувство – и каждый раз горько разочаровывался. То, да не то. А того так и не было, хотя я и не переставал искать, но уже начиная злиться и на себя, и на Н⟨аталью⟩ Н⟨иколаевну⟩.

Но была другая, важнейшая причина для скуки – и тяжело мне было сознаться перед самим собой в существовании ее: во мне опять начался разлад.

Помните, я говорил: чего не могут[19] сделать эти руки, когда ими[20] управляет свободный ум? И вот настал момент, когда недостаточно стало ⟨*л. 23 об.*⟩ для меня этого сознания, когда я почувствовал[21] потребность делать. Но что? Пока я стремился к деньгам, известности и разным мелким наслаждениям, эта сила как будто находила исход. Но вот теперь: есть деньги, есть известность, наслаждения приели⟨сь⟩ – куда девать эту силу? И когда я вгляделся глубже, меня охватил страх: ведь моя сила в свободе[22]. Для меня не существует добра и зла. Свободен мой полет, но куда же, куда лететь? И содрогнулся я при мысли, что моя сила, дававшая мне опору для жизни, – пустое место.

Я ставил раньше целью жизни наслаждение и для этого стремился быть силой. Я стал силой, но источник наслаждений обычных иссяк – где же искать новых? Мне только 35 лет; при моем здоровье мне жить еще столько же: что же я буду делать в эти года?[23] И снова стал я думать упорно, методично и замкнуто. Я искал источник ⟨*л. 24*⟩ новых наслаждений.

Увидел я, что люди наслаждаются, творя добро или зло. Но мне безразлично то и другое. Не гонясь за словами, я, пожалуй, готов был бы делать и добро – но[24] нужно, чтобы это было мне приятно, но этого нет. Чтобы делать добро, не нужно иметь разума, а нужно любить, т.е. испытывать некоторое особенное чув-

---

[18] *Далее было начато:* др⟨угая⟩
[19] *Было:* может
[20] *Вместо:* когда ими – *было:* которыми
[21] *Далее было:* потребовал (*незач. вар.*)
[22] *Далее было:* от добра и зла
[23] *Далее было:* Когда люди не живут для своего тела, они
[24] *Далее было:* мне неинтересно это, не дает никаких наслаждений

ство, не всем доступное. А если иметь один голый разум, вот как у меня, так он скорее сумеет доказать необходимость делать зло, чем добро. Но мой разум и этого не доказал. Ну, сделаю я какое-нибудь зло – ну что мне от этого? Ну не один ли для меня черт, плачут люди или смеются, живут или умирают... Да и какое зло я сделаю? Наплюю в чужой стакан с пивом, что ли? Или анархистом сделаюсь и десяток людей на воздух взорву? А для чего? Зло для зла – бессмыслица, а цели для него я не вижу. Зло для зла – удел лишь дегенератов; для г. анархиста[25] зло называется все тем же добром. И я признаю зло лишь как средство. Но цель, где же цель? С настойчивостью, с трепетом допрашивал я свое тело: скажи, чего ты хочешь, я все сделаю для тебя! – но оно было безмолвно. Будь у меня особенно сильный ум, дар проповедничества – я... ⟨*л. 24 об.*⟩ Да и тогда, что я?

Настало для меня времечко, пожалуй, похуже того, когда я как угорелый метался с вопросом "к чему?". Перед моими глазами расстилалась пустыня. Пробовал я пить. Пил по-русски, по-английски – ни то, ни другое не помогло[26]. Думал уж я заняться чем-нибудь посильнее, когда внезапно пришло спасение – оттуда, откуда я его не ожидал. Н⟨аталья⟩ Н⟨иколаевна⟩[27]

[25] *Далее было:* зло
[26] *Было:* помогало
[27] *Текст обрывается.*

⟨*л. 1*⟩ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Талантливый репортер, он же подающий надежды молодой беллетрист Лев Степанович Сабурский, был весел. У репортеров, даже талантливых, и у молодых беллетристов радость выражается теми же примитивными способами, как и у простых людей, не знакомых с искусством воплощать свои и чужие горесть и радость[1] ⟨в⟩ прочувствованных и вдохновенных строках (пять коп⟨еек⟩ строка).

Тихое и интеллигентное немецкое семейство, бесплатно дающее практические уроки языка тому счастливцу, который пожелал бы снять у них комнату со столом, уже в течение двух месяцев с серьезною грустью наблюдавшее, как этот[2] молодой человек чудовищно[3] коверкает чудный немецкий язык, было поражено, услыхав ранним утром странные звуки, исходившие из комнаты жильца.

– Он поет? – спросил Герг Блюмберг, останавливая на полдороге подносимую ко рту чашку кофе.

Фрау Блюмберг прислушалась.

– Да, он поет.

– Но почему он так странно поет? Быть может, он не поет?

Обдумав вопрос, фрау Блюмберг послала сына Фрица[4] осведомиться[5] у господина[6] о характере и причине звуков. Оказалось, что он "напевает".

– Но мы должны будем заявить господину, что отдавали комнату без пения.

– Напевания, – поправил муж.

– Все равно. У нас дочь невеста.

Кухарка Авдотья, подававшая жильцу газету и самовар, выскочила ⟨*л. 2*⟩ из его комнаты с несвойственной ее грузному телу

---

[1] радость *вписано.*
[2] этот *вписано.*
[3] чудовищно *вписано.*
[4] *Вместо:* сына Фрица – *было:* Фрица, сына,
[5] *Было:* узнать
[6] господина *вписано.*

поспешностью, и хотя к добру и злу была постыдно равнодушна, на широком лице ее выступила краска смущения.

– Ишь, козел! – охарактеризовала она нравственные, по-видимому, свойства жильца, так как физические этого не допускали: у Льва Степановича бороды не было и вообще все знали его за человека, и даже красивого человека.

Чтобы обрадовать репортера, необходимы веские причины. Такие были. Мало того: всё, решительно всё сложилось к тому, чтобы Лев Степанович радовался. Во-первых, просмотрев свой отчет о[7] думском заседании, он с радостью убедился в гуманности редактора, имевшего в руках синий карандаш – и ничего не вычеркнувшего. Это было неправдоподобно – но это был факт симпатичный, как назвал бы его Лев Степанович, если бы ему потребовалось описать это небывалое явление. Но это были всё пустяки. Рублем больше, рублем меньше, сотней рублей больше, сотней меньше – разве это что-нибудь значит теперь, когда[8] богатство, слава, счастье – всё у его ног!..

Вероятно, танец был индейский[9]: судя по двум па, сделанным Львом Степановичем, только вольный сын пампасов мог с такою легкостью, но без соблюдения правил перемещаться в пространстве.

Если бы неделю, только неделю тому назад кто-нибудь, обладающий даром провидения, сказал Льву Степановичу, что он будет петь и исполнять индейские[10] танцы, Лев Степанович принял бы это за неуместную шутку или злостный намек на отсутствие вокальных и хореографических способностей – и только. Только неделю, ⟨*л. 3*⟩ всего неделю тому назад не было ничего в мире унылее Льва Степановича. Сухая, безжизненная работа – без надежды выбиться когда-нибудь на дорогу; глубокая, искренняя и преданная любовь к "ней" – без всякой надежды на взаимность. И вдруг – сразу, как Deus ex machina*, – меняется декорация. На месте унылой, бесплодной, дикой местности, где в одиночестве томилась его[11] душа, вырастает волшебный замок, а в этом замке "она" и слава...

Нет, комната слишком мала, чтобы вместить Льва Степановича с его необъятной радостью. К черту работу![12] На воздух! К людям![13] Разве не для него так ярко светит солнце?! – Разве не

---

* Бог из машины (*лат.*)

[7] *Далее было начато:* засе⟨дании⟩

[8] *Далее было:* деньги

[9] *В рукописи:* индийский

[10] *В рукописи:* индийские

[11] его *вписано.*

[12] К черту работу! – *вписано.*

[13] *Далее было:* К черту работу⟨!⟩

для него хмурая осень скинула свой печальный наряд и природа, как[14] засыпающая красавица, улыбнулась и теплом, и весеннею ласкою?

– И впрямь козел! – должна была повторить свое изречение Авдотья, запирая за жильцом дверь.

Поняли-таки, признали талант. Когда в одно утро – неделю тому назад – Лев Степанович увидел в газете напечатанным свой рассказ, который он считал похороненным в портфеле редактора, он даже испугался. Таким ничтожным, вульгарным казался рассказ – простой, бесхитростный. Льву Степановичу совестно было даже в редакцию идти. И вдруг – хор похвал, да каких похвал! Неловко вспоминать даже. И Сергей Игнатьевич, этот суровый Сергей Игнатьевич, просит: давайте еще рассказов, еще и – еще. Целую неделю только и слышал Лев Степанович, что похвалы да похвалы. У него уже голова кружиться начала. А ⟨*л. 4*⟩ тут вчерашний день. Но это уж прямо что-то невероятное. Там еще можно было ожидать, что рано или поздно его оценят, – но думать, что он встретит Евгению Николаевну, проведет с ней почти целый день и она не скажет ему обычное, трижды проклятое нет...

---

[14] *Далее было:* проснувшаяся ⟨?⟩

⟨У АЛЕКСАНДРЫ СЕРГЕЕВНЫ ПОТАНИНОЙ...⟩

У Александры Сергеевны Потаниной было четверо детей. Трое из них, давно уже вставшие на ноги, жили в разных местах России и[1] изредка переписывались с матерью. Старший сын, Андрей Антонович, служил в одной из дальних губерний врачом. Это был человек замкнутый, молчаливый, со странными идеями какого-то особенного народолюбия. Если бы это было на десять лет раньше, он, вероятно, ушел бы в народ с чемоданом, забитым запрещенными брошюрками. От семьи он держался вдалеке, со времени студенчества заведя свои особые знакомства. И теперь вот уж около двух лет Александра Сергеевна не получала от него писем, что не особенно удивляло и мучило ее. И она, и покойный муж ее считали Андрея очень ограниченным и сухим сердцем человеком, каким-то выродком в талантливой и культурной семье.

[1] и *вписано.*

ПОСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ

ЧН1

⟨*л. 41*⟩ ПОСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ

На Тверской есть обширнейшие меблированные комнаты, занимающие несколько корпусов. Тот корпус, в котором обитали мы, студенты,[1] назывался в то время "разбойничьим". Весьма возможно, что это название было до известной степени справедливо, но нельзя отрицать, что[2] есть другие, более справедливые названия. Так, некоторые называли его[3] Бедламом. Извозчики оказывали предпочтение непонятному наименованию: "Венецейская республика", причем под данным образом правления они усматривали неукоснительную способность сваливаться с сиденья и принимать вертикальное положение лишь при посредстве швейцара. Республиканцы, или сумасшедшие, или разбойники – наименование зависело от точки зрения – занимали ряд номеров, узких, высоких и грязных, проходивших вдоль бесконечных коридоров. Первый, второй и третий этажи ничем не отличались друг от друга, кроме разве того, что при многочисленных случаях борьбы со стихиями с третьего этажа приходилось пересчитывать донизу порожков гораздо больше, чем со второго. Различались, впрочем, этажи и по коридорным[4]. В первом этаже коридорный Алексей в любое время дня и ночи мог достать водки, причем не всегда требовал денежного эквивалента, но умело обходился посредством пустых бутылок. Вторым этажом заведовал отчаянный скептик и пессимист Егор, который даже отцу ⟨*л. 42*⟩ родному не поверил бы пятак в долг. На третьем этаже мы не бывали, но по доходившим оттуда до нас слухам знали, что живут там избранные и при них прислуживают тоже избранные.

По странной игре случая шишкой разбойников в разбойном корпусе считался № 74 – тот самый, в который имел несчастье поселиться[5] я[6] и мой товарищ Воронков Алексей. Мне кажется,

---

[1] студенты, *вписано*.
[2] *Вместо:* нельзя отрицать, что – *было:* хотя
[3] *Вместо:* некоторые называли его – *было:* я назвал бы его скорее
[4] *Было:* коридорам
[5] *Было:* попасть
[6] *Далее было:* тогда

подобному взгляду на нашу скромную обитель могло содействовать то обстоятельство, что рядом с нами, в № 85, жили два студента, черногорец Вук и серб Райко, оба ужасные пьяницы. И кроме того, вверху, во втором этаже, как раз над нами, жил[7] наш земляк Тольчин, также иногда бывавший трезвым (но очень редко, иногда и наоборот[8]). Тольчин обладал[9] прекраснейшим басом и русофильскими наклонностями. Единственным, кому не нравился голос Тольчина Мишки, был местный кот,[10] при первом звуке с быстротой электричества пролетавший весь коридор и убедительно упрашивавший швейцара пустить его и дальше. Эта идиосинкразия обусловливалась, мне думается, тем, что Тольчин раз напугал кота особенно высокой нотой, и с той поры последний не мог равнодушно относиться к хорошему голосу. Впоследствии к мнению кота присоединился и управляющий комнатами, который ничего не имел, собственно, против голоса и восставал лишь против методы пения. В силу русофильских наклонностей Т⟨ольчин⟩ – высокий, с виду сумрачный, с длиннейшими усами малый – почти всегда ⟨*л. 43*⟩ под студенческим сюртуком ⟨носил⟩ русскую рубашку, большею частью красную, и когда то допускалось приличиями – высокие охотничьи сапоги. С виду он, правда, был строгим, но в душе очень добр, и когда напивался, начинал толковать о понятии истинного товарищества, о золотой душе и[11] о том, что все теперь на свете свиньи.

У Вука был тенор – довольно звонкий;[12] у Райко был дикий голос. Когда он пел национальные песни, я начинал понимать истинную причину[13] турецких зверств[14]. У моего сожителя Воронка был бас, называвшийся почему-то "кантатой". Это была неприятная вещь. У меня был бубен. Теперь понятно, что, когда все они собирались в наш номер и сообща устраивали концерт, администрация не имела возможности составить себе хорошее мнение о нас.

С Рождества 189... года наши увеселения значительно изменили свою программу и несколько регулировались. Все мы были горласты и, за исключением меня, состоявшего лишь на втором курсе, находились на четвертом, так что необходимо было готовиться к госуд⟨арственным⟩ экзаменам.

---

[7] *Далее было начато:* от
[8] иногда и наоборот *вписано.*
[9] *Далее было начато:* окт⟨авой⟩
[10] *Далее было:* который
[11] *Далее было:* идеалах
[12] *Далее было:* у меня тоже тенор (*исправленное взято в круглые скобки*)
[13] истинную причину *вписано.*
[14] *Вместо:* турецких зверств – *было:* турецкие зверства

ЧН2

⟨*л. 44*⟩ ПОСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ

В 189... году испытания в юридической государственной комиссии были очень несчастливы. Из 400 человек державших провалилось около половины. В числе провалившихся находилось трое моих товарищей-земляков – Тольчин, Воронков и Попов.

В этом году, после Рождественских каникул, мы решили с Воронковым поселиться вместе. Хотя я находился только на втором курсе и никакой поддержки в подготовке ему оказать не мог, но нас соединяла с ним старинная гимназическая приязнь. В тех же меблированных комнатах через номер от нас поселились Тольчин и Попов. У всех троих государственников было только два экземпляра лекций, что и заставляло поддерживать деятельные сношения друг с другом. Впрочем, и без этого, по привычке быть вместе[15] и сообща готовиться к экзаменам, они едва ли могли бы расстаться друг с другом. В том же коридоре жило еще два студента, также готовившихся к государственным экзаменам и вскоре, в виду близкой опасности, сошедшихся с нами. В феврале и марте в нашем номере 74-м, ⟨*л. 45*⟩ служившем сборным пунктом для остальных, царило веселье, носившее тот своеобразный характер, благодаря которому нашим комнатам было присвоено наименование[16] "Разбойничьих" или "Веницейской республики". Последнее название дали извозчики, подразумевавшие под данным образом правления неукоснительную способность сваливаться с сиденья и принимать горизонтальное положение лишь при посредстве швейцара. Я, признаться, как новичок еще, недоумевал, как можно готовиться к экзаменам при таких условиях, как мои товарищи. Утро начиналось с того, что коридорный Алексей посылался за бутылкой водки и бубном, который вместе с гармонией находился на хранении в конторе.[17] Оба эти инструмента раньше⟨?⟩[18] находились у меня, но вследствие несвоевременного[19] их употребления администрация сочла за благо в одиннадцать час⟨ов⟩ вечера отбирать и утром возвращать.

Напившись чаю и распив впятером бутылку,[20] приступали к первому пункту подготовки. Он заключался в том, что Тольчин –

---

[15] *Было:* друг с другом
[16] наименование *вписано.*
[17] *Далее было:* Раньше (*незач. вар.*)
[18] раньше⟨?⟩ *вписано.*
[19] *Было:* неумеренного
[20] *Далее было:* я в то время не пил (*исправленное взято в круглые скобки*)

высокий, с виду сумрачный малый, с длинными казацкими усами, – брал гармонию, сухощавый, слабосильный, но ловкий и юркий Попов вооружался бубном – и через минуту бесшабашная, залихватская песня разносилась по номерам. У всех у нас были более или менее хорошие голоса, а у Тольчина даже совсем ⟨*л. 46*⟩ хороший бас. Не нравился он только одному местному коту[21], потому, вероятно, что Тольчин[22] раз напугал его неожиданно высокой нотой, после чего кот не мог равнодушно относиться к хорошему голосу. Задрав хвост палкой, он молнией пролетал коридор и убедительно просил швейцара пустить его и дальше. Одним лишь неудобством было то, что на пять басов у нас приходился один тенор, да и то жиденький[23], вследствие чего рев получался оглушительный. Проорав минут 15 с присвистом, топотом и гиканьем, товарищи мирно расходились по своим комнатам и принимались за зубрежку. Кто брал синий карандаш и немилосердно черкал исчерканные листы, кто, ходя по комнате, бормотал, проверяя свои приобретенные вчера познания. Тольчин во всю длину растягивался на кровати и становился свиреп. Так же свиреп становился и сожитель мой Воронков – "Вороненок", как мы его называли. За внешним видом здорового и крепкого, хотя не в меру худого человека он таил большой запас нервности и в эти минуты напоминал собою лейденскую банку. Боже упаси заговорить или тронуть его! Сгорбившись над столом, он зажимал уши руками и впивался глазами в скверно литографированные листы. Ему особенно хотелось выдержать, так как он жил на средства родственников[24] и тяготился этим.

Часа в два, перед тем как идти обедать, № 74 снова на четверть часа наполнялся ревом, свистом и гиканьем. ⟨*л. 47*⟩ После обеда часа два спали, потом опять пели и, отведя душу, готовились. Часов в десять являлась бутылка водки, а то и полторы. Выпив и в последний раз проорав что требуется, садились за лекции вплотную и занимались до поздней ночи. Иногда друзья срывались и вместо лекций гнали Алексея за новой бутылкой и за ней рассуждали о возможных результатах экзаменов, понемногу напугивая друг друга до того, что только самая развеселая песня могла хоть несколько поднять упавший дух. Постепенно я привык к этому режиму и стал находить его вполне естественным, не

---

[21] *Далее было начато:* котор⟨ый⟩

[22] *В рукописи:* Ольчин

[23] *Далее было:* у меня был тенор хороший! (*исправленное взято в круглые скобки*)

[24] *Вместо:* на средства родственников – *было:* у родственников, родителей у него не было, отец у него умер, а у матери средств не было

замечая того, как ежедневно, ежеминутно увеличивалась нервность государственников, платившихся за искусственное возбуждение алкоголем.

К концу марта картина подготовки с внешней стороны оставалась почти той же, но в действительности можно было подметить сильные перемены.[25] Водки пилось больше, но действия она оказывала меньше. Торопливее, порывистее стали движения, горячее и нервнее речь. Обычные[26] песни звучали как-то особенно весело, дико весело и разгульно. Тысячи прочитанных страниц колом стояли в голове, и только эти бесшабашные, удалые звуки давали ей[27] отдых[28] и отгоняли призрак ⟨*л. 48*⟩ других тысяч страниц, которые нужно прочесть. Все стали особенно раздражительны и из-за пустяков ссорились друг с другом и внезапно мирились. Все разговоры были изгнаны, и только слышались одни юридические термины да изредка[29] толки о строгости предполагаемого председателя. В глубине души все надеялись, что будет не Ф., которого все безумно боялись, а другой. В один день Вороненок отправился в у⟨ниверсите⟩т за новостями и, придя, сказал:

– Председателем Ф.

Мне показалось, что все приняли это спокойно, но уже со следующего дня появились резкие признаки предэкзаменационного страха. Тольчин совсем ослабел и перестал понимать. В разгар пения он стал исчезать и через минуту появлялся с озабоченной физиономией.

– Чего это ты? Куда ходил?

– Да забыл, что такое "свидетель". Ходил посмотреть... Постой, опять забыл!

И при общем[30] и слишком искреннем смехе он снова исчезал. Вороненок, решительный с виду и самоуверенный[31], смеялся больше всех, и только я один подозревал, до чего он боится и что за мысли копошатся у него в голове, когда, улегшись спать, он еще долго курит[32], плюет и зевает.

Первым провалился Попов на "уголовном процессе". Это почти никого не удивило и всех обрадовало. Думали, что раз судьбе нужна жертва, то, может быть, она удовлетворится Попо-

---

[25] *Далее было:* Результатов вод⟨ки?⟩
[26] *Далее было:* перерывы
[27] ей *вписано.*
[28] *Далее было:* перед
[29] *Далее было:* разговоры об экзаме⟨нах⟩
[30] *Далее было:* искусственном
[31] *Было:* сильный (*незач. вар.*)
[32] *Было:* кряхтит

вым и других не тронет. Попов почти ничем не удивился, но счел своим долгом приняться основательно за водку. Другие все выдержали первые два экзамена и в течение двух дней ходили уверенные в себе и радостные. На гражданском праве провалились двое – Тольчин и один из саратовцев. Дольше всех держался Вороненок – он провалился на римском праве.

В этот день у меня был последний экзамен, и мы решили ехать все домой. Это было в пятницу 17 мая. Пьянствовавшие и таскавшиеся где-то по садам Тольчин и Попов решили ехать вместе.

⟨ПАТРОН ПОМОЩНИКА ПРИСЯЖНОГО ПОВЕРЕННОГО...⟩

Патрон помощника присяжного поверенного Антона Осиповича Кручинина был хороший человек, но страдал красноречием. Когда он посылал помощника с прошением к мировому судье, он обыкновенно брал его за пуговицу, сперва за верхнюю, а когда верхняя отрывалась, то за среднюю[1] и передавал ему[2] со стенографическою точностью все речи, которые он когда-либо и по какому-либо делу говорил перед судом. Хотя все эти речи были полны красоты и благородства, Кручинин часто опаздывал к судье и у него разбаливалась голова. Поэтому он не раз хотел уйти от патрона, но голова переставала болеть, и он оставался, тем более что[3] Александр Викентьевич в прошлом году дал ему дело и мог дать и в этом. А в делах Кручинин нуждался.

3 октября А⟨лександр⟩ В⟨икентьевич⟩, уезжая на несколько дней из Москвы, рассказал Кручинину о знаменитом деле, об отчуждении, в котором А⟨лександр⟩ В⟨икентьевич⟩ в пух разбил прокурора и гражданского истца и, кстати, попросил помощника эти дни пожить в его холостой квартире и принимать[4] клиентов, если[5] клиенты будут. Кручинину предложение патрона было на руку, ибо[6] хозяйка его квартиры также страдала красноречием и говорила о делах, но не тех, которые у нее были, а которые будут, именно о взыскании квартирной платы с[7] неаккуратного жильца, который не щадит вдов и сирот. Уже с неделю Кручинин кочевал по знакомым, оставив хозяйке свой чемодан – на время, конечно. Постель у патрона была мягкая, слуга Степан ласковый, и потому утром на другой

---

[1] *Было:* нижнюю
[2] *Далее было начато:* ст⟨енографическою?⟩
[3] *Далее было:* патрон
[4] *Далее было начато:* посет⟨ителей⟩
[5] *Далее было:* таковы⟨е⟩
[6] *Было:* ему
[7] *Далее было:* одного

день по отъезде А⟨лександра⟩ В⟨икентьевича⟩ Кручинин проснулся жизнерадостным.

Зеркало, находившееся в приемной патрона, отражало в себе много различных фигур, но ни на одной из них не останавливалось оно с такой внимательностью, как на фигуре Кручинина. С какой, в сущности, радости зеркало так точно[8]

[8] *Текст обрывается.*

⟨ПЛАНЫ РАССКАЗОВ. ИЮЛЬ 1899 г.⟩

⟨1⟩

Очень крепкие и сильные муж и жена. Жена работает, муж бьет ее и измывается. Однажды она ломает об ногу полено и говорит: отчепись[1], а то убью. Он смиряется и, когда она зовет его из шинка, отвечает "Зараз" и поясняет собутыльникам: жалко детей, сиротами останутся.

⟨2⟩

Десять лет жена, "чугунка", пилит мужа. Он молчит: но однажды окрысился.

Ч⟨угунка⟩. – А хочешь меня убить, как Гершку убил!

Оказывается, что десять лет тому назад он убил жида Гершку, но давность уже протекла. И после этого чугунка совершенно перестает злиться и они живут счастливо.

⟨3⟩

Ездить по кругу своей родственности. Упокойный человек.

---

[1] *Было:* отцепись.

⟨АНТОН ИЛЬИЧ БЫЛ ЧЕЛОВЕК МНИТЕЛЬНЫЙ...⟩

Антон Ильич был человек мнительный, опасливый и аккуратный, и когда ему приходилось ехать по железной дороге, он задолго до момента осуществления этой печальной необходимости впадал в тоску и отчаяние. С мужественною покорностью, как истинный христианин, он относился к возможной потере какого-либо из членов или даже самой жизни, но никак не мог помириться с теми железнодорожными бедствиями, которые, оставляя жизнь в сохранности, на долгое время делают ее постылою, а в душу внедряют начала возмущения и деморализации[1].

Одна из поездок особенно дурно отразилась на характере Антона Ильича, и кроме того, весьма сильно повлияла на здоровье, уже расшатанное предыдущими поездками. В настоящее время он – старик, седой и как будто облезлый, тогда как из дому он выехал сравнительно моложавым и безупречно черным: черны были его волосы, и усы, и борода.

Он уже возвращался из поездки в Москву, где нетерпеливо ожидала его многочисленная семья, и находился на полдороге, питая в душе легкую надежду на благополучный конец. На вокзале одного города, составлявшего узловой пункт двух железнодорожных линий, ему пришлось переждать[2]

---

[1] *Было:* недовольства

[2] *Текст обрывается.*

ИЗ ЗАПИСОК АЛКОГОЛИКА ⟨1899⟩

ЧАСТЬ I

ИЗ ЗАПИСОК АЛКОГОЛИКА

II

Со мной случилось несчастье. Меня прогнали с урока. Черт его знает, как это случилось, но вчера я сильно напился с утра. Так что-то засосало внутри. Получил я накануне деньги, расплатился за комнату – осталось у меня 5 р⟨ублей⟩. Подумал я: 5 р⟨ублей⟩! – и напился. Смутно помню, что я проделывал[1] там, на уроке. Корчил, кажется, ученику какие-то рожи, потом чуть не заснул. Володька испугался, позвал мать. Помнится, стоит она передо мною, а я разливаюсь перед ней в жалобных речах и о чем-то плачу. Фу, какая гадость! Давали мне воды с нашатырем, успокаивали, – а сегодня утром письмо – "извините, но... и т.д."

Черт с ними. Сейчас еще есть деньги, выпьем, а завтра. Э, да к черту, тоска.

Вот она, голубка, водка[2]. Только отчего же страшно мне опять браться за нее? Доконает она меня. Доконает.

Каким отрезанным от всего мира чувствую я себя сейчас. Странно подумать, что там, за этими стенами, живут миллионы людей, радуются, плачут, любят. Где они?

Почему у меня нет друзей, близких, ну просто⟨?⟩ товарищей? Я студент – антитеза одиночества. А никто вот сейчас не завернет ко мне, ни к кому и я не пойду, даже ⟨*л. 5*⟩ к тем, которые пьют водку. Чем отталкиваю я от себя этих господ? Я ведь стараюсь быть таким же, как и они. Разговариваю с ними о лекциях, книгах – спорю вот только редко. Вероятно, они чувствуют фальшь в моем голосе. Вероятно, я не могу скрыть, как все они скучны мне, как мелки их желаньица, детски наивна и мальчишески задорна их вера в этот чертов прогресс. Чего-то ждут, на что-то надеются...

А я – разве я не надеюсь на невозможное? Разве вот сейчас где-то в глубине души не всколыхнулась у меня жажда жизни; светом повеяло, теплом... Откуда это?

Не берет меня водка.

---

[1] *Далее было:* чт⟨о⟩

[2] водка *вписано.*

ЧА2

⟨*л. 106*⟩ У самой стены стояла толстая береза, и ее ветви протягивались к обоим окнам той комнатки, в которой занимался студент Петров с своим учеником. Благодаря дереву и его зелени, заглядывавшей в окно, в ней стоял мягкий зеленоватый сумрак и в самые жаркие дни было свежо и приятно. Тем не менее когда Петров успел только усесться на стул и вытирал платком запотевший лоб, Абрамчик заявил:

– Я совершенно задыхаюсь от жары.

И в доказательство того, что это правда, отвалился на спинку стула и полузакрыл глаза. Не получив ответа, он добавил:

– И голова, что-то... того, побаливает.

– Вероятно, простудились, – участливо осведомился студент и сделал участливую мину.

– Наверно простудился, – вздохнул Абрамчик.

– Так не сказать ли мамаше?

– Нет, не стоит ее беспокоить. Будем, видно, заниматься, хотя не так усиленно. Да и чего вам на самом деле торчать тут, погода такая хорошая. Вон птички поют.

– А не сообщите ли вы мне, что вы сегодня готовили по латыни?

⟨*л. 106 об.*⟩ – Началось, – пожал плечами Абраша и полез за книжкой, углы которой были обгрызены, переплет оборван и из корешка торчали нитки.

Петров занимался с Абрашей каждый день, и каждый день тот сообщал ему, что[3] он задыхается от жары и страдает головною болью. Оба они привыкли к этим болезненным явлениям и говорили о них совершенно спокойно и без дальнейших последствий.

– Глаголы, если не ошибаюсь?

– Да, что-то в этом роде.

Петров начал спрашивать, и Абрамчик начал отвечать. Для него это не представляло особенной трудности, так как, избрав какой-нибудь один глагол, он приписывал ему все спрашиваемые значения. На этот раз за все глаголы отвечал глагол ludere*. Он значит: петь, связывать, касаться, молчать и надеяться. По некоторым вненаучным соображениям студент предложил написать extemporale**.

– Да стоит ли? – спросил Абрамчик.– Латинский язык совершенно не нужен для жизни.

---

* играть (*лат.*)

** экспромтом (*лат.*)

[3] *Далее было*: у него

– Да уж напишите – во имя чистой науки.

– Пожалуй.

Русский текст был продиктован, и Абраша вооружился словарем. Петров смотрел на стриженую голову мальчика и думал: "тут бы надо в лес, а ⟨*л. 107*⟩ ты с этим остолопом сиди". Абрамчик лениво мусолил листы книжки и думал: "Вот идиот неотвязчивый. Меня[4] ребята ждут, а тут для него всякую глупость пиши". И оба занялись своим делом. Абраша писал, а студент шагал по комнатке, курил и глядел в окно: там сквозь густую зелень проглядывало голубое небо. Петров вздохнул, еще раз вздохнул и подумал: "трудно поверить, чтобы она любила меня действительно. Правда, она ответила на мое пожатие, правда, что я поцеловал ей руку; да и смотрит она на меня так... так..." Закрыв глаза, Петров увидел серые лучистые глаза, слегка насмешливые и в то же время нежные и ласковые.[5] Грудь Петрова наполнилась нестерпимою радостью, и он вздохнул еще раз, глубоко,[6] порывисто, так что синяя рубашка колыхнулась у него на груди.

– Вам тоже нездоровится? – спросил Абраша. – А я кончил.

– Уже? Вы просмотрите внимательнее?

– Просмотрел.

– Еще раз.

Абраша скользнул взглядом по тетради и заявил: готово. По мере того как Петров читал, его черные брови поднимались все выше и глаза принимали выражение крайнего изумления. Сберегая время и труд, Абраша все существительные поставил в именительном падеже, а глаголы в неопределенном. Союзы, лишенные своей силы, выглядывали угрюмыми педантами, попавшими в лес. ⟨*л. 107 об.*⟩ Абраша изумился, узнав, что перевод сделан отвратительно, но нисколько не протестовал против того, чтобы репетитор исправил его. Сам он, к сожалению, не мог принять участия в этой работе: он сделал все что мог. Студент волновался, но ученик был спокоен.

– Теперь напишете письменный разбор: вот эту фразу: "Овладев пушками, шведы тронулись дальше и наткнулись на сильнейшего неприятеля".

– Почему же они не пошли в другую сторону?

– Это вас не касается. Пишите.

Абраша начал писать, подумав: "вот черт!" Перо его скрипело, брызгало, и строчки то лезли в гору, то спускались чуть ли не

---

[4] *Было:* Ж⟨дут?⟩

[5] *Далее было начато:* Е⟨го⟩

[6] *Далее было начато:* рад⟨остно⟩

под стол. Студент думал: "Нужно убить еще час с четвертью. И все-таки я не могу поверить, чтобы она любила меня. Правда, что она пожала мне руку..."

– Готово.

Студент читал: "*Овладев* – им⟨я⟩[7] сущес⟨твительное⟩, пот⟨ому⟩ что стоит в именит⟨ельном⟩ падеже и имеет три рода и два наклонения. *Пушками* –[8] существительное, потому что стоит в именительном падеже. *Наткнулись* – то же. *И* – сказуемое, потому что глагол".

– Это черт знает что такое, – крикнул студент.

– А что? Много ошибок?

– Р... разбирайте.

Устный разбор[9] Аб⟨раша⟩ предпочитал, потому что репетитор[10] ⟨*л. 108*⟩ терял терпение в ожидании ответа и разбирал сам. Но Петров был почему-то сердит и привязчив и требовал, чтобы А⟨браша⟩ объяснил разницу между действительным и страдательным залогом.

– Ну вот глагол "разрубить". Можно ведь сказать: эта книга была мною разрублена?

– Какой же дурак станет рубить ее?

– Это неважно.

– Нет, это очень важно.

– Довольно!

– Чего?

– Глупостей.

– И я так думаю.

Разбор кончился, но времени оставалось еще 40[11] минут. Занятия следующим предметом, геометрией, продолжались недолго.

– Что такое аксиома?

– Аксиома есть кратчайшее расстояние между двумя точками.

– Так. А что такое планиметрия?

– Планиметрия? Это... как там сказано... пространство между двумя аксиомами.

– Достаточно. Если завтра не будете знать, я сообщу вашей мамаше. А теперь приступим к истории.

⟨*л. 108 об.*⟩ Абраша раскрыл атлас и, сев поудобнее, т.е. откинувшись на спинку стул⟨ьчи⟩ка и коленами упершись в стол, начал:

---

[7] им⟨я⟩ *вписано.*

[8] *Далее было:* имя

[9] *Далее было:* учени⟨к⟩

[10] *Далее было:* не мог (*незач. вар.*)

[11] *Было:* 50

– Древляне жили на острове, – он ткнул пальцем в середину России, – и занимались плодородием.

– Так.[12] Теперь расскажите мне о Святославе. Вы повторяли, конечно?

– Конечно.

Студент перелистывал книгу и наткнулся на описание того славного в русской истории момента, когда храбрый[13] Святослав, окруженный превосходными греческими силами, сказал воинам: "ляжем костьми, мертвые бо сраму не имут", а дружина ответила ему: "куда ты голову положишь, туда и мы".

Абраша с[14] спокойствием ученого ковырял в носу пальцем и рассказ⟨ыв⟩ал:

– Пришел храбрый Святослав на войну и говорит: спасайся, кто может. А дружина ему отвечает: куда ты побежишь, туда и мы.

– Так, хорошо. А расскажите теперь о политике Ярослава Мудрого.

Внешнюю и внутреннюю политику Ярослава Абраша передал лаконически: "выдал сына своего Олега замуж за французскую королеву – с тех пор началось удельное ведомство".

ЧН

ИЗ ЗАПИСОК АЛКОГОЛИКА

Урок с Абрашей. Нужно просидеть только свои два часа, ибо занятия бессмысленны, но я *не могу*. – Катег⟨орический⟩ императив предписывает мне заниматься. Глупость и отврати т⟨ельность⟩ ученика. Мои представления о том, что из него будет. И из-за 20 р⟨ублей⟩ я должен тратить на нем ум и здоровье. Моему влиянию противопол⟨ожено⟩ влияние среды, матери. Когда входит она или бабушка, кот⟨орая⟩ платит мне деньги, льстишь, притворяешься, с участием говоришь об успехах Абраши. Ложь об уроках. Боишься.

Возвращаешься домой, злой на себя и на людей. Проходишь мимо освещенной лавочки, рядами бутылки, в которых свобода. Идешь домой и прячешь от хозяйки – боишься. Ночь и один. Пьешь. Исчезают страхи.

Следующий день. Страх выйти на улицу. Встретил Д. Зовет вечером к себе. Там лжешь и лицемеришь и все боишься – не по-

---

[12] Так. *вписано.*

[13] храбрый *вписано.*

[14] *Далее было:* ков⟨ыр⟩ял⟨?⟩

нравиться, быть осужденным. Осуждаешь за безнравственность других, тех, кого считаешь про себя людьми...

Лжешь из страха на землячестве. Нужно денег. Явился пьяный – выгнали.

Первый шаг к свободе. Второй – ночую в участке, среди пьяных. Пьяный идешь по улице и смело смотришь на остальных. Третий – лежал пьяный на бульваре – останавливались и рассуждали. Последний – ночевка в ночлежном доме, потеря костюма.

Свобода выведенного на торговую казнь.

⟨– А ТЫ, БРАТ, ВОВСЕ НЕ ТАКАЯ СКОТИНА...⟩

⟨*л. 10*⟩ – А ты, брат, вовсе не такая скотина, как они о тебе говорят!

– А ты не так глуп, как они.

Оба говорившие были студенты. Тот, который оказался, по счастью, вовсе не такою скотиною, как предполагалось, обладал высоким ростом, тонкою талией и тоненькими усиками, дерзко закрученными кверху. Высокий темно-синий воротник мундира подпирал его голову, и, несколько запрокинутая назад, она[1] полна была надменности, иронии и вызова.[2] Второй студент, не менее счастливо избавившийся от опасности быть глупым, как неведомые они, был роста среднего, широк в плечах и казался еще ниже, благодаря тому что его голову увенчивала целая копна плохо расчесанных волос, а серая замасленная тужурка была расстегнута, открывая синюю русскую рубашку. Сидели они в второразрядном грязноватом ресторане, людном, светлом и шумном. На столе перед ними стояли уже подходившая к концу полбутылка водки и пиво, а на окне лежали рядом – прусского образца фуражка и выцветший зеленый блин, бывший ранее фуражкой, а посредине лежала шпага, на которую низкий студент посматривал с нескрываемым недоброжелательством. Лицо его горело ⟨*л. 11*⟩ ярким румянцем, и глаза выражали безграничную снисходительность и желание говорить до утра о душе, о товариществе, о женщинах, а если этого нельзя, то пить. Высокий студент[3] бледнел с каждою рюмкою и нервно покручивал усики.

– Ты знаешь, – продолжал низкий студент, именовавшийся вопреки возрасту и виду – дедом: – ты знаешь, я всегда отстаивал тебя перед нашими...

– Ослы эти наши, – кратко пояснил другой, фамилия которого была Афонский.

---

[1] *Далее было:* смотрела

[2] *Далее было:* Рядом на окне

[3] *Далее было:* был

– Нет, брат, ты уж слишком. Согласись сам, что внешность у тебя того... подозрительная. Зачем ты эту селедку притащил? – дед мигнул на шпагу.

– Осел. Итак, значит, Марфа Петровна тебя выгнала.

– Выгнала – это слишком... Хотя, конечно, выгнала. Эх, брат, вот где это у меня сидит, – дед мрачно ткнул себя кулаком в бок. – Но я не понимаю Нади: нельзя же быть такою послушною дочерью. Мать сказала, чтобы я больше не бывал у них и чтобы со мною она нигде не виделась, – и та сейчас же: извольте, маменька. Чертовское малодушие!

– Да за что невзлюбила тебя М⟨арфа⟩ П⟨етровна⟩?

– Ей-богу, брат, не знаю. За волосы, кажется. Говорит: пьяница, нигилист и скандалист. Знал бы, ей-богу, остригся бы. Но почему я пьяница? Слушай, скажи мне по совести, кто из нас больше пьет, ты ⟨*л. 12*⟩ или я?

– Я.

– Кто больше скандалит, ты или я?

– Оба поровну.

– Ну, положим. Ну а кто слывет пьяницею?

– Ты.

– Черт знает что такое. И М⟨арфа⟩ П⟨етровна⟩ тебя любит. Она и Наде тебя рекомендовала: вот, говорит, хороший студент. А меня к черту.

– А теперь скажи ты мне: кто из нас с тобою больше работает?

– Конечно, ты. Я, брат, юрист.

– А кто больше читает?

– Поровну.

– Ну, положим. А кто из нас считается фатом, щелкопером, пустозвоном?

– Ты.

– А умницей, развитым человеком, передовым человеком?

– Я.

Оба приятеля уставились друг на друга и рассмеялись: дед смеялся добродушно и весело. Афонский – зло и мрачно. Охваченные потребностью говорить, они велели подать водки еще.

– Ты знаешь, зачем я таскаю селедку, вот этот воротник, почему от меня всегда пахнет духами, почему я говорю с нашими с особенной вежливостью (а по-твоему, фатовски), извиняюсь, когда ⟨*л. 13*⟩ наступаю на ногу и совершаю ряд других преступлений.

– Ну?

– Чтобы позлить этих господ[4] ослов. Я любил всегда быть одетым хорошо, они за это взъелись на меня. Я нацепил тогда

[4] господ *вписано*.

шпагу. Они считают грубость признаком хорошего тона – я стал вежлив.

– Ты, брат, слишком уж... приличен.

– Ты думаешь? Эх, друг мой милый, не знаешь ты, что такое приличия, иначе ты не сказал бы этого. Ты думаешь, кто тебя выгнал от М⟨арфы⟩ П⟨етровны⟩? Приличия. А кто выгоняет меня из вашей среды? Приличия. Ты оказался неприличен для М⟨арфы⟩ П⟨етровны⟩, а я для вас.

– Ну, брат, у наших причины были посерьезнее. Да и какие у нас приличия?

– А вот эта твоя тужурка, рубашка? А грубоватость в обращении, а необходимость чтить известные положения и имена? Осмелишься ты прийти на наше[5] собрание со шпагой? Осмелишься ты заговорить, ну хотя бы, как тогда заговорил я, о несвободе[6] воли?

– Что же, об этом можно говорить.

– А кличка фаталист, которую мне тотчас же дали? С вашей точки зрения я как будто высморкался без носового платка. А когда я заговорил о том, что обязанность работать для ближнего подлежит сомнению?

– Но с этим я не соглашусь.

– Да разве они спорили со мною? Они дали мне другую кличку ⟨*л. 14*⟩ – эгоист. А когда я говорил о том, что нужно из себя создать силу, что я хочу добиться для себя и денег, и всего... Ведь они все хотели того же, но говорить об этом было неприлично, и я получил новую кличку – карьерист. Ты знаешь, где у меня сидят твои приличия? Вот где – тут же, где у тебя сидит Надя.

– Ты придаешь слишком большое значение приличиям.

– А ты не понимаешь, что значит приличия. Пей пиво, а я тебе скажу. Не думай, что достаточно надеть сюртук, как мой, не есть с ножа, остричь волосы, чтобы стать приличным. Я когда-то думал так – и ошибался. Ты будешь[7] низко кланяться[8] и говорить[9] самые пошлые вещи, то будешь[10] груб как извозчик – и никогда не попадешь[11] в тон. Ты будешь думать[12] в простоте душев-

---

[5] *Было:* ваше

[6] *Было:* свободе.

[7] *Вместо:* Ты будешь – *было:* Я то

[8] *В рукописи:* кланялся (*незаверш. правка*)

[9] *В рукописи:* говорил (*незаверш. правка*)

[10] *Было:* был

[11] *Было:* попадал

[12] *Вместо:* Ты будешь думать – *было:* Я думал

ной, что дело в шляпе, но скоро заметишь[13], что другие этого не думают и лохматого господина возле тебя[14] считают приличным, а тебя[15] нет. Мало того, он выкидывает самые непозволительные, на твой[16] взгляд, вещи – и общество не только не[17] казнит его, но с умилением говорит: ах, какой симпатичный и оригинальный человек! Ну, думаешь[18], какой же это дурак наврал мне про приличия! – и спокойно протягиваешь ноги. Боже ты мой, какой[19] получается эффект. Тебя едят глазами, языками, тебя предают анафеме. И никто не в силах объяснить тебе за что, и ты сам не понимаешь этого. ⟨*л. 15*⟩ Все же дело, оказывается, в том, что тебе нужно было душу остричь и надеть на нее крахмальную рубашку.[20] Как это делается, мне неизвестно, но я знаю положительно, что есть стриженая душа, напомаженная душа, завитая душа. Такая душа не может сделать ничего неприличного. Если она напьется как сапожник, обольстит девушку и бросит, украдет деньги, испакостит другую душу – она все-таки останется приличной. Все это не что иное, как особый вид прически, самой, кажется, модной. И эту душу любят другие души и составляют с нею красивые группы: друзья, любовницы, знакомые хорошие и знакомые просто, завистники, льстецы.

Приличия сидят глубже, чем ты думаешь. Они проникают всюду и всюду налагают свою печать. Нравственность, наука, сам Бог (религия) находятся под их покровительством. Они создают отношения между людьми и их регулируют. Они в практической жизни замещают Бога с его ясновидением. Приличия – это что-то неуловимое, как воздух, как звук. И не видишь и не можешь даже предположить, но вечно чувствуешь их незримое присутствие, дающее жизнь и своеобразную красоту человеческому стаду.

По природе своей каждый человек – глубоко одинок. Все они – листья одного и того же дерева. Всех их связывает единство общемировой жизни. Но как и листья на дереве, ⟨*л. 16*⟩ питаясь одними и теми же соками, имея одни и те же корни в земле,

---

[13] *Было:* я замечал
[14] *Было:* меня
[15] *Было:* меня
[16] *Было:* мой
[17] *Далее было:* говорит
[18] *Было:* думал
[19] *Было:* что (*незач. вар.*)
[20] *Далее было:* Я не знаю

живут каждый своей жизнью,[21] не чувствуя боли другого листа, не замечая его смерти, так и люди. Но они вдобавок мыслящие листья, создающие свой особый душевный мир, с его личным горем и радостью. И между ними глубокая, непроходимая пропасть. Каждый видит, осязает, понимает по-своему. Понимать друг друга, сочувствовать, жить общею жизнью – пустая мечта, созданная необходимостью жить вместе, только при посредстве друг друга плодиться и множиться.

Жить общественно не прихоть, не договор и добровольное соглашение – это роковая необходимость, лежащая в природе человека. Каждый лист привязан к дереву и, оторванный, умирает. Пусть ему неудобно на дереве, пусть он недоволен своим соседством, пусть он не мирится с этим рабством – он должен подчиниться ему. Каждую из своих необходимостей природа снабдила красивою внешностью. И любовь, и голод, и жизнь обществом – все это создано для удовольствия человека. И стадная жизнь приносит человечеству великую пользу. Она создала религию, нравственность, науку, прогресс – но она же создает вечные убийства, ненависть, войны – почти все горе, имеющееся на земле. И вся эта великая и мнимая⟨?⟩ польза стадной жизни – эта наука и нравственность – лишь бесплодные старания смягчить это горе, найти противоядие ⟨*л. 17*⟩ от неизбежного и смертельного яда.

Все мы – скорпионы, заключенные в банку и готовые поесть друг друга. Но мы скорпионы разумные. Я съем, а потом меня сожрут – и нет никакого расчета. Давайте лучше любить друг друга, а так ⟨как⟩ любить нам[22] не за что – давайте симулировать любовь. С одной стороны, настроим тюрем и эшафотов для непокорных и слишком сильных скорпионов, с другой – создадим религию, тоже тюрьму в некотором роде; а с третьей – сделаем вид, что ужасно друг друга любим, и будем уверять себя, что мы не скорпионы, совсем не скорпионы. Этому многие поверят – всегда найдется несколько скорпионов, обиженных другими и чувствующих себя потому братьями.

Крупные деньги всегда нужно разменивать – иначе от них проку мало – разменяем мы Бога и нравственность и создадим приличия. Миллионеров на свете мало, зато у каждого найдется копейка. И Бог существует только для немногих, да и те хранят его в банке, а в жизни обходятся пятиалтынными, часто фальши-

---

[21] *Далее было:* так
[22] *Далее было:* друг

выми. Они не виноваты – ведь ни в одну лавку не примут такой крупной монеты.

Итак, приличия – это частица Бога, т.е. тюрьма. Но как копейка не дает представления о миллионе рублей, который отличается от нее качественно, так и приличия от Бога[23]. ⟨*л. 18*⟩ Религия дает свободу, дает независимость – ведь нет человека, свободнее одиночного арестанта. Бог, повторяю, это миллион, дающий много. Приличия – это[24] пятиалтынный, с которым можно жить, как и вся эта общая камера для мошенников[25]

[23] *В рукописи:* о Боге
[24] *Далее было:* только
[25] *Текст обрывается.*

ГРОШОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

ЧН

ГРОШОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Вот веревка – на пулю нужны деньги. Моя комната не топлена – это факт. Дует в окна.

Сегодня я удостоен лавров – одобрен мой[1] отчет о похоронах. А если я хочу любить не этих женщин, а тех? А если я хочу поехать в Италию? На шинах развалиться?

Грошовое горе, радость и лавры.

Я никогда не видал море – какое оно? Какие волны?

Я видел улицы, березы, поле.

Я никогда не сидел в мягком кресле.

Комната не топлена – это факт.

– Маланья, ты глупа? – Глупа, барин.

Ну, положим, я стану жаловаться. Кому и зачем?

Комната не топлена – иначе отчего меня трясло бы так?

С кем проститься? Кого я любил? Кто меня любил? Ах да, старый кот. – Кто-то вошел? – нет.

Перечел. Недурно, кажется, вышло. Мне такая мысль пришла – повременю еще давиться, а эту вещь попробую отдать напечатать. Самому Ф⟨ейгину?⟩ не покажу, попрошу через секретаря. Жалко, если пропадет. А тогда я лучше другое напишу.

ЧА

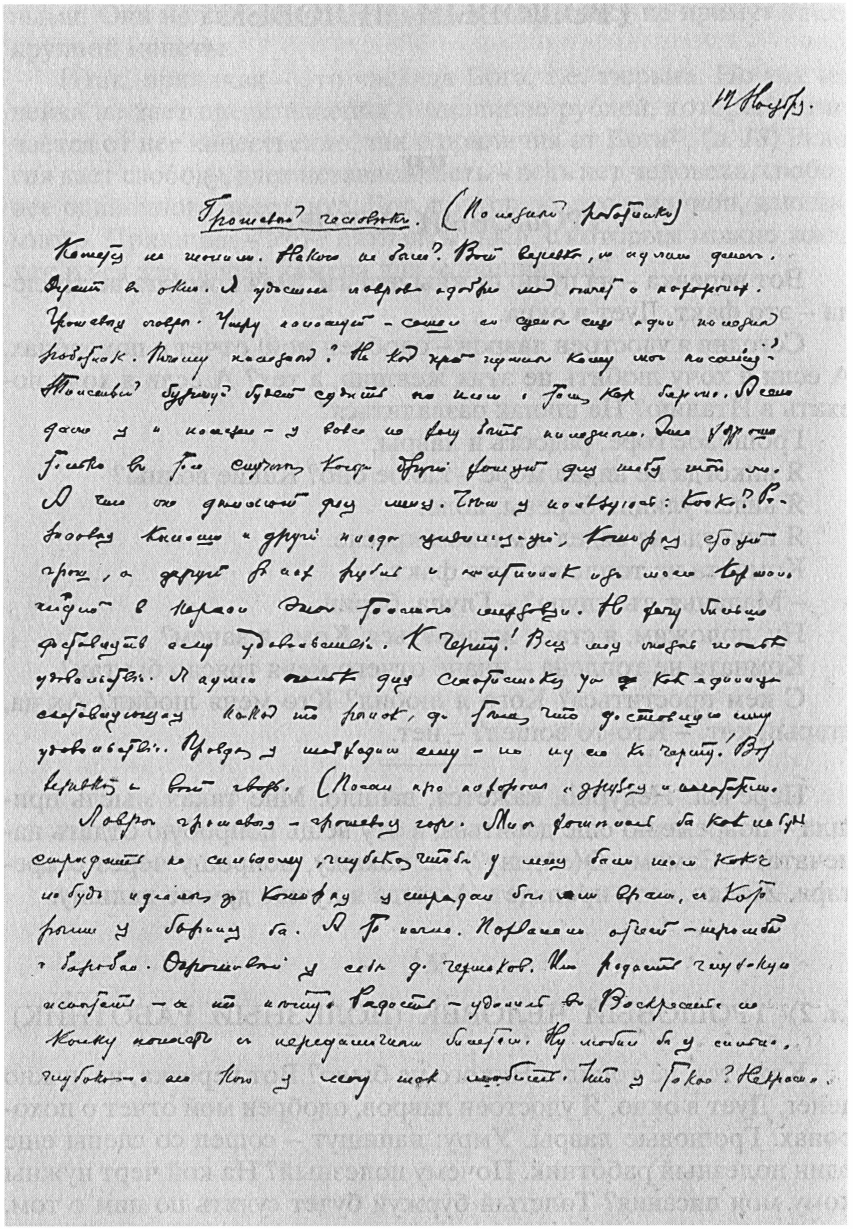
⟨*л. 2*⟩[2] ГРОШОВЫЙ ЧЕЛОВЕК (ПОЛЕЗНЫЙ РАБОТНИК)

Кажется, не топили. Никого не было? Вот веревка, не нужно денег. Дует в окно. Я удостоен лавров, одобрен мой отчет о похоронах. Грошовые лавры. Умру: напишут – сошел со сцены еще один полезный работник. Почему полезный? На кой черт нужны кому мои писания? Толстый буржуй будет судить по ним о том, как биржа. А если даже я и полезен – я вовсе не хочу быть полезным. Это хорошо только в том случае, когда другие хотят для тебя того же. А что они делают для меня? Чем я пользуюсь: конка?

---

[1] *Далее было начато:* расс⟨каз⟩

[2] *В верхнем правом углу́ листа помета:* 19 ноября



"Грошовый человек (Полезный работник)".
Автограф. Русский архив в Лидсе (Великобритания)

Резиновые калоши и другие плоды цивилизации, которые стоят грош, а дерут за них рубль, и полтинник из моего кармана пойдет в карман этого толстого мерзавца. Не хочу больше доставлять ему удовольствие. К черту! Вся моя жизнь только удовольствие. Я нужен только для статистики, да как единица, составляющая какой-то рынок, да тем, что доставляю ему удовольствие. Правда, я необходим ему – но ну его к черту! Вот веревка и вот гвоздь. (Писал про похороны "друзья и почитатели".)

Лавры грошовые – грошовое горе. Мне хотелось бы как-нибудь страдать по-сильному, глубоко, чтобы у меня были там какие-нибудь идеалы, за которые я страдал бы, или враги, с которыми я боролся бы. А то ничего. Похвалили отчет – тромб⟨он⟩[3] и барабан. Опротивел я себе до чертиков. Или радость глубокую испытать – а то нету. Радость – удалось в воскресенье на конку попасть с передаточным билетом. Ну любил бы я сильно, глубоко, – а то кого я могу так любить? Что я такое? Некраси⟨вый⟩, ⟨*л. 3*⟩ бедный, ненаходчивый, скверно одетый, не имеющий манер, не знающий языков – так, полезный работник. Кто меня полюбит? Такая же полезная работница или дура, некрасивая, неумная, знающая еще меньше меня. Любили они меня – ох, какая грошовая радость эта физиологическая любовь. Любили они меня. Я хочу других любить – тех, кто разваливаются в колясках, бриллианты в ушах, красота, изящество, от которых культурой на верст⟨у⟩ разит, из которых выпарена[4] самое[5] последняя доля полезности, той полезности, рабом которой я служу. Я люблю одну такую. Три года ее знаю. А она меня не видела. (Описание.) И не знает, что вот тут страдаю я. И когда прочтет в газетах[6] про самоубийство – ей в голову не придет, что это умер ее самый верный возлюбленный.

У меня губа не дура. Я понимаю, что сладко и кисло. И хочу сладкого. Черт бы с нею, с цивилизацией, я люблю, как Бога, природу – а где ее вижу? Я никогда не видал моря – какое оно? Как ходят волны? Неужели это правда, что они высокие? Сегодня я раскутился, зашел в панораму-стереоскоп. Горы, сидит человек, такой же, как я. Значит, это правда, что есть такие края? И люди там живут. Только бы вздохнуть этим воздухом, даже утонуть в море. А то умереть на трехногой кровати. О, чтобы...

Проклятие отцу с матерью. Зачем они родили меня? За минуту наслаждения, которому[7] они отдались, я плачу жизнью страда-

---

[3] *В рукописи:* тромбы
[4] *В рукописи:* выпорена
[5] *Далее было начато:* ⟨*нрзб.*⟩
[6] *Далее было:* , что
[7] *В рукописи:* которым

ний. Вовсе не так глупы те, кто рекомендует моральное воздержание. Нужно делать бесплодными, как евнухов. Те, кто сомневаются, пусть спросят детей. Не отцов, а детей. ⟨*л. 4*⟩ Тысячи наслаждений – я не испытывал ни одного.

Вот оно, мое наслаждение, – на столе – подкрашенное вино[8]. А он жрет черт его знает что, а друзья и почитатели облизываются. Благотворитель! Экая важность, благотворитель, – да дай, чтобы тысячи на меня работали, я десятку кое-что и брошу. Но те малые, не прогневайтесь.

Однако комната не топлена. Это факт. Брр...

Полезный работник! Да дай мне воли, я бы вас, чертей... А кто не дает воли? Отчего я, как увижу редактора, поджилки трясутся, хвостом верчу? А на похор⟨он⟩ах сказали, что я тоже почитатель.

Выпить еще?

Чего я трушу? Да разве мне не наплевать? Ей-богу наплевать. Пойду и скажу: а, мерзавцы.

Фу, голова кружится. Этак ею и в петлю и не попадешь. Ведь довольно остроумно сказано; а почему не могу я писать так, по заказу – сейчас язык отнимается. Для домашнего обихода я и умен, и вообще красавец.[9]

По какому разряду будут меня хоронить? Я видел недавно, как хоронили одного полезного работника.

Вы хотите рождественского рассказа, чтобы непременно сладеньким по губам помазать. Не умерла еще совесть, любовь. А я говорю, что умерли. Хотите на пятачок умилиться. А не хотите ли ко мне в комнату заглянуть, как я буду тут на крюке болтаться?

Тепло горит лампа.

Вот бы я вам какой рассказ написал: 11 янв⟨аря⟩ 97 г.[10], 28 сен⟨тября⟩ 96 г.[11] ⟨*л. 5*⟩ Жаловаться. Кому?

Хороший рассказ: что вот, мол, есть на свете хорошие люди, а мы можем сидеть спокойно. А вот хотите, я вам расскажу: вот я возьму петлю, вот так, надену ее на шею, вот так, и сейчас... Хорошо, нравится? Ну идите же ко мне вы, хорошие.

Приди же ты сюда – я не знаю, как зовут тебя. Дай склонить голову на колени, дай заплакать. Расступа⟨й⟩тесь, стены, пустите ее сюда, сюда, моя жизнь – вот на этот хромоногий стул. Голубка моя, ты видишь мои глаза: я вырву и растопчу их, если они не говорят о любви, положа руку на сердце! Поласкай⟨?⟩ меня. Я плачу.

Проклятие всем вам!

---

[8] *Было начато:* ⟨*нрзб.*⟩

[9] *Далее было начато: а.* По как⟨ому⟩ *б.* По како⟨му⟩

[10] 11 янв⟨аря⟩ 97 г. *вписано.*

[11] *На л. 2 об. также вписано:* 9⟨?⟩. 11 янв⟨аря⟩ 97 г., 28 с⟨ентября⟩ 96 г.

НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ

ЧН1

НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ

Либеральная газета. Годовщина или переход в бесцензурную. Обед. Зовут корректора.

Кор⟨ректор⟩ три года читает, учит наизусть, есть любимцы и враги. Никогда не видит в лицо (главных, конечно). Является. Для храбрости пропускает. Пьют. Начинаются речи. Лицемерит Гольцев: "я, я, я", "меня извлекали⟨?⟩, был честен". Марксисты. Столкновение по поводу молодежи. Ругань резкая. Грязь, лицемерие. Он потому хвалит, что нуждается в Гольцеве. Присоединяется к марксистам. Стучит кулаками. "Негодяй, фарисей". Лезет драться.

– Отвезите его домой.

– Опыт неудачен.

Увозят. Журчит мягкая речь Гольцева.

– Когда я, я, я, я пострадал...

Возмутил его К⟨оган⟩. Писал в защиту молодежи, хорошие речи. И вдруг – негодяй.

ЧН2

НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ

Либеральная газета. Переход в бесцензурную. Обед. Зовут для опыта (слияние с меньшим братом) корректора.

N три года читает, учит наизусть, есть любимцы и враги. Никогда не видит в лицо. Идеалист, заеденный и, как таковой, сугубый пьяница.

Является. Выпивает. Пьют. Речи. Гольцев. Лицемерие – "я". Коган. Марксисты. Столкновение по поводу молодежи. *Коган.* Резкая ругань. Грязь, лицемерие. Медведев: да удалите вы этих марксистов. Хвалят, пот⟨ому⟩ что ругаются. Присоединяется к марксистам. Стучит. "Негодяй!" Лезет драться.

– Отвезите домой. Опыт неудачен.

Журчат хорошие речи Г⟨ольцева⟩. N возмутился потому, что Коган писал статьи в защиту молодежи.

РЕАЛИСТ

Все художники и критики считали Олсуфьева реалистом в самом строгом смысле этого слова, и сам он вполне присоединялся к этому единогласному решению и гордился им. Он совершенно не понимал творчества, ставящего[1] целью само себя, и требовал от произведения идеи, имеющей общественно-моральное значение. Поэтому он был самым заклятым врагом пейзажа, хотя сам обнаруживал в своих полотнах тонкое понимание природы и редкую способность передавать настроение. Но пейзаж всегда играл у него служебную роль; по крайней мере[2] он хотел, чтобы так было. И самым скверным днем для него был тот, когда в одной из его картин и публика, и критика обратила внимание на пейзаж и восторгалась им, а[3] валяющегося во рву пьяницу, над которым стояла заломив руки женщина, видимо жена, обошла полным молчанием. Но не с одной критикой приходилось ему бороться: в себе самом он находил врага. Им были странные настроения и туманные ощущения прекрасного, жалкого и страшного, не находившие себе выражения в[4]

---

[1] *Было:* имеющего (*незач. вар.*)
[2] *Далее было начато:* пол⟨?⟩
[3] *Далее было:* идущего
[4] *Текст обрывается.*

Другие редакции и варианты

ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ИЗДАНИЯ

В настоящем издании материалы располагаются хронологически внутри каждого тома по следующим разделам: произведения, опубликованные при жизни писателя; не опубликованные при его жизни; "Незаконченное. Наброски"; "Другие редакции и варианты"; "Комментарии".

Основной текст устанавливается, как правило, по последнему авторизованному изданию с учетом необходимых в ряде случаев исправлений (устранение опечаток и других отступлений от авторского текста). Если произведение при жизни Андреева не публиковалось, источником текста является авторская рукопись или авторизованный список, а при их отсутствии – первая посмертная публикация или авторитетная копия с несохранившегося автографа. При наличии вариантов основной текст печатается с нумерацией строк.

При просмотре источников текста регистрируются все изменения текста: наличие в нем авторской правки, а также исправления других лиц.

В случае искажения основного текста цензурой или посторонней редактурой восстанавливается первоначальное чтение, что оговаривается в комментарии. Очевидные же описки и опечатки исправляются без оговорок.

Незавершенные и не имеющие авторских заглавий произведения печатаются с редакционным заголовком, который заключается в угловые скобки (как правило, это несколько начальных слов произведения).

Авторские датировки, имеющиеся в конце текста произведений, полностью воспроизводятся и помещаются в левой стороне листа с отступом от края. Даты, вписанные Андреевым в начале текста (обычно это даты начала работы) или в его середине, приводятся в подстрочных примечаниях.

Независимо от наличия или отсутствия авторской даты в письмах письмо получает также дату редакторскую, которая всегда ставится в начале письма, после фамилии адресата и перед текстом письма. Рядом с датой указывается место отправления

письма, также независимо от его наличия или отсутствия в тексте письма. Редакторская дата и указание на место отправления выделяются курсивом. Письма, посланные до 1 февраля 1918 г. из-за рубежа или за рубеж, помечаются двойной датой. Первой указывается дата по старому стилю.

Подписи Андреева под произведением не воспроизводятся, но приводятся в "Комментариях". Под публикуемыми текстами писем, текстами предисловий и деловых бумаг подписи сохраняются.

Письма печатаются с сохранением расположения строк в обращении, датах, подписях.

Иноязычные слова и выражения даются в редакционном переводе в виде подстрочных примечаний под звездочкой и сопровождаются указанием в скобках, с какого языка сделан перевод: (*франц.*), (*нем.*) и т.п.

Тексты приведены в соответствие с современными нормами орфографии, но при этом сохраняются такие орфографические и лексические особенности языка эпохи, которые имеют стилистический смысл, а также языковые нормы, отражающие индивидуальное своеобразие стиля Андреева.

Сохраняются авторские написания, если они определяются особенностями индивидуального стиля. Например: *галстух, плеча* (в значении "плечи"), *колена* (в значении "колени"), *снурки* (в значении "шнурки"), *противуположный, пиеса* (*пиесса*), *счастие* и т.п.

Не сохраняются авторские написания, являющиеся орфографическими вариантами (при наличии нормативного написания, подтвержденного существующими авторитетными источниками): *лице* (в значении "лицо"), *фамилиарный* и т.п., а также специфические написания уменьшительных суффиксов имен собственных (*Лизанка, Валичка, Маничка*) и написание с прописной буквы названий дней недели, месяцев и учреждений (*Июль, Суббота, Университет, Гимназия, Суд, Храм* и т.п.).

Пунктуация, как правило, везде приведена к современным нормам, а при необходимости исправлена (прежде всего это касается передачи прямой речи). В спорных случаях в подстрочных примечаниях может быть дан пунктуационный вариант.

Не опубликованные при жизни автора произведения даются с сохранением следов авторской работы над текстом, как и самостоятельные редакции (см. ниже).

Текст, существенно отличающийся от окончательного (основного) и образующий самостоятельную редакцию, печатается целиком. Таковым считается текст, общее число разночтений в

котором составляет не менее половины от общего объема основного текста, либо (при меньшем количестве разночтений) текст с отличной от основного идейно-художественной концепцией, существенными изменениями в сюжете и т.п.

При подготовке текста, отнесенного к редакциям, должны быть отражены все следы авторской работы над ним.

В случаях, когда этот текст представляет собой завершенную редакцию, он воспроизводится по последнему слою правки с предшествующими вариантами под строкой. В случаях, когда правка не завершена и содержит не согласующиеся между собой разночтения, окончательный текст не реконструируется, а печатается по первоначальному варианту с указанием порядка исправлений под строкой.

В подстрочных примечаниях редакторские пояснения даются курсивом; при цитировании большого фрагмента используется знак тильды (~), который ставится между началом и концом фрагмента.

Слова, подчеркнутые автором, также даны курсивом, подчеркнутые дважды – курсивом вразрядку.

В подстрочных примечаниях используются следующие формулы:

а) зачеркнутый и замененный вариант слова обозначается так: *Было:...* В случае, если вычеркнутый автором текст нарушает связное чтение, он не воспроизводится в примечании, а заключается в квадратные скобки непосредственно в тексте;

б) если заменено несколько слов, то такая замена обозначается: *Вместо: ... – было ...*;

в) если исправленное слово не вычеркнуто, то используется формула: *незач. вар.* (незачеркнутый вариант);

г) если слово вписано сверху, то используется формула: *... вписано;* если слово или группа слов вписана на полях или на другом листе, то: *... вписано на полях*: *... вписано на л. ...*; если вписанный текст зачеркнут: *Далее вписано и зачеркнуто ...*

д) если вычеркнутый текст не заменен новым, используется формула: *Далее было:...* ; если подобный текст является незаконченным: *Далее было начато: ...*

е) если рядом с текстом идут авторские пометы (не являющиеся вставками), то используется формула: *На л. ... (на полях) – помета: ...*

ж) если цитируемая правка принадлежит к более позднему по сравнению с основным слою, то в редакторских примечаниях используются формулы: *исправлено на* или *позднее* (после которых приводится более поздний вариант). Первое выражение обычно

используется при позднейшей правке непосредственно в тексте, второе – при вставках на полях, других листах и т.п. (например: ... – *вписано на полях позднее*);

з) если при правке нескольких грамматически связанных слов какое-либо из этих слов по упущению не изменено автором, то оно исправляется в тексте, а в подстрочном примечании дается неисправленный вариант с пометой о незавершенной правке: *В рукописи:* ... (*незаверш. правка*);

и) если произведение не закончено, используется формула: *Текст обрывается.*

В конце подстрочного примечания ставится точка, если оно заканчивается редакторским пояснением (формулой) или если завершающая точка имеется (необходима по смыслу) в цитируемом тексте Андреева.

Внутри самого текста отмечены границы листов автографа; номер листа ставится в угловых скобках перед первым словом на данном листе. В необходимых случаях (для понимания общей композиции текста, последовательности разрозненных его частей и т.п.) наряду с архивной приводится авторская нумерация листов (страниц); при этом авторская указывается после архивной, через косую черту, например: ⟨***л. 87/13***⟩. При ошибочном повторе номера листа после него ставится звездочка, например: ⟨***л. 2****⟩.

Редакторские добавления не дописанных или поврежденных в рукописи слов, восстановленные по догадке (конъектуры), заключаются в угловые скобки.

Слова, чтение которых предположительно, сопровождаются знаком вопроса в угловых скобках.

Не разобранные в автографе слова обозначаются: ⟨*нрзб.*⟩; если не разобрано несколько слов, тут же отмечается их число, например: ⟨*2 нрзб.*⟩.

Все явные описки, как правило, исправляются в редакции без оговорок, так же как и опечатки в основном тексте. Однако если попадается описка, которая имеет определенное значение для истории текста (например, в случае непоследовательного изменения имени какого-либо персонажа), исправленное редактором слово сопровождается примечанием с пометой: *В рукописи:* (после нее это исправленное слово воспроизводится). В случае если отсутствует возможность однозначной корректной интерпретации слова или группы слов, нарушающих связное чтение текста, такие слова не исправляются и сопровождаются примечанием с пометой: *Так в рукописи.*

В Полном собрании сочинений Л.Н. Андреева приводятся варианты всех авторизованных источников.

Варианты автографов и публикаций, как правило, даются раздельно, но в случае необходимости (при их незначительном количестве и т.п.) могут быть собраны в одном своде.

Основные принципы подачи вариантов (печатных и рукописных) в данном издании таковы. Варианты к основному тексту печатаются вслед за указанием отрывка, к которому они относятся, с обозначением номеров строк основного текста. Вслед за цифрой, обозначающей номер строки (или строк), печатается соответствующий отрывок основного текста, правее – разделенные косой чертой – варианты. Последовательность, в которой помещается несколько вариантов, строго хронологическая, от самого раннего к самому позднему тексту. Варианты, относящиеся к одному тексту (связанные с правкой текста-автографа), также, по мере возможности, располагаются в хронологическом порядке (от более раннего к более позднему), при этом они обозначаются буквами *а.* ... *б.* ... и т.д.

В больших по объему отрывках основного или вариантного текста неварьирующиеся части внутри отрывка опускаются и заменяются знаком тильды (~).

Варианты, извлеченные из разных источников текста, но совпадающие между собой, приводятся один раз с указанием (в скобках) всех источников текста, где встречается данный вариант.

В случаях, когда в результате последовательных изменений фрагмент текста дает в окончательном виде чтение, полностью совпадающее с чтением данного фрагмента в основном тексте, этот последний вариант не приводится, вместо него (в конце последнего воспроизводимого варианта) ставится знак ромба (◊). При совпадении промежуточного варианта с основным текстом используется формула: *как в тексте*.

Рукописные и печатные источники текста каждого тома указываются в разделе "Другие редакции и варианты" сокращенно. Они приводятся в перечне источников текста в начале комментариев к каждому произведению. Остальные сокращения раскрываются в соответствующем списке в конце тома.

Справочно-библиографическая часть комментария описывает все источники текста к данному произведению. Порядок описания следующий: автографы и авторизованные тексты; прижизненные публикации (за исключением перепечаток, не имеющих авторизованного характера). При описании источников текста

используется общая для всего издания и конкретная для данного тома система сокращений.

При описании автографов указывается: характер автографа (черновой, беловой и т.п.), способ создания текста (рукопись, машинопись и т.п.), название произведения (если оно отличается от названия основного текста), датировка (предположительная датировка указывается в угловых скобках), подпись (если она имеется в рукописи). Указывается местонахождение автографа, архивный шифр и – если в одной архивной единице содержится несколько разных автографов – порядковые номера листов согласно архивной нумерации (имеющая иногда место нумерация листов иного происхождения не учитывается).

После перечня источников могут следовать дополнительные сведения о них:

1. Отсутствие автографа, которое обозначается формулой: "Автограф неизвестен".

2. Информация о первой публикации (если она имеет отличия от основного текста, перечисленные ниже), которая обозначается формулой "Впервые:", после которой дается сокращение, использованное в перечне "Источники текста", с необходимыми дополнениями:

а) название произведения, отличное от названия основного текста (включая подзаголовки);

б) посвящение, отсутствующее в основном тексте;

в) подпись при первой публикации (если это псевдоним или написание имени и фамилии отличается от обычного, например: "Л.А.").

3. Сведения об основном тексте и сведения о внесенных в этот текст исправлениях в настоящем издании (обозначаются формулой: "Печатается по ... со следующими исправлениями по тексту ...", после которой следует построчный список внесенных в основной текст исправлений, а также цензурных и других искажений, конъектур с указанием источников, по которым вносятся изменения).

ЗАГАДКА

(С. 35)

ЧН

⟨*л. 48/11*⟩ он был необычайно умный и талантливый, говорил как по писаному.[1] Говорил так горячо, убедительно, что я, по молодости лет, чуть руки целовать ему не стал. Поговорил, а потом подошел выпить рюмку водки и, закусивши солен⟨ым⟩ грибом, рассказал подходящий сальный анекдот. Рассказал так красноречиво, что у меня слезы появились. Слезы досады и ярости. Я готов был убить его – да и остальные тоже. Он потом опять говорил и опять растрогал нас, но уж не было того, что раньше. Как будто лед кто на сердце положил, как будто[2] каждый из нас только сейчас какую-то подлость совершил.

Знал я, уже в Петербурге, другого проповедника...[3] говорить об этом действительно ни к чему.

Значит, не ⟨в⟩ уме и не в талантах здесь сила. Сила в том, что не мог Р. по натуре идти на компромисс. Вон тот "Лассаль" – мог по временам снизойти на точку зрения пошлого[4] человека и найти что-то остроумное в сальном анекдоте. А Р. не мог. Не мог он понять[5] остроумного в этой игре слов. За словом для него стояло обязательно дело, он не мог, органически не мог разделить их. ⟨*л. 48 об./15*⟩ Слово и поступок для него синонимы. И как не мог он совершить пошлого поступка, так не мог[6] сказать и пошлого слова. В этом заключались все его сила и влияние. У нас интеллигентные люди называют это фанатизмом и придают слову какой-то скверный оттенок. Он, говорят, не уважает убеждений других. Да за что их уважать, если они, по-моему, скверны. Но, впрочем, оставим это – иначе это заведет в дебри бесконечного спора о том,

---

[1] *Часть текста:* он был ~ как по писаному. – *отмечена (зачеркнута?) бледным простым карандашом.*

[2] *Далее было:* из

[3] *Далее знак вставки с цифрой 1. Соответствующие этой и последующим вставкам тексты в данном источнике отсутствуют; возможно, они были на располагавшихся далее и позже вырезанных листах (о вырезках см. ниже).*

[4] *Было:* среднего (*незач. вар.*)

[5] *Далее было:* , что

[6] *Далее было:* совершить.

что такое терпимость и т.д. Скажу только, что всякий имеющий действительные убеждения, а не фальсификацию их, согласится, если он только искренен[7], со мной: нельзя быть человеком убежденным и в то же время давать место убеждению других.

– Завтра я буду в Орле. Завтра откроется передо мной то темное царство, которое должны мы осветить. К чему ж сомнения, к чему вопросы о том, что делать? Разве это не ясно само собой? Меня оторвали от великого дела –[8] возьму другое дело. Буду по капле долбить камень невежества и зла, камень, который мы[9] хотели[10] повалить сразу. Силы у меня хватит. Мне поможет ⟨*л. 49/16*⟩ эту силу составить то, что в нашей "организации" составляло мою слабость. В организации нужны были уступки, компромиссы – а они никогда не давались мне. Теперь буду работать один. Со щитом или на щите!

Долго еще[11] стоял я[12] на площадке. Похолодало; ясны стали очертания проходивших мимо деревьев и сторожек. Не помню, о чем думал я. Вернее, ни о чем. Помню только чувство силы, готовности бороться и победить, обязательно победить! Когда я взошел в вагон, все спали. Спал жандарм, бессильно свесив руки и покачиваясь при каждом толчке; спал сосед мужичок, похрапывая и испуская по временам вздохи; спал на⟨и⟩скосяк толстый купчина, беспокойно ворочаясь во сне и ежеминутно подбирая соскальзавшие с короткой скамеечки ноги.

Всех вас спасу! – думал я, глядя на[13] разбросанные всюду,[14] скорчившиеся тела, такие жалкие в своей беспомощности.

И тебя спасу! – прибавил я неожиданно, обратившись к жандарму, – и сам засмеялся своему ребячеству.

Да, спас... Ну да нечего забегать вперед.

Все вышло так, как я ожидал. Приехал домой. Изумление, потом радость, потом опять изумление. Отец ⟨*л. 49 об./17*⟩ действительно надулся и только спросил с самой горькой иронией[15]:

– Может, тебя и высекли? Эх, а еще борода[16] по[17] пояс. Жаль, что мало я тебя сек!..

---

[7] если он только искренен *вписано.*
[8] *Далее было:* буду по
[9] *Было:* я
[10] *Было:* хотел
[11] еще *вписано.*
[12] *Далее было:* еще
[13] *Далее было:* видневшиеся всюду
[14] *Далее было:* сидящие и леж⟨ащие⟩
[15] *Далее было:* . Может
[16] *Было:* бороду
[17] *Далее было:* ⟨*нрзб.*⟩

Он меня, впрочем, никогда не сек и прибавил это только так, для отвода души. Мать расплакалась, потом еще расплакалась и т.д. Через неделю, одним словом, все шло так, как будто я никогда не уезжал, как будто этих трех лет и не было в моей жизни. Отец нашел мне работу по утрам – переписывать у мирового протоколы, так как я не хотел сидеть даром у него[18] на шее[19]. Это была первая уступка с их стороны[20]; он и мать сперва ни за что не хотели, чтоб я работал. "Поспеешь еще, отдохни сперва. Ишь каким[21] Кощеем стал!" – ну и т.д., все, что говорят обыкновенно родители, имеющие привычку баловать детей. Ко многому пригляделя я – но к одному не мог привыкнуть.[22]

С первых же шагов началось и то дело, которое я поставил себе главною целью. На второй день прибегает мать в слезах.

– Валентин, уйми хоть ты этих сорванцов. Чисто голову оторвали. Заниматься нужно, а они по улице гайцают. Соседнему мальчишке голову проломили. Вот придет отец со службы – он им задаст.

⟨*л. 50/22*⟩ Потребовал к себе братишек, стал разбирать дело – оказалось, что и сам Соломон спасовал бы... "Он – меня; нет, ты; нет, он". Стал потом говорить с ними и ужаснулся. Полное отсутствие самых элементарных понятий о нравственности и порядочности. Пришлось устроить с ними ежедневные беседы – сперва отлынивали, а потом ничего, попривык⟨л⟩и и сами просить стали: "Валентин, расскажи, отчего нельзя воровать?"

Больное это у нас место – воспитание. Сколько ни говорится только о нем, специальные журналы даже издаются – а все нет проку. Предложите кому хотите из ваших знакомых вопрос: как вас воспитывали? И если он честный человек, он обязательно ответит: "никак" или[23] "лучше б совсем не воспитывали". По крайней мере, скольких я ни спрашивал, один этот ответ получал.[24] Один, нейрастеник и беспросветный юбочник, жалуется:[25]

"Сибирь колонизирует!"

Так воспитывали меня, так воспитывали и моих братишек.[26]

...Зачем же ему "печись об утрей".

---

[18] у него *вписано*.
[19] *Далее было начато:* у ⟨него⟩
[20] *Далее было:* , так как и
[21] *В рукописи:* какой
[22] *Текст:* Ко многому ~ привыкнуть. – *вписан. На поле рядом с ним – двойной знак вставки.*
[23] "никак" или *вписано*.
[24] *Текст:* По крайней мере ~ получал. – *вписан.*
[25] *Далее знак вставки с цифрой II.*
[26] *Далее знак вставки с цифрой III.*

Но дело не в этом. Я отклонился от рассказа, если только то, что я хочу написать, можно назвать этим именем. Мне[27] нужно рассказать, каким образом дошел я до самоубийства. Впрочем, здесь смешалась такая масса причин – и воспитанию, пожалуй, ⟨*л. 50 об./23*⟩ есть место. Итак, я сразу нашел дело в окружающей среде, среди своей семьи. Нужно добавить, что оно не ограничивалось возней с ребятишками. Пришлось возиться и с матерью, и с отцом. Одной пришлось читать целые лекции о физиологическом значении снов и доказывать, что видеть во сне огурцы вовсе не значит[28] получить на другой день неприятность. Другому[29] нужно было доказать, что помимо "Анн и Владимиров" есть на свете и другие хорошие вещи. Следует, впрочем, сознаться, что успеха у меня не было. Мать[30] соглашалась со мной, очевидно, только из любви ко мне, но через час начинала опять толковать об огурцах, отец хмурился и заявлял, что яйца курицу не учат. Но я и не особенно старался об успехе – смешно было претендовать на радикальное изменение всего[31] миросозерцания, сложившего-⟨ся⟩ годами и имеющего достаточные основания в условиях окружающего быта. Совсем в другую сторону хотел я направить свою деятельность.[32]

Сидел я как-то[33] у себя в[34] садике[35] и размышлял о том, кого "спасать". Вот передо мной Орел. Вот вокруг меня люди, темные люди. Все они нуждаются ⟨*л. 51/24*⟩ в спасении – но всех ли их можно спасать? Нет, не всех. И тут разделил их я на три категории. Одни – вполне установившиеся люди.[36]

...Спящий в гробе – мирно спи!

Другие – люди "вскую шаташася". Иной раз они умны и честны; другой – и глупы, и подлы. Нет у них твердой почвы под ногами. Это люди от тридцати лет, люди – специалисты по части теории и практики.

Третьи – это "молодежь" в широком смысле слова. Не люди еще – а зародыши людей. И вот над этими зародышами хотел я в особенности поработать. К первой категории, конечно, нечего и

---

[27] *Далее было начато:* Н⟨ужно⟩
[28] *Далее было:* на
[29] *Далее было:* пришлось
[30] *Далее было:* по-старому
[31] всего *вписано.*
[32] *Далее было:* А в какую – ясно из одного рассужденьица,
[33] как-то *вписано.*
[34] *Было:* как
[35] *Было:* саду
[36] *Далее знак вставки с цифрой IV.*

приступаться. Это значит или метать бисер перед свиньями, или спрашивать у щуки, на манер Щедр⟨инского⟩ карася: "а знаешь, щука, что такое добродетель?" Со вторыми тоже много возиться не стоит[37], по моему мнению. Следовало только быть как можно тверже и делом показать, что нет теории – есть одна жизнь. Ну а зародышами следовало заняться посильнее – почему, и само собой понятно.

Видите, как все это у меня было хорошо обдумано. Я нарочно и привожу все свои тогдашние рассуждения, чтобы показать, насколько я был ⟨*л. 51 об./25*⟩ далек от того, что потом случилось. Теперь эти рассуждения кажутся мне несколько смешными и ребяческими. Смешон не самый смысл их, а та авторитетность и уверенность в себе, с какой они высказывались. И как это ни глупо – назойливо лезет в голову глупейший стих Тредьяковского:

Ходит птичка весело
По тропинке бедствий,
Не предвидя от сего
Никаких последствий.

Не думал я тогда, что эти глупые стишки так глупо оправдаются на мне, что эта широкая дорога просветительской деятельности[38] послужит тропинкой, на которой я сломлю себе шею. И как глупо, Господи, как глупо все это произошло. Из-за чего?..[39] Впереди жизнь, впереди целый ряд задач – а я вот лежу с простреленными легкими, с одной мыслью – через месяц смерть! Из-за чего, из-за чего?

Ну да что толковать об этом. Итак, я решил заняться молодежью. Оказалось только, что подходящих знакомых у меня не было – были одни только "дыры на человечестве", т.е. люди преимущественно первой категории. И знакомыми-то, ⟨*л. 52/26*⟩ собственно, были они не моими, а моих родителей. А что у меня не было подходящих знакомых – дело легко объяснимое. Когда я был еще здесь, в гимназии[40]... и разврата.

Но в провинции завязать знакомство дело не трудное. А тут еще на выручку мне явился т⟨ак⟩ н⟨азываемый⟩ городской сад. Не знаю, есть ли еще где в провинции такое любопытное место, как наш город⟨ской⟩ сад, или он принадлежность только одного Орла.[41]

---

[37] *Было:* стоило

[38] просветительской деятельности *вписано.*

[39] *Далее было начато:* п⟨ред?⟩

[40] *Далее знак вставки с цифрой VI.*

[41] *Далее было:* Бывал я в разных губ⟨ернских⟩ городах, но подобного учреждения не встречал. Были там сады, разные "Бельвю", Эрмитажи

Думаю, что есть. Коротко говоря, сад наш летом представляется единственным местом, где сосредоточивается Орлов⟨ская⟩ общественная жизнь. Весной и летом, когда...[42]

.....

– Как, уже?

– А чего же откладывать в долгий ящик. Вон они и идут. Впрочем, подождите минуту – я[43] предупрежу их, а то правда[44] неловко.

Через несколько минут он подошел ко мне и сказал:

– Идемте. Они согласны.

И немного помолчав, прибавил с усмешкой:

– Да трудно было и не согласиться... Так я вас ⟨*л. 52 об./35*⟩ расписал – мое почтение...

– Да как же вы могли? Вы не знаете меня? – удивился я.

– Ну вот еще. Вы, батенька, из таких, у кого на лбу написано, что он за птица. Я уж сообщил им, что вас выперли из столицы.

– Да я вам, кажется, не говорил этого... И потом совсем напрасно.

– Совсем не напрасно. Посмотрите зато теперь, как вас примут...

И действительно приняли. Смотрят не то как на волка какого или вообще на редкого зверя, даже неловко стало[45]. При этом осматривают с ног до головы самым наивным образом. И я осмотрел их – ничего, насколько заметил; у одной очень интеллигентное лицо. Пошел с ней рядом.

– Правда, Алек. Ив⟨анович⟩ сказал, что вас привезли сюда с жандармом?

– Правда.

– За что ж это вас?

Ну, думаю, начало хорошее! Сразу могу принять надлежащий тон. Рассказал за что.

– Ах какой вы! И вам не жалко папу и маму?

– Да они-то при чем?

– Как при чем? – в свою очередь удивилась она.

Постарался объяснить ей, что я не могу жертвовать своими принципами в угоду кому бы то ни было, даже родителям.

– Нет, это нехорошо, – решила она совсем для меня неожиданно. – Все-таки отец, мать... И для вас нехорошо. ⟨*л. 53/36*⟩ Вот что вы теперь делать будете?

---

[42] *Далее знак вставки с цифрой VIII.*

[43] *Далее было:* справлюсь

[44] правда *вписано.*

[45] *Далее было:* И

Сказал, что было бы желание, а дела много везде.

– Ну да, конечно. Но зато вы в будущем году кончили б у⟨ниверсите⟩т, а теперь еще два года. И потом, вас могли наказать строже. Могли совсем выключить.

– Да, могли.

– Ну вот. Что ж бы вы тогда делали?

Совсем, вижу, не понимает. Стал объяснять, что такое в жизни человека его убеждения, – но тут подошли остальные. Опять те же самые вопросы. Опять: "правда, вас привезли?" Опять "папа" и "мама" и опять "нехорошо". А. И⟨ванович⟩ молчит и ухмыляется. Еще раз повторил свои объяснения, но они так и остались при своем "нехорошо". Впрочем, скоро им наскучил этот "серьезный" разговор.

– Вам нравится эта барышня? – спрашивает одна из них. Имен их я еще не знал.

– Какая?

– Вот эта, что прошла с гимназистом.

– Да я ее не знаю.

– Нет, а так, лицом?

– Право, не заметил.

– А офицеров вы любите? – спрашивает другая.

– Т.е. как? – удивился я.

– Да так. Вы, студенты, не любите военных. Вот А. И⟨ванович⟩ тоже их не любит. А вы?

– Да, как сословие и я их не люблю. По большей части пустоватый народ.

– Ах нет. Офицеры хорошие. У нас брат[46] офицер, ⟨*л. 53 об./37*⟩ и у него часто бывают товарищи. Все такие веселые. И не пьяницы – а студенты все пьяницы.

Это становилось курьезно.

– Ну, положим, не все. И потом, студ⟨енческая⟩ форма вовсе не служит гарантией, что носящий ее непременно человек хороший. Есть и среди студентов много всякой дряни.

Разговор продолжался в том же[47] духе. Я все более и более удивлялся. Многого ожидал я от провинции, но это превосходило мои ожидания. Еще более изумился я, когда узнал, что одна из этих девиц уже окончила 8 классов гимназии, а две другие кончали. Я посмотрел вопросительно[48] на Образцова – тот, как бы не замечая моего удивления, продолжал преспокойно курить, изред-

---

[46] *Далее было:* студент
[47] *Далее было:* тоне.
[48] *Было:* с вопросом

ка вставляя замечания, дававшие новый материал для остроумных сопоставлений.

Между прочим он[49] завел разговор о курсистках, спросивши, участвовали ли они в "истории".

– А какие чудны́е, эти ваши[50] курсистки, – заметила Анна Дмитриевна, старшая из сестер.

– Т.е. в каком смысле чудны́е? – спросил я.

– Да так. Какие-то... бесстыдные.

– Что?! Бесстыдные?

– Ну да. Вы знали здесь Алфееву и Тановскую? А знаете, что они в Москве делали на курсах? К каждому студенту на шею вешались, пирожки на выставке продавали. Их там теперь так и зовут: Юлька и Зинка.[51]

– Да ведь они и здесь такие ж были и поехали в Москву не учиться, а безобразничать.[52]

⟨*л. 55/79*⟩ [53]"Зачем он мундир приплел?" – рассеянно подумал я[54], почему-то заинтересовавшись[55] его усиками, прыгавшими при каждом его[56] слове.

---

[49] *Вместо:* Между прочим, он – *было:* Образцов

[50] ваши *вписано.*

[51] *Текст:* Их там теперь так и зовут: Юлька и Зинка. – *вписан.*

[52] *Далее вырезано приблизительно 8 листов. Текст на последующих листах написан другими чернилами и почерком иного типа. Затем следует фрагмент, относящийся к другому произведению (см. с. 402 "Он долго смотрел на нас..."), после которого вырезано еще приблизительно 12 листов.*

[53] *Перед:* "Зачем – *было:* Я обратился в соляной столб. Мои глаза остановились почему-то на его прыгающих усиках

[54] *Далее было:* и

[55] *Было:* заинтересовался

[56] его *вписано.*

БАРГАМОТ И ГАРАСЬКА

(С. 55)

Варианты прижизненных изданий (К, НБ, КР, Зн, Пр)

2 несправедливо / несправедливым (*К, НБ, КР, Зн*)
3 Акиндиныча / Акиндиновича (*Зн*)
5 "Баргамот" / "Баргамотом" (*К, НБ, КР*) / "Баргамотов" (*Зн, Пр*)
5–6 города Орла / городка О. (*К, НБ, КР, Зн*)
12 одного / одно (*К, НБ, КР, Зн*)
16 и давно / и давно бы (*КР, Зн*)
16–17 достиг бы / достиг (*К, КР, Зн*)
18 стенами, / стенами, давным-давно (*К*)
18 не была погружена / не погрузилась (*К, КР, Зн*)
26 всякого / всяческого (*К, НБ, КР, Зн*)
37 была все / была и prima и ultima ratio* (*К, КР*)
49 *После:* для порядка. – За это их Баргамот бил, – с его точки зрения не сильно, но вполне достаточно для того, чтобы человеку, менее закаленному, чем пушкарь, причинить увечье. (*К, НБ, КР*)
77 поднимались / поднималось (*К*)
89 на стойку / за стойку (*К*)
102 воскресении / Воскресении (*К, НБ, КР, Зн, Пр*)
106 Ванюшку / Ваньку (*Зн*)
112 мальчик / мальчишка (*К, НБ, КР, Зн, Пр*)
117 заглянул / заглянув (*К, НБ, Зн, Пр*)
132 в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, / в пространство. Последнее оказалось вовсе не таким бесконечным, (*КР, Зн*)
133–134 фонарей. С первым же из них Гараська вступил / фонарей, с первым же из которых Гараська вступил (*К, НБ, КР*)
138 обсыпать / осыпать (*К*)
155 почетных / почтенных (*К, КР*)
156–157 *После:* здорово живешь. – Соберется толпа взрослых и ребят и с наслаждением слушает, как Гараська омрачает честь и доброе имя купца Пиншакова, находит крупные изъяны в

* первое и последнее доказательство (*лат.*)

его генеалогическом дереве, набрасывает тень на поведение всех его отдаленных родственников и выражает сильное сомнение в принадлежности к порядочному обществу его друзей и знакомых. (*К, НБ, КР*)

165 спиртный / спиртной (*К, НБ, КР, Зн*)

166 ночевал / кочевал (*К, НБ, КР, Зн, Пр*)

175 Отрепья / Отребья (*К, НБ, КР, Зн*)

187 он сделал / сделал он (*К, НБ*)

192 *После*: – Не можете. – Нынче нам полиция... тьфу! (*К, НБ, КР*)

215 у Михаила Архангела / в Михайле Архангеле (*К, КР*)

235 Яи-ч-ко... / Яичко. (*Зн*)

235 *После:* – Яичко (*с абзаца*) – Ну? (*К, НБ, КР*)

236 поднял руку / поднял одну руку (*К, НБ, КР*)

237 слизью / склизью (*К, НБ, КР*)

244 в участок пожелал / в участок за это пожелал (*КР, Зн*)

248 *После:* разбилось, – и как плакал бы Ванюшка, (*К*)

248 и как это ему / и как это бы ему (*К*) / – и как бы ему, (*Зн*)

278 пузатому / пузастому (*К, НБ, КР, Зн*)

295 чуден был Баргамот! / чуден Баргамот! (*К, НБ, КР, Зн*)

303 надо / нужно (*К, КР*)

306 отрепий / отребий (*К, НБ, КР, Зн*)

310 и больше / и еще больше (*К, НБ, КР*)

315–316 обжигается / тоже обжигается (*К, НБ, КР, Зн*)

318 Герасим... / Гарасим... (*К, НБ, КР*)

321 Герасим Андреич. / Гарасим Андреич. (*К, КР*)

329 Герасим / Гарасим (*К, НБ, КР, Зн*)

331–332 *После:* не называл... (*с абзаца*) – Утро. У открытого окошка сидят за столом Баргамот и Герасим Андреич и кушают спрохвала чай. Желтый, помятый самовар, как бы пытающийся своим блеском затмить блеск горячего апрельского солнышка, отражает в себе тощего субъекта в кубовых чистых шароварах, подтянутых чуть ли не под мышки, и ситцевой в розовых крапинках рубахе, свободно и без малейшего риска могущей вместить в себя три таких субъекта. Разговор идет степенный. Баргамот, пережевывая слова, излагает свой взгляд на ремесло огородника, являясь, видимо, одним из его приверженцев. Вот пройдет неделька, и за копанье гряд нужно будет приняться. А спать пока что Герасим Андреич может и в чуланчике. Время к лету идет.

– Еще чашечку выкушайте, Герасим Андреич!

– Благодарствуйте, Иван Акиндиныч. Кажется, уж достаточно.

– Кушайте, кушайте, мы еще самоварчик подогреем. (*К*)

ЛЮБОВЬ, ВЕРА И НАДЕЖДА

(С. 64)

Варианты первой публикации (К)

17 удавившихся, застрелившихся / удавившихся, утопившихся, застреливших
49 стена / стенка
102 ниже и ниже / ниже, еще ниже
123 *После*: нечто. (*с абзаца*) – Должен во имя истины заметить, что я при этом не присутствовал и все дальнейшее передаю со слов Жана Энного, человека в вопросе о сотрясениях весьма сведущего и опытного.
158 через которое / чрез которое
164–165 ниоткуда не доходит / ниоткуда никогда не доходит
168 В противоположность / В противуположность
179–180 забравшись головой в угол / забившись головой в угол

АЛЕША-ДУРАЧОК

(С. 69)

Варианты первой публикации (К)

57 молчал / замолчал
81 ...Дурачок. /... дурачок.
100 дожидайся! / дожидайся.
101 Тут много денег. / Тут очень много денег.
129 совершается / совершаются
131 – Поди-кась / – Поди-кось
150 шале / шалэ
154 господин Треплов / г. Треплов
179 масса народу / масса народа
199 Леша / Лешка
212 – Да-а / Д-а
215 – Побила / – По-била
228 что это в кулаке зажато? / что это, грит, в кулаке зажато!
244 привычное... / привышное...
255 это и правда / почему, это и правда
272 и снова тихой / и своей тихой
283 дожидающим / ожидающим
303 ключом / фонтаном
306–307 и тем более / и это тем более
335 взял / и взяв
339 Ай да барчук / ой да барчук
355 что едва ли он / что он едва ли

ЗАЩИТА

(С. 79)

ЧА

⟨*л. 25*⟩ Слухи об интересном процессе разошлись неведомыми путями по городу, и у дверей суда была настоящая давка. К одиннадцати часам[1] зал суда был полон. Расставленные по коридорам решетки[2] прекращали дальнейший доступ, но[3] запоздавшие любители и любительницы[4] сильных ощущений продолжали напирать, пытаясь подкупать сторожей и прибегая к протекции какого-нибудь господина в судейской форме. Публика, столько раз с различным успехом описанная судебными хроникерами, была та же, что бывает на первых представлениях, на скачках и бегах. В одном месте рассказывался сюжет драмы; в другом интересовались исполнителями, но почти все, привыкшие видеть на подмостках театров искусственные страдания и страсти, не верили в действительность того, что сейчас произойдет перед их глазами. Только небольшая кучка лиц, ранее всех пришедших, видела не сцену, а жизнь. То были родственники или знакомые обвиняемых или те, кому вскоре ⟨*л. 25 об.*⟩ предстояло появиться самим на скамье подсудимых и которые исподволь выбирали себе защитников из наиболее понравившихся им адвокатов.

Первым судили какого-то мелкого воришку. Это было нечто вроде глупенького[5] водевиля перед серьезной драмой. Публика скучала, жаловалась на жару, но не решалась покидать своих ненумерованных мест.

По коридору прохаживался высокий худощавый блондин, одетый во фрак. Это был один из двух защитников, которым предстояло выступать по крупному делу. Звали его Валентином Николаевичем Колосовым, и он[6] третий уж год состоял в звании помощника присяжного поверенного. Перед каждым крупным

---

[1] *Далее было начато:* кор⟨идор⟩
[2] *Было:* рогатки
[3] *Далее было:* продолжавшие
[4] и любительницы *вписано на полях.*
[5] глупенького *вписано.*
[6] *Далее было:* второй

делом Валентин Николаевич[7] сильно волновался, но на этот раз его дурное состояние перешло границы обычного. Причин на то было много. Главнейшей из них были больные нервы. Последний год они прямо-таки отказывались служить, и водяные души, принимаемые им, ⟨*л. 26*⟩ помогали очень мало. Нужно было бросить курить, но Колосов не мог решиться на это, так сильна и мила была ему эта ненавистная привычка. И теперь ему захотелось покурить, хотя во рту у него уже образовался тот неприятный осадок, который так знаком всем курящим запоем. Колосов отправился в докторскую комнату, оказавшуюся свободной, лег на клеенчатый диван и закурил. Ох, как он устал! Целую неделю не вылезает он из фрака. Да какое неделю! То у мировых, то в съезде; вчера целый день до девяти дежурил в[8] окружном суде по пустейшему гражданскому делу. Товарищи завидуют, что он много зарабатывает, ставят его примером неутомимости, а куда все это идет? Три тысячи в год, к⟨отор⟩ые с таким трудом он выколачивает, идут между пальцами. Дети требуют на себя все больше и больше, а жена хозяйничать совсем не умеет... Долги растут.

При воспоминании о жене и долгах[9] Колосов поморщился и вздохнул.

– Послушай, куда ты запропастился? – влетел ⟨*л. 26 об.*⟩ в комнату товарищ Колосова по сегодняшней защите, Померанцев, тоже помощник присяжного поверенного, уже успевший приобрести репутацию талантливого криминалиста. Невысокий брюнет, подвижной, говорливый и жизнерадостный, Померанцев был редким баловнем любившей его богатой семьи и счастья.

– Нам нужно[10] условиться относительно защиты, – быстро говорил Померанцев.

– Отвяжись, бога ради. Потом, – ответил вздрогнувший Колосов.

– Да как же потом?..

Колосов устало махнул рукой, и Померанцев, передернув плечами, торопливо вышел.

Дело, по которому выступали Колосов и Померанцев, было по фабуле несложно. На одной из окраин Москвы, там, где кабак сменяет кабак и где ютятся подонки столичного населения, произошло убийство. Какой-то проезжий молодец, по видимости приказчик, кутил в[11] сопровождении двух оборванцев ⟨*л. 27*⟩ и

---

[7] *Далее было начато:* в⟨олновался⟩
[8] *Далее было:* съезде
[9] и долгах *вписано.*
[10] *Далее было:* распределить защиту –
[11] *Далее было начато:* нескольк⟨их?⟩

гулящей девки[12] Таньки Белоручки, открывал и показывал бумажник с деньгами, а на другое утро[13] был найден задушенным и брошенным на ⟨о⟩городах. Бумажник исчез. Через неделю все трое были задержаны и сознались в убийстве. Колосов должен был защищать Таньку Белоручку. В тюрьме, куда он отправился на свидание с обвиняемой, его ожидало нечто неожиданное. "Танька", или Таня, как он начал называть ее, была молоденькая, хорошенькая девушка с гладко зачесанными русыми волосами, скромная и пугливая. Одиночное ли заключение смыло с ее лица грязь позорного ремесла, или жестокие душевные страдания одухотворили его, но ни в чем не было видно того презренного и жалкого создания, какое ожидал встретить Валентин Николаевич. Только голос, грубый и несколько охрипший, говорил о ночах разврата и пьянства. После первого их свидания Колосов понял, что Таня ни душой, ни телом не повинна в убийстве. Страх погубил ее. Страх существа, находящегося внизу общественной лестницы и придавленного всеми, кто находится выше. ⟨*л. 27 об.*⟩ Всякий был сильнее Тани и всякий обижал ее, был ли то ее любовник, драчливый и жестокий, или городовой, сияющий всеми своими значками и бляхами и[14] одним своим видом приводивший Таню в панический ужас. Она иногда защищалась, как защищается загнанный зверек, бессильно запрокинувшийся на спину и яростно скалящий зубы на поднятую руку, – но в самой этой показной ярости было больше ужаса и смертельной тоски, чем в самом отчаянном вопле. Со слезами и сомнением в том, что кто-нибудь может поверить ее словам, Таня рассказала, как произошло убийство. Когда все они вышли из последнего кабака и проходили пустырем[15], двое ее знакомцев, Иван Горошкин и Василий Хоботьев, накинулись на молодца и стали душить его. Таня закричала было, но Иван, ее любовник, пригрозил задушить и ее.[16]

⟨*л. 28*⟩ На другой день Таня упрекнула Ивана в содеянном, но тот двумя ударами кулака убедил ее в непреложности совершившегося факта, а через два часа Таня пела песни, плакала и пила водку, купленную на награбленные деньги.

Колосов еще раза три был у Тани, но после каждого посещения предстоящая защита казалась все труднее. Ну что он скажет на суде? Ведь нужно рассказать все что есть горького на свете, рассказать о вечной неумолкающей борьбе за жизнь, о стонах

---

[12] гулящей девки *вписано*.
[13] *Вместо:* другое утро – *было:* другой д⟨ень⟩
[14] и *вписано*.
[15] и проходили пустырем *вписано*.
[16] *Далее оставлено несколько пустых строк, на полях вписан знак вставки.*

побежденных и победителей, в одной куче валяющихся на поле. Но разве об этих стонах можно рассказать тому, кто сам их не слышал и не слышит? Ему хотелось вместо слабых слов сделать то, что некогда сделал и Христос, – поставить Таню перед судьями и сказать: "смотрите – и судите ее, если можете судить". Но что было хорошо во времена Христа, невозможно теперь, при существовании уголовного процесса и строгого председателя.

Вчера ночью (день он был занят) Валентин[17] Николаевич готовился к защите. Сперва дело не ⟨*л. 28 об.*⟩ клеилось, но после нескольких стаканов крепкого[18] чаю и десятка папирос разбросанные мысли стали складываться в систему. Все более возбуждаясь, электризуя себя удачными, красивыми фразами, Колосов к утру составил[19] красивую, сильную, убедительную речь, прежде всего убедившую его самого. На минуту в нем исчез страх, который передался ему ⟨от⟩ Тани, и он[20] лег спать, уверенный в себе и победе. Но бессонница сделала свое дело. Сегодня у него голова тяжела и пуста. Отдельные фразы из речи[21], которые он набросал на бумаге, ничего не говорят ему. Вся надежда на то, что нервы приподнимутся и в нужную минуту он овладеет собой.

Он[22] сегодня уже виделся с Таней и был неприятно поражен той одеревенелостью, которая сказывалась в лице Тани и ее голосе.

– Смотрите же, Таня, вы передайте все так, как и мне говорили. Хорошо?

– Хорошо, – ответила покорно Таня, но в этой покорности звучал тот одному ему понятный страх, которым было пропитано все существо ⟨*л. 29*⟩ Тани.

Дело началось.

Когда отворилась дверь, ведущая из коридора за решетку, за которой помещаются подсудимые, и они начали входить один за другим, публика, наскучившая ожиданием, всколыхнулась. Звякнули шпоры жандармов, блеснули их обнаженные[23] палаши, и публика поняла, что драма начинается. Пронесшийся по залу шорох и шепот показал, что зрители обмениваются впечатлениями. Ординарная наружность Ивана Горошкина и Хоботьева вызвала нелестные замечания, зато Таня понравилась – настоящая

---

[17] *В рукописи:* Аркадий
[18] крепкого *вписано.*
[19] *Далее было начато:* уб⟨едительную?⟩
[20] он *вписано.*
[21] из речи *вписано.*
[22] *Далее было:* был у
[23] обнаженные *вписано.*

героиня драмы. "Как молода и как испорчена", – говорили одни, с добродетельным ужасом рассматривая бледное лицо. "Недурна!" – цинично замечали другие. Где-то в уголке послышался глубокий[24] вздох.

После обычного опроса подсудимых о их звании и имени председатель спросил Таню о ее занятии, ответила:

– Проститутка.

И это слово, брошенное в середину расфранченных, чистых женщин, сытых и довольных мужчин, ⟨*л. 29 об.*⟩ прозвучало как похоронный колокол, как мощный упрек всем живым. Но ничья не опустилась голова, ничьи не потупились глаза. Еще более жадное любопытство засветилось в этих глазах – подсудимая так хорошо ведет свою роль!

После обычных формальностей подсудимым предложено было рассказать, как происходило дело. Первым приступил к повествованию Иван Горошкин, средних лет смуглый брюнет с манерами признанного сутенера. Его потасканное, довольно красивое, но слишком мелкое лицо хранило выражение своеобразного достоинства и некоторого самолюбования. Говорил он не торопясь, подыскивая выражения и имея такой вид, как будто он хорошо сознает свое превосходство над окружающими и стесняется особенно ярко обнаруживать[25] его. По его словам выходило, что все трое имели одинаковую долю в совершении убийства. Он держал неизвестного за руки, Танька набросила ему петлю на шею, а Хоботьев душил. И деньги поделили ⟨*л. 30*⟩ поровну. Хоботьев, во всех отношениях безличный субъект, повторил ту же историю, расходясь с Горошкиным лишь в неважных подробностях относительно дележа денег. Видно, что он глубоко был обижен тем, что Ивану досталась львиная доля. Наступила очередь Тани.

Колосов со страхом ожидал первых ее слов, и – после первых грубых звуков ее ломающегося голоса понял, что дело плохо. Куда-то исчезла та искренность, которая так подкупила его и, в сущности, была единственным оружием Тани. Путаясь в ненужных подробностях, оскорбляя просвещенный слух вульгарностью и резкостью выражений, Таня видимо старалась оправдываться и, чем больше старалась, тем худшее производила впечатление. "Лучше бы она совсем уж молчала!" – со злостью[26] думал Колосов, мучительно улавливая каждую неверную нотку, не глядя

---

[24] *Было:* тихий

[25] *Было начато:* под⟨черкивать?⟩

[26] со злостью *вписано.*

на публику и присяжных, но всем телом чувствуя, как растет неприязнь и недоверие.

– Если вы[27] непричастны к убийству, то почему же вы сознавались в нем в полиции и у следователя? ⟨*л. 30 об.*⟩ – спросил председатель.

Таня замялась и потом ответила, что в полиции ее били. Не только все присутствующие, но и сам Колосов почувствовал в этих словах ложь – она ему не говорила ничего подобного. Но он понял, почему Таня солгала: чем иным, как не битьем, могла она объяснить всем этим важным господам[28] свой страх перед приставом, который, может быть, только глазом на нее повел, а ей бог знает что почудилось! Колосов сжал со злостью зубы и уткнулся в пюпитр, чтобы не видеть недоверчивых улыбок.

– А следователь вас тоже бил? – продолжал спрашивать председатель. Где-то в задних рядах публики пронесся подленький смешок.

Таня молчала.

– А не судились ли вы за кражу? Мировой судья приговорил вас к 3 м⟨есяцам⟩ тюремного заключения.

Таня молчала. К чему она будет говорить? Разве ей поверят. Да[29] и не все ли равно? Жаль вот только, что В⟨алентин⟩ Н⟨иколаевич⟩ рассердился, что она не сумела рассказать.

⟨*л. 31*⟩ Начался бесконечный допрос свидетелей. Перед все более туманившимися глазами Колосова проходили благообразные, вежливые и многоречивые содержатели кабаков, заспанные и как будто чем-то оглушенные "прислужающие". Одни загромождали свою речь тысячью мелких подробностей, и их нельзя было заставить замолчать; из других приходилось вытаскивать каждое слово. Каким-то образом припуталась к делу[30] древняя глухая старушонка, поворачивавшая к председателю то одно, то другое ухо[31], отвечавшая невпопад и смешившая суд и публику. Появился свидетелем семилетний, чисто одетый мальчик, худенький и застенчивый. После нескольких ободрительных слов председатель спросил, что делали[32] Белоручка и другие, когда заходили к его бабке в хату.

– Калтошку чистили, – ответил мальчик и, взглянув исподлобья на председателя, улыбнулся.

---

[27] *Было:* Вы
[28] всем этим важным господам *вписано.*
[29] *Далее было:* не
[30] *Далее было начато:* столет⟨няя⟩
[31] *Было:* слово (*описка*)
[32] *Далее было:* Танька

Улыбнулся суд, улыбнулись присяжные, улыбнулась и тихо плакавшая Таня. Колосов заметил эту любовную улыбку[33] матери, похоронившей своего ребенка, и подумал: "Ради одной этой улыбки ⟨*л. 31 об.*⟩ нужно оправдать ее".

Часы шли за часами, и Колосов чувствовал себя все хуже и хуже. Перед утомленными глазами его протягивались какие-то нити; слух с трудом воспринимал звуки; он иногда не понимал, о чем говорит свидетель, и раз вызвал уже замечание суда по поводу вторично предложенного одного и того же вопроса. Апатия и скука затягивали его. Он пытался чем-нибудь расшевелить себя; в перерыве курил одну за другой папиросы; выпил рюмку коньяку – но минутное возбуждение сменилось еще большим упадком энергии. "Боже, что со мной?" – приходила минутами мысль, и где-то ощущался страх, и по спине поднимался легкий холодок. Померанцев, смелый, бойкий, настойчивый, вел следствие прекрасно: выматывал душу из свидетелей, вступал в пререкания с прокурором и председателем и вызывал лестные замечания в публике.

Дело Тани портилось. Мимолетное показание о том, как горячо любила она своего умершего ребенка, заставившее всех с симпатией взглянуть ⟨*л. 32*⟩ на подсудимую, было заслонено ужасным фактом: у Тани был найден при обыске кошелек убитого.

Прения начались только в одиннадцатом часу вечера. Прокурор, пожилой сутуловатый человек, с умным и выразительным лицом, тихой, спокойной и красивой речью, был грозен и неумолим, как сама логика – это самая лживая вещь на свете, когда ею начинают мерить человеческую душу. Оставаясь на почве фактов и только фактов, без трескучих фраз и деланных[34] эффектов, прокурор прибавлял петлю за петлей к сети, опутывавшей Таню. Бесстрастно, объективно, эпически начертав картину среды, в которой произошло убийство, и приступил к описанию самого злодеяния...

Колосову, нервно перебиравшему похолодевшими руками свои заметки, казалось, что с каждым словом[35] обвинителя в зале тухнет лампочка и становится темнее. Он чувствовал сзади себя притихшую Таню, видел, не глядя, ее[36] глаза, расширявшие⟨ся⟩ при каждом слове, как молотом гвоздившем ее наклоненную голову. Впервые со всей ясностью и силой понял он, какая тяжелая ⟨*л. 32 об.*⟩ лежит на нем ответственность. Сердце холодело у него,

---

[33] *Далее было: а.* ма⟨тери⟩ *б.* женщины
[34] деланных *вписано.*
[35] *Далее было начато:* про⟨курора⟩
[36] *Далее было начато:* ра⟨сширявшиеся⟩

руки тряслись – а мысль о бессилии отнимала последние силы. Он смотрел на Померанцева, который вслушивался в речь прокурора, спокойно делал карандашом отметки, и не понимал, как может тот быть таким спокойным...

...Все более грозная туча обвинения нависала над головой Тани. С тем же жестоким спокойствием прокурор говорил о позорном прошлом "Таньки Белоручки", запятнавшей свои руки в неповинной крови. Говорил о краже, добавляя, что, быть может, она уже не первая...

Колосову казалось, что воздуху начинает не хватать в притихшем зале. Где-то светит солнце, где-то смех женский, ласка детей, а здесь... То, что чувствовал Колосов, он мог выразить в одном крике, отчаянном и диком. О, если бы у него был язык богов! Какая громовая речь пронеслась бы[37] по этому залу. Растворились бы жестокие сердца, рыдания огласили бы зал, свечи потухли бы от ужаса, и сами стены содрогнулись от жалости и горя! Как тяжело ⟨*л. 33*⟩ иногда быть человеком, только человеком... Вот он встает и говорит. Но разве это его голос? Этот звучный, металлический, режущий как нож, отд⟨а⟩ющийся в каждом уголке голос – разве его? Почему замирает зал? Отчего присяжные наклонили головы, а один, раскрыв рот, смотрит в упор на него, и слезы текут по дряблым щекам? Кто-то глухо рыдает. А, это Таня. Плачь, Таня, плачь. Ведь это твой мир, мир обездоленных. Ведь это ты горькая, забитая, болезная... Вот зал наполняется звуком несдерживаемых рыданий и вздохов. Иван встает и говорит: "повинюсь, гг. судьи, Танька точно что не виновата"...

Прокурор кончил свою речь. После минутного перерыва, наполненного кашлем, сморканием и шумом передвигающихся ног, начинает говорить Померанцев. Речь плавная, красивая, льется как ручеек. Здоровый, мягко вибрирующий голос как бы понемногу рассеивает тьму. Вот пронесся легкий смех – Померанцев вскользь бросил остроту по адресу прокурора. Колосов смотрит на[38] полное красивое лицо товарища, следит за его округленными ⟨*л. 33 об.*⟩ жестами и думает: "хорошо тебе, не знал ты нужды, горя, здоров ты и весел..."

Когда наконец Колосов начал говорить, он действительно не узнал своего голоса: глухой, надтреснутый. Присяжные, насторожившиеся, после первых фраз начали двигаться, смотреть на часы, перешептываться. Фразы, деланные, неестественные, идут одна за другой, наводя скуку на утомленных судей. Председатель,

---

[37] бы *вписано.*

[38] *Далее было:* товарища

после минутного внимания, переговаривается с членом суда. "Хоть бы кончить поскорее!" – думает Колосов.

Присяжные заседатели отправились в совещательную комнату. Как мучительно тянутся эти полчаса! Колосов старается избегать товарищей и разговоров. Но один, молодой, веселый, толстый и не понимающий, что можно говорить, чего нельзя, настигает его:

– Что это вы, батенька, так плохо нынче? А мы нарочно пришли вас послушать.

Колосов бормочет что-то, любезно улыбается и ощущает в себе странное желание ударить по этой пухлой, осклабленной физиономии.

⟨*л. 34*⟩ Вот и звонок. Болтавшая, гулявшая и курившая публика толпой валит в зал, толкаясь в дверях. Наступает самый интересный момент, который так жадно ожидает публика на скачках и бегах. Колосов стоит в дверях и смотрит на бледный профиль Тани.[39]

Старшина присяжных, седой представительный старик, читает, с трудом разбирая через пенсне:

– Виновна ли крестьянка Московской губ⟨ернии⟩ Б⟨ронницкого⟩ уезда Татьяна Никанорова Палашева, 20 лет, в том, что в ночь с 8 по 9 декабря... с целью воспользоваться имуществом... в сообществе... задушила...

– Да, виновна.

...Показалось ли это Колосову, или Таня действительно покачнулась? Или он сам покачнулся?

Варианты прижизненных изданий (К, Зн, Пр)

4 одетый во фраке / одетый во фрак (*К*)
16 клеенчатый диван / клеенчатый холодный диван (*К*)
76 зверек / зверок (*К*)
117 передавайте / передайте (*К, Зн*)
152 ожидающей его / ожидающейся (*К*)
152–153 примириться / помириться (*К*)
167 сознались / сознавались (*К*)
195 симпатичный / семилетний (*К*)
246 В притихшей зале / В притихшем зале (*К*)
274 Хотя бы кончить / Хоть бы кончить (*К, Зн, Пр*)
296 двадцати одного года – в *К нет.*
310–311 безжизненно опущенную руку / за безжизненно опущенную руку (*К, Зн*)

---

[39] *Текст:* Колосов стоит ~ профиль Тани. – *вписан на полях.*

ИЗ ЖИЗНИ ШТ.-КАПИТ. КАБЛУКОВА

(С. 87)

ЧН1

За пятнадцатилетнюю службу у капитана Евг.М. Селезнова[1] перебывало много денщиков[2], так что Е.М. имел право утверждать, что он с этим народом знаком в достаточной степени. Но в освещении С⟨елезнова⟩ эти Капраловы, Симновы, Васильчиковы, Косых и пр. приобретали свойства героев мелодрам или того направления в литературе, когда выводимые лица являлись носителями одного какого-либо определенного свойства, за которым в них все человеческое отсутствовало. Казаков был вор, Симнов – пьяница, Афроськи⟨н⟩ глуп как пробка. Некоторые денщики составлялись из двух свойств: глуп, но честен; умен, но пьяница. Менялись денщики часто, хотя С⟨елезнов⟩ был и не требователен. В общем все они сливались в одно собирательное понятие скотины, с которой поневоле приходится иметь дело офицеру.

С того счастливого дня, как С⟨елезнов⟩ имел счастье обратиться в нечто целое, приобретя недоставшую половину в лице дочери над⟨ворного⟩ со⟨ветника⟩ Ал.Н., денщики стали[3] приобретать многие новые свойства, но все решительно клонившиеся к их невыгоде. Появились среди них нехозяйственные, неаккуратные, неряхи, непослушные, не умеющие даже щей сварить.

ЧН2

⟨*л. 12*⟩ ДЕНЩИК

[Он был Михрютка в полном смысле этого слова. Глуп он был как сивый мерин, выражаясь деликатно[4] языком его непосредственного начальства, штабс-капитана Николая Ивановича Коноплева. Пьяницей он был не меньше, но много[5] больше

---

[1] *Далее было:* переменилось

[2] *Далее было:* . Особенно часто стали⟨?⟩ ⟨*нрзб.*⟩ в

[3] стали *вписано.*

[4] деликатно *вписано.*

[5] *Было:* даже

даже[6] самого штабс-капитана. И звали его, в довершение всех зол, Епафродитом. Денщиков офицеры зовут обыкновенно по физиономии, но Епафродит был удостоен чести называться по имени и Николай Ивановичем, и посещавшими его офицерами. Наименее остроумным из всех словообразований, которым подвергалось его имя, была обидная кличка Афродита. Обидная, потому что Епафродит был самолюбив и знал, что Афродитой зовут собаку подпоручика Соболева. На это имя он являлся тотчас только по зову капитана, так как у того не было заметно желания обидеть человека[7] и краткость выражений вообще была свойственна Николаю Ивановичу.[8] В устах капитана он даже предпочитал это имя[9] грозному "Кукушкин!", ибо последнее означало гнев и вытекающие из него нежелательные последствия. На зов же молодых подпоручиков он являлся после значительного и демонстративного[10] промедления, после того как "Афродита" сменялась менее обидным "Венера!".

Если при своем появлении Кукушкин походил на Венеру, выходящую из пены морской, как то утверждали подпоручики,] ⟨*л. 13*⟩ то на Венеру, принявшую холодную[11] ванну в виду лишь особой необходимости, потерпевшую на дне моря крупную неприятность и – по некоторым признакам – утолявшую свое горе в одном из подводных кабаков. На его лице было написано столько безысходного горя; вся его длинная, несуразная фигура с развинченными руками и ногами, с охотой принимавшими всякое направление, кроме искомого, была преисполнена таким унынием, что можно было удивиться, как этот человек до сих пор не выберет себе веревку покрепче и не приведет при посредстве ее свои члены в вертикальное и спокойное, лишенное забот[12] положение.

– Чем тебя я огорчила? – спросил его однажды подпоручик Соболев, пораженный убитым видом денщика.

Вопрос подпоручика показался Кукушкину не лишенным занимательности. Мгновенно вся его унылая физиономия просветлела и покрылась рядом лучеобразных морщинок; рот растянулся, обнаружив крепкие белые зубы, глаза съежились в щелочку и виновато скосились в сторону. Прикрыв из почтительности рот большой рукой, Кукушкин хихикнул, сперва тихо, потом громче,

---

[6] даже *вписано.*
[7] *Далее было:* , а лишь
[8] *Далее было начато:* Епаф⟨родит⟩
[9] *Далее было начато:* друго⟨му⟩
[10] *Далее было начато:* неува⟨жительного?⟩
[11] холодную *вписано.*
[12] лишенное забот *вписано.*

но для полного выражения своего восторга перед остроумием поручика должен был удалиться в кухню. Входя потом несколько раз в комнату, Кукушкин не мог без смеха смотреть на физиономию подпоручика, и только грозный оклик "Кукушкин!" мог привести его в нормальное состояние беспричинной унылости.

⟨*л. 14*⟩ Как впоследствии убеждался капитан, состояние беспричинной унылости и внезапного, необоснованного веселья составляли отличительную черту Кукушкина. В связи с наклонностью его превратно истолковывать капитанские приказания и исполнять их тем быстрее, чем они нелепее истолковывались, эти свойства давно заставили бы Николая Ивановича расстаться с денщиком, если бы он не чувствовал, что их соединяет какое-то невидимое духовное сродство. В чем оно заключалось, капитан не мог объяснить, но оно было.

Попав в несчастливую дивизию, где все офицеры отличались живучестью, Коноплев уже тридцатый год тер лямку и достиг лишь чина штабс-капитана, тогда как товарищи его по выпуску уже носили подполковничьи эполеты. Монотонная, однообразная жизнь понемногу заглушила в нем неясные порывы; скудное содержание, некрасивость и застенчивость уводили его от женщин и лишили того, что составляло лучшую и неисполнившуюся мечту его жизни – удалило его от очага семейного. Постепенно из него выработался суровый с виду закоренелый холостяк, с презрением толковавший о женщинах, пропахший ядовитым запахом крепкого табаку и водки, обрюзгший, ленивый и нечистоплотный. Родных и близких у капитана не было, и жил он бобылем, погруженный в узкие интересы 4-й роты[13], офицерское собрание, стуколку по 3 копейки с обязательным ходом, анекдоты[14] и водку. Подл он никогда не был, но никогда не был и трезв: какое-то сумеречное, призрачное существование вел он, сквозь пары алкоголя смотря на мир, и людей, и на себя.

⟨*л. 15*⟩ Когда-то Коноплев хотел ехать доучиваться в Академию; от того времени остались кое-какие книжки; но давно уж не читал их Коноплев[15],[16] ограничивая[17] литературный материал приказами по полку. Никого он не любил, никто и его не любил. От молодых, шумных и чего-то ждущих[18] он сторонился, с[19] старыми

---

[13] *Далее было:* стуколку и
[14] *Далее было:* пьянст⟨во⟩
[15] *В рукописи:* Киселев
[16] *Далее было:* все ограничивая
[17] *Далее было начато:* св⟨ой?⟩
[18] шумных и чего-то ждущих *вписано.*
[19] с *вписано.*

скучал и пил водку. Нельзя сказать, чтобы жизнь эта не нравилась ему; он с радостью мечтал о следующем чине, о пенсии и покое. Но иногда страшно бессмысленной казалась ему его жизнь; тогда он пил так наз⟨ываемым⟩ запоем, т.е. сидел дома в одном белье, пил не закусывая до тех пор, как руки начинали дрожать и физиономия опухала; иногда с просветленным лицом мурлыкал какой-то мотив, слышанный в юности, и плакал пьяными слезами; иногда буйствовал, стучал кулаками, бил посуду и требовал, чтобы ему дали шашку. Запой проходил. Неделю капитан отлеживался, потом с восковым лицом являлся на службу, стараясь спрятать дрожащие руки – и снова понемногу погружался в[20] полупьяную спячку с ленивыми мечтами о следующем чине, о пенсии.

Во время запоев, когда кап⟨итан⟩ бывал беспомощен как ребенок, все капитанское добро и сам он находился в руках денщика. Тут-то и показал себя Кукушкин. Неумолимо честный, он ухаживал за Н⟨иколаем⟩ И⟨вановичем⟩ и, дабы поддержать равновесие, пил водку, удаляясь для этого в кухню; стоя навытяжку у дверей, он по целым часам выслушивал пьяные жалобы капитана на несправедливости[21], укладывал его спать, поил рассолом.

ЧА

⟨*л. 16*⟩ ШТАБС-КАПИТАН КАБЛУКОВ[22]

Через запушенные инеем и покрытые причудливыми узорами стекла окон проникали утренние лучи зимнего солнца и наполняли холодным, но радостным светом две большие светлые комнаты, составлявшие вместе с кухней жилище капитана и его денщика Кукушкина. Видимо, за ночь мороз покрепчал, потому что на подоконниках, у углов рам, образовались ледяные наросты и при дыхании в очистившемся за ночь от ⟨*л. 17*⟩ запаха табаку

---

[20] *Было:* и

[21] *Вместо:* на несправедливости – *было*: на то, что его обижало (*незач. вар.*)

[22] *Далее было* (*с абзаца*)*:* Штабс-капитан Николай Иванович Каблуков, получая вчера жалование, поспорил немного с казначеем по поводу [выч⟨етов⟩] некоторых вычетов, которые казначею казались необходимыми, но вовсе не казались такими Николаю Ивановичу. Такие же споры, обнаружившие в нем искусство диалектики, а по мнению поручика Мордовцева, даже и софиста, имели место и с другими лицами и оставили в результате Николая Ивановича обладателем крупного капитальца в тридцать рублей с копейками. Так как существование Николая Ивановича было на месяц вперед обеспечено возможностью беспрепятственно делать новые долги, то мысль его устроить в сочельник пирушку и таким образом скрасить привычную, но в большие праздники особенно резкую горечь одинокой жизни, являлась вполне осуществимой.

воздухе появлялся пар, сейчас же исчезавший. Умывшись над тазом[23] холодной водой с плававшими по ней тонкими листиками льда и докрасна растерев грубым полотенцем лицо и лысину[24], капитан почувствовал себя бодрым и радостным.

– Кукушкин, – сиплым баритоном крикнул Николай Иванович, прихлебывая из стакана горячий чай. Стакан был вставлен в серебряный, почерневший в узорах подстаканник, составлявший вместе с серебряным мундштуком весь ассортимент имевшихся у капитана драгоценных вещей. – Кукушкин!

Стуча подкованными каблуками[25], в комнату вошел[26] Кукушкин, за несообразность, по выражению фельдфебеля, отставленный от строевой службы. Маленькая голова его, с[27] большими лопастыми ушами и дыбом стоящими волосами[28], уныло торчала на длинном и худом туловище, охотно принимавшем всякое положение, кроме желательного. Кукушкин вытянулся[29] у притолоки и, скосив глаза, ожидал.

– Экий ты, братец, михрютка, – кротко упрекнул капитан. – Нужно идти сразу, когда зовут.

– Так точно, – угрюмо пробурчал Кукушкин.

– Экий ты дурак, братец. И чего ты морду-то воротишь? Пьян был?

– Нам не на что пить.

– Ну, ладно. Слушай: во-первых – печку. Во-вторых – графинчик и сардин, что вчера принес. Да и сыру. В-третьих – потом скажу.

Стуча каблуками[30], Кукушкин принес большой пузатый графин с водкой, закуску и чайную чашку.

– А рюмка где?

⟨*л. 18*⟩ – Разбил.

– Ну и дурак. Возьми[31] у хозяйки.

Пока денщик, сидя на корточках, возился у печки и, обжигаясь, подтапливал березовой корой сырые, покрытые на концах снегом дрова[32], Николай Иванович[33] тщательно обдумал и соста-

---

[23] над тазом *вписано.*
[24] и докрасна ~ лысину *вписано.*
[25] Стуча подкованными каблуками *вписано.*
[26] *Далее было:* денщик, за
[27] *Далее было:* ушами и
[28] *Далее было начато:* на зат⟨ылке⟩
[29] *Было:* вытянувшись, стал
[30] *Далее было начато:* пр⟨инес⟩
[31] *Далее было:* рюмк⟨у⟩
[32] *Далее было:* капитан
[33] *Далее было:* составил

вил реестрик вин и закусок, которые нужно купить к завтрому. В реестре жидкость к твердым телам стояла в отношении двух к одному. Подробно разъяснив Кукушкину свои планы на завтрашний вечер, дав списочек покупок[34] и указав магазин, капитан с некоторым чувством неудовольствия отпустил денщика, так как вместо ожидаемого одобрения[35] тот отвечал лишь "так точно" и "слушаю", но в этом[36] "так точно" слышался скрытый протест. Покупок было рублей на десять, но у капитана была только двадцатипятирублевая бумажка, которую он и дал, добавив, в надежде вызвать у Кукушкина оживление[37]:

– Не потеряй смотри.

– Никак нет, – равнодушно ответил Кукушкин.

Капитан, все еще не теряя надежды оживить денщика, поднес ему выпить чашку водки, мотивируя свое желание ссылкой на мороз. Кукушкин[38] выпил водку[39] с таким видом, как будто это была отвратительнейшая микстура[40], обтер[41] губы тыльной стороной руки и[42] молча вышел, с силой хлопнув кухонной дверью[43].

"Что это за муха его укусила? – подумал капитан по уходе денщика. – Был малый как малый, а[44] теперь черт его знает что. Третьего дня сгрубил. Хозяйка жалуется. Ну да черт с ним. Буду лучше думать о том, как завтра вечер проведем...".

Выпив еще две рюмки водки, погуляв по большой, почти без мебели комнате, заглянув в замерзшее окно, с подоконников которого уже начала стекать вода, и ничего ⟨*л. 19*⟩ не увидев[45], Николай Иванович взял маленький ящик и присел на нем у бурлившей и шипевшей печки. В открытую дверку на него пахнуло жаром. Шипение стихло, и желтые[46] языки пламени, лениво нагибаясь, облизывали[47] обуглившиеся поленья.

Прошло двадцать лет с тех пор, как Николай Иванович таким же образом, на ящичке, сидел у печки. Тогда он еще только по-

---

[34] *Далее было начато:* у⟨казав⟩
[35] *Далее было:* денщик
[36] *Далее было:* слушаю
[37] *Было:* улыбку на свою шутку
[38] *Далее было:* обтер губы
[39] *Далее было:* обтер губы
[40] *Далее было:* и
[41] *Было:* обтерев
[42] и *вписано.*
[43] *Текст:* Капитан все еще ~ кухонной дверью. – *вписан на л. 17 об.*
[44] *Далее было:* тут
[45] *В рукописи:* увидел
[46] *Было:* яркие (*незач. вар.*)
[47] *Было:* стали облизывать

пал в этот мерзкий городишко и в эту несчастливую дивизию, где офицеры так[48] живучи и движение вперед так медленно. Тогда у него не было лысины и этого красного обрюзгшего лица с заплывшими глазами. Тогда другим языком говорил этот огонь, таким приятным жаром обдающий лицо. Тот язык был менее понятен, чем настоящий; глупый и смешной то был язык. Он говорил об академии, куда поедет учиться Николай Иванович; он тихо и загадочно[49] шептал о какой-то красивой и хорошей девушке, которая полюбит Николая Ивановича; он рисовал смешные картинки веселого шумного бала, который будет в офицерском собрании и на котором стройный офицер с перетянутой талией ловко отбивает такт мазурки и ведет интересную и остроумную беседу. Танцы... Какая смешная вещь, танцы!

Николай Иванович оглядел свой округлившийся живот и, вообразив себя танцующим и беседующим с барышней[50], улыбнулся.

"А разве теперь не хорошо? Ей-богу, хорошо!" – возразил кому-то капитан и в доказательство, что ему хорошо, выпил еще рюмку водки, но к печке присаживаться ⟨*л. 20*⟩ не стал[51]. Начал прогуливаться по комнате. Это оказалось разумнее, чем глядеть в огонь. Мысли пришли обычные, спокойные, ленивые – о том, что жид Абрамка[52] поручику Ильину лакированные сапоги испортил; о том, сколько он[53] будет получать[54], когда будет ротным командиром, и что казначей – сквалыга каких мало, даром что поляк.

Последние годы Николаю Ивановичу усиленно приходилось доказывать, что ему живется хорошо, так, как и нужно. Доказательства принимались туго, пока он не обзавелся могучим союзником – графином. Когда с утра Николай Иванович выпивал две-три рюмки водки, все становилось ясным, понятным и простым. Не поражала своим убожеством грязная, пустая комната; не замечалось и того, что сам[55] он стал нечистоплотен и ленив: по неделям не меняет белья, утирает рот грязной салфеткой, а когда и замечалось, то тут же опровергалось резонным соображением: "ведь мне за барышнями не ухаживать". Легко было и дело делать спустя рукава; не так обидно было и то, что он в сорок пять[56] лет

---

[48] так *вписано.*
[49] и загадочно *вписано.*
[50] и беседующим с барышней *вписано.*
[51] *Далее было:* Действительно, когда капитан стал
[52] *Далее было начато:* пору⟨чику⟩
[53] он *вписано.*
[54] *Далее было:* Николай Иванович
[55] *Далее было начато:* Никол⟨ай Иванович⟩
[56] *Вместо:* сорок пять – *было:* пятьдесят

штабс-капитан, тогда как его иные товарищи по выпуску уже[57] полковники, а то и генералы. Не грызло бесплодное⟨?⟩ сожаление о том, что он четверть века убил на бессмысленную шагистику, в мелкой погоне за завтрашним днем растерял по дороге по частям свою душу. ⟨*л. 21*⟩ Легкий, приятный туман волновался перед Николаем Ивановичем, застилая от глаз все что не есть четвертая рота Хоронского резервного батальона с ее жидом Абрамкой, преферансом[58], приказами по полку и другими злободневными интересами.

Но бывало раза два в год, что союзник капитана обращался в его злейшего врага. С мучительной яркостью и болью перед ним вставало сознание ужасной бессмысленности его жизни – и тогда Николай Иванович пил т⟨ак⟩ н⟨азываемым⟩ запоем по две недели, в одном белье просиживая дома с одувшейся багровой физиономией. С пьяными слезами он жаловался товарищам, что его загубили, а когда товарищи покидали одичавшего, полубезумного от алкогольного[59] яда человека, он ставил к притолоке денщика и, с последними попытками сохранить свое достоинство, суровым голосом рассказывал ему, что он, капитан, человек хороший, только не понятый. Когда и денщик уходил от сумасшедшего "его благородия", его благородие[60], положив голову на стол, плакал и один, не зная, о чем он плачет, но тем горше, тем искреннее и больнее. Вот в эти-то запойные дни и сказался Кукушкин. Капитан знал из достоверных источников, что Кукушкин глуп[61]; видел, что Кукушкин и нехороший человек, так как перепадавшие ему изредка деньжонки не посылал домой, а пропивал по примеру своего начальства. Понимал он и то, что Кукушкин в его хозяйстве чистый минус, так как чего не разобьет, то потеряет или более или менее остроумно испортит. Превратным ⟨*л. 22*⟩ ⟨толкованием⟩ капитанских приказаний он часто доводил его до отчаяния – но при всем этом он был безукоризненно честен, а в дни запоя так внимательно и терпеливо слушал капитана, так жалостливо рассказывал ему о деревне и своей молодой жене, что капитан, по миновании тяжкого времени[62] совестившийся о нем вспоминать и забывавший, что тогда происходило, из множества неясных воспоминаний имел одно приятное: о том, что Кукушкин в чем-то ему сочувствовал и в чем-то помогал[63]. Выпив еще

[57] *Далее было:* генералы
[58] преферансом *вписано.*
[59] алкогольного *вписано.*
[60] *Далее было:* плакал
[61] *Далее было начато:* зна⟨л⟩
[62] *Далее было начато:* стар⟨авшийся⟩
[63] *Далее было:* Увеличив ⟨*нрзб.*⟩

рюмочку, капитан отправился пройтись, передав ключ и заботы о квартире хозяйке, жившей через сени. Побывав у товарищей, пообедав в собрании и еще выпив, капитан к вечеру вернулся домой, но Кукушкина еще не было[64]. Прошла ночь, а за нею следующий день, – Кукушкина все не было.

Заложив капитанский реестрик[65] за обшлаг рукава, Кукушкин вышел и, охваченный крепким морозным воздухом, невольно ускорил свой гусиный шаг, за который удалили его из роты. На морозе особенно почувствовалась теплота выпитой водки, но это не улучшило его настроения. Послав несколько чертей толкнувшей его бабе, в свою очередь сообщившей ему с некоторым уважением[66], что она такого длинного дьявола еще не видала, Кукушкин демонстративно прошел перед самым носом разогнавшейся извозчичьей клячи, на укоризненное замечание возницы бросив ему вслед:

⟨*л. 23*⟩ – Эко тут вас черти носят, гужеедов.

Все дальнейшее[67], встречавшееся ему по пути, вызывало в нем протест и едкие замечания. Чем благообразнее, сыт⟨н⟩ее и по-праздничному радостно-озабоченнее была встречавшаяся физиономия, тем с большею ненавистью смотрел он на них. "Разлопался жирный пес", – приветствовал он мысленно купца, сидевшего в широких санях и принимавшего от мальчика кульки и кулечки. "Мало еще: ишь черево-то разъел". Соображение о том, что капитан послал его на другой край города, как будто тут не было хороших магазинов, окончательно повергло Кукушкина в состояние полного человеконенавистничества. «С жиру-то бесятся, – "у Мотыкина селедки купи, слышишь?"» – передразнил он капитана и[68] с отвращением плюнул. "А вот ежели я в кабак зайду?" – спросил Кукушкин кого-то и, презрительно ткнув ногой захватанную дверь трактирного заведения, скрылся за нею. "Вот и зашел, и выпил!" – торжествующе подтвердил Кукушкин, выйдя из трактира и вынеся струю вонючего воздуха, и обвел глазами, как бы ища противника, но, увидев офицера, моментально вытянулся и отдал ему честь.

---

[64] *Далее было:* Не пришел он и ночью, и на следующий день не явился.
[65] *Вместо:* капитанский реестрик – *было:* записку
[66] с некоторым уважением *вписано.*
[67] *Далее было начато:* вызыв⟨ало⟩
[68] *Далее было начато:* плю⟨нул⟩

С крутой горы Кукушкину надо было спуститься на мост. По ту сторону реки[69], за рядом дымовых труб города, выпускавших густые, белые[70] и прямые столбы дыма, виднелось далекое белое поле, сверкавшее на солнце. Несмотря на даль, видна была дорога и на ней длинный, неподвижный обоз. Направо ⟨*л. 24*⟩ синеватой дымкой поднимался лес. При виде чистого снежного поля бурный и горький протест с новой силой прилил к беспокойной голове Кукушкина. "А ты тут сиди", – со злобой, не то с отчаянием[71] подумал он.

Недели три тому назад Кукушкин встретился на базаре с одним земляком, который, рассказав ему все новости деревни Собакиной, погрузил его[72] в целый мир деревенских интересов, слегка забытых им, но теперь вспомнивших⟨ся⟩ с новой силой. Рассказал ему земляк и о том, что у него, Кукушкина, родилась дочка, но что молодайка больна и ребенка кормят соской. Далее оказалось, что отец Кукушкина без работника, с одним братом Иваном, не может сладить с хозяйством и совсем ослабел; хлеба недохват, и к Рождеству придется занимать – ежели еще Ильич даст. И слезно[73] просят его, любезного сына Петрушу, прислать денег, потому смерть приходит. Кукушкин послал с земляком целковый, но впал в отчаяние. Перед взбудораженным воображением его носилась картина горькой домашней[74] нужды, и чем ближе было к празднику, тем ярче и нуднее становилась она. Кукушкин был действительно глуп, и рассуждения ему были несвойственны, и быть может, потому он особенно чувствительно отнесся к факту: "дома без рук и без хлеба[75] сидят,[76] а я тут посуду мой и колоти ее".

И теперь Кукушкин, во всей наготе созерцая этот факт и отплевываясь, так как не умел рассуждать, а потому ⟨*л. 25*⟩ не мог примирить требования разума с фактом, всем своим существом бесплодно протестовал. Он уже детально рассмотрел вопрос о бегстве и понял, что бежать ему некуда. Кукушкин подходил к магазину, когда вместе с воспоминанием о деньгах[77] что-то изнутри с силой толкнуло его, и сам собою выскочил вопрос:

– А ежели я украду?

---

[69] *Было:* города

[70] *Далее было:* клубы

[71] не то с отчаянием *вписано.*

[72] *Было начато:* К⟨укушкина⟩

[73] слезно *вписано.*

[74] домашней *вписано.*

[75] без хлеба *вписано.*

[76] *Далее было:* а я тут с пьяного капитана сапоги стягиваю! (*исправленное взято в круглые скобки*)

[77] *Далее было начато:* кто⟨-то⟩

“С нами крестная сила! – испугался Кукушкин и перекрестился. – Во всем роду воров не было, а я украду. Да расказнить меня мало за это. И что человек придумает?”, – неискренно улыбнулся Кукушкин и ускорил шаги. Но четвертная бумажка шевелилась в кармане, а изнутри что-то толкало и толкало и вытолкнуло ответ:

– Скажу, что потерял.

“С нами крестная сила!” – еще раз воскликнул Кукушкин и с испугом бросился в первые попавшиеся двери. То были двери трактирного заведения.

Разгневанный и обеспокоенный, Николай Иванович оповестил собиравшихся к нему офицеров, что денщик его с деньгами пропал, и, вернувшись домой, увидел в кухне денщика. Кукушкин сидел на лавке и, покачиваясь и клюя носом, усердно ваксил капитанский сапог.

– Ты где это, мерзавец, пропадал? Пьян?

– Ни-к-как нет, вашбродь.

– Как стелька... Да как же это ты смел напиться? А?

– На свои пил, не на ваши.

⟨*л. 26*⟩ – Что? Грубить? А деньги где, а покупки где?

– Потерял. Вот как перед истинным...

Капитан всплеснул руками и безмолвно устремил на денщика заплывшие глазки. Тот, покачиваясь всем вытянувшимся телом, с видом невинно обиженного человека встретил взгляд капитана осовевшими глазами.

– Украл? Говори.

– Что ж, судите. Может, и украл. Человека всегда обидеть можно.

Капитан, чувствуя, что гнев душит его, сквозь зубы прошипел:

– Сспать ложись, скотина. Ззавтра же в полк.

– Воля ваша, а только я занапрасно гибну.

– М-молчать!

Топнув ногой, капитан вышел из кухни, а Кукушкин попытался снова приняться за сапог, но, не приняв в расчет[78] силы инерции, последовал за движением щетки и растянулся на лавке. Первым[79] намерением капитана было пойти к кому-нибудь из товарищей и рассказать об этом мерзавце, но потом он раздумал, достал графин, разыскал закуску и выпил. “Вот тебе и сочель-

---

[78] *Вместо:* не приняв в расчет – *было:* не рассчитав

[79] *Далее было:* желанием

ник! – со злостью думал он, прислушиваясь к храпу денщика, и думал, как хорошо и весело встретил бы он праздник с товарищами. – Под суд, обязательно под суд!"

Капитану было так обидно, что хотелось плакать. Было так весело все, а теперь... Вот жизнь собачья, какой-нибудь ⟨*л. 27*⟩ денщик пропьет деньги, а ты толкайся один. Огорченно хлопнув несколько рюмок[80], Николай Иванович почувствовал[81], что на него[82] нахлынули те гадкие мысли, которые знаменуют собою начало запоя. Но он с радостью, как долгожданных гостей, встретил их и с наслаждением начал растравлять раны. Образ милой девушки, долженствовавшей составить счастье капитана, таившийся где-то в кладовой его души, всплыл перед ним, чистый, пленительный и грустный. "Голубушка!" – с нежностью сложил толстые губы Николай Иванович. А за этим образом поплыли, поплыли другие. Капитан сидел на берегу этой реки[83], уносившей в бездну его надежды и мечты о человеческом счастье, и все грустнее и жальче себя становилось ему. Водка убывала в графине, претворяясь в чувства, которые ей редко суждено будить в душе человеческой: чувства раскаяния, жалости и любви. Открывалась капитану и другая сторона медали: никому-то он не нужен; никто не ждет его; никому не приносит он радости; ничья не просветлеет душа при виде его расплывшейся, пьяной и грубой физиономии. Не обовьются вокруг его толстой апоплексической шеи нежные детские ручки, не прижмется нежная щека к его колючему подбородку. Вот небойсь у Кукушкина, у того есть кто-нибудь, кто его любит. А он и Кукушкина обругал и под суд отдать его хочет. А может быть, он и вправду потерял? Ведь никогда же он копейки не крал. А на суде выйдет, что крал. Поди докажи, что ⟨*л. 28*⟩ не крал.

Грузно поднявшись со стула, капитан взял лампу и отправился в кухню. Кукушкин спал, запрокинув голову. В левой руке он еще держал сапог, правая[84] тяжело свесилась с лавки. Лицо было бледно и строго. Капитан первый раз видел, как спит Кукушкин, и он показался ему другим человеком. Впервые он заметил на этом молодом, безусом лице морщинки, и это лицо, с морщинками, с одной несколько приподнятой бровью, казалось капитану незнакомым, но более близким, чем то, которое он видел еже-

---

[80] *Далее было начато:* капит⟨ан⟩

[81] *Далее было:* с ужасом

[82] *Вместо:* на него – *было:* к нему (*незач. вар.*)

[83] *Далее было:* и в

[84] *Далее было:* бессильно

дневно, потому что было лицом человека. Впечатление было настолько странное, что Николай Иванович на цыпочках вышел из кухни и с недоумевающим видом огляделся вокруг, потому что ему показалось, что и комната не та.

Через полчаса по комнате пронесся зычный зов:

– Кукушкин! – но в сиплом[85] голосе[86] звучали новые, незнакомые ноты.

Кукушкин зашевелился и после нового крика, осторожно стукая каблуками, вошел в комнату. Потупив голову, он стал у порога и замер. И на этого жалкого[87] человека капитан мог сердиться!

– Кукушкин!

Пальцы денщика слегка зашевелились и снова оцепенели.

– Украл деньги?

– Украл... не... не...

Голос Кукушкина дрогнул, и пальцы пришли в быстрое ⟨*л. 29*⟩ движение. Капитан молчал.

– Значит, теперь судить тебя будем?

– Ваше благородие... Не дайте погибнуть.

Капитан быстро вскочил и, подойдя к Кукушкину, взял его за плечи.

– Дурак ты, дурак. Да разве же я и вправду... да разве же я из-за грошей стану... Эх ты! – капитан дернул Кукушкина и, отвернувшись, подошел к окну, точно в эту темную рождественскую ночь можно было хоть увидеть что-нибудь на улице. Но капитан увидел и, поднеся руку к лицу, смахнул что-то, что мешало видеть яснее.

– Ваше благородие...

В голосе денщика слышалось то самое, что так удачно смахнул капитан. Жирная спина капитана была неподвижна.

– Ну что? – глухо донеслось от окна.

– Ваше благородие... Накажите меня.

– Будет, будет глупости говорить.

Капитан обернулся, и Кукушкин, с размаха бросившись перед ним на колена, хотел обнять ноги, но капитан с кряхтением приподнял его и, стараясь оторвать руку от губ денщика, неловко поцеловал его в стоящие дыбом волосы[88], похлопал по плечу и, оттолкнув от себя[89], шутливо, но странно звучащим для шутки тоном произнес:

---

[85] сиплом *вписано.*
[86] *Далее было начато:* капит⟨ана⟩
[87] *Было:* капит⟨ан⟩
[88] *Было:* чуб (*незач. вар.*)
[89] *Далее было:* произнес

– Пошел, пошел!.. Что я поп, что ли. Налей-ка в графинчик водки. Живо! одна нога там, другая здесь!

⟨*л. 30*⟩ Кукушкин утирал кулаком глаза, вышел и, вернувшись, робко доложил, что водки нету.

– Так сбегай, братец. Закусочки дорóгой прихвати[90].

Капитан торопливо достал деньги и, передавая Кукушкину трехрублевку (последнюю), крикнул вдогонку помчавшемуся денщику, чтобы он того, оделся.

– Ничего, вашбродь, я одним духом слетаю.

...Длинна и темна рождественская ночь. Все более крепчал мороз[91]. Слабым и кротким светом сияют звезды над землей, скованной в его железных объятиях. Давно уже погасли в домах огни. Там, где за час перед тем стояла ярко сверкающая елка и было шумно и радостно, царил мрак ночи[92], скрывавший оборванное и поломанное дерево. Те, кто искренно или притворно радовались вокруг него[93], давно разъехались по домам и спали – одни спокойно, другие – и во сне переживая фальшь заказного веселья[94]. В замерзших окнах капитанского домика еще светился огонек, бросая желтоватый отблеск на снег.

– Так ты говоришь, домой отослал?

– Так точно, вашбродь. Я вам, ваше благородие, зараб...

– Но, но – что за глупости?

Капитан пыхнул папиросой и, глубже усевшись в ободранном кресле, блаженно закрыл глаза, созерцая внутри себя что-то одному ⟨*л. 31*⟩ ему ведомое. Кукушкин на кончике стула сидел у притолоки[95] и не сводил глаз с Николая Ивановича.

– Так, ты думаешь, они рады?

– Помилуйте, вашбродь, да это я, уж это...

– Да, да.

Новый клуб дыма закутал красную физиономию капитана и его сияющую лысину.

– Так ты говоришь, дочка, а?

– Так точно... Авдотья.

– Что ж ты, братец, оплошал: спал бы ты лучше. А? Поправляйся. Крестить приеду. Назови Николаем, – говоря это, капитан совершенно забывал о расстоянии. Вообще он сегодня забы-

---

[90] *Далее было:* Деньги возьми в новых брюках. / Кукушкин стоял. / – А? что?.. Погоди, сейчас... (*исправленное взято в круглые скобки*)

[91] *Вместо:* Все более крепчал мороз. – *было*: Мороз все более крепчал.

[92] *Далее было:* под

[93] *Вместо:* вокруг него – *было*: около елки

[94] *Далее было:* и непритворных забот

[95] *Далее было:* – Так ты

вал о расстоянии, настолько забывал, что через час этой занимательной беседы, укладываясь спать, хотел сам стащить сапоги. Но Кукушкин, по свойственной ему глупости, усмотрел в этом не запоздалое признание его человеческого достоинства, а наоборот – прямое и несомненное желание унизить[96] его, так что капитан должен был уступить. За последнее время он успел привыкнуть к своеобразной манере Кукушкина, что[97], стаскивая сапог, принимал[98] все меры к тому, чтобы стащить с места[99] самого капитана[100], и удивился, что на этот раз сапог сошел с ноги, как пирог с лопаты. Нежно прижимая капитанский сапог, конфузливо смотревший на свет продырявленной подошвой[101], Кукушкин[102] на цыпочках вышел, провожаемый капитанским взглядом.

– Постой... Так ты говоришь, дочь?

– Так точно, вашбродь.

– Ну иди, иди.

Удивительно, что[103] горькие мысли, предзнаменовавшие начало ⟨*л. 32*⟩ запоя на этот раз[104], солгали: ни на следующий, ни на другие дни запой не явился.

7 декабря ⟨18⟩98 г.

Варианты прижизненных изданий (К, Зн, Пр)

10 запаха табака / запаха табаку (*К, Зн, Пр*)
11 хриплым баритоном / сиплым баритоном (*К*) / смелым баритоном (*Зн, Пр*)
29 показал капитан на чайную чашку / показал капитан глазами на чайную чашку (*К, Зн*)
42 уже не входил / уже и не входил (*К, Зн, Пр*)
45–46 чувством удовольствия / чувством неудовольствия (*К, Зн, Пр*)
51 Покупок было / Покупки было (*К, Зн*)
60 и след / всякий след (*К, Зн*)
60 позорной уступчивости / покорной уступчивости (*Зн, Пр*)
62 подумал капитан / подумал капитан по уходе денщика (*К*)

---

96 *Было:* обидеть
97 *Вместо:* он успел ~ Кукушкина, что – *было:* он привык, чтобы Кукушкин
98 *Было:* употреблял
99 с места *вписано.*
100 *Далее было:* с постели
101 конфузливо смотревший ~ подошвой *вписано.*
102 *Далее было:* пожелал его благородию спокойной ночи
103 *Далее было:* на этот раз
104 на этот раз *вписано.*

68 ящичек / ящик (*К*, *Зн*)
69 В открытую дверку / В открытую дверцу (*К*) / В открытую дырку (*Зн*, *Пр*)
70 пахнуло жаром / пахнуло морозом (*К*)
71 облизывали обуглившиеся поленья / стали облизывать поленья (*К*)
97 как нужно / как и нужно (*К*, *Зн*)
154 особенно почувствовалась / особенно чувствовалась (*К*)
207 Перед возбужденным воображением / Перед взбудораженным воображением (*К*, *Зн*)
208 и чем ближе к празднику / и чем ближе было к празднику (*К*)
262 – Спать ложись / – С-спать ложись (*К*)
272–273 веселья, и она как будто / веселья. "Как было бы все это хорошо". Взгляд капитана пристально остановился на картине несостоявшегося веселья, и она как будто (*К*, *Зн*)
327 *После*: вправду? – Да разве же я из-за грошей стану? (*К*)
358–359 в разодранное кресло / в ободранное кресло (*К*)
377 запой не являлся. / запой не явился. (*К*)

ЧТО ВИДЕЛА ГАЛКА

(С. 96)

Варианты чернового автографа (ЧА) и первой публикации (МВ)

2 Из рождественских мотивов – в *ЧА нет.*
5 зеленовато-бледное / зеленоватое бледное (*ЧА*)
6 в дымчатой мгле / *а.* в дымке *б.* во мгле (*ЧА*)
8 багряно-красный / багровый, красный (*ЧА*)
9 густел / царил ◊ (*ЧА*)
10 серело / бы⟨ло⟩ ◊ (*ЧА*)
12 гоня холодные волны взмахами / трепыханием (*ЧА*)
14 ночной мрак / ночной[1] мрак (*ЧА*)
14–15 окутал холодным саваном замерзшую землю / спустился на землю (*ЧА*)
15 галка достигла уже / она достигла[2] (*ЧА*) / галка достигла (*МВ*)
16 смутно черневшего на белой поляне. / темной[3] массой распластавшегося до горизонта. (*ЧА*)
17–18 свои ветви ~ снегом. / свои отягченные снегом ветви. (*ЧА*)
19 ногою / стопою (*ЧА*)
20–21 Из темной дали ~ дикого. – *в ЧА нет.*
22 напрягая / и напрягая (*ЧА*)
29–34 оврагом. Галке ~ на крепком / оврагом, который был знаком галке, так как только год тому назад ей удалось выклевать глаза, замечательно вкусные глаза, у какого-то молодого парня, несмотря на холод спокойно лежавшего с разбитой головой на крепком (*ЧА*)
35–47 Из разбитой головы ~ пустому желудку. / Когда на другой день она вернулась, чтобы продолжить работу над трупом, его, к великому ее негодованию, не оказалось на месте, покрывшемся множеством следов ее ненавистных конкурентов, волков. (*ЧА*)
48 комфортабельно уселась / уселась (*ЧА*)
48–49 на тонкой ветке, согнувшейся / на тонкую ветвь, согнувшуюся (*ЧА*)

---

[1] ночной *вписано.*
[2] *Далее было:* леса
[3] *Было:* белой

49 осыпавшей / осыпавшую (*ЧА*)
50 застуженное горло / горло (*ЧА*)
51 сжавшись / съежившись (*ЧА*)
51–54 так, что галкин ~ тотчас же заснула. / чтобы предоставить жгучему морозу как можно меньшую поверхность, она сладко закрыла сперва один, потом другой черный глаз и тотчас заснула. (*ЧА*)
55–57 галка, по отсутствию часов ~ Разбудило ее / галка не знала, когда ее разбудило (*ЧА*)
61 сказал / говорил ◊ (*ЧА*)
62 один, тот, что повыше / один (*ЧА*)
66 проснуться / проснуться[4] (*ЧА*)
68 накатанной дороги. / накатанной дороги, тяжелое дыхание лошади. ◊ (*ЧА*)
69–70 лошаденка бойко перебирала / лошаденка с заиндевевшей мордой и боками, бойко перебирала[5] (*ЧА*)
70 На козлах / На козлах[6] (*ЧА*)
70–71 понурившись, сидел человек / сидел понурившись, не то спя, человек (*ЧА*)
71 вроде человека... / вероятно, человек, сообразила галка... (*ЧА*)
73–74 На дорогу ~ спрятавшись / На дороге стояли те две фигуры, что спрятались (*ЧА*)
76 Кучер что-то сказал человеку / Сидевший на облучке что-то сказал зашевелившемуся человеку (*ЧА*)
78 взял лошадь / тот, что крикнул “стой!”, взял лошадь (*ЧА*)
78–80 тот, что ~ что-то тяжелое. / высокий[7], держа что-то в опущенной руке, подошел к саням. (*ЧА*)
88 пока жив! / пока цел. (*ЧА*)
88 метнув / сверкнув (*ЧА*)
93–94 “Ишь какой сердитый, тетка твоя малина!” / “ишь сердитый какой” (*ЧА*)
96 и держа перед собою / и откинув воротник шубы (*незач. вар.*)
97 он медленно направился / он направился (*ЧА*)
99 ни прежде, ни после – *в ЧА нет.*
100 перед каким-то / перед каким-нибудь (*МВ*)
100 начал / задом начал (*ЧА*)

---

[4] *В рукописи:* проснувшись
[5] *Далее было:* ногами
[6] *Было начато:* обл⟨учке⟩
[7] высокий *вписано.*

101–102 Допятился он / Допятился (*ЧА*)
102 перед собою / перед собой (*ЧА*)
104 отпустил лошадь и также начал отступать / так отпустил и лошадь и рядом начал отступать[8] (*ЧА*)
106 поднял руку / подняв руку (*ЧА*)
108 топор / упавший[9] топор (*ЧА*)
109 не тронь / не трожь (*ЧА*)
111 что стояли / что молча стояли (*ЧА*)
113 старческий голос. / спокойный старческий голос. (*ЧА*)
116 к кому вы / к кому (*ЧА*)
117–118 Молчание ~ галкой. / Молчание. (*ЧА*)
120–121 Убиенные войдут в царствие небесное / Они войдут в Царствие небесное (*ЧА*)
122 подогнулись / дрогнули (*ЧА*)
122 упал ниц. / упал ниц[10] (*ЧА*)
124 тихий, старческий / тихий[11], старческий (*ЧА*)
125–127 а Ему милосердному ~ и татя. / а Богу. Он, человеколюбец, простил разбойников на кресте. (*ЧА*)
131 повернулся и пошел / повернулся от них и пошел[12] (*ЧА*)
132 признаваться / признаться (*ЧА*)
133 в исходе дела / в исходе этого дела (*ЧА*)
133–134 дела. ~ сословия. / этого дела и, неодобрительно каркнув, думала, что она стоит лишь на страже этических интересов[13] [этических] сословия. (*ЧА*)
137–138 закон и скосила глаза на нарушителей / установленный ею самой закон, скосив глаза[14] на нарушителей (*ЧА*)
132–138 Галка не хотела ~ права. – *в ЧА вписано на обороте предыд. листа.*
139 – Говорил, милый человек, / Говорил, ◊ (*ЧА*)
139 не тронь / не трожь (*ЧА*)
140 послушно / молча (*ЧА*)
141 прикрутил ему руки к лопаткам. / скрутил ему на спине руки. (*ЧА*)
142 слюни / зенки⟨?⟩[15] (*ЧА*)

---

[8] *Далее было:* от
[9] *Далее было начато:* у пер⟨вого⟩
[10] *Далее было:* перед
[11] *Далее было начато:* спокой⟨ный⟩
[12] *Было:* отошел
[13] этических интересов *вписано.*
[14] *Далее было:* на дорогу
[15] *В рукописи:* зеньки

146 Степан / Василий (*ЧА*)
149 Степан / Василий (*ЧА*, *МВ*)
153–154 откуда донеслось / откуда впоследь донеслось (*ЧА*)
155 не тронь. Эх... / не тронь... (*ЧА*)
156 и возмущенная галка / галка (*ЧА*)
157–158 на оставшихся ~ поправиться. / смотрела на оставшихся. (*ЧА*)
159 стоял молча и потупив глаза. / мрачно смотрел исподлобья. (*ЧА*)

СЛУЧАЙ

(С. 100)

ЧН

⟨*л. 35*⟩ Наполеон, в жизни[1] у которого, как утверждают глубокомысленные умы[2], роковым было число семь, в этом отношении значительно уступал Анне Ивановне Тулуповой, у которой было целых три роковых числа: 17, 18 и 19.[3] Всякий раз, как месяц вступал в эти числа, Анна Ивановна, и обыкновенно не[4] обладавшая душ⟨е⟩вным равновесием, совершенно уже перевешивалась в сторону тревожной и хлопотливой меланхолии. Чаще и[5] глубже становились вздохи, обильнее восклицания и пессимистические[6] речи, беспокойнее и беспорядочнее движения. Все эти явления, прогрессируя, достигали величайшего напряжения 19 числа – и 20 сменялись столь же беспокойной жизнерадостностью, беспокойной, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ в подкладке ее лежала глубоко, к сожалению, справедливая мысль, что через месяц опять наступит 17, 18 и 19 число. Дело в том, что 20 числа старший сын Анны Ивановны[7], Иван Тимофеевич, получал ⟨*л. 35 об.*⟩ жалованье, на которое существовала вся семья.

18 сентября наступило-таки, вопреки горячим мольбам Анны Ивановны, чтобы создатель как-нибудь перевел стрелку времени прямо по 20 число, и мытарства начались. Иван Тимофеевич, высокий молодой человек с узкою впалою грудью и какими-то особенно длинными ногами, выпил два стакана чаю и скушал свою обычную трехкопеечную булку.[8] Его бледное веснушчатое лицо, с заострявшимися скулами и глубоко запавшими в орбиты глазами, выражало угрюмое равнодушие. Длинные темные, только что смоченные[9] водой волосы были зачесаны назад и чер-

---

[1] в жизни *вписано.*
[2] *Далее было:* было
[3] *Далее было:* Когда
[4] *Далее было:* отличавшаяся
[5] *Далее было:* тревожнее
[6] пессимистические *вписано.*
[7] *В рукописи:* Николаевны
[8] *Далее было: а.* Его лицо, бледное *б.* Его бледное, вес⟨нушчатое⟩ лицо
[9] *Далее было:* назад

ными хвостиками[10] торчали из-за больших прозрачных ушей. Анна Ивановна смотрела, как медленно и равнодушно[11] движутся скулы, пережевывая хлеб, и, хотя она очень любила Ванюшу, ей было обидно, что он как будто не понимает, что делает: ест булку[12], за которую его мать из последних 10 к⟨опеек⟩ отдала целых три. Ее попытки вздохами обратить на себя внимание были безуспешны. И⟨ван⟩ Т⟨имофеевич⟩ молчал. ⟨*л. 36*⟩ В сущности говоря, он понимал, что делает, и знал, чего хочется матери: сообщить ему немедленно, что у нее денег ничего не осталось, и только притворялся равнодушным. Накануне, до поздней ночи он сидел не разгибаясь за перепиской и[13] до сих пор еще чувствовал усталость в пальцах и обычную ноющую боль в груди. Стоит сейчас матери заговорить о деньгах – и он знает, чем это кончится: он раскричится, упрекнет мать в неумении обращаться с деньгами, потребует, чтобы его хоть на минуту оставили в покое, раскашляется, уйдет на службу злой, а[14] там будет жалеть, что обидел мать. История известная, каждый месяц повторяется.

Ушел наконец Ив⟨ан⟩ Т⟨имофеевич⟩. Посиди он еще хоть минутку, не отделаться бы ему без объяснений. Худенькая, подвижная фигурка Анны Ивановны и ее правильное, красивое еще лицо, несмотря на две глубокие морщины, проходившие около губ и вместе с мелкими морщинками около глаз[15] придававшие лицу выражение беспокойной грусти, полны были нетерпения и жажды сочувствия.

Кроме Ив⟨ана⟩ Т⟨имофеевича⟩ у А⟨нны⟩ И⟨вановны⟩ было еще двое детей ⟨*л. 36 об.*⟩ и муж. Шестнадцатилетняя дочка Катя, хорошенькая и кроткая девушка со светлыми и тихими глазками, вот уже второй год работала в одной модной мастерской, где она пользовалась только столом, ночевала же дома. А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ уже проводила зевавшую Катю на работу. С ней она не стеснялась и категорически, как бы вызывая на возражения, заявила, что сегодня она может напиться чаю и без хлеба. Как будто назло А⟨нне⟩ И⟨вановне⟩ Катя так же смолчала и, торопливо проглотив стакан жидкого чаю, ушла. Маленький сынишка[16] Тимоша, благодаря попечительству о бедных, был определен в какое-то училище и дома не жил, благодаря чему сердце А⟨нны⟩

---

[10] черными хвостиками *вписано.*
[11] и равнодушно *вписано.*
[12] *Далее было начато:* кото⟨рая?⟩
[13] *Далее было:* теперь
[14] *Далее было начато:* пот⟨ом⟩
[15] вместе с мелкими морщинками около глаз *вписано.*
[16] *Далее было:* Петя

И⟨вановны⟩ не переставало болеть о нем, хотя, когда он жил дома, из "подлецов" он не выходил. Оставался муж, "старик", как его называла[17] А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ в минуты нежности, и "сокруха", как он именовался в остальное время.

Тимофею Осипычу перевалило уж за восьмой десяток.[18] ⟨*л. 37*⟩ Если бы у него не было необыкновенно большого, синевато-багрового носа, вечно набитого нюхательным табаком, ему позавидовал бы не один патриарх. Большая, белая как снег, борода и такие же волосы; величавые движения, внушительная фигура, полная гордого покоя, – все это переносило зрителя за сотни[19] веков. "Сокрухой" он становился с того момента, как приходил в движение его язык[20]. Движение это можно было назвать равномерно-ускорительным. Проскрипев раза два с паузами[21] "мать ... а мать", как тяжелый[22] воз, который никак не может сдвинуться с места, патриарх приступал к изложению своих мыслей, носивших характер чрезвычайной и безнадежной запутанности. Можно было догадаться, что его симпатии находятся в прошлом и что он что-то отрицает, но установить хотя бы с приблизительной точностью направление симпатий и объекты отрицания не было ни малейшей возможности. Неопытные люди, попавшие в сети его красноречия, вскоре впадали в состояние транса и сохраняли одну ясную мысль: "все пропало!" ⟨*л. 37 об.*⟩ Впрочем, одно было ясно: женщин старик глубоко презирал, не признавая за ними ни ума, ни чувства, ни души. Анна Ивановна объясняла это тем, что первая его жена, вероятно, порядочно-таки насолила ему.

Когда-то Тулупов был умным и тароватым человеком. Благодаря уму[23] нажил состояние, при содействии тароватости спустил его. Вероятно, немало примеров людской подлости и предательства хранила в себе его большая голова, перед которой когда-то обнажались другие головы. На Анне Ивановне Тулупов женился уже на склоне, когда вместо крупного оптового торгового дела он имел уже сравнительно небольшую колониальную лавку[24], и она была молчаливой зрительницей, как доверчивый старик терял рубли, потом копейки, а потом уж и гроши. Давно,

---

[17] *Далее было:* жена

[18] *Далее было:* Обладая внешностью патриарха

[19] *Было начато:* д⟨есятки?⟩

[20] *Далее было:* , а он у него в движении находился постоянно.

[21] с паузами *вписано.*

[22] тяжелый *вписано.*

[23] *Было:* тароватости

[24] *Текст:* когда вместо крупного ~ колониальную лавку – *вписан на полях.*

давно уже кончилась всякая торговля. Старик был одно время управляющим в каком-то имении, куда его взяли из жалости, а[25] года уже четыре впал в полное почти детство.

Единственным добытчиком в семье был И⟨ван⟩ Т⟨имофеевич⟩, пущенный когда-то по благородной части, недоучившийся ⟨*л. 38*⟩ и теперь пополнявший собой сонмы тех грешных духов, которые, согнув спину, строчат, изогнувшись получают доходы, т.е. двугривенные, и медленно, но верно наживают катар или чахотку. И⟨ван⟩ Т⟨имофеевич⟩ был более склонен на сторону последней.

Оставшись одна, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ подмела и прибрала три маленьких комнатки, где ютилось все семейство, не утерпела, чтобы хоть слегка не передвинуть на столе сына бумаги, до которых ей строго было воспрещено касаться, и сурово[26] рекомендовала кряхтевшему старику вставать, а не валяться до двенадцати часов. Т⟨имофей⟩ О⟨сипыч⟩, смутно догадывавший⟨ся⟩ о значении роковых чисел, послушно встал и, севши у окна, начал барабанить пальцами. Квартира была в полуподвальном этаже и из окна[27] видна была только соседняя, уходившая вверх кирпичная стена, бросавшая в комнаты неприятный желтоватый отсвет.

– Мать... а мать! Табачку бы, – попросил старик и немедленно раскаялся. После короткой, но сильной речи, в которой А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ ясно для всякого ⟨*л. 38 об.*⟩ обрисовала положение дел, при котором только такой старый черт и может просить табаку, как будто нос у него недостаточно еще велик, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ прогнала супруга гулять на бульвар, справедливо заметив[28], что таким образом он не будет мозолить ей глаз. Старик любил[29] наслаждаться солнышком на бульваре и охотно подчинился, все ⟨же⟩ хоть немножко да выразив презрение к "этим бабам", которые думают, что мужчина сам не в состоянии завязать себе шарфа.[30]

---

[25] *Далее было:* теперь
[26] *Далее было:* приказала
[27] *Было:* нее (*незач. вар.*)
[28] справедливо заметив, *вписано.*
[29] *Далее было начато:* сид⟨еть⟩
[30] *Текст обрывается.*

⟨*л. 29*⟩ – Ванечка!..

– Ну, что вам?

– Ничего, ничего, я так...

Положительно[31], Иван Семенович[32,33] решил не замечать, какой жаждой душевного разговора томится его мать. Самые выразительные вздохи, самые прозрачные намеки не могли пробить оболочки непроницаемой[34] суровости и холодного[35] равнодушия, с каким И⟨ван⟩ С⟨еменович⟩[36] весь[37] ушел[38] в процесс чаепития и пережевывания пятикопеечной булки. Ввалившиеся, темные глаза были устремлены на дно стакана и хоть бы раз обратились на несчастную мать. Обильно смоченные водой, черные редкие волосы выглядывали хвостиками из-за прозрачных, бледных[39] ушей и двигались вместе с равномерным[40] движением костлявых скул так возмутительно равнодушно[41], как будто обладатель их совершенно[42] не понимал всей важности[43] того, что он делает: ест булку в пять копеек, тогда как у матери его, Анны Ивановны, всего-навсего остался гривенник[44]. ⟨*л. 29 об.*⟩ Точно И⟨ван⟩ Т⟨имофеевич⟩ не знает[45], что его матери нужно только одно сочувствие: чтобы хоть немного он вошел бы[46] в ее положение и понял. Не в состоянии долее выдерживать эту пытку, Анна Ивановна вскочила с табуретки и отправилась в кухню, не заметив, что вслед ей равнодушный сын устремил далеко не равнодушный взгляд, светившийся выражением[47] подозрительности и тонкой[48] проницательности. Еще бы И⟨вану⟩ Т⟨имофеевичу⟩ не знать, чего хочется его матери! Каждый месяц, начиная с 16 числа ⟨и⟩ кончая двадцатым, днем получки

---

31 *Было:* Видимо,
32 *Было:* Тимофеевич
33 *Далее было:* бесповоротно
34 *Было:* холодной
35 *Было:* возмутительного
36 *Было:* Тимофеевич
37 *Далее было:* как будто
38 *Было:* углубился
39 бледных *вписано.*
40 равномерным *вписано.*
41 *Далее было:* что
42 совершенно *вписано.*
43 *Далее было:* совершаемого
44 *Вместо:* остался гривенник – *было:* осталось десять копеек
45 *Было:* понимал
46 бы *вписано.*
47 *Далее было:* невероятной
48 тонкой *вписано.*

жалованья[49], происходит[50] одна и[51] та же история. И ведь если бы что-нибудь выходило из этих жалоб, а то только И⟨вана⟩ Т⟨имофееви⟩ча рассердит и сама расстроится.

Увеличив свою мрачность до последней степени, доступной человеку, и придав[52] лицу посильное[53] сходство с покойным Каином[54], И⟨ван⟩ Т⟨имофеевич⟩ благополучно оделся и выскользнул за дверь, сопутствуемый ⟨*л. 30*⟩ последним выразительным вздохом А⟨нны⟩ И⟨вановны⟩, убедившейся, что все ее дети в заговоре против нее[55]. Никто и знать не хочет, что денег у нее ни гроша, а есть все просить будут. Катя и Петька, уходившие из дому на час раньше И⟨вана⟩ Т⟨имофеевича⟩, – первая в магазин на работу[56], а второй в приходское училище, – несмотря[57] на прямые речи А⟨нны⟩ И⟨вановны⟩, не сочли нужным ни слова возразить ей, и даже отсутствие хлеба к чаю не могло на них подействовать в смысле пробуждения сочувствия. И⟨вану⟩ Т⟨имофеевичу⟩ еще простительно, он всю семью содержит, он больной; вчера еще до поздней ночи сидел, переписывал бумаги и кашлял – ну а эти паршаки – какое имеют право не уважать[58] своей[59] матери?

А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ принялась за уборку[60] квартирки, состоявшей из трех маленьких комнаток и такой же миниатюрной кухни. Погромыхав ухватами, которые как бы сознавали предстоящие ⟨*л. 30 об.*⟩ им трехдневные каникулы и с беззаботным видом валились в разные стороны, раздражая А⟨нну⟩ И⟨вановну⟩, пошуршав по грязному полу веником и убрав постели, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ несколько рассеялась и с виноватым видом переложила на столе Вани бумаги, до которых ей строго было запрещено касаться. И хотя голос ее звучал суровостью, когда она прокричала своему "старику", как именовался ее муж, что валяться долее могут одни дармоеды и лежебоки, но эта суровость не столько обусловилась действительной потребностью, сколько сознанием исключительности[61] положения.

---

[49] *Далее было:* И⟨ваном⟩ Т⟨имофееви⟩чем
[50] *Было:* происходила
[51] одна и *вписано.*
[52] *Далее было:* своему
[53] *Было:* полное (*незач. вар.*)
[54] *Вместо:* покойным Каином – *было:* каменным изображением (*незач. вар.*)
[55] *Далее было:* Дочка Катя, которую она уже давно отправила на место
[56] *Было:* службу
[57] *Было:* смотря
[58] *Вместо:* – какое имеют право не уважать – *было:* почему не уважают
[59] своей *вписано.*
[60] *Далее было:* своей
[61] *Далее было:* своего

Кряхтя и охая, слез старик с печки, выпил стакан холодного чаю и, усевшись у окна, принялся барабанить пальцами, выражая тем явный и несомненный протест.

– Чего разбарабанился? И без тебя тошно, – прикрикнула А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩, с негодованием взглянув на мужа, ⟨*л. 31*⟩ которому серебристая большая борода и такие же волосы придавали вид патриарха не у дел.

– Табачку бы... – начал было патриарх, но, встретив презрительный взгляд супруги, внушительно крякнул и принялся вертеть пальцами[62] один вокруг другого.[63] ⟨*л. 31 об.*⟩ С⟨емену⟩ М⟨атвеевичу⟩[64] минул уже седьмой десяток лет, и с тех пор как три-4 года тому назад он за старостью принужден был отказаться от всякой целесообразной[65] деятельности, единственными его занятиями было верчение пальцами (между 16 и 20 числами), нюханье табаку и упражнения в красноречии в остальное время. Последнее, т.е. упражнения в красноречии, не преследовало какой-либо определенной цели и носило характер платонический. Обыкновенно проскрипев раза два с паузами: "мать, а мать", как тяжелый воз, который не может сразу сдвинуться с места[66], патриарх приступал к изложению своих мыслей, отличавшихся, помимо глубины, чрезвычайной и безнадежной запутанностью. Можно было догадаться, что его симпатии находятся в прошлом и что ⟨*л. 32*⟩ он что-то упорно отрицает, но что – было тайной для всех.

Лишенный[67] обычной понюшки, большой сине-багровый нос старика начал[68] представлять своему счастливому собственнику такие неопровержимые в свою пользу аргументы, что тот снова незаметно применил пальцы к выбиванию дроби, что было

---

[62] *Далее было:* друг вок⟨руг⟩

[63] *Далее было: а.* Это занятие было, к сожалению, единственно доступным ему с тех пор, как, свалившись с лесов на одной работе, где он был чем-то вроде надсмотрщика, Тим⟨офей⟩ Н⟨иколаевич⟩ не то чтобы совсем [впал в де⟨тство⟩] лишился употребления своих членов, но употреблял их крайне нерационально. Больше всего пострадала его большая седая голова, над которой висел уже восьмой десяток лет. *б.* Верчение пальцами, нюханье табаку и красноречие были единственными занятиями, в которых упражнялся старик Т⟨имофей⟩ Н⟨иколаевич⟩ с тех пор, как года 3–4 тому назад он был отставлен от всяких дел за старостью. ⟨*л. 31 об.*⟩ Красноречие старика носило особый характер. Начинаясь медленно, как тяжелый воз, с трудом сдвигающийся с места, дальнейшее развитие мыслей принимало вид движения равномерно-ускорительного, но в то же время

[64] *Было:* Т⟨имофею⟩ Н⟨иколаевичу⟩

[65] целесообразной *вписано на полях.*

[66] как тяжелый воз, который не может сразу сдвинуться с места *вписано.*

[67] *Было:* Без

[68] *Далее было:* так красноречиво

своевременно замечено А⟨нной⟩ И⟨вановной⟩ – и Т⟨имофей⟩ Н⟨иколаевич⟩ был отправлен гулять на бульвар. Старик любил погреться на солнышке и охотно подчинился административной высылке, лишь пробормотав что-то нелестное относительно "этих[69] баб", которые думают, что мужчина сам себе и шарфа завязать не сумеет.

Следом за ним отправилась и Анна Ивановна, накинув дырявый, прожженный платок. Через полчаса она вернулась домой с[70] решительно[71] и мрачно сжатыми губами и пасмурным лицом, на котором застыло ⟨*л. 32 об.*⟩ выражение вечной торопливости и суеты. "Жизнь каторжная!" – прошептала А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩, сбрасывая платок и одевая шубу для дальнего пути. Мерзавец-лавочник не дал в долг ничего, как будто ему двадцатого не заплатят, и теперь приходится прибегать к последнему ресурсу и бежать на край Москвы, к знакомой и другу, Е⟨лизавете⟩ П⟨етровне⟩ Коровиной⟨?⟩, у которой можно раздобыться целковым.

"Ну да уже погоди, скотина, – мыслила А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩, вспоминая толстопузого лавочника, – я тебе покажу!" Хотя определенного предмета для демонстрирования в виду, собственно, не имелось.

Уличный шум и суета, где все бежали по своему делу и никому не было дела до А⟨нны⟩ И⟨вановны⟩, охладили ее, а крики извозчиков "берегись", звонки конки, постоянно пугая ее, направили мысли в другую сторону, – сторону бесформенных, туманных мечтаний, которым любила отдаваться А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩. Но в эти мечты назойливо ⟨*л. 33*⟩ вторгалась действительность в виде далеко не веселых размышлений о том, как протянуть на три дня целковый, чтобы[72] сыты все были. "Нужно старику табачку купить – одна радость", – шевельнулось сожаление. Потом мысли о здоровье Вани, потом коляска на резиновых шинах, на которой А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ едет с покупками домой[73], потом... Стой, что это за сверток?

Анна И⟨вановна⟩ переходила через пустынную Спир⟨идоньевскую⟩ улицу, когда ее глаза упали на этот сверток, обернутый бумагой и крест-накрест[74] перевязанный бечевкой[75]. Оглянувшись кругом, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ подняла его и, томимая внезапно

---

[69] этих *вписано.*
[70] *Было:* и
[71] *Далее было:* сжав свои
[72] *Далее было:* и⟨?⟩
[73] домой *вписано.*
[74] крест-накрест *вписано.*
[75] *Было:* веревкой

проснувшимся любопытством и ожиданием чего-то важного, начала сбоку проковыривать газетную бумагу, тревожно озираясь по сторонам. Вот прорвался один лист, другой – и А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ ошалела, увидев закрасневшуюся десятирублевую бумажку. Дрожащими руками она отвернула ее – за ней другая, третья; а там радужная, целая пачка их[76]. "Миллион!" – проскочила одна мысль ⟨*л. 33 об.*⟩ у нее в мозгу. Засунув[77] сверток под кофту и судорожно прижимая его руками, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ ринулась домой, едва удерживаясь от того, чтобы не побежать. Где-то вокруг нее шумела улица, но ничего этого не видела и не чувствовала А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩. "Рехнусь, ей-богу, рехнусь", – думала она, вплотную налетая на извозчика, приветствовавшего ее свойственным этим господам образом. – "Господи, для детей пощади меня!" А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ пролетела бы и мимо дома, если бы не увидела ожидавшего ее возвращения старика[78], кислого и угрюмого: "что и за солнышко, когда табаку нет!" Схватив старика за рукав, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ столь стремительно потащила его в квартиру, что[79] тот, проглотив почти готовый возглас: "табачку бы", занялся обсуждением вопроса о предстоящей[80] мученической кончине. Только впихнув старика в дверь, заперши ее на крючок и опустив у окон занавески, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ молча плюхнулась ⟨*л. 34*⟩ на стул и позволила себе вздохнуть, уставившись сумасшедшими глазами на старика, который с любезностью отплатил ей тем же, но чувствуя, что опасность пронеслась, осмелился высказать по этому поводу свое суждение:

– Вот эти бабы, таракан им за пазуху. Когда я еще у Трифона Андреича воспитывался...

– Молчи, отец, молчи. Сиди и не ходи за мной.

После нескольких неудачных попыток спрятать деньги под горшками и в печке, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ сунула их в самый зад столового ящика, заложив ножами и ложками, но сперва еще раз удостоверившись, что там деньги, а не простая бумага. Верхняя десятирублевка несколько сдвинулась с места, и А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ осторожно ее вытащила и спрятала на самое дно кармана. "Батюшки, а вдруг гонятся!" – мелькнула мысль.

– Старик, сиди тут, я сейчас сбегаю на минутку[81]. Никуда не ходи, слышишь?

---

[76] их *вписано.*
[77] *Далее было:* пачку
[78] старика *вписано.*
[79] *Далее было:* стари⟨к⟩
[80] предстоящей *вписано.*
[81] *Было начато:* ули⟨цу?⟩

⟨*л. 34 об.*⟩ Т⟨имофей⟩ Н⟨иколаевич⟩, совершенно отказавшийся понять поведение жены, только угрюмо застучал пальцами, лишь из желания досадить жене добавив:

– Табачку бы.

– Куплю, куплю, сиди.

Для верности заперши старика на замок, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ из-за ворот выглянула осторожно на улицу: никого, слава богу. Потом, чувствуя неодолимую потребность в движении и желание убедиться, что деньги настоящие, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ еще раз сбегала домой, оделась и пошла в какую-то лавку, где чего-то купила: колбасы, сыру; в другой[82]: две пары теплых носок, гребешок, яркий голубой галстух. О табаке вспомнила только около дома, вернулась и купила табаку. Дома, убедившись, что деньги целы, отдала осьмушку ("и чего я не фунт купила?") табаку Т⟨имофею⟩ Н⟨иколаевичу⟩ и в приливе внезапной нежности поцеловала его.

⟨*л. 35*⟩ – На, старик.

Старик принял молодцеватый вид, показывая, что он, в сущности, далеко еще не[83] безопасен для женского сердца, но, в сущности, совершенно озадаченный супругой.

Никогда А⟨нне⟩ И⟨вановне⟩ не было так обидно, что с мужем нельзя поговорить толком. Тут мужчину надо, а он... Эх. Но радостные мысли, роями появлявшиеся в голове, требовали выражения.

– Николаич, слушай! Да ты погоди чхать-то! Слушай: а хорошо бы тебе опять в деревню, помнишь, как у Ермиловых жил. Грибы искать...

– Вот когда я еще жил у воспитателя...

– Да не то[84], не то. Ты слушай!

И старик слушал, смутно понимая, в чем дело, но невольно расцветая при радостно возбужденном голосе жены, удивительной жены, таракан ей за пазуху! В действительности не только С⟨емен⟩ М⟨атвеевич⟩, но и всякий другой, с более крепкой головой, едва ли сумел бы понять полностью речи ⟨*л. 35 об.*⟩ А⟨нны⟩ И⟨вановны⟩, так как за час времени она, став вне законов времени и пространства без соблюдения необходимой последовательности и постоянства, поспела словесно перебывать в тысяче мест и перевидать тысячу людей, иногда давно забытых. Благодетельствуя одним, заставляя завидовать других и в лицах изображая их невероятное изумление, когда они по⟨з⟩же⟨?⟩ увидят ее в ротонде

---

[82] *Далее было:* теплые

[83] не *вписано.*

[84] *Вместо:* Да не то – *было:* Нет, не то

на лисьем меху, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ внезапно перескакивала к вопросу о ценах на мех и бархат и спрашивала старика, как человека, достаточно повидавшего[85] свет. Но так как предлагаемые им сведения относились к тому отдаленному периоду, когда он проживал еще у воспитателя, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ призывала его к молчанию и ставила на разрешение новый вопрос о местности, где следует приобрести именьице, небольшое, десятин в сто, но обязательно с лесом, а в лесу чтобы грибы были. ⟨*л. 36*⟩ В этом случае С⟨емен⟩ М⟨атвеевич⟩ обнаружил такую мудрость, в коротких словах начертав блестящую программу рационального хозяйства, что А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ впала в умиленное состояние и еще раз поцеловала его в седые волосы, с раскаянием подумав:

– А я еще думала, что он тронулся. Дай Бог всякому столько ума-то.

И хотя старик испортил несколько впечатление, вспомнив некстати чалого жеребца, на котором ездил воспитатель и который потом перешел к графу Мушину, у которого жена имела крупное состояние, а его один знакомый умер за границей, в то время как вводились новые суды, – но А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ все же с некоторой гордостью посматривала на "отца", представляя себе, каким он будет красивым и представительным, когда его нарядят как следует и он ⟨*л. 36 об.*⟩ будет пускать пыль в глаза золотой табакеркой.

А Ванечка-то, Ванечка! А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ даже охнула, когда представила, что она сделает для больного И⟨вана⟩ С⟨еменовича⟩. Мозг ее, привыкший к узкому кругу обыденных мелочей, не мог вместить представлявшейся ей картины невероятного, сказочного счастья, и она снова заметалась по комнате к удивлению и некоторому негодованию разговорившегося[86] старика.

– Рехнусь, ну ей-богу же, рехнусь!" – взывала А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩, созерцая мысленно бесконечный[87] ряд радужных могущественных бумажек[88]. – А вдруг отнимут?! Не отдам, ни за что не отдам. Лягу на них и скажу: берите мою жизнь, вот она; бейте меня, старую. Не возьмут! А если кто-нибудь в окно видел, как я поднимала, и следил за мной, и теперь уже идут...

А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩, убежденная, что на нее весь мир ⟨*л. 37*⟩ смотрит, плотнее задернула грязные занавески[89], нырнула в кух-

---

[85] *Было:* видавшего

[86] *Было:* рехнувшегося

[87] бесконечный *вписано.*

[88] *Вместо:* радужных могущественных бумажек – *было:* радужных бумажек, могущественных

[89] *Далее было:* и

ню и, достав деньги, снова попыталась[90] неудачно[91] спрятать их в горшок, но в изнеможении бросила их на стол и упала на колена, прямо на грязный и залитый помоями пол.

– Господи, ну пускай воровка я, ну и накажи меня. Но Ты видишь, видишь ведь Ваню. Он хороший сын. Что из того, что он ругается на мать? Я старая, я[92] глупая, а у него чахотка, и ему жить хочется. Ты слышал, как вчера кашлял он? Если не веришь мне, так хоть слезам моим поверь! Богородица, Дева Мария, хоть ты заступись за меня, я всегда, помнишь, всегда свечки тебе ставила, последние две копейки тратила...

И А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩, стиснув[93] руки и устремив полные слез глаза в угол, где, занесенный[94] паутиной, чернел образ, клала земной поклон, до боли ⟨*л. 37 об.*⟩ прижимая лоб к холодному, сырому и скользкому полу.

Шел уже пятый час вечера, скоро должны были вернуться дети. Успокоившаяся, умиленная и торжественно радостная, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ обратилась к старику:

– Матвеич! Я часа на два уйду, а ты, когда придут дети, дай им колбасы. И сам ешь. Понимаешь?

– Вота! – обиделся старик. – Уж как баба что скажет...

– Ну[95] не[96] сердись, отец, не сердись[97].

Вытащив[98] из пачки еще десятирублевку и спрятав ее в комод[99], А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ остальные завернула[100] в новую бумагу, еще раз перевязала и, засунув за пазуху, оделась[101], окинула последним взглядом свою неприглядную комнату и вышла. Дело в том, что результатом ее размышлений явилось[102] убеждение, что хранить дома деньги ⟨*л. 38*⟩ небезопасно: придут, и что там ни говори, а отнимут. Да и не сумеет она не начать сейчас же тратить их, подозревать начнут... А вот лучше она снесет их к Е⟨лизавете⟩ П⟨етровне⟩; та женщина благородная, сохранит их до поры, до времени. А они пусть приходят. "Десять рублей? – Извольте, от жалованья остались". Съели?

---

[90] *Далее вписано и зачеркнуто:* попро⟨бовала⟩
[91] неудачно *вписано.*
[92] я *вписано.*
[93] *Было:* сложив
[94] *В рукописи:* занесенная
[95] Ну *вписано.*
[96] *Было:* Не
[97] *Вместо:* не сердись – *было:* я нарочно
[98] *Было:* Вынув
[99] и спрятав ее в комод *вписано.*
[100] *Далее было:* еще
[101] *Далее было:* и вышла
[102] *Далее было:* глубокое

А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ иронически усмехнулась, представляя[103] глупые физиономии тех, которые "придут". Понемногу мысли ее снова вернулись к Ване, о котором наболело ее сердце. Перестанет теперь, голубчик, убиваться за работой, вздохнет посвободнее. Суровый он на вид, сердитый, а разве она не знает, что, в сущности, жалеет он ее, ах как жалеет. Последние денежки несет, а самому и в театр хотелось бы, и приодеться. Думаешь, мать не видит? Мать все видит! А вот что скажешь, как эта старая мать вынет тысячу рублей и скажет так с улыбочкой: Ванечка, не хочешь ли в теплые места прокатиться? Вот тебе пока[104] тысяча рублей, а когда еще нужно будет, скажи... А Катя? Славная она девочка, нечего Бога гневать, всем взяла: и хозяйственная, и покорная. Только вот работа у этой мадам: не доведут подруги до хорошего. Вот теперь иногда поздно возвращаться стала ⟨*л. 38 об.*⟩ – танцевали, говорит, где-то. А долго ли девчонку загубить? Она же и красива, на свою беду![105] Может, и ничего такого нет, а материнскому сердцу больно.

Далее выяснилось, что материнскому сердцу больно и за Петьку, который плохо учится и которого необходимо[106] отдать в гимназию – пусть хоть одного[107] до полного разума доведет. Потом материнскому сердцу стало тепло при виде сына, студента и умницы. Потом рой за роем понеслись мечты, одна другой краше, одна другой фантастичней. Невероятная роскошь сочеталась с мыслью о том, что теперь она, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ будет варить щи не в надтреснутом горшке, а в блестящей кастрюле. Мысль о толстом кучере и гладких лошадях сменялась гордым[108] сознанием, что она, если захочет, может хоть две, хоть три станции проехать на конке: денег хватит!

Так шла А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩, не видя дороги и не сознавая ⟨*л. 39*⟩ окружающего.

Иван Семенович, Катя и даже Петька понимали, что дома творится что-то чудно́е, но хорошее. Их не столько убедило в этом необычайное отсутствие матери и дорогая колбаса вместо плохого[109] обеда (16 числа!)[110] – сколько торжественный и глубоко-

---

[103] представляя *вписано.*
[104] пока *вписано.*
[105] Она же и красива, на свою беду! *вписано.*
[106] *Далее было:* давать
[107] *Было:* один
[108] *Было: а.* радостным *б.* торжест⟨венным⟩
[109] плохого *вписано.*
[110] (16 числа!) *вписано.*

мысленный[111] вид С⟨емена⟩ М⟨атвеевича⟩. Строго посматривая на детей, С⟨емен⟩ М⟨атвеевич⟩ выпускал целый ряд сентенций, в которых намеки на имение в сто десятин в самый интересный для слушателей момент сменялись несвоевременным возвратом к прошлому, когда он еще жил у воспитателя и имел синие казинетовые брюки, сшитые у тогдашнего знаменитого крепостного портного, Афоньки, который, как явствовало[112] из дальнейшего повествования, кончил, к сожалению[113], жизнь очень дурно[114], опившись на свадьбе у[115] другого знаменитого портного... И⟨ван⟩ С⟨еменович⟩ пытался направить речь в русло, но что могли сделать его слабые усилия, когда самый опытный следователь мог десять раз[116] с ума сойти, прежде чем добился бы от старика ответа! Но и редкие прорывающиеся намеки показывали, что случилось что-то важное, и дети с возрастающим[117] нетерпением стали ожидать А⟨нну⟩ И⟨вановну⟩[118]. И⟨ван⟩ С⟨еменович⟩, собиравшийся ⟨***л. 39 об.***⟩ прилечь на часок отдохнуть, отложил свое намерение. Часы протекали, и беспокойнее становились дети, ожидавшие появления матери и невольно обращавшие глаза к двери. Только С⟨емен⟩ М⟨атвеевич⟩ и в ус не дул, гордый, торжественный и убийственно красноречивый.

И вот она появилась.

Раздались шаги, чьи-то руки заерзали по поверхности двери, видимо не находя ручки, – и в полуоткрытую дверь проскользнула какая-то жалкая фигура. За всю жизнь старик не видел жены в таком виде: волосы выбились из-под платка и мокрыми прядями висели вдоль лица; платок сбился на сторону[119]; ватная кофта была распахнута, и одна пуговица, вырванная, очевидно, с мясом, болталась на тоненьком остатке сукна. Покачиваясь и шурша мокрым подолом, А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ добралась до стула и упала на него, бессильно свесив[120] голову ⟨***л. 40***⟩ набок. Вид матери был так необычно ужасен, что дети остолбенели, и только голубоглазый[121] Петька, отличавшийся быстрым соображением[122], не ожи-

---

111 *Было:* таинственный
112 *Было:* выяснялось
113 к сожалению *вписано.*
114 очень дурно, *вписано.*
115 у *вписано.*
116 десять раз *вписано.*
117 *Было начато:* нетер⟨пением?⟩
118 *Далее вписана помета:* Про Петьку-фалетора
119 *Далее было начато:* коф⟨та⟩
120 *Вместо:* бессильно свесив – *было:* склонив (*незач. вар.*)
121 голубоглазый *вписано.*
122 *Далее было:* и

дая специального приглашения, залился[123] плачем. Его голос привел А⟨нну⟩ И⟨вановну⟩ в чувство[124]. Она вскочила и, дергая себя за висящие пряди волос, видимо, уже не впервые подвергавшиеся этой операции, заголосила:

– Деточки, голубчики, убейте меня, мерзавку! Потеряла! Разорила вас! Снимите ж вы мою голову! Ой-ой...

А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ выразила намерение удариться головой о стенку, но И⟨ван⟩ С⟨еменович⟩[125] удержал ее.

– Мать! мамочка! что с тобой?..

Бессвязные крики неслись, все более переходя в истерический вой. Бледная и дрожащая Катя принесла воды. Потерявшийся старик выхватил кружку и, пробормотав машинально что-то о таракане, вылил воду на голову А⟨нны⟩ И⟨вановны⟩. Потом отправился в кухню, постоял несколько времени на середине, поддернул с глубокомысленным видом брюки и, придя к твердому убеждению, что эта часть его туалета находится в полной исправности, вернулся в комнаты. А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ уже ⟨***л. 40 об.***⟩ успокоилась и только судорожно всхлипывала. Но много прошло времени, пока она, перебивая себя просьбами убить ее и не жалеть, рассказала, как она[126] нашла деньги ("больше тысячи", – скривила душой А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩)[127], как она шла к Е⟨лизавете⟩ П⟨етровне⟩, как кто-то ее толкнул, не то она кого-то. Она упала, ее выругали. Потом...

– Нет, лучше убейте меня, деточки. Я, подлая, я, мерзкая, разорила вас...

Потом кто⟨-то⟩ светил ей спичками, и она искала, искала... В внезапном чувстве недоверия к себе А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ оттолкнула Катю, бросилась в кухню, заглянула в ящик, где утром лежали деньги... Пусто. Потом так же быстро побежала к комоду, вынула десятирублевку и бросила ее на стол перед детьми:

– Вот. Все... что осталось.

И⟨ван⟩ С⟨еменович⟩, до этой минуты сомневавшийся в действительности рассказанного, молча взял бумажку[128], тщательно осмотрел ее и, осторожно положив на стол, начал ходить по комнате. Он видимо старался не глядеть на разом притихшую мать, следившую за ним испуганным взором. Катя, хотя продолжала

---

[123] *Далее было:* отчаянным
[124] *Было:* себя
[125] *Было:* Т⟨имофеевич⟩
[126] *Далее было:* шла, как
[127] ("больше тысячи", – скривила душой А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩) *вписано.*
[128] *Было начато:* ден⟨ьги⟩

ухаживать за матерью,[129] также[130], ⟨*л. 41*⟩ судя по растерянным движениям, задумывалась. Петьку старик прогнал, и в комнате наступила тишина, нарушаемая лишь шагами И⟨вана⟩ С⟨еменовича⟩, вздохами матери и выбиваемой пальцами старика дробью.

– А ты не помнишь... где уронила деньги? – круто остановился перед матерью И⟨ван⟩ С⟨еменович⟩.

– Не помню, не знаю. Кажется, что в Газетном... Ох, горе мое.

– Молчи, достаточно.

И⟨ван⟩ С⟨еменович⟩ отправился в переднюю, медленно надел пальто, одну калошу, потом так же медленно разделся.

– Ванечка!..

– Ну, нечего, нечего, теперь не вернешь. Идите-ка спать, – спокойно сказал И⟨ван⟩ С⟨еменович⟩, но не стерпел и порвавшимся голосом добавил: – Эх!..

– То-то и[131] я[132] говорю: бабы, таракан им за пазуху!

Было, вероятно, уже больше часу пополуночи. В маленькой квартирке царила беспокойная[133] тишина ночи. Где-то скреблась мышь; вверху по лестнице простучали тяжелые шаги; слышно было, как кто⟨-то⟩ вверху дергал за звонок; потом хлопнула дверь. И⟨ван⟩ С⟨еменович⟩[134] надрывисто кашлял[135], и по тону кашля видно было, что он еще не спит.

⟨*л. 41 об.*⟩ Катя тоже не спала, слушала[136], как ворочается мать,[137] и ей стало жалко эту старую несчастную[138] мать. Осторожно спустив на холодный[139] пол босые ноги, Катя перешла к кровати матери и молча прилегла возле нее[140] и поцеловала мокрые от слез щеки. Обе женщины, крепко обняв друг друга, слились в плаче, тихом, потому что И⟨ван⟩ С⟨еменович⟩ не должен был слышать его. Вскоре им стало легче, и Катя, бессознательно гладя мать рукой по морщинистому лицу, начала думать о том, что завтра ей в 7 часов вставать и идти на работу. А⟨нна⟩ И⟨вановна⟩ тихо прошептала:

---

[129] *Далее было начато:* вид⟨имо?⟩
[130] *Далее было:* ⟨*нрзб.*⟩
[131] *Было:* я
[132] я *вписано.*
[133] беспокойная *вписано.*
[134] *Было:* Т⟨имофеевич⟩
[135] *Вместо:* надрывисто кашлял – *было:* кашлял надрывисто
[136] *Было:* слушая
[137] *Далее было начато:* почувство⟨вала?⟩
[138] несчастную *вписано.*
[139] холодный *вписано.*
[140] *Далее было:* , обняв ее за шею,

– Катечка...

– Что, голубочка!

– А знаешь, я думаю... Нужно Ване из этих десяти рублей фуфайку купить. А?

– Да, мамочка.

– Слава богу, хоть до двадцатого-то теперь проживем.

– Да, мамочка.

– А галстук, голубой... ты утром к нему на стол положи.

– Хорошо, мамочка[141].

[141] *В нижней части л. 42 помета:* Думаешь, мать не видит? Мать все видит.

МОЛОДЕЖЬ

(С. 111)

ЧА

⟨*л. 50*⟩ МОЛОДЕЖЬ

Ученик восьмого класса Шарыгин дал пощечину своему товарищу Аврамову и чувствовал себя правым и оттого[1] радостным и гордым. Аврамов получил пощечину и был в отчаянии, смягчавшемся лишь сознанием, что он, как и многие другие в жизни, пострадал за правду.

Дело было так. На классной стене с начала года висело[2] в черной рамке расписание уроков. Его не замечали до тех пор, пока Селедка, как звали надзирателя, подойдя однажды к стене, не обратил внимания класса на то, что лист с расписанием исчез и рамка была пуста. Очевидно, это была шалость, ребяческая[3], конечно, но вызывавшая добродушную, слегка ироническую улыбку солидной части класса, ту улыбку, которая появлялась у них, когда Окуньков ни с того ни с сего становился на руки[4], поднимал ноги и в таком виде обходил комнату. Кипятившийся из-за таких пустяков Селедка вызывал к себе юмористическое отношение. Был вставлен новый лист, – но на другой день рамка была опять пуста. Это было уже глупо, и потому, когда Селедка[5] в безмолвном гневе растопырил длинные[6] руки перед стенкой, к нему обратились с серьезным предположением, что расписание стащили, вероятно, первоклассники. На третий день в рамке вместо расписания был вставлен лист, на котором выделялся тщательно оттушеванный кукиш. Селедка, инспектор и директор поочередно созерцали кукиш, безмолвно, ⟨*л. 51*⟩ но глубоко[7] иронически. На предложение сознаться, класс, не менее начальства удивленный появлением рисунка, ответил молчанием. Было произведено исследование, но не привело ни к чему: хотя в классе художников было мало, но кукиш умели рисовать все. Последним созерцал

---

[1] правым и оттого *вписано.*
[2] *Далее было:* расписание
[3] *Было:* глупая
[4] *Было:* руках
[5] *Далее было начато:* растопыр⟨ил⟩
[6] длинные *вписано.*
[7] но глубоко *вписано.*

рисунок[8] сторож Семен, вынимавший его из рамки[9], и тому показалось что-то насмешливое в кукише[10], относившемся прямо к нему, к Семену, вследствие чего он впервые стал на сторону начальства и посоветовал классу[11] сознаться, но был послан к черту. Наступил четвертый день – и[12] еще более изящный и насмешливый кукиш снова позорил[13] стену.

Речь инспектора у класса успеха не имела. Горячий и вспыльчивый чех, говорить он начинал спокойно, но после двух фраз наливался кровью и как ошпаренный начинал[14] выкрикивать фальцетом бранные слова:

– Мальчишки!.. Молёкососы!..

Директор произнес суховатую, но убедительную речь. Ударяя на букву "о", он разъяснил притихшему классу бесцельность подобной шалости, которая, однако, перешла все границы. Все знали, что директор скотина, боится жены и берет взятки, но на этот раз он был прав.

Шарыгин, в критические минуты от имени класса говоривший с начальством, встал и ответил директору:

– Мы все вполне согласны с вами, Михаил Иванович, и уже толковали об этом. Но только никто из нас этого не делал, и все удивлены.

Директор недоверчиво пожал плечами и сказал, что если виновные сознаются, они наказанию подвергнуты не будут. Но если никто не сознается, ⟨*л. 52*⟩ он, директор, поставит за эту четверть тройку поведения всему классу и[15] не освободит от платы за право учения всех, кто в первое полугодие был освобожден. Ученики должны знать, что он свое слово умеет держать.

– Но если же никто не сознается!

Директор заметил, что в этом случае сам класс должен найти виновного. Это не будет нарушением товарищеских отношений, так как, из упорства или из ложного самолюбия не желая сознаваться, виновный подводит других под строгое наказание и[16] eo ipso* сам исторгает себя из товарищеской среды.

---

* тем самым, вследствие этого (*лат.*)

[8] *Было:* кукиш
[9] вынимавший его из рамки *вписано.*
[10] *Было:* рисунке
[11] классу *вписано.*
[12] и *вписано.*
[13] *Было:* украшал (*незач. вар.*)
[14] *Вместо:* как ошпаренный, начинал – *было:* начинал, как зарезанный
[15] *Далее было начато:* учен⟨иков⟩
[16] *Далее было:* тем

Иван Михайлович ушел, и класс занялся обсуждением вопроса, в котором начальством была открыта новая сторона. На большой перемене[17] директор был вызван из кабинета Шарыгиным и двумя другими восьмиклассниками. Шарыгин от имени класса заявил, что они виновных не знают, но подозревают троих: Аврамова, Валича и Основского. Класс полагает, что этим заявлением он снимает наказание с остальных. Директор внимательно взглянул на Шарыгина и похвалил его за благоразумие, добавив, что о наказании и дальнейшем он подумает. Похвала директора была приятна Шарыгину, хотя раньше он гордился тем, что тот считает его вредным для класса[18] элементом[19].

Когда Шарыгин подходил к классу, навстречу ему выбежал Рождественский, все время кричавший и суетившийся больше всех и всем мешавший, и заявил:

– А Аврамов тебя подлецом назвал!

Аврамов[20] стоял, прислонившись к печке, бледный, как ⟨*л. 53*⟩ сама печь, и презрительно, поверх голов, смотрел[21] в сторону.

– Аврамов! Ты назвал меня подлецом?

– Назвал.

– Прошу тебя извиниться.

Аврамов молчал. Класс с напряженным вниманием следил за происходящим.

– Ну?

Вошел батюшка (был его урок), и все разошлись по местам. Минуты тянулись страшно медленно. Как будто время не хотело двигаться с места, предвидя то нехорошее, что должно сейчас случиться. Шарыгин, сидевший на последней парте[22], раскрыл перед собою какой-то роман и делал вид, что читает, но изредка смотрел вперед, с новым чувством странного любопытства рассматривая согнутую спину и опущенную над книгой голову Аврамова. Волосы у Аврамова были черные, прямые, и пальцы руки, на которую он опирался, резко белели. Думает ли он сейчас, что через несколько минут на его щеку обрушится удар, от которого будет щеке больно и она покраснеет? При этой мысли сердце у Шарыгина начинает тяжело колотиться, и ему смертельно хочет-

---

[17] *Далее было начато:* Ива⟨н Михайлович⟩

[18] для класса *вписано.*

[19] *Далее было:* в классе

[20] *Далее было:* прислонясь

[21] *Далее было:* куда-то

[22] *Далее было:* делал вид, что чит⟨ает⟩

ся, чтобы ничего этого не было: ни класса, ни Аврамова, ни необходимости сейчас ударить его. Но он должен ударить. Он чувствует себя правым. Товарищи перестанут уважать его, если он оставит незаслуженное оскорбление[23] безнаказанным. Шарыгин перебирает все речи, свои и чужие, которые говорились сегодня в классе, и ему все яснее становится, как незаслуженно Аврамов оскорбил его, и чувство злобы к этой черной голове и белым пальцам поднимается ⟨*л. 54*⟩ и растет. Шарыгину немного страшно, потому что Аврамов сильный и, конечно, ответит ударом, но Шарыгин должен... Резкий, продолжительный звонок разносится по коридору. Батюшка медленно идет к двери, шмурыгая ногами и улыбаясь какой-то безобидной шутке библейского характера[24], которую он сейчас сказал. За ним, разминая усталые члены, идут ученики, когда нервный, до странности громкий голос Шарыгина останавливает их:

– Господа, прошу вас подождать одну минуту!

Некоторые из господ, забывшие, что было на перемене, с удивлением смотрят на горящие глаза и бледное лицо, на котором темнеет пушок на верхней вздрагивающей губе. Шарыгин подходит к Аврамову.

– Так ты не хочешь извиниться?

Жуткое молчание. "Философу" Мартову хочется толкнуть Аврамова, чтобы он извинился. Наклонясь вперед, Мартов глазами хочет выжать необходимый ответ.

– Нет. Ты...

Шарыгин не сознает, как он поднимает руку и бьет, и не чувствует удара. Он видит только, как пошатнулся Аврамов. Шарыгин смотрит в сторону и в глаза ему бросается побелевшее[25], курносое и обыкновенно смешное[26], лицо Аврамова, искаженное жалкой болезненной улыбкой. "А он чего?" – думает Шарыгин, ожидая ответного удара. Но Аврамов молча закрывает лицо руками и прерывающимся голосом, в котором слышны слезы, шепчет:

– Бог... Бог, – и быстро выходит из класса.

⟨*л. 55*⟩ Возвращаясь домой, Шарыгин испытывал приятное чувство облегчения и довольства собой. Он исполнил долг честного человека, каким он хочет быть, долг тяжелый, это правда, но тем больше заслуга. Аврамов оказался хуже, чем он ду-

---

[23] *Было:* наказание

[24] библейского характера *вписано.*

[25] *Далее вписано и зачеркнуто:* смешное

[26] и обыкновенно смешное *вписано.*

мал. Это тоже приятно. Не осуществился страх, который испытывал Шарыгин, и не пришлось вступать в унизительную и[27] могущую дурно для него[28] кончиться драку; если уж нужно бить, то того бить человека, которого презираешь. Весна приближалась, и стояла оттепель. Шарыгин смотрел на начинавшее голубеть небо, вдыхал пахнущий весной воздух – и забыл об Аврамове, гимназии. Только особенно твердая поступь да более обыкновенного выдвинутая вперед грудь показывали, что это идет человек, который только сейчас совершил подвиг, дал пощечину другому человеку, не разделявшему его взглядов на жизнь.

Неприятности для Шарыгина начались в тот же вечер[29]. С плохо скрытым чувством гордости он рассказал происшедший случай Александре Николаевне, гимназистке восьмого класса, которую он любил и считал умной и развитой в общественном смысле. Впрочем, умной она казалась ему, пока соглашалась и не спорила. Споря, она так легко и беззаботно расставалась с логикой[30], становилась так пристрастна, субъективна, несдержанна и резка, что Шарыгин начинал удивляться[31], та ли это женщина, с которой ему хотелось бы пройти жизненный путь. Другим она нравилась именно во время спора, но Шарыгин не понимал их вкуса.

– Он прав. Ты поступил подло, – ответила Александра Николаевна.

Неприятно изумленный и обиженный Шарыгин, думая, что она не поняла, вновь ⟨*л. 56*⟩ подробно остановился на тех доводах, почему он считал себя правым. Весь класс уговаривал Аврамова и других сознаться, – указывая на то, что иначе[32] из-за глупой шутки понесут наказание неповинные. Тройка поведения пустяки, но в классе есть двое учащихся на казенный счет, которые должны будут уйти из гимназии. Отсюда она должна видеть, что[33] он лично, человек состоятельный, в деле не заинтересован.

– Пустяки. Директор не исполнил бы этого. И шутка вовсе не так глупа. Этот[34] кукиш мне очень нравится.

---

[27] *Далее было начато:* быть мож⟨ет⟩
[28] для него *вписано.*
[29] *Было:* день
[30] *Далее было:* что
[31] *Было:* сомневаться (*незач. вар.*)
[32] *Далее было:* весь
[33] *Далее было начато:* А⟨врамов⟩
[34] Этот *вписано.*

Сбитый, как ему показалось, с[35] строго логического пути, Шарыгин выразил нетерпение и, как мог, собрав мысли, начал развивать дальнейшие положения. Весь класс решил сообщить ("донести" – мелькнуло в голове Шарыгина), что подозревают таких-то. Класс уполномочил его, Потанина и Семенова передать свое, именно свое решение директору. Он был простым выполнителем воли класса. Почему же именно он подлец, а не Потанин, не Семенов и не весь класс?

– Да и все подлецы, – решила не задумываясь А⟨лександра⟩ Н⟨иколаевна⟩.

Шарыгин сердито рассмеялся.

– Ну, а почему же он именно меня назвал подлецом?

– Вероятно, ты больше всех настаивал, чтобы идти к директору. Во всяком случае это фискальство. Гадость!

Снова сбитый с позиции, Шарыгин, как ему всегда случалось в спорах с А⟨лександрой⟩ Н⟨иколаевной⟩, потерял под собою почву и беспорядочно начал выдвигать те и другие орудия, повторяясь, путаясь, злясь на нее и на себя и чувствуя, что то, что он хочет доказать, куда-то ⟨*л. 57*⟩ уходит все дальше и дальше[36]. Так много приходилось доказывать отдельных и ⟨*нрзб.*⟩[37] положений[38], что дело ускользало. А⟨лександра⟩ Н⟨иколаевна⟩, вопреки обыкновению, была до обидного спокойна.

– А каков он из себя – этот Аврамов?

– Прикажете познакомить?

– Это глупо – сердиться из-за пустяков.

"Пустяки! Назвать человека подлецом и говорить: пустяки!" Шарыгин сердито отдернул свою руку и с ненавистью взглянул на раскрасневшееся на морозе личико. Как приличествует[39] гимназисту и гимназистке, они виделись на улице, тайно от родителей, хотя никто не мешал им видеться явно. Голубые с искорками глазки с видом счастливого безмятежия[40] устремились на него, и веселый[41] смех огласил пустынную темную[42] улицу.

– Ну, будет, будет! Вашу руку, сударь! – Алек⟨сандра⟩ Н⟨иколаевна⟩ взяла руку Шарыгина, согнула ее кренделем и, всунув

---

[35] *Далее было:* пути

[36] *Далее было начато:* Он гов⟨орил?⟩

[37] *Было:* новых (*незач. вар.*)

[38] *Было:* предложений

[39] *Было:* водится

[40] *Было начато:* равн⟨одушия⟩

[41] *Было начато:* счастл⟨ивый⟩

[42] темную *вписано.*

свою, тронулась в путь. Ш⟨арыгин⟩ попробовал отнять руку, но А⟨лександра⟩ Н⟨иколаевна⟩ держала крепко, и он подчинился.

Вернувшись домой, Ш⟨арыгин⟩ пошел к отцу в кабинет и, закурив папиросу, рассказал ему, подробно останавливаясь на мотивах и предупреждая возражения, всю историю.

– Ну, как ты думаешь, прав я?

– А тебе ничего за это не будет? Смотри, брат Петр[43], аттестат не проморгай.

– Он жаловаться не[44] станет. Ну а должен был я дать пощечину?

– Конечно, стоило проучить. Ну а выдавать-то своих все-таки не следовало. Знаешь ли, фискальством как-то припахивает...

Волнуясь и страдая от непонимания, Петр снова повторил[45] все свои доводы, стараясь обосновать их теоретически. Он говорил, что когда один предает всех – это дурно, но когда все предают одного, это хорошо; ⟨*л. 58*⟩ он говорил о принципе "большинства". Отец в конце концов почти согласился с Петром, но добавил:

– Так-то оно так, а все-таки как-то, знаешь ли... Да ты не волнуйся. Все это пустяки, ребячество, завтра же помиритесь с этим... как его... А вот я тебе расскажу, какую я про вашего директора штуку в клубе слышал...

Когда Шарыгин засыпал, в нем ничего не оставалось геройского. Он по-прежнему, даже больше прежнего, был убежден в своей правоте. Но то нехорошее, что он чувствовал днем, при совершении подвига, выросло во что-то мучительное. "Но разве поступать честно всегда приятно?" – успокаивал он себя. "Есть честность ума и честность инстинкта, вот как у папы. Конечно, неприятно, когда идешь против инстинкта, – но разве инстинкт не лжет?" Подумано было красиво, и Петр на минуту успокоился, но, вспомнив, как похвалил его сегодня директор, почувствовал, как лицо его и шею охватило жаром. Краска стыда залила его щеки, еще не видавшие бритвы, которая постепенно[46] срезает растительность, с нею как будто и снимает эту[47] краску совести[48], еще способной возмущаться.

---

[43] Петр *вписано.*
[44] *Далее было:* будет
[45] *Было:* подтвердил
[46] *Далее было начато:* сним⟨ает⟩
[47] *Далее было:* краску стыда
[48] *Было:* возмущенной честности

Прошло три дня. Начальство почему-то не сочло нужным придавать значение коллективному заявлению класса, и "заподозренные" беззаботно разгуливали по коридору. По безмолвному соглашению класс ни словом не вспоминал[49] о произ⟨о⟩шедшей истории и особенно предупредительно относился к Аврамову. Через три ⟨дня⟩ с виду казалось, что в классе ничего не случилось. Только один Шарыгин чувствовал, что что-то случилось, и ⟨*л. 59*⟩ случилось нехорошее. Двое заподозренных, охотно говорившие со всеми, не замечали Шарыгина и не отвечали на его попытки вступить в беседу. Остальные держались с ним по-прежнему, и только философ Мартов с выражением какой-то боязни сторонился от него, как будто полагая, что драка составляет постоянное свойство шарыгинского характера. Однажды Шарыгин поймал на себе взгляд преданного ему Преображенского, и в этом взгляде сквозило не восхищение, к которому он привык, а, странно сказать... сожаление.

"Мерзавцы!" – думал Шарыгин, включая в это понятие весь класс. Ему было нестерпимо больно, что в предательстве виноваты все, а наказание несет он один. "За что, мерзавцы?" – с злостью спрашивал Шарыгин, чувствуя, что даже Преображенский, который больше всего стоял за донос, теперь презирает его. Шарыгин вызывающе смотрел по сторонам, говорил резкости и толкал заподозренных, не вызывая реакции и лишь сострадательное удивление. Однажды он громко заговорил о том, что странно, почему директор не принимает никаких мер, но все разошлись, делая вид, что не слышат, а Преображенский, которого он схватил за пуговицу, казался таким сконфуженным, что Ш⟨арыгин⟩ отпустил его, произнеся:

– Экие все дряни! – но ответа не получил.

Учителя, казалось Ш⟨арыгину⟩, также косились на него. Бочкин, преподаватель истории, резкий и независимый ⟨*л. 60*⟩ господин, состоявший в оппозиции к педагогическому совету, сказал, обращаясь к классу:

– Доносиками заниматься вздумали? О будущие граждане российские! – но видно было, что он имеет в виду одного Шарыгина. Обычный кол[50], третий по счету, украсивший в этот день клетку журнала, не сопровождался шутливыми замечаниями, показывавшими, что, хоть Б⟨очкин⟩ и ставит единицу за незнание урока, все же считает Ш⟨арыгина⟩ развитым и знающим.

---

[49] *Было:* напоминал

[50] *Далее было:* который

– До сажени много еще осталось? – спросил Ш⟨арыгин⟩, но Б⟨очкин⟩ сделал вид, что не слышит.

"Скотина!" – подумал Шарыгин, и ему захотелось заплакать. Дома тоже было не лучше. На свидания к А⟨лександре⟩ Н⟨иколаевне⟩ он не ходил, и та прислала уже записочку (с двумя орфографическими ошибками), справляясь о его здоровье. "Милый!" – хорош "милый", – подумал[51] Ш⟨арыгин⟩ и, выбрав на диване местечко поудобнее, поплакал. Это было в субботу. В воскресенье П⟨етр⟩ никуда не пошел и весь день поражал домашних необузданною вольностью. Отца спрашивал о том, будет ли он иметь что-нибудь, если его исключат и он пойдет в гусары или монастырь; матери заявил, что он женится, и просил благословения. Почтенному старому коту, необыкновенно жирному и важному, привязал на хвост бумажку и смеялся до слез, когда кот, с видом оскорбленной невинности, гонялся за унизительным украшением и закружился до одурения.

Утром в понедельник, когда Ш⟨арыгин⟩ пришел в гимназию, Селедка попросила его пожаловать к инспектору.

⟨*л. 61*⟩ – Милый мой! Вы один в классе неиспорченный мальчик... ("А четверку поведения за что ставишь?") Вы всегда были правдивы и честны и высоко держали классический[52] мундир ("Еще бы, вешалка у меня высокая!") – и вы скажете правду. Мне Преображенский уже сказал, кто нарисовал это... как называется?

– Кукиш[53], Иван Иванович! – радостно ответил Ш⟨арыгин⟩.

– Да, кукиш... но зачем вы радуетесь?

– Характер такой, И⟨ван⟩ И⟨ванович⟩.

И⟨ван⟩ И⟨ванович⟩ покраснел, но сдержался и, помолчав, с ласковостью продолжал:

– Но я ему не верю. ("Брешет. Ничего П⟨реображенский⟩ не говорил"). И прошу вас, как чистого мальчика, сказать, кто сделал это... это...

– Кукиш.

– Это безобразие, – повысил голос И⟨ван⟩ И⟨ванович⟩. – Маль... Вы не знаете?

– Знаю, – таинственно прошептал Ш⟨арыгин⟩ и подошел к инспектору. Тот с тем же видом таинственности приготовился слушать.

– Ну? ну?

– Черт!

– Маль... Молёко... Это безобразие!

---

[51] подумал *вписано.*

[52] *Было:* гимназический (*незач. вар.*)

[53] *Далее было:* Карл Карлович

На второй перемене Ш⟨арыгин⟩ после звонка попросил всех остаться в классе и взошел на кафедру.

– Господа! – начал он дрогнувшим голосом, но с сияющими глазами: – товарищи, черт вас возьми, а не господа. Слушайте. Аврамов оскорбил меня названием "подлеца"...

Аврамов, покраснев, смотрел вниз.

– ...И он был не прав. Да, не прав. Он должен был сказать: "все вы подлецы!" А так как он этого не сказал, то я говорю: все ⟨*л. 62*⟩ мы были[54] подлецы. Предатели, негодяи...

Глаза Ш⟨арыгина⟩ попали в восторженно раскрытый рот философа Мартова.

– И скоты. Один за всех, все за одного! Вот как должны мы жить! И теперь, и всегда. А что я... я... ударил Аврамова, то я такой... такой!..

Красноречивый оратор всхлипнул и, сбежав с кафедры, устремился к дверям, но наткнулся на Аврамова, который схватил его руками.

– Голубчик... Голубчик...

Селедка решительно не понимала, что творится с VIII классом. Вдруг на большой перемене вздумали играть в чехарду. Но Ш⟨арыгина⟩ среди них не было. Запершись в классе, он что-то творил около классной доски. Собравшиеся в класс восьмиклассники ахнули от восхищения: чудное произведение искусства предстало пред их глазами. На доске было нарисовано расписание с заключенным в него кукишем, а перед ним в недоумевающих позах инспектор и директор, а за ними сторож Семен[55]. Нос директора[56] художник не мог вместить на доске и окончил мелом на стенке. Внизу была подпись: "Это вам, И.И.!" – "Нет, это вам И.М.!" Сторож Семен: "А я так полагаю, что вам двоим".

– Сотри, сотри! – раздались голоса, но Ш⟨арыгин⟩ не подпускал никого к доске. Да и поздно было. Селедка уже видела рисунок. Никогда так быстро она не бегала, даже когда приезжал попечитель и она "метала икру". Вошел директор, ⟨*л. 63*⟩ а за ним на цыпочках инспектор.

– Кто?[57] – спросил директор, оценив художественность исполнения и широту замысла артиста.

– Я, – ответил Ш⟨арыгин⟩.

– Ты? Хорошо. Ты будешь исключен.

---

[54] были *вписано.*

[55] а за ними сторож Семен *вписано.*

[56] *Было:* последнего

[57] *Далее было:* покраснев

Но директора смягчили. Наказание было ограничено четырехдневным арестом. Когда[58] в следующее[59] воскресенье замок щелкнул в двери и Ш⟨арыгин⟩ остался один в классе, он впервые почувствовал, что "грязь прошлого" смыта с него. Часа через два, когда Ш⟨арыгин⟩ уже начал скучать, у стеклянной двери показалось чье-то дружески мигавшее лицо. То был философ Мартов. За ним последовал Преображенский. И целый день[60] одна дружеская физиономия сменяла другую, и все они мигали, кричали в замочную скважину и радостно скалились. Под дверь была просунута записка, кратко возвещавшая: "Не робей!" Ночью, когда Ш⟨арыгин⟩ собирался укладываться спать на принесенной постели, внезапно щелкнул замок. Аврамов, Мартов и еще пара друзей, подкупивших Семена, осторожно вошли в класс, издали показывая хлеб, длинную колбасу, такую длинную, как нарисованный нос у директора, и horribile dictu... полбутылки водки. А за ними сочувственно ухмылялся Семен.

10 января ⟨18⟩99 г.

Варианты прижизненных изданий (К, Зн, Пр)

25 в раме / в рамке (*К, Зн*)
42 Молёкососы! / Молокососы! (*Зн, Пр*)
58 сознаться / сознаваться (*Зн, Пр*)
131 Наклоняясь вперед / Наклонясь вперед (*К*)
200–201 просто врал, как иезуит, а вы ему поверили, как дураки. / не исполнил бы этого. (*К*)
252 папироску / папиросу (*К*)
261 пустяки! / пустяки. (*К*)
274–277 Бессознательным движением ~ его. – *в К нет.*
289–294 каждую почти перемену ~ остался один. – *в К нет.*
317 он не прав / он был не прав (*К, Зн*)

---

[58] *Далее было:* замок
[59] следующее *вписано.*
[60] день *вписано.*

В САБУРОВЕ

(С. 132)

Варианты первой публикации (К)

5 Лет 12 / Лет двенадцать
41 мертвого духа / мертвого духу
44 11 лет / одиннадцать лет
61 в важных случаях / в экстренных случаях
63 чужда чувству красоты / чужда эстетики
366–367 *После:* теперь кто даст? – размышляла Санька и, представляя себе тот весьма непродолжительный период времени, в течение которого Пармен ничего не ел, приходила к неутешительному выводу по поводу тех мук голода, которые должен он сейчас испытывать.
414–415 *После:* а Пармен все сидел. – В одной руке он бережно держал пирог, размокший от Санькиных слез. Вот он подносит пирог к липкому рту... Но и тут не осуществились Санькины замыслы. Пармен не ел пирога – он целовал его.

У ОКНА

(С. 142)

ЧА

⟨*л. 1*⟩ У ОКНА[1]

Андрей Николаевич снял с подоконника горшок с засохшею геранью и стал смотреть на улицу. Всю ночь и утро сеял частый осенний дождь, и деревянные домики, насквозь промокшие, стояли серыми и печальными. Одинокие деревья гнулись от ветра, и их почерневшие листья то льнули друг к другу, шепча и жалуясь, то разметывались в разные стороны и тоскливо трепетали и бились на тонких ветвях. В потемневшем кривом домике, который стоял наискосок[2] и был виден лишь отчасти[3], отвязалась ставня и с[4] тупым постоянством захлопывала половину окна и снова со стуком ударялась о гнилые бревна[5]. И остававшаяся открытой другая[6] половина окна, со стоявшей на нем бутылкой желтого масла и сапожною колодкою, смотрела на улицу хмуро и недовольно, как человек с больным и подвязанным глазом.

За дощатой перегородкой, отделявшей комнатку Андрея Николаевича от хозяйской половины, послышался голос, глухо и неторопливо бурчавший:

– Дело вот в чем – две копейки потерял.

⟨*л. 2*⟩ – Да брось ты их, Федор Иванович, – умолял женский голос.

– Не могу.

Под тяжелыми шагами заскрипели половицы, и упала отодвинутая табуретка. Хозяин Андрея Николаевича, пекарь, когда бывал пьян, постоянно терял что-нибудь и не успокаивался, пока не находил. Чаще всего он терял какие-то две копейки, и Андрей Николаевич сомневался, были[7] ли они в действительности. Жена давала ему свои две копейки, говоря, что это поте-

---

[1] *Далее было* (*с абзаца*)*:* Было воскресенье, и чиновник Андрей Николаевич Николаев, или “Сусли-Мысли”, как называли его товарищи, посвящал⟨?⟩ его⟨?⟩ обычному отдыху.

[2] *Далее было:* от окна

[3] *Вместо:* лишь отчасти – *было*: не весь

[4] *Далее было:* раздражающим,

[5] *Далее было:* стены

[6] другая *вписано*.

[7] *Было:* существовали (*незач. вар.*)

рянные, но Федор Иванович не верил, и приходилось перерывать всю комнату[8].

Андрей Николаевич водки не пил и презирал всех пьющих, и отчасти уважал их, как и всех тех, которые умеют быть сильными и смелыми. Нужно очень много смелости, чтобы глотать эту огненную пахучую жидкость, зная, что от нее очень легко умереть и даже сгореть подобно вате, пропитанной спиртом,[9] о чем Андрею Николаевичу приходилось слыхать от самих же пьяниц. А какие страшные вещи видят, вероятно, они, когда трясущимися руками обирают что-то с себя и с[10] дрожью ужаса вытряхивают сапог и поспешно отскакивают в сторону, думая, что сейчас оттуда выскочит чертик. Или сколько нужно было мужества для того, чтобы смотреть людям прямо в глаза после того, как они видели пьяницу лежащим под забором и говорили о нем дурные вещи. Вздохнув при мысли о глупости человеческой, Андрей Николаевич снова обратился к улице.[11]

Прямо против окна, на противуположной стороне, высился красивый барский дом. Деревянная вычурная резьба покрывала, точно[12] кружевом, весь фасад, начинаясь от высокого, темно-красного фундамента и доходя до конька[13] железной крыши с стоящим на ней таким же вычурным шпилем. Даже в эту погоду, когда все кругом стояло безжизненным[14] и грустным, зеркальные стекла дома сияли, и тропические растения, отчетливо видные, казались молодыми, свежими и радостными, точно для них никогда не умирала весна и сами они обладали тайною вечной зеленой жизни. Андрей Николаевич любил смотреть на этот дом и воображать, ⟨*л. 3*⟩ как живут там. Смеющиеся красивые люди неслышно скользят по паркетным полам, тонут ногою в пушистых коврах и свободно раскидываются на мягкой мебели, принимающей форму тела. За зелеными цветами не видно улицы с ее грязью, и все там так красиво, уютно и чисто.

---

[8] *Далее было (с абзаца):* [Андрей Николаевич] Вздохнул при мысли о глупости человеческой Андрей Николаевич и снова обратился к улице.

[9] *Далее было: а.* или в крайнем случае *б.* о чем А⟨ндрею⟩ Н⟨иколаевичу⟩ прихо⟨дилось⟩

[10] с *вписано.*

[11] *Текст:* Андрей Николаевич водки не пил ~ снова обратился к улице. – *вписан на л. 1 об. Этот текст вписан поверх более раннего варианта, написанного карандашом:* Андре⟨й⟩ Н⟨иколаевич⟩ водки не пил и презирал всех пьющих, и особенно тех, которые допиваются до того, что видят чертей и всякие ужасы и с безумием в глазах молят о спасении. Это казалось ему диким и непонятным: ⟨*2 нрзб.*⟩ людям нужно и без водки.

[12] *Было:* как

[13] *Далее было начато:* кр⟨ыши⟩

[14] *Было:* сиротливым (*незач. вар.*)

В пять или шесть часов приезжает со службы[15] сам владелец богатого дома, красивый, высокий брюнет с энергичным выражением лица и белыми зубами, делающими его улыбку яркой и самоуверенно-веселой. С ним часто приезжает какой-нибудь гость. Быстрыми и твердыми шагами всходят они на каменные ступени крыльца и[16], смеясь, скрываются за широкою дверью, а толстый и сердитый кучер, сделав крутой поворот, въезжает на широкий мощеный двор, в конце которого видны капитальные службы и за ними высокие деревья старого сада. И Андрей Николаевич думает, как теперь встречает их молодая хозяйка, как они садятся за стол, украшенный зеленеющим[17] хрусталем и всем, чего Андрей Николаевич никогда не видал, едят и смеются.[18] Однажды[19] он встретил обладателя белых зубов, когда тот ехал по улице, разбрасывая резиновыми шинами мелкий щебень. Андрей Николаевич поклонился, и он весело и любезно ответил на поклон, но[20] на лице его не выразилось удивления по поводу того, что ему ⟨*л. 4*⟩ кланяется какой-то[21] желтоватый[22], худой господин в фуражке с бархатным околышем и кокардой, но он не задумался о причине этого. Но причины не знал и сам Андрей Николаевич.[23]

– Вот в чем дело, – говорил за перегородкой хозяин, раздумчиво и вразумительно, – это не те две копейки. Те две копейки щербатые.

– Господи, да когда же ты приберешь меня.[24]

Андрей Николаевич сидел у окна, смотрел и слушал. Он хотел бы, чтобы вечно был праздник, и он мог смотреть, как живут другие, и не испытывать того страха, который идет вместе с жизнью. Время застывало для него в эти минуты, и его зияющая, прозрачная бездна оставалась недвижимой. Так могли

---

[15] *Вместо:* со службы – *было:* обыкновенно (*незач. вар.*)
[16] и *вписано.*
[17] *Было:* сверкающим (*незач. вар.*)
[18] *Далее вписан и зачеркнут знак вставки.*
[19] *Далее было:* Андрей
[20] *Вместо:* но – *было:* но видно было, что
[21] *Далее было:* незнакомый господин
[22] *Далее было:* и
[23] *Далее вписано три знака вставки, последний из них зачеркнут.*
[24] *Далее было* (*с абзаца*)*:* Время у окна шло тихо и незаметно, отмечаясь только биением пульса. Андрею Николаевичу нравилось это неспешное движение времени: так могли пройти годы и ни одного чувства, ни мысли не прибавилось бы на душе. Он хотел бы, чтобы вечно был праздник и он мог смотреть, как живут другие, и не испытывать того страха, который идет вместе с жизнью.

пронестись года, и ни одного чувства, ни мысли не прибавилось бы на душе.[25]

Вот распахнулись ворота богатого дома, выехал кучер и остановился у крыльца, расправляя[26] на руках вожжи. "Это барыня сейчас поедет", – подумал Андрей Николаевич. В дверях показалась молодая, нарядно одетая женщина и с нею сын – семилетний пузырь с лицом таким же смуглым, как у отца, и с выражением сурового спокойствия и достоинства. Заложив руки в карманы длинного[27] драпового пальто, маленький человечек вдумчиво смотрел, как усаживается мать, и с тем же ⟨*л. 5*⟩ видом величавого покоя, не вынимая рук из карманов, позволил горничной поднять себя и посадить в пролетку. Обе женщины рассмеялись; а сердитый кучер, ухмыльнувшись в бороду, натянул вожжи, и лошадь крупною, ровною рысью понесла подпрыгивающий экипаж.[28] Спрятав[29] под передник красные руки, горничная[30] повернулась на крыльце, поглядела во все стороны, сделала гримасу[31] и скрылась за дверью.

Андрей Николаевич никогда не завидовал этим людям и не хотел бы иметь столько денег, как они. Давно уже, целых шесть лет, он следил за этим домом, знал привычки жителей, видел, как возрастало их богатство и счастье, но только раз или два ему приходила мысль о том, что и он мог бы быть человеком, который умеет[32] зарабатывать много денег, и у него тогда был бы дом с сияющими стеклами и красивая жена. И от этого предположения Андрею Николаевичу становилось страшно. Теперь он тихо сидел в своей комнатке, и стены и потолок, до которого можно было достать рукой, обнимали его и защищали от жизни и людей. Никто не придет к нему, и не заговорит с ним, и не будет требовать от него[33] ответа. Никто не знает и не думает ⟨*л. 6*⟩ о нем, и он так спокоен, как будто он находится на дне глубокого моря и тяжелая, непроницаемая масса воды отделяет его от поверхности. И вдруг бы у него богатство и власть, и он точно стоит на широкой равнине, на виду у всех. Все смотрят на него, говорят о нем и[34] трогают

---

[25] *Текст:* Андрей Николаевич сидел у окна ~ не прибавилось бы на душе. – *вписан на л. 3 об.*

[26] *Далее было:* вожжи

[27] длинного *вписано.*

[28] *Далее было:* Горничная,

[29] *Было:* спрятав

[30] горничная *вписано.*

[31] сделала гримасу *вписано.*

[32] умеет *вписано.*

[33] от него *вписано.*

[34] и *вписано.*

его. Он должен говорить с людьми, которые приходят к нему, и сам он ходит в дома с высокими потолками и множеством окон, несущих яркий, белый свет. И ничем не защищенный, стоит он посредине. Он обязан думать о деньгах, о том, чтобы они не пропали и их стало больше, о жене, о службе и о множестве страшных вещей. У него есть подчиненные, и им[35] необходимо[36] делать приказания. А если они не послушаются, то нужно[37] кричать и топать ногами. Надо быть страшным и сильным[38], очень сильным[39] для других, – при этой мысли Андрей Николаевич чувствует, что все тело его, руки, ноги становятся мягкими, точно из них вынуты все мускулы и кости. Это чувство является у него всегда, когда ему нужно делать что-нибудь свое, непривычное и неприказанное.

В своей канцелярии, где он служит уже пятнадцать лет, он чувствует себя хорошо. Стол его, все тот же за пятнадцать лет[40], крытый клеенкою стол[41], притиснут в самый угол, и когда проходит ⟨*л. 7*⟩ советник, он не видит Андрея Николаевича за другими чиновниками. И только помощник секретаря, который берет у[42] него переписанные бумаги и дает новые, видит[43] его[44]. Он знает, что он будет делать завтра и всю жизнь, и ничто новое и страшное не встретится на пути. Пять лет тому назад его назначили старшим чиновником – и что это за страшные были дни!..

В устроенной Андреем Николаевичем крепости, где он отсиживается от жизни, есть одно слабое место, и только он один знает ту потаенную калиточку, откуда неожиданно появляются неприятели. Он безопасен от вторжения людей, но до сих пор он ничего не мог поделать с мыслями, и они приходят, раздвигают стены и потолок и бросают Андрея Николаевича на середину того чистого поля, где он виден всем и где ему так нехорошо и жутко[45]. И вот сейчас, когда он только что обрадо-

---

[35] *Вместо:* и им – *было*: которым (*незач. вар.*)
[36] *Далее было начато:* при⟨казывать?⟩
[37] нужно *вписано.*
[38] *Вместо:* страшным и сильным – *было:* сильным и страшным
[39] очень сильным *вписано.*
[40] за пятнадцать лет *вписано.*
[41] *Далее было начато:* наход⟨ится⟩
[42] *Далее было:* А⟨ндрея⟩ Н⟨иколаевича⟩
[43] *Было:* знает
[44] *Далее было:* Все, что нужно делать ему, ясно и определено навсегда. Это были страшные дни, когда Андрей Николаевич, пять лет тому назад, был назначен старшим чиновником.
[45] *Вместо:* нехорошо и жутко – *было:* жутко и нехорошо

вался ровному, неслышному движению времени, незаметно подкрались враги ⟨*л. 8*⟩, и он уже не[46] в силах спастись от них. Стен уже нет, и нет его комнаты. Он опять стоит перед советником, чувствует, как обмякли его руки и ноги, и словно прикованный смотрит на сияющий[47] блик его лысины, напоминая собою жалкую[48] птичку, не могущую[49] оторваться от сияющих глаз неподвижной змеи.[50] Так проходит секунда, две. Подошвы совсем[51] прилипли к полу, и сдвинуть Андрея Николаевича не могли бы даже лошади.

– Ну что еще? – замечает его советник. Голос его гремит как труба, и ноги Андрея Николаевича сдвигаются, но не идут к двери, где спасение, а елозят на одном месте. Но язык еще не отклеился.

– Ну?

– А... если Агапов не перепишет к двум часам?

– Да... – задумался начальник. – Ну дайте тогда на дом. Что еще? Ясно?

Андрей Николаевич плохо понимает, что ему говорят, потому что другая страшная мысль приходит ему в голову. Он[52] бессознательно отвечает в тон[53] вопросу:

– Ясно.

– Так... чего вам еще?

– А... если у него есть другая работа?

Это была правда. У Агапова могла быть другая работа, и советник об этом не подумал. Снова с неудовольствием оторвавшись от бумаги, он обратил на Андрея Николаевича ⟨*л. 9*⟩ нетерпеливый взгляд и ничего не мог придумать.

– Ну дайте кому-нибудь еще.

– А если...

– Что-с? – рванул советник[54]. Лысина его покраснела, и очки запрыгали на толстом носу.

– Нет, нет, – скороговоркой и из невольного подражания прокричал Андрей Николаевич так громко, как будто[55] начальник

---

[46] *Далее было начато:* мож⟨ет⟩
[47] *Было:* сияющую точку на
[48] жалкую *вписано.*
[49] *В рукописи:* могущей
[50] *Текст:* напоминая собою ~ неподвижной змеи. – *вписан на л. 7 об.*
[51] *Далее было:* уже
[52] *Далее было:* машинально
[53] *Было:* тоне
[54] *Далее было:* , и лысина
[55] *Далее было начато:* сов⟨етник⟩

находился от него за версту: – я говорю, если на сегодняшнюю почту мы опоздаем?[56]

– Ф-фа!..

Через несколько дней советник говорил секретарю:

– Откуда вы достали этого болвана, который по горло напичкан всякими "если"? Все, что он предполагает, может случиться, хотя мне это и в голову не приходило. Но ведь и дом этот может провалиться! – вдруг рассердился он. – Ведь может?

– Казенной постройки, – пошутил секретарь и серьезно добавил: – я никак не думал, он такой исполнительный.

– Уберите его на старое место.

И Андрея Николаевича убрали, а у него целую еще неделю руки и ноги были мягкими, как у тряпичной[57] куклы, набитой отрубями.

На улице послышались резкие и крикливые звуки дешевой гармоники. По противуположной стороне шли четверо пьяных, ⟨*л. 10*⟩ одетых в длиннополые сюртуки, высокие, узкие сапоги на высоких каблучках и картузы, у которых поля были острые как ножи. Все четверо были молоды и шли с совершенно серьезными и даже печальными лицами. Один, высоко держа гармонику, наигрывал однообразный, трескучий мотив, от которого в глазах желтело. Когда уличные ребятишки, подражая взрослым, играли в пьяных и один из них держал в руках чурку вместо гармоники, он изображал этот мотив так:

– Ган-на-нидар, ган-на-нидар – ган-на-нидар най-на...

Против красивого дома, на мостовой, было единственное сухое место на всей улице, и один из четверых выделился вперед и стал плясать, пристукивая каблуками. Лицо его, молодое, дерзкое, с небольшими светлыми[58] усиками, осталось таким же серьезным и даже печальным, как будто он исполнял тяжелую, невеселую обязанность. И остальные смотрели на него так же равнодушно и вяло[59], не выражая ни одобрения, ни порицания, и чем-то беспросветно-унылым веяло от этого веселья под хмурым осенним небом среди серых покосившихся домишек.[60]

---

[56] *Напротив строк:* Нет, нет ~ мы опоздаем? – *на л. 8 об. вписано позднее:* Нет, нет, – скороговоркой проговорил Андрей Николаевич, а из невольного подражания закричал на начальника так же громко, как и тот на него: – я вам говорю, если на сегодняшнюю почту мы опоздаем? (*ср.: ОТ, стк. 210–215*).

[57] *Было: а.* тряпичной *б.* дешевой

[58] *Было:* белыми (*незач. вар.*)

[59] и вяло *вписано.*

[60] *Текст:* И остальные ~ покосившихся домишек. – *вписан на л. 9 об.*

– Ванька Гусаренок! – подумал Андрей Николаевич. – Пляшет[61] – значит, будет сегодня жену бить.

Когда пьяные прошли и уныло-задорные звуки гармоники замолкли, из покосившегося домика с хлопающей ставней вышла женщина, жена Гусаренка, и остановилась на крылечке, глядя вслед прошедшим. На ней была красная ситцевая кофта, запачканная сажей и лоснившаяся[62] на том месте, где округло выступала ⟨*л. 11*⟩ молодая, почти девическая грудь. Ветер трепал грязное платье и обвивал его вокруг ног, обрисовывая их контуры, и вся она, с босых маленьких ног до гордо повернутой головки, походила на белую[63] античную статую, жестокою волею судьбы брошенную в мрак[64] провинциального захолустья. Лицо правильное, красивое было бледно, и синие круги увеличивали и без того большие черные глаза. В них не было покоя: трепетный золотистый огонек, как пламя раздува⟨мо⟩го пожара, пробегал в них и тух под густыми ресницами. Непокорно, с гневом и презрением, Наташа посмотрела[65] вслед мужу, идущему из одного кабака в другой, и ушла, не бросив взгляда на окно, за которым притаился Андрей Николаевич.

– Вот баба-то! – ужаснулся он. – И слава богу, что я[66] не женился.

Андрей Николаевич даже рассмеялся от удовольствия, но оно было непродолжительно. Еще не разгладились морщины, образовавшиеся от смеха, как он почувствовал вторжение врагов-мыслей. И откуда они только берутся, проклятые! Нет для них ни стен, ни преград...[67]

Желтыми от табаку пальцами Андрей Николаевич оторвал кусок толстой папиросной бумаги, похожей на оберточную, достал из жестяного ящика щепотку мелкого табаку и свернул папиросу, склеивая концы бумаги языком. За перегородкой храпел, задыхаясь и отдуваясь, Федор Иванович. Ослабленный водкою ⟨*л. 12*⟩ и поисками двух копеек, он заснул и проснется только ве-

---

[61] Пляшет *вписано.*

[62] сажей и лоснившаяся *вписано.*

[63] белую *вписано.*

[64] *Было:* грязь (*незач. вар.*)

[65] *Было:* смотрела

[66] я *вписано.*

[67] *Напротив строк:* Андрей Николаевич ~ ни преград... – *на л. 10 об. вписано позднее:* Образ Наташи, еще не сошедший с сетчатки его глаза, стоял перед ним, яркий и живой, а рядом выступало что-то другое. Стены раздвинулись и исчезли, на него пахнуло полем и запахом скошенного [св⟨ежего?⟩] сена. Над черным краем земли [под⟨нимался?⟩] неподвижно висел [кр⟨асный⟩] багрово-красный диск луны, и все было так загадочно, тихо и странно.

– Господи, – взмолился Андрей Николаевич: – разве мало того, что это было когда-то, нужно, чтобы оно еще постоянно являлось. И откуда оно берется! (*ср.: ОТ, стк. 278–287*)

чером, когда стемнеет.[68] Воздух изнутри с силою поднимался к горлу спящего, бурлил, ища себе выхода, и с легким шипением выходил наружу, отравляя комнату[69] запахом перегоревшей водки. Проснувшись, Федор Иванович будет долго и мучительно кашлять выворачивающим все внутренности кашлем, выпьет квасу и потом водки, и снова начнутся мучения его жены. Так бывало каждый праздник. Андрею Николаевичу стало досадно на этого толстого, рыхлого человека, который всю неделю томится от жара у раскаленной печки, а в праздники задыхается от водки, – и он обратился к окну. Из-за разорванных туч выглянуло на миг солнце и осветило печальным желтым светом мокрую улицу. Только противуположный дом стоял все таким же гордым и веселым, и окна его сияли.

Наташа всегда казалась[70] хмурой[71], даже и в то время, когда она была еще девушкой, красивой и свободной, и любви ее добивались многие. При первой встрече с нею Андрей Николаевич испытал неприятное чувство стеснения и робости. Он с трево⟨й⟩ следил глазами за ее быстрыми и резкими движениями, и ему казалось, что сейчас Наташа скажет или[72] сделает что-нибудь такое, от чего всем присутствующим на вечеринке станет тяжело и неловко[73]. ⟨*л. 13*⟩ И когда она сидела молча и внимательно, по-видимому, слушала, что ей говорили другие, что-то неугомонное, беспокойное продолжало двигаться в[74] ее лице. Внезапно она повернула голову, и ее черные глаза устремились на Андрея Николаевича, не то[75] спрашивая[76], не то приказывая сделать что-то[77], сейчас, немедленно. И он хотел отвести от них свои глаза и не мог и испытывал то же состояние безволия, порабощения, как и тогда, когда он глядел, не отрываясь, на блестящую[78] лысину начальника.[79] Он не видел лица Наташи, и

---

[68] *Далее было:* Проснувшись, он будет долго кашлять выворачивающим все вн⟨утренности⟩

[69] *Было:* воздух

[70] *Было:* была

[71] *Было:* печальной (*незач. вар.*)

[72] скажет или *вписано.*

[73] *Вместо:* тяжело и неловко – *было:* неловко и тяжело

[74] *Далее было:* ней

[75] *Было:* как будто (*незач. вар.*)

[76] *Далее было:* что-то

[77] что-то *вписано.*

[78] блестящую *вписано.*

[79] *Напротив текста:* И он хотел ~ начальника. – *на л. 12 об. вписано позднее:* и ему почему-то вспомнилось то чувство, когда он смотрел на блестящую лысину начальника.

только глаза, страшно большие и страшно черные, сверкали перед ним, как черные алмазы. И все продолжая смотреть на него, Наташа поднялась с места, быстрою, уверенною походкою прошла комнату и села подле него[80] так просто и свободно, точно он звал ее, и заговорила, как старая знакомая. И он не только отвечал ей, но говорил и сам, и даже спрашивал ее, и не удивлялся, что она говорит так просто и складно, – но[81] едва Наташа отошла, им овладело чувство величайшего страха, что она снова подойдет и снова[82] заговорит. Весь другой день он томился этим страхом и ноги его несколько раз обмякали, но когда за перегородкою, у хозяйки, он услыхал ⟨*л. 14*⟩ низкое, несколько грубоватое контральто Наташи, он, подхваченный неведомою силою, сорвался с места и развязно вошел к хозяйке. Так во время сражения впереди батальона бежит молодой солдатик, размахивает ружьем и кричит "ура", и подумаешь, что это самый храбрый из дерущихся – а у него холодный пот бежит по бледному лицу и сердце разрывается от ужаса. Но едва Андрею Николаевичу метнулись в глаза два черные алмаза, страх тотчас же прошел и стало легко и спокойно.[83]

Прошло немного времени, и вышло так, что Андрей Николаевич любит Наташу и она его. Он уже не так боялся черных глаз с тех пор, как стал целовать их, но что-то непонятное было во всем этом. Точно он не сам любил, а его заставляли любить. Он ничего почти не знал о Наташе и о ее прежней жизни, о которой она не любила говорить.

– Жила как и люди живут, – говорила она. – Вы лучше о себе расскажите.

И он рассказывал, как вырос он, подкидыш, в богоугодном заведении, в приюте "для детей бедных мещан г. Орла", как его там били и не давали есть. Он вспомнил о некоторых шалостях своих и чужих[84], от души смеялся и удивлялся ⟨*л. 15*⟩ тому, что неужели это он был тем маленьким дерзким[85] мальчиком, который, озираясь, курил в печурку и прятался под лестницей от смотрителя.

– И больно вас били?

– Да еще как! Ты и от роду о таких побоях не слыхивала.

---

[80] *Вместо:* подле него – *было:* возле него (*незач. вар.*)

[81] *Далее было:* как только (*незач. вар.*)

[82] снова *вписано.*

[83] *Далее в рукописи помета со знаком вставки:* (прод⟨олжение⟩ следует). *На л. 13 об. помета:* – Продолжение –, *после которой следуют столбцы цифр* (*подсчет букв в тексте рассказа*).

[84] *Далее было:* и

[85] дерзким *вписано.*

Наташа вопросительно посмотрела на него, но ничего не сказала. Дальше была не жизнь, а ⟨*л. 15 об.*⟩ канитель какая-то. Подвертывалось счастье, хорошая служба, но люди выхватывали из-под руки и оттесняли его. И в рассказе Андрей Николаевича слышался ужас при описании людей, жестокосердых, грубых, идущих напролом и топчущих других слабых людей. Но когда Наташа жалела его, он сердился.

– Нечего меня жалеть, есть и понесчастнее меня.

Наташа видела в этом гневе гордость, которой было так много у нее, но Андреем Николаевичем руководило другое чувство. Когда она смотрела на него вот этими жалостливыми глазами, блестевшими мягко и кротко, ему чудился в них упрек за какую-то совершенную им ошибку, которой поправить нельзя. Он знал, что никакой ошибки он не совершал, но чувство вины было сильным и властным. И понемногу он стал тяготиться Наташей.[86]

⟨*л. 16*⟩ Раз, летом, они долго сидели в хозяйском саду и потом вышли на берег. Солнце зашло в облаках, и только узкая багрово-красная полоска горела на горизонте, обещая на завтра ветер. Вода была неподвижна, и им сверху казалось, что они смотрят не в реку, а в небо. На том берегу тянулись на много верст бакши и

---

[86] *На л. 14 об. и в начале л. 15 об. вписано позднее:* И эта просьба всегда затрудняла Андрея Николаевича, [Он тоже жил, как и все] потому что рассказывать было не о чем. Ему тридцать [чет⟨ыре⟩] шесть лет, а в памяти от этих лет ничего не было, так, серенький туман какой-то. Был отец, маленький [чиновник] рыженький чиновник, была мать. Потом он стал чиновником – с 16 лет, а мать и отец умерли. Что он делал? Переписывал бумаги. Когда был молод, любил играть на бильярде и все собирался бросить казенную службу и найти что-нибудь повыгоднее. Но его преследовали неудачи. Подвертывалось счастье, хорошая служба, но люди вы⟨хватывали⟩... ⟨*фраза не дописана*⟩

– И только? – спрашивала Наташа.

– И только. Чего еще?

– Я думала, у вас другая жизнь. Не так, как у нас. Книжки читаете, говорите так тихо, благородно все о хорошем, чувствительном.

– Читал я и книжки, да что в них – все выдумка одна.

– И не скучно вам так-то – все одному и одному?

– Чего ж скучать. Сыт, одет, обут, у начальства на хорошем счету. Секретарь прямо говорит: примерный вы, говорит, работник, Андрей Николаевич. Кто губернатору доклады переписывает, все я!

Но Н⟨аташа⟩ не удовлетворялась и все продолжала допытываться, как живут у них, у чиновников, бьют ли мужья жен, когда напьются, и что делают жены, когда мужья уходят на службу. И по мере того как перед Наташей развертывалась картина ⟨*л. 15 об.*⟩ чиновничьей жизни, лицо ее становилось все печальнее и недоумевающей.

– Прощайте, – говорила Н⟨аташа⟩ и уходила. Он целовал ее холодную твердую щеку и думал: "какого черта ей надо? Только тоску наводит" (*ср. ОТ стк. 399–451*)

соломенный шалаш сторожа чуть белел на земле, казавшейся черной от контраста с светлым небом. Недалеко от шалаша горел костер, и пламя его поднималось в⟨в⟩ерх прямым и тонким лезвием, как от горящей свечи. На улице ударил в колотушку сторож, вышедший на ночное дежурство, а галки, облепившие высокие ракиты, которыми зарос берег, зашумели ветвями и подняли долгий, несмолкающий крик.

– Расскажите, как вы были в солдатах, – попросила Наташа.

Андрей Николаевич вяло рассказал уже не в первый раз, как[87] тяжело ему было маршировать с утра до ночи по раскаленному песку, стоять на дежурстве в глухом поле возле цейхгауза, когда трещит мороз и воют волки. Но этот рассказ не произвел на Наташу впечатления.

– Ведь у вас было ружье?

⟨*л. 17*⟩ – Так что ж что ружье.[88]

– А я бы не побоялась.

– Да уж ты – воительница!

– Еще расскажите.

Андрей Николаевич неохотно продолжал рассказ, но постепенно воодушевился, передавая о том, как ему приходилось по неделям ходить в одной почерневшей рубашке и самому стирать ее.

– Так сами и стирали? – улыбнулась Наташа. При улыбке лицо ее точно освещалось изнутри и становилось странно молодым, почти детским.

– Так сам и стирал. А тебе удивительно?[89]

---

[87] *Далее было:* он

[88] *Текст:* – Расскажите, как вы ~ что ружье. – *отчеркнут на полях* (*вероятно, знак замены в позднейшей редакции*).

[89] *На л. 15 об. и 16 об. вписано позднее:* Эта тишина расположила А⟨ндрея⟩ Н⟨иколаевича⟩ к грусти и [философии] философствованию. [Смотря] Следя прищуренными глазами за костром, он стал говорить Н⟨аташе⟩, какая это ужасная вещь жизнь, в которой так много всяких неожиданностей. Не знаешь, где упасть и соломки подстелить. Нынче жив, завтра помер. И куда ни сунься, все грубияны да нахалы, с тяжелыми кулаками: так и прут вперед. И в голосе А⟨ндрея⟩ Н⟨иколаевича⟩ слышался ужас при описании людей, жестокосердых, ...⟨*фраза не дописана*⟩

И говоря это, он казался таким маленьким, придавленным, точно на него давили все те груды бумаг, которые переписал за всю свою жизнь и он, и его отец и [его], может, и дедушка. Тонкие, худые пальцы, не знающие грубого труда, лежали бессильно на коленях; фуражка с бархатным околышем опустилась на лоб.

– Так вот всю жизнь и проживешь, – сказал он грустно.

– Вы бы... ушли куда-нибудь.

– Куда идти-то? Везде то же. Да и делать я ничего не умею.

⟨*л. 16 об.*⟩ – Несчастненький ты мой, – сказала Наташа протяжно и задумчиво, точно обращаясь не к Андрею Николаевичу (*ср. ОТ, стк. 469–499*)

Наташа улыбнулась и вдруг обвила рукою Андрея Николаевича и припала лицом к его груди и шее. Руки у нее были сильные, крепкие, Андрею Николаевичу было неудобно и немного больно. Скривив шею, он попытался поднять рукой Наташино лицо, но оно прижималось крепче к жесткой поверхности сюртука. Андрей Николаевич ждал и думал, как все это делается у Наташи неожиданно и порывисто и никогда нельзя понять, чего она хочет и о чем думает. Когда Наташа подняла наконец лицо, оно было бледнее обыкновенного и только на одной щеке горело красное пятно. Она долго смотрела в сторону, вниз по реке, где двигалась[90] лодка с нарядно одетыми барышнями и офицерами, не то студентами, и когда повернулась ⟨*л. 18*⟩ к Андрею Николаевичу, на глазах ее нависли маленькие светлые, как жемчуг, слезинки.

– Ну чего ты! – с неудовольствием спросил Андрей Николаевич.

Вместо ответа Наташа одним пальцем смахнула слезинки, и, точно сорвавшиеся с небосклона[91] звездочки, они упали в траву и потухли. И снова улыбнувшись, Наташа стиснула его руками и стала целовать его рот, глаза, а он думал, что их видят теперь с лодки, и констатировал факт, что в три минуты времени Наташа улыбнулась, заплакала и снова улыбнулась. Но с лодки их не видали. Она словно замерла на неподвижной воде, и казалось, что голова закружится, если посмотреть через борт в эту бездну. Капельки воды сбегали с поднятых весел, и светлые нежные переливы мандолины соединились с густым рокотанием струн гитары. Вот к ним[92] уверенно[93] присоединились[94] мужской голос[95], за ним робко последовал женский. Они пели:

Ночи безумные, ночи бессонные,
Речи бессвязные, взоры усталые,
Ночи последним огнем озаренные,
Осени поздней цветы запоздалые...

Над черным краем земли поднимался багрово-красный диск луны, казавшийся близким и странным. И река и черная земля молчали, как в смертный час, и все кругом казалось таким печальным ⟨*л. 19*⟩ и странным, как и[96] эта песня, говорящая о бесплодных сожалениях и безумных ночах.

---

[90] *Далее было:* , точно в воздухе
[91] *Было:* неба.
[92] *Далее было:* робко (*вписано и зачеркнуто*)
[93] уверенно *вписано.*
[94] *Далее было:* два голоса
[95] голос *вписано.*
[96] *Далее было:* сама

...Воспоминание о⟨б⟩ этом вечере было болезненно-ярко. Андрей Николаевич закрыл глаза и увидел красную, странную луну и неподвижную, замершую лодку, и непонятная печаль надавила на сердце. А за стеною храпел Федор Иванович, и воздух бурлил в его горле и шипел, выходя наружу. На улице было все так же безлюдно и хмуро, и в покосившемся домике продолжала хлопать ставня. "Привязать не может", – подумал Андрей Николаевич с гневом на Наташу и, посмотря на часы, увидел, что ему пора обедать. После обеда Андрей Николаевич лег отдохнуть, но сон долго не приходил, и вообще праздник был испорчен.

После вечера на берегу, на другой же день, начался разлад и был так же мало понятен, как и начало любви. Андрею Николаевичу пришла тогда[97] мысль, которая и удивила, и поразила его. До тех[98] пор он не мог понять, за что любит его Наташа, но эта мысль объясняла все: Наташа хочет выйти замуж и именно за чиновника. Она женщина неграмотная, говорит "теперича", "поемши"; она[99] по ремеслу папиросница, и часто ей, когда она делает папиросы на дому, приходится терпеть непрошеные любезности и заигрывания. И вот она ищет ⟨*л. 20*⟩ мужа с положением, образованного, который мог бы быть ей покровителем и защитником[100], и таких на всей улице один только и есть – он, Андрей Николаевич Николаев. Как женщина умная и хитрая, она скрывает свои планы и делает вид, что любит бескорыстно. И он также начал хитрить и выводить ее на свежую воду и убедился, что был прав: Наташа прямо сказала, что ей все равно, что замуж идти, что так, без попа, и конечно, солгала. Тут начались для Андрея Николаевича страшные терзания и появились вопросы, от которых он обмякал по нескольку раз на день. Когда он смотрел на Наташу и прикасался к ней, ему хотелось жениться, и[101] женитьба казалась легкой, но в остальное время мысль о женитьбе давила его, как кошмар. Он был человеком[102], который[103] заболевает[104] от перемены квартиры, а тут было столько нового, что он мог умереть. Идти к попу, искать шаферов, а они могут не явиться, и за ними нужно ехать на извозчике, а с извозчиком еще торговаться[105], потом венчание, по-

---

[97] тогда *вписано.*
[98] *Было:* сих
[99] *Далее было начато:* па⟨пиросница⟩
[100] и защитником *вписано.*
[101] *Далее было:* это было
[102] *Было:* из тех людей (*незач. вар.*)
[103] *В рукописи:* которые (*незаверш. правка*)
[104] *Было:* заболевают
[105] искать шаферов ~ еще торговаться, *вписано.*

том нужно новую квартиру, и все пойдет по-новому. И обо всем нужно думать, заботиться, говорить. А если дети пойдут? А если со службы прогонят? А если новая квартира будет сырая и угарная? И Андрей Николаевич отчаянным жестом ерошил волосы, решал, что он завтра же скажет Наташе все, и с иронией спрашивал себя по поводу женитьбы: ⟨*л. 21*⟩ да разве это мыслимо? – и смеялся. Люди, которые женятся, казались ему героями, и он с уважением смотрел на Федора Ивановича и хозяйку, которые сумели жениться и остались живы. Раз даже[106] он[107] написал[108] к Наташе:

"Милостивая государыня,

Наталья[109] Антониевна!

Сим письмом от 22 августа текущего[110] года извещаю вас[111]..."

Но так как Наташа была безграмотная, то он письма не послал, но несколько раз перебелял его для себя и удивлялся его убедительности.

По счастью, объяснений никаких не понадобилось. Сперва Наташа стала смотреть на него таким взглядом, от которого он корчился, как в судорогах, потом перестала смотреть на него совсем, потом рассмеялась и смеялась так долго и весело, что и он присоединился к смеху, хотя ему больше хотелось плакать – и потом наступил конец. А чиновники, глупые люди, смотрели на него в этот день с изумлением, думали, что он женится, – поздравляли его и говорили:

– Ай да Сусли-Мысли: какую штуку выкинул!

А он именно не женился!

Через год Наташа вышла за Гусаренка. Это был второй радостный день, когда Андрей Николаевич[112] сидел у своего окна и видел, как трясется от топота пляшущих покосившийся домик, ⟨*л. 22*⟩ и слушал несущийся оттуда веселый гомон и визг гармоники.[113] ⟨*л. 22об./21b*⟩ Подумать только, что он мог быть центром

---

106 даже *вписано.*

107 *Далее было:* даже письмо

108 *Было:* начал

109 *Далее было:* Антоновна⟨?⟩

110 *Было:* сего

111 извещаю вас *вписано.*

112 *Далее было:* смотрел

113 *Далее было:* Он даже не удивлялся тому, что Наташа, боявшаяся водки как огня, вышла за Гусаренка, отъявленного пьяницу и буяна. Ему казалось естественным, что двое страшных людей сошлись друг с другом, потому что Гусаренок был страшный человек. Раз он видел, как Гусаренок дрался – и это побелевшее лицо с безумными глазами и полоской крови долго потом грезилось и пугало его во сне. Другой раз он видел его летом, уже после разрыва с Наташей. Два дня и две ночи шел проливной дождь с

этого водоворота! И с особенною радостью он услыхал, уже поздно ночью, как в покосившемся домике зазвенели разбиваемые стекла, понеслись дикие крики и женские визгливые вопли[114]. Мимо его окна, громко топоча ногами, пробежал кто-то, потом послышались звуки борьбы, падение тела.

– Стой, не уйдешь, – хрипел с натугой чей-то голос.

– Караул!

Точно проснувшись[115], затрещала колотушка сторожа, и ей завторили[116] жу⟨р⟩чащие свистки патруля городового Баргамота. Очевидно, передрались пьяные гости[117].

"Началось!" – подумал Андрей Николаевич, чувствуя себя особенно уютно в теплой постели. "Вы там деритесь, а я вот

грозою и ветром. На верховье реки сорвало уже две плотины, и опасались той же участи для городской. Со всей Пушкарной и из города собрался народ на берегу и глядел, как льется вода через плотину и, как в котле, кипит и белеет внизу. Почти у самой плотины стояли купальни, обреченные на гибель, и их владелец приказал снимать полотно. Андрей Николаевич смотрел с высокого берега на копошившуюся у купальни фигурку мужика, когда со стороны плотины послышался треск и рев. Под неимоверною тяжестью она не устояла и рухнула, и вырванные из дна толстые бревна взлетали на воздух, как соломинки, и падали в [ревущую, как зверь,] кипящую воду, ревущую, как бешеный зверь. [Вздох] Но вот [вздох] тысячегрудый вздох ужаса пронесся по берегу и заглушил ревущую реку: купальня с работавшим на ней ⟨*л. 23*⟩ мужиком сорвалась и скользила, как по горе, к зияющей бездне. Солнце обливало реку светом, и купальня, с оставшимся на ней полотном, неслась вперед так легко, [и] весело и спокойно, и на краю ее стоял бледный мужик в [красной] кумачной рубахе и поднимал кверху руки. Вот он перекрестился и бросился в воду, и так плыли они к гибели оба: впереди скользила, как белая лебедь, купальня, за ней скрывался под водой человек в кумачной рубашке, и снова показывался и каждый раз творил крестное знамение. Новый крик ужаса пронесся по толпе и сердца почти перестали биться: Гусаренок, такой же [бледный] побелевший и с безумными глазами, как и во время драки, снимал сапоги и жилет и, так же перекрестившись, как тот, бросился в воду. Толкаясь, крича, плача и крестясь, толпа бежала по берегу следом за уносимыми водой. Впереди, далеко всех обгоняя, мчался городовой, шапка его была на затылке, а тесак бил по ногам. За ним бежала Наташа. Андрей Николаевич тоже бежал и кричал что-то, и слезы текли у него по лицу. [Но] Кто⟨-то⟩ толкнул его, он упал и, не посмотрев, кто его уронил, оставив на месте фуражку, бросился догонять ушедших вперед.

Гусаренка и мужика спасла лодка, поданная на помощь на ту сторону водоворота [плотины]. Мужик каким-то чудом остался совершенно невредим, Гусаренка вынули из воды помятым и бесчувственным, ⟨*л. 24*⟩ и только сильное течение не дало ему утонуть.

114 *Было:* голоса

115 *Далее было начато:* зазв⟨енела?⟩

116 *В рукописи:* завторчили (*диал.?*)

117 Очевидно, передрались пьяные гости. *вписано.*

так!" – ухмыльнулся он и накрыл голову толстой[118] подушкой. Стало тихо, как в могиле.

Ему нисколько не было удивительно, что Наташа вышла замуж именно за Гусаренка, отъявленного пьяницу и баламута. Наташа была страшный человек – и Гусаренок был человек страшный. Однажды, еще в ту пору, когда[119] у Андрея Николаевича существовали отношения с Наташей, но уже подходили к концу, он рассказал ей[120] про драку, которую он видел в тот день на улице и в которой главным героем и победителем был Гусаренок. Он с отвращением и ужасом говорил про то, какое было бледное ⟨*л. 23об./22*⟩ лицо у победителя и как струйки[121] красной крови бежали по этому лицу[122].

– Ванька сильный, – задумчиво[123] сказала Наташа, и в голосе ее не было отвращения.

– Как же, Бова-богатырь! – с иронией ответил Андрей Николаевич и с презрением и страхом человека, боящегося[124] физической боли, напал на пушкарей, этих диких и грубых скотов, находящих наслаждение в побоях, от которых ломаются кости и вылетают зубы. – А главное – водка, водка.

– Гусаренок бросит пить.

– Он говорил тебе это? – Андрей Николаевич с раздражением засмеялся. – Вот и шла бы за него замуж.

– И пойду, – сказала Наташа вполне серьезно, но рассмеялась и добавила: – он грозится, что ноги вам переломает, как со мною увидит.

– Я чиновник, меня он не может побить, – ответил Андрей Николаевич спокойно, но ноги его обмякли. – А вот тебя будет бить.

– Нет. Он хороший, он только воли над собою не имеет.

– Все-то у тебя фантазии. Ухватится за всякую дрянь – хороший! – передразнил Андрей Николаевич.

И он оказался прав, Наташина же вера не оправдалась.

⟨*л. 24/23*⟩ Развинченный воспоминаниями, Андрей Николаевич ворочался на постели, и[125] чем сильнее ему[126] хотелось уснуть,

---

[118] толстой *вписано.*
[119] *Далее было:* отношения⟨?⟩
[120] *Далее было:* , как
[121] *Было начато:* к⟨расная?⟩
[122] *Далее было:* и капали⟨?⟩
[123] задумчиво *вписано.*
[124] *Далее было:* каждого
[125] *Далее было:* не мог заснуть
[126] ему *вписано.*

тем дальше уходил от него сон. Но постепенно мысли стали путаться в голове, образы и картины потускнели, и наступил сон. Нижняя губа отвисла и обнажила бледные[127] десны и крупные темные зубы. На висках заметно бились артерии, и брови беспокойно двигались, точно стараясь отогнать от себя что-то неприятное[128]. Проснулся Андрей Николаевич от страшного сновидения: за ним гнался и хотел его убить Гусаренок. Он бежал по высоким[129] и пустым комнатам, которым не было конца, а сзади него гулко раздавались шаги преследующего Гусаренка, и в руке его был острый и блестящий нож...

В комнатке было темно, и лишь легкий свет проникал в окно от фонаря, стоявшего на противуположной стороне улицы, у богатого дома. В хозяйской комнате также, по-видимому[130], горел огонь, так как от[131] щели, находившейся в перегородке, на пол ложилась светлая полоса. Успокоившись от страшного сна, Андрей Николаевич услышал за стеной тихий шепот и узнал голос хозяйки.[132] В этом[133] голосе[134] сквозило страдание и боязнь, что ее услышит тот, о ⟨*л. 25*⟩ котором она говорила, хотя он[135] был отделен от нее расстоянием улицы и стенами.

– Ах кровопивец, ах аспид, – шептала хозяйка. – Ушла бы ты от него совсем.

Наташа ответила, и ее низкий голос звучал громко и размеренно[136], и[137] слабое трепетание не было замечено ни хозяйкою, ни Андреем Николаевичем.

– Куда уйти-то?

"Ага! нашла коса на камень!" – подумал Андрей Николаевич, вспоминая свой сон.

– И вправду, куда идти? – с готовностью согласилась хозяйка. – Вот и мой тоже. Пропасти нет на эту водку.

Хозяйка замолкла, и как будто что-то бесформенное, темное и страшное вползло в комнату и повеяло смертью – и это страшное была водка, господствующая над людьми, и не видно было границ ее ужасной власти.

---

127 *Было:* желтые
128 *Было:* страшное
129 *Было:* большим
130 *Далее было:* было
131 *Было:* в
132 *Далее было:* Ужасаясь и точно боясь, что ее услышит из своего дома тот, о котором она говорила, хозяйка
133 этом *вписано.*
134 *Далее было:* хозяйки
135 *Далее было начато:* наход⟨ился⟩
136 *Было:* твердо (*незач. вар.*)
137 *Далее было:* лишь

– Отравлю его, – сказала Наташа так же громко и размеренно.

– Что ты, что ты, – забормотала хозяйка. – Ты оставайся ночевать у нас, я тебе в кухне постелю, а то мой опять будет колобродить. А к глазу ты пятак приложи – ишь как изуродовал, разбойник.

Андрей Николаевич подошел к окну и открыл половинку. В комнату ворвался теплый[138] ветер[139], пахнущий сыростью и гниющими ⟨*л. 26*⟩ листьями, и зашелестел бумагами на столе. Слышно стало, как скрипит дерево[140] о железную крышу[141] и шуршит мокрая зелень. К богатому дому подъезжали один за другим экипажи, и из них выходили мужчины и дамы, в широких ротондах и с белыми платками на головах. Подбирая шумящее платье, они всходили на крыльцо и входили в дверь, которая выпускала на миг[142] столб белого света, зажигавшего блестки на металлических частях экипажа и упряжи.[143] Дом стоял безмолвный и большой, и чудилось, что[144] сквозь тяжелые ставни, закрывавшие высокие окна, сия⟨ю⟩т зеркальные стекла и[145] вечно живые цветы радуются свету, движению и жизни. Несколько экипажей остались ждать господ, и кучера, раскормленные, важные, с презрением смотрели с высоты своих козел на темные, покосившиеся домишки.

Напившись чаю и четким красивым почерком[146] переписав казенную бумагу, Андрей Николаевич начал готовиться к новому сну и улыбнулся, слушая, как бурчал Федор Иванович сокрушенно и раздумчиво:

– Вот в чем дело: двух копеек я так-таки и не разыскал.

– О Господи!..

Нужно было закрыть ставню, и Андрей Николаевич прошел на улицу. Экипажи еще стояли, и кучера грузными и[147] сонными массами темнели на козлах.[148] ⟨*л. 27*⟩ В большом доме глухо ро-

---

[138] теплый *вписано.*

[139] *Далее было:* сырой

[140] дерево *вписано.*

[141] *Далее в рукописи незач. вар.:* дерево

[142] *Вместо:* которая выпускала на миг – *было:* выпускавшую

[143] *Напротив текста:* Подбирая шумящее ~ и упряжи. – *на л. 25 об. вписано позднее:* Подбирая шумящее платье, они всходили на крыльцо. Резная дверь широко распахивалась и выпускала на улицу сто⟨л⟩б (*ср.: ОТ, стк. 735–737*)

[144] чудилось, что *вписано.*

[145] *Далее было:* тропические

[146] *Далее было начато:* переб⟨елив?⟩

[147] *Далее было начато:* темн⟨ыми⟩

[148] *Далее было:* Из дома глухо доносились рит⟨мические⟩

котали ритмические звуки рояля и минутами стихали, относимые порывом ветра. И этот же ветер приносил на крыльях своих новые звуки, явственно слышные, когда переставало скрипеть дерево. То были печальные и странно мелодичные звуки, и не руками живых людей вызывались они в эту черную ночь. Легкие, как само дуновение ветра, они то нежно[149] молили и плакали и умолкали с жалобным стоном; то, гневно ропщущие,[150] поднимались к небу с угрозою и гневом. Словно чья-то душа молила о спасении и жизни и гневно роптала.

– Противная штука! – рассердился Андрей Николаевич[151]. В одном этом отношении он не разделял вкусов владельца большого дома, и когда тот поставил на крыше арфу и ветер играл на ней свои печальные песни, он[152] никак не мог понять, зачем нужны эти песни человеку с белыми зубами и яркой улыбкой.

– Ужасно противная штука, – повторил Андрей Николаевич и, понизив голос, добавил: – куда только полиция смотрит.

Торопясь, как будто кто за ним гнался, Андрей Николаевич с силою захлопнул за собою дверь кухни и увидел Наташу, которая неподвижно сидела на лавке со сложенными на коленях руками. Голова ее была опущена, и сквозь располосованную ⟨*л. 28*⟩ красную кофту[153] белела высокая грудь, но Наташа не закрывала ее, хотя глаза ее были устремлены прямо на вошедшего.[154]

– Сколько лет, сколько зим, – проговорил Андрей Николаевич: – как поживаете?

Наташа молчала и смотрела на него.

– Я ничего, слава богу, здоров.

Наташа молчала. Андрей Николаевич хотел передать поклон супругу, как он делал это при всякой встрече, но сейчас это было неудобно. Наташа очевидно нуждалась в утешении, и потому он сказал:

– Знаете, вы не особенно огорчайтесь. Милые ссорятся, только тешатся, – пошутил он.

– Убирайтесь, – проговорила Наташа.

"Эка фу-ты, ну-ты", – думал Андрей Николаевич, укладываясь спать. "Мало, видно, учили. Ты вот там сиди, а я буду спать", – развеселял он себя. Но как только мигнула последний раз лампа и в комнате наступил мрак, он почувствовал себя снова во власти

---

149 нежно *вписано.*
150 *Далее было:* грозили и упрекали
151 *Далее было:* и не⟨?⟩
152 он *вписано.*
153 *Далее было:* виднела⟨сь⟩
154 *Далее было начато:* Сгорб⟨ившись?⟩

врагов. Исчезли стены и потолок, и он находился в поле, а на него отовсюду налетали и тонущий Гусаренок с безумными глазами, и красный диск луны, и ⟨*л. 29*⟩ песня, страшная и загадочная, как и все.

– Пропал праздник, совсем пропал, – шептал Андрей Николаевич и чувствовал, что ему хочется и плакать, и смеяться – и вернуть, хоть на миг вернуть тот вечер, когда так загадочно[155] стояла на небе красная луна, и звучала песня, и на плече его лежала головка Наташи.

Порывистым жестом Андрей Николаевич накрыл голову толстой подушкой и почти сразу успокоился, точно он нашел новые стены. Всякие звуки исчезли, стало так тихо, как в могиле.

Простучал последний экипаж. Улица заснула, и только хлопала непривязанная ставня да в минуты, когда переставало скрипеть дерево, неслись жалобные звуки, и плакали, и роптали, и молили о жизни.

18 июня 1899 г.

Варианты прижизненных публикаций (К, Зн, Пр)

138 странных вещей / страшных вещей (*К, Зн*)
221–222 добавил: – Никак не полагал: / добавил: – я никак не полагал: (*К, Зн*)
264 сочетались / сочетался (*К, Зн*)
270–271 нет, нет, нет. / нет-нет-нет. (*К, Зн*)
288 от табаку / от табака (*Зн*)
297–298 все внутренности / себе внутренности (*Пр*)
358 морщинку / морщину (*Пр*)
375 тотчас пропал / тотчас же пропал (*К, Зн*)
378 в щеки / в губы (*К, Зн*)
439 регистратор / секретарь (*К, Зн, Пр*)
470–471 Следя / Следуя (*Пр*)
539–540 неуменье / неумение (*К, Зн*)
607 неграмотна / безграмотна (*К, Зн, Пр*)
618–619 Вишь гордец какой: / Вишь гордость-то: (*К, Зн*)
696 сострадание / страдание (*К, Зн*)

---

155 *Далее было начато:* светле⟨ла?⟩

ПЕТЬКА НА ДАЧЕ

(С. 162)

ЧА

⟨*л. 41*⟩ ПЕТЬКА НА ДАЧЕ

Из дачных мотивов[1]

Осип Абрамович, парикмахер[2], поправлял грязную простынку на груди посетителя, затыкал ее пальцами за ворот и кричал отрывисто и резко:

– Мальчик, воды.

Посетитель, с любопытством рассматривавший в зеркало свою физиономию, замечал, что у него прибавился[3] еще угорь на подбородке, косил глаза и видел, как к подзеркальнику протягивалась худая маленькая рука и ставила жестянку с горячей водой. Если он поднимал глаза выше, то видел изображение парикмахера, странное и как будто косое, и замечал быстрый и грозный взгляд, который тот бросал вниз на кого-то, и безмолвное движение губ от неслышного, но выразительного[4] шепота. Если его брил не сам хозяин Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Никита, то шепот становился ⟨*л. 42*⟩ громким и принимал форму неопределенной угрозы.

– Вот погоди!

Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал горячую воду. "Так их и следует", – думал посетитель, кривя голову и созерцая перед самими глазами потную руку[5], у которой три пальца были оттопырены и два другие[6], липкие и пахучие, осторожно прикасались к щеке и подбородку, пока туповатая бритва со скрипом снимала с лица мыльную пену и жесткую щетину бороды.

В этой парикмахерской, грязной и темной, посетитель был нетребовательный: швейцары, дворники, приказчики[7], иногда

---

[1] *Далее было (с абзаца):* – Мальчик, воды! – кричал Осип Абрамыч резко и отрывисто, поправляя грязную салфетку, простынку на груди посетителя (*незач. вар.*)

[2] парикмахер *вписано.*

[3] *В рукописи:* прибавилась

[4] но выразительного *вписано.*

[5] *Вместо:* потную руку – *было: а.* потные пальцы *б.* липкие растопыренные пальцы

[6] *Далее было начато:* пах⟨учие?⟩

[7] приказчики *вписано.*

мелкие служащие или рабочие, часто подозрительные лица с опухшими или синеватыми пьяными физиономиями. Невдалеке находился квартал, заполненный домами разврата. Они господствовали над этой местностью и придавали ей особый характер чего-то шумного, грязного и тревожного.

Мальчик, на[8] которого чаще всего кричали, назывался Петькой и[9] был самым маленьким из всех служащих. Другой мальчик, Колька, был на два года старше и скоро должен был перейти в подмастерья. Уже и теперь, когда приходил посетитель попроще[10] или ⟨*л. 43*⟩ Осип Абрамович уходил, а подмастерья ленились, они посылали его стричь и смеялись, когда Кольке приходилось подниматься на цыпочки, чтобы заглянуть на затылок дворника. Но Колька гордился этим и держался как большой: курил папиросы, сплевывая через зубы, ругался скверными словами и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, должно быть, врал. Его и били редко и только за то, когда он, услыхав драку на соседней Драчевке, убегал туда и долго не возвращался.

Петьке было десять лет, и он не курил, и не пил водки, и не ругался, хотя знал много скверных слов, и в этом отношении он завидовал товарищу. Когда не было посетителей, они часто садились вдвоем на окно и смотрели на бульвар[11], пока Прокопий[12], проводивший где-то ночи и всегда спотыкавшийся от[13] желания спать, приваливался где-нибудь за перегородкой, а Иван[14] читал "Московский листок" и искал в дневнике происшествий и описаний краж знакомого имени кого-нибудь из посетителей. Оставаясь вдвоем, Колька становился всегда добрее и объяснял товарищу, что значит стричь под польку или бобриком. Часто они садились на окно и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с ⟨*л. 44*⟩ раннего утра. Деревья бульвара, серые от пыли[15], неподвижно млели[16] под горячим солнцем и давали такую же серую, неохлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязно одетые, без платков и картузов, как будто они тут и жили и у них не было другого дома. Лица у всех были[17] наглые и в то же время утомленные. Часто чья-нибудь лохматая голова

---

[8] на *вписано.*

[9] *Далее было: а.* отдан был два года тому назад *б.* был привезен пря⟨мо⟩

[10] *Далее было:* Колька стриг ег⟨о⟩

[11] *Далее было:* на кото⟨ром?⟩

[12] *Далее было:* вечно недосы⟨павший⟩

[13] *Далее было начато:* бес⟨сонницы?⟩

[14] *Далее было:* уходил

[15] *Далее было:* стояли⟨?⟩

[16] *Было:* протягивали (*незач. вар.*)

[17] *Далее было начато:* гр⟨убые?⟩

бессильно клонилась на грудь и тело невольно искало простора для сна, но лечь было негде. По дорожкам ходил[18] ярко-синий сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейке или на порыжевшей, но такой мягкой, такой прохладной траве. Женщины, всегда одетые более чисто,[19] с узенькими глазами, широкими скулами и хриплым голосом, обнимали мужчин так просто, как будто были одни, иногда кричали на них, иногда тут же пили водку и закусывали. Иногда пьяный мужчина бил такую ж пьяную женщину, она падала, поднималась и снова падала; но никто не вступался за нее. Лица делались оживленнее, зубы оскалялись и все собирались около дерущихся, но когда приближался сторож, все расходились по местам, и оставалась ⟨*л. 45*⟩ только побитая женщина, плакала и ругалась, и растрепанные ее волосы трепались по песку, а полуобнаженное тело, грязное и желтое при дневном свете, цинично и жалко[20] выставлялось наружу. Ее усаживали на дно извозчичьей пролетки, и свесившаяся голова ее болталась, как у мертвой.

Колька знал по именам многих женщин и мужчин и рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля белые, но уже начавшие портиться от табаку зубы. А Петька удивлялся тому, как он много знает и что[21] когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место.

Дни тянулись удивительно однообразно и похоже друг на друга. И зимою, и летом он видел все те же зеркала, одно[22] из которых было кривое и потешное. На стенке⟨?⟩ были одни и те же картины, изображавшие море и корабль, и посетители были все те же. Зимою и летом не умолкал крик "мальчик, воды", и он подавал ее. Праздников не было. Петька много ел и спал, но ему почему-то все хотелось спать и часто казалось, что все окружающее не правда, ⟨*л. 46*⟩ а длинный и страшный сон. Он часто разливал воду или не слыхал крика "мальчик, воды" и все худел, хотя ел много, и на стриженой[23] голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с брезгливостью смотрели на этого худенького веснушчатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрыт и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоне⟨нь⟩кие, точно проведенные иглой, морщинки, и дела-

---

[18] *Далее было:* весь⟨?⟩
[19] *Далее было:* но⟨?⟩
[20] и жалко *вписано.*
[21] что *вписано.*
[22] *Далее было начато:* посетит⟨елей?⟩
[23] стриженой *вписано.*

ли его маленькое лицо похожим на старого карлика. Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он ничего не мог сказать, где оно и какое оно. Когда его навещала мать, кухарка, он не жаловался, но просил взять его и лениво ел принесенные сласти. Но затем он забывал о своей просьбе и равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она[24] придет снова.

Так прошло почти три года, но Петька думал, что он всегда жил так.

И вот однажды приехала мать, поговорила о чем-то с О⟨сипом⟩ А⟨брамовичем⟩ и сказала Петьке, что его отпускают на две недели и он едет с матерью на дачи, в Царицыно. ⟨*л. 47*⟩ П⟨етька⟩ сперва не понял, потом рассмеялся, и лицо покрылось тонкими морщинками, и стал торопить мать. Он не знал, что такое дача, но думал, что это то другое место, куда он всегда хотел.

Вокзал с его торопливою суматохою, грохотом проходящих[25] поездов, свистками, то густыми, как голос О⟨сипа⟩ А⟨брамовича⟩, то тонкими, как голос его жены,[26] торопливыми пассажирами, все идущими и идущими в вагоны, точно им не было конца,[27] никогда раньше не был виден Петькою и ошеломил его. Возвратившись к привычкам раннего детства, этот мальчик[28], худенький,[29] довольно высокий для своих лет, в серой гимназической куртке с чужого плеча держался за подол матери, а когда они[30] сели в вагон, он высунулся в окно и так и оставался до самого Царицыно. За городом, в поле, он был первый раз в жизни и все было поразительно ново и странно: и то, что можно смотреть так далеко, что лес кажется травкою. Небо[31] в этом новом мире было удивительно широким, он видел его в свое окно, а когда оборачивался к матери, это же небо виднелось в противуположное окно. Петька точно налился ртутью и вертелся то у своего окна, то перебегал на другую сторону, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плеча и колена незнакомых пассажиров. Какой-то господин, читавший газету и все время ⟨*л. 48*⟩ зевавший, то ли от

---

[24] *Далее было:* возьмет
[25] проходящих *вписано.*
[26] *Текст:* то густыми ~ его жены, – *вписан на л. 46 об.*
[27] точно им не было конца, *вписано.*
[28] мальчик *вписано.*
[29] *Далее было:* но
[30] *Далее было начато:* вош⟨ли⟩
[31] *Далее было начато:* бы⟨ло⟩

чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно посмотрел на Петьку, и Надежда поспешила извиниться:

– Первый раз по чугунке едет, любопытствует.

– Угу, – пробурчал господин и уставился в газету. Надежде[32] хотелось рассказать этому господину, какой был П⟨етька⟩ раньше толстый и красный, но у господина лицо было такое злое, что она только про себя вспомнила и поговорила об этом.

Направо от пути раскинулась кочковатая ярко-зеленая от постоянной сырости[33] равнина и отдаленные постройки казались серенькими и игрушечными, а на высоком зеленом берегу стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд с звонким лязгом металлических частей[34] взлетел на мост[35] и точно повис в воздухе над зеркальной водой, Петька даже охнул от испуга и неожиданности и отскочил от окна, но сейчас же вернулся к нему и проводил взглядом убегающую назад реку. Лицо его стало красным от жары и волнения, и в глазах уже не было сонливости. Как будто кто провел горячим утюгом по его лицу и разгладил морщинки и сделал его красным и блестящим.

Дача Надеждиных господ стояла в лесу и на ней даже в ⟨*л. 49*⟩ самые жаркие дни, когда камни раскалялись, как в печке, воздух был всегда синеватый и прохладный. Первый день Петька вертелся в кухне, около печки, пока Надежда не прогнала и он пошел в лес. Для этого нужно было только перейти дорогу да перепрыгнуть неглубокую[36] канавку. В лесу было уже совсем прохладно и не нужно было щурить глаза, как в городе, где[37] лучи отражались от мостовой и стен и ослепляли. В городе трудно было ходить и хотелось все[38] лежать, а здесь Петька побежал, и так скоро, что мог перегнать конку. Но он не знал о существовании пней и сучьев и через десять шагов растянулся, но подниматься не стал. Земля и трава, когда на них смотреть очень близко, были очень интересны. Ползали по стеблям какие-то букашки, сухие листья и сучья образовывали густую чащу, и вообще внизу был такой же веселый и густой лес, как и наверху. Потом Петька побегал еще, но очень скоро устал и, когда вышел на берег пруда, лег на густую сыроватую траву и почти утонул в ней. Только его маленький веснушчатый носик поднимался над нею.

---

[32] *В рукописи описка:* Пелагее

[33] от постоянной сырости *вписано.*

[34] *Далее было:* вскочил

[35] *Далее было:* , и глубоко внизу

[36] неглубокую *вписано.*

[37] *Далее было:* ослепляли яркие

[38] все *вписано.*

На синем небе не было ни облачка, и оно[39] сверкало, как неведомый драгоценный камень, и резало глаза, привыкшие к мягкой тени леса. Вода так же голубела и сверкала на солнце, и по ней около берега быстро скользили какие-то длинные ⟨*л. 50*⟩ паучки и смешно сталкивались друг с другом.

На четвертый день Петька почувствовал себя на даче как дома и[40] совсем забыл о городе и О⟨сипе⟩ А⟨брамовиче⟩. Было два происшествия, и одно из них очень неприятное. Когда Петька подошел раз к самому берегу, на него бросилось[41] из воды маленькое, но страшное животное, и Петька насилу убежал от него. Мать сказала, что это лягушка и что она не кусается, но, видимо, она плохо была знакома с этим животным, и Петька не поверил ей. Затем он познакомился с гимназистом, который ловил рыбу, и очень скоро сошелся с ним. Гимназист дал Петьке подержать удочку и потом водил его куда-то далеко купаться.[42] Петька очень боялся идти в воду, но когда вошел, не хотел выходить из нее и делал вид, что плавает: опускал голову под воду и бил по воде руками, поднимая брызги. Когда он оделся, то был синий от холода и, когда смеялся[43], стучал зубами.

– Смотри-ка! – растолстел, как чистый купец, – смеялась Надежда[44], красная от кухонной жары, и приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел вовсе не много, но вовсе не потому, что не хотелось, а просто было некогда возиться: нужно было раз пять на день выкупаться[45], вырезать в лесу удочку и проч. Теперь Петька бегал босой, и это было в тысячу раз приятнее, ⟨*л. 51*⟩ чем в сапогах: шершавая земля так приятно то жжет, то холодит ногу. Спал только Петька очень плохо, ворочался[46] и бредил удочками, лягушками, так что мать пригрозилась больше не пускать его на пруд.

На шестой день Петькина пребывания на даче барин привез из города письмо, адресованное "кухарке Надежде", и когда

---

[39] *Далее было:* казалось глубоким

[40] *Далее было:* начал не бояться

[41] *Далее было:* лягушка

[42] *Напротив текста:* Затем он ~ далеко купаться. – *на л. 49 об. вписано позднее:* бродили в развалинах дворца, где было так тихо и страшно. Вечером Петька ходил по плотине и смотрел, как нарядные господа со смехом и веселыми криками садятся в лодку и та медленно рассекает зеркальную воду, и отражения деревьев колеблются, точно по ним пробежал ветер. (*ср.: ОТ, стк. 236–242; 260–264*)

[43] когда смеялся *вписано.*

[44] *В рукописи описка:* Настасья

[45] *Было начато:* ис⟨купаться⟩

[46] ворочался *вписано.*

прочел его адресату, адресат заплакал и размазал сажу по всему лицу, так как утирался кухонным[47] передником. Другой парикмахерский мальчик, Николка[48], заболел, и О⟨сип⟩ А⟨брамович⟩ немедленно требовал Петьку.

Это было уже ввечеру, Петька с двумя господскими девочками играл перед террасой в классики. Это было очень глупое, но интересное занятие, и Петька прыгал на одной ноге с самым серьезным видом и даже надувал щеки, потому что так было легче прыгать. Но он скоро уставал и, несмотря на свои старания, все проигрывал, а девочки звонко смеялись над ним и бегали к матери сообщить:

– Мама, мама – Петя опять проиграл.

Петька конфузливо улыбался, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ ему совестно было проигрывать таким маленьким девочкам, но он надеялся завтра выиграть. Сперва он пойдет удить рыбу с гимназистом – нельзя, обещал! – ⟨*л. 52*⟩ а потом попрыгает один, и держись тогда Оля и Шурка!

Петька сперва не понял, в чем дело, когда Надежда обняла его со слезами и сказала:

– Вот что, сынок, надобно ехать.

– Куда ехать? – удивился Петька. Про О⟨сипа⟩ А⟨брамовича⟩ он забыл, как будто того никогда и не существовало, а другое место[49], в которое ему всегда хотелось уйти, уже было найдено.

– К хозяину...

Петька побледнел и растерялся, но сейчас же успокоился.

– А как же завтра рыбу ловить?[50]

– Что ж поделаешь. Требует. Миколка заболел, в больницу свезли. Больше, грит, некому. Ты не плачь, может, опять когда-нибудь отпустит, он добрый.

Но Петька и не думал плакать. Чего[51] ж плакать, дело ясное: он не поедет и больше никаких. Смешно требовать, чтобы он поехал опять... туда. Для чего ж он удочки сделал? А может, мать и смеется: она в начале часто грозила хозяином, в шутку конечно.

Когда Петька[52] наконец понял, что никакой тут шутки нет, он проявил буйные наклонности, которых не подозревали за ним ни О⟨сип⟩ А⟨брамович⟩, ни мать. Он не просто плакал, как плачут

---

[47] кухонным *вписано.*
[48] *Было:* Кол⟨ь⟩ка
[49] *Вместо:* другое место – *было*: другого места
[50] *Далее было:* Я обещал Мите ⟨*нрзб.*⟩
[51] *Было начато:* Д⟨ело⟩
[52] *Далее было начато:* дейст⟨вительно⟩

⟨*л. 53*⟩ порядочные дети, но исступленно[53] ревел и даже катался по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Надежде пришлось даже слегка отшлепать его, и это в конце концов помогло. Петька успокоился и вечером не пошел даже смотреть, как катаются на лодке нарядно одетые господа.

На другой день, рано утром, Петька ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, еще серые от росы, но только убегали не в ту сторону, что раньше, а в противуположную. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький и скромный[54], и подержанная гимназическая курточка снова облекала его худенькое тело и жгла его. Глаза были сонливы, и тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот загудел последний свисток паровоза, вот они вышли[55] ⟨на⟩ шумную улицу, и большой[56] жадный[57] город равнодушно[58] проглотил свою маленькую жертву.[59]

– Ты удочку спрячь, – сказал Петька, когда мать довела его до парикмахерской.

– Спрячу, сынок, спрячу. Может, еще приедешь.

И снова в грязной и душной парикмахерской слышался отрывистый крик "мальчик, воды!" и посетитель[60] видел[61], как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределенно угрожающий шепот: вот погоди! А на бульваре под серой тенью серых деревьев[62] пели песни, и ссорились, и дрались пьяные женщины и ⟨*л. 54*⟩[63] мужчины.

7 июля[64]

Богатство и сила новых впечатлений, лившихся на Петьку и снизу, и сверху, смяли его маленькую и робкую душонку. В противуположность дикарям минувших лет, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот новый современный дикарь, вырванный

---

[53] исступленно *вписано.*

[54] *Далее было:* в своей

[55] *Далее было:* ... (*с абзаца*) И город проглотил свою маленькую жертву.

[56] большой *вписано.*

[57] *Было:* шумный (*вписано и зачеркнуто*)

[58] равнодушно *вписано.*

[59] *Текст:* Вот загудел ~ маленькую жертву. – *вписан на л. 52 об.*

[60] *Было:* посетителю

[61] *Было:* виделось

[62] под серой тенью серых деревьев *вписано.*

[63] *На л. 52 об. вписано позднее:* Мимо проезжал обоз, и голоса мальчиков тонули в его мощном громыхании. Равнодушный, большой город спал, но тревожен и нехорош был его сон. (*ср.: ОТ, стк. 199–229; финал рассказа*)

[64] *Следующий далее текст вписан позднее* (*ср.: ОТ, стк. 346–347*).

из объятий каменных громад города, чувствовал себя беспомощным и слабым перед лицом природы. И оживленный шум леса, темного, задумчивого и страшного в его мнимой бесконечности, и светлые зеленые поляны, веселые, точно поющие всеми своими яркими цветами, и такие[65] добрые; и беспредельный простор синего неба, сверкающего как неведомый драгоценный[66] камень, – все это волновало и пугало Петьку, заставляло его вздрагивать и бледнеть. Для него все это было живым, и мыслящим, и имеющим волю. Леса он боялся, полянки любил и хотел бы приласкать их, а небо звало его к себе и смеялось, как мать. В глубину чащи П⟨етька⟩ так и не решился заглянуть, а бродил больше по опушке и по лесистому берегу пруда. Тут он, утомленный, разваливался на густой сыроватой траве и почти утопал в ней. Только его маленький веснушчатый носик поднимался над ее зеленою поверхностью. В эти первые дни ⟨*л. 55*⟩ П⟨етька⟩ часто возвращался домой к матери, терся около нее, и когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче, конфузливо[67] улыбался и отвечал:

– Хорошо.

И он снова шел к грозному лесу и тихой воде и словно допрашивал их о чем-то.

Но прошло еще три дня, и П⟨етька⟩ вступил в полное соглашение с природой. Это[68] произошло при содействии гимназиста Мити из "Старого Царицына". У этого Мити лицо было смугло-желтое, как вагон второго класса, а волосы на макушке стояли торчком и совсем побелели – так выжгло их солнце[69]. Он ловил в пруде рыбу, когда П⟨етька⟩ увидел его, и бесцеремонно вступил с ним в беседу и сошелся с ним так скоро, что это было просто удивительно. Он дал Петьке подержать удочку и потом повел его куда-то далеко купаться.

Варианты прижизненных изданий (ЖДВ, Зн, Пр)

18 Михайла / Михайло (*ЖДВ, Зн, Пр*)
33 глазками / глазами (*ЖДВ, Зн, Пр*)
60 Михайла / Михайло (*ЖДВ, Зн, Пр*)
85 или молоденькие / или совсем молоденькие (*ЖДВ, Зн, Пр*)

---

65 такие *вписано.*
66 драгоценный *вписано.*
67 конфузливо *вписано.*
68 *В рукописи:* Этому (*незач. вар.*); *далее было начато:* содейст⟨вовало⟩
69 *Вместо:* совсем побелели – так выжгло их солнце – *было:* желтели, как созревающая рожь (*незач. вар.*)

87–88 одни, иногда / одни (*ЖДВ, Зн*)
121 а длинный / а один длинный (*ЖДВ, Зн*)
126 рот полуоткрытый / рот полуоткрыт (*ЖДВ, Зн*)
138 таким образом / таким манером, (*ЖДВ*)
195 сонными / сонливыми (*ЖДВ*)
199 Петькина пребывания / Петькиного пребывания (*ЖДВ, Зн, Пр*)
201 В противоположность / в противуположность (*ЖДВ, Зн*)
269 речь идет / речь в письме идет (*ЖДВ, Зн, Пр*)
297 высохнуть, превратилась в призрак. / подсохнуть, только обмотанная серой от воды ниткой, превратилась в призрак. (*ЖДВ*)
313 в сад Дипмана; / в сад Динмана (*ЖДВ*) / в сад Дигмана (*Зн, Пр*)
318 в противоположную / в противуположную (*ЖДВ, Зн*)
319 из-за ворота / и из-за ворота (*ЖДВ*)

ДРУГ

(С. 171)

ЧА1

⟨*л. 80*⟩ СОБАКА

Когда позднею ночью он звонил у своих дверей, первым звуком после колокольчика[1] был звонкий собачий лай, в котором слышалось и боязнь чужого, и радость, что это идет свой. Потом слышалось шлепанье калош и[2] скрип крючка.

Он входил и раздевался в темноте, чувствуя недалеко от себя молчаливую женскую фигуру. А колена его ласково царапали когти собаки, и горячий язык лизал застывшую руку.

– Ну что? – спрашивал резкий, заспанный голос тоном официального участия.

– Ничего. Устал, – отвечал он и шел в свою комнату. За ним, стуча ногтями по полу, шла собака[3] и вспрыгивала на кровать. Когда свет зажженной лампы наполнял комнату,[4] взгляд[5] Степана Гаврилыча встречал упорный взгляд черных глаз собаки. Они говори⟨ли⟩: “приди же, приласкай меня”. И чтобы сделать это желание более понятным, собака вытягивала передние лапы, клала на них боком голову, а зад ее потешно поднимался и хвост вертелся, как ручка у шарманки.

– Друг ты мой единственный! – говорил Степан Гаврилович и гладил черную блестящую шерсть. Точно от полноты чувства собака перекидывалась ⟨*л. 81*⟩ на спину и[6] слегка ворчала, радостная и возбужденная. А он вздыхал, гладил ее и думал, что нет на свете никого больше, кто бы любил его.

Если С⟨тепан⟩ Г⟨аврилович⟩ возвращался рано и не уставал от работы[7], он садился писать, и тогда собака укладывалась комочком где-нибудь возле него на стуле и изредка открывала один глаз и виляла спросонья хвостом. И когда, возбужденный процес-

---

[1] *Было:* звонка
[2] *Далее было:* щелканье
[3] *Далее было:* . Когда
[4] *Далее было:* собака
[5] *Далее было начато:* А⟨?⟩
[6] *Далее было:* легко
[7] *Далее было:* – он был театральным репортером,

сом творчества, измученный муками своих героев, задыхающийся от наплыва мыслей и образов, он ходил по комнате и курил папиросу за папиросой, она следила за ним беспокойным взглядом и сильнее виляла хвостом.

– Будем мы с тобой знамениты, Моисей Моисевич? – спрашивал он собаку, и та утвердительно махала хвостом.

– Тогда будем печенку есть, а? Ладно?

– Ладно, – отвечала собака и сладко потягивалась: она любила печенку.

У Степана Гавриловича часто собирались гости. Тогда его тетка, с[8] которой он жил, добывала у соседа[9] посуды, поила чаем, ставя самовар за самоваром, и ходила покупать водку и колбасу. В накуренной комнате звучали громкие голоса. Спорили, смеялись, говорили смешные и острые вещи, завидовали друг другу и советовали С[10]⟨тепану⟩ Г⟨авриловичу⟩ бросить литературу, заняться другим выгодным делом[11]. Одни говорили, что нужно ему ⟨*л. 82*⟩ лечиться, другие, чокаясь с ним, говорили о вреде водки для его здоровья. Он такой больной, постоянно нервничающий. Оттого у него и припадки тоски, оттого он и ищет чего-то невозможного. Все говорили с ним на "ты", и в голосе их звучало участье, и они дружески звали его с собою ехать дальше продолжать попойку. И когда он, веселый, кричащий больше всех, уезжал, его провожали две пары глаз: серые глаза тетки, сердитые, упрекающие, и беспокойные глаза собаки.

Он не помнил, что он делал, когда пил и когда[12] возвращался[13] домой,[14] выпачканный в грязи и мелу. Говорили ему, что он незаслуженно оскорблял товарищей и[15] тетку и заставлял ее плакать, мучил собаку за то, что она не идет ласкаться к нему, и когда она, испуганная и дрожащая, скалила зубы, бил ее ремнем. На другое утро он просыпался больной и страдающий. Сердце неровно колотилось в груди и замирало, наполняя его страхом близкой смерти, руки дрожали. За стеной стучала в кухне тетка, и звук ее шагов разносился по пустой квартире. Она не заговаривала с С⟨тепаном⟩ Г⟨авриловичем⟩ и молча подавала ему воду, суровая, непрощающая. И он молчал, смотрел в потолок, в одно

---

[8] *Было:* у

[9] *Было:* гостей

[10] *Было:* О.

[11] *Далее было:* , и лечиться

[12] когда пил и когда *вписано.*

[13] *В рукописи:* возвращаясь (*незаверш. правка*)

[14] *Далее было:* иногда ограбленный и

[15] товарищей и *вписано.*

давно им замеченное пятнышко, и думал, что он сжигает свою жизнь и никогда у него не будет ни славы, ни счастья. Он сознавал себя ничтожным, и слабым, и ⟨*л. 83*⟩ одиноким до ужаса. Не было в мире ни одного человека, который пришел бы к нему, разделил его муки, помыслы о славе и сознание ничтожества. Дрожащей рукой он[16] хватался за холодный лоб[17] и сжимал веки, но, как ни крепко он их сжимал, слеза вырывалась и скользила по щеке. А когда он опускал руку, она падала на другой лоб, шерстистый и гладкий, и сквозь затуманенные слезой глаза он видел черные ласковые[18] глаза собаки и слышал ее тихие вздохи. И он шептал, утешенный, тронутый:

– Друг мой единственный!..

Когда он выздоравливал, к нему приходили друзья и мягко упрекали его и давали советы и говорили о вреде водки. А те из друзей[19], кого он оскорбил пьяный, переставали кланяться с ним. Они понимали, что он не хотел им зла, но они не желали натыкаться на неприятности. Так протекали дни и ночи в борьбе с самим собою, неизвестностью и одиночеством. И часто в пустой квартире гулко[20] отдавались шаги тетки, и на кровати слышался шепот, похожий на вздох:

– Друг мой единственный!..

И наконец она пришла, эта неуловимая слава,[21] и[22] наполнила светом пустую квартиру. Шаги тетки тонули в топоте дружеских ног, и призрак одиночества исчез, и замолк ⟨*л. 84*⟩ тихий шепот. Окрыленный, бодрый, Степан Гаврилович купался в чувствах приязни и дружбы. Он уже не пил водки и не оскорблял ни тетки, ни друзей. Радовалась и собака. По-прежнему она лежала возле него, когда он писал, и, веселая, шаловливая, начинала играть, хватая его вещи и делая вид, что хочет убежать с[23] ними. И когда он догонял ее, она подпускала его на шаг и убегала, и черные[24] глаза ее искрились лукавством и весельем. Она умела и[25] смеяться.

– Что, брат, печенки хочешь?

---

[16] *Далее было начато:* бр⟨ался?⟩
[17] *Было:* рук⟨ой⟩
[18] ласковые *вписано.*
[19] из друзей *вписано.*
[20] гулко *вписано.*
[21] *Далее было:* и принесла с собою счастье,
[22] *Далее было начато:* обе
[23] *Было:* за
[24] черные *вписано.*
[25] и *вписано.*

– Хочу, – утвердительно[26] вилял хвостом М⟨оисей⟩ М⟨оисевич⟩[27].

– Ну погоди, куплю.

Но он забывал купить, потому что голова его была полна замыслами новых творений. Однажды он вспомнил о печенке: это было вечером и он проходил мимо мясной лавки, а под руку с ним шла красивая девушка, и локоть ее плотно прижимался к его локтю. Он[28] шутливо рассказал ей о своей собаке, хвалил ее ум и понятливость и добавил, что иногда он считал ее единственным своим другом и обещал купить печенки, когда будет счастлив.

– Художник! – смеясь, воскликнула девушка, – у вас даже камни заговорят. А я очень не люблю собак: от них так легко заразиться.

⟨*л. 85*⟩ Степ⟨ан⟩ Г⟨аврилович⟩ промолчал о том, что он иногда целовал блестящую черную морду, и плотнее прижал к себе локоть девушки.

Однажды утром М⟨оисей⟩ М⟨оисевич⟩ играл больше обыкновенного, и даже тетка улыбнулась на его резвость, а вечером, когда С⟨тепан⟩ Г⟨аврилович⟩ пришел домой,[29] не вышел его встречать, и тетка сказала, что собака больна. С⟨тепан⟩ Г⟨аврилович⟩ обеспокоился и пошел в кухню, где лежал М⟨оисей⟩ М⟨оисевич⟩. Нос его был сухой и горячий, и черные глаза помутнели. Он пошевелил хвостом и печально[30] посмотрел на С⟨тепана⟩ Г⟨авриловича⟩.

– Что, мальчик, болен? Бедный ты мой.

Хвост слабо шевельнулся.

– Ну лежи, лежи.

"Надо бы к ветеринару отвезти, а мне завтра некогда.[31] Да и денег сейчас нет. Ну да так пройдет", – думал С⟨тепан⟩ Г⟨аврилович⟩ и забыл о собаке и стал мечтать о том счастье, какое может дать ему красивая[32] девушка.[33] Весь следующий день его не было дома, а когда он вернулся, рука его долго шарила, ища звонок, а когда нашла, не знала, что с ним делать.

– Ах да, нужно позвонить, – засмеялся он и запел: – отворите!

Одиноко звякнул колокольчик, зашлепали калоши, и скрипнул[34] крючок. Напевая, ⟨*л. 86*⟩ С⟨тепан⟩ Г⟨аврилович⟩ про-

---

[26] утвердительно *вписано*.
[27] *Далее было:* и
[28] *Далее было начато:* в⟨?⟩
[29] *Далее было:* ему сказ⟨али?⟩
[30] печально *вписано*.
[31] *Далее было:* Ну
[32] красивая *вписано*.
[33] *Далее было начато:* Но след⟨ующий?⟩
[34] *Было:* дверь

шел в комнату, долго ходил, прежде чем догадался, что ему нужно зажечь лампу, потом разделся, но еще долго держал в руках снятое платье и смотрел на него так, как будто это была красивая девушка, которая сегодня сказала так явственно и сердечно: да, я люблю вас. И, улегшись, он долго еще видел ее улыбку, пока острою болью не кольнуло в счастливое сердце: а где же М⟨оисей⟩ М⟨оисевич⟩? Стало совестно, что он забыл больную собаку, но явилось успокоение: ведь не раз М⟨оисей⟩ бывал болен, и ничего же. А завтра можно пригласить ветеринара. Но не нужно во всяком случае думать о собаке и о своей неблагодарности – это уменьшает счастье и ничему не помогает.

С утра собаке стало худо. Ее мучила рвота, и, воспитанная в правилах приличия, она тяжело поднималась с подстилки и шатаясь шла на двор. Ее маленькое черное тело лоснилось и блестело, как всегда, но голова была бессильно опущена и посеревшие[35] глаза смотрели печально. Сперва С⟨тепан⟩ Г⟨аврилович⟩ сам вместе с теткой раскрывал рот с пожелтевшими деснами и вливал лекарство, но он не мог выносить вида ее мучений и вскоре оставил ее на попечение одной тетки. Когда же из-за стены доходил до него слабый, беспомощный стон, он закрывал уши руками и по привычке шептал: бедный мой мальчик.

Вечером он ушел. Когда перед тем он заглянул к больной собаке, тетка ⟨*л. 87*⟩ его стояла на коленях и гладила рукой черную шелковистую голову собаки. Вытянув ноги, как палки, она лежала тяжелой и неподвижной, и только наклонившись к самой ее морде, можно было услышать тихий стон. Глаза ее,[36] совсем посеревшие, устремились на вошедшего, и когда он осторожно провел по лбу, стон сделался явственнее и жалобнее. У С⟨тепана⟩ Г⟨авриловича⟩ было доброе сердце, и ему невыносимо было видеть страдания животного. Поэтому он ушел и, выйдя на улицу, нанял извозчика, т⟨ак⟩ к⟨ак⟩ боялся опоздать на свидание с Евгенией Николаевной.

В эту весеннюю ночь так свеж и чист был воздух, так много было[37] звезд[38] на[39] темном небе. Они падали, оставляя огнистый след, и вспыхивали и голубым светом озаряли красивое женское лицо и отражались в темных глазах, с любовью смотревших на

---

[35] посеревшие *вписано.*
[36] *Далее было:* серые
[37] было *вписано.*
[38] *Было:* звездно
[39] *Было:* было

С⟨тепана⟩ Г⟨авриловича⟩. И он беззвучно целовал и глаза эти, и свежие, как воздух ночи, уста, и холодную щеку, и счастьем переполнялось его сердце. Он не был одинок.

Подъезжая к дому, С⟨тепан⟩ Г⟨аврилович⟩ вспомнил о собаке, и грудь его заныла от темного предчувствия. Когда тетка отворила дверь, он спросил:

– Ну, как М⟨оисей⟩ М⟨оисевич⟩?

– Околел. Через час после твоего ухода.

Околевшую собаку уже вынесли и выбросили куда-то. Но С⟨тепан⟩ Г⟨аврилович⟩ и не хотел видеть трупа: это было бы невыносимое зрелище для его доброго сердца. ⟨*л. 88*⟩ Он ушел спать.[40] Когда в квартире умолкли все звуки, он заплакал, сдерживая себя. Безмолвно[41] кривились его губы, и слезы набухали под закрытыми веками и быстро скатывались на грудь. Ему было стыдно, что он целовал женщину в тот миг, когда здесь, на полу, умирал тот, кто был его другом. И он боялся, что подумает тетка, узнав, что он плачет о собаке.

С тех пор прошло много времени. Слава ушла от С⟨тепана⟩ Г⟨авриловича⟩ так же, как и пришла – загадочная и жестокая.[42] Он обманул надежды, которые возлагали на него, и все были злы за этот обман и выместили его злобными речами и насмешками. Женщина изменила ему. И часто, чаще, чем прежде, гулко раздавались в пустой комнате шаги тетки, а он лежал на своей кровати, смотрел на[43] знакомое пятнышко на потолке и шептал:

– Друг, друг мой единственный...

И бессильно падала на пустое место дрожащая рука.

28 июля

Варианты чернового автографа (ЧА2) и прижизненных изданий (К, Зн, Пр)

2 Когда поздней ночью / Когда, позднею ночью, (*ЧА2*)
4 слышались /слышалась (*ЧА2, Пр*)
5 доносилось / доносились (*ЧА2*)
5 и скрип снимаемого крючка / и скрип крючка ◊ (*ЧА2*)

---

40 Он ушел спать. *вписано.*
41 *Было начато:* тоскли⟨во?⟩ – *далее было:* губы его к⟨ривились⟩
42 *Далее было:* Оказалось
43 *Далее было:* пустое

[29] возле него, изредка / , возле него, и изредка (*ЧА2*)
[30] взволнованный / возбужденный ◊ (*ЧА2*)
[31] своих героев / своих выдуманных героев ◊ (*ЧА2*)
[35] мы с тобой / мы с тобою (*ЧА2*)
[37] есть, ладно? / есть. Ладно? (*ЧА2*)
[38] “Ладно” / – Ладно (*ЧА2*)
[42] за самоваром, ходила / за самоваром и ходила ◊ (*ЧА2*)
[49] с ним / с ними (*Пр*)
[56] и черные, беспокойно ласковые / и беспокойно ласковые (*ЧА2*)
[58] когда к утру / когда, наконец, к утру (*ЧА2*)
[62] мучил собаку / мучал собаку (*ЧА2*)
[68–69] по пустой и холодной квартире / по квартире ◊ (*ЧА2*)
[76] и разделил его муки / и разделил бы его муки ◊ (*ЧА2*)
[82] слезой / слезою (*ЧА2*)
[87] упрекали его, давали / упрекали его и давали ◊ (*ЧА2*)
[90] неприятность / неприятности (*ЧА2*)
[90] Так, в борьбе / Так протекали ◊ (*ЧА2*)
[96] слава, пришла, / слава, (*Пр*)
[98–99] призрак одиночества исчез / исчез призрак одиночества ◊ (*ЧА2*)
[103] добрый / бодрый (*ЧА2*)
[107] когда он протягивал / когда он бр⟨ал?⟩ ◊ (*ЧА2*)
[108] и снова убегала / и убегала ◊ (*ЧА2*)
[112] на друга / на хозяина ◊ (*ЧА2*)
[113] заигравшуюся / запыхавшуюся (*ЧА2*)
[114] супу не любит / щей не любит ◊ (*ЧА2*)
[116] от уличной езды / от экипажей ◊ (*ЧА2*)
[121] – Ну, погоди / – Погоди (*Пр*)
[131–132] рассказал о своем обещании купить другу / добавил, что обещал купить своему другу ◊ (*ЧА2*)
[135] говорить; а я / говорить. А я (*ЧА2*)
[143] встревожился / об⟨еспокоился⟩ ◊ (*ЧА2*)
[151] думал / подумал (*ЧА2*)
[163] просто / явственно ◊ (*ЧА2*)
[164] живое / красивое ◊ (*ЧА2*)
[166] острой / острою (*ЧА2*)
[179] ему стало / ему было ◊ (*ЧА2*)
[183] заглянул в кухню / заглянул к больной собаке ◊ (*ЧА2*)
[184] на коленях / на коленах (*ЧА2*)
[185] голову / голову собаки ◊ (*ЧА2*)
[192] Суп есть / Щи есть ◊ (*ЧА2*)

192 пригрозила / пригрозилась (*ЧА2*)
194 шуткой / шуткою (*ЧА2*)
202–203 шептали о радости и жизни / шептали: радость моя, жизнь моя, жизнь ◊ (*ЧА2*)
207 – Ну, что Васюк? / – Ну, как Васюк? (*К*, *Зн*)
222 на этот обман / за этот обман (*ЧА2*, *К*, *Зн*)
225 Женщина покинула его / Женщина изменила ему ◊ (*ЧА2*)
225 считала себя обманутой / была обманутой ◊ (*ЧА2*)
229 в знакомое пятнышко / на знакомое пятнышко (*ЧА2*)

ВАЛЯ

(С. 177)

ЧА

⟨*л. 27*⟩ ВАЛЯ

Валя сидел и читал. Книга была очень большая, только наполовину меньше самого Вали, с крупными[1],[2] очень черными строками. Чтобы видеть первую сверху строку, Валя должен был протягивать стриженую голову чуть ли не через весь стол[3], становиться на стуле на колена и пухлым коротеньким пальцем придерживать буквы, которые очень легко терялись среди других очень похожих букв, и найти и⟨х⟩ потом стоило большого труда. Благодаря этим побочным обстоятельствам, чтение подвигалось медленно, несмотря на захватывающий интерес книги. В ней рассказывалось, как один очень сильный мальчик, которого звали Бова, схватывал других мальчиков за ноги и за руки, и они от этого отрывались. Это было и страшно, и смешно, и потому в пыхтении Вали, которым сопровождалось его путешествие по книге, слышалась нотка приятного страха и ожидания того, что дальше будет еще интереснее. Но Вале помешали читать: вошла мама с какою-то другою женщиною.

– Вот он! – сказала мама, глаза у которой были красными от недавних слез[4].

– Валечка, милый! – вскрикнула женщина и, обняв его голову, стала целовать лицо и глаза[5]. Валя, жмурясь, молча принимал эти поцелуи. Он был недоволен, что ему помешали читать, и ему не нравилась эта незнакомая женщина, высокая, с костлявыми руками. И пахло от нее[6] ⟨*л. 28*⟩ какою-то сыростью и гнилью, тогда как от мамы всегда пахло духами. Наконец женщина оставила Валю в покое и, пока он вытирал губы, пристально смотрела на него. Его коротенький нос, но уже с признаками будущей горбинки, и густые брови над черными

---

[1] *Было:* крутыми

[2] *Далее вписано:* которые (*видимо, начало незаверш. правки*)

[3] *Далее было:* и

[4] *Вместо:* красными от недавних слез – *было:* заплаканы (*незач. вар.*)

[5] *Вместо:* лицо и глаза – *было:* ее

[6] *Далее в рукописи:* очень (*незаверш. правка*)

задумчивыми глазами, и общий вид суровости[7] что-то напомнили ей, и она заплакала.

– Валечка, ты не знаешь меня?

– Нет.

– Я приходила к тебе. Два раза приходила. Помнишь?

Может быть, она и приходила, может быть, и два раза приходила, – но откуда Валя будет знать это[8]? И не все ли равно, приходила эта незнакомая женщина или нет? Она только мешает читать с своими вопросами.

– Я твоя мама, Валя, – сказала женщина.

Валя с удивлением оглянулся на свою маму, но ее в комнате уже не было.

– Разве две мамы бывает? – спросил он. – Какие ты глупости говоришь.

Женщина засмеялась, но этот смех не понравился Вале: видно было, что женщина не хочет смеяться и делает это так, нарочно. Некоторое время оба молчали.

– Какую ты книгу читаешь?

– Про[9] Бову-Королевича, – ответил Валя с серьезным достоинством.

– Ах, это, должно быть, очень интересная книга. Расскажи мне, пожалуйста, – заискивающе улыбнулась женщина.

⟨*л. 29*⟩ Вале опять не понравилась эта улыбка – чему она улыбается? – и заискивающий тон, но, желая быть вежливым, он начал рассказывать. Однако женщина совсем не слушала его. Валя видел ⟨это⟩ и рассказывал медленно и вяло.

– Ну прощай, мой голубчик, мой дорогой, – прервала его эта странная[10] женщина и стала снова целовать. – Скоро я опять приду. Ты будешь рад?

– Да, приходите, пожалуйста, – вежливо попросил Валя и, чтобы она скорее ушла, добавил:[11] – я буду очень рад.

Посетительница ушла, но только что Валя успел найти слово, на котором он остановился, как вошла мама, посмотрела на него и тоже стала плакать. Это становилось скучно.

– Послушай, – сказал Валя: – как надоела мне эта женщина. Она говорит, что она моя мама. Разве две мамы бывает?

– Нет, деточка, не бывает. Но она говорит правду: она твоя мама.

---

[7] и общий вид суровости *вписано.*

[8] *Было:* ее⟨?⟩

[9] Про *вписано.*

[10] эта странная *вписано.*

[11] *Далее было:* прощайте,

– А кто же ты?

– Я твоя тетя.

Это было неожиданное открытие, но Валя отнесся к нему совершенно спокойно: тетя так тетя, не все ли равно? Для него, как для взрослых, слово[12] не имело такого значения. Но бывшая мама, а теперь тетя думала иначе и начала объяснять, почему так вышло, что она была мамой, а стала тетей. Давно, давно, когда Валя был совсем маленький...

– Какой маленький? Такой? – Валя поднял руку на четверть аршина от стола.

⟨*л. 30*⟩ – Нет, меньше.

– Как киска? – спросил он с радостным изумлением, тараща глаза. Он намекал на беленького котенка, которого ему подарили.

– Да.

Валя счастливо засмеялся и с положительностью взрослого человека добавил: – какой я был смешной!

Так вот, когда он был маленький и смешной, как киска, его принесла эта женщина и отдала, как киску, навсегда. А теперь, когда он стал такой большой и умный, она хочет взять его себе.

– Ты хочешь к ней? – спросила бывшая мама и радостно засмеялась, когда Валя ответил решительно:

– Нет. Она мне не нравится, – и снова принялся за книгу.

Валя считал инцидент исчерпанным, но он ошибся. С этого самого дня, как его посетила эта странная женщина, бывшая его мамой, в доме началось что-то нехорошее. Тетя-мама часто плакала и спрашивала, хочет ли ⟨он⟩ к женщине; дядя-папа часто хмурился, ласкал Валю и, когда мамы не было в комнате, также[13] спрашивал, не хочет ли он к той женщине. Однажды, когда Валя уже лежал в своей кроватке, но еще не спал, дядя и тетя разговаривали о нем и о женщине. Дядя говорил сердитым басом, от которого дрожали хрустальные подвески в люстре.

– Ты, Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩, говоришь глупости. Мы не имеем права отдавать ребенка. Для него самого не имеем права. Она женщина темная, я не ⟨*л. 31*⟩ знаю, на какие она живет средства, с тех пор как ее бросил этот... ну знаешь. Мальчик погибнет у нее.

– Она его любит.

– А мы его не любим? Странно ты рассуждаешь, Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩, ты точно сама хочешь отделаться от ребенка...

– Как тебе не грешно, Коля.

---

[12] слово *вписано.*

[13] также *вписано.*

– Ну, ну, уж обиделась[14]. Нет, это черт знает что такое. Какая-нибудь кукушка, вроде этой госпожи, наплодит ребят и с легким сердцем подбрасывает его к вам. А потом – пожалуйте: давайте мне моего ребенка. Да что это, котенок, что ли? Да и к котенку привыкаешь. Любовник бросил, так ей ребенка теперь давайте! Нет, матушка, мы еще поспорим!

– Ты несправедлив к ней. Она такая[15] несчастная, больная.

– Ты, Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩, и святого из терпения выведешь, ей-богу. А ребенка, ребенка ты-то забываешь? Тебе все равно, сделают ли из него хорошего человека или прохвоста? А я тебе говорю, что не я буду, если она не сделает из него прохвоста, мерзавца, вора, как его папенька.

– Коля!

– Христом-богом прошу, не раздражай ты меня! И откуда у тебя эта дьявольская способность перечить? "Она такая одинокая" – а мы с тобою... не одиноки? Нет, ты просто не любишь Валю и хочешь от него отделаться.

Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩ заплакала, и муж попросил у нее прощения, заметив, ⟨*л. 32*⟩ ⟨что⟩ он старый дурак, на слова которого не следует обращать внимания. Постепенно Н[16]⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩ успокоилась и спросила:

– А что говорит Полонский?

Н⟨иколай⟩ К. снова рассердился.

– Ах, эти мне пустобрехи! Говорит: все будет зависеть от того, как суд посмотрит. Без него, умницы, не знали, что все зависит от того, как суд посмотрит. И чему этих ослов только учат, удивляюсь! Ему что, потявкал, потявкал, да и к стороне. А тут вот где это сидит, – Н⟨иколай⟩ К. ткнул себя в грудь.

– П⟨олонский⟩ человек хороший.

– Кто ж говорит, что плохой! И я говорю, что хороший. Только всех бы этих хороших да на одну осинку – жаль, никакая осина не выдержит.

Конца разговора Валя не слышал, так как Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩ затворила дверь из спальни, но заснул еще не скоро, стараясь понять, что это за женщина, которая хочет взять его[17] и погубить. На следующий день он с утра ожидал, когда тетя спросит его, хочет ли он ехать к маме, но тетя не спросила. Не спросил и дядя. Вместо того оба они смотрели на Валю так, точно он очень сильно болен и скоро должен умереть, ласкали его и привозили большие книги с раскрашенными рисунками. Женщина более не

---

[14] *Было:* разревелась
[15] *Было:* так
[16] *В рукописи:* А.
[17] *В рукописи:* ее

приходила, но Вале начало казаться, что она караулит его около дверей и, как только он[18] начнет переходить порог, схватит ⟨*л. 33*⟩ его[19] и унесет в какую-то черную, страшную даль, где кишат чудовища. По вечерам, когда Н⟨иколай⟩ К. занимался в кабинете, а Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩ читала, Валя также читал свои книги, в которых строки стали чаще и меньше. В комнате было тихо-тихо, только шелестели переворачив⟨аем⟩ые[20] листы да изредка доносился басистый кашель дяди. Лампа ярко освещала стол с пестрою бархатною скатертью, но углы комнаты[21] были полны тихого, таинственного мрака. Там стояли большие цветы с причудливыми листьями и корнями, вылезающими наружу, и чудилось, что между ними шевелится что-то большое и темное. Валя читал. Перед его расширенными глазами проходили страшные, красивые и печальные образы, вызывавшие жалость и[22] любовь, но чаще всего страх. Он любил бедную русалочку, которая так любила красивого[23] принца, что пожертвовала для него и сестрами, и глубоким, спокойным океаном, а он не знал про эту любовь, потому что русалочка была немая, и женился на другой веселой принцессе; и на корабле играла музыка, и окна его были освещены, когда русалочка бросилась в темные волны, чтобы умереть. Бедная русалочка, такая тихая, печальная и кроткая! Но чаще являлись перед ним злые, страшные люди-чудовища. Они летали на своих колючих крыльях в темную ночь куда-то, и воздух свистел над их головами, и глаза горели, как уголья. А потом их окружали другие такие же чудовища, и тут начиналось что-то таинственное, страшное. Острый, как нож, смех, продолжительные крики, кривые полеты, как у летучей мыши, страшная дикая пляска при колыхающемся, багровом свете факелов, и человеческая ⟨*л. 34*⟩ кровь, и мертвые, бледные головы с черными бородами. Все это были проявления одной таинственной и страшной силы, желающей погубить человека. Они наполняли воздух, прятались между цветами и шептали о чем-то и указывали пальцами на Валю; они выглядывали на него из дверей темной комнаты, хихикали и ждали, когда он ляжет спать, чтобы безмолвно реять над его головою; они[24] засматривали в[25] черные окна и жалобно плакали вместе с ветром. И все это злое, страшное принимало образ той женщины, которая приходила за Валей. Много людей приходило в дом

[18] *Далее было начато:* пере⟨йдет?⟩
[19] *Далее было начато:* у⟨несет⟩
[20] переворачив⟨аем⟩ые *вписано.*
[21] *Далее было начато:* стоя⟨ли?⟩
[22] *Далее было:* слезы
[23] красивого *вписано.*
[24] *Далее было:* в
[25] *Далее было начато:* тем⟨ные?⟩

Н⟨иколая⟩ К. и уходило, и Валя не помнил их лиц, но это лицо жило в его памяти. Оно было такое длинное, худое, желтое, как у мертвой головы[26], и улыбалось хитрою, притворною улыбкою, от которой прорезывались две глубокие морщины по сторонам рта. Когда эта женщина возьмет Валю, он умрет.

– Слушай, – сказал однажды Валя своей тете, с обычной серьезною основательностью и прям⟨ым⟩ взглядом, прямо в глаза тому, с кем он говорил: – слушай, я тебя буду называть мамой, а не тетей. Ты говоришь глупости, что та женщина – мама. Ты мама, а она нет.

– Почему? – вспыхнула Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩, как девочка, которую похвалили. Но вместе с радостью в голосе ее слышался страх за Валю: он стал такой странный, боязливый. Боялся спать один, как прежде, по ночам вскрикивал.

– Так. Я не могу этого рассказать. Ты лучше спроси у папы. Он тоже папа, а не дядя, – задумчиво ответил мальчик.

⟨*л. 35*⟩ – Нет, Валечка, это правда: она твоя мама.

Валя подумал и ответил тоном Н⟨иколая⟩ К.:

– Удивляюсь, откуда у тебя эта способность перечить!

Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩ рассмеялась, но, ложась спать, долго говорила с мужем, который бурчал, как турецкий барабан, ругал пустобрехов и кукушек и потом вместе с женою ходил смотреть, как спит Валя. Они долго и молча всматривались в лицо спящего мальчика. Пламя свечи колыхалось в трясущейся руке Н⟨иколая⟩ К. и придавало страшную игру лицу спящего. Казалось, что из темных впадин под бровями на них смотрят черные упорные глаза, прямые и задумчивые, и требуют ответа[27], и губы кривятся в странную, ироническую усмешку.

– Валя! – испуганно шепнула Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩.

Мальчик вздохнул, но не пошевелился, точно скованный сном смерти.

– Валя! Валя! – к голосу Н⟨астасьи⟩ Ф⟨илипповны⟩ присоединился густой и дрожащий голос мужа.

Валя открыл глаза, моргнул от света и вскочил на колена, бледный и испуганный. Его маленькие худые ручонки обвились вокруг шеи Н⟨астасьи⟩ Ф⟨илипповны⟩, и он шептал, пряча голову:

– Боюсь, мама[28], боюсь, не уходи!

Это была плохая ночь. Когда Валя успокоился, с Н⟨иколаем⟩ К. сделался припадок[29] астмы. Он задыхался,[30] и толстая, белая грудь

---

[26] *В рукописи:* мертвая голова *(незаверш. правка)*

[27] *Далее было:* . Горбатый носик

[28] *Далее было начато:* ма⟨ма?⟩

[29] *Далее было:* удушья

[30] *Далее было:* его⟨?⟩

судорожно поднималась и опускалась под ледяными компрессами. Только к утру он успокоился[31], и Настасья Филипповна заснула с мыслью, что муж ее не переживет ⟨*л. 36*⟩ потери ребенка.

После семейного совета, на котором было решено, что Вале нужно меньше читать и больше видеться с другими детьми, к нему начали привозить детей. Но Валя[32] сразу не полюбил этих детей, глупых[33], шумных, крикливых, неприличных. Они ломали цветы, прыгали по стульям и дрались, а он, серьезный и задумчивый, смотрел на них с неприятным изумлением, шел к Н⟨астасье⟩ Ф⟨илипповне⟩ и говорил:

– Как они мне надоели. Я лучше посижу около тебя.

А по вечерам он снова читал, и когда Н⟨иколай⟩ К., ласково бунча об этой чертовщине, от которой не дают опомниться ребятам, пытался взять у него книгу, Валя молча прижимал ее к себе – и педагог ретировался и сердито упрекал жену:

– Это называется воспитание: нет, матушка, я вижу, тебе лучше с котятами возиться, чем ребят воспитывать. Не можешь даже книги от мальчишки взять.

Однажды, когда Валя сидел за завтраком с Н⟨астасьей⟩ Ф⟨илипповной⟩, в столовую влетел Н⟨иколай⟩ К. и[34] еще из дверей радостно[35] крича⟨л⟩:

– Отказал! Суд отказал!

Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩ побледнела и уронила ножик.

– Ты правду говоришь? – спросила она, задыхаясь.

Н⟨иколай⟩ К. сделал сердитое лицо, чтобы видно было, что он говорит правду, но сейчас же забыл о своем намерении и расплылся в широкой улыбке. Потом опять спохватился, что ему недостает солидности, с ⟨*л. 37*⟩ ⟨которой⟩ сообщают такие важные новости, нахмурился, подвинул[36] к столу стул, положил на него шляпу и, видя, что место занято, взял другой стул. Усевшись, он посмотрел на Н⟨астасью⟩ Ф⟨илипповну⟩, потом на Валю, не сводивших с него глаз, подморгнул Вале на жену, а жене подморгнул на Валю и только после этого необходимого введения заявил:

– Я всегда говорил, что Полонский умница, которого на козе не объедешь. Нет, Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩, не объедешь: шутки!

– Значит, верно?

---

[31] *Далее было:* Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩

[32] *Далее было:* не

[33] глупых *вписано.*

[34] *Далее было:* обняв жену

[35] радостно *вписано.*

[36] *Было:* подвинулся

– Ты всегда с сомнениями. Сказано: в иске Акимовой отказать. Ловко, брат? – обратился он к Вале.

– Эта женщина не возьмет меня?

– Дудки, брат. Ах, забыл: я тебе книг привез! – Н⟨иколай⟩ К. бросился в переднюю, но его остановил крик Н⟨астасьи⟩ Ф⟨илипповны⟩: Валя, бледный как бумага, валился со стула.

Начались счастливые дни. Валя не читал новых книг, и когда приезжали к нему дети, он уже не находил их такими глупыми и неприличными и летал впереди всех. Н⟨иколай⟩ К. иногда и сам принимал участие в этих играх, причем особенным успехом пользовался в роли слона. Валя бывал в этих случаях корнаком и преисправно стучал молоточком по розовой[37] лысине отца. Полонский пробовал намекать Н⟨иколаю⟩ К. о судебной палате, которая может не согласиться с решением суда, но[38] он не мог понять, как трое судей могут не согласиться с тем, что решили трое таких же судей, когда законы одни и там ⟨*л. 38*⟩, и здесь. Когда же П⟨олонский⟩ настаивал, Н⟨иколай⟩ К. начинал сердиться, и в качестве окончательного довода выдвигал самого же П⟨олонского⟩:

– Ведь вы же будете и в палате? Так о чем говорить, – не понимаю. Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩, хоть бы усовестила его!

Полонский улыбался, а Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩ серьезно выговаривала ему за его сомнения. Начали иногда говорить и о той женщине, и раз Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩ сказала мужу, что следует Валю свозить к ней, хоть изредка. Н⟨иколай⟩ К. раскричался, но потом попросил извинения и согласился, прося только отложить это до того времени, когда Валя совсем успокоится. Для Вали исчез ореол страха, которым была окружена эта женщина, и он стал думать о ней. Он слыхал частое повторение того, что она несчастна, и не мог понять почему, но это бледное лицо, врезавшееся в его память, становилось проще, естественнее и ближе. "Бедная женщина", как ее называли, стала интересовать его, и он, вспоминая о других бедных женщинах, о которых ему доводилось читать, испытывал чувство жалости и покровительства. Ему казалось, что она должна сидеть одна в какой-нибудь темной комнате, бояться и все плакать, все плакать, как плакала она тогда.

Оказалось, что трое судей могут не согласиться с тем, что решили трое таких же судей: судебная палата отменила решение суда, и ребенок был присужден его матери по крови. Сенат оставил кассационную жалобу без последствий.

Когда эта женщина пришла, чтобы взять Валю, Н⟨иколая⟩ К. не было дома: ⟨*л. 39*⟩ он был у Полонского и лежал в его

---

[37] розовой *вписано.*

[38] *Далее было начато:* Н⟨иколай⟩ К.

спальне, зарывшись лицом в подушки, и только розовая лысина его виднелась из белого моря. Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩ не вышла из своей комнаты, и горничная вывела оттуда Валю уже одетого. На нем было меховое пальтецо и высокие калоши, в которых он с трудом передвигал ноги. Из-под барашковой шапочки выглядывало бледное лицо с прямым и серьезным взглядом. Под мышкой он держал книгу, в которой рассказывалось о бедной русалочке.

Высокая костлявая женщина прижала его лицо к драповому подержанному пальто и всхлипнула:

– Как ты вырос, Валечка! Не узнаешь, – пробовала она шутить, но Валя молча поправил сбившуюся шапочку и, вопреки своему обычаю, смотрел не в глаза той, которая отныне становилась его мамою, а в ее рот. Он был большой, но с красивыми мелкими зубами; две морщинки по сторонам оставались на своем месте, где их видел Валя и раньше.

– Ты не сердишься на меня? – спросила мама, но Валя, не отвечая на вопрос, сказал:

– Ну, пойдем.

– Валечка! – донесся отчаянный крик из комнаты Н⟨астасьи⟩ Ф⟨илипповны⟩, и она показалась на пороге с глазами, опухшими от слез, и, всплеснув руками, бросилась к мальчику, стала на колени и, положив голову на его плечо, замерла.

– Пойдем, Валя, – сурово сказала[39] высокая женщина, беря его за ⟨***л. 40***⟩ руку. – Нам не место среди людей, которые подвергли твою мать такой пытке, такой пытке.[40]

В ее сухом голосе звучала ненависть, и ей хотелось ударить ногой стоявшую на коленях женщину.

– У, бессердечные! Рады отнять последнего ребенка, – прошептала она и рванула Валю за руку: – идем! Не будь как твой отец, который бросил меня.

– Бе-ре-гите его, – сказала Н⟨астасья⟩ Ф⟨илипповна⟩ и, махнув рукою, ушла.[41]

---

[39] *Далее было:* мать

[40] *Далее было* (*с абзаца*)*:* Она ⟨*нрзб.*⟩

[41] На *л. 39 об. вписано позднее:* Извозчичьи сани прыгали на ухабах и [у⟨возили⟩] бесшумно увозили Валю в темную даль, куда двумя светящимися линиями уходили фонари [казавшиеся]. Они казались такими близкими, точно бусы на одной нитке, но по мере того, как подъезжали к ним, раздвигавшие⟨ся⟩ на большие темные промежутки, а сзади смыкались в такую же непрерывную линию. С каждым шагом лошади все дальше уходил от Вали дом с цветами, книгами и темным окном в сад и терялся в массе других таких же домов, похожих друг на друга, как буквы в книге. (ср. *ОТ, стк. 406–411*)

Всю дорогу до дома они ехали молча. У Вали замерзла рука, в которой он держал книгу, но он не хотел просить мать, чтобы она взяла ее. В маленьком номере, куда привезли Валю, было грязно и жарко. В углу, против большой кровати, стояла под пологом маленькая кроватка, такая, в каких Валя давно уже не спал.

– Замерз? Ну погоди, будем сейчас чай пить! Ишь руки-то какие красные! Вот ты и с мамой. Ты рад? – спрашивала мать, все с тою же насильственною, нехорошею улыбкой человека, которого всю жизнь[42] принуждали смеяться под палочными ударами.

Валя, пугаясь своей прямоты, нерешительно ответил:

– Нет.

– Нет? А я тебе игрушек купила. Вот посмотри, на окне.

Валя подошел к окну и начал рассматривать игрушки: это были жалкие картонные лошади на прямых толстых ногах, петрушка в красном колпаке с раскрашенной, глупо ухмыляющейся физиономией ⟨*л. 41*⟩ и еще что-то. Валя давно уже не играл в игрушки и не любил их, но из вежливости не показал этого матери:

– Да, хорошие игрушки.

Но мать заметила взгляд, который он бросил на них, и сказала с тою же неприятною Вале заискивающей улыбкою:

– Я не знала, голубчик, что ты любишь. И я уже давно купила эти игрушки.

Валя молчал, не зная, что ответить.

– Ведь я одна, Валечка, одна во всем мире, мне не с кем посоветоваться.

Валя молчал. Внезапно лицо женщины растянулось, слезы быстро-быстро закапали одна за другой, и точно потеряв под собою землю, она[43] рухнула на кровать[44]. Из-под платья выставилась нога в большом[45] башмаке с порыжевшей резиной и большими ушками. Прижимая руку к груди, другой сжимая виски, женщина смотрела куда-то вдаль своими бледными, выцветшими глазами и шептала:

– Не любит. Не любит.

Валя решительно подошел к кровати и, положив свою[46] красную ручку на большую костлявую голову[47] матери, сказал с тою

---

[42] всю жизнь *вписано.*

[43] *Было:* женщина

[44] *Далее было:* и, сжимая руками виски, смотрела куда⟨-то⟩ бледными выцветшими глазами

[45] *Далее было начато:* гр⟨убом?⟩

[46] *Далее было:* маленькую

[47] голову *вписано.*

серьезною основательностью, которая отличала все речи этого молодого человека:

⟨*л. 42*⟩ – Не плачь, мама. Я буду очень любить тебя. В игрушки я уже не играю, но я буду очень любить тебя. Хочешь, я прочту тебе о бедной русалочке?

14 сентября ⟨18⟩99 г.

Варианты белового автографа с правкой (БАП) и прижизненных изданий (ЖДВ, Зн, Пр)

4 и картинками / и рисунками (*БАП*)
5 свою голову / стриженую голову ◊ (*БАП*)
17 ожидания, что / ожидания того, что ◊ (*БАП*)
18–19 другою женщиной / другою женщиною (*БАП*)
20–21 краснели от слез, видимо, недавних / краснели от недавних, видимо, слез ◊ (*БАП*)
25 не так ласкала / *а.* не целовала так *б.* ласкала не так ◊ (*БАП*)
25–26 у той поцелуи были мягкие, тающие, а эта / мягко и неслышно, а ◊ (*БАП*)
26–27 Валя, хмурясь / Валя, жмурясь (*БАП*)
27 колючие ласки / эти колючие ласки ◊ (*БАП*)
31–32 свежий запах духов / тонкий запах дорогих духов ◊ (*БАП*)
33 осмотрела его / внимательно осмотрела его ◊ (*БАП*)
35 будущей горбинки, густые / будущей горбинки и густые ◊ (*БАП*)
36 черными глазами / черными задумчивыми глазами ◊ (*БАП*)
39–40 как уже догоняла / как ее уже догоняла (*БАП, ЖДВ, Зн*)
48 со своими вопросами / с своими вопросами (*БАП, ЖДВ, Зн, Пр*)
54 не понравился Вале / был Вале неприятен ◊ (*БАП*)
62 очень интересно / очень интересная книга ◊ (*БАП*)
68 точно приготовилась / точно приготовляясь (*БАП*)
86–87 Разве бывает две мамы / Разве две мамы бывает (*ЖДВ, Зн*)
92 Это явилось / Это являлось (*БАП*)
101–102 полуоткрылся, брови / полуоткрылся и брови (*БАП*)
104 на блюдце / в блюдце (*БАП, ЖДВ, Зн*)
107 со снисходительностью / с снисходительностью (*БАП*)
112 хочет взять его / хочет его взять ◊ (*БАП*)
115 Нет, она мне / Нет. Она мне (*ЖДВ, Зн, Пр*)
116 но ошибся / но он ошибся (*БАП*)
122–123 и, когда мамы / и так же, когда мамы ◊ (*БАП*)

157–158 Тебе палача в мужья / Тебе в мужья палача ◊ (*БАП*)
167 и не знаем / и не знали (*БАП*)
171 слыхал / слышал (*ЖДВ, Зн, Пр*)
179 стало казаться / начало казаться (*БАП*)
188 с синим колпаком / с синим абажуром ◊ (*БАП*)
199 русалка / русалочка (*БАП, ЖДВ, Зн, Пр*)
203 перед Валей / перед ним ◊ (*БАП*)
207 творилось что-то / на⟨чиналось⟩ что-то ◊ (*БАП*)
210 при багровом свете / при кол⟨ыхающемся⟩ свете ◊ (*БАП*)
211 дыма; человеческая / дыма; и человеческая (*БАП*)
215 цветами, шептали / цветами и шептали (*БАП*)
236 за Валю. Он / за Валю: он (*БАП*)
237 боязливый; боялся / боязливый. Боялся (*БАП*)
240 решительно ответил / зад⟨умчиво⟩ ответил ◊ (*БАП*)
248–249 Григория Аристарховича / Василия Аристарховича ◊ (*БАП*)
249 придавало фантастическую / придавало странно-фантастическую ◊ (*БАП*)
250 лицу ребенка / Валиному лицу ◊ (*БАП*)
251 темных впадин / темных, больших впадин (*БАП, ЖДВ, Зн, Пр*)
252 черные глаза / черные и строгие глаза ◊ (*БАП*)
252 строгие, требуют / строгие, и требуют ◊ (*БАП*)
263 на колени / на колена (*БАП, ЖДВ, Зн*)
265 красной и полной / красной и толстой (*БАП*)
269 Валя заснул / Валя успокоился ◊ (*БАП*)
272 к утру он успокоился / к утру миновала опасность ◊ (*БАП*)
280 маленькие обезьянки / маленькие обезьяны ◊ (*БАП*)
285 бурча об этой / бунча об этой (*БАП*)
289 воспитание! Нет / воспитание: нет (*БАП*)
291 от мальчика / от мальчишки (*БАП*)
295 потно; еще / потно, и ◊ (*БАП*)
298 Брильянты в ушах Настасьи Филипповны засверкали / Настасья Ф⟨илипповна⟩ задрожала ◊ (*БАП*)
303 намерении, и лицо его покрылось целой сетью / намерении и покрылся целою сетью (*БАП*)
308–309 подмигнул Вале на жену и только / подмигнул Вале на жену, а жене подмигнул на Валю, и только (*БАП*)
309 торжественного / необходимого ◊ (*БАП*)
311 Талонский / Полонский ◊ (*БАП*)
328 в фантастические / в самые фантастические (*БАП, ЖДВ, Зн, Пр*)
332 приданного игре / приданного им игре (*БАП*)
333 для себя возможным / возможным для себя ◊ (*БАП*)
337 сидел у отца / сидел у него ◊ (*БАП*)

338 по его розовой лысине / по розовой лысине отца ◊ (*БАП*)
341 Талонский / Полонский ◊ (*БАП*)
343 судей могут / судей не могут ◊ (*БАП*)
345 Григорий Аристархович / Василий Аристархович ◊ (*БАП*)
347 Талонского / Полонского ◊ (*БАП*)
349 хотя бы / хоть бы (*БАП*)
351 Говорили иногда / Начали иногда говорить (*БАП*)
355 словно мгла / как мглой ◊ (*БАП*)
363 должна сидеть / должна плакать ◊ (*БАП*)
368 палата / судебная палата ◊ (*БАП*)
372 дома; он / дома: он (*БАП*)
386 а на ее рот / а в ее рот ◊ (*БАП*)
388 стали глубже / стали как будто глубже ◊ (*БАП*)
394 встала на колени / стала на колена (*БАП*)
407 с его чудными цветами / с его ц⟨ветами⟩ ◊ (*БАП*)
407–408 таинственным миром / мир⟨ом⟩ ◊ (*БАП*)
408 безбрежным и глубоким / безбрежным, как ◊ (*БАП*)
408 и темным окном / и от темного окна ◊ (*БАП*)
409 в стекла которого ласково / в стекла которого сад ◊ (*БАП*)
411 навсегда исчез / навсегда потерялся ◊ (*БАП*)
413 таких близких другу к другу, словно / таких близких, словно (*БАП*)
415 сзади сливаясь / а сзади сливаясь (*БАП*)
418 и высокая / и кост⟨лявая⟩ ◊ (*БАП*)
418 прижимавшая его / прижимающая его (*БАП, ЖДВ, Зн, Пр*)
422 комнате / комнатке (*БАП*)
425 Замерз! / Замерз? (*БАП*)
446 думала, что они / думала, они (*БАП*)
451 длинными / б⟨ольшими⟩ ◊ (*БАП*)
457–458 этого человека / этого молодого человека (*БАП*) / этого мальчика (*ЖДВ, Зн, Пр*)
460 играть мне не хочется / я уже не играю (*БАП*)

БОЛЬШОЙ ШЛЕМ

(С. 188)

ЧА

⟨*л. 37*⟩[1] БОЛЬШОЙ ШЛЕМ

Современная русская идиллия[2]

Посвящается А.М. В⟨елигор⟩ской[3]

Они играли в винт[4] три раза в неделю: во вторник, в четверг и в субботу; воскресенье было очень удобно для игры, но его пришлось отдать на долю всяким случайностям: приходу посторонних, театру. И поэтому воскресенье было самым скучным днем в неделе. Летом, впрочем на даче, они играли и в воскресенье. Играли они так: Николай Дмитриевич играл постоянно с Яковом Ивановичем, а Александр Василич с Евпраксией Васильевной. Такое распределение установилось давно, лет уже десять тому назад, и настояла на нем Евпраксия Васильевна. Дело в том, что[5] для нее и для брата Алек⟨сандра⟩ В⟨асилича⟩[6] не представляло никакого интереса играть отдельно, так как в этом случае[7] выигрыш одного был проигрышем для другого, и в окончательном результате они не выигрывали и не проигр⟨ыв⟩али. И хотя в денежном отношении игра была ничтожная и А⟨лександр⟩ В⟨асилич⟩ совсем и не гнался за выигрышем, так как и он, и сестра были люди обеспеченные, но Е⟨впраксия⟩ В[8]⟨асильевна⟩ не могла понять игры для игры и любила, когда выигрывала. Выигранные деньги она откладывала отдельно, и они казались ей гораздо важнее и дороже, чем те крупные[9] деньги, которые прихо-

---

[1] *В правом верхнем углу пометы*: 19 ноября ⟨18⟩99. Напечат⟨ано⟩ 14 дек⟨абря⟩ ⟨18⟩99

[2] *Вместо:* Современная русская – *было:* Русская

[3] *Было:* В⟨елигорск⟩ой

[4] *Далее было начато:* ка⟨ждый?⟩

[5] *Далее было:* ей невыго⟨дно⟩

[6] Алек⟨сандра⟩ В⟨асилича⟩ *вписано.*

[7] *Далее было начато:* прои⟨грыш⟩

[8] *В рукописи:* А⟨лександровна⟩.

[9] крупные *вписано.*

дилось ей платить за дорогую квартиру и отдавать на хозяйство. Брат ее был вдов – он потерял жену на второй год после свадьбы и целых два месяца после того провел в лечебнице для душевнобольных; Евпраксия Васильевна[10] была незамужняя, хотя когда-то имела роман с студентом[11]. Никто не знал, да и она, кажется, позабыла, почему ей не[12] пришлось выйти замуж за этого студента. Все четверо партнеров были в возрасте от 45 до 55 лет.

⟨*л. 38*⟩ Вначале, когда создалось такое распределение на пары, им особенно был недоволен старший из игроков, Николай Дмитриевич. Он возмущался, что ему постоянно придется иметь дело с Яковом Ивановичем и, другими словами, бросить мечту о большом бескозырном шлеме. И вообще, они совершенно не подходили друг к другу. Яков Иванович был маленький, сухонький старичок,[13] и зиму и лето ходивший в наваченном пиджаке и брюках, молчаливый и строгий. Являлся он всегда ровно в восемь часов, ни минутой раньше, ни позже, и сейчас же брал[14] мелок сухими пальцами, на одном из которых свободно ходил большой бриллиантовый перстень. Но что было самым ужасным для Н⟨иколая⟩ Д⟨митриевича⟩ в его партнере, это то, что он никогда не играл больше четырех, даже тогда, когда у него была на руках большая игра. Однажды случилось, что, как начал ходить Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩ с двойки, так и отходил до самого туза, взяв все[15] тринадцать взяток. Ник⟨олай⟩ Д⟨митриевич⟩ с гневом бросил свои карты на стол, а седенький старичок спокойно собрал их и записал за игру, сколько следует при четырех.

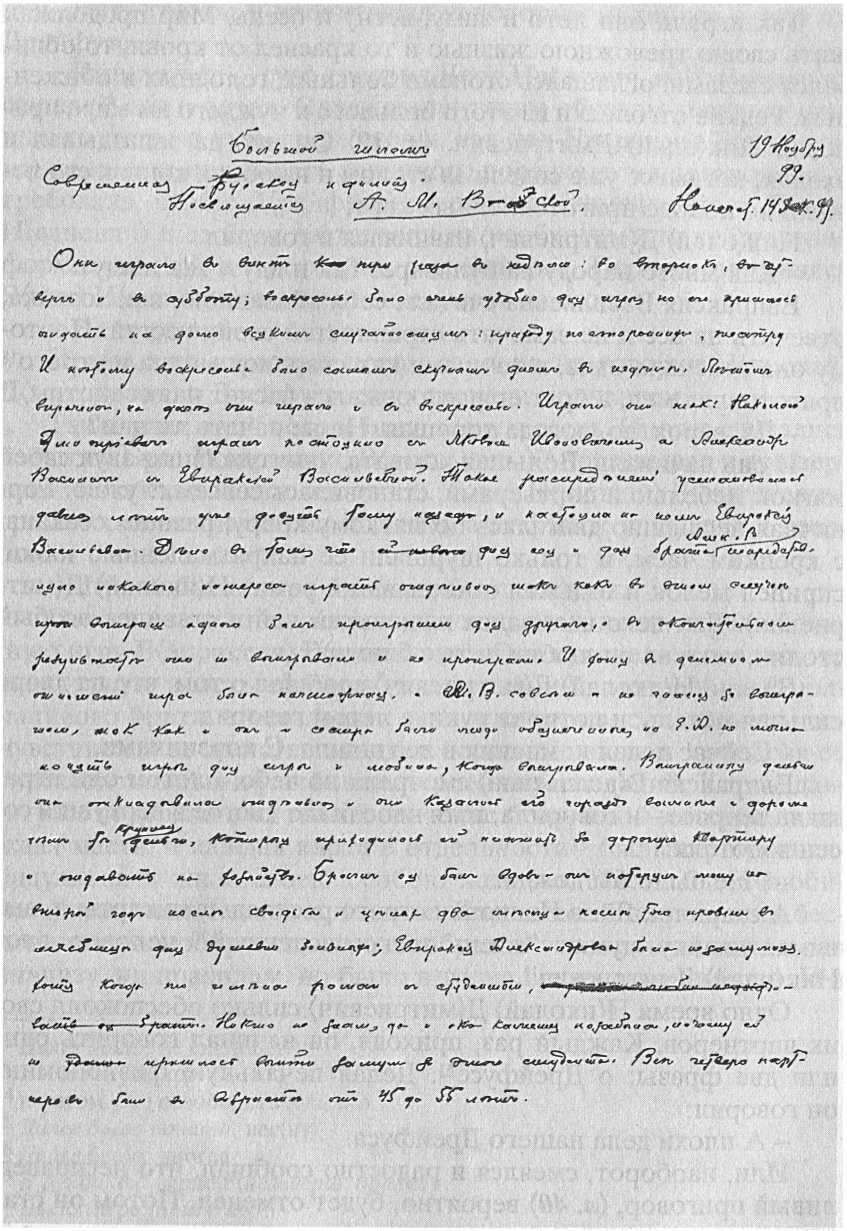
– Но почему ж вы не играли большого шлема? – вскрикнул Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩.

– Я никогда не играю больше четырех, – сухо ответил старичок и наставительно заметил: – Никогда нельзя знать, что может случиться.

Так и не мог его убедить Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩. Сам он всегда рисковал, и так как карта ему не шла, то постоянно проигрывал, но каждый раз думал, что ему удастся отыграться в следующий[16] день. Но постепенно они свыклись друг с другом и не мешали: Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ рисковал, а старичок спокойно записывал проигрыш и назначал четыре черви[17].

---

[10] *В рукописи:* Александровна
[11] *Далее было:* , над чем любил подшучивать ее брат
[12] *Далее было:* удалось
[13] *Далее было:* лето
[14] *В рукописи:* брался
[15] все *вписано.*
[16] *Далее было:* раз
[17] *Далее было:* : это была его любимая масть



"Большой шлем".
Автограф. Русский архив в Лидсе (Великобритания)

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Мир продолжал жить своею тревожною жизнью и то краснел от крови, то обливался слезами, оглашаясь стонами больных, голодных и обиженных. Редкие отголоски из этого больного и чуждого им мира приносил Ник⟨олай⟩ Дмитриевич. ⟨*л. 39*⟩ Он иногда запаздывал и входил, когда все уже сидели за столом и на обоих концах его лежало по колоде приготовленных карт.

Ник⟨олай⟩ Д⟨митриевич⟩ извинялся и говорил:

– Как много народу на бульваре. Так и идут, так и идут.

Евпраксия Васильевна считала себя обязанною, как хозяйка, отвечать на все и не замечать странностей своих гостей. Поэтому она отвечала одна, в то время как старичок молча и строго[18] приготовлял мел, а брат ее распоряжался насчет чаю.

– Да, вероятно, погода хорошая. Но не начать ли нам?

И они начинали. Большая комната, уничтожавшая звук своей мягкой мебелью и портьерами, становилась совсем глухою. Горничная неслышно двигалась по мягкому ковру, разнося стаканы с крепким чаем, и только шуршали ее накрахмаленные юбки, скрипел мелок и вздыхал поставивший ремиз Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩. Для него наливался жиденький чай и ставился особый столик, так как он любил пить с блюдца.

Зимою Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ сообщал о том, что на дворе сильная метель, и потирал руки, а летом говорил:

– Сейчас целая компания в лес пошла. С корзинками.

Евпраксия В⟨асильевна⟩ смотрела на небо – летом они играли на террасе – и говорила, хотя небо было чистое и верхушки сосен золотели:

– [19]Не было бы дождя.

А старичок Яков Иванович строго раскладывал карты и, вынимая двойку, думал: "очень легкомысленный[20] человек, этот Ник⟨олай⟩ Дмитриевич".

Одно время Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ сильно обеспокоил своих партнеров. Каждый раз, приходя, он начинал говорить одну или две фразы: о Дрейфусе[21]. Делая печальную физиономию, он говорил:

– А плохи дела нашего Дрейфуса.

Или, наоборот, смеялся и радостно сообщал, что несправедливый приговор, ⟨*л. 40*⟩ вероятно, будет отменен. Потом он стал

---

[18] молча и строго *вписано*.

[19] *Далее было:* Кажется

[20] *Далее было:* этот

[21] *Было начато:* д⟨еле⟩ – *далее было:* . И о⟨н?⟩

приносить газеты и прочитывал некоторые места все о том же Дрейфусе.

– Читали уже, – сухо говорил Яков Иванович, но[22] партнер не слушал[23] его и читал. Однажды он таким образом довел остальных до спора и чуть ли не ссоры, так как Евпраксия В⟨асильевна⟩ не хотела признавать законного порядка судопроизводства и требовала, чтобы Д⟨рейфуса⟩ освободили немедленно, а Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩ и ее брат настаивали на необходимости соблюдения формальностей и потом уже освободить[24]. Первым опомнился Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩ и сказал, показывая на стол:

– Не пора ли?

И они сели играть, и потом сколько ни говорил Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ о Дрейфусе, ему отвечали молчанием.

Так играли они[25] лето и зиму, весну и осень. Иногда случались события. Брат Е⟨впраксии⟩ В⟨асильевны⟩[26] прозевывал и при верных[27] пяти[28] оставался без одной. Тогда Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ громко смеялся и острил над ним, а старичок улыбался и говорил:

– Играли бы четыре – и были бы при своих.

Особенное волнение проявлялось у всех, когда играла большую игру Е⟨впраксия⟩ В⟨асильевна⟩. Она краснела, терялась, не зная, какую класть ей карту, и с мольбою[29] смотрела на[30] молчаливого брата, а остальные двое партнеров, с рыцарским сочувствием к ее женственности и беспомощности и[31] ободряя ее снисходительными улыбками, терпеливо ожидали[32]. Карты давно уже потеряли в их глазах значение бездушной материи, и каждая масть, и каждая карта в отдельности[33] была строго индивидуальна и жила своею особою жизнью. Масти были любимые, счастливые и несчастливые. Карты комбинировались бесконечно разнообразно, и разнообразие это не поддавалось ни анализу, ни правилам, но было в то же время закономерно. И в

---

[22] *Далее было:* не слы⟨шал?⟩

[23] *Было:* слушался

[24] и потом уже освободить *вписано.*

[25] *Далее было начато:* вес⟨ну⟩

[26] *Далее было:* иногда

[27] *В рукописи:* верной (*незаверш. правка*)

[28] *Было:* игре (*незач. вар.*)

[29] *Вместо:* с мольбою – *было:* беспомощно (*незач. вар.*)

[30] *Далее было начато:* бра⟨та⟩

[31] и *вписано.*

[32] *Вместо:* и ободряя ее снисходительными улыбками, терпеливо ожидали – *было:* терпеливо ожидали, ободряя ее снисходительными улыбками

[33] *Далее было:* жила своею

этой закономерности ⟨*л. 41*⟩ заключалась жизнь карт, особая от жизни игравших в них людей. Как будто карты имели свою волю, свои вкусы, симпатии и капризы. Черви особенно часто приходили к Якову Ивановичу, а у Евпраксии В⟨асильевны⟩ руки постоянно полны бывали пик, хотя она их очень не любила. Иногда карты капризничали, и тогда Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩ не знал, куда деваться от пик, а Е⟨впраксия⟩ В⟨асильевна⟩ радовалась червям, назначала большие игры и ремизилась. И тогда карты как будто смеялись. К Н⟨иколаю⟩ Д⟨митриевичу⟩ ходили одинаково все масти, и ни одна не оставалась надолго, и все карты имели такой вид, как постояльцы в гостинице, которые[34] приезжают и уезжают, равнодушные к тому месту, где им пришлось провести несколько дней. Иногда несколько вечеров подряд к нему ходили одни двойки и тройки, и тогда[35] казалось, что они насмехаются[36] над Ник⟨олаем⟩ Д⟨митриевичем⟩ и имели дерзкий и насмешливый вид. Ник⟨олай⟩ Д⟨митриевич⟩ был уверен, что он оттого не может сыграть большого шлема, что карты знают о его желании и нарочно не идут к нему, чтобы позлить[37]. И[38] он притворялся, что ему совершенно безразлично, какая игра у него будет, и старался подольше не раскрывать[39] прикупа. Очень редко приходилось ему таким образом обмануть карты; обыкновенно они догадывались, и когда он раскрывал прикуп, оттуда смеялись червонная ⟨и⟩ трефовая шестерки и улыбался[40] пиковый король, которого они затащили для компании. Меньше всех проникала в таинственную суть карт Е⟨впраксия⟩ В⟨асильевна⟩. Яков Иванович давно выработал строго философский взгляд, не удивлялся и не огорчался, имея верное оружие против[41] судьбы в своих четырех. Один Н⟨иколай⟩ Д[42]⟨митриевич⟩ никак не мог примириться с прихотливым характером карт, их насмешливостью и непостоянством. Ложась спать, о⟨н⟩ думал о том, как он сыграет большой шлем, и[43] это представлялось таким простым и возможным: вот приходит один туз, за ним король, потом опять туз. Но когда, полный надежды, он садился

---

[34] *Далее было:* равнодушно
[35] тогда *вписано.*
[36] *Было:* смеются
[37] *Далее было:* , и
[38] И *вписано.*
[39] *Далее было:* карт
[40] *Далее было начато:* буб⟨новый⟩
[41] *Далее было:* четырех
[42] *В рукописи:* А.
[43] *Далее было.* в это

⟨*л. 42*⟩ играть, проклятые шестерки опять скалили свои белые зубы. И в этом чувствовалось что-то роковое, фатальное.

Произошли и другие события, вне карточной игры. У Е⟨впраксии⟩ В⟨асильевны⟩ умер от старости большой белый кот. Затем Н⟨иколай⟩ Д[44]⟨митриевич⟩ исчез однажды на целых две недели, и его партнеры не знали, что думать и что делать, так как винт втроем был непривычен и скучен. Когда Н⟨иколай⟩ Д[45]⟨митриевич⟩ явился, розовые щеки, которые так резко отделя⟨ли⟩сь от седых волос, посерели, и весь он стал ниже[46] ростом. Он сообщил, что[47] его сын[48] [49]за что-то арестован и отправлен в Петербург. Все удивились, так как не знали, что у Н⟨иколая⟩ Д⟨митриевича⟩ есть сын; может быть, он и говорил когда-нибудь[50], но все позабыли об этом. Вскоре после того он еще один раз не явился, и все опять с удивлением узнали, что у него[51] давно уже существует грудная жаба и что в этот вечер у него был сильный припадок болезни. Но потом все опять установилось, и игра стала даже серьезнее и интереснее, так ⟨как⟩ Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ меньше говорил о постороннем. Только шуршали крахмальные юбки горничной да мягко шелестели атласные карты и жили своею таинственною и[52] молчаливою жизнью. К Н⟨иколаю⟩ Д⟨митриевичу⟩ они были по-прежнему равнодушны и иногда зло-насмешливы, и в этом чувствовалось что-то роковое, фатальное.

Но в четверг, 26 ноября, с картами случилось что-то странное. Как только началась игра, к Н⟨иколаю⟩ Д⟨митриевичу⟩ пришла большая коронка, и он сыграл, и даже не пять, как назначил, а маленький шлем, так как у Я⟨кова⟩ И⟨вановича⟩ оказался лишний туз, которого он не хотел показать. Потом опять на некоторое время появились шестерки, но скоро исчезли, и стали приходить все фигуры. Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ назначал игру за игрой, и все удивлялись, даже спокойный Яков Иванович, а он волновался, ⟨*л. 43*⟩ и его пухлые с ямочками пальцы потели и дрожали.

– Ну и везет вам сегодня, – мрачно сказал брат Е⟨впраксии⟩ В⟨асильевны⟩. Но[53] Е⟨впраксия⟩ В⟨асильевна⟩, которой было приятно, что наконец-то к Н⟨иколаю⟩ Д⟨митриевичу⟩ пришли хоро-

---

[44] *В рукописи:* А.
[45] *Было:* А.
[46] *Далее было:* и
[47] *Далее было:* за
[48] *В рукописи:* сына *(незаверш. правка)*
[49] *Далее было:* выслали за что
[50] *Далее было:* об этом
[51] *Далее было начато:* гр⟨удная⟩
[52] *Далее было начато:* за⟨гадочною?⟩
[53] *Далее было:* она

шие[54] карты, выразила неудовольствие и три раза плюнула в сторону, в предупреждение несчастья.

– Тьфу, тьфу, тьфу! Ничего особенного нету. Идет карта и идет.

Карты на минуту словно задумались в нерешимости, мелькнуло несколько шестерок – и снова с[55] усиленной быстротой стали являться тузы, короли и дамы. Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ не поспевал[56] собирать карты и назначать игру. И все игры удавались, хотя Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩ умалчивал о своих тузах:[57] удивление его сменилось недоверием ко внезапной перемене счастья, и он еще раз повторил неизменное решение не играть больше четырех. Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ сердился на него, краснел и задыхался. Он уже не обдумывал тщательно своих ходов и смело назначал высокую игру, уверенный[58], что в прикупе он найдет что нужно.

Когда после сдачи карт мрачным А⟨лександром⟩ В⟨асиличем⟩ он раскрыл свои карты, сердце его заколотилось и в глазах на секунду[59] потемнело: у него было на руках двенадцать взяток, и если он купит теперь одного туза, у него[60] большой бескозырный шлем.

– Три без козыря, – начал он, с трудом справляясь с голосом.

– [61]Три пики, – ответила Е⟨впраксия⟩ В⟨асильевна⟩, которая также начала волноваться.

– Четыре черви, – сухо отозвался Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩.

Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ сразу повысил игру на малый шлем. Но Е⟨впраксия⟩ В⟨асильевна⟩ не хотела уступать, хотя видела, что не сыграет, и назначила большой в пиках. Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ задумался на секунду и произнес решительно, но с страхом перед своею дерзостью:

⟨*л. 44*⟩ – Большой шлем в бескозырях!

Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ играет большой шлем в бескозырях! Все удивились, и даже брат хозяйки произнес:

– Ого!

Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ протянул руку за прикупом, но покачнулся и повалил свечку. Е⟨впраксия⟩ В⟨асильевна⟩ подхватила ее, а Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ секунду сидел неподвижно, положив карты на стол,[62] и потом медленно стал валиться со стула. Падая, он

---

[54] хорошие *вписано.*
[55] *Далее было начато:* увели⟨ченной⟩
[56] *Далее было начато:* назна⟨чать⟩
[57] *Далее было:* он
[58] *Было:* в надежде
[59] *Было:* минуту
[60] у него *вписано.*
[61] *Далее было начато:* Пи⟨ки?⟩
[62] положив карты на стол, *вписано.*

свалил столик, на котором стояло блюдечко с[63] налитым чаем, и придавил своим телом хрустнувшую[64] [65] ножку столика.

Когда приехал доктор, он нашел, что Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ умер от паралича сердца.[66] Покойника положили на диван в той же комнате, где играли, и[67] он, покрытый простынею, казался страшным и большим. Одна нога осталась непокрытой и торчала как-то внутрь носком, а на подошве оставалась прилипшая бумажка от тянучки.[68] Карточный стол еще не был убран, и на нем лежали беспорядочно разбросанные карты партнеров, и карты Н⟨иколая⟩ Д⟨митриевича⟩[69] лежали в порядке, колодкой, как он и⟨х?⟩ положил.

Яков Иванович мелкими шагами ходил по комнате, стараясь не глядеть на покойника. Пройдя несколько раз мимо стола, он остановился и осторожно взял карты Н⟨иколая⟩ Д⟨митриевича⟩, рассмотрел их и, сложив такою же кучкой, так же осторожно положил на место. Потом он посмотрел прикуп: там был пиковый туз, тот самый, которого не хватало Н⟨иколаю⟩ Д⟨митриевичу⟩ для большого шлема. Пройдясь еще несколько раз, Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩ вышел в соседнюю комнату, сел на кресло и заплакал, потому что ему было жалко покойного. Закрыв глаза,[70] он представлял себе лицо покойного и ту радость, какая бывала на нем, когда он выигрывал. Потом он вспомнил весь сегодняшний вечер и ⟨*л. 45*⟩ как шли к Н⟨иколаю⟩ Д⟨митриевичу⟩ хорошие карты, и подумал, что в этом есть что-то страшное. Возвращаясь все[71] дальше ⟨в⟩ прошлое, Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩ вспоминал, как всегда[72] хотелось Н⟨иколаю⟩ Д⟨митриевичу⟩ выиграть хоть один большой шлем и как он искренне огорчался, когда это не удавалось, и ругал его, Я⟨кова⟩ И⟨вановича⟩, но ругал так мягко, что Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩ согласился бы всю жизнь выслушивать эту брань. Но он умер и больше браниться не будет. Умер, когда мог сыграть большой шлем...

Но одно соображение, ужасное в[73] своей простоте, потрясло худенькое тело Я⟨кова⟩ И⟨вановича⟩ и заставило его вскочить с

---

[63] *Далее было начато:* раз⟨литым?⟩
[64] *Было:* хрустнувший
[65] *Далее было:* стакан
[66] *Далее было:* Н⟨иколая⟩ Д⟨митриевича⟩
[67] *Далее было:* где еще
[68] *Далее было:* Стол
[69] *Далее было:* были
[70] *Далее было:* он ⟨*нрзб.*⟩
[71] *Было:* от
[72] всегда *вписано.*
[73] *Было:* по

кресла. Смотря остановившимися глазами в ту сторону, где лежит[74] покойник, Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩ думал:

– Но ведь[75] никогда он не узнает, что в прикупе был туз и[76] что у него был на руках большой шлем. Никогда!

И Я⟨кову⟩ И⟨вановичу⟩ показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и это было до такой степени и бессмысленно, и ужасно, и непоправимо. Никогда не узнает! Если Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩ станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать, показывать карты – Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩[77] не увидит, не услышит и не узнает, никогда не узнает. Еще одно бы только движение, одна секунда[78] чего-то, что есть жизнь, – и Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ увидел бы туза и узнал, что у него есть большой шлем, а теперь[79] все кончилось, и он не знает и никогда не узнает.

И эта ясная, простая мысль была до того чудовищна, до того горька, что Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩ снова упал в кресло и заплакал от жалости к тому, кто никогда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же странное и бессмысленно-жестокое будет и с ним, и со всеми. Он плакал и играл за Н⟨иколая⟩ Д⟨митриевича⟩ его картами и брал взятки одна за другою, пока не набралось их тринадцать, и думал, как много пришлось бы записать и что никогда Н⟨иколай⟩ Д⟨митриевич⟩ этого не узнает.

⟨*л. 46*⟩ – Вы здесь, Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩? – сказала вошедшая Е⟨впраксия⟩ В[80]⟨асильевна⟩ и опустилась на рядом стоящий стул и заплакала. – Как ужасно, как ужасно!

Оба молча плакали, не смотря друг на друга, и чувствуя, что в соседней комнате лежит что-то холодное, тяжелое и немое.

– Вы послали сказать? – спросил Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩, громко и истово[81] сморкаясь[82].

– Да, брат поехал. Но как он разыщет[83] его квартиру – ведь мы адреса не знаем.

– Найдет через полицию. У него ведь, кажется, есть жена?

Е⟨впраксия⟩ В⟨асильевна⟩ не отвечала. Я⟨ков⟩ И⟨ванович⟩ по-

---

[74] *Было:* лежал
[75] *Далее было:* он
[76] что в прикупе был туз и *вписано.*
[77] *Далее было:* не узнает
[78] *В рукописи:* секунду
[79] *Далее было:* так
[80] *В рукописи:* И.
[81] громко и истово *вписано.*
[82] *Далее было:* ⟨*нрзб.*⟩
[83] *Далее было:* их

смотрел на нее и прочел в ее глазах ту же мысль, что пришла и ему в голову. Он еще раз высморкался, спрятал платок в карман наваченного сюртука и[84] сказал, вопросительно поднимая брови над покрасневшими глазами:

– А где же мы возьмем теперь четвертого?

Варианты прижизненных изданий (К, Зн, Пр)

1 *После:* Большой шлем (*с абзаца*) – Идиллия (*К*)
8–9 со своим мрачным братом / с своим мрачным братом (*К*)
13 проигрыш / проигрышем (*Пр*)
29 роман со студентом / роман с студентом (*К*)
56 – никогда нельзя знать / (*с абзаца*) – Никогда нельзя знать (*Зн, Пр*)
61 со своим положением / с своим положением (*К, Зн, Пр*)
80 вероятно, – погода / вероятно, погода (*К*)
98–99 легкомысленный / очень легкомысленный (*К*)
128 четыре – и были / четыре и были (*К*)
191–192 Вскоре после этого / Вскоре после того (*К*)
192 не явился, и, как нарочно / не явился – и, как нарочно (*К, Зн, Пр*)
230 ко внезапной / к внезапной (*К*)
231 решение – не играть / решение не играть (*К*)
247 малый шлем, но / малый шлем. Но (*К*)
270 прилипла / прилипала (*Пр*)
351 *1899 г. / 19 ноября 1899 г.* (*Зн*)

---

[84] *Далее было*: вопросительно

АНГЕЛОЧЕК

(С. 197)

ЧН1

АНГЕЛОЧЕК

С утра безобразничает. Побил ребят. "Она там ходит". Озлобленный, наглый мальчик. Посылает отец за водкою – отпивает. "Здорово". Когда приходит: "иди к Пацковским, звали на елку".

Елка. Вступает в драки, пробкой в нос. Красива елка, но нет такого. Злят хорошо одетые ребята.

И вдруг восковый ангелочек. В нем он видит всю красоту, всю прелесть этого мира. Ему кажется, что лучи идут.

Сурово просит: дай.

Равнодушно: обещан другому. Елку будут разбирать потом.

Плачет. Его стыдят: такой большой. Огрызается. У, какой скверный мальчуган.

Дают. Разом меняется. Смеется. Потом бросает подозрительные взгляды: отнимут. Потихоньку одевает⟨ся⟩ и бежит домой. Спит против лежанки. Рассматривает и засыпает счастливый.

Утром просыпается – не видно. Подходит – один слиток воска, из которого торчат крылышки. Отчаяние.

ЧА

⟨*л. 21*⟩[1] АНГЕЛОЧЕК

Волчок заложил руки в карман, отчасти потому, что этого требовало мятежное состояние его духа, отчасти и потому, что становилось все холоднее, и направился не спеша на Карачевскую. Это была улица более людная, чем тот глухой и темный переулок, в котором обитал Волчок, и представляла[2] более широкое поле для проявления человеконенавистнических[3] чувств. Как только стемнело, ребята разошлись по домам, хлопая калитками и[4] скрипя сапогами по затвердевшему снегу, и тот ряд

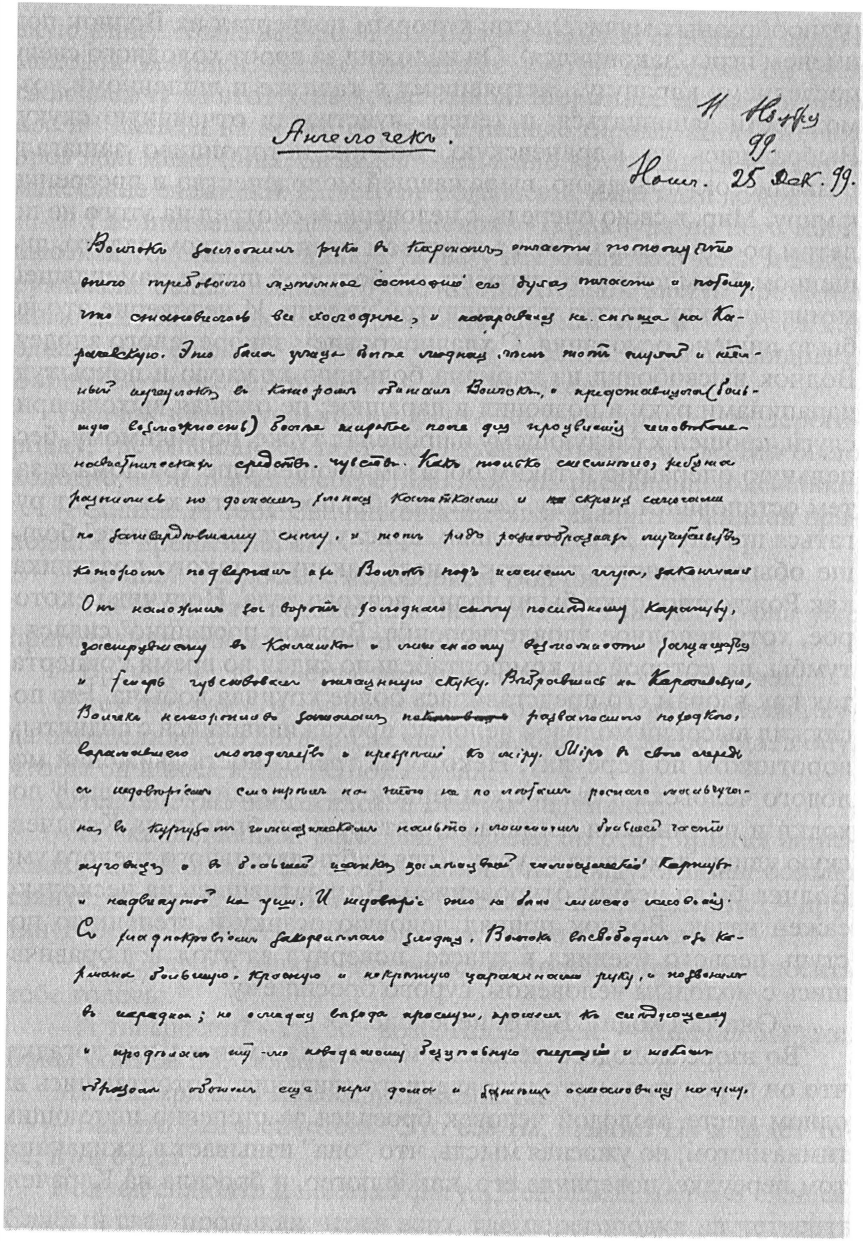
---

[1] *В верхнем правом углу пометы:* 11 ноября ⟨18⟩99. Напеч⟨атан⟩ 25 дек⟨абря⟩ ⟨18⟩99.

[2] *Далее было:* большую возможность (*исправленное взято в круглые скобки*)

[3] *Далее было:* средств (*незач. вар.*)

[4] *Далее было начато:* по⟨?⟩



"Ангелочек".
Автограф. Русский архив в Лидсе (Великобритания)

разнообразных мучительств, которым подвергал их Волчок под именем игры, закончился[5]. Он наложил за ворот холодного снегу последнему карапузу, застрявшему в калитке и лишенному возможности защищаться, и теперь чувствовал отчаянную скуку. Выбравшись на Карачевскую, Волчок неторопливо зашагал[6] развалистою походкою, выражавшей молодечество и презрение к миру. Мир, в свою очередь, с недоверием смотрел на этого не по летам рослого мальчугана в кургузом гимназическом пальто, лишенном большей части пуговиц, и в большой шапке, заменявшей гимназический картуз и надвинутой на уши. И недоверие это не было лишено основания. С хладнокровием закоренелого злодея, Волчок высвободил из кармана большую красную и покрытую царапинами руку и позвонил в парадное; не ожидая выхода прислуги, прошел к следующему и проделал ту же, по-видимому, бесцельную операцию и таким образом обошел еще три дома и затем остановился на углу, ⟨*л. 22*⟩ чтобы послушать, как будет ругаться прислуга. Действительно, прислуга ругалась и даже[7] больше обыкновенного, так как у нее[8] накануне такого праздника, как Рождество, руки были полны всякого дела. Получив некоторое, хотя неполное удовлетворение, Волчок поспешно[9] снялся с тумбы, на которой он комфортабельно сидел во время концерта, так как взорам его представилась более крупная добыча. Ею послужил высокий молодой человек, прохаживавшийся с поднятым воротником по переулку. Некоторая тревожность движений молодого человека в связи с усиленною неторопливостью его[10] походки и пытливыми взглядами, которые он бросал на Карачевскую улицу, доходя до ее угла, – для наблюдательного зрелого ума Волчка были целым откровением. Возвратившись на несколько сажен назад, Волчок принял деловую осанку и степенную поступь первого ученика в классе, повернул за угол и, поравнявшись с молодым человеком, сурово бросил ему:

– Она там ходит. В том переулке.

Во взоре молодого человека мелькнула мучительная догадка, что он перепутал место условленного свидания. Потоптавшись на одном месте, молодой человек бросился за степенно шагающим гимназистом, но ужасная мысль, что "она" изнывает в ожидании в том переулке, повернула его, как флюгер, и бросила на Карачев-

---

[5] *В рукописи:* закончились

[6] *Далее было:* , покачиваясь

[7] и даже *вписано.*

[8] *Далее было: а.* бы⟨ло?⟩ *б.* под

[9] поспешно *вписано.*

[10] его *вписано.*

скую улицу. Когда вскоре за тем Волчок заметил стройный силуэт молодой девушки, гневно озиравшей пустой переулок, он счел свою задачу на этот день исчерпанной. Мороз все сильнее щипал нос и[11] пальцы на ногах, обутых в рваные сапоги; когда Волчок проходил мимо ⟨н⟩их, он видел[12] медленно крутившиеся в воздухе маленькие снежинки. Ничего не поделаешь, надо идти домой.

– Где шатаешься до ночи, щенок? – крикнула на него мать, высокая толстая женщина. Рукава у нее были засучены и обнаруживали белые полные руки. Когда Волчок молча проходил мимо нее, он почувствовал знакомый аромат водки. – Тут ⟨*л. 23*⟩ одна с ног сбилась, некого в лавку послать, а он шлындрает. Барин! Вот погоди, управлюсь, я тебе покажу!

Волчок презрительно шморгнул носом и прошел за перегородку, где слышалось тяжелое дыхание отца. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, лежа на раскаленной лежанке.

– Сашка! А тебя Свечниковы на елку звали. Горничная приходила, – прошептал он.

– Врешь? – спросил с недоверием Волчок.

– Ей-богу. Эта ведьма нарочно тебе не говорит, а она уже приготовила тебе куртку и штаны.

– Врешь? – с возраставшим удивлением говорил Волчок.

С тех пор как его выгнали месяц тому назад из гимназии, куда определили его богачи Свечниковы, они велели передать ему, чтобы он и носа к ним не показывал.

Отец еще раз побожился, и Волчок задумался.

– Ну-ка подвинься, расселся! – сказал он отцу, прыгая на лежанку, и добавил: – а к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если еще я[13] к ним пойду. "Испорченный мальчик", – протянул Волчок в нос. – Сами хороши, черти тупорылые.

– Ах, Сашка, Сашка, – поежился от холода отец: – не сносить тебе головы.

– А ты сносил? – грубо[14] возразил Волчок. – Молчал бы уже. Бабы боится. Эх, тюря!

Мать закричала из соседней комнаты:

– Вы что там шепчетесь? Это все ты, щенок? Ну и будет тебе, ну и будет.

Волчок сплюнул и показал фигу. Отец лежал молча и ежился. Слабый свет проникал через верх, где перегородка на четверть

---

[11] *Далее было начато:* конц⟨ы⟩

[12] *Далее было:* падавшие

[13] еще я *вписано.*

[14] *Было:* резко (*незач. вар.*)

не доходила до потолка, и светлым пятном ложился[15] на его высокий[16] лоб[17], под которым чернели глубокие впадины. Когда-то он сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. ⟨*л. 24*⟩ Но когда он начал[18] кашлять кровью и не мог уже больше пить, стала пить его жена, постепенно привыкшая к водке, и выместила все, что ей пришлось перестрадать от этого высокого узкогрудого человека, говорившего когда-то[19] непонятные слова, прогоняемого за строптивость со службы и приводившего с собою таких же оборванцев и пьянчужек, как и он. В противуположность мужу она толстела по мере того, как пила, и кулаки ее все тяжелели. Теперь она говорила что хотела, она водила к себе женщин и мужчин, каких хотела,[20] и громко пела с ними веселые песни, а он лежал за перегородкой, молчаливый и съежившийся от постоянного озноба. Волчка она стала преследовать с тех пор, как он нарисовал углем первую удачную карикатуру на нее. Эти карикатуры,[21] в которых проявлялся своеобразный мрачный юмор, вместе с постоянным отсутствием учебников и грубостью послужили причиною удаления Волчка из третьего класса гимназии.

Через час между матерью и сыном происходил своеобразный диалог:

– А я тебе говорю, что ты пойдешь! – кричала мать, подкрепляя каждое слово ударом кулака по столу, на котором прыгали от этого стаканы и подсвечник.

– А я тебе говорю, что не пойду, – хладнокровно отвечал Волчок. Лицо его стало злое, как у маленького животного той породы, имя которой присвоено было[22] Сашке в гимназии.

– Изобью я тебя, ох как изобью! – кричала Феоктиста Петровна.

– Что ж, избей! – отвечал Волчок.

Ф⟨еоктиста⟩ П⟨етровна⟩ знала, что она может избить Волчка, но он все-таки не пойдет. Она может даже выбросить его на улицу, а он отправится[23] шататься, а к Свешниковым ⟨*так!*⟩ не пойдет. Поэтому она окольным путем прибегла к авторитету мужа.

---

[15] *Было:* лежал (*незач. вар.*)
[16] *В рукописи:* высоком (*незаверш. правка*)
[17] *Было:* лбе
[18] *Было:* стал
[19] когда-то *вписано.*
[20] и мужчин, каких хотела, *вписано.*
[21] *Далее было:* в связи
[22] *Далее было начато:* Вол⟨чку⟩
[23] *Было:* пойдет

– А еще отец называется. Не может мать от оскорблений оберечь.

⟨*л. 25*⟩ – Правда, Сашка, ступай, – отозвался тот из-за перегородки, – они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно ухмыльнулся. Отец его когда-то, давно еще, был репетитором у Свечниковых и с тех пор чувствовал к ним слабость. Разошелся он с ними после того, как во имя долга должен был жениться на дочери своей[24] квартирной хозяйки. Но они продолжали ему помогать денежно, и Ф⟨еоктиста⟩ П⟨етровна⟩, ненавидевшая их, как и все, что было связано с прошлым ее мужа, ценила это.

– Может быть, и мне что-нибудь с елки принесешь, – продолжал отец.

Сашка задумался. Он чувствовал, что отец хитрит, и презирал его за это. Но ему все-таки хотелось что-нибудь принести ему. Они уж давно сидят с отцом без хорошего[25] табаку.

– Ну ладно! – буркнул он[26]. – Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила?

– Ух, волчонок! – передернула мать[27] плоским лицом.

Детей еще не пускали в ту комнату, где находилась елка, и они сидели в детской и болтали. Сашке было скучно. Он уже побыл в кабинете хозяина и стащил из коробки десяток папирос[28] и, ощупывая их в кармане[29] руками, убедился, что часть из них уже переломалась. К нему подошел самый маленький Свечников. У него были совсем почти белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи. В руках он держал ружьецо с привязанной к нему пробкою, он получил ⟨его⟩ не в очередь из елочных подарков.

– Говорят, что ты[30] дурной мальчик? – спросил он Волчка. – Я никогда не видал дурных мальчиков. Я хороший.

– Уж на что ж лучше! – ответил Волчок, осматривая его коротенькие бархатные штаники и большой откладной воротничок.

– Хочешь ружье? На! – протянул мальчик ружье.

⟨*л. 26*⟩ – Давай.

---

[24] своей *вписано.*
[25] хорошего *вписано.*
[26] он *вписано.*
[27] *Далее было:* лицом
[28] *Далее было начато:* и чувст⟨вовал?⟩
[29] в кармане *вписано.*
[30] *Было:* вы

Волчок взвел пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего мальчика, дернул собачку. Пробка ударилась по носу. Мальчик сперва изумленно открыл большие голубые глаза, потом закричал. Явилась гувернантка и прочла строгую нотацию Волчку. Мальчик утирал кулаком[31] крупные слезы и шептал:

– Злой... злой мальчик.

Вошла молодая красивая женщина с гладко зачесанными волосами. Она подошла к Сашке и сказала сопровождавшему ее пожилому господину:

– Вот этот. Поклонись же, Саша. Нехорошо быть таким невежливым.

Волчок засунул руки в карман. Он знал многое, о чем[32] не подозревала эта красивая дама. Он знал, что отец его любил ее, но она вышла замуж за другого. И хотя это было после того, как отец его женился сам, Сашка не мог простить измены.

– Дурная кровь, – вздохнула дама. – Вот не можете ли, Аркадий Павлович, устроить его? Я думаю, что ремесленное училище будет для него более подходящим, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

– Не хочу, – коротко отрезал Волчок.

– Что ж, в пастухи хочешь?

– Нет, не в пастухи, – обиделся Волчок.

– Куда же?

Волчок не знал, куда он хочет.

– Мне все равно, – сказал он, подумав, – хоть и в пастухи.

Пожилой господин с видом недоумения рассматривал странного мальчика[33] в коротких брюках и узкой курточке, до кистей открывавшей большие[34] руки, очень красные, но с красивыми пальцами. Когда он перевел глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и спрятал его опять так ⟨*л. 27*⟩ быстро, что молодая женщина ничего не заметила, а пожилой господин пришел в непонятное для нее раздражительное состояние.

– Я хочу и в ремесленное, – скромно сказал Волчок.

– Ну вот, милый мальчик! Я знала, что ты одумаешься. Ты не можешь быть глупым, – сказала обрадованная С⟨офья⟩ Д⟨митриевна⟩. Она вспомнила, какие были красивые вьющиеся волосы у его отца, и старалась найти сходство между ним и Сашкой. Но сходства не было. Было что-то в глазах, отдаленно напоминав-

---

[31] *Далее было:* большие

[32] *Вместо:* о чем – *было:* что (*незач. вар.*)

[33] *Далее было:* такого высокого

[34] *Далее было:* красные

шее умные глаза отца, но у Сашки, несмотря на молодость, черты скуластого лица были резче и[35] в них виделась энергия, которой никогда не было у его отца.[36]

– Но едва ли вакансия найдется, – сухо сказал пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и приглаживая лысину. – Впрочем, мы посмотрим.

Дети шумели и волновались, нетерпеливо ожидая елки. Опыт с ружьем, проделанный[37] мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашел себе подражателей, и несколько маленьких круглых носиков покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкою. Некоторые, более[38] немощные плотью, уже плакали, когда[39] двери детской открылись:

– Пожалуйста! Тише, тише.

Заранее вытаращив глазенки, дети чинно, затаив дыхание[40], входили по одному[41] в ярко освещенный зал и останавливались, пораженные, перед сверкающей елкой. Она бросала сильный свет, без теней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина, сразу сменившаяся[42] хором восторженных восклицаний. Не в силах удержать восторга, девочки прыгали на одном месте, и маленькие косички с вплетенными лентами хлопали по плечам. Но в этом хоре резким диссонансом пронесся громкий плач. Причиною его был Волчок, подставивший ножку одному мальчугану и уже успевший отойти в сторону. Однако маневр этот был замечен хозяйкою дома, высокою седеющею дамою, и она шепотом выговаривала своей сестре, по настоянию которой был приглашен этот ⟨*л. 28*⟩ мальчик, не умеющий[43] себя вести. Волчок, заложив руки в карманы коротеньких брюк, прохаживался вокруг елки, пренебрежительно посматривая на нее. Она была красива, эта елка с[44] серебряными нитями, которые обвивали ее темную зелень и сверкали, как иней в морозную ночь, с золочеными бонбоньерками, и прозрачно краснеющими и

---

[35] *Далее было:* это

[36] *Текст:* Она вспомнила ~ у его отца. – *вписан на л. 26 об.*

[37] *Далее было начато:* В⟨олчком?⟩

[38] *Далее было:* слабые

[39] *Далее было:* детей

[40] *Вместо:* затаив дыхание – было: по одному (*незач. вар.*)

[41] по одному *вписано.*

[42] *Далее было начато:* восто⟨ргом?⟩

[43] *Далее было начато:* д⟨аже?⟩

[44] *Далее было начато:* обвива⟨ющими?⟩

голубеющими звездами. Она даже[45] ослепляла Сашку, но была ему чужою, неприятной, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. И ему стало скучно, так скучно, что хотелось заплакать. Впервые за весь вечер он почувствовал какую-то неловкость и даже робость, как человек, попавший не в свое место и с болью сознавший это.[46] И чем ярче сияли[47] веселые огни елки и чем шумнее становилось вокруг нее, тем больше теней являлось на лице Сашки, потерявшем резкость очертаний. Он забился за рояль и сел там в углу, пристально, но безучастно смотря на красавицу елку.

Но вдруг узенькие[48] глаза его блеснули изумлением, и лицо приняло обычное выражение дерзости и уверенности. На обращенной к нему стороне елки, которая составляла ее изнанку, он увидел[49] нечто показавшееся ему знакомым и родным. То был восковой ангелочек,[50] небрежно повешенный в гуще ветвей и точно реявший по воздуху. Его прозрачные маленькие крылышки словно трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего не было в лице К⟨оли⟩, что[51] взволновало Волчка до глубины души. Это было какое-то непостижимое, загадочное сходство между ним, Волчком, и этим розовым, ясным личиком. Сашка не понимал причины этого сходства – да и непохожи они ⟨*л. 29*⟩ совсем были, этот неуклюжий, выросший из своего платья гимназист и восковая изящная игрушка, – но он сознавал, что их связывает что-то неразрывное, крепкое, как те узы, которые соединяют братьев. Лицо ангелочка не казалось веселым, но оно не было и грустным; на нем лежала печать иного чувства, не передаваемого словами, не определяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Когда Волчок следил за его взглядом, он недоумевал перед такою нелепою преградою, как белый, лепленный потолок, шутя ломал ее[52] и поднимался все выше и выше в темно-синее спокойное пространство, в котором без-

---

[45] даже *вписано.*

[46] *Далее было:* Он сел

[47] *Далее было:* огни

[48] узенькие *вписано.*

[49] *Далее было:* в гуще ветвей

[50] *Далее было начато:* по⟨вешенный⟩

[51] *Вместо:* другое, чего не было в лице К⟨оли⟩, что – *было:* нечто, совсем не похожее на Колю, и это нечто (*незач. вар.*)

[52] ее *вписано.*

молвно кружатся немые от века светила. Ему было страшно за ангелочка, который сейчас улетит и оставит его здесь. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Волчок скреб всей пятерней давно не мытую голову и шептал:

– Ах, чтоб тебя!..

И чем больше смотрел, тем значительнее, важнее становился ангелочек. Он был бесконечно далек от всего, что его окружало. Другие игрушки как будто гордились, что они висят, нарядные и красивые, на этой сверкающей елке, и радовались, что на них смотрят, а он[53] был грустен и боялся этого яркого света и нарочно скрылся в гущу, чтобы никто его не видал. И все эти игрушки, и дети кругом, и седеющая, важная хозяйка, и сам Волчок – все это было земное, обыкновенное, злое, а ангелочек говорил о другом, о том, чего на земле нет. Он точно вобрал в свое розовое тельце все бесконечное добро, всю великую благость, которые светлыми камнями горят[54] в душах. Было бы безумною[55] жестокостью, дерзостью прикоснуться к его нежным крылышкам.[56]

Но страшная мысль перехватила его горло и зажгла в глазах хищный огонек: ведь этот ангелочек не[57] принадлежит ему. С великим недоверием к благородству человеческой натуры, могущей даром уступать такое сокровище,[58] Волчок начал сочинять планы похищения ангелочка. Он не уйдет без ангелочка, это факт. Но как украсть его? Задача представлялась неразрешимою. Остаться ночевать и, когда все заснут, пойти тихонько босиком в темный зал и стащить ангелочка, а утром[59] уйти как ни в чем не бывало?[60] Этот план обнаруживал в Сашке недюжинные способности, могущие завести человека очень далеко, но был едва ли исполним. Зал могли запереть, Сашку могли не оставить ночевать и, наконец, поймать на месте преступления. А вдруг раньше кто-нибудь попросит себе ангелочка и его отдадут. Сашка измордует счастливца, это верно, но это не поправит дела.

Голова Сашкина горела. Он[61] заложил руки за спину в полной готовности к смертельному бою и[62] осторожными, крадущи-

---

[53] *Далее было начато:* к⟨?⟩

[54] *Далее было:* на

[55] безумною *вписано.*

[56] *Текст:* И чем больше он смотрел ~ его нежным крылышкам. – *вписан на л. 28 об.*

[57] *Далее было:* его

[58] могущей даром уступать такое сокровище, *вписано.*

[59] *Далее было начато:* при⟨?⟩

[60] *Далее было:* Но

[61] *Далее было начато:* осто⟨рожно?⟩

[62] *Далее было начато:* прохажива⟨лся⟩

мися ⟨*л. 30*⟩ шагами прохаживался с этой стороны елки. Он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он еще здесь, не улетел. Но нужно торопиться. Пойти к тете – как звал Сашка хозяйку по привычке детства – нельзя, нужно караулить. Но вот пришла и тетя. Дети обсыпали ее с выражением своих желаний, и она ласково обещала выполнить всё. Подошел и Сашка. Горло его перехватывало.

– Тетя, а тетя! – сказал он. Он[63] старался[64] говорить ласково, но[65] выходило еще более грубо, чем всегда. – Те...тичка!

Она не слышала, и Сашка дернул ее за платье, раз, другой.

– Что тебе? Что ты меня дергаешь? – спросила она. – Это неприлично.

– Те... течка ⟨!⟩ Дай мне одну штуку с елки. Ангелочка.

– Нельзя, – равнодушно ответила тетка. – Елку будем на новый год разбирать.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и[66] ухватился за последнее средство.

– Я раскаиваюсь. Я буду учиться, – отрывисто говорил он. Но формула эта, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на тетку не произвела впечатления.

– И хорошо сделаешь, мой друг. Я всегда тебе советовала это.

Сашка грубо сказал:

– Дай ангелочка.

– Да нельзя же! – говорила тетка. – Как ты этого не понимаешь?

Она повернулась, и Сашка последовал за нею,[67] не понимая, куда он идет и что делает. Но вдруг ему вспомнилось, как один гимназист его класса просил учителя, чтобы тот поставил ему тройку, и когда учитель отказал, упал перед ним на колена, сложил руки, ладонь с ладонью, и заплакал. Тогда учитель поставил ему тройку. Своевременно Сашка увековечил этот эпизод в карикатуре, но теперь это средство оставалось последним. ⟨*л. 31*⟩ Иначе пропадать. Сашка дернул тетку за платье и, когда она обернулась, упал на колена и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

– Что ты, с ума сошел! – вскрикнула тетка и оглянулась: по счастью, в[68] кабинете никого не было. – Что с тобой?

---

[63] Он *вписано.*

[64] *Вместо:* он. Он старался – *было:* он, стараясь

[65] *Далее было:* вместо того

[66] *Далее было:* он

[67] *Далее было:* с ненавистью

[68] *Далее было начато:* го⟨стиной?⟩

Стоя на коленах, с сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на тетку и грубо произнес:

– Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в тетку и ловившие на губах первое слово, которое он⟨а⟩ произнесет, были настолько нехороши, что она поспешила ответить:

– Ну хорошо, хорошо. Ах какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты[69] просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Ну хорошо,[70] вставай же! И никогда, – поучительно добавила тетка, – не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед Богом. Ну пойдем.

"Толкуй там", – думал Сашка, стараясь опередить тетку и наступая ей на платье[71].

– Вот он, тетя, – сказал он, забежав-таки вперед. – Вот, вот.

– Где? – тетка надела пенсне. – Ах это...

Когда она сняла игрушку, Волчок впился в нее глазами, открыл рот и растопырил пальцы. Ему казалось, что тетка сейчас сломает ангелочка.

– Красивая вещь, – сказала тетка, которой стало жаль изящной[72] игрушки. – Кто это повесил его сюда! Ну слушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что ты будешь с ней делать. Вон там книги есть, интересные, с рисунками. А это я хотела Коле отдать, он так просил, – солгала тетка.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы, и тетке показалось, что он даже скрипнул ими.

⟨*л. 32*⟩ – Ну на, на, – медленно протянула к нему игрушку. Обе руки Сашки, которыми он взялся ⟨за⟩ ангелочка, казались напряженными и цепкими, как стальные пружины, но такими мягкими, что ангелочек мог свободно вообразить себя летящим по воздуху, не чувствуя их прикосновения.

– А-ах! – вырвался продолжительный и глубокий вздох из груди Сашки, а на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, Сашка не сводил сияющих глаз с тетки и улыбался тихою и кроткою улыбкой, замирая[73] в чувстве неземного восторга. Казалось, что, когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся ко впалой груди Сашки, они оба унесутся в

---

[69] *Далее было начато:* по⟨просил?⟩

[70] *Далее было начато:* мож⟨ет?⟩

[71] *Было:* платья,

[72] изящной *вписано.*

[73] *Далее было:* в ожидании

темно-синее глубокое пространство, где безмолвно кружатся немые светила.

– А-ах! – пронесся тот же вздох, не то стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая елка, – и радостно улыбнулась тетка, и в[74] молчании замерли ребята, которых коснулось веяние счастья. И в этот момент[75] все заметили сходство между этим неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворенным рукою неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съежившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка диким взглядом обводил окружающих, ища того, кто отнимет у него ангелочка. Только с Сашкиною жизнью он отнимет его.

– Я пойду домой, – глухо сказал он, намечая путь в окружавшей[76] толпе.

Тетка, которая теперь уже не видела сходства, с неудовольствием проговорила:

– Ах, какой ты дикий. Кто тебя держит, ступай, если хочешь. Дворник проводит тебя.

– Не надо. Сам дойду, – ответил Сашка,[77] осторожно продвигаясь к двери.

⟨*л. 33*⟩ Еще одно маленькое испытание предстояло Сашке, когда он стал надевать пальто: ангелочка нужно было на время передать кому-нибудь подержать. Однако при посредстве тетки, положившей его на стол и лично отошедшей[78], недоразумение было улажено. Наконец Сашка у дверей.

– Я тебе еще на костюм сукно приготовила, – сказала тетка.

– Ладно, – равнодушно[79] буркнул Сашка, скрываясь за дверью.

Мать спала, утомленная работою и водкою. В маленькой комнатке, где спали обыкновенно Сашка и его отец, слышался тихий шепот. На столе горел⟨а⟩[80] маленькая кухонная лампочка,

---

[74] *Далее было:* счастливом
[75] *Далее было:* и тетка
[76] окружавшей *вписано.*
[77] *Далее было начато:* медле⟨нно⟩
[78] *Вместо:* положившей его на стол и лично отошедшей – *было:* взявшей ангелочка
[79] *Далее было:* сказал
[80] *Далее было:* обгрызок

при[81] тусклом свете которой Сашка и его отец рассматривали ангелочка.

– Хорош? – спрашивал Сашка. Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрогиваться.

– Да, в нем есть что-то особенное, – шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку. Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и скрытую радость, как и лицо Сашки. – Ты погляди, он как будто сейчас полетит.

– Видел уж, – торжествующе отвечал Сашка. – Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыщ, не трогай!

Отец отдернул руку и темными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно[82] шептал:

– Экая, братец, у тебя привычка подлая за все руками хвататься.

На стене вырезывались неподвижные тени двух склонившихся голов, одной большой и лохматой, другой маленькой и стриженой. В большой голове происходила странная, мучительная и в то же время радостная работа. Глаза, не моргая, глядели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начали трепетать слабым, ⟨*л. 34*⟩[83] бесшумным трепетанием, а окружающее – лампа, стены[84], обметенные от паутины, но сохранившие сырые пятна[85], Волчок – все это слилось в одну безразличную серую массу, туман. И казалось погибшему человеку, что этот ангелочек принес с собою отражение того чудного мира, в котором он жил когда-то и откуда был изгнан. Он видел ярко освещенный зал, умных, красивых и добрых людей, тихое счастье, разлитое повсюду. Он видел и ее – красивую, умную, какой она была, прощаясь с ним, когда он шел на заклание. Ему чудилось прикосновение ее нежных пальцев[86] к ангелочку – оттого и была так красива эта игрушка, оттого и было в ней что-то особенное. Это особенное – она. Она дает жизнь этому комку воска, она отдала ему часть своей светлой души, и оттого так нежно трепещут крылышки ангелочка. Он спустился с неба, на котором он жил и которое было ее душою, и внес луч обожеств⟨л⟩енного света и в сырую, пропитанную затхлостью комнату, и в черную, больную, измучен-

---

[81] *Далее было начато:* сла⟨бом⟩
[82] *Было:* укоризненно
[83] *Далее было начато:* нежны⟨м⟩
[84] стены *вписано.*
[85] *Далее было:* стены
[86] пальцев *вписано.*

ную душу человека, у которого было отнято все: и[87] жизнь, и[88] любовь, и[89] счастье.

И другие черные глаза ласкали ангелочка, и для них исчезало все окружающее: и вечно печальный, жалкий отец, и холодные стены и скучный свет лампы. Весь свет, все добро, живущее над миром, все глубокое горе и всю великую надежду тоскующей о Боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким[90] мягким, божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетанием его нежные, стрекозиные крылышки. Отец и сын не видели друг друга; о разном тосковали, плакали и радовались их смя⟨г⟩ченные сердца, но было что-то, что делало из них одного человека и уничтожало пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким[91], несчастным и жалким. Отец[92] несознаваемым движением положил руку на[93] шею сына, и голова ⟨*л. 35*⟩ так же невольно прижалась к чахоточной груди.

– Это она дала тебе его? – прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его само собою прозвучал ответ, и уста спокойно[94] произнесли заведомую ложь.

– Да, она.

– Я так и думал. Ты видишь, как шевелятся крылышки?

– Вижу. А ты видишь?

Отец не ответил. Замолчал и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг затихло, и часы звонко и торопливо[95] отчеканили: раз, два, три. Сашка задумчиво сказал, стараясь вспомнить что-то, давно уже мелькавшее в его мозгу.

– Отец, знаешь, я раньше уже видел ангелочка. Когда был маленький. Я, должно быть, спал. Только я видел, что мы трое летели. Два ангелочка и я. Я тоже был ангелочком. И мы с другим, вот таким как этот, несли большой, ужасно большой крест, такой большой, что конца его внизу не видно было. А[96] тот анге-

---

[87] и *вписано.*
[88] и *вписано.*
[89] и *вписано.*
[90] *Далее было:* ярким
[91] одиноким *вписано.*
[92] *Далее было начато:* лю⟨бящим?⟩
[93] *Далее было:* плечо
[94] спокойно *вписано.*
[95] и торопливо *вписано.*
[96] *Далее было начато:* дру⟨гой⟩

лочек летел сверху, я его не видал. И кругом нас были все тучи, тучи и ничего не было видно. Отец, это я во сне видел?

– Да, во сне, – так же задумчиво ответил тот. – Чудные бывают сны. Видишь все что было – и любишь и страдаешь, как наяву. Я постоянно вижу сны.

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула, сплюнула и забормотала во сне громко и отрывисто[97]: "Дерюжку держи... держи, держи". Очарование исчезло. Сашка осторожно снял с шеи руку отца и потянулся.

– А она ничего тебе не говорила? – спросил отец, отводя глаза от ангелочка. Сашке было противно лгать, и он грубо ответил:

– Говорила.

⟨*л. 36*⟩ – Что она сказала? – продолжал спрашивать отец. Глаза его лихорадочно горели, и[98] он ежился от снова начавшегося озноба.

– Ах, какой ты, братец, надоедливый[99]. Все скажи ему, как и что. Ну говорила и говорила, – ответил Сашка, но, взглянув в блестящие глаза отца, добавил: – Сказала: кланяйтесь, мол,[100] папаше... и как его здоровье... И скажите ему, чтобы он того... ну понимаешь?

– Нет, Саша, не понимаю, – радостно отвечал отец.

– Вот непонятливый-то человек! Просто до удивления. Скажите ему, говорит, чтобы он того... ну не хандарился...

– Что? – изумился отец.

– Вот тебе и что, – рассердился Сашка. – Ничего больше не скажу. Тоже еще смеется!

Но отец понял, что хотела сказать она.

После долгого[101] обсуждения ангелочка решено было повесить на ниточке, прикрепив ее к отдушине печки. Так его могли видеть оба, и Сашка, и отец. Когда Сашка лег, он снова испытал сладкое чувство тихого, но непонятного счастья и, глядя на ангелочка, подумал:

– Как не хочется спать!

Но мысль еще ⟨не?⟩ поспела умереть, как Сашка уже спал.

Горькое то было пробуждение. Повешенный у горячей печки восковой ангелочек растаял. Проснувшись рано утром, когда

---

[97] громко и отрывисто *вписано.*

[98] и *вписано.*

[99] *Далее было начато:* – ответ⟨ил⟩

[100] *Далее было:* Егору

[101] *Далее было начато:* молча⟨ния⟩

только забрезжил в окнах синеватый свет[102], Сашка долго искал его глазами и, испуганный, вскочил с своей подстилки. Не чувствуя холода, он подбежал к лежанке: на белой плите лежал бесформенный, расплывшийся слиток[103] воска и из него вкось торчало одно стрекозиное крылышко.

– Отец! – дико за⟨к⟩ричал он, бледный, как его рубашка, и невольным движением закрыл в ужасе глаза обеими руками. – Отец, – да прос-нись же!

16 ноября ⟨18⟩ 99

ЧН2

До самых сумерек[104] ребята играли в Сиён-гору. Игра эта состояла в том, что одни[105]

Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый огонек.

Сашка Волчок[106] стоял посередине[107], где по буграм волнами[108] проходила накатанная дорога, и думал, куда ему пойти.[109] Он до самых сумерек играл с ребятами в Сиён-гору и под видом игры подвергал их разнообразным мучительствам, сбрасывая их с кучи головой прямо в мягкий снег, который забивался им в рот, и в нос, и за шею. Но давно уже за последним мальчуганом[110] проскрипела ржавым морозным скрипом калитка, и он остался один и чувствовал, что ему холодно, и скучно, и противно, так как нет никого, кому он мог бы причинить неприятность. Размыслив, В⟨олчок⟩[111] не спеша зашагал на К⟨арачевскую⟩ улицу, которая[112] более людная[113], чем этот глухой вечерами переулок (днем тянулись бесконечные обозы), и предст⟨авляла?⟩...

---

[102] *Текст:* рано утром ~ синеватый свет – *вписан.*

[103] *Было:* комок (*незач. вар.*)

[104] *Далее было начато:* д⟨ети?⟩

[105] *Текст обрывается* (*незач. вар. начала рассказа*).

[106] Волчок *вписано.*

[107] *Далее было:* улицы

[108] волнами *вписано.*

[109] *Далее было:* Ребята, с которыми он играл в Сиён-гору и под видом (*исправленное взято в скобки*)

[110] *Далее было:* хлопал⟨а⟩

[111] *Далее было:* заложил руки в карман, отчасти потому, что этого (*слово:* заложил – *не зачеркнуто*)

[112] которая *вписано.*

[113] *В рукописи:* людную (*незаверш. правка*)

РКАП (начало рассказа)

АНГЕЛОЧЕК

Посвящается

Уже темнело и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком черном строении, стоявшем поперек улицы, на выезде, зажегся красноватый огонек.

Сашка Волчок стоял посередине улицы, где волнами пролегала накатанная дорога, и думал о том, куда ему пойти. До самых сумерек он играл с ребятами в Сиен-гору и под видом игры подвергал ребят[114] мучительствам, сбрасывая их с кучи головой прямо в мягкий снег, который забивался им в рот, в нос и за шею. Но давно уже за последним мальчуганом проскрипела ржавым морозным скрипом калитка, и он остался один с чувством, что ему холодно, и скучно, и противно, так как нет никого, кому он мог бы причинить неприятность. Размыслив, Сашка не спеша зашагал на Карачевскую улицу, более людную, чем этот глухой вечерами переулок (днем по переулку тянулись бесконечные обозы), и представлявшую более широкое поле для проявления мятежных[115] чувств. Но и на Карачевской было безлюдно в этот час, когда все сидели по домам и готовились к близкой встрече Рождества. Сашка заложил руки в дырявый карман, где они нащупывали шершавую поверхность ватной подкладки, и неторопливо тронулся[116] развалистою походкою, выражавшею молодечество и готовность к драке. Но и подраться не с кем было, и только редкие прохожие с недоверием оглядывали рослого мальчугана в кургузом гимназическом пальто и большой мохнатой шапке, когда он с преднамеренною дерзостью толкал их плечом. Приходилось довольствоваться ребяческою выходкою: высвободив из кармана большую красную и оцарапанную руку, Волчок хладнокровно позвонил подряд в нескольких домах и, дойдя до угла, сел на тумбу, чтобы послушать[117], как будут ругаться оторванные от дела горничные. Горничные еще не кончили ругаться, когда Волчок заметил в переулке другую добычу, показавшуюся ему более богатой. Ею послужил высокий молодой человек, прохаживающийся взад и вперед по переулку. Воротник его пальто был под-

---

[114] *Далее было:* разнообразным
[115] *Было:* человеконенавистнических (*незач. вар.*)
[116] *Было:* зашагал
[117] *Было:* посмотреть

нят, и когда он проходил мимо фонаря, свет последнего падал на кончик покрасневшего носа. Некоторая тревожность движений молодого человека в связи с пытливыми взглядами, которые он бросал на Карачевскую улицу, доходя до ее угла, послужили для Волчка целым откровением. Возвратившись на несколько сажен назад, Сашка принял деловую осанку и скромную поступь ученика, у которого в поведении всегда пятерка, повернул за угол и, поравнявшись с молодым человеком, сурово бросил ему:

– Она там ходит. В том переулке.

Во взоре молодого человека мелькнула мучительная догадка, что он перепутал улицу, где назначено свидание. Потоптавшись на месте, он бросился за степенно шагающим гимназистом, но ужасная мысль, что "она" изнывает в ожидании в том переулке, повернула его, как флюгер, и кинула на Карачевскую улицу. Когда вскоре за тем Волчок увидел стройный силуэт молодой девушки, гневно озиравшей пустой переулок, он счел свою задачу на этот день исчерпанной. Мороз все сильнее щипал уши и пальцы на ногах, обутых в рваные сапоги; когда Сашка проходил в освещенном фонарями круге, он видел медленно крутившиеся в воздухе маленькие сухие снежинки. Ничего не поделаешь, надо идти домой.

Варианты рукописной копии (РКАП)

3–34 Временами Сашке хотелось ~ Сашка находил существование возможным. – *нет.*

35–44 *Вместо текста*: В пятницу, накануне Рождества ~ идти домой. – *см. РКАП (начало рассказа), с. 613*

47 обнажая белые толстые / обнаруживая белые полные

48 выступали капли / выступили капельки

49–52 Мать почесала в голове ~ – Статистики, одно слово! / (*с абзаца*) – Тут одна с ног сбилась, – продолжала мать, свертывая папиросу толстыми пальцами с короткими грязными ногтями. – Некого в лавку послать, а он шлындрает. Барин! Вам бы с отцом только на печке валяться. Без меня с голоду бы подохли. // Помолчав немного, она бросила слово, которому придавала ругательное значение: // – Статистики!

54 Ивана Саввича – *нет.*

56–57 руки ладонями книзу. / руки.

60 Сашка / Волчок

61–62 ничего не говорит, а уж и куртку приготовила / тебе не говорит, а она уже приготовила тебе куртку и штаны

63 все больше удивлялся Сашка / с возраставшим удивлением говорил Волчок

64–65 Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не велели, после его исключения, показываться к ним / В тот день, как его выгнали [из] месяц тому назад из гимназии, куда определили его богачи Свечниковы, они велели передать, чтобы Сашка к ним больше не ходил

66 Сашка / Волчок

69–70 Испорченный мальчик / Испорченный мальчишка

70 антипы толсторожие / черти тупорылые

74 ты-то сносил / ты сносил

74 Молчал бы уж / Молчал бы уже

75 *После*: Эх, тюря! – (*с абзаца*) Мать закричала из соседней комнаты: // – Вы что там шепчетесь? Это все ты, щенок? Ну и будет тебе, ну и будет!.. // Волчок сплюнул и показал фигу по тому направлению, где должна была находиться его мать.

76–77 через широкую щель вверху / через верх

79 глубокие глазные впадины / глубокие впадины

79–80 Когда-то Иван Саввич / Когда-то он

81 харкать / кашлять

82 пить она, постепенно привыкая / пить жена, постепенно привыкшая

84 говорил непонятные / говорил назло ей непонятные

86 безобразников и гордецов / пьяниц и безобразников

87 она здоровела / она толстела

90 песни. А он / песни, а он

90–91 молчаливый, съежившийся / молчаливый и съежившийся

91–94 , и думал о несправедливости ~ гордецы и статистики / Волчка она ненавидела за общие их с отцом вкусы, за их взаимную дружбу, за то молчаливое презрение, каким он встречал ее громкую, иногда площадную ругань. Ненависть эта особенно обострилась с тех пор, как Сашка нарисовал первую удачную карикатуру на нее. Эти карикатуры, в которых проявлялся своеобразный мрачный юмор, вместе с постоянным отсутствием учебников и грубостью, послужили причиною удаления Волчка из второго класса гимназии

95 Через час мать говорила Сашке / Через час между матерью и сыном [произошел] происходил своеобразный диалог

96–98 И при каждом слове ~ звякали друг о друга / кричала мать, подкрепляя каждое слово ударом кулака по столу, на котором прыгали от этого стаканы и подсвечник

100–101 Сашка, и углы губ его ~ его звали волчонком. / Волчок. Лицо его стало злое, как у маленького животного той породы, имя которой было присвоено Сашке в гимназии.

102 кричала мать / говорила Феоктиста Петровна

103 *После*: Что же, избей! – – отвечал Волчок.

104–107 что бить сына ~ прибегла / что она может избить Волчка, но он все-таки не пойдет. Она может даже выбросить его на улицу, а он отправится шататься, а к Свечниковым все-таки не пойдет. А если она будет сильно бить, то он способен укусить ее за палец, что раз уже и было. Поэтому она окольным путем прибегла

111 с лежанки / из-за перегородки

111 опять тебя / тебя опять

113 Отец давно, до Сашкина / Отец его давно до Сашкиного

114–115 и с тех пор думал, что они самые хорошие. / и с тех пор чувствовал к ним слабость.

116–122 после того как во имя ~ и хвалилась им. / после того как во имя строго сознанного долга женился на дочери своей квартирной хозяйки, стал пить и опустился. Но они продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, ненавидевшая их, как книги и все, что было связано с прошлым ее мужа, ценила это.

125–128 Он хитрил ~ без хорошего табаку / Сашка задумался. Он чувствовал, что отец хитрит и презирал его за это. Но ему действительно хотелось принести ему что-нибудь. Отец давно уже сидел без хорошего табаку

130 А то ведь я тебя знаю! – *нет*.

130 *После*: Пуговицы пришила? – (*с абзаца*) – Ух, волчонок! – передернула мать плоским лицом.

131 II / –

132 в залу / в ту комнату

133–147 Сашка с презрительным высокомерием ~ А я холосой. / Сашке было скучно. Он уже побыл в кабинете хозяина и стащил из коробки десяток папирос и, ощупывая их в кармане, убедился, что они переломались. К Волчку подошел самый маленький Свечников, Коля. У него были совсем почти белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на широкий белый воротник. В руках он держал ружьецо с привязанной к нему пробкою: он получил его не в очередь из елочных подарков. // – Правда, что ты дурной мальчик? – спросил он Волчка. – Мне мисс сказала. Я никогда не видал дурных мальчиков. Я хороший.

148 ответил тот / ответил Волчок

148 коротенькие / его коротенькие

149 штанишки / штаники

150 лузье / ружье

150–151 протянул мальчик ружье с привязанной к нему пробкой. / протянул мальчик игрушку. // – Давай.

152 Волчонок / Волчок
153 Коли / мальчика
154–157 Голубые глаза Коли ~ и зашептал / Коля сперва изумленно открыл большие голубые глаза, потом закричал и побежал жаловаться гувернантке. Пока та читала Сашке строгую нотацию, мальчик утирал кулаками крупные редкие слезы и шептал
159 В детскую вошла / Вошла
161 *После*: когда-то Сашкин отец. – (*с абзаца*) Она подошла к Сашке и сказала сопровождавшему ее пожилому лысому господину:
162–163 , – сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему ее лысому господину – *нет.*
165–168 Но Сашка не поклонился ~ он женился сам / Волчок стоял прямо, демонстративно засунув руки в карман. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Он знает, что отец любил ее, а она вышла замуж за другого. И хотя это случилось после того, как отец его женился сам
171–172 Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия / Я думала, что ремесленное училище будет для него более подходящим, чем гимназия, и муж согласен со мною
174 ответил Сашка, слышавший / отвечал Волчок, слыхавший
176 Что же, братец, в пастухи / Что же, в пастухи
178 Так куда же / Куда же
179 Сашка / Волчок
180 ответил он / сказал он
181–182 Лысый господин ~ перевел глаза / Пожилой господин с недоумением рассматривал странного мальчика, похожего на молодого петушка, приготовившегося к бою. Когда он перевел глаза с залатанных сапог
185 в непонятное ей / в непонятное для нее
186 Сашка / Волчок
187–188 Красивая дама ~ старая любовь. / – Ну вот, милый мальчик! Я знала, что ты одумаешься. Ты не можешь быть глупым, – вздохнула красивая дама.
189 сухо заметил / сухо возразил
191 на затылке / на лысине
191 мы еще посмотрим / мы посмотрим
195 несколько кругленьких / несколько маленьких кругленьких
198 удары пробкой / удары пробкою
200 Дети, идите. Тише, тише! / Ну детишки, идите. Только тише, тише.

201–203 и затаив дыхание, дети ~ сверкающую елку. / дети чинно, затаив дыхание, входили по паре в ярко освещенный зал и, пораженные, тихо обходили кругом сверкающую елку.
204–205 тишина глубокого очарования / тишина
206–209 Одна из девочек ~ по ее плечам. / Не в силах подавить восторга, девочки прыгали на одном месте и маленькие косички с вплетенными лентами хлопали их по плечам.
209–223 Сашка был угрюм и печален ~ у него уже ничего не останется. / Волчок, заложив руки в карманы коротких брюк, прохаживался вокруг елки, пренебрежительно посматривая на нее. Она была красива, эта елка, увешенная золочеными бонбоньерками и прозрачно краснеющими и голубеющими звездами; темную зелень ее ветвей обвивали серебряные нити и сверкали, как иней в морозную, лунную ночь. Она даже ослепляла Сашку своею красотою и великолепием, но она была ему чуждою, неприятною, как и столпившиеся вокруг нее чистенькие красивые дети, и ему хотелось толкнуть ее так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Но мятежное настроение скоро прошло и ему стало скучно, так скучно, словно чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Впервые за весь вечер он почувствовал неловкость и даже робость, как человек попавший не в свое место и с болью сознавший это. Он забился за рояль и сел там в углу, и чем ярче сияли веселые огни елки и чем шумнее становилось вокруг нее, тем пасмурнее становилось его лицо, приобретая неуловимое сходство с мягким женственным лицом отца.
227–229 то, чего не хватало ~ окружающие люди неживые / нечто, показавшееся ему знакомым и родным
230 в гуще темных ветвей / в гуще ветвей
231–232 словно реявший / точно реявший
232 крылышки трепетали / крылышки словно трепетали
235–243 Но было в ней другое ~ все остальное. / Но было в ней другое, чего не было в лице Коли и что взволновало Волчка до глубины души. Это было какое-то непостижимое, загадочное сходство между ним, Сашкой, и этим ясным личиком. Сашка не понимал причины этого сходства – да и непохожи совсем были они, этот неуклюжий выросший из своего платья гимназист и восковая изящная игрушка, – но он сознавал, что их связывает что-то неразрывное, крепкое, как те узы, которые соединяют душу с телом и могут быть порваны одною смертью. Лицо ангелочка не казалось веселым, но оно не было и печальным; на нем лежала печать иного чувства,

не передаваемого словами, не определяемого мыслью, и доступного для понимания лишь такому же чувству.

244 Сашка / Волчок

245 – Милый... милый ангелочек! // – Милый... милый!..

247–248 и непохож / и бесконечно непохож

251 темной зелени / густой зелени

251 *После*: никто не видел его. – А все эти игрушки, и дети кругом, и седеющая важная хозяйка – все это было обыкновенное, земное, злое, а ангелочек говорил о том, чего нет на земле. Он точно вобрал в свое розовое тельце все безграничное добро, всю великую благость, всю мощь кроткой любви, которая светлыми каплями падает с неба на черную землю.

252 безумной жестокостью прикоснуться / безумною жестокостью, преступною дерзостью прикоснуться

254 *После*: шептал Сашка. – (*с абзаца*) Но страшная мысль перехватила его горло и зажгла в глазах хищный огонек: ведь ангелочек не принадлежит ему! С великим недоверием к благородству человеческой натуры, могущей даром уступить такое сокровище, Сашка составил целый ряд планов его похищения, но все они были невыполнимы. А вдруг раньше кто-нибудь попросит себе ангелочка и его отдадут? Сашка измордует счастливца, это верно – но это не поправит дела.

255 за спину и / за спину

256 бою за ангелочка / бою

244–245 прохаживался осторожными и крадущимися шагами; / и осторожными, крадущимися шагами прохаживался с этой стороны елки.

257 шагами; он / шагами. Он

259 *После*: не улетел. – Но нужно торопиться. Пойти к тете – как по привычке детства звал Сашка хозяйку – нельзя, нужно караулить.

259–263 В дверях показалась хозяйка ~ моргала сонными глазками. / Но вот вошла и тетя. Дети обсыпали ее с выражением своих желаний.

266 – Те... Тетечка / – Те...течка

268–269 Чего тебе? Зачем ты дергаешь меня за платье? – удивилась седая дама. – Это невежливо. / Что тебе? Зачем ты меня дергаешь? – удивилась седая, важная дама. – Это неприлично.

270 – Те... тетечка / Те... течка

270 штуку / штучку

271–272 И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марьей Дмитриевной. – *нет*.

278 седую даму / тетку

279–280 мой друг, – ответила она так же равнодушно. / мой друг. Ты уже не маленький.
283 хозяйка / седая дама
285–287 Но Сашка не понимал ~ в его горячечно работавшем / Она повернулась к выходу, и Сашка последовал за нею, не понимая, куда он идет и что делает. Но вдруг в его горячечно работавшем
288–289 учителя поставить ему тройку / учителя, чтобы тот поставил ему тройку
289–290 на колени / на колена
290 ладонь к ладони, как на молитву / ладонь к ладони
291 Тогда учитель ~ поставил. / Тогда учитель, хотя и наказал его, но поставил ему тройку.
292 увековечил эпизод / увековечил этот эпизод.
293 *После:* не оставалось. – Иначе пропадешь.
296 воскликнула седая дама и оглянулась / вскрикнула тетка и отшатнулась
297 по счастью / но к счастью
297 Что с тобой? / Что с тобою?
298 коленях / коленах
299 на нее / на тетку
299 потребовал / произнес
301 в седую даму / в тетку
301–302 на ее губах – *нет*.
302 они произнесут / она произнесет
302–303 были очень нехороши, и хозяйка / были настолько нехороши, что она
304 Ну, дам, дам. / Ну, хорошо, хорошо.
310 *После*: наступая ей на платье. – (*с абзаца*) – Вот он, – сказал Волчок, забежав-таки вперед. – Вот, вот! // – Где? – тетка надела пенсне. – Ах, это...
313 высокая дама сломает / тетка сейчас сломает
314 сказала дама / сказала седая дама
316 послушай / слушай
317–318 книги есть, с рисунками / книга есть, интересная, с рисунками
318 отдать, он / отдать. Он
321 и, показалось, даже / и тетке показалось, что он даже
322 больше всего боялась сцен / больше всего на свете боялась всякого рода сцен
326–327 цепкими и напряженными / напряженными и цепкими
327 как две стальные / как стальные
328 *После*: ангелочек – не должен был чувствовать их прикосновения и

331 сверкнули две маленькие слезинки – *подчеркнуто.*
333 он / Сашка
333 хозяйки / тетки
334 тихой и кроткой улыбкой / тихою и кроткою улыбкою
334–335 в чувстве неземной радости / в чувстве неземного восторга
337–338 какого никогда еще не происходило на печальной, грешной и страдающей земле / какого еще не было с тех пор, как Бог и любовь покинули землю
339 стон / вздох, не то стон
342 седая, важная дама, / седая дама, и важность исчезла с ее лица, ставшего простым, человечным и добрым,
342–343 и дрогнул сухим лицом лысый господин, / улыбнулся и дрогнул морщинистым сухим лицом пожилой лысый господин
344 дети / ребята
344 человеческого счастья / счастья
347 рукой / рукою
350 мрачным / диким
351 осмелится отнять / отнимет
351–352 *После*: отнять у него ангелочка. – Нелегко будет отнять его.
353 – Я домой пойду / – Я пойду домой
353–354 в толпе. – К отцу. / в (*далее пропуск в рукописи*).
354 *После*: – К отцу. – Тетка, которая теперь уже не видела сходства, с неудовольствием проговорила: // – Ах какой ты дикий. Никто тебя и не удерживает, иди, пожалуйста. Дворник проводит тебя. // – Не надо. Сам дойду, – ответил Сашка, осторожно пробираясь к двери.
355 III / –
357–360 за перегородкой ~ лицо Сашки и его отца. / за перегородкою, горела на столе маленькая кухонная лампочка, и при ее тусклом свете, с трудом пробивавшимся сквозь закопченное стекло, Сашка и его отец рассматривали ангелочка.
362 дотрогиваться. / дотрогиваться до него.
366 и радость / и скрытую радость
367 он сейчас / он как будто сейчас
368 ответил / отвечал
374 Ведь сломать можешь! – *нет.*
375 уродливые и неподвижные / неподвижные
376 склонившихся голов / склонившихся рядом голов
378 но в то же время / и в то же время
378 не мигая / не моргая
379 пристальным взглядом / пристальным, неподвижным взглядом

381 *После:* а все окружающее: – лампа,
382 стена, грязный стол, Сашка – / стена, Волчок, –
383 ровную серую массу / серую ровную массу
384–385 он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где / ясный ангелочек принес с собою отражение того чудного мира, в котором
385 навеки изгнан. / изгнан.
386–392 Там не знают ~ жизнь. / Ангелочек был окружен атмосферою этого мира – и Сашкин отец видел и ярко освещенный зал, умных, красивых и добрых людей, и ее, красивую и чистую, какой она была, прощаясь с ним, шедшим на высокую, но бесплодную жертву.
393–397 аромат ~ не передаваемое словами. / аромат, и ему чудилось, как прикасались ее нежные пальцы к ангелочку – оттого и была так красива эта игрушка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Это особенное – она.
397–398 с неба, на котором / с неба, которым
399 в черную душу / в черную, большую, измученную душу
401–403 И рядом с глазами ~ будущее / И рядом с глазами отца другие черные глаза, глаза его сына, ласкали ангелочка, и для них исчезало все прошедшее и настоящее
403 печальный и жалкий / печальный, жалкий
404–405 унижений и злобствующей тоски / унижений и бесцельной злобы
406 но тем глубже / и тем глубже
406 его смятенную душу / его душу
406–407 Все добро / Весь свет, все добро
410 трепетаньем / трепетанием
412 их больные сердца / их смягченные сердца
413 воедино сердца / воедино эти сердца
415 слабым / жалким
416 шею / плечо
421 сам собой / само собою
423 *После*: Конечно, она. – (*с абзаца*) – Я так и думал. Ты на крылышки смотришь? // – Да, а ты?
424 Отец молчал; замолк и Сашка. / Отец не ответил. Замолчал и Сашка.
427 – задумчиво / – так же задумчиво
432–444 как наяву... // Он снова замолк ~ Что уж ... зачем? / – А она ничего тебе не говорила? – спросил отец после минутного молчания. // По этой части Сашка врать не привык и потому должен был подумать, прежде чем [ответить] отве-

тил: // – Да, говорила. Кланяйтесь, говорит, папаше... и скажите ему... // – Ну, ну! – торопил отец. // – Ах, какой ты, братец, надоедливый, не дашь вспомнить. И скажите, говорит, ему, чтобы он не скучал и наплевал на эту ведьму. // – Не может быть! – изумился отец. – Ведьму⟨!⟩ // – Ну не ведьму, а как там...

445 и забормотала / сплюнула и забормотала

446–452 Нужно было ложиться спать ~ на белом фоне кафелей. / Очарование исчезло. Сашка снял с шеи руку отца, а последний повел плечами и поежился от снова начинавшегося озноба. Нужно было ложиться спать. После долгого и горячего обсуждения, ангелочка решено было повесить на ниточке, прикрепив ее к отдушине печки.

453 отец так же быстро разделся / Сашка так же поспешно разулся

456 наброшенное на ноги / на ногах набросанное

457 – Не к чему. Скоро встану. / Не надо.

458–460 но не успел, так как ~ быстрой реки. / но веки на его глазах внезапно налились свинцом и, после неудачной попытки поднять их, Сашка заснул так быстро, точно пошел ко дну быстрой и глубокой реки.

460–463 Кроткий покой ~ начинал жить. / Часы бойко и отчетливо пробили четыре часа. Вероятно, Сашка на этот раз изменил своему обычаю и видел сон, потому что губы его шевелились и лицо приняло злобное и страдальческое выражение, точно он вторично переживал борьбу за ангелочка. Потом черты его лица смягчились, и счастливый покой осенил их.

466 закопченное стекло / закопченные стекла

467 печальный / желтоватый

468 его скатывались / его медленно скатывались

469 на лежанку. / на лежанку; тоненькие ручки становились все тоньше и прозрачнее.

470 тяжелый / сильный

471 на горячие плиты / на лежанку

472–473 вокруг бесформенного слитка / по белой кафле, обошел слиток воска

475–477 пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз. / начал пробиваться синеватый дневной свет и на дворе застучал железным черпаком водовоз.

478 *11–16 ноября 1899 – нет.*

Варианты прижизненных изданий (К, Зн, Пр)

45 полуночничаешь / полунощничаешь (*К, Зн, Пр*)
54 дыханье / дыхание (*К, Зн, Пр*)
91 съежившийся / ёжившийся (*К*)
97–98 вымытые стаканы прыгали / прыгали от этого вымытые стаканы (*К*)
106 скорей замерзнет / скорее замерзнет (*К*)
132 в залу / в зал (*К, Зн, Пр*)
202 в ярко освещенную залу / в ярко освещенный зал (*К, Зн, Пр*)
315 Кто это повесил / Кто-то повесил (*К*)
333 к впалой груди / ко впалой груди (*К, Зн, Пр*)
341 разукрашенная, нагло горящая / разукрашенная елка, нагло горящая (*Пр*)
359–360 на лицо Сашки и его отца / на лица Сашки и его отца (*К*)
394 целовать по одному / поцеловать по одному (*Пр*)
396 игрушечка / игрушка (*К*)
403 печальный и жалкий отец / печальный, жалкий отец (*К, Зн*)
410 трепетаньем / трепетанием (*К, Зн, Пр*)
410 прозрачные стрекозиные / прозрачные, стрекозиные (*К, Зн, Пр*)
450–451 на белом фоне кафелей / на белом фоне кафель (*К, Зн, Пр*)
453 отец так же быстро / Сашка так же быстро (*К, Зн*)

МАТЬ

(С. 279)

ЧАСТЬ I

⟨*л. 1*⟩ МАРИЯ ПЕТРОВНА

Дворник большого дома, где жила М⟨ария⟩ П⟨етровна⟩, мясник и хозяин мелочной лавочки, находившейся в том же доме, единогласно признавали М⟨арию⟩ П⟨етровну⟩ весьма почтенной старушкой. По свойству своих[1] занятий оба они были сердцеведами большой руки и в обман вдавались нелегко. Был ли то косматый господин с подозрительными золотыми очками, или расфуфыренная барыня, слишком белая и слишком румяная, или же[2], наконец, залатанный и тщательно[3] заштопанный чиновничек, божившийся двадцатым числом, – каждый из них находил себе справедливую оценку, хотя и не всегда согласную. Ибо дворник был ⟨*л. 1 об.*⟩ консерватор, а лавочник – несколько либерал. Насчет же М⟨арии⟩ П⟨етровны⟩ оба были единодушны.

– Это не то что из тех, что только прозывается благородными. Заберет по целковый в долг, выклянчит, а потом – ищи-свищи. И всегда с почтением, с вежливостью – извольте, Ив⟨ан⟩ Д., получить двадцать копеек. Не то что наш Петух Петрович. 19-го хуже мокрой курицы, сладости разводит – а 20-го фу ты, ну ты, ножки гнуты.

– Благообразная старушка, – авторитетно соглашается дворник. Ни сборищев, ни какого скандалу: тихо, смирно...

– Аккуратная старушка! А ведь знаем – не густо.

– Кабы не дочка – подыхать.

⟨*л. 2*⟩ И успокоенные в участи человечества, хранящего такие образцы, как М⟨ария⟩ П⟨етровна⟩, друзья переходили к другим очередным вопросам общественного или частного свойства.

А Мария Петровна, осторожно спрятав под большой платок бутылку постного масла и два фунта черного хлеба, мелкими шажками переходила через грязный двор, внимательно[4] разбирая близорукими глазами сухие места и направляясь к № 4.

---

[1] *Далее было начато:* об⟨язанностей?⟩

[2] же *вписано.*

[3] тщательно *вписано.*

[4] *Далее было:* всматриваясь в

№ 4 представлял собой[5] обычное в больших домах полуподвальное помещение, выходившее верхом[6] окон[7] в тесный узкий проезд между двумя кирпичными громадами. Нижняя часть окон упиралась в землю. Свет, скупо проходивший в окна, не попад⟨ал⟩ прямо сверху, а[8] ⟨*л. 2 об.*⟩ попадал сперва на кирпичную стену и, уже отразившись от нее, входил каким-то буровато-желтым в невзрачную квартирку. Из трех маленьких комнат одну снимала[9] какая-то жилица с своей мебелью и самоваром, в двух других ютилась с дочкой М⟨ария⟩ П⟨етровна⟩. Бедность была заметна всюду, но бедность чистенькая, благородная, как принято ее называть[10], в отличие от бедности, не имеющей двух смен белья и куска хлеба. Благотворителям, даже не преследующим сценические эффекты, делать здесь было нечего: люди, очевидно, живут и могут жить таким же образом до бесконечности.

По мужу М⟨ария⟩ П⟨етровна⟩ была чина невысокого: ⟨*л. 2**⟩ всего только вдова к⟨оллежского⟩ секретаря. Но средства когда-то много превышали чин. Покойник служил бухгалтером в одном из провинциальных общественных банков и каким-то образом зарабатывал очень много денег. М⟨ария⟩ П⟨етровна⟩ и до сих пор не может хорошо понять этих способов. Знает она, что тогда у всех было много денег, все жили хорошо и даже роскошно. Так же жили и они. Держали лошадей, много прислуги, имели собственный дом, прекрасно обставленный. Постоянно принимали гостей и даже важных особ. Единственную дочь, М.В., обучали в гимназии, нанимали для нее гувернанток. М⟨ария⟩ П⟨етровна⟩ радовалась – но все вдруг ухнуло. За что, почему и куда – М⟨ария⟩ П⟨етровна⟩ не знает и до сих пор не ⟨*л. 2 об.**⟩ может без ужаса вспомнить этого трехлетнего периода, когда все кругом метались как оголтелые, о чем-то хлопотали, чего-то боялись, шушукались и снова хлопотали. Муж стал запивать еще больше, а там был продан дом, а там события пошли с небывалой быстротой и какой-то призрачной непоследовательностью. Суд[11], смерть В.И. от[12] паралича сердца; еще умер знакомый, а там продали мебель... М⟨арии⟩ П⟨етровне⟩ начинало казаться, что наступил конец мира и все валится в пропасть. Если бы не добрые

---

[5] *Было:* свое
[6] верхом *вписано.*
[7] *Было:* окном
[8] *Далее в рукописи:* отражался (*незач. вар.*)
[9] *Было:* нанимала
[10] *Далее было:* от бедности
[11] *Было начато:* Сме⟨рть⟩
[12] *Далее было начато:* раз⟨рыва⟩

люди, то растерявшейся недалекой женщине пришлось бы остаться совсем без гроша.

Кое-какие[13] крохи были спасены. ⟨*л. 3**⟩ Манечке, уже[14] 17-летней девице, удалось дотянуть год до окончания гимназии. Кое-как пробились еще год, а там началась нужда.

Много мытарств пришлось перенести двум женщинам, одинаково не подготовленным к борьбе за существование. Занесла их наконец судьба в престольный град Москву, дочку закинула в какой-то большой магазин, конторщицей на 25 рублей жалованья, а[15] мать, ослабевшую и запуганную, как камень привязала к дочкиной шее.[16]

ЧН1

⟨*л. 100*⟩ Под серым пологом зимнего неба раскинулся громадный город. Он стремился к небу[17] сотнями церквей, точно жаждущих вырваться из серого[18] тесного поля каменных плоских домов, и был так велик, что люди могли прожить в нем всю жизнь, ни разу не встретившись друг с другом. Летом он посылал в небо тучи пыли и грохот своих мостовых, зимою он озарял его бесчисленными огнями своих фонарей.[19] По запутанным трещинам, рассекавшим каменное поле на тысячи кусков, суетливо копошилась черная масса, таявшая к ночи и рождающая⟨ся⟩ утром. То были люди. Они рождались, умирали, радовались и плакали и все бежали куда⟨-то⟩ и бежали, маленькие, хлопотливые, озабоченные. Иногда серые тучи, наскучив одиночеством, спускались вниз и серым туманом расползались по улицам, словно обнимали дома и людей и гасили свет фонарей. Люди сжались от их холодных объятий, но не останавливали своего озабоченного бега. Туман[20] пронизывал их[21] платье, проникал в их сердца и возвращался оттуда еще более серым, еще более скучным и с радостью уходил к своему холодному, но свободному небу. Частица его оставалась в сердцах, ⟨*л. 101*⟩ гасила в них огонь любви и делала их холодными и хмурыми.

_____[22]

---

[13] *Было начато:* чт⟨о⟩
[14] *Далее было начато:* семн⟨адцатилетней⟩
[15] *Далее было:* дочек⟨?⟩
[16] *Текст обрывается.*
[17] *Далее было начато:* ты⟨сячами⟩
[18] *Далее было начато:* ду⟨шного?⟩
[19] *Далее было:* И летом и зимою
[20] *Далее было:* проникал
[21] *Далее было:* сердца
[22] *Текст обрывается.*

ЧН2

⟨*л. 99 об.*⟩ Под серым пологом сев⟨ерного⟩ неба раскинулся город[23], такой большой, что люди могли ⟨прожить в нем всю жизнь, ни разу не встретившись друг с⟩[24] другом. Среди миллиона существ, наполнявших его дома, затеряны[25] были маленькие жизни[26 27]: одна принадлежала седой женщине, другая – ее дочери.

ЧА2

⟨*л. 110*⟩

МАТЬ

Зимою, когда день кончался рано и уже с пяти часов большой[28] город[29] бросал на небо розовое зарево своих бесчисленных огней, Екатерина Васильевна начинала бояться за дочь, которой нужно возвращаться домой очень поздно, в десятом часу. Ей нужно пройти часть Тверской улицы среди проституток, ловящих мужчин, и мужчин, преследующих женщин, всех без разбору, лишь были бы они красивы; надо потом скрыться в полумраке узеньких переулков, где мало фонарей и полиции и редки прохожие[30], и, наконец[31], черный[32] длинный двор и черная, скользкая, крутая лестница, на которой можно сломать ногу. И чем ближе подходило время к десяти часам, тем тревожнее становилась Ек⟨атерина⟩ В⟨асильевна⟩, заглядывала в темное окно, подбрасывала угольев в самовар и непроизводительно жгла керосинку. Если дочь запаздывала, в седой голове матери возникали страшные картины, от которых усиленно билось сердце и хотелось бежать на улицу. То Маня представлялась ей[33] под колесами конки, окровавленная, ⟨*л. 111*⟩ убитая, смятая[34], и синяя ее кофточка, которую мать[35] только вчера[36] выгладила, разорвана и покрыта кро-

---

[23] *Далее было:* . Он стремился к небу

[24] *В тексте между словами "могли" и "другом" – тире, в данном случае обозначающее вставку из соответствующего места ЧН1.*

[25] *Было:* заброшены (*незач. вар.*)

[26] *Вместо:* маленькие жизни – *было:* женщины (*незач. вар.*)

[27] *Далее было:* , старая седая мать и молодая дочь

[28] *Далее было:* , сияющий огнями

[29] *Далее было:* начинал освеща⟨ться⟩

[30] *Далее было:* . Потом

[31] *Вместо:* и наконец – *было:* Потом

[32] *Далее было:* двор

[33] *Далее было начато:* окров⟨авленная⟩

[34] смятая *вписано.*

[35] *Было:* она

[36] *Было:* что

вью; то Маню обижал какой-нибудь пьяный и сильный[37] мужчина и грубо целовал ее бледную щеку. В эти минуты Маня казалась матери не такой, какой она была теперь, а маленькой, чистенькой и пугливой девочкой, с розовым бантиком в густых черных[38] волосах и наивной улыбкой.

Наконец приходила дочь, утомленная, раздражительная и, не снимая[39] синей кофточки и белого крахмального воротничка, ложилась на кровать и смотрела то на потолок, то на мать, неуверенно хлопотавшую около стола, и говорила:

– Как ты стучишь[40].

Екатер⟨ина⟩ В⟨асильевна⟩ роняла ложечку, которую держала в руках и, стукнув[41] стул, шла к керосинке.

– Ты бы, Манечка, разделась.

– Ах, не приставай, пожалуйста. Сама знаю, что нужно делать.

Когда чай поспевал, Маня лениво раздевалась, злясь на туго застегнутый корсет и разрывая снурки[42], набрасывала на голые плечи платок и шла к столу. Мать смотрела, как она морщась пьет дурно пахнущий чай, и не узнавала своей девочки. Лицо сидевшей перед ней девушки было ⟨*л. 112*⟩ темное, старое, и несмотря на пудру, нос и веки краснели[43]. И так долго сидели друг перед ⟨другом⟩ две эти женщины и молчали. Одной хотелось говорить, но она не смела, другая смела говорить, но усталость, бессильная злоба на судьбу[44] и на людей сковывали ее язык. Иногда разыгрывалась дикая, мерзкая сцена. Ничего не видя перед собой, дрожа от злости и горя, Маня выкрикивала дребезжащим голосом упреки матери за погубленную молодость, за грудь, которая болит у нее от работы. Она хватала себя за редкие волосы, колечками подвитые на лбу, и, стиснув зубы, бросалась на постель, а крупные слезы текли из покрасневших глаз и смывали пудру.

– Успокойся, деточка, – говорила бледная мать, и седая голова ее тряслась. – Я знаю, знаю, как ты мучаешься за работой[45], да что ж поделаешь.

---

[37] *Было:* грубый (*незач. вар.*)
[38] *Было:* пепельных
[39] *Далее было начато:* коф⟨точки⟩
[40] *Далее было:* – говорила наконец она
[41] *Было:* двинув (*незач. вар.*)
[42] и разрывая снурки *вписано.*
[43] *Напротив текста:* темное, старое ~ веки краснели – *на л. 111 об. помета:* Насчет носа и пудры.
[44] *Было:* себя
[45] за работой *вписано.*

Раза три в зиму Маня бывала в опере и возвращалась живая и веселая. Напевая, она задумчиво смотрела в зеркало на свое изображение, и это лицо, смутно белевшее, с горящими глазами, казалось ей[46] красивым. Она шутила с матерью, говорила, как хорошо пел Хохлов, и вздыхала, а маленький самовар бурлил и посвистывал, точно не одобряя ни пения Хохлова, ни этой ⟨*л. 113*⟩ веселости. Теперь, в свою очередь, Маня разглядывала мать и ужасалась тому, как она постарела, и какие у нее жилистые, черные от угольев руки, и как они дрожат. Ей становилось жаль матери и совестно того, что она бывает так[47] зла и раздражительна и несправедлива.

Мать мучительно сознавала, что она ⟨не⟩ только[48] не нужна для дочери, но является для нее обузой, что та лучше бы жила на свои двадцать пять рублей, если бы была одна. И она все выдумывала, где бы достать денег, и[49] иногда на целые дни[50] путешествовала по Москве, посещая[51] благотворителей[52]. Однажды швейцар, которому она надоела, толкнула ее с лестницы так, что она упала и долго лежала; другой швейцар, именинник, заставил ее выпить водки. Деньгами она получала редко, чаще ей давали какое-нибудь ненужное тряпье, которое она продавала на Смоленском рынке, причем ее хлопали по плечам и острили над ней и ее вещами, за которые она назначала непомерную цену. Как-то по рассеянности господ или прислуги ей среди других вещей дали два сапога, но оба они были на одну ногу, и Е⟨катерина⟩ В⟨асильевна⟩ долго придумывала, как бы продать их. На ее счастье ей попался на Смол⟨енском⟩ рынке[53] пьяненький сапожник, веселый и шутливый.

⟨*л. 114*⟩ – Ну-ка, покажь, – протянул он руку.

Ек⟨атерина⟩ В⟨асильевна⟩ протянула один сапог, а другой спрятала за спину.

– Да нешто муж-то об одном сапоге ходил?

Она молча взяла у него сапог и, спрятав за спину, протянула другой.

---

[46] ей *вписано.*
[47] так *вписано.*
[48] только *вписано.*
[49] *Далее было начато:* сготов⟨?⟩
[50] *Так в рукописи.*
[51] *Было:* прибегая к
[52] *Было:* благотворителям
[53] на Смол⟨енском⟩ рынке *вписано.*

– Да что ты думаешь, украду что ли? – изумился сапожник. – Эка невидаль, твои сапоги.

– Ну и мошенник народ стал, – говорил сапожник, оставшись один с приобретенными сапогами. – Старушка чистая, а поди ты – два сапога на одну ногу продала. Придется пропить их.

А Е⟨катерина⟩ В⟨асильевна⟩, зажав в руке полтинник,[54] летела к дому, и ей казалось, что сзади кричат: держи, держи.

Это был случай смешной, и потому она рассказала о нем[55] дочери. Та сперва нахмурилась, но потом стала смеяться и даже передала случай с разными преувеличениями майору Бутылкину, единственному человеку, навещавшему их.[56] Е⟨катерина⟩ В⟨асильевна⟩[57] добродушно и конфузливо хохотала, а майор хмурил седые брови, пускал дым сквозь нависшие усы, и когда остался вдвоем с Е⟨катериной⟩ В⟨асильевной⟩[58], сказал ей:

– А вы того... когда будете что продавать, так мне покажите.

У майора был капиталец, и он всячески увеличивал его. К Е⟨катерине⟩ В⟨асильевне⟩ он ходил ⟨*л. 115*⟩ толковать о политике и советовать[59]. Е⟨катерина⟩ В⟨асильевна⟩[60] забывала имена, путала события, Испано-Американскую войну назвала раз Московско-Брестской, тотализатор называла пульверизатором, но слушала она внимательно, и это было все что нужно майору. Другие совсем не слушали его и называли выжигой. По поводу одной жел⟨езно⟩дор⟨ожной⟩ катастрофы[61] зашла между прочим речь о костоломках, как именовал майор жел⟨езные⟩ дороги, и в доказательство того, до чего опасна езда по ним, майор указал на то, что на каждом вокзале есть будка, в которой страхуют жизнь едущих.

– Хоть какое-нибудь для родственников облегчение: не даром погиб человек.

– А много дают денег? – спросила Е⟨катерина⟩ В⟨асильевна⟩.

– Это как застрахуешься – пять, а то 10 т⟨ысяч⟩.

---

[54] *Далее было начато:* бежа⟨ла⟩

[55] *Далее было:* матери (*описка*)

[56] *Напротив слов:* Та сперва ~ навещавшему их. – *на л. 113 об. помета:* Они были чужими в этом городе (*развернуто в ОТ; с. 282).*

[57] *В рукописи:* Е.Н.

[58] *В рукописи:* Е.Н.

[59] и советовать *вписано.*

[60] *В рукописи:* Е.Н.

[61] По поводу одной жел⟨езно⟩дор⟨ожной⟩ катастрофы *вписано.*

По просьбе Е⟨катерины⟩ В⟨асильевны⟩ майор самодовольно сообщил о порядке застрахования и о том, сколько стоит это. Оказалось, что стоит дешево:[62]

Со времени этого разговора прошло шесть месяцев, уже кончилось лето и наступала погожая, солнечная осень. У майора была открыта полицией тайная ссудная касса, и он был предан суду. Е⟨катерина⟩ В⟨асильевна⟩ и дочь жили все так же и даже хуже, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ ниоткуда не проникало луча в тот мрак, которым окутала их бедность. У Мани каждый ⟨*л. 115 об.*⟩ почти вечер болела грудь или голова, она реже стала браниться с матерью, но зато упорно молчала и плакала редкими злыми слезами. Е⟨катерина⟩ В⟨асильевна⟩ боялась высказывать ей свое сочувствие, хотя чувствовала, что голова Мани полна мрачных мыслей. Однажды Маня долго смотрела на нее злыми глазами и сказала:

– Эх ты! Погубила ты меня.

– Да чем же я виновата, Манечка? Я уж и то, видит Бог, стараюсь...

– А зачем тогда отговорила меня? Жила бы я теперь, как люди живут, а то...

Мать поняла, на что она намекает. Три года тому назад, когда Маня не утратила еще своей красоты, один купец предложил пойти к нему на содержание, но мать и дочь наговорили ему таких резкостей, что купец стал красный как кумач и надел свою шапку только за воротами, а майор, приведший его, целый год не показывал носу. Но упрек в том, что мать отговаривала Маню, был несправедлив: она сама тогда возмущалась и негодовала больше матери.

– Погоди, Манечка[63], все устроится, будешь еще счастлива, – сказала мать, и ее бледная, морщинистая голова тряслась.

– Да уж слышала я это. Нет, придется, видно, самой устраивать.

Уткнувшись в подушку, Маня стиснула зубы, чтобы не закричать от мучительной тоски. Перед ее закрытыми глазами проходил бесконечный ряд тоскливых смутных ⟨*л. 116*⟩ дней, без света, без жизни, без радости.

Занятая своим горем, М⟨аня⟩ не видела, что в матери ее произошла перемена. Она точно пригнулась под какой-то тяжестью, голова ее постоянно тряслась, но в то же время она стала как-то спокойнее, тверже и жалобы и упреки М⟨ани⟩ встречала со странною кротостью, в которой светилось да⟨же⟩ молчаливое[64]

---

[62] *Далее в рукописи прочерк, фраза не закончена.*

[63] *Было:* Маня

[64] молчаливое *вписано.*

порицание[65]. Ложась спать, она подолгу молилась Богу и шептала что-то бескровными губами, и когда поднималась с колен, голова ее тряслась еще больше, но лицо[66] становилось еще спокойнее. Днем она куда-то бегала и хотя изредка приносила старые вещи и снова уносила их на рынок, но выручаемые ею деньги, видимо, не поступали на хозяйство. В свободное время она читала старые газеты, которые давал ей лавочник. Заскорузлые руки, пачкающие бумагу, далеко отодвигали лист от глаз, вооруженных очками, и губы и подбородок шевелились, выговаривая про себя буквы. Чаще всего она просматривала рубрику происшествий, и когда наталкивалась на заголовки: "задавленный поездом" или "страшная смерть", голова[67] ее тряслась сильнее и газетный лист прыгал в руках.

В начале октября Е⟨катерина⟩ В⟨асильевна⟩ сказала дочери, что едет на богомолье ⟨*л. 116 об.*⟩ в монастырь. Дочь ничего не возразила, только подумала про себя, что ⟨ни⟩ на что денег нет, а на путешествие находится, и по совету матери поселилась на эти дни у одной из подруг и[68] была даже довольна переменой. Когда мать собиралась на вокзал, Маня удивилась тому, что она так хорошо одета, совсем как важная барыня. Е⟨катерина⟩ В⟨асильевна⟩ улыбалась бескровными губами – и говорила, что это платье ей недавно подарили, и омрачила этим настроение дочери, не любившей напоминания[69] о том, что они частью живут подачками.

– Прощай, Манечка, Христос с тобой, – перекрестила она дочь, и седая голова тряслась.

С внезапным чувством нежности М⟨аня⟩ о⟨б⟩хватила руками эту голову и покрыла поцелуями морщинки, такие близкие и знакомые.

– Старушка ты моя! – любовно сказала она и шутливо добавила: – смотри под поезд не попади.

– Что ты, что ты говоришь, – испугалась мать. – Прощай, прощай. Приеду... в пятницу.

Денег у Е⟨катерины⟩ В⟨асильевны⟩ хватило ровно настолько, чтобы купить билет и застраховать себя в 10.000 р. На оставшийся пятачок она купила яблоко и, сидя в вагоне, ела его. Поезд несся, оставляя за собой ⟨*л. 102*⟩[70] обнаженные леса и желто-серые поля, унылые и скучные, несмотря на солнце, обливавшее их[71]

---

[65] *Вместо текста:* со странною кротостью, в которой светилось да⟨же⟩ молчаливое порицание – *было:* не то равнодушно, не то даже с молчаливым порицанием

[66] *Далее было:* было

[67] *Было:* руки

[68] *Далее было:* сама

[69] *Было начато:* у⟨поминания?⟩

[70] *В начале л. 102 помета: Мать* (прод⟨олжение⟩)

[71] *Было:* лес

своими лучами. Москва оставалась уже далеко, и пассажиры, пережив первые минуты суматохи, со[72] скучающим видом смотрели в окна, ели, доставая провиант из корзин, и разговаривали о том, кто куда едет, радовались погоде и дешевизне мяса.

Когда поезд после пятиминутной остановки отошел от станции, Е⟨катерина⟩ В⟨асильевна⟩ вышла на площадку. Оставшиеся в вагоне продолжали тот же разговор, вялый и однообразный, вертевшийся около погоды и дешевизны мяса, когда внезапно сильный толчок сотряс вагон и в одно время с ним воздух разрезал визгливый, отчаянный свисток паровоза. Пассажиры, одни качнувшиеся вперед, другие ударившиеся затылками, вскочили бледные и испуганные. Мысль о крушении, никогда не покидающая едущих по жел⟨езным⟩ дорогам, выразилась в беспорядочных криках. Толчки становились чаще, но слабее. Вагон, чувствовалось, подскакивал на рельсах. Все теснились к дверям, ⟨*л. 103*⟩ толкали друг друга, женщины плакали. Последний толчок – и поезд остановился и замер в странной тишине.

Народ высыпал на площадки, спрыгивал и бежал куда-то, куда бежали все. В свежем воздухе неслись[73] вопросы и ответы. Что случилось? Под поезд попал кто-то. Многие радостно крестились, узнав, что крушения нет и они безопасны.

Около чего-то лежавшего саженях в пятидесяти от остановившегося на всем ходу поезда собралась толпа. Головы тянулись вперед, через плеча впереди стоявших, и внезапно, бледнея, отшатывались назад с тихим возгласом: "о Господи!". Какой-то мужчина, высокий и полный, плакал истерическими слезами и кричал, сам, видимо, не понимая, где он. Бледные его губы прыгали, и из них вырывались отрывочные слова:

– Только что вышел и вижу... Боже, да что же это! – он всхлипывал и, не отирая слез, продолжал с широко открытыми глазами: – Наклонилась над площадкой и... Господи...

– Нечаянно, может быть? – сделал кто-то предположение. Полный мужчина обернулся к нему и истерически крикнул:

⟨*л. 103 об.*⟩ – Перекрестилась! Сам видел: перекрестилась![74]

Узнали, что упавшая под поезд была та самая старушка, которая ела яблоко, составили протокол, и поезд тронулся дальше. Около полотна лежал труп, прикрытый чем-то белым, и солнце обливало его холодными лучами и[75] красные пятна, выступившие на полотне[76]. Поля были пустынны и унылы.

---

[72] *Было начато:* см⟨отрели?⟩

[73] *Далее было:* крики

[74] *Далее было начато (с абзаца):* Состави⟨ли⟩

[75] *Далее было:* струйку крови,

[76] *Так в рукописи.*

Маня была в отчаянии, узнав о смерти матери, и не хотела слышать о деньгах, но потом, по совету майора, обратилась к адвокату, так как страховое общество отказывалось платить деньги. В суде дело затянулось,[77] вследствие того что долго не находился толстяк, бывший[78] свидетелем самоубийства. Когда он был найден, голос его оказался решающим. Поверенный общества указал на то, что общество ответственно лишь за случайность[79], а здесь ее не было. Если же, признавая факт самоубийства, присудить искомую сумму, то этим создастся весьма опасный прецедент для будущего и общество ничем не будет гарантировано от людей, пожелавших обогатиться на его счет. Поверенный Мани[80] доказывал, что здесь случайность, н⟨о⟩ в крайнем ⟨*л. 104*⟩ случае, допуская гипотезу самоубийства, нужно деньги заплатить. Он трогательно и красноречиво говорил о высоком самопожертвовании матери, желавшей обеспечить дочь, – при этом он красивым жестом указал на Маню, одетую в траур и сидевшую в местах для публики. Маня плакала, прижимая платок к глазам.

Но гражданский суд, не имеющий права[81] слушаться чувства и имевший перед собой неопровержимое свидетельство толстяка, в иске отказал.

– Ничего, в Сенат пойдем, – сказал адвокат Мане, утешая ее. Но сам он знал, что и Сенат ничего другого не скажет.

16[82] августа[83]

Другой швейцар, именинник, заставил ее выпить водки[84] и вместе с своими гостями смеялся[85], когда[86] она пела песни, жаловалась на судьбу и плакала.[87]

Один пассажир, пьяный, никак не мог закурить папиросы и вертел ее в губах, пока она становилась мокрою. Тогда он брал другую, но и с этой повторялось то же.

---

[77] *Далее было начато:* благода⟨ря⟩
[78] *Было начато:* ви⟨девший?⟩
[79] *Было начато:* несч⟨астье?⟩
[80] *Далее было:* говорил
[81] *Далее было:* быт⟨ь⟩
[82] *Было:* 15
[83] *Три следующих предложения вписаны позднее.*
[84] *В рукописи:* песни
[85] *Далее было:* тому
[86] *Было:* что
[87] *Фраза использована при последующей доработке рассказа (см. ОТ, с. 281, стк. 23–26).*

ЧАЗ

⟨*л. 1*⟩ Трудно сказать – откуда и как приходят в голову иные мысли, такие страшные и обольстительные, как будто сам дьявол шепнул их на ухо. Такою мыслью для старухи Самойловой была мысль о том, чтобы убить себя, как бы нечаянно попавши под поезд, и получить страховую за жизнь премию для дочери Лизоньки. Вычитала ли она что-либо подобное в уличных газетах, которые брала для прочтения у лавочника, или так, где-нибудь слышала, но только однажды, на рассвете, она проснулась словно от толчка – и эта самая мысль о[87] самоубийстве, сперва бесформенная, как обрывок сна, выросла перед нею, законченная и цельная, с такой страшной быстротой, как дом, над которым работают тысячи невидимых мастеров. Еще Лизонька, обеспокоенная скрипом материной кровати, на другой бок перевернуться не успела, еще сама старуха Елизавета Петровна туфель для ног не нашла – как был готов[88] уже весь план, со всеми подробностями. И был он так прост, так удобоисполним и разумен, что даже страшно стало: когда дело так ясно, то нельзя его не исполнить. Елизавета Петровна выпила холодной воды, выкурила две папиросы, но уже заснуть не могла, и так до утра, когда нужно было ставить самовар, лежала с открытыми глазами и думала. Сердце сильно билось, холодели ноги, и одеяло казалось таким легким, совсем неощутимым, что она несколько раз ощупывала его руками – не свалилось ли оно на пол.

Днем, среди мелких забот о жизни, страшная мысль несколько ⟨*л. 2*⟩ потускнела, а к ночи снова стала яркой и еще более определенной и ясной, как будто даже не думая – Елизавета Петровна все-таки думала о ней, где-то в глубине головы, тайком от самой себя. Заснула она спокойно, и даже весело – а на рассвете, в тот же час, что и накануне, внезапно[89] проснулась, но с постели уже не вставала[90] и попыток снова заснуть не делала, а покорно и решительно продолжала обдумывать соблазнительный и страшный план.

Лизонька спала тихо и крепко, к утру она всегда так засыпала, а с вечера всегда вздыхала во сне, ворочалась и даже стонала. И то, что Лизонька была тут, так близко, придавало мыслям особенную серьезность и важность – как показаниям свидетеля под присягой. Удобно было думать и потому еще, что тусклый

---

[87] *Далее было начато:* притвор⟨ном?⟩
[88] был готов *вписано.*
[89] внезапно *вписано.*
[90] *Было:* встала

ноябрьский рассвет,[91] еле озарявший комнату слепым, прозрачным и холодным полусветом, как-то стирал разницу между жизнью и смертью и делал переход от одного состояния к другому понятным и легким. Около кровати Лизоньки стояли ее ботинки, которые должна будет утром вычистить Елизавета Петровна, – и вид этих ботинок, из которых один стоял, а другой лежал на боку, выставив высокий, слегка стоптанный каблук, внушал почему-то уверенность, что смерть неизбежна и близка. И днем все как-то менялось, разнообразилось и двигалось, а ночью было неподвижно и неизменно – и все ночи были так похожи одна на другую, как будто это была одна и та же ночь.

Так несколько ночей, пока Лизонька спала, а ботинки ее темнели у кровати, думала Елизавета П⟨етровна⟩, и вот как в окончательном виде представился ей план. Потихоньку от Лизоньки в месяц или в два она скопит денег, сколько нужно заплатить за страховку; застрахуется она всего в 10.000 р⟨ублей⟩, потому что если застраховаться дороже, то могут возникнуть подозрения и споры – а из-за таких денег общество спорить не станет. Одна богатая барыня, благотворительница, подарила Е⟨лизавете⟩ П⟨етровне⟩ хорошее черное платье; она хотела продать его на толкучке, но теперь продавать не станет, а ⟨*л. 3*⟩ перешьет его для себя и в тот день наденет – вместе с ее черной шляпой, седыми волосами и благообразным лицом это придаст ей внушительную и подходящую внешность. И поедет она в монастырь молиться – это и Лизоньке покажется естественным, да и в тех не возбудит подозрений; билет же возьмет туда и обратно и, кроме того, на дорогу возьмет кулечек с яблоками. Когда после смерти увидят эти яблоки, то никому и в голову не придет, что она бросилась под поезд нарочно.[92]

---

[91] *Далее было начато:* сл⟨епым?⟩

[92] *Текст обрывается.*

ДЕЛО ПРОШЛОЕ

(С. 289)

Варианты чернового автографа (ЧА)

1 *После*: Дело прошлое – (*с абзаца, в качестве эпиграфа*) “Здесь действительное сочетается с несуществующим, вероятное с невозможным, и желательное с безнадежным”.
7 Зинаида / Надежда ◊
8 вершинам берез / вершинам ◊
15 Зинаиду / Надежду ◊
16–17 ее маленькие уши / маленькие уши ◊
23–24 сверкающие лезвия шпаг / сверкающие шпаги ◊
29 Зинаиды / Надежды ◊
33 Зинаида / Надежда ◊
34–35 никто из них не решался / каждый боялся ◊
37 равнодушнее / все равнодушнее ◊
38 Зинаиду / Надежду ◊
39 она / которая ◊
42 Зинаида / Надежда ◊
45 – А знаете что, / – А знаете что, Надежда Александровна ◊
51 тайн / тайн, секретов ◊
51–52 перебила его Зинаида / перервала его Надежда ◊
63 и, конечно / и сдела⟨ю⟩ конечно ◊
63 *После*: – Я никому ~ вашу просьбу. – (*с абзаца*) – Как *торжественно*! // – Почему вы так изменились, оставшись со мною вдвоем? На людях вы и ласковы и любезны – а сейчас этот вид холодного величия, ◊
70 Зинаида / Надежда ◊
88 Зинаида / Надежда ◊
131 Зинаида / Надежда ◊
134 сегодня / сегодня я ◊
142 *После*: – Читала. – Какая прелесть этот Горький! ◊
151 Шпильгагена / Диккенса ◊
162–163 были такой маленькой / были маленькой ◊
163 И лицо / И лицо ва⟨ше⟩ ◊
165 обнимешь /охватишь ◊
174–175 вы ни-встречались / ни встречаться ◊
177 плакала. / плакала. О⟨на⟩ ◊

179 разлюбили / разлюбили ее ◊
182 подозрения / сомнения ◊
184 видит. Зато / видит. И ◊
188 Зинаида / Надежда ◊
194 Зинаида / Надежда ◊
204–205 *После*: И вы остались одна. – Вы читали? ◊
223 *После*: Это возмутительно! – И ведь подумать ◊
229 Напрасно / Напрасно качаете ◊
233 цветы. / запахи. Это не любовь, изжившая самое себя, не цветок, осыпавший лепестки и упавший на непитающую землю... ◊
235 чем равнодушие / как равнодушие ◊
241 В нем вы говорили / Вы говорили ◊
243 заслуживаю / заслужил ◊
251 *После*: где же оно? – Теперь вы знаете, во что вырастает оно? ◊
279 Зинаида / Надежда ◊
283 часы / дни ◊
308 вашу / ваш ◊
318 умышленно / нарочно ◊
341–342 беспокоится о вас / заботится о в⟨ас⟩ ◊
350 а других / и других
356 “славный юноша” / слащавый юнец ◊
359 перед глазами / на глазах ◊
364 Зинаида / Надежда ◊
364 стояла / стояла прямо ◊
367 *После*: оглянулась по сторонам. – Она стала как будто меньше ростом и [ст⟨ала⟩] была похожа на девочку. ◊
368 Зина / Надя ◊
369 Зинаида / Надежда ◊
372 Зинаида / Надежда ◊
375 Зинаида / Надежда ◊
379 тебя. Я пытался / тебя и пытался ◊
381 Зинаида / Надежда ◊
383 *После*: и продолжал – (*с абзаца*) – Ты думаешь, что ◊
388 причинить тебе / причинить ◊
390–391 Твоя любовь / Такая любовь ◊
392 жалким / смешным и жалким ◊
398 это было у нас / это было тогда у нас ◊
402 видел меня / помнишь ◊
403 такую любовь! / такую любовь?
407 тебя / твою руку ◊
408 И наконец уж поцеловал / И поцеловал ◊

409 Зинаида / Надежда ◊
416 Зинаида / Надежда ◊
417 Зинаида / Надежда ◊
421 Разумовский работает, Разумовский то-то сделал / Разумовский, Разумовский ◊
424 Зинаида / Надежда ◊
431 вскрикнула Зинаида / прошептала⟨?⟩ Надежда ◊
434 что любишь / что ты любишь ◊
448 дружеский разговор / разговор ◊
445–449 – Но как могла ты ~ что же сказать о вас? / – А девятнадцатого? // – О, это была прогулка! Да я читала, – какая это интересная книга! Я не следила мыслью за вами, когда вы там целовались. Вы ее так же называли вашею радостью? // – Надя! // – Как вы искусно притворялись – у вас есть положительные способности к сцене. Она ◊
462 Зина / Надя ◊
473 Зина / Надя
492 угрюмо исподлобья смотревший / угрюмо смотревший ◊
492 Зинаиду / Надежду
500 Зинаида / Надежда ◊
502 было так / была шутка ◊
505 Зинаиду / Надежду ◊
513 Зинаида / Надежда ◊
518 Зиночка / Надечка ◊
518 с Колей / с Вам⟨и⟩ ◊
523 *После*: буду здесь без тебя. – А вот и наши: а-у! Сюда. ◊
524 Зинаида / Надежда ◊
524 задумчиво погладила ее волосы / гладила ее по волосам ◊
527 *После*: Зина остается! – (*с абзаца*) *8 сентября ⟨18⟩99* г.

ДЕРЖИТЕ ВОРА!

(С. 302)

ЧАЙ

⟨*л. 5*⟩

ГДЕ ЖИЗНЬ?[1]

Продолжение

Прошло несколько дней, и с каждым из них А.Г. чувствовал себя все хуже.[2] Он уже не пожимал плечами, когда голос слуги будил его, а вместе с ним будил и то стороннее чувство не то дурного сновидения, не то скуки. И он уже[3] не вскакивал решительно с теплой постели, но, отвернувшись к стенке, натягивал до глаз одеяло и лежал неподвижно, стараясь не шевелиться. Каждое движение напоминало ему то, о чем он хотел бы[4] не думать еще хоть одну минуту[5]. И не боясь дурного сновидения, А.Г. возвращался мысленно к обрывкам виденных снов, старался точнее и живее воспроизвести их – и хоть на минуту отдалить тот момент, когда он встанет и начнется снова день, длинный, утомительный и скучный.

Ничего не изменилось, но ничего и не осталось от того, что было. А.Г.[6] садился пить чай и читал газету, но чай казался невкусен[7], а газета вызывала отвращение. И не то чтобы чай действительно был невкусен, а газета[8] неинтересна, но просто и то и другое – надоело. Надоело пить вкусный чай и читать интересную газету. Как это могло случиться и что за причины вызывали это нелепое, ничего не говорящее "надоело", А.Г. объяснить себе не мог, хотя и старался сделать это. Ему хотелось вернуться к поре безмятежия, от которого его отделяло несколько дней и вместе с тем целая пропасть, так было оно далеко. Но безмятежность не возвращалась, а вместо того в голову вторгались глупые мысли, даже не мысли, а какие-то неясные соображения о том, что все это – одно и то же. Сзади, теряясь в тумане далекого прошлого, А.Г. рисовался ряд дней, когда он также сидел по утрам за столом

---

[1] *Было:* НАДОЕЛО
[2] *Далее было:* Уж⟨е⟩
[3] уже *вписано.*
[4] бы *вписано.*
[5] *Далее было:* пото⟨му, что?⟩
[6] *В рукописи:* А.П.
[7] *Было:* вкусным
[8] *Далее было:* вызывала

и пил чай. И это был все один и тот же стол, и стакан ⟨*л. 6*⟩, и самовар. А.Г. ошибался: мельхиоровый самовар был куплен всего год тому назад, а стакан был новый, так как Аннушка[9] третьего лишь дня разбила старый. Смотрел А.Г. на жену, и она казалась ему все та же. Промежуток времени, когда он был холост, совершенно исчез в памяти, поглощаясь временем после женитьбы. Точно и родился А.Г. с женою в один день и с тех пор не разлучался с нею. И что еще хуже: точно Марья Павловна всю жизнь, и в этой жизни каждую отдельную минуту говорила все одно и то же. А.Г. ошибался. Сегодня М⟨арья⟩ П⟨авловна⟩ заговорила с ним о даче, а о даче последний раз она говорила осенью, больше полгода тому назад. Но он был убежден, что этот разговор лишь продолжение вчерашнего. Но обиднее всего было то, что будто сам А.Г. всю жизнь говорил только о том, что надо ехать в суд, и думал лишь о том, что все это надоело. Здесь и сам А.Г. понимал, что он ошибается, так как были дни, когда он не говорил о суде, – совершенно не думал о том, что все это надоело.

День был морозный, но по-весеннему солнечный и веселый, и А.Г. решил идти в суд пешком. И дорогой он продолжал усиленно ошибаться. Правда, что день был похож на многие другие такие же дни, но улица была далеко не одна и та же. Ходил он в суд и по Никитской, и по Поварской, и[10] даже по Солянке, и, следовательно, соображение о том, что он всю жизнь ходит по одной улице, было несправедливо. Какой-то извозчик[11], стоявший на противуположной стороне, обратил внимание на А.Г. и, внезапно обезумев, сорвался с места и подкатил к толстому барину, очевидно не привыкшему к ходьбе.

– Прикажите? – в повелительно-просительной форме обратился извозчик, но, не получив ответа, похлопал руками.

Раскрасневшаяся на морозе рожа извозчика была незнакома ⟨*л. 7*⟩ А.Г., но это не помешало ему подумать "все тот же". За короткую дорогу до Кремля с А.Г. встретились тысячи людей. Были там приказчики, чиновники, разносчики, газетчики, люди, профессию которых он определить не мог; приходилось уступать дорогу женщинам, плохо и хорошо одетым, дурным и красивым. Ни с кем из этих людей А.Г. не раскланялся, но все они казались давно и хорошо знакомы, так хорошо, что... надоели. Все эти мелькающие мимо лица и фигуры[12] со всем их разнообразием

---

[9] *Было:* Семен
[10] *Далее было:* по
[11] *Далее было начато:* об⟨ратил⟩
[12] *Далее было начато:* сли⟨вались⟩

сливались в одно лицо и одну фигуру, бесформенную, туманную и в то же время точно определенную, взвешенную и измеренную... и противную. А.Г. не мог отделаться от чувства, что не только он, но и все эти тысячи[13] всю свою жизнь говорят, делают и думают все одно и то же, и им страшно надоело это.[14]

В суде А.Г. раздел сторож Иван, и А.Г.[15] казалось, что всю жизнь его раздевает один и тот же[16] сторож, и он в то же время сознавал, что это неправда. В гимназии его раздевал Алексей; в университете Семен; да и в суде прошлый год прислуживал в прихожей не Иван, а Петр. Все это были люди, совсем не похожие друг на друга: тонкие и толстые, бородатые и безбородые, семейные и холостые; один бывал доволен, получая двугривенный на чай, другой хмурился и при тридцати копейках.

На лестнице А.Г. встретил Никифор Андреич, только что вернувшийся из Петербурга, и сообщил приятную новость: дело, по которому Лысенко подавал жалобу в Сенат, кассировано. А.Г. обрадовался и бодро вошел в зал гражданского суда. Его дело с[17] Московской жел⟨езной⟩ дорогой было на очереди чуть ли не двадцатым, и приходилось, стало быть, очень долго ждать. А.Г. отправился в помещение Совета. Там его сразу окружила толпа знакомых, веселая и оживленная. Шутник Волков пощупал пальцами его живот и спросил, принимает ли он меры предосторожности ⟨*л. 8*⟩ к тому, чтобы при взрыве не ранить осколками окружающих. А.Г. ответил шуткой, но вспомнил, что и вчера, и позавчера его тыкали пальцами и разговаривали о его животе, даже и тогда, кажется, когда живота не было. Потом все разом заговорили об инциденте с известным Башмачниковым, которому Совет на полгода запретил практику за дурно замаскированный шантаж. А.Г. принял участие в горячем разговоре и даже рассердился на Якова Семеновича, который не соглашался с определением совета, но тотчас же остыл: ему вспомнилось, что и вчера он сердился из-за того же. Подумав еще, А.Г. убедился, что он сердился совершенно по другому поводу: его возмутила беспечность его помощника, прозевавшего[18] апелляционный срок по одному маленькому делу. Но почему-то и шантаж Башмачникова, и беспечность помощника сливались в одно. Все, что дальше говорилось в советской комнате, казалось А.Г. давно знакомым и уже когда-

---

[13] *Далее было начато:* г⟨оворят?⟩
[14] *Далее вписан знак вставки.*
[15] *В рукописи:* А.П.
[16] и тот же *вписано.*
[17] *Далее было начато:* Попов⟨ым?⟩
[18] *Далее было:* срок

то, даже вчера, сказанным. Взяв "Новое время", А.Г. из-за газетного листа смотрел на товарищей. Одни были лысы, толсты и добродушны, как он сам; сидели и говорили спокойно и с весом. Другие с выражением застывшей на лице торопливости вбегали и выбегали из совета, рылись в книжных шкафах и шутили с библиотекаршей. У окна сидели два помощника: один из них, хорошо одетый и свежий, хвалил своего патрона за то, что тот дает ему много дел и расплачивается по совести; другой, засаленный и небритый, завидовал. А.Г. смотрел и слушал и[19] ему чудилось, что в этой грязноватой, искуренной комнате он сидит давным-давно, всю жизнь сидит. И будто всю жизнь он видел перед собою и этих помощников, и[20] книжные шкафы.

А.Г. вздрогнул и углубился в газету. Просмотрев телеграммы из Парижа, он заинтересовался новой выходкой Рошфора и подивовался ⟨*л. 9*⟩ легкомыслию французов, но вспомнив, что он и вчера, кажется, и всю жизнь дивовался тому же, перешел к следующему. "На помощь голодающим!" – гласила статья. Легкое сомнение и несколько фрондирующее настроение овладело А.Г., когда он прочел, что рубля достаточно, чтобы спасти человека от голода на целый месяц. Но ведь и вчера, и всю жизнь он читал, кажется, все об этих голодающих и рублях и сожалел... Дальше![21] Дальше говорилось о театре, об успехе одной пиессы и провале другой; о драках и несчастных случаях; одна дума открыла[22] школу; две думы закрыли свои. Легкомысленный фельетонист старался смеяться и острить; серьезный обозреватель сокрушался и бранил кого-то. Но и вчера, и всю жизнь А.Г. читал все об этих театрах, драках. Он подумал, что, не читая газеты, он мог бы рассказать содержание номера.

Скоро должно было слушаться дело А.Г. Спустившись в зал заседания, он сел в ожидании на скамейке, и вдруг ему показалось, что он забыл дома одну важную бумагу. Испугавшись, А.Г. торопливо перерыл портфель и успокоился: бумага была на месте. Вслушиваясь в бормотанье[23] докладчика, ловя отдельные выражения и по ним машинально стараясь воссоздать картину целого, А.Г. смотрел на дремлющую публику, на прокурора, что-то, очевидно, рисующего на клочке бумаги, и чувствовал, что всю жизнь не выходил из этой залы и так же ловил отрывки фраз и смотрел все на того же прокурора.

---

[19] *Далее было начато:* казал⟨ось⟩
[20] *Вместо:* и этих помощников и – *было:* эти книжные шкафы
[21] *Далее было:* Но
[22] *Было:* закрыла
[23] *Далее было:* члена (*незач. вар.*)

"А если я ему в ухо дам? – подумал А.Г. – Меня будут судить в Палате с сословными представителями. Постой, какая ⟨*л. 10*⟩ это статья? 280-я... 380-я..."

А.Г. оживился, стараясь вспомнить статью, но не мог.

– Совсем забыл уголовное право, – подумал он и попросил шепотом у рассыльного, нет ли здесь уложения.

– Зачем оно здесь будет? – удивился тот.

– Впрочем, не надо. Я так.

"Да и зачем все это? Ах, как надоело и думать-то все одно и то же. Уложение, том десятый..." В этот момент А.Г. готов был поручиться, что с томом десятым он не расстается с детской колыбели, что он, будучи ребенком, имел[24] вместо игрушек том десятый.

Началось и дело А.Г. Давая свои объяснения по иску к жел⟨езной⟩ дороге за увечье личного почетного гражданина Томилина, сыпля привычными[25] меди⟨ци⟩нско-юридическими терминами, размахивая правой рукой, а левой перебирая бумаги, А.Г. чувствовал, как будто[26] он всю жизнь только и делал, что стоял именно на этом самом месте и размахивал рукой и говорил именно о⟨б⟩ этом деле, – на него внимательно-беспристрастно смотрел председатель, с худощавым, желтоватым лицом аскета и небольшой темной бородкой, а сзади всегда слышался шепот и чьи-то осторожные шаги. "А как, должно быть, ему надоело!" – подумал А.Г. про председателя.[27] А.Г. дело выиграл и обрадовался, но, обрадовавшись, подумал: "Как надоело мне радоваться".

Через неделю жена послала А.Г. к знакомому доктору-невропатологу. Тот расспросил пациента о всех признаках его болезни.

– Чувствуете апатию? нежелание работать?

– Да, знаете, странное чувство: как будто надоело все.

⟨*л. 11*⟩ – Именно?

– Есть, напр⟨имер⟩, надоело.

– Даже и есть! – усмехнулся Лещинский. – Но вы, конечно, кушаете.

– По-прежнему, – ответил так же усмешкой А.Г.

– Знаю, покушать вы любили. Ну-с, ничего у вас серьезного нет. Просто вы заработались, переутомились.

– Да я больше в винт играл, чем работал!

– Ну, ну, знаем мы вас. Серьезно, вам нужен отдых. Деньги есть? Поезжайте за границу, встряхнитесь. Говорю вам не только как врач, но и по собственному опыту.

---

[24] *Было:* играл

[25] *Далее было начато:* терм⟨инами⟩

[26] будто *вписано.*

[27] *Текст:* "А как должно быть ~ председателя. – *вписан на л. 9 об.*

– И помогло?

– Как рукой сняло.

– Да и у меня, знаете ли, всего каких-нибудь три недели это началось, – радостно сказал А.Г., чувствуя, что опасения его были напрасны, что ничего серьезного нет.[28] – А раньше ничего такого не было.

– Ну вот видите. Подождите лета, а там и с Богом!

Разговор с доктором лишь на минуту удовлетворил А.Г. Не прошло и часа, как он почувствовал[29] неприятное чувство, от которого не мог теперь отделаться даже ночью, и ему показалось, что и разговор с доктором был уже раз[30] когда-то раньше и что все это старое и надоевшее. Кроме того, в объяснениях доктора чувствовалась фальшь. Переутомление! Здоров он как бык, на два века хватит. Никогда не работал не только до изнеможения[31], но даже и до простой усталости. Другие его товарищи из хомута не вылезают, болеют то тем, то этим, а все работают и ничего им не надоело. "Нет, здесь другая какая-нибудь причина!" – думал А.Г., но отыскать причины не мог.

[Он не чувствовал болезненного отвращения к жизни; нет, ему хотелось жить. В то же время ему было противно] ⟨*л. 78*⟩ чувство, вызываемое его[32] жизнью. Было противно, когда он радуется, противно, когда огорчается. Еще в пору детства А.Г. представлял себе бесконечность в виде длинного, длинного коридора, пустого и коричнево-красного. Такой она теперь представлялась ему, его жизнь: тягучая[33] мучительно однообразная, пустынная. Он удивлялся – как мог он так много пройти по этому коридору,[34] не замечая, что это коридор, что по бокам его стены, а впереди нет ничего.

– Ты оттого хандришь, что у нас детей нет, – говорила ему М⟨арья⟩ П⟨авловна⟩.

Да, детей бы хорошо иметь – ну а вдруг бы они ему так же надоели, как М⟨арья⟩ П⟨авловна⟩? Он ее любит, а она ему надоела. Он и себя любит, а ведь надоел же он себе? Нет, это не то. Но что? Есть что-то неладное в укладе его жизни, но попробуй-ка разыщи его!

И А.Г. ищет. Он не привык размышлять о себе и теперь, мысля, чувствует, как будто он заблудился вокруг трех сосен. Ему до

---

[28] *Текст:* радостно сказал ~ серьезного нет. – *вписан на л. 10 об.*

[29] *Далее было:* это

[30] раз *вписано.*

[31] *Было:* усталости

[32] его *вписано.*

[33] *Далее было начато:* томит⟨ельная?⟩

[34] *Далее было:* что

удивления странно, когда вдруг ему приходит в голову вопрос, не[35] являвшийся в течение 45 лет: что он такое, этот А.Г. Лысенко? Так страшно это чувство раздвоения, когда он как будто откуда-нибудь сбоку смотрит на этого толстопузого, лысого, добродушно-ленивого человека и думает: "это А.Г." Идет и думает: "это идет А.Г." Кашляет и думает: "а это кашлянул А.Г." И добавляет: "и все это надоело А.Г." Но что он такое, этот А.Г.? Положа руку на сердце, он отвечает: это честный человек. Разбирая по ниткам свою ⟨*л. 79*⟩ жизнь, он не может найти в ней ни одного пятна. Всегда он трудился, в то время как многие другие[36] лежали на боку. Еще будучи студентом он предпочитал изводиться на уроках, чем пользоваться благотворительностью. И от общественной деятельности он не уклонялся. Был в землячестве; раз даже на год был выслан из Москвы. Теперь, правда, как-то меньше приходится выступать в качестве общественного деятеля, даже совсем почти не приходится, но зато он на днях пожертвовал сто рублей в пользу голодающих. У него есть не только друзья – друзья у всякого есть, но у него есть даже и враги. Наконец, он приносит другим пользу уже потому, что служит прямо-таки образцом честности. Его нельзя упрекнуть в эгоизме или обскурантизме. Послушать, как он иногда горячо и умно говорит о каком-нибудь вопиющем беззаконии... Да наконец, не он ли первый решил не подавать руки Кашкину, когда тот совершил подлость!

Так все это, так, – но почему же надоело ему все? Или вправду переутомление? Нет. Не хватает чего-то. И снова А.Г. ищет, снова перебирает свою жизнь и решает, что он честный человек, а по утрам прячет голову под одеяло – так страшен ему этот наступающий день. Если бы желудок его выносил водку, он стал бы пить; если бы он был помоложе или⟨?⟩ чувствовал бы жажду смерти, он убил бы себя. Но ни пить, ни убивать себя он не может.[37]

ЧН

ДЕРЖИТЕ ВОРА!

Доктор, уравновешенный, скорее[38] добрый, чем злой. Ходячая мораль. Ходит по корид⟨орам⟩ суда и думает, что сейчас встрет⟨ится⟩ с человеком, к⟨отор⟩ый назвал его "мерзавцем". Прав или нет? Шел по улице. Крики "держи вора". Растопырил

---

[35] *Далее было начато:* прих⟨одивший?⟩
[36] другие *вписано.*
[37] *Текст обрывается.*
[38] скорее *вписано.*

руки и схватил, а тот сказал: мерзавец. И с тех пор доктор все думает: почему он остановил? Заглядывает в отделения: везде воры и хладнокр⟨овный⟩ разговор о третьей краже. Скука. Цифры, а не люди. Есть профессора, что не мешает тысячам умирать от[39] пустых болезней. Плевако только ⟨для⟩ крупных.

Его дело. Не решается смотреть. Дает показания.

– Вы видели, как украл?

– Нет.

– Почему удержали?

– Крик "держите вора".

Прок⟨урор⟩ хвалит его в своей речи. Защит⟨ник⟩ ругает (или совсем молчит). Оправдывают по недоказанности. Разжалобил. Все смотрят косо на доктора. Он оправдывается. Подсудимому собирают денег. Доктор хочет дать в коридоре, но там: мерзавец!

ЧА2

⟨*л. 44*⟩ ДЕРЖИТЕ ВОРА![40]

Рассказ

I

Это было осенью в Москве. На одной из низеньких старинных церквей, робко притаившихся[41] между двумя громадными каменными домами, раздался тихий и робкий благовест, возвещавший об окончании вечерни. Колокол, словно охрипший от старости и одиночества, так как маленькие колокола не могли составлять для него подходящего общества, а другого большого[42] колокола не было, упорно выстукивал однообразное: дон-дон-дон. Он как будто потерял надежду перекричать улицу, которая шумела тысячью своих голосов. Чекали[43] о камни железные копыта лошадей, дребезжали в страшной раз⟨но⟩голосице расхлябанные экипажи и точно хор дьяволов[44] железными голосами кричали[45] полосы,

---

[39] *Далее было:* ⟨*нрзб.*⟩

[40] *В начале л. 44 помета:* Половина сентября ⟨18⟩99 г. *Заголовок подчеркнут синим карандашом.*

[41] *Вместо:* робко притаившихся – *было:* спрятавшихся (*незач. вар.*)

[42] большого *вписано.*

[43] *Далее было:* железные

[44] *Далее было:* кричали

[45] кричали *вписано.*

наваленные на телегу и стукавшиеся друг о друга гибкими концами. В минуты затишья мягко и ровно журчала человеческая речь. Не видно было ртов, которые говорят, нельзя было разобрать и слов, но речь лилась[46] ровная и постоянная.

Побежденный улицею, умолк одинокий звук колокола, но никто не обратил внимания на его печальную смерть. Не слышал колокола и доктор Орлов[47], возвращавшийся домой. Он шел не торопясь, вдыхал свежий, крепкий воздух, заглядывал в витрины магазинов и думал, что бы еще такое купить ему для сына-гимназиста[48]. Он уже купил для жены красивую фарфоровую вазу, и ему хотелось доставить также удовольствие ⟨*л. 45*⟩ и ребенку. Доктор не был ни фарисеем, ни глупым человеком, но, вспомнив, как часто он доставлял удовольствие жене, сыну и знакомым,[49] он невольно улыбнулся и подумал, что он очень хороший человек и, если бы другие люди походили на него, на свете, вероятно[50], жилось бы значительно легче. Орлов собирался уже войти в книжный магазин, когда[51] человеческая речь, мягко журчавшая в его ухе и проходившая для него так же незаметно, как и грохот езды, внезапно[52] усилилась и потеряла свою мягкость. Вот она перешла в крик, такой же смутный и неопределенный, но полный[53] угрозы, гнева и страха. Ухо доктора, далекое от его мыслей, испытывало неясное беспокойство, и Орлов машинально остановился, когда из гневного крика, в котором стали различаться отдельные голоса, выделилась[54] ясная и громкая фраза:

– Держите вора!

Орлов обернулся. Через улицу от церкви перебегала толпа, и впереди нее не было никого. Но все[55] громче и настойчивее выделялся крик:

– Держите вора!

Полный непонятной тревоги, доктор горящим взглядом всматривался в лица бегущих к нему, отыскивая вора, и наконец увидел его. Это был высокий и худой человек, отличавшийся от всех

---

[46] *Далее было:* смелая и неудержимая
[47] *Исправлено синим карандашом на:* Станков
[48] гимназиста *зачеркнуто синим карандашом.*
[49] *Текст:* ребенку ~ и знакомым, – *отчеркнут на полях синим карандашом.*
[50] вероятно *вписано.*
[51] *Было:* как
[52] *Далее было начато:* пот⟨еряла⟩
[53] *Далее было:* непонятной
[54] *В рукописи:* выделился
[55] *Было:* еще

своею поразительною мертвенною бледностью. Он бежал в нескольких шагах впереди толпы, и его тяжелое[56] дыхание, дыхание преследуемого зверя, уже становилось слышным Орлову. В нескольких шагах от Орлова открывался вход в узкий и извилистый переулок, в котором легко было скрыться преследуемому[57]. ⟨*л. 46*⟩ Толпа видела это и настойчиво,[58] требовательно кричала, заглушая все остальные звуки:

– Держите вора!

Вор уже подбежал к Орлову. Хотя это была всего одна секунда, доктор ясно рассмотрел еще молодое, даже красивое лицо, но сейчас искаженное усталостью и страхом. Глаза его со странным выражением одной мысли, овладевшей[59] всем существом[60], скользнули по Орлову и устремились вперед, туда, где открывалась надежда на свободу. Орлов стоял неподвижно, но что-то в лице бегущего, не то[61] этот странный, маниакальный взгляд, не то страшная бледность и тяжелое дыхание, толкнуло его на середину панели[62] и заставило растопырить руки, в одной из которых он держал фарфоровую вазочку. Вор с размаху ударился об Орлова, вышиб[63] вазочку и, отбросив в сторону самого доктора[64], побежал дальше. Орлов наклонился над вазой, увидел, что она разлетелась в куски, и[65] бросился за вором, крича что-то неясно сознаваемое им самим, но похожее на крик "держите вора". В несколько прыжков он нагнал утомленного преступника[66], схватил его сильною рукою за ворот и захрипел:

– Стой, не уйдешь!

В хриплом звуке его голоса была и страшная злоба, и гнев, и торжество. Вор попробовал рвануться, но тотчас же понял бесполезность попытки и сразу успокоился. Дыхание его со свистом выходило из груди, но бледное[67] лицо приняло выражение[68] ординарности и чуть ли не[69] скуки. Его взгляд встретился со взглядом

---

[56] тяжелое *вписано.*
[57] *Исправлено позднее на:* преступнику
[58] *Далее было:* громко
[59] *Далее было:* им (*незач. вар.*)
[60] существом *вписано.*
[61] то *вписано.*
[62] *Было:* улицы
[63] *Далее было:* из
[64] доктора *вписано.*
[65] и *вписано.*
[66] *Исправлено позднее на:* беглеца
[67] *Было начато:* л⟨ицо⟩
[68] *Далее было:* спокойствия
[69] *Вместо:* чуть ли не – *было:* почти

Орлова. Оба молчали. Внезапно лицо[70] ⟨*л. 47*⟩ вора дрогнуло, и Орлов крепче схватил его ворот, прошипев:

– Шалишь, не уйдешь.

Но тот был спокоен и[71] на лице его появилась слабая[72] улыбка. Словно поднявшись на ступеньку, вор сверху вниз посмотрел на Орлова, хотя был ниже его ростом, и равнодушно произнес:

– Мерзавец!

Орлов испуганно взглянул на вора, разжал кулак и спросил:

– Что ты говоришь?

Тот ответил так же равнодушно и скучно:

– Говорю, что ты мерзавец.

Тут подбежали остальные преследователи, оттиснули Орлова и со всех сторон схватили вора, хотя он не сопротивлялся. Откуда-то явился городовой, и вся толпа, увеличившаяся любопытными, отправилась в участок. Пошел за нею, по требованию городового, и Орлов. Он слышал, что в толпе говорят о нем и показывают пальцами, но делал вид, что не замечает этого.

– Да кто он, сыщик, что ли? – спросил какой-то купец, с неодобрением смотря на Орлова.

– Нет, так... барин. По своему делу шел.

Тут же в толпе шла и женщина, у которой был вытащен в церкви кошелек с двумя рублями.[73] Молодой малый, газетчик[74], с очень добродушным лицом, едва покрытым пухом, ударил вора по спине.

– Не смейте драться! – с гневом крикнул доктор, и газетчик[75] сконфуженно отскочил, пробормотав:

⟨*л. 48*⟩ – Да я так, внарошку. Чего его бить!

– Вы не смеете драться! – еще[76] повысил голос доктор: – я вас в полицию отправлю! Это безобразие!

Малый скрылся в толпе, а городовой, обернувшись, добродушно сказал:

– А чего их жалеть, ваше благородие. Они нас не жалеют. Вон у бабы последний рупь сбондил.

– Последний, голубчики мои, последний. Ахти горе мое, – заплакала женщина.

– Не вой, отдадут, – успокоил ее полицейский.

---

[70] *Далее было начато:* вздро⟨гнуло?⟩

[71] *Далее было:* только

[72] слабая *вписано.*

[73] *Далее было:* Какой-то

[74] *Было:* видимо, приказчик

[75] *Было:* малый

[76] еще *вписано.*

Вор шел молча и не оглядываясь. Доктор смотрел на его грязную[77] шею и сухие путаные волосы, видимо не знакомые с гребенкой. Хотя было уже холодно, вор был в одном узеньком пиджаке и каких-то тоненьких брюках, облипавших его тело, как мокрое полотно. Повыше коленного сгиба была большая дыра, в которую виднелось[78] тело, белое и чистое. Орлов смотрел не отрываясь на это[79] [80] тело и думал, отчего оно такое белое и неужели же он на самом деле мерзавец за то, что задержал вора.

– Так последние, говоришь? – спросил он женщину.

– Последние, голубчики мои, последние.

II[81]

Вернувшись домой без покупок, Орлов рассказал жене о случившемся, но умолчал о том, что вор назвал его мерзавцем. Антонина Павловна испугалась и вскрикнула:

– Но ведь он мог тебя убить! Ах, какой ты сумасшедший!

– Ну что за нелепость! – с неудовольствием сказал Орлов и посмотрел на сына.[82] У того глаза горели от восторга и кулак энергично сжимался.

⟨*л. 49*⟩ – Что ты?

– Ах, папа...

– Ну что?

– Я бы его... я бы...

Орлов нахмурился и строго спросил:

– А ты знаешь, за что бы ты его?

– А зачем он крадет? Разве красть можно?

Орлов усадил мальчика возле себя и рассказал ему, что очень часто люди крадут потому, что им нечего есть или у них есть дети, которые хотят кушать. Может быть, и у этого есть дети или больная мать, которой нужно лекарство[83]...

– Зачем же ты тогда схватил его? – удивился мальчик.

Антонина Павловна засмеялась.

– Иди-ка уроки учить, философ! А то уже расфантазировался: просто лентяй и дармоед, который работать не хочет. Мало ли их тут в Москве шатается. А только ты другой раз не изволь

---

[77] грязную *вписано.*
[78] *Далее было:* белое
[79] *В рукописи:* эту (*незаверш. правка*)
[80] *Далее было: а.* дыру *б.* белое
[81] II *вписано между строк.*
[82] *Далее было:* Тот
[83] которой нужно лекарство *вписано.*

этого делать: мало ли что может случиться. Ударит ножом, вот тогда и геройствуй. Ну сколько сегодня получил?[84]

Доктор начинал вынимать из кармана скомканные бумажки – золота не было, всё бумажки – А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ брала их, разглаживала и, по мере того как кучка росла, все ласковее поглядывала на мужа и, когда он кончил, поцеловала его.

– Милый ты мой! Тридцать рублей!

Доктор смотрел на ее тонкие белые пальцы, собиравшие деньги, и ⟨*л. 50*⟩[85] думал, что Тоня раньше так не любила деньги, как теперь. И вообще она сильно изменилась... к худшему. Но сейчас же Орлову стало совестно этой мысли. А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ с таким интересом расспрашивала его о пациентах, так входила в его дела, забывая себя, была такою хорошею женою. Нет, она хорошая и не виновата в том, что муж ее занимается ловлею воров.[86]

– Ну иди, котик, писать, – ласково, но настойчиво сказала жена.

– Не хочется, что-то, Тоня...

– Нечего, нечего. Иди, – жена ласково обняла его и начала шутя подталкивать его к кабинету, где на столе лежала докторская диссертация, уже подходившая к концу.

– Какая ты славная, Тонечка!

– Да неужели? – рассмеялась жена, но глаза ее заблистали счастьем. – Если я славная, то можешь поцеловать меня. А теперь за работу... профессор!

Коля, бросив латынь[87], прибежал из своей комнаты и с завистью спросил:

– Чего вы смеетесь? Мне можно с вами?[88]

_____ [89]

---

[84] *Далее было (с абзаца):* – Станкова?

[85] *На л. 48 об. помета простым карандашом:* думал, что у него много денег, а у женщины 2 р., у вора же ничего нет, думал, что гадко так любить деньги, как любит их Т⟨оня⟩, и что раньше она их не любила.

[86] *Далее вписано между строк синим карандашом:* После обеда

[87] *Далее было:* и

[88] *На л. 49 об. помета синим карандашом:* Посконский – бывший репетитор Станкова; последний, хотя с тех пор прошло 20 лет, все еще сохраняет некоторую почтительность. *(Здесь, как и везде в позднейшем слое правки (см. ниже), фамилия Станков присвоена главному герою (в более раннем слое текста называемому Орловым). Его приятель-юрист Станков в позднейшем слое именуется Посконским.)*

[89] *Далее было (с абзаца):* Орлову хотелось сказать кому-нибудь, что его назвали мерзавцем, чтобы услыхать опровержение. Как засмеялся бы

⟨*л. 51*⟩ III

Орлов сел на кресло, которое обыкновенно занимали клиенты Станков⟨а⟩[90], закурил папиросу и тогда только обратил внимание на хозяина. Тот давно уже смотрел на приятеля тем рассеянно-внимательным взглядом, который бывает у людей, оторванных от работы.

– Чего тебе надо? – спросил он. – Если так, без дела, то лучше убирайся. Две жалобы и иск.

– Я так. Но ты работай. Я не буду мешать.

Но Станков без разрешения уже писал что-то. Доктор мельком взглянул на давно знакомую ему плешину и перевел взгляд, наткнувшийся на такие же знакомые предметы: темные обои, шкаф с книгами, турецкий диван с расшитой подушкой – подарком восторженной клиентки. Потом Орлов взглянул на потолок, засвистал, покачал ногой и спросил:

– А воры сидели у тебя на этом кресле?

– А? Не понимаю, что ты говоришь.

– Воры, говорю я, сидели на этом кресле, на котором я сижу?

– Сидели. А теперь сидит осел, который мешает.

Орлов помолчал.

– А я ни разу не видал воров.

Станков писал, и Орлов, не получив ответа, продолжал:

– Вчера, впрочем, встретил одного. А до тех пор ни разу. И у меня никогда ничего украдено не было. Сам я воровал, но только когда был маленький. Сахар воровал. А ты когда-нибудь воровал?

⟨*л. 52*⟩ – Воровал.

– Вот как! Расскажи, пожалуйста, это очень интересно.

– Убирайся.

– Меня очень интересует вопрос, что такое кража?

– Если ты не отвяжешься, я выброшу тебя за дверь. Вот шкаф, а в шкафу книги. Возьми "Уложение" или Фойницкого. И отвяжись.

Орлов засмеялся и пошел к шкафу, где долго рылся, прежде чем нашел указанные книги. Усевшись с ногами на диван, он перелистал книги, отбросил "Уложение", но Фойницкого читал долго. Однако когда книга была захлопнута, на лице Орлова выражалась неудовлетворенность.

– А больше у тебя ничего нет о краже?

– О краже нет. Есть о мошенничестве по русскому праву.

– А разве это не то, что кража?

---

[90] *Исправлено синим карандашом на:* Посконский

Станков свирепо посмотрел на доктора и, не отвечая, углубился снова в работу. Приняв положение поудобнее, доктор закурил и начал размышлять о прочитанном. Это было не то что ему нужно. Тут говорилось о том, какими признаками определяется кража, и что, помимо простой, бывает кража со взломом, грабеж и еще что-то. Все это Орлов уже знал, хотя не так точно, и ему хотелось узнать совсем другое. Но вот что другое – этого он ясно понять не мог и сам: не то хотелось найти разрешение вопроса о том, хорошо красть или дурно, не то узнать, откуда берутся воры и правы ли те, кто их задерживает, хотя бы[91] за то сами воры называли их[92] мерзавцами. Конечно, этот негодяй, отнявший у бедной женщины последние два рубля, был ⟨*л. 53*⟩ не прав, об этом и толковать нечего, – но отчего ему так неприятно, мало того что неприятно, больно, так больно, как будто он[93] сам украл эти два рубля? И в сущности говоря, он и украл, и украл нечто более дорогое, чем два рубля – он отнял у другого свободу. Имел ли он на это право? Если бы вчера Орлов поехал домой на извозчике, как раньше собирался, а не пошел пешком, потому что жалел четвертак и была хорошая погода,[94] этот бледный человек с таким белым телом гулял бы на свободе,[95] быть может, ел бы что-нибудь вкусное, купленное на украденные деньги; или пил бы водку и был весел. А теперь он в тюрьме. А потом его будут судить, осудят, и[96] опять придется сидеть в тюрьме. Правда, у женщины остались деньги – последние, как говорит она, но стоит ли тюрьма и свобода этих денег? Было бы в тысячу раз лучше, если бы он поехал на извозчике. Странно, что вот и на этом[97] кресле сидели воры, такие же, быть может, как тот оборванный, или другие – толстые с крючковатыми носами и наглостью во взглядах, укравшие тысячи или даже[98] десятки тысяч. Хорошо Станкову: для него не может быть никаких сомнений, как поступать с вором, и он знает все о краже. А чем виноват он, Орлов, что не знает этого? У него своя специальность – больные. Он о них и думал всегда, для них учился – скоро он будет доктором, а потом, вероятно, пойдет и дальше – разве он обязан думать еще о каких-то

---

[91] *Далее было:* их

[92] их *вписано.*

[93] *Текст:* толковать нечего ~ как будто он – *подчеркнут синим карандашом. К нему на л. 52 об. дана помета:* Усилить.

[94] *Далее было:* вор

[95] *Далее было начато:* что-ни⟨будь⟩

[96] и *вписано.*

[97] *Далее знак вставки синим карандашом.*

[98] даже *вписано.*

ворах? Крадут, ну и крадут. Это всегда было и будет. Они крадут, прокуроры обвиняют, защитники оправдывают, а суд сажает в тюрьму. При чем же он-то здесь? Да, это и было бы так, если бы он не схватил этого негодяя... От неприятного чувства Орлов ⟨*л. 54*⟩ даже поморщился и его полное лицо с русой окладистой бородой приняло выражение досады на себя и боли.

– Скоро кончишь? – спросил он Станкова.

– Сейчас. Четверть часа.

...У него есть своя специальность, он честно исполняет свои обязанности и по отношению к семье, и к окружающим. Скажи он кому-нибудь, что его назвали мерзавцем, – засмеют, не поверят. Жаль, нет никого под рукою, кто сейчас доказал бы ему, что он честный человек. Конечно, он честный человек, что бы ни говорил этот негодяй. Но отчего ему[99] так неприятно, словно он съел чего-нибудь очень-очень кислого? Он исполняет обязанности по отношению к семье, – но он любит семью, что же тут честного? Он лечит больных, берет с них немного, а бедных лечит совсем бесплатно – быть может, в этом его честность? Да, конечно, в этом. Но откуда приходят к нему эти вопросы? Неужели все это от одного слова "мерзавец!" – экое отвратительное слово. Жил он себе в стороне от этих воров, и все было так хорошо. Напрасно он пошел пешком...

– Кончил, – сказал Станков и потянулся так, что у него захрустели суставы. – Здорово вышл-о-о, – добавил он с зевотою: – ну сказывай, девица, сказывай, красная, что тебе надобно?

– Да вот, брат, неприятная история у меня вышла, – ответил доктор и рассказал про то, как он схватил вора и про теперешнее свое неприятное чувство.

– Да за каким чертом ты его схватил?

⟨*л. 55*⟩ – И сам не знаю, как это вышло. Кричат "держи" – я и схватил.

– Врешь, не поэтому. Это у тебя инстинкт собственника заговорил.

– Да какой же я, черт, собственник.

– Все равно, назови хоть инстинктом честного человека. Уважение к чужой собственности, традиции, бессознательное, ну и так далее. Конечно, не стоило хватать.

– Да ведь все равно, не я, так[100] кто-нибудь другой схватил бы?

– Ну и пусть его.

---

[99] ему *вписано.*

[100] не я, так *вписано.*

– Стало быть, я, по-твоему, мерзавец? – рассердился Орлов.

– Ну вот еще, выдумал.

– Ну а скажи: красть – хорошо или дурно?

Станков рассмеялся, но Орлов был серьезен[101]. Несколько смущаясь, он сказал:

– Ей-богу, сам не знаю, откуда эти мысли лезут. Это меня негодяй этот взволновал.

– Почему же негодяй? Он, может быть, с своей точки зрения и прав. С своей точки зрения, понимаешь? Представь себе, что этот молодец[102] день или два не ел – это бывает, ты сам говоришь, что он в лохмотьях, – ничего⟨?⟩ не ел, украл деньги и бежит. И вдруг его останавливает барин, хорошо одетый, сытый, в кармане у которого не два, а двести рублей, – вот ты и мерзавцем выходишь. Задержи его городовой, он его, конечно, не назвал бы так, потому что у него служба такая. А потом относительно того, дурно или хорошо красть: тебе как естественнику более приличествовала бы другая точка зрения. Красть – ни хорошо, ни дурно, а ⟨*л. 56*⟩ необходимо. И так же необходимо наказывать воров. У одних всего много, у других ничего нет – вот и скажи, что тот, кто украл, поступил дурно.[103]

– А ты украл бы, если бы у тебя ничего не было?

– Нет. Помешал бы тот же самый инстинкт, который заставил тебя схватить вора.

– Я с тобою не согласен. Тебе бы не позволило этого нравственное чувство.

– Я и говорю: инстинкт.

– Ах, это не то совсем. У тебя есть, кроме того, сознание, что кража вредна для того, кого ты обкрадываешь. Напрасно выставляешь ты себя таким.

– Что же, я не прочь от сознания.[104] Только оно помогло бы мне в одном: у кого можно украсть – без вреда для него – и у кого нельзя. Ну да оставим эти пустяки.[105] Знай одно: есть "У⟨ложение⟩ о н⟨аказаниях⟩", которое говорит: не смей красть, а то я тебя в бараний рог согну. Ну и спи спокойно под тенью свежего[106] вишневого листка или как там.

– А как же насчет "мерзавца"?

---

[101] *Вместо:* но Орлов был серьезен – *было:* глядя на него, сконфуженно рассмеялся и Орлов

[102] *Далее было:* , и чем

[103] *Текст:* необходимо ~ дурно. – *отчеркнут синим карандашом на полях.*

[104] *Так в рукописи.*

[105] *Далее было начато:* Я решит⟨ельно?⟩

[106] *Далее было начато:* сир⟨еневого?⟩

– А уж это, брат, как хочешь. У всякого своя[107] точка зрения – не лишены этого права и воры. Пойдем-ка лучше чай пить. Что диссертация, подвигается? Молодец у тебя А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ – ведь я тебя знаю, лентяя.[108]

⟨*л. 57*⟩[109] IV

Мерзавец!..

За что тот назвал его этим гнусным именем, более неприятным и тяжелым, чем даже слово "подлец"? Очевидно за то, что Орлов схватил его и задержал. Но в таком случае вор глуп,[110] так как должен понимать, что он делает преступное и во всех честных людях должен встретить врагов. Итак, все просто: он, Орлов, враг того человека, т.е. даже не человека, а того, что тот делает. Если вор не будет красть, то Орлов будет его другом, как и других людей. Да, это очень просто.

⟨*л. 58*⟩ Так думал Орлов, лежа на диване и неподвижно[111] выставив кверху свою широкую бороду. Глаза его были закрыты, и перед ними стояло бледное, усталое лицо. Губы на этом лице шевелились и тихонько шептали – мерзавец.

Вор глуп – продолжал думать Орлов, – но я еще глупее. Во всем виновато мое отвратительное добродушие и мягкость характера. Тоня делает хорошо, что считает мои деньги и заставляет писать. Очевидно, что то неприятное, что есть где-то во мне и сосет, есть жалость. Мне жалко вора, потому что он бледный, у него интеллигентное лицо и прореха. Мне так же жалко бывает и моих больных, когда приходится причинять им боль. Значит, жалость.

Доктор открыл глаза и посмотрел в окно. По темному фону стекла сбегали светлевшие от огня[112] лампы капли[113]. Начинался дождь осенний, надолго.

---

[107] *В рукописи:* своего

[108] *Далее вырезано два листа.*

[109] *Далее было:* IV

Доктор Орлов был простой и искренний человек, и кроме того, врач. Как простой и искренний человек он не мог сознательно обманывать себя и говорить, что ничего не произошло, когда что-нибудь произошло, или что происшедшее не важно, если оно было действительно важно. Когда он начал и днем, и ночью, совершенно неожиданно видеть устремленные на себя равнодушные усталые глаза и слышать направленное в упор слово "мерзавец" – он понял, что так уйти от этого случая, без его обсуждения, нельзя.

[110] *Далее было:* или, наконец, глуп он сам,

[111] неподвижно *вписано.*

[112] огня *вписано.*

[113] *Далее было:* дождя

Нет, это не то, не жалость. Мне вора не жалко, пусть сидит. Ему там в такую погоду даже лучше, чем[114] на улице. А мне жалко себя, за то что он назвал меня мерзавцем. Ну какой же я мерзавец? Я честный человек, а не мерзавец. И Станков честный человек, и Тоня. Смешно об этом говорить. Но за что же назвал он меня мерзавцем? За то, очевидно, что я схватил его. Вор глуп: я должен был поступить так, как честный человек. Пусть он больше не ворует, и я буду его другом. А то неприятное, ⟨*л. 59*[115]⟩ что сосет меня, есть жалость к его бледному лицу. Но я же сказал сейчас, что мне вора не жалко? Ах, какая чепуха!

Доктор повернулся на диване, посмотрел на рисунок обоев и подумал:

Положим, что он украл и бежал. А я схватил его. (А он назвал меня... ну, этим.) Но я должен был схватить его? Ведь должен? Ах, какая чепуха.

Доктор повернулся лицом к огню, посмотрел в окно и подумал:

Он бежал...

⟨*л. 60*[116]⟩ V

Антонина Павловна вызвала Станкова из кабинета, где он сидел с каким-то клиентом, и сказала:

– А я вам на сегодня билет достала на "Бориса Годунова". Коля пойдет.

Станков с утрированным недоумением почесал затылок.

– Пойдемте, пожалуйста! Надо же вам отдохнуть. А я боюсь, что и мой Коля заработался. Он такой вялый, скучный. Все лежит и в потолок смотрит. И он так любит ваше общество.

– Ну ладно, пойдем. Вот кончу с этим господином – и к вам.

– Спасибо. Вы настоящий друг.

"Вот бы мне такую жену, а то досталась такому пентюху![117]" – подумал С⟨танков⟩, идя к клиенту.

⟨*л. 61*⟩ VI

Мерзавец!..

Широкая борода доктора неподвижно торчала кверху. В кабинете было тихо и темно. Из соседней комнаты проникал сла-

---

[114] *Далее было начато:* зд⟨есь?⟩

[115] *В рукописи:* 60 *(ошибочная архивная нумерация)*

[116] *В рукописи: 59 (ошибочная архивная нумерация на вклеенной половине листа)*

[117] а то досталась такому пентюху! *вписано.*

бый свет и неясно[118] обрисовывал контуры большого тела, раскинувшегося на диване. Доктор думал:

Вор назвал меня мерзавцем, так как думал, что я сытый и счастливый человек и задержал его потому, что не понимаю несчастливых. И опять-таки он глуп[119]. Какой я там[120] счастливый человек! Сытый – это правда. Однако не один вор считает меня счастливым. Станков считает меня счастливым. Тоня, все знакомые. Интересно, каким я им представляюсь? Я кажусь им очень высоким, сильным и красивым. У меня большой лоб, за которым можно предполагать много мыслей. Я очень серьезен, говорю мало, пишу диссертацию, и они все думают, что я очень умный. Это я-то умный! В трех соснах заблудился – хорош умница!.. Потом все они видят, что у меня хорошая квартира (доктор мысленно прогулялся по всем комнатам и вспомнил, что не купил еще кресла-качалки), что у меня хорошая жена (доктор представил себе стройную[121] фигуру жены и ее тонкие пальцы, считающие деньги). Почему все они думают, что она хорошая? А ведь ее считают даже[122] лучше меня? Потому, вероятно, что она красивая и все-таки любит мужа. Заставляет его работать. Копит деньги. Занимается ⟨*л. 62*⟩ с мальчишкой и не балует его. Правда, она энергичная, смелая, живая. Я знаю, что ей хочется, хочется, чтобы я приобрел деньги и известность. Много денег и много известности, что-нибудь такое захарьинское. И в действительности она меня совсем не любит. (Доктор вспомнил, как он был болен и она ночи просиживала около него.) Что из того, что просиживала? Она просто отхаживала курицу, которая несет ей золотые яйца. Она спасала во мне дорогой инструмент, на котором она может сыграть что ей хочется. (Доктору становится совестно.) Хотя, конечно, она любит меня и так. Спрашивает теперь, отчего я скучаю, не было ли у меня неприятностей в больнице. Конечно, она хорошая. Но отчего же я скучаю? Или я не скучаю?

Доктор занимается решением вопроса, скучает он или нет. Он ничего не делает, лежит, не поехал в гости – да, он скучает. Но откуда же эта скука? Неужели благодаря этому вору, который назвал его мерзавцем? Пустое, он скучал и раньше, до встречи с вором. Только тогда он называл это переутомлением, а жена называла ленью. Ему часто не хотелось работать, он весь день

---

118 неясно *вписано*.
119 *Было:* дурак
120 там *вписано*.
121 стройную *вписано*.
122 даже *вписано*.

ходил какой-то сонный, ел и пил без аппетита. И всегда в эти минуты лени или переутомления он начинал ненавидеть жену и своего мальчишку. Его тогда раздражало в ней все: и то,[123] как уверенно и ловко режет она белый хлеб и как разговаривает с мальчишкой, не упуская ⟨*л. 63*⟩ случая, как детские романы, сообщать ему полезные сведения. Ей нравится Станков[124], и Борьку она готовит в адвокаты. Ну и черт с ним.

Доктор вздыхает, потягивается, и снова его борода неподвижно уставляется кверху. Он думает, что если бы вор сейчас увидел его, то не назвал бы мерзавцем. Скучно. В соседней квартире кто-то наигрывает на рояли: начинает какой-то[125] вальс, доходит до середины, сбивается и опять начинает.

Доктор думает, что хорошо было бы, если бы он имел 200.000 р.[126] Он дал бы тогда вору тысячу или две и сам уехал бы куда-нибудь отдохнуть. Без жены и мальчишки.[127] Обязательно[128] уехал бы куда-нибудь, где нет ничего этого. Нет книг[129], в которых описываются такие люди, как он, Орлов, и эти люди хандрят, чего-то у них не хватает, трясина какая-то, болото. И чтобы там, куда он поедет, не было таких улиц, как здесь. Главное, чтобы не было улиц с их толпою. Доктор вспоминает, что однажды он уже испытывал скуку, подобную настоящей, и она явилась благодаря улице. Он жил тогда на даче, и взгляд его пригляделся к праздничной картине этой жизни. Благодаря своеобразному подбору, все люди вокруг казались непохожими на обычных людей действительности, которые страдают.[130] Эти люди были сплошь счастливы. Все одеты в белом, празднично. Все ничего не делают. ⟨*л. 64*⟩ Ходят по парку и болтают. А по вечерам или в лунные ночи в том же парке поют песни, целуются[131]. Нужда, горе, смерть точно изгнаны оттуда. Какой-то пир во время чумы. И вот ему совершенно неожиданно пришлось поехать в город. День был серенький, тусклый. Когда доктор вышел из подъезда вокзала, он сразу окунулся в совершенно противоположный мир, кишевший черными тенями. Он шел по

---

[123] то, *вписано.*
[124] *Исправлено синим карандашом на*: Посконский
[125] *Было:* какую-то
[126] *В рукописи:* т.
[127] *Далее было:* Именно⟨?⟩
[128] Обязательно *вписано.*
[129] *В рукописи:* книги *(незаверш. правка)*
[130] *Далее было:* У этих такие здор⟨овые?⟩
[131] *Далее было начато:* и ⟨*нрзб.*⟩

панели, а его толкали, обгоняли, кричали[132] вокруг него, плакали, ругались сотни, тысячи темных грязных фигур, в которых не было ничего праздничного.[133] Все лица озабоченные, беспокойные, тусклые, морщинистые, плохо выбритые[134]; никто не думает друг о друге, и все бегут куда-то, торопятся. Скрипят двери винных лавок; вонючий пар поднимается из окон съестной, и видно, как за грязными столами, в туче мух, жадные рты поглощают какую-то мерзость. Через улицу бежит девчонка с бутылкой постного масла и бумагой, откуда торчит хвост селедки. Идет, как могучий пароход среди маленьких лодок, толстый купец с красным, пошлым лицом, наступает на ноги и сопит. Шатается пьяный; а лицо его замазано кровью и грязью. Он кого-то ругает отвратительными словами, грозит, потом облокачивается на частокол садика и плачет. Городовой заворачивает лошадь ломовика и бьет ее локтем в морду. В этом море грязи скользят, приподнимая белые платья и брезгливо сторонясь, ⟨*л. 65*⟩ нарядные, свежие женщины; с такою же осторожностью пробираются хорошо одетые мужчины с сытыми, самодовольными физиономиями. Доктор не понимал тогда, отчего ему сразу сделалось так скучно, гадко, точно на душу ему опустили какой-то тяжелый камень. Не торгуясь, он нанял извозчика и бежал, и дорогой старался не смотреть на[135] выцветшую спину возницы, будившую в нем то же чувство тоски и какой-то тошноты. И когда он вечером вернулся на дачу, он долго еще не мог привыкнуть к окружающим его счастливым физиономиям и долго[136] Москва представлялась ему страшным гнездом грязи, тоски и жадности.

– Да, уехать бы, подальше, – думал доктор,[137] слыша, как за окном шумит все та же улица, и воображая, как мечутся по ней темные, жалкие и пошлые фигурки.

Тогда был единственный момент, когда улица завладела им и наполнила его душу своею тревогою, и смутою, и грязью. Момент этот прошел – и доктор снова зажил прежнею счастливою и чистою жизнью. Улица не могла пробраться к нему сквозь плотное кольцо, которым он окружил себя. Кто были его знакомые? Присяжный повер⟨енный⟩ Станков, три доктора с семействами,

---

[132] *Было:* говорили
[133] *Далее было:* Физиономии
[134] морщинистые, плохо выбритые *вписано*.
[135] *Далее было начато:* из⟨возчика?⟩
[136] *Далее было:* город
[137] *Далее было:* чувствуя

четыре студента, артист И⟨мператорских⟩ Т⟨еатров⟩[138] Сиротский с женою,[139] два профессора и несколько других интеллигентов. Сквозь этот плотный слой счастливых, чистых и честных людей ⟨*л. 66*⟩ до него не доходил голос улицы с ее горем и преступлением.[140] Улица служила лишь для того, чтобы скользить по ней от одного[141] счастливого человека к другому.

– Ах, зачем я не поехал на извозчике! – упрекал себя доктор.

Действительно, зачем он пошел пешком, услыхал этот крик "держите вора!" и остановил[142] его. Доктор понимает[143], почему так гадко ему теперь: в этот светлый и чистый мир, которым он окружил себя, нагло ворвался человек с улицы. Он вошел в самое святое святых этого мира, он не был гостем, мимолетным видением на улице – он стоит[144] тут, в кабинете доктора, стоит[145] как власть имеющий, смотрит[146] на него своими равнодушными глазами и упорно повторяет[147] все одно и то же дикое слово:

– Мерзавец!..

[VII

– Ты точно сейчас только на свет родился! – говорил Посконский[148], с обидным презрением смотря на рослую фигуру приятеля. – Все это давным-давно известно. Одни хотят какой-то деятельности, другие рекомендуют ее – а и те и другие сидят как раки на мели и только скулят. Ну какая может быть у нас деятельность, ну какая? Где ты ее видел – ну укажи!][149]

⟨*л. 67*⟩ VII

– Ну что, хандрит?

– Он начинает злить меня. Это просто распущенность. Недостает, чтобы он пьянствовать еще начал, как студентом.

---

[138] *Далее было начато:* Хвост⟨ов?⟩
[139] *Далее было:* профессор
[140] *Далее было:* И все было
[141] *Далее было:* честного
[142] *Далее было:* теперь
[143] *Было:* понял
[144] *Было:* стоял
[145] *Было:* стоял
[146] *Было:* смотрел
[147] *Было:* повторял
[148] *Здесь и далее (до конца текста) прежняя фамилия друга главного героя "Станков" везде заменена на "Посконский".*
[149] *Текст:* VII // – Ты точно ~ ну укажи! – *зачеркнут красным карандашом.*

– А что, разве?..

– Нет, конечно, я не допущу. Но я думала, что все это прошло, но с ним, видно, придется еще повозиться.

– Молодец вы, барыня[150]!

– А я его так жалела, думала, что он устал от работы. А какая у него, по совести, работа? Просят только: пиши. "Не могу, не хочется, не настроен". Слава богу, деньги есть. Нарочно злит меня. Расспрашивал весь вечер про Анну Станиславовну.

– Кто это А⟨нна⟩ С⟨таниславовна⟩?

– Да так, была одна такая... Моя подруга. Мы давно разошлись.

Посконский лукаво подмигнул и улыбнулся.

– Вы думаете, ревность? Нет, честное слово. Просто так, мне в пику говорит о ней. А то на днях еще лучше. "О чем вы думаете, Гр⟨игорий⟩ Степанович?" – "О том, чего вы не поймете, А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩". – "А именно?" – "О справедливости". О спра-ве-дливости! Он-то обижен, он-то подавлен несправедливостью!

Посконский рассмеялся, но сейчас же стал серьезен и взял руку А⟨нтонины⟩ П⟨авловны⟩, стал похлопывать по ней.

⟨*л. 68*⟩ – Он серьезно сказал это?

– Вы знаете его.

– Так знаете что, это признак скверный. Помните вы щедринского барана?

– Какого там еще барана?

– Ну все равно. Посмотрите на меня – это что?

– Ну, лысина. Ну а это седина. Да к чему это вы... балаганничаете.

– Вы ошибаетесь: это не лысина – а вопрос "к чему?". А это не седина – а думы о справедливости. Ваш покорнейший слуга пережил все эти вопросы и, между нами, счастливо отделался. Вопрос "к чему?" – это еще пустяки. Он похож на крикливого ребенка, который так утомляет мать своим криком[151], что она в один прекрасный момент совершенно незаметно и приспит его. А вопрос о справедливости – о, это скверная штука! Хотя...[152]

Посконский задумался. А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ смотрела на морщинки около глаз, на изящно завязанный[153] белый галстух и с своею обычною прямотою подумала: "врешь, голубчик, ника-

---

[150] барыня *зачеркнуто синим карандашом.*

[151] своим криком *вписано.*

[152] *Далее было: а.* Он *б.* Посконский

[153] *Далее было:* бант

ких вопросов у тебя не было. Просто рисуешься"[154]. Впрочем, П⟨осконский⟩ всегда любил немного порисоваться, особенно перед женщинами.

– Ну что "хотя"? – спросила она вслух.

– Хотя можно приспать и его. Но Гриша – и справедливость – это меня удивляет. Очень удивляет. Вот что, пошлите-ка вы его ко мне. Мы потолкуем.

⟨*л. 69*⟩ VIII

Мерзавец!..

Широкая борода доктора неподвижно[155] торчала кверху. В кабинете было[156] темно. В соседней квартире играли[157] на рояли. Теперь вальс игрался уже до конца. Изредка к нему примешивался топот танцующих ног.

Доктор находил, что вор был глуп, назвав его мерзавцем. Он должен был сказать ему "брат, мы оба несчастны" или что-нибудь в этом роде. Но доктор вспоминает, что он держал этого брата за шиворот и говорил ему: "стой, не уйдешь!" Ах, зачем он это сделал! Стоит здесь этот человек, стоит и требует ответа.

– Ну что я тебе отвечу? ну что? Ну мерзавец я, негодяй? Доволен?

Но вор не уходит. И снова начинается в мозгу тяжелая работа. Точно с трудом движутся мельничные каменья – и так больно от этого тяжелого[158] движения. И рядом с оборванным вором встает другой призрак. Это девушка, еще молодая. Доктор не помнит лица[159] ее[160], и в представлении у него только высокий рост и масса темных вьющихся волос. И в глазах у нее он читает то же отвратительное, дикое слово: мерзавец!

Это было так. Два или три года тому назад их стала посещать какая-то подруга А⟨нтонины⟩ П⟨авловны⟩, которую звали както... Станиславовна, – имени доктор не помнит. Не то Анна, не то Варвара. Кажется, Анна[161]. В то время вокруг него был уже создан слой из счастливых ⟨*л. 70*⟩ людей, вместе с которыми они от-

---

[154] *Вместо текста:* с своею обычною ~ Просто рисуешься" – *было:* не могла сопоставить этого с вопросами

[155] неподвижно *вписано.*

[156] было *зачеркнуто синим карандашом.*

[157] *Исправлено синим карандашом на:* играют

[158] тяжелого *вписано.*

[159] лица *вписано.*

[160] *Далее было:* лица *(незач. вар.)*

[161] Кажется, Анна *вписано.*

сиживались от житейских зол, и если делали вылазки, то только для добычи провианта. И на всех них эта девушка действовала неприятно. Зачем она ходила, бог ее знает. Она молчала, слушала. Как и во всех порядочных домах, у них кроме винта[162] отводилось место и[163] разговорам. Конечно, мнения высказывались самые радикальные. И время было беспокойное. В у⟨ниверсите⟩те что-то творилось неладное, и профессора являлись с тревожными вестями, разводили руками и говорили: к чему они идут? И вот однажды вечером, когда все они были в сборе и сокрушались, прозвучал сильный звонок и явилась эта девушка. Она, не раздеваясь, вошла прямо в гостиную в своем нескладном ватном[164] пальто; из-за[165] темной массы вьющихся волос сверкали возбужденные глаза. К ней бросились:

– Что такое, что случилось?

Он[166] тогда тоже удивился и смотрел на молодое возбужденное лицо. Теперь доктор вспоминает его: то было очень красивое лицо.

– Завтра готовится большая сходка, – торопливо и радостно[167] говорила девушка.

– Приглашают на нее всех, не только студентов. Всех сочувствующих. Я пришла сообщить вам. Нужно еще забежать кое-куда. Завтра в 8 ч⟨асов⟩ утра. Я зайду за вами. Ох, как я запыхалась! – она улыбнулась и опустилась на стул.

Это была ужасно неловкая минута. Все молчали и избегали ⟨*л. 71*⟩ смотреть на девушку, наивность которой переходила границы возможного. Долго молчали. Когда Посконский[168] заговорил,[169] голос его звучал неуверенно: он видимо боялся обидеть девушку. Но она уже поняла свою нетактичность и наивность. Она стала улыбаться вместе с другими, даже разделась и выпила стакан чаю. На доктора она избегала смотреть. Когда она уходила, доктор вышел на площадку посветить ей, и чтобы утешить ее, так как ему было жалко ее[170], сказал:

– Хороший вы человек, А⟨нна⟩ С⟨таниславовна⟩. Только уж слишком вы увлекаетесь.

---

162 кроме винта *впцсано.*
163 и *вписано.*
164 ватном *вписано.*
165 *Далее было начато:* ма⟨ссы⟩
166 *Далее в рукописи:* доктор *(незач. вар.)*
167 и радостно *вписано.*
168 *Было начато:* С⟨танков?⟩
169 *Далее было:* он видимо старался не обидеть А⟨нну⟩ С⟨таниславовну⟩
170 *Вместо:* так как ему было жалко ее – *было:* чтобы утешить ее *(незач. вар.)*

И тогда эта девушка тоже как будто поднялась на ступеньку и[171] сверху вниз посмотрела на него, и такая обидная жалость и презрение были в ее глазах, что только не хватало одного слова: "мерзавец!"

Доктор помнит, как они потом смеялись по поводу этой наивной детской[172] выходки. Только почему ему всегда такая неудача: зачем не на другого кого-нибудь, а на него посмотрела она так обидно. Куда потом девалась А⟨нна⟩ С⟨тениславовна⟩? Кажется, она больше не приходила. Что если бы она пришла сейчас, сию минуту и позвала за собой? Пошел бы он? Нет, на сходку не пошел бы, но в другое место...

Станков[173] вспоминает свой недавний разговор с Посконским. Станков напомнил[174] ему этот случай и[175] произнес фразу, обидевшую приятеля. Он сказал:

– Мы всегда старались изгнать от себя всех, кто ищет, толкует, ⟨*л. 72*⟩ кто в своих стремлениях заходит дальше, чем ходит конка.

– Чего же ты хочешь? – прямо поставил ему вопрос Посконский, готовясь к бою.

И доктор – и доктор не сумел ответить. Он наговорил какой-то чепухи, и Посконский, большой поклонник Щедрина, недаром сравнил его с карасем-идеалистом. Потом он доказал ему, что у нас нет[176] места широкой общественной деятельности, и заключил так, что всякий должен сидеть на своем месте и честно делать свое маленькое дело.

– А там пусть крадут?

– А что ты можешь с ними сделать? Ну, организуй армию спасения и будь ее генералом. Поверь, что ты лучше будешь, если будешь[177] вылечивать своих больных. Мало этого, иди дальше. Вот Пастер...

– Пастер!.. Куда нам в Пастеры.

– А не[178] дорос, так сиди и молчи. Ты думаешь, ты один? Эка Америку открыл. Все мы сидим и томимся от отсутствия широкого дела. Ты думаешь, мне приятно перекладывать деньги из од-

---

[171] *Текст:* смотреть на девушку ~ на ступеньку и – *отчеркнут синим карандашом на полях.*

[172] детской *вписано.*

[173] *Здесь и далее (до конца текста) прежняя фамилия главного героя "Орлов" везде заменена на "Станков".*

[174] *Было:* привел

[175] *Далее было:* говорил, что

[176] нет *вписано.*

[177] *Далее было начато:* ле⟨чить⟩

[178] *Далее было начато:* мож⟨ешь?⟩

ного кармана в другой. Ведь когда-когда придется помочь действительному голяку...

– Ты служишь идее права.

– Права? А ты знаешь, что такое право? Ты читал том десятый из[179] "У⟨ложения⟩ о н⟨аказаниях⟩".

⟨*л. 73*⟩ – А марксисты? а народники?

Посконский рассмеялся.

– Сидят, как и мы, и друг[180] с другом ругаются.

– А?..

– Именно. Хватит у тебя сил? Иди. Да пустое все это. Уходи от меня. Тоску только нагнал. Уходи.

Да, хорошо бы повидать теперь А⟨нну⟩ С⟨таниславовну⟩. Доктор не может согласиться с Посконским. Да и не верится ж Посконскому. Всегда весел, ездит по Стрельнам, заводит интрижки.[181] Едва ли он когда-нибудь искал выхода. Сиди дома[182] и будь честен – да разве можно быть честным, ничего не делая[183], не страдая. Разве это честно, когда он за[184] три минуты разговора кладет в свой карман три рубля? Он трудился, учился – какие пустяки. Разве это не случай, что он родился у такого отца, который мог отдать его в гимназию, потом в у⟨ниверсите⟩т. Потом он зарабатывал деньги уроками – но разве это был такой уж труд? Да и кто избавлен от труда? Вот и вышел из него доктор, который имеет деньги и жену, которая их считает. А чем виноват тот, что он не доктор и что "честным людям" надо брать его за шиворот. Посконский смеется и говорит, что все это азбучные истины, знакомые всем гимназистам, – но черт ему до того, что это азбучные истины, когда от них так больно.

⟨*л. 74*⟩ Наверху музыка затихла. В кабинете тихо. Борода доктора неподвижна, и откуда⟨-то⟩ из-под нее слышится шепот:

– Уйду я от вас, уйду. Камни колоть пойду, воровать пойду.

Шепот сменяется стоном. Доктор поворачивается на диване и скрипит зубами: он знает, что никуда он не уйдет.

Бледное лицо вора растягивается в слабую улыбку.

– Мерзавец! – шепчут равнодушные его губы.

---

[179] *В рукописи:* или

[180] друг *вписано.*

[181] *Далее знак вставки, напротив которого на л. 72 об. текст ее синим карандашом:* Потом доктору кажется, что у всех адвокатов, благодаря сношениям с людьми сомнит⟨ельной⟩ нравств⟨енности⟩, вырабатывается в конце концов нравственное безразличие, отсутствие чутья.

[182] Сиди дома *вписано.*

[183] *Далее было:* . Разве это

[184] *Далее было начато:* дв⟨е⟩

А за ним в тумане шумит улица и мечутся в тоске жалкие, пошлые фигурки и собираются в темную, страшную силу и тянутся тысячью рук к лицу доктора.[185]

⟨*л. 76*⟩ IX

– Ну и черт с тобою, – думал доктор[186] про жену, которая сказала ему, что если так будет продолжаться, то лучше разъехаться. – Уезжай куда хочешь, а не уедешь, так сам уйду.

Доктор плотнее запахнул шубу и вышел на[187] улицу. Направо или налево идти?

– Пойду направо. Там я еще не был. Все равно где ни шататься.

---

[185] *Далее было:* IX.

– Ну, как наш больной? – спрашивает Посконский, когда А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ встречает его. Она весела и одета для выезда.

– Тсс, – прижимает она палец к губам и шепчет смеясь: – пульс нормальный, температура низкая, аппетит превосходный. Сегодня за обедом полпоросеночка съели. И еще просили.

Посконский смеется.

– Ну ⟨а⟩ насчет того, "справедливости"?

А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ делает жест, точно отбрасывая что-нибудь в сторону.

– Ну?

– Сегодня сам попросил [в гости] к Телешевым ехать – повинтить ⟨*л. 75*⟩ желательно, – [игриво] шепчет А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩, игриво кладя руку на рот Посконского. – А завтра за диссертацию посадим.

– Чего вы там шушукаетесь? – слышится голос доктора.

– У нас с твоей женой есть свой секрет, – говорит Посконский, целуя руку А⟨нтонине⟩ П⟨авловне⟩ и думая: "такая прелесть и этакому пентюху достается. Обидно".

X

К Посконскому вбегает доктор и, бросая на стол какую-то бумажку, говорит:

– Что мне делать, братец, свидетелем вызывают... по тому, знаешь, делу.

– Иди и свидетельствуй.

Станков морщится.

– Не хочется уж очень.

– Да ведь пустяки: два слова скажешь, и все.

– Я знаю. Да так, не хочется.

Приятели смотрят друг на друга, и Посконский смеется. Нехотя улыбается и доктор. Он уже начал забывать об этом неприятном человеке, а теперь нужно опять видеть его. "Ну да там не посмеет ничего ⟨м⟩не сказать", – успокаивает себя доктор.

[186] *Далее было:* , сходя с лестницы

[187] *Далее было:* лестницу

Доктор накануне ездил в гости, играл в винт, и А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ была довольна. Но когда она на другой день хотела посадить его за диссертацию, доктор отказался напрямик: не хочу. Из-за этого и вышла сцена. Жена упрекнула его, что всем, что доктор имеет, он обязан ей. Он был пьяницей и лентяем, он кончил бы дни свои на Хитровке, если бы жена не спасла его. Теперь у него уже есть некоторое имя.

Доктору неприятно согласиться, что жена[188] права и он действительно был когда-то тем, про что она говорит: пьяницею и неспособным к труду. Так как доктору не хочется, чтобы жена окончательно осталась права, он старается теперь идеализировать свое пьянство. Почему он[189] пил? – думал он, шагая по темной пустынной улице. Разве жена с ее сухим умом поймет когда-нибудь это? У нее на все один ответ – распущенность. Пил потому, что его грызла тоска – благородная тоска. Кругом свиньи, ⟨*л. 77*⟩ жизнь какая-то нескладная – он и пил. И не он один пил – все товарищи-студенты пили. Кто больше, а кто меньше, но все пили. Доктор пил до чертиков, но потому, что он никогда не останавливается на полдороге и пот⟨ому⟩ что с его глубокою натурою он ощущал пустоту жизни сильнее, чем другие.

Доктор думает это и чувствует, что лжет. Он вспоминает свой обычный ответ, когда его спрашивали – та же Тоня – о причине пьянства: пью потому, что свинья. Но разве это правда, что он свинья?

Доктор угрюмо смотрит по сторонам, толкает прохожего и думает: да, это правда: я свинья. Но сейчас ему вспоминается другое: именно та, жгучая, беспросветная тоска, которая как будто и не имела причин, но которая требовала ухода от окружающего и временного оглушения[190].

– Если я свинья, то зачем же заставляли меня так страдать? – сердито упрекает он.

Но кто же заставлял его страдать? Почему он всегда старался найти кого-то виноватого и в том, что он страдает, и в том, что он пьет? Дряблость ли это его натуришки, желающей нашкодить и избавиться от наказания, или правда, есть кто-то вовне, кто был врагом доктора и мучителем? Студентом он обвинял товарищей, порядки,[191] наконец жизнь. Последний ответ бывал самым неопределенным, но зато и самым убедительным. ⟨*л. 78*⟩ Жизнь

---

188 *Далее было:* была
189 *Было:* я
190 *Исправлено синим карандашом на:* самооглушение
191 *Далее было начато:* усло⟨вия?⟩

виновата. Кошка дура, а он пай-мальчик. Вот и теперь, когда ему так скверно, он себя выгораживает, а обвиняет всех: жену,[192] Посконского, вора, который[193] назвал его мерзавцем, наконец опять все ту же бесформенную преступницу: жизнь. И как легко обвинять: даже думать не нужно. Сами откуда-то поднимаются всякие хорошие слова: среда[194], безвременье[195], порядки. Вспоминается целый ряд книг, и во всех в них крупными буквами пропечатано: кошка дура, а я пай-мальчик.

Вот когда доктор толковал с Посконским –[196] разве он не старался изобразить жертву, а Посконского подковырнуть: почему ты так живешь, а не этак, и зачем ты и другие так дурно влияете на меня? А сегодня жене разве мало досталось? Она плакала, а он чуть не героем себя считал: ты и такая, ты и такая.

Тоска доктора увеличилась, и к ней опять начало примешиваться что-то остро-болезненное, такое, от которого хочется уйти. И он шагал, шагал вперед, но тоска шла вместе с ним.

Жена и Посконский уверяют, что у доктора нет характера. Доктору это смешно: разве можно утверждать, что нет характера, про человека, который не знает, что ему делать. Небойсь – когда он знал, что ему нужно, характер находился. Мало разве поломать пришлось себя, когда он полюбил А⟨нтонину⟩ П⟨авловну⟩ и решил бросить водку и работать[197]? И сейчас доктор чувствует в себе ⟨*л. 79*⟩ волю, твердую, могучую. Она чувствуется во всем большом теле, в напряженных мускулах, в походке.

Доктор поднимает к лицу свой кулак: кулак дюжий. Если им ударить кого или схватить за горло... например, вора.

– Тьфу, – плюет доктор. У него является физическое ощущение тошноты.

Ну куда, куда он может направить сейчас эту волю? Убить себя – глупо, он не психопат, ему жить хочется. В земские врачи пойти – как иронически советовал Посконский? Но это действительно значит[198] поправиться из кулька в рогожку – там уж как ни крепись, а запьешь. Опять приняться за водку? Водки хочется, но это было бы идиотством, и доктор пить не станет. Остается один путь – тот, по которому пошла А⟨нна⟩ Станиславовна. Вечное трепетание, бесполезное геройство – а улица, эта темная

---

[192] *Далее было начато:* Ста⟨нкова?⟩
[193] *Далее было начато:* ⟨*нрзб.*⟩
[194] *Далее было:* заела, эпоха
[195] *В рукописи:* безвременья (*незаверш. правка*)
[196] *Далее было:* он
[197] *Было:* заниматься
[198] значит *вписано.*

улица будет жить своею и пошлою, и жалкою, и обидною жизнью. Разве...[199]

Доктор внезапно останавливается и бледнеет. Шапка его слезла на затылок, и брови угрожающе сдвинуты. То, что пришло ему в голову, не выражается в мыслях. Пред ним встают странные и страшные образы: огонь, дым, пахнущий кровью, растерзанные человеческие[200] члены и пораженная паникою темная улица и высокие дома с разбитыми стеклами. Доктору страшно самому, он вздрагивает, ⟨*л. 80*⟩ но страшна не эта картина, а то острое чувство, которое пронзает его: да, это возможно.

Он, этот счастливец, пишущий диссертацию, имеющий медную вывеску: доктор Станков, принимает от 5 до 7, умеренный, скромный, имеющий жену и ребенка, квартиру, и вдруг...

Бежать, бежать! Домой, к жене, к Посконскому – пусть посмеется, пусть говорит, спорит, доказывает. Одному страшно. Извозчик, где извозчик? Какой-то пустырь.[201] Заборы бесконечные. Вот громадный корпус фабрики с освещенными стеклами. Доктор прошел раньше ⟨мимо⟩ него и не заметил. Громадина дрожит от скрытой работы. Из высокой трубы вылетает сноп пламени. Так страшен этот одинокий язык огня в черном сумраке ночи, в тишине и безлюдии улицы. Калоши доктора[202] стучат по панели так быстро и страшно: стук-стук.

– Извозчик!

Как медленно тащится эта кляча. Доктор боится смотреть по сторонам. Он спрашивает извозчика.

– Ты из деревни?

Тот говорит, что из деревни, и от себя добавляет, что их три сына. Два в извозе, один в солдаты пошел. А[203] дома одни бабы.

⟨*л. 81/36*⟩ – Неужели одни бабы? – удивляется доктор.

Заворот, еще заворот. Вот и квартира Посконского. Последний уже собирается спать и встречает приятеля с недоумением:

– Откуда так поздно?

Потом вглядывается в его лицо и всплескивает руками:

– Да ты пьян, голубчик? Вот так разодолжил.

Доктор отрицательно мотает головой и говорит:

– Хуже. Слушай.

---

[199] *Текст:* Ну куда, куда ~ жизнью. Разве... – *отчеркнут синим карандашом на полях.*

[200] человеческие *вписано.*

[201] *Далее было начато:* О

[202] *Далее было начато:* скрип⟨ят?⟩

[203] *Далее было:* в деревне

Выходит так, как он и ожидал. Посконский хохочет, хватаясь руками за живот и приговаривая:

– Так. Так. Ну и додумался.

Но вдруг он вглядывается в лицо Станкова и бледнеет. Его пронизывает то же страшное чувство: да,[204] это возможно. Доктор печально качает головой и разводит руками.

– Да ты с ума сошел! – кричит Посконский. – Ведь это дико, нелепо, неслыханно. Ведь ты не мальчишка! Да что говорить об этом! – у Посконского не хватает слов, и он так же разводит руками.

– Нет, говори, говори, пожалуйста, – просит доктор.

В кабинете ярко горит лампа и освещает стол с разбросанными бумагами. Все просто, обыденно, пахнет трудовой жизнью и миром. Возле[205] дивана стоят приготовленные на ночь туфли. ⟨*л. 80 об./37*⟩ – Действительно, брат, затмение какое-то нашло. Черт ведь знает до чего можно додуматься!

Доктор смеется, но этому смеху не хватает искренности. Посконский сердито смотрит на него и говорит с укором и убедительностью:

– Можно ли так мальчишествовать. Ты посмотри на себя. Ведь у тебя жена, дети. Ду-р-рак ты, братец ты мой. Розгами тебя еще надо. Ты уж лучше бы по Москве-реке в Америку отправился.

Станков конфузливо улыбается, а Посконский, снова разгорячась, разводит руками, трогает пальцем за лоб и говорит:

– Ведь это... ведь это можно же додуматься!

X[206]

– Знаете, А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩, будьте с мужем поласковее, – серьезно говорит Посконский.

– Пусть его делает что хочет. Не хочу вмешиваться.

Посконский рассказал про посещение его доктором и про его дикие мысли. А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩[207] искренно смеется:

– Он – анархист! Господи ты Боже мой! – она снова звонко смеется. – Тюлень-то этот!

– Вот того-то я и боюсь. От тюленя всего ожидать можно. Конечно, все это разговоры, пустяки, а черт знает чего ⟨*л. 79 об./38*⟩ наделать может.

---

[204] *Далее было начато:* воз⟨можно⟩

[205] *Далее было начато:* ту⟨фли?⟩

[206] *Было:* XI

[207] *Далее было:* смеется

– Да что он может наделать?

– А кто его знает. Вдруг спятит.

– Ведь это дело другое. Но отчего это с ним? – с недоумением спрашивает А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩.

– Вольного барана во сне увидел.

– Какого еще там барана? Все это глупости одни. Меня беспокоит другое: ведь у него и раньше такие припадки тоски бывали. Я боюсь, не запил бы он опять? Такой с виду здоровый человек, а нервы как у женщины. А скажешь лечиться – "я здоров".

– Ну уж делаете там как хотите. Мое дело предупредить.

– А глупостей от него ожидать можно, – раздумчиво говорила А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩. – Ведь ездил же он студентом в Америку.

– В какую Америку?

– Да нет, так, пьянствовали с каким-то товарищем и решили, что тут скучно, нужно ехать в Америку. До Петерб⟨урга⟩ доехали, а дальше денег не хватило и протрезвились. Да ведь то было спьяну.

Посконский засмеялся:

– То-то он сконфузился, когда я вчера про Америку заговорил. Он уже, оказывается, бывалый!

⟨л. 2⟩[208] XI

У доктора часто бывали головные боли, и ему приходилось наблюдать такое явление: когда[209] боль достигала сильнейшего напряжения и, казалось, идти дальше не могла – внезапно наступало облегчение. То же самое произошло с ним и теперь. Доктор лег спать с ужасною мыслью, что завтра начнется та же мука, еще сильнейшая и горшая, а вместо того проснулся веселый, с свежею и ясной головой.

– Тонечка! – крикнул он жене, которая всегда вставала раньше. Уже четыре[210] месяца стены не слышали этого крика, и самому доктору он показался диким и странным и напомнил все мысли, прошедшие за это время через его голову, и особенно вчерашнюю, дикую.

– Пора, голубчик, пора! – ласково отозвалась А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ из столовой.

"Вот чепуха-то", – подумал доктор про вчерашнее. Ему совестно было смотреть на жену, хотя она и не могда знать этой дикой мысли. Да разве без нее мало глупостей доктор наделал!

---

[208] *В начале л. 2 помета:* Держите вора!

[209] *Далее было начато:* моз⟨г⟩

[210] *Было:* три

– Вставай, вставай, чай простынет, – продолжала А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ из столовой. Раньше она входила к доктору и целовала его и иногда сама собирала носки, которые он всегда терял, но теперь она также ⟨*л. 3*⟩ чувствовала неловкость.

За чаем молчать было неудобно, говорить о чем-нибудь, совсем не идущем к делу, не хотелось. Доктор ждал, что А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ даст тон разговору, но она молчала, и он заговорил о[211] Посконском. А⟨нтонина⟩ П⟨авловна⟩ вполне согласилась с похвалами, которые он дал[212] его уму, но, по обыкновению, упрекнула того в рисовке и ухаживании за женщинами.

– Ах нет, Тонечка, он превосходный человек.

– Да я, Гришечка, и не спорю.

Станков посмотрел на жену любовными глазами и подумал: "если б она знала, какую глупость вчера я думал". Ему хотелось сказать, что он сегодня сядет за диссертацию, но это было бы слишком прямо и резко. Но когда жена поцеловала его в лоб, он удержал ее руку и сказал:

– А нужно будет нынче за работу приняться.

– Ну чего торопиться. Отдохни.

– Достаточно уже пошенапужничал, – решительно возразил доктор. – Пора и честь знать.

В кабинете доктор отвернулся от дивана – он напоминал неприятное – вынул листки диссертации, и они показались ему такими дорогими, полными глубокого значения. Это было как будто то, чего он искал. Ему казалось, что как только он обмакнет перо, слова и мысли так и польются. Он обмакнул ⟨*л. 4*⟩ перо, но тут его внимание привлекла[213] фраза, на которой он остановился четыре месяца тому назад. В ее конструкции было что-то неуклюжее. Потом показалось неудобным сидеть. Явилось неясное беспокойство, что работа может не пойти. Хорошо было бы полежать на диване, но... Доктора болезненно кольнуло нелепое предположение, что там уже кто-то лежит.

– Хоть бы пациент навернулся, – подумал он.

Но пациент не являлся. Между прочим: почему к[214] нему никогда не приходят бедные? У него на доске написано "бедных бесплатно".

– Не такие они дураки, – вылетел у доктора ответ и напугал его, потому что это отвечал тот, каким доктор был вчера и

---

[211] *Далее было:* Станков⟨е⟩

[212] *Далее было:* ему

[213] *Было:* остановила (*незач. вар.*)

[214] *Было начато:* ни⟨когда⟩

третьего дня[215]. Теперешний доктор сопротивлялся, а тот спокойно продолжал: "знают они, как принимают бедняков. Да и что за охота одолжаться всякой свинье".

– Но ведь мне нужно же лечить бедняков, иначе что же это такое? В какое же положение я становлюсь? – спрашивал с негодованием сегодняшний Станков. Вчерашний смеялся:

– И бедняков приспособил к собственному благоудовлетворению. Хорош гусь!

Доктор возмутился. Вовлеченный в спор с вчерашним Станковым, он не заметил, как лег на диван. Закрыв глаза, он старался сосредоточиться на интересном вопросе, который вчера ⟨*л. 5*⟩ мелькал у него в голове, но только мелькал: есть ли вообще смысл лечить бедняков? А если есть смысл, то есть ли к тому возможность, если лечение не ограничивать одной касторкой? Но что-то мешало сосредоточиться. Мелькали отрывочные мысли, и при том как будто не свои: облегчать страдания, разве может быть дурным облегчать страдания... Доктор понял, что мешало[216] ему сосредоточиться: вверху опять играли pas-de-quatre.

– Та-та-ти..., – глухо[217] отбивался такт.

Доктор открыл глаза. Внезапно и то, как он лежит на диване, и падающий боковой[218] свет, и эта[219] деревянная музыка сразу напомнило ему все.[220] Ему представились длинные заборы, дрожащий корпус фабрики и одинокий столб огня, страшный в тишине и безлюдье ночи. И все это опять стало таким близким, и снова острым ужасом пронзило чувство: да, это возможно.

Станков вскочил с дивана и, сжимая обеими руками голову, произнес растерянно и громко:

– Что же делать?

Ему казалось, что он сходит с ума, что сейчас он сделает что-то такое ужасное, после чего уже не будет возврата к жизни. Особенно страшно было то, что кругом все было тихо, обыденно,[221] что по улице грохотали экипажи, а вверху ⟨*л. 6*⟩ равнодушно и деревянно выстукивался такт:

– Та-та-ти...

Станков собрал всю свою волю и решительно подошел к столу и сел, стараясь двигаться спокойно и обычно. Взял ручку, по-

---

[215] *Далее было:* , а не тот
[216] *Было:* помешало
[217] *Далее было начато:* сту⟨чали?⟩
[218] *Было:* сбоку (*незач. вар.*)
[219] *Было:* этот
[220] *Далее было:* В
[221] *Далее было:* и это

играл ею, посмотрел в окно. Он боялся каждого необычного движения. Ему хотелось взять рукою голову, но он боялся: если он возьмет, то произойдет то ужасное, после чего нет возврата.

– Нужно думать с начала. Но где начало? Когда со мною это произошло. Но что "это"? Но нужно думать, думать, думать.

Станков жмурит брови и старается думать. Но мысли беспорядочно скачут. Утро, чай,[222] Посконский[223], диссертация. Вверху перестали играть, и С⟨танков⟩ вздыхает с облегчением.

– На чем бишь я остановился? Да, есть ли смысл лечить бедняков?

– Какой тут смысл, какой тут смысл[224]... – что-то поет в Станкове в такте pas-de-quatre'a.

– Но отчего же? – резонно возражает Станков. Это пение внутри него действует на него успокоительно. Мысли движутся медленнее, ровнее. Одна из них сразу успокаивает Станкова и заинтересовывает его. Где-то он читал – у Свифта, кажется, – совет ирландцам[225] отдавать детей на убой. Если на убой, то, значит, лечить смысла нет. Конечно, нет. Это так просто. Вот ⟨*л. 7*⟩ он еще где-то читал про врача, не то про судью, который, вместо того чтобы лечить, убивал людей, чтобы избавить их от страданий жизни. Да, это совершенно естественно.

Убивать людей?.. Но ведь он же другого хочет? Он хочет помогать людям жить, жить счастливо. Как же это вышло: он все время искал средств к тому, чтобы помогать, а пришел к тому, чтобы убивать.

Станков останавливается в недоумении.

Звонок. Горничная подает бумагу. Станков с удивлением рассматривает ее. Повестка к[226] следователю по делу о краже.

– Ах, я и забыл этого вора. Но что же делать: убивать или что? Что за нелепая альтернатива.

⟨*л. 8*⟩ XII

Когда доктору приходилось думать о суде, он представлялся его воображению чем-то темным[227] и глубоким, как яма, и там, на дне этой ямы, шевелятся какие-то тени, как в дантовском аду,

---

222 *Далее было:* Станков

223 *Было начато:* ди⟨ссертация⟩

224 *Вместо текста:* Какой тут смысл, какой тут смысл – *было:* Нет смысла, нет смысла, нет смысла

225 ирландцам *вписано.*

226 *Было:* в суд по

227 *Далее было:* , как глубок⟨ая?⟩

слышались стоны и бряцание цепей. Он слыхал не раз ходячее выражение о негодных членах, которые нужно отсекать, и ему эта операция отсечения негодных членов представлялась чем-то грубым, варварским, полным боли и крика. В минуты бесплодных и тяжелых размышлений о воре, которого он схватил, он рисовал суд в виде какого-то чудовищного моллюска, запрятавшегося в эту глубокую и черную яму. Внезапно из ямы высов⟨ыв⟩ается гибкая, дрожащая как лист лапа, вьется над морем человеческих голов, опускается и выхватывает оттуда какого-нибудь Ивана, или Петра, или Сидора, беспомощно отдающегося цепким объятиям, и втаскивает его в яму. Там происходит что-то страшное, непонятное доктору, после чего Иван и Петр ползают – и яма выбрасывает из себя какую-то серую, жалкую фигурку, которая уже не крестьянин Петр, не мастер Ипатиков, а лишенный прав каторжник или ссыльнопоселенец такой-то. Чудовищный организм, производящий эти превращения, должен обладать соответствующею внешностью, внушающей страх, подавляющей могуществом и жестокою силою. То, что приходилось Станкову читать о современном суде, меркло перед яркими, ⟨*л. 9*⟩ живыми картинами суда вообще, и того старинного суда, в частности, который был окутан[228] дыбою, мраком и стонами.

Когда Станков ранним утром подъезжал к зданию[229], сердце его теснилось этими представлениями. Утомленный тревожною жизнью последнего времени, Станков хмурился и зябко кутался в шубу. Улица жила своею будничною суетливою жизнью. Скрипели полозьями извозчики и, как в другие дни, держались правой стороны. Визжали замерзшие колеса конок, и торчали из-за поднятого воротника за⟨и⟩ндевевшие усы и борода кондуктора. Такой же закутанный и замерзший кучер пил из[230] кружки чай, от которого в морозном воздухе поднимался пар. Солнце еще не было видно, но густой дым, не то пар, стоявший над крышами, уже окрашивался местами в розоватую краску. Тех темных, и оборванных, и жалких фигур, которые смущали доктора, теперь не было видно.[231] Жгучий февральский мороз произвел[232] в толпе тот же удивительный подбор, что замечался доктором летом на даче, и разогнал[233] [234] тех, кто не мог сопротивляться

---

[228] *Вместо:* был окутан – *было:* сопровождался *(незач. вар.)*
[229] *Было:* суду *(незач. вар.)*
[230] *Далее было начато:* ча⟨шки?⟩
[231] *Далее было начато:* М⟨ороз?⟩
[232] *Далее было:* тот
[233] *Было:* загнал
[234] *Далее было:* куда-то

ему, разогнал их по грязным чайным и трактирам, по темным углам и тюрьмам. Только в одном месте, на углу Ильинки, среди массы меха, тряпья, представлявшего собою прохожих, усталый взгляд доктора наткнулся на какое-то светлое пятно. Оно было маленькое, не больше пятачка, никто и не видел его, но доктора оно ожгло, как луч светлой и жестокой правды. То из прорванной рубахи выглядывало на мороз неприкрытое человеческое тело. Светлое пятно скрылось ⟨*л. 10*⟩[235] и опять замелькали закутанные фигуры прохожих, но чувство тяжелой, безвыходной тоски, что придавило к земле Станкова, стало еще ощутительнее и еще тяжелее.

Так это суд! Ничего похожего на полуфантастические грезы доктора. Большое, светлое здание с обыкновенными окнами. С площади в некоторых окнах видны цветы, значит, люди не только[236] приходят туда судить, но и живут там, бок о бок с страшным механизмом, и обедают там, и целуются с женами, и разговаривают о погоде, и ставят детей в угол. В прихожей все так же просто и обыденно, как в прихожей всякого присутственного места. Сторожа, такие же как в гимназии и университете, усатые, добродушные, раздевают, не справляясь у доктора, кто он: обвиняемый ли[237], свидетель, или человек, желающий право или неправо отнять у своего ближнего целковый, –[238] все отношение их к посетителю ограничивается желанием получить чаевой четвертак, а из какого кармана он поступит – не все ли равно для них, людей скромного и честного труда? Со стен смотрят равнодушно-официально рамки с прибитыми на них листами; доктор заглядывает в них и находит первый признак того места, куда он попал: на этих листах на месяцы вперед распределены по дням те негодные члены, которые нужно отсечь. Тусклые и ничего не говорящие фамилии: крестьянин Егоров, почетный гражданин Елипатьев, дворянин Котов, опять крестьянин, опять ⟨*л. 11*⟩ гражданин. Вот какой-то лишенный прав Иванов – он[239] уже, значит, подвергался операции – не помогло... Против каждой фамилии кабалистические цифры – статьи, по которым будут отсекаться негодные члены. В их кажущемся разнообразии, поражающем непривычный взгляд доктора, он подмечает часто повторяющуюся цифру 1655. Ту же цифру доктор видел и на повестке, присланной ему из

---

[235] *На л. 9 об. вписано: Х л о р о ф о р м*
[236] не только *вписано.*
[237] *Далее было:* или
[238] *Далее было:* на их серых, простых лицах видно
[239] он *вписано.*

суда, и это, вероятно, значит, что бледный и запыхавшийся человек бежит с украденными деньгами, а его хватают[240]... Иногда хватают доктора... А вот и он: лишенный прав Калмурзин, ст⟨атья⟩ 1655 "Ул⟨ожения⟩ о нак⟨азаниях⟩". Кто он такой, этот Ка⟨л⟩мурзин? Что это были за права, которых его лишили? Может быть, и он когда-нибудь и где-нибудь учился; был он шаловливым мальчиком, вызывавшим гнев и кару школьного начальства; и на его стриженую голову падали теплые материнские слезы, и его, вероятно, целовали женщины и называли хорошим и милым. И он был[241], быть может, счастлив и страдал, негодовал, быть может, на судьбу и искал выхода... А теперь он – лишенный прав Калмурзин, и никто никогда не узнает, что таится за этими страшными словами, стирающими человека с земли, как мягкая резиночка стирает карандашную черту.

Доктор всходит по лестнице. Каменные ступени ее истерты тысячами ног, но они молчат, эти ступени, они[242] никому не скажут, что думали головы этих тысяч, в то время как ноги их спотыкались на ступенях или перебирали их радостно и легко. Вот налево ⟨*л. 12*⟩ белая статуя Фемиды. Глаза ее скрыты повязкою, в руках весы и меч... этим мечом отсекаются[243] негодные члены.

– Да, только с завязанными глазами можно делать это дело, – думает доктор. Он неверно истолковывает значение повязки – но он совсем утратил способность к верным истолкованиям, как говорят его жена и Посконский. Что же, может быть, они правы. Доктор чувствует, что немного[244] видел суд таких голов, как его[245], и ему становится жаль себя. Бедная, горячая, бессильная голова!

Доктору ждать еще очень долго. Он ходит по коридорам, длинным, бесконечным коридорам, прорезающим здание, как узкие ходы муравьиных куч. Постепенно они наполняются неясным говором и шарканием ног по камню. Доктор всматривается в физиономии встречающихся – простые, обыденные физиономии, которые он встречал и на улице, и в театре, и в больницах. Идут в одиночку и торопятся; идут по двое, по трое, громко разговаривают и смеют-

---

240 *Было начато:* с⟨?⟩
241 *Было:* быт⟨ь?⟩
242 *Далее было начато:* ду⟨мают?⟩
243 *Далее было:* члены
244 *Далее было:* таких
245 *Далее было:* . Станкову

ся. Мелькают женские фигуры, одетые просто, по-домашнему, – то служащие в канцеляриях; есть дамы и в шляпах: у них, как и у многих мужчин, выражение растерянности,[246] бывающее во всяком незнакомом месте, и желания найти знакомого. Мужчины во фраках, с портфелями и значками на груди, спокойны и равнодушны, как дома. Несколько утрируют эту развязность и стараются показать, что они ⟨*л. 13*⟩ здесь свои люди – молоденькие помощники и такие же кандидаты в форменных тужурках. Перед людьми во фраках и мундирах доктор сторонит свое[247] грузное тело: ведь это те самые люди, которые производят операцию... Но они равнодушно скользят глазами и проходят мимо. Те же стоят у дверей равнодушные[248] сторожи. Но вот, кажется, начинается то страшное, что бывает в суде: из какой-то двери, стуча шпорами, выходят два жандарма, и между ними серый арестантский халат. Доктор торопится за ними, но[249] они подходят к какой-то маленькой дверке, жандармы неприятно лязгают обнаженными тесаками, и все трое скрываются за дверью. Там, значит, началась операция.

Но где же крики, где стоны, которых ждал доктор? Нет ни стонов, ни криков. Мягко журчит человеческая речь, в ней иногда прорывается смех – и все дышит таким невозмутимым миром и покоем.

Сторож Семенов, дежурящий при свидетельской комнате и опасающийся, чтобы доктор не проник в залу суда, рекомендует ему сходить в буфет.

– А здесь и едят? – удивляется доктор.

– Как же, бухвет настоящий.

Отчего в самом деле он не ест? Ему вспоминается неприятно тогда поразивший его рассказ о том, что на Ходынке рядом с раздавленными трупами оставшиеся в живых пили водку и ели ⟨*л. 14*⟩ принесенную закуску. Да и на войне разве не едят люди рядом с трупами. А разве здесь не война? И разве желудок поступится когда-нибудь своим[250] правом? Пусть рядом лишают права желудки, которые так сильно алкали, что не устояли перед преступлением, – здесь другие желудки на законных основаниях набивают себя пищею. И желудок доктора не хочет отказаться от своего права, бурчит и зовет вниз: пойдем, брат. Что нам за дело до тех желудков!

---

[246] *Далее было начато:* и жел⟨ания?⟩

[247] *Далее было начато:* ⟨*нрзб.*⟩

[248] *Далее было начато:* стоя⟨т⟩

[249] *Далее было:* все трое

[250] *Было:* своих

Доктор хмуро улыбается и спускается в буфет. Там шумно, накурено. Бегают лакеи, как и во всех других буфетах, стучат ножи о края тарелок, слышатся громкие требования чаю. Станков выбирает по карте блюдо и ест: кушанье так же вкусно, как и везде. Что за безумие было ожидать каких-то стонов, криков! Ведь режут же людям[251] под хлороформом и руки, и ноги, и окружающим не жаль их[252], потому, что они не кричат, – почему же прогресс не мог коснуться и операции отсечения негодных членов? И разве это не хлороформ – эта спокойная деловитость, этот буфет, эти честные, добродушные солдатские физиономии сторожей, эти хрупкие женские фигуры, одетые по-домашнему и весело бегающие по коридорам. В большие окна льется солнечный свет – что за безумие было ожидать криков, стонов и слез!

Снова[253] медленно движется по коридорам грузная фигура доктора. Он побыл около отделения, где слушается какое-то громкое ⟨*л. 15*⟩ дело и куда валом валит публика. Прошел туда один без стражи[254] и обвиняемый, какой-то купец, сжегший свою фабрику для получения премии, – и лицо его было открытее и честнее, чем у доктора, и видно было, что он страшный мошенник. Но доктора не тянуло туда – его влекло к другому отделению, где скрылся арестантский халат. Около того отделения было пустынно и тихо. Там не раздадутся громкие речи, там не толпится жадная до зрелищ толпа – там тихо и уверенно творит суд свое тяжелое дело.

У доктора ныли от усталости ноги, но он все бродил, думал и удивлялся. Думал он о том,[255] чего хочет он, доктор Станков, и куда он пойдет из суда; вспоминал о жене, которая неделю тому назад уехала от него к сестре и теперь пишет ему строгие письма и выражает надежду, что к ее приезду он возьмется за ум. Но мысли о себе[256] бледнели и гасли под влиянием окружающей обстановки. Вспоминалась улица и мелькал перед глазами кусочек обнаженного человеческого тела, вставали в памяти темные жалкие фигурки. И чудились доктору странные вещи.[257] Все идут они и идут, и входят на ступени суда и своею тяжелою массою ломают белую[258] статую правосудия. Вот лежит она, холодная, белая, на каменном полу, а через нее, попирая меч и весы, идут тысячи босых ног. Жалкие бессильные фигурки с ртами, алчущими

---

[251] людям *вписано.*
[252] их *вписано.*
[253] *Далее было начато:* дв⟨ижется⟩
[254] один без стражи *вписано.*
[255] *Далее было:* куда он
[256] *Далее было:* гасли и
[257] И чудились доктору странные вещи. *вписано.*
[258] *Далее было начато:* фиг⟨уру⟩

пищи, они наполняют коридоры; неудержимые, как поток, прорвавший ⟨*л. 16*⟩ высокую плотину, они расплываются по всему зданию, заполняют все[259] его уголки и, стихийно-жестокие и слепые, всё давят и разрушают на своем ужасном пути. Сверху донизу переполняется громадное здание гулом босых ног и свистом дыхания утомленных чахоточных грудей. А оттуда, с улицы, всё идут, всё идут. Доктор чувствует на себе их горячее зловонное дыхание, грудь его теснится под напором худых костлявых тел. Он задыхается. Он молит о пощаде, но голос его тонет в треске и громе разрушения. И разве это его голос? Он так жалок и слаб, он так похож на те слабые крики, что приходилось ему слышать на улице. Вот толпа совсем залила его. Переполненное здание дрожит и рушится и хоронит под своими обломками и его, и его убийц. А новые толпы всё идут и идут и давят всё своими босыми ногами, и скоро там, где высилось белое, гордое в своем назначении здание, становится равно, и плоско, и тихо. Алчные рты, которые были лишены хлеба, насытились разрушением и идут туда, где высятся другие белые здания. Вот, кажется, и падает одно из них...

– Свидетель, свидетель, – говорит сторож, дергая доктора за рукав. – Сейчас начнется ваше дело, идите в свидетельскую.

Доктор проводит рукою по лбу и послушно идет за сторожем. Слава богу, цела еще плотина, есть еще время!..

⟨*л. 17*⟩ XIII

Станков кланяется по тому направлению, где сидит суд и ожидает вопросов. Налево от него находится обвиняемый. Доктор не смотрит на него, но чувствует на себе его взгляд.

– Свидетель, расскажите, что вы знаете по этому делу.

– Я ничего не знаю. Я не видел, как он крал.

– Вы задержали его, когда он бежал?

– Да.

– Был[260] в руке у него кошелек?

– Не знаю, к-кажется, не был.

– Был или не был?

– Был.

Председательствующий[261] что-то говорил[262] члену суда с правой стороны и любезно обращается к прокурору.

---

[259] *Было:* его

[260] *Было:* В

[261] *Далее было:* хочет

[262] *Далее было начато:* сосе⟨ду⟩

– Вы имеете вопросы?

– Нет, не имею... Впрочем, свидетель, скажите... Когда[263] задержали его, он ничего не говорил?

Станков густо краснеет и молчит. Потом нерешительно отвечает:

– Да. Он... меня выбранил.

– Как выбранил. Вы не помните, что он сказал?

– Он сказал: “мерзавец”.

Доктор смотрит прямо в глаза прокурору и видит у того улыбку радости. Он чувствует, что его ответ неблагоприятен.

---

[263] *Далее в рукописи:* он *(незач. вар.)*

ТОРЖЕСТВО ФИТЮЛЬКИ

(С. 368)

ЧА

ТОРЖЕСТВО МИГАЯ

⟨*л. 19*⟩ Если рыбы действительно осуждены природою на вечную немоту, то пожарному Фоме Мигаю по всей справедливости надлежало покоиться где-нибудь на дне тихого и молчаливого пруда, изобилующего жирными карасями. Среди этих мелких буржуев подводного царства Фома Мигай напоминал бы собою тощего пролетария пескаря[1], так как телом он был худ и костляв, а нравом кроток и беззаботен. Когда, загадочно безмолвный, он сидел в шумном кругу своих товарищей по профессии или дневалил у ворот и с философическим спокойствием посматривал на проходящих – он видимо хранил в себе какую-то глубокую тайну, но тайну безусловно веселую, так как в серых[2] глазах его не исчезал маленький веселый огонек, а махорочный дым выходил из его[3] уст особыми[4], легкими и игривыми, клубами. Единственная сентенция, иногда вылетавшая на свет божий вместе с дымом, была проста и красноречива:

– Не робей, фридрих-мор⟨г⟩ен!

Зимою, в жестокий мороз, когда лед с треском лопался на реке и пожарная каланча зябло и сиротливо пронизывала воздух своею острою верхушкой, а внизу сжались домишки города, Мигай являлся самым высокопоставленным лицом, если не считать двух других пожарных, дежуривших на остальных каланчах. Закутанный в неимоверно толстую шубу, похожий на громадный[5] движущийся ком, Мигай ходил[6] вокруг по узенькому ⟨*л. 20*⟩ парапету, топал ногами и мечтал о тепле, а когда на смену появлялся товарищ и, окинув взглядом спящий город, начинал ругаться нехорошими словами, из заиндевевших усов Мигая вылетали магические слова:

– Не робей, фридрих-морген!

---

[1] *В рукописи:* пискаря
[2] серых *вписано.*
[3] его *вписано.*
[4] особыми *вписано.*
[5] *Далее было начато:* ко⟨м⟩
[6] *Далее было начато:* вза⟨д⟩

На лето Мигай становился героем. Деревянный город, согретый жаркими лучами солнца, с педантичною аккуратностью самого верного вассала платил дань пожарам и выгорал то с одного, то с другого конца. Сонную тишину ночи раздирали тревожные свистки,[7] и полу⟨о⟩детые[8] гражданки собирались у[9] ворот и судачи⟨ли⟩, а граждане, застегивая на ходу что-нибудь очень необходимое, легче ветра летели туда, где колыхался огненный столб, вырезывая из окружающего мрака красные стрелы церквей. Громовый грохот, точно от падающей лавины, наполнял улицу: то мчались пожарные, бешеные, неудержимые. Тревожно-веселый трезвон колокольчиков дерзко врывался в дома, словно он не признавал ни ночи, ни покоя, а огни факелов отражались в блестящих касках пожарных и стеклах домов[10] и кровавым светом окрашивали[11] стены. И поверх всего стоял мрачный гул набата, точно и небо само дрожало от ужаса и горя. На пожарище, среди поломанных и обожженных деревьев садов, на дымящихся[12] крышах, в самом, кажется, огне, мелькали темные фигуры и сияющие блики касок, и одна из этих фигур с лицом, закопченным до степени стекла, через которое смотрят на затмение солнца, увещевала кого-то, по-видимому себя, так как другие фигуры едва ли могли ее слышать среди грохота падающих балок и злого шипения огня:

⟨*л. 21*⟩ – Не робей, фридрих-морген!

Но выпадали и летом случаи, когда[13] город, точно[14] юноша, прожигающий жизнь и на минуту увидевший ту пропасть, в которую он идет, на три, на четыре дня отказывался от пожаров. Тогда блестящий шлем вешался на стену и герой обращался в Фому Мигая, человека самого обыкновенного и не лишенного слабостей, к удивлению и гневу его непосредственного начальства. С обычным веселым огоньком в глазах Мигай взбирался на каланчу дежурить. Под жаркими лучами солнца млел и задыхался в пыли городок. Среди серых деревянных крыш пестрели железные крыши, красные и зеленые. Местами из этой колючей плоскости вдруг вылезал наверх какой-нибудь громадный домина со сверкающей на солнце белой стеной. Точно взрослый, попавший в компанию ребятишек, он с презрением смотрел на них своими

---

[7] *Далее было:* полуодетые граждане
[8] полу⟨о⟩детые *вписано.*
[9] *Вместо:* собирались у – *было:* выбегали из
[10] и стеклах домов *вписано.*
[11] *Далее было:* дома и заборах ⟨*так!*⟩
[12] дымящихся *вписано.*
[13] случаи, когда *вписано.*
[14] *Далее было начато:* прожигаю⟨щий⟩

темными окнами и словно зевал от скуки. Внезапно плоскость прорывалась и весь, как на ладони, виднелся какой-нибудь переулок, тихий, безлюдный и пыльный. А там, в прорези, блестела под солнцем стальная полоска реки и светлели маленькие фигуры купающихся. В эту сторону по обязанностям своего звания должен был смотреть бывший и будущий герой. Он и смотрел, покуривая и морщась от ослепительного отражения солнца на крышах, пока костлявая шея его совершенно произвольно, не справляясь с головой, повертывала последнюю в сторону противоположную, где почти у самых ног Мигая кончался город, далеко в сторону отбросив от себя большое желтое здание: тюрьму. За нею зеленел ⟨*л. 22*⟩ и темною полосою уходил вдаль большак, обсаженный ракитами. По нем в клубе пыли двигалось что-то: почтовая тройка или помещичья коляска. А в глубине, за горою, стоял лес, и его светлая синяя полоска дрожала и волновалась в раскаленном воздухе, и вместе с нею прыгало белое пятнышко церкви. Мигай глядел, и светлый огонек в его глазах разгорался, и тухла забытая цигарка. Волею, простором веяло на него от бесконечной глади полей, веяло чем-то давно забытым и милым: точно десятки лет сваливались со спины Мигая и он становился ребенком. Герой улыбался, подмаргивал, хлопал себя по колену и, восхищенный, тронутый, забывал и о своем вечном одиночестве между небом и землей и о мудром изречении "не робей". А для последнего было самое подходящее время: давно уже, разинув пасть, орал на него снизу брандмейстер и суматоха наполняла двор: чекали копытами запрягаемые лошади, молчаливо и быстро двигались пожарные, сияя касками.

– Заснул, дохлый че-ерт! – неслось снизу и наконец достигало ушей Мигая. Он с испугом оглядывался: там, где нагло торчал белый домина, стояла туча черного дыма и извивались красные языки огня, а на другой каланче уже вырезывались на синем небе два черных зловещих шара. Сконфуженный, Мигай поднимал шары и звонил, звонил – перед опустевшим двором. Для этих случаев у Мигая было другое изречение, свидетельствующее о непосильной борьбе пытливого ума с непостижимыми тайнами природы:

– Окказия! ⟨*так!*⟩ – бормотал он, отправляясь не в очередь на дежурство, и хотя знал, ⟨*л. 23*⟩ что сзади него лежит все то же поле, делал вид, что никогда и не подозревал о подобной странной игре природы.

Отбыв летнюю повинность в качестве героя и дохлого черта, Фома[15] Мигай на месяц становился эпикурейцем. Неторопливо,

---

[15] *Было начато:* М⟨игай⟩

последовательно, с солидностью делового человека, знающего цену времени и деньгам, он пропивал сперва наличный капитал, затем движимое имущество, в качестве последнего ресурса пуская в торговый оборот сапожные колодки, а когда пропивать более ничего уже не оставалось, трясся неделю в жестокой лихорадке, ставил банки и парился в бане и, окутанный облаком горячего пара, стоически шептал:

– Не робей, фридрих-морген!

После того снова начинался период накопления богатства и в скором времени Мигай настолько пропитывался[16] терпким, едким запахом крепкой махорки, сапожного товару и конюшни, что казенный пес Лыска, глупый и важный, обнюхав его, чхал и кашлял и надолго впадал в мизантропическое настроение.

– А ты не робей, – резонно советовал ему Мигай.

Но с каждым разом веселый огонек все тускнел и тускнел. Прошли годы, и словно пеплом подернулся этот огонек. Ни тело, ни душа, пропитанные догматом неробения, не могли устоять перед беспутною, бездомовою холостяцкою жизнью. Все чаще и чаще запивал Мигай и пьяный плакал и дрался. Его приводили в чувство тем же[17] простым способом кулака, что нисколько, однако, не укрепляло ни его здоровья, ни настроения. Постепенно, день за днем, из ⟨*л. 24*⟩ героев и философов он обращался в форменного дохлого черта, в положении которого он и кончил бы дни свои, если бы не один несчастный случай: утром Мигай был здоров, невредим и свободен, а к вечеру он был уже женат и имел сына и двух дочерей.

Что случай этот нужно отнести к категории несчастных, выяснилось лишь год спустя: первое время и он, и его супруга и окружающие удивлялись его необыкновенному счастью. Что "молодой" было за сорок лет и она уже имела взрослых детей, ни ему, ни ей в упрек не ставилось. Важно⟨?⟩ и⟨?⟩ радостно было то: Мигай приобретал семью. Было вполне естественно и то, что под венцом молодая не краснела, но проницательного наблюдателя мог повести к неприятным догадкам именно румянец, сосредоточившийся на ее носе, тонком и худом. Но счастливый жених не замечал ничего, и когда впервые ухват опустился на его голову и пьяные уста супруги облили его потоком иронии и горечи, он отнес это явление к категории "окказий", пока не убедился, что оно было основным законом его нового[18] сущест-

---

[16] *Было начато:* кр⟨епким⟩

[17] же *вписано.*

[18] нового *вписано.*

вования в качестве отца семейства и супруга. Только на каланче, в соседстве с облаками, он чувствовал себя в полной безопасности. И все же Мигай не был недоволен: если вычесть супругу, у него оставались дети, главное сын, который почтительно называл его папашей, носил пиджак и крахмальную рубашку и покушался приобрести часы. Алексей Игнатьевич был по ремеслу слесарь, и если не имел еще собственной[19] мастерской, то во всяком случае подвигался[20] к ней.

⟨л. 25⟩ Жил в этом городе большой барин, по имени Владимир Михайлович Свечников. То было время, когда денег[21] куры не клевали и деньги так и переливались по карманам гражданам. Артезианским колодцем, из которого била эта чудодейственная струя, был городской общественный банк. Деньги расплывались по карманам, а струя все била – и конца ей не виделось. Свечников стоял у самого насоса и купался в море кредиток, новеньких, с иголочки. Но он был большой барин – давал жить другим. Его громадный дом, похожий на дикаря, который не знает, чем себя украсить, и навешивает всякие побрякушки, пестрел красками, лоснился паркетами и флюгерами и был доверху набит захудалою роднею и всяким пришлым народом. Жила у него между другими воспитанница Дуня, которую потребовалось выдать замуж. За женихом дело не стало, но выбор Свечникова пал на Алексея Игнатьевича – юношу скромного и без претензий.

Когда Алеша пришел к Мигаю и почтительно попросил у него разрешения на женитьбу, Фома обеспокоился, не вступает ли его сын в неровный брак. Но когда выяснилось, кто[22] его невеста и что сам Мигай через нее вступит в некоторое духовное родство с самим Свечниковым, Мигай стал серьезен и принял такую гордую осанку, что дохлый черт был навеки забыт.

– Не робей, фридрих-морген! – посоветовал Мигай и в ужасе вспомнил: – а она-то? Родительница? Вдруг?

⟨л. 26⟩ – Не беспокойтесь, папаша: маменька себя соблюдают.

Для Алеши решался вопрос жизни, и Мигай не имел права быть легкомысленным. Сознавая, какая высокая обязанность лежит на нем, Мигай лично отправился[23]

---

[19] *Было:* своей
[20] *Было:* двигался
[21] *Было начато:* к⟨уры?⟩
[22] *Было:* что
[23] *Текст обрывается.*

ЧН

ФИТЮЛЬКА

Он пил. Пускай божеское наказание – нужно же, чтобы через кого-нибудь Бог наказывал. Женины вещи и свой инструмент. Воровал у них. Когда являлся, жена мылила ему голову буквально, а он шептал⟨?⟩ в такт:

– Тряпи, тряпи ⟨*так!*⟩, – и с последней вспышкой[24] энергии[25] добавлял: – так ему и следует, с⟨укину⟩ с⟨ыну⟩!

Не признавал родит⟨ельского⟩ авторитета и снисходил до просьбы у сына 20 к⟨опеек⟩. Сын ругал его. Славная баба. Славный сын.

– И чего они изводятся, Христос их знает!

Богатый барин. Воспитанница. Свадьба. Губошлеп. Неожиданное возвышение. *Сеня,* спишь? Сплю. Спи. Спи...

Воротничок, пиджак. Хлопал по плечу.

– Держись, брат.

Невеста. Слезы. (Телегр⟨афист⟩ с гитарой). Объяснения.

– Пойду морду набью.

Умирает.

– Счастливая смерть – картина суда, гибели.

---

[24] с последней вспышкой *вписано.*

[25] *Было:* энергично

Комментарии

РАННИЕ РАССКАЗЫ ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА

В первый том Полного собрания сочинений вошли завершенные художественные произведения, написанные до 1 января 1900 г., а также незавершенные произведения, наброски и планы этого периода. Значительная часть текстов публикуется впервые.

В этот период своего творчества (а в целом – до 1903 г.) начинающий писатель для создания черновых вариантов и набросков пользовался в основном стандартными тетрадями (это так называемые общие тетради объемом от 40 до 120 листов). Всего сохранилось 8 тетрадей с текстами, датируемыми 1897–1899 гг. Одна из них находится в Рукописном отделе Российской государственной библиотеки. Три тетради и большой фрагмент, вырванный из тетради, хранятся в Русском архиве в Лидсе (Великобритания), четыре – в Российском государственном архиве литературы и искусства. Очень часто тексты в тетрадях не датированы, поэтому время их написания нередко устанавливается косвенно, по аналогии с датированными произведениями из той же тетради. В связи с этим представляется целесообразным указать крайние даты текстов в этих архивных источниках, что должно упорядочить и упростить предположительную редакторскую датировку. В случае определения времени написания какого-либо не датированного автором произведения на основании расположения его в одной из этих тетрадей в комментариях после данной в угловых скобках предположительной даты следует указание: "датируется по тетради".

Т1 – РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 4. Ед. хр. 3. + РАЛ. MS.606/ B.11, B.17 (листы, вырванные из основной тетради). Авторские даты отсутствуют. Датируется косвенно. Начало – 1897 г. (на основании датировки сказки "Оро"; см. коммент.). Конец – начало осени 1898 г. (на основании датировки редакций рассказа "Случай"; см. с. 730 наст. тома).

Т2 – РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 4. Ед. хр. 4. Авторские даты отсутствуют. Датируется по косвенным данным осенью 1898 г., до 15 ноября (на основании датировки редакций рассказа "Случай"; см. с. 730 наст. тома).

Т3 – РГБ. Ф. 178. Карт. 7572. Ед.хр. 1. Крайние авторские даты: 7 декабря 1898 г. – 28 января 1899 г.

Т4 – РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 4. Ед. хр. 1. Крайние авторские даты: 18 июня – 16 августа 1899 г.

Т5 – РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 4. Ед. хр. 2. Авторские даты: 14 сентября 1899 г. (в первой части тетради); "половина сентября" (во второй части тетради); крайняя поздняя дата – 15 октября (на основании автор-

ской датировки более поздней редакции рассказа "Держите вора!", предыдущая редакция которого завершает тетрадь; см. с. 777 наст. тома).

Т6 – РАЛ. MS.606/A.2. Крайние авторские даты: 15–28 октября 1899 г.

Т7 – РАЛ. MS.606/A.3. Крайние авторские даты: 10–19 ноября 1899 г.

Т8 – РАЛ. MS.606/A.4. Крайние авторские даты: 14 ноября 1899 г. – 24 февраля 1900 г.

Беловых рукописей этого периода сохранилось немного. Сохранившиеся беловые (или близкие к беловым) автографы рассказов "Валя", "Ангелочек", "Друг" находятся в архиве Гуверовского института Стэнфордского университета (США). Эти тексты переписаны на отдельных листах большого формата. Пишущей машинкой в это время Андреев практически не пользовался[1]. Обязательным признаком беловых или композиционно законченных и удовлетворявших на определенном этапе автора рукописей является наличие в конце текста подписи и даты.

Необходимо отметить нередко наблюдающуюся условность даты, которую ставит Андреев в конце завершенного произведения. Подчас дату одной из первых редакций писатель повторяет в текстах позднейших версий (см., например, идентичную датировку черновой и беловой редакций рассказа "Валя") и даже сохраняет ее при публикации текста (как это сделано в названном рассказе).

Вопрос о времени формирования в сознании Андреева стремления стать писателем достаточно сложен. В автобиографической заметке, датированной январем 1910 г., он писал: «Читать я начал шести лет и читал чрезвычайно много, все, что попадалось под руку; лет с семи уже абонировался в библиотеке. С годами страсть к чтению становилась все сильнее, и уже с десяти–двенадцати лет я начал ощущать то известное провинциальному читателю чувство, которое могу назвать тоскою о книге. Моментом сознательного отношения к книге считаю тот, когда впервые прочел Писарева, а вскоре затем "В чем моя вера?" Толстого. Это было в классе четвертом или пятом гимназии; и тут я сделался одновременно социологом, философом, естественником и всем остальным. Вгрызался в Гартмана и Шопенгауэра и в то же время наизусть (иначе нельзя было) вызубрил полкниги "Учение о пище" Молешотта. К двадцати годам я был хорошо знаком со всею русскою и иностранною (переводною) литературою; были авторы, как, например, Диккенс, которых я перечитывал десятки раз. Вообще же любил и до сих пор люблю только толстые книги; и в библиотеке брал лишь такие, при которых цена была обозначена не меньше рубля. Но о том, чтобы быть

[1] Исключением является не сохранившаяся, но упоминаемая в воспоминаниях О. Волжанина машинопись сказки "Оро" (см. с. 769 наст. тома).

писателем, не думал, ибо чуть ли не с самого младенчества чувствовал страстное влечение к живописи ⟨...⟩

О писательстве задумался впервые лет семнадцати. К этому времени относится очень характерная запись в моем дневнике; в ней с удивительной правильностью, хотя в выражениях и ребяческих, намечен тот литературный путь, которым я шел и иду поныне. Вспомнил о дневнике случайно, когда был уже писателем, с трудом нашел эту страничку – был поражен точностью и совсем не мальчишеской серьезностью сбывающегося предсказания.

В гимназии к моим "сочинениям" относился очень благосклонно директор, он же преподаватель русского языка И.А. Белоруссов.

Первый мой, однако, литературный опыт был вызван не столько влечением к литературе, сколько голодом. Я был на первом курсе в петербургском университете, очень серьезно голодал и с отчаяния написал прескверный рассказ "О голодном студенте". Из редакции "Недели", куда я самолично отнес рассказ, мне его вернули с улыбкой. Не помню, куда он девался. Потом были и серьезные попытки проникнуть в литературу: посылал я рассказы и в "Северный вестник", и в "Ниву", и уж не помню куда и отовсюду получал отказ, в общем совершенно справедливый – вещи были плохи. Но меня эти неудачи привели к тому, что к окончанию университета, т. е. к 27-ми годам, я уже совершенно не думал о литературе, серьезно решил стать присяжным поверенным» (*Автобиогр*. С. 243–244).

В сохранившихся дневниках гимназического и университетского периода и письмах этих лет приведенные писателем сведения подтверждаются лишь частично. Действительно, Андреев-гимназист, по свидетельству многих мемуаристов, превосходно писавший пространные школьные сочинения[2], не помышлял о писательской карьере. В предпоследнем классе гимназии, в возрасте 18 лет, он чувствовал "в себе способность сделаться философом, хотя, конечно, и не самостоятельным"; мечтал "ясно и последовательно изложить выработавшиеся ⟨...⟩ воззрения на нравственность ⟨...⟩ построить систему этики" (*Дн1*. Л. 35 об., 36 об.). Начало (или, скорее, конспект) одного из намеченных философских сочинений под названием "Проклятые вопросы" воспроизводится в самом раннем дневнике. Это во многом следующая пессимистическим постулатам Шопенгауэра и Э. Гартмана концепция этического волюнтаризма, выводом из которой является бессмысленность индивидуального существования (а выходом – самоубийство; см. наст. том, с. 793). Никаких иных следов и упоминаний о "писательстве" (т.е. о стремлении к *художественному творчеству*) в гимназических дневниках (март 1890 – август 1891) не обнаружено. Поэтому упомянутая запись, в которой "семнадцатилетним гимназистом" угадан будущий "литературный путь", с большей вероятностью относится к сочинениям преимущественно *философского плана*. Но поскольку для самого писателя в более поздние годы она ассоциировалась прежде всего с *литера-*

[2] Об этом см.: *Фатов*. С. 44–45.

турно-художественным творчеством[3], то необходимо воспроизвести ее существенные фрагменты. Следует, однако, уточнить, что она сделана 1 августа 1891 г., т.е. в период, когда *19-летний* Андреев только что окончил гимназию и готовился к отъезду из Орла для учебы на юридическом факультете Петербургского университета.

«Итак, я хочу быть известным, хочу приобрести славу, хочу, чтобы мне удивлялись, чтоб преклонялись пред моим умом и талантом. Всего этого очень трудно добиться, но данные у меня есть. Я говорю про ум и про известные убеждения, благодаря которым я могу почесться истинным сыном своего века. Я хочу написать такую вещь, которая собрала бы воедино и оформила те неясные стремления, те полу⟨о⟩сознанные мысли и чувства, которые составляют удел настоящего поколения. Я хочу, чтоб в моем сочинении отразилась вся многовековая культура человечества, вся современная социальная, моральная и интеллектуальная жизнь современного человечества. Я хочу на основании тысячелетнего опыта человечества, на основании самосознания, на основании науки показать человеку, что ни он сам, ни жизнь его – ничего не стоит. Я хочу показать, что на свете нет истины, нет счастья, основанного на истине, нет свободы, нет равенства, – нет и не будет. Я хочу показать, что вся жизнь человека – с начала до конца – есть сплошной бессмысленный самообман, нечто чудовищное, понять которое – значит убить себя. Я хочу показать, как несчастен человек, как до смешного глупо его устройство, как смешны и жалки его стремления к истине, к идеалу, к счастью. Я хочу показать несостоятельность тех фикций, которыми человечество до сих пор поддерживало себя: Бог, нравственность, загробная жизнь, бессмертие души, общечеловеческое счастье и т.д. Я хочу показать, что одна только смерть дает и счастье, и равенство, и свободу, что только в смерти и истина, и справедливость, что вечно одно только "не быть" и все в мире сводится к одному, и это одно, вечное, незыблемое, есть смерть. Я хочу быть апостолом самоуничтожения. Я хочу в своей книге подействовать на разум, на чувства, на нервы человека, на всю его животную природу. Я хотел бы, чтобы человек бледнел от ужаса, читая мою книгу, чтоб она действовала на него как дурман, как страшный сон, чтобы она сводила людей с ума, чтоб они ненавидели, проклинали меня, но все-таки читали ее... и убивали себя. Мне хочется потешиться над человечеством, хочется вволю посмеяться над его глупостью, эгоизмом, над его легковерием. И когда хоть один человек, прочитавши мою книгу, убьет себя – я сочту себя удовлетворенным – и могу тогда умереть сам спокойно. Я буду знать тогда, что не умрет семя, посеянное мною, потому что почвой его служит то, что никогда не умирает, – человеческая глупость» (*Дн4*. Л. 47–47об.). Из последующего текста дневника становится ясно, что речь идет именно о философском "сочинении",

---

[3] Интерпретируя ее именно в этом ключе, Андреев почти полностью воспроизводит эту запись в своем позднейшем дневнике, в апреле 1918 г. (*S.O.S.* С. 62–63).

скорее всего близком по замыслу к изложенному ранее конспекту "Проклятых вопросов".

Однако подобное сочинение не только никогда не было написано, но и его идеи практически не нашли отражения в первых опытах начинающего писателя[4]. Анализ названий будущих произведений в этом перечне также свидетельствует о том, что скорее всего Андреев планировал по преимуществу писать беллетристику. Упомянутый в автобиографической заметке "рассказ о голодном студенте", вероятнее всего, был написан также осенью 1891 г. В заметке видно, что уже зрелый писатель пытается завуалировать факт своих ранних публикаций, говоря о неизменно неудачных хождениях по редакциям. Между тем уже в апреле 1892 г. в журнале "Звезда" будет опубликован его рассказ "В холоде и золоте". Тематика рассказа сугубо социально-бытовая, сюжет и образность в очень сильной степени связаны с существовавшими литературными стереотипами, и, вероятнее всего, он в самом деле был написан для заработка и весьма далек от выдвинутого в амбициозном замысле "Проклятых вопросов" радикального пересмотра этических принципов.

Гораздо интереснее и ближе к андреевскому мировоззрению тех лет замысел "рассказа о ссыльном студенте", наброски которого относятся к августу–сентябрю 1892 г. Его герой, сосланный за какую-то политическую "историю" студент, приезжает в Орел полным решимости внести оживляющий свет в "темное царство" провинциального застоя, "всех спасти", продолжать и здесь, в ссылке, то "дело", за которое пострадал. Однако если судить по сохранившимся отрывкам, все его планы по каким-то причинам рушатся, а сам рассказ ведется от лица героя, пытавшегося покончить самоубийством и умирающего от револьверной раны. Замысел этот будет прояснен в опубликованном в "Орловском вестнике" в ноябре 1895 г. рассказе "Загадка", во многом являющемся позднейшей версией "рассказа о ссыльном студенте". В нем показано столкновение рациональной целеустремленности героя, "нового Базарова", со стихийной, аморфной и иррациональной "волей", управляющей даже самыми "развитыми" представителями провинциальной среды (в частности, невестой героя) и роковым образом отторгающей попытки "устрояющего" разума, что в конечном счете приводит героя к самоубийству.

Чуть раньше "Загадки", в сентябре 1895 г., в "Орловском вестнике" появился рассказ Андреева "Он, она и водка". Рассказ основан на автобиографическом материале (любовь к Н.А. Антоновой, ухаживания за ней, отказ выйти за него замуж). Но главный интерес рассказа в том, что он отражает проявившееся у Андреева уже в этот период тяготение к абстрагированию от конкретных реалий, стремительной, максимально динамичной фабуле (использованию так называемого кумулятивного сюжета), минимизации образных характеристик героев (герой здесь – это лишенное каких-либо конкретно-жизненных черт "я", геро-

[4] Его поздние отголоски в какой-то степени отразились лишь в наброске к рассказу, датируемому сентябрем 1899 г. ("А ты, брат, вовсе не такая скотина...").

иня также просто некая "она"). В аналогичном стилевом ключе написаны опубликованный в июне 1896 г. рассказ "Чудак" и появившийся уже в эпоху работы в газете "Курьер", в сентябре 1898 г., "этюд" "Любовь, вера и надежда". Эта характерная для позднейшего Андреева тенденция к обобщенной, схематизированной образности молодым и неумелым еще автором реализована в первых опытах еще в полуфельетонной, иронически остраненной повествовательной манере (что было зафиксировано нелицеприятными отзывами критиков при перепечатке "Любви, веры и надежды" в 1908 г. – см. с. 721–722 наст. тома). Вместе с тем намеченное здесь тяготение к философскому гротеску останется значимым и для зрелого Андреева (например, в рассказах "Оригинальный человек", "Правила добра", "Чемоданов").

Вторая важная тенденция, проявившаяся в ранних беллетристических опытах, – тяга к фантастическим, имеющим метафизическую подоплеку сюжетам. А.А. Измайлов так передает слова писателя об одном из ранних опытов подобного рода. «Мои студенческие, – рассказывал мне Андреев, – годы прошли в бедности. Уже к этому времени относится моя первая попытка выступить в беллетристике. Я написал рассказ "Обнаженная душа", который цел и посейчас у одного из моих знакомых»[5]. "Сколько я разбираюсь теперь в явлениях, – говорил далее Андреев, – это был характерно декадентский рассказ и – любопытно – написанный тогда, когда еще декадентство почти не заявляло себя ничем. Я помню, что здесь был изображен глубокий старик, достигший трагической способности читать в человеческих сердцах, так что для него не было ничего сокровенного ни в ком". Судьба этого старика оказывалась в рассказе драматичной: "Разумеется, чем более эта обнаженная душа соприкасалась с людьми, тем ... трагичнее были ее впечатления, и, сколько помнится, этому человеку не осталось в конце концов ничего иного, как кончить самоубийством. Между прочим, помню подробность: этот старик видел человека, бросившегося под поезд. Ему отрезало голову. И вот, он видел то, что думает мозг в отрезанной голове". Дальнейшая участь рассказа была, как утверждал Андреев, печальна: «Я отослал рассказ в "Северный Вестник", и помню письмо критика А. Волынского, которым он отказывал мне в помещении рукописи, ссылаясь на то, что это "слишком фантастично, слишком необычайно", – что-то в этом роде» (*Измайлов 1911*. С. 243–244).

Тот же Измайлов сообщил, со слов Андреева, и о первых печатных выступлениях начинающего автора: «Первое мое соприкосновение с печатным станком произошло в Москве, и это было старинное "Русское Слово". Ни больше, ни меньше, я вел здесь "Отдел справок". "Палата бояр Романовых открыта по таким-то дням, с такого-то до такого-то часа"... "Галерея Третьяковского – тогда-то и тогда-то"... За такое литературное занятие я имел тридцать копеек в день. Именно в это время я прирабатывал рисованием» (*Измайлов 1911*. С. 244). Если учесть,

---

[5] По позднейшему свидетельству А. Кауфмана, этот рассказ хранился в архиве близкого друга Андреева – С.С. Голоушева (*Кауфман*. С. 3).

что в октябре 1893 г. Андреев становится студентом Московского университета и, следовательно, поселяется в Москве, то датировать несохранившийся рассказ "Обнаженная душа" (который, судя по вышеприведенным воспоминаниям Андреева, был написан до переезда в Москву) следует в пределах первого петербургского периода его жизни, с сентября 1891 г. по сентябрь 1893 г.

Видимо, аналогичным опытом в подобном, фантастическом, роде был рассказ "Скриптор", от которого до нас дошел лишь фрагмент. Его Андреев также предлагает "Северному вестнику" (см. его письмо от 12 марта 1896 г. в редакцию: *Гречишкин С.С.* Архив Л.Я. Гуревич // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год. Л., 1978. С. 13). Насколько можно судить по сохранившемуся фрагменту, тематика рассказа перекликается с тематикой "Обнаженной души". Герой, существо с "говорящим" именем Скриптор (которое можно перевести с латинского как "писец, секретарь, переписчик, писатель"), также обладает неким "новым зрением", умением читать чужие мысли. Думается, что тяготение начинающего автора фантастических рассказов к "Северному вестнику" не случайно: с начала 1890-х годов журнал публикует статьи о западном модернизме (декадентстве и символизме), печатает переводы иностранных писателей нового направления (Г. д'Аннунцио, М. Метерлинка, Г. Гауптмана, Г. Ибсена) и произведения первой генерации отечественных символистов (стихи и рассказы Ф. Сологуба, К. Бальмонта и З. Гиппиус, в 1895–1896 гг. – романы Сологуба и Д.Мережковского). Исходя из стремления начинающего писателя публиковаться именно в "Северном вестнике", можно сделать предположение о некоторой близости этих веяний молодому Андрееву, рано вкусившему пессимистической и солипсистской мудрости Шопенгауэра и Гартмана.

Отказы редакций публиковать его романтические опыты в символико-фантастическом роде лишь частично смущают молодого автора: в 1897 г. он пишет сказку "Оро", притчеобразное повествование о любви-ненависти между демоном и ангелом. С другой стороны, весной того же года он посылает в "Северный вестник" пространный рассказ "На избитую тему", типичную бытовую историю на одну из традиционных тем русской литературы ("спасение падшего создания", девушки-содержанки). Причем, в отличие от предшественников (Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, В.М. Гаршина и др.), Андреев предлагает поразительно благостную концовку: "падшее создание" спасено, торжествуют любовь и счастье...

В октябре 1897 г., вскоре после окончания университета и получения места помощника присяжного поверенного в Москве, Андреев начинает публиковаться регулярно, правда, в качестве судебного репортера. Сам он так описывает этот период: «...один знакомый адвокат, знавший о моих попытках писательствовать и даже непосредственно знакомый с некоторыми из моих неудачных рассказов, предложил мне место судебного репортера в газете "Московский вестник". Как репортер я заслужил одобрение, месяца через два перекочевал в только что возник-

шую газету "Курьер", а дальше все уже пошло по-писаному: сперва репортаж, потом маленькие фельетоны, потом большие, потом робкая пасхально-праздничная беллетристика и так далее» (*Автобиогр.* С. 244–245). "Один знакомый адвокат" – это присяжный поверенный П.В. Малянтович, хороший знакомый семьи Добровых, с которой Андреев устанавливает дружеские отношения начиная с лета 1896 г. В дневниках первое упоминание о работе в "Московском вестнике" (причем уже с констатацией успехов в этого рода деятельности) относится к 9 октября 1897 г. (*Дн9.* Л. 96), а о начале параллельной работы в "Курьере" – уже к 5 ноября того же года (*Дн9.* Л. 103).

Секретарь "Курьера", опытный газетчик И.Д. Новик, быстро почувствовал своеобразие андреевских отчетов и то, что им предшествовали "попытки писательствовать": «Судебные отчеты Андреева не были обычными репортерскими сообщениями о разбирающихся в суде делах. Он подходил к вопросу не так, как это обыкновенно делают судебные хроникеры. Обвинительный акт его вовсе не интересовал. Собранные улики его вовсе не трогали. Все его внимание сосредоточивалось на характеристике подсудимого и среды, в которой он вращался. С каждым разом эта сторона его отчетов все больше выдвигалась на первый план, и я как заведующий редакцией попросил его принести мне коечто не из области криминальной. – Не может быть, чтобы вы не написали какого-либо рассказа, – сказал я ему. – Наверное, вы согрешили каким-нибудь беллетристическим произведением. Через несколько дней Л.Н. приносит мне ученическую тетрадку в 20 страничек с рассказом. Я не помню даже названия его, смутно помню и содержание его. Помню только, что действие происходило между небом и землей, и герой рассказа был чем-то средним между Манфредом и Демоном[6]. Рассказ этот я прочел и через несколько дней, возвращая его Андрееву, предложил ему спуститься на землю, а не витать в безвоздушном пространстве. – Вы бываете в суде, перед вами проходит масса народа, попробуйте написать судебные очерки. Недели через две-три Л.Н. принес тетрадку, озаглавленную "Судебные очерки"» (*Новик И.* К 10-летию литературной деятельности Леонида Андреева: (Невольное объяснение) // *БВед.* 1908. 16 апр. (№ 10453). Утр. вып. С. 3).

"Судебные очерки" также не появились в печати[7]. Описываемый эпизод относится к поздней осени 1897 – зиме 1898 г., и уже в марте Новик предлагает Андрееву написать для "Курьера" пасхальный рассказ. Для самого Андреева успех "Баргамота и Гараськи" (опубликован 5 апреля 1898 г.) был полной неожиданностью: «Я написал; рассказ, после некоторого утюженья, отнявшего от рассказа значительную долю его силы, был принят, но без всякого восторга, что казалось мне вполне

---

[6] По всей вероятности, это была уже упомянутая сказка "Оро". Вместе с тем Л.А. Иезуитова считает, что речь идет о другом произведении (см.: *Иезуитова 1976.* С. 14).

[7] В ноябре 1899 г. Андреев столь же безуспешно будет предлагать судебные очерки редактору "Журнала для всех" В.С. Миролюбову (см.: *ЛА5.* С. 73–74).

естественным, ибо сам я о рассказе был мнения среднего ⟨...⟩ Нельзя поэтому передать моего удивления, когда я являюсь в понедельник на Фоминой в суд и редакцию и там и здесь ⟨...⟩ только и слышишь "Баргамот и Гараська" ⟨...⟩ Говорят, что рассказ украшение всего пасхального нумера» (*Дн9*. Л. 141–141об.).

Известно, что рассказ заметил М. Горький, начавший с этого момента всячески опекать Андреева (см.: *ЛН72*. С. 63–81), и что позже сам писатель именно с этой публикации вел отсчет своей творческой деятельности, никогда не упоминая о предшествовавших "курьерскому" дебюту четырех выступлениях в печати. Менее чем за два года он издает 15 рассказов (почти все – в "Курьере"), в которых выдержана достаточно традиционная, реально-бытовая тематика (подробнее см.: *Иезуитова 1976*. С. 63–72; здесь подобные рассказы характеризуются как "событийно-бытовые"). Отдельный пласт составляют напечатанные или оставшиеся в архиве писателя "событийно-бытовые" рассказы, основанные на орловских реалиях и соответствующих автобиографических деталях ("Баргамот и Гараська", "Алеша-дурачок", "Молодежь", "У окна", "Ангелочек", "Торжество Фитюльки"). С "орловским циклом", видимо, были связаны и замыслы новых рассказов из жизни народа; сохранились планы двух таких произведений (см.: "Планы рассказов. Июль 1899 г.").

Не появившиеся в печати рассказы и наброски этого периода (весна 1898 – 1899 г.) в основном также далеки от экспериментов, подобных "Обнаженной душе", "Скриптору" и "Оро". Это и зарисовки автобиографического характера ("Розочка", "После государственных экзаменов", "Из записок алкоголика"), и рассказы, близкие к традиционным социально-бытовым "очеркам" ("Мать", "Торжество Фитюльки"), и попытки лирико-психологических этюдов ("Дело прошлое"). Но одновременно с этим в творческой лаборатории молодого литератора подспудно вызревают далекие от привычных и удобных для газетных редакторов темы и мотивы, которые позже окажутся магистральными для его писательского пути. Это – темы раздвоения сознания, мучительной борьбы разных начал в душе человека ("Нас двое" (в полуироническом ключе этот мотив звучит еще раньше, в рассказе "На избитую тему")), метафизической близости любви и смерти, столкновения радости жизни и ужаса небытия ("Две встречи"), экзистенциальной усталости от жизни, которая может стать подлинной трагедией из-за, казалось бы, пустячного повода ("Держите вора!"), самоубийства как логического исхода для индивида, подвергающегося психологической обструкции со стороны окружающих и собственного "я" ("Нас двое", "Грошовый человек").

В начале сентября 1898 г., уже после успеха "Баргамота и Гараськи", Андреев еще сомневается в своем призвании писателя. В написанном в это время письме А.М. Велигорской (от 7 сентября) он рассуждает о выборе между двумя из открывшихся перед ним литераторских поприщ – публициста и беллетриста – и весьма скептически оценивает свои способности: «Публицистом я быть не могу, ни плохим, ни

хорошим. Я знаю обо всем понемножку, – но у меня нет и в помине тех положительных твердых знаний, которые могли бы дать мне возможность судить о тех или других общественных явлениях. По различным причинам я привык жить глубоко субъективною жизнью, поэтому все то, что происходит в божьем мире и не имеет непосредственного отношения ко мне, мало останавливает мое внимание и мало меня интересует. ⟨...⟩ Могу ли я быть беллетристом? Могу – но только плохим. Причин здесь две. Одна – отсутствие знаний, другая – отсутствие большого таланта, быть может, даже полное отсутствие таланта. О первом я уже говорил, остановлюсь на втором.

Понятие таланта не поддается определению. Все же можно отметить несколько типичных черт, отличающих талант. Во-первых, способность выдумки, или фантазия. У меня ее нет, хотя меня и называют фантазером. Я не могу "*сочинить*" ничего такого, чего бы я не видел в жизни. Т.е. я совсем сочинять не могу, а могу повторять лишь виденное, с легкими отступлениями в область фантазии. Придумать какое-нибудь новое положение, соотношение людей и явлений – я не в состоянии. В этом отношении какой-нибудь Пазухин или иной бульварный романист с его "Тайнами Воробьевых гор" ⟨...⟩ стоит неизмеримо выше меня. Есть у нас художники, в весьма малой степени обладавшие даром выдумки – напр., Гончаров и Гаршин, – но он у них все-таки был. У меня же совсем нет" (РАЛ. MS.606/G.8.ii).

Неуверенность в собственных возможностях, колебания в выборе дальнейшего пути заставляют Андреева внимательно прислушиваться к оценкам своих читателей. В дневниковых записях второй половины 1898 – 1899 г. молодой автор отмечает малейшие отзывы окружающих о его публикациях, которые сопровождаются теми же признаниями в неуверенности в собственных силах. Можно говорить о некотором переломе, который произошел в самооценке Андреева в апреле 1899 г.: налаживается переписка с Горьким, молодой автор встречается с А.П.Чеховым, в целом доброжелательно отозвавшимся о его новом пасхальном рассказе "В Сабурове". Судя по сохранившимся архивным материалам, лето и осень 1899 г. становятся временем интенсивной творческой работы Андреева – подчас одновременно над несколькими произведениями; меняется и сам характер работы: сохранившиеся рукописи рассказов "У окна", "Ангелочек", "Большой шлем" свидетельствуют о более взыскательном подходе писателя к собственным текстам. Рассказы, вышедшие во второй половине 1899 г., он расценивает как некий новый этап в своем творчестве. В дневниковой записи от 25 декабря 1899 г. он с удовлетворением констатирует: «⟨...⟩ вышел мой рассказ "Большой шлем", действительно хороший рассказ; сегодня вышел "Ангелочек", пожалуй, более крупный. Эти рассказы ставят меня в ряды недюжинных молодых беллетристов» (*Дн9*. Л. 171). В записи от 5 января 1900 г. он продолжает эту тему: «"Ангелочек" имел крупный успех» (Там же).

С рассказами, опубликованными во второй половине 1899 г., связан и первый (из известных нам) читательский отзыв, который писатель

приводит в записи от 10 января 1900 г.: «Вот письмо, присланное из Екатеринослава в редакцию Курьера на имя "Леонида Андреева, автора Ангелочка":

"М.Г. Не раз, перечитывая Ваши талантливые рассказы, полные такой художественной правды, я намеревался письменно выразить Вам свою благодарность за те хорошие минуты, которые Вы доставляли мне и моей жене своими строками. ⟨...⟩ Прежде всего Вас было легко отличить среди всех Ваших соседей по газетным столбцам, соседей даже с так называемым именем. Отличие это – Ваша простота, остроумная наблюдательность, Ваше непосредственное чувство и умение осветить какой-нибудь темный уголок, детскую душу или будничную обыденность. Как только Вы стали нам, Вашим читателям, понятны и дороги, конечно, все №№ "Курьера", где было Ваше имя, сохранялись и давались для прочтения близким людям. Во всех Ваших рассказах – "Собака", "Большой шлем", "Ангелочек" – нет ни одной художественной ошибки, все они так же психологически верны и трагичны, как сама жизнь. Если бы я издавал художественный литературный сборник, я бы не пригласил к участию ни Потапенков, ни Луговых, ни Гославских, ни Зариных, а пригласил бы Вас. Пишу Вам под свежим впечатлением Вашего рассказа в рождественском № – "Ангелочек". Слава Богу, что Вас хоть крупностью шрифта выделили среди Ваших так называемых "знаменитых" собратьев! А помимо шрифта, какая прелесть эта Ваша вещица! Как тепло, задушевно и жизненно Вы начертали поистине рождественские странички, и знаете, в общем Вы написали потрясающую вещь. Вот мое мнение о Вас: Ваша манера писать напоминает чеховскую, и если Вы еще молоды (а мне кажется почему-то, что Вы моложе меня: мне 28 л.), то из Вас выработается выдающийся писатель. Конечно, интересно прочесть Вас в более крупном произведении... После Вашего "Ангелочка" мы прочли "Разрыв" Гославского – логическая и художественная нелепость и, главное, ужасная скучища читать такую избитую канитель. ⟨...⟩ Я (что делать – надо писать правду!) "десять лет начинающий" писатель. Кличка курьезная со стороны, но кто знает, сколько сплетается с ней чисто трагических мелочей!.. Об этом когда-нибудь в другой раз, а пока скажу, что я с женой два года мужественно сражаюсь с равнодушием здешней публики – издавал календарь-альманах, и вполне приличный, который теперь тихо угас. Посылаю Вам свою юношескую повестушку "Выход" – как увидите, не совсем удачный выход – первая моя "книга". ⟨...⟩ Всегда готовый услужить и преданный Влад. Сысоев".

При письме маленькая книжечка с надписью "Любимому художнику слова г. Леониду Андрееву от автора на память о частой "безвыходности" среднего русского человека". Датировано 1 янв. 1900 г.

Здорово?

Мораль та, что нет пророка в своем отечестве. "Курьер" платит Гославскому 7 к. за строку, а мне 5. Патрон смеялся, прочтя "Собаку". Добровы еще ни словом не обмолвились об "Ангелочке", а А⟨лек-

сандра⟩ М⟨ихайловна⟩, коей он посвящен, меня не любит» (*Дн9*. Л. 171об.–174об.).

Но особенно важным для автора было то, что оценка читателя (бывшего, между прочим, провинциальным литератором) совпадала с оценками гораздо более авторитетными. В письме Андрееву от 2–4 апреля 1900 г. "Большой шлем" и "Ангелочек" были выделены М. Горьким как лучшие из ранних рассказов (*Горький. Письма.* Т. 2. С. 26).

Характерно, что, составляя в 1901 г. свой первый сборник рассказов, автор включил в него только четыре ("У окна", "Валя", "Большой шлем", "Ангелочек") из 16 рассказов периода 1898–1899 гг. Расширенное издание первого сборника, вышедшее в 1902 г., из числа ранних произведений было дополнено только "Петькой на даче". Еще пять рассказов этого периода вошли в третий том, изданный под характерным заголовком "Мелкие рассказы" в 1906 г., – "Баргамот и Гараська", "Защита", "Из жизни шт.-капит. Каблукова", "Молодежь", "Друг". Все они были повторены во втором собрании сочинений Андреева ("Просвещение", 1911). Два рассказа – "В Сабурове" и "Алеша-дурачок" – были перепечатаны лишь в третьем ("Полном собрании сочинений"), изданном "Товариществом А.Ф. Маркс" в 1913 г.

Вот почему внимание критиков было в основном сосредоточено на тех четырех ранних рассказах, которые вошли в сборник 1901 г. Оценка их была в целом положительной, хотя в некоторых отзывах настороженно встречены элементы новизны в системе образов ("Ангелочек"), сюжетном построении ("Большой шлем"), психологическом анализе ("Валя"). Симптоматично, что меньше всего нареканий вызвал казавшийся наиболее традиционным из четырех рассказов – "У окна", который критика смогла связать с щедринской и чеховской социально-психологической тематикой.

В очень незначительной степени критика отмечала ранние рассказы, включенные в том третий ("Мелкие рассказы"). Так, А.Г. Горнфельд в своей рецензии на этот том резко противопоставляет ранние произведения Андреева его более зрелому творчеству, указывая на несовершенство первых. По его мнению, их автор "любит тронуть и быть растроганным; он любит размягченно возвышенное настроение; он любит, чтобы в конце рассказа читатель пролил слезу умиления над действующим лицом" (*Горнфельд 1908*. С. 6). Критик подчеркивает кажущиеся ему риторичность и сентиментальную приторность некоторых рассказов, выделяя из наиболее ранних "Баргамота и Гараську" и "Из жизни шт.-капит. Каблукова". Для Горнфельда они несопоставимы с полными сурового драматизма позднейшими вещами писателя: "Трагедия бытия – вот великая сила г. Андреева, о которой заставляют забыть собранные в его новой книге рассказы ⟨...⟩" (Там же. С. 10).

Другую точку зрения на ранние рассказы выразил, например, И.П. Баранов, подчеркивавший взаимосвязь раннего и позднего творчества: «Наиболее ранние произведения ⟨...⟩ знаменитого писателя редко представляют что-либо уже вполне художественно оформленное, достойное серьезной критики. Но, несомненно, г. Андреева уже давно волнуют глубокие, трудноразрешимые вопросы о непонятной, неуловимой

силе жизни, о человеке и о людях. Уже в рассказах, относящихся к 1898 г., мы встречаемся с проблесками своеобразного таланта. Вспомните несчастного Гараську в рассказе "Баргамот и Гараська", которому в один момент, как-то внезапно стало ясно его глубокое падение и невозможность выбраться из помойной ямы, где он всю свою жизнь копошился, как мерзкий, отвратительный гад» (*Баранов 1907*. С. 5). Подобно позднейшим трагическим героям Андреева, персонажи из его ранних рассказов становятся, по мнению критика, жертвами неотвратимого рока ("Валя"), судьбы его героев ("Петька на даче", "Ангелочек") доказывают "всю иллюзорность, всю обманчивость" пресловутых идеалов (Там же. С. 20).

Особого внимания заслуживает вопрос об автобиографических реалиях, лежащих в основе многих ранних рассказов Л. Андреева. Главным источником для их прояснения безусловно являются дневники. Дневники Андреева – гимназиста и студента сами по себе можно рассматривать как некий окололитературный феномен. Можно сказать, что в какой-то мере они были первым вместилищем творческих потенций, своеобразным инструментом выработки стиля, аккумулятором, в котором накапливались используемые позже образы и мотивы. Содержание дневников крайне субъективно, интровертировано – это скорее хроника мыслей и чувствований автора, чем летопись внешних событий, а жанровым ориентиром дневников является психологический роман.

Автобиографические реалии, зафиксированные в дневниках, подчас сложным образом соотносятся с хронологически и тематически "смежными" сюжетами и образами ранних рассказов. Так, намеченная в конце сентября – октябре 1892 г. фабула "рассказа о ссыльном студенте" находится в сложных, асимметричных отношениях с реальными жизненными обстоятельствами, описываемыми параллельно в дневнике. Андреев, так же как и герой рассказа – студент Валентин, возвращается в этот период в родной Орел, но не в благородном ореоле ссыльного, полного решимости продолжать свое "дело", а после неудачно сданного экзамена, что лишало его надежд не только на стипендию, но и на освобождение от платы за обучение (см.: *Днб*. С. 272). Он ехал в Орел не "спасать" других, а, скорее, зализывать собственные раны: и от неудачно сданного экзамена, и от глубокого кризиса в отношениях с Зинаидой Сибилевой, результатом которого стала попытка самоубийства в феврале того года (см.: Там же. С. 257, 292).

Подобная техника преобразования "правды" в "поэзию" станет характерным моментом раннего творчества Андреева. Аналогичным образом будут "перелицованы" дневниковые мотивы в неопубликованных рассказах "Розочка" (1898) и "Дело прошлое" (1899). Оба рассказа посвящены взаимоотношениям героя с женщинами (прототипами которых являются три наиболее значимых для него – З. Сибилева, Н. Антонова и Е. Хлуденева), и в обеих фабулах обстоятельства для героя складываются крайне благоприятно: оба рассказа завершаются

примирением героя с *любящими* его героинями. На страницах же дневников сюжеты-прототипы развиваются в ином направлении – это либо ряд эксцессов драматического обоюдного непонимания, либо вереница отказов во взаимности.

Именно в дневниках в первую очередь тщательно разрабатываются такие важные для Андреева темы, как, например, самоубийство и болезненное раздвоение сознания (см.: *Иезуитова 1976*. С. 15). Еще одним существенным моментом является то, что стилевое своеобразие дневниковой прозы непосредственно воздействует на беллетристические опыты Андреева 1897–1900 гг. Особенно отчетливо это влияние ощутимо в ряде незаконченных произведений этих лет. В близкой к дневниковой форме – форме исповеди – созданы наброски рассказов, герои которых переживают жизненный кризис, борются с алкоголизмом, с тягой к самоубийству и т.п. Страницами из дневников самого Андреева кажутся наброски под названием "Записки алкоголика" и "Грошовый человек".

Очень часто в ранних рассказах и фрагментах имена персонажей совпадают с именами знакомых Андреева (параллели указаны в комментариях ко многим рассказам). Особенно это характерно для первоначальных редакций: молодой писатель пытается в своих сочинениях отталкиваться от конкретного образа, черты характера, жизненной реалии, которые ассоциируются у него с именем. Однако лишь в редких случаях можно с определенностью утверждать, что такое совпадение имен свидетельствует о прототипичности того или иного образа.

Важнейшим психологическим фоном андреевского творчества 1895–1899 гг. является его драматическая, неразделенная любовь к Н.А. Антоновой (которую с лета 1896 г. постепенно вытесняет поначалу столь же безответная влюбленность в молоденькую Шурочку Велигорскую, лишь в 1902 г. ставшую его женой). Разнообразные колебания настроений (в основном крайне драматических) наложили свой отпечаток на тональность создаваемых в это время текстов. Яркий пример – возникновение сюжета несохранившегося рассказа "Револьвер или калоши". 28 сентября 1898 г., не получив чаемого письма от А.М. Велигорской, Андреев записывает в дневнике: "Письма нет. Револьвер или калоши? – вот вопрос, который приходится разрешать современному Гамлету. Если я куплю револьвер и застрелюсь, естественно, нужда в калошах погашается; но если я не застрелюсь – в чем я пойду в суд и прочие места, истратив деньги на револьвер и тем, следовательно, лишив себя возможности приобрести мокроступы? Над этим нужно подумать и подумать!.." (*Дн9*. С. 144 об.). 10 октября появляется запись: «На тему своего последнего угара по поводу А⟨лександры⟩ М⟨ихайловны⟩ написал, находясь в пьяном виде, рассказ "Калоши". Он был написан мною до ее письма, поэтому заканчивался торжеством револьвера, теперь же я исправлю, и восторжествуют калоши. Вероятно, будет в печати»[8] (Там же. Л. 147 об.).

[8] Рассказ не был опубликован и не сохранился, однако о его наличии в домашнем архиве Андреева свидетельствует запись в перечне рукописей этого архива: "32. Револьвер или калоши" (РАЛ. MS.606/C.46.i (3). Л. 2).

Сложная взаимосвязь между жизненными реалиями, самосознанием и чувствованиями молодого автора, с одной стороны, и их отражением в его ранних художественных опытах – с другой, потребовала более расширенного, чем принято, комментирования прототипических образов, деталей быта и т.п.

* * *

В подготовке настоящего тома принимали участие:

В.Н. Быстров (тексты рассказа "Держите вора!", совместно с Р.Д. Дэвисом);

Л.А. Иезуитова ("В холоде и золоте" – текст и комментарии);

В.Н. Чуваков (основные тексты рассказов "Он, она и водка", "Загадка", "Чудак", "Баргамот и Гараська", "Любовь, вера и надежда", "Алеша-дурачок", "Защита", "Из жизни шт.-капит. Каблукова", "Что видела галка", "Случай", "Молодежь", "Памятник", "В Сабурове", "У окна", "Петька на даче", "Друг", "У Александры Сергеевны Потаниной...", "Неудачный опыт" и комментарии к ним).

Основные тексты рассказов "Валя", "Большой шлем", "Ангелочек", "На избитую тему", "Оро", "Исповедь умирающего", "Две встречи", "Нас двое", "Гибель самозванца", "Мать", "Дело прошлое", "Торжество Фитюльки", "Держите вора", а также все тексты из раздела "Незаконченное. Наброски" (за исключением двух: "У Александры Сергеевны Потаниной..." и "Неудачный опыт") и комментарии к ним подготовлены Р.Д. Дэвисом и М.В. Козьменко. Ими же подготовлены редакции и варианты ко всем рассказам тома. М.В. Козьменко также написаны статьи "Текстологические принципы издания" и "Ранние рассказы Леонида Андреева". Первоначальный вариант "От редакции" написан В.Н. Чуваковым.

Редакторы тома благодарны Н.П.Генераловой (Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом)), Л.А. Иезуитовой (Санкт-Петербургский государственный университет), Т.В. Котовой (Российская национальная библиотека), М.А. Телятник (Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств) и Ю.М. Антоновой (Московский государственный университет) за ценные советы и большую практическую помощь в подготовке издания.

РАССКАЗЫ
1892–1899

В ХОЛОДЕ И ЗОЛОТЕ
(С. 15)

Источник текста – Звезда. 1892. 19 апр. (№ 16). С. 418–422. Подпись: Л.П. Автограф неизвестен.

Точное время создания первого рассказа Андреева установить сложно. Возможно, он был закончен еще в январе 1892 г., и именно о нем Андреев говорит в письме к своей подруге З.Н. Сибилевой от 15 января: «Очень обязан тебе за хлопоты с "плодом моего гения", сиречь с рассказом. Хотя я о нем, как и обо всем, что когда-то сделал, очень скверного мнения, и в этих стараниях всунуть его в какую бы то ни было редакцию вижу для себя одно унижение – но голод не тетка, и лучше унижаться, раскрывая перед всеми свою... гениальность, чем протягивая ручку» (ИРЛИ. Ф. 9. Оп. 2. Ед. хр. 26. Л. 186).

Первые достоверные сведения о рассказе Андреев записал в дневнике от 17 апреля 1892 г.: «Только одна приятная вещь и была. Это известие о том, что мой рассказ будет недели через две напечатан в "Звездочке". Хотя внешним образом я своей радости и не выражал, а, наоборот, высказывал сожаление, что рассказ будет напечатан в таком плохом журнале, – но внутри радовался сильно; и даже теперь радуюсь. Мне, главное, крайне любопытно, каким выйдет в печати все то, что при писанье казалось таким простым и не стоящим внимания. Приятно думать, что те мысли, которые ты так долго носил в себе, те слова, которые ты ночью, в полной тишине и уединении, заносил на бумагу, будут прочтены тысячами людей. Приятнее всего соображение о том, как должен будет перемениться взгляд на меня всех знающих меня. Как должна будет радоваться мать, так как, и помимо этих невещественных радостей, рассказ даст ей радость самую реальную: деньги. Чего доброго, гордиться мною начнет. Хорошо все это и потому, что составит лишнее побуждение к дальнейшему труду в той же области, а успех зависит вновь именно от того, насколько я хочу работать. У меня уже явилась тема нового рассказа. Если как следует разработать, выйдет порядочная вещь» (*Днб*. С. 27; см. также: *Иезуитова Л.А.* Первый рассказ Леонида Андреева // Русская литература. 1963. № 2. С. 184). В тот же день, видимо, окрыленный известием о том, что рассказ принят к печати, Андреев пишет своей орловской знакомой Л.Н. Дмитриевой: «⟨...⟩ главное, через три, четыре недели получу денег и много; кой-кто должен мне, а потом за рассказ должен получить (он будет недели через две напечатан в "Звездочке"; это

между нами) ⟨...⟩» и позже, в письме от 28 апреля 1892 г.: "Ну, голубушка моя, кажется, в моей жизни наступает поворот к лучшему. Есть два факта. Один, о котором я вскользь упомянул Вам, состоит в том, что рассказ мой будет напечатан (о том, что рассказ напечатан 19 апреля, Андреев, по-видимому, еще не знал. – *Сост.*). Это было моим первым опытом – и, к счастью, удачным. Теперь я с уверенностью последую своей склонности и займусь не на шутку писательством. Я уверен, что меня ожидает успех ⟨...⟩ Жаль только, как оказывается, мало получу: всего рублей 18–20, но для начала и это хорошо. Да и писал-то я его всего 4 дня..." (ООГЛМТ. Ф. 12. Оп. 1. Ед. хр. 44, 45; *Иезуитова Л.А.* Первый рассказ Леонида Андреева. С. 184–185; частично: *Днб.* С. 140).

О рассказе "В холоде и золоте" Андреев никогда не упоминал в автобиографиях. Это, по-видимому, было связано с отношением Андреева к "Звезде", еженедельному иллюстрированному журналу для семейного чтения, издававшемуся в виде приложения к петербургской газете "Свет" В.В. Комаровым. В его литературном отделе помещалось легкое чтение для дам – русское и переводное; здесь же печатались модные музыкальные пьески и романсы, образцы современной одежды, вышивки и проч. В 1892 г. Андреев называет "Звезду" "плохим журналом", а в 1900 г. в своем фельетоне радуется его закрытию как концу очередного бульварного издания и дает ему резко критическую оценку (*Л.-ев.* Впечатления // *К.* 1900. 1 мая (№ 119). С. 3).

Криптоним "Л.П.", которым подписан рассказ, раскрывается как "Леонид Пацковский". Этим псевдонимом, образованным от девичьей фамилии матери, Андреев подпишет в 1897 г. рассказ "На избитую тему" и сказку "Оро".

Отдельные детали рассказа автобиографичны. Начиная с конца августа 1891 г. Андреев, поступив в университет, живет в Петербурге (мать с остальной семьей остаются в Орле) и сильно нуждается, получая денежную помощь в основном со стороны его возлюбленной З.Н. Сибилевой и упомянутой выше Л.Н. Дмитриевой. В дневниках этого периода постоянно появляются жалобы на отсутствие "уроков", т.е. возможности подрабатывать репетиторством: "...денег мало, а уроков не предвидится" (*Дн5.* С. 89); "Урока нет и не предвидится" (Там же. С. 99); "...не был бы в Пет⟨ербурге⟩, а в Москве, имел бы там и уроки (это не предположения, *а факт*) и друзей" (Там же. С. 107). Вместе с тем, когда он жил в Орле, в двух или даже трех последних классах гимназии он постоянно имел одного, а то и двух учеников и соответственно определенный доход. Упоминаемые в рассказе 15 рублей в месяц – это именно та сумма, которую Андреев-гимназист получал с одного урока (см., например, *Дн1.* Л. 35; *Дн2.* Л. 4).

ОН, ОНА И ВОДКА

(С. 28)

Источник текста – *ОВ*. 1895. 9 сент. (№ 240). С. 1. Подпись: Л.А. Автограф неизвестен.

В своем письме из Москвы к орловским родственникам и друзьям С.Д. и Н.Д. Пановым от 15 сентября 1895 г. Андреев, среди прочих сообщений, упоминает о своих первых литературных опытах: «Много пишу. Один рассказик был помещен в "Орлов⟨ском⟩ Вест⟨нике⟩" за 9 сентября. В рассказике больше опечаток, чем достоинств» (*Фатов*. С. 96). По утверждению Н.Н. Фатова, "поверенным Л. Н-ча в сношениях с редакцией был его товарищ, теперь доктор, тогда студент, Ив. Ник. Севастьянов. Он справлялся о судьбе рассказа. В редакции ему сказали, что, хотя рассказ и напечатали, но больше не советовали присылать, так как рассказ слаб" (Там же. С. 98).

Прототипом героини рассказа является орловская гимназистка Надежда Александровна Антонова (1877–1947), с которой Андреева познакомил ее брат Яков Александрович, товарищ Андреева по орловской гимназии. Судя по дневниковым записям, знакомство состоялось летом 1894 г.: "Со знакомством с Надей начинается перелом. Острые страдания, жестокая операция, которую произвели над моим сердцем, возможность полного счастья, следовательно, вера в жизнь – пробудили во мне жажду этой жизни, расшевелили погруженный в спячку ум – я стал жить. 22 июня 1894 года – это второй день моего рождения" (*Дн9*. Л. 16–16об.). Об автобиографической основе (предложение руки и сердца и полученный им отказ) рассказа говорит сам его автор, утверждая позже в дневнике, что он "есть сплошная выдержка из дневника" (*Дн.9*. Л. 102 об. Речь идет об утраченном дневнике за 1894–1896 гг.). Несмотря на отказ, Андреев продолжает ухаживания. Так, летом 1896 г. он приезжал на станцию Нарышкино (по Риго-Орловской железной дороге), где мать Антоновой снимала дачу. После окончания Николаевской женской гимназии Антонова с матерью перебралась на жительство в Москву, где поступила на медицинские курсы. Встречи с Андреевым, который в это время учился на юридическом факультете Московского университета, возобновились. Отношениям с Н.А. Антоновой посвящена большая часть андреевского дневника за 1897–1899 гг. В сентябре 1897 г. Антонова вторично ответила отказом на его предложение, а в сентябре 1899 г. вышла замуж за чиновника городской управы, впоследствии актера А.Н. Фохта (об отношениях с Антоновой см.: Письма Леонида Андреева к Н.А. Чукмалдиной / Публ. В.Н. Чувакова // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв. Новая серия. М.: Рос. фонд культуры, 2001. [Вып. XI]. С. 488–499; Воспоминания Т. Фохт-Ларионовой // Там же. С. 646–648).

Автобиографическая основа рассказа подтверждается записью в дневнике 1897 г. в связи с очередным кризисом в отношениях Андреева

и Антоновой: «Как это ни дико, но только теперь начал я узнавать Н⟨адежду⟩ А⟨лександровну⟩. Еще несколько *таких* свиданий, и я могу отпраздновать девятый день по кончине своего исконного врага, воспетого в трижды идиотском "Он, она и водка"» (*Дн9*. Л. 101).

С. 28. *Друг, друг ~ желанный покой!.. (эпиграф)* – Источник эпиграфа не установлен. Этот же эпиграф (с небольшими вариациями) Андреев предпосылает фактически всем своим дневникам гимназического и студенческого периода; эти же строки фигурируют и в пьесе "Анфиса" (Д. 4).

..как иные служили мамоне, а иные Богу. – Мамона (*греч.* μαμώνας) – богатство. Ср.: "Не можете служить Богу и маммоне" (Лк 16, 13).

Встретит в сухую погоду добродушного человека в калошах и с зонтиком... – Впоследствии на эту тему Андреевым был написан фельетон "Люди теневой стороны" (впервые, под заглавием "Москва. Мелочи жизни" (*К*. 1901. 30 декабря (№ 360)).

С. 29. *...сидя в трактире за полбутылкой водки...* – Полбутылка – особая водочная расфасовка, бутылка объемом около 307 мл (стандартная водочная бутылка того времени вмещала 615 мл, см.: *Похлебкин В.В.* История водки. М., 1991. С. 196; *Он же.* Кушать подано! Репертуар кушаний и напитков в русской классической драматургии с конца XVIII до начала XX столетия. М., 1993. С. 278).

"*Жизнь за Царя*" – опера М.И. Глинки (1836). В советское время ставилась под названием "Иван Сусанин".

С. 30. *К черту Платона с его сказкой о двух половинках!* – Платон (427–347 гг. до н.э.) др.-греч. философ-идеалист. Имеется в виду миф об андрогине, изложенный в его диалоге "Пир". Зевс разделил это существо пополам, на мужчину и женщину. С тех пор каждый стремится найти соответствующую ему половинку.

Как и вера, любовь – отрицание разума. Да здравствует Шопенгауэр!.. – Артур Шопенгауэр (1788–1860) – немецкий философ-идеалист, оказавший значительное воздействие на становление мировоззрения Андреева. Его гимназические дневники заполнены выписками из сочинений, отдельными цитатами и упоминаниями имени философа. В дневниковой записи от 15 марта 1890 г. (*Дн1*. Л. 4об.–5) содержится свод высказываний, объединенных под рубрикой "Шопенгауэр о любви" и представляющих собой цитаты из статей "Жизнь рода" и "Метафизика любви" из второго тома трактата "Мир как воля и представление" (вышел под заглавием: *Шопенгауер.* Инстинкт и художественная наклонность. ⟨...⟩ 2-е изд. СПб.: Изд. книгопродавца В.И. Губинского, 1886. Т. 2. (Б-ка европейских писателей и мыслителей под ред. В.В. Чуйко)).

С. 32. "*Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман*" – неточная цитата из стихотворения А.С. Пушкина "Герой" (1831). В оригинале: "Тьмы низких истин мне дороже / Нас возвышающий обман".

ЗАГАДКА

(С. 35)

Источники текста:

ЧН – черновой набросок. ⟨Август–сентябрь 1892 г.⟩ Хранится: ИРЛИ. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 48–53об., 55.

ОВ. 1895. 21 нояб. (№ 312); 24 нояб. (№ 314); 25 нояб. (№ 315), 26 нояб. (№ 316). Подпись: Л.А.

Печатается по тексту *ОВ*.

ЧН впервые опубликован с сокращениями и неточностями: *Андреев П.Н.* Воспоминания о Л. Андрееве // Литературная мысль. Л., 1925. Кн. 3. С. 162–163.

ЧН, который традиционно обозначается как незаконченный "рассказ о ссыльном студенте" (см., например: *Иезуитова 1976*. С. 13, 15), расположен на последних страницах общей тетради, после дневника, относящегося к марту–сентябрю 1892 г. и описывающего жизнь Андреева – студента первого курса Петербургского университета и пребывание его в Орле в июне–сентябре того же года (см.: *Днб*). Андреев использовал последние страницы дневниковой тетради в качестве своеобразного творческого черновика, заполняя их вариантами к рассказам, полный текст которых существовал, видимо, на отдельных листах или в другой тетради. Это подтверждает и авторская нумерация отрывков (которая начинается с цифры 11, далее идут: 15–17, 22–26, 35–38, 79), и большое количество знаков вставки (сам вставляемый текст не сохранился). В двух местах остались следы от большого количества вырезанных листов. Возможно, вырезались наиболее удачные версии текста, которые Андреев использовал в позднейшей, утраченной редакции, предшествовавшей публикации.

Первые подступы к сюжету, скорее всего, были сделаны в Петербурге, сразу после известия о принятии к публикации в журнале "Звезда" рассказа "В холоде и золоте". 17 апреля 1892 г. одновременно с получением этой радостной вести Андреев записывает в дневнике: "У меня уже явилась тема нового рассказа. Если как следует разработать, выйдет порядочная вещь" (*Днб*. С. 270). Уже будучи в Орле, 18 августа он отмечает в дневнике: "Есть у меня и дело – *начатый давно уже рассказ* ⟨...⟩" (*Днб*. С. 287; курсив наш. – *Сост.*); некий рассказ упоминается 23 августа (Там же. С. 289), а 6 сентября он констатирует: "⟨...⟩ я все время ревностно занимаюсь рассказом; сперва ожидал от него большего проку и работал с увлечением, теперь – только по инерции" (Там же. С. 290). Ср. с сообщением в письме к З.Н.Сибилевой от 1 сентября: "Усиленно пишу свои рассказы и мечтаю о славе" (ИРЛИ. Ф. 9. Оп. 2. Ед. хр. 26).

ЧН скорее всего был написан в Орле в августе–сентябре того же года (последняя запись входящего в состав той же тетради дневника сделана 20 сентября). Вместе с тем ни основная фабула этого наброска, ни отдельные его мотивы напрямую не связаны с обстоятельствами пребывания Андреева в Орле тем летом.

Герой *ЧН* – студент Валентин, высланный за какую-то политическую "историю", – приезжает в Орел в сопровождении жандарма. Он едет, полный решимости продолжать дело, связанное с некоей "организацией", жаждет "всех спасти", просветить, внести свет в "темное царство" провинциального застоя. Но почти сразу же сталкивается с непониманием своих жизненных принципов со стороны молодежи, оказавшейся косной и консервативной. Судя по всему, темой рассказа должно было стать крушение его жизнеутверждающих позиций, так как вся история рассказывается героем, пытавшимся застрелиться и ожидающим скорой смерти от огнестрельной раны.

Единственный автобиографический момент, который косвенно можно связать с наброском к рассказу о ссыльном студенте, – это попытка самоубийства, которая произошла в Петербурге 15 февраля 1892 г., когда Андреев нанес себе ножом рану в бок (см.: *Днб*. С. 257, 292).

Упомянутый в самом начале отрывка "проповедник" "Лассаль" обнаруживает связь с реальным лицом, охарактеризованным Андреевым в гимназическом дневнике. Это В.А. Вейнштоk[1], приехавший в Орел летом 1891 г. и своими радикальными взглядами первоначально произведший глубокое впечатление на окружающую Андреева молодежь. Ср.: «Ну что за беда, если Вейнштоk перед своей "апостольской" проповедью занялся слегка рассказыванием и слушанием разных нецензурных анекдотиков? ⟨...⟩ Ведь это ж не мешает ему через пять минут с таким же, даже бóльшим воодушевлением распространиться о могуществе науки и заметить мимоходом, насколько он, Вейнштоk, выше остальных людей и как много он знает и понимает» (*Дн4*. Л. 23–23об.). В связи с Вейнштоком упоминается в дневнике и имя Ф. Лассаля: "...насколько основательна его претензия быть русским Лассалем. ⟨...⟩ Вейнштоk не Лассаль. Вейнштоk уличный оратор. Для этого у него достаточно ума, знаний и красноречия. Но чтоб быть Лассалем, который составит новую эру в истории развития человечества, нужны ум и знания сорока таких Вейнштоков.⟨...⟩ Он натура талантливая, но неглубокая и увлекающаяся" (Там же. Л. 53об.–54).

Образ ссыльного студента, проповедующего в провинции, помимо широко распространенных в этот период в народнической литературе клише, мог быть также навеян орловскими реалиями. В гимназических дневниках 1890/1891 г. часто упоминается ссыльный студент Московского университета Михаил Иванович, который вызывает у Андреева глубокое уважение (см., например: *Дн2*. Л. 19об.–20).

Обильная правка сохранившегося отрывка (многочисленные знаки вставки при отсутствии соответствующих фрагментов, следы вырезанных страниц, смысловые разрывы в сюжете) свидетельствует о его черновом, промежуточном характере. Ввиду скудного и фрагментарного

---

[1] Вейнштоk был знакомым В.И.Гедройц, подруги З.Н.Сибилевой. Гедройц принимала участие в собраниях петербургского нелегального кружка Вейнштока, разгромленного именно в 1892 г. (см.: *Гедройц Сергей* [Гедройц В.И.]. Отрыв. Л., [1931]. С. 44–47). О Гедройц см. с. 771 наст. тома.

характера *ЧН* можно лишь предполагать, что первоначальная реализация замысла рассказа о ссыльном студенте существенно отличалась от опубликованного рассказа "Загадка". Набросок решен как исповедь умирающего героя, в которой, видимо, как-то прояснялись причины катастрофы: "Мне нужно рассказать, каким образом дошел я до самоубийства" (л. 50/22). В рассказе "Загадка" повествование ведется от третьего лица, причины рокового поступка героя лишь угадываются, что подчеркивает само название рассказа. Видимо, в недошедшей до нас редакции, частью которой является сохранившийся *ЧН*, другим должен был быть и образ центрального персонажа. В опубликованном рассказе он становится менее аморфным, более соответствующим прозвищу "здешнего Базарова", поэтому к нему переходят свойства некоего Р. (упомянутого в начале *ЧН*), для которого "слово и поступок ⟨...⟩ синонимы". В "Загадке" отсутствуют явно автобиографические детали наброска, например воспитание героем диковатых подросших младших братьев (чем мог действительно заниматься Андреев, вернувшись в Орел летом 1892 г.).

Фигурирующие в последнем абзаце *ЧН* усы и мундир, а также интонация озадаченности героя-рассказчика некой нелепой для него ситуацией позволяют гипотетически отнести его к несохранившемуся эпизоду, соответствующему сцене вызова на дуэль в рассказе "Загадка". В ней героя вызывает на дуэль брат возлюбленной, офицер, и в начале сцены упомянуты его усы. В более раннем эпизоде *ЧН*, в сцене знакомства героя с местными девушками, одна из них говорит, что у нее брат – офицер, а также противопоставляет "веселых" и "хороших" офицеров "пьяницам"-студентам.

С. 35. ...*"вскую шаташася"*... – здесь: напрасно мятутся (*церк.-слав.*).

...хоть искорку света внесу и я в темное царство... – Парафраз названия знаменитой статьи Н.А. Добролюбова "Луч света в темном царстве" (1860) о драме А.Н. Островского "Гроза".

С. 38. *Норду* Макс (наст. имя Макс Зидфельд; 1849–1923) – популярнейший в 1880–1890 гг. немецкий писатель, получивший наибольшую известность благодаря своим философско-психологическим эссе (прежде всего книге "Вырождение" (1893)).

Кисейничать – жеманиться (от "кисейная барышня").

С. 40. *Мизерикордия* (*лат.* misericordia) – жалкое, вызывающее сострадание состояние.

С. 42. *...почти не слушала лавровских "Писем"... – Лавров* (Миртов) Петр Лаврович (1823–1900), революционный народник. Имеются в виду его "Исторические письма" (опубл. в 1868–1869 гг. в газете "Неделя"), пользовавшиеся большой популярностью среди радикально настроенной молодежи.

А ты читал, как один убил себя? – Речь идет о громком случае со студентом Новороссийского университета Кромулиным, произошедшем в 1894 г. О нем, например, вспоминает Горький в письме И.А. Груздеву (от 10 марта 1926 г.): "...снял с койки матрас, поставил

под койку три зажженных свечи и решал сложное математическое вычисление, в то время, когда огонь жег ему спинные позвонки и жарил мозг в них" (Переписка А.М. Горького с И.А. Груздевым. М., 1966. С. 41. (Архив А.М. Горького. Т. XI)).

С. 45. *...он единственный защитник сестры, и вспоминая "Фауста"...* – Имеется в виду сцена "На улице" из I части трагедии Гёте "Фауст". Солдат Валентин, возмущенный куплетами Мефистофеля и считающий, что в них задета честь его сестры Гретхен, разбивает на куски гитару Мефистофеля. В начавшемся поединке он гибнет от шпаги Фауста.

– *Карамболь по желтому!* – Карамболь – разновидность безлузного бильярда и определение удара, при котором биток, коснувшись одного прицельного шара, ударяется о другой. Карамболь по желтому – удар, при котором игрок обязуется коснуться шара желтого цвета (помимо так называемого прицельного шара красного цвета).

С. 50. *...об умственных эпидемиях и нашем нервном веке...* – Намек на прочитанную Андреевым в 1891 г. (см.: *Дн4*. Л. 49 об.) брошюру "Наш нервный век" немецкого психиатра Рихарда Крафта-Эбинга. (1840–1902). "Умственные эпидемии" – понятие, отражающее стремительное, по мнению ученого, распространение некоторых идей в обществе, что является характерной приметой конца XIX в.

ЧН

С. 463. *Лассаль* Фердинанд (1825–1864) – немецкий социал-демократ, организатор Всеобщего германского рабочего союза (1863–1875).

С. 465. *...переписывать у мирового протоколы...* – Мировой – судья, разбирающий мелкие уголовные и гражданские дела.

...они по улице гайцают. – Гайцать – вероятнее всего, происходит от украинского "гайсати" – носиться, гоняться.

"*печись об утрей*" – заботиться о завтрашнем дне. Выражение связано с известной евангельской заповедью Иисуса Христа: "Не пецытеся убо на утрей, утрений бо собою печется: довлеет дневи злоба его" ("Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний *сам* будет заботиться о своем: довольно для *каждого* дня своей заботы" (Мф 6, 34)).

С. 466. *...помимо "Анн и Владимиров" есть на свете и другие хорошие вещи.* – Имеются в виду ордена святой Анны и святого Владимира (учреждены в XVIII в.), которые давались гражданским лицам и играли большую роль в служебной карьере государственных служащих. Сатирическое изображение мечты об "Аннах и Владимирах" как приметы косного мещанского (чиновничьего по преимуществу) сознания к концу XIX в. стало общим местом русской литературы.

Спящий в гробе – мирно спи! – Строка из стихотворения В.А. Жуковского "Торжество победителей" (1829), являющегося переводом баллады Ф. Шиллера "Das Siegesfest".

С. 467. *...или спрашивать у щуки, на манер Щедр⟨инского⟩ карася: "а знаешь, щука, что такое добродетель?"* – Речь идет о сказке М.Е. Салтыкова-Щедрина "Карась-идеалист" (1884). В оригинале: "– Знаешь ли ты, что такое добродетель?".

...глупейший стих Тредьяковского... – Тредиаковский Василий Кириллович (1703–1768) – русский писатель. Автор приписываемого ему стихотворения "Ходит птичка весело..." (вторая половина XIX в.) не установлен.

ЧУДАК

(С. 51)

Источник текста – *ОВ*. 1896. 29 июня (№ 169). Подпись: Л.А. Автограф неизвестен.

В газетной публикации в конце рассказа стояла помета "Окончание будет". Однако завершения публикации не последовало.

Повествование ведется от лица рассказчика, носящего имя Эразм, что, видимо, нужно понимать как намек на Эразма Роттердамского (1469–1536) – гуманиста эпохи Возрождения, прославившегося сатирой "Похвала Глупости" (отсюда тяготение героя-повествователя к поучениям и философствованию). Судя по упоминаемым в диалогах персонажей реалиям, Эразм и второй, безымянный, герой рассказа – орловцы, студенты, приезжающие в Орел из Москвы, где учатся, и знакомящиеся с орловскими барышнями. Возможно, что персонажи "Чудака" имели реальных прототипов, узнаваемых орловскими читателями, что могло послужить причиной прекращения публикации.

С. 51. *...приглашение к Саломонскому...* – Саломонский Альберт (1839–1913) – цирковой предприниматель, конный акробат и дрессировщик лошадей. В 1880 г. обосновался в Москве, построил цирк на Цветном бульваре.

...или теперь Дурова. – Дуров Анатолий Леонидович (1864–1916) – клоун-дрессировщик, основоположник публицистической клоунады. Произносил на цирковой арене монологи на злободневные темы и, издеваясь над властями, язвительно комментировал трюки своих дрессированных животных.

С. 52. *Болховская* – главная улица Орла, обычное место вечерних прогулок молодежи.

С. 54. *... летит к Мюр-Мерилизу...* – "Мюр и Мерилиз" – универсальный магазин в Москве на углу Петровки, рядом с Большим театром (ныне ЦУМ). Был открыт во второй половине XIX в. шотландскими предпринимателями Э.Мюром (1817–1899) и А.Мерилизом (1798–1877).

БАРГАМОТ И ГАРАСЬКА

(С. 55)

Источники текста:

К. 1898. 5 апр. (№ 94). С. 2–3.

НБ. 1902. № 15–16. С. 1–4.

КР – Книга рассказов и стихотворений. М.: Изд-во Курнина и К°, 1902. С. 251–262.

Зн. Т. 3. С. 1–13.

Пр. Т. 2. С. 1–17.

ПССМ. Т. 7. С. 232–240.

Автограф неизвестен.

Печатается по тексту *ПССМ*.

Рассказ написан Андреевым в конце марта – начале апреля 1898 г. Он был первой беллетристической работой в "Курьере", которую доверили молодому сотруднику газеты, подготавливавшему яркие судебные отчеты. О том, что она воспринималась как очередное редакционное задание, "работа на заказ", свидетельствует запись в дневнике от 25 марта 1898 г.: «Преуспеваю в области литературной, поскольку имеют что-либо общее мои отчеты с литературой. Слышу бездну похвал и лестных предположений о моих дальнейших успехах, что в связи с нездоровьем, одолевающим меня последние дни, наводит меня на грустные размышления о своей особе. Масса сомнений и горько ироническое отношение к похвалам – вот базис, на котором зиждется мое теперешнее настроение. Я не в состоянии удовлетвориться теми крохами, которые падают со стола славы и денег.

Нужно сейчас писать пасхальный рассказ для "Курьера", – воображаю, что это за гадость выйдет» (*Дн9*. Л. 115).

Тем поразительней для самого Андреева был неожиданный успех "Баргамота и Гараськи", о котором он вспоминает в дневнике через несколько месяцев, 25 сентября 1898 г.: «Новик, один из наших газетных глав, предложил мне написать пасхальный рассказ. Я написал; рассказ, после некоторого утюженья, отнявшего от рассказа значительную долю его силы, был принят, но без всякого восторга, что казалось мне вполне естественным, ибо сам я о рассказе был мнения среднего ⟨...⟩ Нельзя поэтому передать моего удивления, когда я являюсь в понедельник на Фоминой в суд и редакцию и там и здесь ⟨...⟩ только и слышишь "Баргамот и Гараська" ⟨...⟩ Говорят, что рассказ украшение всего пасхального нумера. Там-то его читали вслух и восхищались, здесь о нем шла речь в вагоне жел⟨езной⟩ дороги. Поздравляют меня с удачным дебютом, сравнивают с Чеховым и т.п. В три-четыре дня я поднялся на вершину славы» (Там же. Л. 141–141об.).

Успех рассказа не только упрочил положение молодого литератора в "Курьере", но и обратил на него внимание М. Горького, который 5 апреля 1898 г. (сразу же после прочтения пасхального номера "Курьера") писал в Петербург редактору-издателю "Журнала для всех"

В.С. Миролюбову: «В пасхальном № московской газеты "Курьер" помещен рассказ "Бергамот ⟨*так!*⟩ и Гараська" Леонида Андреева – вот бы Вы поимели в виду этого Леонида! Хорошая у него душа, у черта! Я его, к сожалению, не знаю, а то бы тоже к вам направил» (*Горький. Письма.* Т. 1. С. 253). В своих воспоминаниях Горький писал, что от этого "пасхального рассказа обычного типа" на него «повеяло крепким дуновением таланта, который чем-то напомнил мне Помяловского, а кроме того, в тоне рассказа чувствовалась скрытая автором умненькая улыбочка недоверия к факту – улыбочка эта легко примиряла с неизбежным, вынужденным сентиментализмом "пасхальной" и "рождественской" литературы.

Я написал автору несколько строк по поводу рассказа и получил от Л. Андреева забавный ответ: – оригинальным почерком, полупечатными буквами он писал веселые, смешные слова, и среди них особенно подчеркнуто выделился незатейливый, но скептический афоризм:

"Сытому быть великодушным столь же приятно, как пить кофе после обеда"» (*Горький М.* Полн. собр. соч. Худож. произведения: В 25 т. М., 1973. Т. 16. С. 312–313).

В письме Андрееву, написанном во второй половине апреля 1899 г., Горький обратил внимание и на художественные недостатки рассказа: «Лучший ваш рассказ "Баргамот и Гараська" – сначала длинен, в середине – превосходен, а в конце вы сбились с тона» (*Горький. Письма.* Т. 1. С. 327–328). М. Горький имел в виду заключительный эпизод в первоначальной редакции рассказа (описание утреннего чаепития городового и поступившего к нему в работники Гараськи – см. "Другие редакции и варианты"). Под влиянием горьковской критики Андреев исключил эту сцену, и в новой (ставшей окончательной) редакции рассказ был напечатан в журнале "Народное благо" (1902. № 15–16) и (в том же году) отдельным изданием в серии «Библиотека "Народного блага"».

Сюжет рассказа перекликается с очерком Глеба Успенского "Будка" (1868): в Баргамоте проступают черты будочника Мымрецова, а в Гараське – пьяного портного Данилки, которого у Успенского только девушка из "заведения" называет по отчеству, и за это растроганный Данилка решает жениться на ней. Сам Андреев отмечал в автобиографической заметке, что рассказ "написан под исключительным влиянием Диккенса и носит на себе заметные следы подражания" (*Автобиогр.* С. 245).

По сведениям А. Кауфмана, «Рассказ "Бергамот ⟨*так!*⟩ и Гараська" взят из жизни предместья Орла – Пушкарной улицы: ⟨...⟩ Андреев ⟨...⟩ лично знал героя рассказа, полицейского бляхи № 20 Бергамотова» (*Кауфман.* С. 3). Документальных подтверждений этому высказыванию не найдено. Видимо, герои рассказа Андреева имели реальных орловских прототипов, хотя сюжет его, скорее всего, вымышлен. Фамилия городового Баргамотов, характеризующая его внешний облик, вероятней всего, происходит от прозвища, а не наоборот[2]. Баргамот –

---

[2] Вместе с тем нужно отметить, что городовой Баргамот упоминается в другом рассказе "орловского цикла" – "У окна".

искаженное "бергамот", название одного из наиболее распространенных в России в то время сортов груши. Интересно отметить, что Иваном Акиндиновичем, как и городового Баргамота, звали известного в Орле в 1890-х годах делопроизводителя воинского стола городской управы, бывшего станового пристава И.А. Боброва (см. его некролог: *ОВ*. 1915. 21 июня). По воспоминаниям А.Г. Шиллера о посещении Андреевым Орла в 1909 г.: «После осмотра дома мы пошли на берег реки Орлика (за так наз. в Орле "Вавилон"), пройдя прямо через сад Миронова. По рассказам Леонида Николаевича, эта часть Орлика часто упоминается в "Савве", "Баргамоте и Гараське"» (*Фатов*. С. 252).

Критика неоднозначно встретила выход отдельного издания рассказа, появившегося в конце 1902 г., когда репутацию писателя определяли уже более зрелые сочинения. Так, Журналист (П.М.Пильский) писал, что «сам по себе рассказ – хорош, и все-таки "не то"...». В рассказе, по мнению рецензента, видны "следы выветрившихся и нездоровых влияний, чуждых натуре писателя, плохо уживающихся с его манерой, со всем складом его тревожного, нервного, красивого подвижного темперамента". Кроме того, критик отметил "неверный" тон рассказа – "полуанекдотический, полубалагурный какой-то". Признав за автором несомненный талант, рецензент настоятельно советовал ему не писать на "такие сюжеты" (Каспий. Баку, 1903. 30 янв. (№ 25). С. 3). Более резкую оценку "Баргамоту и Гараське" дал К. из "Астраханского листка": "Один из рассказов, который совершенно спокойно мог бы остаться в портфеле автора". Критик обращает внимание на "остроумничанье" писателя, из-за которого рассказ вышел "еще более натянутым". «По своей внешности "Баргамот" скорее напоминал мастодонта, или вообще одно из тех милых, но погибших созданий... Как известно, милыми, но погибшими созданиями принято называть совсем не мастодонтов», – этот и другие примеры, резюмировал К., свидетельствуют о «качестве "остроумия" г. Андреева» (Астраханский листок. 1903. 12 февр. (№ 34). С. 3. Отдел: Библиография). Положительным откликом встретила рассказ "Наша газета". "Мастерски написанная г. Андреевым живая сценка с натуры с интересом будет прочитана не одним читателем из народа", – отмечалось в рецензии. Появление "Баргамота и Гараськи" критик "Нашей газеты" причислил к "отрадным явлениям народной литературы", имея в виду ориентацию «Библиотеки "Народного блага"» на массового, демократического читателя (Наша газета. СПб., 1903. 26 янв. (№ 4). С. 122–123. Отдел: Библиография). Близкую оценку дал рецензент журнала "Звезда", Иже (И.Н. Герсон?), назвав его "хорошеньким рассказом", который "будит доброе чувство" (Звезда. 1903. № 11 (5 февр.). С. 185).

В позднейших работах о писателе в его "курьерском" дебюте критики обнаруживали связь с темами и мотивами зрелого Андреева. Так, Т. Ганжулевич, говоря об оригинальности, которая начинает проявляться даже в начале его творческого пути, писала: "Мир кажется пустяком в его творчестве и каждый пустяк целым миром. Пустяк встреча

Гараськи с Баргамотом, который потащил было его в участок, а потом, расчувствовавшись его слезами и праздничным настроением своим, пригласил его к себе разговляться; пустяк и то, что Марья, жена Баргамота, назвала Гараську по отчеству, но для Гараськи в этом пустяке целый мир, открывший новые, незнакомые ему до сих пор перспективы. Пустяк это для простого наблюдателя со стороны, но целый мир для исследователя человеческой психики" (*Ганжулевич Т.* Русская жизнь и ее течения в творчестве Леонида Андреева. СПб.: Т-во "Издательское бюро", 1908. С. 49).

Нечто подобное отмечал И.П. Баранов: «⟨...⟩ Андреева уже давно волнуют глубокие, трудноразрешимые вопросы о непонятной, неуловимой *силе жизни, о человеке* и *о людях*. Уже в рассказах, относящихся к 1898 г., мы встречаемся с проблесками своеобразного таланта. Вспомните несчастного Гараську в рассказе "Баргамот и Гараська", которому в один момент, как-то внезапно стало ясно его глубокое падение и невозможность выбраться из помойной ямы, где он всю свою жизнь копошился, как мерзкий, отвратительный гад» (*Баранов 1907*. С. 5).

При жизни автора рассказ был переведен на венгерский (1903, 1905), немецкий (1904, 1908), хорватский (1904, 1907 дважды, 1908), финский (1907, 1908), французский (1908), английский (1910, 1915), сербский (1913) языки.

С. 55. *...милых, но погибших созданий...* – Иронически употребленные строки из популярного в конце XIX в. стихотворения Я.П. Полонского "Встреча" (1844): «А я хотел сказать: "На вечную разлуку // Прощай, погибшее, но милое созданье"» – которая, в свою очередь, восходит к "Пиру во время чумы" А.С. Пушкина (1830).

С. 60. – *...даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах...* – Парафраз слов заседателя из "Ревизора" Н.В. Гоголя. Тот "говорит, что в детстве мамка его ушибла и с тех пор от него отдает немного водкою" (д. 1, явл. 1).

...вещественные знаки вещественных отношений... – Иронически перефразированные слова из романа И.А. Гончарова "Обыкновенная история" (см. с. 768 наст. тома).

С. 61. *...у Михаила Архангела звонили?* – Церковь Михаила Архангела (Успенская) расположена в центральной части Орла (ныне – в переулке Сакко и Ванцетти), на правом берегу Орлика. К приходу Михаила Архангела принадлежала семья Андреевых.

Варианты

С. 472. *Спрохвала* – не спеша (*диал., орл.*).

...в кубовых... шароварах... – Кубовый – ярко-синий.

ЛЮБОВЬ, ВЕРА И НАДЕЖДА
(С. 64)

Источники текста:

К. 1898. 17 сент. (№ 256). С. 1.

Пробуждение. СПб., 1908. 15 февр. (№ 4). С. 103–107.

Альманах 17-ти: Литературно-художественный сборник с портретами авторов. СПб.: Прогресс, 1909. С. 33–40.

Автограф неизвестен.

Печатается по тексту "Альманаха 17-ти".

Скорее всего рассказ написан в период с конца августа до середины сентября 1898 г. В этот период Андреев переживает очередной кризис в отношениях с А.М. Велигорской: после достаточно теплых отношений летом – в начале осени наступает резкое охлаждение с ее стороны (см. запись в дневнике от 21 сентября – *Дн9*. С. 131об.–132об.). Возможно, именно этим определяется настроение рассказа. Подтверждение находим в его письме Велигорской от 14 сентября: «Если бы я верил в тебя, то ⟨все⟩ это время я чувствовал бы себя очень хорошо, но так как... Вообще мое счастье зависит целиком, к сожалению, от тебя. Каково же мое настроение, что я чувствую, не веря в тебя, ты, если хочешь, можешь увидеть из моего рассказа, который выйдет в печати 17 сентября.

"Я надеюсь"» (РАЛ. MS.606/G.8.ii). Фраза в кавычках созвучна последней фразе рассказа: "Он надеется".

Публикация рассказа в "Курьере" осталась не замеченной критикой.

Рассказ обратил на себя внимание только после его переиздания в 1909 г. в "Альманахе 17-ти". Перепечатка раннего рассказа Андреева – в те годы уже маститого писателя – вызвала в основном негативную реакцию критики. Так, А.А. Измайлов отмечал в своей рецензии на альманах: «Известное дело, – когда беллетрист чувствует, что рассказ не округлился и не вытанцевался, он или прячет его в стол, или подписывает "этюд" или "эскиз" и сдает в благотворительный сборник. Андреев написал хрию на тему о человеке, который любил женщину и разочаровался в ее верности, верил в идею освобождения людей и тут потерпел фиаско, а кончил тем, что попал в каземат и теперь надеется, что когда-нибудь он из него выйдет. Этюд сух, совершенно чужд диалога и просто-напросто скучен. Саркастический пессимизм его звучит почти банально» (*Аякс*. В литературном мире. Альманах 17-ти // *БВед*. 1909. 18 марта (№ 1104).

То, что подобная оценка была наиболее распространенной, подтверждает мнение рецензента "Речи": «"Этюд" Леонида Андреева "Любовь, вера и надежда" создался, нужно думать, не менее 10 лет тому назад и, во всяком случае, принадлежит не теперешнему прославленному писателю, но скромному фельетонисту газеты "Курьер". Весь рассказик как-то сугубо фельетонен, написан каким-то нецеломудренным, болтливым языком с бессильными потугами на остроумие и острослo-

вие, коренящимися, однако, лишь в вычурных выражениях, не идущих к делу, комично превыспренних определениях и т.д. Техника рассказа примитивна, тема развита поверхностно» (*В.Г.* Альманах 17. Литературно-художественный сборник с портретами авторов. И-во "Прогресс", 1909 // Речь. 1909. 23 марта (№ 80)).

Ввиду такой реакции критики автор вынужден был дать объяснение в прессе. В открытом письме в редакцию газеты "Речь" он утверждал: «Уступая настояниям г. К., я разрешил ему перепечатать в издаваемом им "Альманахе" мой старый рассказ "Любовь, вера и надежда", не введенный мною вследствие его незначительности в собрание сочинений. Непременным условием при этом я поставил датировать рассказ (кажется, 1898 г.) и указать, что он перепечатан из газеты "Курьер".

Условия этого г. К. не выполнил. И хуже того: свой альманах он назвал без ведома моего "Альманахом семнадцати", каковое название должно свидетельствовать об идейной или художественной близости участников. Решительно протестую: с половиною участников я вовсе не знаком, а с другой имею общего очень мало или же и совсем ничего» (Речь. 1909. 25 марта (№ 82)).

Претензии Андреева были отчасти обоснованными. Редактор "Альманах 17-ти" В.В. Корецкий действительно собрал в нем произведения таких разных писателей, как М. Арцыбашев, Л. Андрусон, С. Ауслендер, А. Куприн, А. Грин, Н. Гумилев, А. Ремизов, Д. Цензор, А. Рославлев, И. Рукавишников и др. Вместе с тем нужно отметить, что перепечатка рассказа не была чисто механической, о чем свидетельствуют явные следы правки, скорее всего авторской (см. "Другие редакции и варианты"). Впоследствии автор не включал его ни в одно из своих собраний сочинений.

При жизни автора рассказ переведен на финский (1909), шведский (1909), английский (1917) языки.

С. 64. *Генрих IV* (Наваррский) (1553–1610) – король Франции, в жизни которого большую роль играли любовницы и многочисленные незаконные дети. В письме В.Л. Львову-Рогачевскому в 1908 г. Андреев вспоминал: «Книг, написанных людьми, читал очень много (читать начал с 6 лет, а первая книга: "Любовницы Короля Наваррского" и т.д.)» (*Львов-Рогачевский В.Л.* Две правды: Книга о Леониде Андрееве. СПб.: кн-во "Прометей" Н.Н. Михайлова 1914. С. 24).

Петрарка Франческо (1304–1374) – автор любовной лирики, посвященной Лауре (канцоньера из двух частей: "На жизнь донны Лауры" и "На смерть донны Лауры" (1327–1330), являющаяся своеобразным поэтическим дневником).

...была сильна, – как смерть, по словам одного писателя... – Имеется в виду роман Ги де Мопассана "Сильна как смерть" (1889) ("Fort comme la mort").

С. 65. *Тщательная и осмотрительная ликвидация душевного имущества...* – Ликвидация – здесь в устар. знач.: "окончательный расчет,

разверстка долгов" (Подробный орфографический словарь / Сост. В. Зелинский. М., 1914. С. 213; ср. Даль).

С. 66. *...сосредоточивалось в "красном цветке", одном красном цветке.* – Имеется в виду образ "красного цветка" из одноименного рассказа В.М. Гаршина (1883).

...голова стала напоминать пророка Елисея... – т.е. облысела. Ср. библейское предание: дети, которые дразнили пророка Елисея словами: "иди, плешивый!", согласно его проклятию, были растерзаны вышедшими из леса медведицами (4 Цар 2, 23–24).

АЛЕША-ДУРАЧОК

(С. 69)

Источники текста:
К. 1898. 29 сент. (№ 268). С. 1; 30 сент. (№ 269). С. 1.
ПССМ. Т. 6. С. 142–151.
Автограф неизвестен.
Впервые: *К* (с подзаголовком "Очерк" и посвящением Э.В. Готье).
Печатается по тексту *ПССМ*.

Рассказ посвящен Эдуарду Владимировичу Готье-Дюфайе (1859–1921), врачу-терапевту, профессору Московских высших женских курсов, которого Андреев хорошо знал в студенческие годы и семья которого оказывала молодому писателю материальную помощь. В конце жизни, 9–10 марта 1918 г., он писал своей матери: "Да, я очень памятлив, маточка, и если еще иногда забываю сделанное мне зло, то добра никогда не забываю. Разве, например, я забуду когда-нибудь тех же Готье ⟨...⟩" (*S.O.S.* С. 214).

30 сентября 1898 г. Андреев записывает в дневнике: «Вчера начался печатанием и сегодня окончился мой рассказ: "Алеша-дурачок". Понятно, вчера я чувствовал себя изрядно, за исключением сильного нездоровья, результата водки, и опечаток в рассказе – результатов корректуры» (*Дн9*. Л. 86–86об.).

Рассказ, видимо, имеет автобиографическую основу. В нем изображена 2-я Пушкарная улица в Орле, где Андреев провел детство и отрочество. Можно предположить, что многие детали повествования и черты героя – Мелита Николаевича – имеют прототипический характер (возможно даже, что так имя будущего писателя произносилось соседями по улице).

Прямых свидетельств об аналогичном эпизоде из орловского детства обнаружить не удалось, но в гимназическом дневнике писателя находим запись (от 21 апреля 1890 г.), в определенной степени характеризующую отношение Андреева-гимназиста к главной проблеме рассказа – пробуждению в человеке милосердия к слабым и униженным: "Шопенгауэр говорит, что характер человека неизменяем, каков в юности, таков и в старости. Вот два события из моего детства, до сих пор ясно

стоящие в голове, что как будто они произошли вчера. Когда мне было шесть лет, у меня явилась привязанность к одной из бывших у нас овец, хромой и больной. Должно быть, только за это и полюбил ее. Стали резать овец, но когда дошло до моей, я взвыл благим матом и заявил, что не дам ее ни за что, и, несмотря на все мои просьбы и обещания подарить мне другую, держался за нее руками. Меня наконец оттащили от ней, но обнадежили, что она останется жива. Когда я после уже увидел ее убитой, со мной, кажется, сделалась истерика.

Был уже я, кажется, в четвертом классе, и уже тогда мой эгоизм был не хуже теперешнего, но надобно заметить, что когда мне приходилось сталкиваться с бедными, он принимал форму другую, которую у нас принято совершенно неправильно называть альтруизмом" (*Дн1*. Л. 80–81). На этом запись в дневнике под данным числом обрывается, и Андреев-гимназист так и не возвращается ко "второму событию", иллюстрирующему его альтруизм. Однако, принимая во внимание близость таких деталей, как возраст Мелита Николаевича из рассказа и время автобиографического эпизода ("в четвертом классе"), а также общность ситуации ("когда мне приходилось сталкиваться с бедными"), можно предположить, что в дневнике должна была быть изложена история, близкая к фабуле "Алеши-дурачка". Последний абзац выделен синим карандашом: так обычно Андреев при позднейшем перечитывании помечал те фрагменты из ранних дневников, которые он использовал в качестве сюжетов своих рассказов.

В прижизненной критике рассказ остался незамеченным.

С. 70. *Нанковый пиджак* – сшитый из нанки, хлопчатобумажной ткани, изготовленной из толстой пряжи, обычно желтого цвета.

С. 73. *...дверей, которые Митрофанушка называл "прилагательными"...* – Обыгрывается эпизод (д. IV, явл. 8) из комедии Д.И. Фонвизина "Недоросль" (1781).

...для контенансу... – для приличия (от *франц.* par contenance).

С. 76. *...бушкнул...* – Бушкнуть, бушкаться – боднуть, бодаться (*диал., орл.*).

С. 77. *...кое-каких харбаров...* – Харбары – обноски, старая одежда (*диал., орл.*).

ЗАЩИТА

(С. 79)

Источники текста:

ЧА – черновой автограф. ⟨Начало ноября 1898 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т2*. Л. 25–34.

К. 1898. 8 нояб. (№ 308). С. 2–3.

Зн. Т. 3. С. 14–25.

Пр. Т. 2. С. 21–34.

ПССМ. Т. 8. С. 105–113.

Впервые: *К* (с подзаголовком "История одного дня").
Печатается по тексту *ПССМ* со следующими исправлениями:
Стк. 75–76: загнанный зверек – *вместо:* заспанный зверек (по *ЧА*)
Стк. 140: свою роль! – *вместо:* свою роль. (по *ЧА*, *К*)
Стк. 156: исчезли – *вместо*: исчезла (по *К*, *Зн*, *Пр*)

ЧА отличается от опубликованного текста (помимо достаточно большой стилистической правки) наличием в нем своеобразной интродукции, в которой дана общая характеристика суда как некоего зрелищного развлечения (подобного театру или скачкам) для скучающей и безразличной к судьбам обвиняемых публики. В публикации также нет (возможно, по цензурным соображением) слов о Христе и его временах, сокращены чрезмерно патетические фразы. В рукописи отсутствует финал опубликованного рассказа, включающий последний эпизод в суде и последующие события.

Фабула рассказа в значительной степени определяется судебным отчетом, годом ранее опубликованным в "Московском вестнике" и скорее всего написанным самим Андреевым ([*Б.п*]. Из залы суда. Московский окружной суд. Московские трущобы // Московский вестник. 1897. 25 сент. (№ 203). С. 3; отмечено в работе: *Иезуитова 1967*. Приложение 1. С. 3). Из отчета в рассказ перенесены такие детали, как диссонанс между скромным обликом подсудимой и ее профессией и преступным прошлым и настоящим, ее интерпретация убийства и своей якобы пассивной роли в нем, заявление, что ее первоначальные показания были вызваны угрозами и побоями со стороны полиции, и. т.п. Текст судебного отчета см. в т. 13 наст. изд.

9 ноября 1898 г. Андреев записывает в своем дневнике: «Вчера вышел мой рассказ "Защита", темой для которого, как видно из заглавия, послужила наша судейская жизнь. Сегодня в суде наслушался много разговоров по поводу рассказа. Порицаний не слышал, все хвалят в большей или меньшей степени. В рассказе выведены два молодых адвоката, и вот все ищут, с кого я рисовал их, и находят, к моему великому огорчению, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ в одном из них видят Малянтовича. Мне советуют не огорчаться, п⟨отому⟩ ч⟨то⟩ портреты сделаны "художественно"» (*Дн9*. Л. 151 об.). Речь идет о предполагаемом прототипе преуспевающего помощника присяжного поверенного Померанцева – П.В. Малянтовиче (1870–1939?), московском присяжном поверенном (в будущем политическом деятеле: в 1917 г. он стал министром юстиции в последнем составе Временного правительства). Именно Малянтович в 1897 г. предложил Андрееву заменить его в качестве судебного репортера в газете "Московский вестник" и рекомендовал Андреева в число сотрудников "Курьера". Малянтович входил в круг общения родственных семей Велигорских и Добровых, с которыми в этот период был близок Андреев, и часто упоминается в его дневнике.

Несколькими днями позже в дневнике появляется другая запись: «Из похвал, слышанных еще по поводу "Защиты", понравились особенно две. "Вы должны быть довольны, написавши такой рассказ, который

заставляет о многом задуматься, погрустить и поразмышлять", – сказал один. Другой, мало знакомый: "Что мне особенно понравилось в рассказе – это личность автора. Прочтя "Защиту", я как будто вновь узнал вас – и очень, очень рад этому знакомству"» (Там же. Л. 152 об.).

Критические отклики на рассказ практически отсутствуют.

В своей монографии о творчестве писателя И.П. Баранов говорит о рассказе как об одном из первых произведений Андреева, в котором отражается внимание писателя к "глубоким, трудноразрешимым вопросам о непонятной, неуловимой *силе жизни*, о *человеке* и о *людях*" (*Баранов 1908*. С. 4). Он отмечает эпизод из "Защиты", в котором героиня-проститутка отвечает на вопрос председателя суда о роде своих занятий и показана реакция зала на ее слова, а также приводит фрагмент, описывающий бессилие молодого адвоката Колосова спасти подзащитную: "Только в одном крике, продолжительном, отчаянном, диком, мог выразить Колосов свое чувство. О, если бы у него был язык богов! ⟨...⟩ как тяжело быть человеком, только человеком". Последнюю цитату критик комментирует следующим образом: «Конечно, несколько наивен этот патетический, неопределенный заключительный аккорд, произнесенный с неменьшей твердостью, чем знаменитое "Скучно жить на этом свете, господа!" Но приведенные цитаты имеют несомненное большое психологическое значение, указывая на возможность тех своеобразных направлений авторского мышления, которые потом так блестяще реализовались» (Там же. С. 5).

При жизни автора рассказ был переведен на хорватский язык (1911) и на идиш (1912).

С. 79. *...то в съезде...* – Имеется в виду съезд мировых судей, инстанция, в которой обжаловались приговоры (в отличие от уголовного суда, для которого высшей кассационной инстанцией был Сенат).

С. 80. *Прасол* – скупщик мяса или рыбы для розничной распродажи, торговец скотом.

ИЗ ЖИЗНИ ШТ.-КАПИТ. КАБЛУКОВА

(С. 87)

Источники текста:

ЧН1 – черновой набросок начала рассказа. ⟨До 15 ноября 1898 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т1*. Л. 6–6об.

ЧН2 – черновой набросок начала рассказа. Под заглавием "Денщик". ⟨До 7 декабря 1898 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т3*. Л. 12–15.

ЧА – черновой автограф. Под заглавием "Штабс-капитан Каблуков". 7 декабря 1898 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Т3*. Л. 16–32.

К. 1898. 25 дек. (№ 355). С. 2–3. Под заглавием "Из жизни штабс-капитана Каблукова".

Зн. Т. 3. С. 26–39.

Пр. Т. 2. С. 37–53.

ПССМ. Т. 7. С. 241–250.

Печатается по тексту *ПССМ* со следующими исправлениями:

Стк. 135–136: со стаканом или другою вещью – *вместо:* со стаканом и другою вещью (по *К, Зн, Пр*)

Стк. 230–231: Да расказнить меня мало за это – *вместо:* Да расказнить его мало за это (по *ЧА, К*)

Стк. 231: И что человек придумает!" – *вместо:* И что человек подумает" (по *К, Зн*)

Первый набросок к рассказу (*ЧН1*) существенно отличается от опубликованной версии. В окончательном тексте нет фрагмента, содержащего "классификацию денщиков", которая отражала отношение офицера к своим денщикам, сводившееся к "одному собирательному понятию скотины".

ЧН2 ближе к окончательному варианту. Но вместе с тем образ денщика все еще наделен прежними уничижительными характеристиками, что подчеркивается даже его необычным именем – Епафродит. Образ же офицера близок к тому, который появится в окончательной редакции: он холост, носит звание "штабс-капитана", уныло, без надежды на значительные перемены в жизни, тянет армейскую лямку, страдает запоями.

Но, судя по всему, Андреева не удовлетворяла завязка, данная в *ЧН2*, и он заново (в *ЧА*) переписывает начало рассказа, убирая фельетонно звучащее обыгрывание имени денщика и в целом значительно смягчая отношение офицера к нему, что делало более органичной соответствующую жанру рождественского рассказа благостную концовку. Сравнение последнего сохранившегося автографа (*ЧА*) и опубликованного текста свидетельствует, что последующая правка продолжалась автором в основном в этом же направлении.

27 декабря 1898 г. Андреев записал в дневнике: «Мне "предложили" написать рождественский рассказ – и с удивительным терпением ждали его. Новик ⟨секретарь "Курьера"⟩, узнав, что рассказ займет шестьсот строк, с огорчением поведал, что он не может пустить его в фельетоне (почетное место). Фейгин ⟨издатель газеты⟩, прочтя рассказ, заявил, что он хуже всех *моих* других. Конец ему казался невозможным. Я хотел переработать – но был пьян. Велико ⟨было⟩ мое изумление, когда мой рассказ выходит в *фельетоне*, без поправок, в то время как другие авторы, более почтенные, чем я, и не менее написавшие, чем я, выходят в столбце» (*Дн9*. Л. 159–159об.). 30 декабря 1898 г. он сделал в дневнике новую запись: «Дошли первые отзывы о рассказе "Из жизни ш⟨табс-⟩к⟨апитана⟩ Каблукова". ⟨...⟩ Говорят "очень хорош". Наиболее приятные отзывы (по слухам): Шурочке "нравится", Добровы, Филипп и Е⟨лизавета⟩ М⟨ихайловна⟩, говорят "замечательно хорош". То же, будто бы, говорит Малянтович. Филипп и Малянтович за одно место меня ругали – интересно за какое?» (Там же. Л. 159 об.).

Литературным источником андреевского произведения, видимо, был рассказ В.М. Гаршина "Денщик и офицер", впервые опубликованный под заглавием "Люди и война" в "Русском богатстве" (1880. № 3).

Критикой рассказ обычно отмечался в ряду других ранних рассказов Андреева, включенных автором в сборник "Мелкие рассказы", который вышел только в 1906 г.

Так, А.Г. Горнфельд, противопоставляя их более зрелому творчеству писателя, иронически отмечает особую сентиментальную трогательность, "слезливость" рассказа: "Но еще трогательнее, конечно, запойный штабс-капитан Каблуков, когда денщик Кукушкин отправил в родную голодную деревню капитанскую четвертную, и пьяненький капитан – совершенно неожиданно для себя – понял и простил его. ⟨...⟩ У капитана Каблукова даже запой прошел оттого, что он понял и простил Кукушкина. Это уже не только трогательно, но и нравоучительно. Этого, впрочем, надо было ожидать: сентиментальность всегда нравоучительна, ибо никогда не хочет и не умеет взять жизнь в ее обнаженной простоте: она мудрит и поучает. Чтобы покончить с этой тягучей и противной слезливостью, позволим себе прибегнуть к некоторого рода статистике: из двадцати трех рассказов, собранных в новой книге г. Андреева, слезы льются и о плаче говорится в одиннадцати; целое море слез" (*Горнфельд А.* Литературные беседы. III. "Мелкие рассказы" Л. Андреева // Наша жизнь. 1906. 6 апр. (№ 412). С. 2–3. Цит. по: *Горнфельд 1908*. С. 8–9).

Для других критиков этот рассказ Андреева не противопоставлен основным линиям его творчества, он становится подтверждением их тезиса о характерном стремлении одиноких андреевских героев к единению: «Короткий праздник в жизни героев Андреева – это когда они оказываются для чего-то или кого-то нужными и не чувствуют себя отделенными от всего остального мира стеною, "за которой, чуждая миру и людям, содрогалась одинокая душа"». Именно на этой основе строится сюжет, в котором внешняя коллизия (денщик "не выдерживает тяжелого соблазна и полученные деньги отсылает в деревню") как бы снимается и потому "пострадавших от этого, в рассказе г. Андреева, не было. Пьяная, беспросветная жизнь осветилась мягким и радостным сознанием, что какие-то люди из-за этих 25 рублей, принадлежавших ему, Каблукову, будут по-мужицки безмерно счастливы" (*Редько А.Е.* [Редько А.М. и Е.И.]. Литературные наброски. Л. Андреев. Рассказы. Том второй. Мелкие рассказы. Том третий. "Так было" // Русское богатство. 1906. Июль. С. 41, 42 (2-я паг.)).

При жизни автора рассказ был переведен на финский (1907), французский (1908), японский (1909, 1913) языки и на идиш (1912).

С. 87. *Михрютка* – неловкий, неповоротливый человек (*тул., костр.; СРНГ*. Вып. 18. С. 179).

С. 88. *...резаться в стуколку.* – Стуколка – азартная карточная игра, чрезвычайно популярная в конце XIX – начале XX в.

С. 90. *Гужеед* – грубый, нахальный человек (*яросл.; СРНГ*. Вып. 7. С. 204).

С. 92. *Дергач* – луговая птица, коростель.

Четвертная бумажка – двадцать пять рублей (*разг.*).

С. 485. *Епафродит* – имя двух почитаемых православной церковью святых: епископа Адриакского и мученика Епафродита Фракийского (см.: Христианство: Энциклоп. словарь: В 3 т. М., 1995. Т. 3. С. 616).

Чем тебя я огорчила? – начало русской народной песни "Чем тебя я огорчила, ты скажи, любезный мой...". Слова народные. Музыку на эти слова писали многие композиторы: А.Е. Варламов, К.П. Вильбоа, Д.Н. Кашин и др. (*Иванов Г.К.* Русская поэзия в отечественной музыке (до 1917 года). М., 1966. Вып. 1. С. 433–434).

ЧТО ВИДЕЛА ГАЛКА

(С. 96)

Источники текста:

ЧА – черновой автограф. 8 декабря 1898 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *ТЗ*. Л. 33–39.

МВ – Московский вестник. 1898. 25 дек. (№ 354). С. 2.

НБ. 1902. 25 дек. (№ 51–52). С. 8–9.

ПССМ. Т. 6. С. 151–154.

Впервые: *МВ*, с подзаг. "Из рождественских мотивов".

Печатается по тексту *ПССМ*.

Печатный текст отличается от *ЧА* обширной, но исключительно стилистической правкой (см. "Другие редакции и варианты").

Историю публикации рассказа передает в своих воспоминаниях О. Волжанин (О.А. Израэльсон), заведующий редакцией газеты "Московский вестник", в которую Андреев с октября 1897 г. представлял судебные отчеты: «Однажды, недели за две до праздников, Л.Н. принес мне несколько страничек блокнота, написанных его мелким, четким почерком, в заголовке которых не стояло "Из залы суда", а только:

"Что видела галка".

Я увидел, что это не судебный отчет, и спросил его, что это такое.

– Это рождественский рассказ, – ответил он.

Я поблагодарил его и сунул листки в стол, а через несколько дней, когда ко мне в редакцию пришел метранпаж, требуя поспешить с материалом для рождественского номера, я вынул эти самые листки и, не прочитав их даже в корректуре, так как некогда было, – я работал буквально как вол, день и ночь, – а во-вторых, у меня жило какое-то странное чувство доверия к мелко исписанным блокнотным страничкам Андреева. Я знал, что человек, так хорошо, талантливо пишущий судебные отчеты, не может написать для печати чего-либо скверного и неприемлемого.

Я не ошибался: напечатанный спустя две недели, в рождественском номере, за полной подписью, – Леонид Андреев, – рассказ "Что видела галка" оказался прелестной миниатюрой. ⟨...⟩ За этот рассказа Л.Н. по-

лучил гонорар так же по две копейки за строку» (*Волжанин Осип.* Л.Н. Андреев на заре литературной деятельности // Вестник литературы. Пг., 1920. № 3. С. 4). В позднейшем варианте воспоминаний он подробнее характеризует рассказ, называя его "не только приятной и милой, но вполне хорошей, серьезной вещицей. В ней уже намечался и будущий литературный стиль и отчасти будущий выбор тем. ⟨...⟩ К этому нужно прибавить, что в рассказе очень хорошо описана зимняя стужа, ночь, занесенный снегом лес" (*Волжанин О.* Синяя тетрадь Л. Андреева // Мир и искусство. Париж, 1930. № 7. С. 6–7).

27 декабря 1898 г. в дневнике Андреева отмечено: «Рождественских вышло моих два рассказа: в "Курьере" – "Из жизни штабс-капитана Каблукова", и в "Москов⟨ском⟩ вестнике": "Что видела галка". Отзывов о том и другом еще не слыхал, ибо никого не видел» (*Дн9.* Л. 159 об.). На следующий день появляется новая запись: «Дошли первые отзывы о рассказе "Из жизни ш. к. Каблукова" (о втором рожд⟨ественском⟩ рассказе мне даже и неинтересно слышать – пустой рассказ)» (Там же).

Несмотря на такую самооценку, рассказ в 1902 г. был перепечатан в рождественском номере "Народного блага", хотя ни в одно прижизненное собрание сочинений, кроме *ПССМ*, не включался.

В прижизненной критике рассказ отмечен не был.

При жизни автора рассказ был переведен на хорватский (1913, 1914 дважды) и сербский (1914) языки.

СЛУЧАЙ ⟨1899⟩

(С. 100)

Источники текста:

ЧН – черновой набросок начала рассказа. ⟨1898 г., до 8 ноября (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т2*. Л. 35–38об.

ЧА – черновой автограф. ⟨15 ноября 1898 г.⟩ Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Т1*. Л. 29–41об.

К. 1899. 14 янв. (№ 14). С. 2.

Печатается по тексту *К*.

Сохранившиеся рукописные редакции достаточно близки друг к другу (и печатному тексту) по фабуле, но имеют множество стилистических различий. Помимо этого, в *ЧА*, имеющем промежуточный характер, сын героини, Анны Ивановны, непоследовательно именуется то Иваном Тимофеевичем (как в *ЧН*), то Иваном Семеновичем (как в *ОТ*); муж героини, который в *ЧН* именовался Тимофеем Осипычем, в *ЧА* носит имя Тимофей Николаевич, которое к концу текста заменяется Семеном Матвеевичем (как в *ОТ*).

15 ноября 1898 г. Андреев записывает: «Сейчас окончил рассказ – заглавие, вероятно, будет "Находка". Если не обманывает меня критическое чувство, этот рассказ очень хорош, во всяком случае, выше по-

средственности. Писал я его, чтобы забыться от мыслей об А⟨лександре⟩ М⟨ихайловне Велигорской⟩» (*Дн9*. Л. 152). Речь идет о законченном, но еще не имеющем заглавия *ЧА*.

С этим рассказом связаны большие надежды молодого писателя. Так, 27 декабря 1898 г. он в том же дневнике отмечает: «*О рассказах*. При редакции есть некто Коновицер, человек, чрезвычайно ко мне расположенный, что отчасти (и в значительной части) для меня горько. Он требует, чтобы я исполнял "Коновицера", т.е. переделывал в художественные рассказы то, что думает и видит он, Коновицер. В моем отказе он видит лень, неспособность. Последнее время он стал демонстративно (как и Н⟨адежда⟩ А⟨лександровна Антонова⟩) уклоняться от меня, пока ему не попал в руки мой рассказ "Случай" (тот, о котором я говорю 15 ноября, здесь в дневнике). Я был у него в доме, и он *исправлял* мой рассказ. Я ему уступил. Выкинул одно слово и исправил целую фразу (после долгой борьбы: уступил я потому, что "Курьер" выписывают Антоновы). И только. И Коновицер мне заявил, что рассказ он читает *третий* раз – и все с возрастающим наслаждением. Мало того: он думал, что "Баргам⟨от⟩ и Гар⟨аська⟩" я написал случайно и выше этого не поднимусь, что "Защиту" он считает слабее (многие считают ее сильнее) – но что теперь он видит, что я могу написать даже лучшую вещь.

Эта лучшая вещь отдана во вторую инстанцию, к редактору Фейгину. Фейгин одобрил и обещал пустить ее в печать тотчас же (я просил об этом). Он обещал 7-го дек⟨абря⟩ – вещь до сих пор не вышла. Кроме того, я забыл сказать, Коновицер полагал, что "Русская мысль" с руками оторвала бы этот рассказ» (Там же. Л. 158–159). 17 января 1899 г. Андреев, отмечая факт публикации рассказа, воспроизводит мнения о нем окружающих: «Слышал только, что "очень хорошо" и что "вторая часть слаба"» (Там же. Л. 160).

Позже собственная высокая оценка "Случая" Андреевым изменилась: рассказ не был включен ни в один из его сборников и томов собраний сочинений.

В прижизненной критике рассказ отмечен не был.

С. 103. *...а там радужная...* – Радужная – сторублевая денежная купюра (по цвету бумаги).

С. 107. *...казинетовые брюки...* – "Казинет – плотная хлопчатобумажная или полушерстяная одноцветная ткань саржевого переплетения ⟨...⟩ Казинет из полушерстяной пряжи был тканью для форменной одежды нижних гражданских чинов, поэтому связывался с низким социальным положением" (*Кирсанова Р.М.* Костюм в русской художественной культуре 18 – первой половины 20 в.: (Опыт энциклопедии). М., 1995. С. 110).

ЧН

С. 506. *Сокруха* – забота, горе, печаль, сокрушение (*диал., орл., воронеж.*).

МОЛОДЕЖЬ

(С. 111)

Источники текста:

ЧА – черновой автограф. 10 января ⟨18⟩99 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *ТЗ*. Л. 50–63.

К. 1899. 16 марта (№ 74). С. 3; 18 марта (№ 76). С. 2.

Зн. Т. 3. С. 40–55.

Пр. Т. 2. С. 57–74.

ПССМ. Т. 7. С. 111–124.

Впервые: *К* (с подзаголовком "Этюд").

Печатается по ПССМ.

В *Пр* и *ПССМ* рассказ помещен с датой: 1898 г., что противоречит датировке сохранившегося автографа (10 января 1899 г.). Печатный текст отличается от *ЧА* (помимо обширной стилистической правки) более нейтральными характеристиками директора гимназии (так, исключена фраза: "Все знали, что директор скотина: боится жены и берет взятки ⟨...⟩") и инспектора Ивана Ивановича. Изменению общей тональности рассказа способствовала также появившаяся в печатном тексте новая юмористическая концовка со сторожем Семеном.

В дневнике (запись от 23 апреля 1899 г.) Андреев упомянул о напечатанном рассказе кратко: "Принят с большими похвалами" (*Дн9*. Л. 160 об.).

В рассказе отразились впечатления Андреева о времени его учения в Орловской классической гимназии, которую он закончил в 1891 г. В инспекторе гимназии Иване Ивановиче ("горячем и вспыльчивом чехе") угадывается Иван Иванович Гавелька, окончивший Пражский университет. В 1878–1879 гг. он преподавал латинский язык в московских гимназиях. В должности инспектора Орловской гимназии состоял с 1889 г. (см.: Список преподавателей Орловской гимназии на 1 января 1891 г. // Исторический архив Орловской области. Ф. 64. Инв. № 1/1891. Ед. хр. 375). Прототипом директора Михаила Ивановича (в *ЧА* – Иван Михайлович) является директор Орловской гимназии Иван Михайлович Белоруссов. Он окончил в 1875 г. Историко-филологический институт в Петербурге. В 1875–1878 г. преподавал в гимназии в Архангельске, в 1878–1884 г. в гимназии и Историко-филологическом институте князя Безбородко в Нежине. Директором Орловской классической гимназии служил с 1884 г. В старших классах Белоруссов преподавал русский и древнегреческий языки, он являлся также составителем учебных пособий по русской грамматике и теории словесности. Соученик Андреева по гимназии И.Н. Севастьянов вспоминал о нем: "Человек, что называется, без изюминки. Его преподавание дальше пересказов своими словами учебников не шло. От учеников он требовал точности, аккуратности, а в сочинениях ставил в первую голову план: требовалось, чтобы сочинение было написано по определенному, раз установленному плану, чтобы оно заключало в себе все необходимые части: вступление, предложение, изложение, разделение и т.д.; на самую

мысль и даже на слог обращалось мало внимания" (*Фатов.* С. 223). Позже Андреев отмечал, что Белоруссов "очень благосклонно" относился к его гимназическим сочинениям (*Автобиогр.* С. 244). Подтверждение тому мы находим в письме Андреева З. Сибилевой от 5 февраля 1891 г.: «⟨...⟩ по-русски мое сочинение оказалось лучшим в классе. Мне одному только 5. Директор долго и ругал и хвалил его и говорил, что ⟨для⟩ разбора его нужен особый урок. Главные же недостатки сочинения те, что: 1) оно слишком оригинально и выдается из ряда классных работ и 2) в некоторых местах слишком пахнет фельетоном. "Ты, Андреев ("ты" он говорит мне в знак своего расположения) мог бы его поместить в "Орл⟨овском⟩ в⟨естнике⟩", и тебе даже деньги за него заплатили бы, но я думаю, что для этого "Орл⟨овский⟩ в⟨естник⟩" слишком низок, а твое сочиненье слишком высоко". Вообще говорил очень много. Это очень хорошо для меня, ибо дирек⟨тор⟩ говорил, что сочинениям теперь придается большое значение при получении аттестата» (ИРЛИ. Ф. 9. Оп. 2. Ед.хр. 26. Л. 39 об.).

В прижизненной критике рассказ отмечен не был.

При жизни автора рассказ был переведен на идиш (1912).

С. 116. *Маркиз Поза* – герой драмы Ф. Шиллера "Дон Карлос" (1787), олицетворение гражданских добродетелей. Подробнее см.: *Панкова Е.С.* "Don Carlos" Шиллера и рассказ Л. Андреева "Молодежь" (об одной реминисценции) // Литература русского зарубежья (1917–1939): Новые материалы. Т. 1.: Творчество И.Ф. Каллиникова в мировом литературном процессе. Орел, 2004. С. 138–142.

С. 117 – *...на "камчатке"...* – на самой дальней от стола учителя парте.

ПАМЯТНИК

(*С. 122*)

Источник текста – Нижегородский листок. 1899. 15 апр. (№ 102) и 17 апр. (№ 104).

Автограф неизвестен.

Печатается со следующими исправлениями:

С. 126, стк. 8; с. 127, стк. 30: Алексей Георгиевич – *вместо:* Алексей Егорович *(как явная ошибка при наборе; при этом оставлено "Алексей Егорыч" в прямой речи героини – с. 130, стк. 25).*

Рассказ был написан Андреевым скорее всего в начале апреля 1899 г. Появление его в газете "Нижегородский листок" знаменует начало творческого содружества молодого писателя с М. Горьким. История этой публикации так освещена в дневнике писателя (запись от 23 апреля 1899 г.): «В начале апреля передано приглашение от "Горького" участвовать в "Нижегор⟨одском⟩ листке". На страстной неделе передано мне письмо, адресованное к Ашешову, сотруднику "Курьера", такого содержания:

"Николай Петрович! Во-первых – здравствуйте! а во-вторых – будьте столь великодушны, сообщите мне адрес Леонида Андреева (так я подписываюсь), печатающего у вас такие славные рассказы. Пожалуйста! Ему, Андрееву, это наверное будет очень полезно. Свидетельствую почтение.

А. Пешков. ("М. Горький")"

Я ответил Горькому сам. В среду на страстной *телеграмма*: "Немедленно пришлите хороший рассказ Миролюбову, Ялта. Буду Москве субботу – М. Горький".

Но Горького я не видал – он был от поезда до поезда.

16 апреля (мои именины) в "Нижегор⟨одском⟩ листке" вышел мой рассказ "Памятник"» (*Дн9*. Л. 161–161об.).

Судя по всему, рассказ Горькому понравился. 15 декабря 1900 г. он писал Андрееву из Н. Новгорода: «Образовалось здесь "О-во защиты женщин". Средств нет. Издаем сборник. Понимаете?

Пишите нам, голубчик, небольшой рассказ, а то – большой рассказ пишите. У Вас есть начатые – прекрасно! Нет ли про женщину? Проститутку? Вроде "Памятника Пушкину"?» (*Горький. Письма.* Т. 2. М., 1997. С. 81).

Сам же Андреев, видимо, не очень высоко оценивал этот рассказ: в последующем "Памятник" не включался ни в один из его сборников или томов собраний сочинений.

В прижизненной критике рассказ отмечен не был.

С. 122. *...к Страстному монастырю...* – Страстной монастырь располагался в районе Страстной площади. Уничтожен в 1937 г.

Страстная площадь – ныне Пушкинская площадь (переименована в 1931 г.). Памятник Пушкину располагался по другую сторону площади, на Тверском бульваре (перенесен в 1950 г.).

С. 124. *Околодочный надзиратель?* – Здесь просторечный (с оттенком иронии) вариант понятия "околоточный надзиратель" – так именовался полицейский чин, возглавлявший околоток, наименьшую административно-полицейскую единицу деления города в Российской империи. Обычно имел небольшой (не офицерский) чин – старшего унтерофицера или фельдфебеля.

С. 126. *...на Грузинах...* – "Грузины" – район Пресни, располагавшийся между Большой и Малой Грузинскими улицами. Ареал Пресни с прилегающими к нему бульварами и переулками был неизменным местожительством Андреева и его семьи в Москве в 1895–1905 гг.

С. 131. *А ее в Екатерининскую увезли.* – Имеется в виду Екатерининская больница, крупнейшая и популярнейшая в конце XIX в. московская клиника (ныне – МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт)).

В САБУРОВЕ

(С. 132)

Источники текста:
К. 1899. 18 апр. (№ 107). С. 2–3.
ПССМ. Т. 6. С. 133–142.
Автограф неизвестен.
Печатается по тексту *ПССМ.*

В основе сюжета рассказа – ранее опубликованный судебный отчет, скорее всего принадлежащий Андрееву ([*Б.п.*] Московский окружной суд // Курьер. 1898. 22 сентября. (№ 261). С. 3; отмечено в работе: *Иезуитова 1967.* С. 62). Приспосабливая криминальную фабулу к задачам пасхального рассказа, автор принципиально изменяет ее концовку: прототип Пармена (обладавший такой же уродливой внешностью и так же изгнанный из чужой семьи) отнюдь не смирился со своей участью, а, наоборот, активно отстаивал свои права и даже стрелял в хозяйку дома (текст судебного отчета см. в т. 13 наст. изд.). Упоминание в рассказе Десны, Измалкова и Шаблыкинского леса свидетельствует о том, что Андреев переносит действие рассказа из Московской губернии (где произошла история, отраженная в судебном отчете) в Орловскую. Заглавное Сабурово (довольно распространенный в России топоним) – село под Орлом, реально располагающееся на высоком правом берегу не Десны (как в рассказе), а реки Цон.

В дневнике Андреева 23 апреля 1899 г. записано: «18 апреля вышел в "Курьере" пасхальный рассказ "В Сабурове".

Похвалы крайние. Смысл их: "рассказ лучше всех бывших".

Чехов приехал в Москву. Сегодня был у него (согласно его желанию). Отзыв: рассказ талантливый, техника (в частности, "фразы") никуда не годна» (*Дн9.* Л. 161 об.).

Задумав издание дешевого сборника рассказов для народа, Н.Д. Телешов 25 ноября 1901 г. обратился к М. Горькому с письмом, где он, в частности, попросил порекомендовать ему авторов, которые могли бы дать свои произведения для сборника. Горький в ответном письме от 2 декабря 1901 г. поддержал замысел Телешова и предложил ему взять у Андреева для сборника рассказы "Баргамот и Гараська" и "В Сабурове" (см.: *Горький М.* Переписка: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 195; *Горький. Письма.* Т. 2. С. 216). Это издание не осуществилось.

В прижизненной критике рассказ отмечен не был.

У ОКНА

(С. 142)

Источники текста:
ЧА – черновой автограф. 18 июня 1899 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Т4.* Л. 1–29.

К. 1899. 3 авг. (№ 212). С. 3; 5 авг. (№ 214). С. 3; 7 авг. (№ 216). С. 3. С подзаголовком "Очерк".

Зн. Т. 1. С. 187–214.

Пр. Т. 5. С. 303–338.

ПССМ. Т. 1. С. 113–133.

Печатается по тексту *ПССМ.*

Первоначальная редакция (*ЧА*), законченная 18 июня 1899 г., существенно отличается от опубликованного текста не только значительной стилистической правкой, но и иной характеристикой некоторых персонажей. Так, в печатной версии Андреев отказывается от несколько изменявшего общее представление о главном герое эпизода, в котором он рассказывал о своем сиротском детстве и службе в солдатах (см.: *ЧА.* Л. 16–17). При подготовке к публикации из *ЧА* исключена также сцена отчаянного поступка Гусаренка во время половодья (см.: *ЧА.* Л. 22–24, примеч. 112). Необходимо отметить двухслойный характер правки в *ЧА*; позднейший слой, использованный для создания новой, несохранившейся редакции, весьма близок, но не полностью совпадает с опубликованной версией (см. редакторские пометы о соответствии его фрагментов с *ОТ*). Дата под произведением в *ПССМ* – 8 июня 1899 г. – скорее всего является искаженной при наборе датой создания *ЧА* – 18 июня 1899 г.

Прозвище главного героя – Сусли-Мысли, вероятно, варьирует домашнее прозвище (Сусли, Сусляй) одного из братьев Андреева, Всеволода Николаевича (1877–1915). Возможно, какие-то черты его характера и образа жизни также перенесены на облик и поведение Андрея Николаевича Николаева, героя рассказа "У окна". Согласно воспоминаниям членов семьи (невестки писателя Анны Ивановны и его сестры Риммы Николаевны Андреевых): "Всеволод был чужаком в семье ⟨...⟩ не похожий ни внешним, ни внутренним обликом на других братьев. Был добрый, любил семью, поклонялся Леониду, благоговел перед ним, робел, стеснялся своей отчужденности, но жил жизнью простой и реальной – маленькой жизнью чиновника – судебного пристава. ⟨...⟩ Держался особняком. Необычайной честности и порядочности. ⟨...⟩ У него был свой круг знакомых и своих интересов. ⟨...⟩ В обществе низших чиновников, горничных чувствовал себя лучше всего" (цит. по: *Андреев Л.* Письма к Павлу Николаевичу и Анне Ивановне Андреевым / Публ. Л.Н. Ивановой и Л.Н. Кен // Русская литература. 2003. № 1. С. 156. Здесь приведены фрагменты из неопубликованных воспоминаний, хранящихся в личном архиве).

Современная критика признавала большое психологическое мастерство Андреева, ставившее его рассказ значительно выше современной ему бытописательской литературы (*Измайлов А.А.* Литературные заметки // *БВед.* 1901. 10 окт. (№ 276)). М.П. Неведомский определил рассказы Андреева, в том числе и "У окна", как произведения, "изобличающие талант и вкус, умные, чистые, полные нравственных возбуждений⟨...⟩" (*Неведомский 1903.* С. 15).

В разборе рассказа, сделанном Н.К. Михайловским, герой отнесен к категории андреевских персонажей, испытывающих страх жизни. Подробно пересказав сюжет, критик отмечает: «Так и доживает "Сусли-Мысли" свой век "у окна", тихо, спокойно, лишь изредка содрогаясь при воспоминании о тех страшных обстоятельствах, которые, впрочем – он наверное знает – никогда для него в действительности не наступят...» (*Михайловский 1901*. С. 65).

В ряде критических откликов отмечалось явное присутствие чеховских мотивов в рассказе. По мнению В.М. Шулятикова, главный герой – чиновник Андрей Николаевич – производит впечатление настоящего чеховского героя своей "загипнотизированностью однообразием рутинной жизни". Однако "если герои г. Чехова, – отмечал рецензент, – при столкновении с внешним миром не ощущают ничего, кроме щемящей безысходной тоски и скуки, то герои Леонида Андреева из столкновений с внешним миром выносят более острые чувства и ощущения, получают при столкновении с внешним миром более глубокие душевные язвы" (*Шулятиков 1901*. С. 3).

Рецензент газеты "Орловский вестник" Ник. Васильев писал, что герои рассказов Андреева – "люди и людишки нашей сумеречной и тоскливой действительности" – напоминают чеховских героев той же "безотрадной мелочностью жизни", приведя в качестве примера рассказ "У окна" (*Васильев Ник.* Отклики из области литературы // *ОВ*. 1901. 28 окт. (№ 284)).

Е.А. Колтоновская писала об определенной близости андреевских героев к героям М. Горького: «В рассказе "У окна" мы встречаемся с типом ⟨...⟩ ничтожного, душевно убогого человека. ⟨...⟩ Уж не думал ли автор этою общей склонностью к рефлектированию и философствованию породнить своих героев с героями Горького? Но ведь герои Горького – неудачники не по природе, а вследствие неблагоприятных, искалечивших их общественных условий, и потому всевозможные "размышления" им гораздо более к лицу, чем героям г. Андреева. Подобно Фоме Гордееву, Андрей Николаевич не любит книг и отзывается о них с большим пренебрежением. ⟨...⟩ Тип Андрея Николаевича хорошо продуман и выдержан автором, и рассказ "У окна" читается с интересом» (*Колтоновская 1901*. С. 26–27).

В отзыве Н.Л. Геккера отмечено: «К ⟨...⟩ загубленным и внутренне опустошенным героям принадлежит ⟨...⟩ Андрей Николаевич в рассказе "У окна". ⟨...⟩ Андрей Николаевич всю жизнь сидел "у окна" и из него наблюдал жизнь. Но как он ни окапывался от нее и как ни заколачивал себя заживо в гробу, эта жизнь врывалась к нему неожиданно и с той стороны, которая другим не видна была. Недаром сослуживцы прозвали его "Сусли-Мысли"». "Мы не могли передать и малой доли всей соли и глубины этого замечательного рассказа, до тонкости разработанного во всех психологических подробностях и богатого идейным содержанием", – заключил свой отзыв рецензент (*Геккер Н.* Восходящая звезда. Леонид Андреев. Рассказы // Одесские новости. 1901. 13 дек. (№ 5493)).

В рассказе "У окна", писал И.И. Ясинский, "под холодом ненависти, которую питали друг к другу его герои, автор подмечает огненные вспышки взаимной любви" (*Чуносов 1901*. С. 386).

В рассказе "о чиновнике, боявшемся жизни, не женившемся ради этого, отказавшемся от служебных повышений и ведущем самое жалкое существование", по мнению Пл. Краснова, заключена "глубокая и в сущности гуманная мысль" (*Краснов 1902*. С. 126–127).

Рецензент газеты "Приазовский край", сопоставляя "У окна" с "Рассказом о Сергее Петровиче", отмечал, что герой первого "только тем и отличается от Сергея Петровича, что будучи слабым, беспомощным и жалким, и сознательно влача нищенскую тусклую жизнь, ⟨...⟩ не имеет того дерзновения мысли, той смелости глядеть в глаза самому себе и упорно протестовать против нивелирующей и опошляющей силы жизни" (*Н.А.-ч.* Журнальная литература в 1901 г. // Приазовский край. 1902. 28 янв. (№ 26)).

И.П. Баранов полагал, что в творчестве Андреева рассказ "У окна" занимает "пограничное место между полубытовыми картинками раннего периода и полными трагизма очерками следующего" (*Баранов 1907*. С. 6). По мнению критика, герой рассказа – "это немного усложненная разновидность многочисленного типа маленьких, худеньких, полубезжизненных чиновников. ⟨...⟩ Андрей Николаевич – сильно отощавший и измельчавший потомок тех безвольных русских людей – белоручек, которые своим отрицательным философствованием и красноречивым ничегонеделанием одухотворяли многих корифеев русской художественной литературы. И в этом именно рассказе ⟨...⟩ заметно влияние этих великих художников слова на г. Андреева. Здесь смешиваются смутно выраженное стремление к подражанию великим образцам и самобытные, индивидуальные черты его творчества, которые вскоре одни только и стали господствовать в его произведениях. Это смутное подражание подсказывало г. Андрееву нарисовать русский общественный тип – тип, весьма благодарный для художника-реалиста. Но нельзя сказать, чтобы этот тип вполне удался г. Андрееву. У него заметна некоторая искусственность, деланность – и это очевидно стесняло самого писателя, которого настоящая творческая область – изображение по преимуществу индивидуальной человеческой души в ее наиболее тонких и сложных движениях. В лице Андрея Николаевича мы имеем плаксивого, безвольного субъекта, которого приводит в ужас одна мысль о хаотической сутолоке жизни. Всевозможными софистическими хитросплетениями à la Рудин, Обломов, доктор Рагин у Чехова (конечно, в гораздо более ограниченной мере, нежели его знаменитые предшественники) старается он отделаться от тех неспокойных мыслей, которые по временам прокрадываются через потаенную калиточку в его крепость, где он прятался от жизни. Это – общественный мотив рассказа. Отношения же Андрея Николаевича к Наташе – это уже явный, элементарный органический дефект его нравственной природы. Здесь уже как бы отсвечивает тусклый свет черного взгляда г. Андреева на человеческую природу

и ее бессилие. Так что из основных элементов творчества г. Андреева мы в этом рассказе подметили, во-первых, ⟨...⟩ еле обозначенные признаки фатальности, а во-вторых, не особенно твердую веру в человека и его нравственные силы. ⟨...⟩ С течением времени эти черты разрастались и крепли, все резче очерчивая оригинальные контуры сложной души г. Андреева" (Там же. С. 7–9).

Положительный отзыв о рассказе принадлежал Л.Н. Толстому, который, по свидетельству М. Горького, в ряду наиболее понравившихся ему произведений Андреева (он читал присланное ему автором первое издание "Рассказов") – "Жили-были", "Большой шлем", "Рассказ о Сергее Петровиче" – назвал и рассказ "У окна". "Много говорил похвального о чистоте языка и силе ⟨...⟩ изображения", – передавал свой разговор с Толстым Горький в письме к Андрееву из Олеиза от 23 декабря 1901 г. (*Горький. Письма.* Т. 2. С. 229). Но вместе с тем какие-то аспекты этого произведения не устраивали Толстого, что и вызвало его помету на с. 157 "Рассказов" Андреева: "Все не нужно" (см.: *Библиотека Л.Н. Толстого.* С. 38).

При жизни автора рассказ переведен на немецкий (1903, 1905), болгарский (1904), польский (1904), французский (1904), чешский (1904), испанский (1906 дважды) языки.

С. 152. *Коллежский регистратор* – низший по иерархии чин государственного служащего, согласно "Табели о рангах", действовавшей в Российской империи; соответствовал последнему, 14-му, классу. Уточняя статус своего героя, Андреев заменяет этим чином в *ПССМ* приданный герою в более ранних редакциях чин коллежского секретаря, относящийся к 10-му классу и соответствующий существенно более высокой должности (см. "Другие редакции и варианты"). На это несоответствие обратил внимание Н.К. Михайловский в отзыве на первую книгу рассказов (1901): «В разговоре с некоей девицей Наташей он называет себя коллежским секретарем, но или это опечатка, или Андрей Николаевич хвастает. Чин на нем должен быть гораздо меньше: образование его ограничивается двумя классами реального училища, служебные обязанности состоят в переписывании бумаг ⟨...⟩ да и сам он в письме к той же девице Наташе называет себя чиновником "тринадцатого" класса» (*Михайловский 1901.* С. 62).

Бакши – бахчи, поля с бахчевыми культурами (тыквами, арбузами, дынями и т.п.).

С. 156. *...будучи чиновником тринадцатого класса...* – Фактическая ошибка (см. выше, коммент. к с. 152).

С. 159. *....дамы в широких ротондах... – Ротонда* – женская верхняя одежда без рукавов.

С. 160. *...поставил на крышу арфу...* – Имеется в виду так называемая эолова арфа – музыкальный инструмент, струны которого звучат под воздействием ветра.

ЧА

С. 545. *Ночи безумные, ночи бессонные...* – Первая строфа стихотворения А.Н. Апухтина (1876), ставшего знаменитым романсом (на музыку Чайковского, Балкашиной, Донаурова и др.). В рассказе воспроизводится одна из популярных романсных версий текста. У Апухтина:

Ночи безумные, ночи бессонные,
Речи несвязные, взоры усталые,
Ночи последним огнем озаренные,
Осени мертвой цветы запоздалые!

(Песни и романсы русских поэтов. М.; Л., 1963. С. 727)

ПЕТЬКА НА ДАЧЕ

(С. 162)

Источники текста:
ЧА – черновой автограф. 7 июля ⟨1899 г.⟩ Хранится: *Т4*. Л. 41–55.
ЖДВ – Журнал для всех. 1899. № 9. Стб. 1061–1070.
Зн. Т. 1. С. 175–186.
Пр. Т. 2. С. 101–115.
ПССМ. Т. 7. С. 90–98.
Печатается по тексту *ПССМ.*

Рассказ был написан в июле 1899 г. (дошедший до нас *ЧА* был закончен 7 июля, а уже 30-го автор отправляет новую его версию в редакцию). Правка в *ЧА* имеет два слоя. Позднейший слой использован при создании следующей редакции; он близок к *ОТ*, хотя и не полностью совпадает с ним. Но именно работа над вторым слоем позволяет Андрееву найти ряд существенных деталей, важных для печатной редакции. Это сравнение Петьки с современным дикарем, который чувствует себя "беспомощным и слабым перед лицом природы", новый вариант финала, основанный на ночном разговоре двух мальчиков, и др.

Публикация рассказа в популярном и многотиражном "Журнале для всех" – важный момент в развитии литературной карьеры начинающего беллетриста, который до этого времени печатался только на страницах "Курьера" и "Московского вестника". Этой публикации немало способствовал Горький, который уже в апреле 1898 г., после появления "Баргамота и Гараськи", рекомендовал редактору журнала В.С. Миролюбову обратить внимание на молодого автора (см.: *Горький. Письма.* Т. 1. С. 253). 14 апреля 1899 г. Горький после встречи с Миролюбовым в Ялте телеграммой предлагает Андрееву послать "немедленно хороший рассказ" для журнала (Там же. С. 326). Андреев исполняет это пожелание только 30 июля; посылая "Петьку на даче" Миролюбову, он пишет: "Простите, что я так не скоро отозвался на любезное предложение работать в Вашем журнале, переданное мне Алексеем Максимович⟨ем⟩. Виной тому была моя болезнь, вследствие которой

я три месяца не брался за перо и начал работать только в июле. Прошу Вас, не отнеситесь строго к предлагаемой вещице, главное достоинство которой то, что она готова ⟨...⟩" (*ЛА5*. С. 72). Позднее, в начале 1902 г., М. Горький советовал Андрееву включить "Петьку на даче" (единственное из ранних произведений) в новое, дополненное издание его "Рассказов" (см.: *Горький. Письма*. Т. 3. С. 21), что и было сделано автором.

Рассказ имеет реально-жизненную основу – его источником были воспоминания однофамильца писателя, И.А. Андреева, о своих детских годах, проведенных "в людях", в учениках у цирюльника, известного московского парикмахера (см.: *Гиляровский В.А.* Москва и москвичи. М., 1935. С. 226–227). В рассказе также отражены впечатления от проживания Андреева в подмосковном дачном месте Царицыно (ныне район Москвы), куда он выезжал начиная с лета 1896 г.

К. Сараханов назвал "Петьку на даче" "прелестной вещью"; в его отзыве, ограничивающемся в основном пересказом сюжета, подчеркнут драматизм истории мальчика из парикмахерской, лишь на короткое время получившего возможность "развертывать свою детскую натуру на гостеприимном лоне природы" (*Сараханов К.* Литературные очерки: О г. Леониде Андрееве // Саратовский листок. 1902. 26 апр. (№ 88). С. 2.).

Были также и негативные отзывы о рассказе. Так, Н. Соколов находил, что «некоторые сцены в произведениях Андреева поражают своей деланностью и самый реализм его придуман и нереален. ⟨...⟩ в рассказе "Петька на даче" загоревшее лицо ребенка сравнивается с цветом вагона 2-го класса. Нехарактерность, придуманность этого сравнения бросается в глаза. ⟨...⟩ Обуреваемый декадентскими образами, порождаемыми его больным воображением, Андреев не может возвыситься до создания типа. Мы не видим в его произведениях ни одного живого лица, ни одного художественного образа. Все его герои – о. Игнатий, Сергей Петрович, ⟨...⟩ Хижняков, Петька, дьякон, все это призраки, ходячие символы, далекие от природы и художественной правды» (*Н.С. [Соколов Н.]*. Современные кумиры // Антиквар. СПб., 1902. № 7. С. 215, 216). А. Ефимов определил "Петьку на даче" как рассказ "слабый и растянутый" (Живописное обозрение. 1902. Окт. С. 1577).

По мнению Н.Д. Урусова, этот рассказ выделяется тем, что Андреев, обычно бесстрастно, "объективно" повествующий о страданиях одиноких и бессильных слиться с окружающей жизнью людей, здесь проникается "нескрываемым сочувствием" к своему герою. Этот редкий для писателя пафос прямого сопереживания заставляет и читателя проникаться "любовью и сожалением к этим будущим людям, которых так грубо коверкает наша столичная жизнь", и выносить "грустное чувство от этой картины жалкой жизни жалких детей" (*Урусов*. С. 26, 27).

Н.Геккер, напротив, настаивал на рассмотрении рассказа Андреева в оптимистическом ключе: «Что может быть безотраднее этой маленькой, в самом начале загубленной жизни, и однако же, выносите вы из чтения не отчаяние и безверие, а какую-то теплоту и что-то хорошее, нечто вас поддерживающее и возвышающее, и это нечто может быть

если не формулировано, то сведено к выводу: Петька еще не погиб, ибо он завещал матери: "Ты удочку спрячь!" – и его *надо* непременно вернуть на дачу, отдать его полям, лесу и озерам. Но если это невозможно, останется ему спасением однажды изведанное счастье: оно не допустит его до окончательного падения...» (*Геккер 1903*. С. 11).

В каком-то отношении ему близок В.Ф. Боцяновский, который обращается к рассказу для подтверждения своей мысли о том, что пессимизм Андреева не является таким уж безысходным, как утверждают его критики, ибо, читая книгу его рассказов, можно заметить, что "по густо-черному фону ее страниц нет-нет да сверкнет задушевная, горячая и яркая искра того, что можно назвать жизнью или, вернее, любовью к настоящей, не зоологической только жизни, теплая, горячая, но отрадная слеза. ⟨...⟩ Разве не ужасна жизнь этого несчастного Петьки, обреченного провести лучшие свои детские годы в темном подвале парикмахерской, и разве не восторг перед жизнью несколько недель, проведенных тем же Петькой на даче, на лоне природы? Прочтя этот рассказ, так и хочется сказать:

– Нет, жизнь прекрасна, жизнь великолепна. Портим мы ее сами, мы не умеем ее искать, иногда сознательно, иногда бессознательно ищем ее не там, где она есть на самом деле, сами бежим от нее" (*Боцяновский 1903*. С. 56–57).

Выражая иную точку зрения, И.П. Баранов писал, что среди прочих рассказов Андреева о детях «гораздо больший психологический интерес представляет рассказ "Петька на даче". Здесь уже много яснее звучит та господствующая нота г. Андреева, которая так необычно развилась и вскоре сделалась главнейшим мотивом его интенсивного творчества. Петька – это маленький человек, к которому лучше всего подходит определение самого писателя: "современный дикарь". Та совершенно бессознательная лямка, которую изо дня в день тянул этот бледный, худой, бессочный мальчик, делает его именно типичным дикарем нашего века и нашей полосы земного шара" (*Баранов 1907*. С. 15). «Вместе с тонким знанием психологии современного дикаренка, – писал критик, – г. Андреев в этом рассказе раскрывает перед нами и свою душу; в вере ребенка, как на весьма удобном фоне, он резко оттеняет свое пессимистическое безверие. Разве вы, читатель, не слышите здесь голоса писателя: "Но мы ведь не Петька, нас воображение не обманет, и горе нам, раз увидевшим свободу и счастье и бессмысленным, жестоким произволом "загадочной и безумно-злой силы" снова водворенным в стенах жалкой "парикмахерской", лишенной свежего воздуха"» (Там же. С. 17). Критик отмечал также, что "те глубокие, болезненно тоскующие искания человеческой души", которые представлены в рассказе "Петька на даче", уже содержат начала других мотивов творчества Андреева, которым суждено было проявиться в его дальнейших произведениях (Там же. С. 16).

При жизни автора рассказ был переведен на немецкий (1902 дважды, 1905), болгарский (1903, 1904), французский (1903, 1909 дважды), хорватский (1904, 1913), финский (1906), японский (1906, 1909), англий-

ский (1910, 1915 дважды), сербский (1911), нидерландский (1919) языки, а также на идиш (1919) и иврит (1919).

"Петька на даче" – едва ли не единственное произведение Андреева, которое чрезвычайно часто переиздавалось в Советском Союзе в сборниках рассказов для детей даже в период полного забвения имени писателя (начало 1930 – начало 1950-х годов).

С. 163. "*Московский листок*" – популярная газета, издававшаяся с 1881 по 1918 г. Н.И. Пастуховым и ориентированная на восприятие городских низов.

С. 167. *...лицо было смугло-желтым, как вагон второго класса...* – Железнодорожные вагоны того времени различались по окраске: синими были вагоны первого класса, желтыми – второго, зелеными – третьего.

...развалины дворца... – Имеются в виду развалины недостроенного дворцово-паркового ансамбля в Царицыне, который возводился в 1776–1785 гг. по проекту архитектора В.И. Баженова, но не понравился Екатерине II. Последующая перестройка его М.Ф. Казаковым также не была завершена.

С. 169. *Сад Дипмана* – общественный сад в Царицыне.

ДРУГ

(С. 171)

Источники текста:

ЧА1 – черновой автограф. Под заглавием "Собака". 28 июля ⟨1899 г.⟩ Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Т4*. Л. 80–88.

ЧА2 – черновой автограф. Под заглавием "Собака. Эскиз". Б.д. Хранится: *Hoover*. Box 4. Envelope 22. Item 3.

К. 1899. 13 нояб. (№ 314). С. 3.

Зн. Т. 3. С. 74–82.

Пр. Т. 4. С. 309–318.

ПССМ. Т. 8. С. 74–79.

Впервые: *К* (под заглавием "Собака. Эскиз").

Печатается по тексту *ПССМ* со следующим исправлением по тексту *ЧА1* и *ЧА2*:

Стк. 49: с ним – *вместо:* с ними

Герой рассказа – начинающий писатель Владимир Михайлович (в *ЧА1* он театральный репортер) – наделен некоторыми автобиографическими чертами. Это и "горделивые помыслы" Владимира Михайловича "о славе", и его сомнения в своих силах, одиночество, страх перед "зловещим спутником одиноких" – водкой, и надежда, что взаимная любовь к Наталии Лаврентьевне возродит его к жизни. Примечательно, что имя и отчество возлюбленной героя рассказа в *ЧА1* совпадают с именем Евгении Николаевны Хлуденевой, в которую Андреев был влюблен зимой 1892 г. (подробнее о ней см. с. 776 наст. тома). Имя

героини в позднейших редакциях – Наталья Лаврентьевна – явно ассоциируется с упоминаемой в дневнике курсисткой Натальей Лаврентьевной Ждановой, с которой Андреев познакомился 14 ноября 1897 г. Роман с ней длился с перерывами до конца сентября 1898 г. (см. *Дн9*).

В полученном Андреевым письме от провинциального писателя Владимира Сысоева от 1 января 1900 г. рассказ упоминается в ряду других лучших его рассказов: «Во всех Ваших рассказах, – писал В. Сысоев, – "Собака", "Большой шлем", "Ангелочек" – нет ни одной художественной ошибки, все они так же психологически верны и трагичны, как сама жизнь» (*Дн9*. Л. 172). Комментируя письмо В. Сысоева, Андреев иронически отмечает: «Мораль та, что нет пророка в своем отечестве. "Курьер" платит Гославскому 7 к. за строку, а мне 5. Патрон смеялся, прочтя "Собаку"» (Там же. Л. 174).

Отклики на рассказ в прижизненной критике не отмечены.

При жизни автора рассказ был переведен на финский (1906, 1908), английский (1910, 1915), японский (1913) языки и на идиш (1912).

ВАЛЯ

(С. 177)

Источники текста:

ЧА – черновой автограф. 14 сентября 1899 г. Хранится: *Т5*. Л. 27–42.

БАП – беловой автограф с правкой. 14 сентября 1899 г. Хранится: *Hoover*. Box 4. Envelope 21. Item 3.

ЖДВ – Журнал для всех. 1900. № 2. Стб. 143–156.

Зн. Т. 1. С. 61–76.

Пр. Т. 2. С. 119–138.

ПССМ. Т. 7. С. 99–110.

Впервые: *ЖДВ* (под заглавием "Мать").

Печатается по тексту *ПССМ* со следующими исправлениями (по *БАП*, *ЖДВ*, *Зн*, *Пр* – *совпадения во всех случаях*):

Стк. 203: печальная и кроткая! – *вместо:* печальная и кроткая.

Стк. 292: хороша наставница! – *вместо:* хороша наставница.

Стк. 336: индийского слона – *вместо:* индейского слона

Стк. 361–362: приводилось читать – *вместо:* приходилось читать

Существующие рукописные редакции различаются обильной, хотя в основном стилистической правкой. Видимо, с этим связано то, что автор повторяет реальную датировку раннего *ЧА* в заведомо позднейшем *БАП*. Более того, та же дата (14 сентября 1899 г.) указана в тексте *ПССМ*.

Фабула рассказа в определенной степени могла быть навеяна судебным отчетом, дата публикации которого совпадает со временем создания "Вали" и который, возможно, был написан самим Андреевым ([*Б.п.*] Судебная хроника. Московская судебная палата. Пять лет неиз-

вестности // Курьер. 1899. 13 сент. (№ 253). С. 3; отмечено в работе: *Иезуитова 1967*. Приложение 1. С. 4). Но в историях, изложенных в отчете и рассказе, общим является только сам юридический казус (возвращение родной матери ребенка, долго жившего с приемными родителями): в очерке речь идет об иной социальной среде (воспитатели живут в деревне, а мать – в Москве), более взрослом ребенке (к исходу дела он становится уже юношей), другом отношении к нему матери (она оплачивает его воспитание и иногда берет к себе). Текст судебного отчета см. в т. 13 наст. изд.

10 ноября 1899 г. Андреев в письме В.С. Миролюбову, редактору "Журнала для всех", раздумывает, какой из двух готовых рассказов ему посылать в журнал – "историю одного пьянчужки"[3] или "Валю": "Я уже давно послал бы его (т.е. первый из рассказов. – *Сост.*), но не знаю, окажется ли он подходящим по сюжету ⟨...⟩, и я колеблюсь между ним и другим, также готовым, рассказом на тему из детской жизни" (*ЛА5*. С. 74). Но, видимо учитывая направление журнала, а также и то, что его собственный успешный дебют в нем связан с рассказом на тему из детской жизни ("Петька на даче"), молодой автор посылает второй из рассказов.

Судя по воспоминаниям родных и близких, в облике и поведении Вали наличествуют некоторые автобиографические черты. Так, описание серьезного отношения к играм Вали напоминает (вплоть до деталей) отношение к играм самого Андреева, отмеченное мемуаристами, знавшими его в детские годы. З.Н. Пацковская вспоминает такой эпизод: "Часто мы все играли в краснокожих. Однажды ⟨Андреев⟩ собрал всю нашу компанию – было нам всем лет по 8–10, велел всем раздеться догола, вымазал нас всех глиной, вывалял в перьях, которые повыдергивал из кур, и стал подготовлять нападение" (*Фатов*. С. 208).

Рассказ был неоднозначно, но в целом положительно принят критикой (прежде всего в откликах на выход первого сборника андреевских рассказов).

Любопытна интерпретация Вали как одного из "одиноких героев" Андреева в статье В. Шулятикова: «Весь внешний мир представляется им (таким героям. – *Сост.*) какой-то загадочной, таинственной "темной далью"[4], ⟨...⟩ которая таит в своей глубине ⟨...⟩ силы, неотразимо действующие на людей. ⟨...⟩ Как загадочный страшный призрак, вторгается в дом Григория Аристарховича нежеланная гостья ⟨...⟩. Вале представляется она воплощением темной, сказочной, безумно-злой силы, "желающей погубить человека..." И эта сила уносит Валю из его светлого царства "в темную даль"» (*Шулятиков 1901*. С. 3).

В рецензии Е. Колтоновской, в целом негативно оценивавшей первый сборник Андреева, отмечено: "Рассказ производит такое впечатление, как будто автор, вычитав из газет сенсационный факт, целиком, в сыром виде, перенес его в сборник своих рассказов. ⟨...⟩ Факт сам по

---

[3] Имеется в виду рассказ "Торжество Фитюльки" (см. с. 368 наст. тома).

[4] Подразумевается рассказ Л. Андреева "В темную даль" (1900).

себе потрясающий и способный навести на глубокое раздумие... Но он производил бы еще более сильное впечатление, если б читатели могли более ясно представить себе мать мальчика и понять причины, побудившие ее отдать его чужим людям и затем взять обратно. Автор не касается этого даже намеками" (*Колтоновская 1901*. С. 28).

В статье И. Ясинского выражена иная оценка: "Богатые бездетные люди взяли на воспитание ребенка и холят его и любят. Но бедная и жалкая мать, отдавшая им ребенка, отнимает по суду свое дитя от богатых людей – и хотя ребенку было гораздо лучше в прежней роскошной обстановке и он не любит женщину, которая стала называть себя его матерью и увезла его к себе, крошку трогают безобразные игрушки, приготовленные ею для него, – и пробуждение в сердце малютки нежного чувства представляет трогательную и благородную страницу" (*Чуносов 1901*. С. 380).

М. Неведомский, считающий, что рассказ "оканчивается ложно и сентиментально", указывает на неестественность поведения Вали со своей настоящей матерью: "в первый же вечер у нее, увидав ее горе и убожество ее обстановки, Валя обещает любить ее и читать ей сказки. Опять моментальный переворот, и опять сентиментальность и фраза вместо правды" (*Неведомский 1903*. С. 20, 21).

С подобной точкой зрения спорит Е. Жураковский, утверждая: "Сущность этого рассказа в изображении психического мира Вали, в ⟨...⟩ ярком описании душевной жизни ребенка ⟨...⟩ Драма души, вызванная посещением матери, которая имеет право вырвать ребенка из привычной ему и любимой им обстановки детства, начертана мастерски, с глубоким психологическим воспроизведением мучительных ожиданий Вали. ⟨...⟩ С тонким пониманием детской души и художественным уменьем воспроизвести сочетание горьких чувств со сказочными страшными образами фантазии раскрывается перед читателем та таинственная бездна горя, которая представилась Вале силою непостижимого рока" (*Жураковский 1903б*. С. 15–16). Однако, характеризуя финал рассказа, в котором Валя утешает мать обещанием любить ее, Е. Жураковский отмечает: "Эти слова Вали очень правдивы, очень искренни, но, к сожалению, автор слишком рано окончил свой рассказ, не выяснив подробно мотивов и последствий внезапного душевного переворота юного своего героя. Этот рассказ написан в духе рассказов Брет-Гарта из детской жизни. Любовь к внутреннему миру детей, уменье заглянуть в наивно прекрасные думы юного сердца, подслушать ранние проблески возникновения сознательного отношения к жизни составляют лучшие места этого трогательного рассказа. Художественная простота описания и уменье сосредоточить внимание читателя исключительно на перипетиях детской трагедии, не отвлекая внимания событиями и характеристиками взрослых действующих лиц повести, составляют достоинства техники этого маленького, но сильного очерка" (Там же. С. 16–17). Говоря о "мистификации жизни" как об оригинальной черте "реально-бытовых" рассказов Андреева, критик вспоминает "Валю". Он сравнивает писателя, мистифицирующего

"ясное и простое", "испуганного тайнами жизни", с его маленьким героем: "Тогда автор напоминает Валю в его рассказе, он ждет таинственной женщины, которая вырвет его из обычного положения и ввергнет в пучину зла и насилия, и это составляет зерно его трагического повествования" (Там же. С. 17).

Н.Д. Урусов отмечает, что этот рассказ (наряду с "Петькой на даче") является одним из немногих, где автор "с нескрываемым сочувствием и сожалением относится ко всем своим героям. Грустно ему за названных родителей Вали и за его законную мать, да самого Валю, подетски страдающего от суровых условий жизни, – также ему жаль" (*Урусов*. С. 26).

Споря с обвинениями в неестественности психологической основы рассказа и одновременно оценивая "Валю" в контексте позднейшего творчества Андреева, И.П. Баранов пишет: «Вся эта история с Валей вполне правдоподобная. Все это может случиться в жизни ⟨...⟩ однако в этом рассказе нас не столько поражает его житейски драматическая фабула, сколько роковая непреложность, фатальность событий. Валя – не просто центральная фигурка маленькой житейской историйки: он – *жертва*, намеченная "загадочной и безумно-злой силой", – и ничто, ничто не могло отвратить этой тяжелой грозы, разразившейся над богатым домом, в котором вырос Валя, окруженный любовью и роскошью. Даже сам этот маленький герой, соответственно ходу событий, движимых таинственной и жадной силой, как бы носит на себе печать рока» (*Баранов 1907*. С. 15).

По воспоминаниям С.Т. Семенова, рассказ нравился Л.Н. Толстому, назвавшему его "вещью чуть не первоклассной" (*Семенов С.Т.* Воспоминания о Льве Николаевиче Толстом. СПб., 1912. С. 132). В экземпляре первого тома рассказов, который читал Толстой, рассказу "Валя" среди прочих им выставлена высшая оценка – "5+" (*Библиотека Л.Н. Толстого*. С. 38).

При жизни автора рассказ был переведен на немецкий (1902 дважды, 1903 трижды, 1905), болгарский (1903, 1904), венгерский (1903, 1904, 1918), французский (1903), польский (1904), сербский (1904, 1905), хорватский (1904, 1905, 1906, 1908 дважды, 1910), чешский (1904), шведский (1904), финский (1905, 1914), английский (1907, 1914, 1919), японский (1909, 1913) языки и на идиш (1910, 1912).

С. 177. *Книга была очень большая ~ с очень черными и крупными строками* ... – Ср. воспоминания писателя: «Самые интенсивные переживания мои в детстве ⟨...⟩ связаны с книгой. Какая значимость была за каждым словом! Помню слово: "Бова"... что особенного, кажется, а ведь тогда трепетал перед его громадными печатными буквами» (*М.Р.* [*Раецкий С.С.*]. Из детства Л. Андреева // Утро России. 1914. 21 марта (№ 67). С. 5).

...один очень сильный мальчик, которого звали Бовою... – Валя читает популярнейшую в конце XIX в. лубочную книгу "Сказка о славном и сильном Бове-королевиче", которая в годы детства самого писателя

постоянно переиздавалась в различных вариантах и редакциях (см.: Русский фольклор: Библиогр. указатель. 1881–1900. Л., 1990. С. 366–369).

С. 181. *Валя жалел бедную русалочку...* – Имеется в виду сказка Х.-К. Андерсена "Русалочка" (1837).

С. 185. *...истый сын богини Кали...* – т.е. воин. Кали – одно из божеств индуистской мифологии, олицетворение грозной и губительной энергии Шивы, истребительница демонов.

ЧА

С. 579. *Корнак* – погонщик слонов.

БОЛЬШОЙ ШЛЕМ

(С. 188)

Источники текста:

ЧА – черновой автограф. 19 ноября 1899 г. С подзаголовками: Современная русская идиллия. С посвящением: А.М. Велигорской. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: РАЛ. MS.606/A.3. Л. 37–46.

К. 1899. 14 дек. (№ 345). С. 2–3.

Зн. Т. 1. С. 1–12.

Пр. Т. 2. С. 179–194.

ПССМ. Т. 1. С. 22–30.

Впервые: *К* (с подзаголовком "Идиллия").

Печатается по тексту *ПССМ* со следующим исправлением (по *ЧА*):

Стк. 101: начинал – *вместо:* начал

Сохранившаяся ранняя редакция рассказа (*ЧА*) была закончена, судя по авторской датировке, 19 ноября 1899 г. Однако опубликованная месяц спустя версия отличается от этой редакции, что свидетельствует о доработке Андреевым рассказа перед окончательной отправкой в печать. В основном эта правка ориентирована на стилистическое совершенствование текста и детализацию характеров персонажей. Например, введена такая психологически емкая деталь, как ежегодный благотворительный взнос Евпраксии Васильевны в пользу неимущих студентов (стк. 29–33). Существенно изменен финал рассказа: значительно развернут диалог между Яковом Ивановичем и Евпраксией Васильевной о поисках квартиры Масленникова (в новой версии упомянут Новинский бульвар, единственный топоним в рассказе, что придало локализованность всему сюжету: действие его однозначно происходит в Москве); в конце добавлены два абзаца, причем самый последний становится ключевой фразой, существенно меняющей тональность рассказа в целом: " – А вы, Яков Иванович, все на той же квартире?" (в *ЧА* последней фразой было: " – А где же мы возьмем теперь четвертого?").

Сам писатель считал, что "Большой шлем" (вместе с "Ангелочком") знаменуют собой новый этап в его творчестве. В своем дневнике от 25 декабря 1899 г. он записывает: «В мое отсутствие[5] вышел мой рас-

[5] 13 декабря Андреев был командирован редакцией "Курьера" в Полтаву для освещения громкого уголовного дела Скитских (см.: *Дн9*. Л. 102).

сказ "Большой шлем", действительно хороший рассказ; сегодня вышел "Ангелочек", пожалуй, более крупный. Эти рассказы ставят меня в ряды недюжинных молодых беллетристов» (*Дн9*. Л. 170 об.). Не случайно колебание Андреева в выборе рассказа, который он хотел посвятить А.М. Велигорской: первоначально ей был посвящен "Большой шлем", затем посвящение переносится в рассказ "Ангелочек". М. Горький, мнение которого было тогда наиболее авторитетным для начинающего писателя, в письме от 2–4 апреля 1900 г. также назвал "Большой шлем" одним из лучших рассказов (см.: *Горький. Письма.* Т. 2. С. 26). Жена редактора "Нижегородского листка" А.Д. Гриневицкая вспоминала, что, прочитав "Большой шлем", М. Горький сказал: "Нарождается талант... Рассказ написан очень хорошо. Особенно одна деталь выявляет способности автора: ему нужно было сопоставить жизнь и смерть – Андреев сделал это очень тонко, одним штрихом" (*ЛН72*. С. 69–70).

Поскольку "Большим шлемом" открывался первый сборник рассказов Андреева (1901), ему было уделено особенное внимание критики. Мнения были разноречивыми.

Рецензент "Русского слова", автор одного из первых отзывов на сборник, относит "Большой шлем" к "наиболее правдивым и законченным рассказам Андреева", в противоположность его же рассказам, "примыкающим к направлению символистическому", которые отличаются "невыдержанностью ⟨...⟩, натянутостью, искусственностью, мелодраматизмом, мистической окраской". Анализируя рассказ, он пишет: "Фабула его несложная: герои все время играют в карты – и больше ничего. Никаких интересов у них нет, кроме одного – зеленого поля. В человеке они видят не человека, а партнера. Это какие-то замуравленные, заживо похороненные люди. Трагизмом веет от этой мертвой жизни. Люди не живут, не страдают и не наслаждаются. Они спят с открытыми глазами. Вне карт жизнь их проходит в механическом выполнении каких-то обязанностей, которые совсем их не интересуют" ([*Б.п.*] Леонид Андреев. Рассказы. СПб., 1901 / Изд. т-ва "Знание" // Русское слово. 1901. 21 окт. (№ 290). С. 4).

Е.А. Колтоновская отмечала: "Рассказ этот не лишен скрытого сарказма и тоже выделяется из среды других своею изобразительной яркостью и естественностью тона". Но, останавливаясь на его финальной сцене, она отмечала: "К сожалению, размышления Якова Ивановича едва ли могут кого-нибудь особенно интересовать. Автор ни разу, в течение всего рассказа, не дал читателю возможности заглянуть ни в душу Якова Ивановича, ни в душу Масленникова. Оба они ему совершенно неизвестны, непонятны и чужды. Внутренний трагизм рассказа, на наш взгляд, только проигрывает от этой недоговоренности" (*Колтоновская 1901*. С. 23). А поскольку, по мнению Колтоновской, рассказ хорошо продуман и в совершенстве отделан автором, – такая "недоговоренность", "непроницаемость тайны", "излишняя таинственность и загадочность" должны быть признаны "умышленными" (Там же).

И.И. Ясинский, восторженно принявший первый сборник Андреева, так писал об основной идее рассказа: "Ужас пошлости усугубляется ужасом равнодушия, каким проникнуты люди друг к другу. Мучительные драмы совершаются в глубине их душ, а будничная жизнь затягивает их плесенью карточных восторгов. И такая драма возможна для каждого" (*Чуносов 1901*. С. 379).

Довольно типичную оценку рассказа отразил в своей рецензии Пл. Краснов: «В лучшем и наиболее ярком из всех рассказов "Большой шлем" описываются четыре партнера, ушедшие от жизни, не хотевшие ее и знать и проводившие время за картами. ⟨...⟩ И ни о чем эти люди не нашли пожалеть несчастного, как только о том, что всю жизнь он мечтал назначить большой шлем, а теперь карта пришла, а он не успел сказать этой игры...» (*Краснов 1902*. С. 126).

Ему практически вторит М. Протопопов, который, однако, раздражен метафизической подоплекой "Большого шлема": «Г. Андреев очень хорошо изображает торжественную серьезность, с какой предаются эти люди игре, и эта серьезность удачно оттеняется пошлостью самого занятия. ⟨...⟩ Тут можно посмеяться по-салтыковски, можно и погрустить по-гоголевски, но посмотрите, куда метнуло нашего автора: "Так играли они лето и зиму, весну и осень. Дряхлый мир покорно нес ярмо бесконечного существования, и то краснел от крови, то обливался слезами, оглашая свой путь в пространстве стонами больных, голодных и обиженных" (стр. 3). Страсти какие! И как тут не спросить: по какому случаю шум? Это не метафора, даже не гипербола, это декадентский выкрутас, который свидетельствует только об испорченном литературном вкусе автора» (*Протопопов М.* Молодые всходы // Русская мысль. 1902. Март. Отд. 2. С. 198).

Близкие к вышеуказанным критерии "верности натуре" применены при оценке рассказа в статье М. Неведомского: "Слишком эффектно, или, попросту, совершенно фальшиво", по мнению критика, выглядит не только концовка "Большого шлема", но и вся ситуация, когда партнеры, играющие вместе целых шесть лет, не знают даже адресов друг друга (*Неведомский 1903*. С. 10). Это связано с тем, что главным предметом изображения Андреева являются «не типы, не характеры, а лишь *положения*. И люди, которых автор ставит в эти положения, послушно тянут каждый свою, одну только ноту.

В самом деле, попытайтесь, например, стать на место которого-нибудь из четверых игроков в "Большом шлеме", ухитритесь после шестилетнего знакомства не знать ни рода занятий, ни общественного положения, ни даже места жительства своих партнеров!.. Это вам не удастся, и именно по той причине, что игроки эти не живые люди, а лишь рожечники, тянущие каждый порученную ему автором ноту, впрочем, в данном случае даже все вчетвером – одну ноту, ибо почти никакими индивидуальными признаками автор их не наделил... ⟨...⟩ это мысль г. Андреева о полной разобщенности нашей жизни, об одиночестве, возможном даже вчетвером ⟨...⟩. "Большой шлем" самая характерная для г. Андреева вещь. Относительно ее вряд ли может быть два мнения: воспро-

изведения жизни в ней совсем нет. Если очерк и имеет видимость рисунка с натуры, если мысль автора и облечена в лоскутья реальной правды, то вся ненатуральность его по существу и полное отсутствие типов и бытового элемента не дадут читателю впасть в заблуждение» (Там же. С. 14–15).

Во многом с ним солидарен критик "Антиквара": «Некоторые сцены в произведениях Андреева поражают своей деланностью, и самый реализм его придуман и нереален.

Возьмем, например, картину из его рассказа "Большой шлем", когда (стр. 10), описывая смерть Николая Дмитриевича, автор сообщает, как к подошвам сапога мертвого пристала бумажка от тянучки. Эта мелочь до такой степени неестественно и неловко прибавлена, что сразу расхолаживает настроение читателя и невольно рисует картину: писателя, прилепляющего эту бумажку к сапогу мертвеца» (*Н.С.* [*Соколов Н.*] Современные кумиры // Антиквар. 1902. Окт. № 7. С. 215).

Иная трактовка "Большого шлема" принадлежит В.Б. Кранихфельду: "Игра, которая поглотила все интересы маленького кружка, в изображении г. Андреева полна какой-то своеобразной жизни и движения ⟨...⟩ Много лет кряду люди сходились друг с другом для какого-то никому не нужного дела, много лет кряду тешили они себя иллюзией взаимного общения и близости, и в конце концов оказывается, что никакой близости между ними на самом деле не существовало и что, связанные внешним образом, они даже не пытались подойти друг к другу. В картинной галерее г. Андреева этот этюд на тему о страшном одиночестве человека явление далеко не случайное" (*Кранихфельд 1902*. С. 54).

Е. Жураковский считает, что в рассказе дана сатирическая картина жизни "безличных героев вечных буден", "апатичных, равнодушных к жизни и ее интересам", подобных гоголевским "коптителям неба" и чеховским "Ионычам". "И вот эти ходячие мертвецы сопоставлены с великим актом смерти. Автор рассказа хотел произвести опыт, рассмотреть сквозь призму воображения, как, с одной стороны, умирают эти существа, а с другой – как воспринимается ими смерть со стороны. И автору, кажется, удалось второе наблюдение лучше первого, и оно производит именно то трагикомическое впечатление, которое соответствует юмористическому складу рассказа, между тем как акт самой смерти в ее мгновенном ослепительном проявлении заслонил те подробности, которые выдвинуты, полно и прозрачно, в лице, познавшем тайну смерти, в той узкой щели жизненных представлений, чрез которые виделся ему и многообразный и широкий Божий мир" (*Жураковский 1903б*. С. 20).

Исходя из этой трактовки рассказа, критик пытается описать творческий метод Андреева: "Весь рассказ носит характер искусственного опыта, орудием которого является анализ односторонних черт среды, лабораторией является – художественное воображение автора, а методом – концентрация однотонных мотивов, внезапно разрешающихся бурным аккордом, внезапною смертью одного из членов среды и описа-

нием впечатления события на собратий по карточному столу ⟨...⟩ Как всегда, подобный опыт отличается некоторою искусственностью и неполною естественностью. Едва ли так бывает в жизни, хотя все это и может приключиться при наличности искусственно созданных условий" (Там же).

Автор одной из первых монографий об Андрееве, В.Ф. Боцяновский, подчеркивает, видимо с оглядкой на предыдущие критические выступления, символическое значение основных образов рассказа: «Старичок, скорбящий о том, что только что умерший партнер никогда не узнает о бывшем у него в прикупе пиковом тузе, может вызвать даже смех ⟨...⟩ Смешон, на первый взгляд, и Иван Яковлевич, смешон повод, но сама мысль, высказанная им, то, что существует на свете слово "никогда", что существует то "страшно и бессмысленно-жестокое", одинаково грозное для всех – эта мысль может привести в ужас не одного Андреева и его героев. Само собой, понятно, что неудавшийся большой шлем – не более как символ ⟨...⟩ курьезная скорбь о пиковом тузе имеет более общую и трагическую подкладку» (*Боцяновский 1903*. С. 17–18).

Н.Д. Урусов, в целом сочувственно воспринявший ранние рассказы Андреева, писал: «Большой шлем – триумф пошлости, освещенный чем-то страшным, бесчеловечески холодным и вместе с тем безмерно жалким. Триумф пошлости и падение, смерть всего человеческого, отрицание любви, жизни, правды во имя великой пошлости; самоотрицание во имя большого шлема! ⟨...⟩ В рассказе "Большой шлем", кроме того, выражена еще второстепенная мысль: одиночество человека в этой жизни, зараженного пошлостью, одиночество человека среди себе подобных» (*Урусов*. С. 21–22). Далее критик, вступая в некое противоречие со своими исходными посылками, выделяет среди персонажей рассказа Масленникова, смерть которого, по его мнению, "кажется разумной закономерностью. ⟨...⟩ Масленников стоял головой выше своих партнеров... ⟨...⟩ Смерть Масленникова – это внезапная смерть живого существа, задушенного пошлостью. И пошлость рисуется автором в роли убийцы" (Там же. С. 56).

Н. Смоленский, в целом достаточно негативно оценивавший многие тенденции андреевского творчества, характеризует рассказ как одну из немногих скромных удач автора: «Сюжет рассказа: "Люди нашли себе общий интерес и иссушают свои мозги, чтобы завтра иссушать их в канцеляриях и конторах". Сюжет, как я сказал, не новый, но вполне современный, освещение очень удачное и чуждое обычных недостатков автора» (*Смоленский Н.* Леонид Андреев: Критический очерк. М.: Типолитогр. А.Н. Виноградова, 1905. С. 32).

В позднейшем обширном исследовании творчества писателя, предпринятом И.П. Барановым, "Большой шлем" рассматривается в контексте всего (включая и более зрелые этапы) его творчества, основными моментами которого объявляются "пессимизм в жизнепонимании и символизм в художественном изображении" (*Баранов 1907*. С. 23). Говоря о центральном моменте развязки рассказа (Масленников никогда

не узна́ет, что у него на руках был большой шлем), критик утверждает: «Это – проявление той неведомой силы, которая, словно античный рок, страшно враждебна счастью человека. Она подстерегает его на каждом шагу, и в тот момент, когда он так близок к желанному берегу, она обрушивается на него всей своей давящей громадой и превращает его в ничто. Но в этом очерке, помимо *рока*, слышен и другой мотив, а именно: *предчувствие* человеком реющей над ним невидимой враждебной силы, выражающееся в смутном страхе. *Страх* – страх в тот момент, когда человеческий взор ласкает близкая к осуществлению заветная цель, – это излюбленное автором душевное состояние его героев, которое он раскрывает перед нами во всевозможных случаях. *Чувствовал страх* Николай Дмитриевич, когда он протягивал руку за роковым прикупом; *страшились жизни* Андрей Николаевич и Хижняков (герои рассказов "У окна" и "В подвале". – *Сост.*) ⟨...⟩ страшился и маленький Валя злой силы, воплотившейся в образе "женщины", прав которой на деле он даже не мог подозревать...» (Там же. С. 22).

В другой позднейшей панораме творческого пути Андреева, книге К.И. Арабажина, анализ рассказа также оказывается одним из звеньев в цепи общих умозаключений. Арабажин считает, что андреевский пессимизм носит "чисто русский обывательский характер" и проникнутые им его герои-обыватели "упрощенно мыслят и ⟨...⟩ наивно ставят сложные и философские вопросы" (*Арабажин К.И.* Леонид Андреев: Итоги творчества: Литературно-критический этюд. СПб.: Типогр. т-ва "Общественная польза", 1910. С. 6, 7). Вместе с тем критик полагает, что "талант Андреева проявляется именно в необыкновенном искусстве придать явно выдуманному, несуществующему вид почти полного правдоподобия и естественности. По душе, по своей психологии Андреев не реалист, а фантаст-романтик, по техническим приемам импрессионист, но в то же время маг и чародей реалистической экспрессии" (Там же. С. 8). Эти черты, по мнению Арабажина, проявляются "уже в каждом из первых его произведений", не исключая и "Большого шлема": «Трудно представить себе, чтобы в маленьком городке[6], где все друг друга знают, надоели друг другу до тошноты, до отчаяния, чтобы в таком городке все и каждый не знали квартиры или дома знакомого, с которым постоянно играют в винт. ⟨...⟩ Но Андрееву нужна такая подробность, и он так ловко втискивает ее в свой рассказ, как опытный ювелир вставляет в бриллиантовую брошку несколько поддельных алмазов. Тут тон рассказа настолько правдив, отдельные подробности так реалистичны, что среди них исчезают выдуманные или искаженные факты, успев произвести желанное для автора впечатление раньше, чем читатель обратит внимание на подделку или прямо обман.

---

[6] Отметим важную фактическую ошибку критика-петербуржца: упоминаемый в конце рассказа Новинский бульвар позволяет однозначно идентифицировать место действия не с "провинциальным городком", а с Москвой. Любопытно, что эта ошибка стала характерной и для других критиков (см., например, ниже пассаж о "пошлости провинциальной жизни" в статье П. Когана).

Рассказ "Большой шлем" в этом отношении очень типичен. Он производит сильное впечатление. Краски ведь взяты из жизни. Мы словно видим партнеров, для которых не существует ни искусства, ни политики, ни общих интересов, кроме одного – интереса к большому шлему. Русская жизнь создала подобных людей ⟨...⟩ Все это, однако, Андреев делает для другой – главной – цели рассказа.

Когда партнер убеждается, что игра была правильная, его охватывает щемящая тоска при мысли, что покойный никогда не узнает правду ⟨...⟩ Никогда не узнает истины! Какая-нибудь загвоздка непременно и всегда отделяет человека от истины» (Там же. С. 9–11).

В обзорной статье П.С. Когана основная идея "Большого шлема" рассматривается как предтеча позднейших интеллектуально-художественных схем Андреева. Впечатление от этого рассказа такое же, как и от любого другого андреевского повествования, в конце которого, по мнению критика, читатель вправе ожидать, что «вот-вот прозвучит сильный бодрящий голос, зовущий на борьбу с несовершенствами жизни, пробуждающий силу и активную волю. Но дочитываешь до конца, – последний звук, остающийся в душе, это – бессильный вопль, обращенный к небу, иногда смешанный с глухим ропотом и протестом против нелепости, управляющей жизнью мироздания. Читаешь печальную повесть Николая Дмитриевича и жалкого мира, где мечты человека не поднимаются за пределы большого шлема, – и ждешь, что за этим обличением пустого и бесплодного обывательского существования прозвучит могучий призыв к иной, разумной и плодотворной жизни. ⟨...⟩ И пошлость провинциальной жизни, ничтожество обывательских интересов, бессилие обитателей глухого угла встают перед нами не в качестве общественных фактов, а в качестве проявления высшей силы "страшно и бессмысленно-жестокой", живущей за пределами умопостигаемого мира» (*Коган 1910*. С. 12–13). Критик считает показательной недостаточную, по его мнению, социально-жизненную очерченность персонажей: "Перед нами почти призраки, силуэты, в которых улавливаешь только общее неясное выражение. Да и нужно ли знать их подробнее, когда весь мир населен печальными жертвами бессмысленного издевающегося рока, когда в каждом человеке Андреев улавливает только ту или другую сторону жестокой работы сил, обитающих за пределами земли?" (Там же. С. 13).

"Большой шлем" одобрил Л.Н. Толстой, поставив автору после прочтения его на полях книги "Рассказов" Андреева отметку "4" (*Библиотека Л.Н. Толстого*. С. 21).

Символика названия рассказа использована в статье А.А. Блока "Педант о поэте" (1906). Говоря о превратном понимании творчества М.Ю. Лермонтова "большой публикой", считающей поэта лишь "армейским слагателем страстных романсов", Блок писал: «С этой точки зрения Лермонтов подобен гадательной книге или упоению карточной игры; он может быть принят как праздное, убивающее душу "суеверие" или такой же праздный и засасывающий, как "среда", "большой шлем"» (*Блок А.А.* Полн. собр. соч. и писем: В 20 т. М.: Наука, 2003. Т. 7. С. 18).

При жизни автора рассказ был переведен на немецкий (1902, 1903, 1908 дважды), шведский (1903), болгарский (1904), французский (1904), чешский (1904), финский (1905, 1908) языки.

В рассказе описан винт – популярнейшая в конце XIX – начале XX в. карточная игра. Ее правила были известны фактически любому более-менее осведомленному читателю тех лет. В настоящее время правила и терминология игры в винт уже требуют истолкования, тем более что их понимание углубляет сюжетные линии рассказа и психологические характеристики его персонажей. В некоторых отношениях винт сходен с преферансом, но имеет и существенные отличия. При игре в винт используется колода в 52 карты, поэтому при простом варианте игры четырем игрокам раздаются все карты и у каждого на руках оказывается по 13 карт. Далее происходят так называемые переговоры, при которых каждый участник объявляет игру, т.е. обязуется взять определенное число взяток при назначаемых им козырях. Переговоры идут по кругу, и (в случае если игрок не отказывается участвовать в них в этом круге и не говорит "пас") следующим предложением должно быть либо назначение козыря более старшей масти при том же количестве взяток, либо назначение большего количества взяток. Самой старшей мастью считается червонная, затем идет бубновая, далее следуют трефовая (крестовая) и пиковая. Именно этой иерархией объясняется эмоциональное восприятие игроками разных мастей: "Масти были любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые. ⟨...⟩ Черви особенно часто приходили к Якову Ивановичу, а у Евпраксии Васильевны руки постоянно полны бывали пик, хотя она их очень не любила". Равнодушному к большому выигрышу Якову Ивановичу часто приходит старшая масть, которая азартного игрока должна провоцировать на большую и рискованную игру, а к горячей Евпраксии Васильевне – пики, младшая масть, сковывающая инициативу игрока. Наиболее приоритетным предложением при переговорах является объявление игры без козырей ("в бескозырях"), оно считается высшим по сравнению с объявлением даже самого старшего по рангу козыря (червей) при равном количестве взяток. Назначение взяток начинается с семи. Это так называемая простая игра ("раз"), при которой объявивший ее игрок обязуется при назначенном им козыре взять не менее семи взяток. При назначении игры "два" нужно взять восемь взяток, игры "три" – девять, "четыре" – десять, "пять" – одиннадцать взяток. При объявлении малого (в рассказе также "маленького") шлема количество необходимых взяток равно двенадцати, а при объявлении большого шлема – тринадцати, т.е. игрок должен забирать все разыгрываемые карты. Таким образом, большой бескозырный шлем, о котором мечтает Масленников, является высшим предложением при переговорах, которое невозможно перебить никаким другим.

Как правило, в винте играют двое-надвое; сидящие напротив друг друга игроки считаются партнерами и всячески поддерживают друг друга. Поэтому эмоциональному, все время пытающемуся рисковать Масленникову крайне не повезло с партнером, осторожным Яковом

Ивановичем. Последний всегда "играет четырех", т.е. при наличии на руках очень хороших карт при переговорах обязуется взять лишь десять взяток. Если игрок не смог взять назначенное количество взяток, то ему записываются штрафные очки, или ремиз. Отсюда становится понятным выражение Якова Ивановича: "Играли бы четырех, остались бы при своих", т.е. подверглись бы минимальному риску проиграть деньги (речь, конечно, идет не о больших деньгах, а о самом принципе: у Андреева игроки делают маленькие ставки). Осторожность в игре объясняется своеобразной философией последнего персонажа, связующей карточную игру и жизнь в целом: "Никогда нельзя знать, что может случиться", в которой заложены одновременно и определенная игровая стратегия, и предчувствие трагической развязки рассказа.

Одним из главных условий игры в винт считалось абсолютное молчание игроков во время игры (в принципе, можно говорить только во время переговоров, но и здесь допускаются только стандартные реплики типа: "Три пики", "Четыре черви" и т.п.). Обсуждение хода игры, ошибок партнеров и пр. возможно только после ее окончания. А поскольку эти паузы между играми обычно невелики, то игроки бóльшую часть совместных вечеров молчат, что отражается и на общей атмосфере встреч (явное неудовольствие окружающих при попытках живого Масленникова завести *посторонние* разговоры о политике, погоде и пр.). Молчание, скудная коммуникация между игроками являются реалиями, которыми можно частично объяснить странную на посторонний взгляд ситуацию, возникшую после смерти Масленникова: персонажи, играющие друг с другом много лет, не знают его нового адреса.

Герои рассказа играют не в простой, а в более азартный и усложненный вариант игры – в винт с прикупкой (с прикупом), где увеличивается элемент неопределенности и риска. В этой игре раздается по 12 карт, а оставшиеся четыре являются прикупом – своеобразным призом, который забирает игрок, выигравший переговоры. То есть игрок до конца переговоров не знает точно, какое сочетание карт у него будет на руках, и во многом полагается на удачу. Из прикупа он выбирает себе наиболее выгодную для игры карту, а остальные раздает другим игрокам также по своему усмотрению. В финале рассказа именно в прикупе, который должен был получить внезапно умерший Масленников, оказывается туз, обеспечивавший ему безусловную победу в избранной рискованной комбинации – большом бескозырном шлеме. Подробнее об игре см., например: Винт. Карточные игры ⟨...⟩ Полное собрание практических советов, законов и правил с приложением "Карточной терминологии" / Сост. М. Шевляковский. СПб., 1914. Отдельные термины и игровые ситуации, фигурирующие в рассказе, поясняются ниже.

Для самого Л. Андреева (в отличие от его критиков, ориентировавшихся на сформировавшиеся в русской литературе стереотипы – чеховского "Ионыча" и т.п.) игра в винт, видимо, не являлась безусловным

символом бессмысленности обывательского существования, а связана скорее с теплой, дружеской атмосферой, близким приятельством. Так, в письме из Москвы от 15 сентября 1895 г. своей доброй орловской знакомой С.Д. Пановой он пишет: "Если жалею о чем-нибудь в Орле, то о тех вечерах, которые я проводил у вас или за восхитительным винтом, когда ты зевала, а Дмитрич ругался, или за простой и милой болтовней ⟨...⟩ Дмитричу скажи: какого он черта не приедет на недельку в Москву? Все бы я ему показал ⟨...⟩ А по ночам, скажи ему, мы вдвоем бы в винт сражались – здорово!" (*Фатов.* С. 95). Подобное отношение к игре отражено и в его шуточной поэме "Паниада-Винтиадини" (см.: Там же. С. 158–160; т. 12 наст. изд.).

С 188. ... *она посылала в комитет...* – Имеется в виду Комитет Общества для пособия нуждающимся студентам Московского университета.

С. 190 ... *поставивший большой ремиз.* – Т.е. записавший себе крупный штраф за недобор заявленного числа взяток. При игре в винт, приблизительно так же, как в преферансе, в разных колонках велись записи выигрышей и проигрышей (штрафов).

...о Дрейфусе... – А плохи дела нашего Дрейфуса. ...несправедливый приговор, вероятно, будет отменен. – Статьи об антисемитском процессе А. Дрейфуса, еврея по происхождению, офицера французского Генерального штаба, который в 1894 г. был ложно обвинен в шпионаже в пользу Германии, появлялись в русских газетах в 1894–1896 гг. В 1899 г. (время написания рассказа) интерес к делу Дрейфуса возникает вновь в связи с его помилованием под давлением демократических кругов (но не с полным оправданием, которое произойдет только в 1906 г.).

С. 191. *...назначала большие игры и ремизилась.* – Т.е. проигрывала, недобрав назначенное при переговорах количество взяток.

С. 192. *...большая коронка...* – крайне выгодная для получившего ее игрока большая группа карт, идущих подряд в какой-то одной масти начиная от туза, т.е. туз, король, дама, валет и т.д. Коронкой называется подобная последовательность, если в ней не менее трех карт.

С. 193. *...два раза уже засдался...* – Т.е. неправильно сдал карты, что в винте влечет за собой наказание в виде передачи права сдавать противникам. Право сдачи дает игрокам тактическое преимущество, ибо сдавший карты первым объявляет игру (начинает переговоры).

С. 196. *Новинский бульвар* – один из московских адресов Андреева: Новинский бул., Прогонный пер., дом Сахарова, кв. 15 (см.: *Фатов.* С. 92).

АНГЕЛОЧЕК

(С. 197)

Источники текста:

ЧН1 – черновой набросок. ⟨Вторая половина сентября 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т5*. Л. 51 об.

ЧА – черновой автограф. 11–16 ноября ⟨18⟩99 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Т7*. Л. 21–36.

ЧН2 – черновой набросок (фрагменты начала рассказа). Рукопись. ⟨Середина ноября 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т7*. Л. 20 об.

РКАП – рукописная копия (рука неуст. лица) с авторской правкой. ⟨Ноябрь 1899 г.⟩[7] Хранится: *Hoover*. Box 4. Envelope 22. Item 2.

К. 1899. 25 дек. (№ 356). С. 2–3.

Зн. Т. 1. С. 21–37.

Пр. Т. 2. С. 157–176.

ПССМ. Т. 1. С. 38–50.

Впервые: *К* (с посвящением А.М. Велигорской).

Печатается по тексту *ПССМ*.

Замысел рассказа, оформленный в виде плана, – *ЧН1* – относится ко второй половине сентября 1899 г. Черновые материалы свидетельствуют о значительной работе, проделанной Андреевым над этим небольшим по объему и простым по фабуле произведением. Первая из сохранившихся редакций (*ЧА*) датирована 11–16 ноября 1899 г. Начало и конец этой версии рассказа существенно отличаются от окончательной. Здесь подробно описываются события, предшествующие возвращению Сашки домой накануне посещения елки: его участие в игре в Сиён-гору, сопровождаемое издевательствами над товарищами, и его же хулиганские выходки, совершаемые на Карачевской улице. По-другому звучит и концовка рассказа, чему способствует повествование Сашки о своем давнем сне, благодаря которому он напрямую отождествляет себя с ангелочком (в связи с этим ранее, в сцене у елки, более акцентировано сходство мальчика с восковой фигуркой), а также иначе намечена сцена пробуждения. В остальном развитие сюжета в ранней редакции в основном совпадает с сюжетом *ОТ*, но имеется множество мелких текстуальных различий между этими версиями. В целом стилистика первой редакции имеет более сниженный характер. Так, например, часто вместо имени героя – Сашка – употребляется его прозвище – Волчок, а "седая дама", дарящая ему ангелочка, именуется "теткой". К этой версии примыкает более подробный вариант начала, скорее всего написанный Андреевым в то же время (*ЧН2*).

В следующей редакции (*РКАП*) *ЧА* и *ЧН2* сведены воедино. Ее текст является промежуточным: сохраняя (с некоторой правкой) начало ранней редакции, в остальном он ближе к окончательной. Вместе с тем множество мелких разночтений между *РКАП* и основным текстом

[7] Датировка подтверждается пометой на обложке домашнего архива, сделанной А.И. Андреевой: "ноябрь 1899".

свидетельствует о том, что Андреев продолжал править рассказ и позже. Особенно отличающееся от *ОТ* начало *РКАП* представлено как редакция. Отметим, что в *ПССМ* в качестве даты окончания произведения указана дата первого из черновых автографов (*ЧА*) – "11–16 ноября 1899 г.".

Характерно, что позднее в одном из интервью писатель, вспоминая о том, как создавался рассказ, не говорит о достаточно длительной работе над ним: «Вы знаете, – сказал он, – "Ангелочек" я написал в одну ночь. Помню, мать моя тогда страшно ругала меня. В то время я зарабатывал репортажем в газете рублей 100 в месяц. И мы жили сравнительно безбедно. Увлекшись же волновавшей меня темой рассказа, которую я, признаться, вынашивал довольно долго, я репортаж забросил. И конечно, гонорар 19 рублей, полученный за первое мое детище, не мог удовлетворить мою мать» ([*Б.п.*] Леонид Андреев на даче "Аванс" // Петербургская газета. 1908. 21 июня).

По воспоминаниям родственницы писателя З.Н. Пацковской, рассказ имеет автобиографическую основу: "Елка эта была у нас, и на верху был восковой ангелочек; Леонид все на него смотрел, потом взял его себе (моя мать ему его подарила), и когда лег спать, то положил его на горячую лежанку, и он, конечно, растаял. Было ему в это время лет 8. Но в рассказе кое-что переиначено. Там выводится мальчик из бедной семьи. Леониду же отец и мать делали обыкновенно свою роскошную елку" (*Фатов*. С. 212). Это подтверждается и тем, что в первоначальном наброске (*ЧН1*) фамилия семьи, пригласившей героя на елку, совпадает с фамилией родственников писателя – Пацковские.

Андреев сам расценивал этот рассказ как некий новый этап в творчестве. Об этом свидетельствуют записи в его дневнике. В рождественскую ночь 25 декабря 1899 г. он отмечает: «В мое отсутствие вышел мой рассказ "Большой шлем", действительно хороший рассказ; сегодня вышел "Ангелочек", пожалуй, более крупный. Эти рассказы ставят меня в ряды недюжинных молодых беллетристов. ⟨...⟩ Нынешний рассказ "посвящается А.М. Велигорской"» (*Дн9*. Л. 170 об.). В записи от 5 января 1900 г. он продолжает эту тему: «"Ангелочек" имел крупный успех. ⟨...⟩ Между прочим: мое посвящение рассказа А.М. наделало много шуму, вызвало много разговоров и заставило А.М. сиять и проявлять по отношению ко мне некоторую нежность» (Там же. Л. 171, 171 об.).

С "Ангелочком" связан и первый (из известных нам) читательский отзыв, который писатель приводит в записи от 10 января 1900 г.: «Вот письмо, присланное из Екатеринослава в редакцию Курьера на имя "Леонида Андреева, автора Ангелочка":

"М.Г. Не раз перечитывая Ваши талантливые рассказы, полные такой художественной правды, я намеревался письменно выразить Вам свою благодарность за те хорошие минуты, которые Вы доставляли мне и моей жене своими строками. ⟨...⟩ Во всех Ваших рассказах – "Собака", "Большой шлем", "Ангелочек" – нет ни одной художественной ошибки, все они так же психологически верны и трагичны, как сама жизнь. ⟨...⟩ Пишу Вам под свежим впечатлением Вашего рассказа в

рождественском № – "Ангелочек". Слава богу, что Вас хоть крупностью шрифта выделили среди Ваших так называемых "знаменитых" собратьев. А помимо шрифта, какая прелесть эта Ваша вещица! Как тепло, задушевно и жизненно Вы начертали поистине рождественские странички, и знаете, в общем Вы написали потрясающую вещь. Вот мое мнение о Вас: Ваша манера писать напоминает чеховскую, и, если Вы еще молоды (а мне кажется почему-то, что Вы моложе меня: мне 28 лет), то из Вас выработается выдающийся писатель» (Там же. Л. 171 об., 172, 172 об.).

Важно, что оценка рядового читателя совпадала с оценками, для Андреева авторитетными. В письме Андрееву от 2–4 апреля 1900 г. "Ангелочек" был выделен М.Горьким как один из лучших ранних рассказов (*Горький. Письма.* Т. 2. С. 26).

Автор одного из первых печатных отзывов, В. Шулятиков, рассматривая образы рассказа в свете значимых, по его мнению, собственно андреевских мотивов, отмечает: «Окруженные странными, загадочными, таинственными, непонятными явлениями герои Леонида Андреева проникаются чувством ужаса к жизни ⟨...⟩ Этим трепетом ужаса охвачен и отец Сашки, лежащий в своем темном углу, одинокий и молчаливый, погруженный в бесконечные размышления; он вечно думает именно об "ужасе человеческой жизни"» (*Шулятиков 1901.* С. 3).

Критик "Мира Божьего", говоря о том, что у Андреева "пошлый случай превращается в общечеловеческую драму, полную глубокого смысла и внутреннего значения", назвал "Ангелочка" "повестью о двух, не знающих любви и ласки существах", в душах которых восковая фигурка будит "всю неутолимую жажду счастья" (*А.Б.* [*Богданович А.И.*]. Леонид Андреев. Рассказы. СПб.: Изд-е т-ва "Знание". 1901 // Мир Божий. 1901. № 11. Отд. 2. С. 75).

Другое мнение выразила Е. Колтоновская, которая писала, что от чтения рассказа «получается впечатление ходульности, утрировки и выдумки ⟨...⟩. У заброшенного, огрубевшего мальчика пробуждается прирожденный идеализм при виде красивой вещицы, олицетворявшей идею вечного добра, что, конечно, должно было растрогать всех присутствующих... Уж чего, кажется, проще! И при чем тут "веяние человеческого счастья" и весь этот приподнятый тон? ⟨...⟩ Так же ходулен и неестественен разговор Сашки с отцом по возвращении домой» (*Колтоновская 1901.* С. 29).

Во многом солидарен с ней М. Неведомский. «Отношения Сашки и его отца к восковому "ангелочку" ⟨...⟩ грешат тем же недостатком», – указывает критик, имея в виду отмеченные им ранее "преднамеренность, искусственность, даже манерность" андреевских рассказов (*Неведомский 1903.* С. 10, 8). В доказательство он приводит место из рассказа, описывающее восприятие ангелочка Сашей (начинающееся словами "Все добро, сияющее над миром..."), и замечает: "Каков бы ни был предвзятый субъективизм зрителей, но можно ли следующим образом рисовать впечатление от игрушки ⟨...⟩?" (Там же. С. 10). Далее, характеризуя основную мысль рассказа, он отмечает: «Идея слишком ясна: она

напоминает Ростановскую "Принцессу Грезу" – это роль идеала, мечты, даже не осуществимой, мечты как стимула жизни» (Там же. С. 26).

По мнению Н.К. Михайловского, фигура Сашки Андрееву не удалась. "Надо сказать, что в грубости Сашки автор пересолил, это грубость ненастоящая, деланная". Но в целом маститый критик весьма высоко оценил "Ангелочка", указывая на его глубоко гуманистический пафос: "Автор не рассказал нам, что почувствовали отживший старик и неживший мальчик, когда, проснувшись, увидели, что сталось с ангелочком. Автор, заставивший Сергея Петровича пережить картину его собственных похорон[8], рассказавший много и других страшных вещей, затруднился изобразить муки этих людей, для которых на мгновение мелькнул в аду луч света, никогда не виданный мальчиком, давно забытый стариком. Не потому ли опустил здесь автор занавес, что пробуждение старика и мальчика должно оказаться страшнее всякой смерти?" (*Михайловский 1901*. С. 70, 71).

В. Кранихфельд полемизирует с подобной трактовкой финала: "Мы думаем, напротив, что способность отогревать сердце даже в лучах иллюзий, которые, подобно ангелочку, очень скоро теряют свою привлекательность, – весьма ценная способность, которою дорожат люди. Что ангелочек растаял, – это, конечно, обидно, но в возмездие за эту утрату остается воспоминание о тех чудных минутах, которые он успел нам дать, – что же тут страшного?" (*Кранихфельд 1902*. С. 57).

Как "особенно привлекательное повествование" оценил "Ангелочка" Е. Жураковский, который отмечал: «В этом рассказе чувствуется влияние рассказов Достоевского, с его мягким и любвеобильным изображением жизни детей, например в "Неточке Незвановой". Родство душ усиливается гнетом обстановки, и гармония любви пронизывает чувство зрителей жизни этих заброшенных людей» (*Жураковский 1903а*. С. 109).

Н.Д. Урусов в своей книге о ранних рассказах Андреева считает, что в "Ангелочке" отразились наиболее сокровенные мысли писателя. Воспроизводя эпизод душевного единения Сашки и отца около ангелочка, опираясь на цитату из рассказа: "что-то ⟨...⟩ сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастным и слабым", критик утверждает: «В этих последних словах г. Андреева – ответ всем его бессильным, одиноким людям, страдающим и униженным. Вот это "что-то" в их чувстве, великое и необходимое, только и может дать счастье и силу человеку. Без этого общения – вечная пропасть, отделяющая человека от человека» (*Урусов*. С. 41–42).

Н. Геккер выделяет "Ангелочка" среди прочих рассказов Андреева о детях, и его трактовка в чем-то перекликается с мнением Кранихфельда: «Пусть и "ангелочек" – оказался кусочком воска перед лицом пробудившихся, но он уже свое дело сделал и примирил старика с насто-

[8] Подразумевается эпизод из гл. V "Рассказа о Сергее Петровиче" (см. т. 2 наст. изд.).

ящим, а мальчика перенес в другую жизнь, которая возможна и принадлежит ему по праву. И кто знает, какую жизнь создаст Сашка и какой жизни будет он учить других: поэтому "Ангелочек" будет историей очень печальной и безутешной на первый взгляд. Но, по существу, она не мрачна и не внушает нам безверия, ибо идеал не мягкий воск, тающий у отдушины печи, а на самом деле тот несокрушимый гранит, о который разбиваются все силы материальных преград, в том числе и обольщения эстетического свойства и личного благополучия, и угрозы физического воздействия» (*Геккер 1903*. С. 14).

И.П. Баранов, говоря об "Ангелочке", отмечает, что «в этом произведении уже открыто и резко (в отличие от других ранних рассказов о детях. – *Сост.*) звучит своеобразная авторская тенденция, выраженная в символической фигурке ангелочка и порой заставляющая художника прибегать к натяжкам и нарочитости при изображении душевных перипетий юного героя. "Ангелочек", таким образом, не столько правдивый рассказ из детской жизни, сколько уже вполне определившаяся художественная проба авторского миросозерцания и настроения. ⟨...⟩ Последняя страница этого очерка производит прямо-таки неизгладимое впечатление по глубине проникновения в страдающую и тоскующую душу человека» (*Баранов 1907*. С. 17, 18). Полемизируя с интерпретацией финала Н. Геккером, он вопрошает: «Вдумчивый читатель! Что значат после этого трагического испарения иллюзорного идеала уверения критика, что вся эта история с *ангелочком* "по существу *не* мрачна и *не* внушает нам безверия, ибо идеал не мягкий воск ⟨...⟩, а гранит"? ⟨...⟩ Разве не ясно, как светлый солнечный день, что Сашка не из тех немногих избранных, которые во имя какого-то призрачного идеала ⟨...⟩ шествуют всю жизнь по тернистому пути возвышенного нравственностью альтруизма! Сашка обладал непокорной и смелой душой и в тринадцать лет мстил жизни всеми примитивными средствами, бывшими в его распоряжении. Это волчонок, которого мог победить только одухотворенный *ангелочек*! И не будущего адепта высокой общественной морали должны мы предполагать в нем после страшного пробуждения от мирного сна и фантастических грез, а хищного волка, с кровожадным инстинктом пустыни, который будет сильно мстить так лицемерно обманувшей его жизни... И в Сашкином ангелочке, и в Петькиной даче[9] г. Андреев хотел нам доказать всю иллюзорность, всю обманчивость этих пресловутых "гранитных" идеалов» (Там же. С.19–20).

П.С. Коган также интерпретирует рассказ в свете своей общей концепции андреевского творчества, утверждая, что уже в первом его абзаце ("Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью ⟨...⟩") автором поставлены проблемы, которые станут излюбленными «в последующих рассказах и трагедиях вплоть до наших дней. Личность и мир противостоят друг другу, их интересы непримиримы, мое "я" не желает делать того, что называется жизнью. Это "я" не принимает жизни. Сашка и окружающее – несоизмеримые величины. С

[9] Подразумевается ситуация рассказа "Петька на даче".

этой ницшеанской и штирнеровской антитезой мы будем встречаться в каждом новом рассказе Андреева ⟨...⟩ В этих незамысловатых строках небольшого рассказа уже чувствуется будущий Андреев, хотя в "Ангелочке" еще не поставлены мировые проблемы. В этих простых строках вы уже прочтете то решение вопроса, которое останется всегда единственным для Андреева. И как просто это сказано! "Так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят..." Ведь так пишут только тогда, когда относительно способа решения возникших вопросов нет никаких сомнений, когда в душе уже все ясно. Смерть для сознательного существа – единственный нормальный выход из противоречий жизни. Если бы Сашка не был так юн, если бы он уже достиг полного сознания, то разве можно сомневаться в том, что он покончил бы жизнь самоубийством. Кто же из нормальных людей станет добровольно жить? – как будто хочет сказать Андреев своей фразой, – только недоразумением или недостатком сознания объясняется то обстоятельство, что люди продолжают жить и выполняют требования враждебной им жизни» (*Коган 1910*. С. 10). В том же ключе трактуется финал рассказа: «Надежда тоскующей о Боге души осталась обманутой, и, утром, проснувшись, маленький человек, который еще только начинал жить, уже встанет и обратится к неведомому с тем же криком "скажи!", с которым до сих пор стучится Л. Андреев перед железными вратами вечности» (Там же. С. 12).

В своей книге, посвященной детской теме в новейшей русской литературе, В.В. Брусянин выделяет среди андреевских произведений "Ангелочка", где "в особенности глубоко затронута детская психология" (*Брусянин В.В.* Дети и писатели: Литературно-общественные параллели: (Дети в произведениях А.П. Чехова, Леонида Андреева, А.И. Куприна и Ал. Ремизова). М.: Типогр. Т-ва И.Д. Сытина, 1915. С. 127). Сашка – «незаурядная личность. Он даже поэт. Из всей разнохарактерной группы детей, бывших на елке у Свечниковых, только он один сумел опоэтизировать воскового "ангелочка" ⟨...⟩ приблизил к себе символ той красоты и справедливости, которых недоставало в действительной жизни» (Там же. С. 129, 130). Брусянин считает, что "судьбой Сашки Андреев открывает целую кампанию против условий воспитания и обучения в наших средних школах" (Там же. С. 130), имея в виду написанные позже "курьерские" фельетоны, посвященные гимназии ("Он умер, бедный Экстемпоралий", "Мой герой", "Весна", "Лето" и др.).

В качестве сложного и разветвленного символа эпохи рассказ был использован А.А. Блоком в его статье "Безвременье" (1906). Атмосфера "Ангелочка" оказывается симптоматичной для времени, когда утрачено "чувство домашнего очага", а Рождество – "высшая точка этого чувства" – уже перестало быть "воспоминанием о Золотом веке". Домашний очаг превратился в затхлое "паучье жилье". Характерна и отмеченная Блоком глубокая связь рассказа с мотивами и образами Достоевского: «Внутренность одного паучьего жилья воспроизведена в рассказе Леонида Андреева "Ангелочек". Я говорю об этом рассказе потому, что он наглядно совпадает с "Мальчиком у Христа на елке"

Достоевского. Тому мальчику, который смотрел сквозь большое стекло, елка и торжество домашнего очага казались жизнью новой и светлой, праздником и раем. Мальчик Сашка у Андреева не видал елки и не слушал музыки сквозь стекло. Его просто затащили на елку, насильно ввели в праздничный рай. Что же было в новом раю?

Там было положительно нехорошо» (*Блок А.А.* Полн. собр. соч. Т. 7. С. 22–23).

И далее Блок развивает свою мысль, используя образы рассказа для иллюстрации собственных обобщений: «Дело в том, что уже в этом старом рассказе ("Ангелочек" написан в 1899 году) звучит нота, роковым образом сблизившая "реалиста" Андреева с "проклятыми" декадентами. Это – нота безумия, непосредственно вытекающего из пошлости, из паучьего затишья. Мало того, это – нота, тянущаяся сквозь всю русскую литературу XIX века, ставшая к концу его только надорванной, пронзительной и потому – слышнее. В ней звучит безмерное отчаянье ⟨...⟩ Стоит вспомнить, как все рассказы его горят безумием; в сущности, все это один рассказ, где изображены с постепенностью и сдержанностью огромного таланта все стадии перехода от тишины пошлой обыденщины к сумасшествию. В нашем рассказе легко, но уже несомненно намечен этот самый переход. ⟨...⟩ Радость остыла, потухли очаги, Времени больше нет. Двери открыты на вьюжную площадь» (Там же. С. 23–24).

Сюжет рассказа позже был использован Блоком в стихотворении "Сусальный ангел" (1909–1911).

При жизни автора рассказ был переведен на немецкий (1903 дважды, 1905), болгарский (1903, 1904, 1912), шведский (1903, 1906), польский (1904), хорватский (1904, 1907 дважды, 1908 дважды), чешский (1904, 1916), финский (1905), французский (1905), румынский (1908), японский (1908, 1909, 1913), английский (1910, 1915 трижды, 1916), сербский (1913), итальянский (1919) языки и на идиш (1912).

ЧА

С. 596. *...на Карачевскую. Это была улица более людная, чем тот глухой и темный переулок, в котором обитал Волчок...* – Карачевская – шумная торговая улица в Орле.

ЧН2

С. 612. *...играли в Сиён-гору ⟨...⟩ сбрасывая их с кучи головой прямо в мягкий снег...* – Сиён-гора – *диал.* от "Сион-гора". Речь идет скорее всего о популярной (особенно зимой) детской игре (называемой также "Бабы", "Орешек", "С города долой" и др.), заключающейся в следующем: "Играющие делятся на две равные партии. Одна партия занимает возвышенное место, изображающее крепость (зимой она строится из снега. – *Сост.*), другая нападает и старается выгнать из крепости" (Мудрость народная: Жизнь человека в русском фольклоре. Вып.1: Младенчество; Детство. М., 1991. С. 372).

НЕОПУБЛИКОВАННОЕ

НА ИЗБИТУЮ ТЕМУ

(С. 211)

Источник текста – беловая рукопись (чередующиеся рукописный автограф и рукописная копия (рукой неуст. лица) с авторской правкой). ⟨Конец марта 1897 г.⟩ Подпись: Леонид Пацковский. Хранится: РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 1. Ед.хр. 7. 93 л.

Публикуется впервые.

На отдельном листе, приложенном к рукописи, – позднейшая помета рукой Андреева: "81/1897" (шифр домашнего архива: порядковый номер и год создания).

В дневнике Андреева имеется запись от 31 марта 1897 г.: «Завтра, благословясь, посылаю рассказ в "Сев⟨ерный⟩ Вест⟨ник⟩". Заглавие: "На избитую тему"» (*Дн9*. Л. 32). Видимо, эту дату можно считать датой окончания работы над рассказом, так как никаких других упоминаний о нем в дневнике и письмах данного периода не отмечено.

Характер сохранившейся рукописи свидетельствует о том, что скорее всего именно она была отправлена в редакцию и возвращена автору. На это указывают имеющиеся в конце подпись-псевдоним и адрес с подлинной фамилией автора: "Москва, Гранатный пер., д. Иванова, кв. 5, Леонид Николаевич Андреев". Характер рукописи близок к беловой, правка незначительна, причем текст состоит из двух чередующихся слоев, написанных почерками Андреева и другого, неустановленного, лица.

Рассказ явно имеет автобиографическую основу. А.Е. Кауфман указывает в своей мемуарной заметке: "Когда Андреев был в университете, мать, переехавшая из Орла в Москву и нуждавшаяся в средствах, сдала комнату пожилой женщине, у которой была дочь-институтка. Андреев познакомился с внушавшей ему симпатии девушкой и к ужасу своему узнал, что жилица промышляет дочерью как доходной статьей. Девушку скоро выставили из института, что окончательно развязало руки матери, и она бесповоротно толкнула дочь на скользкий путь. Однажды Андреева пригласили в гости в комнату жилицы, где было несколько человек, и среди них офицер. Возмущенный тем, что ему пришлось наблюдать, Андреев вступил с матерью девушки в спор, закончившийся дракой. Л.Н. стал выгонять мать из квартиры, за нее заступился офицер, ударил Андреева шашкой по голове, но не ранил его" (*Кауфман А.* Андреев в жизни и в своих произведениях // Вестник литературы. Пг., 1920. № 9 (21). С. 3). Фатов приводит свидетельство родственницы писателя С.Д. Пановой, которая вспоминала, что в действительности Андреев "избил мать девицы, и дело кончилось у мирового" (*Фатов*. С. 90).

Множество автобиографических реалий, обнаруживаемых в тексте рассказа (подробнее см. ниже), указывает на то, что история, лежащая в основе его сюжета, могла иметь место во второй половине 1895 г.

Тема любви к падшей девушке была позже развита Андреевым в пьесе "Дни нашей жизни" (1908). В пьесе сохранены многие сюжетные мотивы и образы раннего рассказа: разговор о прежнем содержателе девушки, уехавшем на Кавказ, эпизод на Тверском бульваре с матерью героини и офицером, сцена попойки и драки с офицером на квартире и др. (см. также: *Бабичева Ю.В.* Драматургия Л.Н. Андреева эпохи Первой русской революции. Вологда, 1971. С. 115–116).

В неопубликованном рассказе впервые звучит морально-этический мотив, в полной мере развернутый в рассказе "Тьма" (1907); его суть заключена в словах, сказанных проституткой революционеру-террористу: "Стыдно быть хорошим". В исповеди героя рассказа "На избитую тему" присутствуют основные моменты этого "этического парадокса", через десять лет вызвавшего ожесточенную полемику в российской печати: "Я возненавидел себя таким, каким был минуту назад: самодовольным, надутым, чуть ли не гордым своей непорочностью и непреклонностью. *Бывают в жизни минуты просветления, когда встанет перед твоими глазами все необъятное горе человеческое, и ты всем сердцем, всею душой поймешь свое братство с этими грязными грешниками и блудницами – и совестно тебе станет перед ними за ту крупицу чистого и хорошего, которая в тебе есть. Как будто ты украл ее у них*" (с. 229 наст. тома. Курсив наш. – *Сост.* Отмечено в кн.: *Бабичева Ю.В.* Указ. соч. С. 116).

С. 211. *...мой товарищ... студент 4-го курса.* – Автобиографическая деталь, дополнительно подтверждающая датировку событий, легших в основу сюжета рассказа, второй половиной 1895 г. Студентом четвертого курса Андреев был в период 1895–1896 гг. В марте 1896 гг. ему было выдано «выпускное свидетельство, в котором указывалось, что он "имеет восемь зачтенных полугодий"» (*Фатов.* С. 104).

Мы поговорили о зачетном сочинении, которого ни тот, ни другой еще не начинали. – О беспокоящем его, еще *не написанном* зачетном сочинении Андреев упоминает в своих письмах к С.Д. Пановой от 17 сентября и 28 октября 1895 г. (*Фатов.* С. 96, 99) и лишь 21 марта 1896 г. в письме к Н.Д. Панову сообщает: "За сочинение получил 5" (Там же. С. 105).

Я имел хороший урок в деревне... – Летом 1896 г. у Андреева был урок (занятия с учеником) в Царицыне (*Фатов.* С. 113, 115). См. также комментарий к незаконченному рассказу "Из записок алкоголика" (с. 792 наст. тома).

С. 212. *... по Пречистенскому ~ я живу тут же.* – На Пречистенском (с 1924 г. – Гоголевский) бульваре по адресу: дом Крейзмана (№ 25), кв. 15, Андреев жил с матерью и младшими братьями и сестрами приблизительно с сентября 1895 г. по январь 1896 г. (см.: *Фатов.* С. 92).

С. 215. *Комитетская столовая* – имеется в виду общественная столовая, в которой бесплатно кормили малообеспеченных студентов. Такие столовые организовывались комитетом Общества для пособия нуждающимся студентам Московского университета.

С. 216. *...в сквере, около храма.* – Имеется в виду храм Христа Спасителя, к которому выходил Пречистенский бульвар.

С. 220. *О богиня, если бы ты могла воспеть мой гнев.* – Шутливая перефразировка первой строки поэмы Гомера "Илиада": "Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына" (пер. Н.И. Гнедича).

С. 224. *...можно "Гражданин" уличить в радикализме...* – Имеется в виду газета "Гражданин", издававшаяся публицистом и прозаиком князем В.П. Мещерским с 1872 по 1914 г. и отличавшаяся ультраконсервативным направлением. Позже Андреев-публицист полемизировал с ней, высмеивая ее на страницах "Курьера" (см., например, "Впечатления" за 27 февраля 1900 г.; т. 13 наст. изд.).

...на Тверской бульвар послушать музыку. – По определенным дням на Тверском бульваре играл военный оркестр (см.: *Гиляровский В.А.* Москва и москвичи. М., 1935. С. 50–51).

"*Цыганский барон*" – оперетта И. Штрауса (1885).

С. 226. *Как будто из Марфиньки она в одну ночь обратилась в Веру.* – Марфинька и Вера – героини романа И.А. Гончарова "Обрыв" (1869), представительницы двух полярных женских типов (приземленно-практического и возвышенно-одухотворенного).

С. 228. *...резало мое ухо, привыкшее к словесной аккуратности и умеренности.* – Отсылка к заглавию сатирического цикла М.Е. Салтыкова-Щедрина "В среде умеренности и аккуратности" (1878).

С. 229. – *Для тебя одного, мой любезнай...* – искаженные строки из стихотворения Вас.И. Немировича-Данченко "Ты любила его всей душою" (1882): "Для кого я жила и страдала, / И кому я всю жизнь отдала? / Как цветок ароматный весною, / Для тебя одного расцвела" (Песни и романсы русских поэтов. М.; Л., 1963. С. 952). Позднее стихотворение было переделано А.П. Денисьевым в мещанский романс под названием "Чудный месяц" (1896). Андреев использует эти строки в схожей ситуации в рассказе "Бездна" (1902) (см. т. 3 наст. изд.).

С. 230. *...завтра утром пойду к Мошкину, мне там место обещали.* – Возможно, имеется в виду один из магазинов купцов братьев И. и А. Мошкиных, осуществлявших торговлю кожаными изделиями (см.: Вся Москва на 1896 год. М., 1897. С. 110).

С. 232. *...есть у Гейне недурненькая острота. Он разбирает чью-то книжку с таким, кажется, заглавием: "История одного бедного молодого человека" ⟨...⟩ и ⟨...⟩ замечает, что книжку лучше следовало бы озаглавить так: "История трехсот талеров, которых не хватало у одного молодого человека".* – В "Путевых картинах" Г. Гейне упоминает роман Карла Филиппа Морица (1757–1793) "Филипп Путешественник", "заключающий в себе историю автора или скорее историю нескольких сот талеров, которых не было у автора, вследствие чего жизнь его сделалась целым рядом лишений и страданий. А между тем

желания его были до крайности скромны ⟨...⟩" (Сочинения Генриха Гейне в переводе русских писателей / Под ред. П. Вейнберга. СПб., 1864. Т. 1. С. 107–108).

С. 238. *"За горе она меня полюбила, а я ее за жалость полюбил...* – вольный пересказ фразы из монолога Отелло в одноименной трагедии У. Шекспира (акт I, сц. III): "Она меня за муки полюбила, а я ее за состраданье к ним" (Полное собрание сочинений В. Шекспира в переводе русских писателей. СПб., 1888. Т. 3. С. 310. Пер. П.И. Вейнберга).

С. 241. *Катон* – имеется в виду Катон Младший (или Утический) (95–46 гг. до н.э.) – римский политик, судебный оратор и философ, имя которого стало нарицательным из-за его бескомпромиссной борьбы за справедливость и идеалы республики, против единовластия Цезаря.

С. 244. *– А вот и вещественные знаки... невещественных отношений!* – Ироническая отсылка к эпизоду из романа А.И. Гончарова "Обыкновенная история" (ч. 1, гл. 2), где эту фразу произносит главный герой, Александр Адуев, в этот период бывший романтически восторженным провинциалом, совсем недавно приехавшим в Петербург. Адуев говорит о привезенных с собой кольце и локоне волос возлюбленной.

ОРО

(С. 245)

Источники текста:

ЧА – черновой автограф. Оро. Сказка. ⟨1897⟩: *ЧАа* – план и первый абзац рассказа. Хранится: *Т1*. Л. 1–1об.; *ЧАб* – текст рассказа без первого абзаца. Подпись: Леонид Пацковский. Хранится: РАЛ. MS.606/B.17. Л. 1–8об.

Волжанин 1 – Оро (Ненапечатанная сказка Л.Н. Андреева) // Вестник литературы. Пг., 1920. № 3. С. 2–3 (с примеч. ред.: "Воспроизводится в кратком изложении").

Волжанин 2 – Андреев Л.Н. Оро. Сказка. Машинописная копия с рукописной правкой О. Волжанина. ⟨1930⟩. Хранится: РАЛ. MS.606/B.17.

Впервые опубликовано в сокращенном варианте: *Волжанин 1*.

Печатается по *ЧА*.

ЧАб (РАЛ) является частью блока листов, вырванных из тетради, в которой написан *ЧАа* (РГАЛИ). Непосредственно после текста "Оро" (*ЧА*б) в этом блоке располагается начало рассказа "Мария Петровна" (редакция рассказа "Мать"), продолжение которого имеется в тетради, хранящейся в *РГАЛИ*, на следующем листе после *ЧАа*. Предположительная реконструкция первоначальной пагинации тетради такова: *ЧАа* – л. 1–1об.; *ЧАб* – л. ⟨2–9об.⟩; "Мария Петровна" – л. ⟨10–11об., 12–13об.⟩.

Волжанин 1 является кратким изложением сказки, состоящим из отрывков авторского текста со связующими их редакторскими резюме;

публикация сопровождалась воспоминаниями О. Волжанина (О.А. Израэльсона) "Л.Н. Андреев на заре литературной деятельности" (см. ниже). Полный текст сказки (*Волжанин 2*) был перепечатан для переиздания воспоминаний О. Волжанина под названием "Синяя тетрадь Л. Андреева" в журнале "Мир и искусство" (см. ниже), однако не вошел в эту публикацию.

Подпись в конце *ЧАб* – "Леонид Пацковский" (по девичьей фамилии матери). Здесь же указан адрес: "Москва, Гранатный пер., д. Иванова, Леонид Николаевич Андреев". Эти псевдоним и адрес, судя по всему, характерны для оформления законченных и предназначенных для отправки в редакции произведений Андреева именно в 1897 г. (такая же запись сделана в рукописи рассказа "На избитую тему" – см. с. 765 наст. тома). В Гранатном переулке он жил с 15 января 1897 г. до середины января 1898 г., что может служить основанием датировки рассказа 1897 г.

Между поздней осенью 1897 г. и ранней весной 1898 г. (т.е. в начальную пору работы в "Курьере") Андреев передает рассказ секретарю газеты И.Д. Новику в ответ на его просьбу принести что-нибудь, относящееся к беллетристике. В воспоминаниях Новика этот эпизод описан следующим образом: "Через несколько дней Л.Н. приносит мне ученическую тетрадку в 20 страничек с рассказом. Я не помню даже названия его, смутно помню и содержание его. Помню только, что действие происходило между небом и землей и герой рассказа был чем-то средним между Манфредом и Демоном.

Рассказ этот я прочел и через несколько дней, возвращая его Андрееву, предложил ему спуститься на землю, а не витать в безвоздушном пространстве.

– Вы бываете в суде, перед вами проходит масса народа, попробуйте написать судебные очерки" (*Измайлов 1911*. С. 246–247).

Этот же рассказ Андреев предлагал заведующему редакцией "Московского вестника" О. Волжанину, о чем последний рассказывает в двух своих мемуарных очерках. «⟨...⟩ Андреев как-то переслал мне с тоненькой девушкой, своей сестрой, синенькую тетрадку ученического образца, в которой на пишущей машинке был отпечатан рассказ под названием "Оро" и за стоящей под ним подписью Леонид Пацковский – фамилия его матери по рождению. Однако на белой наклейке посередине синей обложки вместе с отпечатанными кругом словами: "Тетрадь Рижской бумаги. Ученика... класса. Писчебумажный магазин Иконникова в Москве, Верхние Торговые ряды" – стояла его фамилия и тут же пишущей машинкой: 1897, по-видимому, год написания рассказа. Этот рассказ я тут же сунул в ящик к себе, но он уже не увидел света. Спустя какой-то месяц наша газета ⟨...⟩ от материального худосочия скончалась. В рассказе "Оро", названном сказкой, еще более "андреевского", чем в напечатанном мною когда-то "Что видела галка". В нем чувствуется уже будущий андреевский бунт и слышатся бутады самого Анатэмы». Далее Волжанин описывает причины, по которым он так и не смог вернуть Андрееву тетрадку с "Оро" (*Волжанин О.* Синяя тетрадь Л. Андреева // Мир и искусство. Париж, 1930. № 7. С. 6–7). Любопытно

сопоставить приведенную здесь оценку рассказа с более ранней версией этих же воспоминаний: «Сказка “Оро” ⟨...⟩ в техническом отношении уступает рассказу “Что видела галка”, – видимо, она написана до него, и мне думается, она если не первый, то самый ранний рассказ Л.Н. Андреева. В ней есть растянутость, встречаются повторения. Но в ней и стиль, и настроенность – уже чисто Андреевские» (*Волжанин О.* Л.Н. Андреев на заре литературной деятельности // Вестник литературы. Пг., 1920. № 3. С. 5).

ИСПОВЕДЬ УМИРАЮЩЕГО

(С. 251)

Источник текста – рукописный автограф. ⟨1898. До 15 ноября (датируется по тетради)⟩. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Т1*. Л. 10–13об., 16об.–17об.

Публикуется впервые.

С. 252. *Взятие Парижа...* – Видимо, имеется в виду кульминация Франко-прусской войны 1870–1871 гг. – вступление германских войск в Париж 1 марта 1871 г., что было одним из решающих событий, приведших к началу революции 1871 г. и созданию Парижской коммуны.

...коммуна... – Парижская коммуна существовала с 18 марта по 28 мая 1871 г.

Гамбетта Леон-Мишель (1838–1883) – французский политик, выдающийся оратор, лидер республиканцев в 1870-х годах.

Бисмарк Отто-Эдуард-Леопольд фон (1815–1898) – немецкий государственный деятель, во многом благодаря усилиям которого в 1871 г. образовалась германская империя.

Мещерский Владимир Петрович, князь (1839–1914) – романист и публицист, издатель газеты “Гражданин” (с 1872 г.). См. также с. 767 наст. тома.

ДВЕ ВСТРЕЧИ

(С. 256)

Источник текста – рукописный автограф. ⟨Сентябрь–октябрь 1898 г.⟩ Подпись: Леонид Андреев. Хранится: РАЛ. MS.606/B.6.

Публикуется впервые.

Датируется предположительно по почерку и бумаге.

НАС ДВОЕ

(С. 261)

Источник текста – черновой автограф. 28 января 1899 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Т3*. Л. 66–77.

Впервые (с сокращениями): Неделя. 1965. 18–24 июля (№ 30). С. 18–24. Публ. В.Н. Чувакова.

Печатается по рукописи.

Можно предположить, что в основу фабулы рассказа положен случай, произошедший в сентябре 1891 г. с В.И. Гедройц[10] – подругой З.Н. Сибилевой и хорошей знакомой Андреева – и ее женихом М.Г. П-ым. Как пишет в своем дневнике Андреев, после ряда размолвок Гедройц отправила своему жениху "письмо с форменной отставкой. Сегодня она получила ответ такой, как и следовало ожидать, но какого она – удивительно! – не ожидала. В письме из нескольких строк М.Г. говорит, что пора кончать эту комедию, в которой он играл такую глупую роль. И он кончил ее, пот⟨ому⟩ что, когда В⟨ера⟩ И⟨гнатьевна⟩ читает его письмо, его уже нет на свете. Конечно, с В⟨ерой⟩ И⟨гнатьевной⟩ сейчас же нервный припадок; отправляется З⟨инаида⟩ к брату М.Г. узнать, действительно ли тот убил себя, – там ничего не знают" (*Дн5*. С. 103). Через два дня в дневнике отмечено: "О М.Г. вестей никаких нет. Можно предположить, что его письмо просто буффонада ⟨...⟩" (Там же. С. 104).

К центральной для рассказа теме раздвоенности души Андреев неоднократно обращался в своих дневниках. Характерна, например, запись от 25 августа 1897 г., в которой предвосхищена одна из психологических коллизий рассказа: «Как известно, я вечно двоюсь, и от любви я хочу, чтобы одним сильным чувством она соединила двух этих людей, сидящих во мне. А З⟨инаида⟩ И⟨вановна Терпигорева⟩ как будто нарочно старается разбудить во мне того, другого. Лишь только я забудусь, почувствую, что живу и люблю, – З⟨инаида⟩ И⟨вановна⟩ скажет: "а в который это раз?" – и сейчас тот, другой, с радостью подхватывает эту мысль, иронизирует, потешается, иллюстрирует примерами. В результате через минуту я спокойно закуриваю папиросу и обсуждаю свое данное состояние с комической точки зрения» (*Дн9*. Л. 89 об.).

С. 263. *Первый раз – 3 января, помнишь, когда ты сказала мне, что любишь меня.* – Автобиографическая аллюзия. Ср. запись в дневнике Андреева от 14 февраля 1898 г.: "Не буду описывать, как это случилось, но Шурочка (А.М. Велигорская. – *Сост.*) до известной степени первая пошла мне навстречу. 3 января мы с ней виделись. Продолжительный разговор; а затем первые бесчисленные поцелуи, которыми мы тогда обменялись и которые с ее стороны поразили меня своей страстностью, – расплавили лед, дотоле разделявший нас. С этого дня Шурочка стала неузнаваемой. Так она была любящая, мила и хороша, что я почувствовал себя возродившимся. В течение целого января я был прямо-таки счастлив" (*Дн.9*. Л. 111 об.).

С. 266, примеч. 70. *Принципал* – хозяин, глава по отношению к своим служащим.

---

[10] Гедройц Вера Игнатьевна (1876–1932) – хирург, участница революционного движения, литератор (см.: *Мец А.Г., Заверный Л.Г.* Гедройц Сергей // Русские писатели. 1800–1917: Биогр. словарь. М., 1989. Т. 1. С. 535–536).

ГИБЕЛЬ САМОЗВАНЦА

(С. 273)

Источник текста – рукописный автограф. ⟨Первая половина 1899 г.⟩ Подпись: Леонид Андреев. Хранится: РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 4. Ед. хр. 15.

Публикуется впервые.

Датируется предположительно по сопоставлению с другими печатными источниками и данными (см. ниже). К рукописи прилагается обложка домашнего архива с напечатанным на ней названием рассказа (л. 1 архивной нумерации).

Рассказ написан на основе судебного отчета Андреева ([*Б.п.*] Московский окружной суд. Гибель самозванца // Курьер. 1898. 26 марта (№ 84). С. 3–4), см. т. 13 наст. изд. При последующей переделке отчета в рассказ наиболее существенным дополнением является "биографическая предыстория" героя, мотивирующая его поведение в описанном происшествии. В течение первой половины 1899 г. в "Курьере" появлялись объявления о готовящемся к выходу сборнике "Память пострадавшим от неурожая", в составе которого был заявлен и рассказ "Гибель самозванца", однако с 13 мая упоминание об этом рассказе в объявлениях исчезает, а в самом сборнике, вышедшем в конце июня, он отсутствует (см.: *Фатов*. С. 310; *Иезуитова 1967*. С. 52). В последующем писатель все-таки использовал этот сюжет (*Андреев Л.* Административный восторг: Кинематографический сюжет о бесталанном Васеньке // Правда. 1913. 14 апр. (№ 87)).

МАТЬ

(С. 279)

Источники текста:

ЧА1 – черновой автограф начала рассказа. ⟨1898. До 15 ноября (датируется по тетради)⟩. Под заглавием: "Мария Петровна". Состоит из двух разрозненных фрагментов: *ЧА1а* (начало рассказа). Хранится: РАЛ. MS.606/B. 11. 2 л.; *ЧА1б* (продолжение, нет конца). Хранится: *Т1*. Л. 2–3.

ЧН1 – черновой набросок. Б.д. Хранится: *Т4*. Л. 100–101.

ЧН2 – черновой набросок. Б.д. Хранится: *Т4*. Л. 99.

ЧА2 – черновой автограф рассказа. 16 августа ⟨1899⟩. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: *Т4*. Л. 110–116об., 102–104.

БАП – Беловой автограф с правкой. Б.д. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 4. Ед. хр. 1. Л. 118–123.

ЧА3 – Черновой автограф начала рассказа. ⟨1902 г. Не ранее августа⟩. Хранится: *Hoover*. Box 4. Envelope 19. Item 4.

Впервые: Неделя. 1965. 5–11 нояб. (№ 45). С. 8–9. Публ. Н. Родионова.

Печатается по тексту *БАП*.

ЧА1а (РАЛ) является частью блока листов, вырванных из тетради (*Т1*), в которую вписан *ЧА1б* (РГАЛИ). Подробнее об этой части тетради см. в коммент. к рассказу "Оро".

ЧН1, ЧН2, ЧА2 располагаются в одной тетради (*Т4*). Анализ текста позволяет реконструировать процесс работы над рассказом следующим образом. На л. 100–101 Андреев пишет напрямую не связанную с будущим сюжетом интродукцию к рассказу, посвященную большому городу и одиночеству в нем людей (*ЧН1*). Затем пропускает несколько листов (л. 102–104) и фиксирует два других замысла ("Антон Ильич был человек мнительный..." и "Из записок алкоголика" – л. 105–109об.). На л. 110 Андреев возвращается к рассказу (здесь впервые возникает его заголовок – "Мать"). Однако на л. 116 тетрадь заканчивается, и автор использует для продолжения ранее зарезервированные л. 102–104 (что подтверждает помета перед текстом: "Мать (продолж⟨ение⟩)"). Далее можно выделить второй слой текста. На оставленном ранее чистым л. 99 Андреев пишет новую, более краткую версию начала-интродукции (*ЧН2*); на обороте некоторых листов *ЧА2* сделаны пометы, использованные в последующей редакции; на последней странице рассказа, после финала, даты и авторской подписи, вписаны два новых фрагмента, один из которых почти дословно войдет в *БАП*.

Текст *БАП* написан на отдельных листах большого формата, что почти всегда в этот период творчества Андреева свидетельствовало о том, что это – текст, подготовленный для печати. О том же говорит и авторская подпись в конце. Автограф вложен в обложку домашнего архива Андреева (имеющую позднейшее происхождение), на которой напечатаны название рассказа и номер "47" (Л. 117). Сопоставление этой редакции с *ЧН2* и *ЧА2* позволяет предположить, что время ее создания близко ко времени написания предыдущей редакции: в *БАП* Андреев соединяет *ЧН2* и *ЧА2* и преобразует их в соответствии с пометами и вставками-дополнениями, о которых говорилось выше. В самом *БАП* правка уже незначительна.

Однако писателя, видимо, не удовлетворила и эта редакция. В своей рабочей тетради, в перечне незаконченных рассказов, сделанном приблизительно летом 1902 г., он фиксирует: "8) *Мать* (самопожертвование и нежность). Задуман". Рядом сделана позднейшая запись: "Отдано Серафимовичу" (РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 5. Ед. хр. 1. Л. 176 об.). Последняя запись, возможно, свидетельствует о том, что, будучи неудовлетворенным собственным исполнением замысла, писатель подарил сюжет А.С. Серафимовичу, с которым долгое время поддерживал тесные дружеские отношения (так, например, в 1906–1907 гг. он несколько раз предлагал ему совместно писать пьесу на сюжет будущих "Дней нашей жизни" – см.: Письма Л. Андреева А.С. Серафимовичу / Вступ. ст., примеч. и коммент. Н.Н. Фатова // Московский альманах. М.; Л.: Моск. рабочий, 1926. Кн. 1. С. 295, 297–301).

Позже Андреев делает, видимо, еще одну попытку справиться с сюжетом. К ней относится недатированный фрагмент рассказа *ЧА3*. Главное его отличие от более ранних редакций в том, что события освеще-

ны не только с внешней стороны, но посредством размышлений главной героини, из которых читатель узнает, как разрабатывался план самоубийства. Здесь фигурирует такая важная деталь, как заранее запланированная покупка яблок, которая должна снять подозрения о предумышленности ее гибели (в прежних редакциях яблоки покупаются на случайно оставшиеся деньги). Вместе с тем сюжетно *ЧА3* достаточно близок к ранним версиям рассказа, поэтому он публикуется вместе с редакциями основного текста (*БАП*), в качестве фрагмента, относящегося к его более поздней разработке.

В позднем рассказе Андреева "Жертва" (1916), где использована основная фабульная линия "Матери", сохранены именно вышеупомянутые детали *ЧА3*.

В первом наброске к рассказу (*ЧА1*) в наибольшей степени сохранились автобиографические моменты, которые в последующих редакциях существенно нивелированы. Так, умерший от паралича сердца В.И. (муж главной героини), разбогатевший во время службы бухгалтером в одном из провинциальных общественных банков, заставляет вспомнить о судьбе отца писателя – Николая Ивановича Андреева (1847–1889), поступившего на службу в Орловский общественный банк и сумевшего собрать значительную сумму, которая позволила построить собственный деревянный дом на 2-й Пушкарной улице г. Орла. Крах банка и скоро последовавшая вслед за тем неожиданная смерть отца (от кровоизлияния в мозг) привели семью к полунищенскому существованию. Образ главной героини, Марии Петровны, некоторыми чертами напоминает мать Андреева Анастасию Николаевну (1851–1920). В 1895 г. Анастасия Николаевна была вынуждена продать дом в Орле и перебраться с детьми на жительство в Москву к старшему сыну Леониду, тогда студенту юридического факультета Московского университета. Описание квартиры Марии Петровны с комнатой "внаем" в полуподвале близко описанию квартиры, в которой поселились Андреевы. 21 апреля 1896 г. Л. Андреев писал в Орел С.Д. Пановой: "В министерстве обещают чин титулярного советника. Пока я надворный – вернее науличный. Дело в том, что окна в моей комнате наравне с тротуаром ⟨...⟩" (*Фатов*. С. 109).

С. 281. *Хохлов* Павел Акинфиевич (1854–1919) – оперный певец, баритон, в 1879–1900 гг. певец Большого театра.

С. 282. *...завел речь о костоломках...* – В редакции снято пояснение, присутствовавшее в *ЧА2*: "Зашла между прочим речь о костоломках, как именовал майор жел⟨езные⟩ дороги ⟨...⟩" (л. 115).

С. 285. *Лотоха* – от *просторечн.* "лотошить" – суетиться, торопиться.

ЧА1

С. 626. *Коллежский секретарь* – должность, соответствующая 10-му классу по Табели от рангах.

С. 631. *...Испано-Американскую войну назвала раз Московско-Брестской...* – Испано-американская война – война между США и Испанией, в результате которой ряд испанских колоний (Куба, Пуэрто-Рико, Филиппины) оказался под контролем США. Газеты много писали о ее событиях в 1898 г.; приблизительно в это же время разразился большой скандал в связи с финансовыми нарушениями в конторе Московско-Брестской железной дороги (см., например: [*Б.п.*] ⟨*Гольцев В.А.*?⟩ Мысли вслух. Обездоленные пенсионеры // *К.* 1897. 2 дек. (№ 27)).

ДЕЛО ПРОШЛОЕ

(С. 289)

Источники текста:

ЧА – черновой автограф. 8 сентября ⟨18⟩99 г. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: РАЛ. MS. 606 / B.7.i.

БРК – беловая рукописная копия (рукой неуст. лица). ⟨Сентябрь 1899 г.⟩ Хранится: РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 3. Ед. хр. 1. 11 л. (датируется предположительно по *ЧА*).

Публикуется впервые.

Печатается по *БРК*, сверенному с *ЧА*, со следующим исправлением (по *ЧА*):

Стк. 187: что вас так любят? Какой мрачный взгляд! – *вместо*: что вас любят? Какой мрачный вид!

К *ЧА* прилагается "обложка" домашнего архива Андреева – двойной лист бумаги большого формата с напечатанным на машинке названием рассказа и написанным от руки порядковым номером – "36".

БРК представляет собой механическую чистовую копию исправленного *ЧА* и скорее всего предназначалась для отправки в какую-нибудь редакцию. Явные описки переписчика (например, частые перестановки слов) в основном тексте и вариантах не учитываются. По сравнению с *ЧА* в *БРК* отсутствуют эпиграф, подпись Андреева и дата.

Вполне вероятно, что отдельные мотивы рассказа имели автобиографический характер. На это предположение наталкивают совпадения в именах персонажей и реальных лиц из окружения Андреева. Главная героиня первоначально в *ЧА* везде названа Надеждой Александровной – т.е. ее имя и отечество совпадают с именем и отечеством Надежды Александровны Антоновой, близкой подруги Андреева, с которой, несмотря на неудачное сватовство в молодости, он поддерживал отношения многие годы (подробнее о ней см. с. 710 наст. тома.). Однако в окончательном варианте имя Надежда последовательно меняется на Зинаида. Некоторые записи в дневнике 1891 г. позволяют связать его с Зинаидой Николаевной Сибилевой, сложные любовные отношения с которой являются центральной темой андреевской дневниковой рефлексии в 1890–1892 гг. В декабре 1891 г. студент 1-го курса

Петербургского университета Андреев уезжает на Рождество из Петербурга в Орел. В Орле он чувствует себя в значительной степени освобожденным от мучительной психологической зависимости от Сибилевой, оставшейся в Петербурге, и влюбляется в Евгению Николаевну Хлуденеву. Имя и отечество Хлуденевой совпадают с именем и отчеством второй героини рассказа. Орловские впечатления последовательно фиксируются в дневнике Андреева: "И самое главное – во мне опять пробудилась любовь к женщинам, чего в Питере не было. ⟨...⟩ И удивительно: за все время я никогда не хотел другого поцелуя, кроме Зиночкина – а теперь мне хотелось бы поцеловать... ⟨...⟩ А минутами, правда, я становлюсь ребенком. Мне донельзя хочется поцеловать другого ребенка – Женичку. Как она хороша! Как бы желал я хоть на минуту прильнуть губами к ее не ведавшему ничьих поцелуев личику, к ее маленькой ручке. ⟨...⟩ Зиночка, не думай, что я не люблю тебя: я тебя люблю, сильно люблю – но я уже не могу о тебе мечтать!" (*Дн5*. С. 121, 122, 123). Однако реальное развитие отношений с Хлуденевой существенно разнится с фабулой рассказа: Андреев, в отличие от героя "Дела прошлого", так и не смог добиться взаимности от Евгении Николаевны: "Опять тоска, опять скука. ⟨...⟩ И все это могло пройти от одного поцелуя Ж⟨енички⟩. А его не было и, боюсь, не будет" (Там же. С. 130). Знаменателен итог, который подводится этой истории: "Она ⟨Зинаида⟩ не должна знать моего увлечения Ж⟨еничкой⟩ именно потому, что это увлечение не оставило никаких следов в моей душе и нисколько не повлияло на мое отношение к Зинаиде, а вместе с тем, если б З⟨инаида⟩ узнала, она была бы сильно огорчена" (Там же. С. 130). Несмотря на это заявление, Андреев обращался к орловскому эпизоду, характеризуемому в том же дневнике как "мечта о настоящей любви", дважды. Но если в не опубликованном при жизни рассказе Андреев, как видно из вышесказанного, существенно преображает биографические реалии (что наводит на мысль о подсознательном стремлении к некой "компенсации" – причем по отношению сразу к трем женщинам, романы с которыми у него развивались в той или иной степени неудачно, – Антоновой, Сибилевой, Хлуденевой), то в рассказе "Смех" (1901) атмосфера безнадежной влюбленности в Евгению Николаевну передана с драматически откровенной остротой (см. коммент. к рассказу в т. 2 наст. изд.). Дополнительным штрихом, подтверждающим связь мотивов "Дела прошлого" с событиями и общей атмосферой осени и зимы 1891 г., является совпадение фамилии главного героя с фамилией Леонида Петровича Разумовского, петербургского приятеля Андреева и Сибилевой, имя которого неоднократно упоминается в том же дневнике.

С. 292. *В моей душе, душе мужчины, узнавшего женщин с семнадцати лет, столько грязи и пошлости...* – Ср. с замечанием из дневника Андреева-гимназиста: "А среда действовала на меня сильно. Под ее влиянием я с 13 лет узнал женщин, а это в свою очередь привело к тому, от чего нет спасения и лекарства" (запись от 23 июля 1890 г. – *Дн2*. Л. 23).

Шпильгаген Фридрих (1829–1911) – немецкий писатель. Его социально-политические романы, прежде всего "Один в поле не воин" (1866; рус. пер. 1867–1868), были весьма популярны в интеллигентских кругах России во второй половине XIX в. Роман Шпильгагена "Загадочные натуры" ("Problematische Naturen", 1861) упоминается в раннем дневнике Андреева (запись от 18 июля 1890 г. – *Дн*. Л. 66).

ДЕРЖИТЕ ВОРА!

(С. 302)

Источники текста:

ЧА1 – черновой автограф. Фрагмент рассказа без начала и конца. Под заглавием: "Где жизнь?". ⟨Декабрь 1898 г. – январь 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т3*. Л. 5–11 и 77–79.

ЧН – план рассказа. ⟨Середина (после 14) сентября 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т5*. Л. 42 об.

ЧА2 – черновой автограф. "Половина ⟨после 14⟩ сентября" ⟨1899 г.⟩ Хранится: а) начало (главы I–X) – *Т5*. Л. 44–81; б) продолжение (главы XI–XIII) – *Т6*. Л. 2–17.

ЧА3 – черновой автограф. 15–28 октября 1899 г. Хранится: *Т6*. Л. 18–97.

Публикуются впервые.

ОТ печатается по тексту *ЧА3*.

Рассказ "Держите вора!" представляет собой черновую редакцию крупного произведения, по объему и по степени разветвленности фабулы приближающегося к повести. Фабульная основа (угрызения совести благополучного интеллигента – доктора, случайно задержавшего мелкого вора и оскорбленного им) "Держите вора!" совпадает с сюжетом рассказа "Случай" 1901 г. (см. т. 2 наст. изд.). Вместе с тем весьма различающиеся идейно-художественные концепции указанных произведений (в первом герой мучительно переживает неожиданно открывшуюся ему "из-за пустяка" истину о бессмысленности своего существования; герой второго рассказа – лишь на секунду засомневавшийся в разумности своего бытия самодовольный интеллигент-мещанин) и их жанровая ориентация (в первом – на повесть, освещающую значительный период жизни, "судьбу" героя; во втором – на короткую новеллу, высвечивающую мелкий эпизод, "случай") позволяют рассматривать два этих рассказа как самостоятельные (хотя исходно и взаимосвязанные) произведения.

Впервые Андреев попытался реализовать замысел рассказа о благополучном герое-интеллигенте, усомнившемся в разумности своего существования, в наброске "Где жизнь?" (*ЧА1*). Здесь еще отсутствует важный для других редакций эпизод с поимкой вора, герой имеет другую профессию (он не доктор, а адвокат, присяжный поверенный), у него другие житейские обстоятельства (например, он не имеет детей).

Вместе с тем ряд важных мотивов – атмосфера непонимания героя окружающими (прежде всего ограниченной мелкими интересами женой) и картина обезличивающего судопроизводства, нивелирующего личность посредством абстрактных пунктов "Уложения о наказаниях", – войдут в будущий рассказ "Держите вора!".

В *ЧА2* можно выделить характерный позднейший слой правки (синим карандашом), до главы VII накладывающийся на более ранний текст, что свидетельствует о напряженной работе автора над рассказом. Начиная с главы VII этот позднейший (для первых глав) слой становится доминирующим: приятель главного героя, присяжный поверенный Станков, уже регулярно начинает именоваться Посконским (это имя окончательно закрепится за ним в *ЧА3*); а сам герой, доктор Орлов, именуется Станковым. В *ЧА3* фамилия доктора – Танбурзин, но в процессе работы она заменяется на Полозова.

Судя по всему, Андреев не был удовлетворен и последней редакцией рассказа (*ЧА3*). Вместе с тем помимо основной идеи, позже трансформировавшейся в фабулу рассказа "Случай" (1901), отдельные мотивы и образы из разных редакций "Держите вора!" были использованы писателем позднее в нескольких произведениях. В феврале 1900 г. большой эпизод из главы XI *ЧА3*, в котором описывается "неприятный случай" с Анной Линской, был переработан в самостоятельный рассказ "В один вечер" (см. т. 2 наст. изд.). Образ жизни как длинного коридора из *ЧА1* будет использован в "Рассказе о Сергее Петровиче" (гл. 2; см. т. 2 наст. изд.). Сюжетным зерном для того же рассказа, возможно, явится фигура нескладного и жалкого студента-"психопата", проповедника учения Ницше о "сильных и жестоких", который "потом ⟨....⟩ застрелился или утопился" (из гл. IX *ЧА3*). Возникающий в главе XII *ЧА3* образ стены, "отделяющей от будущего", о которой сказано, что "быть может, за нею ничего и нет, а люди все бьются и бьются головами и красят ее своею кровью, честнейшею и лучшею кровью!", в какой-то мере предвосхищает главный мотив рассказа "Стена" (1901).

С. 302. *...звонко чекали...* – Чекать – постукивать, стучать (Даль).

С. 307. *Сбондить* – украсть (*разг.*).

С. 318. *Возьми "Уложение" или Фойницкого.* – "Уложение" – имеется в виду "Уложение о наказаниях уголовных и исправительных" 1845–1885 гг., кодифицирующее уголовное право дореволюционной России. Фойницкий Иван Яковлевич (1847–1913) – выдающийся русский юрист. Скорее всего имеется в виду его книга "Курс уголовного права. Часть особенная. Посягательство на личность и имущество" (СПб., 1890; 2-е изд. 1892).

С. 328. – *Много денег и много известности, что-нибудь такое захарьинское.* – Речь идет о выдающемся терапевте Григории Петровиче Захарьине (1829–1897), создателе целой медицинской школы. Молва о его колоссальном состоянии связана, видимо, с тем, что значительная его часть, согласно завещанию, была передана на благотворительные цели.

С. 329. ... *по поводу Дрейфуса...* – см. о нем с. 757 наст. тома.

С. 328. *Как епископ Гаттон, спасающий(ся) от мышей в башне...* – Гаттон, архиепископ Майнцский (850–913), отличался вероломством и жестокостью. Согласно легенде, во время голода, чтобы сохранить хлеб для богатых, приказал запереть множество бедняков в амбар и сжечь их заживо. За это злодеяние был наказан: съеден полчищами мышей, от которых безуспешно пытался скрыться в недоступной башне на берегу Рейна. Сюжет легенды стал популярен благодаря поэме Роберта Саути "Епископ Гаттон" (1799).

С. 340. *Аннибалова клятва* – клятва, данная еще в детстве будущим великим карфагенским полководцем Ганнибалом (247/246–183 гг. до н.э.), вечно бороться с Римом, который был главной угрозой для Карфагена. Верность Ганнибала, отдавшего все свои силы и в конце концов жизнь этой борьбе, сделала его имя нарицательным.

Хотя бы тот же Иудушка... – Имеется в виду герой романа М.Е. Салтыкова-Щедрина "Господа Головлевы" (1875–1880), Порфирий (Иудушка) Головлев, коварный и сребролюбивый ханжа.

...Соней, этим типичным порождением улицы? – Имеется в виду Сонечка Мармеладова, героиня романа Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание" (1866).

С. 345. *"Томит меня, томит, как цепи, как тюрьма, бессмысленная жизнь без цели и призванья!" – помните вы этот чудный стих безвременно угасшего Надсона?* – Цитата из стихотворения "Мне кажется, что я схожу с ума..." (1885) С.Я. Надсона (1862–1887), умершего в 24 года от чахотки.

"Вот она, роковая задача! Кто над ней не томился, тоскуя и плача, чья от дум не ломилась над ней голова!" – Неточная цитата из четверостишия С.Я. Надсона "Надо жить! Вот они, роковые слова!.." (1885). У Надсона: "Чья над ней не ломилась от дум голова?"

С. 346. *..."были хуже времена, но не было подлее!"* – Цитата из поэмы Н.А.Некрасова "Современники" (1875–1876). У Некрасова: "Бывали хуже времена, но не было подлей!"

С. 348. *Особенно огорчал их Михайловский...* – Речь идет о противостоянии утверждающегося в России в конце XIX в. марксизма и народничества, главным идеологом которого в то время был социолог и публицист Н.К. Михайловский (1842–1904).

С. 355. *...докторам Гаазам...* – Имеется в виду Федор Петрович Гааз (1780–1853), врач и филантроп, автор афоризма "Спешите делать добро!". Его имя сделалось символом беззаветного служения людям в начале 1890-х годов благодаря ряду лекций и публикаций А.Ф. Кони.

С. 359. *...точно щедринский баран, который увидел во сне вольного барана, но настоящим манером сообразить не мог и ноет.* – Имеется в виду сказка М.Е. Салтыкова-Щедрина "Баран-непомнящий" (1885).

С. 360. *...ну скажи, щука, а что такое добродетель.* – См. с. 716 наст. тома.

С. 363. *Пришлось год ходить к одному в качестве невесты.* – Имеется в виду распространенная среди революционной молодежи тех лет практика посещения политических заключенных под видом лиц, с которыми были разрешены свидания (например, невест), для моральной поддержки и т.п.

Посередине реки ~ я помогу! – Сценка с забавным мальчуганом позже воспроизведена в одном из фельетонов Андреева из цикла "Москва. Мелочи жизни" (*К.* 1901. 7 янв. (№ 7); под названием "Мой герой" опубликован также: *ПССМ.* Т. 6. С. 211–219).

ЧАI

С. 643. *...дело, по которому Лысенко подавал жалобу в Сенат, кассировано.* – Т.е. приговор по этому делу был отменен Сенатом, который был в то время высшей судебной инстанцией.

...отправился в помещение Совета. – Комната в суде, где располагались адвокаты; под Советом в данном случае подразумевается Совет присяжных поверенных (коллегия адвокатов).

...апелляционный срок... – Имеется в виду установленный законом срок, в течение которого можно подавать апелляцию (обжалование решения суда).

С. 644. *"Новое время"* – влиятельная консервативная газета (СПб., 1868–1917, гл. ред. А.С. Суворин). Будучи фельетонистом "Курьера", Андреев часто с ней полемизировал.

Рошфор Анри, маркиз (1831–1913) – французский публицист и политический деятель. В 1860-е годы один из лидеров оппозиции режиму Второй империи, издатель сатирического еженедельника "Фонарь". После падения Второй империи и поражения Парижской коммуны был сослан версальцами в 1873 г. в Новую Каледонию. Бежал в Лондон. В 1880 г. вернулся во Францию после амнистии с переменившимися взглядами, превратившись в ярого шовиниста.

С. 647. *Был в землячестве; раз даже на год был выслан из Москвы.* – Землячество – неофициальное объединение студентов, образовываемое в столичных университетах выходцами из определенной губернии и занимавшееся сбором материальной помощи для неимущих собратьев-земляков, самообучением и т.п. Землячества были на подозрении у университетского начальства, так как нередко становились центрами организации разного рода протестов, основой революционных кружков и т.п. Так, при переводе из Петербургского в Московский университет Андреев подписал обязательство "не принимать участия ни в каких сообществах, как, например, в землячествах и тому подобных", нарушение которого влекло за собой "удаление из университета" (*Фатов.* С. 82). Вместе с тем Андреев упоминает в дневнике о своем участии в землячестве на последнем курсе Московского университета (1896–1897) (см., например: *Дн9.* С. 10 об.). Фраза о высылке

(обычной административной мере, применяемой к политически неблагонадежным) могла быть навеяна реальной высылкой из Москвы в 1897–1899 гг. Павла Велигорского, брата А.М. Велигорской (см.: *ЛН72*. С. 493).

ЧН

С. 648. *Плевако* Федор Никифорович (1842–1908/1909) – выдающийся русский юрист, известный адвокат.

ЧА2

С. 657. *...спи спокойно под тенью свежего вишневого листка...* – Возможно, иронический парафраз стихотворения М.Ю. Лермонтова "Когда волнуется желтеющая нива..." (1837): "И прячется в саду малиновая слива / Под тенью сладостной зеленого листка...".

С. 675. *...пошенапужничал...* – Шенапужничать – бездельничать, повесничать (от "chenapan" – бездельник, повеса, шалопай (*франц.*)).

С. 677. *Где-то он читал – у Свифта, кажется, – совет ирландцам отдавать детей на убой.* – Речь идет о памфлете Джонатана Свифта "Скромное предложение" (1729).

ТОРЖЕСТВО ФИТЮЛЬКИ

(С. 368)

Источники текста:

ЧА – черновой автограф начала рассказа. Под заглавием: "Торжество Мигая". ⟨Первая половина сентября 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т5*. Л. 19–26.

ЧН – черновой набросок-план. Под заглавием: "Фитюлька". ⟨Вторая половина сентября 1899 г. (датируется по тетради)⟩ Хранится: *Т5*. Л. 43 об.

БАП – беловой автограф с правкой. ⟨Конец 1899 г.⟩. Подпись: Леонид Андреев. Хранится: РАЛ. MS.606 / B. 32.

Впервые: *МиИ2000*. С. 6–31. Подготовка текста и послесловие Р.Д. Дэвиса и М.В. Козьменко.

Печатается по тексту *БАП*.

В первой половине сентября 1899 г. Андреев пишет первый вариант начала рассказа (*ЧА*). Здесь герой – орловский пьяница-пожарник. Во второй половине сентября того же года Андреев возвращается к рассказу и набрасывает план, озаглавленный "Фитюлька" (*ЧН*). В нем пунктиром прочерчены все основные сюжетные линии будущего рассказа, герою дано другое имя и другая профессия – маляр. Видимо, в конце 1899 г., в основном следуя этому плану, Андреев завершает работу над рассказом "Торжество Фитюльки". О "беловом" характере рукописи

свидетельствует формат бумаги (большие отдельные листы) и наличие подписи. *БАП* датируется предположительно по сопоставлению с *ЧА* и *ЧН* и по почерку.

Автобиографизм рассказа ощутим и в "пушкарном" колорите образа Фитюльки, и в атмосфере неминуемой финансовой катастрофы в доме Хвостова (в первоначальном наброске прямо упоминается "артезианский колодец" городского банка, заставляющий вспомнить историю разорения отца самого Андреева во время банковского кризиса второй половины 1870-х годов), и наконец в ряде собственно орловских топографических реалий.

23 марта 1900 г. Андреев в письме В.С. Миролюбову, редактору "Журнала для всех", раздумывает, какой из двух готовых рассказов ему посылать в журнал – "историю одного пьянчужки" или "Валю": "Я уже давно послал бы его (т.е. первый из рассказов. – *Сост.*), но не знаю, окажется ли он подходящим по сюжету ⟨...⟩, и я колеблюсь между ним и другим, также готовым, рассказом на тему из детской жизни" (*ЛА5*. С. 74). Комментатор данного письма предполагает, что под "историей одного пьянчужки" Андреев подразумевает рассказ "Гостинец". Однако "Гостинец" был напечатан только через год (*К*. 1901. 1 апр. (№ 90)), и хотя рукописей этого рассказа не сохранилось, можно со значительной долей уверенности предположить, что он был написан позже начала 1900 г. С большей степенью вероятности можно утверждать, что в письме Миролюбову Андреев пишет о законченном в конце 1899 г. "Торжестве Фитюльки" (отметим, что слово "пьянчужка" фигурирует в самом рассказе).

С. 375. *...Василием Чуркиным – фамилией, украшавшей известного разбойника...* – "Разбойник Чуркин" (1882–1885) – популярный среди простонародья лубочный роман Н.И. Пастухова о "благородном" разбойнике.

С. 376. *Понсон дю Террайль* Пьер Алексис (1829–1871) – французский писатель, автор множества приключенческих романов, прежде всего о Рокамболе.

ЧА

С. 687. *...два черных зловещих шара...* – По тревоге на пожарной каланче вывешивались большие шары, количество которых характеризовало степень опасности пожара (для извещения горожан и других пожарных частей о необходимости помощи).

НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ

⟨ДИАЛОГИ, ТЕМЫ, ФРАГМЕНТЫ. ОСЕНЬ 1891 г.⟩

(С. 399)

Источник текста – рукописный автограф. Хранится: РАЛ. MS.606/ A.1. Л. 10–14.

Публикуется впервые.

Текст является одним из первых дошедших до нас сводов записей творческого характера. Примечательно, что они сделаны в тетради для конспектов среди адресов, бытовых заметок и конспектов лекций во время первого семестра обучения Андреева в университете и, таким образом, могут быть датированы осенью 1891 г.

Первые десять записей, а также две последние скорее всего представляют собой список задуманных сочинений (см. комментарий ниже). Среди автографов позднейшего времени сохранилось несколько перечней подобного рода (см., например: РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 5. Ед. хр. 1. Л. 171 об., 172 об., 173 об., 174–175, 177 об., 178. Опубл.: *Иезуитова 1995*).

Вторая половина автографа – это анекдотические зарисовки и шутки, характерные для писем и юмористических произведений Андреева того времени (ср. с шуточным стихотворением "Винтидиада" и "Сценкой в Великом посту"; см. т. 12 наст. изд.).

С. 399. *Юридическая шпага.* – Возможно, речь идет о замысле, в котором обыгрывалась бы шпага как элемент парадной формы студента-юриста конца XIX в. Шпага как атрибут, отличающий особый тип студентов ("белоподкладочников"), фигурирует в наброске 1899 г. "А ты, брат, вовсе не такая скотина..." (см. с. 795 наст. тома).

С. 401. *Князь* – здесь: татарин-старьевщик (*разг.*).

Конец века. Демон и Мефистофель. – Образ Мефистофеля появляется в сохранившемся фрагменте из рассказа 1896 г. "Скриптор", с которым, возможно, связана эта запись (см. с. 404 наст. тома).

⟨ОН ДОЛГО СМОТРЕЛ НА НАС...⟩

(С. 402)

Источник текста – рукописный автограф. ⟨Август–сентябрь 1892 г.⟩ Хранится: ИРЛИ. Ф. 9. Оп. 1. Ед. хр. 16. Л. 54–54об.

Публикуется впервые.

Текст располагается среди фрагментов, относящихся к первоначальной редакции рассказа "Загадка", и так же, как они, датируется на основании местонахождения его на последних страницах общей тетради, содержащей дневник Андреева за март–сентябрь 1892 г. (см. с. 712 наст. тома).

Набросок представляет собой самостоятельный сюжет – повествование о странной дружбе между нищим и литератором, который пишет "большую книгу обо всех бедных и обездоленных" и верит, что книга действительно поможет его сирым братьям. К основной идее наброска Андреев возвращается в рассказе "Книга" (опубликован в 1903 г., см. т. 2 наст. изд.), где фигурирует сочинение под схожим названием "В защиту обездоленных", которая также "не помогла" тем, во благо которых она была создана.

⟨СКРИПТОР⟩

(С. 403)

Источник текста – рукописный автограф. ⟨Начало 1896 г.⟩ Хранится: РАЛ. MS.606/B.23.

Публикуется впервые.

Сохранившийся фрагмент рассказа написан на вырванном из тетради листе. Текст представляет собой либо конец рассказа, либо конец одного из его эпизодов.

Рассказ упоминается трижды в письмах Андреева. 12 марта 1896 г. Андреев предложил рассказ редактору журнала "Северный вестник" Л.Я. Гуревич (письмо опубликовано С.С. Гречишкиным в "Ежегоднике Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1976 год". Л., 1978. С. 13). 25 января и 6 февраля 1897 г. Андреев справляется у своего орловского друга и родственника Н.Д. Панова о судьбе рассказа в редакции газеты "Орловский вестник" (*Фатов.* С. 123–124). Рассказ был отвергнут обеими редакциями и так и остался ненапечатанным.

Датируется предположительно по письму Андреева к Л.Я. Гуревич. Сюжет рассказа, возможно, связан с несохранившимся рассказом "Обнаженная душа" (см. с. 698 наст. тома), а также с темой "Конец века. Демон и Мефистофель", зафиксированной осенью 1891 г. (см. с. 401 наст. тома).

⟨ФРАГМЕНТЫ 1898 г.⟩

(С. 405)

Источник текста – черновой автограф. ⟨1898 г., до 15 нояб. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т1*. Л. 22, 25–26.

Публикуется впервые.

Кай – символическое значение у этого имени появилось после выхода повести Л.Н. Толстого "Смерть Ивана Ильича" (1886): "Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветтера: Кай человек, люди смертны, потому Кай смертен, – казался ему всю жизнь правильным по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай – чело-

век, вообще человек, и это было совершенно справедливо ⟨...⟩ И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но не мне ⟨...⟩" (*Толстой Л.Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. Юб. изд. М., 1936. Т. 26. С. 92–93). Видимо, с этим эпизодом из повести Толстого связаны фразы об оживлении "раскопанного" Кая "одним досужим немцем" и о службе его "директором гимназии".

РОЗОЧКА

(С. 406)

Источник текста – рукописный автограф. ⟨Октябрь 1898 г.⟩ Хранится: РАЛ. MS.606/B.20.

Публикуется впервые.

Датируется предположительно по почерку и бумаге.

Текст незаконченного рассказа содержит два слоя правки. Поздний слой исправлений, как правило, отражается в словах, вписанных над строкой. Помимо чисто стилистической правки, в тексте явственно ощутимы следы решения Андреева скрыть автобиографическую основу рассказа посредством замены имени своей подруги Зинаиды Сибилевой (которая является безусловным прототипом героини) на другое имя: Мария Александровна (Марочка). Замена эта произведена непоследовательно, с пропусками, что породило разнобой в именовании героини.

События, описанные в рассказе, могут быть отнесены к весне 1892 г., т.е. времени, когда Андреев был студентом первого курса юридического факультета Петербургского университета. Поскольку события разворачиваются накануне Пасхи, то их можно датировать более точно: Пасха в этот год была 5 апреля.

Настроение рассказа поразительным образом отличается от мрачной тональности пасхальной записи в дневнике Андреева 1892 г., которая, однако, устанавливает ряд психологических и бытовых реалий, связанных с наброском "Розочка": "Хочу рассказать о моей жизни в Петербурге после Рождества. Приехал я сюда битком набитый мрачными мыслями и намерениями. Денег, а с ними и надежд на будущее не было никаких. Пьяная безобразная жизнь в Орле отразилась на душевном состоянии. Раскаяние, упреки совести, а с другой стороны, мнимая или действительная невозможность изменить свое поведение, остановиться на наклонной плоскости – делали положение безвыходным. Выход один – самоубийство. Здесь в Петербурге начались неприятности с З⟨инаидой⟩ – и я в конце концов в субботу на масляной совершил попытку на самоубийство. ⟨...⟩ Потом был несколько дней в больнице, а потом – потом началась та мерзостная жизнь, которая тянется по днесь. Вся она вращается вокруг З⟨инаиды⟩ и отравляется ею. Полная духовная зависимость от нее. Мое настроение духа зависит от Зинаиды, и зависит именно так: она может в одну минуту изменить хорошее настроение на

убийственно дурное, но не в силах, да и не в желании, конечно, дурное хоть когда-нибудь изменить на хорошее. ⟨...⟩ Зато после попытки улучшилось мое денежное положение. ⟨...⟩ За два месяца круглым счетом получено мной 130 р. – 65 из дому, 40 из У⟨ниверсите⟩та, 30 заработано. За уплатой в У⟨ниверситет⟩ 43-х р. остается 87, которые я прожил в полтора, собственно, месяца, ничего не купивши, кроме шинели за 15 р. Да, забыл прибавить еще 13 р., которые я получил, заложивши пальто" (*Дн6*. С. 257, 258).

С. 407. *Когда мы только что приехали в Петербург, восемь месяцев тому назад...* – На самом деле З.Н. Сибилева окончила гимназию на год раньше Андреева и уже училась в Петербурге на курсах, когда он в августе 1891 г. был принят на юридический факультет университета.

С. 407, 411. *...жили мы на Васильевском острове, у Николаевского моста...; ...при пансионе "на правах женской гимназии" ⟨...⟩ Пансион содержала ее подруга...* – Имеется в виду пансион подруги Сибилевой, В.И. Гедройц (о ней см. с. 771 наст. тома), который находился по адресу: 6-я линия Васильевского острова, д. 25/1. Гедройц выступает далее в рассказе под именем Любови Николаевны.

С. 409. *...торгуется, как старая гаваньская чиновница на вербах...* – Имеется в виду жительница петербургского района, в просторечии именуемого Гавань, который населяли в основном мелкие чиновники и другой разночинный люд. Вербы – здесь: традиционный базар на Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим; празднуется за неделю до Пасхи).

С. 412. *Горошкин ⟨...⟩ был студент-естественник...* – Возможно, прототипом Горошкина является приятель Андреева и Сибилевой, студент физико-математического факультета Дмитрий Петрович Невстроев: "Дмит⟨рий⟩ Петрович, очень симпатичный, мягкотелый, добродушный и, как все математики, не видящий дальше своего носа субъект, старается выказать мне расположение, но в душе, кажется, дурного обо мне мнения. (Этот Дмитр⟨ий⟩ Петр⟨ович⟩ бывший обожатель и друг Зин⟨аиды⟩, которому она говорила обо мне все, нынче увлекается Коссовой, той рыбовидной девицей, о которой я как-то говорил. В его любви, как и в фигуре, много комического)" (*Дн5*. С. 96).

С. 413. *...Лесгафт* Петр Францевич (1837–1909) – русский анатом и педагог, автор ряда работ по анатомии, антропологии и вопросам физического воспитания детей. На "Высших курсах П.Ф. Лесгафта" училась Гедройц, от которой Андреев мог почерпнуть сведения о его работах.

⟨СЛУЧИЛОСЬ ВСЕ ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО⟩

(С. 418)

Источник текста – черновой автограф. ⟨1898. До 8 нояб. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т2*. Л. 19–24.

Публикуется впервые.

Набросок начала рассказа является самым ранним подходом к сюжету рассказа "Мысль" (1902) – герой наброска признается в интеллектуальном, спланированном убийстве (правда, из-за незавершенности отрывка неясно, кого он убил: отвергшую его женщину, ее мужа или их обоих). По своей стилевой манере фрагмент близок к дневнику Андреева этих лет. Можно отметить также, что в нем отражаются (в преобразованном виде) собственные переживания автора по поводу любовных неудач с Н.А. Антоновой и А.М. Велигорской. Так, в дневниковой записи от 19 апреля 1898 г., подводя итоги своей любви и ревности к Антоновой, он отмечает: "Результатом всех этих размышлений у меня явилась мысль, уже однажды подробно разобранная и мотивированная в этом дневнике, именно: если бы в мире все шло так, как оно должно идти, я должен был бы убить Н⟨адежду⟩ А⟨лександровну⟩. К сожалению, потребность убить ее, временами жгучая и настоятельная, едва ли когда-нибудь будет приведена в исполнение при некоторых свойствах моего характера. Я сейчас затрудняюсь проследить процесс мысли, приведший меня к мысли о закономерности убийства" (*Дн9*. Л. 118–118об.). 23 сентября того же года, анализируя нарастание своего чувства к Велигорской, Андреев записывает: "Нужно ко всему этому прибавить еще то, что я ревную А⟨лександру⟩ М⟨ихайловну⟩ так, как это может быть при такой любви, и имею основания для ревности. ⟨...⟩ Понемножку я начинаю понимать и такие, ранее мне непонятные вещи, как ненависть к сопернику, жажда его смерти. Раньше мне всегда хотелось только ее убить – а теперь и ее, и его, и себя. Какое на самом деле наслаждение найти их в объятьях друг друга и убить обоих. Искромсать ножом это тело... ⟨...⟩ Я уверен, что все убийцы из ревности любили тело, как я. Однако мне даже жутко стало. Убийство рисуется так реально, что я почти чувствую руки свои в крови. И не горе, не отчаяние на душе – а чувство наслаждения" (Там же. Л. 137об.–138). Отчаяние Андреева связано с мучительным ожиданием письма от Велигорской; в последующие дни в дневнике появляются записи о желании купить револьвер и убить ее и себя. Одновременно, 30 сентября, он получает письмо от Антоновой – отказ на его очередное предложение руки. Андреев впадает в депрессию и начинает сильно пить. Вся осень 1898 г. (предполагаемое время написания отрывка) прошла под знаком этого двойного любовного кризиса.

С. 420. *...два преступления совершил: одно, когда украл 15 рублей...* – См. развитие этого эпизода в рассказе "Мысль" (1902): "Когда-то, еще будучи студентом пятого семестра, я украл 15 руб. из доверенных мне товарищеских денег, сказал, что кассир ошибся в счете, и все мне поверили. Это было больше чем простая кража, когда нуждающийся крадет у богатого: тут и нарушенное доверие, и отнятие денег именно у голодного, да еще товарища, да еще студента, и при том человеком со средствами (почему мне и поверили)" (*ПССМ*. Т. 2. С. 103–104).

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

(С. 423)

Источник текста – рукописный автограф. ⟨Конец (после 20) ноября – начало (до 7) декабря 1898 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т3*. Л. 1–4.

Впервые – Литературная газета. 1971. 18 авг. (№ 34). С. 7. Публ. В.Н. Чувакова.

Печатается по автографу.

"Первое впечатление" – начало незавершенного рассказа, имеющего автобиографический характер: в нем отражен первоначальный этап работы Андреева (в рассказе – Льва Степановича Сабурского) в московской газете "Курьер", первые успехи на поприще беллетриста, а также некоторые более интимные переживания автора. В этот период в жизни молодого литератора совпали два радостных события, которые он пытался передать в редкой для его произведений радушной тональности, окрашивающей этот фрагмент. Первое – это публикация 8 ноября 1898 г. в "Курьере" рассказа "Защита", который после дебютного "Баргамота и Гараськи" был признан окружающими новой беллетристической удачей Андреева (подробнее см. с. 725 наст. тома). Второе событие – внезапно возникшее теплое отношение к нему со стороны Н.А. Антоновой, которое, правда, длилось непродолжительный и четко зафиксированный в дневнике период – с 19 ноября по 10 декабря. Так, 20 ноября Андреев в нем записывает: "Вчера, сегодня – я пьян духом. Сегодня, сам не знаю для чего, я пил водку. Радость, счастье. Всколыхнулось до сих пор дремавшее море любви. ⟨...⟩

Ее лицо, тысячи раз напрасно воображаемое, я видел возле себя; ее руки, тысячу раз ласкаемые, я держал в своих руках; ее талию я обнимал; близко склонялась она ко мне, но... Встрепенулась разом.

Да, вчера это была любовь, та любовь, которую я описываю.

Сегодня я – полусумасшедший. Сегодня я писал для печати некролог – боюсь, он выйдет вроде трепака" (*Дн9*. Л. 153об.–154).

Однако весьма скоро наступило резкое охлаждение со стороны Антоновой, чрезвычайно болезненно воспринятое Андреевым: «Коротко и ясно. На целых три недели Н⟨адежда⟩ А⟨лександровна⟩ погрузила меня в океан счастья, неожиданного и тем более глубокого. (Я говорю про время с 19 по 10). Я был страшен самому себе. Я боялся думать о своем "счастье", чтобы оно не развалилось, как карточный домик; оно светлым комочком сжалось у меня на дне души и светило, – как светило! 10-го дек⟨абря⟩ Н⟨адежда⟩ А⟨лександровна⟩ была не только той, какой она всегда бывала раньше, до 19-го – но в тысячу раз хуже. Не останавливаясь даже перед невежливостью, она демонстративно избегала меня и усиленно ласкова была с другими» (Там же. Л. 154об.–155). Судя по всему, именно такое изменение жизненных реалий сделало невозможным продолжение работы над этим сюжетом.

С. 424. *...к добру и злу была постыдно равнодушна...* – Измененная цитата из стихотворения М.Ю. Лермонтова "Дума" (1839). У Лермонтова: "К добру и злу постыдно равнодушны...".

С. 425. *...он встретит Евгению Николаевну ~ проклятое нет...* – Имя-отчество дамы сердца героя рассказа совпадают с именем-отчеством Евгении Николаевны Хлуденевой (характерный для произведений этого периода случай использования имени одной возлюбленной взамен имени другой; подробнее о Хлуденевой см. с. 776 наст. тома).

⟨У АЛЕКСАНДРЫ СЕРГЕЕВНЫ ПОТАНИНОЙ...⟩

(С. 426)

Источник текста – рукописный автограф. ⟨Около 8 дек. 1898 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т3*. Л. 40.

Публикуется впервые.

В данном наброске, возможно, явлены первые поиски Андреевым темы, реализованной позже в рассказе "В темную даль" (1900).

...ушел бы в народ с чемоданом, забитым запрещенными брошюрками... – Имеется в виду начавшееся в 1873 г. и достигшее наибольшего размаха весной и летом 1874 г. массовое движение демократической и революционной молодежи в деревню в целях изучения жизни народа, пропаганды социалистических идей и организации крестьянских восстаний против самодержавной власти. "Хождение в народ" охватило 37 губерний Европейской России и было подавлено властями.

ПОСЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ

(С. 427)

Источники текста:

ЧН1 – черновой набросок. ⟨Декабрь (после 8) 1898 г. – январь (до 10) 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т3*. Л. 41–43.

ЧН2 – черновой набросок. ⟨Декабрь (после 8) 1898 г. – январь (до 10) 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т3*. Л. 44–49.

Публикуются впервые.

Два наброска начала рассказа имеют автобиографический характер и связаны с первоначальным этапом жизни Андреева-студента в Москве, в известных меблированных комнатах Фальц-Фейна, располагавшихся на Тверской улице. В октябре 1893 г. Андреев, исключенный за невзнос платы из Петербургского университета, перевелся на юридический факультет Московского университета. Правление Московского

университета 14 октября 1893 г. постановило принять его на второй курс (см.: *Фатов*. С. 81). Так как Андреев в набросках отмечает, что сам он в изображаемое время государственных экзаменов не сдавал (он учился только на втором курсе), то описываемые события должны быть отнесены к концу декабря 1893 – маю 1894 г.

Реальность событий и лиц, описанных в набросках, подтверждается в воспоминаниях студенческого товарища писателя, Михаила Ольгина: «Жили, помню, у Фальц-Фейна и студенты-сербы Вук Дюрашкович и Янко Яковлевич, готовившиеся по окончании университета занять у себя на родине видные должности, но в Москве "сбившиеся" с пути, указанного им их правительством, на стипендии от которого существовали они, Вук и Янко примкнули к нашей бесшабашной ватаге студенческой. Были они задушевные, веселые ребята, были замечательные музыканты на родном своем, смахивавшем на цитру, но более нежном инструменте, были они и не менее замечательные и голосистые певцы (тенора) своих народных песен, в особенности когда бывали "под мухой". Леонид любил слушать их нежно-ласковую игру и народные их песни ⟨...⟩ когда приступали к рюмочке, то перво-наперво затягивали "Из страны, страны далекой, с Волги-матушки широкой"... В то же время коридорному Ивану Васильевичу, истинно любившему нас – студентов, заказывались бесконечные самовары ⟨...⟩ Были "номера", которые запевали всегда одни и те же студенты. Например, я (бас) запевал "Дубинушку" ⟨...⟩, "Укажи мне такую обитель..." и "Есть в столице Москве один шумный квартал"; П-в Валериан (тенор) запевал "Жила-была Дуня, Дуня, Дуня тонко пряла..." ⟨...⟩, Глуховцов "Пал" Степаныч (бас) запевал "Ой, у лузи, той при берези..." ⟨...⟩» (Воспоминания Михаила О-на (Ольгина) о Леониде Андрееве / Подг. текста и коммент. Л.В. Ивановой // Леонид Андреев: Материалы и исследования. М., 2000. С. 155, 156).

Реалии и лица, описанные в набросках "После государственных экзаменов", были перенесены в рассказ "Иностранец" (1902). При этом упоминаемые в набросках студенты, черногорец Вук и серб Райко, превратились в серба Райко Вукича. В Ваньке Костюрине из рассказа можно узнать студента-русофила Мишку Тольчина (их общим прототипом был автор цитируемых выше воспоминаний М.Ф. Ольгин).

⟨ПАТРОН ПОМОЩНИКА ПРИСЯЖНОГО ПОВЕРЕННОГО...⟩

(С. 433)

Источник текста – рукописный автограф. ⟨Между 10 и 28 января 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т3*. Л. 64–65.

Публикуется впервые.

Возможно, что в наброске отражены некоторые реалии биографии самого Андреева, относящиеся к 1897 г. 3 октября 1897 г. (упоминаемым в отрывке) датирован диплом второй степени об окончании им юридического факультета Московского университета (на руки Андрее-

ву выдан 23 января 1898 г.) (см.: *Фатов.* С. 303–304). 10 октября 1897 г. Андреев официально утвержден помощником присяжного поверенного у московского адвоката Якова Вильгельмовича Ливенсона (см.: Адреса присяжных поверенных Московского судебного округа и их помощников. 15 нояб. 1912 г. М., 1913. С. 107).

⟨ПЛАНЫ РАССКАЗОВ. ИЮЛЬ 1899 г.⟩

(С. 435)

Источник текста – черновой автограф. ⟨1899. Между 7 и 26 июля (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т4*. Л. 55 об.

Публикуется впервые.

Фрагмент представляет собой планы будущих, но неосуществленных рассказов.

...отчепись... – Отчепиться – отцепиться, отстать (*курс., тул.*) (*СРНГ*. Вып. 24. С. 363).

...из шинка... – Шинок – кабак, иногда подпольный (*диал., южн.*).

⟨АНТОН ИЛЬИЧ БЫЛ ЧЕЛОВЕК МНИТЕЛЬНЫЙ...⟩

(С. 436)

Источник текста – черновой автограф. ⟨Около 16 авг. 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т4*. Л. 105.

Публикуется впервые.

ИЗ ЗАПИСОК АЛКОГОЛИКА ⟨1899⟩

(С. 437)

Источники текста:

ЧА1 – черновой автограф фрагмента рассказа. ⟨1898. До 15 нояб. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т1*. Л. 4–5.

ЧА2 – черновой автограф начала рассказа. ⟨Вторая половина (после 16) августа 1899 (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т4*. Л. 106–108об.

ЧН – черновой набросок-план. ⟨Вторая половина (после 16) августа 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т4*. Л. 109–109об.

Публикуются впервые.

Самый первый набросок к рассказу (*ЧА1*) относится к 1898 г. (судя по римской цифре "II", следующей за заголовком, он является продолжением какого-то утраченного фрагмента). К развитию этого сюжета Андреев возвращается в августе 1899 г.

В данном замысле писатель пытается отобразить актуальнейшую для него самого в это время проблему – тяги к водке (косвенным подтверждением тому является исповедальная, дневниковая форма *ЧА1* и *ЧН*). По воспоминаниям близких и знакомых и по его собственным дневникам, студенческие годы Андреева были самым серьезным образом омрачены этим недугом, провоцировавшим его на различного рода эксцессы, связанные с психологическими срывами, попытками самоубийства и т.п.

Автобиографическими реалиями, лежащими в основе сюжета, судя по *ЧА2*, послужили события лета 1896 г. В это время Андреев жил в Царицыне, где он давал уроки и где сблизился с семейством Велигорских. 15 октября 1896 г. он пишет С.Н. и Н.Д. Пановым, сообщая о своих делах: "Далее я имею урок у одного Израильтянина. Есть основание полагать, что именно об его голову Моисей разбил скрижали; потрясение было настолько сильно, что он до сих пор не может оправиться" (*Фатов*. С. 114). Речь идет о прототипе Абраши, с которым осенью Андреев продолжал вести летний урок, о чем он упоминает в своем письме ниже: "Летом был на уроке в Царицыно и жил у Вельегорских, чудеснейших людей, у которых я теперь так же хорошо себя чувствую, как в Орле у вас" (Там же). Уроки с Абрашей, который в дневнике характеризуется как "воплощение лени, бесстыдства и тупости", продолжались вплоть до сдачи Андреевым государственных экзаменов и закончились 12 мая 1897 г. (*Дн9*. Л. 47об.–48).

В конце 1899 – начале 1900 г. Андреев возвращается к этой теме. Под тем же заголовком ("Из записок алкоголика") он начинает писать рассказ, герой которого (начинающий юрист) также наделен автобиографическими чертами. Но и этот замысел остался скорее всего незавершенным (см. т. 2 наст. изд.).

ЧН

С. 441. *Встретил Д. Зовет вечером к себе.* – Вероятно, имеется в виду Филипп Александрович Добров (1869–1941) – муж Елизаветы Михайловны, сестры Александры Михайловны Велигорской, часто упоминаемый в дневниках Андреева того времени. Подробнее о нем см.: *Митрофанов В.П.* Леонид Андреев и семья Добровых // Андреевский сборник: Исследования и материалы. Курск, 1975. С. 255–263.

⟨– А ТЫ, БРАТ, ВОВСЕ НЕ ТАКАЯ СКОТИНА...⟩

(С. 443)

Источник текста – черновой автограф. ⟨Конец августа – первая половина сентября 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т5*. Л. 10–18.

Публикуется впервые.

Набросок (начало рассказа) на первый взгляд представляет собой развитие "студенческой темы", ранее представленной неопубликованным рассказом "На избитую тему" (1897), а в этот период – двумя незаконченными фрагментами "После государственных экзаменов" (в ближайшем будущем – в 1900 г. – она будет явлена в также не опубликованном рассказе "Старый студент" (см. т. 2 наст. изд.), сюжет которого в позднейшее время будет использован в пьесе "Gaudeamus" (1910)). Но в отличие от вышеперечисленных рассказов и эскизов, имеющих отчетливо выраженный сюжет, мелодраматический или комический, данный отрывок можно рассматривать как попытку изложить (устами одного из действующих лиц, студента Афонского) основы некоей парадоксальной этической системы. Эта проповедь, возможно, оказывается одним из последних отголосков философского сочинения "Проклятые вопросы", задуманного Андреевым еще в седьмом классе гимназии. Набросок к "Проклятым вопросам" содержится в дневнике 1890 г. в записи от 18 марта (*Дн1*. Л. 8–11).

Так, сходство с рассуждениями студента Афонского можно усмотреть в дневниковых записях, констатирующих условность существующих этических норм и искусственность теории прогресса, из чего Андреевым-гимназистом сделаны самые пессимистические выводы: "Главная мысль здесь та, что можно жить не трудясь, эксплуатируя и грабя по возможности другого. Дальше я хотел развить эту мысль, опираясь на присущий всем нам животный эгоизм и на Дарвиновскую теорию борьбы за существование, которую я прилагаю и к человеку. Все же это сочинение писалось с точки зрения бесцельности жизни, в которой, конечно, ни порока, ни добродетели не существует, а существуют только более или менее легкие пути к достижению условной цели жизни – наслаждений. Конечно, более легким, а потому и наиболее предпочтительным путем я хотел выставить порок, не глупый и бессмысленный порок, а, наоборот, строго обдуманный и основанный на научных знаниях. Но вообще знаний я советовал избегать, ибо в них несчастье человека, ибо первобытный дикарь, живший на деревьях и кушавший сырое мясо, был, конечно, гораздо счастливее, чем современный интеллигент, живущий в дворце, кушающий соловьиные языки – и размышляющий о самоубийстве, высшем акте отчаяния. Прогресс, таким образом, счастья человеку не доставил, ибо сущность его – замена старых простых потребностей новыми и более сложными и отыскивание способов удовлетворять им; но так как потребности возрастают несравненно быстрее, чем способы их удовлетворения, – то в результате оказывается ми-

нус, ежегодной статистикой показываемый в десять тысяч самоубийств. Собственно же говоря, совсем не стоит жить – и высшая степень мудрости убить себя" (Там же. Л. 10об.–11).

Из позднейшего дневника (март 1897 г.) мы узнаем о новых мировоззренческих веяниях, которые также отразились в монологе Афонского: «Мои убеждения складываются из двух диаметрально противуположных взглядов. Я представляю собой механическое соединение двух начал: Ницшевизма и социализма. Я глубоко сочувствую Ницше в его идее создания сверхчеловека, т.е. могучей индивидуальности. Я бесконечно преклоняюсь пред силой – и если бы мог из области угрызений перейти в область дела, если бы я имел волю – я употребил бы ее на развитие в себе силы, хотя бы в счет других. Дело в том, что я не люблю, совсем не люблю этих других. Я довольно жалостлив и, если у меня есть копейка, всегда отдаю ее нищему; я возмущаюсь несправедливостью, жестокостью, если она такого рода, что я могу испытать ее и на себе. Но если бы меня изъять из ведомства нищеты и незащищенности, копейки, пожалуй, я продолжал бы подавать, но возмущаться наверное перестал бы. Т.е. возмущался бы так, как возмущаются многие из нас: из приличия, которое предписывает людям известного имущественного и умственного ценза иметь соответствующие мысли и чувства. Да и теперь я возмущаюсь довольно странно. Услышишь про какой-нибудь случай вопиющего беззакония и восклицаешь вместе со всеми: "возмутительно!". А сам думаешь: "вот что значит быть слабым!" и чувствуешь желание быть сильным. Нет у меня любви к человечеству – и баста. Быть может, прискорбно это, но поделать ничего нельзя с этим. Мне совершенно безразлична общая польза, если она не совпадает с моей. Ум, воспитанный в известных традициях, автоматически отмечает: это черное, это белое, но сердце не чувствует ни радости, ни горя.

Моя крошечная арена общественной деятельности, на которой я подвизаюсь – землячество, интересует меня лишь постольку, поскольку доставляет пищи для самолюбия и игры для ума. В настоящее время я образую в землячестве некоторую партию, цель которой – *землячество*, насколько возможно чистое от политических примесей. Такую цель, которую одобрит даже кн. Мещерский, я выбрал не из трусости перед преследованиями, а из вполне обдуманного, прочно сложившегося убеждения. Взаиморазвитие – вот моя цель, быть может, не чуждая влиянию Ницше. Но если, паче чаяния, землячество обратится не в то, чего я хочу – я, быть может, обругаюсь, но огорчаться особенно не буду.

Из всего сказанного следует, что я отчаяннейший эгоист. Верно. И мне даже стыдно немножко, потому что этим я нарушаю приличия. Но опять-таки – что ж поделаешь? Чем я виноват, что преобладающее во мне чувство к людям – презрение, а иногда – ненависть? Дайте мне рецепт, по которому я мог бы претворить эти чувства в одно:

любовь – и я с удовольствием сделаю это. Ведь с любовью жить куда легче, чем с презрением и ненавистью. Но раз рецепта нет – стало быть, и суда нет.

Отсюда ясно теперь мое отношение к злобе дня – социализму. Я очень рад, что на Западе разгорелось движение, цель которого избавить будущих людей, подобных Л⟨еониду⟩ Н⟨иколаевичу⟩, от нищеты. Мне жаль только одного, что я лично ничего не получу из будущих сокровищ. Поэтому, интересуясь социализмом так же, как и путешествием Нансена, я столь же мало готов жертвовать для него здоровьем и жизнью, как и лететь к Северному Полюсу. Все это *меня* не касается.

Чтобы окончательно характеризовать мое отношение к людям, я скажу, как распределяются между ними два мои чувства: богатых я ненавижу, а бедных презираю» (*Дн9*. Л. 9об.–11об.).

С. 443. *...шпага, на которую низкий студент посматривал с нескрываемым недоброжелательством.* – Согласно существовавшим официальным правилам, шпага была принадлежностью парадной формы студентов университетов и ее "полагалось надевать в особо торжественных случаях" (*Ривош Я.Н.* Время и вещи: Очерки по истории материальной культуры в России начала XX века. М., 1990. С. 194). Шпагу возможно было носить только вместе с парадным сюртуком военного образца (мундиром), в который и облачен Афонский, в отличие от "деда", одетого в тужурку – каждодневную форму одежды студента. "Демократическое студенчество сюртуков почти не носило как из-за дороговизны материала и шитья, так и потому, чтобы не быть похожими на белоподкладочников" (Там же). Студент-первокурсник Андреев записывает в своем дневнике: "Всех здешних студентов можно поделить на две группы: одни – шпагисты, как их здесь называют, т.е. совершенно пустые, ничтожные фаты или щедринские пескари – вообще дрянь во всем ее разнообразии. Вторая группа составляет красу и гордость У⟨ниверсите⟩та как такового – вот о ней я хочу поговорить" – и далее отмечает, что, познакомившись с кружками радикального студенчества, он увидел в их деятельности «крайнюю узость и односторонность; к ним примешивалась еще одна сквернейшая черта всякой тесно сплоченной, "изолированной от жизни" агрегации или *секты*, именно нетерпимость к мнениям и взглядам, несхожим с ее взглядами» (*Дн5*. С. 119). То есть в написанном позднее отрывке Андреев передоверяет пересказ близких ему самому идей Афонскому – "белоподкладочнику-шпагисту". Необходимо также отметить, что этот персонаж наделен фамилией реально существовавшего университетского знакомого писателя. См., например, дневниковую запись от 16 июня 1897 г.: "Приехал я в Царицыно после отвратительнейшего года, проведенного мною в кабаке с милейшим Францем и Афонским" (*Дн9*. Л. 57–57об.). Афонский Владимир Николаевич (р. 1873), в 1893 г. закончил Орловскую гимназию, осенью 1896 г. числился студентом 7-го семестра мате-

матического факультета Московского университета (см.: Алфавитный список студентов Императорского Московского университета за 1896–1897 академический год. М., 1896).

ГРОШОВЫЙ ЧЕЛОВЕК

(С. 449)

Источники текста:

ЧН – черновой набросок. ⟨Середина (после 14) сентября 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т5*. Л. 43.

ЧА – черновой автограф. 14 ноября ⟨1899 г.⟩. Хранится: *Т8*. Л. 2–5.

Публикуются впервые.

Эмоционально-исповедальный характер набросков (близкий к стилю дневниковых записей в периоды депрессии), а также отсылки в тексте к неким, видимо, значимым для Андреева датам (11 января 1897 г. и 28 сентября 1896 г.) и вероятное упоминание издателя "Курьера" Фейгина свидетельствуют об автобиографической основе задуманного рассказа. Вышеуказанные даты-пометы могут отражать неизвестные нам драматические факты из жизни Андреева (очередная попытка самоубийства или нечто подобное). Дневников этого периода не сохранилось, но существует запись-воспоминание о том времени от 19 августа 1898 г.:

"Моя любовь к Шурочке (А.М. Велигорской. – *Сост.*) проходила различные фазы.

1. От начала знакомства до 18 ноября 1896 г. Обнимает собою период в пять месяцев. Шурочка понравилась почти с первого взгляда, но ее молодость, увлечение летом, неожиданный роман с Е⟨лизаветой⟩ М⟨ихайловной Велигорской⟩, – все это отдалило ее от меня. 7 сентября, пьяный, я объясняюсь с Шурочкой. Еще раз трезвый полуподтверждаю сказанное. В то же время необходимость особенно тщательно скрываться воздвигает между нами стену, а проснувшееся чувство к Е⟨лизавете⟩ М⟨ихайловне⟩ рушит эту стену: 18-го ноября Шурочка говорит, что не любит меня.

Это было как раз то время, когда она истинно и горячо любила меня. Я ж только увлекался.

2. От 18 ноября 1896 г. до 27 мая 1897 г. 6 месяцев. Шурочка то игнорирует меня, то демонстративно высказывает недоверие и чуть ли не презрение. Временами она меня возмущает, временами сильно влечет к себе" (*Дн9*. Л. 129–129об.).

Мотив "грошовости", собственной никчемности героя, осознание которой приводит его к мыслям о самоубийстве, будет развит и станет одним из основных в "Рассказе о Сергее Петровиче" (см. т. 2 наст. изд.). Вместе с ним в последний перейдут эпизод с посещением панорамы-стереоскопа, размышления о похоронах и любви "полезного работника",

о нужности его существования исключительно для статистики и т.п. Существенно, что первые наброски к "Рассказу о Сергее Петровиче" могут быть датированы серединой – второй половиной ноября 1899 г., т.е. временем написания *ЧА*.

ЧН

С. 449. *Самому Ф(ейгину?) не покажу...* – Фейгин Яков Александрович (1859–1915) – основатель и официальный издатель газеты "Курьер" в 1897–1902 гг., один из ее владельцев (подробнее см.: *Родионова.* С. 13–15, 69–70; *ЛН72.* С. 70).

ЧА

С. 451. *Панорама-стереоскоп* – популярный в конце XIX в. аттракцион, где посетители рассматривали цветные стереоскопические ("объемные") фотографии (впечатления от стереоскопической панорамы подробно переданы в "Рассказе о Сергее Петровиче", гл. IV).

С. 452. *Вы хотите рождественского рассказа...* – Возможно, намек на рождественский рассказ "Ангелочек", над которым как раз в это время (11–16 ноября 1899 г.) работал Андреев.

НЕУДАЧНЫЙ ОПЫТ

(С. 453)

Источники текста:

ЧН1 – черновой набросок. ⟨Вторая половина сентября 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т5*. Л. 47 об.

ЧН2 – черновой набросок. ⟨Вторая половина ноября 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т8*. Л. 6.

Публикуются впервые.

Под "либеральной газетой", описанной в двух черновых набросках, подразумевается "Курьер". Намеченный в них конфликт отражает внутреннюю атмосферу в редакции: судя по всему, речь идет о трениях между ведущим сотрудником газеты, политическим деятелем, публицистом либерально-демократического толка В.А. Гольцевым и группой марксистов (П.С. Коганом, В.М. Фриче, В. Шулятиковым). Виктор Александрович Гольцев (1850–1906) – в то время редактор журнала "Русская мысль", авторитетнейший сотрудник ряда либеральных изданий – был противником революционного насилия и сторонником постепенных политических и социальных реформ, что не могло не раздражать радикально настроенных марксистов. Результатом этих трений стал уход Гольцева из "Курьера" в 1902 г. (см.: *Чувакова В.Н.* "Курьер" // Литературный процесс и русская журналистика

(1890–1904). Социал-демократические и общедемократические издания. М., 1981. С. 353–375; *Родионова*. С. 16–33). Ироническое отношение к нему со стороны Андреева, которое можно отметить в публикуемых отрывках, в дальнейшем не помешало ему поддерживать с Гольцевым деловые и достаточно дружественные отношения (сохранилось 9 писем Андреева к Гольцеву – РГБ. Ф. 77. Карт. 1. Ед. хр. 12; см., например: *Родионова*. С. 34).

ЧН1

С. 453 *...переход в бесцензурную.* – Известно, что крайне стесняемая цензурой редакция "Курьера" в мае 1899 г. сделала попытку изменить тип издания, что позволило бы ему стать бесцензурным, однако московский цензурный комитет этому воспрепятствовал (см.: *Родионова*. С. 71).

...меня извлекали⟨?⟩, был честен...; – Когда я, я, я, я пострадал... – Из-за близости к революционерам-народникам, участия в революционно-демократической партии "Народное право" и активной политической деятельности Гольцев несколько раз арестовывался; в связи с тайным циркуляром правительства он не смог продолжить успешно начатую научную карьеру: несколько его попыток получить место доцента в Московском и Новороссийском университетах наталкивались на неуклонное противодействие властей (см.: *Смолкина Н.С.* Гольцев Виктор Александрович // Русские писатели. 1800–1917: Биограф. словарь. М., 1989. Т. 1: А–Г. С. 621).

Коган Петр Семенович (1872–1932) – историк литературы, критик, переводчик. В "Курьере" с 1899 г. вел отдел библиографии. Его воспоминания подтверждают скептическое отношение Андреева к марксистам "Курьера", отраженное в "Неудачном опыте": "Андреев не входил в нашу марксистскую группу и нашей борьбе за серьезность тона газеты не только не содействовал, но иногда даже мешал, так как по части тона вообще не стеснялся. С ним выходили иногда кое у кого из сотрудников недоразумения. У нас как-то сильны были старые интеллигентские традиции, – напр., считалось, что если кто-нибудь ведет какой-либо отдел, то уже другой не имеет права затрагивать его тем. Андреев же с этим не считался ⟨...⟩ Однажды по поводу одного такого инцидента Л. Андреев написал мне письмо в очень примирительном тоне – извиняясь, что его не так поняли, что ему вовсе не чужды наши идейные интересы и т.д. В редакции часто происходили бурные споры, особенно когда сотрудники были навеселе – а этим грехом страдал кое-кто и из нашей марксистской группы. Помню, напр., жаркую схватку между Л. Андреевым и В. Шулятиковым на тему о том, пессимист ли Андреев или нет. Андреев доказывал, что он не пессимист; Шулятиков, сильно выпивший, кричал и ругался, говоря, что Андреев задержал на 1 $^1/_2$ месяца (!) ход прогресса" (*Фатов*. С. 307–308).

Медведев Лев Михайлович (1865–1904) – поэт, переводчик, детский писатель. В 1887 г. за хранение нелегальной литературы и участие в оппозиционной студенческой группе был исключен из Московского университета и сослан на два года под гласный надзор полиции в Тифлис. В Москву вернулся в 1889 г. В "Курьере" первое стихотворение Медведева "Из дневника" ("Черное небо и черные дни...") опубликовано 6 сентября 1898 г. (№ 245).

РЕАЛИСТ

(С. 454)

Источник текста – рукописный автограф. ⟨Конец ноября 1899 г. (датируется по тетради)⟩. Хранится: *Т7*. Л. 47.

Впервые – Русская литература рубежа веков (1890-е – начало 1920-х годов). М., 2000. Кн. 1. С. 49–50.

Печатается по автографу.

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ОБЩИЕ[1]

Б.д. – без даты
Б.п. – без подписи
незач. вар. – незачеркнутый вариант
незаверш. правка – незавершенная правка
неуст. – неустановленное
ОТ – основной текст
Сост. – составитель
стк. – строка

АРХИВОХРАНИЛИЩА

АГ ИМЛИ – Архив А.М. Горького Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН (Москва).

ИРЛИ – Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Рукописный отдел (С.-Петербург).

ООГЛМТ – Орловский объединенный государственный литературный музей И.С. Тургенева. Отдел рукописей.

РАЛ – Русский архив в Лидсе (Leeds Russian Archive) (Великобритания).

РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства (Москва).

РГБ – Российская государственная библиотека. Отдел рукописей (Москва).

Hoover – Стэнфордский университет. Гуверовский институт (Стэнфорд, Калифорния, США). Коллекция Б.И. Николаевского (№ 88).

ИСТОЧНИКИ

Автобиогр. – Леонид Андреев (Автобиографические материалы) // Русская литература XX века (1890–1910) / Под ред. проф. С.А. Венгерова. М.: Изд. т-ва "Мир", 1915. Ч. 2. С. 241–250.

Баранов 1907 – Баранов И.П. Леонид Андреев как художник-психолог и мыслитель. Киев: Изд. кн. магазина С.И. Иванова, 1907.

БВед – газета "Биржевые ведомости" (С.-Петербург).

---

[1] В перечень общих сокращений не входят стандартные сокращения, используемые в библиографических описаниях, и т.п.

БиблА1 – Леонид Николаевич Андреев: Библиография. М., 1995. Вып. 1: Сочинения и письма / Сост. В.Н. Чуваков.

БиблА2 – Леонид Николаевич Андреев: Библиография. М., 1998. Вып. 2: Литература (1900–1919) / Сост. В.Н. Чуваков.

БиблА2а – Леонид Николаевич Андреев: Библиография. М., 2002. Вып. 2а: Аннотированный каталог собрания рецензий Славянской библиотеки Хельсинкского университета / Сост. М.В. Козьменко.

Библиотека Л.Н. Толстого – Библиотека Льва Николаевича в Ясной Поляне: Библиографическое описание. М., 1972. [Вып.] I. Книги на русском языке: А–Л.

Боцяновский 1903 – *Боцяновский В.Ф.* Леонид Андреев: Критико-биографический этюд с портретом и факсимиле автора. М.: Изд. т-ва "Литература и наука", 1903.

Геккер 1903 – *Геккер Н.* Леонид Андреев и его произведения. С приложением автобиографического очерка. Одесса, 1903.

Горнфельд 1908 – *Горнфельд А.Г.* Книги и люди. Литературные беседы. Кн. I. СПб.: Жизнь, 1908.

Горький. Письма – *Горький М.* Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. М.: Наука, 1997– .

Дн1 – *Андреев Л.Н.* Дневник. 12.03.1890–30.06.1890; 21.09.1898 (РАЛ. MS.606/ E.1).

Дн2 – *Андреев Л.Н.* Дневник. 03.07.1890–18.02.1891 (РАЛ. MS.606/ E.2).

Дн3 – *Андреев Л.Н.* Дневник. 27.02.1891–13.04.1891; 05.10.1891; 26.09.1892 (РАЛ. MS.606/ E.3).

Дн4 – *Андреев Л.Н.* Дневник. 15.05.1891–17.08.1891 (РАЛ. MS.606/ E.4).

Дн5 – *Андреев Л.* Дневник 1891–1892 гг. [03.09.1891–05.02.1892] / Публ. Н.П. Генераловой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 г. СПб., 1994. С. 81–142.

Дн6 – "Дневник" Леонида Андреева [26.02.1892–20.09.1892] / Публ. Н.П. Генераловой // Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. СПб., 1994. С. 247–294.

Дн7 – *Андреев Л.Н.* Дневник. 26.09.1892–04.01.1893 (РАЛ. MS.606/ E.6).

Дн8 – *Андреев Л.Н.* Дневник. 05.03.1893–09.09.1893 (РАЛ. MS.606/ E.7).

Дн9 – *Андреев Л.Н.* Дневник. 27.03.1897–23.04.1901; 01.01.1903; 09.10.1907 (РГАЛИ. Ф. 3290. Сдаточная опись. Ед. хр. 8).

Жураковский 1903а – *Жураковский Е.* Реально-бытовые рассказы Леонида Андреева // Отдых. 1903. № 3. С. 109–116.

Жураковский 1903б – *Жураковский Е.* Реализм, символизм и мистификация жизни у Л. Андреева: (Реферат, читанный в Московском художественном кружке) // Жураковский Е. Симптомы литературной эволюции. Т. 1. М., 1903. С. 13–50.

Зн – *Андреев Л.Н.* Рассказы. СПб.: Издание т-ва "Знание", 1902–1907. Т. 1–4.

Иезуитова 1967 – *Иезуитова Л.А.* Творчество Леонида Андреева (1892–1904): Дис. ... канд. филол. наук. Л., 1976.

Иезуитова 1976 – *Иезуитова Л.А.* Творчество Леонида Андреева (1892–1906). Л., 1976.

Иезуитова 1995 – К 125-летию со дня рождения Леонида Николаевича

Андреева: Неизвестные тексты. Перепечатки забытого. Биографические материалы / Публ. Л.А. Иезуитовой // Филологические записки. Воронеж, 1995. Вып. 5. С. 192–208.

Измайлов 1911 – Измайлов А. Леонид Андреев // Измайлов А. Литературный Олимп: Сб. воспоминаний о русских писателях. М., 1911. С. 235–293.

К – газета "Курьер" (Москва).

Кауфман – Кауфман А. Андреев в жизни и своих произведениях // Вестник литературы. 1920. № 9 (20). С. 2–4.

Коган 1910 – Коган П. Леонид Андреев // Коган П. Очерки по истории новейшей русской литературы. Т. 3. Современники. Вып. 2. М.: Заря, 1910. С. 3–59.

Колтоновская 1901 – Колтоновская Е. Из жизни литературы. Рассказы Леонида Андреева // Образование. 1901. № 12. Отд. 2. С. 19–30.

Кранихфельд 1902 – Кранихфельд В. Журнальные заметки. Леонид Андреев и его критики // Образование. 1902. № 10. Отд. 3. С. 47–69.

Краснов 1902 – Краснов Пл. К. Случевский "Песни из уголка"; Л. Андреев. Рассказы // Литературные вечера: (Прилож. к журн. "Новый мир"). 1902. № 2. С. 122–127.

ЛА5 – Литературный архив: Материалы по истории литературы и общественного движения / Под ред. К.Д. Муратовой. М.; Л.: АН СССР, 1960.

ЛН72 – Горький и Леонид Андреев: Неизданная переписка. М.: Наука, 1965 (Литературное наследство. Т. 72).

МиИ2000 – Леонид Андреев. Материалы и исследования. М.: Наследие, 2000.

Михайловский 1901 – Михайловский Н.К. Рассказы Леонида Андреева. Страх смерти и страх жизни // Русское богатство. 1901. № 11. Отд. 2. С. 58–74.

Неведомский 1903 – Неведомский М. [*Миклашевский М.П.*] О современном художестве. Л. Андреев // Мир Божий. 1903. № 4. Отд. 1. С. 1–42.

НБ – журнал "Народное благо" (Москва).

НР – Андреев Л.Н. Новые рассказы. СПб., 1902.

Пр – Андреев Л.Н. Собр. соч.: [В 13 т.]. СПб.: Просвещение, 1911–1913.

ОВ – газета "Орловский вестник".

ПССМ – Андреев Л.Н. Полн. собр. соч.: [В 8 т.]. СПб.: Изд-е т-ва А.Ф. Маркс, 1913.

Реквием – Реквием: Сб. памяти Леонида Андреева / Под ред. Д.Л. Андреева и В.Е. Беклемишевой; с предисл. В.И. Невского М.: Федерация, 1930.

РЛ1962 – Письма Л.Н. Андреева к А.А. Измайлову / Публ. В. Гречнева // Рус. литература. 1962. № 3. С. 193–201.

Родионова – Родионова Т.С. Московская газета "Курьер". М., 1999.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. М.; Л., 1965– . Вып. 1– .

Т1[2] – РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 4. Ед.хр. 3. + РАЛ. MS.606/ B.11; 17 (1897 – начало осени 1898).

Т2 – РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 4. Ед.хр. 4. (Осень 1898., до 15 нояб.).

Т3 – РГБ. Ф. 178. Карт. 7572. Ед.хр. 1 (7 дек. 1898 – 28 янв. 1899).

[2] *Т1–Т8* – рабочие тетради Л.Н.Андреева. Обоснование датировок тетрадей см. с. 693.

Т4 – РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 4. Ед.хр. 1 (18 июня – 16 авг. 1899).

Т5 – РГАЛИ. Ф. 11. Оп. 4. Ед.хр. 2 (конец августа – до 15 окт. 1899).

Т6 – РАЛ. MS.606/ A.2 (15–28 окт. 1899).

Т7 – РАЛ. MS.606/ A.3 (10–19 нояб. 1899).

Т8 – РАЛ. MS.606/ A.4 (14 нояб. 1899 – 24 февр. 1900).

Урусов – Урусов Н.Д., кн. Бессильные люди в изображении Леонида Андреева: (Критический очерк). СПб.: Типогр. "Общественная польза", 1903.

Фатов – Фатов Н.Н. Молодые годы Леонида Андреева: По неизданным письмам, воспоминаниям и документам. М.: Земля и фабрика, 1924.

Чуносов 1901 – Чуносов [*Ясинский И.И.*]. Невысказанное: Л. Андреев. Рассказы. СПб., 1901 // Ежемесячные сочинения. СПб., 1901. № 12. С. 377–384.

Шулятиков 1901 – Шулятиков В. Критические этюды. "Одинокие и таинственные люди": Рассказы Леонида Андреева // Курьер. 1901. 8 окт. (№ 278). С. 3.

S.O.S. – Андреев Л. S.O.S.: Дневник (1914–1919). Письма (1917–1919). Статьи и интервью (1919). Воспоминания современников (1918–1919) / Под ред. и со вступ.ст. Р. Дэвиса и Б. Хеллмана. М.; СПб., 1994.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Л.Н. Андреев. Фотография А.В. Средина. Олеиз, 1902 г. .....фронтиспис

Л.Н. Андреев – студент Московского университета. Фотография Р.Ф. Бродовского. Москва, 1894 г. 37

"Баргамот и Гараська". Публикация в журнале "Народное благо", 1902 г. 57

"Две встречи". Автограф. Русский архив в Лидсе (Великобритания)..... 259

"Скриптор". Автограф. Русский архив в Лидсе (Великобритания)..... 404

"Розочка". Автограф. Русский архив в Лидсе (Великобритания)..... 408

"Грошовый человек (Полезный работник)". Автограф. Русский архив в Лидсе (Великобритания) 450

"Большой шлем". Автограф. Русский архив в Лидсе (Великобритания).... 587

"Ангелочек". Автограф. Русский архив в Лидсе (Великобритания)..... 597

СОДЕРЖАНИЕ

	Осн. текст	Др. ред. и вар-ты	Комментарии
От редакции	5		
РАССКАЗЫ. 1892–1899			
В холоде и золоте	15		708
Он, она и водка	28		710
Загадка	35	463	712
Чудак	51		716
Баргамот и Гараська	55	471	717
Любовь, вера и надежда	64	473	721
Алеша-дурачок	69	474	723
Защита	79	475	724
Из жизни шт.-капит. Каблукова	87	484	726
Что видела галка	96	500	729
Случай ⟨1899⟩	100	504	730
Молодежь	111	521	732
Памятник	122		733
В Сабурове	132	532	735
У окна	142	533	735
Петька на даче	162	554	740
Друг	171	564	743
Валя	177	572	744
Большой шлем	188	585	748
Ангелочек	197	596	758
НЕОПУБЛИКОВАННОЕ[1]			
На избитую тему	211		765
Оро	245		768
Исповедь умирающего	251		770
Две встречи	256		770

[1] В раздел вошли произведения, не опубликованные при жизни писателя (включая посмертные публикации).

	Осн. текст	Др. ред. и вар-ты	Комментарии
Нас двое	261		770
Гибель самозванца	273		772
Мать	279	625	772
Дело прошлое	289	638	775
Держите вора!	302	641	777
Торжество Фитюльки	368	685	781

НЕЗАКОНЧЕННОЕ. НАБРОСКИ

⟨Диалоги, темы, фрагменты. Осень 1891 г.⟩	399		783
⟨Он долго смотрел на нас…⟩	402		783
⟨Скриптор⟩	403		784
⟨Фрагменты 1898 г.⟩	405		784
Розочка	406		785
⟨Случилось все это очень просто⟩	418		786
Первое впечатление	423		788
⟨У Александры Сергеевны Потаниной…⟩	426		789
После государственных экзаменов	427		789
⟨Патрон помощника присяжного поверенного…⟩	433		790
⟨Планы рассказов. Июль 1899 г.⟩	435		791
⟨Антон Ильич был человек мнительный…⟩	436		791
Из записок алкоголика ⟨1899⟩	437		791
⟨– А ты, брат, вовсе не такая скотина…⟩	443		793
Грошовый человек	449		796
Неудачный опыт	453		797
Реалист	454		799

ДРУГИЕ РЕДАКЦИИ И ВАРИАНТЫ

Текстологические принципы издания	457

КОММЕНТАРИИ

Ранние рассказы Леонида Андреева	693
Условные сокращения	800
Список иллюстраций	804

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В.Н. Быстров, Н.П. Генералова,
Р.Д. Дэвис (зам. главного редактора), *Л.А. Иезуитова,*
В.А. Келдыш (главный редактор), *Л.Н. Кен,*
М.В. Козьменко (зам. главного редактора), *А.И. Чагин,*
Ю.Н. Чирва, В.Н. Чуваков

Основные тексты и другие редакции
и варианты произведений подготовили,
комментарии составили:

В.Н. Быстров, Р.Д. Дэвис, Л.А. Иезуитова,
М.В. Козьменко, В.Н. Чуваков

Ответственные редакторы тома:
Р.Д. Дэвис, М.В. Козьменко

На начальных стадиях
в подготовке тома приняли участие:
И.М. Каширина, В.Н. Костылев, А.П. Руднев

Рецензенты:
А.Г. Бойчук, М.В. Михайлова

Печатается по решению
Научно-издательского совета
Российской академии наук

Леонид Николаевич
АНДРЕЕВ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ И ПИСЕМ
В ДВАДЦАТИ ТРЕХ ТОМАХ

Том первый

Заведующая редакцией *Е.Ю. Жолудь*
Редактор *М.Л. Береснева*
Художник *В.Ю. Яковлев*
Художественный редактор *Т.В. Болотина*
Технический редактор *З.Б. Павлюк*
Корректоры *Р.В. Молоканова, Е.Л. Сысоева,*
Т.И. Шеповалова

Подписано к печати 01.08.2007
Формат 60 × 90 $^{1}/_{16}$. Гарнитура Таймс
Печать офсетная
Усл.печ.л. 50,6. Усл.кр.-отт. 50,6. Уч.-изд.л. 49,5
Тип. зак. 4407

Издательство "Наука"
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail: secret@naukaran.ru
www.naukaran.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП "Типография "Наука"
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

ISBN 978-5-02-034385-6

